This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

М. Н. ЗАГОСКИНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ТРЕТІЙ

ИЗДАНІЕ
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т—ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ Гостиный дв., 18 | МОСКВА Кузнецкій мостъ, 12
1898

THE NEWBERRY LIBRARY

184927

THE HOOVER LIBRARY

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I

О томъ, гдѣ и когда случилось то, о чемъ разсказывается въ этой истинной повѣсти.

Въ нашихъ степныхъ губерніяхъ есть народная поговорка: «Сура рѣчка важная, течетъ потихоньку, донышко у нея серебряное, круты бережка позолоченые». За что,—думалъ я всегда,—такая похвала этой рѣчкѣ, которую съ грѣхомъ пополамъ называютъ судоходною? Что въ ней хорошаго? Ея угрюмые берега поросли мрачными сосновыми лѣсами, течетъ она къ сѣверу, и хотя въ нее впадаетъ рѣчка, которая называется *Бездна*, но сама то она вовсе не походитъ на бездну морскую: лѣтомъ черезъ нее во многихъ мѣстахъ куры въ бродъ переходятъ. Мнѣ удавалось слышать отъ пензенскихъ жителей, что въ ней ловятся отличныя стерляди,—быть можетъ, только видно это бываетъ очень рѣдко. Я знаю навѣрное, что когда въ Пензѣ собираются дать какой-нибудь торжественный обѣдъ на славу, то всегда посылаютъ за стерлядями въ Саратовъ. То ли дѣло близкій сосѣдъ Суры, красавецъ Хоперъ, рѣка также второстепенная; но какими она течетъ привольными мѣстами, какъ роскошествуетъ природа на ея плодоносныхъ берегахъ! Хоперъ течетъ на югъ, извиваясь подъ тѣнью своихъ дубовыхъ лѣсовъ, красуясь своими липовыми рощами и оро-

шая свѣтлыми водами своими одинъ изъ счастливѣйшихъ уголковъ нашей матушки святой Руси. Пуститесь по теченію Хопра, и черезъ нѣсколько дней вы увидите себя среди земель Донского войска, въ Хоперской станицѣ, которая славится по всему Дону своимъ привольнымъ житьемъ и богатствомъ.

Въ тысяча семьсотъ осьмидесятомъ году, на правомъ берегу этой рѣки, верстахъ въ десяти отъ уѣзднаго городка Ново-Хоперска, у подошвы авысокго холма стоялъ, срубленный изъ дубовыхъ бревенъ и покрытый тесомъ, небольшой господскій домъ о семи окнахъ. Прежде чѣмъ я познакомлю васъ съ хозяиномъ этого дома, Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ, не угодно ли вамъ будетъ прогуляться вмѣстѣ со мною по его владѣніямъ, взглянуть на его наслѣдственную *отчину* и полюбоваться господскою усадьбою? Мы начнемъ съ дома.

Я уже сказалъ вамъ, что онъ былъ срубленъ изъ дубовыхъ бревенъ, покрытъ тесомъ и освѣщался съ лицевой стороны семью окнами. Быть можетъ, вы станете смѣяться надо мною; но я убѣжденъ, что дома, точно такъ же, какъ и люди, имѣютъ свои собственныя физіономіи,—и суровыя, и привѣтливыя, и гордыя, и радушныя. Посмотришь, иной домъ — ну точно хмуритъ брови, а другой какъ будто улыбается. Вотъ, напримѣръ, хоть этотъ, о которомъ идетъ рѣчь, кажется въ наружности его не было ничего привлекательнаго, а я увѣренъ, вы посмотрѣли бы съ удовольствіемъ на этотъ скромный пріютъ небогатаго русскаго помѣщика. Эта ничѣмъ не окрашенная тесовая кровля и кусты великолѣпныхъ розановъ, которые цвѣли подъ окнами дома; эти голыя бревенчатыя стѣны и чистое крылечко, уставленное цвѣтами; этотъ красивый лугъ, который опускался гладкою скатертью отъ дверей дома до самаго Хопра, —все это вмѣстѣ было такъ свѣжо, такъ мило, что вы пожалѣли бы, еслибъ тутъ, вмѣсто простого бревенчатаго домика, стояли каменныя палаты или затѣйливая дача съ разными вычурами и причудами, которыя стоятъ такъ дорого лѣтнимъ жителямъ невскихъ островов, петергофской дороги и московскаго парка.

По обѣимъ сторонамъ дома разбросано было нѣсколько жилыхъ службъ и холостыхъ строеній: сарай, конюшня, погреба, амбары, застольная изба, баня и господская кухня; всѣ эти строенія были крыты соломою. По двору, почти

всегда, преважно расхаживали индѣйскіе пѣтухи, бѣгали куры и гулялъ павлинъ съ своею павою. Съ лѣвой стороны, за частоколомъ, которомъ обнесена была вся дворовая усадьба, стоялъ довольно обширный скотный дворъ; съ правой тянулось огороженное плетнемъ барское гумно, уставленное одоньями. Посреди двора росла огромная черемуха; подъ благовоннымъ и роскошнымъ шатромъ ея пушистыхъ вѣтвей, можно было въ знойный полдень отдохнуть на скамьѣ и подышать прохладою. Прямо противъ нея, въ глубинѣ двора, за рѣшетчатымъ заборомъ, виднѣлся фруктовый садъ, въ которомъ, посреди густыхъ куртинъ вишень, сливъ и черешни, подымали свои курчавыя головы яблони и грушевыя деревья. Этотъ садъ оканчивался небольшимъ огородомъ; за нимъ, по отлогому скату, взбѣгала до половины высокаго холма тѣнистая дубовая роща; потомъ начинался мелкій кустарникъ, а на самой вершинѣ, подъ тѣнью двухъ вѣковыхъ липъ, стояла деревянная часовня, Она была построена надъ истокомъ холоднаго и прозрачнаго, какъ ледъ, горнаго ключа. Простой народъ называлъ этотъ родникъ *громовымъ студенцомъ*, и пилъ изъ него воду, какъ лѣкарство отъ разныхъ болѣзней, вѣроятно потому, что въ часовнѣ была икона Божіей Матери, и что объ этомъ источникѣ передавалась изъ рода въ родъ одна народная легенда, которой содержаніе было слѣдующее:

«Давнымъ-давно, въ незапамятные годы, не извѣстно, при какомъ великомъ князѣ, только прежде еще татарскихъ погромовъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь часовня, стояла уединенная келья одного святого отшельника. Шестьдесятъ лѣтъ спасался онъ, живя на этомъ холмѣ, посреди дремучаго бора, котораго теперь слѣдовъ не осталось. Двадцать лѣтъ не выходилъ онъ изъ лѣсу, и изъ всѣхъ окружныхъ селеній никто не зналъ о немъ, кромѣ одного благочестиваго деревенскаго священника, который два раза въ году приходилъ пріобщать его Святыхъ Таинъ и оставлялъ у него мѣшокъ сухарей; этого было достаточно для пустынника на цѣлые полгода, потому что онъ былъ великій постникъ и съѣдалъ только по два сухаря въ недѣлю; за водой же онъ ходилъ самъ на Хоперъ. Вотъ посѣтилъ его Господь Богъ скорбію: отнялись у него ноги. Это случилось лѣтомъ, въ Петровки; жара стояла нестерпимая, у него въ кельѣ не было ни капли воды, и какъ онъ ни силился дотащиться до рѣки, но въ цѣлые два дня не могъ отползти

и пяти шаговъ отъ своей хижины. Вотъ прошелъ день, другой,—зной все тотъ же, на небѣ ни облачка, а солнце такъ и палитъ. Какъ ни велико было терпѣніе благочестиваго старца, но онъ былъ человѣкъ, а жажда еще мучительнѣе голода. На третій день старецъ изнемогъ совершенно, страданія его сдѣлались нестерпимыми, и что то похожее на ропотъ мелькнуло въ душѣ его. Лукавый того только и дожидался: онъ явился передъ старцемъ, но только не такъ, какъ является иногда, не подъ личиною ангела свѣта, не во образѣ даже человѣческомъ, а просто во всѣмъ адскомъ своемъ безобразіи. Старецъ хотѣлъ перекреститься, но демонъ удержалъ его руку, поставилъ передъ нимъ чашу со свѣжею водою и сказалъ: «Вотъ, старикъ, я не въ тебя: ты проклиналъ, ненавидѣлъ меня, а пришла бѣда, такъ я же къ тебѣ на выручку. У тебя нѣтъ ни капли воды,—вотъ тебѣ полная чаша! Да не отворачивайся, старинушка: вѣдь я не жидъ какой, не попрошу твоей души за ковшикъ воды; съ меня будетъ и того, если ты за это мнѣ поклонишься.» Нѣтъ,—прошепталъ старецъ, — не поклонюсь я никогда врагу моего Господа. «Врагу!» — повторилъ насмѣшливо сатана. «Да что за радость быть слугою то? Вотъ хоть ты, нечего сказать, вѣрный слуга, а что, много выслужилъ? Нѣтъ, старинушка, твой господинъ живетъ высоко, до тебя ли ему; а я у тебя подъ бокомъ. Не хочешь мнѣ кланяться, такъ, пожалуй себѣ, не кланяйся: я за этимъ не гонюсь. Скажешь спасибо—хорошо, не скажешь—такъ и быть! Только не мори себя, голубчикъ, напрасно: выпей водицы! А вода то какая, вода! Посмотри, любезный!» Тутъ онъ поднесъ къ устамъ страдальца чашу съ водою, чистою и прозрачною, какъ хрусталь. Искушеніе было ужасно, но старецъ устоялъ. Онъ зажмурилъ глаза, чтобъ не видѣть соблазнителя, и сказалъ: «Лучше умереть въ страданіяхъ по волѣ Господней, чѣмъ жить тобою, врагъ Божій. Исчезни, сатана!»

Едва онъ выговорилъ эти слова, какъ вдругъ раздался ударъ грома, и ослѣпительная молнія обвилась вокругъ искусителя; онъ вспыхнулъ, разостлался смраднымъ дымомъ по землѣ, завылъ вихремъ по лѣсу, разметалъ, какъ соломинки, направо и налѣво столѣтнія сосны и съ воемъ исчезъ въ рѣкѣ. Еще грянулъ громъ, и у самыхъ ногъ старца огромный камень разсѣлся на двое; изъ трещины брызнулъ источникъ живой воды, закипѣлъ между каменьями и

помчался внизъ по скату горы. Разумѣется, старецъ напился, вскорѣ почувствовалъ облегченіе отъ своей болѣзни, и прожилъ еще двадцать лѣтъ, хваля и славя Бога.

Теперь, когда вы дошли вмѣстѣ со мною до часовни, то можете однимъ взглядомъ окинуть всѣ владѣнія Кузьмы Петровича Мирошева, и въ то же время полюбоваться живописнымъ видомъ Хопра и всѣхъ его окрестностей. Прямо передъ вами, то-есть по ту сторону холма, широкія поля, господскія усадьбы, села и кой-гдѣ изгибистый Хоперъ, который то появляется, то исчезаетъ за рощами и холмами. Вдали, на высокомъ берегу его, подымается крѣпостной валъ, а за нимъ нѣсколько бѣлокаменныхъ зданій и соборъ, прежде бывшей крѣпости, а нынѣ уѣзднаго города Хоперска. Если мы обернемся, чтобъ идти назадъ, то передъ нами откроются виды, не менѣе прекрасные. Внизу, подъ нашими ногами, дубовая роща. Вотъ вѣтеръ пахнулъ сильнѣе, и вершины сплошныхъ деревьевъ заволновались какъ зеленое море; онъ стихъ, и передъ нами разостлался зеленый бархатный коверъ. Далѣе господская усадьба и покатистый лугъ до самаго Хопра; по ту сторону рѣки обширная пойма, лѣтомъ покрытая густою зеленью и цвѣтами, весной залитая верстъ на пять въ ширину обильными водами Хопра. Налѣво, шаговъ сто отъ барскаго дома, на самомъ берегу рѣки, сельцо Хопровка, то есть двѣнадцать крестьянскихъ дворовъ съ пятюдесятью ревизскими душами. Эта небольшая деревенька, съ восемьюстами десятинами земли въ окружной межѣ, съ поемными лугами, рыбною ловлею и разными другими доходными статьями, была наслѣдственной и единственной отчиною Кузьмы Петровича Мирошева; она почти никогда не давала ему менѣе шестисотъ рублей годового дохода. Вы можете судить по этому, какимъ отличнымъ хозяиномъ былъ Кузьма Петровичъ. Правда, было къ чему и руки приложить: Хопровка славилась своими угодьями; всѣ окрестные жители называли ее золотымъ дномъ, и, конечно, самый плохой помѣщикъ не получилъ бы съ нея менѣе трехсотъ рублей въ годъ дохода; однимъ словомъ, эта деревенька вполнѣ оправдывала русскую пословицу: «малъ золотникъ, да дорогъ.»

Съ землею Кузьмы Петровича Мирошева сходилась земля одного порядочнаго села, принадлежащаго графу Р****му; имъ управлялъ приказчикъ, а самъ баринъ зналъ это село только по слуху; и неудивительно: въ немъ было съ не-

большимъ четыреста душъ; слѣдовательно, оно не составляло даже и четырехсотой части его огромнаго имѣнія. Почти всѣ остальные сосѣди Мирошева были мелкопомѣстные дворяне, исключая одного богатаго помѣщика, о которомъ мы поговоримъ послѣ.

II.

Откуда происходилъ родъ Мирошевыхъ, и отчего у прадѣда Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, а у него только пятьдесятъ.

Древній родъ дворянъ Мирошевыхъ произошелъ слѣдующимъ образомъ отъ рода князей Барашевыхъ, младшаго колѣна рода князей Звенигородскихъ:

У князя Ивана, княжъ Петрова сына Звенигородскаго, было два сына: князь Иванъ Барашъ, да князь Михайла Спячій; у князя Бараша сынъ князь Иванъ Адашъ; у князя Адаша сынъ Недашъ; у князя Недаша сыновья: Алексѣй Звѣнецъ, Юрій Мочька и Петръ Мирошъ; отъ Петра пошли Мирошевы. Въ родѣ Мирошевыхъ, которые всѣ служили вѣрою и правдою великимъ князьямъ и царямъ русскимъ, было двое окольничихъ, четыре стольника и человѣкъ пять стряпчихъ, изъ которыхъ одинъ при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ былъ даже стряпчимъ *съ ключемъ* и *путемъ*. Онъ удостоился этой особенной милости за то, что отлично трезвонилъ въ колокола. Я думаю, вамъ извѣстно, любезные читатели, что царь Ѳеодоръ Іоанновичъ весьма жаловалъ колокольный звонъ и очень часто изволилъ самъ потѣшаться этою забавою. Въ царствованіе царя Ѳеодора Алексѣевича оставался изъ всего рода Мирошевыхъ одинъ только Петръ Голышъ; у Петра Голыша было три сына: Андрей Кочерга, Степанъ Шарапъ, да Петръ Бутузъ. Андрей и Степанъ умерли бездѣтными. У Петра Бутуза былъ сынъ Кузьма Петровичъ; у Кузьмы Петровича сынъ Петръ Кузьмичъ, а у Петра Кузьмича родился сынъ Кузьма Петровичъ, теперешній помѣщикъ сельца Хопровки.

Прадѣдушка Кузьмы Петровича, то есть Петръ Голышъ, былъ сначала писанъ въ разрядныхъ книгахъ московскимъ жильцомъ и служилъ въ холопьемъ приказѣ; потомъ, при

царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣевичахъ, вошелъ какъ то въ милость у царевны Софьи Алексѣевны, жалованъ отъ нея разными помѣстьями и переименованъ въ стольники. Онъ умеръ, оставивъ послѣ себя двѣ тысячи душъ крестьянъ и домъ какъ полную чашу. Сынъ его, Кузьма Бутузъ, попалъ было при царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ въ потѣшные, но за неуклюжество и необычайную дородность былъ уволенъ отъ фрунтовой службы, отправился жить въ свои помѣстья, завелъ огромную псовую охоту, и чтобъ перещеголять знаменитаго князя Ромодановскаго, у котораго садилось на коня безъ малаго сто человѣкъ псарей и стремянныхъ, онъ выѣзжалъ въ поле съ тремя перемѣнными стаями, и охотниковъ у него было сто двадцать человѣкъ, которые порскали, спали, пили, ѣли и скушали, наконецъ, вмѣстѣ съ борзыми и гончими собаками, почти все его имѣнье. Кузьма Петровичъ Бутузъ скончался на сороковомъ году отъ одышки, передавъ въ наслѣдство единственному своему сыну, Петру Кузьмичу, съ небольшимъ четыреста душъ, до тла разоренныхъ крестьянъ. Мать Петра Кузьмича умерла вскорѣ послѣ своего мужа, оставивъ пятилѣтняго сына совершеннымъ сиротою. Родной братъ покойницы взялъ его на свои руки. По счастію, этотъ дядя былъ человѣкъ честный и добрый: онъ далъ своему племяннику воспитаніе, по тогдашнему, весьма хорошее. На тринадцатомъ году Петръ Кузьмичъ читалъ безъ запинки псалтырь, а святцы зналъ наизусть отъ доски до доски. Писалъ онъ очень бойко, и выводилъ такіе отличные крючки, что дядя, который служилъ самъ секретаремъ въ провинціальной канцеляріи, не могъ безъ радостныхъ слезъ смотрѣть на необычайный почеркъ своего питомца. Въ ариѳметикѣ онъ также былъ очень силенъ: всякій разъ, какъ дядя его справлялъ свои именины, или день рожденія, — а къ нему въ эти дни съѣзжалось человѣкъ до тридцати гостей, — Петръ Кузьмичъ долженъ былъ выдерживать публичный экзаменъ. Старикъ дядя, желая похвастаться при всѣхъ ученостью своего племянника, бралъ въ руки огромную книгу въ кожаномъ переплетѣ и начиналъ испытаніе слѣдующимъ образомъ:

— Послушай-ка, братецъ! Вопросъ: что есть ариѳметика?

— Ариѳметика, или числительница,—отвѣчалъ обыкновенно нараспѣвъ и тоненькимъ голоскомъ Петръ Кузьмичъ,—

есть художество честное, независтное, удобопонятное, многополезнѣйшее, многохвальнѣйшее...

— Хорошо! Теперь скажи-ка мнѣ, колико-губа есть ариѳметика практика?

— Есть сугуба: ариѳметика-политика и ариѳметика-логистика.

— Изрядно, изрядно! Ну, а что есть адиціо?

— Адиціо, или сложеніе, есть дву или многихъ числъ во едино собраніе, или во единъ перечень совокупленіе.

— Такъ, Петруша, такъ! Изрядно!... А что есть мультипликаціо?

— Мультипликаціо, или умноженіе, есть имъ-же что въ числахъ умножаемъ, или коликимъ вещамъ, по множеству другихъ вещей, раздаемъ и количество ихъ числомъ показуемъ.

— Хорошо! Изрядно, весьма изрядно!.. Ай да, Петруша! Спасибо, братъ, спасибо!

Тутъ добрый дядя закрывалъ книгу, и со всѣхъ сторонъ начинались восклицанія:

— Ну, ребенокъ!... Какіе годы и какое разумѣніе!... Умудряетъ же Господь Богъ младенцевъ!..

— Да это что еще!—говаривалъ дядя, потирая съ радостію руки. —То ли еще мы съ Петромъ знаемъ! Вотъ, наприкладъ: если вы поѣдете отсюда до Москвы, такъ хотите ли, онъ скажетъ, сколько разъ во всю дорогу у вашей повозки колесо обернется?

Всѣ гости ахали отъ удивленія, многіе не вѣрили, иные даже обижались такою явною насмѣшкою хозяина; но никто не смѣлъ прекословить почтенному старику. Одна только двоюродная его сестрица, супруга воеводскаго товарища, не скрывала иногда своего неудовольствія.

— Хи, хи, хи! Что вы это, батюшка-братецъ! — говаривала она, покачивая головою,—побойтесь Бога! Ну кто вамъ повѣритъ? Кто можетъ счесть, сколько разъ колесо и и на десяти верстахъ повернется?.. А то, шутка ли—семьсотъ!

— Эка важность! Да будь хоть семь тысячъ,—сочтемъ, матушка, говорю вамъ, сочтемъ!

— Полноте, Иванъ Ѳедоровичъ! Вѣдь это ужь и грѣхъ. Да этакъ, пожалуй, про васъ скажутъ, прости, Господи...

— Да, матушка-сестрица, мы съ нимъ колдуны! Или не угодно ли вамъ знать, сколько отъ васъ до Москвы вершковъ будетъ?

— Перестаньте, братецъ, перестаньте! Что вы это, въ самомъ дѣлѣ? Да отсюда до Москвы вершкамъ то и счету нѣтъ!

— Авось какъ-нибудь сочтемся! Петруша, ну-ка, братъ, смекни!

Петръ Кузьмичъ бралъ листъ бумаги, въ нѣсколько минутъ приводилъ семьсотъ верстъ въ сажени, сажени въ аршины, аршины въ вершки и, къ удивленію всѣхъ гостей, объявлялъ утвердительно, что до Москвы шестнадцать милліоновъ восемьсотъ тысячъ вершковъ.

— Ахъ, батюшки-свѣты!—сказала однажды эта двоюродная сестрица, когда Петръ Кузьмичъ вычислилъ при ней, сколько капель воды въ сороковой бочкѣ.—Да это ужь и въ самомъ дѣлѣ премудрость! Да онъ этакъ, братецъ, сочтетъ, сколько песку на днѣ морскомъ!

— Ну, это дѣло другое, матушка-сестрица, —отвѣчалъ простодушно дядюшка.—Этому онъ еще не обучался. Да и какіе здѣсь учители? Вотъ хоть, напримѣръ, Андрей разстрига,—ну, конечно, проходилъ въ семинаріи всѣ науки; да такой пьяница, что избави, Господи! Схватитъ за десять уроковъ полтинку, да и въ кабакъ; давнымъ-давно весь умъ пропилъ! Или дьячекъ Ѳома: училъ Петрушу грамотѣ, а теперь самъ у него поучится. Нѣтъ, дастъ Богъ, подрастетъ, такъ мы отправимъ его доучиваться въ Москву. Не знаю нынче, а въ старину на Сухаревой башнѣ всему обучали. А не то и до резиденціи доѣдемъ. Тамъ, говорятъ, всякія школы есть и заморскихъ учителей довольно; а все завелъ батюшка Петръ Алексѣевичъ, дай Богъ ему царство небесное! То-то былъ Царь-Государь! Поколачивалъ онъ, бывало, нашу братью-секретарей, и старшимъ подчасъ доставалось,—за то все шло какъ по маслу... Эхъ, да что объ этомъ говорить,—не наше дѣло! Вотъ этакъ годика черезъ три я пооблегчусь, да, можетъ статься, и самъ съ тобою въ Питеръ скатаю!

И точно, онъ поѣхалъ съ нимъ въ Петербургъ, только не черезъ три года, а черезъ пять лѣтъ: по разнымъ обстоятельствамъ дядюшка не могъ собраться прежде въ эту дальнюю дорогу. Межъ тѣмъ Петръ Кузьмичъ подросъ, выровнялся и сталъ такимъ молодцомъ, что любо-дорого было посмотрѣть! Ростомъ и дородствомъ онъ пошелъ по батюшкѣ, только ладъ то въ немъ былъ не тотъ. Петръ Кузьмичъ былъ малый проворный, ловкій, и, по словамъ стариковъ,

есть художество честное, независтное, удобопонятное, многополезнѣйшее, многохвальнѣйшее...

— Хорошо! Теперь скажи-ка мнѣ, колико-губа есть ариѳметика практика?

— Есть сугуба: ариѳметика-политика и ариѳметика-логистика.

— Изрядно, изрядно! Ну, а что есть адиціо?

— Адиціо, или сложеніе, есть дву или многихъ числъ во едино собраніе, или во единъ перечень совокупленіе.

— Такъ, Петруша, такъ! Изрядно!... А что есть мультипликаціо?

— Мультипликаціо, или умноженіе, есть имъ-же что въ числахъ умножаемъ, или коликимъ вещамъ, по множеству другихъ вещей, раздаемъ и количество ихъ числомъ показуемъ.

— Хорошо! Изрядно, весьма изрядно!.. Ай да, Петруша! Спасибо, братъ, спасибо!

Тутъ добрый дядя закрывалъ книгу, и со всѣхъ сторонъ начинались восклицанія:

— Ну, ребенокъ!... Какіе годы и какое разумѣніе!... Умудряетъ же Господь Богъ младенцевъ!..

— Да это что еще!—говаривалъ дядя, потирая съ радостію руки. —То ли еще мы съ Петромъ знаемъ! Вотъ, наприкладъ: если вы поѣдете отсюда до Москвы, такъ хотите ли, онъ скажетъ, сколько разъ во всю дорогу у вашей повозки колесо обернется?

Всѣ гости ахали отъ удивленія, многіе не вѣрили, иные даже обижались такою явною насмѣшкою хозяина; но никто не смѣлъ прекословить почтенному старику. Одна только двоюродная его сестрица, супруга воеводскаго товарища, не скрывала иногда своего неудовольствія.

— Хи, хи, хи! Что вы это, батюшка-братецъ! — говаривала она, покачивая головою,—побойтесь Бога! Ну кто вамъ повѣритъ? Кто можетъ счесть, сколько разъ колесо и и на десяти верстахъ повернется?.. А то, шутка ли—семьсотъ!

— Эка важность! Да будь хоть семь тысячъ,—сочтемъ, матушка, говорю вамъ, сочтемъ!

— Полноте, Иванъ Ѳедоровичъ! Вѣдь это ужь и грѣхъ. Да этакъ, пожалуй, про васъ скажутъ, прости, Господи...

— Да, матушка-сестрица, мы съ нимъ колдуны! Или не угодно ли вамъ знать, сколько отъ васъ до Москвы вершковъ будетъ?

— Перестаньте, братецъ, перестаньте! Что вы это, въ самомъ дѣлѣ? Да отсюда до Москвы вершкамъ то и счету нѣтъ!

— Авось какъ-нибудь сочтемся! Петруша, ну-ка, братъ, смекни!

Петръ Кузьмичъ бралъ листъ бумаги, въ нѣсколько минутъ приводилъ семьсотъ верстъ въ сажени, сажени въ аршины, аршины въ вершки и, къ удивленію всѣхъ гостей, объявлялъ утвердительно, что до Москвы шестнадцать милліоновъ восемьсотъ тысячъ вершковъ.

— Ахъ, батюшки-свѣты!—сказала однажды эта двоюродная сестрица, когда Петръ Кузьмичъ вычислилъ при ней, сколько капель воды въ сороковой бочкѣ.—Да это ужь и въ самомъ дѣлѣ премудрость! Да онъ этакъ, братецъ, сочтетъ, сколько песку на днѣ морскомъ!

— Ну, это дѣло другое, матушка-сестрица, —отвѣчалъ простодушно дядюшка.—Этому онъ еще не обучался. Да и какіе здѣсь учители? Вотъ хоть, напримѣръ, Андрей разстрига,—ну, конечно, проходилъ въ семинаріи всѣ науки; да такой пьяница, что избави, Господи! Схватитъ за десять уроковъ полтинку, да и въ кабакъ; давнымъ-давно весь умъ пропилъ! Или дьячекъ Ѳома: училъ Петрушу грамотѣ, а теперь самъ у него поучится. Нѣтъ, дастъ Богъ, подрастетъ, такъ мы отправимъ его доучиваться въ Москву. Не знаю нынче, а въ старину на Сухаревой башнѣ всему обучали. А не то и до резиденціи доѣдемъ. Тамъ, говорятъ, всякія школы есть и заморскихъ учителей довольно; а все завелъ батюшка Петръ Алексѣевичъ, дай Богъ ему царство небесное! То-то былъ Царь-Государь! Поколачивалъ онъ, бывало, нашу братью-секретарей, и старшимъ подчасъ доставалось,—за то все шло какъ по маслу... Эхъ, да что объ этомъ говорить,—не наше дѣло! Вотъ этакъ годика черезъ три я пооблегчусь, да, можетъ статься, и самъ съ тобою въ Питеръ скатаю!

И точно, онъ поѣхалъ съ нимъ въ Петербургъ, только не черезъ три года, а черезъ пять лѣтъ: по разнымъ обстоятельствамъ дядюшка не могъ собраться прежде въ эту дальнюю дорогу. Межъ тѣмъ Петръ Кузьмичъ подросъ, выровнялся и сталъ такимъ молодцомъ, что любо-дорого было посмотрѣть! Ростомъ и дородствомъ онъ пошелъ по батюшкѣ, только ладъ то въ немъ былъ не тотъ. Петръ Кузьмичъ былъ малый проворный, ловкій, и, по словамъ стариковъ,

какъ двѣ капли воды походилъ на своего дѣдушку. Когда дядя привезъ его въ Петербургъ, то, по общему совѣту всѣхъ знакомыхъ и благопріятелей, отдалъ его не въ школу, а записалъ въ конногвардейскій полкъ, который только что былъ сформированъ. Петръ Кузьмичъ служилъ такъ удачно, что чрезъ три года попалъ въ каптенармусы, а черезъ шесть махнулъ за отличіе прямо въ старшіе вахмистры. Черезъ годъ послѣ этого умеръ его дядя; имѣньемъ управлять было некому, и Петръ Кузьмичъ долженъ былъ поневолѣ выйти въ отставку, чтобъ заняться своимъ хозяйствомъ. Онъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ армейскаго капитана, и вмѣсто четырехсотъ разоренныхъ крестьянъ, у него оказалось, по милости покойнаго, слишкомъ семьсотъ душъ, устроенныхъ, приведенныхъ въ порядокъ и дающихъ отличный доходъ. Петръ Кузьмичъ могъ бы жить припѣваючи; но, на бѣду, онъ влюбился въ одну дѣвицу княжескаго рода, у которой наслѣдственнаго имѣнья не было, благопріобрѣтеннаго также; но за то много было спеси и глупаго чванства. Она вышла за него замужъ потому, что ей нечего было кушать, но ей такъ тяжело было перейти изъ сіятельныхъ въ благородныя, эта жертва казалось ей столь необъятною, что она полагала себя въ правѣ тиранить своего мужа день и ночь, помыкать имъ какъ слугою и, при всякомъ удобномъ случаѣ, напоминать ему, что она урожденная княжна Бирдюкова. Напрасно возражалъ ей иногда Петръ Кузьмичъ, что онъ также происходитъ отъ князей Барашевыхъ: это не помогало; одно безусловное повиновеніе мужа заставляло ее забывать на нѣсколько минутъ, что она должна вымещать на немъ потерю своего княжескаго достоинства. По волѣ жены своей, Петръ Кузьмичъ переѣхалъ жить въ Москву. Сначала купилъ онъ домъ на Арбатѣ, чистый, спокойный, съ прекраснымъ садомъ, и долго выносилъ нападки отъ своей жены, которая хотѣла имѣть домъ на Тверской; но подъ конецъ эти нашествія сдѣлались такъ часты, что ему пришлось хоть въ петлю лѣзть. Жена кричала съ утра до вечера, что Арбатъ улица мерзкая, что въ ней самый нездоровый воздухъ, что домъ расположенъ скверно, что онъ холоденъ и сыръ, какъ могила, и что она непремѣнно умретъ, если останется жить въ этомъ гробѣ. Дѣлать было нечего: домъ уступили за безцѣнокъ, продали полтораста душъ и купили огромныя двухъ-этажныя развалины на Тверской. Надобно было ихъ отдѣлать, а это стоило

также не дешево. Вѣдь каменный домъ не то, что деревянный! Конечно, очень пріятно сказать при случаѣ: «мой домъ на Тверской!» Но это еще не все: у кого большой каменный домъ на Тверской, тотъ и живетъ ужь не такъ, какъ живутъ въ деревянныхъ домикахъ подъ Дѣвичьимъ или за Москвой-рѣкой. Въ этомъ же домѣ была огромная зала въ два свѣта, а я спрашиваю всякаго: можно ли тому, у кого въ домѣ большая зала въ два свѣта, не дѣлать праздниковъ? Нельзя! Вѣдь это почти все то-же, что построить театръ и не давать въ немъ представленій.

Въ то же время жить было гораздо дешевле нынѣшняго, да за то и доходы были не такіе, какъ теперь; разумѣется, Петру Кузьмичу ихъ не доставало, чтобъ поддерживать свое полубоярское житье. Лѣтъ черезъ пять накопилось много долговъ. Жена посовѣтовала ему удвоить крестьянскій оброкъ и усилить запашку. И подлинно, въ первый годъ, послѣ этого экономическаго распоряженія, годовой доходъ былъ самый блестящій: старыхъ долговъ не заплатили, но за то не нажили и новыхъ; во второй годъ оказались недоборы. Строгій приказъ управителю: «Взыскать все до копѣйки». Взыскано; но за то на третій годъ всѣ оброчныя статьи превратились въ одну огромную недоимку, и господскія поля остались незасѣянными. «Чтожъ это такое? Сейчасъ смѣнить управителя, послать другого!» Послали, и вотъ новый управитель доноситъ, что тѣхъ крестьянъ, которые были на барщинѣ, ему не зачѣмъ и въ поле выгонять: они, дескать, поморили всѣхъ лошадей на господской запашкѣ, потому что ее удвоили, а число тяглъ оставалось все то-же, съ оброчныхъ же мужичковъ брать вовсе нечего, по той причинѣ, что они сами питаются мірскимъ подаяніемъ. Эта причина показалась весьма глупою госпожѣ Мирошевой; она закричала, что второй управитель хуже перваго, что всѣ русскіе приказчики или дураки, или мошенники, и что непремѣнно должно нанять нѣмца. Петръ Кузьмичъ предложилъ было женѣ ѣхать самимъ въ деревню, — куда!... Урожденная княжна Бирдюкова подняла такой штурмъ, что онъ не зналъ, куда отъ нея и дѣваться.

— Да помилуй, матушка,—сказалъ онъ наконецъ своей разгнѣванной супругѣ, когда она поуспокоилась и сѣла за свой туалетный столикъ,—скоро ли найдешь нѣмца? А вѣдь намъ ѣсть нечего.

— Я, Петръ Кузьмичъ, въ эти подробности не вхожу:

мое дѣло женское,—отвѣчала Екатерина Семеновна, приклеивая къ правому виску черную бархатную мушку;—объ этомъ должны заботиться мужья, а не жены:

— Но чтожъ прикажете мнѣ дѣлать?

— Какъ, что? Да почему же вамъ не продать это скверное имѣнье, которое не даетъ намъ никакого дохода? Продайте его и купите подмосковную. У княгини Хабаровой есть подмосковная; у князя Кожухова есть подмосковная; у графини Бирюлькиной есть подмосковная; у всѣхъ порядочныхъ людей есть подмосковныя; — почему-жъ у насъ нѣтъ? За семьсотъ верстъ приказчикамъ не трудно грабить и обманывать своихъ господъ, а это будетъ у насъ подъ глазами.

— Такъ, матушка, такъ! Да вѣдь имѣнье то въ два дня не продашь: на это надо время; ну, разсуди сама...

— Это ужь, Петръ Кузьмичъ, не моя забота; я не для того вышла замужъ, чтобы заниматься вашими дѣлами. Продавайте или не продавайте, для меня все равно; только не забудьте, что я сегодня буду играть у княгини Хабаровой въ реверси, и что мнѣ нужны деньги.

И вотъ еще двѣсти душъ проданы за полцѣны. Правда, деньги пошли не всѣ на вѣтеръ: на имя Екатерины Семеновны Мирошевой куплено сорокъ душъ въ десяти верстахъ отъ Москвы. Изъ этихъ сорока душъ, выключая малолѣтнихъ, всѣ остальныя души были горькіе пьяницы; земли всего двѣсти десятинъ, угодьевъ никакихъ; но за то господскій домъ съ бельведеромъ, рѣчка, пруды и садъ на двадцати десятинахъ.

Я позабылъ вамъ сказать, любезные читатели, что у Екатерины Семеновны Мирошевой была родная сестра, княжна Елена Семеновна, дѣвица лѣтъ пятидесяти. Она жила гдѣ то въ Саратовскомъ намѣстничествѣ, въ небольшой деревушкѣ, которую отказала ей, по духовной, крестная мать, также изъ рода князей Бирдюковыхъ. Екатерина Семеновна Мирошева была за что-то въ ссорѣ со своею сестрою, не пригласила ее даже къ себѣ на свадьбу и никогда о ней не говорила, какъ будто бы ее вовсе и на свѣтѣ не было. Когда родился у Мирошевыхъ сынъ, а это еще было до ихъ переселенія въ Москву, Петръ Кузьмичъ извѣстилъ потихоньку отъ жены княжну Елену Семеновну объ этомъ счастливомъ событіи, и получилъ отъ нея самый ласковый и родственный отвѣтъ.

Екатерину Семеновну Мирошеву нельзя было назвать нѣжною матерью: она вовсе не хотѣла заниматься воспитаніемъ своего сына; да и то сказать: когда ей было думать объ этомъ? Вѣдь не легко поддерживать большое знакомство, ѣздить на вечера и принимать гостей, а сверхъ того у нея и такъ было на рукахъ двѣ моськи, котъ ангора и дюжины двѣ канареекъ,—было съ кѣмъ няньчиться! Можетъ быть, Екатерина Семеновна не была бы такъ холодна къ этому ребенку, еслибъ у него было другое имя; а то—представьте себѣ: мужъ осмѣлился, безъ ея вѣдома, назвать его, въ честь дѣдушки, Кузьмою!... Кузьмою! А я васъ спрашиваю, какъ можно приласкать ребенка Кузьму? Ну, какъ его назовешь? Кузенька—не хорошо! Кузя—еще хуже! По крайней мѣрѣ, такъ всегда говорила Екатерина Семеновна.

— Да ужь это, матушка,—сказалъ однажды Петръ Кузьмичъ,—искони вѣковъ ведется въ родѣ Мирошевыхъ: у Кузьмы всегда сынъ Петръ, у Петра сынъ Кузьма...

— Прекрасное обыкновеніе!.. Кузьма! Да Кузьмою можетъ только называться лакей или кучеръ, это — имя холопское. Вотъ что вы, сударь, надѣлали: по вашей милости я не могу любить моего сына!.. Да, да, я видѣть его не могу!.. Лишь только онъ подрастетъ, извольте отвезти его въ Петербургъ и отдать въ кадетскій корпусъ!

Вслѣдствіе сей милостивой резолюціи, Петръ Кузьмичъ не далъ засидѣться въ Москвѣ своему сыну. Когда ему исполнилось тринадцать лѣтъ, батюшка сколотилъ рублей тысячу, то-есть занялъ подъ залогъ имѣнья, и отправился съ сыномъ въ Петербургъ; сына онъ помѣстилъ въ кадетскій корпусъ, деньги истратилъ на разные заморскіе гостинцы для своей супруги и поспѣшилъ возвратиться въ Москву.

Пока Кузьма Петровичъ учится въ кадетскомъ корпусѣ, я разскажу вамъ въ двухъ словахъ, чѣмъ кончилось житье-бытье Мирошевыхъ, которымъ не суждено уже было видѣться въ здѣшнемъ мірѣ съ единственнымъ ихъ сыномъ.

Пять лѣтъ еще прожили они кой-какъ на Тверской, а тамъ должны были продать домъ, потому что Екатерина Семеновна не хотѣла разстаться со своею подмосковною; дру-другихъ крестьянъ у нихъ давно уже не было. Къ концу шестого года у Петра Кузьмича, вслѣдствіе небольшой сесемейной размолвки, разлилась желчь, и онъ умеръ скоропостижно. Неутѣшная вдова объявила всѣмъ знакомымъ и

роднымъ, что намѣрена разстаться навсегда со свѣтомъ.

И дѣйствительно, она уѣхала въ свою подмосковную. Это было въ концѣ апрѣля; въ началѣ октября она возвратилась въ городъ посовѣтоваться съ докторами о своемъ здоровьи; въ ноябрѣ скинула черное платье и надѣла бѣлое; въ декабрѣ, для разсѣянія, начала играть попрежнему въ реверси, а въ январѣ простудилась на балѣ у княгини Хабаровой и умерла нервическою горячкою. Послѣ ея смерти подмосковную описали за долги, продали съ публичнаго торга и отослали сыну триста рублей, которые остались за удовлетвореніемъ всѣхъ заимодавцевъ покойной его матери.

Теперь вы знаете, любезные читатели, отчего у прадѣдушки Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, и куда дѣвалаоь это богатое родовое имѣніе; но вы еще не знаете, и я долженъ вамъ разсказать, какимъ образомъ Кузьма Петровичъ, которому, кромѣ трехсотъ рублей, ничего не досталось въ наслѣдство, сдѣлался господиномъ пятидесяти душъ, то-есть помѣщикомъ сельца Хопровки.

III.

Кто такой былъ Прохоръ Кондратьичъ, и какъ онъ выторговалъ тридцать рублей у нѣмца-портного.

Триста рублей, доставшіеся Кузьмѣ Петровичу послѣ матери, пришли очень кстати: онъ назначенъ былъ къ выпуску. По своему отличному поведенію и успѣхамъ въ наукахъ, Кузьма Петровичъ стоялъ однимъ изъ первыхъ кадетовъ по своему корпусу. Грустно было бѣдному сиротѣ подумать, что ему некого было порадовать своимъ офицерскимъ чиномъ. Конечно, онъ не былъ избалованъ ласкою своихъ родителей: мать его не любила, отецъ не смѣлъ любить, и онъ успѣлъ ужь привыкнуть заранѣе къ своему сиротству; но иногда ему приходило въ голову, что когда онъ явится къ матери молодцомъ, въ красивомъ мундирѣ, когда ей можно будетъ взглянуть съ улыбкою гордости на своего сына, то, вѣроятно, сердце ея забьется сильнѣе обыкновеннаго, и она съ любовью протянетъ къ нему свои руки. Бѣдный ребенокъ, онъ не зналъ еще, что у дурной

матери вовсе нѣтъ сердца; онъ не зналъ, до какой степени гордая, упрямая и избалованная женщина можетъ ожесточить свою душу. О, конечно, дурная мать во сто разъ хуже всякой мачихи! Та хоть людей постыдится; а родной матери чего бояться? Кто осмѣлится подумать, что она можетъ безъ причины ненавидѣть свое дитя? Я и самъ бы не повѣрилъ этому, еслибъ не зналъ матерей, которыя одного ребенка боготворятъ, а другого ненавидятъ со дня его рожденія. Что за небесное созданіе, кроткая и добрая женщина! Но за то, если она зла,—избави, Господи! Мужчина, чѣмъ бы онъ ни былъ, а все-таки въ немъ остается что то человѣческое; одна только женщина можетъ быть и совершеннымъ ангеломъ и воплощеннымъ сатаною.

Впрочемъ, я ошибся, когда сказалъ, что Кузьмѣ Петровичу некого было порадовать своимъ офицерскимъ чиномъ: нѣтъ, онъ не вовсе былъ сиротою: у него былъ дядька, по имени Прохоръ Кондратьичъ. Этотъ образчикъ старинныхъ русскихъ домочадцевъ, которые выняньчивали на рукахъ своихъ дворянскихъ дѣтей, стоитъ того, чтобъ я познакомилъ васъ съ нимъ покороче.

Прохоръ Кондратьичъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, приземистый, широкоплечій и нѣсколько сутуловатый. Широкій лобъ его, покрытый морщинами, сливался съ огромною лысиною, которая оканчивалась почти на самомъ затылкѣ нѣсколькими клочками свѣтлорусыхъ волосъ съ просѣдью. Съ перваго взгляда широкое лицо его, нѣкогда румяное, а теперь багровое, не обѣщало ничего добраго: вы побились бы объ закладъ, что онъ горькій пьяница, и проиграли бы навѣрное, потому что Прохоръ Кондратьичъ и въ ротъ не бралъ хмѣльного. Блѣдносѣрые подслѣповатые глаза съ нависшими бровями, толстый, круглый носъ и ротъ до ушей, все это было вовсе не красиво; но подъ этою грубою оболочкою таилась самая добрая и честная душа; въ этихъ прищуренныхъ, безцвѣтныхъ глазахъ блисталъ по временамъ природный русскій умъ, который мы, по нашему враждебному смиренію, называемъ просто русскимъ толкомъ. Самая нѣжная мать не могла бы любить дитя свое болѣе того, какъ онъ любилъ своего молодого барина. Можетъ быть, онъ не вдругъ бы рѣшился погубить за него свою душу,—но умереть за Кузьму Петровича, идти за него въ огонъ и въ воду, заслонить его своею грудью отъ пушечнаго ядра, объ этомъ Прохоръ

Кондратьичъ не призадумался бы ни на минуту. Сколько разъ бывало, когда Екатерина Семеновна разгнѣвается безъ всякой причины на своего сына, прогонитъ съ глазъ долой и прикажетъ запереть одного въ его темной комнатѣ на антресоляхъ, — Прохоръ Кондратьичъ, несмотря на строгое запрещеніе, прокрадется тихонько въ дѣтскую, подсядетъ къ *своему дитяти*, отдастъ ему какого-нибудь пряничнаго конька или пѣтушка, купленнаго на послѣднюю копѣйку, начнетъ его ласкать, приголубливать, примется строить ему карточный домикъ; ребенокъ забудетъ свое горе, поразвеселится, а добрый Кондратьичъ нѣтъ-нѣтъ, да отворотится и потихоньку, чтобъ дитя не видѣло, утираетъ полою сюртука свои слезы. Вотъ иногда узнаютъ объ этомъ, Прохора Кондратьича отколотятъ по щекамъ, а ему и горюшка мало! Думаетъ про себя: «Бей меня, матушка, сколько душѣ твоей угодно, только не мѣшай мнѣ любить твое дѣтище»... Куда дѣвалось это поколѣніе вѣрныхъ слугъ боярскихъ? Оно исчезло вмѣстѣ съ патріархальными нравами нашихъ предковъ. Теперь такая безкорыстная любовь къ чужому ребенку можетъ показаться невѣроятною, а въ старину это бывало сплошь. Обыкновенно, барское дитя переходило отъ кормилицы на руки къ нянюшкѣ, отъ няни мальчикъ поступалъ подъ надзоръ дядьки, и всѣ эти хожатые: кормилица, нянюшка и дядька сохраняли до самой смерти неизмѣнную привязанность къ ребенку, который впослѣдствіи становился ихъ бариномъ. Разумѣется, эта любовь была всегда самая слѣпая и безотчетная; обыкновенно, каждая нянюшка и каждый дядька не сомнѣвались, что ихъ дитя и умнѣе и лучше своихъ братьевъ и сестеръ. Это бы еще ничего; но они также были увѣрены, что оно не могло быть никогда и ни въ чемъ виноватымъ. Отъ этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало, два братца подерутся между собою, а тамъ—глядишь, и нянюшки таскаютъ другъ друга за волосы.

Теперь, если вы спросите меня, какимъ образомъ Прохоръ Кондратьичъ уцѣлѣлъ одинъ изъ всѣхъ крестьянъ и дворовыхъ людей Петра Кузьмича Мирошева, то я изъясню вамъ это въ двухъ словахъ. Прохоръ Кондратьичъ принадлежалъ Екатеринѣ Семеновнѣ и имѣлъ отъ нея домовую отпускную, въ силу которой онъ не могъ быть проданъ при жизни своей барыни, а по смерти ея дѣлался

навсегда свободнымъ, то-есть имѣлъ полное право умереть на старости съ голоду, или питаться Христовымъ именемъ. Какъ ни лестно это право, но добрый старикъ не захотѣлъ бы имъ воспользоваться, еслибъ даже былъ и молодымъ человѣкомъ: онъ твердо рѣшился жить и умереть при своемъ баринѣ.

Разумѣется, присланные изъ Москвы триста рублей отданы были подъ сохраненіе Прохору Кондратьичу. И баринъ и слуга, оба думали, что съ такою огромною казною имъ ни въ чемъ не будетъ недостатка; но когда дѣло дошло до обмундировки и Кондратьичъ смекнулъ на счетахъ, что будетъ стоить полный драгунскій мундиръ, то руки у него опустились отъ ужаса.

— Чтожъ это такое?—сказалъ онъ.—Батюшка, Кузьма Петровичъ, да вѣдь мундиръ то будетъ стоить рублей сорокъ! Ахъ ты, Господи!.. Да еще, глядишь, портной заломитъ рубля четыре за работу.

— Что ты, Прохоръ, какіе четыре рубля: и за восемь не сдѣлаютъ.

— За восемь? Нѣтъ, сударь, жирно будетъ!

— Да вотъ мой товарищъ, Засѣкинъ, — съ него взялъ портной нѣмецъ за всю пару десять рублей.

— Да то нѣмецъ, сударь, а мы поищемъ русскаго.

— И, Прохоръ!.. Да чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь у насъ триста рублей!

— Кто и говоритъ, сударь, триста рублей велико дѣло; да вѣдь и годовъ то впереди много: на то копѣйка, на другое грошъ, и не увидите, батюшка, какъ денежки выйдутъ.

— Послушай, Прохоръ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, не смѣя взглянуть на своего дядьку, — ты разсердишься?

— А что, сударь?

— Вѣдь я ужь мундиръ то заказалъ.

— Заказали?.. Какъ заказали?.. Ужь не нѣмцу ли?

— Нѣмцу.

Прохоръ Кондратьичъ поблѣднѣлъ.

— Вотъ тебѣ разъ! — прошепталъ онъ сквозь зубы.—А сколько онъ съ васъ выпросилъ?

— За полный мундиръ со всею амуниціею: и шляпа, и шпага, и пуговицы—все его...

— Ну, сударь, ну!.. Сколько онъ съ васъ взялъ? — проговорилъ трепещущимъ голосомъ старикъ.

— Сто рублей.

— Сто рублей! — вскричалъ Прохоръ, всплеснувъ руками.—Ахъ, онъ, басурманская рожа!.. Сто рублей!.. Ахъ, онъ разбойникъ!

— Да за то какъ все будетъ сдѣлано!..

— Что сдѣлано, батюшка!.. Помилуйте—сто рублей!.. Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, воля ваша, плюньте вы на этого нѣмца...

— Да я ужь, Прохоръ, и задатокъ ему далъ.

— Задатокъ?.. А гдѣ вы деньги то взяли?

— Мнѣ Засѣкинъ далъ взаймы двадцать рублей.

— Ну!!.. Плакали наши денежки! Ахъ, батюшка-баринъ, что это вы такъ опростоволосились? Легко вымолвить — сто рублей!.. Да этакъ онъ, разбойникъ, въ два года каменныя палаты выстроитъ!.. Да вы бы съ нимъ хоть поторговались, сударь!

— Что ты, Прохоръ,—вѣдь нѣмцы не торгуются.

— Не торгуются?.. Полноте, батюшка, Кузьма Петровичъ! Ну, вѣстимо, съ вами какой торгъ, — что запросилъ, то и даете. Нѣтъ, онъ меня бы попробовалъ!.. Намнясь, зашелъ я въ гамазею купить для васъ банку помады; нѣмецъ проситъ гривну, а я ему грошь, — онъ и говорить не хочетъ. Я посулилъ еще копѣйку, да и вышелъ вонъ. Подождалъ — не зоветъ назадъ; вотъ я опять къ нему: «Бери, мусье, пятакъ». А онъ кричитъ по своему: «Пошелъ вонъ!» Я еще денежку надбавилъ, а онъ меня по шеямъ изъ лавки. Я повременилъ, да въ третій разъ къ нему: «Хочешь, мусье, шесть копѣекъ?» Онъ было опять гнать меня изъ гамазеи, да нѣтъ—шутишь! Я уперся въ притолку, да и кричу: «Бери семь!» Ну чтожъ, сударь? Вѣдь отдалъ за семь копѣекъ. То-то и есть, съ нашимъ братомъ не то, что съ вами. Вотъ, постойте, я къ этому нѣмцу-портному схожу, да хоть у него и задатокъ есть, а онъ уступитъ, видитъ Богъ, уступитъ!

На другой день Кондратьичъ явился къ своему барину съ радостнымъ лицомъ.

— Ну, батюшка, — сказалъ онъ, — не говорилъ ли я вамъ, что нѣмецъ уступитъ?

— Неужели ты въ самомъ дѣлѣ что-нибудь выторговалъ?

— Да еще сколько, сударь! Я пришелъ къ нему; нѣмецъ такой дородный, сидитъ въ колпакѣ, а въ зубахъ

у него трубка. Я поклонился ему низенько, да и говорю: «Что, батюшка, баринъ мой, Кузьма Петровичъ Мирошевъ, заказалъ твоей милости мундиръ?» — «Заказалъ», дескать.—«За сто рублевъ?» — «Да, за сто». — «Эхъ, хозяинъ, хозяинъ»,—сказалъ я;—«ну, боишься ли ты Бога? Вѣдь баринъ то мой человѣкъ бѣдный: у него всего навсего сто рублей за душею».

— Зачѣмъ же ты, Прохоръ, солгалъ? Обманывать грѣшно.

— И, сударь, что тутъ за грѣхъ! Вѣдь это не что другое—это дѣло торговое! Вотъ нѣмецъ почесалъ у себя затылокъ, да и говоритъ: «Мой нельзя уступай меньше!»— А я ему: «Какъ нельзя, хозяинъ? Вѣдь барину то моему послѣзавтра походъ, а онъ круглый сирота, ни отца, ни матери; ты его обидишь, и тебя Богъ обидитъ». Нѣмецъ замоталъ головою. Ахъ ты, Господи! Грустно мнѣ стало; съ чѣмъ мы, въ самомъ дѣлѣ, въ походъ то пойдемъ?.. Заплакалъ, батюшка!.. Тутъ вдругъ и заговорила съ нимъ, по своему, жена что-ль его, не знаю,—баба также ражая, румяная, а лицо предоброе. Гляжу — нѣмецъ сталъ хмуриться, покачивать головой, надулся; она ему и то и се, а онъ молчитъ, да жретъ свой табачище... Глядь-поглядь, нѣмка то ужь и плачетъ. Вотъ, видно, и ему стало жалко. «Ну, добрый человѣкъ», — сказалъ онъ, — «если твой баринъ сирота, такъ Богъ съ нимъ: возьму съ него мою цѣну. У меня задатку двадцать рублей, приноси пятьдесятъ».—Я было поторговался еще съ нимъ малую толику, да нѣтъ — не уступаетъ. Эко диво, подумаешь: нѣмецъ, а сжалился!

— Да развѣ, по-твоему, Прохоръ, нѣмецъ то не человѣкъ?

— Да какъ вамъ сказать, сударь? Кажись, образъ человѣческій, а вѣдь Богъ знаетъ? Старики то наши не то говаривали... Ну да что объ этомъ! Завтра, батюшка, принесу къ вамъ мундиръ, да и укладываться. Вѣдь отправленіе то ваше готово?

— Генералъ сегодня мнѣ отдалъ и сказалъ, чтобъ я торопился: нашъ полкъ выступилъ въ походъ.

— Подъ нѣмца, сударь?

— Да, мы идемъ въ Пруссію.

— Эхъ, батюшка-баринъ, и пощеголять то вамъ здѣсь не дали! Ну, дѣлать нечего; вотъ, Богъ дастъ, вернетесь, такъ нагуляетесь до-сыта.

— А если не вернусь?

— Такъ авось тогда Господь Богъ и меня приберетъ вмѣстѣ съ вами... Да что объ этомъ загадывать... Богъ милостивъ: вернетесь, батюшка, да еще, можетъ статься, капитаномъ, а тамъ и въ отставку, да домой.

— Домой?.. Куда домой?

— Эхъ, совсѣмъ было забылъ? Что дѣлать, батюшка, Кузьма Петровичъ, негдѣ вамъ, сердечному, и головы преклонить: ни кола, ни двора, ни роду, ни племени... Э, да что говорить! Служите вѣрой и правдой Богу, да Царю, такъ будете съ домикомъ.

Когда Кузьма Петровичъ надѣлъ свой красивый драгунскій мундиръ, Прохоръ Кондратьичъ совсѣмъ обезумѣлъ отъ восторга и радости.

— Экій молодецъ!—кричалъ онъ.—Экій молодецъ! Ну, подлинно всѣмъ взялъ! И родятся же этакіе... Ахъ, ты, баринъ, мой голубчикъ, соколъ ты мой ясный! Да есть ли на бѣломъ свѣтѣ такіе красавцы? Нѣтъ, видитъ Богъ, нѣтъ,—не бывало и не раживалось! Да и мундирчикъ то, нечего сказать, такъ и поетъ! Ни морщинки, ни складочки!.. Ай да нѣмецъ,—спасибо!.. Пройдите ка, батюшка, пройдите!.. Ахъ, вы, мои родные!.. Писаный красавецъ!.. А поступь то какая, поступь!.. Орелъ!.. Батюшка, Кузьма Петровичъ, ступайте въ Лѣтній садъ!

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Людей посмотрѣть и себя показать. Мы завтра чѣмъ свѣтъ въ дорогу, такъ пускай на васъ хоть сегодня то полюбуются.

Кузьма Петровичъ и самъ хотѣлъ пощеголять своимъ мундиромъ. Спросите у любого прапорщика, что онъ дѣлалъ въ тотъ день, какъ надѣлъ въ первый разъ офицерскій мундиръ, — и онъ вѣрно вамъ скажетъ, что гулялъ; разумѣется, если только была возможность оставаться на открытомъ воздухѣ. Боже мой, какъ весело пройти мимо часового, который дѣлаетъ вамъ на караулъ! Какъ пріятно видѣть, что каждый солдатъ снимаетъ передъ вами фуражку! Вамъ кажется, что всѣ даютъ вамъ дорогу и смотрятъ на васъ, какъ на человѣка необыкновеннаго. Если вы встрѣтитесь когда-нибудь съ молодымъ офицеромъ, у котораго мундиръ съ иголочки, если этотъ офицеръ дѣлаетъ крюкъ для того только, чтобъ пройти мимо будки часового, уступаетъ дорогу однѣмъ женщи-

намъ, смотритъ прямо въ глаза всѣмъ мужчинамъ и не можетъ скрыть презрительной улыбки, взглянувъ на вашу круглую шляпу,—то будьте увѣрены, что онъ прапорщикъ и только что произведенъ въ офицеры.

Вотъ число гуляющихъ въ Лѣтнемъ саду умножилось однимъ драгунскимъ офицеромъ. Онъ бодро шелъ по средней аллеѣ; но такъ-какъ онъ былъ росту небольшого и наружности, хотя пріятной, но самой обыкновенной, то никто не обращалъ на него вниманія, кромѣ одного лысаго, въ коричневомъ сюртукѣ, старика который шелъ позади его шагахъ въ десяти. Этотъ старикъ, слѣдилъ его глазами и поглядывалъ съ удивленіемъ на всѣхъ проходящихъ.

— Экій народъ,—прошепталъ онъ себѣ подъ носъ:—никто и не взглянетъ! Какъ будто-бъ присмотрѣлись къ такимъ молодцамъ.

Вотъ наконецъ одна барыня оглянулась на драгуна, — старикъ улыбнулся; вотъ какая то мѣщанка въ запачканномъ шушунѣ остановилась и устремила свои взоры на проходящаго офицера.

— Что, тетка,—спросилъ ее старикъ,—любуешься? Каковъ молодецъ то!

— Хорошъ, мой родимый, хорошъ!

— То-то-же! Это мой баринъ, его благородіе, Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Такъ, батюшка, такъ!

— Экій красавецъ, подумаешь! Что, тетка, не видала ли ты этакихъ?

— Да, батюшка, баринъ личмянный; росту только Богъ не далъ.

— Что ты, старуха? Протри глаза то хорошенько! Какого еще тебѣ молодца надобно?

— Такіе ли, родимый, молодцы бываютъ.

— Такіе ли! Чтожъ ты на него бѣльмы то пялила?

— Да какъ же, батюшка! Вѣдь онъ лицомъ и ростомъ точь въ точь мой Ванюша.

— Ванюша? Какой Ванюша?

— Сынокъ мой, батюшка. Теперь онъ извозничаетъ, а прошлаго года совсѣмъ было поставили въ некруты, да въ мѣру не вышелъ.

Прохоръ Кондратьичъ плюнулъ и пошелъ прочь.

На другой день Кузьма Петровичъ, получивъ подорожную, отправился въ свой полкъ и догналъ его на самой границѣ.

IV,

ВЪ КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОСЛОВИЦЫ: «ХОРОШО ТОМУ ЖИТЬ, КОМУ БАБУШКА ВОРОЖИТЪ».

Вскорѣ по прибытіи Кузьмы Петровича въ полкъ, онъ выступилъ за границу и соединился съ арміею, которою командовалъ уже, вмѣсто генерала Фермора, знаменитый Салтыковъ. Кузьму Петровича полюбили всѣ товарищи за его кроткій нравъ, примѣрное добродушіе и веселый обычай, который однакожъ не мѣшалъ ему быть самымъ разсудительнымъ и степеннымъ прапорщикомъ во всей арміи. Старые служивые, начиная съ маіора, который командовалъ заурядъ полкомъ, говорили о немъ, какъ о самомъ отличномъ и исправномъ фрунтовомъ офицерѣ, а вся молодежь называла его «дядюшкою». Прохоръ Кондратьичъ попалъ также въ большую честь. Онъ заслужилъ такую довѣренность своимъ честнымъ поведеніемъ, что всѣ офицеры, которые были въ одной ротѣ съ Кузьмою Петровичемъ, сдѣлали его своимъ казначеемъ, то-есть отдали ему на сохраненіе свои артельныя деньги. Онъ никогда не сердился, когда смѣялись надъ его лысиною и краснымъ носомъ; разсказывалъ молодымъ господамъ разныя побасенки и очень часто служилъ для нихъ переводчикомъ. Прохоръ Кондратьичъ вполнѣ обладалъ этою сметкою и досужествомъ, которыя могутъ назваться отличительными чертами русскаго народа. Разумѣется, онъ не зналъ нѣмецкаго языка, а не смотря на это мастерски объяснялся съ нѣмцами; онъ составилъ для этого какой то особенный языкъ, въ которомъ слова: «биръ, бротъ, ваинъ, нихцъ, гутъ» служили основаніемъ, а «шверноть» необходимымъ дополненіемъ каждой фразы; всѣ прочія слова были ни что иное, какъ производныя рѣченія этихъ пяти коренныхъ словъ; онъ примѣшивалъ къ нимъ множество исковерканныхъ на «нѣмецкій манеръ» русскихъ рѣчей и добавлялъ все это чрезвычайно выразительною пантомимою.

Въ доказательство его досужества въ этомъ отношеніи, я приведу одинъ примѣръ изъ тысячи. Однажды хозяинъ-нѣмецъ не могъ никакъ понять, чего требуетъ русскій офицеръ, который стоялъ у него на квартирѣ. Офицеръ просилъ молока, а ему подали варенаго картофеля, потомъ

пива. Офицеръ былъ человѣкъ вспыльчивый и вздорный: онъ разсердился, началъ шумѣть и готовъ ужь былъ драться. Послали за переводчикъ; Прохоръ Кондратьичъ пришелъ и началъ изъясняться слѣдующимъ образомъ съ хозяиномъ:

— Послушай-ка, братъ, шверпотъ, вотъ что: мой не надо биръ,—понимаешь?.. Нихцъ биръ!

— Ваинъ?—проговорилъ нѣмецъ.

— И не ваинъ; намъ не надобно ни биру, ни ваину, ты давай намъ молока. Твой понимай—молока?

— Ихъ ферштее нихтъ!—сказалъ нѣмецъ, покачивая головою.

— Экій шверпотъ безтолковый! Ну, вотъ, смотри!

Тутъ Прохоръ сталъ на четвереньки и заревѣлъ коровою. Нѣмецъ побѣжалъ и принесъ жареной говядины.

— Нихцъ, нихцъ! — закричалъ Кондратьичъ.—Эхъ, не знаю, какъ по ихнему то молоко зовутъ!.. А вотъ постойте,—разомъ пойметъ! Эй, хозяинъ, намъ надо вотъ что,—смотри!

Прохоръ сталъ на колѣни и сдѣлалъ видъ, какъ будто бы доитъ корову.

— Милихъ?—вскрикнулъ хозяинъ.

— Гутъ, гутъ!—подхватилъ Прохоръ.—Милихъ, сирѣчь молоко! Теперь твой понимай? Давно бы этакъ! Давай намъ, камрадъ, милиху!

Нѣмецъ побѣжалъ на погребъ, а Кондратьичъ всталъ и, вытирая свою лысину, проговорилъ запыхавшись:

— Фу, батюшки, усталъ до смерти! Экій олухъ, подумаешь! Другіе на лету хватаютъ, а этотъ шверпотъ... Ну, попотѣлъ я съ нимъ!

Я уже сказалъ вамъ, любезные читатели, что начальники почитали Кузьму Петровича за самого примѣрнаго и отличнаго фрунтового офицера, а товарищи любили какъ истинно честнаго малаго и добраго сослуживца; но никто еще не зналъ, каковъ онъ будетъ въ дѣлѣ; нѣкоторые изъ молодыхъ офицеровъ сомнѣвались даже въ его храбрости, потому что онъ не горячился и не кричалъ: «Да скоро ли мы будемъ драться? Да когда же мы станемъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ?» А такихъ крикуновъ было много, разумѣется, между молодежи. Одни дѣйствительно ожидали этого съ нетерпѣніемъ, а другіе горячились ради молодечества и хвастовства; изъ числа послѣднихъ больше всѣхъ гарцовалъ поручикъ Фурсиковъ, шалунъ, повѣса и страш-

ный забіяка; рѣдко проходилъ день, чтобъ онъ не заводилъ съ кѣмъ-нибудь ссоры и не придирался бы къ кому-нибудь изъ товарищей, изъ которыхъ одинъ только поручикъ Костоломовъ, лихой офицеръ, гуляка, весельчакъ, но истинно добрый малый,—никогда ему не поддавался; многіе уступали Фурсикову потому, что онъ былъ человѣкъ богатый и сорилъ деньгами, а другіе, люди смирные, не хотѣли съ нимъ связываться, какъ съ отъявленнымъ головорѣзомъ; самъ маіоръ смотрѣлъ сквозь пальцы на буйное поведеніе этого Фурсикова, потому что онъ былъ роднымъ племянникомъ полковому командиру, который прибылъ къ полку наканунѣ сраженія подъ Кросеномъ.

За нѣсколько часовъ до дѣла, сошлись поболтать межъ собою человѣкъ пять офицеровъ, въ числѣ ихъ былъ и поручикъ Фурсиковъ.

— Ну что, господа?—сказалъ онъ, хлебнувъ водки изъ своей походной фляги, съ которой онъ никогда не разставался.—Сегодня, кажется, на нашей улицѣ праздникъ. Ужь то-то мы потѣшимся надъ этими нѣмцами!

— Давай ихъ сюда!—закричали офицеры.—Мы ихъ порядкомъ обработаемъ!

— Дай Богъ, — сказалъ Мирошевъ; — а, говорятъ, эти прусаки славно дерутся.

— Да, — подхватилъ Фурсиковъ, — такъ говорятъ всѣ трусы.

— Нѣтъ, я слышалъ это отъ нашего маіора, а кажется онъ не трусъ.

— Не трусъ, а всего боится. Вотъ и ты, Мирошевъ, чай, поставилъ бы рублевую свѣчу, чтобъ тебя завтра Богъ помиловалъ.

— За это можно и двухрублевую поставить.

— То-то-же! Да не хочешь ли, я попрошу дядюшку, чтобъ онъ тебя въ обозъ отправилъ?

— Прикажутъ, такъ поѣду, а проситься не стану.

— Какъ, Мирошевъ, такъ ты въ самомъ дѣлѣ согласился бы остаться при обозѣ?

— А чтожъ такое? Вѣдь надобно же кому-нибудь и при обозѣ быть.

— Ну, Кузьма Петровичъ,—вскричалъ Фурсиковъ, ударивъ его по плечу,—долголѣтенъ ты будешь на земли!

— А вотъ узнаемъ сегодня, кто кого переживетъ,—сказалъ Мирошевъ весьма спокойно.

— Хотите ли, господа,—прервалъ Фурсиковъ:—я бьюсь объ закладъ, что дядюшку Мирошева сегодня пуля не зацѣпитъ.

— Почему ты это думаешь?—спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Да такъ! Онъ человѣкъ осторожный, а береженаго и Богъ бережетъ.

— Полно, братецъ,—сказалъ Кузьма Петровичъ:—отъ пули не спрячешься.

Ударили сборъ; войска стали строиться, и офицеры разошлись по своимъ мѣстамъ.

Сраженіе было упорное. Къ вечеру побѣда склонилась на нашу сторону, и непріятель, сбитый съ поля, началъ поспѣшно отступать по франкфуртской дорогѣ. Чтобъ пріостановить натискъ нашего передового войска, которое сильно напирало на непріятельскій аріергардъ, прусаки разбросали по высотамъ нѣсколько орудій и, подъ ихъ прикрытіемъ, пустили въ атаку на нашу передовую цѣпь полкъ черныхъ гусаръ; они промчались до второй линіи, смяли баталіонъ пѣхоты и изрубили сотни двѣ казаковъ. Драгунскій полкъ, въ которомъ служилъ Мирошевъ, не былъ еще въ дѣлѣ; тутъ онъ получилъ приказаніе ударить во флангъ чернымъ гусарамъ. Драгуны перекрестились, пошли съ мѣста на рысяхъ и, не доѣхавъ шаговъ сто отъ непріятеля, кинулись въ атаку. Въ это самую минуту показалось Мирошеву, что поручикъ Фурсикъ, который ѣхалъ съ нимъ почти рядомъ, осадилъ свою лошадь. Кузьма Петровичъ не обратилъ на это никакого вниманія: ему было не до того; въ первый разъ еще въ жизни онъ сталъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ; въ душѣ его вспыхнулъ богатырскій духъ истаго русскаго и закипѣла въ жилахъ кровь молодецкая. Этотъ кроткій юноша, который умѣлъ сносить обиды своихъ товарищей, а самъ не обижалъ никого, превратился въ настоящаго льва. «Ай да молодецъ»!—кричали вокругъ его усачи-драгуны; «малъ, да удалъ!» И подлинно, Кузьма Петровичъ дѣлалъ чудеса храбрости. Когда сабля его коснулась сабли вражеской, онъ не взвидѣлъ свѣта Божьяго, первый врѣзался въ толпу непріятелей, и очнулся только тогда, когда драгуны, сломивъ черныхъ гусаръ, помчались по ихъ трупамъ и вскакали на ближайшую непріятельскую батарею, съ которой успѣли однакожъ сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ картечью. Если вы, любезный читатель, бывали когда-нибудь

въ дѣлѣ, такъ знаете, что такое направленные въ толпу картечные выстрѣлы. Все легло вокругъ Мирошева, болѣе десяти офицеровъ выбыло изъ полка, а онъ какимъ то чудомъ остался живъ и невредимъ. Полковой командиръ, который былъ слегка только раненъ, отправилъ Кузьму Петровича съ донесеніемъ къ авангардному начальнику Возвращаясь къ полку, Мирошевъ взялъ нѣсколько направо отъ того мѣста, гдѣ происходила кавалерійская схватка. Проѣзжая небольшимъ лѣсомъ, шагахъ въ двухстахъ отъ мѣста сраженія, онъ повстрѣчался съ Фурсиковымъ, который, увидавъ его, принялся шпорить и ругать немилосердно свою лошадь.

— Ба, ба, ба! Степанъ Ивановичъ! — вскричалъ Мирошевъ.—Ты какъ сюда попалъ?

— А вотъ по милости этого чорта! — отвѣчалъ Фурсиковъ, продолжая тиранить свою лошадь.—Проклятый одеръ!.. Вотъ я тебя, бестія!

— Да въ чемъ она провинилась?

— Какъ въ чемъ?.. Ахъ, ты скверная, мерзкая кляча!.. Да ужь я же тебя вышколю!

— Эхъ, перестань, братецъ! Мнѣ, право, жаль на нее смотрѣть.

— Издохни она, проклятая! Представь себѣ, Мирошевъ: въ ту самую минуту, какъ мы пошли въ атаку, эта упрямая скотина закусила удила и понесла меня...

— Впередъ?

— Вотъ то-то и бѣда, что нѣтъ, братецъ.

— Что ты говоришь? Да какъ же это она могла занести тебя не впередъ, а взадъ?

— Я и самъ не знаю, видно на всемъ скаку повернула.

— Видно что такъ.

— Ужь я ее и туда и сюда — нѣтъ, сударь, хоть зарѣжь!.. Шельма этакая!

— Полно, Фурсиковъ! Посмотри, у ней всѣ бока въ крови, Да чтожъ ты теперь здѣсь дѣлаешь? Нашъ полкъ впереди, на непріятельской батареѣ.

— Такъ вы взяли батарею?

— Шесть пушекъ.

— А меня тамъ не было!.. Ахъ, ты, скверная!... Ахъ, ты разбойница!..

Тутъ Фурсиковъ далъ такія шпоры своей несчастной лошади, что она въ самомъ дѣлѣ закусила удила и понесла

его между деревьями; Мирошевъ выскакалъ вмѣстѣ съ нимъ изъ лѣсу. Въ эту самую минуту тяжело раненый прусскій гренадеръ, вѣроятно желая передъ смертью убить одного русскаго, приподнялся изъ-за куста и выстрѣлилъ въ Фурсикова; онъ вскрикнулъ.

— Что ты, братецъ?—спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Я раненъ,—отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Фурсиковъ,—и, кажется, очень тяжело!

— Постой-ка... И, нѣтъ, тебѣ только оцарапало плечо.

— Не можетъ быть: я чувствую, вся рука у меня горитъ.

— Ну да, обожгло немножко. Вотъ видишь, Степанъ Ивановичъ,—прибавилъ Мирошевъ,—не говорилъ ли я тебѣ, что отъ пули не спрячешься?

Увѣряю васъ, что добрый Кузьма Петровичъ сказалъ это спроста, безъ всякаго злого намѣренія; но Фурсиковъ судилъ о другихъ по себѣ самомъ: онъ вспыхнулъ, не отвѣчалъ ни слова, и съ этой минуты сдѣлался заклятымъ врагомъ Мирошева.

Недѣли черезъ двѣ, Кузьма Петровичъ прочелъ въ приказѣ, что его полковой командиръ изъ полковниковъ производится въ бригадиры, оставаясь по прежнему командиромъ полка, который подъ его начальствомъ отличился въ кросенскомъ дѣлѣ; что всѣмъ офицерамъ, а въ томъ числѣ и Кузьмѣ Петровичу Мирошеву, объявляется благодарность главнокомандующаго, и что изъ числа раненыхъ на полѣ сраженія поручикъ Фурсиковъ, за оказанную неустрашимость во время кавалерійской атаки, производится въ слѣдующій чинъ. Чтожъ, вы думаете, Мирошевъ разсердился? Нѣтъ, онъ покачалъ головою, улыбнулся и пожалѣлъ только о томъ, что вмѣсто его капитана, убитаго на непріятельской батареѣ, назначенъ эскадроннымъ командиромъ Фурсиковъ. Кузьмѣ Петровичу грустно было подумать, что онъ не можетъ уважать своего начальника. Вскорѣ за этимъ наши войска соединились съ австрійскими, и одержана была знаменитая побѣда, близъ Кунерсдорфа, надъ прусскими войсками, которыя дрались подъ личнымъ начальствомъ своего короля, Фридриха Великаго. Сраженіе было кровопролитное: тридцать двѣ тысячи воиновъ легло съ обѣихъ сторонъ; русскіе взяли въ плѣнъ семь тысячъ человѣкъ, отбили двадцать семь знаменъ, сто шестьдесятъ орудій и захватили почти весь обозъ. За это сраженіе опять произвели Фурси-

кова; но и Мирошеву, который въ самомъ пылу сраженія взялъ непріятельское знамя, дали слѣдующій чинъ. Этимъ дѣломъ кончилась кампанія 1759 года. Въ слѣдующемъ году. русскій генералъ Тотлебенъ, вмѣстѣ съ австрійцами, овладѣлъ Берлиномъ. Положеніе прусскаго короля становилось часу-отъ-часу хуже. Австрія и Франція уступали Россіи на вѣчныя времена всю восточную Пруссію, съ однимъ только условіемъ, чтобъ Россія не прекращала войны съ Фридрихомъ. Столица курфирстовъ бранденбургскихъ, древній Кенигсбергъ былъ причисленъ къ городамъ Русской Имперіи, и въ немъ даже начали бить монету и печатать газеты съ изображеніемъ русскаго двухглаваго орла *). Вдругъ все перемѣнилось: Императрица Елисавета Петровна скончалась; преемникъ ея, Петръ III, страстный почитатель Фридриха Великаго, объявилъ себя его союзникомъ и положилъ конецъ этой кровопролитной войнѣ, извѣстной въ исторіи подъ названіемъ «Семилѣтней». Къ концу кампаніи Фурсиковъ былъ уже маіоромъ, а Мирошевъ оставался все поручикомъ; но такъ какъ въ полку не было на-лицо и половины офицеровъ, то онъ командовалъ эскадрономъ. Когда наши войска, очистивъ занятыя ими прусскія провинціи, возвратились въ свое отечество, драгунскій полкъ, въ которомъ служилъ Мирошевъ, отправленъ былъ во внутренность Россіи; ему предписано было занять квартиры по рѣкѣ Хопру, въ уѣздѣ города Борисоглѣбска. По случаю безсрочнаго отпуска полкового командира, командовалъ полкомъ маіоръ Фурсиковъ. Вы можете себѣ представить, каково было служить бѣдному Мирошеву. Онъ одинъ во всемъ полку могъ сказать утвердительно, что Фурсиковъ, какъ подлый трусъ, бѣжалъ съ поля сраженія; всѣ прочіе офицеры полагали, что онъ былъ раненъ во время атаки. Хотя Фурсиковъ зналъ, что Кузьма Петровичъ никому объ этомъ не говорилъ, но онъ могъ рано или поздно высказать всю правду и осрамить его передъ офицерами всего полка. Эта мысль приводила его въ бѣшенство. Другой на мѣстѣ Фурсикова постарался бы привязать къ себѣ Мирошева и

---

*) Есть очень любопытный нѣмецкій романъ тогдашняго времени, подъ названіемъ: „Путешествіе Софіи". Дѣйствіе происходитъ въ Кенигсбергѣ. Читая эту книгу, можно подумать, что она переведена съ русскаго: въ ней всѣ чиновники служатъ въ нашей службѣ, говорятъ о Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, какъ о законной своей Государынѣ, и считаютъ деньги не талерами, а рублями.

заставить его, хотя изъ благодарности, быть скромнымъ; но обиженная гордость и слѣпая злоба не разсуждаютъ: эти двѣ родныя сестрицы умѣютъ только мстить. Добрый Кузьма Петровичъ не могъ никакъ понять, за что нападаетъ на него маіоръ, который былъ нѣкогда его товарищемъ и съ которымъ онъ никогда не ссорился. Надобно было видѣть, какъ Фурсиковъ придирался ко всему, когда осматривалъ его эскадронъ; какъ онъ радовался, когда могъ отыскать какую-нибудь не хорошо вычищенную пуговицу или плохо застегнутый крючокъ; на ученьи Мирошевъ всегда командовалъ не впору, драгуны не знали своего дѣла; однимъ словомъ, Кузьмѣ Петровичу житья не было. Два мѣсяца выносилъ онъ съ христіанскимъ смиреніемъ это безпрерывное гоненіе. Наконецъ, терпѣніе его истощилось: онъ рѣшился оставить службу и ѣхать въ Москву, гдѣ надѣялся, при помощи знакомыхъ покойнаго отца своего, найти какое-нибудь мѣстечко и продолжать службу по гражданской части. Онъ подалъ просьбу, и его отставили отъ службы тѣмъ же чиномъ, то-есть поручикомъ.

Получивъ указъ объ отставкѣ, Мирошевъ продалъ своего боевого коня, купилъ телѣгу, пару добрыхъ крестьянскихъ лошадей и распрощался со своими сослуживцами. Болѣе всѣхъ жалѣлъ о немъ поручикъ Костоломовъ, который, несмотря на свой разгульный нравъ, любилъ и уважалъ Мирошева какъ старшаго брата. Прохоръ Кондратьичъ, уложивъ въ небольшой чемоданъ все добро своего барина, набилъ парусинную кису собственнымъ своимъ имуществомъ, положилъ туда же коровай хлѣба, три десятка печеныхъ яицъ и спряталъ за пазуху кожаную мошну, въ которой было рубля полтора мѣдными грошами. И вотъ въ одинъ прекрасный майскій день, часу въ четвертомъ послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ, съ пятью цѣлковыми въ карманѣ и съ надеждою на Господа Бога, Который никогда не покидаетъ сиротъ, выѣхалъ изъ Борисоглѣбска по дорогѣ, ведущей къ Новохоперской крѣпости.

V.

Сельцо Хопровка. Первая любовь.

Кузьма Петровичъ, закутанный въ шинель, лежалъ, задумавшись, въ телѣгѣ; Кондратьичъ сидѣлъ на передкѣ, по-

дергивалъ возжами, посвистывалъ, мурлыкалъ про себя пѣсенку, а лошади плелись нога за ногу по гладкой дорогѣ, которая тянулась вдоль крутого берега Хопра.

— Да поѣзжай, Прохоръ, скорѣе!—сказалъ Мирошевъ.— Вотъ мы ужь часа четыре ѣдемъ, а, чай, и пятнадцати верстъ не отъѣхали.

— Тише ѣдешь, дальше будешь, Кузьма Петровичъ.

— Да ты ступай хоть маленькою рысцою.

— Рысцою!... Эхъ, сударь, вѣдь до Москвы не близко. Шагомъ то полсвѣта объѣдешь, а ступай-ка рысью, такъ на двадцати верстахъ лошадокъ поморишь... Да что въ Москвѣ то, батюшка, есть что-ль у васъ мѣстечко на примѣтѣ?

— Я надѣюсь, что пріятели покойнаго моего батюшки за меня похлопочутъ.

— Пріятели!—повторилъ Прохоръ Кондратьичъ, покачивая головою.—Знаемъ мы этихъ пріятелей!

— Да почему-жъ ты думаешь, Прохоръ, что никто изъ нихъ не вспомнитъ хлѣба-соли покойнаго моего батюшки?

— Память то стала у людей коротка, Кузьма Петровичъ. Дѣло бывалое, и у меня важивались пріятели. Однажды — это было еще въ деревнѣ—продалъ я жеребенка; скопилось таки у меня деньжонокъ довольно. Вотъ, думаю: «По милости господской, я сытъ, одѣтъ, обутъ, клѣть у меня важная, полдесятины подъ коноплянникомъ, осьминникъ подъ огородомъ; на что мнѣ деньги! Дай, сварю себѣ бражки»! Купилъ солоду, хмѣлю, сварилъ; брага вышла знатная! Кажись, я кличъ не кликалъ, а пріятелей то у меня развелось видимо-невидимо! Вся дворня, да почитай полдеревни: и садовникъ Кудимычъ, и староста Терентій, и Герасимъ овчинникъ, и кузнецъ Трифонъ—такіе друзья, что и сказать нельзя! Тотъ зайдетъ, посмакуетъ моей бражки, другой... А посуловъ то, посуловъ, Господи Боже мой!... Одинъ говоритъ: «Слушай, Прохоръ Кондратьичъ, коли въ чемъ ни есть нужда будетъ, прямо ко мнѣ». Другой тяпнетъ ковшикъ браги, да и начнетъ: «Что тебѣ, любезный, надо: соломки-ли, сѣнца-ли,—ни за чѣмъ не постоимъ»! И пригожъ то я и хорошъ! Да вѣстимо: за свой грошъ будешь хорошъ! Пуще всѣхъ хвалился Герасимъ овчинникъ. Бывало, подсядетъ къ ендовѣ, расправитъ усы, да и примется говорить: «Пожалуйста, куманекъ, послу-

шайся меня, не покупай ты себѣ тулупа на базарѣ: ужь я те, милому дружку, такой полушубокъ слажу, что на, поди»! Вотъ я себѣ и думаю: «Правду говорятъ:» «кинь хлѣбъ-соль назадъ, будетъ впереди». Да, какъ бы не такъ! Покамѣстъ брага у меня велась, все было ладно, а какъ съѣхалъ опять на квасокъ, такъ пріятелей какъ не бывало. Понадобилось мнѣ охапки двѣ сѣнца; я челомъ Трифону,— куда, и глядѣть не хочетъ! Самому, дескать, надо! Пришла, зима, вотъ я зашелъ къ Герасиму, и говорю: «Чтожъ, братъ, полушубокъ то?»—«Какой?»—«Вѣстимо какой: ты еще мнѣ лѣтомъ сулилъ.»—«А деньги принесъ»?—«Пообожди немного, объ Рождествѣ заплачу.» —«Вотъ еще съ чѣмъ подъѣхалъ! Добро, добро, отваливай!»—«Такъ пожалуйста, любезный, хоть старый то тулупъ почини.»— «Самъ вычинишь!»—«Эхъ, братъ, Герасимъ, не хорошо!»— «Что не хорошо? Что я брагу то твою пилъ? Эко диво! Вотъ на праздникахъ приходи, я и своей поднесу.» Что будешь дѣлать, сударь? Ругнулъ его порядкомъ, да и пошелъ прочь. Вотъ они, Кузьма Петровичъ, пріятели каковы! Чай, и господа то все то же. У вашего покойнаго батюшки—дай Богъ ему царство небесное!—много было пріятелей; они у него каждый день пили, ѣли, прохлаждались; а какъ онъ изволилъ скончаться, такъ врядъ ли по немъ кто-нибудь и панихиду отслужилъ.

— Нѣтъ, Прохоръ, не можетъ статься, чтобъ изъ всѣхъ его знакомыхъ не было ни одного истиннаго пріятеля.

— Конечно, сударь, можетъ быть и есть, — не безъ добрыхъ людей; а все, батюшка, то ли дѣло, еслибъ вы сами были помѣщикомъ, еслибъ у васъ была отчина, душъ тысячу, или двѣ...

— И, Прохоръ, на что мнѣ?... Двѣ тысячи душъ! Да я не зналъ бы, куда съ ними и дѣваться. Былъ бы только пріютъ, небольшая деревенька, при рѣчкѣ, на видномъ мѣстѣ... Ну вотъ этакая, видишь, налѣво то.

— Вижу, сударь.

— Что, еслибъ у меня было такое помѣстье! Посмотри, какъ хорошо разбросаны эти избы по берегу Хопра!.. Какой у нихъ веселый видъ! Ну, точно нарисованныя!

— Да, деревушка хоть куда; не великонька, а стоитъ на привольномъ мѣстѣ... Ахъ, батюшки, смотрите-ка, сударь, на задахъ то словно другая деревня изъ одоньевъ!... Ну, видно, землицы у нихъ вдоволь!...

— Прохоръ, вѣдь это, кажется, господскій домъ?

— Да, сударь!... И домъ и службы: вонъ барское гумно... амбары... скотный дворъ,—знатная усадьба!..

— Видишь, передъ домомъ какой прекрасный лугъ до самаго Хопра.

— Вижу, сударь. И лугъ то, кажется, поемный. То-то сѣнцо то, я думаю, знатное!

— А позади дома... посмотри: въ гору идетъ какая славная роща!

— Да, Кузьма Петровичъ, кажется, лѣсъ строевой.

— Погляди-ка, Прохоръ, что это на самомъ верху горы, —часовня что-ль?

— Часовня, сударь.

— Какой оттуда долженъ быть прекрасный видъ!

— Да, батюшка, мѣсто дальновидное.

— Послушай, Прохоръ, остановимся кормить въ этой деревнѣ.

— Не раненько ли, сударь, будетъ? Мы еще сегодня и двадцати верстъ не отъѣхали.

— Что за бѣда!

— Оно, конечно, на первыхъ то порахъ не худо лошадокъ поберечь...

— Вотъ то-то и есть! Ступай, Прохоръ, — вонъ, кажется, налѣво и поворотъ.

Наши путешественники съѣхали съ большой дороги на проселочную и черезъ нѣсколько минутъ, почти у самой околицы, обогнали крестьянскую бабу, которая шла съ поля.

— Эй, молодица,—закричалъ Кондратьичъ,—какъ зовутъ эту деревню то?

— Хопровкой, господинъ честной,—отвѣчала крестьянка съ низкимъ поклономъ.

— Что, у васъ стоять пускаютъ?

— Какъ же, батюшка: и Ѳедоръ Безпалый пускаетъ, и староста Парфенъ,—вонъ крайняя то изба съ краснымъ окномъ.

— Спасибо, тетка!

— Не на чемъ, кормилецъ!

Староста Парфенъ, мужикъ дюжій, съ окладистою русою бородою, встрѣтилъ проѣзжихъ у воротъ своей избы.

— Что, хозяинъ,—спросилъ Кондратьичъ,—есть у тебя овесъ и сѣно?

— Есть, батюшка.

— А насъ покормить есть чѣмъ?

— Милости просимъ! Щи добрыя, баранина, каша съ масломъ; а коли милости вашей въ угоду, такъ и курочку зарѣжемъ.

— Не надо, — сказалъ Мирошевъ, выпрыгнувъ изъ телѣги. —Мнѣ что то вовсе ѣсть не хочется; а ты, Прохоръ, ужинай.

— Развѣ вы кушать не станете? — спросилъ Кондратьичъ.

— Послѣ. Теперь пойду, погуляю.

Кузьма Петровичъ не успѣлъ отойти и двадцати шаговъ отъ избы, какъ съ нимъ повстрѣчался сѣдой старикъ лѣтъ шестидесяти, въ старомъ, истасканномъ сюртукѣ съ большими мѣдными пуговицами; онъ снялъ свой кожаный картузъ и поклонился очень вѣжливо Мирошеву.

— Ты, вѣрно, дворовый человѣкъ, любезный?—спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Дворовый, батюшка.

— Можно погулять по этой рощѣ, что позади господскаго дома?

— Не только въ рощѣ, да и по саду извольте гулять сколько вамъ угодно.

— Такъ, видно, господа ваши здѣсь не живутъ!

— Да у насъ теперь никакихъ господъ нѣтъ, сударь.

— Какъ такъ?

— Вотъ ужь пять мѣсяцевъ, какъ мы осиротѣли: скончалась наша барышня-кормилица, — дай Богъ ей царство небесное!

— Такъ можно и домъ посмотрѣть?

— Можно, сударь. Спросите ключницу Ѳедосью, она вамъ покажетъ.

Мирошевъ отправился далѣе, а старикъ пошелъ мимо избы, подлѣ которой староста Парфенъ толковалъ о чемъ то съ Прохоромъ; межъ тѣмъ, Кузьма Петровичъ подошелъ къ барской усадьбѣ. Подлѣ отпертой калитки сидѣла на скамьѣ пожилая женщина въ мухояровой кофтѣ и черныхъ котахъ, надѣтыхъ на босую ногу; на поясѣ у нея висѣла связка ключей,

— Не ты ли, любезная, ключница Ѳедосья?—спросилъ Мирошевъ.

— Я, кормилецъ. Что тебѣ надо?

— Можно погулять по саду?

— Можно, баринъ.

— А посмотрѣть господскій домъ?

— Пожалуй.

Ключница Ѳедосья встала, и Кузьма Петровичъ вошелъ вслѣдъ за нею на обширный дворъ, поросшій густою крапивою и репейникомъ.

— Вотъ тутъ покойница, бывало, часто изволила чай кушать,—сказала Ѳедосья, указывая на вѣтвистую черемуху, которая раскинулась зеленымъ шатромъ посреди двора.—Родная ты наша!... Бывало, по милости своей, и мнѣ чашечку чайку пожалуетъ. Не стало ея, нашей матушки!

Кузьмѣ Петровичу очень полюбилось расположеніе и убранство дома: въ немъ было семь просторныхъ и свѣтлыхъ комнатъ. Въ нихъ стѣны были голыя—это правда, мебель обита простымъ затрапезомъ, не было въ простѣнкахъ зеркалъ, и большая часть печей была съ лежанками; но все было въ такомъ порядкѣ, все имѣло такой чистый и опрятный видъ, какъ будто бы хозяйка дома была налицо. Ключница Ѳедосья, проведя Мирошева черезъ пріемныя комнаты и дѣвичью въ широкій коридоръ, который раздѣлялъ на-двое весь домъ, остановилась у запертыхъ дверей.

— Здѣсь, баринъ,—сказала она,—образная комната покойницы. Вотъ ужь тутъ есть что посмотрѣть! Ей достались еще отъ бабушки такія богатыя иконы, что и Господи!... Да чтожъ это я ключа то не найду?... Ахти, батюшки, да я никакъ оставила его у себя на столѣ!... Пообожди, кормилецъ; я сейчасъ за нимъ сбѣгаю. Ѳедосья ушла, а Кузьма Петровичъ, замѣтивъ на противоположномъ концѣ коридора еще другія, до половины растворенныя двери, подошелъ къ нимъ потихоньку, заглянулъ и остановился неподвижно на одномъ мѣстѣ. Прошла минута, двѣ, три, а онъ все стоялъ какъ вкопаный. Чтожъ такое приковало его къ порогу этой комнаты? Въ ней не было ничего особеннаго: нѣсколько креселъ, работный столъ, небольшой шкапъ съ книгами, и больше ничего; правда, у стола, съ книгою въ рукѣ, сидѣла дѣвушка лѣтъ семнадцати... Такъ чтожъ? Развѣ Кузьма Петровичъ въ жизнь свою не видывалъ молодыхъ дѣвушекъ? О, конечно, онъ много пересмотрѣлъ хорошенькихъ личикъ и въ Россіи, и въ Германіи, и въ Польшѣ; но такого миловиднаго лица,

такой неизъяснимо-плѣнительной физіономіи онъ никогда не видывалъ. Эта дѣвушка была въ простомъ ситцевомъ платьѣ, длинная русая коса ея висѣла ниже пояса, а на плечи накинутъ былъ алый шелковый платочекъ; румянецъ здоровья и молодости игралъ на бѣлоснѣжныхъ щекахъ ея; глаза ея, устремленные въ книгу, были совершенно закрыты длинными рѣсницами; но Мирошевъ побился бы объ закладъ, что эти глаза прекраснѣе всѣхъ женскихъ глазъ, которыми онъ любовался въ Россіи, Польшѣ и Германіи. Вотъ дѣвушка перестала читать, облокотилась, опустила на руку свою голову и задумалась. На кроткомъ лицѣ ея изображалась спокойная, но глубокая горесть; вдругъ слезы заблистали на густыхъ ея рѣсницахъ; у Мирошева сердце облилось кровью. «Боже мой!»—подумалъ онъ,—«и это небесное созданіе, этотъ ангелъ несчастливъ.»

— Сейчасъ, баринъ,—раздался голосъ въ передней;—иду, иду!

Кузьма Петровичъ отскочилъ отъ дверей.

— Эка память то у меня!—шептала ключница Ѳедосья, идя навстрѣчу къ Мирошеву.—Ужь я искала, искала этотъ —прости Господи—проклятый ключъ: и на столѣ и подъ лавкою,—сгибъ да пропалъ! Насилу то вспомнила, что сама положила его въ ларецъ. Пожалуй, батюшка!—продолжала Ѳедосья, отворяя двери образной.

Они вошли въ небольшую комнату. Одинъ уголъ ея былъ занятъ широкимъ кивотомъ, наполненнымъ образами; передъ ними висѣла стеклянная лампада. Молча помолились они оба святымъ иконамъ; потомъ Ѳедосья начала ихъ показывать Мирошеву.

— Вотъ, батюшка, — говорила она: — Иверская Божія Матерь: на ней всѣ ризы изъ жемчуга; а вотъ Спасъ Нерукотворенный: говорятъ, вѣнецъ то на немъ изъ дорогихъ каменьевъ; а это икона Печерскихъ Чудотворцевъ Антонія и Ѳеодосія; ее привезла покойница изъ Кіева, куда она изволила ѣздить на богомолье, тому лѣтъ двѣнадцать назадъ.

Пересмотрѣвъ поодиночкѣ почти всѣ иконы и помолясь опять передъ кивотомъ, они вышли изъ образной. Проходя коридоромъ мимо сосѣднихъ дверей, Кузьма Петровичъ заглянулъ въ комнату: въ ней никого уже не было.

— Что, любезная, — спросилъ Мирошевъ, когда они вышли на крыльцо,— теперь въ этомъ домѣ никто не живетъ?

— Никто, батюшка.

— Какъ же мнѣ показалось въ одной комнатѣ... въ коридорѣ...

— А что тебѣ, баринъ, показалось?

Кузьма Петровичъ вспыхнулъ.

— Развѣ тамъ кто былъ?—продолжала Ѳедосья.

— Да... мнѣ показалось... я такъ, нечаянно заглянулъ въ эту комнату... въ ней какъ будто кто то сидѣлъ... кажется, дѣвушка...

— А!... Это вѣрно Марья Дмитріевна.

— А кто она такая?

— Сирота, батюшка, офицерская дочка. Вотъ изволишь видѣть: годовъ десять тому назадъ остановился проѣздомъ въ нашей деревнѣ одинъ служивый, какой то отставной офицеръ; съ нимъ была дочка лѣтъ шести,—вотъ эта самая, что ты, баринъ, видѣлъ. Батюшка ея пробирался въ Москву, чтобъ пристроить себя къ мѣстечку; да, видно, ему на роду было написано не выѣзжать изъ нашей деревни: схватила его какая то немочь, отнялись руки и ноги; началъ онъ, сердечный, хилѣть да хилѣть, да недѣли черезъ три Богу душу и отдалъ. Покойная наша барышня была человѣкъ милостивый: она проѣзжаго во время болѣзни не покидала, а какъ онъ умеръ, взяла сироту къ себѣ въ домъ, взростила ее, вскормила и хотѣла ей, какъ родной дочери, укрѣпить все свое имѣнье. Я сама это не разъ слышала отъ покойной барышни; да, видно, Господу Богу не угодно было, чтобъ наша деревня досталась этой сиротинкѣ. Покойница сбиралась да сбиралась,—все хотѣла сама за этимъ въ Саратовъ ѣхать, а незваная то гостья и шасть на дворъ!... Вотъ этакъ какъ нынче бы занемогла, а завтра по-утру и не стало ея, нашей кормилицы!

— Такъ эта бѣдная сирота осталась безъ куска хлѣба?

— Кусокъ то хлѣба найдемъ, батюшка. Покамѣстъ я жива и живъ Лаврентій Сидорычъ и его сожительница, такъ она съ голоду не умретъ: послѣднія крохи пополамъ съ нею раздѣлимъ.

— А кто этотъ Лаврентій Сидорычъ?

— Онъ былъ при покойницѣ управителемъ... Да ты, баринъ, какъ шелъ сюда, такъ съ нимъ повстрѣчался.

— Такъ вы очень любите эту сироту?

— Какъ же, батюшка! Вѣдь Марья Дмитріевна не человѣкъ, а ангелъ во плоти. Вотъ прошлаго года Лаврентій Сидорычъ былъ при смерти боленъ, а жена то его на ту

пору была въ Саратовѣ: ѣздила съ родными повидаться,— кто за нимъ ходилъ? Марья Дмитріевна! Кто просиживалъ подлѣ его постели цѣлыя ночи? Марья Дмитріевна! Бывало начну говорить: «Барышня, ступай почивать; вѣдь ты этакъ себя совсѣмъ уходишь; поди, матушка, поди: я посижу!» А она и слышать не хочетъ. «Ты, дескать, Ѳедосьюшка, человѣкъ старый, тебѣ покой надобенъ, а я и днемъ высплюсь.» Да что Лаврентій! Кто въ деревнѣ ни занеможетъ, или какое горе кому пошлетъ Господь,—Марья Дмитріевна тутъ какъ тутъ!... А ужь умна то какъ!... Грамотница какая! Вотъ когда, бывало, мы всѣмъ домомъ говѣемъ, она изволитъ читать намъ и утреннія и вечернія молитвы; да еще какъ: лучше всякаго дьячка, батюшка! Вотъ съ годъ тому назадъ и меня отчитывала, окаянную грѣшницу!

— Какъ отчитывала?

— Да, кормилецъ! Умерла у меня дочка лѣтъ двадцати пяти,—одна только и была, какъ порохъ въ глазу, вся была и лицомъ и обычаемъ въ покойнаго мужа: такая же смирная и богомольная, и такъ же, какъ онъ, умерла сухоткою. Вотъ я, батюшка, съ горя то совсѣмъ обезумѣла; плачу съ утра до вечера, какъ рѣка льюсь, и мѣсяцъ, и два, и три; да это еще ничего: пришелъ на меня такой грѣхъ, что страшно вымолвить, батюшка! Ну вотъ шепчетъ мнѣ кто то на ухо: «Что, дура, молилась, много вымолила»? Вѣришь ли, баринъ, церковь Божья опостылѣла; только и думаю, какъ бы самой на себя руки наложить. Ужь меня увѣщевали, увѣщевали, и покойная барышня и отецъ духовный—все ничего! Сижу цѣлый день въ уголку, разливаюсь горькими слезами, да на Господа Бога жалуюсь. Вотъ Марья Дмитріевна начала ко мнѣ по вечерамъ приходить, да читать отъ божественнаго и Житія Святыхъ, и Апостолъ, и всякія другія разныя книги. Этакъ недѣльки черезъ двѣ, со мною стало какъ будто бы полегче: лукавый унялся шептать мнѣ на ухо, а тоска все меня не покидала; вотъ такъ лиходѣйка сердце у меня и сосетъ; да вдругъ— что ты думаешь, батюшка?—какъ рукой сняло!

— Какъ же это?

— А вотъ какъ. Вижу я во снѣ, что я какъ будто бы въ какой то степи: ни деревца, ни травки—все голо; и куда ни поглядишь, этой степи и конца нѣтъ; а небо то,— ну такъ бы и не смотрѣла: такое темное, туча на тучѣ; только вдали передо мною чуть-чуть какъ будто бы заря

занимается. Я туда; иду, иду... а заря все больше, да больше! Вотъ я какъ будто бы на какую то горку взошла; глядь внизъ,—Господи Боже мой!... Что за рай небесный такой: и лѣсочки, и ручейки, и зеленыя поляны; а цвѣты то какіе, цвѣты!... А небо свѣтлое, какъ солнце, и отъ него такъ и пышетъ Божьей благодатью и прохладою. Вотъ я вижу, ко мнѣ кто то идетъ... Ближе, ближе... Ахти, моя Дуняша!... Она протянула ко мнѣ руки, я бросилась къ ней... Да вдругъ, гляжу, между нами рѣка; вода такая черная, мутная, и кипитъ какъ въ котлѣ. Я хочу кинуться въ рѣку,— да нѣтъ, что то не пускаетъ. Вотъ дочка моя на томъ берегу и заговорила: «Матушка, вѣдь эта рѣка твой слезы. Полно тебѣ роптать и гнѣвить Бога; перестань обо мнѣ плакать: дай этой рѣкѣ пересохнуть, а не то она будетъ становиться все шире да шире, и мы вѣкъ съ тобой не сойдемся». Тутъ вдругъ все потемнѣло; я стала просыпаться, и въ просонкахъ точно слышала, что кто то меня поцѣловалъ и шепнулъ на ухо: «Прощай, матушка, увидимся!» Вотъ какъ я совсѣмъ очнулась,—ну, батюшка, — откуда слезы взялись, да только ужь не такія, какъ прежде: тѣ мнѣ сердце такъ и жгли, а отъ этихъ ему становилось все легче, да легче. Видно, оттого, что я ужь грустила не по дочери, а плакала о грѣхѣ моемъ... Ахти,—продолжала Ѳедосья,—да ужь солнышко то садится!... Ну, баринъ, какъ я съ тобой заболталась; а у меня дѣло есть... Прощенья просимъ, батюшка! Коли хочешь погулять по саду, такъ вонъ калитка; она отперта.

Когда Мирошевъ, поблагодаривъ словоохотную ключницу Ѳедосью, вошелъ въ садъ, его обдало ароматомъ. Въ одномъ углу росла кустами пахучая *заря*, въ другомъ—подымался среди полевыхъ цвѣтовъ душистый калуферъ; цѣлыя лужайки были усыпаны благовонными ландышами; куртины вишенъ и черешни, сотни яблонь, грушевыхъ деревьевъ и огромныя черемухи въ полномъ цвѣту росли по обѣимъ сторонамъ широкой дорожки, которая вела прямо въ рощу. Въ одномъ мѣстѣ, посреди кустовъ смородины, малины и крыжовника, журчалъ по камешкамъ невидимый ручеекъ, разливая вокругъ себя свѣжесть и прохладу.

— Ахъ, какъ здѣсь хорошо! — сказалъ вполголоса Мирошевъ.—И все это должно было принадлежать ей... Бѣдная сирота! Такъ добра, такъ прекрасна и такъ несчастлива!... О, еслибъ зависѣло отъ меня, еслибъ я былъ душеприказ-

чикомъ покойницы и имѣлъ право исполнить ея послѣднюю волю, съ какою-бъ радостью я сказалъ этой несчастной сиротѣ: «Вотъ твое наслѣдіе, возьми его! Будь хозяйкою, будь ангеломъ этого земного рая!»... Бѣдная, бѣдная дѣвушка!... Ты ѣшь чужой хлѣбъ, живешь по милости людей, которые сами живутъ по чужой милости. Но ты молода и прекрасна, Господь, вѣрно, пошлетъ тебѣ добраго мужа; а я... я такой же сирота, какъ и ты; но, мнѣ кажется, еще несчастнѣе: я видѣлъ тебя и долженъ навсегда съ тобой разстаться!... Черезъ нѣсколько часовъ я помчусь... помчусь!... То есть потащусь шагомъ въ Москву, гдѣ, можетъ быть, никто не встрѣтитъ меня ласковымъ привѣтомъ; гдѣ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ забыли даже и имя отца моего!...

Мирошевъ горько заплакалъ, да и было отъ чего: онъ не понималъ самъ, что происходило въ душѣ его, однакожъ чувствовалъ, что теперь сиротство и бѣдность не составляютъ уже главной причины его грусти; что его ждетъ еще другое горе, несравненно ужаснѣе и бѣдности, и сиротства, и всѣхъ возможныхъ бѣдствій. Кузьма Петровичъ не умѣлъ объяснить себѣ этого темнаго чувства, такъ мы скажемъ за него: онъ въ первый разъ въ жизни и страстно влюбился!... Да, влюбился! И въ кого же? Въ бѣдную дѣвушку, которая никогда его не видала и, вѣроятно, никогда не увидитъ.

Размышляя такимъ образомъ, Кузьма Петровичъ дошелъ до конца сада; онъ отыскалъ небольшую калитку, вышелъ въ дубовую рощу и, по извилистой тропинкѣ, сталъ подыматься въ гору. Солнечные лучи не проникали сквозь сросшіяся вершины столѣтнихъ дубовъ; но внизу не было ни кустовъ, ни валежника, и вѣтерокъ пробирался свободно между деревьями. Пройдя шаговъ триста, Мирошевъ вышелъ изъ рощи. Остальная часть холма до самой вершины была покрыта частымъ кустарникомъ; вдали шумѣлъ горный источникъ, и подымалась кровля часовни. Кузьма Петровичъ, отдохнувъ нѣсколько времени, началъ взбираться выше, и черезъ нѣсколько минутъ стоялъ уже въ часовнѣ, передъ иконой Божіей Матери, утвержденной въ стѣнѣ, надъ самымъ истокомъ родника; онъ билъ ключемъ изъ-подъ камня и переливался съ шумомъ черезъ дубовый срубъ, который служилъ ему бассейномъ. Мирошевъ вышелъ изъ часовни, поглядѣлъ вокругъ себя, и вся грусть его исчезла,

онъ забылъ все, когда передъ нимъ развернулся роскошный видъ Хопра и его окрестностей. Не знаю, какъ вы, любезный читатель, а я совершенно согласенъ съ Карамзинымъ, что все можетъ надоѣсть и приглядѣться, кромѣ прекрасныхъ видовъ. Не оттого ли, что все, создаваемое людьми, мертво, а все, творимое Богомъ живетъ собственною своею жизнію и говоритъ душѣ нашей, а не земному разуму, который, какъ и все земное, непостояненъ, измѣнчивъ и лживъ. Великолѣпныя зданія, геніальныя произведенія живописцевъ и ваятелей, конечно, приводятъ насъ въ восторгъ; но это восторгъ обдуманный, холодный; мы удивляемся дарованію художника, разбираемъ по правиламъ искусства его произведеніе, и едва ли не менѣе наслаждаемся самимъ созданіемъ художника, чѣмъ мыслію, что мы можемъ понять и оцѣнить его; а если вы также художникъ, то не примѣшивается ли къ этому чувству еще другое, которое отравляетъ всякое наслажденіе, губитъ все прекрасное, и можетъ самый рай сдѣлать адомъ, — чувство зависти и обиженнаго самолюбія? То ли бываетъ съ нами, когда мы любуемся твореніемъ Божіимъ? Что чувствуетъ душа ваша, когда вы смотрите съ высокаго холма на эту живую зелень обширныхъ равнинъ и тѣнистыхъ рощъ нашей родины? На эту кормилицу Россіи, широкую Волгу, вдоль которой, какъ бѣлыя чайки, несутся подъ всѣми парусами красивые струги и расшивы? Что чувствуетъ душа ваша, когда вы въ первый разъ видите передъ собою этотъ земной образъ вѣчности, этотъ безбрежный океанъ? Когда вы смотрите на снѣжныя вершины заоблачныхъ горъ, и въ ушахъ вашихъ раздается громовой гулъ, современныхъ міру, вѣчно шумящихъ водопадовъ? Разбираете ли вы тогда по правиламъ ледяной эстетики, въ чемъ состоятъ красоты этой дикой природы? О, нѣтъ, нѣтъ! Вы можете наслаждаться и молча благоговѣть передъ величіемъ Божіимъ. Не потухаютъ ли тогда всѣ страсти въ груди вашей, не радуется ли душа, проникнутая какимъ то небеснымъ спокойствіемъ и кроткимъ умиленіемъ? Вы чувствуете всю вашу ничтожность и всю благость Того, Который, создавъ этотъ дивный свѣтъ, сказалъ человѣку: «Ты будешь его владыкою, потому что сей конечный міръ и всѣ преходящіе, подобно ему, безчисленные міры не значатъ ничего передъ одною безсмертною душою твоею, ибо она одна можетъ познавать и любить Меня.»

Съ полчаса стоялъ Кузьма Петровичъ на одномъ мѣстѣ. Онъ молча любовался разнообразіемъ и прелестью видовъ, которые измѣнялись при каждомъ его движеніи. Его очарованный взоръ то обѣгалъ съ быстротою мысли обширный небосклонъ, обставленный селами, и старался проникнуть за темный боръ, который тянулся дымчатою полосою позади Новохоперской крѣпости, то скользилъ по голубымъ струямъ изгибистаго Хопра, то носился надъ его живописными берегами, и перелетая съ одного холма на другой, отдыхалъ, наконецъ, на зеленѣющихъ поляхъ, усѣянныхъ рощами. Когда Мирошевъ оборотился назадъ, у ногъ его, влѣво отъ господской усадьбы, мелькнули опять голубыя воды Хопра; вся деревня, въ которой онъ остановился, была передъ нимъ какъ на ладони, такъ что онъ могъ видѣть все, что происходило на улицѣ. Около двора старосты Парфена толпился народъ, по улицѣ взадъ и впередъ бѣгали ребятишки, крестьянскія бабы въ нарядныхъ сарафанахъ выходили изъ избъ,— во всемъ было замѣтно какое то особенное движеніе, какая то общая суета. «Это что-нибудь не даромъ», — подумалъ Кузьма Петровичъ. «Когда я пошелъ гулять, на улицѣ никого не было, а теперь она запружена народомъ, и, кажется, всѣ въ такихъ хлопотахъ... Вѣрно, что-нибудь случилось необычайное.» Желая узнать скорѣй причину этого народнаго сходбища, Мирошелъ пошелъ по тропинкѣ, которая вела не къ барской усадьбѣ, а прямо на зады деревни.

VI.

Чрезвычайное и неожиданное приключеніе.

Тропинка, по которой шелъ Кузьма Петровичъ, свела его въ нѣсколько минутъ къ подошвѣ холма. Пробираясь вдоль огородовъ и коноплянниковъ деревни, онъ дошелъ, не встрѣтивъ никого, до крайней избы, перелѣзъ черезъ плетень и очутился на дворѣ у старосты Парфена. У самыхъ дверей избы съ нимъ повстрѣчалась дородная и пригожая баба въ красномъ кумачномъ сарафанѣ и въ широкой шелковой фатѣ: это была хозяйка дома, старостиха Василиса. Увидѣвъ Мирошева, она, не говоря ни слова, повалилась ему въ ноги, и въ то же самое время позади раздался голосъ Прохора Кондратьича:

— А, батюшка, Кузьма Петровичъ! Насилу то вы пришли!... Пожалуйте въ избу, пожалуйте!

— Да что у васъ здѣсь за суматоха? — спросилъ Мирошевъ.

— Пожалуйте въ избу, пожалуйте!

— Ну, вотъ я и вошелъ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, садясь на лавку.—Теперь скажи мнѣ, что такое случилось?

— Такъ-съ, ничего-съ! — проговорилъ Прохоръ такимъ чуднымъ голосомъ, что баринъ его вѣрно бы испугался, еслибъ не замѣтилъ съ перваго взгляда необычайную веселость, которая выражалась во всѣхъ чертахъ лица добраго Кондратьича, а особливо въ его небольшихъ, прищуренныхъ глазахъ, которые такъ и блистали радостію.

— Ты что то отъ меня скрываешь, Прохоръ?—сказалъ Мирошевъ.

— Помилуйте, сударь, что мнѣ отъ васъ скрывать!

— Такъ и ты не знаешь, отчего въ деревнѣ сдѣлалась такая тревога?

— Да никакой тревоги нѣтъ, Кузьма Петровичъ! Мужички собрались встрѣчать своего новаго помѣщика.

— А развѣ его ждутъ?

— Видно, что такъ, сударь. Ну что, батюшка, погуляли?

— Какъ же!

— Каково, сударь, помѣстье?

— Прекрасное!

— Диковинное, сударь!... Вы изволили быть въ барскихъ хоромахъ?

— Былъ.

— И все осматривали?

— Кажется, все. Премиленькій домикъ!

— Домикъ? Помилуйте, какой это домикъ! Восемь большихъ покоевъ, не считая двухъ кладовыхъ и одного чулана съ окномъ, да на антресоляхъ четыре комнаты. А службы то какія!... Вы ихъ изволили видѣть?

— Нѣтъ.

— А на скотномъ дворѣ были?

— Нѣтъ.

— А на барскомъ гумнѣ?

— И тамъ не былъ.

— Такъ гдѣ же вы были, Кузьма Петровичъ?

— Я былъ на горѣ.

— Эхъ, сударь, что гора, — гора сама по себѣ! Нѣтъ, вы посмотрѣли бы, какія угодья! А садикъ то, сударь, садикъ!

— Да, очень хорошъ.

— То то же, батюшка! Ну что, сударь, еслибъ это помѣстье было наше?

— И, полно, Прохоръ! Охота тебѣ вздоръ говорить.

— Да почему-жъ и не поговорить, Кузьма Петровичъ? Вѣдь отъ этого нашей казны не убудетъ. А что, батюшка, еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, эта деревня была ваша, вѣдь вы-бъ ужь тогда не поѣхали въ Москву искать себѣ мѣстечка?

— Помилуй, зачѣмъ?

— Не правда ли, вѣдь отъ добра добра не ищутъ?

— Разумѣется; я навсегда бы здѣсь остался.

— И были бы счастливы?

— О, совершенно счастливъ!

— Такъ извольте же быть счастливы! — закричалъ такимъ нелѣпымъ голосомъ Кондратьичъ, что Мирошевъ вскочилъ съ лавки.

— Что ты, что ты, Прохоръ? — сказалъ онъ.—Перекрестись!

— И сто разъ перекрестимся, батюшка, и благодарственный молебенъ отслужимъ!... Эй, Парфенъ, — продолжалъ Кондратьичъ, выглянувъ въ окно, — ступай со всѣмъ міромъ!

Прежде чѣмъ Мирошевъ успѣлъ опомниться отъ удивленія, двери растворились и толпа крестьянъ ввалила въ избу. Впереди всѣхъ вошелъ староста Парфенъ; онъ держалъ на деревянномъ блюдѣ каравай хлѣба, на которомъ насыпана была соль и лежало пять цѣлковыхъ; рядомъ съ Парфеномъ, держа подъ мышкою индѣйскаго пѣтуха, стоялъ бывшій управитель, Лаврентій Сидорычъ. Помолясь иконамъ, староста подошелъ къ столу, поставилъ на него каравай хлѣба и, вмѣстѣ со всѣми крестьянами, повалился въ ноги Мирошеву.

— Что это значитъ? — проговорилъ Кузьма Петровичъ, внѣ себя отъ удивленія. — Да встаньте, Бога ради!... Что вы?... Встаньте, говорятъ вамъ!

Парфенъ всталъ, а за нимъ и всѣ крестьяне.

— Зачѣмъ вы пришли? Чего вы хотите?

— Какъ же, батюшка, — сказалъ Парфенъ: — вѣдь ты нашъ родной... кормилецъ нашъ!...

— Кормилецъ нашъ!—повторили всѣ крестьяне и повалились опять въ ноги.

— Да полноте, — вскричалъ Мирошевъ: — что вы мнѣ кланяетесь?

— Они, батюшка, пришли къ вамъ съ поклономъ, — прервалъ Кондратьичъ.

— Ко мнѣ?

— Ну да, сударь! Вѣдь это ваши мужички.

— Мои мужички?

— Ваше благородіе, — сказалъ униженнымъ голосомъ Лаврентій, передавая своего индѣйскаго пѣтуха Прохору Кондратьичу,—вѣдь вы Кузьма Петровичъ Мирошевъ?

— Да, я отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Ваша матушка, Екатерина Семеновна, была урожденная княжна Бирдюкова?...

— Да.

— А вѣдь покойная то наша барышня, Елена Семеновна, была также княжна Бирдюкова, сестрица вашей матушки и родная ваша тетушка.

— Ну, сударь, — вскричалъ Прохоръ, — изволите ли понимать теперь?

Кузьма Петровичъ не отвѣчалъ ни слова: онъ совершенно обезумѣлъ. Все это казалось ему не сномъ, — онъ чувствовалъ, что не спитъ, — но какимъ то обаяніемъ, колдовствомъ, волшебною сказкою, въ которой, «*по щучьему велѣнію, по моему прошенію*», исполняются всѣ желанія какого-нибудь Ивана Царевича. Бѣдный, безпріютный сирота видитъ проѣздомъ хорошенькую деревеньку, останавливается въ ней, чтобъ полюбоваться ея прелестнымъ мѣстоположеніемъ; онъ очарованъ, онъ думаетъ: «О, еслибъ этотъ благословенный уголокъ земли принадлежалъ мнѣ, какъ бы я былъ счастливъ!» И вдругъ желанье его исполняется, это помѣстье становится его собственностію... За минуту онъ не зналъ, куда преклонить свою голову, а теперь онъ баринъ, помѣщикъ!... Да отъ этого хоть какая голова закружится!

— Возможно ли?—проговорилъ, наконецъ, Мирошевъ.— Такъ все, что я видѣлъ, чѣмъ любовался...

— Все ваше, батюшка, — прервалъ Кондратьичъ,—все ваше!... Ахъ, ты, Господи, Боже мой!—продолжалъ онъ.— Подлинно, правду говорятъ, что сердце въ насъ вѣщунъ!

Ну что вамъ вздумалось остановиться въ этой деревнѣ? Кабы не вы, такъ мы бы сюда и не заѣхали. Ужь какъ же и я, сударь, удивился!... Толкуемъ мы у воротъ съ Парфеномъ, гляжу,—ахти, батюшки, Лаврентій Сидорычъ!... Мы съ нимъ ужь лѣтъ двадцать пять не видались, а я тотчасъ его узналъ. «Ба, ба, ба, куманекъ, ты какъ здѣсь?» — «А ты, Прохоръ Кондратьичъ?» — «Я здѣсь съ моимъ бариномъ, его благородіемъ, Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ». — «Кузьмою Петровичемъ? Ужь это не сынокъ ли Петра Кузьмича и Екатерины Семеновны Мирошевыхъ?»—«Ну, да!»—Ахъ, батюшки, да вѣдь онъ нашъ помѣщикъ!»—«Какъ такъ?»—«А вотъ какъ!» И началъ мнѣ разсказывать. Ну, такъ и есть! Вѣдь у покойной княжны Елены Семеновны только и была одна сестрица, ваша матушка, а у васъ также нѣтъ никого, ни сестеръ, ни братьевъ, такъ, разумѣется, наслѣдникъ то вы.

— Ваше благородіе, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Лаврентій, — осмѣлюсь вамъ рабски доложить: не благоугодно ли будетъ вамъ пожаловать въ ваши барскія хоромы?

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь,—подхватилъ Кондратьичъ,— что намъ теперь гостить у Парфена: вѣдь ужь мы съ вами не проѣзжіе.

— А тамъ Ѳедосья и столъ накрыла для вашей милости,—прибавилъ Лаврентій.—Просимъ покорно, батюшка, чѣмъ Богъ послалъ!

— А я, сударь,—шепнулъ Кондратьичъ,—отправилъ на село купить два ведра вина, да Парфенъ на радостяхъ кланяется вамъ бочкой браги: надобно вашихъ мужичковъ попотчевать... Э, да вонъ и бабы собрались на улицѣ. Пожалуйте, Кузьма Петровичъ, пожалуйте!

Хотя Мирошевъ все еще былъ въ какомъ то чаду и съ трудомъ понималъ то, что ему говорили, однакожъ, послушался Прохора и вышелъ изъ избы. На улицѣ дожидались его толпа крестьянокъ и старостиха Василиса, которая не могла вмѣстѣ съ ними совершить обычнаго поклона, потому что держала обѣими руками огромное рѣшето съ яйцами. Торжественное шествіе Мирошева, задержанное на нѣсколько минутъ этою новою депутаціею, продолжалось отъ избы старосты Парфена до барскаго двора, черезъ всю деревню. Зрителей было мало, потому что въ этомъ ходѣ участвовали почти всѣ обыватели Хопровки; кой-гдѣ стояли на

завалинахъ полунагія дѣвчонки, высовывались изъ подворотенъ бѣловолосыя головки ребятишекъ и выглядывали изъ оконъ покрытыя морщинами лица дряхлыхъ стариковъ и старухъ, которые слѣзли съ полатей, чтобъ взглянуть, хотя издалека, на своего новаго барина. У растворенныхъ воротъ господскаго двора встрѣтили Кузьму Петровича ключница Ѳедосья, скотникъ Антонъ, садовникъ Трифонъ, сожительница Лаврентія — барская барыня Анисья, и пять или шесть дворовыхъ ребятишекъ. Взоры Мирошева невольно устремились на небольшой флигель, въ которомъ жилъ Лаврентій: всѣ окна были открыты, кромѣ одного, задернутаго бѣлою занавѣскою.

— Соколъ ты нашъ ясный, родной ты нашъ! — сказала Ѳедосья, кланяясь Мирошеву.—Милости просимъ!... Да не погнѣвайся на меня, дуру, что я давеча тебя не признала. Ахъ, я глупая, глупая! Ну, что бы мнѣ спросить: «Кто, дескать, ты, батюшка?» Такъ нѣтъ, словно замленіе какое сдѣлалось!...

Мирошевъ не отвѣчалъ ни слова.

— Ахти, батюшки,— прошептала Ѳедосья, — ужь баринъ то никакъ и впрямь на меня гнѣваться изволитъ?... Посмотри ка, Аксинья, отворотился, взглянуть не хочетъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Кузьма Петровичъ не слышалъ ничего и не замѣчалъ Ѳедосьи; ему показалось, что занавѣска, на которую обращено было все его вниманіе, начинаетъ шевелиться; вотъ мелькнули бѣленькіе пальчики, занавѣска отдернулась... Это она!

— Гляди ка, Антонъ,—шепнула Ѳедосья,—какъ у него щечки то разгорѣлись,—такъ и пышутъ!... Вѣдь онъ точно гнѣвается... Ну, пропала моя головушка!..

— И, полно, сватья, что ты! — сказала вполголоса Аксинья. За что ему гнѣваться? Эко диво, что ты его не признала!... Развѣ ты святой духъ какой?... Да онъ же, слышно, баринъ такой добрый! Поразговорись ка о немъ съ Прохоромъ Кондратьичемъ.

Занавѣска давно уже опять задернулась, а Мирошевъ все еще смотрѣлъ на окно.

— Вы, вѣрно, изволите смотрѣть на эти людскія?—сказалъ Лаврентій.—Да, батюшка, кровелька то на нихъ плоха становится, стропила поразъѣхались, мѣстами течь. Не прикажете-ли ихъ покрыть соломкою? Вѣдь это дранье только слава то; а, право, хуже всякой соломы.

— А, это ты, Ѳедосья?—сказалъ Мирошевъ, замѣтивъ наконецъ ключницу.

— Я, батюшка, я!... Такъ ты не изволишь гнѣваться?

— За что?

— А вотъ что я давеча то...

— Напротивъ, я тебѣ очень благодаренъ. Ты человѣкъ добрый, Ѳедосья, и Лаврентій также. Вы меня еще не знаете, а я знаю васъ.

— Какъ же такъ, кормилецъ?

— Да, Ѳедосья. Кто помнитъ добро и не оставляетъ сиротъ, тотъ ужь, вѣрно, человѣкъ добрый.

— Вотъ ѣдетъ и Парфенъ съ брагою!—вскричалъ Прохоръ.—Не извольте, сударь, безпокоиться: ужь я вашихъ мужичковъ угощу, а вы пожалуйте въ домъ, да поужинайте. Вѣдь вы сегодня изволили только завтракать.

— Мнѣ что то вовсе ѣсть не хочется.

— Съ радости, батюшка, съ радости! Ну, да это само по себѣ; и я радуюсь, сударь, а зайду щей похлебать къ Лаврентію Сидорычу. Ступайте ка, батюшка, да поужинайте на здоровье.

Кузьму Петровича ожидалъ въ столовой накрытый столъ. Около него суетился буфетчикъ Ѳома, племянникъ Лаврентія, который также вошелъ въ столовую, вслѣдъ за своимъ новымъ бариномъ, и сталъ съ тарелкою позади его стула.

Ужинъ продолжался не долго.

— Если вамъ угодно почивать, батющка,—сказалъ Лаврентій, когда Мирошевъ всталъ изъ за стола,—такъ пожалуйте въ спальню: тамъ все приготовлено.

— Хорошо, любезный; да войди сюда, въ гостиную: мнѣ надобно поговорить съ тобою.

— Слушаю, сударь.

Кузьма Петровичъ горѣлъ какъ на огнѣ: онъ очень хотѣлъ поговорить съ Лаврентіемъ о воспитанницѣ покойной его барыни, но никакъ не могъ собраться съ духомъ: при одной мысли объ этомъ, сердце его сжималось, и слова замирали на языкѣ. Минутъ пять продолжалось молчаніе; Кузьма Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, а Лаврентій стоялъ, вытянувшись въ струну, у дверей. Не зная, какъ начать разговоръ, Мирошевъ подошелъ къ окну, постучалъ пальцами въ стекло и сказалъ:

— Какой прекрасный садъ!

— Да, батюшка, хорошъ!—проговорилъ Лаврентій.

— И какое множество цвѣтовъ!

— Да съ; покойница ихъ очень жаловала.

— Что она... одна этимъ занималась?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ у ней были помощники?

— Какже-съ! Садовникъ Трифонъ.

Мирошевъ замолчалъ.

— Да, сударь,—продолжалъ Лаврентій, желая поддержать разговоръ,—бывало, весною, покойница съ утра до вечера въ саду. Она изволитъ надсматривать, Трифонъ сажаетъ цвѣты, а барышня поливаетъ.

— Барышня?—прервалъ Кузьма Петровичъ, оборотясь къ Лаврентію.—А, да, знаю! Воспитанница покойной тетушки?

— Точно такъ-съ.

— Кто она такая?

— Офицерская дочь, Марья Дмитріевна Терпугова.

— Гдѣ-жъ она теперь.

— Здѣсь, сударь. Послѣ смерти покойной вашей тетушки, она живетъ со мною.

— Въ людской?

— Да, сударь.

— Въ людской!—повторилъ про себя Мирошевъ.

Щеки его пылали; онъ прошелъ молча раза два по комнатѣ, потомъ остановился и, не гляда на Лаврентія, спросилъ:

— Ну, чтожъ она намѣрена теперь дѣлать?

— Да что вамъ будетъ угодно, батюшка Кузьма Петровичъ.

— Мнѣ? Почему же мнѣ? Послушай, Лаврентій, пока здѣсь не было хозяина, она могла жить съ тобой и съ Ѳедосьей въ людской, обѣдать вмѣстѣ съ вами; но теперь...

— Такъ чтожъ?—прервалъ Лаврентій.— Если вы позволите мнѣ держать ее попрежнему.

— Помилуй, да развѣ это можно?...

— Сдѣлайте милость, батюшка! Я отъ васъ и зерна лишняго не потребую. Если вы только моей мѣщины не убавите, такъ будетъ и съ нея и съ меня.

— Да развѣ объ этомъ рѣчь, Лаврентій?—вскричалъ Мирошевъ.—Какъ тебѣ не стыдно! Когда здѣсь никого не было,

такъ она поневолѣ должна была жить съ вами; а теперь... Ну, подумай хорошенько: прилично ли ей, благородной дѣвицѣ, жить въ людской и обѣдать съ дворовыми людьми, когда самъ баринъ на лицо.

— Конечно, сударь, — сказалъ Лаврентій, почесывая въ головѣ, — что и говорить—обидно: офицерская дочь...

— Вотъ то то и есть!

— Да дѣлать то нечего, батюшка! Не такъ живи, какъ хочется, а такъ, какъ Богъ велѣлъ.

— Послушай, Лаврентій: еслибъ я попросилъ ее жить въ домѣ и обѣдать вмѣстѣ со мною...

Лаврентій не отвѣчалъ ни слова.

— Ну, какъ ты думаешь?

— Власть ваша.

— Я спрашиваю тебя не объ этомъ: я хочу знать твое мнѣніе... Да чтожъ ты переминаешься? Говори прямо. Не правда ли, что это будетъ лучше?

— Полно, лучше ли, сударь! Не погнѣвайтесь, батюшка, Кузьма Петровичъ! У васъ, вѣрно, нѣтъ ничего дурного на умѣ, да человѣкъ вы молодой, Марьѣ Дмитріевнѣ также съ небольшимъ шестнадцать годковъ; такъ, воля ваша, а ей не приходится жить съ вами въ одномъ домѣ. Добро бы она была вамъ съ родни—двоюродная или хоть внучатная сестрица, а то, — помилуйте: что скажутъ сосѣди?...

— Да, это правда,—прошепталъ Мирошевъ.

Онъ прошелъ молча нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ остановился и сказалъ Лаврентію:

— А ты думаешь, что злые люди ничего не скажутъ, если она будетъ жить въ людской, а не въ домѣ? Вѣдь ты не станешь же держать ее за замкомъ?... Мы будемъ съ нею встрѣчаться.

— Такъ, сударь! Да все это не то; и злой человѣкъ разсудитъ, что еслибъ что ни есть такое было, такъ она бы не стала жить въ людской избѣ и ѣсть съ нами гречневую кашу, да горохъ. Конечно, всего бы лучше, еслибъ Господь Богъ послалъ ей женишка.

У Мирошева замерло сердце.

— Когда ваша покойная тетушка еще здравствовала,— продолжалъ Лаврентій,—такъ жениховъ то довольно наклевывалось; вотъ, напримѣръ, Степанъ Ивановичъ Малышевъ два разъ сваху подсылалъ.

— Малышевъ? А кто онъ такой?

— Гарнизонный прапорщикъ изъ Новохоперска. Собой не красивъ и, говорятъ, стаканчика придерживается; да ужь теперь, гдѣ разбирать, лишь только бы кто ни есть посватался...

— А этотъ Малышевъ ужь не сватается?—спросилъ съ живостію Мирошевъ.

— Вотъ то то и есть, никакъ передумалъ. Бывало, въ недѣлю раза три пріѣдетъ, а какъ узналъ, что послѣ покойницы духовной не осталось, такъ и ногу переломилъ.

— Подлецъ!—вскричалъ Кузьма Петровичъ, вздохнувъ свободнѣе.

— Да Богъ милостивъ!—прибавилъ Лаврентій вполголоса. Прошлое воскресенье былъ у обѣдни въ нашемъ приходѣ, въ селѣ Вознесенскомъ, пріѣзжій подъячій изъ Саратова: онъ что то больно поглядывалъ на Марью Дмитріевну...

— Подъячій!—повторилъ Мирошевъ.—Да неужели она согласится выйти за подъячаго?

— А почему-жъ и не выйти, батюшка? Вѣдь жениховъ то бракуютъ однѣ богатыя невѣсты. Онъ же молодецъ такой бравый, и лицомъ хоть куда; только лѣвый глазъ подбитъ, да вѣдь это не болѣзнь какая,—пройдетъ! Вотъ послѣзавтра онъ, вѣрно, будетъ опять у обѣдни, извольте сами посмотрѣть.

— Хорошо, хорошо, Лаврентій; прощай! Я подумаю, что намъ дѣлать съ Марьей Дмитріевной.

— Да, батюшка, утро вечера мудренѣе. Прощенья просимъ! Крѣпкаго сна, покойной ночи!

Лаврентій ушелъ и черезъ нѣсколько минутъ явился Прохоръ раздѣвать своего барина.

— Ну, сударь,—сказалъ Кондратьичъ,—угостилъ я знатновашихъ мужичковъ! Староста Парфенъ лыкомъ не вяжетъ, да и всѣ порядкомъ натянулись; а Ѳедора Безпалаго такъ раздуло отъ браги, что кушакъ на немъ лопнулъ. Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, приказалъ, чтобъ завтра, по-утру, готова была телѣжка: вамъ надобно всѣ поля объѣхать; да не мѣшаетъ и въ лѣсъ завернуть: я слышалъ, въ немъ есть порубки.

Мирошевъ не отвѣчалъ ни слова, а Кондратьичъ, выходя изъ спальни, сказалъ про себя: «Ну, видно, его поряд-

комъ ошеломило: все еще не можетъ образумиться. Эко счастье, подумаешь!... Подлинно, правду говорятъ: «голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ».

VII.

Отчаяніе и радость Прохора Кондратьича.

— Что это, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Прохоръ, войдя на другой день, часу въ седьмомъ къ Мирошеву, который сидѣлъ совсѣмъ одѣтый у окна и читалъ какую то бумагу,— да вы ужь готовы? Раненько, сударь, изволили подняться! И мнѣ всю ночь не спалось; сегодня, батюшка, я чѣмъ-свѣтъ ходилъ на ваше гумно и пересчиталъ всѣ одоньи. Эка благодать, подумаешь! Одного немолоченаго хлѣба рублей на двѣсти будетъ, да житницы биткомъ набиты. Ну, ужь помѣстье! Нечего сказать, наградилъ насъ Господь Богъ за потерпѣнье!. . Да не угодно ли вамъ чего-нибудь позавтракать, сударь? Иль покушаете, пріѣхавши съ поля? Вѣдь вы изволите ѣхать?

— Да, Прохоръ,— сказалъ Мирошевъ,—мы поѣдемъ, но только не въ поле, а въ городъ.

— Въ городъ? Зачѣмъ, сударь?

— Мнѣ надобно подать просьбу.

— Чтобъ васъ ввели во владѣніе? Да это еще не къ спѣху, батюшка; успѣете и завтра.

— Ты знаешь, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—что у покойной тетушки была воспитанница?

— Офицерская дочь, Марья Дмитріевна Терпугова? Какъ же, сударь, я ее видѣлъ. Что за прекрасная барышня такая! Бѣдная сиротинка: ни отца, ни матери, ни роду, ни племени... Не оставьте ее, батюшка!

— А знаешь ли ты, Прохоръ, что покойная тетушка хотѣла укрѣпить ей все свое имѣніе.

— Кто это вамъ сказалъ, сударь? Помилуйте, кабы хотѣла, такъ и укрѣпила бы! Что вы всему вѣрите!

— Но если я имѣю вѣрныя доказательства...

— Не можетъ быть, Кузьма Петровичъ! Тетушка ваша была барыня добрая и справедливая. Не ладила она съ покойною вашею матушкой,—знаю, сударь! Да вы то въ чемъ

виноваты? Вѣдь вы родной ея племянникъ, а Марья Дмитріевна что: пріемышъ!

— Если ты не вѣришь мнѣ, такъ спроси у Ѳедосьи или у Лаврентія.

— Что мнѣ Лаврентій, помилуйте! Эку выдумали штуку!... Видишь, покойница хотѣла отдать все имѣнье чужому человѣку, обидѣть родного племянника!... Ужь не хотѣла ли она отдать все имѣнье Лаврентію да Ѳедосьѣ!... Диво, что они этого не говорятъ! Вѣдь на мертваго лги, что хочешь.

— Да вотъ, кажется, и Лаврентій; мы сейчасъ узнаемъ всю правду. Поди сюда, лукавый!—продолжалъ Мирошевъ, развертывая бумагу, которую держалъ въ рукѣ. Ты грамоту знаешь?

— Какъ же, сударь.

— Посмотри, чья это рука?

— Это рука покойной вашей тетушки.

— Хорошо. Ступай, попроси сюда Марью Дмитріевну.

Лаврентій поклонился и вышелъ.

— Я нашелъ эту бумагу нечаянно,—сказалъ Мирошевъ; —она лежала вмѣстѣ съ другими бумагами въ письменномъ столикѣ. Знаешь ли, Прохоръ, что въ ней написано? Это черновая духовная покойной тетушки: она отказываетъ въ ней все имѣнье воспитанницѣ своей, Марьѣ Дмитріевнѣ Терпуговой.

— Скажите пожалуйста! — вскричалъ Прохоръ.— Ну этого я не чаялъ отъ покойницы. Эхъ, матушка, княжна Елена Семеновна, согрѣшила ты на старости! А все-таки вышло не по твоему: думала покривить душой, да Богъ не допустилъ; хотѣла, да не сдѣлала.

— А развѣ это не все равно?—сказалъ Мирошевъ.

— Какъ, все равно? Что вы, батюшка! Я таки по судамъ шатался довольно, знаю кой-что. Какая это духовная? Куда она явлена? Кто былъ свидѣтелемъ? Да и написана то какъ,—вся въ помаркахъ, на полулистѣ. Помилуйте, да этой духовной никакой судъ не утвердитъ!

— А если я захочу ее утвердить?

Кондратьичъ остолбенѣлъ.

— Вы?...— проговорилъ онъ.— Какъ вы?... Чтожъ вы хотите сдѣлать?

— Исполнить волю покойной моей тетушки.

— Да что вы, сударь, шутите что-ль?

— Нѣтъ, Прохоръ, не шучу.

— Такъ вы хотите отдать Хопровку этой сиротѣ?... Ахъ, Господи!... Батюшка, Кузьма Петровичъ, да что это съ вами сдѣлалось?

— Послушай, Прохоръ. Еслибъ покойная тетушка не умерла скоропостижно, а имѣла бы время сдѣлать законнымъ образомъ и предъявить эту духовную...

— Мало ли что, сударь! — прервалъ Кондратьичъ. — Еслибъ то, еслибъ другое... Да вѣдь этого ничего не было. Да чтожъ вы, Кузьма Петровичъ, грѣха что-ль не боитесь? Господь Богъ послалъ вамъ свою милость, а вы не принимаете!... «Онъ, дескать, рѣшилъ такъ, а я перерѣшу по своему!» Полноте, батюшка, что вы: вѣдь Бога то умнѣй не будете!

— И, Прохоръ, да развѣ не все дѣлается по волѣ Божіей? Развѣ не Онъ вложилъ въ меня совѣсть, которая запрещаетъ мнѣ обидѣть эту круглую сироту?

— Круглую сироту! А вы то что, сударь?

— Оставить ее безъ куска хлѣба!

— А вы то сами что будете кушать?

— Я мужчина — я могу служить; если не найду мѣста въ Москвѣ, то вступлю опять въ военную службу.

— Да, много вы въ ней выслужили!

— Почему знать, что будетъ впередъ! Богъ милостивъ!

— Да, сударь, Онъ былъ до васъ милостивъ: свалилось съ неба имѣньице, да, видно, на васъ и Богъ то не угодитъ.

— Сердись на меня, какъ хочешь, Прохоръ, а межъ тѣмъ ступай-ка укладываться.

— Укладываться? — повторилъ Кондратьичъ испуганнымъ голосомъ.—Такъ вы и подумать то не хотите?

— Я и такъ ужь довольно думалъ.

— Господи, Господи! — вскричалъ Прохоръ съ совершеннымъ отчаяніемъ. А помѣстье то какое! Домъ какъ полная чаша; одного хлѣба на пятьсотъ рублей!... Да долго ли мнѣ, окаянному, мыкаться съ вами по бѣлу свѣту! Да что это меня не приберетъ Господь!... Батюшка, Кузьма Петровичъ, не торопитесь, Бога ради не торопитесь!... И что вамъ далась эта сирота?... Что вы съ ней дѣтей, что-ль крестили?... Ну, наградите ее, выдайте замужъ...

— Замолчи, Прохоръ! — прервалъ съ досадою Мирошевъ.—Дѣлай, что я приказываю, или я и безъ тебя уѣду отсюда.

Никогда еще Кузьма Петровичъ не говорилъ такъ круто съ своимъ дядькою. У бѣднаго старика руки опустились.

— Безъ меня! — шепталъ онъ, выходя изъ комнаты.— Безъ меня! Вотъ, до чего я дожилъ!

Въ передней повстрѣчались съ нимъ Лаврентій и Марья Дмитріевна. Лаврентію онъ не поклонился, а на Марью Дмитріевну взглянулъ почти съ ненавистью.

— Хопровская помѣщица! — бормоталъ онъ себѣ подъ носъ.—Да она и на барыню то вовсе не походитъ: такъ — дѣвчонка!... И что она показалась мнѣ хорошею?... Вовсе не хороша! А ужь какая ледащая, взглянуть не на что: того и гляди, пополамъ переломится.

Лаврентій вошелъ въ спальню и доложилъ о Марьѣ Дмитріевнѣ.

— Попроси ее въ гостиную, — проговорилъ Мирошевъ прерывающимся голосомъ.

Сердце его такъ сильно билось, что ему нужно было нѣсколько минутъ, чтобъ собраться съ духомъ. Онъ всю ночь провелъ въ ужасной борьбѣ съ самимъ собою. Сначала онъ совсѣмъ было рѣшился предложить Марьѣ Дмитріевнѣ свою руку. Казалось, чего бы лучше? Воспитанница его покойной тетки была бы пристроена, а онъ сдѣлался бы самымъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ; но вдругъ онъ вспомнилъ слова Лаврентія: «Вѣдь жениховъ то бракуютъ однѣ богатыя невѣсты, а ужь теперь гдѣ ей разбирать: лишь только бы кто-нибудь посватался!» Итакъ, еслибъ онъ не понравился Марьѣ Дмитріевнѣ, то она и тогда бы отдала ему свою руку, для того только, чтобъ имѣть кусокъ хлѣба. Сдѣлать предложеніе этой бѣдной дѣвушкѣ въ ту самую минуту, когда участь ея была совершенно въ его рукахъ, не то же ли самое, что сказать ей: «Ты меня не знаешь, никогда меня не видала; быть можетъ, я человѣкъ дурной, быть можетъ, наружность моя тебѣ не нравится, быть можетъ даже, что ты любишь другого; но это все равно: ты должна выйти за меня замужъ, потому что ты нищая, потому что благодѣтельница твоя хотѣла, но не успѣла обезпечить твое состояніе; ты любила ее, какъ родную мать, а я не зналъ даже, что она и существуетъ; но ты ей чужая, а я родной племянникъ, законный наслѣдникъ и, слѣдовательно, имѣю полное право лишить тебя послѣдняго убѣжища, выгнать вонъ изъ дому или изъ милости кормить вмѣстѣ съ моими людьми на за-

стольной.» О, нѣтъ, нѣтъ, — подумалъ Мирошевъ; — пусть будетъ она прежде владѣть тѣмъ, что ей было назначено, пусть выборъ ея будетъ совершенно свободенъ, и тогда, если она не отвергнетъ любовь мою, если согласится добровольно отдать мнѣ свою руку, — о, тогда я буду истинно счастливъ!—Въ наше время какой-нибудь романтическій любовникъ и этимъ бы не удовольствовался: его стала бы мучить мысль, что она соглашается выйти за него замужъ только изъ одной благодарности; но разборчивость Мирошева не простиралась до этой степени, во-первыхъ потому, что, несмотря на свою скромность, онъ зналъ, что у него наружность довольно пріятная, а во-вторыхъ потому, что тогда бы уже онъ не могъ ни въ какомъ случаѣ быть ея мужемъ, и, слѣдовательно, ради утонченности своихъ чувствъ, обрекъ бы самъ себя на вѣчное страданіе. Не знаю, какъ думаютъ другіе, а по мнѣ такіе вольные мученики интересны только на сценѣ, гдѣ всѣ горести, бѣдствія и мученія оканчиваются вмѣстѣ съ опущеніемъ занавѣса.

Мирошевъ вышелъ въ гостиную. Марья Дмитріевна въ томъ же самомъ платьѣ и аломъ платочкѣ, въ которыхъ онъ видѣлъ ее въ первый разъ, стояла посреди комнаты; щеки ея пылали, а изъ потупленныхъ глазъ катились крупныя слезы.

— Оставь насъ однихъ,—сказалъ Мирошевъ Лаврентію, который стоялъ у дверей столовой.

Марья Дмитріевна вздрогнула и робко оглянулась назадъ, а Лаврентій посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ на нее, потомъ на своего господина и хотѣлъ что то сказать; но Мирошевъ повторилъ твердымъ голосомъ свое приказаніе, и Лаврентій вышелъ вонъ.

— Садитесь, Марья Дмитріевна, — сказалъ Мирошевъ, указывая рукою на канапе. — Мнѣ нужно поговорить съ вами... Да сдѣлайте милость... я прежде васъ не сяду!

Почтительный и даже робкій голосъ Мирошева ободрилъ бѣдную сироту: она подняла глаза, и когда взоры ихъ встрѣтились, когда она взглянула на это кроткое, милое лицо, исполненное добродушія и чести, то сердце ея перестало замирать отъ страха и забилось свободнѣе.

— Прошу покорно! — сказалъ Мирошевъ, взявъ ее за руку и посадивъ на канапе. — Это настоящее ваше мѣсто: вы здѣсь хозяйка.

— Хозяйка!—прошептала бѣдная дѣвушка.

Она взглянула почти съ укоромъ на Мирошева и горько заплакала.

— Да о чемъ же вы плачете? — вскричалъ Мирошевъ, садясь противъ нея на стулѣ.—Успокойтесь, Бога ради! Я повторяю вамъ еще разъ: вы здѣсь хозяйка: не вы у меня, а я у васъ въ гостяхъ.

— Извините, Кузьма Петровичъ, — сказала прерывающимся голосомъ Марья Дмитріевна, — я очень помню, что я сирота и живу здѣсь по вашей милости.

— Вотъ въ этомъ то вы и ошибаетесь. Вы, вѣрно, знаете, что покойная моя тетушка хотѣла вамъ укрѣпить все свое имѣнье?

Марья Дмитріевна не отвѣчала ни слова.

— Да будьте же со мною откровенны, — продолжалъ Мирошевъ.—Не правда ли, вы это знаете?

— Да, — проговорила вполголоса Марья Дмитріевна, — матушка... то есть благодѣтельница моя, говорила мнѣ объ этомъ за нѣсколько дней до своей смерти; но едва ли она имѣла право это сдѣлать...

— О, что имѣла, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія!

— Но не должна была имъ воспользоваться, хотите вы сказать?—прервала съ живостію Марья Дмитріевна.—Я совершенно съ вами согласна. Я думаю, было бы несправедливо, еслибъ она для чужого человѣка обидѣла своего родного племянника.

— А развѣ она для васъ была чужая?

— О, нѣтъ, нѣтъ! — вскричала бѣдная дѣвушка, залившись слезами.

— Я никогда не видалъ покойной моей тетушки,— продолжалъ Мирошевъ, — а вы были утѣшеніемъ ея старости, она любила васъ, какъ дочь родную...

— Да, это правда.

— Ну, вотъ видите ли, Марья Дмитріевна, что не вы, а я былъ чужой человѣкъ для покойницы; слѣдовательно, это имѣнье должно, по всей справедливости, принадлежать вамъ... Что вы смотрите на меня съ такимъ удивленіемъ? Вѣдь тетушка точно хотѣла укрѣпить вамъ свое имѣнье; вотъ и доказательство этому,—прибавилъ Мирошевъ, подавая Марьѣ Дмитріевнѣ черновую духовную.—Эта бумага не значитъ ничего передъ закономъ, — продолжалъ онъ, — но никто не можетъ запретить мнѣ исполнить то, что въ ней

написано, и отказаться въ вашу пользу отъ этого наслѣдства.

— Въ мою пользу? — повторила Марья Дмитріевна, поблѣднѣвъ, какъ смерть.—Кузьма Петровичъ, вы смѣетесь надо мной!...

— Можете ли вы это думать? Да, Марья Дмитріевна, съ этой минуты здѣсь все принадлежитъ вамъ. Позвольте мнѣ только остаться еще нѣсколько дней вашимъ гостемъ: мнѣ надобно будетъ съѣздить въ городъ, подать просьбу и похлопотать, чтобъ васъ скорѣй ввели во владѣніе.

— Боже мой, Боже мой!—прошептала Марья Дмитріевна, сложивъ набожно руки.—Не сонъ ли это?... Ахъ, Кузьма Петровичъ!...

— Благодарите не меня, — сказалъ Мирошевъ, вставая, — а вашу благодѣтельницу: я только исполнитель послѣдней ея воли. Вотъ все, что мнѣ нужно было вамъ сказать. Ступайте, обрадуйте скорѣе добрыхъ людей, которые не оставили васъ въ несчастіи: теперь вы можете съ ними поквитаться. Прощайте, Марья Дмитріевна!

Кто испыталъ надъ самимъ собою, какъ сильно дѣйствуетъ на душу, не постепенный, а внезапный переходъ отъ горя къ счастью, или отъ счастья къ горести, тому будетъ весьма понятно, что Марья Дмитріевна почти совершенно потеряла разсудокъ. Въ передней дожидался ее Лаврентій; она упала ему на грудь, рыдала, улыбалась, крестилась и не могла выговорить ни слова. Кондратьичъ, который былъ также въ передней, смотрѣлъ на все это съ примѣтнымъ ужасомъ и, казалось, готовъ былъ отъ отчаянія удариться головой объ стѣну.

— Матушка, барышня, что вы это?—говорилъ Лаврентій.—Что съ вами сдѣлалось? Да перестаньте, ради Христа! Господь съ вами, что вы это: и смѣетесь и плачете!...

— Да, — прошепталъ Кондратьичъ сквозь зубы, — есть отъ чего и посмѣяться, и поплакать съ радости.— Не было ни полушки, да вдругъ алтынъ! Что, сударыня, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Марьѣ Дмитріевнѣ, — баринъ то вамъ отдалъ Хопровку?

— Какъ такъ? — вскричалъ Лаврентій.

— Да, — проговорила, наконецъ, Марья Дмитріевна. — Кузьма Петровичъ хочетъ непремѣнно исполнить волю покойной моей благодѣтельницы. О, какой это добродѣтельный и благородный человѣкъ!

— Да, конечно,—прервалъ Кондратьичъ,—баринъ мой человѣкъ благородный; да вотъ посмотримъ, что то онъ станетъ дѣлать съ своимъ благородствомъ, какъ перекусить то нечего будетъ.

— Что вы говорите? — прервала съ живостію Марья Дмитріевна. — Да неужели Кузьма Петровичъ человѣкъ бѣдный?

— А вы, чай, думали—богатый? То то и есть: тороватаго съ богатымъ не распознаешь.

— Однакожъ, у него есть какое-нибудь имѣнье?

— Какъ же! Телѣга, да пара лошадей.

— Но, можетъ быть, у него есть деньги?

— И деньги есть: у насъ у обоихъ цѣлковыхъ пять наберется.

— Возможно ли?... Да чѣмъ же онъ самъ будетъ жить?

— А чѣмъ живутъ птицы небесныя. Баринъ пробирается въ Москву, чтобъ поискать какой ни есть службы; да надежда то плоха: ни сродниковъ, ни знакомыхъ; найдетъ мѣстечко—хорошо...

— А если нѣтъ?

— Такъ дѣлать нечего: авось Христовымъ именемъ проживемъ какъ-нибудь.

— Боже мой, Боже мой!—вскричала Марья Дмитріевна, всплеснувъ руками.—Кузьма Петровичъ сирота, у него ничего нѣтъ, и онъ рѣшился...

— Матушка-барышня, ваше благородіе—прервалъ Кондратьичъ. — Я вижу, вы человѣкъ добрый, — будьте мать родная, не пустите насъ по міру! Ну, ужь такъ и быть, грѣхъ пополамъ: будетъ и съ васъ и съ него.

Марья Дмитріевна молчала. Вдругъ лицо ея покрылось яркимъ румянцемъ, глаза заблистали, она воротилась назадъ и вошла поспѣшно въ гостиную. Мирошевъ сидѣлъ, задумавшись, у окна. Увидѣвъ ее, онъ вздрогнулъ и вскочилъ со стула.

— Кузьма Петровичъ,—сказала Марья Дмитріевна твердымъ голосомъ, — вы рѣдкій, необычайный человѣкъ, я вѣчно буду молить за васъ Бога; но ни за что не соглашусь принять ваше благодѣяніе.

— Что это значитъ?—спросилъ Мирошевъ.—Что съ вами сдѣлалось?

— Теперь я знаю все,—продолжала Марья Дмитріевна:—вы сами ничего не имѣете; вы такой же сирота, какъ я,

и хотѣли уступить мнѣ, совершенно чужой для васъ и незнакомой дѣвушкѣ, законное ваше наслѣдство... О, нѣтъ, нѣтъ, я никогда на это не соглашусь!

— Но если это была воля покойной вашей благодѣтельницы?

— Почему вы это знаете? Почему вы знаете, что происходило въ душѣ ея, когда она разставалась съ жизнью? Можетъ быть, умирая, тетушка ваша благодарила Бога, что онъ не допустилъ ее поступить такъ несправедливо? И неужели вы думаете, что благодѣтельница моя, эта добродѣтельная, святая женщина рѣшилась бы лишить наслѣдства родного племянника, еслибъ знала, что онъ останется безъ куска хлѣба?

— Вы напрасно это думаете. Я молодъ, могу служить... а вы...

— Обо мнѣ не безпокойтесь. У меня нѣтъ ни отца, ни матери; но тамъ — на небесахъ, есть Отецъ, Который никогда не покидаетъ дѣтей Своихъ. Съ вашею покойною тетушкою была знакома игуменья женскаго монастыря, который недалеко отсюда: она, вѣрно, не откажется принять меня въ свою обитель..

— Какъ!—вскричалъ Мирошевъ,—вы хотите покинуть міръ?

— Да для чего же я въ немъ останусь? Здѣсь я сирота, а тамъ будутъ у меня и мать, и сестры...

— Но кто же станетъ заботиться о счастьи здѣшнихъ крестьянъ? Кто наградитъ добрыхъ людей, которые не покинули васъ въ сиротствѣ?

— Вы, Кузьма Петровичъ: это имѣнье принадлежитъ вамъ.

— Слѣдовательно, я имѣю право отдать его тому, кому хочу?

— Только не мнѣ!—прервала съ жаромъ Марья Дмитріевна.—Бога ради, не мнѣ! Вмѣсто добра, вы сдѣлаете зло. Это благодѣяніе, какъ тяжелый камень, ляжетъ на груди моей. Теперь я ничего не имѣю; но я сплю спокойно, ничто не тревожитъ моей совѣсти; а тогда!... Да неужели вы думаете, что я или забуду вашъ великодушный поступокъ, или, живя сама въ изобиліи, стану равнодушно думать о томъ, что вы, племянникъ моей второй матери, мой благодѣтель, терпите нужду, не имѣете пристанища, или, что еще грустнѣе, живете по милости чужихъ людей?... О, эта

мысль была бы для меня ужаснѣе и нищеты, и сиротства, и всего на свѣтѣ!... Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, заклинаю васъ Богомъ, не дѣлайте этого!...

Когда высокое, святое чувство одушевляетъ всѣ черты лица, когда въ нихъ выражается вся неизъяснимая доброта, все великодушіе, къ которому способно сердце женщины, то еслибъ эта женщина была и дурна собою, она въ эту минуту становится прекрасною. Что же была Марья Дмитріевна, когда, устремивъ на Мирошева свои небесно-голубые глаза, она просила у него, какъ милости, дозволить ей остаться бѣдною сиротою?... О, въ эту минуту она не походила на существо земное! Ей не доставало только крыльевъ, чтобъ быть ангеломъ небеснымъ. Мирошевъ готовъ былъ упасть къ ея ногамъ; несмотря на свою робость онъ чувствовалъ, что не можетъ долѣе скрывать любви своей.

— Если вы не желаете,—сказалъ онъ, заикаясь,—владѣть однѣ имѣньемъ покойной моей тетушки, то согласитесь, по крайней мѣрѣ, владѣть имъ вмѣстѣ со мною.

— Какъ, вмѣстѣ съ вами?

— Да, Марья Дмитріевна, — продолжалъ Мирошевъ, — если вы хотите, чтобъ я не отказался отъ этого наслѣдства, то должны... вмѣстѣ съ нимъ... отдать мнѣ вашу руку!...

Больше этого Мирошевъ не могъ сказать ничего, потому что языкъ его пересталъ двигаться.

Марья Дмитріевна поблѣднѣла, потомъ снова румянецъ заигралъ на ея щекахъ. Она до того была поражена этимъ внезапнымъ предложеніемъ, что не могла вымолвить ни слова. Кузьма Петровичъ былъ также не въ лучшемъ положеніи. Онъ высказалъ то, что было у него на душѣ; но этотъ отчаянный порывъ истощилъ все его мужество: онъ стоялъ, какъ приговоренный къ смерти, и только думалъ про себя: «Боже мой, что то она скажетъ?» Но Марья Дмитріевна молчала. Вотъ прошло нѣсколько минутъ, Мирошевъ собрался съ духомъ, мысленно перекрестился и сказалъ:

— Марья Дмитріевна, хотите ли вы быть моею женою?

— Но вы видите меня въ первый разъ, — прошептала испуганная дѣвушка:—вы меня не знаете...

— Я вижу, что вы прекрасны, — вскричалъ съ восторгомъ Мирошевъ, — и знаю, что вы добры, какъ ангелъ! Чего же мнѣ больше?

Застѣнчивый человѣкъ, когда онъ преодолѣетъ, наконецъ, это врожденное чувство, очень походитъ на труса, которому некуда спрятаться: онъ до того можетъ расхрабриться, что его ужь ничѣмъ не уймешь. Да и любовь—дѣло великое; она хоть кому развяжетъ языкъ. Стыдливый и робкій Мирошевъ вдругъ сдѣлался такъ смѣлъ и настойчивъ, какъ будто бы во всю свою жизнь только и дѣлалъ, что изъяснялся въ любви. Напрасно Марья Дмитріевна просила небольшой отсрочки, Кузьма Петровичъ былъ неумолимъ; онъ требовалъ, чтобъ она, не сходя съ мѣста, отвѣчала на его вопросъ.

— Если вы теперь же не рѣшите моей участи, — говорилъ онъ, — то я приму ваше молчаніе за отказъ: сейчасъ ускачу въ городъ, укрѣплю за вами Хопровку, отправлюсь въ Москву, умру съ горя, сойду съ ума и уѣду на край свѣта!

Читатели, вѣроятно, замѣтятъ, что, говоря эти слова, Кузьма Петровичъ вовсе не заботился о логической постепенности; ему надобно было прежде всего уѣхать на край свѣта и сойти съ ума, а потомъ умереть съ горя; но въ этихъ случаяхъ истинное чувство убѣждаетъ лучше всякой логики, и одинъ взглядъ, который высказываетъ всю душу, дѣйствуетъ сильнѣе сотни самыхъ правильныхъ силлогизмовъ. Вы знаете, что Мирошевъ имѣлъ пріятную наружность, а что онъ былъ добръ и благороденъ, въ этомъ Марья Дмитріевна сомнѣваться не могла; чтожъ оставалось ей дѣлать? Разумѣется, она закрыла руками лицо, заплакала, потомъ взглянула украдкою на Мирошева, потомъ улыбнулась, потомъ протянула ему руку и сказала: «да».

Кузьма Петровичъ, какъ и всѣ добрые люди, не умѣлъ скрывать своей радости, и всегда спѣшилъ подѣлиться ею съ другими. Натурально, первыя минуты были посвящены безмолвнымъ восторгамъ, еще нѣсколько минутъ—увѣреніямъ въ вѣчной любви и вѣрности; потомъ Мирошевъ вышелъ со своею невѣстою въ столовую, позвалъ Лаврентія и Прохора, и сказалъ имъ:

— Вотъ ваша барыня!

Лаврентій поклонился, а Кондратьичъ пробормоталъ сквозь зубы:

— Барыня!... Ну, пожалуй себѣ, барыня, да только не моя.

— Марья Дмитріевна,—продолжалъ Кузьма Петровичъ,—

этотъ старикъ былъ моимъ дядькою, или, лучше сказать, вторымъ отцомъ моимъ. Онъ давно уже имѣетъ отпускную, но не хотѣлъ никогда меня покинуть. Любите его такъ же, какъ я буду всегда любить Лаврентія и Ѳедосью, которые не оставили васъ въ сиротствѣ. Ну, чтожъ ты, Прохоръ, на меня смотришь?—прибавилъ Мирошевъ.—Кланяйся Марьѣ Дмитріевнѣ: она моя невѣста.

— Невѣста? — повторили въ одинъ голосъ оба старика.

— Да, мои друзья: Марья Дмитріевна согласилась выйти за меня замужъ и сдѣлать меня самымъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Теперь она моя невѣста, и чрезъ недѣлю, надѣюсь, будетъ моею женою.

— Матушка, Марья Дмитріевна,—вскричалъ Лаврентій,—честь имѣю поздравить! Батюшка, Кузьма Петровичъ!...

— Прошу любить меня и жаловать!—сказалъ Кондратьичъ.—Пожалуйте ручку, матушка! Ну, слава Тебѣ, Господи! Вотъ ужь будетъ парочка!... Ухъ, батюшки, отлегло отъ сердца!... Такъ Хопровка то теперь наша, Кузьма Петровичъ?

— Разумѣется,—отвѣчалъ съ улыбкою Мирошевъ.—Это приданое моей невѣсты.

VIII.

Какъ Марья Дмитріевна вышла замужъ за Кузьму Петровича, и какъ покойная его тетушка благословила этотъ союзъ.

Радостная вѣсть о помолвкѣ помѣщика сельца Хопровки съ Марьей Дмитріевной Терпуговой облетѣла въ нѣсколько минутъ всѣ крестьянскія избы. Староста Парфенъ, у котораго отъ вчерашней попойки голова едва держалась на плечахъ, явился первый съ поздравленіемъ. Вслѣдъ за нимъ пришли старики и всѣ тягловые поклониться будущей своей барынѣ; одни изъ усердія, другіе изъ крестьянской политики, третьи изъ любопытства, а большая часть для того, чтобъ при сей вѣрной оказіи опохмѣлиться и выпить по чаркѣ барскаго вина. Прохоръ Кондратьичъ, какъ человѣкъ, знающій порядокъ, стоялъ уже въ лакейской, держа въ одной рукѣ штофъ, заткнутый клочкомъ бумага, а въ другой рюмку съ отбитою ножкою. Женихъ и невѣста

вышли къ своимъ крестьянамъ; мужички, какъ слѣдуетъ, повалились въ ноги, пожелали имъ *совѣта и любви*, и отправились по домамъ разсказывать своимъ женамъ, какъ ихъ баринъ стоялъ рядышкомъ съ невѣстою, какъ она держала его за руку, и какъ они оба весело и любовно другъ на друга поглядывали. Одинъ Ѳедоръ Безпалый, у котораго раздутое отъ браги лицо лоснилось, какъ покрытое лакомъ, возвратясь домой, не хотѣлъ ничего отвѣчать на разспросы своей жены, а только бормоталъ про себя:

— Ну, ужь отпотчевали! По чаркѣ вина, — эка невидаль!... Да и чарка то съ наперстокъ,—въ руки взять нечего! Хоть бы по ковшику бражки поднесли.

По просьбѣ Марьи Дмитріевны свадьба была отложена на двѣ недѣли. Объ этомъ также очень хлопотала Ѳедосья.

— Нельзя же, батюшка, Кузьма Петровичъ,—говорила она,—въ одну недѣлю снарядить невѣсту какъ слѣдуетъ, вѣдь это не около пальца обвести. Конечно, покойница позапасла кое-что для барышни; да мало ли что еще надобно: и наволоки не готовы, и сорочки не прострочены, и то, и другое... Дай, отецъ мой, справиться. Вѣдь поспѣшишь, людей насмѣшишь!

Наконецъ, наступилъ день свадьбы. Это было въ воскресенье. Приходская церковь хопровскихъ жителей находилась въ селѣ Вознесенскомъ, до котораго было не далѣе трехъ верстъ. Часовъ въ восемь по-утру стояла уже у крыльца господскаго дома запряженная четверкою древняя колымага, въ которой обыкновенно ѣзжала покойница къ обѣднѣ. Женихъ и невѣста сидѣли въ гостиной; глаза у невѣсты были заплаканы: это въ порядкѣ вещей; но отчего Кузьма Петровичъ былъ также невеселъ? Отчего и на его глазахъ блистали также слезы? О, на это была весьма важная причина! Можетъ быть, нынче она покажется совершенно ничтожною; но отцы и дѣды наши не такъ объ этомъ думали. Кузьма Петровичъ и Марія Дмитріевна ѣхали вѣнчаться, а ихъ некому было благословить. У дверей стояли: Ѳедосья, Кондратьичъ и Лаврентій; они смотрѣли съ грустію, но безъ всякаго удивленія, на печаль своихъ молодыхъ господъ. Добрые, простодушные люди, они понимали, что въ эту минуту и женихъ и невѣста вполнѣ чувствуютъ свое сиротство!

— Чу,—прошепталъ Кондратьичъ,—благовѣстъ!

— Сегодня служба будетъ пораньше,—сказалъ Лаврен-

тій:—вѣдь послѣ обѣдни вѣнчанье, а тамъ молебенъ... Не пора ли, батюшка, Кузьма Петровичъ?

— Да, пора!—промолвилъ Мирошевъ, вставая. — Послушайте, мои друзья,—продолжалъ онъ:—мы оба сироты,— насъ некому благословить. Ѳедосья и ты, мой добрый дядька, возьмите образъ и благословите насъ вмѣсто отца и матери.

Лаврентій побѣжалъ въ образную, принесъ икону Спаса Нерукотвореннаго... И вѣрно съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ этотъ христіанскій обычай въ нашемъ отечествѣ, не было пролито слезъ теплѣе и благочестивѣе тѣхъ, которыя лились въ эту торжественную минуту, когда молодые господа, преклонивъ колѣна, принимали благословеніе отъ собственныхъ слугъ своихъ. Ѳедосья и оба старика плакали навзрыдъ. О, конечно, родные отецъ и мать не могли бы усерднѣе молиться за дѣтей своихъ, какъ молились они Господу Богу, чтобъ Онъ ниспослалъ благодать и милость Свою на этихъ двухъ безродныхъ сиротъ!

Когда Мирошевъ пріѣхалъ со своею невѣстою въ церковь, въ ней было еще довольно просторно; но къ концу обѣдни она до того наполнилась народомъ, что почти нельзя было пошевелиться. Едва ли гдѣ-нибудь любопытство видѣть молодыхъ подъ вѣнцомъ доходитъ до такого неистовства, какъ у насъ въ Россіи: стотъ только растворить церковныя двери и впускать всѣхъ безъ разбору, такъ въ нѣсколько минутъ не останется свободнаго мѣста ни для священника, ни для молодыхъ. И старики, и дѣти, и мужчины, и женщины, всѣ считаютъ какою то обязанностію войти въ церковь, не молиться, — объ этомъ во время вѣнчанья никто не думаетъ, а такъ, взглянуть, если можно, на жениха и невѣсту, или хоть издалека послушать, какъ поютъ: «Исаія ликуй». Спросите у кого хотите изъ этихъ любопытныхъ, зачѣмъ онъ ломится въ двери, зачѣмъ даетъ себя давить и давитъ самъ другихъ; однимъ словомъ, зачѣмъ онъ пришелъ въ церковь, если вовсе не думаетъ молиться? И онъ вѣрно будетъ вамъ отвѣчать: «Какъ зачѣмъ? Свадьба!» Другой причины вы отъ него не добьетесь. И это бываетъ въ городахъ, гдѣ дворянскія свадьбы вовсе не рѣдки; представьте же себѣ, какая была давка въ деревянной маленькой церкви села Вознесенскаго, когда пронесся слухъ, что въ ней будетъ вѣнчаться помѣщикъ сельца Хопровки съ офицерскою дочерью, которая жила у покойной княжны Бир-

дюковой. Лишь только обѣдня отошла, Прохоръ Кондратьичъ, при помощи дьячка, порастолкалъ кой-какъ народъ, и обрядъ вѣнчанья начался.

Кузьма Петровичъ и Марья Дмитріевна во все время такъ усердно молились, что не замѣтили даже двухъ молодыхъ людей, которые смотрѣли на нихъ болѣе, чѣмъ съ любопытствомъ. Одинъ изъ нихъ былъ въ военномъ мундирѣ, другой въ нѣмецкомъ кафтанѣ.

— Видишь ли этихъ господъ?—шепнулъ Лаврентій на ухо Кондратьичу.—Вонъ что въ мундирѣ то—это гарнизонный прапорщикъ Малышевъ: онъ сватался за Марью Дмитріевну.

— Право?

— Какъ же! Да не по Сенькѣ шапка!

— А что?

— Да такъ: забрили молодцу затылокъ! А вотъ другой то, дѣтина такой видный, — приказный изъ Саратова, и онъ, говорятъ, хотѣлъ сваху заслать; да ужь мы бы ее порядкомъ со двора спровадили. Велика фигура—приказный; да еще съ подбитымъ глазомъ! И туда-жъ нарохтился, подъячій!...

Если читатели замѣтятъ, что Лаврентій за недѣлю до этого говорилъ совсѣмъ другое, то я попрошу ихъ не судить его слишкомъ строго за его невинное хвастовство. Онъ уважалъ Марью Дмитріевну какъ свою барыню и любилъ какъ дочь родную; а сколько есть отцовъ и матерей, которые, говоря о женихахъ своей дочери (ихъ обыкновенно бываетъ очень много), поступаютъ точно такъ же, какъ Лаврентій, и подчасъ отказываютъ даже тѣмъ женихамъ, которые вовсе и не думали свататься.

Когда молодые отслужили молебенъ и приложились къ мѣстнымъ иконамъ, Кондратьичъ и Лаврентій отправились домой, чтобъ встрѣтить новобрачныхъ съ хлѣбомъ-солью, а Марья Дмитріевна предложила своему мужу сходить на могилу покойной его тетки.

— Съ мѣсяцъ тому назадъ, — сказала она, идя съ Мирошевымъ по церковной паперти,—я посадила на ея могилѣ кустъ розановъ; сначала онъ очень хорошо принялся, да вдругъ, не знаю, что съ нимъ сдѣлалось. На прошлой недѣлѣ я служила здѣсь панихиду,—жаль было видѣть: цвѣты, которые стали было распускаться, всѣ завяли, листья облетѣли, совсѣмъ пропалъ. Надобно посадить другой.

— Хорошо, мой другъ; я прикажу садовнику.

— Нѣтъ, ужь позвольте мнѣ самой.

— Какъ хочешь, мой ангелъ! Да гдѣ же тетушкина могила?

— Вонъ тамъ, на той сторонѣ погоста, за березами.

Молодые подошли къ двумъ толстымъ березамъ, позади которыхъ виднѣлся деревянный крестъ, окрашенный черною краскою. Вдругъ Марья Дмитріевна остановилась.

— Боже мой,—вскричала она,—что это значитъ?

— Что ты, мой другъ? — спросилъ съ безпокойствомъ Мирошевъ.

— Вы не присылали сюда садовника?

— Нѣтъ.

— Посмотрите, посмотрите!

Подлѣ чернаго креста подымался одѣтый яркою зеленью и усыпанный цвѣтами роскошный кустъ розановъ.

— О, матушка, матушка,—вскричала Марья Дмитріевна, упавъ на могилу своей благодѣтельницы,—я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!

Мирошевъ сталъ на колѣна подлѣ жены своей, и тихая молитва этихъ кроткихъ христіанскихъ душъ, которыя слились вѣрою въ одну душу, какъ чистый ѳиміамъ, вознеслась къ престолу Всевышняго.

— О, мой другъ, — сказала Марья Дмитріевна, обнявъ своего мужа, — теперь нѣтъ сомнѣнья, мы будемъ счастливы! Она благословляетъ нашъ союзъ. Вчера этотъ кустъ походилъ на мертвый трупъ, а сегодня... Посмотри, какъ пышны эти розаны, какъ свѣжа эта зелень! Видишь ли, какъ блестятъ на листочкахъ эти алмазныя капли росы?.. О, нѣтъ, нѣтъ, это не роса: это радостныя слезы моей второй матери!

Теперь, любезные читатели, я разсказалъ вамъ все; вы знаете, кто такой Кузьма Петровичъ Мирошевъ, и какъ онъ сдѣлался помѣщикомъ сельца Хопровки; но, можетъ быть, вы не знаете, что я до сихъ поръ не приступалъ еще къ моему разсказу, и что все прочитанное вами есть только вступленіе или, говоря языкомъ драматическихъ писателей, экспозиція моей были. Если мнѣ удалось обмануть васъ, если вы прочли эти восемь первыхъ главъ безъ скуки, которая почти всегда бываетъ неразлучною подругою всякаго вступленія и всякой экспозиціи, то я могу вздохнуть

свободно и съ радостію опытнаго моряка сказать: «Ну, слава Богу, теперь есть надежда, что я кончу благополучно мое плаваніе: я миновалъ самое опасное мѣсто, не наткнулся на этотъ подводный камень, который такъ страшенъ для всякаго кормчаго, и могу теперь плыть подъ всѣми парусами». Да, любезные читатели, вступленіе, изложеніе, экспозиція, это такіе камни преткновенія, такія подводныя скалы, что упаси, Господи! Предисловіе ничего: это простая отмель, на которой стоитъ маякъ, и которую почти всѣ объѣзжаютъ.

Однакожъ, постойте! Вы еще не совсѣмъ отдѣлались отъ этого длиннаго вступленія. Ради ясности, которую я очень люблю, и для необходимой связи этой истинной повѣсти, мнѣ нужно кой-что еще вамъ пересказать: да не пугайтесь: право только два-три слова. Во-первыхъ, мнѣ должно васъ предувѣдомить, что эту главу раздѣляютъ съ послѣдующею главою ровно осьмнадцать лѣтъ, что эти осьмнадцать лѣтъ протекли для Мирошевыхъ какъ одинъ тихій и свѣтлый майскій день; разумѣется, не въ Москвѣ, гдѣ май всегда бываетъ хуже апрѣля, который былъ бы очень хорошъ, еслибъ можно было безъ шубы гулять по улицамъ. У Мирошевыхъ всего навсего дѣтей была одна только дочь, которая родилась въ первый годъ ихъ супружества. Ее называли Варенькой; она была прекрасна, станомъ походила на свою мать, лицомъ на отца, а душой на обоихъ. Пылкое сердце и какая то наклонность къ мечтательности составляли отличительную черту ея характера: въ этомъ она вовсе была не похожа на своихъ родителей, которые не давали воли своему воображенію, не летали въ *туманную даль*, а жили по-просту, какъ Богъ велѣлъ, и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми. Бѣдняжки, они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣютъ свою поэзію; что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что мы, хотя живемъ на сѣверѣ, а должны смотрѣть на западъ, и такъ же, какъ тамъ, думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, то-есть, что мы можемъ забыть о небесной нашей родинѣ, но за то должны предъ наукою благоговѣть, какъ предъ святынею, и художеству поклоняться, какъ божеству.

Въ эти осьмнадцать лѣтъ много перемѣнилось въ окрестностяхъ Хопровки. Новохоперскую крѣпость переименовали

въ уѣздный городъ; село Вознесенское отъ прежняго помѣщика перешло во владѣніе знаменитаго графа Р****. Въ близкомъ разстояніи отъ помѣстья Мирошева поселилось нѣсколько небогатыхъ дворянъ и одинъ отставной бригадиръ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, у котораго было восемьсотъ душъ крестьянъ, а спеси достало бы и на тысячу. Его село съ огромнымъ барскимъ домомъ расположено было по берегу рѣки, верстахъ въ двухъ отъ Хопровки. У этого Ивана Никифоровича Кирсанова... Да нѣтъ, довольно! Пора кончить это безконечное вступленіе; а не то, пожалуй, вы скажете, что мои два-три слова не упишутся на десяти листахъ бумаги.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

IX.

Нѣсколько новыхъ лицъ, съ которыми нужно познакомиться читателямъ.

Я думаю, вы не забыли, что передъ домомъ Кузьмы Петровича, на самой срединѣ двора, росла вѣтвистая черемуха. Въ тысяча семьсотъ осьмидесятомъ году, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, то есть часу въ седьмомъ послѣ обѣда, подъ тѣнью этой черемухи, за круглымъ столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, помѣщики сельца Хопровки угощали чаемъ своихъ сосѣдей. Около самовара хлопотала барыня лѣтъ за тридцать, съ такимъ привѣтливымъ и миловиднымъ лицомъ, что нельзя было на нее не полюбоваться. Вы, я думаю, не вдругъ бы узнали въ этой румяной, бѣлолицей и плотной барынѣ прежнюю вашу знакомую, Марью Дмитріевну Терпугову. Изъ юной красавицы съ воздушнымъ станомъ сильфиды, про которую Прохоръ Кондратьичъ говорилъ, что она того и гляди переломится, Марья Дмитріевна сдѣлалась дородною женщиною съ прекраснымъ лицомъ — это правда, но вовсе не съ гибкимъ станомъ. Противъ нея сидѣлъ мужчина лѣтъ сорока двухъ или трехъ; онъ такъ мало перемѣнился, что, взглянувъ на него, вы тотчасъ бы сказали: «Это Кузьма Петровичъ!» Однакожъ, волосы его начали серебриться, а на лбу и

около глазъ, въ которыхъ выражалось совершенное спокойствіе, стали показываться кое-гдѣ морщины. Ему подавала чашку, наливала въ нее сливокъ и всячески старалась услуживать дѣвушка лѣтъ семнадцати, прелесть собою, съ задумчивыми голубыми глазами, очаровательною улыбкою, высокаго роста, стройная какъ пальма... Извините, это сравненіе вовсе не русское; да вѣдь нельзя же сравнить тонкій и ровный станъ прекрасной дѣвушки съ русскою сосною: несмотря на то, что это сравненіе едва ли не будетъ вѣрнѣе, оно рѣшительно никому не понравится. Что будешь дѣлать, — и не хочешь, да идешь по битой тропинкѣ!... Кажется, не нужно говорить читателямъ, что эта молодая красавица—дочь Мирошевыхъ, Варенька. Какъ будто нарочно для того, чтобъ показать различіе между стройнымъ и худымъ станомъ, рядомъ съ ней сидѣла барыня лѣтъ тридцати пяти. Въ ней замѣтны были большія претензіи на красоту и ловкость: она безпрестанно ребячилась, кусала губы, щурила глаза и наклоняла на лѣвую сторону свою голову. Эта барыня точно была бы не дурная и видная собою женщина, еслибъ можно было назвать женщиною однѣ кости, обтянутыя кожею. Несмотря на свои *бочки* и пышное фуро съ фалбалою, она была такъ худа, что походила, безъ всякой лести, на существо безплотное, и такъ плоска, какъ будто бы ее сейчасъ пропустили сквозь плющильную машину. Агриппина Львовна Вертлюгина — такъ называлась эта щеголиха — держала себя прежде довольно порядочно и говорила, какъ всѣ добрые люди, но съ тѣхъ поръ, какъ побывала въ Москвѣ у родственницы своей, супруги сенатскаго оберъ-секретаря, Авдотьи Саввишны Припекиной, первой щеголихи всего Замоскворѣчья, — Агриппина Львовна совершенно перемѣнилась: стала коверкаться, говорить съ ужимками и употреблять самыя отборныя слова и щегольскія выраженія второклассныхъ модниковъ и модницъ тогдашняго времени*).

Супругъ этой барыни, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ, сидѣлъ подлѣ хозяина. Это былъ мужчина лѣтъ пятидесяти, но довольно еще свѣжій, росту средняго, съ небольшимъ брюшкомъ, краснощекій, курносый, съ маленькими сѣрыми

---

*) Надъ этимъ вычурнымъ языкомъ, который, разумѣется, никогда не былъ языкомъ хорошаго общества, безъ всякой пощады забавлялся одинъ извѣстный журналъ, который въ 1772 году выходилъ подъ названіемъ „*Живописца*“.

глазами и важною миною человѣка, душевно убѣжденнаго въ своей глубокой учености. Надобно сказать правду: онъ точно имѣлъ право гордиться своимъ образованіемъ. Илья Сергѣевичъ былъ изъ духовнаго званія, воспитывался въ семинаріи, доходилъ до риторики и не возвратился вспять, какъ знаменитый Кутейкинъ Фонъ-Визина, но перешелъ въ гражданскую службу, втерся какъ то въ милость къ супругѣ саратовскаго воеводы и, благодаря этому покровительству, отправленъ былъ *на поживу* въ какой то небольшой городокъ. Конечно, значительныхъ *аксиденцій* Илья Сергѣевичъ тамъ ожидать не могъ; но онъ былъ человѣкъ терпѣливый, и держался пословицы: «курочка по зернышку клюетъ, а сыта бываетъ». И точно, сначала онъ завелъ парочку лошадокъ, а тамъ, годика черезъ три, и домикъ выстроилъ; велъ себя умненько, ни съ кѣмъ не ссорился и такъ пригрѣлъ себѣ мѣстечко, что прослужилъ на немъ пятнадцать лѣтъ сряду. Межъ тѣмъ благодѣтельница его скончалась, и онъ остался бы совсѣмъ безъ покровителей, еслибъ ему не пришла въ голову счастливая мысль породниться съ какою-нибудь знатною особою. Давно ужь онъ замѣчалъ, что Агриппина Львовна Припекина, двоюродная сестрица сенатскаго оберъ-секретаря, весьма умильно на него поглядываетъ. Она жила въ одномъ съ нимъ городѣ, въ домѣ своей тетки; Илья Сергѣевичъ посватался, — ему не отказали, онъ женился и вскорѣ, по рекомендаціи новаго своего родственника, переведенъ на другое мѣсто, повыгоднѣе прежняго. Онъ прослужилъ еще пять лѣтъ, купилъ на имя жены сто душъ крестьянъ въ Новохоперскомъ уѣздѣ и вышелъ, наконецъ, въ отставку съ чиномъ коллежскаго ассесора. Несмотря на то, что Илья Сергѣевичъ былъ человѣкъ скупой, онъ одѣвался очень опрятно, всегда въ нѣмецкомъ кафтанѣ, шелковомъ камзолѣ, въ башмакахъ съ пряжками и напудренномъ парикѣ, съ двумя толстыми пуклями и длиннымъ пучкомъ, который висѣлъ у него до самаго пояса. Гражданская служба не могла, однакожъ, изгладить въ немъ совершенно слѣды прежняго воспитанія, и господинъ Вертлюгинъ, несмотря на свою одежду, походилъ болѣе на пожилого семинариста, чѣмъ на отставного подьячаго.

Еще одинъ гость въ долгополомъ синемъ сюртукѣ, который начиналъ примѣтнымъ образомъ бѣлѣть по швамъ, сидѣлъ за общимъ столомъ. Это былъ одинъ изъ ближай-

шихъ сосѣдей Мирошева, мелкопомѣстный дворянинъ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ, самый униженный и низкопоклонный старичекъ лѣтъ шестидесяти. Онъ служилъ когда то въ бомбардирской ротѣ Преображенскаго полка солдатомъ и, какъ человѣкъ грамотный, употреблялся ротнымъ командиромъ для письменныхъ дѣлъ; потомъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ штыкъ-юнкера, и отправился на Хоперъ управлять пятнадцатью душами крестьянъ, которыя достались ему по наслѣдству отъ родителей. Андрей Ѳомичъ никогда не былъ женатъ, но всегда велъ себя примѣрнымъ образомъ и, по словамъ собственныхъ его крестьянъ, за нимъ никакихъ *художествъ* не важивалось; правда, онъ любилъ подчасъ выпить лишній стаканчикъ вина, никогда не отказывался отъ наливки, и не только по праздникамъ, но частенько и въ будни, бывалъ навеселѣ. Да вѣдь нельзя же человѣку одинокому не выпить иногда съ горя,—скучно!

— Помилуйте,—говаривалъ онъ всегда,—за что меня называть пьяницей? Ну, конечно, я пью вино, потому что оно веселитъ сердце человѣческое; а видалъ ли кто-нибудь, чтобъ я валялся въ грязи какъ свинья, или буянилъ, или пѣлъ какія-нибудь непотребныя пѣсни?

И подлинно, вопреки извѣстному дѣйствію всѣхъ крѣпкихъ напитковъ, Андрей Ѳомичъ чѣмъ болѣе пилъ, тѣмъ становился смирнѣе; но только вино вовсе не веселило его сердца, потому что онъ обыкновенно при второмъ стаканѣ начиналъ вздыхать, а при третьемъ принимался такъ горько плакать, что приходскій пономарь Феропонтъ, съ которымъ онъ особенно часто бесѣдовалъ, не могъ никакъ смотрѣть на него равнодушно, и всякій разъ возвращался домой съ заплаканными глазами. Лицо у Андрея Ѳомича было красное и все въ морщинахъ; на самой верхушкѣ головы сіяла кругообразная лысина, а на затылкѣ мотался обвитый черною тесемкою жиденькій пучокъ, или, лучше сказать, косичка рыжихъ волосъ съ просѣдью. Зарубкинъ могъ бы назваться человѣкомъ рослымъ, хотя это вовсе въ глаза не бросалось, потому что онъ былъ очень сутуловатъ, не отъ природы, а по привычкѣ, и сверхъ того обладалъ необычайнымъ искусствомъ, въ нужныхъ случаяхъ, какъ то съеживаться и становиться не только средняго, но даже малаго роста. Это обыкновенно случалось, когда онъ встрѣчался съ человѣкомъ, который былъ чиновнѣе его или богаче; говорятъ также, что у него язычекъ былъ не

очень хорошъ, и что иногда, съ видомъ глубочайшей кротости и какъ будто бы безъ намѣренія, онъ отпускалъ преобидныя вещи для тѣхъ, которые съ нимъ разговаривали. Хотя Зарубкинъ имѣлъ дурную привычку выносить соръ изъ избы и ссорить межъ собой сосѣдей, но самъ жилъ со всѣми въ ладу, и рѣшительно никогда и ни за что ни съ кѣмъ не ссорился.

Нѣсколько поодаль отъ другихъ сидѣла на особой скамеечкѣ дѣвушка лѣтъ семнадцати, весьма миловидная собою, съ живыми черными глазками и маленькимъ ротикомъ, который улыбался весьма пріятно. Это была Дуняша, воспитанница и фаворитка Марьи Дмитріевны, дочь Лаврентія, который вскорѣ послѣ смерти жены своей, то есть лѣтъ восемь тому назадъ, отошелъ вслѣдъ за нею къ своимъ праотцамъ.

— Что вы, Андрей Ѳомичъ?—сказалъ Мирошевъ, замѣтивъ, что Зарубкинъ не пьетъ чаю.—Да неужели вамъ еще не подавали? Хозяйка, чтожъ ты это смотришь?

— Подавала, Кузьма Петровичъ, да не хочетъ.

— Что такъ, сосѣдушка любезный?...

— Нѣтъ, сударь,—отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Зарубкинъ,—увольте! Что намъ привыкать къ этому чаю, — не по деньгамъ! Да и пить то его не хорошо.

— Отчего-жъ? Вы прежде у насъ пивали?

— То было прежде, батюшка, а теперь, какъ мнѣ порастолковали, такъ, воля ваша, какъ то и совѣсть зазираетъ.

— Полно, братецъ, что ты вздоръ то говоришь!— прервалъ съ важностію Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ.—Да развѣ ты не знаешь, что всякое зелье и всякій злакъ созданъ на потребу человѣка?

— Такъ, сударь, такъ-съ! Да вѣдь это не обо всѣхъ говорится: человѣкъ человѣку не указъ. Вотъ вы, напримѣръ, ваше высокоблагородіе, вы люди важные, вамъ и Господь Богъ разрѣшилъ; а мы народъ мелкій, съ насъ больше спросится. Я ужь говорилъ объ этомъ чаѣ съ нашимъ приходскимъ пономаремъ, такъ и онъ не очень его похваливаетъ. «Во всей, дескать, кормчей книгѣ нѣтъ на это зелье никакого разрѣшенія, такъ еще Богъ знаетъ, что это за трава такая».

— Заслони меня, радость,—шепнула Варенькѣ Агриппина Львовна.—Я вовсе теряю контенансъ! Слышишь, чай

называетъ травою?.. Ахъ, шерочка, какъ онъ смѣшонъ — ужасть!

Кузьма Петровичъ проговорилъ что то потихоньку Марьѣ Дмитріевнѣ; она улыбнулась и сказала Зарубкину:

— Да не угодно ли вамъ чаю то съ французскою водкою?

— Какъ-съ?.. Съ французскою водкою-съ?

— Да. Вѣдь этакъ, я думаю, можно?

— То есть, изволите видѣть, это ужь будетъ не чай, а французская водка, разбавленная чаемъ?

— Разумѣется.

— Ну, конечно-съ, это не вредитъ. Но простой чай, — продолжалъ Зарубкинъ, принимая съ поклономъ чашку изъ рукъ хозяйки, — воля ваша — не христіанское питье, матушка!

— Перестань, любезный!—закричалъ Вертлюгинъ.—Не знаешь ни аза въ глаза, а туда-жъ хочешь о законѣ толковать! Скажи-ка лучше намъ, какъ это, братецъ, богатый то нашъ сосѣдъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, стравилъ тебя вчера съ своимъ дуракомъ Аѳонькою?

— Да, сударь, привязался ко мнѣ, проклятый! Научили что-ль его, не знаю. Началъ такія непригожія рѣчи говорить, всячески меня порочить; я сначала все въ шутку поворачивалъ, да онъ ужь больно сталъ нахальничать: натянулъ палецъ, да и щелкъ меня по носу; я его отпихнулъ, а онъ и драться. А Иванъ Никифоровичъ, чѣмъ бы дурака то унять, кричитъ: «Не поддавайся, Аѳонька!» А тотъ и пуще! Гляжу: ахти, дуракъ то ужь до рожи добирается!... Я и руками и ногами, кричу: «Батюшки, бьетъ; батюшки бьетъ!» А его высокородіе такъ и умираетъ со смѣху. Да ужь сынокъ то его, Владиміръ Ивановичъ,— дай Богъ ему здоровье, такой добрый,—схватилъ Аѳоньку за воротъ и оттащилъ прочь; а все-таки этотъ шальной раза два съѣздилъ меня по уху. Что будешь дѣлать!

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ,—сказала Марья Дмитріевна,— что это вы такъ даете себя дурачить?

— Да чтожъ, матушка, прикажете дѣлать? Мы люди маленькіе, а его высокородіе человѣкъ большой; а вѣдь большому кораблю большое и плаванье.

— Полно, братецъ!—прервалъ Вертлюгинъ.—Что это за плаваніе такое? Бьютъ тебя по рожѣ, а ты это называешь плаваніемъ! Не хорошо, Андрей Ѳомичъ, право, не хорошо! Ну, зачѣмъ ты къ нему таскаешься?

— Какъ же, батюшка,—я человѣкъ бѣдный...

— То-то и есть,—изъ-за полтинки? А туда-жъ хочетъ быть нашимъ братомъ, дворяниномъ!.. Ну, какой ты дворянинъ?

Багровое лицо Зарубкина какъ будто-бъ сдѣлалось еще краснѣе, а на лбу прибавилось нѣсколько морщинъ; но это продолжалось одно только мгновеніе: лицо его приняло снова прежній смиренный видъ, онъ проглотилъ свою досаду, и только не могъ крыть насмѣшливой и коварной улыбки, которой, однакожъ, почти никто не замѣтилъ.

— И что такое этотъ Кирсановъ? — продолжалъ Вертлюгинъ.—Надменная тварь, про которую можно сказать: «На челѣ твоемъ, нечестивый, возлежитъ гордыня, и уста твои глаголятъ тщетная».

— Нѣтъ, батюшка, Илья Сергѣевичъ,— сказалъ Мирошевъ, — вы напрасно это говорите. Иванъ Никифоровичъ спесивъ — это правда, а человѣкъ добрый. Спросите-ка его мужичковъ: никто не пожалуется; бѣдныхъ сосѣдей не обижаетъ, съ богатыми не ссорится; ну, а кто самъ пойдетъ къ нему охотою въ шуты, такъ не прогнѣвайтесь!

Зарубкинъ взглянулъ исподлобья на Мирошева.

— Вотъ я хоть, напримѣръ, — прибавилъ Кузьма Петровичъ,—кромѣ ласки, отъ него ничего не видалъ.

— Да, конечно, — промолвилъ Андрей Ѳомичъ, какъ будто бы нехотя,—Иванъ Никифоровичъ со всѣми ласковъ; а кабы вы изволили знать, какъ онъ за глаза то трактуетъ все здѣшнее дворянство!.. Эхъ, сударь, говорить то мнѣ только не хочется!..

— И не говорите, Андрей Ѳомичъ! — прервалъ Мирошевъ.—Мало ли что болтаютъ заочно.

— Да-съ, — продолжалъ Зарубкинъ, прихлебывая изъ своей чашки, — не мнѣ одному достается. Вотъ намедни изволитъ мнѣ говорить: «Послушай, Зарубкинъ, за что тебя зовутъ Андреемъ Ѳомичемъ? По мнѣ, вотъ какъ: у дворянина душъ пятьсотъ, такъ онъ Андрей Ѳомичъ; не меньше сотни—такъ Андрей Ѳоминъ; а коли и сотни то не наберется, такъ будетъ съ него, если назовутъ и Андрюшкою.

— Вотъ что!—сказалъ насмѣшливымъ голосомъ Вертлюгинъ.—Такъ поэтому я—Илья Сергѣевъ, сирѣчь—дворянинъ второй статьи?

— Нѣтъ, сударь: васъ то онъ и дворяниномъ назвать не хочетъ.

— Не хочетъ!. Ахъ, онъ гордецъ! Да чтожъ онъ штабъ-офицерскій то мой чинъ и въ грошъ не ставитъ?

— И я ему докладывалъ. Вѣдь вы, ваше высокоблагородіе, по табели о рангахъ состоите въ маіорскомъ чинѣ.

— Чтожъ онъ?

— Свое говоритъ: «Какой, дескать, дворянинъ!»... Да Богъ съ нимъ, батюшка!.. Вѣдь у него языкъ то, прости, Господи, какъ бритва.

— Ну, ну! Что онъ говоритъ?

— Ахъ, да,—вскричала Агриппина Львовна,—душенька Зарубкинъ, скажи: я ужасть хочу знать! Это должно быть безпримѣрно славно! Ну, чтожъ говоритъ о моемъ папенькѣ этотъ мусье Кирсановъ?

— Да мало ли что. Не погнѣвайтесь, Илья Сергѣевичъ,—я не свои рѣчи говорю: «Хорошъ, дескать, дворянинъ, есть чѣмъ похвастаться: съ молоду ѣлъ кутью, а подъ старость запивалъ чернилами».

— Заврался, мой свѣтъ!—прервала Агриппина Львовна.—Не можетъ быть, чтобъ онъ осмѣлился такъ шпетить моего Илью Сергѣича.

— Видитъ Богъ, такъ, матушка! Да вотъ хоть вчера, при мнѣ изволилъ сказать: «Ну что за дворянинъ, у котораго отецъ пономарь, а мать просвирня?» Такой грѣховодникъ, подумаешь!.. Одолжите, Марья Дмитріевна, еще чашечку.

Илья Сергѣевичъ хотѣлъ съ презрѣніемъ засмѣяться, но у него что то засѣло въ горлѣ: онъ поперхнулся, сталъ поправлять свой парикъ, сдернулъ его на сторону, опрокинулъ молочникъ, однимъ словомъ, совершенно растерялся.

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ!—сказалъ Мирошевъ.—Ну, что вамъ за охота пересказывать всякій вздоръ? Мало ли что заочно болтаютъ? Всѣ эти глупости надобно мимо ушей пускать.

— Правду изволите говорить,—подхватилъ Зарубкинъ.—Я и самъ, батюшка, всякихъ сплетенъ и переносовъ терпѣть не могу, да это какъ то къ слову пришлось. А вѣдь если правду сказать, такъ Иванъ Никифоровичъ любитъ только пошутить. Человѣкъ онъ добрый и какой набожный, батюшка!..

— Набожный! — прервалъ Вертлюгинъ.—Кто?.. Этотъ безграмотный баричъ, этотъ гордый Сарданапалъ, этотъ

тучный Вителій?.. Нѣтъ, любезный: наѣхся, упихся, разжирѣхъ, забылъ Бога живаго!

— Да, конечно, — продолжалъ Зарубкинъ, — сынокъ лучше батюшки.

— Прекрасный молодой человѣкъ!—сказалъ Мирошевъ.

— Такой скромный и вѣжливый! — прибавила Марья Дмитріевна.

— Ахъ, да,—подхватила Агриппина Львовна,—безпримѣрно милъ, ужасть какъ славенъ!

— И какой хорошенькій!—прошептала Дуняша.

Изъ всего общества только двое не похвалили молодого Кирсанова: Илья Сергѣевичъ и Варенька. Первый ворчалъ что то про себя о томъ, что яблочко не далеко отъ яблони падаетъ, а другая въ эту минуту чрезвычайно была занята разсматриваніемъ чайнаго блюдечка и, вѣроятно, для этого наклонилась такъ низко, что вся кровь бросилась ей въ лицо.

— А какъ онъ хорошо танцуетъ минаветъ а-ларенъ, — продолжала Агриппина Львовна;—какъ безподобенъ въ гавотѣ!.. О, такихъ дансеровъ не скоро и въ большомъ свѣтѣ набѣжишь! Я съ нимъ встрѣчалась въ Москвѣ въ разныхъ обществахъ. Однажды меня пригласили на балъ къ ея сіятельству княгинѣ Финяковой,—это помнится было... да, точно такъ... на святкахъ... кажется, въ *умойся*...

— Какъ, сударыня?—спросилъ Мирошевъ.

— Въ умойся. У насъ въ Москвѣ—понимается въ большомъ свѣтѣ—такъ зовутъ субботу. Это ужь всѣми принято.

— Вотъ что! А другіе то дни, матушка?

— У всякаго свое имя: понедѣльникъ—сѣренькій, вторникъ—пестренькій, среда—колется, четвергъ—мѣдный тазъ, пятница — сайка, суббота — умойся, воскресенье — красное.

— Ну, выдумка!—воскликнулъ Зарубкинъ.—Подлинно: вѣкъ живи, вѣкъ учись! Пятница—сайка, четвергъ — мѣдный тазъ!.. Ахъ, батюшки, куда человѣкъ то мудренъ, подумаешь!

— Вотъ на этомъ то балѣ, — продолжала Агриппина Львовна,—видѣла я въ первый разъ Владиміра Ивановича. Какъ теперь гляжу: онъ былъ въ зеленомъ бархатномъ кафтанѣ со стразовыми пуговицами, въ кружевныхъ манжетахъ, распрысканъ духами,—ну, такой шармантонъ, что

способу нѣтъ! Правда, и все общество было самое бонтонное. Я еще помню, тутъ со мной все танцовалъ какой то военный мужчина; до смерти надоѣлъ своими декларацiями,—ну, вотъ такъ и напрашивался ко мнѣ въ болванчики!

— Охъ, эти мнѣ болванчики!—сказалъ Вертлюгинъ.

— Фуй, папенька, какъ тебѣ не стыдно? Ужь въ свѣтѣ такъ принято: всѣ куртизанятъ.

— А что, сударыня,—спросилъ Зарубкинъ, надъ которымъ французская водка, разбавленная чаемъ, начинала производить обычное свое дѣйствiе, — осмѣлюсь васъ спросить: чай, на этомъ княжескомъ пиру, не такъ какъ у насъ, многогрѣшныхъ, угощенье было отличное?

— Какъ же! Всякiе фрукты, конфекты, цукаты, питье...

— И питье также?

— Разумѣется! Комнаты были освѣщены до невозможности; всѣ подсвѣчники литые серебряные...

— Литые серебряные!... А у насъ и мѣдныхъ нѣтъ!.. Прогнѣвали мы Господа!

— Андрей Ѳомичъ,—сказала Марья Дмитрiевна,—да вы никакъ ужь плачете?

— Грустно, матушка!.. Пожалуйте-ка еще чашечку.

— Но что всего было лучше, — прибавила Агриппина Львовна,—такъ это вотъ что: за ужиномъ, на столѣ было безподобное зеркальное плато, посреди его чрезвычайный храмъ, а въ храмѣ фонтанъ изъ настоящей воды...

— Фонтанъ!—воскликнулъ Зарубкинъ. —О, Господи!

— Сирѣчь водометъ!—сказалъ Вертлюгинъ.

— Знаемъ, батюшка, знаемъ! Мы въ Петергофѣ бывали и Самсона видѣли; да тамъ вода то стекаетъ въ каналы, а на столѣ—помилуйте: куда-жъ ей дѣваться?

— Экiй ты, братецъ, какой! Машина такая сдѣлана.

— Чудны дѣла Твои, Господи! — пробормоталъ Зарубкинъ съ умиленiемъ, принимаясь за третью чашку чая съ французскою водкою.

— Ужинъ былъ безпримѣрно славенъ, — продолжала Агриппина Львовна: играла музыка, пѣвчiе пѣли. «На бережку у ставка»...

— Батюшка, Кузьма Петровичъ!— раздался вдругъ голосъ человѣка, который, повидимому, торопился доложить о чемъ то хозяину.

X.

Торжественное посольство отъ Панкратія Лукича Курочкина къ Кузьмѣ Петровичу Мирошеву.

Человѣкъ, который помѣшалъ Агриппинѣ Львовнѣ описать со всею подробностію великолѣпный балъ княгини Финиковой, былъ, судя по лицу, лѣтъ семидесяти, но весьма еще бодрый и вовсе не похожій на дряхлаго старика. Его сюртукъ, изъ толстаго сѣраго сукна, былъ подпоясанъ кушакомъ; въ одной рукѣ держалъ онъ кожаный картузъ, а въ другой—покрытую различными мѣтками палку. Она служила ему въ одно и то же время тростью и памятною книжкою, на которой *зарубалось* число телѣгъ обмолоченнаго хлѣба, пудовокъ выданной мѣщины, и вообще всѣ предметы прихода и расхода по хозяйственной части. Ровно восемнадцать лѣтъ вы не видѣлись, любезные читатели, съ этимъ старикомъ; но такъ какъ годы не произвели въ немъ никакой перемѣны, кромѣ только того, что клочки сѣдыхъ волосъ на его затылкѣ пожелтѣли, а носъ изъ краснаго сдѣлался сине-багровымъ,—то я не стану вамъ описывать его наружность, а скажу просто, что этотъ старикъ былъ Прохоръ Кондратьичъ, прежде бывшій дядька Мирошева, а теперь, по смерти Лаврентія, дворецкій Кузьмы Петровича и приказчикъ его отчины, сельца Зеленыя горки, Хопровка то-жъ.

— Что ты, Прохоръ?—спросилъ Мирошевъ.

— Да что, сударь, бѣда сдѣлалась.

— Что такое?

— Воля ваша, намъ отъ вознесенскихъ житья нѣтъ. Что это за сосѣди, помилуйте!

— Да говори скорѣй, что случилось?

— Я сейчасъ былъ на полѣ, сударь, недалеко отъ выгона; гляжу—бѣжитъ ко мнѣ пастухъ Ѳедотка, — лица на немъ нѣтъ! Ну, думаю, вѣрно, бѣда! Вчера видѣли волка, ужь не зарѣзалъ ли онъ барана иль телушку?.. Какой волкъ,—хуже, батюшка! Вознесенскій приказчикъ, Панкратій Лукичъ Курочкинъ, объѣзжалъ графскія дачи, да и увидѣлъ, что наша бурая корова, бѣлый бычокъ, да двѣ свинки перешли за межу... и добро бы за ней хоть луга были, а то болото...

— Чтожъ, онъ велѣлъ загнать?

— Да, сударь. Я бросился къ нему... Куда, и къ дому то близко не подпустили: изволитъ, дескать, отдыхать.

— Съѣзди опять, да проси отъ меня.

— Дѣлать то нечего, батюшка, поклонишься.

— Ну, этотъ Панкратій Лукичъ бѣдовый человѣкъ! — сказалъ Мирошевъ.—Съ тѣхъ поръ, какъ онъ здѣсь приказчикомъ, только и слышишь: у того скотину загнали, этого въ лѣсу съ грибами поймали, того потянули въ судъ, у другого землю отрѣзали.

— А что будешь съ нимъ дѣлать, Кузьма Петровичъ?— прервалъ Вертлюгинъ.—Волостной приказчикъ его высокографскаго сіятельства! Здѣсь, въ уѣздѣ, до четырехъ тысячъ душъ у него подъ началомъ,—поди-ка, потягайся!

— Сохрани, Господи,—промолвилъ Зарубкинъ:—послѣднюю рубашку стащитъ.

— Рука то сильна больно!—продолжалъ Илья Сергѣевичъ.—Вотъ мой сосѣдъ, князь Лялинъ, человѣкъ съ состояніемъ, съ родствомъ, только очень глупый.

— Что это вы, батюшка, — прервалъ Зарубкинъ, — да развѣ князья то бываютъ глупые?

— Случается. Вотъ, сударь, этотъ князь Лялинъ не захотѣлъ знаться съ Панкратіемъ Лукичемъ: «Мнѣ, дескать, низко водить компанію съ какимъ-нибудь приказчикомъ». Анъ приказчикъ то его и жигнулъ! Подалъ просьбу, да и отхватилъ у него пятьсотъ десятинъ земли. Тотъ было судиться,—гдѣ: плетью обуха не перешибешь; и мы въ старину дѣла то ломали,—знаемъ! Пятьсотъ десятинъ земли присудили отдать его графскому сіятельству, да въ силу какого то документа, который будто бы по дѣлу открылся, прирѣзали ему же изъ дачъ Лялина что ни лучшіе поемные луга по Хопру. Вотъ тебѣ и низко знаться!.. То-то и есть; говорятъ: «съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тягайся». А по мнѣ, пуще всего: передъ слугою большого барина кверху носъ не вздергивай. Ну, конечно, приказчикъ!.. Не велика птица приказчикъ, — да чей? Въ этомъ то вся и сила! Вотъ Андрей Ѳомичъ — природный дворянинъ, а, чай, этому приказчику въ поясъ кланяется.

— Что я, сударь, — сказалъ Зарубкинъ: — мнѣ и Богъ велѣлъ всѣмъ кланяться: ужь такая моя горькая чаша!

— Ну полно, не плачь!—прервалъ Вертлюгинъ.—Я не

въ обиду тебѣ сказалъ. Если ты, въ самомъ дѣлѣ, въ поясъ ему кланяешься...

— Да какъ же мнѣ ему не кланяться, батюшка,—подхватилъ Зарубкинъ,—когда и вы, ваше высокоблагородіе, за полверсты шляпу передъ нимъ снимаете; да и почище васъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, и тотъ называетъ его пріятелемъ, говоритъ ему «любезнѣйшій» и изволитъ самъ изъ одной чарки водку съ нимъ кушать.

— Я его почти не знаю,—сказалъ Кузьма Петровичъ.— Въ церкви онъ всегда стоитъ на правомъ клиросѣ, а я на лѣвомъ. Поклонимся издали другъ другу, да и только. Богъ съ нимъ! Человѣкъ то онъ, въ самомъ дѣлѣ, такой неблагонамѣренный: только и думаетъ притѣснить, да обидѣть сосѣда. Я все дивлюсь, какъ графъ это терпитъ? Вѣдь о немъ идетъ молва, что онъ настоящій русскій бояринъ: справедливъ, милосердъ, любитъ и праздники давать, любитъ и Богу помолиться; а ужь сколько бѣдныхъ людей живутъ его милостью, такъ, говорятъ, и счету нѣтъ!

— И, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Вертлюгинъ, — гдѣ такому большому барину все знать? Приказчикъ изъ усердія къ господскому интересу заведетъ несправедливую тяжбу, судья изъ подобострастія къ знаменитому вельможѣ покривитъ душою, а до него то дойдетъ ужь яичко облупленное. «У такого-де сосѣда была въ насильственномъ завладѣніи земля вашего сіятельства, но по рѣшенію суда обращена снова въ вашу собственность»—вотъ и все! Чтожъ графу то, иль сказать: «Не хочу брать то, что мнѣ принадлежитъ по законамъ?» Будетъ и того, если онъ, по милосердію своему, не прикажетъ взыскивать за пожилое, да за протори, убытки и волокиты.

— Да, конечно! Это ужь наше несчастіе, что къ его сіятельству такой ябедникъ попался въ приказчики. Да что онъ, отпущенникъ что-ль графскій?

— Никакъ нѣтъ, сударь,—сказалъ Кондратьичъ.—Я доподлинно знаю, онъ крѣпостной человѣкъ его сіятельства; а что онъ этакъ фардыбачится, такъ, извѣстное дѣло: «Посади свинью за столъ»...

— Эхъ, Кондратьичъ, что ты это говоришь! — вскричалъ Вертлюгинъ.—Кто бы ни былъ Панкратій Лукичъ, а онъ все-таки довѣренная особа его сіятельства, волостной приказчикъ, ведетъ хлѣбъ и соль съ уѣзднымъ судьею и живетъ за панибрата съ нашимъ капитаномъ-исправникомъ.

Крѣпостной! Да если графъ захочетъ, такъ онъ завтра же будетъ дворяниномъ.

— Ужь не столбовымъ ли, какъ баринъ мой? — сказалъ съ усмѣшкою Кондратьичъ.—Нѣтъ, сударь, далеко кулику до Петрова дня!

— Полно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Что тутъ столбовой, не столбовой! Да баринъ то Курочкина, самъ графъ, вѣдь ужь знаменитый бояринъ, нечего сказать, — а кто онъ былъ прежде?

— Да ужь правда ли, Кузьма Петровичъ?—промолвилъ вполголоса Вертлюгинъ.—Не можетъ статься, чтобъ его сіятельство былъ смолоду... ну, вы знаете, что?

— Помилуйте, да это всѣмъ извѣстно!

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, вотъ изволите видѣть!— вскричалъ торжественнымъ голосомъ Илья Сергѣевичъ.—И послѣ этого какой-нибудь дворянчикъ Кирсановъ смѣетъ говорить... Да только,—воля ваша!.. Неужели, дѣйствительно, его высокографское сіятельство происходитъ изъ людей низкаго званія?..

— Ну, да, и вовсе этого не стыдится, оттого что онъ человѣкъ отличнаго ума, и если не по роду, такъ по дѣламъ и душѣ своей истинный вельможа.

— О, конечно!.. Если онъ самъ этого не стыдится, такъ, разумѣется... Но все-таки, Кузьма Петровичъ, говорить то объ этомъ не слѣдуетъ.

— Не безпокойтесь: онъ самъ объ этомъ говоритъ. Мнѣ разсказывали, будто бы однажды, когда у него полонъ домъ былъ гостей, ему показалось, что сынъ его возгордился: вотъ онъ и сказалъ во услышаніе всѣмъ, что покажетъ рѣдкость, то есть платье, которое онъ носилъ въ молодости, да и велѣлъ принести въ гостиную — знаете ли что?.. Сѣрый крестьянскій зипунъ.

Вертлюгинъ не усидѣлъ на мѣстѣ.

— Что вы это, Кузьма Петровичъ, — вскричалъ онъ, вскочивъ со стула,—побойтесь Бога! Ну, можетъ ли быть, чтобъ его сіятельство захотѣлъ себя такъ унизить?... Это сочинилъ какой-нибудь сорванецъ, вольнодумецъ, пасквилянтъ!.. Какая дерзость!.. Эхъ, сосѣдушка любезный,—продолжалъ онъ вполголоса,—какъ вы неосторожны!.. Ну, если это разойдется какъ-нибудь?.. Иль вы никогда не читали: «не сварися съ человѣкомъ сильнымъ, да нѣкогда впадеши въ руцѣ его». Если, помилуй, Господи, дойдетъ какъ-нибудь

до его сіятельства... Да вотъ хоть этотъ Зарубкинъ, вы думаете, онъ дремлетъ? Нѣтъ, все слышитъ! Онъ передастъ Курочкину, Курочкинъ донесетъ графу, графъ доложитъ Государынѣ... О-охъ, Кузьма Петровичъ, молоды вы еще, батюшка, молоды!

— Богъ милостивъ,—прервалъ Мирошевъ съ улыбкою, — авось пройдетъ даромъ. Да дѣло не о томъ: я хотѣлъ только сказать, что иногда и не родовой дворянинъ достойнѣе уваженія всякаго родового, и еслибъ Панкратій Лукичъ былъ человѣкъ честный, добрый, прямодушный и вышелъ бы какъ-нибудь въ дворяне...

— Въ дворяне!—повторилъ сквозь зубы Кондратьичъ.— Нѣтъ еще, погоди: «улита ѣдетъ, когда то будетъ.» А теперь онъ все-таки нашъ братъ, холопъ.

— Однакожъ сынъ то у него давно уже офицеромъ, — сказалъ Илья Сергѣевичъ.—Графъ записалъ его въ военную службу и вывелъ въ прапорщики. Онъ теперь пріѣхалъ въ побывку къ своему батюшкѣ, и вчера вмѣстѣ съ нимъ былъ у насъ въ гостяхъ. Науки, кажется, въ немъ большой нѣтъ, а молодецъ такой видный, вершковъ двѣнадцати росту, держитъ себя прямо, рѣчистъ, и хоть говоритъ отрывисто, но очень внятно.

— Ахъ, шерочка,—шепнула Агриппина Львовна Варенькѣ,—какой это безпримѣрный уродъ! Такой длинный, деревянный,—ну, настоящій чурбанъ! Я не знала, что съ нимъ дѣлать. Онъ до того теменъ въ свѣтѣ, что не умѣлъ даже ко мнѣ къ рукѣ подойти. Представь, радость: чуть было не поцѣловалъ меня въ губы! Мужикъ, совершенный мужикъ!

— Что это? — вскричалъ Прохоръ.—Батюшка, Кузьма Петровичъ, у васъ глазки то получше моихъ, извольте-ка взглянуть на улицу: никакъ это гонятъ бурую корову?

— Въ самомъ дѣлѣ!—сказалъ Кузьма Петровичъ, подойдя къ забору.

— А вонъ и бѣлый бычокъ, вонъ и свинки!... Ахти, батюшки, да ихъ гонитъ вознесенскій пастухъ! Что за диковинка,—какъ это Панкратій Лукичъ умилостивился?... Эге, да при нихъ и посолъ есть, сударь!

— Посолъ? Какой посолъ?

— А какъ же?—продолжалъ Кондратьичъ.—Вонъ, изволите видѣть, позади пастуха ѣдетъ на телѣжкѣ дѣтина въ зеленой бекешѣ? Вѣдь это писарь изъ волостной конторы,

Антонъ Ѳедотовъ,—такой краснобай, что и сказать нельзя! Посмотрите, какіе онъ начнетъ отпускать вамъ турусы на колесахъ.

— Да,—сказалъ Вертлюгинъ,—онъ говоритъ свысока, и его не скоро поймешь; да и самъ то онъ себя не всегда понимаетъ; а что за рожа!.. Андрей Ѳомичъ, ты знаешь Антона Ѳедотова?

— Какъ же, сударь! Вѣдь онъ правая рука Панкратія Лукича. Полированный человѣкъ, батюшка: все говоритъ по книжному.

На господскій дворъ вошелъ человѣкъ лѣтъ сорока, весьма опрятно и даже щеголевато одѣтый для деревенскаго писаря; но съ такою уродливою фигурою и такъ глупо ухмыляющимся лицомъ, что при первомъ взглядѣ Кузьма Петровичъ едва могъ удержаться отъ смѣха. Этотъ повѣренный въ дѣлахъ господина волостного приказчика подошелъ къ Мирошеву, поклонился, скосилъ самымъ дурацкимъ образомъ глаза и началъ говорить въ носъ съ какимъ то присвистомъ:

— Ваше благородіе-съ, я присланъ отъ Панкратія Лукича-съ, ради того, чтобъ учинить изъявленіе его нижайшаго высокопочитанія и совокупно принести экскузію въ несоразмѣрномъ загнаніи скота вашего.

— Признаюсь, это нѣсколько меня удивило, — сказалъ Мирошевъ.

— Таковая случайность, батюшка, Кузьма Петровичъ,— продолжалъ писарь,—возымѣла свое происхожденіе единственно по незнанію, что оная скотина принадлежитъ особѣ вашего благородія.

— Да еслибъ и не мнѣ, такъ, право, грѣшно загонять съ болота

— Но рѣченное болото, ваше благородіе, яко неприкосновенная собственность его высокографскаго сіятельства, не долженствуетъ, къ ущербу его интересовъ, подвергаться, безъ всякаго возмездія, попиранію различными четвероногими, топтанію и потравѣ; а посему Панкратій Лукичъ, собственно только изъ атенціи къ особѣ вашей, не обращаетъ сего казуса въ тяжебный искъ, подлежащій законному слѣдствію.

— Конечно, и за это благодаренъ. Если сказать правду, такъ я не ожидалъ отъ Панкратія Лукича никакого снисхожденія.

— Помилуйте, ваше благородіе! Да я осмѣлюсь вамъ партикулярно донести, что Панкратій Лукичъ ни единаго оказующаго случая не упуститъ, дабы не поусердствовать о благополучіи и благоповеденіи вашемъ, и ради вящшаго доказанія своего эстима персонально явится завтрашняго числа къ вашему благородію.

— Милости просимъ! Я очень буду радъ; а межъ тѣмъ не хочешь ли, пріятель, выпить рюмку водки, закусить чего-нибудь?

— Приношу мое всепокорнѣйшее благодареніе, если милость ваша будетъ!..

— Кондратьичъ, попроси къ себѣ господина писаря, да угости его.

— Пожалуйте, батюшка, Антонъ Ѳедотычъ,—сказалъ Прохоръ.—Просимъ покорно!

— Сей моментъ, любезнѣйшій Панкратій Лукичъ, — продолжалъ писарь, откланиваясь Мирошеву,—находится въ въ такой надеждѣ, что его почтительный аташементъ къ особѣ вашего благородія доставитъ ему такой авантажъ, что онъ современемъ удостоится вашей дружеской апробаціи.

— Фу ты, батюшки! — вскричалъ Кузьма Петровичъ, когда писарь вошелъ вмѣстѣ съ Прохоромъ въ людскую.— Ну ужь точно, краснобай! Да, я помню, при покойной Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, вотъ точно такія посольскія рѣчи печатались въ газетахъ. Гдѣ это онъ набрался такой премудрости?

— Да въ нихъ то и набрался, — сказалъ Вертлюгинъ.— Онъ сначалала былъ писаремъ при самомъ графѣ и читалъ ему по вечерамъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», да, видно, поспился немного, такъ его сюда на смиреніе и отправили. Однако, чтожъ это значитъ: Курочкинъ не только возвратилъ безъ всякихъ придирокъ загнанный скотъ, да еще прислалъ къ вамъ писаря съ извиненіемъ? Это что-нибудь да не даромъ. Ужь не пронюхалъ ли онъ, что васъ хотятъ въ будущій дворянскій съѣздъ выбрать въ капитаны-исправники или въ уѣздные судьи?

— Что вы, Илья Сергѣевичъ, помилуйте, какой я судья! Вотъ вы, дѣло другое: васъ секретарь за носъ водить не станетъ.

— Надѣюсь!—промолвилъ съ улыбкою Вертлюгинъ.

— А я,—продолжалъ Мирошевъ, — человѣкъ военный,

законовъ вовсе не знаю. И кто на выборахъ станетъ обо мнѣ хлопотать? Охотниковъ и безъ меня много.

— Да вѣрно же есть какая-нибудь причина, что Курочкинъ такъ въ глаза вамъ забѣгаетъ?

— Какая причина! Я думаю, просто добрый стихъ нашелъ.

— Нѣтъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Зарубкинъ,—и я такой же вѣры: что-нибудь да есть!

—Постойте-ка!—шепнулъ Вертлюгинъ.—Вотъ эта дѣвица, что живетъ у васъ въ домѣ, фаворитка Марьи Дмитріевны...

— Дуняша, дочь покойнаго моего приказчика Лаврентія?

— Вѣдь она вольная?

— Какъ же.

— И вы, помнится, мнѣ сказывали, даете за нею въ приданое восемьсотъ рублей?

— И больше дамъ. Мы съ женою восемнадцать лѣтъ для этого по пятидесяти рубликовъ каждый годъ откладывали.

— Такъ знаете ли что? Ужь не хочетъ ли Панкратій Лукичъ посватать ее за своего сына?

— А что вы думаете? Да нѣтъ, ему эта невѣста бѣдна покажется!

— А богатая то за него не пойдетъ. Послушайте, Кузьма Петровичъ: вѣдь, между нами будь сказано: кто-жъ захочетъ породниться съ Курочкинымъ? Конечно, сынъ его оберъ-офицеръ, да посмотрѣли бы вы, какой! Къ ставцу лицомъ сѣсть не умѣетъ. А самъ то онъ что? Крѣпостной человѣкъ, холопъ, чуть не угодилъ барину, такъ, глядишь, и заставятъ свиней пасти. Ну, конечно, теперь нечего дѣлать, пріѣдетъ въ гости, посадишь, оставишь и пообѣдать; но включить въ семейство,—нѣтъ, ужь это, батюшка, извините! Всему есть мѣра!..

— Что у васъ за секреты такіе? — спросила Марья Дмитріевна!

— Такъ, ничего, мой другъ!—отвѣчалъ Мирошевъ.

— Однакожъ, — продолжалъ Вертлюгинъ, вставая, — солнце то совсѣмъ ужь сѣло, пора по домамъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, папенька, ужь поздно, — сказала Агриппина Львовна, надѣвая свою мантилью съ капишономъ.

— Что вы такъ торопитесь?—проговорила почти нехотя Марья Дмитріевна.

— Еще рано, Илья Сергѣевичъ,—прибавилъ Мирошевъ. —Поужинайте у насъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, надобно ѣхать за-свѣтло. Вы знаете, подлѣ моей деревни оврагъ, спускъ такой скверный—по косогору, а жена у меня такая трусиха...

— Неправда, монъ-шеръ, ты трусишь больше моего! Прощайте, Марья Дмитріевна!

Вертлюгины распрощались съ Мирошевыми и пошли за ворота, гдѣ стоялъ ихъ огромный фаэтонъ на пасахъ.

— Ну что, радость,—сказала Агриппина Львовна Варенькѣ, которая провожала ее до экипажа,—ты прочла мои книжки?

— Нѣтъ еще, не всѣ,—отвѣчала Варенька

— Которую же ты теперь читаешь?

— «Любовный вертоградъ, или непреоборимое постоянство Камбера и Арисены».

— Ахъ, шерочка, не правда ли, какая это прекрасная книжка?.. Какъ безподобенъ этотъ Камберъ! Я воображаю, что онъ точно такой же былъ какъ Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ!... Ну что, радость, онъ у васъ, по прежнему, часто бываетъ?

— Да-съ, раза три въ недѣлю.

— Не будетъ ли онъ послѣзавтра?

— Не знаю.

— Ахъ, Варенька, какъ онъ милъ! Безпримѣрно милъ!.. Я отъ него безъ ума, по чести, безъ ума!.. Фуй, какъ это глупо!.. Чтожъ я тебѣ разсказываю!.. Прощай, шерочка!

— Садись же, матушка!—закричалъ Вертлюгинъ, который ужь давно расположился въ фаэтонѣ.

Агриппина Львовна, какъ воздушная сильфида, вспорхнула на подножку, споткнулась и со всего размаха упала въ объятія своего мужа.

— Шалунья! — сказалъ Илья Сергѣевичъ, тронутый ласкою своей супруги. — Такъ ты меня любишь?

— Какъ же, мой жизненочекъ!

— Ахъ, ты, моя голубушка!.. Однакожъ, постой-ка, мой другъ... да ты, кажется, разбила мнѣ головою до крови носъ... Ну, такъ и есть!

— Ничего, папенька, примочимъ уксусомъ.

— Пошелъ скорѣй домой!—закричалъ Вертлюгинъ, приложивъ къ разбитому носу свой платокъ.

— Варенька, Дуняша, ступайте въ комнату, — сказала

законовъ вовсе не знаю. И кто на выборахъ станетъ обо мнѣ хлопотать? Охотниковъ и безъ меня много.

— Да вѣрно же есть какая-нибудь причина, что Курочкинъ такъ въ глаза вамъ забѣгаетъ?

— Какая причина! Я думаю, просто добрый стихъ нашелъ.

— Нѣтъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Зарубкинъ,—и я такой же вѣры: что-нибудь да есть!

—Постойте-ка!—шепнулъ Вертлюгинъ.—Вотъ эта дѣвица, что живетъ у васъ въ домѣ, фаворитка Марьи Дмитріевны...

— Дуняша, дочь покойнаго моего приказчика Лаврентія?

— Вѣдь она вольная?

— Какъ же.

— И вы, помнится, мнѣ сказывали, даете за нею въ приданое восемьсотъ рублей?

— И больше дамъ. Мы съ женою восемнадцать лѣтъ для этого по пятидесяти рубликовъ каждый годъ откладывали.

— Такъ знаете ли что? Ужь не хочетъ ли Панкратій Лукичъ посватать ее за своего сына?

— А что вы думаете? Да нѣтъ, ему эта невѣста бѣдна покажется!

— А богатая то за него не пойдетъ. Послушайте, Кузьма Петровичъ: вѣдь, между нами будь сказано: кто-жъ захочетъ породниться съ Курочкинымъ? Конечно, сынъ его оберъ-офицеръ, да посмотрѣли бы вы, какой! Къ ставцу лицомъ сѣсть не умѣетъ. А самъ то онъ что? Крѣпостной человѣкъ, холопъ, чуть не угодилъ барину, такъ, глядишь, и заставятъ свиней пасти. Ну, конечно, теперь нечего дѣлать, пріѣдетъ въ гости, посадишь, оставишь и пообѣдать; но включить въ семейство,—нѣтъ, ужь это, батюшка, извините! Всему есть мѣра!..

— Что у васъ за секреты такіе? — спросила Марья Дмитріевна!

— Такъ, ничего, мой другъ!—отвѣчалъ Мирошевъ.

— Однакожъ, — продолжалъ Вертлюгинъ, вставая, — солнце то совсѣмъ ужь сѣло, пора по домамъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, папенька, ужь поздно, — сказала Агриппина Львовна, надѣвая свою мантилью съ капишономъ.

— Что вы такъ торопитесь?—проговорила почти нехотя Марья Дмитріевна.

— Еще рано, Илья Сергѣевичъ,—прибавилъ Мирошевъ. —Поужинайте у насъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, надобно ѣхать за-свѣтло. Вы знаете, подлѣ моей деревни оврагъ, спускъ такой скверный—по косогору, а жена у меня такая трусиха...

— Неправда, монъ-шеръ, ты трусишь больше моего! Прощайте, Марья Дмитріевна!

Вертлюгины распрощались съ Мирошевыми и пошли за ворота, гдѣ стоялъ ихъ огромный фаэтонъ на пасахъ.

— Ну что, радость,—сказала Агриппина Львовна Варенькѣ, которая провожала ее до экипажа,—ты прочла мои книжки?

— Нѣтъ еще, не всѣ,—отвѣчала Варенька

— Которую же ты теперь читаешь?

— «Любовный вертоградъ, или непреоборимое постоянство Камбера и Арисены».

— Ахъ, шерочка, не правда ли, какая это прекрасная книжка?.. Какъ безподобенъ этотъ Камберъ! Я воображаю, что онъ точно такой же былъ какъ Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ!... Ну что, радость, онъ у васъ, по прежнему, часто бываетъ?

— Да-съ, раза три въ недѣлю.

— Не будетъ ли онъ послѣзавтра?

— Не знаю.

— Ахъ, Варенька, какъ онъ милъ! Безпримѣрно милъ!.. Я отъ него безъ ума, по чести, безъ ума!.. Фуй, какъ это глупо!.. Чтожъ я тебѣ разсказываю!.. Прощай, шерочка!

— Садись же, матушка!—закричалъ Вертлюгинъ, который ужь давно расположился въ фаэтонѣ.

Агриппина Львовна, какъ воздушняя сильфида, вспорхнула на подножку, споткнулась и со всего размаха упала въ объятія своего мужа.

— Шалунья! — сказалъ Илья Сергѣевичъ, тронутый ласкою своей супруги. — Такъ ты меня любишь?

— Какъ же, мой жизненочекъ!

— Ахъ, ты, моя голубушка!.. Однакожъ, постой-ка, мой другъ... да ты, кажется, разбила мнѣ головою до крови носъ... Ну, такъ и есть!

— Ничего, папенька, примочимъ уксусомъ.

— Пошелъ скорѣй домой!—закричалъ Вертлюгинъ, приложивъ къ разбитому носу свой платокъ.

— Варенька, Дуняша, ступайте въ комнату, — сказала

Марья Дмитріевна:—на дворѣ становится что то сыро. А вы куда, Андрей Ѳомичъ?

— Да вотъ зайду въ людскую, матушка, — отвѣчалъ Зарубкинъ: — попрошу Антона Ѳедотыча довезти меня домой въ своей телѣжкѣ: ему вѣдь по дорогѣ. Прощенья прошу, Кузьма Петровичъ! Покорнѣйше благодарю за угощенье!.. Марья Дмитріевна, Варвара Кузьминична, Авдотья Лаврентьевна, счастливо оставаться!

Варенька и Дуняша пустились бѣгомъ къ дому, а Мирошевъ, идя позади нихъ, шепнулъ женѣ:

— Что ты, мой ангелъ, такъ сухо обходишься съ Агриппиной Львовной? Ты съ нею десяти словъ не сказала.

— Признаюсь, мой другъ, мнѣ очень не нравятся ухватки этой модницы. Вѣдь ей подъ сорокъ лѣтъ, пора бы перестать коверкаться.

— Да она и въ восемьдесять будетъ такъ же ломаться— привычка такая; а вѣдь дурного про нея ничего не говорятъ. Ну, право, Агриппина Львовна добрая и обходительная женщина. Посмотри, какъ она привѣтлива съ нашей Варенькой: и всячески ее ласкаетъ, и книжки ей даетъ читать...

— Охъ, не люблю я этой дружбы! Ну что Варенька перейметь у нея хорошаго? Замѣтилъ ли ты, мой другъ, какъ эта франтиха жеманится передъ Владиміромъ Ивановичемъ? Глазки ему дѣлаетъ, улыбки отпускаетъ,—ну такъ и вѣшается ему на шею. Право, со стороны гадко смотрѣть!

— И, матушка, ужь это тебѣ такъ кажется. Глазки дѣлаетъ!.. Да она всѣмъ глазки дѣлаетъ: и мнѣ, и Зарубкину, и мужу,—ужь у нея такая натура; и если немножко вольна въ обращеніи, такъ это, просто, свѣтскій обычай. Она живала въ большомъ свѣтѣ, а тамъ ужь, видно, всѣ такъ обходятся другъ съ другомъ.

— Такъ Господь съ нимъ, съ этимъ большимъ свѣтомъ! — сказала Марья Дмитріевна, входя въ домъ. — Слава Богу, мой другъ, что мы живемъ съ тобой въ деревнѣ!

XI.

КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЪ ЛЮДСКОЙ, А ОКАНЧИВАЕТСЯ ВЪ БАРСКОМЪ ДОМѢ.

Въ просторной комнатѣ, которая, по своему располо-

женію и убранству, походила болѣе на чистую крестьянскую избу съ красными окнами, чѣмъ на то, что мы называемъ комнатою, за большимъ деревяннымъ столомъ, сидѣли, другъ противъ друга, старикъ Прохоръ и волостной писарь Антонъ Ѳедотычъ. Передъ нимъ стоялъ полуштофикъ ерофеича, деревянное блюдо съ початымъ окорокомъ ветчины и лежалъ огромный пирогъ, начиненный гречневою кашею.

— Любезнѣйшій, — сказалъ Антонъ Ѳедотычъ, принимаясь за вторую чарку ерофеича, — да чтожъ ты самъ то не изволишь?.. Хоть ради компанства выкушай чарочку вмѣстѣ со мною.

— Не пью, Антонъ Ѳедотычъ.

— Напрасно, Прохоръ Кондратьичъ, напрасно! Мы бы съ тобой чокнулись; я выпилъ бы за благоденствіе господъ твоихъ и многолюбезной вашей барышни, а ты бы за здравіе... вотъ хоть нашего пріѣзжаго, его благородія, Алексѣя Панкратьича Курочкина, который великое и несоразмѣрное желаніе имѣетъ лично изъявить вашимъ господамъ свой решпектъ и достодолжную венерацію.

— Да что ты, Антонъ Ѳедотычъ, ничего толкомъ не скажешь?—прервалъ Прохоръ.—Что у тебя за слова такія? Ну что за венерація такая?

Писарь улыбнулся и сказалъ съ доволнымъ видомъ:

— Это, Прохоръ Кондратьичъ, слово уважительное. Кабы ты читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», любезнѣйшій, такъ не сталъ бы меня спрашивать.

— А развѣ въ нихъ такія рѣчи есть?

— Какъ же!.. Вотъ, напримѣръ, какой-нибудь иноземный посолъ начнетъ говорить и то и се, да и скажетъ: «Пребываемъ, дескать, къ вамъ на вѣки ненарушимо, съ нашимъ глубочайшимъ эстимомъ и венераціею, сирѣчь нижайшимъ почтеніемъ». А ему, на прикладъ, такой дадутъ отвѣтъ: «За ваше, дескать, тонкое деликатство и меритъ обѣщается вамъ всякая милость и пропензія».

— Пропензія!.. Да чтожъ это такое?

— Должно быть, или доброхотство, или другое какое-нибудь ласкательное слово.

— Ну, Антонъ Ѳедотычъ, понабрался ты довольно! Нечего сказать, тертый калачъ!

— Да, пріятель, мы таки, живя при лицѣ его высокографскаго сіятельства, пооболванились, понаторѣли и, какъ изволишь видѣть, изрядную шлифовку получили.

— Дѣйствительно такъ, Антонъ Ѳедотычъ! Тебѣ и книги въ руки.

— Эхъ, любезнѣйшій, дайте-ка только форсу Антону Ѳедотычу Каврюгину, такъ посмотрите, куда онъ залетитъ.

— Да какъ же ты это залетѣлъ сюда въ писаря?

— Обнесли, почтеннѣйшій! Доложили его сіятельству, что будто бы я съ приказчикомъ аксиденціи беру и чарочки придерживаюсь. Что будешь дѣлать!.. Трудился я съ неутомленнымъ раченіемъ, всякую невразумительную ревность оказывалъ, а попалъ изъ ближнихъ графскихъ писчиковъ въ окаянные земскіе писаря!.. Посмотришь, другой человѣкъ темный, неполитичный, а вышелъ какъ вышелъ въ люди! Кому какая планида, любезный! Да вотъ, напримѣръ, не въ проносъ будетъ сказано, хоть нынѣшнее то его благородіе, Алексѣй Панкратьичъ, конечно, человѣкъ добрый, смирный, а вѣдь самый ординарный. Я былъ писаремъ, при его сіятельствѣ, а онъ что?.. Дрова носилъ, да печки топилъ; а теперь, по милости графской, титуляріи добился, въ оберъ-офицерскомъ рангѣ обрѣтается.

— А надолго ли онъ къ вамъ въ побывку то пріѣхалъ?

— Въ какую побывку! Онъ вовсе абшитъ получилъ, сирѣчь ради хворости и слабости тѣлесной уволенъ въ чистую.

— Ради хворости!.. Что ты, Антонъ Ѳедотычъ? Да онъ, говорятъ, такой дѣтина здоровенный, что любо-дорого взглянуть.

— И правду говорятъ, почтеннѣйшій: Алексѣй Панкратьичъ поплотнѣе насъ съ тобой, человѣкъ корпусный, плечистый и кушаетъ съ такимъ несообразительнымъ аппетитомъ, что ужасно видѣть.

— Такъ какъ же онъ это?..

— А вотъ, изволишь видѣть: стали поговаривать, что будто бы вскорѣ имѣетъ быть нарушеніе прежнихъ трактацій съ его цесарскимъ величествомъ, и что безъ всякаго сумнительства воспослѣдуетъ военная кампанія противъ всей нѣмецкой земли. Вотъ Панкратій Лукичъ и подумалъ: «Что, дескать, за авантажъ такой, если жизнь моего единороднаго сына довершится на какой-нибудь баталіи? Иль какая мнѣ состисфакція будетъ, коли оторветъ ему ядромъ руки и ноги, и останется у него одно туловище?» Подумалъ, да и написалъ сынку: «Бери, дескать, скорѣй свой абшитъ!» А тотъ и взялъ.

— Вотъ что!.. Такъ онъ совсѣмъ на житье къ батюшкѣ?

— Думаю, что такъ, любезный.

— Вѣдь онъ человѣкъ холостой.

— Да, не женатый.

— А сколько ему лѣтъ?

— Безъ малаго тридцать.

— Такъ не пора ли ужь о невѣстѣ подумать?

— Думаемъ, почтеннѣйшій, думаемъ!

— И есть ужь кто-нибудь на примѣтѣ?

— Вѣроятно.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— За чѣмъ?.. Что ты, Прохоръ Кондратьичъ? Сочетаніе законнымъ бракомъ не что другое, да и сватовство дѣло немаловажное: тутъ потребны и политичное обхожденіе, и засылка свахъ, и разныя другія трактаціи. Вѣдь Панкратій Лукичъ не захочетъ своей амбиціи уронить и, всеконечно, поступокъ свой станетъ такимъ образомъ учреждать, чтобъ ему никакого сумнительства не оставалось.

— Понимаю! — сказалъ съ улыбкою Прохоръ,—Панкратій Лукичъ боится, чтобъ его сынку затылокъ не забрили?

— Ну, разумѣется, почтеннѣйшій! Какъ на первыхъ то порахъ оконфузятъ, такъ послѣ и покуражиться нельзя будетъ.

— Да вѣдь Алексѣй Панкратьичъ, говорятъ, молодецъ бравый, офицерскаго чина, и если онъ пріищетъ себѣ невѣсту по плечу, такъ чего ему бояться? А вѣдь за такими дѣвицами дѣло не станетъ!.. Да вотъ хоть и у насъ въ дому невѣста есть: и собой взяла, и приданое то въ осьмнадцать лѣтъ накопилось порядочное: Кузьма Петровичъ каждый годъ откладывалъ...

— Похоръ Кондратьичъ,— прервалъ писарь, взглянувъ на него пристально,—чтожъ это, обозрительная рѣчь что-ль какая, или такъ?..

— Знаешь пословицу, Антонъ Ѳедотычъ: «попытка не шутка, а спросъ не бѣда».

— Въ самомъ дѣлѣ?—вскричалъ писарь.—Такъ хватимъ же по одной!

— Не пью, любезный!

— Да что ты, пріятель, татаринъ что-ль?.. Не пью!.. При такой оказіи всякій православный пьетъ.

— Право, не могу.

— Экій упрямый, подумаешь!.. Пришлось пить одному.

Писарь выпилъ чарку ерофеича, утерся рукавомъ и сказалъ:

— Ну, Прохоръ Кондратьичъ, коли на то пошло, такъ мы съ тобой это дѣльце поразсортируемъ. Вотъ изволишь видѣть...

— Хлѣбъ да соль, ребятушки, — вскричалъ Зарубкинъ, входя въ людскую.

— Вотъ нелегкая принесла!—шепнулъ писарь, вставая.

— Милости просимъ!—проговорилъ Кондратьичъ сквозь зубы.

— Я къ тебѣ съ просьбой, Антонъ Ѳедотычъ, — продолжалъ Зарубкинъ.—Да садитесь, любезные, садитесь!... Я не спесивъ: я пожалуй и къ вамъ подсяду,—промолвилъ онъ, поглядывая на полуштофикъ ерофеича.

— Помилуйте, батюшка, — намъ совѣстно! — сказалъ Прохоръ.

— Ну, полно, старина! Сиди, добро!.. Вотъ такъ, подлѣ меня... Да что это, братцы, вы здѣсь попиваете?

— Знатная, сударь, настойка!—сказалъ писарь.

— Право!

— Не прикажете ли, Андрей Ѳомичъ? — прибавилъ Прохоръ, наливая чарку.

— А что, и въ самомъ дѣлѣ, дай выпью! Ночь то сыренькая, такъ это не вредитъ. За твое здоровье, Антонъ Ѳедотычъ! Пожалуйста, любезный, подвези меня: вѣдь ты мимо воротъ моихъ поѣдешь.

— Съ моимъ удовольствіемъ.

— Такъ закусимъ, братецъ, чего-нибудь, да и въ дорогу.

Зарубкинъ подсѣлъ къ пирогу, отвѣдалъ ветчины, запилъ второю чаркою настойки, снова закусилъ, а тамъ хотѣлъ опять запить, да ужь въ полуштофѣ то ничего не осталось. Писарь, уходя, шепнулъ Кондратьичу на ухо:

— Послѣзавтра, почтеннѣйшій, какъ пойдешь отъ обѣдни, заверни ко мнѣ въ контору: мы съ тобой кой о чемъ потрактуемъ.

Теперь я попрошу моихъ читателей вообразить, что послѣ этого разговора прошло около часу, и перенестись вмѣстѣ со мною изъ людской въ столовую комнату барскаго дома. Марья Дмитріевна, поужинавъ, отправилась ходить съ дочерью и со своею воспитанницею, Дуняшею, по саду; а Кузьма Петровичъ остался въ столовой и тол-

ковалъ о полевыхъ работахъ со своимъ приказчикомъ, Прохоромъ Кондратьичемъ, который, проводя гостей, пришелъ къ барину за приказаніями.

— Слушаю, сударь!—говорилъ онъ, собираясь идти.— Я сейчасъ пошлю десятскаго повѣстить по всѣмъ дворамъ, что вы завтрашній день отдаете мужичкамъ, и чтобъ на барщину не выходили.

— Постой-ка, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ:—я хочу съ тобою поговорить. Что это значитъ: отчего Курочкинъ сдѣлался до насъ такъ милостивъ?.. Какъ ты думаешь, вѣдь это что-нибудь не даромъ.

— Кажись, что такъ, сударь! — отвѣчалъ Кондратьичъ съ значительною улыбкою.

— Ужь не хочетъ ли онъ, — продолжалъ Мирошевъ,— посватать Дуняшу за своего сына?

— Да, видно, что такъ, батюшка.

— Право?.. Такъ она для него не бѣдна?

— Бѣдна?.. Что вы, сударь! Да какую еще ему невѣсту? Вѣдь вы за ней даете, почитай, тысячу рублей въ приданое. Да пусть онъ поищетъ этакую невѣсту у насъ въ городѣ... Не найдетъ, видитъ Богъ, не найдетъ! Тамъ онѣ всѣ на счету: двѣ-три купеческія дочки, да межъ приказными есть невѣстъ пятокъ; и всѣ такая голь, что упаси, Господи!.. Чай, у самой то богатой на пятсотъ рублей приданаго нѣтъ.

— Вотъ то-то и есть! Ужь не думаетъ ли Панкратій Лукичъ, что я за Дуняшей полъ-имѣнья даю?.. Чего добраго: пожалуй, наговорятъ и Богъ знаетъ что.

— И, сударь, не извольте безпокоиться! Не такой человѣкъ Панкратій Лукичъ: онъ, вѣрно, ужь все до копѣечки знаетъ; а если нѣтъ, такъ погодите, сударь, зашлетъ такую сваху, которая всю подноготную вывѣдаетъ.

— А что, Прохоръ, вѣдь это бы не дурно было?

— Да, сударь, если онъ точно, какъ говорятъ, человѣкъ добрый и смирный; а на чины то зариться нечего. Коли мужъ пострѣлъ, такъ что за радость женѣ, что онъ ходитъ при офиціи? Вѣдь офицерскій то кулакъ не легче нашего холопскаго.

— Разумѣется! Если онъ человѣкъ недобрый, такъ Богъ съ нимъ и съ его офицерствомъ!.. Надобно хорошенько поразвѣдать. Да что ты, Прохоръ, слышалъ что-ль объ этомъ отъ кого-нибудь, иль только догадываешься?

— Не фигура догадаться, сударь: писарь Ѳедотычъ почти все мнѣ выболталъ. Сначала говорилъ обиняками, а тамъ ужь хотѣлъ напрямки сказать, да Андрей Ѳомичъ зашелъ къ намъ въ людскую, усѣлся съ нами за столъ: о томъ, о семъ, тара-бара, что будешь дѣлать,—помѣшалъ какъ помѣшалъ! Однакожъ, Ѳедотычъ шепнулъ мнѣ мимоходомъ, чтобъ я послѣзавтра завернулъ къ нему въ контору поговорить порядкомъ объ этомъ дѣльцѣ.

— Смотри же, Прохоръ, узнай все толкомъ.

— Да ужь будьте спокойны, сударь: меня Ѳедотычъ на бобахъ не проведетъ Что онъ свысока то говоритъ— эка важность! Насъ этимъ не удивишь: мы и съ нѣмцами говаривали!

— Вотъ и жена идетъ изъ саду; я съ ней объ этомъ посовѣтуюсь. Ступай, Прохоръ, да не забудь повѣстить крестьянамъ, что завтра барщины не будетъ.

— Слушаю, сударь.

— Пора спать, — сказалъ Мирошевъ, идя на встрѣчу къ женѣ.—Прощай, Варенька, Богъ съ тобой!—продолжалъ онъ, перекрестивъ сначала дочь, а потомъ и Дуняшу.—А ты, Дуня, — прибавилъ Кузьма Петровичъ съ улыбкою,— прошу мнѣ завтра разсказать, что тебѣ приснится, слышишь?

— А что такое?—спросила Марья Дмитріевна.

— Ничего, мой другъ, ничего!.. Пойдемъ спать.

Варенька и Дуняша, простясь съ Марьей Дмитріевной, отправились къ себѣ на антресоли. Онѣ спали въ небольшой комнатѣ, свѣтлой и опрятной, но вовсе не роскошной. Окна этой комнаты были обращены во дворъ; изъ нихъ можно было видѣть часть деревни и зеленый лугъ, который, опускаясь незамѣтнымъ скатомъ до самаго Хопра, казалось, сливался съ его голубыми водами. Въ старину и богатые люди не очень заботились объ убранствѣ внутреннихъ комнатъ своихъ домовъ; слѣдовательно, вы можете себѣ представить, что Варенькина спальня вовсе не походила на комфортабельныя опочивальни нашего времени. Въ ней стояли двѣ простыя деревянныя кровати, одна съ ситцевымъ, другая съ холстиннымъ пологомъ; въ углу, кивотъ съ образами; вмѣсто вычурнаго уборнаго столика рококо, покрытый клеенкою дубовый столъ, на которомъ лежали не англійскіе кипсеки съ прелестными гравюрами, а святцы кіевской печати съ лубочными картинками; не Бальзакъ, не Дюма, не Жоржъ-Зандъ, то есть, съ позволенія сказать,

Madame du Devant, но «*Любовный вертоградъ*» знаменитаго Эмина, «*Горестная любовь*» маркиза де-Толедо и «*Несчастные супруги, италіанская повѣсть, имѣющая печальное окончаніе*». Вмѣсто кушетки и спокойныхъ креселъ à la renaissance, стояли три обитыхъ черною кожею стула, а взамѣнъ огромнаго *псише* висѣло на стѣнѣ небольшое зеркальце въ позолоченной сусальнымъ золотѣ рамѣ, и все это освѣщалось не затѣливою кенкетою подъ хрустальнымъ матовымъ колпакомъ, но небольшою стеклянною лампадою, которая висѣла передъ иконами.

Вареньку и Дуняшу дожидалась въ спальной мамушка Игнатьевна, то есть бывшая ключница Ѳедосья, которую давно уже величали по одному отчеству; во-первыхъ, потому, что ей было безъ малаго семьдесять лѣтъ, а во-вторыхъ, потому, что она носила почетное званіе мамушки. Игнатьевна всегда сама съ крестомъ и молитвою укладывала почивать свою барышню, а иногда, когда ей не спалось, садилась подлѣ ея изголовья, болтала всякую всячину о старинѣ, о томъ, о семъ, и *убаюкивала* ее своими сказками. Случалось также,—что грѣха таить,—когда сонъ ея милаго дитяти казался ей безпокойнымъ, она шептала надъ нимъ разные наговоры, обдувала и даже иногда опрыскивала съ уголька водицею. Игнатьевна была очень набожна: она всегда каялась въ этомъ грѣхѣ на исповѣди, обѣщалась своему духовнику оставить всѣ эти суевѣрные обычаи и примѣты; но лишь только Варенькѣ непоздоровится, или даже чуть-чуть заболитъ у нея голова, Игнатьевна опять за то же. Правда, она всякій разъ послѣ этого, чтобы успокоить свою совѣсть, положитъ, бывало, сотни три земныхъ поклоновъ, въ первую обѣдню пойдетъ подъ переносъ и начнетъ мѣсяца два сряду понедѣльничать. Все это съ перваго раза должно вамъ показаться не только смѣшнымъ, но даже очень глупымъ, быть можетъ; а подумайте хорошенько, и вы убѣдитесь, что, несмотря на это грубое невѣжество, на эту странную смѣсь вѣры съ суевѣріемъ, въ старину едва ли не тверже вѣрили и ужь, конечно, лучше нашего умѣли любить.

— Что это, матушка, Варвара Кузьминична, ты такъ рано собралась почивать?—сказала Игнатьевна.—А я думала, что вы еще долго прогуляете. Ночь то больно хороша: ни одной тучки на небѣ. А полный то мѣсяцъ, любо-дорого посмотрѣть: словно новенькій рублевикъ, такъ и свѣтится!

— Въ самомъ дѣлѣ, — прервала Варенька, — какая прекрасная ночь: свѣтло какъ днемъ! Дуняша, посмотри, какъ хорошо тамъ, на рѣкѣ!... Видишь, какъ мѣсяцъ играетъ по волнамъ?...

— Вижу, — отвѣчала Дуняша. — Такъ бисеромъ и разсыпается по водѣ.

— Какъ ты думаешь, — не погулять ли намъ?... Вѣдь еще рано.

— Извольте. Я вовсе не устала.

— И я также.

— Такъ погуляй, мой дитятко! — сказала Игнатьевна, цѣлуя Вареньку. — Погуляй, моя родимая!... А я межъ тѣмъ пойду Богу помолюсь. Да только не ходите по травѣ: чай, теперь роса пала, а вѣдь роса то не ровна: иная упаси, Господи!

— Куда же мы пойдемъ? — спросила Дуняша. — На Хоперъ?

— Нѣтъ, нѣтъ! — вскричала съ живостію Варенька. — Пойдемъ лучше въ садъ.

— Да послушайся меня, родная, — подхватила Игнатьевна: — пожалуйста, не ходите въ рощу.

— А что, мамушка?

— Да такъ!... Что туда по ночамъ ходить?... Темнеть такая!... Въ иномъ мѣстѣ и днемъ то хоть глазъ выколи; еще неравно чего-нибудь испугаетесь.

— И, матушка, чего намъ испугаться? Да я же ничего и не боюсь.

— Охъ, дитятко, не хвались! Не хорошо, право, не хорошо! Ну, какъ Богъ попутаетъ, да что-нибудь почудится!.. Знаешь ли, что добрые люди говорятъ объ этой часовнѣ, что на горѣ?

— А что такое?

— Да вотъ что: будто бы подъ большіе праздники, а иногда и въ будни, прохожіе видятъ, что тамъ огонекъ теплится.

— Ну что за огонекъ, бабушка? — прервала Дуняша. — Чай, какая-нибудь гнилушка или свѣтлякъ.

— Гнилушка! — вскричала Игнатьевна. — Охъ, ужь ты, разумница! Видишь, тотчасъ и гнилушка! Не успѣла подняться на ноги, а умнѣй другихъ стала!... А прошлую то субботу на воскресенье, въ самую полночь, что Парфенъ то видѣлъ, — гнилушку что-ль?

— А что такое онъ видѣлъ?—спросила Варенька.

— Охъ, матушка, страшно вымолвить!... Парфенъ ѣхалъ изъ города; ночь также была лунная. Вотъ онъ поровнялся съ горою,—глядь на часовню, такъ у него сердце то и замерло. У самой часовни—съ нами крестная сила!—стоитъ кто-то, сверху весь черный, а снизу бѣлый, да росту то аршинъ четырехъ или пяти...

Варенька засмѣялась и взглянула украдкою на Дуняшу.

— Эхъ, барышня, барышня!—продолжала Игнатьевна.—Ну чему-жъ ты изволишь смѣяться?...

— Такъ, мамушка, ничего.

— На васъ, кажется, была черная мантилья и бѣлое платье?—шепнула Дуняша.

— Да!—отвѣчала Варенька также шопотомъ.

— Ну что вы тамъ перешептываетесь? — спросила Игнатьевна.—Смѣетесь надъ старухою?... Эхъ, молодость, молодость!... Вамъ все теперь трынъ-трава!... Поживите-ка съ мое!...

— Прощай, мамушка!—сказала Варенька, шутя.—Не дожидайся насъ: мы всю ночь проходимъ.

— Что ты, матушка, Христосъ съ тобою!—вскричала Игнатьевна.—Да если барыня узнаетъ, такъ и мнѣ достанется. Погуляйте этакъ съ полчасика, да и будетъ.

XII.

Ночная прогулка.

Варенька и Дуняша черезъ дѣвичье крыльцо отправились въ садъ и пошли по прямой дорожкѣ, которая вела въ рощу.

— Куда же мы пойдемъ? — спросила Дуняша.—Опять на гору, къ часовнѣ?

— Да!—отвѣчала Варенька вполголоса.

— Что это, какъ вы любите это мѣсто?

— Оттуда прекрасный видъ,—прошептала Варенька.

— Да, это правда. Кругомъ верстъ за десять видно, а домъ и вся усадьба Ивана Никифоровича Кирсанова какъ на ладони. Если ѣхать дорогой, такъ отъ насъ до него, говорятъ, версты двѣ будетъ; а какъ стоишь на горѣ, подлѣ часовни, такъ, кажется, всѣ стекла въ окнахъ пересчитать

можно. Однажды мы съ вами видѣли, какъ Владиміръ Ивановичъ смотрѣлъ на насъ изъ окна въ подзорную трубку —помните?

Варенька молчала.

— Какой прелюбезный этотъ Владиміръ Ивановичъ,— продолжала Дуняша.—Такой ласковый, умный и, говорятъ, предобрый; а собой то какой молодецъ,—не правда ли?...

Варенька опять не отвѣчала ни слова.

— Да чтожъ вы ничего не говорите? — сказала Дуняша.—Неужели Владиміръ Ивановичъ на ваши глаза не хорошъ?

— О, нѣтъ,—промолвила Варенька,—у него очень пріятная наружность.

— А какая улыбка,—подхватила Дуняша,—а взглядъ то какой! А особливо когда онъ смотритъ на васъ... Ахъ ты, Господи, Боже мой!... Ну вотъ, кажется, глаза то у него такъ и говорятъ!

— А что они говорятъ, Дуняша?—спросила, какъ будто бы шутя, Варенька.

Дуня улыбнулась.

— Мало ли что,—сказала она, взглянувъ на Вареньку, которая вся вспыхнула;—да неужели вы сами этого не замѣчаете? Вѣдь онъ въ васъ влюбленъ... Да, да! Что вы качаете головой? Это правда! Бѣдненькій, онъ васъ любитъ, а вы его терпѣть не можете.

— Почему-жъ ты это думаешь?

— Какъ почему?... Сначала то вы были съ нимъ такъ же ласковы, какъ и со всѣми, вовсе его не дичились; бывало, и шутите съ нимъ, и смѣетесь, да вдругъ, Богъ знаетъ, что съ вами сдѣлалось... И отчего онъ вамъ такъ опостылѣлъ? Онъ сядетъ подлѣ васъ, а вы тотчасъ и прочь; начнетъ съ вами говорить, а у васъ и рѣчей нѣтъ. Бывало, маменька станетъ хвалить его, и вы хвалите, а теперь никогда ни словечка, только что краснѣете, какъ будто бы вамъ досадно, что его хвалятъ. Вотъ третьяго дня, онъ одинъ остался съ нами въ гостиной; я хотѣла выйти, такъ вы схватили меня за руку, да такъ всѣ и помертвѣли. Вѣдь онъ все это видитъ: каково же ему, бѣдняжкѣ!... Нѣтъ, Агриппина Львовна такъ совсѣмъ не то: онъ отъ нея, а она къ нему; а если Владиміръ Ивановичъ начнетъ съ ней говорить, она такъ и растаетъ! Голову на лѣвое плечо, съежитъ свой ротикъ сердечкомъ и пойдетъ работать

глазами. Ужь они у нея вертятся, вертятся, и такъ и этакъ. Ахъ, батюшки, что она ими дѣлаетъ! .. Я пробовала, да никакъ не могу. Въ прошедшую субботу, помните, онъ пробылъ у насъ цѣлый день. Съ вами что то сдѣлалось: вы ушли къ себѣ въ комнату, да еще расплакались; Владиміръ Ивановичъ собрался ѣхать, а Вертлюгина за нимъ, настигла его въ столовой, прижала къ стѣнкѣ и пошла разсыпаться! Заговорила съ нимъ о какой то симпатіи; начала вздыхать, да подымать глаза къ небу; а лицо то совсѣмъ у нея искривилось, — ну, точно припадокъ какой-нибудь. Я подошла поближе, гляжу,—Господи, гдѣ у нея глаза то? Одни бѣлки остались! Ну, ужь нечего сказать, мастерица!

— Полно, мой другъ! Что ты надъ нею смѣешься? Она, право, добрая женщина. Поди-ка лучше посмотри: мнѣ кажется, калитка заперта.

Дуняша побѣжала впередъ.

— Нѣтъ, не заперта,—сказала она, отворяя калитку.— Ступайте, ступайте!

Онѣ вошли въ рощу. Игнатьевна говорила правду: въ ней мѣстами было такъ темно, что должно было идти почти ощупью; кой-гдѣ только лунный свѣтъ прорывался сквозь густыя вѣтви и слабо освѣщалъ тропинку, которая вела на вершину холма. Привычка много дѣлаетъ: онѣ такъ часто бывали въ этомъ лѣсу, и рано по-утру, и поздно вечеромъ, что онъ казался имъ не отдѣльною рощею, но продолженіемъ сада, въ которомъ всѣ уголки были для нихъ знакомы, но, несмотря на это, когда онѣ вошли въ глубину лѣса и послѣдній отблескъ луннаго свѣта потухъ среди густой тьмы, онѣ крѣпко схватили другъ друга за руки. Этотъ мракъ и торжественное молчаніе ночи невольно подѣйствовали на ихъ воображеніе. Дуняша начала даже трусить. Пробираясь по знакомой тропинкѣ въ гору, она со страхомъ озиралась по сторонамъ и прислушивалась къ шелесту собственныхъ шаговъ своихъ. Птица ли зашумитъ, перелетая съ одного дерева на другое, зашевелится ли ежъ подъ кустомъ, Дуняша отъ всего вздрагивали и робко прижималась къ своей подругѣ. Варенька молчала. Болтливая Дуняша также не смѣла говорить: она чувствовала, что испугается собственнаго своего голоса; ей казалось, что на этотъ голосъ кто-нибудь откликнется, что подлѣ нихъ изъ-за куста аукнетъ мохнатый лѣшій или захохочетъ лѣсная русалка. Вдругъ на вершинѣ высокаго дуба застоналъ фи-

линъ; Дуняша вскрикнула, схватила за руку Вареньку и пустилась съ нею бѣгомъ по тропинкѣ. Въ полминуты достигли онѣ до опушки лѣса, выбѣжали на открытое мѣсто; ихъ облило луннымъ свѣтомъ, и онѣ вздохнули свободно.

— Ухъ, слава Богу!—сказала Дуняша, перекрестясь.— Фу, какъ страшно!...

— Трусиха!—прервала Варенька, у которой также голосъ немного дрожалъ. — Ну, чего ты испугалась? Совы!

— Да, сова!... А кто ее знаетъ? Можетъ быть, оборотень какой-нибудь.

— И тебѣ не стыдно? Ну, можно ли вѣрить такимъ глупостямъ!

— Вѣрить то я не вѣрю... однакожъ, какъ подумаю, что надобно идти назадъ... Ухъ, страшно!... Такъ лихорадка и бьетъ.

— Бѣдненькая, тебѣ надобно отдохнуть и успокоиться. Пойдемъ къ часовнѣ.

— Къ часовнѣ?... А развѣ вы не слышали, что говорила Игнатьевна?

— Да не ты ли сейчасъ надъ нею смѣялась?

— Ну, конечно... да это дѣло другое: дома то я ничего не боюсь.

— А здѣсь чего бояться? Посмотри, свѣтло какъ днемъ. Если хочешь, мы воротимся не лѣсомъ. Ты знаешь дорожку между кустовъ, прямо внизъ, къ деревнѣ?

— Какъ не знать: я сколько разъ по ней ходила.

— Ну, пойдемъ же.

Онѣ подошли къ часовнѣ, помолились передъ иконою и сѣли на скамейку, съ которой можно было окинуть однимъ взглядомъ прелестный видъ обширныхъ полей и холмистыхъ береговъ Хопра, описанный нами въ пятой главѣ сей истинной повѣсти. Это очаровательное мѣстоположеніе становилось еще величественнѣе и прекраснѣе при лунномъ свѣтѣ; всѣ предметы представлялись въ какомъ то огромномъ размѣрѣ: рощи превращались въ обширные дремучіе лѣса; холмы, кидая отъ себя густую тѣнь, поднимались какъ исполинскія горы, и освѣщенный луною Хоперъ извивался широкою серебряною лентою посреди луговъ, которые казались безпредѣльными равнинами. Но вся эта роскошь природы не обращала на себя вниманія Вареньки: она смотрѣла только въ одну сторону, туда, гдѣ, на кру-

томъ берегу Хопра, стоялъ обитый тесомъ большой господскій домъ, окруженный садами и рощами. По прямому направленію отъ часовни, подлѣ которой сидѣла Варенька, до этой барской усадьбы, казалось, не было и полуверсты. Мѣстахъ въ двухъ или трехъ окна были освѣщены; изрѣдка долетали до внимательнаго слуха Вареньки то голоса громко разговаривающихъ, то веселые звуки разгульной пѣсни. Мало-по-малу все стало утихать; окна дома темнѣли одно послѣ другого; вотъ раздался лай цѣпной собаки, и зазвенѣла чугунная доска ночного сторожа.

— Кажется, у Кирсановыхъ всѣ спятъ? — сказала Дуняша.—Да неужели и Владиміръ Ивановичъ почиваетъ? Онъ мнѣ сказывалъ, что никогда не ложится спать прежде двухъ часовъ ночи.

— Да почему ты думаешь, что онъ спитъ? — спросила Варенька.

— А какъ же? Развѣ вы не видите направо два крайнихъ окна? Вѣдь вы знаете, что это его комната. Еслибъ онъ не спалъ, такъ въ ней былъ бы огонь.

— Да эти окна и прежде не были освѣщены.

— Такъ, видно, онъ гуляетъ. Говорятъ, что онъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ къ намъ ѣздить, совсѣмъ перемѣнился, и сталъ такимъ полуночникомъ, что иногда до самаго разсвѣта шатается по лѣсу.

— Почему ты это знаешь?

— Мнѣ разсказывала Матрена; а она это слышала отъ своей крестной матери, Афимьи, кормилицы Владиміра Ивановича.

— Такъ эта добрая старушка, Афимья, которую я аза два видѣла въ дѣвичьей?...

— Ну, да, она его кормилица. Она говоритъ, что Владиміръ Ивановичъ, какъ пріѣхалъ изъ Москвы въ побывку къ батюшкѣ, такъ сначала былъ такой веселый, разговорчивый, а теперь какъ въ воду опущенный: тоскуетъ, исхудалъ, не спитъ по ночамъ... А все вы!...

— Почему-жъ я?

— Потому, что онъ въ васъ влюбленъ.

— И, полно, Дуняша!

— Да что вы отъ меня таитесь? Ну, можетъ ли быть, чтобъ онъ вамъ объ этомъ не намекалъ?

— Никогда!

— Скажите пожалуйста!... Ну да это оттого, что онъ

не смѣетъ къ вамъ и приступиться. Попробуйте, будьте съ ними поласковѣе, такъ онъ сейчасъ за васъ посватается.

— Ахъ, Дуня, ты старѣе меня годами, а судишь какъ дитя! Да развѣ онъ можетъ располагать собою? У него есть отецъ.

— Ну, конечно, у него есть отецъ; да почему же отцу то на это не согласиться?

— Потому, что онъ очень богатъ.

— А вы бѣдны что-ль? Вѣдь Хопровка то будетъ ваша. Да гдѣ-жъ Владиміръ Ивановичъ найдетъ здѣсь невѣсту богаче васъ?

— Ребенокъ! — сказала Варенька съ грустною улыбкою.—Да развѣ онъ долженъ непремѣнно жениться на какой-нибудь здѣшней барышнѣ? Мало ли богатыхъ невѣстъ и въ Саратовѣ, и въ въ Москвѣ, и въ Петербургѣ?...

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! — прервала Дуняша. — Какая же я дура: вѣдь ему никто не заказалъ жениться въ Москвѣ или въ Петербургѣ; а тамъ, конечно, много и богатыхъ невѣстъ, и графинь, и княженъ... Ахъ, знаете ли, что? Афимья сказывала Матрешѣ, что у Владиміра Ивановича въ Москвѣ есть невѣста.

— Право? — проговорила Варенька протяжнымъ голосомъ, стараясь казаться равнодушною. — Кто-жъ она такая?

— Говорятъ, какая то княжна.

— Княжна?... Богатая?

— Пятьсотъ душъ.

— И, вѣрно, молода?

— Девятнадцати лѣтъ.

— А собой хороша?

— Андрей, слуга Владиміра Ивановича, говоритъ, что она прекрасная, распрекрасная собой!

— Чтожъ... они помолвлены?

Голосъ Вареньки дрожалъ болѣе и болѣе съ каждымъ новымъ вопросомъ; послѣдній едва можно было разобрать.

— О, нѣтъ!—отвѣчала Дуняша.—Вѣдь объ этомъ только еще разговаривали, а настоящаго ничего не было. Сначала, когда Владиміръ Ивановичъ сюда пріѣхалъ, онъ писалъ къ этой княжнѣ письма каждую недѣлю...

— А теперь?—прервала Варенька.

— Два мѣсяца сряду ни строчки... Что вы, что вы?..— продолжала Дуняша.—Что съ вами?

Варенька рыдала; она опустила голову на плечо Дуняши, и слезы полились рѣкою изъ ея глазъ.

— Ахъ, барышня, барышня! — сказала Дуняша голосомъ, въ которомъ отзывался нѣжный упрекъ. — Зачѣмъ вы отъ меня таились?... Вы его любите?

— Да! — прошептала Варенька.

— И онъ этого не знаетъ?

— Нѣтъ.

— Такъ постойте же, если вы сами не хотите...

— Бога ради! — вскричала Варенька, вскочивъ со скамьи. — Что ты хочешь дѣлать?

— Да если Владиміръ Ивановичъ никогда не будетъ знать, что вы его любите...

— Да, я люблю его! — сказала Варенька съ какимъ то отчаяніемъ, и глаза ея вспыхнули необычайнымъ огнемъ. — О, я такъ долго скрывала эту тайну въ душѣ моей, я не смѣла повѣрять ее даже этимъ деревьямъ, не смѣла даже здѣсь, одна, ночью, сказать вслухъ: «Владиміръ, я люблю тебя!»... Пора облегчить мое сердце: оно все изныло. Слушай, Дуняша. Да, я люблю его; но эта любовь... О, какъ она ужасна!... Она не радость, не блаженство... нѣтъ: это адъ со всѣми его муками! Когда меня ласкаетъ отецъ или мать, сердце мое разрывается, я ненавижу, презираю себя! Въ ту самую минуту, когда я читаю въ ихъ глазахъ всю безпредѣльную любовь къ ихъ дочери, я чувствую... не гляди на меня, Дуняша!... Да, я чувствую, что люблю *его* больше отца и матери!... А за что? Не думаешь ли, что я счастлива, когда онъ вмѣстѣ со мною?... О, нѣтъ! Я хотѣла бы высказать ему всю душу и должна молчать. Понимаешь ли, мой другъ, какъ это тяжело, — любить и не смѣть сказать, что я люблю? Когда я не успѣю отъ него убѣжать, и онъ начнетъ говорить со мною... о, Дуня, Дуня, еслибъ ты знала, что я тогда чувствую!... Сердце мое едва бьется, въ груди горитъ, мнѣ душно!... Когда я съ нимъ розно, я не живу; когда мы вмѣстѣ, я страдаю! Мнѣ кажется иногда, что я похожу на человѣка, измученнаго жестокою болѣзнію: онъ знаетъ, что болѣзнь его неизлѣчима, что жизнь для него одно страданіе и, несмотря на это, онъ любитъ жизнь, любитъ ее болѣе всего на свѣтѣ! Въ молитвахъ моихъ я не прошу Бога о спокойствіи: спокойствіе и равнодушіе — это почти одно и то же; а я не хочу перестать любить его. Безъ этой любви спо-

койствіе будетъ для меня все то же, что смерть для человѣка, измученнаго болѣзнію: и у него такъ же сердце перестанетъ страдать, когда оно перестанетъ биться, и онъ такъ же успокоится, когда его опустятъ въ могилу.

— Боже мой, Боже мой,—вскричала Дуняша, всплеснувъ руками,—зачѣмъ вы его такъ любите?

— Ты говоришь правду, мой другъ. Я чувствую, это тяжкій грѣхъ,—не должно такъ любить человѣка.. Да, Владиміръ жизнь моя; но онъ никогда не будетъ моимъ мужемъ и никогда не узнаетъ, какъ я люблю его.

— Да почему же вы думаете, что онъ не будетъ никогда вашимъ мужемъ? Ну, быть можетъ, сначала батюшка его и поупрямится, а тамъ—глядишь, посердится, посердится, да и дастъ свое благословеніе. Вѣдь онъ, говорятъ, безъ памяти любитъ сына.

— А свой чинъ и свое богатство еще болѣе. И ты думаешь, что этотъ надменный человѣкъ дозволитъ единственному своему сыну и наслѣднику жениться на дочери бѣднаго отставного поручика? Да можетъ ли это быть?... Нѣтъ, мой другъ, зачѣмъ себя обманывать: Владиміръ Ивановичъ уѣдетъ въ Москву, забудетъ меня; увидится опять со своею княжною, женится на ней или на какой-нибудь другой богатой дѣвушкѣ, а я... Богъ милостивъ, я скоро зачахну съ горя, умру... Ахъ, нѣтъ, я не могу желать и этого: вѣдь я у нихъ одна!

Варенька закрыла руками лицо и горько заплакала. Дуняша молчала и плакала съ нею вмѣстѣ.

— Пойдемъ!—сказала, наконецъ, Варенька, вставая.—Я думаю, Игнатьевна успѣла ужь помолиться Богу и вѣрно теперь насъ дожидается.

Варенька и Дуняша, взявшись за руки, побѣжали внизъ по тропинкѣ, которая извивалась посреди мелкаго кустарника; она вывела ихъ въ нѣсколько минутъ на берегъ рѣки, вдоль которой тянулся довольно большой *порядокъ* крестьянскихъ избъ. Пройдя деревню, онѣ остановились у самаго поворота къ дому, чтобъ взглянуть на Хоперъ, котораго струи, освѣщенныя полною луною, искрились и блестѣли какъ граненый хрусталь.

— Ахъ, какъ теперь хорошо на рѣкѣ!—вскричала невольно Дуняша.—Вѣдь, право, лучше, чѣмъ днемъ?

— Да, — отвѣчала отрывисто Варенька, смотря пристально внизъ по теченію Хопра.

— Что это, — продолжала Дуняша, — никому не вздумается покататься въ лодкѣ? Теперь то и настоящее гулянье: днемъ жарко, солнцемъ печетъ; а теперь и тепло и прохладно...

— А вотъ посмотри сюда,—прервала Варенька.—Видно, есть охотники.

Шагахъ въ пятидесяти отъ того мѣста, гдѣ стояли Варенька и Дуняша, плыла противъ теченія небольшая лодка. Въ ней сидѣлъ одинъ только человѣкъ; но онъ такъ дружно и искусно работалъ двумя веслами, что челнокъ подвигался впередъ почти такъ же быстро, какъ будто бы онъ шелъ внизъ по теченію рѣки.

— Дуня!—шепнула Варенька,—схвативъ ее за руку. Это онъ!

— И, что вы... помилуйте! Я съ трудомъ вижу, что кто то сидитъ въ лодкѣ, а вы ужь и лицо разсмотрѣли.

Варенька приложила руку Дуняши къ груди своей.

— Слышишь ли, — сказала она, — какъ бьется мое сердце? О, оно никогда меня не обманывало!... Это онъ!

— А вотъ посмотримъ! Станемте здѣсь, — сказала Дуняша, указывая на ракитовый кустъ, который росъ надъ самою водою, прямо противъ господскаго дома. Насъ не будетъ видно, а мы все увидимъ.

Онѣ спрятались за кустъ.

Когда челнокъ поровнялся съ домомъ, тотъ, кто управлялъ имъ, пересталъ грести, и только изрѣдка опускалъ весла въ воду, чтобъ держаться противъ теченія и стоять на одномъ мѣстѣ. Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти. Ночь была такъ свѣтла, и онъ причалилъ такъ близко къ ракитовому кусту, что изъ-за него можно было безъ труда разсмотрѣть всѣ черты лица и полюбоваться его прекрасною и благородною наружностію. Длинныя черныя кудри, которыя въ деревнѣ не нужно было, изъ барскаго подражанія французамъ, завивать въ глупыя букли и обезображивать пудрою, падали свободно на его плечи. Голубой плащъ, до половины спущенный, лежалъ у него на колѣняхъ, а на голову была надѣта одна изъ тѣхъ польскихъ красныхъ шапочекъ, которыя тогда были въ большой модѣ и назывались *конфедератками*. Предчувствіе не обмануло Вареньку—да, это былъ онъ. Прошло минутъ десять, а челнокъ все стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ. Владиміръ смотрѣлъ задумчиво на господскій домъ, или,

лучше сказать, на два окна въ антресоляхъ этого дома; казалось, онъ хотѣлъ проникнуть взоромъ во внутренность небольшой комнаты, слабо освѣщенной лампадою. Вотъ кто то появился въ ней со свѣчею въ рукѣ, подошелъ къ окнамъ, опустилъ подъемныя рамы, задернулъ гардинки. «Она ложится спать»,—сказалъ про себя Владиміръ.—«Почивай спокойно, мой ангелъ! О, если-бъ ты хотя во снѣ, увидѣвъ меня, улыбнулась съ любовью!» Онъ послалъ по воздуху поцѣлуй, который отправился прямо въ окно къ мамушкѣ Игнатьевнѣ; потомъ подобралъ весла,—челнокъ повернулся и полетѣлъ какъ стрѣла внизъ по теченію рѣки.

Я вѣрю, что истинная любовь вовсе неземное чувство; что человѣкъ, способный любить со всею непорочностію и чистотою дѣтской души, обладаетъ до нѣкоторой степени *вторымъ зрѣніемъ* шотландцевъ или ясновидѣніемъ погруженнаго въ магнитическій сонъ, то есть предчувствуетъ и скорую разлуку, и скорое свиданіе съ тѣмъ, кого любитъ; узнаетъ по тоскѣ души своей, что тотъ, кого онъ любитъ, боленъ, или, по радостному біенію сердца, что онъ близко подлѣ него. Я вѣрю всему этому, можетъ быть, по тому, что я отъ природы чрезвычайно легковѣренъ, и вслѣдствіе этой увѣренности поневолѣ долженъ сказать, что мужчины вообще или не могутъ любить такъ *духовно*, какъ любятъ женщины, или любовь Вареньки была несравненно сильнѣе той, которую чувствовалъ къ ней Владиміръ. Ей сердце сказало, что это онъ, когда глазами она не могла его еще видѣть; почему же Владиміръ, до котораго почти долетало ея дыханіе, не почувствовалъ, что она въ двухъ шагахъ отъ него, притаясь за кустомъ, не сводитъ съ него глазъ, и взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой любви, слѣдитъ за каждымъ его движеніемъ?

— Ну, Дуняша, — сказала она шопотомъ, когда челнокъ, обогнувъ песчаную отмель, исчезъ за крутымъ берегомъ Хопра,—не отгадала ли я?

— Нечего сказать, барышня: зорки глаза у влюбленныхъ.

— Вотъ нѣсколько счастливыхъ минутъ въ моей жизни!—продолжала Варенька.—Онъ не говорилъ со мною, не видѣлъ меня, не зналъ даже, что я подлѣ; а мнѣ можно было смотрѣть на него, любоваться имъ!... О, если-бъ это наслажденіе могло продолжаться годъ... десять лѣтъ... всю жизнь мою!... Вотъ, Дуняша, вотъ блаженство, котораго

жаждетъ душа моя!... Не знаю, понимаешь ли ты меня?..

— Да кто васъ пойметъ, Варвара Кузьминична!—сказала почти съ досадою Дуняша.—Вы ходите на гору смотрѣть издалека на его окна, онъ пріѣзжаетъ по ночамъ въ лодочкѣ глазѣть на наши антресоли, а сойдетесь вмѣстѣ—такъ ни слова! Ну что это за любовь такая?... Оба вы, ничего не видя, худѣете, чахнете, не спите по ночамъ... Ужь, по-моему, лучше одинъ конецъ: пусть онъ попытается, можетъ быть, ему и удастся уговорить своего батюшку... Только вы то сами отъ него не бѣгайте. Вѣдь нельзя же ему за васъ посвататься, если онъ будетъ думать, что вы его терпѣть не можете. Однакожъ, пойдемте скорѣй домой, а не то бабушка Игнатьевна такую пыль подыметъ, что, Боже, упаси; и вѣдь все оборвется на мнѣ!

Дѣйствительно, мамушка встрѣтила ихъ не очень ласково.

— Что это, барышня, не стыдно ли вамъ?—ворчала она.—Пошли на полчасика, да часа два проходили! А, чай, все эта озорница?... «Еще погуляемъ, еще погуляемъ!» Посадила бы тебя плесть кружево, да по урокамъ,—такъ перестала бы полуночничать!... Ну, что смѣетесь?... Молитесь-ка Богу: скоро пѣтухи запоютъ.

Игнатьевна, уложивъ свою барышню, отправились спать. Когда все утихло, и въ сосѣдней комнатѣ захрапѣли дуэтомъ старуха-мамушка и толстая дѣвка Матрена, Дуняша, которая давно уже замѣчала, что Варенька потихоньку плачетъ, спустилась осторожно съ постели и подошла на цыпочкахъ къ ея изголовью.

— Послушайте,—сказала она шопотомъ,—не упрямьтесь! Почему знать, что можетъ случиться? Богъ милостивъ! Вѣдь ужь хуже этого ничего не можетъ быть: того и гляди, что вы оба зачахнете; а если вы подадите Владиміру Ивановичу хотя маленькую надежду...

— Никогда! — сказала прерывающимся голосомъ Варенька и прижалась лицомъ къ подушкѣ, чтобъ заглушить свои рыданія.

Не знаю, въ какой то комедіи, кажется—«*Подложномъ кладѣ*», дядя говоритъ племянницѣ: «Никогда, мой другъ, не надобно говорить никогда». Мы увидимъ впослѣдствіи, могъ ли бы этотъ дядя сказать то же самое Варенькѣ.

XIII.

Какъ Алексѣй Панкратьичъ Курочкинъ расшибъ себѣ лобъ и переломилъ вишневое дерево.

На другой день послѣ описанной нами ночной прогулки, часу въ десятомъ по-утру, семейство Мирошевыхъ, напившись чаю, сидѣло въ той самой комнатѣ, въ которой, осьмнадцать лѣтъ тому назадъ, Кузьма Петровичъ въ первый разъ увидѣлъ Марью Дмитріевну. Варенька и Дуняша вышивали въ пяльцахъ; Кузьма Петровичъ читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», которыми снабжалъ его, по сосѣдству, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ; а Марья Дмитріевна вязала филе и посматривала съ примѣтнымъ безпокойствомъ на свою дочь.

— Что это, мой другъ Варенька,—сказала она, наконецъ,—ты такъ блѣдна сегодня? Здорова ли ты?

— Здорова, маменька.

— Да отчего-жъ ты такъ худѣешь?

— Я худѣю?... Что вы!... Это вамъ такъ кажется.

Марья Дмитріевна покачала головой.

— Не худѣетъ, — сказала она вполголоса, — а платья надобно перешивать! Послушай, мой другъ, если ты что-нибудь чувствуешь, такъ, Бога ради, не скрывай: мы пошлемъ въ городъ за лѣкаремъ.

— Увѣряю васъ, маменька, что я совершенно здорова.

— Такъ отчего-жъ ты въ два мѣсяца такъ похудѣла?

— Я тебѣ скажу отчего,—прервалъ Кузьма Петровичъ, положивъ на столъ газеты. Онѣ съ Дуняшей каждый день верстъ двадцать обѣгаютъ. Ужь я ли не люблю ходить пѣшкомъ, а никакъ за ними не угоняюсь.

— Зачѣмъ же такъ много ходить?

— И, матушка, не мѣшай имъ. Когда же и погулять, какъ не теперь? Вотъ придетъ дурное время, такъ поневолѣ станутъ сидѣть дома.

— Кузьма Петровичъ — сказалъ Прохоръ, просунувъ свою голову въ растворенныя двери, — купецъ изъ города.

— Какой?

— Да вотъ тотъ самый, что на прошлой недѣлѣ торговалъ у насъ пшеницу; онъ хочетъ съ вами поговорить.

— Позови еговъ гостиную,—сказалъ Мирошевъ, вставая.

— Слушаю, сударь... Да не уступайте, батюшка,—прибавилъ Прохоръ вполголоса,—дастъ!

Кузьма Петровичъ подошелъ къ дочери, поцѣловалъ ее въ лобъ и сказалъ, выходя изъ комнаты:

— Жена, съ чего ты взяла, что Варенька сегодня блѣдна? Посмотри: да она какъ маковъ цвѣтъ!

— Въ самомъ дѣлѣ!—проговорила Марья Дмитріевна.— Что это, Варенька, какъ ты часто мѣняешься въ лицѣ?

— Это оттого, маменька, что я долго сидѣла нагнувшись.

Не знаю, показалась ли Марьѣ Дмитріевнѣ эта причина удовлетворительною, но вы, любезные читатели, вѣроятно догадаетесь, что Варенька покраснѣла совсѣмъ отъ другого, если я скажу вамъ, что въ то самое время, какъ Мирошевъ выходилъ изъ комнаты, подъѣзжалъ къ воротамъ, на лихомъ горскомъ жеребцѣ, стройный молодой человѣкъ въ щегольскомъ полевомъ кафтанѣ; онъ вскакалъ молодцомъ на дворъ, спрыгнулъ съ коня, отдалъ его стремянному, который за нимъ ѣхалъ, и вбѣжалъ на крыльцо.

— Ахъ, Владиміръ Ивановичъ!—вскричала съ ласковою улыбкою Марья Дмитріевна, когда гость вошелъ въ комнату.—Откуда вы такъ рано?

— Я ѣздилъ на охоту съ батюшкой,—отвѣчалъ Владиміръ, поцѣловавъ у нея руку и поклонясь Варенькѣ и Дуняшѣ.—Онъ отправился домой, а я хотѣлъ хоть на минуту завернуть къ вамъ и узнать о вашемъ здоровьѣ.

— Не прикажете ли чаю?

— Покорнѣйше васъ благодарю! Я ужь завтракалъ. А что, Кузьма Петровичъ здоровъ?

— Слава Богу! Онъ сейчасъ придетъ.

Варенька встала.

— Куда ты, мой другъ?—спросила Марья Дмитріевна.

— Въ садъ, маменька: надобно полить мои цвѣты.

— Я ужь приказала садовнику.

— Да мнѣ и пройтись хочется; я такъ долго сидѣла.

— Позвольте и мнѣ погулять вмѣстѣ съ вами, — сказалъ Владиміръ.—Я очень люблю вашъ садъ.

— Полноте смѣяться, Владиміръ Ивановичъ!—прервала Мирошева.—Послѣ вашего великолѣпнаго сада, нашъ незатѣйливый садикъ долженъ вамъ показаться простымъ огородомъ.

— Вы можете мнѣ не вѣрить, Марья Дмитріевна; но я

клянусь вамъ честію, что люблю его гораздо болѣе нашего преогромнаго и прескучнаго регулярнаго сада. Когда я смотрю на его зеленыя стѣны изъ липъ и подстриженныя елки, то мнѣ всякій разъ кажется, что его не сажали, а строили.

— Пойдемъ, Дуняша,—шепнула Варенька.

— Вы позволяете мнѣ быть вашимъ кавалеромъ?—спросилъ ее Владиміръ.

— Какъ вамъ угодно, — отвѣчала она едва слышнымъ голосомъ.

— Ступайте, Владиміръ Ивановичъ, — сказала Марья Дмитріевна.—Я и сама сейчасъ къ вамъ приду; теперь лучшее время для прогулки: черезъ часъ будетъ жарко.

Владиміръ вышелъ вмѣстѣ съ Дуняшей и Варенькой.

— Какъ онъ милъ! — прошептала Мирошева, глядя вслѣдъ за ними.—Ну, право, я не знаю, кто изъ нихъ лучше... Ахъ, если бы!... О, тогда бы я умерла спокойно...

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ опять въ комнату Кузьма Петровичъ.

— Гдѣ нашъ гость?—спросилъ онъ.

— Пошелъ вмѣстѣ съ Варенькой и Дуняшей гулять по саду.

Мирошевъ покачалъ головою.

— Охъ ужь мнѣ эти гулянья!—сказалъ онъ.—Марья Дмитріевна, смотри, чтобъ послѣ не тужить!

— О чемъ, мой другъ?

— О чемъ?... Да воля твоя, душенька, не худо бы ему порѣже къ намъ ѣздить.

— Кому?... Владиміру Ивановичу?

— Ну, да!

— Помилуй, Кузьма Петровичъ, давно ли ты самъ его хвалилъ?

— И теперь пожалуй похвалю. Да вѣдь у насъ, мой другъ, дочь невѣста.

— Такъ чтожъ?

— Какъ что? Владиміръ Ивановичъ прекрасный мужчина, любезенъ, уменъ...

— Да, это правда.

— Мнѣ кажется, что Варенька ему нравится.

— Слава Богу, замѣтилъ!—прервала Марья Дмитріевна съ улыбкою.

— А если и онъ также понравится нашей дочери?... Если они полюбятъ другъ друга?...

— Тогда онъ посватается, а она выйдетъ за него замужъ.

Мирошевъ опять покачалъ головою.

— Да что это, мой другъ, ты качаешь головой?—продолжала Марья Дмитріевна.—Мнѣ кажется, Владиміръ Ивановичъ прекрасная партія для нашей дочери...

— О, конечно!... Если-бъ у него не было отца.

— Ахъ, Кузьма Петровичъ, да не все ли это равно? Вѣдь Владиміръ Ивановичъ единственный его наслѣдникъ.

— Не объ этомъ рѣчь, матушка...

— А, понимаю!... Говорятъ, что Иванъ Никифоровичъ вспыльчивъ: ты боишься его крутого нрава? Да вѣдь онъ, несмотря на это, предобрый человѣкъ.

— Нѣтъ, Марья Дмитріевна, совсѣмъ не то...

— А, вотъ что! Ты думаешь, что Иванъ Никифоровичъ вдовецъ и можетъ самъ еще жениться?... Помилуй, ему за шестьдесятъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, матушка!—прервалъ съ нетерпѣніемъ Кузьма Петровичъ.—Я думаю, что Иванъ Никифоровичъ не позволитъ сыну жениться на нашей дочери.

— Не позволитъ?...—повторила съ величайшимъ изумленіемъ Мирошева.—Какъ не позволитъ?...

Бѣдная Марья Дмитріевна! Она была такого высокаго мнѣнія о своей дочери, что изъ всѣхъ различныхъ препятствій, это одно не приходило ей никогда въ голову, потому что оно казалось ей совершенно невозможнымъ.

— Ахъ, Кузьма Петровичъ,—сказала она,—что это у тебя иногда за странныя мысли!... Да найдется ли гдѣ-нибудь такой человѣкъ, который не захотѣлъ бы назвать Вареньку своею дочерью? И чѣмъ ты хуже Кирсанова? Ты старинный русскій дворянинъ, тебя всѣ уважаютъ...

— Все такъ, матушка; однакожъ, послушай: если-бъ за нашу дочь посватался какой-нибудь отставной прапорщикъ, хотя и честный человѣкъ, но вовсе безъ состоянія...

— Какая разница, мой другъ!

— Я тутъ не вижу никакой разницы.

— Такъ у тебя глазъ нѣтъ. Да развѣ ты не видишь, что такое Варенька? Самъ Иванъ Никифоровичъ, когда заѣзжаетъ къ намъ, не можетъ ею налюбоваться. Да есть ли въ цѣломъ мірѣ кто-нибудь милѣе, умнѣе и прекраснѣе

нашей дочери?... Кому она не пара? Какой женихъ можетъ быть для нея слишкомъ богатъ или знатенъ?...

— А почему ты знаешь, мой другъ, что Иванъ Никифоровичъ не говоритъ то же самое о своемъ сынѣ? Вѣдь и ему также никто не заказалъ думать, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ невѣсты, которая была бы слишкомъ знатна или богата для его сына. Эй, Марья Дмитріевна, смотри, чтобъ намъ не нажить себѣ горя! Эти частыя посѣщенія...

— Чтожъ?—прервала Мирошева,—не прикажете ли отказать ему отъ дома?...

— Я не говорю этого; но если бы онъ порѣже съ нею видѣлся...

— Признаюсь, я не ожидала, чтобъ вы такъ мало любили вашу дочь!

— Жена... побойся Бога!

— Ну, пускай бы кто-нибудь другой, а то родной отецъ хочетъ помѣшать счастью своей дочери!

— Машенька,—сказалъ Мирошевъ, всплеснувъ руками, —ты ли это говоришь?

Марья Дмитріевна замолчала, потомъ кинулась на шею къ мужу, заплакала и сказала:

— Прости, меня, мой другъ, я виновата!... Но ты не знаешь, какъ я люблю ее!

— Право не больше моего,—продолжалъ Мирошевъ, обнимая жену.—Охъ, вы, матушки, матушки! Что съ вами дѣлать? Вы, видно, всѣ на одинъ покрой. Глядишь, женщина умная, разсудительная, съ толкомъ, а дошло дѣло до того, чтобъ просватать дочку за выгоднаго жениха, такъ съ ней и не говори! Все вздоръ, кромѣ того, что она себѣ въ голову забрала.

— Душенька, другъ мой! — прошептала Марья Дмитріевна, лаская мужа, — какъ же ты хочешь, чтобъ я не желала этого? Впрочемъ, успокойся: за Вареньку намъ бояться нечего; я не думаю, чтобъ она ему отказала, если онъ, съ позволенія отца, будетъ за нее свататься; но что она къ нему совершенно равнодушна, въ этомъ я могу тебя увѣрить. Она даже замѣтнымъ образомъ избѣгаетъ случая быть съ нимъ вмѣстѣ. Да это такъ и быть должно; я сужу по себѣ: я могла влюбиться только въ жениха своего,—а Варенька вся въ меня

— Полно, такъ ли, мой другъ?... Душа то у нея твоя, а сердце, или, вѣрнѣй сказать, голова не вовсе на твою

походить. Ты, кажется, не хаживала по ночамъ смотрѣть на луну, да мечтать; а за нею это водится.

— Ребячество, мой ангелъ! И я бы, можетъ быть, вздыхала по лунѣ, если-бъ у меня не было причины вздыхать о другомъ. Послушай, мой другъ, оставь ихъ! Если, въ самомъ дѣлѣ, Владиміръ Ивановичъ въ нее влюбленъ, такъ неужели ты думаешь, отецъ будетъ противиться его счастію? Вѣдь онъ у него, такъ же какъ наша Варенька, одинъ-одинехонекъ... И на что ему искать богатой невѣсты для сына, когда онъ и безъ этого будетъ богать?

— Ну, хорошо, хорошо! Только куда бы я желалъ, чтобъ это все, такъ или этакъ, только скорѣе кончилось. А межъ тѣмъ ступай-ка, душенька, къ нимъ въ садъ.

— Да не безпокойся: вонъ, посмотри, Владиміръ Ивановичъ садится ужь на лошадь. Видно, торопится: не зашелъ и проститься со мною... Какой молодецъ!... Не правда ли, мой другъ?... А это что за гости къ намъ ѣдутъ... Кто это?... Тройкой... въ бричкѣ...

— Постой-ка!—сказалъ Мирошевъ.—Ну, такъ и есть,—Курочкинъ!.. И, кажется, со своимъ сынкомъ... Фу ты, батюшки: одинъ женихъ со двора, другой на дворъ!... Только этотъ будетъ понадежнѣе; и если онъ хоть крошечку понравится Дуняшѣ, такъ и съ Богомъ!

— Да неужели ты думаешь, что онъ съ перваго раза такъ и начнетъ свататься?

— О, нѣтъ, Курочкинъ человѣкъ аккуратный: теперь смотръ, а тамъ сваху жди на дворъ; потомъ пойдутъ переговоры. Панкратій Лукичъ станетъ торговаться; мы посулимъ немножко побольше, онъ сдѣлаетъ уступочку, а тамъ и по рукамъ.

Межъ тѣмъ бричка подъѣхала шагомъ къ крыльцу Сначала выпрыгнулъ изъ нея сынъ,—нельзя сказать, чтобъ очень ловко, потому что шпага его перевернулась эфесомъ внизъ, и онъ зацѣпилъ концомъ ея по носу кучера; потомъ полѣзъ и батюшка съ большею осторожностію, опираясь на руку сына. Часто бываетъ, что дѣти вовсе не походятъ на своихъ родителей; но едва ли вамъ случалось видѣть такую разительную противоположность и въ моральномъ и физическомъ отношеніи между отцомъ и сыномъ, какую представляли собою Панкратій Лукичъ и Алексѣй Панкратьичъ Курочкинъ. Первый, то есть отецъ, былъ низкаго роста, съ кругленькимъ брюшкомъ, на двухъ тоненькихъ и

короткихъ ножкахъ. Большая, съ обширною лысиною голова, казалось была приклеена къ его плечамъ. Панкратій Лукичъ могъ бы смѣло грабить на большихъ дорогахъ въ Англіи. Всѣмъ извѣстно, что тамъ законъ исполняется буквально: онъ повелѣваетъ уличеннаго въ разбоѣ преступника вѣшать *за шею;* слѣдовательно, Курочкина рѣшительно нельзя было бы повѣсить: у него вовсе не было шеи. Если-бъ можно было олицетворить подлую и крючковатую хитрость стариннаго русскаго приказнаго, смѣшанную съ безстыднымъ нахальствомъ лакея большого барина, то, конечно, для этого понадобилось бы лицо Панкратія Лукича. Зеленовато-сѣрые глаза его были въ безпрерывномъ движеніи; казалось, онъ боялся остановить ихъ на одномъ предметѣ и дать время прочесть въ нихъ всѣ плутовскія затѣи своей чернильной душонки, преисполненной подъяческими кознями. Его огромный носъ опускался широкимъ навѣсомъ надъ вѣчно-улыбающимися устами и круглымъ подбородкомъ, который, за отсутствіемъ шеи, былъ обвернутъ миткалевою бѣлою косынкою. На Панкратіи Лукичѣ былъ суконный, бутылочнаго цвѣта, нѣмецкій кафтанъ, гродетуровый пюсовый камзолъ, такое же исподнее платье, и полосатые шелковые чулки. Въ одной рукѣ держалъ онъ *натуральную* трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, въ другой трехъ-угольную шляпу, весьма искусно зашитую черными нитками. Изъ подъ камзола висѣли двѣ семилеровыя цѣпочки съ разными побрякушками: одна отъ серебряныхъ часовъ шарообразной формы; а другая—такъ, вѣроятно, для симметріи.

Теперь поставьте рядомъ съ нимъ виднаго тамбуръ-мажора, котораго, шутки ради, нарядили въ офицерскій мундиръ. Этотъ сынокъ ровно на двѣ четверти былъ выше своего папеньки, то есть въ немъ было два аршина и двѣнадцать вершковъ росту. Прибавьте къ этому широкія плечи, высокую грудь, прямой, вытянутый станъ и жилистыя ноги, которыя какъ будто бы вовсе разучились сгибаться; однимъ словомъ, если у васъ нѣтъ подъ руками надежнаго столба, а вашъ домъ готовъ повалиться, подпирайте его смѣло Алексѣемъ Панкратьичемъ и почивайте спокойно. Румяное лицо его, по своему добродушному выраженію, было бы довольно пріятно, когда бы у него, вмѣсто бездушныхъ оловянныхъ глазъ, были глаза, хотя нѣсколько человѣческіе. Онъ такъ же часто и такъ же не-

кстати хохоталъ, какъ часто и безъ всякой причины улыбался его батюшка. Вы скажете ему привѣтливое слово, онъ захохочетъ; спросите о здоровьѣ—онъ умретъ со смѣху. Однажды было отецъ вздумалъ порядкомъ пожурить за это сынка, да послѣ и закаялся.

— Эхъ, Алеша!—сказалъ онъ,—что у тебя за обычай такой? Выпучишь глаза, да, ни къ селу, ни къ городу, захохочешь словно сычъ какой? Вѣдь иной подумаетъ, что ты глупъ, какъ пень!

Эти два вѣжливыя сравненія показались сынку такъ забавными, что онъ повалился со смѣху на полъ и чуть не задохся: насилу его отлили водою.

Входя на крыльцо, Панкратій Лукичъ безпрестанно шепталъ сыну:

— Смотри, Алеша, не забудь: подойди къ ручкѣ, да не хохочи, пожалуйста! Ухмыляйся только ради пріятства, —ну, вотъ такъ же, какъ я.

— Знаю, батюшка, знаю!—отвѣчалъ сынокъ, выправляя свою шпагу и прижимая къ вискамъ форменныя букли, которыя начинали топыриться и принимать понемногу видъ распростертыхъ крыльевъ.

Мирошевы были уже нѣсколько минутъ въ гостиной; Варенька и Дуняша гуляли еще по саду.

— Чтожъ наши гости такъ долго нейдутъ?—спросила Марья Дмитріевна мужа.

— И, матушка: женихъ,—такъ охорашивается, чтобъ приглянуться невѣстѣ.

Вдругъ что то такъ сильно стукнуло, что стѣны затряслись въ домѣ, и въ то же время Прохоръ Кондратьичъ закричалъ въ передней:

— Батюшки, убился!

— Ничего!—заревѣлъ кто то басомъ.

— Скорѣй, скорѣй, мѣдный пятакъ!—раздался незнакомый голосъ.

— Боже мой, что это такое?—вскричала Марья Дмитріевна.

— Это какъ будто бы кто-нибудь ударилъ дубиною въ стѣну,—сказалъ Мирошевъ, выходя изъ гостиной.

Кузьма Петровичъ почти отгадалъ. Входя изъ сѣней въ переднюю, трехъ-аршинный женихъ не обратилъ вниманія на то, что двери очень низки, и со всего размаха хватился лбомъ о притолку. Когда Мирошевъ вошелъ въ лакейскую,

то ему представилась чрезвычайно интересная и трогательная картина: изувѣченный сынъ сидѣлъ на *коникѣ;* съ одной стороны заботливый отецъ, приложивъ къ его лбу мѣдный пятакъ, старался изъ всѣхъ силъ оттиснуть россійскій гербъ на огромной шишкѣ, которая, несмотря на всѣ его усилія, становилась все больше и больше; съ другой стороны Прохоръ Кондратьичъ держалъ обѣими руками голову страдальца; въ двухъ шагахъ стояли буфетчикъ Ѳомка и мамушка Игнатьевна, которой въ эту минуту толстая Матрена подавала бутылку *живой воды*, и двѣ босоногія дѣвчонки робко выглядывали изъ коридора. Вѣроятно, Панкратію Лукичу удалось бы, наконецъ, заклеймить своего сына, если-бъ онъ, увидѣвъ Мирошева, не вскочилъ съ коника.

— Ахъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! - сказалъ Курочкинъ-отецъ, положивъ преспокойно въ свой карманъ чужія пять копѣекъ.—Извините!... Какой вышелъ случай!... Изволите видѣть, вотъ онъ... Это, батюшка, мой сынъ... Прошу любить и жаловать!...

— Вы, кажется, больно ушиблись? — спросилъ Мирошевъ.

— Не извольте безпокоиться! — отвѣчалъ женихъ,—обдергивая мундиръ. Пустяки-съ,—шишка и больше ничего!

— Однакожъ, вы шибко ударились.

Женихъ умеръ со смѣху.

— Не правда ли?—сказалъ онъ, продолжая хохотать.— Да это нашему брату ни почемъ! У насъ и не такіе желваки бывали. Была бы только голова на плечахъ.

— Вы, кажется, въ отставкѣ? — спросилъ Мирошевъ Курочкина-сына.

— Да-съ, вольный козакъ!... Ха, ха, ха!

— И долго у насъ поживете?

— Какъ же!... Хи, хи, хи!

Панкратій Лукичъ толкнулъ локтемъ сына.

— Да милости прошу къ женѣ! — сказалъ Кузьма Петровичъ.

Оба Курочкина пошли за хозяиномъ, и между ними начался шопотомъ слѣдующій разговоръ:

— Перестанешь ли ты хохотать, дубина!

— Забылъ!

— Забылъ!... Эко чучело!

— Да полно, батюшка, ругаться!... Услышатъ!

Когда они вошли въ гостиную, Панкратій Лукичъ отвѣсилъ пренизкій поклонъ Марьѣ Дмитріевнѣ и мигнулъ сыну; сынъ приготовилъ правую ладонь, какъ нищій, который сбирается просить милостыню, двинулся форсированнымъ маршемъ къ хозяйкѣ, уронилъ мимоходомъ работный столикъ съ пяльцами и подошелъ къ рукѣ. Въ ту самую минуту, какъ Марья Дмитріевна, по русскому обычаю, наклонилась, чтобъ поцѣловать его въ щеку, Алексѣй Панкратьичъ поднялъ голову и, къ счастію, не разбилъ ей носъ, а только замаралъ лицо пудрою.

— Прошу покорно садиться! — сказалъ хозяинъ, едва удерживаясь отъ смѣха.

Курочкины сѣли.

— Вы, кажется, служили въ одномъ полку съ племянникомъ сосѣда нашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина?— спросилъ Мирошевъ, чтобъ начать разговоръ.

— Да-съ! Точно такъ-съ!—отвѣчалъ женихъ.—Мы съ нимъ однокорытники. Расторопный офицеръ!

— Онъ, кажется, произведенъ въ подпоручики?

— Не могу знать. Хорошій товарищъ, весельчакъ; только, смѣю вамъ доложить, такой сорви-голова, что и сказать нельзя! Какъ онъ былъ еще капраломъ, такъ его частехонько подъ ружья ставили. И со мной выкидывалъ порядочныя штучки.

— Право?

— Да вотъ я вамъ доложу. Прошлаго лѣта находились мы съ нимъ въ откомандировкѣ; я былъ старшимъ, а онъ младшимъ. Вѣдь вы изволите знать, въ службѣ палку поставятъ командиромъ, такъ и палки слушайся. Вотъ я, по долгу службы, потребовалъ, чтобы онъ мнѣ рапортовалъ. Чтожъ вы думаете?... Онъ подошелъ ко мнѣ и началъ какъ слѣдуетъ: «Честь имѣю рапортовать»... да и пошелъ меня позорить не на животъ, а на смерть,—совсѣмъ обругалъ! А самъ стоитъ безъ шляпы, на вытяжку: никакъ нельзя придраться.

Мирошевъ засмѣялся, Марья Дмитріевна также, а самъ разсказчикъ при сей вѣрной оказіи покатился со смѣху; это бы еще ничего, но онъ такъ навалился на спинку креселъ, что опрокинулся вмѣстѣ съ ними на полъ и переломилъ у нихъ ручку.

— Что ты это, Алексѣй? — закричалъ Панкратій Лукичъ. — Что это нынче съ тобой дѣлается?... Извините, батюшка, Кузьма Петровичъ!

то ему представилась чрезвычайно интересная и трогательная картина: изувѣченный сынъ сидѣлъ на *коникѣ;* съ одной стороны заботливый отецъ, приложивъ къ его лбу мѣдный пятакъ, старался изъ всѣхъ силъ оттиснуть россійскій гербъ на огромной шишкѣ, которая, несмотря на всѣ его усилія, становилась все больше и больше; съ другой стороны Прохоръ Кондратьичъ держалъ обѣими руками голову страдальца; въ двухъ шагахъ стояли буфетчикъ Ѳомка и мамушка Игнатьевна, которой въ эту минуту толстая Матрена подавала бутылку *живой воды*, и двѣ босоногія дѣвчонки робко выглядывали изъ коридора. Вѣроятно, Панкратію Лукичу удалось бы, наконецъ, заклеймить своего сына, если-бъ онъ, увидѣвъ Мирошева, не вскочилъ съ коника.

— Ахъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! - сказалъ Курочкинъ-отецъ, положивъ преспокойно въ свой карманъ чужія пять копѣекъ.—Извините!... Какой вышелъ случай!... Изволите видѣть, вотъ онъ... Это, батюшка, мой сынъ... Прошу любить и жаловать!...

— Вы, кажется, больно ушиблись? — спросилъ Мирошевъ.

— Не извольте безпокоиться! — отвѣчалъ женихъ,—обдергивая мундиръ. Пустяки-съ,—шишка и больше ничего!

— Однакожъ, вы шибко ударились.

Женихъ умеръ со смѣху.

— Не правда ли?—сказалъ онъ, продолжая хохотать.— Да это нашему брату ни почемъ! У насъ и не такіе желваки бывали. Была бы только голова на плечахъ.

— Вы, кажется, въ отставкѣ? — спросилъ Мирошевъ Курочкина-сына.

— Да-съ, вольный козакъ!... Ха, ха, ха!

— И долго у насъ поживете?

— Какъ же!... Хи, хи, хи!

Панкратій Лукичъ толкнулъ локтемъ сына.

— Да милости прошу къ женѣ! — сказалъ Кузьма Петровичъ.

Оба Курочкина пошли за хозяиномъ, и между ними начался шопотомъ слѣдующій разговоръ:

— Перестанешь ли ты хохотать, дубина!

— Забылъ!

— Забылъ!... Эко чучело!

— Да полно, батюшка, ругаться!... Услышатъ!

Когда они вошли въ гостиную, Панкратій Лукичъ отвѣсилъ пренизкій поклонъ Марьѣ Дмитріевнѣ и мигнулъ сыну; сынъ приготовилъ правую ладонь, какъ нищій, который сбирается просить милостыню, двинулся форсированнымъ маршемъ къ хозяйкѣ, уронилъ мимоходомъ работный столикъ съ пяльцами и подошелъ къ рукѣ. Въ ту самую минуту, какъ Марья Дмитріевна, по русскому обычаю, наклонилась, чтобъ поцѣловать его въ щеку, Алексѣй Панкратьичъ поднялъ голову и, къ счастію, не разбилъ ей носъ, а только замаралъ лицо пудрою.

— Прошу покорно садиться! — сказалъ хозяинъ, едва удерживаясь отъ смѣха.

Курочкины сѣли.

— Вы, кажется, служили въ одномъ полку съ племянникомъ сосѣда нашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина?— спросилъ Мирошевъ, чтобъ начать разговоръ.

— Да-съ! Точно такъ-съ!—отвѣчалъ женихъ.—Мы съ нимъ однокорытники. Расторопный офицеръ!

— Онъ, кажется, произведенъ въ подпоручики?

— Не могу знать. Хорошій товарищъ, весельчакъ; только, смѣю вамъ доложить, такой сорви-голова, что и сказать нельзя! Какъ онъ былъ еще капраломъ, такъ его частехонько подъ ружья ставили. И со мной выкидывалъ порядочныя штучки.

— Право?

— Да вотъ я вамъ доложу. Прошлаго лѣта находились мы съ нимъ въ откомандировкѣ; я былъ старшимъ, а онъ младшимъ. Вѣдь вы изволите знать, въ службѣ палку поставятъ командиромъ, такъ и палки слушайся. Вотъ я, по долгу службы, потребовалъ, чтобы онъ мнѣ рапортовалъ. Чтожъ вы думаете?... Онъ подошелъ ко мнѣ и началъ какъ слѣдуетъ: «Честь имѣю рапортовать»... да и пошелъ меня позорить не на животъ, а на смерть,—совсѣмъ обругалъ! А самъ стоитъ безъ шляпы, на вытяжку: никакъ нельзя придраться.

Мирошевъ засмѣялся, Марья Дмитріевна также, а самъ разсказчикъ при сей вѣрной оказіи покатился со смѣху; это бы еще ничего, но онъ такъ навалился на спинку креселъ, что опрокинулся вмѣстѣ съ ними на полъ и переломилъ у нихъ ручку.

— Что ты это, Алексѣй?—закричалъ Панкратій Лукичъ. — Что это нынче съ тобой дѣлается?... Извини-те, батюшка, Кузьма Петровичъ!

— Ничего, ничего! — сказалъ Мирошевъ, помогая гостю подняться на ноги.

— Увести его скорѣе отсюда, — шепнула Марья Дмитріевна мужу,—а не то онъ все у насъ переломаетъ. Не угодно ли вамъ, Алексѣй Панкратьичъ, — продолжала она, обращаясь къ жениху, который оправлялся,—взглянуть на нашъ садикъ?

— Съ моимъ удовольстіемъ! Я чрезвычайно люблю сады-съ, особливо плодовитые,—очень занимательно: и гуляй себѣ до-сыта, и ѣшь до-отвалу!

Мирошевъ остался одинъ съ Панкратіемъ Лукичемъ. Въ этомъ только мірѣ, на этой только землѣ, гдѣ развратъ, нечестіе и злоба идутъ рука объ руку со всѣми христіанскими добродѣтелями, могутъ встрѣтиться и бесѣдовать между собою два существа, изъ которыхъ одно—воплощенная честь, а другое—олицетворенное плутовство. Никогда еще у Панкратія Лукича не вертѣлись и не бѣгали такъ глаза, какъ въ эту минуту; онъ чувствовалъ, что они никакъ не выдержатъ встрѣчи съ чистымъ и покойнымъ взоромъ честнаго человѣка. Какъ всѣ мы не можемъ безъ боли смотрѣть прямо на солнце, такъ точно всякій бездѣльникъ не можетъ встрѣтить взглядъ честнаго человѣка безъ какого то непріятнаго чувства, которое несноснѣе всякой физической боли. Я понимаю ненависть совершеннаго негодяя къ истинному христіанину, то есть къ человѣку доброму и честному въ высочайшей степени: онъ не можетъ смотрѣть ему прямо въ глаза. Почему-жъ не можетъ?—спросите вы. Потому, что въ свѣтломъ и кроткомъ взорѣ христіанина начертанъ его приговоръ; въ этомъ взорѣ сіяетъ миръ и благодать Божія, а въ его груди кипятъ страсти и *нѣтъ душѣ его покоя*.

Съ полминуты продолжалось молчаніе; наконецъ, Курочкинъ собрался съ духомъ, глаза его перестали бѣгать изъ стороны въ сторону; онъ приподнялся съ креселъ, началъ ухмыляться и сказалъ:

— Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, долженъ вторично просить у васъ прощенья, что по какой то ошибкѣ, вчерашняго числа загнали съ нашихъ полей вашу скотинку. Повѣрите ли, когда я узналъ объ этомъ, такъ меня словно варомъ окатили, — насилу опомнился! Ужь задалъ же я гонку старостѣ!... Господи, Боже мой, загнать скотину Кузьмы Петровича Мирошева, этого почтеннѣйшаго сосѣда нашего!... Разбойникъ!...

— Я вамъ очень благодаренъ, — отвѣчалъ Мирошевъ; — да напрасно вы и у другихъ такъ часто загоняете, а особливо съ болота: дѣло сосѣдское, не убережешься.

— Нельзя, благодѣтель: и радъ бы радостію, да какъ дашь повадку, такъ вовсе одолѣютъ. Находясь здѣсь на приказѣ, я состою въ отвѣтственности передъ его графскимъ сіятельствомъ. Охъ, батюшка!... Конечно, мѣсто мое видное: его высокографское сіятельство первый вельможа во всемъ Русскомъ Царствѣ, а я у него первый человѣкъ, —мнѣ иногда и губернаторъ поклонится, — такъ; да за то и отвѣтъ великъ!

— Кажется, Панкратій Лукичъ, вы о графскихъ пользахъ радѣете довольно. Вотъ недавно у князя Лядина вы оттягали пятьсотъ десятинъ земли...

— Не считая луговъ по Хопру,—прервалъ Курочкинъ, и глаза его засверкали.—Да ништо ему,—спесивъ; а гордымъ Богъ противится... Э, да кстати! Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, перебирая, на этихъ дняхъ, разные крѣпостные акты, отказныя записи и межевыя книги по селу Вознесенскому, напалъ какъ то нечаянно на одинъ документецъ, который отчасти касается и до вашей отчины.

— До Хопровки?

— Точно такъ, милостивецъ! Вотъ, изволите видѣть: это подлинная дарственная грамота Царя Михаила Ѳеодоровича стольнику князю Григорію Хворостинину, въ которой онъ жалуетъ рѣченному князю въ вѣчное и потомственное владѣніе отчину, село Вознесенское съ деревнями, со всѣми угодьями, живыми урочищами и отъемными дачами, въ числѣ коихъ поименована пустошь Зеленыя Горки, Хопровка то-жъ; изъ чего явствуетъ, что вначалѣ помѣстье ваше было пустошью, а заселено, вѣроятно, уже по переходѣ ея къ другимъ владѣльцамъ.

— Можетъ быть.

— Въ оной же дарственной грамотѣ показано въ сей пустоши земли невступно пятьдесятъ четвертей, что, по общему размежеванію помѣстныхъ земель, составитъ и съ примѣромъ едва ли сто сороковыхъ десятинъ; а у васъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, кажется, десятинокъ до осьмисотъ наберется.

— Такъ чтожъ?

— А то, благодѣтель, что души нарождаются, а земля-то вѣдь не растетъ.

— Но развѣ прежніе владѣльцы не могли прикупить земли отъ сосѣдей?

— Справедливо, батюшка, Кузьма Петровичъ, справедливо! Да, сколько мнѣ извѣстно, у васъ на сіи покупныя земли ни купчихъ, ни плана не имѣется.

— Это правда: я слышалъ отъ покойнаго Лаврентія, что они лѣтъ сорокъ тому назадъ сгорѣли вмѣстѣ съ прежнимъ домомъ. Впрочемъ, я думаю, и у васъ также никакихъ документовъ нѣтъ, которыми можно было бы доказать, что это земля не моя.

— Документовъ нѣтъ, но если бы я хотѣлъ завести съ вами тяжебку,—отъ чего избави меня, Господи!—такъ я бы въ моей челобитной могъ приписать нижеслѣдующее: «Въ селѣ, дескать, Вознесенскомъ, въ отчинѣ его высокографскаго сіятельства, господина... и прочее, и прочее имѣется наличныхъ душъ, по послѣдней ревизіи, четыреста тридцать семь душъ мужеска пола, и хотя отъ поступленія онаго села изъ короннаго вѣдомства въ вотчинное владѣніе различныхъ помѣщиковъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, никогда изъ принадлежащихъ оному селу дачъ никакихъ земель продаваемо не было; но, несмотря на сіе обстоятельство, при селѣ Вознесенскомъ имѣется земли: удобной и неудобной, пахатной, поемной, подъ лѣсомъ, усадьбою, огородами, коноплянниками, гумнами и выгономъ, всего вообще не болѣе двухъ тысячъ восьмисотъ десятинъ, то есть гораздо менѣе полагаемой закономъ пропорціи, по десяти десятинъ на каждую ревизскую душу мужского пола. По какому же резонту при смежномъ съ вышесказаннымъ селомъ Вознесенскимъ, сельцѣ Хопровкѣ, прежде бывшей пустоши Зеленыя Горки, гдѣ и теперь, по послѣдней ревизіи, не болѣе пятидесяти душъ, а вѣроятно было несравненно менѣе, имѣется восемьсотъ десятинъ земли, сирѣчь, по шестнадцати десятинъ на каждую душу? Не явствуетъ ли изъ сего, что вся сія излишняя земля прирѣзана изъ Вознесенскихъ дачъ къ сельцу Хопровкѣ неправильно и противозаконно, или находится въ насильственномъ завладѣніи у настоящаго помѣщика рѣченнаго сельца Хопровки, прежде бывшей пустоши Зеленыя Горки»?

— Помилуйте, Панкратій Лукичъ!—сказалъ Мирошевъ, у котораго отъ этихъ приказныхъ выраженій сердце замерло отъ ужаса.—Да этимъ имѣньемъ слишкомъ тридцать лѣтъ владѣла спокойно моя родная тетка, прежній вознесен-

скій помѣщикъ ничего не отыскивалъ, жалобъ никакихъ не было...

— И теперь не будетъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! Я это сказалъ такъ,— ради собственной вашей осторожности... Чтобъ я завелъ съ вами тяжбу,— Боже меня сохрани! Нѣтъ, благодѣтель, я постараюсь оградить васъ и отъ будущихъ притязаній. Вѣдь неравенъ сосѣдъ навяжется, батюшка! Иной такой ябедникъ, что вы и отъ своей земли отступитесь, лишь только бы онъ васъ по судамъ не волочилъ.

— Избави, Господи!—сказалъ Мирошевъ, сложивъ набожно руки.—Да я пуще всего на свѣтѣ боюсь тяжебныхъ дѣлъ.

— Да какъ ихъ и не бояться, Кузьма Петровичъ,— бѣда! Попадись только въ руки къ подъячимъ, къ этимъ проклятымъ піявицамъ, всю кровь изъ васъ выпьютъ по капелькѣ. Подлинно, крапивное сѣмя: ни стыда, ни совѣсти! И колесо подмажешь, такъ оно не скрѣпитъ, а подъячему сунешь цѣлковый въ правую руку, а онъ лѣвую норовитъ запустить тебѣ въ карманъ. Вѣрите-ль Богу, Кузьма Петровичъ, не могу понять, какъ есть на свѣтѣ ябедники?... Да ужь изъ одного того, чтобъ не знаться съ этою чернильною тварью, я не завелъ бы ни съ кѣмъ процесса... А дѣлать нечего! Какъ довѣренное лицо его высокографскаго сіятельства, я долженъ защищать его интересъ; и плачу, а челобитную подаю!... Совѣсть, батюшка, Кузьма Петровичъ, совѣсть этого требуетъ!

Мирошевъ былъ человѣкъ не глупый; но его умъ вовсе не походилъ на то, что условились въ свѣтѣ называть умомъ. Во всю жизнь свою онъ не сказалъ ни одного остраго слова, не забавлялся легковѣріемъ дурака, ни надъ кѣмъ не смѣялся, и всегда послѣдній замѣчалъ плутни какого-нибудь обманщика, не потому, чтобъ у него не доставало для этого довольно ума и проницательности,—о, нѣтъ! Но чистая, благородная душа его не могла никогда постигнуть, что есть на свѣтѣ люди, для которыхъ обмануть, провести, обидѣть точно такъ же пріятно, какъ пріятно для него сдѣлать доброе дѣло или оказать безкорыстную услугу. Слушая Панкратія Лукича, онъ готовъ былъ вѣрить его словамъ. «Почему знать, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ Курочкинъ притѣсняетъ сосѣдей безъ всякаго злого намѣренія, а единственно изъ слѣпого усердія къ своему

господину? Это, конечно, не хорошо, но вѣдь все зависитъ отъ нашего понятія; а если онъ убѣжденъ въ душѣ своей, что долженъ такъ поступать?... Да и станетъ ли какой-нибудь закоренѣлый крючкотворецъ говорить такъ дурно о подъячихъ и ябедникахъ? Кто-жъ захочетъ позорить самого себя»?... Такъ думалъ Мирошевъ, этотъ простодушный ребенокъ съ сѣдыми волосами. Однакожъ, онъ чувствовалъ, что ему какъ то неловко съ Курочкинымъ; вѣроятно, потому, что, несмотря на громкое званіе волостного приказчика знаменитаго вельможи, Панкратій Лукичъ все-таки былъ крѣпостнымъ человѣкомъ, и Мирошевъ не зналъ самъ, какъ долженъ съ нимъ обходиться. Онъ не хотѣлъ оскорбить его или слишкомъ нецеремоннымъ обращеніемъ, или излишнею вѣжливостію, которая могла бы ему показаться насмѣшкою; однимъ словомъ, бесѣдуя глазъ на глазъ съ Курочкинымъ, Кузьма Петровичъ находился въ какомъ то ложномъ и чрезвычайно непріятномъ положеніи. Мирошевъ не зналъ еще, до какой степени можетъ простираться наглая самонадѣянность и дерзость слуги большого барина, когда онъ имѣетъ дѣло съ малочиновнымъ и бѣднымъ дворяниномъ. Если-бъ хозяинъ встрѣтилъ его у воротъ своего дома, то и тогда бы Панкратій Лукичъ не принялъ эту чрезвычайную вѣжливость за насмѣшку, а только, можетъ быть, подумалъ бы про себя: «вѣрно, у него есть до меня какое-нибудь дѣло».

— Не хотите ли, Панкратій Лукичъ,—сказалъ Мирошевъ,—пройтись также по саду?

— Съ большимъ удовольствіемъ! — отвѣчалъ Курочкинъ, вставая.—Очень радъ, батюшка: время такое благопріятное.

Они вышли прямо изъ гостиной на небольшое крылечко, которымъ спустились въ цвѣтникъ.

— Жена, вѣрно, въ этой вишневой куртинѣ,— сказалъ Мирошевъ.—Тамъ слышны голоса; пойдемте къ нимъ.

Мирошевъ не ошибся: они нашли въ этой куртинѣ всѣхъ гуляющихъ. Марья Дмитріевна отдыхала на дерновой скамьѣ, а Варенька и Дуняша отъ всей души смѣялись, глядя на любезности Голіаѳа Курочкина. Ради общей потѣхи, онъ доставалъ зубами вишни, до которыхъ онѣ не могли достать руками, и потомъ, для вящшаго удовольствія всей честной компаніи, глотать ихъ вмѣстѣ съ косточками.

— Ну, Марья Дмитріевна,—сказалъ Панкратій Лукичъ,— видно, Господь благословилъ васъ въ нынѣшнемъ году: вишенъ то у васъ, вишенъ: такъ и усыпано! Что, вы изволите ихъ на зиму солить или мочить?

— Нѣтъ, Панкратій Лукичъ, мало остается: и сами ѣдимъ, и гости кушаютъ. Да не хотите ли!

— Покорнѣйше благодарю! Я люблю иногда этимъ позабавиться, да только послѣ обѣда

— Вы, надѣюсь, у насъ кушаете?

— Никакъ не могу сегодня: у меня обѣдаетъ нашъ капитанъ-исправникъ, Антонъ Ѳаддеичъ Покрапушкинъ. Алеша, —продолжалъ Курочкинъ, увидѣвъ, что Варенька не могла никакъ достать вѣтку съ вишнями на одномъ красивомъ деревцѣ,—чтожъ ты смотришь? Видишь, Варвара Кузьминична не можетъ достать?...

Алеша кинулся со всѣхъ ногъ, ухватилъ несчастное деревцо почти за самую вершину, понатужился, крякнулъ, дерево также крякнуло и повалилось на землю

— Ахъ, какая жалость!—вскричала невольно Варенька.— Я это деревцо сама посадила!

— Ну, что за бѣда,—прервала Марья Дмитріевна.—Посадишь другое.

— Эхъ, Алеша,—сказалъ Курочкинъ, подойдя къ сыну,— какъ ты неостороженъ!... Да что ты сегодня какъ медвѣдь все ломаешь!—прибавилъ онъ шопотомъ.

— Вѣдь ты самъ мнѣ велѣлъ!—пробормоталъ сынокъ.

— Велѣлъ!... Заставь дурака Богу молиться...

— Не журите его!—сказалъ Мирошевъ.—Вѣдь онъ хотѣлъ услужить Варенькѣ.

— Разумѣется, батюшка, Кузьма Петровичъ, разумѣется!.. Онъ у меня малый такой услужливый!... Да торопливъ немного,—молодъ!... Однакожъ, не пора ли гостямъ со двора? И вамъ время кушать, а мнѣ надобно поспѣшать домой. Счастливо оставаться!

Разумѣется, Мирошевы не стали удерживать гостей. Алексѣй Панкратьичъ подошелъ опять къ рукѣ; но на этотъ разъ не къ одной Марьѣ Дмитріевнѣ, а также къ Варенькѣ и Дуняшѣ. Эта экспедиція кончилась довольно счастливо; но, уходя изъ саду черезъ гостиную, онъ раздавилъ мимоходомъ горшокъ съ гвоздикою, выбилъ шпагою стекло въ дверяхъ и, наконецъ, не произведя никакихъ дальнѣйшихъ опустошеній, отправился въ обратный путь вмѣстѣ

короткихъ ножкахъ. Большая, съ обширною лысиною голова, казалось была приклеена къ его плечамъ. Панкратій Лукичъ могъ бы смѣло грабить на большихъ дорогахъ въ Англіи. Всѣмъ извѣстно, что тамъ законъ исполняется буквально: онъ повелѣваетъ уличеннаго въ разбоѣ преступника вѣшать *за шею;* слѣдовательно, Курочкина рѣшительно нельзя было бы повѣсить: у него вовсе не было шеи. Если-бъ можно было олицетворить подлую и крючковатую хитрость стариннаго русскаго приказнаго, смѣшанную съ безстыднымъ нахальствомъ лакея большого барина, то, конечно, для этого понадобилось бы лицо Панкратія Лукича. Зеленовато-сѣрые глаза его были въ безпрерывномъ движеніи; казалось, онъ боялся остановить ихъ на одномъ предметѣ и дать время прочесть въ нихъ всѣ плутовскія затѣи своей чернильной душонки, преисполненной подъяческими кознями. Его огромный носъ опускался широкимъ навѣсомъ надъ вѣчно-улыбающимися устами и круглымъ подбородкомъ, который, за отсутствіемъ шеи, былъ обернутъ миткалевою бѣлою косынкою. На Панкратіи Лукичѣ былъ суконный, бутылочнаго цвѣта, нѣмецкій кафтанъ, гродетуровый пюсовый камзолъ, такое же исподнее платье, и полосатые шелковые чулки. Въ одной рукѣ держалъ онъ *натуральную* трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, въ другой трехъ-угольную шляпу, весьма искусно зашитую черными нитками. Изъ подъ камзола висѣли двѣ семилеровыя цѣпочки съ разными побрякушками: одна отъ серебряныхъ часовъ шарообразной формы; а другая—такъ, вѣроятно, для симметріи.

Теперь поставьте рядомъ съ нимъ виднаго тамбуръ-мажора, котораго, шутки ради, нарядили въ офицерскій мундиръ. Этотъ сынокъ ровно на двѣ четверти былъ выше своего папеньки, то есть въ немъ было два аршина и двѣнадцать вершковъ росту. Прибавьте къ этому широкія плечи, высокую грудь, прямой, вытянутый станъ и жилистыя ноги, которыя какъ будто бы вовсе разучились сгибаться; однимъ словомъ, если у васъ нѣтъ подъ руками надежнаго столба, а вашъ домъ готовъ повалиться, подпирайте его смѣло Алексѣемъ Панкратьичемъ и почивайте спокойно. Румяное лицо его, по своему добродушному выраженію, было бы довольно пріятно, когда бы у него, вмѣсто бездушныхъ оловянныхъ глазъ, были глаза, хотя нѣсколько человѣческіе. Онъ такъ же часто и такъ же не-

кстати хохоталъ, какъ часто и безъ всякой причины улыбался его батюшка. Вы скажете ему привѣтливое слово, онъ захохочетъ; спросите о здоровьѣ—онъ умретъ со смѣху. Однажды было отецъ вздумалъ порядкомъ пожурить за это сынка, да послѣ и закаялся.

— Эхъ, Алеша!—сказалъ онъ,—что у тебя за обычай такой? Выпучишь глаза, да, ни къ селу, ни къ городу, захохочешь словно сычъ какой? Вѣдь иной подумаетъ, что ты глупъ, какъ пень!

Эти два вѣжливыя сравненія показались сынку такъ забавными, что онъ повалился со смѣху на полъ и чуть не задохся: насилу его отлили водою.

Входя на крыльцо, Панкратій Лукичъ безпрестанно шепталъ сыну:

— Смотри, Алеша, не забудь: подойди къ ручкѣ, да не хохочи, пожалуйста! Ухмыляйся только ради пріятства, —ну, вотъ такъ же, какъ я.

— Знаю, батюшка, знаю!—отвѣчалъ сынокъ, выправляя свою шпагу и прижимая къ вискамъ форменныя букли, которыя начинали топыриться и принимать понемногу видъ распростертыхъ крыльевъ.

Мирошевы были уже нѣсколько минутъ въ гостиной; Варенька и Дуняша гуляли еще по саду.

— Чтожъ наши гости такъ долго нейдутъ?—спросила Марья Дмитріевна мужа.

— И, матушка: женихъ, — такъ охорашивается, чтобъ приглянуться невѣстѣ.

Вдругъ что то такъ сильно стукнуло, что стѣны затряслись въ домѣ, и въ то же время Прохоръ Кондратьичъ закричалъ въ передней:

— Батюшки, убился!

— Ничего!—заревѣлъ кто то басомъ.

— Скорѣй, скорѣй, мѣдный пятакъ! — раздался незнакомый голосъ.

— Боже мой, что это такое? — вскричала Марья Дмитріевна.

— Это какъ будто бы кто-нибудь ударилъ дубиною въ стѣну,—сказалъ Мирошевъ, выходя изъ гостиной.

Кузьма Петровичъ почти отгадалъ. Входя изъ сѣней въ переднюю, трехъ-аршинный женихъ не обратилъ вниманія на то, что двери очень низки, и со всего размаха хватился лбомъ о притолку. Когда Мирошевъ вошелъ въ лакейскую,

то ему представилась чрезвычайно интересная и трогательная картина: изувѣченный сынъ сидѣлъ на *коникѣ;* съ одной стороны заботливый отецъ, приложивъ къ его лбу мѣдный пятакъ, старался изъ всѣхъ силъ оттиснуть россійскій гербъ на огромной шишкѣ, которая, несмотря на всѣ его усилія, становилась все больше и больше; съ другой стороны Прохоръ Кондратьичъ держалъ обѣими руками голову страдальца; въ двухъ шагахъ стояли буфетчикъ Ѳомка и мамушка Игнатьевна, которой въ эту минуту толстая Матрена подавала бутылку *живой воды*, и двѣ босоногія дѣвчонки робко выглядывали изъ коридора. Вѣроятно, Панкратію Лукичу удалось бы, наконецъ, заклеймить своего сына, если-бъ онъ, увидѣвъ Мирошева, не вскочилъ съ коника.

— Ахъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! - сказалъ Курочкинъ-отецъ, положивъ преспокойно въ свой карманъ чужія пять копѣекъ.—Извините!... Какой вышелъ случай!... Изволите видѣть, вотъ онъ... Это, батюшка, мой сынъ... Прошу любить и жаловать!...

— Вы, кажется, больно ушиблись? — спросилъ Мирошевъ.

— Не извольте безпокоиться! — отвѣчалъ женихъ,—обдергивая мундиръ. Пустяки-съ,—шишка и больше ничего!

— Однакожъ, вы шибко ударились.

Женихъ умеръ со смѣху.

— Не правда ли?—сказалъ онъ, продолжая хохотать.— Да это нашему брату ни почемъ! У насъ и не такіе желваки бывали. Была бы только голова на плечахъ.

— Вы, кажется, въ отставкѣ? — спросилъ Мирошевъ Курочкина-сына.

— Да-съ, вольный козакъ!... Ха, ха, ха!

— И долго у насъ поживете?

— Какъ же!... Хи, хи, хи!

Панкратій Лукичъ толкнулъ локтемъ сына.

— Да милости прошу къ женѣ! — сказалъ Кузьма Петровичъ.

Оба Курочкина пошли за хозяиномъ, и между ними начался шопотомъ слѣдующій разговоръ:

— Перестанешь ли ты хохотать, дубина!

— Забылъ!

— Забылъ!... Эко чучело!

— Да полно, батюшка, ругаться!... Услышатъ!

Когда они вошли въ гостиную, Панкратій Лукичъ отвѣсилъ пренизкій поклонъ Марьѣ Дмитріевнѣ и мигнулъ сыну; сынъ приготовилъ правую ладонь, какъ нищій, который сбирается просить милостыню, двинулся форсированнымъ маршемъ къ хозяйкѣ, уронилъ мимоходомъ работный столикъ съ пяльцами и подошелъ къ рукѣ. Въ ту самую минуту, какъ Марья Дмитріевна, по русскому обычаю, наклонилась, чтобъ поцѣловать его въ щеку, Алексѣй Панкратьичъ поднялъ голову и, къ счастію, не разбилъ ей носъ, а только замаралъ лицо пудрою.

— Прошу покорно садиться! — сказалъ хозяинъ, едва удерживаясь отъ смѣха.

Курочкины сѣли.

— Вы, кажется, служили въ одномъ полку съ племянникомъ сосѣда нашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина?— спросилъ Мирошевъ, чтобъ начать разговоръ.

— Да-съ! Точно такъ-съ!—отвѣчалъ женихъ.—Мы съ нимъ однокорытники. Расторопный офицеръ!

— Онъ, кажется, произведенъ въ подпоручики?

— Не могу знать. Хорошій товарищъ, весельчакъ; только, смѣю вамъ доложить, такой сорви-голова, что и сказать нельзя! Какъ онъ былъ еще капраломъ, такъ его частехонько подъ ружья ставили. И со мной выкидывалъ порядочныя штучки.

— Право?

— Да вотъ я вамъ доложу. Прошлаго лѣта находились мы съ нимъ въ откомандировкѣ; я былъ старшимъ, а онъ младшимъ. Вѣдь вы изволите знать, въ службѣ палку поставятъ командиромъ, такъ и палки слушайся. Вотъ я, по долгу службы, потребовалъ, чтобы онъ мнѣ рапортовалъ. Чтожъ вы думаете?... Онъ подошелъ ко мнѣ и началъ какъ слѣдуетъ: «Честь имѣю рапортовать»... да и пошелъ меня позорить не на животъ, а на смерть,—совсѣмъ обругалъ! А самъ стоитъ безъ шляпы, на вытяжку: никакъ нельзя придраться.

Мирошевъ засмѣялся, Марья Дмитріевна также, а самъ разсказчикъ при сей вѣрной оказіи покатился со смѣху; это бы еще ничего, но онъ такъ навалился на спинку креселъ, что опрокинулся вмѣстѣ съ ними на полъ и переломилъ у нихъ ручку.

— Что ты это, Алексѣй? — закричалъ Панкратій Лукичъ. — Что это нынче съ тобой дѣлается?... Извините, батюшка, Кузьма Петровичъ!

— Ничего, ничего! — сказалъ Мирошевъ, помогая гостю подняться на ноги.

— Увести его скорѣе отсюда, — шепнула Марья Дмитріевна мужу,—а не то онъ все у насъ переломаетъ. Не угодно ли вамъ, Алексѣй Панкратьичъ, — продолжала она, обращаясь къ жениху, который оправлялся,—взглянуть на нашъ садикъ?

— Съ моимъ удовольстіемъ! Я чрезвычайно люблю сады-съ, особливо плодовитые,—очень занимательно: и гуляй себѣ до-сыта, и ѣшь до-отвалу!

Мирошевъ остался одинъ съ Панкратіемъ Лукичемъ. Въ этомъ только мірѣ, на этой только землѣ, гдѣ развратъ, нечестіе и злоба идутъ рука объ руку со всѣми христіанскими добродѣтелями, могутъ встрѣтиться и бесѣдовать между собою два существа, изъ которыхъ одно — воплощенная честь, а другое—олицетворенное плутовство. Никогда еще у Панкратія Лукича не вертѣлись и не бѣгали такъ глаза, какъ въ эту минуту; онъ чувствовалъ, что они никакъ не выдержатъ встрѣчи съ чистымъ и покойнымъ взоромъ честнаго человѣка. Какъ всѣ мы не можемъ безъ боли смотрѣть прямо на солнце, такъ точно всякій бездѣльникъ не можетъ встрѣтить взглядъ честнаго человѣка безъ какого то непріятнаго чувства, которое несноснѣе всякой физической боли. Я понимаю ненависть совершеннаго негодяя къ истинному христіанину, то есть къ человѣку доброму и честному въ высочайшей степени: онъ не можетъ смотрѣть ему прямо въ глаза. Почему-жъ не можетъ?—спросите вы. Потому, что въ свѣтломъ и кроткомъ взорѣ христіанина начертанъ его приговоръ; въ этомъ взорѣ сіяетъ миръ и благодать Божія, а въ его груди кипятъ страсти и *нѣтъ душѣ его покоя.*

Съ полминуты продолжалось молчаніе; наконецъ, Курочкинъ собрался съ духомъ, глаза его перестали бѣгать изъ стороны въ сторону; онъ приподнялся съ креселъ, началъ ухмыляться и сказалъ:

— Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, долженъ вторично просить у васъ прощенья, что по какой то ошибкѣ, вчерашняго числа загнали съ нашихъ полей вашу скотинку. Повѣрите ли, когда я узналъ объ этомъ, такъ меня словно варомъ окатили, — насилу опомнился! Ужь задалъ же я гонку старостѣ!... Господи, Боже мой, загнать скотину Кузьмы Петровича Мирошева, этого почтеннѣйшаго сосѣда нашего!... Разбойникъ!...

— Я вамъ очень благодаренъ, — отвѣчалъ Мирошевъ; — да напрасно вы и у другихъ такъ часто загоняете, а особливо съ болота: дѣло сосѣдское, не убережешься.

— Нельзя, благодѣтель: и радъ бы радостію, да какъ дашь повадку, такъ вовсе одолѣютъ. Находясь здѣсь на приказѣ, я состою въ отвѣтственности передъ его графскимъ сіятельствомъ. Охъ, батюшка!... Конечно, мѣсто мое видное: его высокографское сіятельство первый вельможа во всемъ Русскомъ Царствѣ, а я у него первый человѣкъ, —мнѣ иногда и губернаторъ поклонится, — такъ; да за то и отвѣтъ великъ!

— Кажется, Панкратій Лукичъ, вы о графскихъ пользахъ радѣете довольно. Вотъ недавно у князя Лядина вы оттягали пятьсотъ десятинъ земли...

— Не считая луговъ по Хопру,—прервалъ Курочкинъ, и глаза его засверкали.—Да ништо ему,—спесивъ; а гордымъ Богъ противится... Э, да кстати! Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, перебирая, на этихъ дняхъ, разные крѣпостные акты, отказныя записи и межевыя книги по селу Вознесенскому, напалъ какъ то нечаянно на одинъ документецъ, который отчасти касается и до вашей отчины.

— До Хопровки?

— Точно такъ, милостивецъ! Вотъ, изволите видѣть: это подлинная дарственная грамота Царя Михаила Ѳеодоровича стольнику князю Григорію Хворостинину, въ которой онъ жалуетъ рѣченному князю въ вѣчное и потомственное владѣніе отчину, село Вознесенское съ деревнями, со всѣми угодьями, живыми урочищами и отъемными дачами, въ числѣ коихъ поименована пустошь Зеленыя Горки, Хопровка то-жъ; изъ чего явствуетъ, что вначалѣ помѣстье ваше было пустошью, а заселено, вѣроятно, уже по переходѣ ея къ другимъ владѣльцамъ.

— Можетъ быть.

— Въ оной же дарственной грамотѣ показано въ сей пустоши земли невступно пятьдесятъ четвертей, что, по общему размежеванію помѣстныхъ земель, составитъ и съ примѣромъ едва ли сто сороковыхъ десятинъ; а у васъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, кажется, десятинокъ до осьмисотъ наберется.

— Такъ чтожъ?

— А то, благодѣтель, что души нарождаются, а земля-то вѣдь не растетъ.

— Но развѣ прежніе владѣльцы не могли прикупить земли отъ сосѣдей?

— Справедливо, батюшка, Кузьма Петровичъ, справедливо! Да, сколько мнѣ извѣстно, у васъ на сіи покупныя земли ни купчихъ, ни плана не имѣется.

— Это правда: я слышалъ отъ покойнаго Лаврентія, что они лѣтъ сорокъ тому назадъ сгорѣли вмѣстѣ съ прежнимъ домомъ. Впрочемъ, я думаю, и у васъ также никакихъ документовъ нѣтъ, которыми можно было бы доказать, что это земля не моя.

— Документовъ нѣтъ, но если бы я хотѣлъ завести съ вами тяжебку,—отъ чего избави меня, Господи!—такъ я бы въ моей челобитной могъ приписать нижеслѣдующее: «Въ селѣ, дескать, Вознесенскомъ, въ отчинѣ его высокографскаго сіятельства, господина... и прочее, и прочее имѣется наличныхъ душъ, по послѣдней ревизіи, четыреста тридцать семь душъ мужеска пола, и хотя отъ поступленія онаго села изъ короннаго вѣдомства въ вотчинное владѣніе различныхъ помѣщиковъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, никогда изъ принадлежащихъ оному селу дачъ никакихъ земель продаваемо не было; но, несмотря на сіе обстоятельство, при селѣ Вознесенскомъ имѣется земли: удобной и неудобной, пахатной, поемной, подъ лѣсомъ, усадьбою, огородами, коноплянниками, гумнами и выгономъ, всего вообще не болѣе двухъ тысячъ восьмисотъ десятинъ, то есть гораздо менѣе полагаемой закономъ пропорціи, по десяти десятинъ на каждую ревизскую душу мужского пола. По какому же резонту при смежномъ съ вышесказаннымъ селомъ Вознесенскимъ, сельцѣ Хопровкѣ, прежде бывшей пустоши Зеленыя Горки, гдѣ и теперь, по послѣдней ревизіи, не болѣе пятидесяти душъ, а вѣроятно было несравненно менѣе, имѣется восемьсотъ десятинъ земли, сирѣчь, по шестнадцати десятинъ на каждую душу? Не явствуетъ ли изъ сего, что вся сія излишняя земля прирѣзана изъ Вознесенскихъ дачъ къ сельцу Хопровкѣ неправильно и противозаконно, или находится въ насильственномъ завладѣніи у настоящаго помѣщика рѣченнаго сельца Хопровки, прежде бывшей пустоши Зеленыя Горки»?

— Помилуйте, Панкратій Лукичъ!—сказалъ Мирошевъ, у котораго отъ этихъ приказныхъ выраженій сердце замерло отъ ужаса.—Да этимъ имѣньемъ слишкомъ тридцать лѣтъ владѣла спокойно моя родная тетка, прежній вознесен-

скій помѣщикъ ничего не отыскивалъ, жалобъ никакихъ не было...

— И теперь не будетъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! Я это сказалъ такъ,— ради собственной вашей осторожности... Чтобъ я завелъ съ вами тяжбу,— Боже меня сохрани! Нѣтъ, благодѣтель, я постараюсь оградить васъ и отъ будущихъ притязаній. Вѣдь неравенъ сосѣдъ навяжется, батюшка! Иной такой ябедникъ, что вы и отъ своей земли отступитесь, лишь только бы онъ васъ по судамъ не волочилъ.

— Избави, Господи!—сказалъ Мирошевъ, сложивъ набожно руки.—Да я пуще всего на свѣтѣ боюсь тяжебныхъ дѣлъ.

— Да какъ ихъ и не бояться, Кузьма Петровичъ,— бѣда! Попадись только въ руки къ подъячимъ, къ этимъ проклятымъ піявицамъ, всю кровь изъ васъ выпьютъ по капелькѣ. Подлинно, крапивное сѣмя: ни стыда, ни совѣсти! И колесо подмажешь, такъ оно не скрѣпитъ, а подъячему сунешь цѣлковый въ правую руку, а онъ лѣвую норовитъ запустить тебѣ въ карманъ. Вѣрите-ль Богу, Кузьма Петровичъ, не могу понять, какъ есть на свѣтѣ ябедники?... Да ужь изъ одного того, чтобъ не знаться съ этою чернильною тварью, я не завелъ бы ни съ кѣмъ процесса... А дѣлать нечего! Какъ довѣренное лицо его высокографскаго сіятельства, я долженъ защищать его интересъ; и плачу, а челобитную подаю!... Совѣсть, батюшка, Кузьма Петровичъ, совѣсть этого требуетъ!

Мирошевъ былъ человѣкъ не глупый; но его умъ вовсе не походилъ на то, что условились въ свѣтѣ называть умомъ. Во всю жизнь свою онъ не сказалъ ни одного остраго слова, не забавлялся легковѣріемъ дурака, ни надъ кѣмъ не смѣялся, и всегда послѣдній замѣчалъ плутни какого-нибудь обманщика, не потому, чтобъ у него не доставало для этого довольно ума и проницательности,—о, нѣтъ! Но чистая, благородная душа его не могла никогда постигнуть, что есть на свѣтѣ люди, для которыхъ обмануть, провести, обидѣть точно такъ же пріятно, какъ пріятно для него сдѣлать доброе дѣло или оказать безкорыстную услугу. Слушая Панкратія Лукича, онъ готовъ былъ вѣрить его словамъ. «Почему знать, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ Курочкинъ притѣсняетъ сосѣдей безъ всякаго злого намѣренія, а единственно изъ слѣпого усердія къ своему

господину? Это, конечно, не хорошо, но вѣдь все зависитъ отъ нашего понятія; а если онъ убѣжденъ въ душѣ своей, что долженъ такъ поступать?... Да и станетъ ли какой-нибудь закоренѣлый крючкотворецъ говорить такъ дурно о подъячихъ и ябедникахъ? Кто-жъ захочетъ позорить самого себя»?... Такъ думалъ Мирошевъ, этотъ простодушный ребенокъ съ сѣдыми волосами. Однакожъ, онъ чувствовалъ, что ему какъ то неловко съ Курочкинымъ; вѣроятно, потому, что, несмотря на громкое званіе волостного приказчика знаменитаго вельможи, Панкратій Лукичъ все-таки былъ крѣпостнымъ человѣкомъ, и Мирошевъ не зналъ самъ, какъ долженъ съ нимъ обходиться. Онъ не хотѣлъ оскорбить его или слишкомъ нецеремоннымъ обращеніемъ, или излишнею вѣжливостію, которая могла бы ему показаться насмѣшкою; однимъ словомъ, бесѣдуя глазъ на глазъ съ Курочкинымъ, Кузьма Петровичъ находился въ какомъ то ложномъ и чрезвычайно непріятномъ положеніи. Мирошевъ не зналъ еще, до какой степени можетъ простираться наглая самонадѣянность и дерзость слуги большого барина, когда онъ имѣетъ дѣло съ малочиновнымъ и бѣднымъ дворяниномъ. Если-бъ хозяинъ встрѣтилъ его у воротъ своего дома, то и тогда бы Панкратій Лукичъ не принялъ эту чрезвычайную вѣжливость за насмѣшку, а только, можетъ быть, подумалъ бы про себя: «вѣрно, у него есть до меня какое-нибудь дѣло».

— Не хотите ли, Панкратій Лукичъ,—сказалъ Мирошевъ,—пройтись также по саду?

— Съ большимъ удовольствіемъ! — отвѣчалъ Курочкинъ, вставая.—Очень радъ, батюшка: время такое благопріятное.

Они вышли прямо изъ гостиной на небольшое крылечко, которымъ спустились въ цвѣтникъ.

— Жена, вѣрно, въ этой вишневой куртинѣ,— сказалъ Мирошевъ.—Тамъ слышны голоса; пойдемте къ нимъ.

Мирошевъ не ошибся: они нашли въ этой куртинѣ всѣхъ гуляющихъ. Марья Дмитріевна отдыхала на дерновой скамьѣ, а Варенька и Дуняша отъ всей души смѣялись, глядя на любезности Голіаѳа Курочкина. Ради общей потѣхи, онъ доставалъ зубами вишни, до которыхъ онѣ не могли достать руками, и потомъ, для вящшаго удовольствія всей честной компаніи, глотать ихъ вмѣстѣ съ косточками.

— Ну, Марья Дмитріевна,—сказалъ Панкратій Лукичъ,—видно, Господь благословилъ васъ въ нынѣшнемъ году: вишенъ то у васъ, вишенъ: такъ и усыпано! Что, вы изволите ихъ на зиму солить или мочить?

— Нѣтъ, Панкратій Лукичъ, мало остается: и сами ѣдимъ, и гости кушаютъ. Да не хотите ли!

— Покорнѣйше благодарю! Я люблю иногда этимъ позабавиться, да только послѣ обѣда

— Вы, надѣюсь, у насъ кушаете?

— Никакъ не могу сегодня: у меня обѣдаетъ нашъ капитанъ-исправникъ, Антонъ Ѳаддеичъ Покрапушкинъ. Алеша,—продолжалъ Курочкинъ, увидѣвъ, что Варенька не могла никакъ достать вѣтку съ вишнями на одномъ красивомъ деревцѣ,—чтожъ ты смотришь? Видишь, Варвара Кузьминична не можетъ достать?...

Алеша кинулся со всѣхъ ногъ, ухватилъ несчастное деревцо почти за самую вершину, понатужился, крякнулъ, дерево также крякнуло и повалилось на землю

— Ахъ, какая жалость!—вскричала невольно Варенька.—Я это деревцо сама посадила!

— Ну, что за бѣда,—прервала Марья Дмитріевна.—Посадишь другое.

— Эхъ, Алеша,—сказалъ Курочкинъ, подойдя къ сыну,—какъ ты неостороженъ!... Да что ты сегодня какъ медвѣдь все ломаешь!—прибавилъ онъ шопотомъ.

— Вѣдь ты самъ мнѣ велѣлъ!—пробормоталъ сынокъ.

— Велѣлъ!... Заставь дурака Богу молиться...

— Не журите его!—сказалъ Мирошевъ.—Вѣдь онъ хотѣлъ услужить Варенькѣ.

— Разумѣется, батюшка, Кузьма Петровичъ, разумѣется!.. Онъ у меня малый такой услужливый!... Да торопливъ немного,—молодъ!... Однакожъ, не пора ли гостямъ со двора? И вамъ время кушать, а мнѣ надобно поспѣшать домой. Счастливо оставаться!

Разумѣется, Мирошевы не стали удерживать гостей. Алексѣй Панкратьичъ подошелъ опять къ рукѣ; но на этотъ разъ не къ одной Марьѣ Дмитріевнѣ, а также къ Варенькѣ и Дуняшѣ. Эта экспедиція кончилась довольно счастливо; но, уходя изъ саду черезъ гостиную, онъ раздавилъ мимоходомъ горшокъ съ гвоздикою, выбилъ шпагою стекло въ дверяхъ и, наконецъ, не произведя никакихъ дальнѣйшихъ опустошеній, отправился въ обратный путь вмѣстѣ

со своимъ папенькою, который во всю дорогу читалъ ему мораль, то есть называлъ его быкомъ, лѣшимъ и неотесанымъ болваномъ.

— Ну что, мой другъ? — спросилъ Мирошевъ вполголоса у жены.

— Больно глупъ! — отвѣчала Марья Дмитріевна, качая головой.

— Да, не уменъ. А лицо вѣдь доброе. Онъ говорилъ что-нибудь съ Дуняшей?

— Говорилъ.

— О чемъ?

— Не знаю. Дуняша, о чемъ говорилъ съ тобою Алексѣй Панкратьичъ?

— Я сказала ему, что ѣсть много вишенъ вредно; а онъ отвѣчалъ мнѣ, что ему ничего не вредно, и что онъ за одинъ пріемъ можетъ съѣсть полбарана и цѣлаго гуся.

— Какъ онъ тебѣ кажется?

— Кому? Мнѣ-съ?... А Богъ его знаетъ.

— Вѣдь онъ молодецъ,—сказалъ Мирошевъ.

— Да-съ! Такой высокій.

— Ты отъ нея ничего не добьешься,—шепнула Марья Дмитріевна.—Она, видно, начинаетъ догадываться. Да и что объ этомъ говорить: вѣдь онъ еще не сватался... Подождемъ, увидимъ, что будетъ послѣ.

XIV.

Разговоръ Прохора Кондратьича съ волостнымъ писаремъ Антономъ Ѳедотычемъ и неожиданныя послѣдствія этой дружеской бесѣды.

Въ деревянной церкви села Вознесенскаго давно уже отошла обѣдня; кой-гдѣ еще сидѣли на паперти дряхлые старушки и старики: они, отстоявъ службу, отдыхали, чтобъ собраться съ силами и добрести до домовъ. Въ церкви оставалось одно семейство Мирошевыхъ: Кузьма Петровичъ служилъ панихиду по своей теткѣ. На погостѣ дожидался господъ своихъ Прохоръ Кондратьичъ, разговаривая съ Андреемъ Ѳомичемъ Зарубкинымъ. Онъ также поджидалъ задушевнаго своего друга, пономаря Феропонта, который каждое воскресенье и каждый двунадесятый празд-

никъ раздѣлялъ его убогую трапезу и распивалъ съ нимъ полуштофикъ ерофеича.

— Ну что, любезнѣйшій,— спросилъ Зарубкинъ Кондратьича,—Панкратій Лукичъ былъ у васъ вчера со своимъ пріѣзжимъ?

— Былъ, сударь. Сынокъ то у него молодецъ.

— Да, верзила порядочный!... Нечего сказать: ни ростомъ, ни умомъ не пошелъ по батюшкѣ. Вчера изволилъ быть у меня. . Ну я, какъ водится, сталъ потчевать тѣмъ, другимъ,—хоть бы отъ чего-нибудь отказался: такъ и жретъ!.. Ахъ ты, Господи!... Поставилъ я ему блюдечко черносливу, да тарелку каленыхъ орѣховъ, такъ, мало того, что онъ черносливъ то сталъ убирать за обѣ щеки, какъ гречневую кашу, да и орѣхи то всѣ перещелкалъ!... А ужь что за околесную городилъ!... Ну, видитъ Богъ, Кондратьичъ, совѣстно было слушать!

— Однакожъ, говорятъ, человѣкъ онъ добрый.

— А кто его знаетъ! Вѣдь теперь еще онъ у отца подъ началомъ; а вотъ какъ женится, да заживетъ своимъ домикомъ, такъ, можетъ статься, такую прыть покажетъ, что его и не узнаешь. А батюшка то очень хочетъ его женить... Да еще что они затѣваютъ!...

— А что?

— Да такъ!... Можетъ быть, къ вамъ сегодня или завтра сваха во дворъ...

— Ну чтожъ? Милости просимъ!

— Право?—сказалъ Зарубкинъ, взглянувъ съ удивленіемъ на Прохора —Ну, конечно,—продолжалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—тамъ что ни говори, а вѣдь онъ оберъ-офицеръ, видный собою... человѣкъ добрый... поддержка есть... да и кубышка то у батюшки еще не початая... А умъ что?... Безъ денегъ гроша не стоитъ; а съ деньгами и безъ него проживешь... Да вотъ и господа твои идутъ... Батюшка Кузьма Петровичъ, мое нижайшее почтеніе!... Марья Дмитріевна!... Варвара Кузьминична!.. Авдотья Лаврентьевна!...

Когда Мирошевы усѣлись въ свою линею, Прохоръ сказалъ потихоньку Кузьмѣ Петровичу:

— Извольте ужь ѣхать съ однимъ Ѳомкою, а я здѣсь останусь.

— Да, да, - шепнулъ Мирошевъ,—ступай къ писарю, да узнай толкомъ.

— Все будетъ сдѣлано, не безпокойтесь.

Мирошевы отправились домой; Зарубкинъ увелъ къ себѣ пономаря Феропонта, а Кондратьичъ пошелъ въ волостную контору.

Волостная контора села Вознесенскаго помѣщалась въ одномъ изъ флигелей большого деревяннаго дома, въ которомъ жилъ самъ главноуправляющій, Панкратій Лукичъ Курочкинъ. До прибытія нынѣшняго старшаго писаря, Антона Ѳедотыча, контора была въ самомъ жалкомъ видѣ: ничто не возбуждало въ ней ни страха, ни уваженія въ приходящихъ крестьянахъ; это была просто грязная сборная изба, а не верховное судилище цѣлой волости. Антонъ Ѳедотычъ привелъ все въ порядокъ. Представьте себѣ просторную комнату, средину которой занимаетъ большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; вдоль внутренней стѣны четыре шкапа; на двухъ изъ нихъ написано крупными буквами: «архивъ»; въ простѣнкѣ между оконъ небольшой столикъ для двухъ младшихъ писцовъ; передъ большимъ столомъ обитыя черною кожею кресла для Курочкина; напротивъ скамья для старшаго писаря; въ углу, при самомъ входѣ, ради грозы, *стулъ*, то есть огромный деревянный чурбанъ съ желѣзною цѣпью и ошейникомъ; надъ нимъ на стѣнѣ,—замѣтьте это геніальное сближеніе,—знаменитая лубочная картина, представляющая страшный судъ; у дверей дежурный десятникъ, въ сѣняхъ очередной караульщикъ и два мальчика для посылокъ.

Антонъ Ѳедотычъ на этотъ разъ сидѣлъ развалившись въ креслахъ, потому что старшаго не было на лицо. Передъ нимъ стояла крестьянская баба съ блюдомъ яицъ. Антонъ Ѳедотычъ, со всею важностію грамотнаго человѣка, читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости» и по временамъ пожималъ съ презрѣніемъ плечами.

— Нѣтъ,— прошепталъ онъ, наконецъ,— въ старину не такъ писывали! Ну, что это за рѣчь? Самая ординарная: ни одной тонкой персональности, никакого деликатственнаго изъявленія!... Любой мужикъ пойметъ!

— Батюшка, Антонъ Ѳедотычъ,— сказала крестьянка съ низкимъ поклономъ,—вотъ ужь я два часа дожидаюсь...

— Не торопись, голубка: дойдетъ и до тебя очередь.

— Сдѣлай такую милость!

— Да чтожъ ты за персона такая, что и подождать не хочешь?

— Рада-бъ радостью, батюшка, да дѣвчонка то у меня одна дома не управится. Пожалуй, батюшка, грамотку, да отпусти.

— Ну, ну, добро! Поставь-ка яйца то вонъ хоть на окно... Вѣдь ты просила меня написать просьбу къ его графскому сіятельству?...

— Такъ-ста, батюшка, такъ!

— Ты вдова; у тебя было десять человѣкъ дѣтей, да всѣ перемерли, а осталась только одна больная дочь?...

— Нѣтъ, батюшка, здоровая.

— Молчи, глупая: знаютъ лучше тебя! Тебѣ нечѣмъ кормиться... такъ ли?...

— Не то, что нечѣмъ, родимый...

— Врешь, дура, нечѣмъ!

— Такъ, батюшка, такъ,—нечѣмъ.

— Ну, слушай же! — сказалъ Антонъ Ѳедотычъ. Онъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги и началъ читать:— «Ваше высокографское сіятельство! Изъ десяти лозъ, происшедшихъ изъ утробы моей, осталась токмо единая лоза, сосущая мою внутренность»...

— Здравствуй, Антонъ Ѳедотычъ! — сказалъ Прохоръ, входя въ комнату.

— А, почтеннѣйшій!— вскричалъ писарь, вставая.—Милости просимъ!... Ступай, тетка! Теперь не до тебя... приходи послѣ.

— Да какъ же, батюшка, Антонъ Ѳедотычъ...—сказала крестьянка, переминаясь съ ноги на ногу.

— Ну, ну, съ Богомъ! Мнѣ съ тобой точить балясы то некогда!... Пошла, пошла!... Милости прошу на сіе сѣдалище!—продолжалъ писарь, указывая Прохору на кожаныя кресла и садясь самъ подлѣ него на скамьѣ.— Очень одолжилъ, благопріятель; своимъ визитованіемъ!... Прошу покорно!... Эй, Ваня,—прибавилъ онъ, обращаясь къ одному изъ писцовъ, которые сидѣли за маленькимъ столикомъ,— вынь-ка изъ архивнаго шкапа номеръ первый бутылочку рябиновки!

— Не трудись, Антонъ Ѳедотычъ: вѣдь ты знаешь, что я не пью.

— Помилуй, Прохоръ Кондратьичъ, да чтожъ ты за гость такой, коли тебя угощать никакого способія не имѣется?... А рябиновка то какая!... Посмотри, благопріятель, вѣдь масло, бальзамъ небесный!... Да выпей хоть чарочку!

— Ни за что на свѣтѣ.

— Хоть капельку... за здоровье твоихъ господъ.

— Они и такъ, по милости Божіей, здоровы.

— Ну, такъ ради оказанія достодолжнаго уваженія къ ихъ мериту.

— Не могу!

— Тьфу ты пропасть! Да чтожъ ты за курьезный человѣкъ такой!... Такъ чѣмъ же прикажешь тебя потчевать?

— А вотъ чѣмъ, Антонъ Ѳедотычъ: говори со мной по людски; я твоихъ заморскихъ словъ терпѣть не могу.

Писарь поглядѣлъ съ состраданіемъ на Прохора, выпилъ за него двѣ чарки рябиновки и сказалъ:

— Это то слезамъ и подобно, любезный, что вы здѣсь, въ глуши, яко безсловесныя твари, безъ всякой полировки остаетесь. Ну, да что объ этомъ и говорить! Скажи-ка мнѣ лучше, любезнѣйшій: у васъ вчера Панкратій Лукичъ съ своимъ сынкомъ былъ?

— Былъ.

— Ну что? Какъ его благородіе то приглянулся твоимъ господамъ?

— Не знаю.

— А тебѣ?

— По мнѣ, хорошъ. Да обычаемъ то онъ каковъ.

— Настоящій баранъ: самой смирной характерности.

— Право?

— Ужь я тебѣ скажу! Коля сожительница будетъ только всѣ пожелаемые способы доставлять къ его насыщенію, такъ онъ станетъ жить во всякомъ у нея повиновеніи, и не токмо должный респектъ къ ея особѣ, но и всемѣрную сатисфакцію, при какой бы то ни было случайности, будетъ ей оказывать.

— То, есть по-твоему, онъ человѣкъ добрый, смирный и будетъ слушаться во всемъ жены, коли она станетъ его на убой кормить?

— Думаю, что такъ, любезный.

— А батюшка то что?... Пораспояшется ли?... Вѣдь надобно сынка то чѣмъ-нибудь наградить?

— Разумѣется, любезный!

— Какъ ты думаешь, этакъ ради перваго обзаведенія прикинетъ рубликовъ пятьсотъ.

— Пятьсотъ!... Нѣтъ, любезный, поколику мнѣ самому

извѣстно, потолику могу и тебя завѣрить: до тысячи пойдетъ.

— Вотъ, что дѣло, такъ дѣло! У невѣсты также деньжонки будутъ.

— А натурой ничего?

— Какъ натурой?

— Сирѣчь—семьи три-четыре мужичковъ. Это было бы показистѣе, любезный; а можно бы, кажется: вѣдь у Кузьмы Петровича другихъ дѣтокъ нѣтъ?

Прохоръ Кондратьичъ остолбенѣлъ.

— Варвара Кузьминична, — продолжалъ писарь,—единородная дщерь и наслѣдница, такъ почему же не дать за нею въ приданое и полъ-Хопровки?

— Варвара Кузьминична,—повторилъ Прохоръ глухимъ голосомъ, приподымаясь съ креселъ.

— Ну да!... Вѣдь мы хотимъ посватать дочку твоего барина; а ее, кажется, именуютъ Варварою?... Да что это съ тобой, любезный? Что ты вдругъ этакъ побагровѣлъ? .. Ужь не апоплексія ли какая?... Ахти, да у тебя и пальцы сводитъ!... Выпей скорѣй водицы!...

Въ самомъ дѣлѣ, пальцы правой руки Кондратьича свернулись судорожно въ кулакъ, и онъ готовъ былъ начать развязку этого продолжительнаго недоразумѣнія самымъ неожиданнымъ образомъ для писаря; но, хотя кровь и кипѣла у него въ жилахъ, хотя эта обида казалась ему невыносимою, однакожъ, онъ поудержался: взглянулъ на широкоплечаго десятника, который стоялъ у дверей, потомъ на двухъ молодыхъ парней, которые писали за особымъ столикомъ,—стиснулъ губы, разогнулъ кулакъ, обтеръ потъ, который градомъ катился съ его лысины, и сказалъ едва внятнымъ голосомъ:

— Прощай, Антонъ Ѳедотычъ!... Мнѣ что то нездоровится...

— Ахъ, батюшки, какая оказія!—вскричалъ писарь.— Что это съ тобой, любезный?

— Ничего... пройдетъ... А что... вы сваху что-ль къ намъ пришлете?

— Какъ же!

— Когда?

— Да можетъ статься сегодня.

— Вотъ что!... И, вѣрно, просвирню Власьевну?

— Ну, разумѣется!... Она баба умная и политичная.

— Милости просимъ! — прошепталъ Прохоръ съ такою сатанинскою улыбкою, что онъ не узналъ бы самого себя, если бъ ему поднесли зеркало.—Милости просимъ; а мы примемъ, угостимъ, да пожалуй и въ банѣ выпаримъ!... Прощай, любезный!

Кондратьичъ почти выбѣжалъ изъ комнаты, не оглянулся на писаря, который его провожалъ, и остановился перевести духъ не прежде, какъ выбрался за околицу села.

— Милости просимъ, матушка Власьевна! — повторилъ онъ, задыхаясь отъ бѣшенства.—Мы тебя, голубка, отучимъ сватать за холопскихъ дѣтей нашу барышню!... Ахъ, онъ хамово отродье!... Да какъ онъ смѣлъ и подумать?... Нѣтъ, ужь какъ хочетъ баринъ, а я попрошу воли!

Въ то время, какъ Прохоръ Кондратьичъ свирѣпствовалъ въ чистомъ полѣ, спѣша, какъ можно скорѣе, добраться до Хопровки, баринъ его сидѣлъ преспокойно съ Марьей Дмитріевной на крыльцѣ своего дома и кормилъ, вмѣстѣ съ нею, голубей, которые пріучены были слетаться на звонъ колокольчика. Варенька и Дуняша были въ своей комнатѣ на антресоляхъ.

— Что это Прохора до сихъ поръ нѣтъ?—проговорилъ Мирошевъ.—Долго же онъ бесѣдуетъ со своимъ писаремъ!

— Знаешь ли что, мой другъ?—сказала Марья Дмитріевна.—Мнѣ этотъ женихъ вовсе не нравится. У него доброе лицо—это правда; да вѣдь добрый человѣкъ не всегда бываетъ хорошимъ мужемъ. Ну, легче ли для жены, если мужъ ея будетъ дурнымъ семьяниномъ и плохимъ отцомъ семейства, не по злости, а по глупости? А этотъ Курочкинъ, воля твоя, не то что глупъ, а, полно, не совсѣмъ ли дуракъ.

— Ужь тотчасъ и дуракъ! Охъ, вы, барыни! Ты не можешь ему простить, что онъ изломалъ у насъ кресло, раздавилъ горшокъ съ цвѣтами и разбилъ окно. Ну, конечно, онъ неловокъ, мужиковатъ; а, право, дуракомъ его назвать не можно. Такіе ли, мой другъ, бываютъ дураки?.. Онъ просто не на своемъ мѣстѣ, и больше ничего. Не будь на немъ офицерскаго мундира, такъ ты бы и не замѣтила, что онъ глупъ. Ну, вотъ хоть нашъ буфетчикъ Ѳомка, малый смышленый, а наряди его бариномъ, да заставь съ нами бесѣдовать, такъ онъ покажется тебѣ глупѣе Курочкина.

— Не думаю.

— Право, такъ! Они оба, и батюшка и сынъ, не туда попали. Отцу бы слѣдовало быть приказнымъ, а сыну фельдфебелемъ.

— Можетъ быть; только какъ хочешь, мой другъ, а, по моему, лучше намъ выдать Дуняшу за какого-нибудь купца или даже мастерового, чѣмъ за этого офицера, на котораго безъ смѣха смотрѣть не можно.

— Полно, матушка, Марья Дмитріевна! Лучше то, лучше другое!... Не знаешь, гдѣ наше благополучіе, не угадаешь, гдѣ наше и несчастье! Господь лучше насъ всѣхъ это устроитъ. Если мы ничего дурного о женихѣ не узнаемъ, да онъ понравится Дуняшѣ, такъ и съ Богомъ! А если нѣтъ, такъ и говорить нечего... А вотъ и нашъ сватъ идетъ! Да никакъ съ дурными вѣстями: лицо что то у него вовсе не праздничное.

Прохоръ Кондратьичъ въ ужасныхъ попыхахъ, растрепанный и красный какъ клюква, подошелъ къ господамъ и, не говоря ни слова, повалился въ ноги.

— Что ты, что ты, Прохоръ?—вскричалъ Мирошевъ.

— Батюшка, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Кондратьичъ, стоя на колѣняхъ,—сдѣлайте милость, не откажите!...

— Да встань, говорятъ тебѣ! Ты знаешь, я этого терпѣть не могу!

— Знаю, батюшка, знаю! И я сродясь у васъ въ ногахъ не валялся; а теперь не встану, покамѣстъ вы не позволите мнѣ то, о чемъ я буду васъ просить.

— Да что такое?... Ужь не задумалъ ли ты жениться?

— Помилуйте, какая дура за меня пойдетъ? Нѣтъ, сударь, извольте только сказать: позволяю тебѣ, Прохоръ!

— Что за вздоръ такой! — прервалъ съ нетерпѣніемъ Мирошевъ.—Если ты не встанешь, да не скажешь толкомъ, о чемъ ты просишь, такъ я и говорить съ тобой не стану.

— Только не откажите, батюшка, — сказалъ Прохоръ вставая;—дайте мнѣ за всю мою службу хоть однажды вдоволь понатѣшиться.

— Ну, говори, говори!

— Сюда идетъ просвирня Власьевна, — я обогналъ ее за полверсты до околицы: батюшка, Кузьма Петровичъ, матушка барыня, позвольте мнѣ притаскать ее!

— Притаскать? За что?—спросилъ съ удивленіемъ Мирошевъ.

— А за то, сударь, чтобъ она не ходила свахою въ дворянскій домъ отъ какого-нибудь Алешки Курочкина.

— Ты съ ума сошелъ, Прохоръ! Онъ офицеръ, а ты называешь его Алешкою.

— Офицеръ!... А давно ли онъ печки топилъ у своего барина... лѣшій этакій?... А эта пьяница... эта старая колотовка, взялась за него высватать... Ахъ ты, Господи Боже мой!...

— Такъ дѣло идетъ не о Дуняшѣ? — спросила съ живостію Марья Дмитріевна.

— О какой Дуняшѣ!... Власьевна будетъ сватать за этого холопскаго сынка, за этого статуя, прости, Господи!..

— Неужели Вареньку?—прервала Мирошева.

— Ее, матушка, ее!

Кузьма Петровичъ засмѣялся, а Марья Дмитріевна вспыхнула.

— Признаюсь, этого я не ожидалъ! — сказалъ Мирошевъ, продолжая смѣяться.

— Какая дерзость! — прошептала Марья Дмитріевна.

— Ну, сударь,—вскричалъ Прохоръ,—и послѣ этого вы мнѣ не позволите надавать этой свахѣ подзатыльниковъ и проводить ее шелепами со двора?...

— Нѣтъ, не позволю.

— Однакожъ,—сказала Марья Дмитріевна,—ты не прикажешь ее пускать къ себѣ?

— Почему-жъ не пустить? Она будетъ сватать, а мы очень вѣжливо откажемъ. Алексѣй Панкратьичъ оберъ-офицеръ, мой другъ, слѣдовательно, такой же дворянинъ, какъ я.

— Но подумай, Кузьма Петровичъ, вѣдь отецъ его крѣпостной человѣкъ...

— Да развѣ отецъ сватается за Вареньку?

— Признаюсь, это очень обидно!

— И, душенька, чѣмъ тутъ обижаться?... Оно, конечно, смѣшно...

— Воля твоя, мой другъ,—прервала Марья Дмитріевна, вставая,—говори, если хочешь, съ этою свахою, а я видѣть ее не могу... Когда я подумаю только, что этотъ дуракъ... Нѣтъ, лучше уйду!... Прощай!

Марья Дмитріевна вошла въ домъ, а Прохоръ, который все смотрѣлъ за ворота, вдругъ встрепенулся, выхватилъ изъ-подъ крыльца метлу и закричалъ:

— Вотъ она, сударка то, вотъ она!... Видишь, какая!.. Батюшка, позвольте!

— Перестань, Прохоръ, — сказалъ строгимъ голосомъ Мирошевъ,—а не то я разсержусь.

— Эхъ, баринъ, баринъ, — пробормоталъ Кондратьичъ, бросивъ метлу, — Богъ тебѣ судья!... Вотъ, служи себѣ вѣкъ, много выслужишь! Тебя обижаютъ, а ты не смѣй и рукъ отвести!

XV.

Сватовство.

Во дворъ вошла пожилая женщина лѣтъ пятидесяти пяти. Поставьте стоймя сороковую бочку, одѣньте ее въ ситцевую тѣлогрѣю и коломенковую полосатую юбку; придѣлайте къ бокамъ этой бочки двѣ руки, къ нижнему дну пару огромныхъ котовъ съ красною оторочкою, къ верхнему--человѣческую голову, въ золотомъ глазетовомъ кокошникѣ; накиньте на все это широкую шелковую фату, и вы будете имѣть довольно приблизительное понятіе объ этой подвижной копнѣ, которую называли «просвирней Власьевной». Не извольте также на меня гнѣваться за то, что я употребилъ странное выраженіе: «нижнее и верхнее дно»: въ этомъ случаѣ я совершенно правъ, а виновата бочка, потому что у нея два дна, изъ которыхъ, въ настоящемъ ея положеніи, одно непремѣнно должно быть верхнимъ, а другое нижнимъ! Раздутое отъ жиру и глянцевитое лицо Власьевны покоилось на отвисломъ подбородкѣ, около котораго намотано было нѣсколько нитокъ стекляруса и цвѣтныхъ пронизокъ. Едва замѣтный носъ, жеманный ротикъ, пара глазъ, опухшихъ съ перепоя, а болѣе всего черные, какъ смоль, зубы, придавали ей величественный и почти аристократическій видъ богатой купчихи тогдашняго времени. Она не подошла, а подплыла, какъ пава, къ крыльцу, отвѣсила низкій поклонъ Мирошеву, всползла кой-какъ на лѣстницу, задохнулась, пропыхтѣла съ полминуты, потомъ опять поклонилась и проговорила умильнымъ голосомъ:

— Здравствуйте, батюшка, Кузьма Петровичъ, со всѣмъ благочестивымъ семействомъ вашимъ!

— Здравствуй, Власьевна! — сказалъ Мирошевъ.—Какъ поживаешь?

— Да такъ, отецъ мой,—живу кой-какъ, многогрѣшная, святыми вашими молитвами.

— Что это тебѣ вздумалось къ намъ пожаловать?

— Дѣльце есть, батюшка.

— Говори, Власьевна, говори!

— Во-первыхъ, государь, Кузьма Петровичъ,—я, ваша всегдашняя богомолица, прошу у Господа Бога всякаго вамъ счастія и всякихъ благъ земныхъ!

— Спасибо, Власьевна, спасибо!

— Награди тебя Владыко и въ здѣшнемъ и въ будущемъ мірѣ, за всякую твою добродѣтель! Подай тебѣ Господи во всемъ поспѣшеніе; чтобъ тебѣ, батюшка, все спорилось и все въ прокъ шло!

— Пошла разсыпаться мелкимъ бѣсомъ, старая колотовка!—проворчалъ Кондратьичъ.

— Благодарю, любезная!—отвѣчалъ Мирошевъ.—Хотя, по правдѣ сказать, я и не знаю, за что ты меня такъ жалуешь.

— Какъ же, батюшка!—воскликнула сваха.—Вѣдь ты у насъ въ приходѣ первый человѣкъ: ты всѣхъ насъ, какъ солнышко, пригрѣваешь. За то и Господь Богъ тебя милуетъ!... Сожительница твоя какъ ясный мѣсяцъ въ терему; дочка ненаглядная словно утренняя звѣздочка—красавица, лебедь бѣлая, утѣха родительская.

— Видишь, какъ подбирается, лиса проклятая! — прошепталъ Прохоръ.

— А вотъ, отецъ мой,—продолжала Власьевна,—какъ придетъ часъ воли Божіей, да прикроешь ты ея головушку, да Господь дастъ ей дѣточекъ, то то радостно тебѣ будетъ няньчить твоихъ внучатъ!

— Объ этомъ еще, Власьевна, и говорить нечего.

— Какъ не говорить, отецъ мой? Дочка твоя ужь на возрастѣ. А ты послушай меня, бабу глупую: не хорошо, батюшка, если товаръ долго въ лавкѣ залежится,—видитъ Богъ, не хорошо! Вѣдь нынче съ женишками то... ой, ой, ой,—бѣда, отецъ мой: совсѣмъ повывелись! Бывало, всѣ живутъ по домамъ, а теперь кто въ Москвѣ, кто въ Питерѣ, кто на службѣ царской, — избаловались, любятъ волюшку; а вѣдь вѣнецъ то, батюшка, не шапка: надѣлъ, такъ не снимай до гробовой доски.

— Все это очень хорошо, любезная; да ты мнѣ хотѣла говорить о какомъ то дѣлѣ...

Власьевна скривила на сторону голову, подперла ладонью правой руки локоть лѣвой, приложила два пальца къ щекѣ и начала говорить вполголоса:

— Батюшка Кузьма Петровичъ, есть у меня молодецъ на примѣтѣ,—и ростомъ, и дородствомъ, и станомъ, и лицомъ—всѣмъ взялъ! Денежекъ у него и теперь вдоволь; а коли батюшка его поживетъ подольше, такъ онъ по смерти его будетъ рублевики не считать, а мѣрять пудовками. Человѣкъ не простой, въ чинахъ и въ большой милости у нашего графа. А ужъ обычая какого... Господи Боже мой!... Малый смирный, не пьющій, не мотыга... Да что тутъ говорить; ты самъ его, батюшка, изволилъ вчера видѣть.

— Такъ ты сватаешь мою дочь за сына Панкратія Лукича Курочкина?

— Такъ, кормилецъ, такъ!... То то будетъ парочка!

Въ продолженіе этого разговора дверь изъ лакейской безпрестанно растворялась; замѣтно было, что кто то хотѣлъ, но не рѣшался, выдти на крыльцо. Кондратьичъ стоялъ по-прежнему подлѣ лѣстницы; нѣсколько разъ онъ мѣнялся въ лицѣ, губы его дрожали, и не удивительно: его трясла лихорадка.

— Теперь, благодѣтель,— продолжала Власьевна смѣлѣе, видя, что Мирошевъ слушаетъ ее спокойно, и съ большою кротостію, — дозволь и мнѣ спросить тебя: чѣмъ ты наградишь свою дочку? О приданомъ говорить нечего: чай, матушка давно всего припасла и наготовила; а все-таки, государь Кузьма Петровичъ, кабы ты мнѣ пожаловалъ записочку, сколько того-другого, Божьяго благословенія, въ какихъ окладахъ; сколько бѣлья; нарядовъ, монистовъ...

— Не для чего, Власьевна, не для чего!... Если тебя прислалъ Алексѣй Панкратьичъ, такъ поклонись ему отъ насъ, поблагодари за честь, которую онъ дѣлаетъ Варенькѣ, и скажи ему, что мы нашу дочь не выдаемъ замужъ.

— Какъ, батюшка?... Да неужто ты хочешь засадить ее въ дѣвкахъ?

— И, любезная, придѣтъ время, выйдетъ замужъ. Вѣдь на свѣтѣ не одинъ женихъ Алексѣй Панкратьичъ Курочкинъ.

— Да онъ то чѣмъ не женихъ?... Эхъ, батюшка Кузьма

Петровичъ,—не прогнѣвайся за мою правду,—коли ты начнешь такихъ жениховъ браковать, такъ не диво твоей барышнѣ и вѣкъ въ дѣвкахъ остаться! Станешь, кормилецъ, локотки кусать, да будетъ поздно!... Ну, чѣмъ Алексѣй Панкратьичъ неровня твоей дочкѣ?...

Тутъ двери изъ передней растворились настежъ и Марья Дмитріевна выбѣжала на крыльцо; щеки ея пылали.

— Нѣтъ,—сказала она,—это превосходитъ всякое вѣроятіе!... Помилуй, мой другъ,—нашу дочь смѣютъ равнять съ лакейскимъ сыномъ, а ты слушаешь и молчишь!

— Полно, милая,—сказалъ Мирошевъ;—ну, за что тутъ сердиться?

— Вонъ отсюда, наглая женщина!—продолжала Марья Дмитріевна, не слушая мужа.—Какъ ты смѣла придти сватать дочь нашу за сына крѣпостного человѣка?

Надобно было видѣть, какъ при этихъ словахъ измѣнились двѣ физіономіи: толстое лицо Власьевны вдругъ вытянулось и похудѣло; блѣдное лицо Прохора Кондратьича расцвѣло и засіяло радостію. У Власьевны отъ страха подогнулись ноги; она попятилась задомъ съ лѣстницы и уцѣпилась за перила, чтобъ не упасть; Кондратьичъ выпрямился, подхватилъ свою метлу и сталъ въ боевую позицію.

— Матушка... сударыня... Марья Дмитріевна!—проговорила, заикаясь, сваха, продолжая пятиться задомъ съ лѣстницы.—Помилуйте... я въ этомъ вовсе не причинна!... Алексѣй Панкратьичъ изволилъ приказать...

— И ты смѣешь называть его ровнею нашей дочери?...

— Виновата, сударыня, виновата!... Дурость какая то напала!... Не помню и сама, что говорила...

— Да знаешь ли, что можно съ тобою сдѣлать?...

— Матушка, барыня, — закричалъ Прохоръ, подымая метлу,—прикажите!...

Власьевна вскрикнула, бросилась въ сторону, упала и скатилась кубаремъ съ лѣстницы.

— Перестань, Прохоръ! — сказалъ Мирошевъ.—А ты, Власьевна, ступай съ Богомъ: у меня въ домѣ тебя никто не обидитъ... Какъ тебѣ не стыдно, мой другъ?—продолжалъ онъ, обращаясь къ женѣ.—Ну, можно ли огорчаться словами этой женщины?

Марья Дмитріевна не отвѣчала ничего: она плакала съ досады. Не осуждайте ее, любезные читатели! Если есть

извинительное самолюбіе, такъ это самолюбіе матери, которая гордится своею дочерью. Бѣдная Марья Дмитріевна!.. Давно ли она мечтала и надѣялась, что ея Варенька будетъ невѣстою самого знатнаго и богатаго барина въ ихъ уѣздѣ,—и вдругъ крѣпостной человѣкъ сватаетъ ее за своего сына, набитаго дурака, мужика въ офицерскомъ мундирѣ!... Воля ваша: мать, которая перенесетъ равнодушно такую обиду, должна быть ангеломъ небеснымъ. Мирошева и была настоящимъ ангеломъ, да только земнымъ. Какъ истинная христіанка, она бы перенесла съ кротостію всякую личную обиду; но тутъ дѣло шло о ея дочери!...

Межъ тѣмъ Власьевна, задыхаясь на каждомъ шагу, спѣшила выбраться за ворота; она по-неволѣ перемѣнила свою плавную походку на скорый шагъ: подлѣ нея шелъ Прохоръ Кондратьичъ, держа на перевѣсѣ ужасную метлу, которая всякую минуту могла на нее обрушиться.

— Ну, счастлива ты, старая вѣдьма,—шепталъ ей Кондратьичъ:—не на такого барина напала, а то бы перещупали тебѣ косточки!... Видишь, какъ вырядилась— въ шелковой фатѣ!... Хуже бы посконной сдѣлали!

Когда сваха подошла къ воротамъ, то передъ нею открылась такая ужасная картина, что сердце у нея замерло; она бросилась назадъ и закричала жалобнымъ голосомъ:

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, помилуй!... Не прикажи меня срамить на старости!...

— Что тамъ еще?—спросилъ Мирошевъ.

— Да вотъ изволь посмотрѣть: за воротами меня дожидаются мальчишки съ голиками!...

— Опять твои штуки, Прохоръ!

— Виноватъ, сударь! .. Хотѣлъ было эту барыню съ честью выпроводить за околицу, да дѣлать нечего,—вамъ не угодно. Эй вы, пострѣлята, по домамъ!

— Ѳомка, — закричалъ Мирошевъ, — ступай, проводи Власьевну до села; да смотри, чтобъ никто не обидѣлъ ее дорогою: ты мнѣ за это отвѣчаешь.

— Слушаю, сударь!— сказалъ Ѳомка. — Пойдемъ, бабушка!... То то, Власьевна,— прибавилъ онъ, когда они вышли на улицу,—впередъ не суйся не спросясь. Кабы не баринъ, такъ мы бы тебѣ такую баню задали, что ты и вѣкъ бы париться не стала!

Убитая духомъ, сваха молчала и, робко посматривая

кругомъ, летѣла, какъ птица. Но когда она добралась до околицы села Вознесенскаго, то краснорѣчивыя уста ея раскрылись, и изъ нихъ хлынулъ такой потокъ ругательствъ и бранныхъ словъ, что Ѳома, заткнувъ уши, побѣжалъ, не оглядываясь, домой.

— Ахъ, Марья Дмитріевна!—говорилъ Мирошевъ своей женѣ, которая продолжала плакать.—Вотъ ужъ я никакъ не ожидалъ, чтобъ ты была такъ малодушна!

— Ровня!—шептала Мирошева.—Нашей Варенькѣ ровня этотъ лакейскій сынъ!

— И, душенька, да вѣдь это говоритъ сваха, просвирня Власьевна! Право, мнѣ за тебя стыдно: чѣмъ бы тебѣ смѣяться...

— Да, мой другъ, и я стала бы смѣяться, если-бъ ты былъ такъ же богатъ и чиновенъ, какъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ; но мы бѣдны. Почему ты знаешь, можетъ быть, найдутся люди, для которыхъ покажется страннымъ, что мы отказали такому выгодному жениху? Вѣдь мы почти нищіе!... Что такое дворянинъ, если у него только пятьдесятъ душъ крестьянъ?... Да, сынъ волостного приказчика, который накралъ столько денегъ, что можетъ купить три Хопровки, дѣлаетъ намъ много чести, что сватается за нашу дочь!... Боже мой! И какой порядочный человѣкъ рѣшится теперь посвататься за Вареньку? Кто захочетъ стать рядомъ съ какимъ-нибудь Курочкинымъ?

— Полно, матушка! Всякій порядочный человѣкъ посмѣется этому такъ-же, какъ я...

— Ты очень счастливъ, мой другъ, что можешь смѣяться, а я не вижу тутъ ничего забавнаго. Неужели мы до такой степени ничтожны, что лакейскій сынъ, который самъ недавно былъ лакеемъ, смѣетъ свататься за нашу Вареньку?

— Да оттого-то, мой другъ, и смѣетъ, что недавно былъ лакеемъ. Дворянина офицерскій мундиръ съ ума не сведетъ; а произведи лакея въ офицеры, такъ онъ, сгоряча, подумаетъ, что для него во всемъ Русскомъ Царствѣ невѣсты нѣтъ.

— Воля твоя, мой другъ, а я не могу равнодушно подумать...

— Машенька, вѣдь это гордость!

— Да, Кузьма Петровичъ, виновата: я горжусь моею

дочерью!... Быть можетъ, это грѣхъ; но я не могу... я не въ силахъ преодолѣть его!...

— Охъ, душенька, душенька!... Смотри, чтобъ Господь не наказалъ насъ за это. И что тебѣ за охота была вмѣшиваться? Можетъ быть, мой вѣжливый отказъ не оскорбилъ бы этого Курочкина, а теперь онъ будетъ нашимъ непримиримымъ врагомъ.

— Да что онъ можетъ намъ сдѣлать?

— Мало ли что, мой другъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь,— сказалъ Прохоръ,— что онъ можетъ намъ сдѣлать?... Если вы боитесь, что Курочкинъ станетъ нашу скотину загонять,— такъ вздоръ, не удастся ему!... Да я, пожалуй, хоть самъ въ пастухи пойду: а онъ ужь у меня цыпленка не загонитъ!... Да и выгонъ то можно перевести на другое мѣсто.

— Что выгонъ! Я не этого боюсь; а сохрани Господи, какъ онъ заведетъ съ нами тяжбу!

— Тяжбу?... Да о чемъ?—спросила Марья Дмитріевна.

— Ужь онъ найдетъ о чемъ; отъ такого кляузника все станется. Не даромъ онъ говорилъ мнѣ о какомъ то документѣ, на основаніе котораго можно доказать, что почти вся Хопровская земля принадлежитъ селу Вознесенскому и находится у меня въ насильственномъ завладѣніи.

— Ахъ, онъ разбойникъ!— вскричалъ Прохоръ.— Вѣдь это онъ, сударь, хотѣлъ васъ застращать; чай, думалъ: «Какъ припугну его порядкомъ, такъ, небось, не заломается со своею дочкою!» Экій пройдоха, подумаешь,— хитеръ!

— Повѣришь ли, Марья Дмитріевна, — продолжалъ Мирошевъ,— какъ онъ сталъ мнѣ говорить, какую можно на меня просьбу подать, такъ у меня волосы дыбомъ стали!... Ну, ужь подлинно приказная строка!... Да полно, Машенька, хмуриться! Ну его совсѣмъ!... Стоитъ ли онъ того, чтобъ ты на него сердилась? Ступай ка лучше, похлопочи объ обѣдѣ, а я межъ тѣмъ пойду да посмотрю, нельзя ли въ самомъ дѣлѣ перевести выгонъ на другое мѣсто.

Кузьма Петровичъ, окончивъ свои хозяйственныя занятія, воротился домой вмѣстѣ съ Прохоромъ. Ихъ встрѣтилъ въ столовой Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ.

— А, сосѣдушка любезный!—сказадъ Мирошевъ.— Милости прошу похлебать нашихъ щей.

кругомъ, летѣла, какъ птица. Но когда она добралась до околицы села Вознесенскаго, то краснорѣчивыя уста ея раскрылись, и изъ нихъ хлынулъ такой потокъ ругательствъ и бранныхъ словъ, что Ѳома, заткнувъ уши, побѣжалъ, не оглядываясь, домой.

— Ахъ, Марья Дмитріевна!—говорилъ Мирошевъ своей женѣ, которая продолжала плакать.—Вотъ ужъ я никакъ не ожидалъ, чтобъ ты была такъ малодушна!

— Ровня!—шептала Мирошева.—Нашей Варенькѣ ровня этотъ лакейскій сынъ!

— И, душенька, да вѣдь это говоритъ сваха, просвирня Власьевна! Право, мнѣ за тебя стыдно: чѣмъ бы тебѣ смѣяться...

— Да, мой другъ, и я стала бы смѣяться, если-бъ ты былъ такъ же богатъ и чиновенъ, какъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ; но мы бѣдны. Почему ты знаешь, можетъ быть, найдутся люди, для которыхъ покажется страннымъ, что мы отказали такому выгодному жениху? Вѣдь мы почти нищіе!... Что такое дворянинъ, если у него только пятьдесятъ душъ крестьянъ?... Да, сынъ волостного приказчика, который накралъ столько денегъ, что можетъ купить три Хопровки, дѣлаетъ намъ много чести, что сватается за нашу дочь!... Боже мой! И какой порядочный человѣкъ рѣшится теперь посвататься за Вареньку? Кто захочетъ стать рядомъ съ какимъ-нибудь Курочкинымъ?

— Полно, матушка! Всякій порядочный человѣкъ посмѣется этому такъ-же, какъ я...

— Ты очень счастливъ, мой другъ, что можешь смѣяться, а я не вижу тутъ ничего забавнаго. Неужели мы до такой степени ничтожны, что лакейскій сынъ, который самъ недавно былъ лакеемъ, смѣетъ свататься за нашу Вареньку?

— Да оттого-то, мой другъ, и смѣетъ, что недавно былъ лакеемъ. Дворянина офицерскій мундиръ съ ума не сведетъ; а произведи лакея въ офицеры, такъ онъ, сгоряча, подумаетъ, что для него во всемъ Русскомъ Царствѣ невѣсты нѣтъ.

— Воля твоя, мой другъ, а я не могу равнодушно подумать...

— Машенька, вѣдь это гордость!

— Да, Кузьма Петровичъ, виновата: я горжусь моею

дочерью!... Быть можетъ, это грѣхъ; но я не могу... я не въ силахъ преодолѣть его!...

— Охъ, душенька, душенька!... Смотри, чтобъ Господь не наказалъ насъ за это. И что тебѣ за охота была вмѣшиваться? Можетъ быть, мой вѣжливый отказъ не оскорбилъ бы этого Курочкина, а теперь онъ будетъ нашимъ непримиримымъ врагомъ.

— Да что онъ можетъ намъ сдѣлать?

— Мало ли что, мой другъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь,— сказалъ Прохоръ,— что онъ можетъ намъ сдѣлать?... Если вы боитесь, что Курочкинъ станетъ нашу скотину загонять,— такъ вздоръ, не удастся ему!... Да я, пожалуй, хоть самъ въ пастухи пойду: а онъ ужь у меня цыпленка не загонитъ!... Да и выгонъ то можно перевести на другое мѣсто.

— Что выгонъ! Я не этого боюсь; а сохрани Господи, какъ онъ заведетъ съ нами тяжбу!

— Тяжбу?... Да о чемъ?—спросила Марья Дмитріевна.

— Ужь онъ найдетъ о чемъ; отъ такого кляузника все станется. Не даромъ онъ говорилъ мнѣ о какомъ то документѣ, на основаніе котораго можно доказать, что почти вся Хопровская земля принадлежитъ селу Вознесенскому и находится у меня въ насильственномъ завладѣніи.

— Ахъ, онъ разбойникъ!— вскричалъ Прохоръ.— Вѣдь это онъ, сударь, хотѣлъ васъ застращать; чай, думалъ: «Какъ припугну его порядкомъ, такъ, небось, не заломается со своею дочкою!» Экій пройдоха, подумаешь,— хитеръ!

— Повѣришь ли, Марья Дмитріевна, — продолжалъ Мирошевъ,— какъ онъ сталъ мнѣ говорить, какую можно на меня просьбу подать, такъ у меня волосы дыбомъ стали!... Ну, ужь подлинно приказная строка!... Да полно, Машенька, хмуриться! Ну его совсѣмъ!... Стоитъ ли онъ того, чтобъ ты на него сердилась? Ступай ка лучше, похлопочи объ обѣдѣ, а я межъ тѣмъ пойду да посмотрю, нельзя ли въ самомъ дѣлѣ перевести выгонъ на другое мѣсто.

Кузьма Петровичъ, окончивъ свои хозяйственныя занятія, воротился домой вмѣстѣ съ Прохоромъ. Ихъ встрѣтилъ въ столовой Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ.

— А, сосѣдушка любезный!—сказадъ Мирошевъ.— Милости прошу похлебать нашихъ щей.

— Покорнѣйше благодарю, батюшка!—отвѣчалъ Зарубкинъ.—А я сейчасъ отъ Панкратія Лукича. Ну, сударь, видно, вы его сваху то не больно ласково приняли?... Да и пришло же ему въ голову!... То то, подумаешь, какъ этотъ народъ зазнается.

— А что, онъ сердится?

— Фу батюшки,—и рветъ и мечетъ!... А ужь Власьевна какую на васъ татьбу несетъ, такъ и сказать нельзя! Сынокъ то ничего: онъ еще радехонекъ, что это дѣло не сошлось. Вотъ изволите видѣть, батюшка: «Варвара Кузьминична мелка больно, да, знаете, чопорная такая. Мнѣ, дескать, давай жену рослую, дородную, веселую. А это что: худа, блѣдна, ножки маленьки, душа коротенька; что, мнѣ ее за стекломъ держать чтоль?» Ну, батюшка не то: осерчалъ такъ, что и приступу къ нему нѣтъ!... Позоритъ васъ на чемъ свѣтъ стоитъ... «Эка, дескать, фигура — отставной поручишка!.

— Полноте, Андрей Ѳомичъ! Какое мнѣ дѣло знать, что онъ говоритъ обо мнѣ заочно?...

— Однодворецъ этакій! — продолжалъ Зарубкинъ, не обращая вниманія на слова Мирошева.—Нахваталъ чужой земли къ своей деревнишкѣ и думаетъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ баринъ!... Да этакіе дворянчики, какъ онъ, у камердинера его высокографскаго сіятельства въ сѣняхъ дожидаются!...

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ, что вамъ за охота?...

— Помилуйте, обидно, батюшка! Да какъ онъ, холопъ этакій, смѣетъ говорить такія рѣчи о родовомъ дворянинѣ?... Да еще грозится разорить васъ! «Онъ, дескать, называетъ Алешу лакейскимъ сыномъ; да знаетъ ли онъ, что послѣдній конюхъ на графской конюшнѣ и покумиться то съ нимъ не захочетъ? Да вотъ погоди: я, дескать, спесь то съ него собью; онъ, дескать, у меня со своими пятюдесятью душенками по міру находится. Князь Лялинъ почище его, да что взялъ? Небось, пересталъ хорохориться, какъ отмахнули у него десятинокъ семьсотъ земли! Да у того все еще кой-что осталось; а этого гордяшку Мирошева я до-тла разорю!»

— Слышишь, Прохоръ?

— Слышу, сударь, да дѣлать то нечего! Вотъ кабы онъ при мнѣ началъ васъ позорить, такъ ужь я поднесъ бы ему съ правой руки чарочку! Вѣдь это не уголовщина какая:

наше дѣло съ нимъ холопское. Онъ графскій слуга, а я дворянскій, а все таки скулы то у насъ равныя.

— Не о томъ рѣчь, Прохоръ. Ты слышишь, Курочкинъ хочетъ завести со мною тяжбу? Ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ отрѣжетъ у насъ десятинъ триста?...

— Помилуйте, да кто у насъ можетъ отнять нашу землю?

— Разумѣется, еслибъ у меня были на нее какія-нибудь купчія или крѣпости; а вѣдь ты знаешь, что всѣ эти бумаги сгорѣли.

— Такъ чтожъ? Покойный Лаврентій мнѣ сказывалъ, что можно въ саратовской провинціальной канцеляріи выправить копіи съ этихъ бумагъ!

— Полно, можно ли?

— Да такъ то можно, сударь, что съ Лаврентія просили за это тридцать рублей; да покойная ваша тетушка не захотѣла. «Что, дескать, я стану этихъ подъячихъ кормить, коли со мной и безъ этого никто тяжбы не заводитъ?» Да не извольте безпокоиться, Кузьма Петровичъ: если Курочкинъ подастъ на насъ просьбу въ уѣздный судъ, такъ пошлите меня въ Саратовъ, я это дѣльце обработаю.

— Хорошо, хорошо, мы послѣ съ тобою потолкуемъ. Да пожалуйста,—прибавилъ Мирошевъ, обращаясь къ Зарубкину,—не говорите объ этомъ ничего при моей женѣ: она сегодня что то разстроена ..

— Да, да, батюшка,—прервалъ Зарубкинъ,— я и позабылъ вамъ сказать, что вретъ эта скверная Власьевна о вашей почтеннѣйшей супругѣ...

— Да полноте, Бога ради! Я не хочу ничего слышать.

— Ну, какъ вамъ угодно. А вѣдь эта старая сплетница, знаете ли что говоритъ о Марьѣ Дмитріевнѣ? «Что, дескать, она такъ чуфарится?... Эка барыня!... Мы помнимъ: еслибъ не покойная княжна, такъ ей бы пришлось питаться мірскимъ подаяніемъ!»...

— Андрей Ѳомичъ, сдѣлайте милость!...

— Да еще что говоритъ, батюшка, шельма этакая!... «Знаемъ, дескать, мы, къ кому ѣздитъ сынокъ то Ивана Никифоровича Кирсанова»...

— Послушайте, – вскричалъ съ нетерпѣніемъ Мирошевъ,— если вы хотите остаться нашимъ пріятелемъ, то прошу васъ не пересказывать мнѣ такихъ вздоровъ!

— Слушаю, сударь, слушаю! Вѣдь это я изъ моей любви къ вамъ, батюшка!... Еслибъ вы изволили знать, какъ я преданъ всему вашему семейству!...

— Такъ докажите же это на самомъ дѣлѣ: не говорите при моей женѣ ни слова объ этомъ глупомъ сватовствѣ.

— Извольте, сударь, извольте,—ни слова не скажу!

— Пойдемте ка лучше въ гостиную, да закусимъ передъ обѣдомъ.

— Съ моимъ удовольствіемъ!... Да вотъ и всѣ ваши идутъ... Марья Дмитріевна!... Варвара Кузьминична!... Авдотья Лаврентьевна!...

Зарубкинъ велъ себя довольно порядочно во время обѣда: онъ не говорилъ ничего о Панкратіи Лукичѣ и свахѣ Власьевнѣ, не потому, впрочемъ, что обѣщалъ это хозяину, но за столомъ ему некогда было пускаться въ разговоры: въ числѣ кушаньевъ были два любимыя его блюда — буженина съ лукомъ и жареный гусь съ капустою; послѣ же обѣда, Марья Дмитріевна, у которой разболѣлась голова, ушла тотчасъ въ свою комнату, а Варенька и Дуняша отправились къ себѣ на антресоли дочитывать «Несчастливыхъ супруговъ, италіанскую повѣсть, имѣющую печальное окончаніе».

XVI.

Какъ Владиміръ Ивановичъ и Варенька помѣнялись кольцами, и какъ Агриппина Львовна подслушала ихъ разговоръ.

Послѣ всего описаннаго нами въ предъидущихъ главахъ, прошло болѣе мѣсяца безъ всякихъ особенныхъ приключеній. Курочкинъ, повидимому, раздумалъ заводить тяжбу съ Мирошевымъ, или, по крайней мѣрѣ, отложилъ это до перваго удобнаго случая. Вскорѣ, послѣ неудачнаго сватовства, онъ уѣхалъ въ Саратовъ, по словамъ Зарубкина, искать межъ богатыхъ купеческихъ дочекъ невѣсты для своего сына. Марья Дмитріевна перестала сердиться на Власьевну; она разсказала даже обо всемъ Варенькѣ, и отъ всей души смѣялась, вмѣстѣ съ нею, надъ этимъ трехъ-аршиннымъ женихомъ, который, какъ древніе русскіе богатыри, ломалъ

деревья и съѣдалъ за одинъ пріемъ по цѣлому быку. Хотя Мирошева была вовсе незлопамятна, однакожъ ея обиженное самолюбіе матери не успокоилось бы такъ скоро, если бы она не имѣла много причинъ радоваться; во-первыхъ, здоровье Вареньки стало примѣтнымъ образомъ поправляться: на блѣдныхъ щекахъ ея заигралъ снова румянецъ, снова улыбка счастія появилась на ея прелестныхъ устахъ и потухшіе глаза вспыхнули жизнью; во-вторыхъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ заѣхалъ однажды къ Мирошевымъ съ поля, былъ со всѣми очень ласковъ, поцѣловалъ въ лобъ Вареньку и сказалъ:

— Ну, братецъ, Кузьма Петровичъ, человѣкъ ты небогатый, нечиновный, а все-таки за доброту твою благословилъ тебя Господь! Какая у тебя барышня то славная! Кабы у меня была этакая дочка, такъ я бы перекрестился!

Кузьма Петровичъ не видѣлъ въ этихъ словахъ ничего, кромѣ обыкновенной ласки; но Марья Дмитріевна вывела изъ нихъ совсѣмъ другое заключеніе.

— Ну, мой другъ,—сказала она мужу, — справедливы ли мои догадки? Ты слышалъ, что онъ намекаетъ?

— А что такое?—спросилъ Мирошевъ.

— Помилуй, душенька, да это ясно!.. Вѣдь у него сынъ женихъ, такъ сталъ ли бы онъ говорить, что желаетъ имѣть такую дочь, какъ наша Варенька, еслибъ не хотѣлъ, чтобъ его сынъ на ней женился?

— Такъ отчего-жъ онъ не дѣлаетъ намъ предложенія?

— Да развѣ онъ какой-нибудь Курочкинъ, мой другъ? Сегодня познакомился, а завтра и свататься! Онъ хочетъ, чтобъ они хорошенько узнали другъ друга, посвыклись...

— Охъ, Машенька, полно, такъ ли?

— Да ужь сдѣлай милость!.. Я знаю сама, ты во сто разъ меня умнѣе, а, не прогнѣвайся, въ подобныхъ случаяхъ женщины всегда проницательнѣе мужчинъ. Вы гораздо глубокомысленнѣе, вашъ умъ несравненно обширнѣе нашего, и потому то именно эти мелочи отъ васъ ускользаютъ; а вѣдь мы, женщины, на томъ стоимъ. Вамъ нужны слова, а для насъ довольно иногда одного взгляда, одной улыбки... Ну, хочешь ли биться объ закладъ, мой другъ: Варенька будетъ невѣсткою Кирсанова!

— Дай Господи.

Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ бывалъ у Мирошевыхъ почти каждый день. Варенька стала съ нимъ обращаться

попрежнему; они очень часто прогуливались втроемъ, то есть съ Дуняшею, по саду и по рощѣ, ходили удить рыбу на Хоперъ. Владиміръ Ивановичъ началъ ихъ учить рисовать, и успѣхи Вареньки превзошли всѣ его ожиданія. Дуняша все еще сидѣла *на глазахъ*, а Варенька могла уже нарисовать цѣлое лицо; одно только ей не давалось: она никакъ не могла подражать подлиннику, и всѣ ея головки имѣли межъ собою какое-то фамильное сходство. Пока она еще срисовывала головы Ахиллеса, Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, такъ этотъ недостатокъ не очень былъ замѣтенъ; но однажды Владиміръ Ивановичъ далъ ей скопировать голову Сократа; и чтожъ вы думаете? Она нарисовала этого весьма некрасиваго собою, греческаго мудреца съ *орлинымъ* носомъ, большими глазами, маленькимъ ротикомъ и вовсе не крутымъ лбомъ. Всего страннѣе, что учитель не только за это не осердился, но даже не замѣтилъ своей ученицѣ, что ея копія совсѣмъ не походитъ на подлинникъ. Марья Дмитріевна также не обратила на это никакого вниманія, а только улыбнулась, вѣроятно, отъ удовольствія, что дочь ея дѣлаетъ такіе быстрые успѣхи въ живописи. Одинъ Кузьма Петровичъ, глядя на этотъ рисунокъ, сказалъ со своимъ обыкновеннымъ дѣтскимъ простодушіемъ:

— Хорошо, Варенька, очень хорошо! Только, воля твоя, это больше походитъ на Владиміра Ивановича, чѣмъ на Сократа, даромъ, что ты написала его съ бородою.

Агриппина Львовна Вертлюгина, встрѣчая Владиміра Ивановича у Мирошевыхъ, продолжала попрежнему съ нимъ любезничать; но съ тѣхъ поръ, какъ Варенька перестала отъ него прятаться, ей не удавалось никогда остаться съ нимъ наединѣ. Агриппинѣ Львовнѣ это было очень не по сердцу. Подъ конецъ она стала даже ревновать къ нему Вареньку; да, ревновать! Что грѣхъ таить: эта египетская мумія имѣла виды на Владиміра Ивановича, то есть ей очень хотѣлось сдѣлать изъ него своего *болванчика* и быть самой его *амантою* (техническія слова замоскворѣцкихъ щеголихъ тогдашняго времени). У ревнивой женщины глаза зорки; но, несмотря на это, она не могла подмѣтить ничего двусмысленнаго въ ихъ обращеніи; ей удавалось только иногда подглядѣть во взорахъ Кирсанова что то очень нѣжное, разумѣется, когда онъ смотрѣлъ на Вареньку; за то въ глазахъ своей соперницы она видѣла всегда одно и то

же: совершенное спокойствіе и это тихое, безмятежное счастіе, вѣрный признакъ невинной души и чистой совѣсти. Но Агриппина Львовна была женщина влюбленная, злая, и, по своему, довольно хитрая, такъ отъ нея трудно было отдѣлаться. Злому мужчинѣ помогаетъ въ дурномъ дѣлѣ лукавый, а злая женщина и безъ него обойдется.

Въ одно воскресенье, когда Мирошевъ, возвратясь отъ обѣдни, толковалъ о чемъ то съ Прохоромъ у себя въ кабинетѣ, а Марья Дмитріевна принимала холстъ и считала выпряденныя тальки, подъѣхалъ къ крыльцу курятникъ на четырехъ колесахъ, который Вертлюгины величали своимъ фаэтономъ; изъ него выпрыгнула Агриппина Львовна, какъ рѣзвое дитя вспорхнула на лѣстницу и, не останавливаясь въ лакейской, пробѣжала прямо въ диванную, въ которой Марья Дмитріевна домѣривала послѣдній холстъ.

— Здравствуйте, радость!—вскричала она.—Ну что, здоровы ли вы? Что ваши ваперы?

— То есть головныя боли?.. Слава Богу, прошли! — отвѣчала Мирошева.—Милости прошу садиться! Вы однѣ пріѣхали?

— Одна.

— А чтожъ Илья Сергѣичъ?

— Ахъ, не говорите! Онъ мнѣ ужасть надоѣлъ!.. Представьте, какой онъ посадилъ себѣ вздоръ въ голову: не хочетъ никуда выѣзжать по воскресеньямъ! Говоритъ, что это день субботній, и мы должны всѣ отдыхать... Субботній!... Да развѣ мы жиды?

— Можетъ быть, онъ усталъ послѣ обѣдни?

— Нѣтъ, совсѣмъ не то! У него ужь такое опрокинутое понятіе, такія дурацкія фантазіи и такая тѣснота въ головѣ, что онъ подчасъ бываетъ безпримѣрно несносенъ.

— И вы это говорите не шутя!—сказала Мирошева съ удивленіемъ.

— О, нѣтъ,—отвѣчала Агриппина Львовна,—я вамъ говорю въ настоящую. Когда я вышла за него замужъ, я была совсѣмъ ребенкомъ и не могла еще резонировать; но потомъ, какъ подвинулась въ свѣтъ и разняла глаза... о, тогда я увидѣла, какая разница между нимъ и человѣкомъ хорошаго тона! Мой папенька, конечно, старикъ добрый, но мнѣ съ нимъ бываетъ до смерти скучно.

— Агриппина Львовна,—прервала Мирошева съ ужасомъ,—что вы это говорите? Вѣдь онъ вашъ мужъ!

— Мужъ!.. Такъ чтожъ? Ахъ, радость, какъ вы забавны... Вы уморительны!.. Да развѣ оттого, что онъ мой мужъ, мнѣ должно быть съ нимъ весело?... Вотъ славно!.. Ну, разумѣется, я, какъ жена, обязана любить его и соблюдать вѣрность; но не зѣвать, когда мы съ нимъ въ тетъ-а-тетѣ! Да кто можетъ отъ меня этого требовать?.. Ужь не прикажете ли намъ ворковать какъ голубкамъ?.. Фуй, какъ это смѣшно!.. Да это было бы, просто, дурачиться по дѣдовски.

— А я такъ не понимаю, какъ можетъ быть скучно съ мужемъ, котораго любишь?

— Это оттого, радость, что вы всегда жили въ деревнѣ; а если бы вы хотя разъ отретировались въ свѣтъ, то заговорили бы совсѣмъ другое.

— Не думаю.

— Да что объ этомъ!.. Гдѣ ваша Варенька?

— Пошла гулять по саду.

— Гулять? И, вѣрно, съ Владиміромъ Ивановичемъ?

— Да его у насъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?—прервала съ живостію Агриппина Львовна. —А я была увѣрена... я точно видѣла его верховую лошадь.

— Гдѣ?

— Тамъ, на задахъ, у вашей деревни.

— Такъ, можетъ быть, онъ идетъ пѣшкомъ.

— Какъ же я его не обогнала?.. Однакожъ, я вамъ надѣлала большую конфузію, Марья Дмитріевна. Занимайтесь, радость, вашимъ дѣломъ, занимайтесь!.. А я пойду погуляю.

Агриппина Львовна, не дожидаясь отвѣта, повернулась на одной ножкѣ, шмыгнула вонъ изъ комнаты и въ нѣсколько прыжковъ очутилась въ саду. Она въ пять минутъ обѣжала всѣ дорожки, обшарила всѣ куртины, осмотрѣла каждый кустикъ—Вареньки нигдѣ нѣтъ!

— Они, вѣрно, въ рощѣ,—шепнула Вертлюгина.— Отъ деревни есть прямая дорожка на гору.

Агриппина Львовна побѣжала въ рощу,—никого нѣтъ, все тихо... Но вотъ какъ будто бы стало наносить вѣтеркомъ что то похожее на человѣческіе голоса... Это они!... Невнятные звуки становятся понемногу яснѣе... вотъ ужь они близко... Агриппина Львовна притаила дыханье, подобрала платье и, какъ балетная танцовщица, зашагала на пальчикахъ. Случалось ли вамъ видѣть, какъ лягавая со-

бака, почуявъ дичь, вдругъ останавливается неподвижно, поднимаетъ уши, потомъ... Да нѣтъ, это сравненіе никуда не годится: собака—животное доброе и благородное. Представьте себѣ голодную замореную кошку, которая крадется къ своей добычѣ; видите ли, какъ осторожно передвигаетъ одну лапку за другою, какъ вытягивается въ нитку, ползетъ, какъ сверкаютъ ея лукавые глаза, какъ она облизывается и расправляетъ свои когти?.. Вотъ точно такъ же подкрадывалась и ползла Агриппина Львовна. Она была увѣрена, что ея соперница гуляетъ вмѣстѣ съ Владиміромъ Ивановичемъ, слѣдовательно, могла подслушивать ихъ разговоръ и потомъ растерзать Вареньку, не когтями, — благодаря Бога, когтей у насъ нѣтъ,—но за то есть языкъ, который замѣняетъ ихъ отличнымъ образомъ.

Я много разъ говорилъ вамъ объ этомъ хопровскомъ холмѣ и его рощѣ, но ни разу не упомянулъ объ одномъ прелестномъ мѣстечкѣ, гдѣ Варенька любила отдыхать и читать книгу, разумѣется, тогда еще, когда она не находила никакого особеннаго удовольствія смотрѣть по два часа сряду на усадьбу Ивана Никифоровича Кирсанова. Это была небольшая площадка на полугорѣ, или, лучше сказать, уступъ, окруженный со всѣхъ сторонъ густымъ лѣсомъ и сплошными кустами. Отъ этого уступа гора подымалась почти отвѣсно, аршинъ на десять кверху; по крутому обрыву росли молоденькіе дубки; изъ нихъ два или три наклонились широкимъ навѣсомъ надъ деревянною скамьею, приставленною къ самому утесу; по правую ея сторону змѣилась узенькая тропинка, по лѣвую—журчалъ горный ключъ, прокладывая изгибистое и крутое русло свое между деревьями; у самой скамьи онъ обрывался внизъ аршина на два и образовалъ своимъ паденіемъ небольшой водопадъ, котораго ровный и постоянный шумъ располагалъ невольно къ тихой задумчивости. Въ этомъ то живописномъ и уединенномъ мѣстечкѣ сидѣли на скамьѣ Варенька и Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ. Подлѣ нихъ стояла Дуняша и, наклонясь надъ ручьемъ, смотрѣла съ дѣтскимъ любопытствомъ, какъ листочки и цвѣты, которые она бросала въ воду, захлестывались волнами, вертѣлись, крутились и, вмѣстѣ съ пѣною, быстро исчезали изъ глазъ. Владиміръ держалъ Вареньку за руку и говорилъ ей *ты*... Не бойтесь за нихъ: въ ихъ душахъ не было ни одного чернаго пятна, ихъ разговоръ могли слыщать ангелы небесные.

— Да, Варенька,—говорилъ Владиміръ:— да, мой милый другъ, я не теряю надежды: Богъ милостивъ! Батюшка меня любитъ, ты ему нравишься..

— И онъ ничего не подозрѣваетъ?—прервала Варенька.

— Совершенно ничего. Я не хочу тебя обманывать: если-бъ онъ имѣлъ хотя небольшое подозрѣніе, то мы не могли бы съ тобою видѣться. Батюшка добръ, честенъ, благороденъ; но эта несчастная мысль, что богатому и чиновному человѣку неприлично породниться съ бѣднымъ и неизвѣстнымъ дворяниномъ, совершенно завладѣла его душою.

— Для чего ты не хочешь, Владиміръ, чтобъ я во всемъ открылась маменькѣ?

— Для того, мой другъ, что она скажетъ объ этомъ отцу твоему, и намъ должно будетъ разстаться. Я знаю Кузьму Петровича: онъ почтетъ тогда обязанностію отказать мнѣ отъ дома, если я не пріѣду къ вамъ вмѣстѣ съ отцомъ моимъ. Нѣтъ, Варенька, дай мнѣ прежде какъ-нибудь умилостивить батюшку; пусть онъ думаетъ, что не только твои родители, но даже ты сама не подозрѣваешь любви моей; пусть онъ гнѣвается на одного меня: я сынъ, меня онъ ничѣмъ обидѣть не можетъ, но если онъ оскорбитъ отца твоего, если они поссорятся?..

— Сохрани Господи!

— А это непремѣнно случится, если отецъ мой не будетъ приготовленъ...

— Но почему ты надѣешься, что онъ согласится когда-нибудь?..

— А вотъ почему, мой другъ! Батюшка слыветъ человѣкомъ гордымъ и даже нѣсколько крутымъ; но, несмотря на это, сердце его не холодно: онъ тоскуетъ о томъ, что у него нѣтъ семьи, и очень желаетъ, чтобъ я женился... Не пугайся, мой ангелъ! Противъ воли отца я не женюсь даже и на тебѣ: больше этого онъ не долженъ ничего отъ меня требовать. Какъ ни священна власть родителя, но и онъ не можетъ сказать мнѣ: «Сынъ, лги передъ Богомъ! Когда ты будешь стоять въ церкви рядомъ съ женщиной, которая противна душѣ твоей,—говори, что ты ее любишь!» Да развѣ это возможно? Когда священникъ спроситъ меня отъ имени самого Бога, не обѣщался ли я другой женщинѣ, могу ли я изъ повиновенія къ отцу сказать: «нѣтъ», когда я тысячу разъ клялся, что кромѣ тебя никто въ мірѣ не

будетъ моею женою?.. Да, мой другъ, насъ могутъ разлучить, но заставить меня любить другую никто не можетъ.

Варенька молчала; на глазахъ ея блистали слезы, а, кажется, ей вовсе было не грустно.

— Я до сихъ поръ ничего не намекалъ батюшкѣ, — продолжалъ Владиміръ:—черезъ мѣсяцъ мнѣ должно будетъ ѣхать въ Москву...

— Черезъ мѣсяцъ!—повторила робко Варенька.

— Да, мой другъ! Онъ хочетъ, чтобъ я или женился, или опять вступилъ на службу. Изъ Москвы я напишу ему все. Я знаю его крутой нравъ; здѣсь онъ не далъ бы мнѣ выговорить ни слова, а письмо дѣло другое: письму нельзя закричать: «молчи!»

— Но его можно не дочитать, изорвать, бросить!—прошептала Варенька.

— Тогда я напишу другое, третье. Онъ прочтетъ же хотя одно до конца, и когда увидитъ, что дѣло идетъ не о минутной прихоти, но о всемъ моемъ земномъ счастіи, то вспомнитъ, можетъ быть, что покойная матушка была такъ же бѣдна, какъ ты, и что, несмотря на это, онъ и теперь безъ слезъ о ней говорить не можетъ.

— Но если онъ не тронется твоими просьбами?..

— Тогда я не женюсь ни на комъ, и умру твоимъ суженымъ.

О, какое неизъяснимое блаженство изобразилось въ глазахъ Вареньки!

— Моимъ суженымъ!—повторила она.—Да чего еще я могу просить у Бога? Ты станешь вѣчно любить меня... да, вѣчно!.. Здѣсь ты будешь женихомъ моимъ, а тамъ Господь назоветъ насъ супругами! Онъ услышитъ мою молитву: твоя невѣста умретъ прежде тебя... О, какъ она будетъ тебя дожидаться!.. Владиміръ!—продолжала Варенька, снимая съ пальца золотое колечко,—можетъ быть, въ церкви Божіей намъ не удастся никогда обмѣняться кольцами, надѣнь его и дай мнѣ свое. Если ты самъ не снимешь его съ моего пальца, то, будь увѣренъ, мой другъ, я лягу съ нимъ въ могилу!

Они помѣнялись кольцами.

— Что это?—сказала вполголоса Дуняша.—Тамъ что то хрупнули сухіе листья!.. Ужь не змѣя ли ползетъ?

Дуняша не ошиблась: въ трехъ шагахъ отъ нихъ за кустомъ притаилась змѣя; только эта змѣя умѣла гово-

— Да, Варенька,—говорилъ Владиміръ:— да, мой милый другъ, я не теряю надежды: Богъ милостивъ! Батюшка меня любитъ, ты ему нравишься..

— И онъ ничего не подозрѣваетъ?—прервала Варенька.

— Совершенно ничего. Я не хочу тебя обманывать: если-бъ онъ имѣлъ хотя небольшое подозрѣніе, то мы не могли бы съ тобою видѣться. Батюшка добръ, честенъ, благороденъ; но эта несчастная мысль, что богатому и чиновному человѣку неприлично породниться съ бѣднымъ и неизвѣстнымъ дворяниномъ, совершенно завладѣла его душою.

— Для чего ты не хочешь, Владиміръ, чтобъ я во всемъ открылась маменькѣ?

— Для того, мой другъ, что она скажетъ объ этомъ отцу твоему, и намъ должно будетъ разстаться. Я знаю Кузьму Петровича: онъ почтетъ тогда обязанностію отказать мнѣ отъ дома, если я не пріѣду къ вамъ вмѣстѣ съ отцомъ моимъ. Нѣтъ, Варенька, дай мнѣ прежде какъ-нибудь умилостивить батюшку; пусть онъ думаетъ, что не только твои родители, но даже ты сама не подозрѣваешь любви моей; пусть онъ гнѣвается на одного меня: я сынъ, меня онъ ничѣмъ обидѣть не можетъ, но если онъ оскорбитъ отца твоего, если они поссорятся?..

— Сохрани Господи!

— А это непремѣнно случится, если отецъ мой не будетъ приготовленъ...

— Но почему ты надѣешься, что онъ согласится когда-нибудь?..

— А вотъ почему, мой другъ! Батюшка слыветъ человѣкомъ гордымъ и даже нѣсколько крутымъ; но, несмотря на это, сердце его не холодно: онъ тоскуетъ о томъ, что у него нѣтъ семьи, и очень желаетъ, чтобъ я женился... Не пугайся, мой ангелъ! Противъ воли отца я не женюсь даже и на тебѣ: больше этого онъ не долженъ ничего отъ меня требовать. Какъ ни священна власть родителя, но и онъ не можетъ сказать мнѣ: «Сынъ, лги передъ Богомъ! Когда ты будешь стоять въ церкви рядомъ съ женщиной, которая противна душѣ твоей,—говори, что ты ее любишь!» Да развѣ это возможно? Когда священникъ спроситъ меня отъ имени самого Бога, не обѣщался ли я другой женщинѣ, могу ли я изъ повиновенія къ отцу сказать: «нѣтъ», когда я тысячу разъ клялся, что кромѣ тебя никто въ мірѣ не

будетъ моею женою?.. Да, мой другъ, насъ могутъ разлучить, но заставить меня любить другую никто не можетъ.

Варенька молчала; на глазахъ ея блистали слезы, а, кажется, ей вовсе было не грустно.

— Я до сихъ поръ ничего не намекалъ батюшкѣ, — продолжалъ Владиміръ:—черезъ мѣсяцъ мнѣ должно будетъ ѣхать въ Москву...

— Черезъ мѣсяцъ!—повторила робко Варенька.

— Да, мой другъ! Онъ хочетъ, чтобъ я или женился, или опять вступилъ на службу. Изъ Москвы я напишу ему все. Я знаю его крутой нравъ; здѣсь онъ не далъ бы мнѣ выговорить ни слова, а письмо дѣло другое: письму нельзя закричать: «молчи!»

— Но его можно не дочитать, изорвать, бросить!—прошептала Варенька.

— Тогда я напишу другое, третье. Онъ прочтетъ же хотя одно до конца, и когда увидитъ, что дѣло идетъ не о минутной прихоти, но о всемъ моемъ земномъ счастіи, то вспомнитъ, можетъ быть, что покойная матушка была такъ же бѣдна, какъ ты, и что, несмотря на это, онъ и теперь безъ слезъ о ней говорить не можетъ.

— Но если онъ не тронется твоими просьбами?..

— Тогда я не женюсь ни на комъ, и умру твоимъ суженымъ.

О, какое неизъяснимое блаженство изобразилось въ глазахъ Вареньки!

— Моимъ суженымъ!—повторила она.—Да чего еще я могу просить у Бога? Ты станешь вѣчно любить меня... да, вѣчно!.. Здѣсь ты будешь женихомъ моимъ, а тамъ Господь назоветъ насъ супругами! Онъ услышитъ мою молитву: твоя невѣста умретъ прежде тебя... О, какъ она будетъ тебя дожидаться!.. Владиміръ!—продолжала Варенька, снимая съ пальца золотое колечко,—можетъ быть, въ церкви Божіей намъ не удастся никогда обмѣняться кольцами, надѣнь его и дай мнѣ свое. Если ты самъ не снимешь его съ моего пальца, то, будь увѣренъ, мой другъ, я лягу съ нимъ въ могилу!

Они помѣнялись кольцами.

— Что это?—сказала вполголоса Дуняша.—Тамъ что то хрупнули сухіе листья!.. Ужь не змѣя ли ползетъ?

Дуняша не ошиблась: въ трехъ шагахъ отъ нихъ за кустомъ притаилась змѣя; только эта змѣя умѣла гово-

рить почти такъ же хорошо, какъ та, которая соблазнила нашу прародительницу.

— Теперь мы съ тобой обручены!—сказалъ Владиміръ, глядя съ неизъяснимою любовью на Вареньку.—О, мой ангелъ невинности и доброты,—продолжалъ онъ, цѣлуя ея руку,—какая женщина въ мірѣ можетъ сравняться съ тобою?.. О, повѣрь, мой другъ, еслибъ любовь моя не была такъ же чиста, какъ эти ясныя небеса... еще чище—какъ душа твоя, я не смѣлъ бы тогда прикоснуться къ тебѣ, не смѣлъ бы взять тебя за руку!. Какъ я люблю тебя здѣсь, такъ можно будетъ мнѣ любить тебя тамъ, гдѣ нѣтъ ничего земного. Ты правду сказала, Варенька: если не въ здѣшнемъ, такъ въ будущемъ мірѣ Господь благословитъ союзъ нашъ.

Тутъ вдругъ раздался шумъ между деревьями; кто то закричалъ пискливымъ и дребезжащимъ голосомъ:

— Варенька... Варенька! Гдѣ ты?

И вслѣдъ за этимъ Вертлюгина выскочила изъ-за куста.

— Ахъ, здравствуйте, Агриппина Львовна! — сказала Варенька, вставая.

— Ты здѣсь, шерочка?.. А я ужь искала, искала тебя!.. Мусье Кирсановъ!..

Владиміръ очень холодно поклонился.

— Да что это вы, Агриппина Львовна? — спросила Варенька, глядя съ удивленіемъ на зеленоватое лицо Вертлюгиной, по которому выступили красныя пятна.—Здоровы ли вы?

— Ахъ, нѣтъ, радость,—у меня ужасные вертижи; да я же такъ устала, входя на эту гору... Откуда вы взялись, Владиміръ Ивановича?.. Тамъ дома и не знаютъ, что вы здѣсь.

— Я оставилъ мою лошадь у деревни, хотѣлъ пройти садомъ.

— И повстрѣчились съ Варенькой? Какъ это счастливо!.. Ахъ, какъ здѣсь хорошо!.. Безпримѣрно хорошо!.. Гора, ручеекъ, каскадъ, пастушка и пастушекъ... одни, вдвоемъ...

— А я то что, Агриппина Львовна,—прервала Дуняша,—озечка что-ль?

— А, миленькая, ты здѣсь?.. Ты не можешь себѣ представить, шерочка, какъ я люблю твою Дуняшу! Она такая ловкая плутовочка... такая услужливая!.. Однакожъ, пойдемте же въ домъ. Марья Дмитріевна васъ дожидается, то-есть тебя, Варенька; а вы, мусье Кирсановъ, будете для нея сюрпризомъ... Пойдемте, пойдемте!

Вертлюгина схватила подъ руку Вареньку и потащила ее внизъ по тропинкѣ.

— Ахъ, радость, какъ ты неосторожна!—шепнула она ей на ухо.—Ну если бъ это не я?..

Варенька посмотрѣла съ удивленіемъ на Вертлюгину.

— Ребенокъ!—продолжала Агриппина Львовна.—Назначить свиданіе днемъ! Это обыкновенно дѣлается вечеромъ... Да не безпокойся, объ этомъ никто не узнаетъ.

— Я васъ не понимаю,—сказала Варенька.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. А скажи-ка мнѣ, которое это рандеву?.. Да не краснѣй, шерочка! Фуй, какъ это глупо!... Кто нынче отъ этого краснѣетъ?

Тутъ подошелъ Владиміръ, и Вертлюгина замолчала. Когда они вошли въ домъ, Агриппины Львовна закричала издали Мирошевой:

— А мы ведемъ къ вамъ еще гостя!

— А, Владиміръ Ивановичъ!—сказала Марья Дмитріевна.—Гдѣ онѣ васъ поймали?

— Я была, маменька, въ рощѣ, а Владиміръ Ивановичъ...

— Ходилъ по саду,—подхватила Вертлюгина, толкнувъ локтемъ Вареньку.—Вѣрно, ему сказали, Марья Дмитріевна, что вы гуляете... мы съ нимъ повстрѣчались...

— Что вы, Агриппина Львовна?—возразила Варенька.—Да вы пришли...

— И, полно, радость, что объ этомъ говорить?.. Марья Дмитріевна, знаете ли вы новость? Курочкинъ пріѣхалъ назадъ изъ Саратова, и не даромъ туда ѣздилъ: онъ купилъ на имя сына, въ десяти верстахъ отъ насъ, сто душъ крестьянъ. Каковъ?

— Чтожъ тутъ удивительнаго?... У него денегъ много.

— Теперь Алексѣй Панкратьичъ Курочкинъ авантажный женихъ, помѣщикъ!.. Это правда, онъ какъ то неловко обдѣланъ и въ умѣ не очень развязанъ; да вѣдь дѣвушка беретъ мужа не для того, чтобъ онъ съ нею куртизанилъ, а для того, чтобъ быть барыней, жить своимъ домомъ...

— И имѣть друга на всю жизнь,—прервала Мирошева.

— И, радость, что вы! Да развѣ всѣ мужья бываютъ друзьями своихъ женъ?.. Я объ этомъ вовсе не думала, когда выходила замужъ.

— Что это вы, Агриппина Львовна! — прервала съ не-

удовольствіемъ Мирошева.—Что вы это говорите? Да развѣ вы не любите своего мужа?

— Теперь—да... конечно, люблю... время... привычка... а тогда,—божусь, я была къ нему совершенно равнодушна.

— Такъ зачѣмъ же вы съ нимъ обвѣнчались?

— Да онъ такъ долго за мной ухаживалъ, такъ надоѣлъ мнѣ своими деклараціями, что я вышла за него замужъ,—ну, право, для того только, чтобъ какъ-нибудь отъ него отвязаться!.. Однакожъ, прощайте: Илья Сергѣевичъ дожидается меня обѣдать.

— Да постойте, подадутъ вашъ экипажъ, — сказала Марья Дмитріевна, провожая свою гостью.

— Не безпокойтесь, онъ стоитъ у крыльца. Прощай, шерочка!... Ты, радость, сегодня безпримѣрно хороша!... Не правда ли, мусье Кирсановъ?.. Прощайте!..

Вертлюгина нырнула въ лакейскую, спрыгнула съ крыльца, вскочила въ свой курятникъ и помчалась домой. Черезъ полчаса послѣ нея отправился и Кирсановъ. Разставаясь съ Варенькой, онъ почувствовалъ необычайную тоску. Владиміръ, уходя, всегда говорилъ ей: «до свиданья», а тутъ невольнымъ образомъ сказалъ: «прощайте». Варенька поблѣднѣла; у него также замерло сердце... Бѣдное, оно предчувствовало долгую разлуку!

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

XVII.

Агриппина Львовна начинаетъ дѣйствовать. Дипломатическое препорученіе Андрею Ѳомичу Зарубкину.

Есть русская поговорка, которую, вѣроятно, сочинили разоренные крестьяне какого-нибудь мотоватаго помѣщика: «красны боярскія палаты, да у мужиковъ то избы на боку». Вторую половину этой пословицы можно было приложить къ *Выглядовкѣ*—деревнѣ, принадлежащей Ильѣ Сергѣевичу Вертлюгину, потому что въ ней почти всѣ избы точно были на боку; но зато и боярскія палаты нельзя было назвать *красными*. Это были старинныя хоромы, похожія на фабрику, длинныя, низкія, покрытыя драньемъ, съ рѣдкими окнами, въ которыхъ нѣсколько лѣтъ ужь сряду каждое разбитое стекло замѣнялось лоскутомъ синей оберточной бумаги. Хотя этотъ господскій домъ не вовсе еще лежалъ на боку, однакожъ, время покривило его немного на сторону; но это вовсе не пугало хозяина, онъ даже увѣрялъ всѣхъ, что домъ нарочно такъ построенъ въ подражаніе *какой то* башнѣ, которая въ *какомъ то* италіанскомъ городѣ была воздвигнута *какимъ то* знаменитымъ архитекторомъ лѣтъ двѣсти тому назадъ и стоитъ доселѣ безъ всякой поправки. Илья Сергѣевичъ былъ человѣкъ ученый и, какъ изволите видѣть, всегда опирался на какой-нибудь истори-

ческій фактъ; но въ этомъ случаѣ онъ сдѣлалъ бы гораздо лучше, еслибъ подперъ свой домъ не фактомъ, а бревномъ, потому что, не смотря на убѣдительное краснорѣчіе хозяина, едва ли бы кто-нибудь рѣшился, не перекрестясь и не сотворя молитвы, переступить черезъ порогъ его дома. Однажды пріятель нашъ, Зарубкинъ, которому Вертлюгинъ подарилъ двѣ бутылки рябиновки, увлеченный первымъ порывомъ своей благодарности, сказалъ сквозь слезы:

— Батюшка, я вѣчно буду молить Господа Бога, да охраняетъ Онъ нашъ входъ и исходъ, и да устроитъ паденіе дома вашего въ тотъ часъ, когда ни вы, ни супруга ваша не будете находиться подъ его кровлею.

Внутренность этого дома совершенно отвѣчала его наружности. Въ одной изъ его комнатъ, которая нѣкогда была оклеена обоями, на широкомъ, обитомъ полинялою кожею, канапе лежала, облокотясь граціозно на руку, Агриппина Львовна Вертлюгина; противъ нея сидѣлъ на стулѣ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ; у окна стоялъ Ванюша, племянникъ Вертлюгиныхъ, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, котораго они, за неимѣніемъ дѣтей, хотѣли усыновить; онъ строгалъ столовымъ ножемъ дранички и прилаживалъ ихъ къ листу сѣрой бумаги. Вырѣзанный изъ переплета старой азбуки клапанъ и длинный мочальный хвостъ, который лежалъ на полу, ясно изобличали дерзкое намѣреніе юноши пустить подъ небеса бумажнаго змѣя съ трещоткою. Этотъ предпріимчивый молодой человѣкъ такъ былъ занятъ своимъ дѣломъ, что вовсе не обращалъ вниманія на частые возгласы своей тетушки, которая, вѣроятно, по одной ужь привычкѣ, повторяла безпрестанно: «Ваничка, шалишь!»

— Да ужь не извольте безпокоиться!—говорилъ Зарубкинъ.—Я человѣкъ не такой: меня хоть въ тиски, такъ не выболтаю.

— То-то, мой свѣтъ, смотри! — повторила вполголоса Агриппина Львовна.—Это дѣло секретное... Ваничка, шалишь!.. Вотъ что, душенька, я хочу тебѣ сказать... Да что это у тебя, Андрей Ѳомичъ, шляпа такая измятая?

— Давно ношу, сударыня.

— Я прошлаго мѣсяца купила папенькѣ пуховую шляпу, —чрезвычайно хорошая шляпа, только на голову ему нейдетъ, а тебѣ будетъ впору.

— Какъ не быть, матушка!

— Такъ я завтра ее къ тебѣ пришлю. Носи на здоровье.

— Покорнѣйше васъ благодарю! Пожалуйте ручку, матушка!

— Теперь слушай же, что я тебѣ скажу... Ваничка, шалишь!.. Ты вѣдь часто бываешь у Ивана Никифоровича Кирсанова?

— Бываю таки, сударыня; его высокороліе изволитъ меня жаловать.

— И, вѣрно, помогаетъ?

— Случается.

— Вотъ, изволишь видѣть... Такъ поэтому, мой свѣтъ, ты долженъ изъ одной благодарности открыть ему глаза.

— А что такое, Агриппина Львовна?

— А то, что онъ подъ носомъ ничего не видитъ. Его сынъ посадилъ себѣ въ голову безпримѣрную глупость; а онъ такъ теменъ умомъ, что даже этого и не замѣчаетъ.

— Ахъ, батюшки! Да чтожъ такое?

— Конечно, такихъ мужчинъ, какъ Владиміръ Ивановичъ, въ Москвѣ очень много, и онъ ужь слишкомъ о себѣ думаетъ.

— Есть тотъ грѣшокъ!

— Я знаю двухъ-трехъ кавалеровъ поавантажнѣе его, которые напрашивались ко мнѣ въ болванчики, умирали по мнѣ отъ любви...

— Не диво, сударыня, не диво!

— И еслибъ мнѣ не жаль было его отца, такъ я бы ни слова не сказала... Какъ ты думаешь: этотъ московскій франтикъ врѣзался по уши!.. Ну, отгадай, въ кого онъ влюбился?.. Ваничка, шалишь!..

— Да онъ, мнѣ кажется, что то около васъ ухаживалъ.

— Фуй, какое дурачество! Стану я связываться съ такимъ мальчикомъ!.. Онъ влюбленъ въ Вареньку Мирошеву! Да еще какъ! Пассія, совершенная пассія!

— Что вы говорите?

— Ну, да! Эта дѣвочка совсѣмъ его завертѣла, съ ума свела...

— Ахъ, батюшки! А вѣдь на взглядъ то какая скромница!

— Кто?.. Она?.. Что ты, Андрей Ѳомичъ!.. Кокетка... самая тонкая кокетка!.. Исподтишка...

— Скажите, пожалуйста!.. Вотъ ужь подлинно въ тихомъ омутѣ.

ческій фактъ; но въ этомъ случаѣ онъ сдѣлалъ бы гораздо лучше, еслибъ подперъ свой домъ не фактомъ, а бревномъ, потому что, не смотря на убѣдительное краснорѣчіе хозяина, едва ли бы кто-нибудь рѣшился, не перекрестясь и не сотворя молитвы, переступить черезъ порогъ его дома. Однажды пріятель нашъ, Зарубкинъ, которому Вертлюгинъ подарилъ двѣ бутылки рябиновки, увлеченный первымъ порывомъ своей благодарности, сказалъ сквозь слезы:

— Батюшка, я вѣчно буду молить Господа Бога, да охраняетъ Онъ нашъ входъ и исходъ, и да устроитъ паденіе дома вашего въ тотъ часъ, когда ни вы, ни супруга ваша не будете находиться подъ его кровлею.

Внутренность этого дома совершенно отвѣчала его наружности. Въ одной изъ его комнатъ, которая нѣкогда была оклеена обоями, на широкомъ, обитомъ полинялою кожею, канапе лежала, облокотясь граціозно на руку, Агриппина Львовна Вертлюгина; противъ нея сидѣлъ на стулѣ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ; у окна стоялъ Ванюша, племянникъ Вертлюгиныхъ, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, котораго они, за неимѣніемъ дѣтей, хотѣли усыновить; онъ строгалъ столовымъ ножемъ дранички и прилаживалъ ихъ къ листу сѣрой бумаги. Вырѣзанный изъ переплета старой азбуки клапанъ и длинный мочальный хвостъ, который лежалъ на полу, ясно изобличали дерзкое намѣреніе юноши пустить подъ небеса бумажнаго змѣя съ трещоткою. Этотъ предпріимчивый молодой человѣкъ такъ былъ занятъ своимъ дѣломъ, что вовсе не обращалъ вниманія на частые возгласы своей тетушки, которая, вѣроятно, по одной ужь привычкѣ, повторяла безпрестанно: «Ваничка, шалишь!»

— Да ужь не извольте безпокоиться!—говорилъ Зарубкинъ.—Я человѣкъ не такой: меня хоть въ тиски, такъ не выболтаю.

— То-то, мой свѣтъ, смотри! — повторила вполголоса Агриппина Львовна.—Это дѣло секретное... Ваничка, шалишь!.. Вотъ что, душенька, я хочу тебѣ сказать... Да что это у тебя, Андрей Ѳомичъ, шляпа такая измятая?

— Давно ношу, сударыня.

— Я прошлаго мѣсяца купила папенькѣ пуховую шляпу, —чрезвычайно хорошая шляпа, только на голову ему нейдетъ, а тебѣ будетъ впору.

— Какъ не быть, матушка!

— Такъ я завтра ее къ тебѣ пришлю. Носи на здоровье.

— Покорнѣйше васъ благодарю! Пожалуйте ручку, матушка!

— Теперь слушай же, что я тебѣ скажу... Ваничка, шалишь!.. Ты вѣдь часто бываешь у Ивана Никифоровича Кирсанова?

— Бываю таки, сударыня; его высокороліе изволитъ меня жаловать.

— И, вѣрно, помогаетъ?

— Случается.

— Вотъ, изволишь видѣть... Такъ поэтому, мой свѣтъ, ты долженъ изъ одной благодарности открыть ему глаза.

— А что такое, Агриппина Львовна?

— А то, что онъ подъ носомъ ничего не видитъ. Его сынъ посадилъ себѣ въ голову безпримѣрную глупость; а онъ такъ теменъ умомъ, что даже этого и не замѣчаетъ.

— Ахъ, батюшки! Да чтожъ такое?

— Конечно, такихъ мужчинъ, какъ Владиміръ Ивановичъ, въ Москвѣ очень много, и онъ ужь слишкомъ о себѣ думаетъ.

— Есть тотъ грѣшокъ!

— Я знаю двухъ-трехъ кавалеровъ поавантажнѣе его, которые напрашивались ко мнѣ въ болванчики, умирали по мнѣ отъ любви...

— Не диво, сударыня, не диво!

— И еслибъ мнѣ не жаль было его отца, такъ я бы ни слова не сказала... Какъ ты думаешь: этотъ московскій франтикъ врѣзался по уши!.. Ну, отгадай, въ кого онъ влюбился?.. Ваничка, шалишь!..

— Да онъ, мнѣ кажется, что то около васъ ухаживалъ.

— Фуй, какое дурачество! Стану я связываться съ такимъ мальчикомъ!.. Онъ влюбленъ въ Вареньку Мирошеву! Да еще какъ! Пассія, совершенная пассія!

— Что вы говорите?

— Ну, да! Эта дѣвочка совсѣмъ его завертѣла, съ ума свела...

— Ахъ, батюшки! А вѣдь на взглядъ то какая скромница!

— Кто?.. Она?.. Что ты, Андрей Ѳомичъ!.. Кокетка... самая тонкая кокетка!.. Исподтишка...

— Скажите, пожалуйста!.. Вотъ ужь подлинно въ тихомъ омутѣ.

— Да хороши и папенька съ маменькой: выставили свою дочку, завели молодого человѣка... Фуй, какъ это низко!..

— Да-съ, не хорошо-съ! Да и онъ то что? Помилуйте!.. Ну, конечно, кто бабушкѣ не внукъ: въ его года и мы волочились, да только съ разборомъ. Дѣло другое, женщина замужняя... вашихъ лѣтъ, напримѣръ... а то дѣвица!.. Вѣдь онъ знаетъ, что батюшка его человѣкъ надменный и никакъ не позволитъ ему жениться на какой-нибудь бѣдной дворяночкѣ.

— А если они обвѣнчаются безъ его согласія?.. Вѣдь эти Мирошевы на все пойдутъ.

— Чего добраго! Женишекъ богатый.

— Вотъ то-то и есть!.. Надобно предупредить Ивана Никифоровича... Мнѣ, право, жаль этого старика... Ваничка, шалишь!

— Да вашъ племянникъ ужь давно ушелъ, матушка,— сказалъ Зарубкинъ, оборотясь къ окну.—Вонъ, посмотрите, она на дворѣ изволитъ змѣя спускать... Какой онъ у васъ прелюбезный!.. Такъ чтожъ, сударыня: вы думаете, что должно намекнуть объ этомъ Ивану Никифоровичу?

— Непремѣнно.

— Охъ, матушка, боюсь! Онъ человѣкъ горячій: разгнѣвается, подыметъ такую пыль, что и Господи!

— Да тебѣ то какое до этого дѣло?

— Какъ, сударыя, какое? Ну, какъ на первыхъ то порахъ онъ вздумаетъ на мнѣ сердце сорвать?... Вѣдь Иванъ Никифоровичъ какъ разсердится, матушка, такъ никто не подвертывайся! У него же предурной обычай: схватитъ за воротъ, начнетъ подергивать, трясти... а вы изволите видѣть, кафтанишка то у меня какой!.. Одинъ одинехонекъ, да и тотъ еле живъ.

— Ну, хорошо, хорошо: я выпрошу тебѣ у Ильи Сергѣевича его старый плисовый кафтанъ...

— Покорнѣйше благодарю! Пожалуйте ручку, матушка!

— А когда ты отправишься къ Кирсанову?

— Когда прикажете.

— Ступай сегодня.

— Слушаю-съ. Только, осмѣлюсь вамъ доложить, да чтожъ я ему скажу?

— Ну, разумѣется, что сынъ его влюбленъ, что онъ хочетъ жениться на Варенькѣ..

— А какъ онъ спроситъ: съ чего ты это взялъ?

— Съ чего!.. Вотъ славно—съ чего! Да объ этомъ всѣ говорятъ; да они точно женихъ съ невѣстою... Ты можешь даже сказать, что они помѣнялись кольцами...

— Вотъ ужь до чего дошло?.. Ай, ай!

— Да, да, я сама это видѣла.

— Прошу покорно, ужь и до колечекъ дѣло дошло! Ну!!!

— Только смотри, Андрей Ѳомичъ, чтобъ обо мнѣ и въ поминѣ не было. Я не люблю мѣшаться ни въ какія авантюры... Если ты меня какъ-нибудь приплетешь, такъ не видать тебѣ ни кафтана, ни шляпы... да и самъ ко мнѣ на глаза не кажись, слышишь?

— Слышу, Агриппина Львовна, слышу. Трудненько же будетъ это дѣльце сладить... Развѣ какъ-нибудь стороною.

— Ужь тамъ какъ хочешь; да ты на это мастеръ, я вѣдь тебя знаю: прикинешься дурачкомъ, да такъ какъ будто бы спроста...

— Да-съ!.. Надобно ужь какъ-нибудь этакъ... обиняч-комъ что-ль...

Тутъ въ сосѣдней комнатѣ раздался гнѣвный голосъ Ильи Сергѣевича:

— Разбойница!.. негодная!.. воровка!..—кричалъ онъ, отдѣляя каждое слово, вмѣсто запятой, презвучною и полновѣсною пощечиною.

— Что тамъ такое?—сказала Агриппина Львовна, вставая съ канапе.

Двери отворились, и Вертлюгинъ вошелъ въ комнату, таща за собою пожилую бабу въ затрапезной кофтѣ.

— Вотъ, матушка,—сказалъ онъ,—полюбуйся: крадетъ нашъ сахаръ!

— Возможно ли!.. Аѳимья! — вскричала Агриппина Львовна.—Ахъ ты мерзкая! Да какъ ты смѣла?..

— Виновата, сударыня!—завопила Аѳимья, повалясь въ ноги.—Грѣхъ попуталъ, матушка!.. Унесла одну щепоточку,—видитъ Богъ, одну!..

— Да на что тебѣ, негодная?

— Сестра хвораетъ, матушка! Вотъ ужь третій день, какъ за языкъ повѣшенная, наладило одно, да одно: хочу чаю съ сахаромъ, да и только!

— Смотри пожалуй, — прервалъ Вертлюгинъ, — ужь и это холопское отродье смѣетъ думать о чаѣ да о сахарѣ!

Добро, добро, голубушка, вотъ я съ тобой поговорю!... Пошла вонъ!

Аѳимья съ горькимъ плачемъ вышла изъ комнаты.

— Ты, папенька, засталъ ее, какъ она воровала?— спросила Агриппина Львовна.

— Нѣтъ, душенька.

— Такъ почему же ты узналъ?

— Почему? Въ томъ то и дѣло!—сказалъ съ довольною улыбкою Илья Сергѣевичъ.—Вотъ, изволишь видѣть: давно уже приходило мнѣ въ голову... ты иногда въ торопяхъ забудешь сахаръ запереть, я также объ этомъ не подумаю,—долго ли до грѣха! Крупный сахаръ у насъ весь на счету,—украсть не посмѣютъ; а мелкій,—кто его знаетъ: стянутъ ложечку-другую, и не замѣтишь. «Постой»—подумалъ я,—«ужь поймаю же вора въ горохѣ!» Вотъ какъ мы отпили чай, я сахарницу не заперъ, а взялъ, да посадилъ въ нее живую муху, захлопнулъ крышкою и отдалъ Аѳимьѣ. Этакъ черезъ часъ, говорю: «Подай-ка мнѣ сюда мелкаго сахару». Аѳимья подала, я открылъ—эге, и слѣдъ простылъ!.. «Открывала ты сахарницу!»—спросилъ я.— «Нѣтъ, батюшка, не открывала; зачѣмъ открывать?»—«Не открывала? А муха то гдѣ?»—«Муха?.. Какая муха, батюшка?»—«А вотъ какая!»... Да въ щеку, да въ другую, да въ третью! Она и бухъ въ ноги:—«Виновата!»

— Ну, хитро придумано! — вскричалъ Зарубкинъ.— Ахъ ты, Господи, какого караульщика приставили!... Знаете ли что?.. Сахару у меня и въ заводѣ нѣтъ, а случаются, про гостей, кой-какія потѣшки...

— Каленые орѣшки!—подхватилъ съ громкимъ смѣхомъ Вертлюгинъ.

— Нѣтъ, сударь, не погнѣвайтесь,—возразилъ Зарубкинъ:—у насъ таки водятся и винныя ягоды и черносливъ; изюмецъ есть... Дайте-ка и я въ мой ларецъ муху посажу...

— Посади, любезный,—улика вѣрная.

— Я что то часто замѣчаю, что моя Марѳа облизывается... Не даромъ!... Да ужь я же ее теперь подстерегу!... Ну, исполать вамъ, батюшка Илья Сергѣевичъ!... Эку штуку выдумали!... Однакожъ, прощенья просимъ!... Счастливо оставаться, ваше высокоблагородіе!...

— Куда ты?

— Къ его высокородію, Ивану Никифоровичу.

— Смотри, онъ опять тебя съ Афонькой стравитъ.

— Нѣтъ, сударь, мы теперь живемъ съ нимъ въ ладахъ: я прошлый разъ далъ ему грошъ. Куда, пострѣлъ, падокъ на деньги!... Прощайте, сударыня, Агриппина Львовна!... Дай Богъ вамъ добраго здоровья!

XVIII.

Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ.

Я такъ часто заставляю васъ, любезные читатели, переноситься вмѣстѣ со мною изъ одного дома въ другой, что мнѣ, право, передъ вами совѣстно. Давно ли вы были въ волостной конторѣ села Вознесенскаго, потомъ у Мирошевыхъ, потомъ у Вертлюгиныхъ, а теперь я хочу васъ вести въ домъ къ Ивану Никифоровичу Кирсанову. Хотя все эти походы совершаются въ одномъ вашемъ воображеніи, но вѣдь и оно можетъ, наконецъ, устать. Въ театрѣ, при перемѣнѣ декорацій, вамъ не для чего напрягать вашихъ умственныхъ способностей, а стоитъ только открыть глаза, и вы видите передъ собой море, лѣсъ, царскіе чертоги, хижину пастуха; однимъ словомъ, все то, что авторъ желаетъ вамъ показать. Но слова не живопись; какъ бы подробно и съ какою бы точностію ни сталъ я вамъ описывать домъ Кирсанова, а все вашему воображенію надобно будетъ работать, то есть облекать въ вещественный образъ мой сухой разсказъ, составленный изъ однихъ словъ, которыя сами по себѣ, безъ этого необходимаго олицетворенія, ничего не значатъ. Вотъ почему я не хочу вамъ описывать огромный деревянный домъ Ивана Никифоровича, его обширный садъ, оранжереи и всякія другія полубарскія затѣи, которымъ не было конца; а скажу только слова два о той комнатѣ, дальше которой мы съ вами не пойдемъ. Это была обширная зала въ два свѣта; нѣсколько дюжинъ стульевъ, обитыхъ кожею, разставлено было вдоль стѣнъ; съ потолка опускались двѣ люстры изъ граненаго хрусталя, которыя, вмѣстѣ съ пятью подстольниками изъ фальшиваго мрамора, были предметомъ удивленія для всего новохоперскаго уѣзда. На подстольникахъ стояли жирандоли, также обвѣшанные хрустальными фестонами и бахромою; въ нихъ вставлены были свѣчи; не прогнѣвайтесь,—сальныя. Въ старину на этотъ счетъ вовсе были неприхотливы. На внутренней стѣнѣ, которая отдѣ-

ляла залу отъ столовой, висѣло нѣсколько фамильныхъ портретовъ, которые, по своей художественной отдѣлкѣ, могли стать рядомъ съ нынѣшними вывѣсками столичныхъ парикмахеровъ и цырюльниковъ. Посреди нихъ висѣла превеликая картина, изображающая родословное древо знаменитаго рода дворянъ Кирсановыхъ. Вѣтвей на немъ и сучковъ было безъ числа, а у самаго корня, на красномъ овальномъ щитѣ, было написано крупными буквами имя князя Фофана, княжъ Андреева сына, Башлыка, отъ котораго произошли князья Башлыковы—обиняки, и дворяне Кирсановы.

Въ одномъ углу залы сидѣлъ, на низенькой скамеечкѣ, человѣкъ лѣтъ сорока, или, лучше сказать, какое то среднее существо между человѣкомъ и обезьяною. На немъ былъ нѣмецкій кафтанъ, сшитый изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ, чрезъ плечо лента изъ желтой крашенины, а на груди огромная звѣзда, вырѣзанная изъ синей бумаги. Глупое лицо его нельзя было назвать рѣшительно безобразнымъ; но въ немъ было все какъ то не на своемъ мѣстѣ: когда онъ смѣялся, можно было подумать, что онъ плачетъ; а если плакалъ, то вы побились бы объ закладъ, что онъ смѣется. Глаза его, изъ которыхъ одинъ былъ выше другого, казались нѣсколько помѣшанными, но иногда въ нихъ мелькаго что то похожее на лукавство и хитрость. По залѣ ходилъ взадъ и впередъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти пяти, толстый и высокій, въ зеленомъ сюртукѣ съ отложнымъ краснымъ воротникомъ и красномъ камзолѣ съ золотымъ шитьемъ. Онъ казался весьма еще бодрымъ и свѣжимъ старикомъ, держалъ себя прямо и, судя по всему, былъ нѣкогда прекраснымъ мужчиною. Нѣсколько багровый, но здоровый румянецъ покрывалъ его полныя щеки; волосы на головѣ его были сѣдые, но голубые на выкатѣ глаза блистали изъ подъ черныхъ густыхъ бровей; это придавало его лицу какое то суровое выраженіе, которое изрѣдка смягчалось весьма ласковою и привѣтливою улыбкою. Вообще, можно было сказать, что физіономія этого старика была пріятная, и если-бъ надменный взглядъ его не изобличалъ повременамъ души гордой и исполненной властолюбія, то его можно бы было полюбить съ перваго взгляда. Кажется, не нужно говорить моимъ читателямъ, что этотъ старикъ, въ красномъ бригадирскомъ камзолѣ— Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, а уродливое созданіе въ пест-

ромъ нѣмецкомъ кафтанѣ, — дуракъ, или шутъ его, Аѳонька.

Иванъ Никифоровичъ съ четверть часа уже ходилъ по залѣ, посматривалъ съ нетерпѣніемъ на окна и шепталъ про себя:

— До сихъ поръ не ѣдетъ!... Вѣрно, шагомъ тащится, разбойникъ!... Да его вѣкъ не дождешься!...

Онъ остановился и свистнулъ. Человѣкъ шесть лакеевъ, изъ которыхъ одни были въ сюртукахъ, а другіе въ охотничьихъ кафтанахъ, вбѣжали изъ разныхъ дверей въ залу.

— Что, Еремка еще не пріѣхалъ?—спросилъ баринъ.

— Никакъ нѣтъ-съ!—отвѣчали разомъ нѣсколько голосовъ.

— Экій дурачина!... Увалень проклятый!... Лишь только пріѣдетъ, сейчасъ ко мнѣ!... Ступайте вонъ!

Слуги исчезли, а Кирсановъ началъ попрежнему ходить по комнатѣ. Прошло еще нѣсколько минутъ, онъ опять остановился и сказалъ:

— Эй ты, дуракъ!

— Что, баринъ?—отвѣчалъ Аѳонька.

— Пой что-нибудь.

Аѳонька уперся въ колѣна локтями обѣихъ рукъ, уложилъ на ладони свое уродливое лицо и, покачивая головою, затянулъ громкимъ голосомъ:

Шеринъ да беринъ, лисъ трафа,
Фаръ, фаръ, фаръ, фаръ, люди еръ арцы,
Шинда шиндара,
Транду трундара,
Подъ вили, вили,
Донъ, донъ, донъ...

— Молчи, дуракъ!—закричалъ Кирсановъ.— Надоѣлъ!... Наладилъ все одно, да одно.

— Да я вѣдь, баринъ, это выучилъ въ Москвѣ,—сказалъ Аѳонька.—Помнишь, какъ по улицамъ то ходили всякіе черти?

— А что, Аѳонька, хороши были эти уличныя игрища, а?

— Какъ же, баринъ! И домà возили на колесахъ, и нечистая вся сила на козлиныхъ ножкахъ!... А народу то, народу!... А черти то коверкаются, ломаются, да поютъ: хамъ хамъ, хамъ!... А я такъ дрожкой и дрожу!...

— Чего-жъ ты боялся?

— Да какъ же чего?... А какъ черти то схватятъ, да утащутъ!...

— Дурачина! Вѣдь это матушка-царица давала потѣхи народу; это были люди наряжены...

— Да, какъ бы не такъ! Я у нихъ и когти видѣлъ.

— Ну, ну, хорошо!... Спой-ка лучше эту пѣсенку— вотъ что въ Москвѣ выучилъ тебя пріятель мой, Александръ Петровичъ Сумароковъ.

— Саввушка Савва?

— Ну, да.

Аѳонька закинулъ назадъ голову какъ собака, которая собирается выть, и завопилъ протяжнымъ голосомъ:

Саввушка грѣшенъ,
Савва повѣшенъ.
Саввушка Савва,
Гдѣ твоя слава?

***

Больше не падки
Мысли на взятки.
Саввушка Савва,
Гдѣ твоя слава?

***

Гдѣ дѣлися цуки,
Деньги и крюки?
Саввушка Савва,
Гдѣ твоя слава?

— Полно, перестань!— прервалъ Кирсановъ.—Ты этакъ тоску наведешь: голосишь какъ о покойникѣ.

— А какъ же тебѣ еще пѣть то?—сказалъ Аѳонька, начиная сердиться.

— Какъ пѣть, дурацкая образина! Вѣдь тебя учили.

— Да чтожъ ты, въ самомъ дѣлѣ, лаишься!... Видишь, баринъ какой!... Ивашка бѣлая рубашка!...

— Молчи, дуракъ!

— Да ты что за разумникъ такой?... Дубина этакая... чертова перечница!

— Ну, ну, полно, не сердись!

— Да, не сердись!... Что я тебѣ дуракъ что-ль достался?

— Нѣтъ, нѣтъ, Аѳонюшка, ты умница!... Да что этотъ

Еремка не ѣдетъ? А, насилу!...— продолжалъ Кирсановъ, увидя входящаго слугу.—Гдѣ ты шатался до сихъ поръ, негодяй?

— Нигдѣ, батюшка,— отвѣчалъ слуга:—я прямехонько изъ города. Сейчасъ только почту разобрали. Къ вамъ, сударь, письмо изъ Воронежа,—прибавилъ онъ, вынимая запечатанный пакетъ изъ кармана.

— Изъ Воронежа?... Подай!... Такъ и есть—отъ Залуцкаго!... Пошелъ вонъ!

Кирсановъ сорвалъ печать, прочелъ нѣсколько строкъ, и лицо его просіяло; онъ продолжалъ читать письмо съ большимъ удовольствіемъ, и когда кончилъ, то сказалъ вполголоса:

— Ну, слава Богу, дѣло идетъ на ладъ!... Авось я породнюсь съ моимъ стариннымъ другомъ... Дочь его хороша собою... она, вѣрно, понравится Володѣ... Аѳонька, сегодня тебѣ лишнюю чарку вина!...

— А пить, баринъ, какъ?—спросилъ дуракъ, вскочивъ со своей скамеечки.—Чай, опять соломинкою?

— Нѣтъ, пей, какъ хочешь.

— Ай да баринъ!:.. Ай да Ваничка голубчикъ! — закричалъ дуракъ, прыгая по комнатѣ и пощелкивая пальцами.

— Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ! — доложилъ слуга, войдя въ залу.

— Зови сюда

Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что нашъ пріятель, Зарубкинъ, несмотря на свой видный ростъ, умѣлъ при случаѣ какъ то съеживаться и становиться карлою: въ лакейской онъ сдѣлался ниже цѣлымъ вершкомъ, въ столовой убавился на цѣлую четверть, свернулся кольцомъ и, не разгибаясь, дошелъ до залы.

— Здравствуй, братецъ!—сказалъ Кирсановъ.—Какъ поживаешь?

— Слава Богу, батюшка, ваше высокородіе, слава Богу!...

— Ну что, голубчикъ, какъ идутъ твои дѣлишки?

— Благодарю моего Создателя, — изряднехонько, сударь, изряднехонько! Жнитво покончилъ, хлѣбишко убралъ...

— И, вѣрно, взялъ казенную поставку? Вѣдь у тебя, чай, десятинъ пять или шесть господской запашки?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокородіе: тринадцать десятинъ съ осьминникомъ.

— Эге, братъ!... Да ты этакъ въ разоръ разоришь свою отчину!. Вѣдь въ твоей деревнишкѣ всего на всего душенокъ пятнадцать?

— Тяголъ много, сударь; больше чѣмъ на половину.

— Вотъ что!... Не хочешь ли водки?

— Если милость ваша будетъ...

— Эй, малый!... Настойки!... Вѣдь ты, братецъ, вейновую не пьешь?

— Куда намъ, сударь!... Да и что въ ней толку?... Сласти много, а проку мало.

Въ продолженіе этого разговора, Аѳонька подкрался потихоньку сзади къ Андрею Ѳомичу, схватилъ его за косичку, дернулъ и закричалъ:

— Здравствуй, баринъ!

— Шалишь, дуракъ!—сказалъ Кирсановъ.

— Ничего, батюшка, ничего! — прервалъ Зарубкинъ.— Мы съ нимъ пріятели... Здравствуй, Аѳонюшка!... Ну, что, учишься ли ты грамотѣ?

— Учусь!... Да что то не дается.

— Эхъ ты, голова, голова!... Да развѣ ты не знаешь, что ребятишекъ сѣкутъ, когда учатъ азбукѣ?... Вели ка себя высѣчь, такъ и тебѣ грамота дастся.

— Ой ли?... Да я и такъ ужъ умѣю по складамъ.

— Право?... Ну ка сложи: баринъ.

— Пожалуй!... Буки... буки... азъ—ба... ба... арцы иже—ри... ри... нашъ еръ—нъ... баринъ.

— Такъ, Аѳоня, такъ!... Да ты это затвердилъ. Сложика: Зарубкинъ.

— Изволь!... Добро икъ—ду... ду... арцы азъ—ра... ра... како еръ—къ... Зарубкинъ.

— Ай да Аѳоня!—сказалъ съ громкимъ смѣхомъ Иванъ Никифоровичъ. Славно, славно! Грошъ за мной!

— Да ужь за тобой, баринъ, грошей то много. Ты только сулишь.

— На, вотъ, возьми гривенникъ.

— Гривенникъ?—вскричалъ Аѳонька.—Ахъ, батюшки, и впрямь гривенникъ!... Да я куплю себѣ корову... двѣ коровы!... Молока то будетъ у меня... сметаны... творогу!.., Баринъ, пусти меня на село. Антипка кривой продаетъ телушку,—неравно перекупятъ!..

— Ну, ступай, дуракъ, ступай,—купи себѣ корову!

Аѳонька бросился опрометью вонъ изъ комнаты. Межъ тѣмъ подали настойки; Зарубкинъ выпилъ, закусилъ и остался вдвоемъ съ Кирсановымъ, который сѣлъ на стулъ и пригласилъ Андрея Ѳомича также сѣсть.

— А что, ваше высокородіе,—сказалъ Зарубкинъ,—здоровъ ли Владиміръ Ивановичъ?

— Слава Богу.

— Вѣрно, его нѣтъ дома?... Чай, у Мирошевыхъ.

— Нѣтъ, кажется, онъ у себя въ комнатѣ.

— Такъ, видно, сегодня онъ будетъ у Мирошевыхъ послѣ обѣда.

— Не знаю.

— Я думаю, что такъ.

— А почему-жъ ты это думаешь? Развѣ у нихъ кто-нибудь именинникъ?

— Нѣтъ, сударь! Да ужь если Владиміръ Ивановичъ не изволилъ поѣхать къ Мирошевымъ по утру, такъ, должно быть, поѣдетъ послѣ обѣда.

— Да что ты наладилъ, братецъ: Мирошевы да Мирошевы!... Ну, конечно, Володя къ нимъ ѣздитъ, да не каждый же день.

— Кто-съ? Владиміръ Ивановичъ?... Помилуйте: одна заря вгонитъ, другая выгонитъ.

— Съ чего ты это взялъ, братецъ?

— И самъ видалъ, сударь, и отъ другихъ слышалъ. Да мало ли что говорятъ,—всего не переслушаешь.

— А что такое говорятъ?—спросилъ Кирсановъ, нахмуривъ брови.

— Да такъ!... Вотъ, изволите видѣть: толкуютъ и то и се... одинъ говоритъ одно, другой—другое... Ну, конечно, вы, батюшка, Иванъ Никифоровичъ, должны это знать лучше всѣхъ...

— Да что такое я долженъ знать?—сказалъ съ нетерпѣніемъ Кирсановъ.

— Мое дѣло сторона, ваше высокородіе,—продолжалъ Зарубкинъ.—Я въ это не мѣшаюсь... Начнутъ мнѣ говорить и такъ и этакъ, а я себѣ на умѣ: не мое, дескать, дѣло! Человѣкъ я маленькій, что мнѣ въ это путаться!...

— Слушай, Зарубкинъ,—прервалъ Кирсановъ,—или говори толкомъ, или пошелъ вонъ!

— Да вы не извольте гнѣваться, ваше высокородіе! Я

вѣдь не то, чтобъ этакъ,—знаете, что-нибудь такое... а такъ... что слышу, то и говорю.

— Да чтожъ ты такое слышишь?

— Оно, сударь, какъ будто бы и на дѣло походитъ: каждый день да каждый день... барышня такая прекрасная...

— Тьфу ты пропасть!... Да о комъ ты говоришь?

— Не я, батюшка, видитъ Богъ, не я!... Люди говорятъ. Что, дескать, за рѣдкость такая, коли молодой человѣкъ влюбится въ молодую барышню?... Это сплошь бываетъ.

— Что, что?

— Никакой, дескать, фигуры нѣтъ, что Владиміру Ивановичу приглянулась Варвара Кузьминична Мирошева; не диво, если онъ на ней и женится...

— Кто?... Мой сынъ?... На Мирошевой?... Зарубкинъ, да ты ужь не хлебнулъ ли черезъ край?... Что ты за дичь порешь?

— Право такъ, ваше высокородіе!... Что будешь дѣлать... говорятъ: когда, дескать, отецъ не воспрещаетъ ему житьмя жить у Мирошевыхъ, такъ, видно, и онъ не прочь отъ этого.

— Кто?... Я?... — вскричалъ Кирсановъ, вскочивъ со стула...—Чтобъ я позволилъ своему сыну жениться на этой дворяночкѣ?... Да кто это осмѣлился сказать?

— Не я, батюшка!... Помилуйте, не я!... Я пересказываю только чужія рѣчи... Мало ли что говорятъ: и слово то они другъ другу дали, и колечками обмѣнялись...

— Послушай, Зарубкинъ, если ты врешь... если это вздоръ.

— Охъ, батюшка!... Не извольте только гнѣваться... все это точно правда.

— Возможно ли?... Какая дерзость!... И эти однодворцы... эти нищіе смѣютъ думать!. .

— Кто-жъ себѣ добра не желаетъ, сударь? Женихъ такой выгодный...

— Полно врать, братецъ! Не о женитьбѣ рѣчь!... Владиміръ долженъ знать, что это невозможно... Да неужели его до такой степени ослѣпили, завели...

— Да, батюшка, да!... Какъ заяцъ въ тенеты попался!... Молодость!...

— Въ самомъ дѣлѣ, безпрестанно у Мирошевыхъ... дѣвочка прехорошенькая... И что за глупость на меня напала!... Какъ будто бы я самъ не бывалъ никогда молодъ!... Впро-

чемъ, можетъ быть это такъ... минутная прихоть... дурачество... здѣсь же никого нѣтъ... Но зайти такъ далеко!... Вѣрно, и она въ него влюблена... Жаль бѣдную дѣвочку!... Э, да что объ этомъ думать!... Сами виноваты: не въ свои сани не садись!... Эй, малый, позови сюда Владиміра Ивановича.

— Батюшка, ваше высокородіе,—сказалъ съ испуганнымъ видомъ Зарубкинъ,—вы ужь очной то ставки не извольте дѣлать... не выводите меня!... Вѣдь это я такъ—съ дуру проболтался!

— Не безпокойся, братецъ.

— Какъ, сударь, не безпокоиться!... Да вѣдь Мирошевы меня поѣдомъ съѣдятъ!... И что за нелегкая меня дернула!... Экій я глупый человѣкъ!...

— Да ужь я тебѣ говорю, братецъ, никто объ этомъ не узнаетъ.

— Однакожъ, все-таки, Иванъ Никифоровичъ, позвольте мнѣ, батюшка, уйти. Вѣдь если Владиміръ Ивановичъ застанетъ меня здѣсь, такъ ему не трудно будетъ догадаться...

— Въ самомъ дѣлѣ, ступай-ка, братецъ, домой. Я хочу поговорить наединѣ съ моимъ сыномъ.

Зарубкинъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ дверямъ, потомъ воротился и сказалъ Кирсанову:

— Осмѣлюсь вамъ доложить, батюшка, ваше высокородіе: ужь чтобы вы не изволили дѣлать, а, чуетъ мое сердце, Мирошевы догадаются...

— Такъ чтожъ? Пускай себѣ догадываются!... Стану я церемониться съ этою мелкопомѣстною дрянью!... Да я имъ въ глаза скажу...

— Вы дѣло другое, сударь; да мнѣ то плохо придетъ, коли они догадаются, что отъ меня сыръ-боръ загорѣлся... Мирошевы, по своей милости, никогда меня не оставляли. Вотъ, напримѣръ, объ Рождествѣ присылали ко мнѣ всегда свиную тушу... того, сего... а теперь, если какъ-нибудь провѣдаютъ...

— Ну, ну, хорошо, братецъ, я велю приказчику давать тебѣ по двѣ свиныя туши.

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокородіе!... Также, сударь, въ именины, бывало—то кадочку масла пришлютъ, то холстинки на бѣлье...

— Эхъ, братецъ, надоѣлъ!...

— Я уже не говорю, батюшка, что каждое Свѣтлое воскресенье ..

— Тьфу пропасть!... Ну, считай все это за мною, только убирайся проворнѣй!

— Иду, сударь, иду!... Дай Богъ вамъ много лѣтъ здравствовать!... Прощенья прошу, батюшка!

Зарубкинъ отправился, а Кирсановъ, оставшись одинъ, началъ снова ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

XIX,

СЛУЖАЩАЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

Во все продолженіе этого разсказа, каждый разъ, когда я или мои дѣйствующія лица упоминали объ Иванѣ Никифоровичѣ Кирсановѣ, то всегда говорили о немъ какъ о человѣкѣ крутомъ и очень вспыльчивомъ; слѣдовательно, моимъ читателямъ должно показаться весьма страннымъ, что онъ, узнавъ о любви своего сына къ бѣдной дворяночкѣ, не взбѣсился, не вышелъ изъ себя и не надѣлалъ никакой тревоги. На это была весьма важная причина: Иванъ Никифоровичъ умѣлъ при случаѣ весьма искусно прикинуться строгимъ отцомъ; но онъ любилъ безъ памяти Владиміра, и заочно не могъ никакъ на него сердиться, а разыгрывалъ иногда при немъ роль гнѣвнаго отца единственно только для того, чтобъ поддержать свое собственное достоинство. Вовсе неожиданный доносъ Андрея Ѳомича Зарубкина совершенно его разстроилъ; въ душѣ его боролись двѣ противоположныя страсти: любовь и гордость. Разумѣется, безъ помощи Божіей, дурная страсть почти всегда задушитъ въ насъ всякое доброе чувство: что ни говорила любовь въ пользу несчастнаго Владиміра, какъ ни напоминала она Кирсанову, что и его жена была также бѣдная дѣвушка,—ничто не помогло; неистовый голосъ сатанинскаго грѣха заглушалъ ея тихій шопотъ,—гордость одолѣла; и когда Владиміръ вошелъ въ комнату, его встрѣтила не ласковая улыбка добраго отца, не утѣшительный взоръ сострадания, но холодный, неумолимый взглядъ, въ которомъ бѣдный молодой человѣкъ могъ заранѣе прочесть свою горькую участь.

— Вы меня изволили спрашивать, батюшка? — сказалъ робкимъ голосомъ Владиміръ, замѣтивъ съ перваго взгляда, что дѣло идетъ о чемъ то важномъ.

— Да,—отвѣчалъ отрывисто Кирсановъ, продолжая ходить по комнатѣ.

Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи; наконецъ, Иванъ Никифоровичъ остановился и сказалъ:

— Владиміръ, мнѣ очень непріятно, что ты такъ легко забываешь разстояніе, которое существуетъ между тобой и какимъ-нибудь мелкопомѣстнымъ дворянчикомъ. Конечно, деревня не городъ, почему не потѣшить иногда бѣднаго сосѣда, не завернуть къ нему мимоѣздомъ; но прилично ли тебѣ, моему сыну, сдѣлаться задушевнымъ другомъ какого-нибудь Кузьмы Мирошева, быть у него ежедневно, на ряду съ отставнымъ подъячимъ Вертлюгинымъ, пьяницею Зарубкинымъ, и все это для того, чтобъ волочиться за смазливою дѣвочкой, которая, я думаю, и имени то своего порядкомъ подписать не умѣетъ.

Владиміръ поблѣднѣлъ.

— Не стыдно ли тебѣ, Володя!—продолжалъ Кирсановъ нѣсколько поласковѣе.—Что это для тебя за компанія?... Ты видишь, я все знаю. Ну, конечно, ты молодъ, здѣсь нѣтъ никакихъ развлеченій... Но если для каждой дѣвчонки, которой лицо тебѣ понравится, ты станешь забывать всѣ приличія, будешь обращаться на короткой ногѣ Богъ знаетъ съ кѣмъ...

— Я не смѣю вамъ противорѣчить, батюшка; только позвольте сказать: Мирошевы...

— Что Мирошевы? Дрянь, ничтожные люди!—прервалъ вспыльчиво Кирсановъ.—Отецъ негодяй, мать интригантка, а дочь...

— Батюшка!...

— Правда, она больше жалка, чѣмъ виновата; но отецъ и мать—эти наглые, безстыдные люди!... Ловить богатаго жениха для своей дочери, навязывать ее молодому человѣку, который ей вовсе не пара... Да нѣтъ, я напрасно ихъ называю безстыдными: они просто сумасшедшіе! И придетъ же въ голову какимъ-нибудь Мирошевымъ, что мой сынъ, единственный мой наслѣдникъ, можетъ войти въ ихъ семейство!... Безумные!... Я очень понимаю, что молодой человѣкъ не побѣжитъ прочь отъ хорошенькой дѣвочки, которая или сама вѣшается къ нему на шею, или дѣлаетъ

это по приказанію своихъ почтенныхъ родителей; но они то какъ смѣютъ думать?...

Блѣдное лицо Владиміра вдругъ вспыхнуло, и онъ сказалъ почтительнымъ, но твердымъ голосомъ:

— Батюшка, вы напрасно обижаете Мирошевыхъ. Если я заслужилъ вашъ гнѣвъ, такъ гнѣвайтесь на меня одного, а они тутъ ни въ чемъ не виноваты.

— Ни въ чемъ!—повторилъ съ презрительною улыбкою Кирсановъ.—То есть они не приставали къ тебѣ съ ножемъ къ горлу, чтобъ ты женился на ихъ дочери!

— Батюшка, вы знаете, что я всегда говорю вамъ правду... Да, я люблю Вареньку Мирошеву; но ея отецъ и мать этого не знаютъ.

— Можетъ ли это быть?

— Клянусь вамъ честью!

— Да чтожъ они, слѣпые что-ль?... Ты у нихъ каждый день...

— Какъ ихъ искренній другъ и пріятель.

— И они ничего не подозрѣваютъ?... Не стараются приманивать тебя къ себѣ въ домъ?...

— Напротивъ, батюшка: я даже не одинъ разъ замѣчалъ, что Кузьмѣ Петровичу не нравятся мои частыя посѣщенія...

— Въ самомъ дѣлѣ?...

— И если-бъ онъ только могъ подозрѣвать, что дочь его ко мнѣ неравнодушна, то, безъ всякаго сомнѣнія, отказалъ бы мнѣ отъ дому.

— Отказалъ бы отъ дому!... Кто?... Отставной поручикъ... мелкая сошка!... Мирошевъ!.. Кому?... Владиміру Ивановичу Кирсанову!.. Вотъ въ какое положеніе ты себя поставилъ!... Впрочемъ, съ его стороны это очень похвально; слѣдовательно, онъ чувствуетъ, что мой сынъ не пара его дочери, и что изъ этого волокитства ничего путнаго выйти не можетъ. Вотъ, что умно, такъ умно!... И если ты говоришь правду...

— Какъ предъ Богомъ!

— Ну, это для меня пріятно! Признаюсь, мнѣ грустно было подумать, что человѣкъ, котораго я считалъ и честнымъ и неглупымъ, можетъ забыться до такой степени. Если это такъ, то, конечно, мнѣ не въ чемъ обвинять отца и мать, но дочь... и она также ничего не замѣчаетъ?...

— Нѣтъ, батюшка: она знаетъ, что я люблю ее.

— И, вѣрно, тебѣ вовсе не трудно было найти удобный случай признаться въ этомъ?

— Ахъ, какъ вы ошибаетесь!... Я открою вамъ все, батюшка: вотъ ужь три мѣсяца, какъ я люблю Вареньку...

— То есть съ тѣхъ поръ, какъ ты въ деревнѣ?... Понимаю!... Здѣсь скучно, дѣлать нечего...

— Ахъ, батюшка!... Любовь моя...

— Добро, добро... мы объ этомъ поговоримъ послѣ!

— Вы можете мнѣ не вѣрить, однакожъ это правда: лишь только она замѣтила, что я люблю ее, то совершенно перемѣнила со мной обращеніе, стала отъ меня бѣгать...

— Право?... Ну, это похвально!... И если она дѣлала это не изъ кокетства...

— Батюшка, вы знаете ее!...

— Правда, правда, она дѣвка скромная, простодушная; да и гдѣ какой-нибудь деревенской барышнѣ ухитриться до такой степени...

— Вы не можете повѣрить, батюшка, чего мнѣ стоило узнать, что и я также ей не противенъ.

— А ты добился этого?... Бѣдная Варенька!... И какъ требовать, чтобъ она устояла противъ такого искушенія!... Ловкій молодой человѣкъ... прекрасный мужчина... Кирсановъ!.. Однакожъ, она старалась убѣгать отъ тебя, боролась съ собою... слѣдовательно, понимаетъ, какое разстояніе между ней и тобою?... Добрая дѣвушка, добрая!.. Жаль мнѣ ее!...

Въ эту минуту всѣ черты лица Ивана Никифоровича выражали такое искреннее состраданіе, что надежда ожила въ сердцѣ Владиміра.

— Я очень радъ, батюшка,—сказалъ онъ,—что вы мнѣ, наконецъ, повѣрили...

— Да, если все то правда, что ты говоришь, то, конечно, Мирошевы люди честные и весьма умно поступаютъ, что держатъ себя на своемъ мѣстѣ.

— Вы, можетъ быть, не знаете, батюшка: хотя Кузьма Петровичъ бѣдный человѣкъ, однакожъ, онъ старинный русскій дворянинъ.

— Старинный дворянинъ!... А знаешь ли ты, Владиміръ, что почти всѣ однодворцы происходятъ отъ старинныхъ дворянъ?

— Но Кузьма Петровичъ служилъ, онъ не однодворецъ...

— И Зарубкинъ служилъ, и онъ также не однодворецъ.

— Помилуйте, какъ же можно его равнять съ Мирошевыми? Если-бъ вы знали, что это за почтенное семейство!

— А ты очень ихъ любишь?

— О, чрезвычайно!

— Неправда, лжешь, Владиміръ! Быть можетъ, они, по своей простотѣ, тебя любятъ, а ты ихъ не любишь!

— Почему-жъ вы это думаете?

— Потому, что ты не имѣешь никакого сожалѣнія къ этимъ бѣднымъ людямъ; потому, что самый жестокій врагъ Мирошевыхъ не могъ бы имъ сдѣлать столько зла, сколько сдѣлалъ, или хотѣлъ имъ сдѣлать, ихъ искренній другъ и пріятель, Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ.

— Я васъ не понимаю, батюшка.

— То есть не хочешь понять. Владиміръ, посмотри на это родословное дерево нашей фамиліи: тутъ много именъ, а ни на одномъ изъ нихъ нѣтъ чернаго пятна, ни одно изъ нихъ не принадлежало безчестному человѣку. До сихъ поръ я говорилъ это смѣло, говорилъ, глядя прямо въ глаза каждому, а теперь, по милости сына...

— Да какимъ же безчестнымъ дѣломъ вы можете упрекнуть меня, батюшка?—прервалъ съ живостію Владиміръ.

— А развѣ, сударь, по вашему, не безчестный человѣкъ тотъ, кто, подъ видомъ пріязни, вкрадывается въ семейство бѣдныхъ и простодушныхъ людей, увѣряетъ ихъ въ дружбѣ, унижаетъ собственное свое достоинство, и все это для того, чтобъ вскружить голову неопытной дѣвочкѣ и погубить, если не ее, такъ ея честное имя? Эхъ, Владиміръ, этого я никогда отъ тебя не ожидалъ!

— И никогда не дождетесь, батюшка! — прервалъ съ жаромъ молодой человѣкъ.—Если я когда-нибудь сдѣлаюсь такъ подлъ и низокъ, то не называйте меня вашимъ сыномъ, откажитесь отъ меня...

— А позвольте васъ спросить, — сказалъ насмѣшливо Кирсановъ,—съ какимъ же намѣреніемъ вы волочились за этою бѣдною дѣвушкой...

— О, могу васъ увѣрить, батюшка!...

— Хорошо, хорошо; положимъ, что ты приволокнулся за нею безъ всякихъ дурныхъ намѣреній, а такъ—для забавы, чтобъ какъ-нибудь убить время... Ну, конечно, это нѣсколько извинительнѣе; но подумалъ ли ты, чего будетъ стоить эта потѣха Варенькѣ, если она, не шутя, въ тебя

влюбилась? Ты добился этого, самолюбіе твое утѣшено—прекрасно!... А чтожъ дальше?... Ты уѣдешь; любовь твоя, если ужь тебѣ угодно назвать это любовью, продолжится день, два,—положимъ, цѣлую недѣлю...

— Всю жизнь, батюшка!

— Вздоръ, сударь, вздоръ! Я лучше твоего это знаю. Ты, можетъ быть, довезешь эту любовь до Москвы, но ужь, конечно, дальше заставы она съ тобой не поѣдетъ.

— Почему вы это думаете?

— Какой смѣшной вопросъ!... Да чтожъ ты будешь дѣлать съ этою любовью? Если ты, точно, честный человѣкъ, то захочешь ли для минутной прихоти погубить навсегда бѣдную дѣвушку, покрыть вѣчнымъ стыдомъ это беззащитное семейство?...

— Но развѣ, батюшка, нельзя?...—прервалъ робкимъ голосомъ молодой человѣкъ.

— Что?... Владиміръ, вѣдь я не Варенька! Ее не трудно тебѣ увѣрить во всемъ; ты можешь ей сказать, что на небѣ два солнца, что лѣтомъ холодно, а зимою тепло; что Кирсановъ можетъ жениться на Мирошевой,—все это въ порядкѣ: молодые люди, какъ ты, обыкновенно лгутъ, а влюбленныя дѣвушку, какъ Варенька, всему вѣрятъ. Но неужели ты хочешь увѣрить и меня,—прибавилъ Иванъ Никифоровичъ, взглянувъ пристально на сына,—что это вещь возможная?... Конечно, если я умру...

— Ахъ, батюшка, что вы говорите?

— Да, впрочемъ, и это не поможетъ. Надобно, чтобъ я умеръ сегодня или завтра: тогда, можетъ быть, сгоряча, ты сдѣлаешь эту глупость; но такъ какъ я надѣюсь прожить еще, по крайней мѣрѣ, недѣли двѣ или три, такъ,—не прогнѣвайся,—можно смѣло побиться объ закладъ, что Варенька Мирошева никогда не будетъ Варенькой Кирсановой.

— Позвольте мнѣ открыть вамъ всю мою душу,—сказалъ Владиміръ.—Вы очень ошибаетесь, если думаете, что любовь моя нечто иное, какъ минутное ослѣпленіе... Нѣтъ, батюшка, это не шалость, не дурачество!...

— А чтожъ такое?...

— Чистое, глубокое чувство, основанное на уваженіи; вѣчная, пламенная любовь, которую я унесу съ собой въ могилу.

— А смѣю васъ спросить, Владиміръ Ивановичъ: въ

который разъ вы любите вѣчно и сбираетесь унести эту любовь съ собой въ могилу?

— Я никого еще не любилъ такъ, какъ люблю Вареньку. Эта любовь жизнь моя!

— Проживешь и безъ нея.

— Батюшка, если вы не хотите привести меня въ отчаяніе...

— Такъ дайте мнѣ ножъ, чтобъ я имъ зарѣзался!... Ребенокъ! Да неужели ты думаешь въ самомъ дѣлѣ, что я позволю тебѣ когда-нибудь назвать отцомъ этого помѣщика пятидесяти душонокъ, а матерью какую то оберъ-офицерскую дочь, которая, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, питалась мірскимъ подаяніемъ? Почему ты знаешь мои намѣренія?... Почему ты знаешь,—можетъ быть, я хочу, чтобъ ты вступилъ въ семейство, котораго родство сдѣлаетъ честь всему роду Кирсановыхъ? Почему ты знаешь,—можетъ быть, я далъ уже за тебя и слово?...

— Вы напрасно это сдѣлали, батюшка,—прервалъ съ твердостію Владиміръ.—Я никогда не пойду противъ вашей воли; если даже, умирая, вы запретите мнѣ жениться на Варенькѣ, то я и тогда свято исполню это приказаніе; но, клянусь вамъ также самимъ Богомъ, что никакая женщина въ мірѣ, кромѣ Вареньки, не будетъ моею женою!

— Ну, это еще мы увидимъ.

— Вспомните, батюшка: вы сами были женаты на бѣдной дѣвушкѣ.

— Безумный,—вскричалъ Иванъ Никифоровичъ,—и ты можешь равнять мать свою съ этою Мирошевой! Да знаешь ли, что это была за женщина?

Тутъ слезы заблистали въ глазахъ старика.

— Твоя мать была не человѣкъ,—продолжалъ онъ,—она какъ то ошибкою попала на эту землю: это былъ ангелъ небесный!... Благодари Бога, что ты остался послѣ нея ребенкомъ: если-бъ ты зналъ свою мать и смѣлъ бы ее сравнять съ кѣмъ-нибудь на свѣтѣ, я никогда бы тебѣ не простилъ этого.

Иванъ Никифоровичъ замолчалъ; слезы брызнули у него изъ глазъ, и онъ проговорилъ прерывающимся голосомъ:

— Вотъ ужь двадцать три года, какъ ея нѣтъ, а мнѣ все кажется, что она умерла вчера!

— Да, — прошепталъ вполголоса Владиміръ,—еслибъ матушка была жива, такъ, можетъ быть...

— Молчи!—закричалъ Кирсановъ.—Дерзкій, непокорный сынъ не долженъ смѣть произносить имени этой святой женщины!.. Будь готовъ: ты черезъ часъ ѣдешь отсюда.

Владиміръ онѣмѣлъ отъ ужаса.

— Да,—продолжалъ Иванъ Никифоровичъ,—черезъ часъ ты отправишься въ Воронежъ. Я пошлю съ тобой письмо къ другу моему, Залуцкому. Онъ зналъ тебя еще ребенкомъ; пора тебѣ покороче съ нимъ познакомиться. Черезъ недѣлю я пріѣду вслѣдъ за тобою, а ты межъ тѣмъ пріищи мнѣ домъ: мы проживемъ всю зиму въ Воронежѣ. Да прошу не заѣзжать никуда прощаться: дальніе проводы—лишнія слезы. На всякій случай не мѣшаетъ тебѣ знать, что если ты, вопреки моему приказанію, завернешь въ Хопровку, такъ я самъ туда за тобой пріѣду... Или нѣтъ: я провожу тебя до города, — это будетъ вѣрнѣе!... Ни слова! —прибавилъ Кирсановъ, замѣтивъ, что Владиміръ хотѣлъ что то сказать.—Ты ѣдешь черезъ часъ. Ступай, укладывайся!

XX.

Какъ Прохоръ Кондратьичъ узналъ отъ копіиста Вихляева, что на Кузьму Петровича подана просьба въ уѣздный судъ.

Часа черезъ полтора послѣ этого разговора, въ уѣздномъ городѣ Новохоперскѣ, по грязной улицѣ, которая вела отъ крѣпостного вала къ базарной площади, шли рядомъ два человѣка пожилыхъ лѣтъ. Миновавъ каменный соборъ, они пріостановились въ двухъ шагахъ отъ почтоваго двора, противъ царскаго кружала, то есть кабака, который былъ въ одно и то же время единственнымъ питейнымъ домомъ и харчевнею города Хоперска. Одинъ изъ этихъ двухъ прохожихъ былъ нашъ старинный знакомый, приказчикъ сельца Хопровки, а другой... Да вотъ я опишу вамъ его наружность, и вы, вѣрно, отгадаете, къ какому классу людей принадлежалъ этотъ сопутникъ и, повидимому, короткій пріятель Прохора Кондратьича. Судя по лицу, ему было лѣтъ около шестидесяти; узенькій лобъ его, съ зачесанными назадъ волосами, былъ весь покрытъ морщинами; круглый, какъ луковица, носъ, съ краснымъ отливомъ, рѣзко отдѣлялся отъ нижней части лица и подбородка, который недѣли двѣ былъ не бритъ и оброс кругомъ сѣдою

щетиною. Лѣвый глазъ его былъ косъ, правый прищуренъ, и оба безъ рѣсницъ; его правая щека и ухо были запачканы чернилами, а на длинную шею намотана какая то черная тряпичка. На немъ былъ кофейнаго цвѣта нѣмецкій кафтанъ изъ байки и канифасный, съ разорванными петлями, камзолъ; красное исподнее платье, нитяные заштопанные чулки, подбитые гвоздями башмаки, и шляпа, бывшая нѣкогда съ тремя углами, а теперь похожая на какой то войлочный лоскутъ, не имѣющій никакой формы, оканчивали этотъ классическій нарядъ, который, вѣроятно, вамъ не случалось нигдѣ видѣть, кромѣ сцены, да и то въ однѣхъ старыхъ русскихъ комедіяхъ, напримѣръ: въ «Ябедѣ» или въ «Рекрутскомъ наборѣ», гдѣ этотъ костюмъ сохранилъ еще до сихъ поръ всю историческую свою вѣрность. Я позабылъ сказать, что изъ кафтаннаго кармана выглядывала заткнутая пробкою мѣдная чернильница и привѣшенная къ ней на цѣпочкѣ трубка, также мѣдная, изъ которой виднѣлся конецъ гусинаго пера. Если вы, несмотря на всѣ описанные мною признаки, не можете отгадать званія этого господина, то я шепну вамъ на ушко, что потомки его и теперь еще разсѣяны по землѣ Русской, только они одѣваются совсѣмъ иначе, гораздо чаще брѣютъ бороду, не ходятъ по кабакамъ, а посѣщаютъ герберги, кухмистерскіе столы, *ресторацiи*, и рѣшительно не пьютъ, по крайней мѣрѣ, публично, простое хлѣбное вино, а требуютъ всегда *сотернова* и полушампанскаго... Что, узнали, наконецъ?.. Ну да, этотъ пріятель Прохора Кондратьича былъ нѣкогда *съ приписью подъячій*, а теперь служилъ штатнымъ копіистомъ въ Хопровскомъ уѣздномъ судѣ.

— Ну чтожъ ты хотѣлъ мнѣ сказать, Пафнутьичъ?— спросилъ Прохоръ своего товарища, который, по какому то неопредѣленному инстинкту, остановился противъ питейнаго дома.

— Да, любезнѣйшій, да,—отвѣчалъ подъячій, посматривая съ умильною улыбкою на двухглаваго орла:—дѣльце немаловажное!.. Какъ баринъ твой объ этомъ узнаетъ, такъ—ой, ой, ой, затылокъ то у него зачешется!

— Да что такое?

— А вотъ что: словно обухомъ по лбу!

— Кого?

— Вѣстимо, не меня: съ меня, братъ, взятки то гладки!

— Да что же ты не скажешь толкомъ?...

— Экій ты, братецъ, какой! Я человѣкъ присяжный: стану я тебѣ о судейскихъ дѣлахъ на улицѣ разсказывать. Да у меня же что то и въ горлѣ пересохло.

— Вижу, братъ Пафнутьичъ, къ чему ты приговариваешься, вижу!

— А коли видишь, такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— Ну, ну, зайдемъ.

— Зайдемъ, почтеннѣйшій!.. Да ужь кстати спроси солонинки съ хрѣномъ, такъ мы съ тобой и закусимъ.

— Изволь, любезный, такъ и быть! Да только не дурманишь ли ты меня?

— А вотъ увидишь... Эй, Анкудимъ Ѳаддеичъ,—закричалъ подъячій цѣловальнику, войдя съ Прохоромъ въ питейный домъ,—вели-ка намъ подать, вонъ туда—въ особую каморку, полъ-осьмухи пѣннику. Кондратьичъ, что солонина: съ нея обопьешься; да ужь разступись, любезный, уважь, прикажи селянку..,

— Вотъ еще—селянку!.. Полно, Панфутьичъ; ничего не видя, да ужь сталъ прихотничать!

— Ну, Прохоръ Кондратьичъ, крѣпонекъ ты!.. Да вотъ погоди, любезный,—прибавилъ подъячій шопотомъ.

Прохоръ и подъячій пріютились въ небольшомъ чуланчикѣ, сѣли за столъ; имъ подали вина, кусокъ солонины и ломоть хлѣба. Панфутьичъ выпилъ, закусилъ и сказалъ наливая себѣ вторую чарку:

— Ну, благопріятель, теперь я скажу тебѣ, въ чемъ дѣло. Третьяго дня Панкратій Лукичъ Курочкинъ подалъ челобитную на твоего барина.

— Неужели?.. Ахъ онъ ябедникъ проклятый!..

— Да, братецъ, нечего сказать, голова!

— Третьяго дня!—повторилъ Прохоръ.—Чтожъ ты мнѣ до сихъ поръ не далъ объ этомъ вѣсточки?.. А еще пріятель!

— Что пріятель, такъ досконально пріятель, любезнѣйшій! Да чтожъ прикажешь дѣлать?.. Послать мнѣ некого, а самому придти было нельзя: сегодня только изъ подъ караула выпустили; а все злодѣй секретарь, чтобъ ему въ цѣлый годъ ста рублей въ карманъ не перепало, разбойникъ этакій!.. Меня лукавый дернулъ сказать, что и онъ не напишетъ такой челобитной, какую настрочилъ Курочкинъ; ему перенесли, а онъ придрался ни къ тому, ни къ другому, да и сапоги съ меня долой!

— А ты читалъ эту просьбу?

— Какъ же!... Фу, бойко написана!

— Да, я думаю, всякихъ кляузовъ довольно...

— Ужь я тебѣ скажу!.. За стекло, любезный, да въ рамочку,—диковинка!..

— Да чего-жъ онъ отъ насъ хочетъ?

— Такъ—ничего: десятинокъ пятьсотъ земли, да поемные луга по Хопру, да за пожилое; а какъ станете тягаться, такъ попроситъ за протори, убытки и волокиты.

— Пятьсотъ десятинъ!—вскричалъ Прохоръ.—Такъ онъ хочетъ у насъ и коноплянники схватить!

— Да, пріятель, подъ самую усадьбу подъѣзжаетъ.

— Пятьсотъ десятинъ! Ахъ онъ старый беззаконникъ!

— Что ты, Кондратьичъ, какой беззаконникъ. Да онъ законы то всѣ по пальцамъ знаетъ. Ну, ужь дока!.. Какъ я сталъ въ канцеляріи читать вслухъ его просьбу, такъ всѣ рты разинули. Нашъ повытчикъ, Артемій Егорычъ Жилкинъ, ужь, кажется, дѣлецъ, его ничѣмъ не озадачишь, и тотъ промолвилъ: «Ну, честь и слава Панкратію Курочкину!.. Вотъ человѣкъ!» И подлинно: читаешь его челобитную,—любо: и складно, и ладно, словно рѣка льется. А гдѣ надобно, такъ пойдетъ такая путаница, что ты себѣ хоть тресни, а ничего не поймешь! Да будь судья хоть о семи пядей во лбу, такъ и тотъ до правды не доберется; а указы то какъ перепуталъ, указы!.. Ну, мастеръ! И Судебникъ Іоанна Васильевича поднялъ на ноги, и Уложеніе Царя Алексѣя Михайловича гласитъ то-то, и въ такомъ то году состоялся такой то сепаратный указъ; однимъ словомъ, братецъ, такая бездна всякой законности, что самъ чортъ ногу переломитъ!.. Дѣлецъ, сударь, дѣлецъ!

— Дѣлецъ!.. Сутяга этакій, кляузникъ!

— Да ты себѣ, пріятель, что ни говори, а я какъ прочелъ его челобитную, такъ въ поясъ ему поклонился.

— Есть за что.

— Уменъ, разбойникъ!

— Подлинно, разбойникъ!.. Да не удастся ему насъ ограбить.

— Ну, смотри.

— Чего тутъ смотрѣть? У насъ документы есть.

— Право? Сирѣчь купчія, межевыя книги?..

— Все было, да лѣтъ сорокъ тому назадъ сгорѣло, любезный.

— Такъ чтожъ ты говоришь?..

— Да развѣ нельзя въ Саратовѣ изъ архива копіи выправить?

— Какъ нельзя, не пожалѣйте только казны, а то, конечно... Да постой-ка, братецъ!.. Никакъ Курочкинъ то недавно былъ въ Саратовѣ?

— Всего пятый день, какъ воротился.

— Э-э-э!.. Такъ дѣло то, Кондратьичъ, плоховато!

— А что?

— Да неужели ты думаешь, онъ даромъ туда ѣздилъ? Нѣтъ, почтеннѣйшій, ужь онъ, вѣрно, дѣльце то спроворилъ!

— Какое дѣльце?

— Какое!.. Эхъ вы, зѣваки, зѣваки!.. Ступай, братъ, теперь въ Саратовъ, выправляй изъ архива копіи!..

— А почему-жъ я ихъ выправлю?.. Подарю, такъ найдутъ.

— Да, какъ же! Ищи пустого мѣста! Нѣтъ, Кондратьичъ, чай, ужь этихъ документовъ и духу не осталось. Барашка въ бумажкѣ, такъ разомъ состряпаютъ.

— Полно, Пафнутьичъ, что ты! Да развѣ можно выкрасть дѣло изъ архива?

— Зачѣмъ красть, и безъ этого не найдется.

— Что ты братецъ, какъ не найти?.. Вѣдь оно по книгамъ значится.

— Ахъ ты голова, голова!.. А мыши то на что?

— Да развѣ мыши бумагу ѣдятъ?

— Голодъ не тетка, любезный: какъ нечего кушать, такъ и бумагу съѣшь; а не то, такъ блюдо то можно поздобритъ; кой-гдѣ саломъ капнулъ, маслицемъ полилъ, такъ мыши то въ однѣ сутки изъ твоихъ документовъ такую окрошку сдѣлаютъ, что хоть рѣшетомъ сѣй!

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Прохоръ съ ужасомъ.— Да неужели есть такіе мошенники?

— Вотъ ужь тотчасъ и мошенники!.. Что ты, Прохоръ Кондратьичъ! Мошенникъ человѣкъ ошельмованный, уличенный въ воровствѣ, въ злоумышленномъ подлогѣ или въ какомъ ни есть фальшивомъ поступкѣ, а коли нѣтъ улики, такъ не смѣй никого называть мошенникомъ!.. Это, братъ, дѣло казусное,—не развяжешься.

— И какъ Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе?

— То-то, любезный! — сказалъ съ довольнымъ видомъ

Пафнутьичъ.—Ты еще всю нашу подъяческую суть не знаешь. Вѣдь нашъ братъ, приказный, человѣкъ хитеръ! Да пусть я захлебнусь этой чаркой вина, если самый послѣдній писаришка не проведетъ любого вашего умника.

— Есть чѣмъ похвастаться! Подлинно, не даромъ прозвали васъ крапивнымъ сѣменемъ, воры этакіе!.. Мало васъ на каторгу то посылаютъ!..

— Ты не ругайся, Кондратьичъ!—прервалъ подъячій.— Хоть мы съ тобой пріятели, а будь-ка здѣсь третій, такъ я бы попросилъ прислушать. Не хорошо, любезный, не хорошо!

— Да я на площади это скажу.

— На площади!.. Ахъ ты, глупый сынъ! Да знаешь ли, что за такую публичность ты и безчестьемъ не отдѣлаешься?.. Нѣтъ, Кондратьичъ, никогда не моги. И отъявленнаго вора нельзя воромъ назвать, коли ты его съ поличнымъ не поймалъ; да и тутъ еще свидѣтели потребуются... Что ты, братецъ!

— Ну, дѣлать нечего,—сказалъ Прохоръ, вставая:—надобно доложить барину, да скорѣй въ Саратовъ.

— Ступай, любезный! Можетъ статься, Панкратій Лукичъ не подумалъ объ этомъ: на всякаго мудреца есть довольно простоты. Только наврядъ!.. Человѣкъ онъ умный, дѣловой: не дастъ такого маха!.. Да куда-жъ ты, почтеннѣйшій?

— Домой. А ты себѣ допивай на здоровье свой полуштофчикъ, я за весь заплачу. Смотри же, Пафнутьичъ, если случится надобность...

— Да ужь не опасайся, любезнѣйшій! Не оставляйте только вы меня съ бариномъ, а я ужь васъ не оставлю: просьбицу чтоль написать, выправку сдѣлать, или, этакъ, копію съ судейскаго рѣшенія—все, что хочешь, пріятель. Да вѣдь безъ секретаря у васъ дѣло не обойдется, такъ если не желаете прямо, такъ можно черезъ меня. Повытчиковъ также надобно будетъ подмазать; а касательно господъ присутствующихъ, такъ баринъ твой можетъ съ ними персонально объ этомъ переговорить.

— Помилуй, братецъ!.. Да неужто всѣмъ? Этакъ и казны нашей не станетъ.

— Не все деньгами, Кондратьичъ: кой-что можно и натурою; да вотъ хоть я,—чѣмъ хочешь возьму: хлѣбомъ, баранами, птицею... и повытчики также этимъ не побрез-

гаютъ,—вѣдь все люди семейные, любезный. Засѣдателямъ—кому головку сахару, кому сукна на мундиръ... Ну, конечно, судья и секретарь статья особая; да вѣдь въ нихъ то, другъ сердечный, вся сила.

— А если въ нихъ, такъ зачѣмъ же другимъ...

— Э, братъ, видишь ты какой!.. Да какъ же это можно?.. Всякая душа пить, и ѣсть хочетъ.

— Добро, добро! Прощай, пріятель!.. Прогнѣвали мы Бога!—прибавилъ про себя Кондратьичъ, выходя изъ каморки.—Если мы отъ этого сутяги Курочкина и отгрыземся, такъ все-таки насъ порядкомъ пощиплютъ.

Когда Прохоръ вышелъ на улицу, то увидѣлъ передъ почтовымъ дворомъ запряженную тройкой кибитку съ откиднымъ верхомъ; на крыльцѣ почтоваго двора стоялъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, а въ кибиткѣ сидѣлъ Владиміръ; слуга поправлялъ привязанный на запяткахъ чемоданъ. Прохоръ подошелъ и спросилъ: куда ѣдетъ его баринъ?

— Въ Воронежъ,—отвѣчалъ слуга.

— Надолго ли?

— Кажись, надолго,—и старый баринъ на будущей недѣлѣ туда поѣдетъ.

— Вотъ что!

— Говорятъ, всю зиму тамъ проживутъ.

— Право?.. Ну, дай Богъ вамъ счастливо!

— Спасибо, Кондратьичъ!—сказалъ слуга, вспрыгнувъ на облучекъ.

Владиміръ оглянулся назадъ, увидѣлъ Прохора, хотѣлъ что то ему сказать; но ямщикъ свистнулъ, ретивые кони приняли дружно съ мѣста, и въ полминуты кибитка исчезла за облаками пыли.

Кондратьичъ торопился придти домой. У него было двѣ новости, изъ которыхъ одна только казалась ему весьма непріятною. Добрый старикъ не зналъ, что нечаянный отъѣздъ Владиміра поразитъ бѣдную Вареньку несравненно болѣе, чѣмъ Кузьму Петровича извѣстіе о началѣ тяжбы, которая могла разорить его до конца. Прохоръ нашелъ своихъ господъ за обѣдомъ. Марья Дмитріевна, которая сидѣла рядомъ съ дочерью, посматривала съ примѣтнымъ безпокойствомъ на ея болѣзненное лицо. Варенька, точно, была нездорова: она всю ночь не могла заснуть и нѣсколько разъ принималась плакать безъ всякой причины! Ее пугало какое то темное предчувствіе большого горя: сердце безпре-

станно замирало, и каждый разъ, какъ она начинала засыпать, ее будилъ какой то зловѣщій голосъ; казалось, онъ шепталъ ей на ухо: «Приготовься къ бѣдѣ, — она близка, она стучится подъ окномъ!»

— Гдѣ ты былъ, Прохоръ?—спросилъ Мирошевъ, когда Кондратьичъ вошелъ въ столовую.—Тебя нигдѣ не могли найти.

— Я былъ, сударь, въ городѣ; надобно было кой-что купить.

— Что ты такъ долго тамъ былъ?

— Да повстрѣчался, батюшка, съ знакомымъ приказнымъ, копіистомъ уѣзднаго суда, вы его изволите знать,— Семенъ Панфутьичъ Вихляевъ.

— А, знаю,—пьяница

— Да, сударь, выпить любитъ, а дѣло свое разумѣетъ. Онъ намекнулъ мнѣ что то неладное, а толкомъ сказать не хотѣлъ, такъ, дѣлать нечего, пришлось попотчевать.

— Чтожъ онъ тебѣ сказалъ?

— Да что, сударь: сосѣдушка то нашъ, Панкратій Лукичъ Курочкинъ, подалъ на васъ челобитную.

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, вотъ ужь третій день. Говорятъ, настрочилъ такую просьбу, что и подъячіе то всѣ ахнули.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Да чего же онъ хочетъ?

— Мало ли чего, сударь!.. Хочетъ отрѣзать у насъ пахотную землю по самые огороды, отнять поемные луга по Хопру, да взыскать за пожилое.

— Возможно ли?.. Ну, боится ли онъ Бога?

— Видно, что нѣтъ, сударь. Да дѣло не о томъ: надобно скорѣе съѣздить въ Саратовъ. Если я выправлю тамъ копіи съ документовъ, которые у насъ сгорѣли, такъ Курочкинъ не много возьметъ.

— Въ самомъ дѣлѣ; отправляйся сегодня, Прохоръ — мѣшкать не надобно

— Чего мѣшкать, батюшка! Мы и такъ мѣшкали довольно.

— А что?

— Да такъ-съ! Не поздно ли хватились!

— Почему же поздно? Да если и черезъ мѣсяцъ мы представимъ документы, такъ это не бѣда.

— Да, сударь, если представимъ; а коли они въ архивѣ то не найдутся?

— Какъ это можно!

— И я то же думалъ; да какъ Пафнутьичъ мнѣ порастолковалъ, какія у нихъ дѣла дѣлаются, такъ меня морозъ по кожѣ подралъ. Эти подъячіе не приведи Господи, что за народъ такой. Да любой изъ нихъ за деньги на все пойдетъ: отца родного заложитъ и продастъ.

— И, что ты, Прохоръ! Какъ будто бы между ними нѣтъ ни одного честнаго человѣка!

— Да ужь у нихъ вѣра такая, сударь: по ихнему это вовсе не грѣшно. Ну, да что говорить объ этомъ,—Богъ милостивъ!.. А, можетъ статься, и Пафнутьичъ хотѣлъ меня застращать, чтобъ я съ испугу то поставилъ ему другой полуштофикъ,—отъ него станется!.. Ну, сударь, да еще же я видѣлъ въ городѣ Владиміра Ивановича и батюшку его.

— У кого они тамъ?

— Да, я думаю, ни у кого. Я видѣлъ ихъ на почтовомъ дворѣ.

— Что такъ? Развѣ они куда-нибудь ѣдутъ?

— Иванъ Никифоровичъ поѣдетъ еще на будущей недѣлѣ, а Владиміръ Ивановичъ при мнѣ покатилъ по столбовой, такъ что и Господи!

Варенька поблѣднѣла какъ смерть.

— Куда-жъ онъ поѣхалъ? — спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Въ Воронежъ, сударь.

— Надолго ли? — подхватила съ живостію Марья Дмитріевна.

— Говорятъ, на всю зиму.

Глухой стонъ вырвался изъ груди Вареньки, глаза ея сомкнулись, и она упала безъ чувствъ на грудь своей матери.

XXI,

которую мы не совѣтуемъ пропускать нашимъ читателямъ, несмотря на то, что она, вѣроятно, покажется имъ скучнѣе другихъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я принялся разсказывать всякую всячину моимъ любезнымъ соотечественникамъ, то есть писать русскія были, романы и повѣсти,—я старался всегда

избѣгать длинныхъ разсказовъ, которые всѣ, начиная съ Тераменова разсказа, чрезвычайно скучны и утомительны. Мѣстоименіе «я» почти всегда надоѣдаетъ читателямъ, а во всякомъ разсказѣ, если я говорю и не о себѣ, то все-таки говорю отъ своего имени, слѣдовательно, очень похожу на драматическаго писателя, который, вмѣсто того, чтобъ прятаться за кулисы, выходитъ на сцену и начинаетъ самъ разговаривать съ публикою. Представьте же себѣ, какъ долженъ онъ говорить и складно и умно, чтобъ не надоѣсть зрителямъ, которые съѣхались слушать вовсе не его!.. Увѣряю васъ, что это весьма затруднительное положеніе,—и въ этомъ то непріятномъ положеніи я теперь нахожусь. Я пріучилъ васъ къ разговорамъ, а теперь долженъ снова *разсказывать*. Разумѣется, мое вступленіе, въ которомъ такъ много разсказовъ, вы прочли по необходимости, какъ читаете программу балета или афишу, для того, чтобъ познакомиться съ главными лицами представляемой пьесы; потомъ началось дѣйствіе, интересъ сталъ понемногу возрастать, и я вдругъ явлюсь къ вамъ опять съ афишею!.. А дѣлать нечего: постараюсь, по крайней мѣрѣ, чтобъ она не походила на бенефисную, то есть была бы какъ можно короче.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ послѣ отъѣзда Владиміра. Отецъ его также уѣхалъ въ Воронежъ и увезъ съ собою Андрея Ѳомича Зарубкина, чтобъ замѣнить имъ, хотя на время, своего шута Аѳоньку, съ которымъ случилось несчастіе, постигшее нѣкогда сына Дедалова, знаменитаго Икара: дураку Аѳонькѣ кто то сказалъ, что если онъ подвяжетъ себѣ два гусиныя крыла, то будетъ летать по воздуху. Дуракъ повѣрилъ, взлѣзъ на кровлю, прыгнулъ внизъ и переломилъ себѣ ногу. Агриппина Львовна Вертлюгина во все это время не была ни разу у Мирошевыхъ. Вслѣдствіе извѣстной вамъ причины, у нея разлилась желчь, и хотя она успѣла ее нѣсколько успокоить, также извѣстнымъ вамъ образомъ, но, несмотря на это, лицо у нея сдѣлалось лимоннаго цвѣта, и она должна была просидѣть почти два мѣсяца дома. Варенька не могла навѣстить ее, потому что сама занемогла очень опасно. Ее такъ поразили внезапный отъѣздъ Владиміра и намѣреніе отца его прожить всю зиму въ Воронежѣ, что она слегла въ постель. Вы можете себѣ представить, въ какомъ положеніи были бѣдные Мирошевы, когда городской лѣкарь, Адамъ Ѳо-

мичъ Думкопфъ, объявилъ имъ, что у нея жестокая простудная горячка. Хотя Мирошевы, для которыхъ любовь дочери не могла уже быть тайною, догадывались, что причиною ея болѣзни была вовсе не простуда; но какъ осмѣлиться противорѣчить единственному доктору во всемъ уѣздѣ, и при томъ нѣмцу?.. Тяжелое было тогда время для всѣхъ русскихъ больныхъ, по крайней мѣрѣ, для тѣхъ, которые хотѣли лѣчиться. Я помню еще время, когда русскій медикъ былъ въ диковинку, и почти всѣ доктора, а особливо по губерніямъ, были иностранцы. Это бы еще не бѣда: для больного національность и патріотизмъ дѣло постороннее; кто бы его ни лѣчилъ—все равно, лишь только бы вылѣчилъ. Но вотъ что было худо: по русской же пословицѣ: «на безлюдьи и Ѳома дворянинъ», каждый пріѣзжій изъ Германіи цырюльникъ называлъ себя врачемъ, и учился у насъ въ Россіи *практически* своему искусству, то есть набивалъ себѣ руку, залѣчивая до смерти и встрѣчнаго и поперечнаго. Теперь, благодаря Бога, мы завелись своими докторами, а иностранный медикъ, прежде чѣмъ получить право лѣчить нашихъ русскихъ больныхъ, долженъ доказать передъ медицинскимъ факультетомъ, что онъ умѣетъ это дѣлать по всѣмъ правиламъ науки. Конечно, и въ старину бывали исключенія, и тогда, случалось, пріѣзжали въ Россію искусные иностранные врачи, но Адамъ Ѳомичъ вовсе не принадлежалъ къ ихъ числу. Когда Мирошевы его позвали, онъ началъ съ того, что пустилъ кровь Варенькѣ; потомъ сталъ лѣчить ее отъ воспаленія. Къ счастію, господина лѣкаря потребовали для чего то въ губернскій городъ; онъ пробылъ тамъ около двухъ мѣсяцевъ, и Варенька, къ концу шестой недѣли, стала понемногу оправляться.

Кондратьичъ съѣздилъ въ Саратовъ, истратилъ довольно денегъ и воротился съ пустыми руками: бумаги, касающіяся до земель, купленныхъ прежними владѣльцами Хопровки, не нашлись въ архивѣ; только и Пафнутьичъ ошибся въ своихъ догадкахъ: ихъ не мыши скушалв, а, по наведенной справкѣ, оказалось, что лѣтъ двадцать тому назадъ, по случаю близкаго пожара, во время переноски дѣлъ изъ архива въ ближайшее безопасное мѣсто, въ числѣ утраченныхъ бумагъ, вѣроятно затеряны и вышерѣченные документы. «Если только»,—сказано въ заключеніе,—«таковые были, какъ то показываетъ, можетъ быть, облыжно,

вышеупомянутый Прохоръ Кондратьевъ, повѣренный отставного поручика, Кузьмы Петрова сына Мирошева».

Межъ тѣмъ, Панкратій Лукичъ не дремалъ; Мирошевъ также не жалѣлъ денегъ; мелкіе чиновники уѣзднаго суда и секретарь порядкомъ отъ него поживились; но, къ крайнему его удивленію, никто изъ присутствующихъ не хотѣлъ взять отъ него никакого подарка. Добрый Кузьма Петровичъ не могъ довольно нахвалиться безкорыстіемъ этихъ почтенныхъ чиновниковъ, а Прохоръ Кандратичъ покачивалъ головою.

— Эхъ, сударь, — говорилъ онъ,—видно, дѣло то наше идетъ плохо, когда намъ и съ задняго крыльца нѣтъ хода къ судьямъ.

— Тѣмъ лучше, Прохоръ: когда судья не беретъ, такъ судитъ по совѣсти.

— Да вѣдь судятся, батюшка, всегда двое.

— Такъ чтожъ?

— А то, сударь, что, взявши съ одного, съ другого не берутъ. Этакъ и судьи то не будутъ знать, на чью руку потянуть.

— Такъ ты думаешь, что Курочкинъ...

— А вы думаете, что нѣтъ?.. Спросите-ка у Пафнутьича!

— Пафнутьичъ вретъ!... Если-бъ они были взяточники, такъ стали бы брать съ обоихъ. Вѣдь секретарь беретъ же съ насъ безъ зазрѣнія совѣсти, хотя и Курочкинъ подарилъ ему лошадь.

— Секретарь дѣло другое, Кузьма Петровичъ. Ему ловко съ обоихъ шкуру драть: вѣдь онъ не судья. Если рѣшенье будетъ въ нашу пользу, секретарь скажетъ: «я дѣльце то повернулъ». А коли осудятъ насъ, такъ онъ же, мошенникъ, скажетъ: «Всемѣрно, благодѣтель, старался, да вѣдь я не присутствующій: выше лба уши не растутъ». А судьямъ какъ можно?.. Взялъ, такъ подавай голосъ въ нашу пользу. Такъ изъ этого и выходитъ, батюшка, что Курочкинъ то успѣлъ прежде забѣжать. Карманъ то у него потолще вашего. Мы головку сахару, а онъ три; мы посулимъ рубликовъ двадцать пять, а онъ гольемъ высыплетъ полсотни! Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, что Богъ дастъ въ Саратовѣ, а здѣсь намъ его не перетягать!

Кондратьичъ отгадалъ: въ уѣздномъ судѣ рѣшили тяжбу въ пользу Панкратія Лукича Курочкина. Мирошевъ взялъ

на апелляцію, и дѣло перешло въ Саратовскую гражданскую палату. Кузьма Петровичъ не хотѣлъ оставить больной дочери, и послалъ въ Саратовъ Прохора. Само по себѣ разумѣется, что подъячіе и чиновники высшаго присутственнаго мѣста изъ одной амбиціи не помирятся на какой-нибудь головкѣ сахара или двадцатипяти цѣлковыхъ. Въ нѣсколько недѣль Прохоръ истратилъ рублей двѣсти, то есть почти четвертую часть тѣхъ денегъ, которыя Мирошевы скопили на приданое Дуняшѣ. Дѣло подвигалось очень медленно: пошли справки, выправки; межъ тѣмъ наступила зима. Секретарю гражданской палаты понадобилась новая шуба; Прохоръ явился къ нему съ енотовой, а Курочкинъ принесъ медвѣжью. Секретарь взялъ обѣ, — разумѣется не въ одно время. Прохору онъ надавалъ обѣщаній, а Курочкину шепнулъ что то на ухо. На другой день Кондратьичъ встрѣтился въ рядахъ съ Курочкинымъ; Панкратій Лукичъ сторговалъ при немъ и купилъ серебряную миску и два соусника. Это было наканунѣ Филиппова дня. Прохора морозъ подралъ по кожѣ, когда онъ вспомнилъ, что предсѣдателя палаты называютъ Филиппомъ Аггѣичемъ. «Плохо дѣло!— подумалъ онъ.—Вѣдь въ мискѣ то и соусникахъ будетъ фунтовъ пятнадцать. Нѣтъ, не перетянешь!» Однакоже онъ все-таки не терялъ надежды, которую поддерживали секретарь и одинъ изъ присутствующихъ; первый потому, что находилъ въ этомъ свою выгоду; а второй потому, что былъ честный человѣкъ. Несмотря на всѣ происки Курочкина и увѣщанія предсѣдателя, который напоминалъ ему о знатномъ санѣ челобитчика,—онъ стоялъ въ томъ, что искъ графскаго повѣреннаго не имѣетъ никакого основанія, и что Мирошевъ, хотя не можетъ представить документовъ, но имѣетъ полное право владѣть землею, которую у него оспариваютъ, по праву давности, и потому, что соперникъ его не представилъ также никакихъ законныхъ актовъ, доказывающихъ, что спорная земля принадлежала когда-нибудь къ дачамъ села Вознесенскаго. Къ несчастію, мнѣніе этого присутствующаго, который всегда приходилъ въ палату пѣшкомъ, не очень уважалось другими судьями, тѣмъ болѣе, что онъ слылъ человѣкомъ вздорнымъ, безпокойнымъ и даже глупымъ, что оправдалось совершенно впослѣдствіи. Представьте себѣ: онъ прослужилъ двадцать лѣтъ въ гражданской палатѣ совѣтникомъ, а когда умеръ, такъ его не на что было хоронить! «Ну, вотъ»,—сказалъ пред-

сѣдатель, возвращаясь съ его похоронъ,—«не говорилъ ли я всегда, что покойникъ пустой человѣкъ: какъ жилъ, такъ и умеръ!»

Мирошевъ получалъ отъ Прохора довольно часто письма, которыхъ содержаніе не очень было утѣшительно: онъ безпрестанно требовалъ денегъ, а межъ тѣмъ вовсе не скрывалъ, что дѣла идутъ плохо. Во всякое другое время Мирошевъ поскакалъ бы самъ въ Саратовъ, но тогда ему было не до того: болѣзнь дочери такъ его перепугала, что онъ ни за какія земныя блага не рѣшился бы покинуть ее на однѣ сутки. Я ужь сказалъ вамъ, что Варенька стала понемногу оправляться; боясь снова огорчить отца и мать, которые начали оживать вмѣстѣ съ нею, она старалась всячески скрывать отъ нихъ настоящую причину своей болѣзни. Мирошевъ видѣлъ ясно, что всѣ прежнія опасенія его были справедливы,—и молчалъ, чтобъ не увеличить безполезнымъ упрекомъ горесть бѣдной Марьи Дмитріевны; онъ даже увѣрялъ ее, что болѣзнь дочери произошла, дѣйствительно, отъ простуды. Въ этомъ ему очень помогла Варенька, которая сказала самому доктору, что чувствовала себя не хорошо за два дня до своего обморока. Она никогда не говорила о Владимірѣ ни съ отцомъ, ни съ матерью, но за то, когда оставалась вдвоемъ съ Дуняшею, только и рѣчи было, что о немъ. Сначала все, что ни говорила Дуняша, чтобъ оправдать Владиміра, оставалось безполезнымъ, —Варенька повторяла всегда одно и то же: «Онъ уѣхалъ, не простясь со мною!» Наконецъ, Дуняша узнала стороною, то есть отъ Аѳимьи, кормилицы Владиміра, о всѣхъ подробностяхъ это внезапнаго отъѣзда.

— Знаете ли что? — сказала она Варенькѣ, улучивъ первую удобную минуту.—Вѣдь Владиміръ то Ивановичъ не самъ уѣхалъ: его увезли.

— Какъ увезли?—спросила съ удивленіемъ Варенька.

— Да такъ же!—Батюшка приказалъ запречь лошадей, да и отвезъ его въ городъ, а оттуда при себѣ отправилъ въ Воронежъ; а онъ то самъ и въ головѣ не держалъ ѣхать.

— Чтожъ это значитъ?

— Видно, кто-нибудь старику сказалъ, что Владиміръ Ивановичъ въ васъ влюбленъ. Говорятъ, въ тотъ самый день, какъ онъ уѣхалъ, батюшка съ нимъ очень шумѣлъ; Аѳимьинъ племянникъ, Ѳедька, изъ передней слышалъ, какъ

Иванъ Никифоровичъ поминалъ васъ и однажды закричалъ такимъ страшнымъ голосомъ: «Мирошевы, что Мирошевы!»

— Что ты говоришь?. Такъ онъ ужь знаетъ?

— Видно, что такъ

— Ахъ, Боже мой!

— Ну, вотъ, заплачьте объ этомъ!.. Какія вы, право, чудныя! Вѣдь надобно же было когда-нибудь узнать отцу, что его сынъ хочетъ на васъ жениться. А что это не по сердцу будетъ батюшкѣ, такъ вы знали напередъ. Самъ Владиміръ Ивановичъ вамъ объ этомъ говорилъ.

— Такъ его насильно увезли въ Воронежъ?

— Ну, разумѣется! Теперь въ Воронежъ, а тамъ, можетъ статься, и въ Москву ушлютъ. Нечего дѣлать, придется вамъ потерпѣть. Видишь, батюшка то у него медвѣдь какой!

— Бѣдный Владиміръ!

— И, барышня!.. Отцовскій гнѣвъ ничего: посердится, посердится, да перестанетъ; какъ увидитъ, что его сынъ безъ васъ жить не можетъ, такъ сжалится. Вѣдь онъ у него одинъ. Чудно только, что Владиміръ Ивановичъ къ вамъ ничего не напишетъ.

— Что ты, Дуняша!.. Да неужели ты думаешь, что батюшка позволитъ мнѣ съ нимъ переписываться?

Дуняша улыбнулась.

— Я ужь объ этомъ и прежде думала,—сказала она,— и мы условились съ Владиміромъ Ивановичемъ, что когда онъ отсюда уѣдетъ, то будетъ писать ко мнѣ; а Ѳома, который теперь вмѣсто Прохора Кондратьича ѣздитъ въ городъ, обѣщался справляться каждый разъ на почтѣ и отдавать мнѣ письма потихоньку.

— Ахъ, Дуня, что ты сдѣлала!.. Вѣдь о тебѣ могутъ и Богъ знаетъ что подумать!

— А пожалуй себѣ,—думай, что хочешь.

— Какъ ты неосторожна, мой другъ!.. И ты во все это время не получала ни одного письма?

— То то и удивительно, что ни одного.

— Ни одного!.. А вотъ ужь скоро два мѣсяца...

— Знаете ли что? Не перехватываютъ ли его письма? Чай, Иванъ Никифоровичъ такъ за нимъ и сторожитъ.

— А что ты думаешь, и въ самомъ дѣлѣ!

— Да ужь, вѣрно, такъ.

Если этотъ разговоръ не совсѣмъ успокоилъ Вареньку,

то, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ ей сноснѣе разлуку съ Владиміромъ. Отрада всѣхъ несчастныхъ—надежда, эта обманчивая и утѣшительная тѣнь, за которой мы всѣ гоняемся въ нашей жизни, и которая доведетъ потихоньку каждаго до его могилы,—снова воскресла въ душѣ Вареньки. Если Владиміръ, точно, ее любитъ,—а она начинала уже сомнѣваться въ этомъ,—то рано или поздно, а они будутъ принадлежать другъ другу, не здѣсь, такъ въ будущемъ мірѣ: ее не пугало здѣшнее временное горе, но если Владиміръ перестанетъ любить ее, если ей нельзя будетъ назвать его своимъ, даже и тамъ, гдѣ все вѣчно, гдѣ нѣтъ конца ни блаженству, ни горести; если другая... о, объ этомъ она не могла и подумать безъ ужаса! Бѣдная дѣвушка!... Ослѣпленная своею страстью, она забыла, что небеса чужды всѣхъ земныхъ условій, что вѣчная, святая любовь, эта жизни всѣхъ праведныхъ, этотъ воздухъ, которымъ дышатъ въ горнихъ селеніяхъ, не имѣетъ ничего общаго съ нашею земною, тревожною страстію, въ которой каждая минута блаженства покупается годами страданій!.. И какое можетъ быть между ними сходство? Тамъ мы любимъ Бога и въ Немъ все Его созданіе, всю Его славу, Его величіе, премудрость и безпредѣльное милосердіе; а здѣсь мы любимъ человѣка и въ немъ всѣ его недостатки, слабости, пороки, а чаще всего,—не прогнѣвайтесь,—самихъ себя.

XXII.

Новыя козни Агриппины Львовны Вертлюгиной. Письмо Андрея Ѳомича Заруѣкина.

Однажды, часу въ одиннадцатомъ утра, Варенька, которая, хотя не выходила еще изъ своей комнаты, но чувствовала уже себя несравненно лучше прежняго, вздумала заняться рисованіемъ; подлѣ нея сидѣла за пяльцами Дуняша; она, противъ обыкновенія, была что то невесела, посматривала печально на окна, и задумчивый взглядъ ея съ грустью останавливался на небольшой липовой рощицѣ, которая росла по ту сторону Хопра.

— Вонъ и послѣднее деревцо пожелтѣло! — сказала она, наконецъ.—Давно ли оно было такое свѣженькое, зеленое.

— Весной опять такое же будетъ,—прервала Варенька, продолжая рисовать головку, разумѣется, вовсе не похожую на лицо Сократа.

— Да, если не убьетъ его морозомъ. Помните, прошлаго года сколько липъ пропало?... Правда, и морозы то были не людскіе. Куда лѣто то скоро проходитъ,— и не увидишь! Вотъ, того и гляди, выпадетъ снѣгъ, пойдутъ вьюги, метели, нанесетъ сугробовъ, все прикроется бѣлымъ саваномъ, и Хопра то съ полемъ не распознаешь. Охъ ужь эта зима! Какъ подумаешь, такъ грустно становится! И зачѣмъ она есть на свѣтѣ? Барышня, какъ вы думаете, ужь вѣрно, въ раю то зимы нѣтъ?

— Я читала, что и земли есть, въ которыхъ нѣтъ зимы.

— Гдѣ-жъ это, Варвара Кузьминична?

— Далеко, мой другъ, за моремъ.

— Поѣхала бы я туда.

— Одна?

— Какъ это можно! Нѣтъ, съ вами, съ Марьей Дмитріевной, съ Кузьмой Петровичемъ... и съ нимъ.

— Ахъ, Дуня, Дуня! Что то онъ теперь дѣлаетъ? Здоровъ ли онъ? Помнитъ ли меня?

— Да какъ же онъ можетъ васъ забыть, помилуйте! Вѣдь вы съ нимъ почти обручены. Помните ли, что онъ говорилъ вамъ, когда вы помѣнялись кольцами?

— О, я никогда этого не забуду!... Онъ говорилъ мнѣ, что насъ могутъ разлучить, но заставить его любить другую никто не можетъ; что если отецъ не позволитъ ему жениться на мнѣ, то онъ никогда не женится и умретъ моимъ суженымъ.

— Ну, вотъ видите! Чего-жъ вы боитесь?

— Какъ чего, Дуняша? Ну, если отецъ найдетъ для него невѣсту, будетъ требовать, чтобы онъ на ней женился? Если онъ, наконецъ, поневолѣ долженъ будетъ согласиться...

— Поневолѣ!... Что вы барышня!... Да вѣдь насильно то никого не вѣнчаютъ.

— Но развѣ легко противиться волѣ отца? Подумай только, что его будутъ просить, убѣждать всѣ родные, знакомые — весь міръ!... Вѣдь за меня никто не заступится, Дуняша!

— Все это ничего: если Владиміръ Ивановичъ васъ лю-

битъ, онъ ни на кого не посмотритъ. Помните, вы читали въ этой книжкѣ, что называется «Любовный вертоградъ», ужь чего ни дѣлали съ бѣднымъ Камберомъ, а онъ все-таки не измѣнилъ своей Арисенѣ.

— Да вѣдь это все выдумка, Дуняша.

— И, что вы, какъ это можно: станутъ печатать выдумки!... Да вотъ еще въ той книжкѣ... какъ, бишь, ее?... Ахъ, Боже мой!... Исторія о какомъ то принцѣ Ракалмуцкомъ... ну, вотъ что вы брали прошлаго года у Агриппины Львовны... Э!... Постойте-ка... Ну, такъ и есть! Легка на поминѣ!...

— А что? Развѣ кто пріѣхалъ?

— Вертлюгина.

— Агриппина Львовна?

— Да... Знать, выздоровѣла. Вонъ вылѣзаетъ изъ фаэтона... Ну, видно же ей не легче было вашего!... Ахъ, батюшки, какая желтая!

Черезъ нѣсколько минутъ послышались шаги по лѣстницѣ, и Вертлюгина вбѣжала въ комнату.

— Здравствуй, шерочка!—вскричала она, бросившись на шею къ Варенкѣ.—Ну что, радость, какова ты?

— Слава Богу, теперь получше... Какъ я долго васъ не видала!

— Я ужасть была больна, мой ангелъ! Совсѣмъ было отретировалась на томъ свѣтъ. Какъ подумаешь, душечка, какая между нами симпатія: мы занемогли съ тобою въ одинъ день.

— Что вашъ Илья Сергѣевичъ здоровъ?

— Мой папаша? Какъ же!... Онъ здѣсь. Кузьмы Петровича нѣтъ дома, такъ онъ теперь сидитъ у твоей маменьки, а я лишь только съ нею поцѣловалась и прибѣжала къ тебѣ. А, Дуняша!... Здравствуй, милочка! Я второпяхъ позабыла тебѣ сказать, что Марья Дмитріевна тебя зачѣмъ то спрашиваетъ.

Дуняша вышла изъ коннаты.

— Ну что, моя прелесть? — продолжала Вертлюгина, садясь подлѣ Вареньки.— Что ты дѣлаешь, чѣмъ занимаешься? .. А ко мнѣ прислали изъ Москвы безпримѣрно забавную книжку: «Жизнь и приключенія малаго Помпе, постельной собачки». Какъ въ этой повѣсти ошпечены всѣ люди большого тона, чудо!... Я тебѣ пришлю ее завтра... Бѣдненькая, тебѣ должно быть очень

скучно: никакого занятія... О, нѣтъ, да ты, кажется, рисуешь?

— Такъ,—сегодня только въ первый разъ...

— Да славно!... Какая хорошенькая головка!... Постойка, мой свѣтъ!... Что это?... Да это никакъ портретъ?... Ну, такъ и есть!... И какъ похожъ!...

Варенька покраснѣла.

— Ай, какое ребячество!—прошептала Вертлюгина, качая головой.— Ты все еще его помнишь?... Ахъ, радость, какой ты посадила себѣ въ голову вздоръ!... Да неужели ты думаешь, что этотъ повѣса Кирсановъ тебя любитъ?

Варенька вздрогнула; ей показалось, какъ будто бы около ея сердца обвилась холодная змѣя.

— Нѣтъ, душечка,—продолжала Вертлюгина,— ты вовсе не знаешь этихъ негодныхъ мужчинъ. Фуй, какіе они скверные.

— Неужели всѣ?— проговорила трепещущимъ голосомъ Варенька.

— Всѣ, всѣ, безъ исключенія! Даже мой папаша, и онъ сущій негодяй. Они ужь такъ сотворены, мой ангелъ!... Охъ, эти мужчины! Завести бѣдную дѣвушку, обмануть, одурачить ее, это имъ ничего, ровно ничего! Я знаю это по опыту.

— Но неужели вы думаете, что Владиміръ Ивановичъ?...

— Такое же, мой другъ, чудовище, какъ и всѣ. Вотъ то то и есть, шерочка, сама виновата: еслибъ ты со мной не секретничала, такъ я могла бы тебя предупредить... О, я знаю хорошо этого Кирсанова!... Онъ, конечно, прекрасный мужчина, очень развязенъ, мастеръ отпускать дусеры; но за то какой предатель!...

— Что вы говорите?

— Да, да! Онъ готовъ клясться въ вѣчной любви каждой женщинѣ.

— Каждой женщинѣ!—прервала съ жаромъ Варенька.— Нѣтъ, Агриппина Львовна, этого быть не можетъ.

— Увѣряю тебя! И чему ты дивишься? Это вещь самая обыкновенная. Мужчина бонтонъ обязанъ куртизанить всякой женщинѣ,— это ужь такъ принято въ свѣтѣ. Но вотъ что не хорошо: Кирсановъ готовъ обѣщать каждой дѣвушкѣ, что онъ на ней женится; а какъ вскружитъ ей голову, такъ и прочь, и всегда на своего батюшку сва-

литъ всю вину: «не позволяетъ, да и только!»... Фуй, какой гадкій!

— Извините, Агриппина Львовна, я не вѣрю этому: это клевета!

— Какая клевета! Да у него въ этомъ родѣ много авантюрокъ было. Вотъ, въ Москвѣ, онъ волочился за моею пріятельницей, молодою дѣвушкой, которая мѣсяца два была въ него влюблена какъ дура, и ужь послѣ, какъ разняла глаза и увидѣла, какой онъ обманщикъ, такъ пришла въ себя и отплатила ему равнодушіемъ. Я была у нея конфиданткою, и все знала. Онъ помѣнялся съ нею кольцами и при мнѣ говорилъ ей: «Насъ могутъ разлучить, но заставить меня любить другую женщину никто не можетъ».

— Какъ! — прервала Варенька, — онъ ей это говорилъ?

— Да, мой другъ! Мало ли что онъ говорилъ; онъ даже сказалъ ей, что если ему отецъ не позволитъ на ней жениться, то онъ не женится ни на комъ и умретъ ея суженымъ.

— Боже мой!—прошептала съ ужасомъ Варенька, устремивъ свой помертвѣлый взоръ на Вертлюгину, которая, какъ бездушный убійца, медленно и хладнокровно раскрывающій грудь своей жертвы, готовилась нанести ей смертельный ударъ.

— И знаешь ли, душечка, — продолжала она,—какъ открылись всѣ его обманы? У моей пріятельницы была кузина, также очень миленькая... Представь себѣ, этотъ негодный волокита, Кирсановъ, и ей говорилъ тѣ же самыя слова, да вѣдь точно тѣ же! И добро бы въ разное время, а то въ одинъ и тотъ же день,— моей пріятельницѣ по утру, а ея кузинѣ вечеромъ. Понимается, ее сначала это огорчило: она такъ же, какъ ты, радость, ужасалась, не вѣрила; а потомъ мы втроемъ очень этому смѣялись.

— И это по вашему смѣшно?—проговорила прерывающимся голосомъ Варенька.

— Да какъ же не смѣшно? Говорить одно и то же каждой женщинѣ! Можно бы, кажется, немножко варьировать!

— Нѣтъ, Агриппина Львовна, еслибъ я могла подумать, что Владиміръ Ивановичъ...

— А ты все еще не вѣришь?... Ахъ, шерочка, какая ты смѣшная!... Да знаешь ли, что онъ теперь дѣлаетъ въ Воронежѣ?

— А развѣ вы что-нибудь слышали?— вскричала Варенька.

— Я вчера получила письмо отъ Зарубкина: онъ живетъ у Ивана Никифоровича, и знаетъ все.

— Ну что, здоровъ ли онъ?... Ахъ, Бога ради, скажите, скажите скорѣй!...

— Душечка!... Какъ ты его любишь!

— Да говорите же!

— Ну да,— онъ здоровъ и, кажется, вовсе не скучаетъ.

— Слава Богу!

Вертлюгина поглядѣла съ удивленіемъ на Вареньку.

— Какая ты чудная, мой ангелъ!—сказала она.— Если Кирсановъ здоровъ и веселъ, такъ вовсе о тебѣ не тоскуетъ, а ты этому радуешься! Да я бы на твоемъ мѣстѣ ужасно разсердилась.

— Онъ здоровъ!—повторила Варенька.—Слава Богу!

— О, на этотъ счетъ я могу тебя совершенно успокоить: больному человѣку и въ голову бы не пришло то, что онъ затѣваетъ. Да вотъ всего лучше,— письмо Зарубкина со мною, я тебѣ его прочту.

Агриппина Львовна вытащила изъ кармана, — тогда не знали еще ридикюлей,— сложенный вчетверо листокъ синей бумаги, развернула его и начала читать:

«Ваше высокоблагородіе, матушка, сударыня и благодѣтельница, Агриппина Львовна! Во-первыхъ, доношу вамъ, что, по отпускѣ сего письма, я остаюсь живъ и здоровъ, а впредь уповаю на власть Божію. Здѣсь у насъ все слава Богу! Его высокородіе, Иванъ Никифоровичъ, находится въ вожделѣнномъ здравіи; Владиміръ Ивановичъ также. Мы живемъ попрежнему въ домѣ его превосходительства, Андрея Филипповича Залуцкаго; отличный человѣкъ, сударыня! Несмотря на свой генеральскій чинъ, онъ изволитъ меня жаловать и играетъ со мною часто въ шашки. Дочка у него такая красавица, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать! Старики то прочать ея за Владиміра Ивановича. Нечего сказать: прелюбезная парочка»...

Тутъ Вертлюгина остановилась и взглянула украдкою на Вареньку; она была блѣдна, но въ глазахъ ея не было

слезъ: всѣ черты лица ея выражали какое то безчувствіе, какую что мертвую одеревенѣлость, и только едва замѣтное судорожное движеніе посинѣлыхъ губъ изобличало жизнь въ этомъ блѣдномъ, безжизненномъ лицѣ. Съ полминуты наслаждалась Вертлюгина молча своимъ торжествомъ; ей удалось, наконецъ, попасть ножемъ прямо въ сердце своей соперницы; но этого было еще для нея мало: ей хотѣлось повернуть ножъ.

— Душечка,—сказала она,—полно, читать ли еще? Кажется, это тебя слишкомъ аффектируетъ.

— Читайте, читайте!— проговорила глухимъ голосомъ Варенька.

— Ну, если ты хочешь!... Впрочемъ, рано или поздно, а ты будешь это знать... Гдѣ-жъ я остановилась?... Постой... да!... «Прелюбезная парочка. Еще-жъ вамъ доложу, что и Владиміръ Ивановичъ на ихъ руку тянетъ. Сначала онъ какъ будто бы дичился Екатерины Андреевны, а теперь совсѣмъ не то. Вчера они при мнѣ, на нѣмецкомъ что-ль или французскомъ языкѣ,—не знаю,— часа два сряду, съ большимъ пріятствомъ разговаривали, и какъ кончили, такъ Владиміръ Ивановичъ поцѣловалъ у нея ручку и сказалъ по-русски: «Теперь вы понимаете меня?» Она изволила отвѣчать: «Понимаю и уважаю». Онъ на это сказалъ ей что то вполголоса, кажется, также по-русски; мнѣ послышалось между словъ, что онъ ей говорилъ о мытьѣ, а тамъ промолвилъ: «лави!»—да и поймалъ у нея опять руку и сталъ цѣловать очень любовно; а изъ этого, матушка, Агриппина Львовна, и выходитъ, что дѣло то сладится. По отпускѣ сего письма, надѣюсь лично засвидѣтельствовать вамъ мое высокопочитаніе. Не могу никакъ оставаться въ Воронежѣ; дуракъ Аѳонька выздоровѣлъ; этотъ пострѣлъ пріѣхалъ къ своему барину, и мнѣ отъ него вовсе житья нѣтъ. Третьяго дня, шельма этакій, ухватилъ меня припекательными щипцами за носъ, да и началъ водить по всѣмъ комнатамъ,— срамъ да только! За симъ, пожелавъ вашему высокоблагородію»... И прочее, и прочее... А вотъ еще приписка: «Сейчасъ узналъ я, матушка, Агриппина Львовна, отъ Гура Тихоныча, дворецкаго его превосходительства, что старики сегодня сговорились назначить помолвку на будущей недѣлѣ. Придется пообождать отъѣздомъ: при такой радости авось и нашему брату перепадетъ что-нибудь на орѣхи. Еще-жъ Гуръ Тихонычъ мнѣ сказывалъ»...

Громкія рыданія Вареньки прервали чтеніе письма. Какъ ни старалась бѣдная дѣвушка скрыть свои страданія отъ Агриппины Львовны, какъ ни боролась она съ горемъ, но горе одолѣло: она закрыла руками лицо и почти безъ чувствъ упала на свою постель. Не помню, гдѣ я читалъ про какого то искуснаго доктора, который, изъ любви къ своей наукѣ, притаивался ночью за угломъ, бросался на проходящихъ, рѣзалъ ихъ ножемъ и потомъ являлся первый залѣчивать ихъ раны. Агриппина Львовна, точно такъ же, какъ этотъ любознательный врачъ, кинулась къ Варенькѣ и начала утѣшать ее.

— Фуй, душечка, какъ тебѣ не стыдно!—говорила она.— Да стоитъ ли этотъ мизерабельный Кирсановъ, чтобъ ты себя сокрушала? Вотъ забавно!...Онъ, можетъ, теперь веселится, говоритъ нѣжности своей невѣстѣ, а ты должна плакать!... Да это было бы ужасть какъ глупо!

— Боже мой, Боже мой!—шептала Варенька рыдая,— зачѣмъ я не умерла прежде этого!

— И, шерочка, что ты!—продолжала Вертлюгина.—Да еслибъ мы отъ всякой мужской измѣны умирали, такъ ни одна бы женщина не дожила и до пятнадцати лѣтъ Этимъ мерзкимъ мужчинамъ нельзя ни въ чѣмъ вѣрить. Не они насъ, а мы ихъ должны дурачить. Конечно, я понимаю: это обидно для твоего самолюбія... но вѣдь и ты, мой ангелъ... Ахъ, какъ ты темна въ свѣтѣ!... Ну, какъ ты рѣшилась повѣрить, что этотъ вертопрахъ, который можетъ сдѣлать блестящую партію, захочетъ жениться на тебѣ?... Ты безпримѣрно хороша, мила; но вѣдь въ свѣтѣ есть свои условія, приличія... Да полно же, Варечекъ, перестань!... Чу!... Слышишь? Кто то идетъ по лѣстницѣ... Это, кажется, твоя маманька...

Варенька вскочила съ постели, утерла свои слезы и встрѣтила съ улыбкою, но только не Марью Дмитріевну, а Дуняшу, которая вошла торопливо въ комнату.

— Васъ спрашиваетъ Сергѣй Ильичъ,— сказала она Агриппинѣ Львовнѣ.—Онъ изволитъ ѣхать.

Вертлюгина простилась съ Варенькой, которая, оставшись одна съ Дуняшей, кинулась къ ней на шею и залилась слезами.

— Ахъ, Боже мой!—вскричала Дуняша.—Что вы, барышня? Что съ вами?

— Онъ забылъ меня!—проговорила Варенька рыдая.

— Кто? Владиміръ Ивановичъ?

— Да!... Онъ женится!...

— Что вы говорите?... Да нѣтъ, не можетъ быть!

— Сейчасъ Агриппина Львовна...

— Такъ это она!... И вы вѣрите этой сплетницѣ?...

— Она читала мнѣ письмо изъ Воронежа... Владиміръ Ивановичъ женится на Залуцкой.

— Письмо? Отъ кого?

— Отъ Зарубкина.

— Отъ этого пьяницы?... Не вѣрю, барышня, не вѣрю! Тутъ что-нибудь да есть. Это все штуки Агриппины Львовны. Вы всегда со мною спорили, а она точно ревнуетъ васъ къ Владиміру Ивановичу. Помните ли, въ рощѣ, когда эта ободранная кошка выскочила изъ-за куста?... Да я дамъ голову на отсѣченье, она шпіонничала, подслушивала васъ. Вы вѣдь такія, Богъ съ вами, ничего не замѣтите; а я все видѣла. Бывало, лишь только вы начнете говорить съ Владиміромъ Ивановичемъ, она тутъ какъ тутъ съ ушкомъ. А зеленые то глаза у нея вотъ такъ и сверкаютъ. Этакая змѣя подколодная!... Только и слышишь: «радость моя, ангелъ мой, милашечка!»... Такъ въ душу и вьется, а сама норовитъ укусить!... Ну, можетъ быть, Иванъ Никифоровичъ и хочетъ женить своего сына на какой нибудь богатой невѣстѣ, да онъ то ни за что не женится. Нѣтъ, Варвара Кузьминична, не вѣрьте этой кривлякѣ. Владиміръ Ивановичъ не промѣняетъ васъ ни на кого; онъ, точно, васъ любитъ.

Такъ утѣшала Дуняша свою барышню; но ударъ былъ нанесенъ. Бѣдная Варенька, изнуренная продолжительною болѣзнію, не могла вынести этого сильнаго потрясенія: она слегла опять въ постель. На бѣду, Адамъ Ѳомичъ Думкопфъ возвратился изъ губернскаго города и, по просьбѣ Мирошевыхъ, принялся опять лѣчить Вареньку,—разумѣется, ей стало хуже. Еслибъ г-нъ Думкопфъ былъ отличнымъ докторомъ, то, вѣроятно, догадался бы, что болѣзнь Вареньки нельзя было отыскать въ лѣчебникѣ; онъ понялъ бы, что молодая дѣвушка, которая худѣетъ безъ всякой видимой физической причины и, не жалуясь ни на какую боль, гаснетъ какъ догорающая лампада, должна страдать не тѣломъ, а душою; но Адамъ Ѳомичъ, какъ вамъ уже извѣстно, умѣлъ только отлично пускать кровь, и вѣроятно бы выпустилъ ее изъ Вареньки до послѣдней капли, еслибъ не

пришло ему въ голову, что у нея злая чахотка; а, къ счастію его больной, онъ не зналъ отъ чахотки никакого другого лѣкарства, кромѣ козьяго молока. Будь этотъ цырюльникъ немного поученѣе,—бѣда: Мирошевымъ пришлось бы непремѣнно похоронить свою единственную дочь.

Здоровье Вареньки не поправилось; но, по крайней мѣрѣ, никто уже не мѣшалъ натурѣ бороться съ этою душевною болѣзнію, которая, впрочемъ, становилась съ каждымъ днемъ сильнѣе оттого, что Варенька хотѣла скрывать ее. Она была ужасно худа и блѣдна, но старалась всегда казаться веселою, разумѣется, при отцѣ и матери; когда они были съ нею вмѣстѣ, она шутила и улыбалась... Но чего ей это стоило? Улыбаться, когда тоска грызетъ наше сердце; казаться веселымъ, когда въ душѣ нашей смерть; глотать свои слезы, когда онѣ рвутся, чтобъ хлынуть рѣкою... о, это ужасно!... Эти слезы убиваютъ: онѣ капаютъ прямо на сердце.

XXIII.

Какъ Прохоръ Кондратьичъ возвратился ни съ чѣмъ изъ Саратова. Отчаяніе Марьи Дмитріевны.

Давно уже свѣтлый Хоперъ, занесенный глубокими сугробами, слился въ одну необозримую равнину со своими поемными лугами. Одѣтые бѣлою пеленою холмы, какъ могильные курганы, подымались среди полей, и голыя сосны, покрытыя махровымъ инеемъ, стояли какъ огромные кресты на этомъ обширномъ снѣговомъ кладбищѣ. Скучно жить въ деревнѣ зимою: эти несносные вечера, которымъ нѣтъ конца, эти дни, похожіе на сумерки, это блѣдное солнце, которое вовсе не грѣетъ, этотъ однообразный видъ мертвой природы— все наводитъ тоску на людей, даже счастливыхъ и довольныхъ своею судьбой. Какую же грусть должны были чувствовать бѣдные Мирошевы, когда, сидя подлѣ постели больной дочери и не смѣя повѣрять другъ другу своихъ ужасныхъ предчувствій, они молча слѣдили жаднымъ взоромъ каждое ея движеніе, прислушивались къ звуку ея рѣчей, оживали съ каждою веселою ея улыбкою и леденѣли при каждомъ невольномъ вздохѣ, который вырывался изъ груди ея. И эта томительная жизнь, эти безпрерывные переходы отъ надежды къ отчаянію, эта душевная пытка,

ужаснѣйшая изъ всѣхъ пытокъ земныхъ, продолжалась безпрерывно не день, не два, а цѣлые мѣсяцы. Бѣдные, бѣдные Мирошевы! И постороннему грустно было смотрѣть на этотъ увядающій весенній цвѣтокъ; каково-же было имъ видѣть, какъ приближается каждый день къ своей безвременной могилѣ, какъ умираетъ понемногу единственное ихъ дитя, ихъ ангелъ во плоти, ихъ радость, любовь, вся ихъ надежда?... Нѣтъ, страшно и подумать!

Однажды вечеромъ Кузьма Петровичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и читалъ Житія Святыхъ, а Марья Дмитріевна была наверху у дочери. Двери потихоньку отворились, и вошелъ Прохоръ Кондратьичъ въ дорожномъ платьѣ.

— А, здравствуй, Прохоръ!—сказалъ Мирошевъ, сложивъ книгу.—Когда ты пріѣхалъ?

— Сію минуту, батюшка,—отвѣчалъ старикъ.—Насилу дотащился. Дорога, помилуй, Господи,—ухабъ на ухабѣ; а верстахъ въ десяти отсюда такіе нырки, что я лошадей то вовсе поморилъ: все на выносъ, да на выносъ!

— Ну, что дѣло, Прохоръ?

— Что, сударь, плохо! Въ гражданской палатѣ рѣшено, да только не въ нашу пользу.

— Я ожидалъ это!—прошепталъ Мирошевъ.

— А денегъ то, батюшка, разсорили сколько! Эхъ, подумаешь, что за народъ эти подъячіе: ни стыда, ни совѣсти!

— Напрасно мы тягались, Прохоръ!

— Что вы, батюшка! Такъ и дать себя грабить этому разбойнику Курочкину?

— Да что толку то? Деньги мы истратили, а землю всетаки у насъ отнимутъ.

— Ну, это еще, сударь, Богъ знаетъ! Я взялъ на апелляцію.

— На апелляцію? Куда?

— Извѣстно куда: въ сенатъ

— Въ Москву?

— Да, сударь, въ Москву; только ужь вамъ надобно самимъ туда ѣхать; вѣдь это ужь не гражданская палата, батюшка: ужь тамъ повытчика въ харчевню не позовешь! Куда!... Тамъ и послѣдній копіистъ на нашего брата, холопа, взглянуть не захочетъ. Вѣдь сенатскіе то, сударь, народъ все чиновный,—свысока бьютъ! Съ ними и вы, батюшка, Кузьма Петровичъ, не больно разговоритесь. Спро-

сите-ка у Вертлюгиной о ея двоюродномъ братцѣ Припекинѣ,—фу ты, батюшки, баринъ какой! А вѣдь только что секретарь. Чтожъ присутствующіе то, сударь? И подумать страшно! Все генералитетъ, въ кавалеріяхъ,—знать!

— Такъ я долженъ самъ ѣхать въ Москву?

— Да, дѣлать нечего, сударь. Разсудите сами: пристало ли мнѣ соваться туда съ моею холопскою рожей? Да меня, этакого вахлака, и на дворъ то никто не пуститъ.

— Нѣтъ, Прохоръ, если Богъ не помилуетъ насъ, и Варенькѣ не будетъ лучше, такъ я ни за что не поѣду отсюда.

— Да, батюшка, да,—мнѣ сказывали. Что это барышня то у насъ такъ захилѣла?

Мирошевъ закрылъ руками лицо и горько заплакалъ.

— Что это вы, Кузьма Петровичъ?—вскричалъ Прохоръ.—Христосъ съ вами! Да что вы этакъ сокрушаетесь? Варвара Кузминична человѣкъ молодой; ну, похвораетъ, похвораетъ, а тамъ, Богъ дастъ, лучше! И, батюшка, батюшка: Господь милостивъ, не до конца же Онъ на насъ прогнѣвался. Будетъ съ насъ и одного горя. Что, въ самомъ дѣлѣ: и землю отнимаютъ, и денегъ разсорили бездну...

— Полно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Что земля, что деньги! Богъ съ ними, лишь только-бъ Варенька то наша...

— Конечно, сударь, деньги дѣло наживное; не даромъ говорится: «то не бѣда, что на деньгу пошла»; однакожъ, батюшка, коли землю то у насъ всю отхватятъ...

— Такъ чтожъ? Будемъ бѣднѣе—вотъ и всѣ! А если... избави, Господи!...

— Полноте, батюшка, Кузьма Петровичъ! Что вы?... Такіе ли больные встаютъ!

Тутъ вошла въ комнату Марья Дмитріевна. Опухшіе отъ слезъ глаза ея выражали такую безутѣшную горесть, что Кузьма Петровичъ, взглянувъ на нее, поблѣднѣлъ и спросилъ испуганнымъ голосомъ:

— Что ты, мой другъ? Что Варенька?

Мирошева, не отвѣчая ни слова, бросилась на кресла и громко зарыдала.

— Да что? Не мучь меня, скажи скорѣй! — вскричалъ Кузьма Петровичъ.

— Ей хуже! — прошептала, рыдая, бѣдная Марья Дмитріевна.

— Хуже!—повторилъ Кузьма Петровичъ, и вся кровь застыла въ его жилахъ.

— Не вставать ей, мой другъ!— продолжала Мирошева съ отчаяніемъ.—Нѣтъ, не обманывайте меня! Нѣтъ, я вижу, она таетъ какъ воскъ!... Она вырывается изъ рукъ моихъ!.. Нѣтъ, нѣтъ, не милостивъ къ намъ Богъ!

Эти слова безнадежной горести возвратили Мирошеву всю его твердость.

— Машенька,—прервалъ онъ,—что ты?... Отчаяніе, ропотъ,—противъ Кого? Господь посѣтилъ насъ, и мы, строптивые, недостойные рабы, встрѣчаемъ Его не съ покорностію и смиреніемъ, а съ ропотомъ на устахъ и съ отчаяніемъ въ сердцѣ! Вспомни, мой другъ, осьмнадцать лѣтъ сряду мы были счастливы, совершенно счастливы. А часто ли мы благодарили за это Бога? Мы забыли, что это, ничѣмъ не заслуженное счастіе, есть только одинъ даръ Его милосердія; мы возгордились, сердца наши окаменѣли, намъ казалось, что такъ быть должно, что мы только получаемъ достойное по дѣламъ нашимъ; мы, какъ невѣсты, ждущія жениха своего, задремали... Вотъ Господь и пришелъ разбудить насъ.

— Да развѣ я могу не плакать, глядя на умирающую дочь?—прервала Мирошева.— Развѣ я могу сказать моему сердцу: не разрывайся!

— Нѣтъ, Машенька, и праведники грустили въ этой жизни, и самъ Спаситель сказалъ нѣкогда: «Прискорбна душа моя до смерти». Но эта скорбь святая, а ропотъ отчаяніе—о, мой другъ, они убиваютъ душу! Пусть ропщутъ и отчаиваются враги Божіи, а мы, рабы Его, станемъ молиться и говорить со слезами: «Помилуй насъ, Господи, по великой милости Твоей!» И если наша молитва не будетъ услышана, покоримся и скажемъ: «Ты давалъ намъ, Господи, дни радости и счастія; теперь посылаешь намъ дни горести и плача,—да будетъ святая воля Твоя! Ты одинъ знаешь путь, по которому мы должны идти. Теперь онъ для насъ ужасенъ; но когда души наши воспрянутъ отъ земного сна, когда мы будемъ видѣть ясно все—тогда!... о, вѣрь, мой другъ, вѣрь,— тогда ты воскликнешь вмѣстѣ со мною: «Во истину, Господи, Ты есть любовь!»

Марья Дмитріевна упала на грудь своего мужа; она продолжала рыдать, но обильныя слезы, не отчаянія, а крот-

каго умиленія и святой вѣры въ милосердіе Господа, облегчили скорбь ея растерзаннаго сердца.

Въ тотъ же самый день, часу въ осьмомъ вечера, ненастная погода, которая и съ утра не обѣщала ничего добраго, превратилась въ совершенную метель. На дворѣ было такъ темно, какъ въ закутанномъ погребѣ; снѣгъ валилъ густыми хлопьями, вѣтеръ вылъ, крутилъ въ воздухѣ снѣговую пыль, взрывалъ глубокіе сугробы и свистѣлъ межъ обнаженныхъ деревьевъ, которыя трещали отъ его могучаго напора; однимъ словомъ, это была одна изъ тѣхъ зимнихъ русскихъ ночей, которыя бываютъ такъ гибельны для запоздалыхъ путешественниковъ, и погребаютъ иногда заживо цѣлые обозы подъ огромными буграми снѣга. Избави васъ, Господи, узнать на опытѣ, что значитъ наша сѣверная вьюга!... Въ полуверстѣ отъ деревенской околицы вы проплутаете въ полѣ всю ночь, и можете замерзнуть у воротъ собственнаго вашего дома.

Въ то самое время, какъ на дворѣ бушевала эта непогода, мамушка Игнатьевна сидѣла на антресоляхъ въ своей каморкѣ и вязала, при свѣтѣ ночника, шерстяной чулокъ. Вдругъ вѣтеръ заревѣлъ сильнѣе прежняго; Игнатьевна невольно вздрогнула, перекрестилась и шепнула про себя:

— Ну, погодка!... Каково теперь дорожному человѣку?... Помилуй и спаси, Господи!... Какъ захватитъ въ полѣ, такъ умирай безъ покаянія!

Двери потихонку растворились и вошла Дуняша.

— Ну что, Дуня?—сказала Игнатьевна, воткнувъ спицу въ чулокъ и положивъ его къ себѣ на колѣни.

— Ничего,—отвѣчала Дуняша шопотомъ.

— Что барышня?

— Въ забытьи.

— Господи, Боже мой,— проговорила Игнатьевна,— да неужели въ самомъ дѣлѣ я, старуха, переживу ее, мою родимую?...

Дуняша заплакала,

— Неужели то Господь не услышитъ моихъ грѣшныхъ молитвъ?—продолжала Игнатьевна.— Ужь если ей не вставать, моей голубушкѣ, такъ прибралъ бы и меня съ нею вмѣстѣ! .. Ужь чего я не дѣлала, Дуняша!... Грѣховъ то, грѣховъ сколько на душу взяла! И съ уголька ее поила, и нашептывала, и къ ворожеѣ на село ходила...

— А что тебѣ, бабушка, ворожея то сказала?

— Да что!... Говоритъ—съ глазу. Надобно, дескать, вашей барышнѣ три раза по три середы купаться въ проточной водѣ по вечернимъ зорямъ, да пять пятницъ сряду умываться утреннею росою.

— Да какая же теперь роса?

— Ну, вотъ поди ты!... Дожидайся до весны.

— Эхъ, Игнатьевна, вретъ эта ворожея: не съ глазу чахнетъ наша барышня.

— А отчего же?

— Отчего?... Слыхала ли ты, бабушка, пѣсенку, въ которой поютъ:

„Изсушила, сокрушила
Красну дѣвицу
Дума-думушка.
Сохнетъ дѣвица,
Сохнетъ красная
По миломъ дружкѣ“.

— Что ты, Дуня?... Да неужели Варвара Кузьминична?...

— Вотъ хватилась!..

— Ахъ, батюшки! Такъ это, видно, Владиміръ Ивановичъ...

— Ну да!

— Ахъ отъ злодѣй!... А я думала, что онъ человѣкъ добрый...

— Да онъ, бабушка, точно, добрый человѣкъ.

— Что ты, мать моя!.. Душегубецъ этакій!... За что онъ сгубилъ нашу барышню?...

— Эхъ, Игнатьевна, не онъ! Онъ ужь давно бы на ней женился, еслибъ не его батюшка.

— Да батюшка то почему не хочетъ?...

— Видно, ищетъ для сына невѣсты побогаче нашей барышни.

— Побогаче!... Да на что ему богатство то? Мало что-ль у него?... Умретъ, старый хрычъ, все останется... Побогаче!.., Жидъ этакій! Чтобъ ему ни дна ни покрышки!...

— Видно, онъ,—продолжала Дуня,—какъ-нибудь узналъ, что сынъ то его влюбленъ въ барышню и увезъ его въ Воронежъ. Да это бы еще ничего, а на бѣду Вертлюгина наговорила барышнѣ Богъ знаетъ что: и не любитъ ея Владиміръ Ивановичъ, и женится то онъ на другой, а все

неправда, видитъ Богъ, неправда! Вотъ съ тѣхъ поръ ей и стало хуже. Тутъ ужь, бабушка, ни лѣкаря, ни ворожеи не помогутъ. Лучше бы всего вѣсточка изъ Воронежа. Хотя бы намъ какъ-нибудь узнать, здоровъ ли Владиміръ Ивановичъ, что онъ дѣлаетъ?..

Игнатьевна призадумалась.

— Здоровъ ли?... Что дѣлаетъ?...—прошептала она себѣ подъ носъ.—Ну да... конечно... можно бы... Да, точно ли барышнѣ будетъ легче, если она что-нибудь узнаетъ о Владимірѣ Ивановичѣ?...

— Какъ же не легче, бабушка!... Да развѣ можно какъ-нибудь?...

— Можно то можно, да только грѣшно, Дуня.

— Какъ грѣшно?... А, да вѣдь у насъ святки! Ужь не хочешь ли ты олово лить?.

— Что олово лить!... Нѣтъ, Дуняша: я знаю гаданье почище этого, грѣха только боюсь. Да ужь такъ бы и быть, —для моей голубушки, для родной моей барышни, я на все пойду; авось послѣ бы отмолилась какъ-нибудь, окаянная грѣшница. А вотъ что бѣда, Дуня: глаза то у меня больно плохи стали,—ничего не увижу.

— Да что это такое?

— А вотъ что: если хочешь про кого-нибудь загадать, гдѣ бы онъ ни былъ, все равно, возьми два зеркальца и поставь ихъ одно противъ другого такъ, чтобъ свѣча въ въ обоихъ была видна; а какъ уставишь хорошенько, такъ тебѣ покажется, что зеркаламъ то и счету нѣтъ; а ты все смотри на седьмое, глазъ не своди. Ну, иногда этакъ просидишь около часу, а тамъ вдругъ седьмое зеркало и потускнѣетъ, потомъ этотъ туманъ разойдется, и ты увидишь все.

— Да чтожъ я тамъ увижу?

— Ну, извѣстно, что. Вотъ еслибъ ты, напримѣръ, загадала о Владимірѣ Ивановичѣ, такъ увидѣла бы, что онъ въ это самое время дѣлаетъ: сидитъ ли, лежитъ ли, разговариваетъ ли съ кѣмъ, веселъ ли, печаленъ ли—все увидишь.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?

— Право такъ.

— Такъ чтожъ, бабушка? Я, пожалуй, посмотрю въ зеркало.

— Охъ, Дуня, Дуня, бойка ты больно! Я посмотрю! Да ты знаешь, какъ надо смотрѣть то?

— А какъ, Игнатьевна?

— Ты, чай, думаешь, здѣсь—въ комнатѣ?... Да, какъ бы не такъ!

— А гдѣ же?

— Да въ какомъ-нибудь нежиломъ строеніи, чтобъ въ немъ, кромѣ тебя, никого не было. Безъ этого ничего не увидишь.

— Вотъ что!... Да этакаго и мѣста у насъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?... А новая то людская баня?

— Что ты, бабушка! Да вѣдь она далеко отъ всякаго жилья—за заборомъ...

— То то и хорошо, Дуня.

— Охъ, страшно!

— А, то то же, голубка, страшно!

— Ну да чтожъ со мной можетъ сдѣлаться, если я пойду въ баню?

— Сдѣлаться то ничего не сдѣлается,— это не то, что на прорубь идти гадать,— ты только не бойся; а если что страшное покажется, такъ зачурайся,— тотчасъ все пропадетъ.

— А какъ зачураться то надобно?

— Эхъ, дѣвка, дѣвка, ужь и этого то не знаешь! Ну, просто: «чуръ меня, чуръ меня, наше мѣсто свято!»

— Да точно ли ты знаешь, что ничего со мной не будетъ?

— Точно, ничего.

— Ну такъ и быть: пойду, бабушка!

— Теперь какъ можно, Дуня: видишь, на дворѣ какая непогодица.

— И, ничего: долго-ль до бани добѣжать. Въ другой то разъ, можетъ быть, у меня и смѣлости не достанетъ.

— Ну, какъ хочешь. Только не сробѣй, Дуня, и какъ увидишь въ зеркалѣ Владиміра Ивановича, не спѣши зачурать: высмотри все хорошенько.

— А что, бабушка, если я загадаю о своемъ суженомъ, покажется онъ мнѣ?

— Коли тебѣ суждено быть замужемъ, такъ покажется; а если нѣтъ, такъ увидишь гробъ.

— Ухъ, страшно!

— И, трусиха, трусиха! Пошла, гдѣ тебѣ!

— Нѣтъ, бабушка, ужь сказала пойду, такъ пойду! Да гдѣ же я тамъ огня достану?

— Вотъ, возьми сумочку: тутъ все есть. Какъ придешь въ баню, высѣки сама огоньку. На вотъ тебѣ и зеркальце, а другое то возьми свое.

Въ нѣсколько минутъ Дуняша совсѣмъ снарядилась: надѣла шубку на заячьемъ мѣху, накинула на голову шерстяной платокъ, положила въ узелокъ огниво съ припасомъ, сальную свѣчу, мѣдный подсвѣчникъ, два зеркала и отправилась въ путь.

— Смотри, Дуня, — говорила Игнатьевна, провожая ее по лѣстницѣ,—не сробѣй! Высмотри все хорошенько, да прежде загадай о Владимірѣ Ивановичѣ, а ужь послѣ о своемъ суженомъ.

— Хорошо, хорошо, бабушка!.. Да я, можетъ быть, о своемъ суженомъ и гадать вовсе не стану.

— А если станешь, такъ не забудь сказать три раза сряду, да, знаешь ли, внятно: «суженый, ряженый, приди взглянуть въ зеркало».

— Скажу, бабушка, скажу.

— Охъ, боюсь я за тебѣ, Дуня! Труслива ты больно!.. Эхъ, кабы старые мои годы!

— Да ужь небойся, Игнатьевна, не испугаюсь. Что, въ самомъ дѣлѣ, застольная то отъ бани близехонько, а тамъ всегда люди. Прощай, бабушка!

XXIV.

Святочное гаданье. Новое лицо.

Дуняша прокралась черезъ дѣвичью, вышла на крыльцо, спустилась кой-какъ съ лѣстницы, до половины занесенной снѣгомъ, и сѣдой, непроницаемый мракъ охватилъ ее со всѣхъ сторонъ. Вѣтеръ ревѣлъ, метель бушевала; Дуняша запахнула покрѣпче свою шубу и пустилась бѣгомъ вдоль двора. Въ полминуты ее осыпало съ ногъ до головы снѣгомъ и продуло насквозь. Раза три, увязнувъ въ сугробѣ, она останавливалась, чтобъ перевести духъ; добѣжавъ, наконецъ, до забора, Дуняша отыскала ощупью калитку, выбралась въ поле, почти нечаянно наткнулась на людскую баню, отворила дверь, запертую снаружи деревянною заверткою, вошла и, едва дыша отъ усталости и холода, который прохватилъ ее до самыхъ костей, упала на скамью.

Въ первыя минуты она не чувствовала никакой боязни; но когда поотогрѣлась, и усталость ея прошла, то ей стало такъ страшно, что она долго не могла рѣшиться высѣчь огня. Ей все казалось, что въ ту самую минуту, когда она освѣтитъ баню, передъ нею явится какая-нибудь сатанинская рожа съ рогами и съ козлиною бородою. Она дрожала, не смѣла пошевелиться и робко прислушивалась... Но все было тихо: никто не охалъ за печкою, черти не возились подъ полкомъ, и одинъ постоянный житель бани, неугомонный сверчокъ, распѣвалъ безъ умолку въ своемъ уединенномъ уголкѣ. Вотъ Дуняша поободрилась, вынула изъ узелка огниво и трутницу, высѣкла огня, зажгла свѣчу, и когда закоптѣлыя стѣны бани освѣтились, то она робко поглядѣла кругомъ, потомъ улыбнулась и сказала про себя: «Фу, батюшки, какъ я глупа! Ну, чего я боялась? Баня какъ баня!... А все это Матрена наговорила мнѣ, что въ баняхъ всегда живутъ домовые!... Какой вздоръ!»... Дуняша не опасалась, что огонь увидятъ изъ господскаго дома, потому что единственное окно бани было обращено въ поле, и, вслѣдствіе этой увѣренности, начала весьма спокойно приготовляться къ своей ворожбѣ: поставила свѣчу передъ однимъ зеркальцемъ, которое прислонила къ стѣнѣ, навела на него изъ рукъ другое, стала смотрѣть... И вотъ ей представилось безконечное число зеркалъ, одно въ другомъ, и цѣлый рядъ свѣчей, которыя терялись въ отдаленіи. Дуняша устремила все свое вниманіе на седьмое зеркало. Прошло полчаса безъ всякой перемѣны: все тѣ же свѣчи, тѣ же зеркала и больше ничего. Вотъ ужь она глядитъ въ зеркало около часу,—скука смертная: все одно да одно. «Вѣрно, что-нибудь не такъ»,—подумала Дуняша.— «Надобно хорошенько поразспросить Игнатьевну. Дай-ка лучше загадаю о моемъ суженомъ». Она отдохнула нѣсколько минутъ, потомъ взяла въ руки зеркало, и, глядя въ него, сказала три раза, сначала твердымъ, а подъ конецъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ: «Суженый, ряженый, приходи взглянуть въ мое зеркало». Не прошло двухъ минутъ, какъ ей послышался вдали звонъ колокольчика. «Ужь не чудится ли мнѣ?» — подумала Дуняша. «Кто поѣдетъ въ такую непогодицу?.. Добро бы еще мы были на большой дорогѣ... Чу!.. Опять!.. Фу, какъ завылъ вѣтеръ,—ничего не слышно!» Вотъ звонъ почтоваго колокольчика раздался гораздо ближе... Дуняша вздрогнула... «Что это»?—прошеп-

тала она.—«Въ самомъ дѣлѣ, колокольчикъ!.. Ахъ, Господи, да чтожъ это такое? Тутъ вовсе и ѣзды нѣтъ. Ужь не суженый ли мой?.. Ухъ, страшно!».. Нѣсколько минутъ еще звенѣлъ по-временамъ колокольчикъ, то дальше, то ближе, потомъ все затихло... И вдругъ... съ нами крестная сила!.. Что это?.. Снѣгъ хрустить подъ окномъ... кто то пробирается тяжелыми шагами вдоль стѣны... Вотъ ужь онъ близко... у дверей... берется за скобу... у Дуняши подкосились ноги... Она опустилась на скамью, и лишь только хотѣла проговорить: «чуръ меня, чуръ!» — какъ вдругъ двери распахнулись,—Дуняша вскрикнула, оглянулась назадъ... Господи... Передъ ней стоитъ какое то страшилище мохнатое, покрытое инеемъ; на головѣ у него курчавая шапка съ огромными ушами; лицо, если только можно назвать лицомъ что то похожее на человѣческій образъ, красное, съ бѣлыми бровями, обледенѣлыми рѣсницами, изъ подъ которыхъ сверкаютъ глаза, до половины засыпанные снѣгомъ. Казалось, это чудовище силилось что то сказать, но вмѣсто словъ вылетали изъ его рта какіе то невнятные звуки.

— Чуръ меня, чуръ!—проговорила умирающимъ голосомъ Дуняша.

Страшилище, вмѣсто того, чтобъ исчезнуть, сдѣлало шагъ впередъ, и замычало такимъ охриплымъ и дикимъ голосомъ, что у бѣдной дѣвушки отъ страха въ глазахъ потемнѣло. Дуняша хотѣла сотворить молитву, хотѣла перекреститься; но руки ея опустились, языкъ онѣмѣлъ, она зашаталась, и вдругъ—о, ужасъ, чудовище обхватило ее своими мохнатыми руками, она въ его ледяныхъ объятіяхъ!.. Дуняша вскрикнула и лишилась всѣхъ чувствъ.

Когда она очнулась и открыла глаза, то увидѣла, что передъ ней стоитъ, нагнувшись, мужчина въ дорожномъ платьѣ и даетъ ей нюхать что то изъ пузырька.

— Гдѣ я?—спросила Дуняша слабымъ голосомъ.

— Да тамъ же, гдѣ я васъ нашелъ,—отвѣчалъ незнакомый, все еще не слишкомъ внятнымъ голосомъ.—Ну, что вы чувствуете?

— Что чувствую?.. Не знаю!.. Кто вы?

— Проѣзжій.

— А гдѣ же онъ?—прошептала Дуня, приподымаясь со скамьи и робко озираясь кругомъ.

— Здѣсь нѣтъ никого, кромѣ меня.

— Вотъ онъ, вотъ онъ,—вскричала Дуняша, указывая съ ужасомъ на полокъ.

— Что вы, что вы? Успокойтесь!—прервалъ проѣзжій. —Это моя волчья винчура и дорожная шапка.

— Возможно ли?.. Да у него было такое страшное лицо...

— Да, я думаю, у меня лицо, точно, было некрасиво, когда я сюда вошелъ.

— Такъ это были вы?—сказала Дуняша, вздохнувъ свободно.—Ахъ, какъ вы меня испугали!

— Не гнѣвайтесь на меня: я вовсе не хотѣлъ васъ пугать. Я ѣду въ Саратовъ по казенной надобности. Въ Хоперскѣ дали мнѣ пьянаго ямщика; онъ сбился съ дороги; насъ захватила метель, и вотъ ужь три часа, какъ мы плутаемъ. Еслибъ не ваша свѣча, на которую мы все прямо ѣхали цѣликомъ, то не миновать бы намъ бѣды. Позвольте мнѣ спросить, куда я заѣхалъ?

— Это домъ и деревня Кузьмы Петровича Мирошева.

— Мирошева!—повторилъ незнакомый.—Какъ это счастливо!

— А развѣ вы его знаете?

— Нѣтъ, я не имѣю этого удовольствія; но очень счастливъ, что попалъ на дворъ къ помѣщику, который, вѣроятно, дозволитъ мнѣ у себя переночевать.

— О, безъ всякаго сомнѣнія,—онъ очень будетъ радъ!.. Да надобно послать и за вашимъ ямщикомъ.

— Онъ шагахъ въ двадцати отсюда: не могъ никакъ выбиться съ повозкою изъ сугроба.

— Пойдемте въ домъ,—сказала Дуняша, надѣвая свою шубу.

— А гдѣ мы это теперь? — спросилъ проѣзжій, посмотрѣвъ вокругъ себя.—Это, кажется, баня?... А, понимаю!... У насъ святки—вы гадали... Ну, не удивительно, что вы меня испугались...

Дуняша покраснѣла.

— И какъ вамъ было не испугаться, — продолжалъ незнакомый, надѣвая свою винчуру,—когда передъ вами явился, вмѣсто суженаго, какой то косматый лѣшій, окоченѣлый отъ холода, безъ языка... Признаюсь, и я испугался, когда вы упали въ обморокъ; къ счастію, что со мною былъ спиртъ. Ну, какъ вы себя теперь чувствуете?

— Ничего, только сердце все еще замираетъ и голова какъ будто бы кружится.

Незнакомый взялъ ее за руку, и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:

— Пульсъ не дуренъ, небольшое волненіе и больше ничего. Слава Богу, этотъ испугъ не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій! Пойдемте!

Дуняша довела проѣзжаго до дому и, указавъ ему переднее крыльцо, сказала вполголоса:

— Вы, однакожъ, никому не говорите, что застали меня въ банѣ.

— Не безпокойтесь, не скажу.

— Кузьма Петровичъ не любитъ, чтобъ гадали на святкахъ; онъ говоритъ, что это грѣхъ. Прощайте!

Проѣзжій вошелъ въ домъ, а Дуняша побѣжала черезъ дѣвичью на антресоли разсказать о своемъ приключеніи мамушкѣ Игнатьевнѣ, которая ожидала ее съ большимъ нетерпѣніемъ.

Разумѣется, Кузьма Петровичъ принялъ самымъ радушнымъ образомъ нечаяннаго гостя; послалъ людей съ фонарями отыскать извозчика, котораго нашли до половины замерзшимъ. Его оттерли снѣгомъ, потомъ напоили горячимъ и уложили спать. Добрые Мирошевы забыли на минуту свое горе и занялись совершенно проѣзжимъ. Когда онъ напился чаю и поотогрѣлся, Кузьма Петровичъ спросилъ его, куда онъ ѣдетъ.

— Я ѣду по казенной надобности въ Саратовъ,—отвѣчалъ проѣзжій.

— По казенной надобности? Такъ поэтому вы въ службѣ?

— Я опредѣленъ въ саратовскій военный госпиталь младшимъ медикомъ.

— Вы докторъ?

— О, нѣтъ еще!—я только лѣкарь.

— А развѣ это не все равно?

— Въ одномъ смыслѣ—да! Я точно такъ же, какъ докторъ, имѣю право писать рецепты, пользовать больныхъ и даже вылѣчивать ихъ,—прибавилъ съ улыбкою проѣзжій.

— Гдѣ-жъ вы учились?

— За границею.

Марья Дмитріевна взглянула на своего мужа, шепнула ему что то на ухо и сказала гостю:

— Извините, я не знаю, какъ васъ назвать...

— Степанъ Ивановичъ Логиновъ.

— Извините, Степанъ Ивановичъ, если мы васъ спросимъ: вы знаете хоперскаго доктора?

— То есть лѣкаря Адама Ѳомича Думкопфа?.. Знаю, сударыня.

— Скажите намъ откровенно, что вы о немъ думаете?

— Да какъ вамъ сказать? Я познакомился съ нимъ за границею. Во Франкфуртѣ я былъ боленъ горячкою...

— И Адамъ Ѳомичъ васъ вылѣчилъ?

— Нѣтъ, онъ пускалъ мнѣ кровь; и надобно отдать ему справедливость,—онъ мастеръ этого дѣла.

— Такъ вы находите, что онъ...

— Отличный цырюльникъ!

— Что вы говорите?

— По крайней мѣрѣ, тогда онъ былъ цырюльникомъ. Впрочемъ, можетъ быть, съ тѣхъ поръ онъ и пріобрѣлъ какія-нибудь познанія. Вѣдь практика не бездѣлица; а у насъ за нею дѣло не станетъ, была бы только охота лѣчить. Мы, русскіе, народъ здоровый, крѣпкій, — все вытерпимъ.

— Ну, вотъ видишь, мой другъ,—прервала Марья Дмитріевна,—сердце мое чувствовало, что онъ ничего не знаетъ.

— Вѣрно у васъ есть кто-нибудь больной? — спросилъ лѣкарь.

— Да, Степанъ Ивановичъ, — отвѣчалъ Мирошевъ, — дочь наша. Вотъ ужь нѣсколько мѣсяцевъ, какъ она занемогла. Кажется, Адамъ Ѳомичъ думаетъ, что у нея чахотка.

— Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, — вскричала Марья Дмитріевна,—это не можетъ быть, я не вѣрю этому!.. Не правда ли, Степанъ Ивановичъ: чахотка неизлѣчимая болѣзнь?

— Не всегда. А позвольте васъ спросить, что чувствуетъ ваша больная?

— Чрезвычайную слабость; она каждый день становится все хуже и хуже,—сказала Марья Дмитріевна, и крупныя слезы покатились по ея щекамъ.

— Она не спитъ по ночамъ,—подхватилъ Кузьма Петровичъ;—почти ничего не ѣстъ, тоскуетъ и такъ исхудала...

— О, такъ исхудала, — прервала Марья Дмитріевна, всхлипывая,—такъ исхудала, что я даже не узнаю ея... Ну, точно таитъ какъ свѣча!

Лѣкарь призадумался.

— Тоскуетъ, не спитъ по ночамъ!—прошепталъ онъ про себя.—Да!...

Онъ покачалъ головою.

— Боже мой, Боже мой,—вскричала Мирошева,—такъ и вы думаете то же, что Адамъ Ѳомичъ... Такъ у ней чахотка?

— А можетъ и нѣтъ, — сказалъ лѣкарь.—Болитъ ли у нея грудь, Кузьма Петровичъ?

— Нѣтъ.

— Харкаетъ ли она кровью?

— Нѣтъ.

— Не чувствуетъ ли глухой боли въ правомъ или лѣвомъ боку?

— Она никогда на это не жаловалась.

— Не замѣчали ли вы, что у нея выступаетъ иногда на щекахъ не натуральный румянецъ?

— Теперь никогда!—прервала Марья Дмитріевна.—Она блѣдна какъ смерть.

— А есть ли у нея постоянный сухой кашель?

— Нѣтъ, Степанъ Ивановичъ,—отвѣчалъ Мирошевъ.—Мѣсяца два тому назадъ она простудилась и кашляла нѣсколько дней сряду; но этотъ кашель прошелъ безъ всякаго лѣченья.

— Если все это такъ, какъ вы говорите,—сказалъ съ веселымъ видомъ лѣкарь,—то я могу объявить вамъ утвердительно, что у вашей больной нѣтъ и признаковъ чахотки.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Слава Богу! — вскричала Марья Дмитріевна, перекрестясь.—И вы въ этомъ увѣрены!

— Совершенно увѣренъ. Да позвольте мнѣ на нее взглянуть.

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Поди, Машенька,—сказалъ Кузьма Петровичъ, —посмотри, можно ли намъ къ ней придти?

Марья Дмитріевна вышла изъ гостиной и черезъ нѣсколько минутъ прислала просить лѣкаря къ больной. Когда Кузьма Петровичъ вошелъ со своимъ гостемъ въ комнату Вареньки, она сидѣла въ креслахъ, прислоня голову къ подушкѣ, бѣлая наволока которой почти не отличалась отъ блѣднаго лица ея. Позади креселъ стояла Дуняша.

— Я принесъ вамъ здоровье,—сказалъ лѣкарь.

Варенька кивнула привѣтливо головой и улыбнулась. Въ этой кроткой, но ужасной улыбкѣ выражалась такая

твердая увѣренность, что болѣзнь ея неизлѣчима, такое равнодушіе къ жизни и такая сердечная грусть, что слезы навернулись на глазахъ у лѣкаря. Степанъ Ивановичъ Логиновъ былъ еще человѣкъ молодой, мало имѣлъ практики: слѣдовательно, привычка видѣть людскія страданія не убила еще въ душѣ его всей чувствительности; онъ не умѣлъ даже притворяться равнодушнымъ и вовсе не обладалъ искусствомъ, иногда необходимымъ, скрывать подъ наружнымъ спокойствіемъ свои опасенія, которыя, по милости Божіей, не всегда оправдываются на самомъ дѣлѣ, и даже очень часто, — не во гнѣвъ будь сказано господамъ-медикамъ,—имѣютъ своимъ основаніемъ одно ложное понятіе о недугѣ больного. Этотъ неосторожный порывъ чувствительности не укрылся отъ Марьи Дмитріевны: сердце ея замерло отъ ужаса. Да и было чего испугаться: медикъ, который не можетъ безъ слезъ смотрѣть на больного, вовсе неутѣшителенъ. Степанъ Ивановичъ сѣлъ подлѣ Вареньки и взялъ ее за руку. Съ минуту продолжалось общее молчаніе. Мирошевы не смѣли дышать: они оба, и мать, и отецъ, не сводили глазъ съ лѣкаря; въ эту минуту онъ былъ для нихъ судьбою, посланникомъ Божіимъ, вѣстникомъ жизни и смерти: каждое его движеніе, малѣйшее измѣненіе въ чертахъ лица приводило ихъ въ ужасъ, и даже веселая улыбка, которая появилась на устахъ его, показалась имъ подозрительною. Степанъ Ивановичъ, сдѣлавъ нѣсколько вопросовъ больной, обратился къ Мирошевымъ и сказалъ:

— Теперь я могу васъ совершенно успокоить: вамъ нечего бояться.

— Такъ вы не видите никакой опасности? — прервала съ живостію Марья Дмитріевна.

— Ни малѣйшей! Я готовъ ручаться жизнію, что ваша больная черезъ мѣсяцъ будетъ совершенно здорова.

— О, пусть утѣшитъ васъ Господь Богъ, какъ вы насъ утѣшили!—вскричала Марья Дмитріевна залившись слезами. —Слышишь ли, Варенька?—продолжала она, обнимая дочь. —Слышишь ли, мой другъ? Ты выздоровѣешь, мы будемъ опять счастливы!

— Да, маменька, опять!—прошептала больная, улыбнувшись точно такъ же, какъ въ первый разъ; потомъ взглянула съ глубокою грустью на мать свою, обвила руками ея шею и зарыдала.

— Полноте, полноте! Что вы это?—сказалъ Мирошевъ. —Охъ, ужь эти женщины,—вѣчно плачутъ и съ горя, и съ радости!.. Да скажите мнѣ, — прибавилъ онъ вполголоса, обращаясь къ лѣкарю,—чѣмъ же больна Варенька?

— Да такъ, раздраженіе нервовъ, — отвѣчалъ Степанъ Ивановичъ;—истерическіе припадки, слабость, разстроенный желудокъ, и больше ничего. Все это должно быть слѣдствіемъ какого-нибудь внезапнаго потрясенія, испуга; а болѣе всего необдуманнаго кровопусканія и, кажется, вовсе неумѣстныхъ лѣкарствъ. Да чѣмъ лѣчитъ вашу больную Адамъ Ѳомичъ?

— Теперь ничѣмъ. Онъ приказалъ ее поить козьимъ молокомъ

— И то хорошо, что средство безвредное; но оно вовсе безполезно. Вашу больную надобно подкрѣплять. Со мною есть дорожная аптечка. Кузьма Петровичъ, потрудитесь, прикажите ее принести сюда; да еслибъ вы, сударыня, — продолжалъ лѣкарь, обращаясь къ Марьѣ Дмитріевнѣ, — сдѣлали намъ чашечки двѣ ромашки. Вѣдь у васъ, вѣрно, есть?

— Какъ же!

— Такъ потрудитесь. А мнѣ позвольте еще кой о чемъ поразспросить мою больную.

— Сдѣлайте милость!

Мирошевы вышли, а лѣкарь, оставшись одинъ, посмотрѣлъ вокругъ себя, взглянулъ на полуотворенныя двери и сказалъ Варенкѣ:

— Я желалъ бы поговорить съ вами наединѣ.

— Со мной? — прервала съ удивленіемъ больная.— Да чтожъ такое вы можете мнѣ сказать?.. Я васъ не знаю.

— Конечно, я въ первый разъ имѣю удовольствіе васъ видѣть; но еслибъ я могъ говорить...

Тутъ лѣкарь взглянулъ значительно на Дуняшу.

— Что вы на меня этакъ смотрите?—спросила Дуня.

— При ней вы можете говорить все,—сказала Варенька. —Это другъ мой.

Лѣкарь посмотрѣлъ опять вокругъ себя и сказалъ вполголоса больной:

— У меня есть къ вамъ препорученіе.

— Ко мнѣ? Да вѣдь вы заѣхали къ намъ нечаянно?

Степанъ Ивановичъ улыбнулся.

— Ахъ, какой же вы притворщикъ!—подхватила Дуня. —Да не вы ли мнѣ говорили, что сбились съ дороги?

— Это правда, и еслибъ я не заплутался, такъ давно бы ужь былъ у васъ.

— Такъ вы къ намъ ѣхали?

— То есть я далъ слово къ вамъ заѣхать: меня просили объ этомъ въ Воронежѣ.

— Въ Воронежѣ?—повторила Варенька, и блѣдныя щеки ея сдѣлались еще блѣднѣе.

— Позвольте!—сказалъ лѣкарь, взявъ ее за руку.—О, да какъ пульсъ-то у васъ поднялся!... Выпейте воды.

— Бога ради, — вскричала Варенька, — говорите, говорите! Здоровъ ли онъ?

— Владиміръ Ивановичъ? Слава Богу!... Да успокойтесь!

— Онъ, вѣрно, просилъ васъ... увѣдомить меня?...

— Что любитъ васъ попрежнему, что ваша любовь дороже ему самой жизни...

— Возможно ли!... А Залуцкая?...

— Выходитъ замужъ,—но только не за него.

— Боже мой, Боже мой!—вскричала больная, прижавъ руки къ груди своей.

— Позвольте, позвольте!—сказалъ лѣкарь.—Охъ, пульсъ то у васъ!... Выкушайте водицы.

— А я обвиняла его! — прошептала Варенька, и слезы полились рѣкой изъ глазъ ея.

— Вотъ этакъ то лучше! — сказалъ лѣкарь.—Плачьте себѣ на здоровье, плачьте!... Ну, вотъ и пульсъ сталъ лучше, а то было забилъ такую тревогу!... Да, Варвара Кузьминична, онъ любитъ васъ такъ же пламенно, какъ любилъ прежде. Я знаю все: Владиміръ Ивановичъ называетъ меня своимъ другомъ, а я... о, я совершенно ему принадлежу: онъ благодѣтель мой! Покойный мой батюшка былъ при немъ дядькою; по милости Владиміра Ивановича, я получилъ образованіе, ѣздилъ въ чужіе края и сдѣлался лѣкаремъ. Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Воронежа, онъ узналъ, что всѣ письма его удерживаютъ на почтѣ...

— Ну, вотъ слышите, барышня?—прервала Дуняша.— Вѣдь я вамъ говорила!...

— Владиміръ Ивановичъ,—продолжалъ лѣкарь, вынимая изъ бокового кармана запечатанное письмо, — препоручилъ мнѣ...

— Письмо ко мнѣ?...

На лѣстницѣ послышались шаги.

— Дайте его сюда!—сказала Дуняша. — Мы прочтемъ послѣ.

Кузьма Петровичъ вошелъ въ комнату, неся довольно большой ящикъ, обитый кожею. Степанъ Ивановичъ отперъ его и вынулъ пузырекъ съ каплями.

— Вотъ,—сказалъ онъ Варенькѣ, — лѣкарство, которое недѣли черезъ двѣ поставитъ васъ совершенно на ноги, принимайте каждый день два раза по двадцати капель — хоть на сахарѣ, и запивайте ромашкою. Я увѣренъ, что завтра же вы захотите покушать.

— А что ей можно ѣсть? — спросила Марья Дмитріевна, войдя въ комнату и поставивъ на столъ чайную чашку и чайникъ.

— Сначала овсяную кашицу съ бѣлымъ хлѣбомъ; дней черезъ пять можно цыпленка, а недѣли черезъ три пусть кушаетъ на здоровье все, что ей угодно.

— Вы говорите такъ утвердительно, — сказала Марья Дмитріевна.—Какъ же это Адамъ Ѳомичъ...

— Онъ вовсе не отгадалъ ея болѣзни.

— Гдѣ ему, нѣмцу! — шепнула Дуняша, взглянувъ исподлобья на Степана Ивановича.

Онъ невольно улыбнулся и сказалъ про себя: «Какъ мила эта плутовочка!»

По какому то странному сочувствію, Дуняша въ эту же самую минуту думала: «Какой онъ хорошенькій! Какъ это я могла его испугаться?» Межъ тѣмъ, Марья Дмитріевна дала капель больной.

— Ну что, приняли?—сказалъ лѣкарь.—Запейте!... Вотъ такъ! Теперь ложитесь съ Богомъ. У васъ будетъ прекрасный сонъ. Останьтесь вы съ нею однѣ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Дуняшѣ, — а мы всѣ пойдемте внизъ: ей надобно успокоиться... И ты, бабушка, не ходи!—прибавилъ лѣкарь, увидя въ дверяхъ Игнатьевну.—Теперь нужна большая тишина.

— Да я, батюшка, и дышать не стану, — сказала Игнатьевна съ низкимъ поклономъ.—Позволь...

— Не надобно, любезная, не надобно! Чѣмъ меньше въ комнатѣ людей, тѣмъ лучше. И подлѣ дверей то не стой, бабушка; неравно какъ-нибудь стукнешь. Пойдемте.

Всѣ сошли внизъ, а Игнатьевна поплелась въ свою каморку, ворча себѣ подъ носъ:

— Охъ ужь эти доктора! Вишь, нельзя и у дверей постоять!... Причудники этакіе!... Да что онъ себѣ ни говори, а я все-таки ночью разика три-четыре приду взглянуть на барышню.

XXV.

Дорожные сборы и отъѣздъ Мирошева въ Москву.

— Ахъ, какой же умница этотъ лѣкарь, — шепнула Дуняша Варенькѣ, когда онѣ остались однѣ! увелъ всѣхъ — и бабушку Игнатьевну не пустилъ. Теперь вы можете на просторѣ прочесть... А есть что почитать!... Посмотрите-ка, барышня, письмо то какое толстое!

Я не стану вамъ описывать чувствъ Вареньки при чтеніи этого письма. Если вы никогда не любили, то это описаніе покажется вамъ преувеличеннымъ и неестественнымъ; если же сердце ваше не всегда оставалось спокойнымъ, то вспомните только, что вы чувствовали, получивъ первое письмо, написанное къ вамъ тѣмъ, котораго вы любили. Не бойтесь также: я не заставлю васъ читать вмѣстѣ съ Варенькой эти мелко исписанные четыре листа почтовой бумаги; вы не узнаете изъ нихъ ничего новаго: всѣ эти страстныя письма такъ сходны между собою... Всегда одно и то же: вѣчная любовь, вѣрность, постоянство; разница только въ изложеніи: одинъ пишетъ свои страстныя посланія какъ Сентъ-Пре, другой не лучше камердинера покойнаго моего дядюшки, человѣка очень сентиментальнаго, который всегда начиналъ свои любовныя письма слѣдующими словами: «Душа души моей, горизонтъ моего спокойствія и членъ моей внутренности!» Да и вообще этого рода письма, даже самыя краснорѣчивыя, интересны только для тѣхъ, къ кому они писаны, и почти всегда теряютъ свою цѣну, когда становятся достояніемъ всей читающей публики. Въ этомъ отношеніи они походятъ на иные манускрипты, которые драгоцѣнны только потому, что ихъ нѣтъ въ печати. Я совершенно убѣдился въ этой истинѣ съ тѣхъ поръ, какъ прочелъ «Новую Элоизу». Сколько въ этомъ эпистолярномъ романѣ истрачено ума, таланта и поэзіи для того только, чтобъ вы не вовсе умерли отъ скуки. Лѣтъ двадцать пять тому назадъ я не смѣлъ бы это сказать громогласно; но теперь каюсь передъ всѣми, что даже и тогда, когда въ головѣ

моей не было ни одного сѣдого волоса, я не могъ удерживаться отъ зѣвоты, читая эти страстныя письма Элоизы и Сентъ-Пре. Однажды,—такъ и быть—каяться, такъ каяться! —я заснулъ надъ книгою, кажется, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ описывается съ такою анатомическою подробностію первый поцѣлуй любви.

Вѣроятно, Жанъ-Жакъ Руссо былъ краснорѣчивѣе Кирсанова; но, несмотря на это, письмо Владиміра Ивановича произвело на Вареньку совершенно противное дѣйствіе: она прочла его нѣсколько разъ сряду, долго не могла заснуть, просыпалась ночью, чтобъ читать его при свѣтѣ лампады, и по-утру пересказала все письмо наизусть, слово отъ слова, Дуняшѣ, которая также не могла во всю ночь заснуть порядкомъ, потому что ей мерещился безпрестанно проѣзжій докторъ.

Марья Дмитріевна ахнула отъ удивленія и радости, когда вошла на другой день къ своей больной. Нѣсколько часовъ тому назадъ Варенька казалась совершенно безнадежною; а теперь... какая неожиданная перемѣна! Разумѣется, она была такъ же худа и почти такъ же слаба, какъ наканунѣ; но сколько жизни было въ этихъ свѣтлыхъ взорахъ, которые выражали прежде одну тяжкую грусть и желаніе смерти; съ какою радостною и спокойною улыбкою протянула она руки къ своей матери!.. О, какъ не походила эта улыбка на ту, которая, за нѣсколько часовъ до этого, какъ холодное лезвіе ножа, проникала въ сердце бѣдныхъ Мирошевыхъ!

— Ты чувствуешь себя лучше, мой другъ? — сказала Марья Дмитріевна, обнимая свою дочь.

— Несравненно лучше.

— Слава Богу!.. Слава Богу!.. Принимала ли ты сегодня лѣкарство?

— Принимала, маменька.

— Подлинно Господь Богъ послалъ намъ этого доктора: онъ воскресилъ и тебя и насъ, мой другъ... Да вотъ, кажется, онъ идетъ сюда съ Кузьмою Петровичемъ. Ахъ!— продолжала Марья Дмитріевна, обращаясь ко входящему лѣкарю,—вы нашъ ангелъ-спаситель! Взгляните на вашу больную!

— Вижу, сударыня, вижу!—сказалъ съ улыбкою Степанъ Ивановичъ.—Кажется, лѣкарство подѣйствовало. Ну, какъ вы провели ночь?

— Очень хорошо,—отвѣчала Варенька.

— Я такъ и думалъ. Пульсъ прекрасный... Да васъ и лѣчить нечего. Если будетъ аппетитъ, въ чемъ я совершенно увѣренъ, такъ вы можете денька черезъ три оставить капли.

— Не лучше ли продолжать, Степанъ Ивановичъ?— сказала Мирошева.

— Помилуйте, зачѣмъ?

— Да вѣдь вы уѣдете.

— Такъ чтожъ?.. Я оставлю вашу больную на рукахъ у такого доктора, передъ которымъ мы всѣ безъ исключенія Адамы Ѳомичи Думкопфы. До тѣхъ поръ, пока натура спитъ, мы еще на что-нибудь годимся; а какъ она проснется, да начнетъ сама лѣчить больного,—такъ наше дѣло сторона.

— Однакожъ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, — натурѣ надобно помогать.

— Ну, да, — когда она лѣниво дѣйствуетъ; да и въ этомъ случаѣ должно поступать съ большою осторожностію. Одинъ знаменитый медикъ часто говаривалъ, что врачъ, который надѣется болѣе на свое искусство, чѣмъ на натуру, походитъ на слѣпого. Болѣзнь и натура борятся въ человѣкѣ, а слѣпой придетъ съ палкою, начнетъ махать направо и налѣво: попадетъ по болѣзни—убьетъ болѣзнь; попадетъ по натурѣ—убьетъ больного. Конечно, есть недуги, въ которыхъ должно дѣйствовать рѣшительно и идти «на авось»; но вѣдь, благодаря Бога, Варвара Кузьминична не въ такомъ положеніи. Здоровая пища, спокойная жизнь и, какъ будетъ потеплѣе, такъ свѣжій воздухъ—вотъ все, что ей надобно. Впрочемъ, если бы, сохрани Господи, опять что-нибудь случилось, такъ напишите ко мнѣ въ Саратовъ: я и оттуда къ вамъ пріѣду.

— Ахъ, Степанъ Ивановичъ, — прервалъ Мирошевъ,— какъ вы добры! Чѣмъ мы можемъ доказать вамъ нашу благодарность?

— Да за что вы меня благодарите? Позвольте васъ спросить: когда вы укрыли меня отъ непогоды, приняли какъ родного, напоили, накормили, успокоили,—знали ли вы тогда, что я медикъ и могу помочь вашей больной дочери?..

— Конечно, мы этого не знали; но развѣ можно отказать въ ночлегѣ проѣзжему человѣку, а особливо въ такую погоду?

— Такъ за что же вы меня благодарите, если я, которому вы не отказали въ ночлегѣ, не отказалъ вамъ въ моемъ совѣтѣ и пособіи?

— Но вы, Степанъ Ивановичъ,—прервала Марья Дмитріевна,—возвратили намъ жизнь!

— Помилуйте, я только что васъ успокоилъ, какъ вы успокоили меня,—съ тою только разницею, что хлопотъ мнѣ было гораздо менѣе, чѣмъ вамъ. А, да вотъ ужь и кибитка моя подана! — продолжалъ Степанъ Ивановичъ, взглянувъ въ одно. Прощайте; покорнѣйше васъ благодарю за вашъ ласковый пріемъ! Я надѣюсь, вамъ не зачѣмъ будетъ выписывать меня изъ Саратова. Впрочемъ, можетъ быть, я и самъ весною у васъ побываю: у меня есть дѣло въ Новохоперскѣ.

Степанъ Ивановичъ, прощаясь съ Мирошевыми, повторилъ еще разъ обѣщаніе пріѣхать къ нимъ погостить весною.

— Вы не можете себѣ представить, — говорилъ онъ, взглянувъ невольно на Дуняшу, — какъ я самъ желаю этого.

— Пріѣзжайте! — сказала Варенька. — Да поживите у насъ подольше!

— Напишите, когда вы къ намъ пріѣдете,—подхватила Дуняша.—Мы выйдемъ къ вамъ на встрѣчу.

Лѣкарь поглядѣлъ на нее такъ чудно, что она вся вспыхнула. Сходя съ лѣстницы, онъ поотсталъ отъ Мирошевыхъ и спросилъ вполголоса Дуняшу, которая шла позади:

— Вѣрите ли вы гаданью?

— Нѣтъ!—отвѣчала отрывисто Дуня.

— А я вѣрю. Прощайте!

Лѣкарь уѣхалъ. Предсказаніе его сбылось: Варенька выздоровѣла, однакожъ не такъ скоро, какъ онъ предполагалъ. Не даромъ говорится, что болѣзнь входитъ въ человѣка пудами, а выходитъ золотниками: несмотря на то, что Варенька чувствовала себя каждый день лучше, она долго еще была слаба, и оправилась совершенно не прежде марта мѣсяца, на первой недѣлѣ великаго поста. Мирошевы говѣли. Въ одно утро, когда Кузьма Петровичъ, пріѣхавъ отъ обѣдни, читалъ, по своему обыкновенію, Житіе Святыхъ, а Марья Дмитріевна, Варенька и Дуняша слушали его, занимаясь рукодѣльемъ, вошелъ Прохоръ Кондратьичъ.

— Что ты, Прохоръ?—спросилъ Мирошевъ.

— Да такъ, сударь, пришелъ вамъ напомнить. Вотъ ужь зима то на исходѣ; не пора ли намъ въ дорогу сбираться?

— Въ какую дорогу?—спросила Марья Дмитріевна.

— Въ Москву, мой другъ, — отвѣчалъ Мирошевъ.— Вѣдь я ужь тебѣ сказывалъ, что наше дѣло перешло въ сенатъ.

— Въ Москву?.. Боже мой,—какая даль!.. А на долго ты поѣдешь?

— Да какъ это узнаешь? Если дѣло не протянется, такъ, можетъ статься, этимъ же путемъ и назадъ

— Нѣтъ, батюшка,—прервалъ Кондратьичъ,—дай Богъ и по просухѣ вернуться домой, а можетъ статься и лѣта еще захватимъ.

— Что ты говоришь, Прохоръ?—вскричала Марья Дмитріевна.—Да этакъ мы мѣсяца четыре проживемъ розно!

— Оно конечно, матушка,—сказалъ Прохоръ, почесывая въ головѣ,—дѣло для васъ небывалое: вы никогда не разставались съ Кузьмою Петровичемъ.

— Да и зачѣмъ намъ разставаться: развѣ мы не можемъ всѣ ѣхать въ Москву?

— Помилуйте, сударыня! Да какъ это можно? Мы съ бариномъ поѣдемъ налегкѣ, намъ двоимъ много ли надобно? А если тронуться всѣмъ домомъ, да упаси Господи!.. И до Москвы то нечѣмъ будетъ доѣхать.

— Да, мой другъ,—сказалъ Мирошевъ,—Прохоръ говоритъ правду; мы и такъ ужь совсѣмъ разорились отъ этой тяжбы, такъ надобно остальныя деньги поберечь. И мнѣ одному съѣздить въ Москву обойдется не дешево...

— Да, батюшка, да,—прошепталъ Кондратьичъ,—станетъ въ копѣйку!

— Не знаю,—сказала Марья Дмитріевна, — а мнѣ все сдается, что отъ этой поѣздки никакой пользы не будетъ. На твоемъ мѣстѣ, Кузьма Петровичъ, я совершенно бы положилась на волю Божію.

— Такъ, сударыня, такъ! — возразилъ Прохоръ.—Конечно, во всемъ воля Божія; да вѣдь старики говаривали: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай». Если мы хлопотать не станемъ, да проиграемъ нашу тяжбу...

— Такъ чтожъ? Будемъ побѣднѣе, вотъ и все!

— Что вы, матушка! — вскричалъ Прохоръ. — Побѣднѣе!.. Какой побѣднѣе!.. Да если у насъ землю отнимутъ,

такъ не только вамъ, да и мужичкамъ то вашимъ перекусить нечего будетъ.

— Вотъ видишь ли, мой другъ, — прервалъ Мирошевъ, —тогда не только мы, но и бѣдные крестьяне наши пострадаютъ. Вѣдь за нихъ, кромѣ меня, заступиться некому. Нѣтъ, Машенька, тамъ ужь что будетъ, то будетъ, а ѣхать надобно; по крайней мѣрѣ намъ не въ чемъ будетъ себя упрекнуть: дѣлали все, что могли; а тамъ, конечно, воля Божья!

— Когда же, сударь, вы думаете? — спросилъ Кондратьичъ.—Надобно денька три-четыре лошадей покормить: вѣдь ѣхать то слишкомъ шестьсотъ верстъ.

— Ну, дѣлать нечего! Вотъ отговѣемъ эту недѣлю, въ воскресенье отслужимъ послѣ обѣдни молебенъ, да и съ Богомъ.

— Такъ скоро?—вскричала Марья Дмитріевна.

— Да мѣшкать нечего, сударыня,— сказалъ Прохоръ.— Вотъ ужь скоро Алексѣй Божій человѣкъ: какъ хлынетъ вода съ горъ, такъ ѣзда то будетъ плохая.

— Ахъ, мой другъ,—проговорила Марья Дмитріевна,— когда подумаю, что черезъ недѣлю тебя здѣсь не будетъ!...

Она обняла Кузьму Петровича и заплакала. Варенька упала также на грудь къ отцу и залилась слезами.

— Ну!—сказалъ Кузьма Петровичъ.—Этого то я и боялся! Да полноте, Бога ради! Вы этакъ меня съ ума сведете!... Перестань, Машенька! Тебѣ бы должно подавать примѣръ дочери, а ты сама плачешь, какъ ребенокъ! Богъ дастъ, съѣзжу благополучно въ Москву, кончу счастливо всѣ дѣла, и мы опять заживемъ припѣваючи!

— О, мой другъ,—прервала Марья Дмитріевна, утирая слезы,—не предчувствуетъ мое сердце ничего добраго. Разстаться мы съ той разстанемся, а все этотъ Курочкинъ разоритъ насъ до конца.

— А я такъ вовсе не отчаиваюсь, Машенька: надѣюсь во всемъ на Бога и думаю про себя: «На Тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся во вѣки!»

— Каѳизма четвертая, псаломъ тридцатый, стихъ первый,—сказалъ Вертлюгинъ, входя въ комнату.

— Илья Сергѣевичъ!—вскричалъ Мирошевъ.— Милости просимъ!

— Здравствуйте, матушка, Марья Дмитріевна!... Кузьма Петровичъ!... Да что это вы всѣ какъ будто въ какомъ то разстройствѣ?

— А вотъ сказалъ имъ, что ѣду въ Москву, такъ онѣ расплакались.

— Въ Москву?... Когда?

— Въ это воскресенье.

— Вѣрно, по случаю вашей тяжбы?

— Да, Илья Сергѣевичъ! Наше дѣло перешло въ сенатъ.

— Вотъ что!... Ну, конечно, ѣхать надобно.

— Да будетъ ли отъ этого какая-нибудь польза,—сказала Мирошева.—Вотъ Прохоръ жилъ въ Саратовѣ и денегъ много истратилъ, а что изъ этого вышло?

— Да это что!—прервалъ Вертлюгинъ.—Саратовъ — что Саратовъ!... Это еще, матушка, цвѣточки: на гражданскую палату есть управа; а вотъ какъ въ сенатѣ то рѣшатъ не въ вашу пользу...

— Да почему-жъ вы думаете, что въ сенатѣ рѣшатъ это дѣло не въ нашу пользу, если Кузьма Петровичъ поѣдетъ самъ въ Москву?

— Эхъ, сударыня!... Ваше дѣло женское,—вы этого не знаете. Нельзя же по дѣлу не имѣть хожденія.

— Да если оно правое.

— И правое, матушка, покажется неправымъ, коли не такъ доложатъ. Вѣдь въ дѣловой то запискѣ, по которой докладываютъ, стоитъ иногда одно словечко переставить, или какой-нибудь указъ пропустить, какъ бѣлое покажется чернымъ, а черное бѣлымъ; а изъ этого и выходитъ, что челобитчику надобно быть самому на лицо и для рукоприкладства и для иного прочаго. Все-таки лучше, какъ есть кому поклониться, попросить, позабѣжать этакъ — знаете?... Ужь это испоконъ вѣковъ ведется, матушка.

— Илья Сергѣевичъ,—сказалъ Мирошевъ,—у васъ есть близкій родственникъ въ сенатѣ...

— Какъ же! Кириллъ Федосѣевичъ Припекинъ, оберъ-секретарь, батюшка!... Человѣкъ съ вѣсомъ.

— Кабы вы дали мнѣ къ нему письмо.

— Письмо? То есть рекомендательное письмо?... Можно!... Извольте, Кузьма Петровичъ!... Очень радъ!... Очень радъ!... Да, конечно, это будетъ не худо.

— Какъ я вамъ благодаренъ!

— Помилуйте, что такое! Мы съ нимъ люди свои... Я же не то, чтобъ сталъ просить о вашемъ дѣлѣ,—объ этомъ

вы ужь сами его попросите,— я только отрекомендую васъ. Да сдѣлайте милость, чтобъ это осталось между нами!... Не то, чтобъ я опасался, что Курочкинъ будетъ на меня въ претензіи за эту рекомендацію, нѣтъ,—что мнѣ Курочкинъ, помилуйте; да вотъ изволите видѣть: дѣло идетъ о графскомъ интересѣ... обнесутъ меня какъ-нибудь передъ его сіятельствомъ, скажутъ, что я дѣйствую противъ его выгодъ... не хорошо!... Нашему брату, ординарному дворянину заѣдаться съ такимъ вельможею не приходится—понимаете?... Неловко!

— Будьте спокойны! Я никому не скажу объ этомъ.

— Сдѣлайте милость!... Да я вѣдь, Кузьма Петровичъ, не даромъ къ вамъ заѣхалъ: во первыхъ, жена моя свидѣтельствуетъ всѣмъ вамъ свое почтеніе... Она все что то нездорова; кажется, опять желчь поднялась: никто ей угодить не можетъ, все сердится; а вчера еще больше разстроилась... такой вышелъ случай... Матушка, Марья Дмитріевна, помнится, у насъ была примочка отъ ушибовъ, — живая вода что-ль...

— Есть, Илья Сергѣевичъ

— Одолжите мнѣ скляночку. Ванечка у меня ушибся.

— Племянникъ вашъ?

— Да, матушка! Сорвался какъ то вчера съ голубятни, да такъ ногу зашибъ, что всю ночь прокричалъ.

— Скажите пожалуйста!... Чтожъ, вамъ теперь дать?

— Нѣтъ, сударыня, мнѣ еще надобно въ Хоперскѣ побывать. Если милость ваша будетъ, пришлите ко мнѣ на домъ съ человѣкомъ, да велите ему подождать; я ужь съ нимъ и рекомендательное письмо къ вамъ доставлю. Прощайте, матушка, Марья Дмитріевна!... Дай Богъ вамъ, Кузьма Петровичъ, всякаго успѣха!... Право, отъ искренней души желаю... Да смотрите же, о письмѣ ни гу-гу! .. Пожалуйста, помалчивайте!

— Будьте спокойны.

Вертлюгинъ уѣхалъ, и въ тотъ же самый день, дѣйствительно, доставилъ Мирошеву обѣщанное письмо къ своему дядюшкѣ, Кириллу Федосѣевичу Припекину.

Кажется, не нужно говорить, что первая недѣля поста показалась весьма коротка для Марьи Дмитріевны, что она и Варенька очень часто плакали. Наконецъ, наступилъ часъ отъѣзда. Я не буду вамъ описывать прощанья Мирошева съ его семействомъ. Какъ нѣкогда вся деревня и дворня

встрѣчали новаго своего барина, точно такъ же провожали его теперь всѣ крестьяне и дворовые; но только тогда это дѣлалось по необходимой обязанности и отчасти по любопытству, а теперь всѣ пришли, какъ дѣти, проститься съ отцомъ своимъ, и всѣ сговорились, проводивъ барина, отправиться въ церковь отслужить молебенъ и просить Господь, да напутствуетъ Онъ его своимъ благословеніемъ. Мамушка Игнатьевна, прощаясь съ Кондратьичемъ, сунула ему за пазуху мѣшечекъ съ мѣдными деньгами и шепнула на ухо:

— На-ка, батюшка, возьми: поставь въ Москвѣ алтынную свѣчу Иверской Божіей Матери, да Спасу Милостивому, да всѣмъ московскимъ угодникамъ по грошевой свѣчѣ; а тамъ, коли что останется, побереги для себя, на чужой сторонѣ все пригодится.

Долго не могъ Кузьма Петровичъ вырваться изъ объятій жены своей и дочери: онѣ цѣловали его, обливали слезами, крестили. Наконецъ, надобно было разстаться. Мирошевъ сѣлъ въ кибитку, Прохоръ помѣстился на облучкѣ.

— Ну, Ерема,—сказалъ онъ кучеру,—съ Богомъ!

Кибитка тронулась.

— Съ Богомъ!—закричали вслѣдъ отъѣзжающимъ крестьяне и дворовые.

Марья Дмитріевна и Варенька не могли ничего выговорить отъ слезъ; Дуняша также рыдала.

— Батюшка ты нашъ, отецъ родной,—проговорилъ староста Пароенъ.— Помоги тебѣ Господи и Мать Пресвятая Богородица!... Ну, ребята,—продолжалъ онъ, обращаясь къ крестьянамъ,—теперь въ церковь.

И вся толпа двинулась тихимъ шагомъ и чинно по дорогѣ, ведущей въ село Вознесенское.

XXVI.

О томъ, какъ весело ѣздить зимою на долгихъ, и что значитъ у насъ на Руси извѣстное словечко: «что пожалуете!»

Если вамъ случалось ѣздить зимою верстъ за шестьсотъ на долгихъ, и вы въ продолженіе этого безконечнаго путешествія не позавидовали ни разу суркамъ, которые спятъ безъ просыпу по нѣскольку мѣсяцевъ сряду, то ужь тогда

я позавидую вашему терпѣнію. Плестись нога за ногу по снѣговой пустынѣ, любоваться съ утра до вечера на голыя деревья, обвѣшенныя инеемъ, не видѣть ни рѣкъ, ни озеръ, не различать вдали бѣлаго неба съ бѣлою землею, въ оттепель тонуть на каждомъ шагу въ зажорахъ, въ морозъ зябнуть по нѣскольку часовъ сряду, и потомъ отогрѣваться или въ курной избѣ, въ которой вы задыхаетесь отъ дыму, или въ холодной свѣтлицѣ, въ которой морозятъ тараканов,—все это вовсе не забавно, и все это ничего въ сравненіи съ другимъ, необходимымъ мученіемъ всякаго зимняго путешественника, если онъ ѣдетъ въ нашей русской незатѣйливой кибиткѣ, нагруженной до верху чемоданами, периной, подушками, однимъ словомъ, всѣмъ тѣмъ, безъ чего у насъ и теперь еще не пускаются въ дальнюю дорогу. Въ такой кибиткѣ сидѣть нельзя: въ ней должно лежать, и, надобно сказать правду, лежать въ ней очень спокойно. Если ваше путешествіе продолжается одну только ночь, то вы, вѣрно, не промѣняете этого лубочнаго экипажа съ рогожнымъ верхомъ ни на какой щегольской дормезъ; но лежать нѣсколько дней, а иногда нѣсколько недѣль сряду, лежать, когда вы чувствуете себя совершенно здоровымъ,— да это такое наказаніе, что не приведи, Господи! Я испыталъ на себѣ всю прелесть этого дорожнаго far niente. Первыя сутки проходили у меня обыкновенно въ размышленіяхъ: я вспоминалъ о прошедшемъ, думалъ о настоящемъ, мечталъ о будущемъ. Наконецъ, бывало, какъ все передумаю, начну разсматривать рогожный потолокъ кибитки, который опускается раздавленнымъ сводомъ надъ моею головою; потомъ, чтобъ разнообразить свои удовольствія, гляжу въ затылокъ ямщику и замѣчаю, которая изъ пристяжныхъ помогаетъ дружнѣе коренной тащить мою повозку; то полежу на спинѣ, то прилягу на лѣвый бокъ, то повернусь на правый, о вотъ на третьи сутки это безпрерывное лежанье до того мнѣ надоѣстъ, что я, несмотря на трескучій морозъ, рѣшусь, наконецъ, присѣсть на облучкѣ; но черезъ нѣсколько минутъ у меня прозябнутъ ноги; я пойду пѣшкомъ, чтобъ согрѣть ихъ... опять бѣда: хорошо ходить пѣшкомъ въ легкомъ и свободномъ платьѣ; но я навьюченъ какъ верблюдъ, на мнѣ около пуда всякой мягкой рухляди; ноги мои не успѣютъ еще порядкомъ согрѣться, а я ужь задохнулся. Дѣлать нечего: ложись опять на перину и принимайся снова смотрѣть въ спину ямщику или считать ряды въ цыновкѣ,

которою обита внутренность твоей кибитки. Весело, что и говорить,—очень весело!

Кузьма Петровичъ былъ терпѣливѣе меня: цѣлыхъ девять дней онъ пролежалъ спокойно въ своей кибиткѣ; такъ же, какъ и я, переворачивался съ боку на бокъ, думалъ, мечталъ, глядѣлъ на пристяжныхъ и разсматривалъ спину своего кучера; но подъ конецъ и его терпѣніе кончилось. Въ десятый день, когда оставалось только двѣ упряжки до Москвы, Кузьмѣ Петровичу до того стало скучно лежать и не говорить ни слова, что онъ рѣшился пригласить Кондратьича, который сидѣлъ на козлахъ, переселиться къ нему въ кибитку.

— Эй, Прохоръ!—закричалъ онъ, высунувъ изъ подъ кибиточнаго лучка свою голову.

— Что, батюшка, Кузьма Петровичъ!— спросилъ Кондратьичъ, сдѣлавъ полуоборотъ направо.

— Да что ты все сидишь съ Еремою?

— А гдѣ же мнѣ сидѣть, сударь?

— Прилягъ ко мнѣ въ кибитку.

— Что вы, батюшка, помилуйте! Что я за свинья такая: лягу я съ вами рядышкомъ!

— Да у тебя, чай, спина болитъ?

— Ничего, сударь. Вотъ, Богъ дастъ, пріѣдемъ въ Москву, такъ я схожу въ баню, да распарю свои косточки. Эй вы, сердечныя!... Трогай лѣвую то пристяжную, Ерема: вишь, она ничего не везетъ!

Разговоръ прекратился. Помолчавъ нѣсколько минутъ, Мирошевъ закричалъ опять:

— Эй, Прохоръ!

— Чего изволите?

— Ложись въ кибику.

— Воля ваша, сударь, не лягу!

— Да мнѣ, Кондратьичъ, случно все лежать да молчать; мы бы поговорили. Ложись!

— Совѣстно, Кузьма Петровичъ. Ну, какъ это можно... помилуйте.

— Полно, братецъ, что за совѣсть въ дорогѣ?

— Оно такъ, сударь: въ дорогѣ и отецъ сыну товарищъ; да мнѣ, право, какъ то зазорно...

— Эхъ, Прохоръ, надоѣлъ! Ложись, говорятъ тебѣ!

— Ну если вы приказываете, такъ дѣлать нечего.

Прохоръ подлѣзъ подъ рогожный верхъ кибитки и прилегъ бочкомъ подлѣ своего барина.

— Что то, Прохоръ, у насъ теперь въ Хопровкѣ дѣлается?—сказалъ Мирошевъ.

— Богъ милостивъ, батюшка,—отвѣчалъ Кондратьичъ:—чай, все по добру, по здорову. Я боюсь только за старосту Парѳена.

— А что такое? Вѣдь онъ старикъ добрый.

— Конечно, не злой, да такой рахманный, что не приведи, Господи. Теперь покамѣстъ ничего, а вотъ какъ работа начнется, такъ врядъ ли онъ справится. При насъ онъ еще бредетъ кой-какъ, а безъ насъ лучше было бы вамъ поставить старостою Луку Андреева.

— Что ты, Прохоръ,—пьяница!

— Пьянъ, да исправенъ, сударь. У него и дуракъ не хуже умнаго свое дѣло справитъ; а дураковъ то въ Хопровкѣ не занимать стать.

— Ихъ, Прохоръ, вездѣ много; да за то, я думаю, и ладить то съ ними легче, чѣмъ съ умными.

— Легче?... Что вы, батюшка! Случалось ли вамъ бывать на крестьянскихъ сходкахъ?

— Нѣтъ, не случалось.

— А я бывалъ. Вотъ тутъ то, батюшка, посмотрѣли бы вы, какъ дураки то гарцуютъ. Вѣдь дѣло извѣстное: передъ народомъ тотъ и правъ, кто громче кричитъ; а вѣдь дураки то, сударь, какъ нарочно всѣ преголосистые. Одинъ заоретъ, а другіе подхватятъ; не успѣешь оглянуться, а ужь ихъ цѣлая ватага. Вѣдь они, сударь, всѣ другъ за друга стоятъ. Попытайся ка только съ однимъ дуракомъ схватиться, откуда возьмется ихъ видимо-невидимо, такъ и налетятъ со всѣхъ сторонъ! «Куда, ребята; что вы за люди такіе?» — «Дураки, дескать, — бѣжимъ выручать товарища!» Нѣтъ, сударь: куда смирному человѣку возиться съ дураками; съ ними надобно горло, да горло, а подчасъ и дубинку! А Парѳенъ что? Его всякая баба загоняетъ.

— И, Прохоръ, что объ этомъ думать? Пошло бы только хорошо въ Москвѣ, а дома какъ-нибудь справимся... Да что это намъ Москва то не дается?... Ѣдемъ, ѣдемъ...

— Должно бы, кажется, сегодня пріѣхать.

— Посчастливится ли намъ, Прохоръ, хоть въ Москвѣ то?

— Авось, батюшка! Богъ милостивъ! Помните ли, какъ мы, лѣтъ девятнадцать тому назадъ, ѣхали съ вами также въ Москву? Что у насъ было тогда впереди? Ничего! У меня въ мошнѣ пусто, да и у васъ въ карманѣ то хоть въ горѣлки играй. А на кого была надежда? Все-таки на Бога. Теперь мы, по крайней мѣрѣ, знаемъ, зачѣмъ ѣдемъ въ Москву; а тогда ѣхали такъ—на удачу, да и наткнулись на Хопровку. Эхъ, батюшка, доброму человѣку Богъ невидимо помогаетъ!

— Правда, Прохоръ, правда! Не знаю, добрый ли я человѣкъ, а какъ взглянешь назадъ,—подлинно, Богъ никогда меня не покидалъ. Я остался круглымъ сиротою, безъ всякаго пристанища; а дай, Господи, каждому дожить до моихъ лѣтъ, какъ я дожилъ!

— Конечно, сударь, конечно! И еслибъ Господь не наслалъ на насъ этого мошенника Курочкина...

— Почему знать, можетъ быть, и это къ лучшему?

— Къ лучшему! Что вы, помилуйте!... Да коли и нашъ верхъ будетъ, такъ мы все-таки не воротимъ того, что истратили. Отъ васъ, батюшка, все станется! вы, пожалуй, не захотите взыскать съ Курочкина за протори и убытки?

— Сохрани, Боже!... Стану я заводить новое дѣло!

— Вотъ то то же, сударь! А мало ли мы казны потратили? Да еще впереди сколько харчей будетъ!... Пиши—все пропало! Такъ изъ этого, батюшка, и выходить, что коли Господь Богъ и постоитъ за наше правое дѣло, а все бы лучше, еслибъ вамъ не зачѣмъ было ѣхать въ Москву.

— Нѣтъ, Прохоръ, не говори! Мало ли что для насъ кажется бѣдою и несчастьемъ, а глядишь—выйдетъ совсѣмъ другое. Помнишь, какъ бывшій сослуживецъ Фурсиковъ сдѣлался моимъ командиромъ, сталъ гнать меня безъ всякой причины и заставилъ наконецъ подать въ отставку? Ты и тогда говорилъ тоже самое: «Чѣмъ мы прогнѣвили Господа, за что Онъ послалъ на насъ этого злодѣя? Если бъ не онъ, такъ вы бы, Кузьма Петровичъ, служили да служили!»... Ну, а чтобы изъ этого вышло?

— А Богъ знаетъ, сударь. Вѣдь хуже бы отъ этого не не было. Вы не скоро бы провѣдали, что вамъ досталось наслѣдство, а все-таки Хопровка отъ насъ бы не ушла.

— А женился ли бы я тогда на Марьѣ Дмитріевнѣ?

— Да-съ, наврядъ бы. Вѣдь черезъ недѣлю послѣ вашей отставки полкъ выступилъ въ походъ, и вотъ ужь сколько

годовъ, какъ о немъ въ нашей сторонѣ и слуху и духу нѣтъ. А что, сударь, чай, ужь теперь въ нашемъ полку то никого изъ прежнихъ служивыхъ не осталось?

— Можетъ быть и есть кто-нибудь изъ офицеровъ.

— Полно, есть ли? Чай, ихъ всѣхъ разогналъ этотъ выскочка Фурсиковъ. Экій озорникъ, подумаешь! Кого онъ только не обижалъ? И добро бы ужь тогда, какъ его произвели въ начальники; то дѣло другое: передъ командиромъ всякій безъ вины виноватъ; а то еще какъ былъ простымъ офицеромъ, такъ и тутъ отъ него никому житья не было. А вѣдь не то, чтобъ храбраго десятка. Однажды при мнѣ онъ наскочилъ на Костоломова, такъ тотъ его такъ пугнулъ, что онъ и мѣста не нашелъ. Вы изволите помнить Костоломова?

— Какъ же не помнить: мы съ нимъ служили въ одномъ эскадронѣ.

— Вотъ, сударь, былъ бравый офицеръ! Весельчакъ, гуляка, а вѣдь предобрый.

— Да, это правда; жаль только, что попивалъ.

— Такъ что жъ за бѣда, сударь? Пилъ, да ума не пропивалъ; а вѣдь не даромъ говорится: «кто пьянъ, да уменъ, два угодья въ немъ». Бывало, Фурсиковъ натянется, такъ ужь къ нему и не подходи—словно цѣпная собака; не успѣлъ выпить третьей чарки и пошелъ ко всѣмъ придираться. А Костоломовъ какъ хватитъ, бывало, порядочную красаулю, такъ весь на распашку,—что хочешь бери, со всѣми другъ и пріятель! Начнетъ крутить усы, подбоченится—и пошла потѣха! Помните ли, въ Польшѣ: нагонитъ жидовъ, на цымбалахъ, на скрипицахъ,—плясуны, пѣсельники!... Валяй, да и только!.. А какъ самъ пораспотѣшится, да крикнетъ: «подымай выше», да подхватитъ панночку, да начнетъ съ ней краковяку... тьфу ты батюшки, дымъ коромысломъ!.. Что и говорить—залихватскій малый!.. А ужь, бывало, обидѣть ни за что никого не обидитъ!

— Полно, такъ ли, Прохоръ? Мнѣ помнится, онъ иногда...

— Ну что, сударь?.. Жида за песики оттаскаетъ, нѣмцу дастъ подзатыльникъ? Эка важность! А если надобно кому помочь, такъ первый то кто? Костоломовъ!... Помните ли, какъ мы проходили Польшу и Фурсиковъ, для потѣхи, застрѣлилъ у жида корову?.. Бѣдный жидокъ такъ и завопилъ! Вы дали ему рубль, а Костоломовъ отдалъ послѣдніе

три рубля, да распозорилъ Фурсикова на чемъ свѣтъ стоитъ! Въ другой разъ, когда мы проживали въ Нѣметчинѣ, разсердилъ его чѣмъ то хозяинъ; Костоломовъ сгоряча съѣздилъ его по затылку; а послѣ что?.. Покуда мы въ этой деревнѣ стояли, каждый день давалъ ему на шнапсъ!.. Нѣтъ, сударь, добрый былъ баринъ, добрый!

— Конечно, въ немъ много было хорошаго, и если-бъ онъ не былъ такимъ гулякою...

— Гулякою!... Что гульба, сударь! Вотъ какъ нашъ братъ старикъ начнетъ не въ мѣру гулять, такъ что и говорить,—стыдно! А народъ молодой, служивый, въ походѣ... Эхъ, сударь, сударь, кто бабушкѣ не внукъ?

— Вотъ мы теперь о немъ разговорились, Прохоръ, а живъ ли онъ?

— Богъ знаетъ, Кузьма Петровичъ! Вѣдь, кажется, въ послѣднее сраженіе онъ тяжко былъ раненъ?

— Да, очень тяжело. Онъ остался въ Пруссіи, и какъ я вышелъ въ оставку, такъ о немъ еще не было въ полку никакого извѣстія.

— Видно, сердечный, положилъ свои косточки на чужой сторонѣ. Дай Богъ ему царство небесное! Да и вѣрно Господь его помилуетъ. Всѣ мы, батюшка, грѣшники, всѣ родимся и живемъ во грѣхахъ; да не у всякаго бываетъ такая простая душа, какъ у него. Добрый былъ человѣкъ, добрый!.. Ерема, что близко до деревни?

— Недалеко, Прохоръ Кондратьичъ,—отвѣчалъ кучеръ. —Вонъ и околица.

— А что, мы отъ ночлега то верстъ двадцать пять отъѣхали?

— И всѣ тридцать будетъ.

— Такъ не покормить ли намъ въ этой деревнѣ, Кузьма Петровичъ?

— Пожалуй. А что это, Ерема, село что-ль?

— Село, сударь, и кажись большое.

— Такъ вѣрно есть постоялые дворы. Какъ въѣдешь въ улицу, остановись у перваго.

— Слушаю, сударь.

Когда наши дорожные въѣхали въ селеніе, Прохоръ вылѣзъ изъ повозки. Въ одну минуту окружила его цѣлая толпа *зазывальщиковъ*; въ числѣ ихъ было нѣсколько бабъ и мальчишекъ: ихъ пискливые и пронзительные голоса рѣзко отдѣлялись отъ охриплыхъ и дрожащихъ голосовъ

сѣдыхъ стариковъ и старухъ, которые, несмотря на свою дряхлость, не менѣе другихъ суетились и приставали къ проѣзжающимъ.

— Милости просимъ, господа честные, сюда,—у меня изба со свѣтлицею!...

— Полно, бабушка, не хвастай, что за свѣтлица,—чуланъ съ окномъ! Пожалуйте, батюшка, къ намъ: изба бѣлая, дворъ знатный, подъ навѣсомъ...

— Не слушайте его—вретъ: дворишка маленькій! Къ намъ милости просимъ: сѣно важное, овесъ отличный—овинный! Вотъ посмотрите!... Осетрина свѣжая... похлебка съ рыбой!...

— Господа честные, господа честные, милости просимъ!.. Вонъ подлѣ церкви!... У насъ все есть: калачи московскіе, бѣлужина, а ужь просторъ то какой—просторъ!...

— Что ты господъ то морочишь, колотовка: изба биткомъ набита! Не слушайте ее, пожалуйте сюда!..

— Баринъ, баринъ!... Дядюшка, наша изба лучше всѣхъ!...

— Ахъ ты щенокъ этакій, избенка на боку! Нѣтъ, хозяинъ, милости просимъ къ намъ—Андронъ Прокофьевъ,—насъ всѣ знаютъ: всѣ господа и купцы у насъ останавливаются...

— Да, да, всѣ купцы! А что ты съ нихъ дерешь то, жидъ этакій?..

— Ну, не ругайся же... смотри!.. Пожалуйте, пожалуйте!

Прохоръ, какъ человѣкъ бывалый, далъ имъ сначала накричаться досыта, потомъ спросилъ старика, который приставалъ къ нему менѣе другихъ, о цѣнѣ овса и сѣна, сторговался съ нимъ за ужинъ и постой, и наши дорожные въѣхали наконецъ на обширный крытый дворъ большой двухъ-этажной избы съ красными окнами.

— Что это за повозка, хозяинъ?—спросилъ Мирошевъ, вылѣзая изъ кибитки.

— Проѣзжій, батюшка.

— Одинъ?

— Одинъ со слугою. Да ты не бойся, кормилецъ: будетъ всѣмъ мѣсто, изба большая; а коли угодно, такъ у меня и другая изба есть!

Кондратьичъ остался при повозкѣ, а Кузьма Петровичъ вошелъ въ избу. За столомъ подъ образами сидѣлъ муж-

чина лѣтъ пятидесяти; на немъ былъ надѣтъ на распашку овчинный калмыцкій тулупъ, крытый китайкою. Красный шейный платокъ лежалъ передъ нимъ на столѣ вмѣстѣ съ огромными томпаковыми часами и табачнымъ, въ серебряной оправѣ, рожкомъ изъ черной кости. Этотъ проѣзжій по виду казался человѣкомъ сильнымъ и здоровымъ; полное, румяное лицо его выражало безпечную веселость, простодушіе и доброту. Когда Кузьма Петровичъ вошелъ въ избу, проѣзжій, окончивъ свой обѣдъ, запивалъ его чаркою водки, которая въ дорожной флягѣ стояла подлѣ него на скамьѣ. Онъ очень вѣжливо размѣнялся поклономъ съ Мирошевымъ и, обратясь къ хозяину, который также вошелъ въ избу, сказалъ:

— Ну что, старина, слуга мой поѣлъ?

— Поѣлъ, батюшка,—отвѣчалъ хозяинъ.

— А ямщикъ управился?

— Сейчасъ станетъ впрягать: повелъ лошадей поить.

— Добре!.. А за мой обѣдъ что?

— Что, батюшка, пожалуешь.

— Эхъ, братецъ, терпѣть не могу ваше: «что пожалуешь!» Говори толкомъ, что тебѣ надобно?

— Да что, кормилецъ... воля твоя, что пожалуешь!

— Охъ вы, большедорожники! Съ вами ничего нельзя безъ уговора. «Что пожалуешь!»—а самъ наровитъ взять втрое.

— Что ты, батюшка! Да развѣ я нехристь какая?... Ужь и втрое!...

— А что, небось, только вдвое?.. Ну, говори же проворнѣй: что тебѣ за мой обѣдъ надобно?

— Что пожалуешь.

— Фу ты пропасть, наладилъ одно да одно! Ну, слушай: я щей похлебалъ, бѣлужины поѣлъ, каши съ масломъ... ну, что за все?

— Что пожалуешь.

— Постой же ты, старый хрѣнъ, — вскричалъ проѣзжій,—я тебя отучу говорить «что пожалуешь». На вотъ тебѣ,—продолжалъ онъ, вынимая изъ кармана мѣдную копѣйку;—вотъ тебѣ за обѣдъ.

Старикъ взялъ копѣйку, положилъ ее преспокойно въ свою мошну и, отвѣсивъ низкій поклонъ, сказалъ:

— И тѣмъ довольны, батюшка!

— Да что ты думаешь, я шучу что-ль? — спросилъ

проѣзжій, взглянувъ съ удивленіемъ на хозяина.—Слышишь ли, я не дамъ тебѣ ни полушки больше этого!

— Слышу, кормилецъ!

— Впередъ не говори «что пожалуешь». Ну что, на дворѣ то какъ?

— Да больно сиверко, батюшка; не по времени.

— Намъ, кажется, ѣхать лѣсомъ?

— Какой лѣсъ, баринъ!... Такъ, лѣсишка рѣденькій, прогонистый, кой-гдѣ деревцо. Вотъ около Москвы такъ лѣсу довольно; только, баютъ, дорога такая, что не приведи Господи! Нырнешь въ ухабъ, такъ свѣту Божьяго не видно.

— Поторопиться же пріѣхать за свѣтло въ Москву. Поди ка, хозяинъ, скажи, чтобъ мнѣ поскорѣе лошадей закладывали.

Старикъ не трогался съ мѣста, пожимался и молча чесалъ у себя въ затылкѣ.

— Ну, чего дожидаешься? — продолжалъ проѣзжій.— Вѣдь мы съ тобой разсчитались?

— Не совсѣмъ еще, кормилецъ,—сказалъ старикъ:—ты заплатилъ за обѣдъ, а за постой то?

— За постой?.. Ну, что ты хочешь?

— Полтинничекъ надобно, баринъ.

— Полтинникъ?!.. Что ты, въ умѣ ли?

— Вѣстимо, батюшка, что и говорить—маленько! Надобно бы цѣлковенькій, да ужь такъ и быть,—баринъ то ты добрый!..

— Да я нигдѣ и съ обѣдомъ больше пятіалтыннаго не платилъ.

— Всяко бываетъ, батюшка,—каковъ уговоръ.

— Всяко бываетъ, батюшка,—каковъ уговоръ.

— И ты думаешь, что я тебѣ заплачу?

— А коли не заплатишь, баринъ, такъ я и со двора не спущу.

— Не спустишь со двора! — вскричалъ проѣзжій, и глаза его засверкали.—Ахъ ты, козлиная борода! Полтинникъ за постой!

— За что гнѣваться изволишь, господинъ честной?— продолжалъ спокойно старикъ.—Вѣдь я не спорилъ съ тобой, какъ ты пожаловалъ мнѣ за обѣдъ копѣечку? Ты о постоѣ со мной не уговаривался, а я за ѣду сказалъ тебѣ: что пожалуешь; такъ оба мы вольны: ты платить за

обѣдъ, что хочешь, а я брать за постой, что мнѣ вздумается.

Проѣзжій замолчалъ; на лицѣ его изобразились попрежнему спокойствіе и безпечная веселость; онъ улыбнулся и сказалъ:

— Правда, правда, самъ сплоховалъ!... Ну, старина, поддѣлъ ты меня... Нечего дѣлать!... На, вотъ тебѣ полтинникъ!

— Покорнѣйше благодарю, батюшка! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать!

— Ну ужь вы подмосковные мужички! Дать бы вамъ каждому жиденка по два на выучку, то-то-бы пошла порода!

— И, кормилецъ, чему жидамъ у насъ учиться? Мы народъ простой, безграмотный.

— Добро, добро, старикъ, разсказывай!... Нѣтъ, любезный, знаю я васъ!.. Кто вашего брата проведетъ, тотъ двухъ дней не проживетъ.

— И, батюшка, гдѣ намъ! Да насъ глупыхъ людей походя всѣ обманываютъ.

— Да, какъ же — обманешь васъ! Нѣтъ, братъ, не даромъ есть поговорка: «Цыгана обманетъ жидъ, жида обманетъ русскій мужичекъ, а ужь русскаго то мужичка самъ чортъ не проведетъ».

— Ахъ ты, баринъ-батюшка, какой ты затѣйникъ!

— Ну, ступай, старинушка, ступай! Скажи, чтобъ закладывали проворнѣй.

— Разомъ запрягутъ, кормилецъ, разомъ!—сказалъ хозяинъ, переминаясь попрежнему на одномъ мѣстѣ и почесывая въ головѣ.

— Ну, чтожъ ты нейдешь? — закричалъ проѣзжій.— Ступай!

— Да какъ же, батюшка,—промолвилъ старикъ съ низкимъ поклономъ:—за постой ты изволилъ заплатить, а за тепло то что!

— За тепло?.. За какое тепло?

— А какъ же? За постой, батюшка, ты и лѣтомъ бы заплатилъ, а теперь зима.

— Такъ чтожъ?

— Какъ что?... Вѣдь я избу то не даромъ топлю: вѣдь у насъ дрова покупныя. Двугривенный надобно, кормилецъ.

— Двугривенный?!—повторилъ проѣзжій, вставая.

— Эхъ, баринъ, баринъ, — продолжала спокойно хозяинъ,—что тебѣ двугривенный? Да я еще дешево попросилъ съ твоей милости,—промолвился!

— Ахъ ты ненасытная утроба, бездѣльникъ ты этакій!.. Да что вы, разбойники, въ самомъ дѣлѣ! Иль вамъ здѣсь воля на большихъ то дорогахъ грабить проѣзжающихъ?... Да что, на васъ управы что-ль нѣтъ?

— Да вѣдь, батюшка, это дѣло полюбовное. Не прогнѣвайся, уговору не было, а всякій у себя въ дому хозяинъ.

— Право?.. Погоди же, дружокъ! — прервалъ проѣзжій.—Если на тебя управы нѣтъ, такъ я и самъ съ тобой управлюсь.

— Да ты, баринъ, не буянь, — сказалъ старикъ, отступя шагъ назадъ.—Вѣдь здѣсь не глушь какая; здѣсь нахрапомъ ничего не возьмешь.

— А вотъ я тебя, мошенникъ! — вскричалъ вспыльчиво проѣзжій, схвативъ хозяина за воротъ.

— Тише, тише! — сказалъ Мирошевъ, который во все это время всматривался въ проѣзжаго.—Полно, Егоръ Васильевичъ,—не горячись!

Проѣзжій кинулъ хозяина, взглянулъ пристально на Кузьму Петровича и съ радостнымъ крикомъ бросился къ нему на шею

XXVII.

Разговоръ двухъ сослуживцевъ. Старый холостякъ.

— Дядюшка Мирошевъ! Ты ли это? — проговорилъ наконецъ проѣзжій, обнимая, или, вѣрнѣй сказать, давя въ своихъ объятіяхъ Кузьму Петровича.

— Ну да, Костоломовъ, это я, твой старый сослуживецъ.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ!... Здравствуй, товарищъ!

И Костоломовъ принялся опять душить Мирошева.

— Да полно, братецъ, перестань!—сказалъ Кузьма Петровичъ, стараясь высвободиться изъ объятій своего дюжаго однополчанина.—Ну, прямой ты Костоломовъ,—всѣ кости переломалъ!

— Да я, братецъ, такъ радъ, что и сказать нельзя!... Легко ли, безъ малаго двадцать лѣтъ!... Да ты вовсе не пе-

ремѣнился; сталъ подороднѣе и посѣдѣлъ немножко... Ахъ, ты, мой голубчикъ!... Ну, не ожидалъ я такой радости!... Сядемъ-ка, братъ, рядкомъ, да поговоримъ ладкомъ... А ты что стоишь?—продолжалъ Костоломовъ, обращаясь къ хозяину.—На, вотъ тебѣ двугривенный!... Подавись имъ!

— Много благодарны вашей милости!.. А что, баринъ, на водку то пожалуешь?..

— На водку!.. Ахъ, ты, старичишка окаянный!.. Да згинь ты съ глазъ, проклятый...

— Иду, кормилецъ, иду! Сейчасъ велю запрягать твою повозку.

Старые сослуживцы усѣлись на скамьѣ подъ образа. Костоломовъ помялъ еще раза два Мирошева, и наконецъ, когда первый восторгъ его миновалъ, спросилъ, куда онъ ѣдетъ?

— Въ Москву,—отвѣчалъ Мирошевъ.

— И я туда же!.. Такъ мы попутчики. Знаешь ли что, дядюшка: или ты садись ко мнѣ въ кибитку, или я къ тебѣ сяду,—да такъ и поѣдемъ до Москвы.

— А что и въ самомъ дѣлѣ, Егоръ Васильевичъ!... Садись ко мнѣ: у меня повозка просторная.

— Добре!... Ну что, братъ Кузьма, какъ поживаешь, что подѣлываешь?

— Слава Богу, живу понемножку.

— А гдѣ твое житье-бытье?

— Въ Новохоперскомъ уѣздѣ.

— Что у тебя, деревня что-ль есть?

— Есть небольшая деревнишка.

— И мнѣ также, братъ, дворовъ тридцать послѣ батюшки досталось, въ пяти верстахъ отъ Сапожка. Деревенька хоть куда!... Ну что, дядюшка, ты, чай, ужь давно завелся хозяйкою?

— Да, вотъ скоро девятнадцать лѣтъ.

— И дѣтки есть?

— Одна дочь. А ты, Егоръ Васильевичъ, женатъ?

— Нѣтъ еще, братецъ; все собираюсь.

— Смотри, не опоздай.

— Эхъ, дядюшка, полно, не опоздалъ ли?... Прежде я самъ не хотѣлъ жениться, а теперь за меня никто нейдетъ.

— Помилуй, Егоръ Васильевичъ, да ты еще молодецъ!

— Нѣтъ, братъ, укатали коня крутыя горки!... Нѣтъ, братъ, ужь теперь не то!... Помнишь ли, бывало, въ ста-

рину?.. Э, да что объ этомъ говорить! Мало ли что было, да быльемъ поросло!

— Ты вѣдь, кажется, Егоръ Васильевичъ, былъ тяжело раненъ и оставался въ Пруссіи?

— Да, братецъ, чуть не умеръ; мѣсяцевъ шесть провалялся, а тамъ сталъ чахнуть: однѣ кости да кожа остались. Вотъ, думаю: «Плохо дѣло, не хочется умирать на чужой сторонѣ; дай, попытаюсь,—авось доѣду какъ-нибудь до матушки святой Руси». Потащился на нѣмецкихъ форшпанахъ, доѣхалъ до нашей границы; это было зимою. Что жъ ты думаешь, братецъ? Какъ повѣяло на меня русскимъ духомъ, да прохватило морозцемъ, такъ вовсе не тотъ сталъ: откуда взялись и бодрость и сила! Я прожилъ еще на покоѣ мѣсяца два у батюшки, да и явился опять на службу. Ну, братъ, не узналъ я нашего полка! Старыхъ офицеровъ почти никого, солдатъ также; а что хуже то всего—Фурсиковъ командиромъ! Прослужилъ я этакъ около года: отъ начальника житья нѣтъ; товарищи или молокососы, или командирскіе наушники, или такъ же, какъ я, въ загонѣ. Тошно стало!... Добро бы еще я могъ отвести душу, да какъ, бывало, въ старину, плюнуть Фурсикову въ рожу; нельзя,—командиръ! Нечего дѣлать, — подалъ въ отставку. Пріѣхалъ домой: покойный батюшка лежитъ на столѣ. Грустно, братецъ, стало, больно грустно! Вѣдь онъ у меня былъ одинъ-одинехонекъ: ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ. Ну, дѣлать нечего! Поплакалъ, похоронилъ родного, остался на житье въ деревнѣ и занялся хозяйствомъ. Вотъ этакъ черезъ годъ надоѣло мнѣ сидѣть, зимою поджавши руки, а лѣтомъ присматривать съ утра до вечера за работою; началъ я знакомиться съ сосѣдями, завелъ себѣ двухъ борзыхъ, да лихого горскаго коня, сталъ ѣздить въ отъѣзжія поля, травить зайцевъ; — пошла потѣха!.. Охотничья жизнь какъ будто бы на военную стать: и ночь не доспишь, и поздно ляжешь, и на плащѣ въ чистомъ полѣ отобѣдаешь, цѣлый день на конѣ, то подъ дождемъ, то на солнышкѣ—славно! У моихъ товарищей-охотниковъ у кого была дочка на возрастѣ, у кого сестрица въ законныхъ лѣтахъ. Вотъ и стали ко мнѣ свахи похаживать: «и та хороша, и эта пригожа»; а я думаю: «Что торопиться? Успѣю еще навязать себѣ жену на шею!» Откладывалъ, да откладывалъ, годъ за годъ; глядь-поглядь—еге, ужь мнѣ гораздо за сорокъ! Пора завестись хозяйкою; ужь этакъ, знаешь ли,

въ зимній то вечеръ и скучненько,—не съ кѣмъ слова перемолвить. Конечно, холостая жизнь вольная: дѣлай, что хочешь, ступай, куда вздумается; дома тебя никто не ждетъ, ребятишки не плачутъ,—чего бы кажется? Анъ нѣтъ, любезный!... Случилось мнѣ раза два-три прихворнуть,—охъ, тошно, братецъ! Полъ-имѣнья бы отдалъ, чтобъ возлѣ меня сидѣла жена, да играли дѣточки.

— Да, Егоръ Васильевичъ, я думаю, и здоровому то подчасъ грустно бываетъ?

— Не приведи Господи!... Бывало, пригласитъ меня съ собою какой-нибудь сосѣдъ заѣхать къ нему съ поля; посмотришь: въ домѣ все убрано, чисто, жена дожидается за самоваромъ, дѣти бѣгутъ къ нему навстрѣчу; онъ одѣляетъ ихъ заячьими лапками,—шумъ, гамъ, весело, живо!.. А меня холопъ съ пьяной рожей встрѣчаетъ, ключница съ заспанными глазами; вездѣ пыль, соръ, безпорядица; въ передней конюшня, въ столовой мальчишки въ козлы играютъ, — срамъ да и только! Вотъ я, наконецъ, рѣшился посвататься за одной вдовушкой, лѣтъ двадцати пяти. Женщина такая бойкая, веселая, хохотунья, глаза черные, бровь дугою — король-барыня! Она меня выслушала, улыбнулась и сказала, что будетъ отвѣчать письменно.

— Чтожъ она тебѣ отвѣчала?

— Да что, братецъ: отказъ какъ шестъ! «Вамъ, дескать, батюшка, Егоръ Васильевичъ, безъ малаго пятьдесятъ годовъ, а мнѣ съ небольшимъ двадцать; впрочемъ, я, дескать, васъ очень уважаю, и если вы будете женаты, какъ я стану выходить замужъ, такъ прошу васъ заранѣе въ посаженые отцы». Что будешь дѣлать?... Какъ не солоно хлебалъ!

— Я думаю, это весьма тебя огорчило?

— Нѣтъ, братецъ, не скажу. Вдовушка то не то, чтобъ очень пришлась мнѣ по сердцу,—а такъ, жениться больно захотѣлось; она же была у меня подъ руками, въ двухъ верстахъ... Нѣтъ, братъ, горе то было впереди!

— А что такое?

— А вотъ что: изъ моихъ сосѣдей дружнѣе всѣхъ жилъ со мною Петръ Никитичъ Пышкинъ, также нашъ братъ— старый кавалеристъ. У него была дочка Настенька, лѣтъ двадцати, не то, чтобъ красавица, а такая миловидная, что вотъ такъ бы съ нея глазъ и не сводилъ,—скромная, тихая. Матушка ея, предобрая барыня, любила меня какъ родного; а объ отцѣ и говорить нечего: мы съ нимъ жили душа въ

душу. За дочкой больно ухаживалъ одинъ молодчикъ, по имени Иванъ Михайловичъ, а по фамиліи Рындиковъ, сынъ бѣднаго дворянина, который служилъ въ Сапожкѣ уѣзднымъ засѣдателемъ. Правда, Пышкины не очень его баловали, да и Настасья Петровна не была съ нимъ въ половину такъ ласкова, какъ со мною. Разумѣется, братецъ, мнѣ самому и въ голову не пришло бы приволокнуться за этой барышней: ужь коли вдова забрила мнѣ затылокъ, такъ чего ждать отъ дѣвицы?... Да вотъ изволишь видѣть: я сталъ замѣчать, что она больно умильно на меня посматриваетъ, а къ тому же и батюшка начнетъ иногда говорить такіе обиняки, и матушка туда же... Вотъ, братецъ, у меня по-немножку, да по-немножку и засѣло въ головѣ. Бывало, я видаюсь съ Настасьей Петровной раза три-четыре въ недѣлю, а тамъ ужь сталъ иногда и по два раза въ день завертывать.

— Что вижу, Егоръ Васильевичъ, ты въ нее влюбился?

— Влюбился?... Что влюбился!... Я съ молоду часто влюблялся,—да нѣтъ, дядя, это совсѣмъ не то. Я врѣзался по уши; только о ней и думаю... Засыпаю—Настасья Петровна; проснусь—Настасья Петровна!... Такой грѣхъ, братецъ: молиться начну — Настасья Петровна! Вотъ однажды уговорили меня ѣхать въ отъѣзжее поле верстъ за двадцать. У меня былъ полвопѣгій кобель, Буянъ, — диковинная собака: какой бы ни былъ русакъ, съ первой угонки какъ пить дастъ!... Насъ охотилось этакъ помѣщиковъ съ полдюжины: у одного была стая гончихъ, у двухъ-трехъ отличныя борзыя, въ томъ числѣ у Пышкина. Травятъ безъ меня: собаки рѣзвыя, со мною—всѣ тупицы; лишь только атукнутъ, да укажутъ косого, мой Буянъ изо всѣхъ собакъ какъ свѣчка затеплится! А Пышкинъ такъ и выходитъ изъ себя... Вотъ мы охотимся день, охотимся другой; въ первый я заполевалъ шесть русаковъ, во второй затравилъ лису... Ну, какъ бы не тѣшиться? Нѣтъ, не то на умѣ!... На третій день чѣмъ-свѣтъ всѣ отправились на сборное мѣсто, а я домой, и лишь только съ коня, тотчасъ къ Пышкинымъ. Матушка чѣмъ то занималась; меня приняла дочка.

— Что это вы такъ скоро воротились съ охоты?—спросила она меня.

— Да такъ, Настасья Петровна,—по васъ стосковался.

— Такъ вы меня въ самомъ дѣлѣ очень любите?

— И сказать нельзя!

Она улыбнулась и проговорила своимъ милымъ голоскомъ:

— Я также васъ чрезвычайно люблю, Егоръ Васильевичъ!

— Ну,—шепнулъ я про себя, — махну: что будетъ, то будетъ!... Настасья Петровна! — сказалъ я, — вы ужь дѣвица на возрастѣ, что если бы за васъ кто-нибудь посватался?...

Моя барышня такъ вся и вспыхнула. — Ладно, — подумалъ я:—понимаетъ!

— Ну, чтожъ вы не изволите отвѣчать? — продолжалъ я.

Настасья Петровна взглянула на меня такъ умильно, такъ ласково, и на ея голубенькихъ глазкахъ навернулись слезы.

— Егоръ Васильевичъ, — сказала она,—я давно хотѣла съ вами объ этомъ поговорить, да все не могла рѣшиться начать первая.

— Виноватъ, Настасья Петровна,—мнѣ бы самому...

— Но, можетъ быть, вы не замѣчали?...

— Замѣчать то замѣчалъ, да мнѣ все какъ то не вѣрилось...

— Ахъ, Егоръ Васильевичъ, вы до сихъ поръ были лучшимъ моимъ другомъ, будьте же теперь моимъ вторымъ отцомъ...

Меня подрало морозомъ по кожѣ.

— Конечно, Иванъ Михайловичъ не богатъ, — продолжала Настасья Петровна, — но онъ такой честный, благородный человѣкъ; онъ такъ меня любитъ!... Съ нимъ я, вѣрно, буду счастлива.

У меня въ глазахъ позеленѣло и начали мальчики попрыгивать.

— Егоръ Васильевичъ, — прибавила эта разбойница своимъ умильнымъ голоскомъ,—вступитесь за насъ! Батюшка васъ любитъ, вы одни можете уговорить его.

Что, братецъ, со мной дѣлалось въ эту минуту, такъ я тебѣ и разсказать не могу! Я хотѣлъ что то вымолвить, заикнулся, забормоталъ. Настасья Петровна кинулась ко мнѣ на шею, заплакала... Что будешь дѣлать, — жалко стало!

— Ну, чтожъ ты сдѣлалъ?

— Да что, братецъ!... Вотъ, говорятъ, на себя руки

не подымешь,—поднялъ! Велѣлъ осѣдлать своего черкеса и отправился опять на охоту. Я засталъ Пышкина за дѣломъ: травитъ русака. У другихъ охотниковъ собаки поразметались; одинъ лишь только Нахалъ, любимый кобель Пышкина, тянется за сердечнымъ. Видно, русакъ то попался степной: повернулъ въ чистое поле, да и пошелъ на утекъ! Нахалъ зачалъ наддавать — ближе, ближе... Пышкинъ несется позади, кричитъ:«Нахалушка!... Голубчикъ!.. Нахалушка!» Чего, Нахалушка!... Мой Буянъ воззрился, да изъ за него, какъ изъ стоячаго—хвать! Угонка, другая, третья—русакъ мой! Пышкинъ такъ и деретъ на себѣ волосы. Я подъѣхалъ къ нему и говорю:

— Послушай, братъ Петръ, что-бъ ты далъ за эту собаку, а?

— За Буяна? Да что хочешь?... Возьми все!

— Ну, а если я тебѣ и такъ отдамъ?

— Полно, братъ, шутишь!

— Я не шучу: возьми хоть теперь.

У Пышкина такъ глаза и засверкали.

— Только съ уговоромъ,—прибавилъ я, — собака твоя, а ты не откажи въ томъ, что попрошу.

— Проси, что хочешь.

— Выдай замужъ дочь.

— За кого?

— За того, кого она любитъ.

— Ужь не за Рындикова ли?

— Да хоть бы и за него.

— За эту мелкую сошку?

— Эхъ, братецъ, и мы вѣдь съ тобой не такъ, чтобъ очень крупные.

— Да у него ничего нѣтъ, — сказалъ Пышкинъ, поглядывая на Буяна.

— За то есть у тебя.

— Есть, да не про него! Вотъ если бы ты посватался за Настеньку...

— Эхъ, братъ Петръ, гдѣ ужь намъ съ тобой думать о молодыхъ! Послушайся, выдай ее за Ивана Михайловича: малый добрый, честный!...

— Нѣтъ, братецъ, ни за что на свѣтѣ!

Я замолчалъ и свистнулъ Буяна, который лежалъ въ растяжку и отдыхалъ. Мой полвопѣгій вскочилъ, отряхнулся, поднялъ уши... Тьфу ты пропасть, въ самомъ дѣлѣ, кар-

тина!... Пышкинъ такъ его и ѣстъ глазами. Вотъ подъѣхали другіе охотники, начали хвалить Буяна, — гляжу, моего Петра Никитича больно разбираетъ.

— Ну что, братецъ, — сказалъ я,—твой что-ль Буянъ или нѣтъ?

— Эхъ, Егоръ Васильевичъ, что это тебѣ въ голову вошло?... Ты говори дѣло. Ну, хочешь за него триста рублей чистыми деньгами?

— Нѣтъ, братъ, деньгами ничего не возьмешь.

— Да помилуй, что это за женихъ моей дочери—этотъ Рындиковъ?... Еслибъ у него хоть что-нибудь было... Ужь не говорю—деревня, а хоть бы пустошь какая съ угодьями... вотъ хоть такая, какъ у тебя, заозерная пустошь,—съ лѣсомъ, съ мельницей, съ сѣнными покосами...

— Такъ чтожъ?... Ты выдалъ бы тогда дочь за Ивана Михайловича?

— Ну, тогда бы еще можно какъ-нибудь...

— Право? Такъ по рукамъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ!... Я отдаю мою пустошь въ приданое за твоею дочерью, — разумѣется, если она только выйдетъ за Рындикова.

— А Буянъ?

— Бери хоть сейчасъ на свору.

Пышкинъ не долго ломался: мы, не сходя съ мѣста, порѣшили, и на другой же день была помолвка Настасьи Петровны съ Иваномъ Михайловичемъ.

— Ай да Егоръ Васильевичъ!—сказалъ Мирошевъ.—Ну, вотъ за это спасибо!

— Да, братъ, хорошо тебѣ говорить «спасибо!» Пошелъ бы ты въ мою шкуру. Сосватать я сосваталъ, а что у меня было на душѣ то, такъ одинъ Богъ знаетъ!... При людяхъ я храбрился, а какъ пріѣхалъ домой,—стыдно сказать, братецъ, — упалъ на постель, да такъ и заревѣлъ бѣлугою.

— Бѣдняжка!

— Да это бы еще ничего! А что послѣ то было: хлѣба лишился, по ночамъ не сплю, а въ голову такая дрянь лѣзетъ, что и, Господи, помилуй! Ну вотъ словно кто-нибудь такъ и шепчетъ мнѣ на ухо: «Дуракъ, что ты невѣсту то уступилъ? Еслибъ не ты, такъ ей бы не бывать за Рындиковымъ: ее бы отдали за тебя; дѣвка молодая, привыкла

бы къ тебѣ какъ-нибудь. Да и чѣмъ ты хуже этого молокососа?... А теперь что?... Они, чай, смѣются надъ тобой!.. Экій простофиля,—самъ высваталъ за другого свою невѣсту!» Повѣришь ли, дядюшка, совсѣмъ было съ ума сошелъ! А злоба то какая, злоба!... Какъ увижу Рындикова, вотъ такъ бы его и пришибъ!

— Скажи пожалуйста!

— Вотъ однажды ночью не спится мнѣ: тошно, грустно; мѣста не найду!... То хочу ѣхать къ Пышкину и сказать ему все, то убить Рындикова, то на самого себя руки наложить... Вдругъ мнѣ пришло въ голову: ужь не наказываетъ ли меня Господь Богъ за гордость... Вотъ, изволишь видѣть: я хотѣлъ самъ переломить себя: «Я, дескать, человѣкъ добродѣтельный, великодушный, на что мнѣ просить Божьей помощи, чтобъ сдѣлать доброе дѣло, — и самъ сдѣлаю!» Да, какъ бы не такъ! Нѣтъ, любезный, коли Богъ не поможетъ, такъ ничего путнаго не сдѣлаешь. Лишь только задумаешь что-нибудь хорошее, а бѣсъ тутъ какъ тутъ, и начнетъ тебѣ нашептывать на ухо... Такихъ резоновъ наскажетъ, братецъ, что черное покажется бѣлымъ, а бѣлое чернымъ.

— Правда, Егоръ Васильевичъ, правда!

— Вотъ я, братецъ, спохватился, да и ну-ка молиться. Слава Богу—отлегло отъ сердца!... Недѣли черезъ двѣ дошелъ я до того, что не только обнялъ Рындикова какъ родного и поѣхалъ къ нему на свадьбу, да еще послѣ вѣнчанья образомъ благословилъ; только деревенская жизнь мнѣ вовсе опостылѣла, и пришла, наконецъ, охота опять послужить Царю-Государю. Въ военную поздно—старенекъ сталъ; дай, поѣду въ Москву: тамъ у меня есть родные; похлопочутъ за меня, — авось попаду куда-нибудь въ городничіе; эта служба по мнѣ: дадутъ тебѣ дюжины двѣ гарнизонныхъ крысъ подъ команду... да оно и кстати: гдѣ ужь мнѣ возиться съ фрунтовыми!

— Ахъ, братецъ,—прервалъ Кузьма Петровичъ, — вотъ было бы славно: у насъ въ Новохоперскѣ городничій хочетъ подать въ отставку. Вѣдь это только десять верстъ отъ моей деревни. Вотъ бы зажили!... То ты ко мнѣ, то я къ тебѣ...

— А что ты думаешь? Можетъ быть и посчастливится. Вотъ ужь подлинно было бы хорошо!... Я человѣкъ одинокій, твоя семья сдѣлалась бы моею семьею,—зажили бы,

братецъ, припѣваючи!... Однакожъ, сытый голоднаго не разумѣетъ, — продолжалъ Костоломовъ, вставая:—ты еще, братъ, не обѣдалъ; покушай-ка на здоровье, а я пойду, взгляну на мою повозку.

Егоръ Васильевичъ повстрѣчался въ дверяхъ съ Прохоромъ.

— Здравствуйте, батюшка, Егоръ Васильевичъ! — сказалъ Прохоръ съ низкимъ поклономъ.

— Ба, ба, ба!—вскричалъ Костоломовъ.—Кондратьичъ! Ты еще живъ?

— Живъ, батюшка.

— Здорово, старина! Скажи пожалуйста, — да ты ни крошечки не перемѣнился: такой же лысый, какъ былъ...

— Такой же, батюшка, такой же!

— И рожа такая же красная.

— Ну, нѣтъ, сударь, прежде я былъ поцвѣтистѣе.

— Право, все такой же. Прошу покорно,—мы, молодые, состарились, а этотъ старый хрычъ все въ одной порѣ. Да что ты, братецъ, иль хлебнулъ живой и мертвой водицы?

— Видно, что такъ, батюшка. Да и вы, Егоръ Васильевичъ, мало постарѣли; стали только подюжѣе, да поосанистѣе. Помните ли, батюшка, какъ, бывало, въ Польшѣ то?...

— Эхъ, полно, Кондратьичъ! Не вспоминай про былое...

— Помилуйте, да вы и теперь еще краковяку такъ отхватаете, что только держись!

— Нѣтъ, Прохорушка, дамы по себѣ не найду. Старуха не пойдетъ, молодая не захочетъ... Ну, да что объ этомъ!.. Корми-ка своего барина, а я пойду сказать, чтобъ моихъ лошадей запрягать пообождали: мы ѣдемъ вмѣстѣ.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

XXVIII.

Какъ Кузьма Петровичъ пріѣхалъ въ Москву и остановился въ Зарядьѣ, и что случилось при немъ на Псковскомъ подворьѣ.

Мирошевъ и Костоломовъ отправились съ постоялаго двора въ одной кибиткѣ, а Кондратьичъ помѣстился со слугою Егора Васильевича въ другой. Они ночевали верстахъ въ тридцати отъ Москвы, поднялись чѣмъ-свѣтъ и, обгоняя безпрестанно длинные обозы, которые тянулись по коломенской дорогѣ, увидѣли, наконецъ, высокую колокольню и бѣлыя стѣны Андроньевскаго монастыря, за нимъ начали показываться одна за другою безчисленныя главы церквей и заблисталъ вдали позлащенный крестъ Ивана Великаго. Наши путешественники сняли шапки и набожно перекрестились.

— Слава Богу,—вскричалъ Костоломовъ,—вотъ и наша кормилица, матушка Москва православная!... Дотащились, наконецъ.

— Да, Егоръ Васильевичъ,—сказалъ съ глубокимъ вздохомъ Мирошевъ,—вотъ мы и доѣхали; когда то Богъ приведетъ изъ нея выѣхать?

— Что ты, братецъ: не успѣлъ пріѣхать, да ужь и назадъ сбираешься.

— Хорошо тебѣ говорить, Костоломовъ: ты человѣкъ одинокій, и долго проживешь не бѣда: по тебѣ никто не груститъ, да и ты, чай, ни о комъ не тоскуешь.

— Нашелъ чему позавидовать! Эхъ, дядюшка, дожилъ бы ты въ одиночествѣ до сѣдыхъ волосъ, какъ я, такъ не сталъ бы радоваться, что о тебѣ некому погрустить. Да скажи, Кузьма Петровичъ, я еще тебя не спрашивалъ: ты зачѣмъ ѣдешь въ Москву?

— По тяжебному дѣлу.

— Вотъ что! Такъ чтожъ, братецъ: надоѣстъ жить въ Москвѣ, оставь за себя повѣреннаго.

— Нельзя, Егоръ Васильевичъ, дѣло то больно важное; того и гляди, пустятъ по міру.

— Ну, если такъ, то я тебѣ скажу, любезный, не скоро ты изъ Москвы вырвешься.

— Авось, братецъ,—Богъ милостивъ! У меня же есть рекомендательное письмо...

Костоломовъ улыбнулся.

— Рекомендательное письмо! — повторилъ онъ сквозь зубы.—Эхъ, душенька, что эти письма! Коли есть у тебя рекомендація въ карманѣ, знаешь, этакъ... звонкая съ вѣсомъ, такъ дѣло твое пойдетъ какъ по маслу; а то на всѣ эти рекомендаціи отпустятъ тебѣ экскузаціи, да и ворота на запоръ.

— Такъ и въ Москвѣ то, братецъ, такъ же, какъ у насъ?

— А ты думалъ нѣтъ?... Ахъ, ты, деревенщина! Да если у васъ въ глуши берутъ, такъ въ Москвѣ надобно брать вдвое. И васъ, чай, подъячіе то и ерофеичъ пьютъ по однимъ только праздникамъ, а здѣсь какой-нибудь регистраторъ не сядетъ за столъ безъ бутылки францъ-вейна.

— Ну чтожъ, братецъ, дѣлать нечего; если надобно будетъ, такъ почему-жъ...

— А гдѣ ты остановишься, Кузьма Петровичъ?

— Я и самъ не знаю.

— Да развѣ у тебя въ Москвѣ нѣтъ ни родныхъ, ни знакомыхъ?

— Ни одной души.

— Я остановлюсь у моего двоюроднаго брата. Онъ человѣкъ семейный, живетъ не просторно, да для меня то мѣстечко найдутъ. А тебѣ, видно, придется взъѣхать на постоялый дворъ.

— Разумѣется.

— Въ Москвѣ всякихъ взъѣзжихъ домовъ и трактировъ довольно; только въ однихъ карману накладно, а другіе да-

леко отъ города. Всего лучше остановиться тебѣ, Кузьма Петровичъ, въ Зарядьѣ.

— А гдѣ это Зарядье?

— Въ Китай-городѣ. Года три тому назадъ я пріѣзжалъ въ Москву также похлопотать объ одномъ дѣльцѣ, и прожилъ въ Зарядьѣ цѣлый мѣсяцъ. Мѣсто бойкое, а дешево; присутственныя мѣста, сенатъ, ряды — все, братецъ, въ двухъ шагахъ. Ну, конечно, чистоты большой нѣтъ и живутъ тѣсненько, да вѣдь тебѣ не банкеты давать.

— Какіе банкеты! Особая кухня, да горенка...

— Кухня? На что тебѣ?.. Обѣдать ты можешь тутъ же въ трактирѣ, да и гораздо дешевле обойдется. Копѣекъ за двадцать накормятъ и тебя и Прохора такъ, что вы и ужинать не захотите.

— Да я, братецъ, не люблю таскаться по трактирамъ.

— Видишь, какая красная дѣвушка! Да что тебя съѣдятъ что-ль въ трактирѣ то? Я изо дня въ день цѣлый мѣсяцъ тамъ обѣдалъ, а ничего дурного не видалъ. Однажды только какой то магистратскій чиновникъ подрался съ пьянымъ нѣмцемъ, да ихъ тотчасъ розняли. Нѣтъ, братецъ, вѣдь трактиръ не то, что кабакъ; ты будешь въ немъ обѣдать съ людьми порядочными: приказные, купцы, наша братья, заѣзжіе люди..,

— Ну, если ты совѣтуешь, такъ быть по твоему.

Кибитка остановилась.

— Куда прикажете ѣхать?—спросилъ Кондратьичъ, подойдя къ господамъ.

— Въ Зарядье,—сказалъ Костоломовъ.—Да ты знаешь ли, Прохоръ, гдѣ Зарядье?

— Какъ же, батюшка! Вѣдь я московскій старожилъ. Вотъ я присяду къ вамъ на облучокъ да стану говорить Еремѣ, куда ѣхать: онъ человѣкъ небывалый.

Проѣхавъ всю Рогожскую, наши путешественники переправились черезъ Яузу и въѣхали, наконецъ, Варварскими воротами въ Китай-городъ; потомъ, миновавъ Знаменскій монастырь, они повернули налѣво, мимо церкви Максима Исповѣдника, и стали спускаться подъ гору, по узкому и кривому переулку, который соединяется съ большою Москворѣцкою улицею, недалеко отъ церкви Николы Мокраго.

— Сюда, налѣво, въ ворота! — закричалъ Костоломовъ, когда кибитка поровнялась съ двухъ-этажнымъ кирпичнымъ домомъ, весьма некрасивой наружности.

Длинный рядъ оконъ съ подъемными рамами, стекла съ бумажными заплатками, тѣсный дворъ, загроможденный возами и повозками, закопченыя стѣны дома, къ которымъ пристроены были съ надворья деревянные ветхіе переходы и грязныя лѣстницы—все это заставило невольно содрогнуться бѣднаго Мирошева, который всегда жилъ такъ опрятно, что могъ бы безъ стыда принять и угостить въ своемъ домѣ самаго чистоплотнаго гарлемскаго бюргера.

— Да это настоящій хлѣвъ!—промолвилъ онъ, вылѣзая изъ кибитки.

— Ну да, братецъ,—сказалъ Костоломовъ,—я ужь тебѣ говорилъ, что чистоты большой нѣтъ. Вѣдь это подворье, любезный; народу съ утра до вечера неотолченая труба, одни уѣзжаютъ, другіе пріѣзжаютъ, — гдѣ тутъ чистоту наблюдать. Да еще теперь что! Вотъ погляди, что будетъ въ ростепель: на дворѣ грязь по колѣно, а на улицѣ хоть въ лодкѣ поѣзжай. Конечно, въ другомъ мѣстѣ найдешь квартиру почище, да что съ тебя возьмутъ! Или придется жить гдѣ-нибудь у черта на куличкахъ!.. Наскучитъ, братъ, каждый день ходить за семь верстъ киселя ѣсть; а здѣсь хоть и грязненько, за то дешево, и все подъ руками.

Въ продолженіе этого разговора они поднялись во второй этажъ по крутой лѣстницѣ: она вела на крытый переходъ, пристроенный къ надворной сторонѣ дома. Проходя по этой *галдереѣ*, въ которой досчатый полъ гнулся подъ ихъ ногами, они замѣтили трехъ человѣкъ весьма подозрительной наружности, которые стояли, прижавшись къ стѣнѣ. По платью, ихъ можно было принять за простыхъ крестьянъ; но бритые подбородки и подстриженные волосы изобличали въ нихъ съ перваго взгляда или бѣглыхъ, или переодѣтыхъ солдатъ. Когда Мирошевъ и Костоломовъ дошли до половины перехода, оборванный мальчишка отворилъ имъ дверь, и они вошли въ обширную комнату, уставленную столами. Въ одномъ углу, за большимъ прилавкомъ, стоялъ дородный старикъ въ красной рубашкѣ и распашномъ синемъ кафтанѣ: это былъ хозяинъ трактира и гостиницы.

— Здравствуйте, Ѳедосей Кононычъ!—сказалъ Костоломовъ.—По добру ли, по здорову?

— А, батюшка, ваше благородіе! — вскричалъ хозяинъ. —Милости просимъ!

— Что, есть у тебя квартиры?

— Какъ для васъ не быть!

— Не для меня, а вотъ для моего пріятеля.

— Все равно, батюшка, все равно!

— Вели-ка, любезный, указать его человѣку, куда имъ переносить свои пожитки, да дай-ка намъ что-нибудь перекусить: мы съ дороги проголодались.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Прикажете селянки?

— Давай!

Костоломовъ усадилъ Мирошева за одинъ порожній столъ, а самъ пошелъ опять къ хозяину, условиться о платѣ за квартиру. Кузьма Петровичъ, оставшись одинъ, сталъ, отъ нечего дѣлать, разсматривать честную компанію, въ которой онъ находился. Она была немноголюдна. За однимъ столомъ, на противоположномъ концѣ комнаты, пили чай и толковали о чемъ то трое осанистыхъ гостинодворцевъ, да еще, въ двухъ шагахъ отъ Мирошева, сидѣли за небольшимъ столикомъ два человѣка; передъ ними стоялъ большой пирогъ и до половины выпитый штофъ ерофеича. Одинъ изъ этихъ пирующихъ былъ уже въ половину пьянъ; другой, который повидимому угощалъ, потому что безпрестанно потчевалъ своего товарища, казался только не много навеселѣ. Первый, плотный и здоровый мужикъ съ рыжею бородою, кривымъ глазомъ и большимъ рубцомъ на лбу, походилъ на зажиточнаго мѣщанина, мясника или ухорскаго извозчика; на немъ была шелковая, обшитая галуномъ, рубашка и плисовое полукафтанье. Второй, человѣкъ уже пожилой, но повидимому весьма еще сильный и здоровый, былъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ и цвѣтномъ атласномъ камзолѣ. Несмотря на этотъ дворянскій нарядъ, его нельзя было никакъ почесть за барина; онъ даже не походилъ на подъячаго или на управителя какого-нибудь знатнаго господина, хотя сѣрые глаза его показались Мирошеву очень сходными съ глазами Панкратія Лукича Курочкина: они точно такъ же были въ безпрестанномъ движеніи и точно такъ же не останавливались ни на минуту на одномъ предметѣ; но въ нихъ было еще что то до такой степени наглое и безстыдное, что Кузьма Петровичъ съ перваго взгляда почувствовалъ невольное отвращеніе къ этому незнакомцу. Собою онъ былъ гораздо лучше своего безобразнаго товарища: въ его быстромъ взглядѣ и правильныхъ чертахъ лица отражались природный умъ, острота и безстрашіе; но все это было по-

Длинный рядъ оконъ съ подъемными рамами, стекла съ бумажными заплатками, тѣсный дворъ, загроможденный возами и повозками, закопченыя стѣны дома, къ которымъ пристроены были съ надворья деревянные ветхіе переходы и грязныя лѣстницы—все это заставило невольно содрогнуться бѣднаго Мирошева, который всегда жилъ такъ опрятно, что могъ бы безъ стыда принять и угостить въ своемъ домѣ самаго чистоплотнаго гарлемскаго бюргера.

— Да это настоящій хлѣвъ!—промолвилъ онъ, вылѣзая изъ кибитки.

— Ну да, братецъ,—сказалъ Костоломовъ,—я ужь тебѣ говорилъ, что чистоты большой нѣтъ. Вѣдь это подворье, любезный; народу съ утра до вечера неотолченая труба, одни уѣзжаютъ, другіе пріѣзжаютъ, — гдѣ тутъ чистоту наблюдать. Да еще теперь что! Вотъ погляди, что будетъ въ ростепель: на дворѣ грязь по колѣно, а на улицѣ хоть въ лодкѣ поѣзжай. Конечно, въ другомъ мѣстѣ найдешь квартиру почище, да что съ тебя возьмутъ! Или придется жить гдѣ-нибудь у черта на куличкахъ!.. Наскучитъ, братъ, каждый день ходить за семь верстъ киселя ѣсть; а здѣсь хоть и грязненько, за то дешево, и все подъ руками.

Въ продолженіе этого разговора они поднялись во второй этажъ по крутой лѣстницѣ: она вела на крытый переходъ, пристроеннный къ надворной сторонѣ дома. Проходя по этой *галдереѣ*, въ которой досчатый полъ гнулся подъ ихъ ногами, они замѣтили трехъ человѣкъ весьма подозрительной наружности, которые стояли, прижавшись къ стѣнѣ. По платью, ихъ можно было принять за простыхъ крестьянъ; но бритые подбородки и подстриженные волосы изобличали въ нихъ съ перваго взгляда или бѣглыхъ, или переодѣтыхъ солдатъ. Когда Мирошевъ и Костоломовъ дошли до половины перехода, оборванный мальчишка отворилъ имъ дверь, и они вошли въ обширную комнату, уставленную столами. Въ одномъ углу, за большимъ прилавкомъ, стоялъ дородный старикъ въ красной рубашкѣ и распашномъ синемъ кафтанѣ: это былъ хозяинъ трактира и гостиницы.

— Здравствуйте, Ѳедосей Кононычъ!—сказалъ Костоломовъ.—По добру ли, по здорову?

— А, батюшка, ваше благородіе! — вскричалъ хозяинъ. —Милости просимъ!

— Что, есть у тебя квартиры?

— Какъ для васъ не быть!

— Не для меня, а вотъ для моего пріятеля.

— Все равно, батюшка, все равно!

— Вели-ка, любезный, указать его человѣку, куда имъ переносить свои пожитки, да дай-ка намъ что-нибудь перекусить: мы съ дороги проголодались.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Прикажете селянки?

— Давай!

Костоломовъ усадилъ Мирошева за одинъ порожній столъ, а самъ пошелъ опять къ хозяину, условиться о платѣ за квартиру. Кузьма Петровичъ, оставшись одинъ, сталъ, отъ нечего дѣлать, разсматривать честную компанію, въ которой онъ находился. Она была немноголюдна. За однимъ столомъ, на противоположномъ концѣ комнаты, пили чай и толковали о чемъ то трое осанистыхъ гостинодворцевъ, да еще, въ двухъ шагахъ отъ Мирошева, сидѣли за небольшимъ столикомъ два человѣка; передъ ними стоялъ большой пирогъ и до половины выпитый штофъ ерофеича. Одинъ изъ этихъ пирующихъ былъ уже въ половину пьянъ; другой, который повидимому угощалъ, потому что безпрестанно потчевалъ своего товарища, казался только не много навеселѣ. Первый, плотный и здоровый мужикъ съ рыжею бородою, кривымъ глазомъ и большимъ рубцомъ на лбу, походилъ на зажиточнаго мѣщанина, мясника или ухорскаго извозчика; на немъ была шелковая, обшитая галуномъ, рубашка и плисовое полукафтанье. Второй, человѣкъ уже пожилой, но повидимому весьма еще сильный и здоровый, былъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ и цвѣтномъ атласномъ камзолѣ. Несмотря на этотъ дворянскій нарядъ, его нельзя было никакъ почесть за барина; онъ даже не походилъ на подъячаго или на управителя какого-нибудь знатнаго господина, хотя сѣрые глаза его показались Мирошеву очень сходными съ глазами Панкратія Лукича Курочкина: они точно такъ же были въ безпрестанномъ движеніи и точно такъ же не останавливались ни на минуту на одномъ предметѣ; но въ нихъ было еще что то до такой степени наглое и безстыдное, что Кузьма Петровичъ съ перваго взгляда почувствовалъ невольное отвращеніе къ этому незнакомцу. Собою онъ былъ гораздо лучше своего безобразнаго товарища: въ его быстромъ взглядѣ и правильныхъ чертахъ лица отражались природный умъ, острота и безстрашіе; но все это было по-

давлено печатью самаго гнуснаго разврата. Выраженіе лица его измѣнялось безпрерывно, чаще всего оно могло бы служить прекраснымъ образцомъ для живописца, желающаго изобразить Іуду въ ту самую минуту, когда онъ предаетъ своего Спасителя. Товарищъ его походилъ просто на безсмысленное животное, которое какъ то ошибкою родилось съ человѣческимъ образомъ; а этотъ загадочный незнакомецъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, напоминалъ собою, разумѣется, въ нашемъ мелкомъ земномъ размѣрѣ, что то похожее на падшаго духа, на ангела тьмы, который самъ добровольно возлюбилъ зло и растлилъ свое небесное начало. Эти два человѣка разговаривали межъ собою вполголоса; но они сидѣли такъ близко къ Мирошеву, что онъ не проронилъ ни одного слова.

— Ну, братъ Каинъ, — говорилъ рыжебородый, — не чаялъ я тебя сегодня встрѣтить. Я только что вчера ночью добрался съ моими молодцами до Москвы; вышелъ нынче на площадь, а ты мнѣ и пырь въ глаза...

— Да, братецъ!—прервалъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Я гляжу на тебя... Ба, ба, ба!.. Что это? Бахтей!.. Откуда взялся старинный другъ и товарищъ?.. Ужь какъ же я обрадовался!.. Выпей-ка, любезный!

— А я тебя не вдругъ призналъ,—сказалъ рыжебородый, осушивъ стаканъ ерофеича.—Да что это, Каинъ, иль ты пошелъ въ нехристи? Обрилъ бороду, надѣлъ это басурманское платье!

— Неволя плачетъ, любезный, неволя пѣсенки поетъ! Коли ты старый другъ и пріятель не вдругъ меня призналъ, такъ другіе то и подавно; а мнѣ то и на руку, — понимаешь?

— Разумѣю!.. Только, воля твоя, Каинъ, чего другого, а ужь отъ вѣры я не отступлюсь; хоть сейчасъ голову на плаху, а бороды не обрѣю.

— Что ты, Бахтей! Была бы голова на плечахъ, а борода отрастетъ!.. Выкушай еще чарочку!

— Да чтожъ ты самъ то не пьешь?

— Что, любезный, плохъ сталъ: съ трехъ стакановъ въ головѣ зашумитъ, что какъ разъ выболтаешь всю подноготную; а вѣдь ты, я знаю тебя, голубчика, — тебя сорокоушей не споишь!.. Да полно, допивай, братецъ! Кажись, въ старину ты не жаловалъ, чтобъ на днѣ оставалось.

— Эхъ, Каинъ, не говори про старину!

— А что? Помнишь, на Макарьевской то ярмаркѣ... а?..

— Какъ же, братецъ, какъ же! Повеселились вдоволь, потѣшились!.. А добра то, добра! Не знали куда съ нимъ дѣваться!.. Намъ бы въ голову не пришло, что ты придумалъ: за одну ночь выстроилъ лавочку, развѣсилъ въ ней всякихъ ветошечекъ, да тесемочекъ, а настоящій то товаръ лежалъ у насъ въ землѣ, подъ поломъ!..

— А здѣсь въ Москвѣ, помнишь?.. Нарядили Марѳутку барыней, да и катаемъ ее въ щегольскомъ берлинѣ по городу!.. Ты, Бахтей, былъ кучеромъ...

— А ты, Каинъ, стоялъ на запяткахъ; а сыщики то глядятъ на насъ, разиня рты, да шапки ломаютъ!.. То то смѣху то было!.. А помнишь?..

Тутъ они заговорили шопотомъ межъ собою. Мирошевъ не зналъ, что подумать. Ему не трудно было отгадать, что подлѣ него сидятъ двое мошенниковъ; но онъ не могъ понять, какъ эти воры смѣютъ разговаривать такъ свободно, въ публичномъ мѣстѣ, о своихъ плутовскихъ дѣлахъ? Ну, пускай ужь этотъ кривой,—онъ пьянъ, а пьяному море по колѣно; но другой, кажется, въ полномъ разумѣ, и не только не удерживаетъ своего товарища, а еще говоритъ громче его!... Эти размышленія Кузьмы Петровича были прерваны громкимъ хохотомъ рыжебородаго, у котораго языкъ начиналъ прилипать къ гортани.

— Да, да, братецъ, — вскричалъ онъ, — потѣха была знатная! Жаль только, что скоро захлебнулась.

Кузьму Петровича морозъ подралъ по кожѣ.

— То-то было времячко!—сказалъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Куда всѣ подѣвались?.. Алексѣй Журка, Савелій Вьюшкинъ, Андрюшка Пиво, Ѳедотъ Замчалко... что за народъ такой! Любой, бывало, въ щелку пролѣзетъ! А что, любезный,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ,—твои то молодцы каковы?

— Бредутъ.

— А гдѣ они?

— Да что, братецъ, времена пришли тяжкія, не знаешь, куда голову приклонить. Нечего дѣлать: покамѣстъ чернецы безъ монастыря, а игуменъ безъ келейки.

— Да вѣдь на дворѣ то, любезный, холодновато...

— Что дѣлать, братецъ! У насъ всего довольно: наготы, босоты навѣшены шесты, а голоду и холоду полны амбары стоятъ.

— Погоди, найдемъ тепленькое мѣстечко; ты мнѣ скажи только...

Тутъ эти два собесѣдника заговорили опять шопотомъ. Мирошевъ всталъ съ своего мѣста и подошелъ къ прилавку.

— Такъ по рукамъ, Ѳедосей Конопычъ,—говорилъ Костоломовъ хозяину:—два съ полтиной въ мѣсяцъ, вода и дрова твои...

— Послушайте,—прервалъ вполголоса Мирошевъ, — я долгомъ считаю вамъ заявить, что вотъ эти два человѣка, одинъ въ нѣмецкомъ платьѣ, а другой въ плисовомъ полукафтаньѣ, должны быть воры и разбойники.

Хозяинъ гостиницы улыбнулся

— Не безпокойтесь, батюшка, — сказалъ онъ.—Одного изъ нихъ я знаю. Не троньте ихъ, пусть себѣ гуляютъ на здоровье.

— Что же это такое??—прошепталъ Мирошевъ, поглядѣвъ съ удивленіемъ на хозяина.—Ужь и онъ не заодно ли съ этими разбойниками?.. Егоръ Васильевичъ,—продолжалъ онъ вполголоса, обращаясь къ Костоломову, — я въ этомъ домѣ ни за что на свѣтѣ не останусь.

— Что такъ?

— Да помилуй, братецъ, здѣсь воровской притонъ!

— Вотъ вздоръ какой! Ну, разумѣется, въ трактиръ идетъ всякій,—и честный человѣкъ и мошенникъ; да тебѣ то какое до этого дѣло? Пойдемъ, братъ, завтракать, вонъ намъ селянку несутъ.

— Да знаешь ли, что подлѣ насъ сидятъ два разбойника?

— Ужь и разбойники! Воришки, можетъ быть. Ну, такъ чтожъ? Береги карманы, вотъ и все.

— Воля твоя, я ни за что не останусь жить въ такомъ домѣ, гдѣ воры разговариваютъ вслухъ о своихъ мошенническихъ дѣлахъ.

— Эхъ, дядюшка, да если ты воровъ боишься, такъ зачѣмъ въ Москву и пріѣзжалъ? Здѣсь этого добра вездѣ довольно.

— Я лучше найму гдѣ-нибудь особую квартирку.

— Да въ ней тебя скорѣй обокрадутъ. Тамъ кто у тебя будетъ караульщикомъ? Старикъ Прохоръ. А здѣсь двадцать глазъ станутъ сторожить за твоими пожитками.

— Конечно, батюшка, конечно! — прервалъ хозяинъ,

который вслушался въ ихъ разговоръ.—Да ужь будьте покойны! Чтобъ у меня въ домѣ обокрали жильца,—сохрани Господи! Да за это я самъ отвѣчаю, помилуйте!...

— Пойдемъ, братецъ,—сказалъ Костоломовъ, тащ Мирошева къ столу,—прежде закусимъ, а тамъ ужь поговоримъ объ этомъ.

Егоръ Васильевичъ принялся кушать селянку, не обращая никакого вниманія на своихъ сосѣдей. Мирошевъ не могъ никакъ послѣдовать его примѣру: онъ невольно прислушивался къ ихъ разговору, который примѣтнымъ образомъ становился шумнѣе.

— Ладно, Бахтей, ладно!—говорилъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Мы это дѣло справимъ. Да только какъ ихъ отыщешь?.. Чай, всѣ теперь въ разбродѣ.

— Около полуденъ всѣ сберутся.

— Полно, такъ ли?

— Ужь я тебѣ говорю. Куда-жъ ты?

— Такъ, братецъ, ноги поразмять,—отвѣчалъ нѣмецкій кафтанъ. Онъ всталъ, чтобъ идти; но вдругъ остановился и сказалъ:

— Что это, Бахтей, у тебя за пазухою то?.. А, а, ты, видно, гулять то гуляешь, а съ милымъ другомъ не разстаешься?

— А ты думалъ какъ?.. Нѣтъ, братъ, живой въ руки не дамся!

— Вотъ что!—пробормоталъ нѣмецкій кафтанъ, садясь на прежнее мѣсто.—Дѣло, братецъ, дѣло!.. Да чтожъ мы пирога то не отвѣдаемъ? Дай-ка я тебѣ отрѣжу ломтикъ!.. Тьфу ты пропасть, что за ножъ такой!.. Рѣжетъ не рѣжетъ... эка тупица!.. Ну вотъ хоть тресни, — продолжалъ онъ, бросилъ съ досадою ножикъ подъ столъ.—Бахтей, дай-ка мнѣ, братъ, своего завѣтнаго то.

Рыжебородый вытащилъ изъ-за пазухи огромный ножъ и подалъ его своему товарищу, который, вмѣсто того, что рѣзать имъ пирогъ, спрыгнулъ со стула, подбѣжалъ къ дверямъ, свистнулъ, и въ ту же минуту трое дюжихъ мужиковъ вскочили въ комнату.

— Камчатка,—закричалъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ, обращаясь къ одному изъ нихъ,—вяжите этого молодца—живо!

Все это было сдѣлано съ такою быстротою, что рыжебородый не успѣлъ приподняться со стула, а его ужь схва-

тили и, несмотря на отчаянное сопротивленіе, скрутили назадъ руки.

— Каинъ, что ты?—вскричалъ рыжебородый.

— Ничего, любезный! Я обѣщалъ и тебѣ и твоимъ товарищамъ тепленькое мѣстечко—милости просимъ!

— Ахъ, ты, Іуда предатель! Да ты что самъ?

— По милости Царской, московскій главный сыщикъ, Иванъ Семеновъ, по прозванью Ванька Каинъ.

— Послушайте, братцы,—закричалъ Бахтей:—онъ такой же разбойникъ, какъ и я. Слово и дѣло!

— Добро, добро, говори это въ сыскномъ приказѣ, а здѣсь этимъ не отдѣлаешься. Скрутите ему руки то покрѣпче!.. Да ведите его съ честью, ребята: вѣдь онъ баринъ большой; для него готовы высокія хоромы—два столбика съ перекладиной!

— Добро, ты, проклятый Каинъ,—проговорилъ Бахтей, скрипя зубами,—попадешься же ты намъ въ руки!

— И, братъ, страшенъ сонъ, а милостивъ Богъ. Ну, ступай же, Бахтеюшка, ступай! Мнѣ вѣдь некогда съ тобой калякать: чай, молодцы то твои ждутъ, не дождутся; надобно ихъ скорѣй по фатерамъ развести... Ну, что упираешься? Полно, Бахтей, не дури: вѣдь тебѣ здѣсь не жить, голубчикъ!

Сыщики вытащили изъ комнаты разбойника, а Каинъ пріостановился на минуту, чтобъ выпить два стакана вина, одинъ за другимъ, потомъ вышелъ вслѣдъ за ними.

— Такъ это то Ванька Каинъ?—сказалъ Костоломовъ.

— Да, батюшка, это онъ!—отвѣчалъ хозяинъ.—Я оттого ничего и не сказалъ вашей милости, чтобъ вы какъ ни есть не помѣшали ему изловить этого вора.

— Ну, вотъ видишь, Кузьма Петровичъ, —сказалъ Костоломовъ,—ты было совсѣмъ поклепалъ здѣшняго хозяина. Нѣтъ, братъ, здѣсь не воровской притонъ, а развѣ воровская ловушка.

— Все такъ, Егоръ Васильевичъ, да, право, не весело смотрѣть...

— Какъ ловятъ воровъ? Да это, братецъ, ты увидишь вездѣ: и на улицахъ, и на площадяхъ, и въ рядахъ, и на рынкѣ. Пойдемъ-ка теперь къ тебѣ на квартиру: я посмотрю, какъ ты расположился, а тамъ и отправлюсь къ своему двоюродному брату. Онъ живетъ не очень далеко отсюда, на Яузѣ: мы съ тобой часто будемъ видѣться.

XXIX.

Пріемная комната оберъ-секретаря Кирилла Ѳедосеевича Припекина.

Квартира, которую занялъ Мирошевъ, была въ нижнемъ этажѣ дома; она состояла изъ двухъ комнатъ, изъ которыхъ одна служила прихожей. Само собою разумѣется, что эти комнаты были не очень щеголеваты: голыя стѣны, покрытыя плѣсенью, по угламъ сырость; окна, надъ которыми, вмѣсто драпировокъ, висѣли огромныя паутины; ветхія рамы съ тусклыми зелеными стеклами; нѣсколько плохихъ стульевъ, еловый столъ и деревянная кровать съ веревочнымъ переплетомъ. Конечно, все это было вовсе не красиво, и даже Прохоръ—человѣкъ, какъ вы знаете, совсѣмъ не прихотливый, поморщивался, смотря на всю эту нечистоту и запустѣніе.

— Ну, братъ,—сказалъ Костоломовъ,—квартирка у тебѣ, конечно, не завидная, да вѣдь тебѣ не вѣкъ здѣсь вѣковать. Въ другомъ мѣстѣ нашелъ бы и почище, за то и взяли бы съ тебя втрое.

— А что, Егоръ Васильевичъ,—спросилъ Прохоръ, — чай, и за эту конуру хозяинъ заломилъ и Богъ вѣсть что? Небось, рублей пять въ мѣсяцъ?

— Дешевле, братецъ.

— Право? А чтожъ онъ выпросилъ найма за эти горенки,—четыре рубля?

— Дешевле.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Вотъ что! Ну, конечно, что и говорить,—позапачкано немного, а вѣдь квартирка то хоть куда!.. Чтожъ, по три рубля что-ль въ мѣсяцъ?

— По два съ полтиной.

— По два съ полтиной?.. А что вы думаете, Кузьма Петровичъ, какъ посмотрѣть хорошенько, такъ комнатки, право, порядочныя. Вотъ погодите, батюшка, какъ приберутся, такъ вы ихъ не узнаете. А что, дрова и вода хозяйскія?

— Хозяйскіе.

— Ну, это хорошо!.. А вѣдь если сказать правду, такъ квартира то веселая! Посмотрите, батюшка Кузьма Петро-

вичъ: всѣ окна на улицу!.. Дайте мнѣ только промыть стекла, — увидите, какая будетъ свѣтленькая, сущій фонарикъ!

Хотя Мирошевъ и не вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе Прохора Кондратьича, однакоже, не сдѣлалъ никакого возраженія. Костоломовъ простился съ нимъ, давъ слово побывать у него дня черезъ два. Мирошевъ оставилъ Прохора разбираться, а самъ пошелъ бродить по городу. Разумѣется, онъ началъ съ Кремля; поклонился московскимъ святителямъ, отслужилъ молебенъ Иверской Божіей Матери, и отправился на Тверскую, чтобъ взглянуть на тотъ домъ, гдѣ нѣкогда, съ горемъ пополамъ, прошли его дѣтскіе годы. Напрасно онъ искалъ его: этотъ ветхій двухъ-этажный домъ давно уже превратился въ великолѣпныя барскія палаты. У дверей стоялъ швейцаръ въ богатой ливреѣ, который не удостоилъ его отвѣтомъ, когда онъ спросилъ, давно ли этотъ домъ построенъ на мѣсто прежняго? Походивъ еще около часу, онъ возвратился на свою квартиру, которая, дѣйствительно, благодаря неутомимой дѣятельности Прохора, имѣла ужь видъ довольно опрятный, и хотя все еще походила на тюрьму, но, по крайней мѣрѣ, не возбуждала отвращенія своею нечистотою. Весь остатокъ дня Мирошевъ провелъ дома, написалъ преогромное письмо къ женѣ, поужиналъ въ трактирѣ и легъ спать часовъ въ девять для того, чтобъ встать на другой день поранѣе и отправиться съ рекомендательнымъ письмомъ къ оберъ-секретарю Припекину.

Въ шесть часовъ утра Кузьма Петровичъ надѣлъ мундиръ и пошелъ на Поварскую. Онъ долго не могъ отыскать домъ Припекина; наконецъ, догадался спросить въ одной мелочной лавочкѣ, и, къ крайнему его удивленію, ему указали только что отстроенный большой трехъ-этажный домъ, мимо котораго онъ прошелъ уже нѣсколько разъ. Хотя Мирошевъ имѣлъ весьма высокое понятіе о званіи сенатскаго оберъ-секретаря, но никакъ не воображалъ, чтобъ онъ жилъ въ такихъ палатахъ, тѣмъ болѣе, что въ сосѣдствѣ его было нѣсколько княжескихъ, генеральскихъ и даже одинъ сенаторскій домъ, весьма скромной наружности. «Кажется, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ», — подумалъ Мирошевъ, — «говорилъ мнѣ, что у его родственника вотчинъ никакихъ нѣтъ, а смотри пожалуй, какой онъ выстроилъ дворецъ!.. Видно, жалованье получаетъ большое». Кузьма Петровичъ поднялся по широкой лѣстницѣ

во второй этажъ дома и вошелъ въ просторную, но весьма нечистую лакейскую. Толстый слуга, съ косматою головою и заспанными глазами, лѣниво подметалъ полъ, онъ взглянулъ на Мирошева и, не отвѣчая на его поклонъ, спросилъ грубымъ голосомъ:

— Что вамъ надобно?

— Могу ли я видѣть его высокородіе, Кирилла Ѳедосеевича Припекина?

— Почиваетъ.

— Когда же онъ встанетъ?

— Да когда онъ проснется.

— А когда онъ проснется?

— Не знаю.

Мирошевъ вынулъ изъ кармана полтинникъ и подалъ его этой цѣпной собакѣ; толстое животное милостиво улыбнулось и проворчало, оскаливъ зубы:

— Приходите черезъ часъ.

— Да я ужь лучше подожду здѣсь въ столовой, — сказалъ Мирошевъ.

— Пожалуй, какъ хотите.

Кузьма Петровичъ вошелъ въ столовую комнату, которая удивила его своимъ роскошнымъ убранствомъ. Еслибъ Мирошевъ имѣлъ понятіе объ образѣ жизни богатыхъ людей хорошаго общества, то, конечно-бы замѣтилъ, какъ неумѣстна была эта роскошь, и какъ все, безъ исключенія, доказывало безвкусіе и необразованность хозяина. Стѣны комнаты были увѣшаны картинами, одна другой безобразнѣе; но за то рамы были превеликолѣпныя. Вмѣсто стульевъ—кресла, обитыя какою то узорчатою китайскою матеріею; во всѣхъ простѣнкахъ составныя зеркала, а на подстольникахъ, на одномъ французскіе бронзовые часы, на другомъ вазы изъ саксонскаго фарфора, на третьемъ серебряные подсвѣчники. Человѣкъ опытный отгадалъ бы безъ труда причину этой пестроты и безпорядка; разумѣется, они происходили оттого, что хозяинъ не тратилъ денегъ на украшеніе своихъ комнатъ, а просто повытаскалъ изъ кладовой всѣ подарки и разставилъ ихъ какъ ни попало.

Слишкомъ часъ сидѣлъ Мирошевъ одинъ въ столовой. Нѣсколько разъ проходилъ мимо него толстый лакей и раза два выглядывала изъ-за дверей внутреннихъ комнатъ какая то голова въ запачканномъ чепцѣ; наконецъ, вошелъ въ столовую съ кипою бумагъ чиновникъ въ нѣмецкомъ

кафтанѣ; вслѣдъ за нимъ какой то пожилой человѣкъ въ изношенномъ сюртукѣ, а спустя нѣсколько минутъ дородный купецъ съ сѣдою бородою. Чиновникъ, не удостоивъ взглядомъ Мирошева, подошелъ къ столу, положилъ на него бумаги и началъ ихъ перебирать съ заботливымъ видомъ. Пожилой человѣкъ въ изношенномъ кафтанѣ отвѣсилъ всѣмъ по низкому поклону и сталъ подлѣ дверей, а купецъ, войдя, помолился иконѣ, которая висѣла въ одномъ углу столовой, и присѣлъ на окно. Когда чиновникъ пересмотрѣлъ всѣ свои бумаги, купецъ подошелъ къ нему и сказалъ, поглаживая бороду.

— Здравствуйте, батюшка, Семенъ Акимовичъ! Какъ изволите поживать?

— А, Ѳедулъ Антонычъ, здравія желаю!—отвѣчалъ чиновникъ съ ласковою улыбкой.—Раненько вы здѣсь, почтеннѣйшій!

— И, батюшка, намъ не привыкать стать рано вставать. Ну что, сударь, дѣльце то мое?...

— А вотъ здѣсь; принесъ показать его высокородію экстрактецъ. Если онъ подмахнетъ, такъ на будущей недѣлѣ къ докладу.

— Такъ, сударь, такъ-съ!

— Ну, Ѳедулъ Антонычъ, попотѣлъ я за нимъ! Вы встали рано, а я вовсе не ложился спать.

— Дай Богъ вамъ добраго здоровья! Повѣрьте, батюшка, благодарность наша...

— И, полноте, Ѳедулъ Антонычъ, я знаю, вы человѣкъ аккуратный. А ты что пришелъ?—продолжалъ чиновникъ, взглянувъ на человѣка въ поношенномъ сюртукѣ.—Зачѣмъ?

— Какъ же, ваше благородіе,—отвѣчалъ онъ, кланяясь почти въ землю, — да развѣ вы не изволили узнать меня?

— Какъ не узнать: ты у меня всѣ пороги обилъ. Вѣдь ты повѣренный рязанскаго помѣщика Куроцапова?

— Такъ точно, ваше благородіе.

— Да чтожъ ты, братецъ, пришелъ опять безпокоить по пустякамъ его высокородіе? Вѣдь ужь тебѣ сказано, что, за неимѣніемъ важныхъ документовъ, дѣло ваше не можетъ поступить къ докладу?.. Погоди, голубчикъ, въ свое время будутъ сдѣланы нужныя справки и, когда получатся отвѣты, тогда...

— Ваше благородіе, да ужь дѣло то наше давно на очереди...

— Чтожъ дѣлать, любезный: всякое дѣло изъ очередныхъ поступитъ въ число нерѣшенныхъ, коли нѣтъ дополнительныхъ свѣдѣній и нужныхъ справокъ.

— Я писалъ ужъ объ этомъ моему господину, и онъ изволилъ мнѣ прислать съ послѣднею почтою вотъ этотъ пакетъ...

— Пакетъ?.. Дай-ка сюда!

— Онъ на имя его высокородія,—прошепталъ повѣренный, подавая чиновнику небольшой, но довольно толстый пакетъ.

— Знаю, братецъ, знаю!—проговорилъ чиновникъ.

Онъ прочелъ надпись, пощупалъ пакетъ, повертѣлъ его въ рукахъ и сказалъ:

— Ну, это дѣло другое: тутъ, я вижу, всѣ нужные документы находятся. Вотъ теперь ужь остановки не будетъ. Давно бы такъ, братецъ!

— Ахъ, батюшки, — подумалъ Мирошевъ, — какъ эти люди наметаны! Лишь только въ руки взялъ пакетъ, а ужь знаетъ, что въ немъ запечатано. Какое тонкое осязаніе у этихъ господъ!.. Привычка!

— Вы также имѣете надобность до Кириллы Ѳедосеевича?—спросилъ чиновникъ, взглянувъ, наконецъ, на Мирошева.

— Да-съ! — отвѣчалъ Кузьма Петровичъ.—Я имѣю къ нему рекомендательное письмо.

— У васъ, вѣрно, есть тяжба въ сенатѣ?

— Да, сударь, есть къ несчастію.

— Почему-жъ къ несчастію? Вѣдь вы еще процесса не проиграли.

— Въ гражданской палатѣ рѣшено не въ мою пользу

— Что гражданская палата, помилуйте! Здѣсь бы только пошло хорошо, а гражданская палата ничего!.. Да вотъ, кажется, и его высокородіе.

Двери изъ кабинета отворились, и вошелъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, въ атласномъ голубомъ халатѣ, съ широкими пунцовыми разводами. Говорятъ, будто бы гордость краситъ однихъ только лошадей,—неправда: гордый взглядъ и надменная осанка чрезвычайно были полезны для Кириллы Ѳедосеевича Припекина. Еслибъ его покрытое глубокими рябинами лицо, съ раздутыми щеками, вздер-

нутымъ кверху толстымъ носомъ и узкимъ лбомъ, не выражало необычайной спеси и чванства, то вы могли бы его принять за какого-нибудь отставного будочника; но этотъ надменный взглядъ, эта важная выступка, эти нахмуренныя брови придавали ему такой величественный видъ, что вы, взглянувъ на него, сказали бы невольно: «Какая подлая физіономія у этого большого барина!» Казалось, онъ очень дорожилъ каждымъ своимъ словомъ и, по большей части, вмѣсто отвѣта кивалъ головою, или мычалъ, или ухмылялся значительнымъ образомъ.

— Мое нижайшее почтеніе, ваше высокородіе,—сказалъ купецъ.—Вы, кажется, батюшка, изволите обрѣтаться въ вожделѣнномъ здравіи?

Припекинъ кивнулъ головою и промычалъ что то похожее на слово: да!

— Я осмѣлился придти напомнить вамъ...

— А ужь у меня и экстрактъ готовъ,—подхватилъ чиновникъ.—Если вашему высокородію будетъ угодно...

— Хорошо! Мы посмотримъ.

— Батюшка, Кирилла Ѳедосеевичъ,—продолжалъ купецъ, понизивъ голосъ,—тамъ, въ прихожей... вы вчера изволили купить у меня... полцыбика чаю, да головокъ пять-шесть рафинаду... Вотъ и расписка въ полученіи денегъ...

Припекинъ улыбнулся весьма выразительно и крикнулъ:

— Афимья!

Старуха въ запачканномъ чепцѣ показалась въ дверяхъ гостиной.

— Чай и сахаръ... тамъ, въ прихожей... прибери въ кладовую.

— Такъ я могу надѣяться,—продолжалъ купецъ, — что на будущей недѣлѣ?..

— Да, да,—сказалъ Припекинъ,—на будущей недѣлѣ... будьте спокойны!

— Вотъ, Кириллъ Ѳедосеевичъ,—сказалъ чиновникъ,—повѣренный помѣщика Куроцапова... Изволите помнить?

— Ну, что ты, братецъ, — вскричалъ онъ, бросивъ грозный взглядъ на повѣреннаго, — присталъ какъ лихорадка?.. Ужь тебѣ сказано...

— У него есть,—прервалъ чиновникъ,—пакетъ на ваше имя, кажется, съ тѣми документами, которыхъ недоставало въ дѣлѣ. Подавай, Сидорычъ! Чтожъ ты?

Повѣренный подошелъ къ Припекину и подалъ ему па-

кетъ. Припекинъ взялъ его, пощупалъ, положилъ не распечатывая въ карманъ, промычалъ что то себѣ подъ носъ и, ласково ухмыляясь, сказалъ повѣренному:

— Хорошо, братецъ, хорошо! Зайди ко мнѣ завтра... А вамъ что угодно?—продолжалъ онъ, окинувъ важнымъ взглядомъ съ головы до ногъ Мирошева.

— Я имѣю къ вамъ письмо отъ родственника вашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина.

— Пожалуйте.

Припекинъ взялъ письмо, распечаталъ, прочелъ, бросилъ его на столъ и сказалъ:

— У васъ есть дѣло въ сенатѣ?

— Есть, Кирилла Ѳедосеевичъ.

— О чемъ?

— О землѣ.

— Въ Новохоперскомъ уѣздѣ?

— Точно такъ.

— Оно должно быть въ нашемъ департаментѣ.

— Могу ли я надѣяться?...

Припекинъ замычалъ довольно ласково и проговорилъ:

— Да, да!... Почему-жъ... я очень радъ!... А съ кѣмъ у васъ тяжба?

— Съ Курочкинымъ.

— Съ Курочкинымъ?... Я знаю одного Курочкина; да, кажется, онъ...

— Виноватъ, ошибся! Курочкинъ только повѣренный по этому дѣлу; у меня тяжба съ графомъ...

— Знаю, знаю!—прервалъ Припекинъ.—Вотъ что!—продолжалъ онъ, нахмуривъ брови. Такъ у васъ тяжба съ его сіятельствомъ... гмъ!... Ну, чего же вы отъ меня хотите?

— Одной справедливости.

— Справедливости!... Гмъ!... Это говорятъ всѣ челобитчики.

— Я надѣюсь, вы не откажете мнѣ въ вашемъ совѣтѣ; я человѣкъ вовсе непривычный къ дѣламъ.

— Это и замѣтно!.. Мнѣ, право, чуденъ Вертлюгинъ: адресовать васъ прямо ко мнѣ!... Кажется, онъ бы долженъ знать, что такое оберъ-секретарь правительствующаго сената.

— Вѣроятно, онъ полагалъ, что ваше покровительство...

— Мое покровительство!... Какъ будто бы я имѣю время заниматься особенно каждымъ челобитчикомъ!

— Чтожъ прикажете мнѣ дѣлать? — прошепталъ Мирошевъ, который вовсе растерялся отъ этихъ непривѣтливыхъ рѣчей.

— Что дѣлать! — повторилъ Припекинъ.—Вамъ бы слѣдовало начать немного пониже. Вотъ вы бы отнеслись съ вашею просьбою къ повытчику...

— Я очень радъ, но я никого не знаю...

— Вотъ онъ,—сказалъ Припекинъ, указывая на чиновника:—старшій повытчикъ, Семенъ Акимовичъ Тетерькинъ... Познакомьтесь!

Проговоривъ эти слова, оберъ-секретарь запахнулъ преважно свой халатъ, кивнулъ слегка головою купцу и медленно, торжественнымъ шагомъ вошелъ снова въ свой кабинетъ.

— Могу ли узнать вашу фамилію, имя и отчество?— сказалъ повытчикъ, подойдя къ Мирошеву.

— Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Очень радъ съ вами познакомиться, Кузьма Петровичъ! Гдѣ изволите квартировать?

— На Псковскомъ подворьѣ, въ Зарядьѣ.

— На Псковскомъ подворьѣ?... Скажите пожалуйста!... А я сегодня сбирался туда обѣдать... Знаете ли что? Подождите меня до перваго часу, такъ мы вмѣстѣ съ вами пообѣдаемъ и разопьемъ для перваго знакомства бутылочку винца.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Такъ по рукамъ! А я межъ тѣмъ побываю въ сенатѣ и успѣю обозрѣть, въ какомъ положеніи ваше дѣло.

— Сдѣлайте милость!

— Будьте покойны.

— Тетерькинъ! — раздался голосъ Припекина въ кабинетѣ.

— Чу,—сказалъ повытчикъ,—его высокородіе меня спрашиваетъ. До свиданья, Кузьма Петровичъ! На забудьте, въ первомъ часу.

Мирошевъ отправился домой, а повытчикъ вошелъ въ кабинетъ, гдѣ, за большимъ столомъ, покрытымъ бумагами, сидѣлъ Кириллъ Ѳедосеевичъ.

— Ну чтожъ, Семенъ Акимовичъ,—сказалъ онъ съ милостивою улыбкою,—кланяйся, благодари за челобитчика!

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокородіе! Только дѣло то, кажется, не въ моемъ повытьи.

— Ну ужь тамъ, братецъ, какъ знаешь.

— Да осмѣлюсь вамъ доложить: что это вы изволили такъ сурово съ нимъ обойтись? Вѣдь лишній челобитчикъ не бѣда.

— Эхъ, братецъ, челобитчикъ челобитчику розь! Ко мнѣ пишетъ племянникъ, что этотъ Мирошевъ человѣкъ небогатый, всего пятьдесятъ душъ...

— И, ваше благородіе, курочка по зернышку клюетъ!..

— Знаю, братецъ, знаю! Да тутъ есть другое обстоятельство: ты слышалъ, съ кѣмъ онъ въ тяжбѣ, а?

— Да-съ, рука сильная!

— То-то и есть! Тутъ ужь немного выторгуешь.

— Такъ чтожъ?...

— Какъ что?... Да развѣ ты не знаешь моего обычая?... Нѣтъ, братецъ, благодарю моего Создателя, я человѣкъ честный! По моему, взять, такъ сдѣлать.

— Охъ, ваше высокородіе!... Оно такъ, конечно, честь великое дѣло; да только, воля ваша,—съ этой добротой не далеко уйдешь. Посмотрите-ка другіе...

— И, братецъ, что мнѣ до другихъ! Неправедное стяжаніе прахъ! Вотъ дѣло другое мелкій чиновникъ,—ну, конечно, ему разбирать нельзя: что взято, то свято! А начальнику стыдно крохоборничать; да если мы будемъ все себѣ захватывать, такъ вашему то брату что останется? Вѣдь и повытчикъ также пить-ѣсть хочетъ.

— О, Господи,—вскричалъ съ умиленіемъ Тетерькинъ,—вотъ истинный отецъ, а не начальникъ! Другому и дѣла до насъ нѣтъ, а вы, ваше высокородіе... дай Богъ много лѣтъ вамъ здравствовать... Нѣтъ,—прибавилъ Тетерькинъ, утирая платкомъ глаза, — нѣтъ, не наживемъ мы другого такого командира!

— Полно, Семенъ Акимовичъ,—прервалъ Припекинъ,—полно, любезный! Я знаю, ты меня любишь...

— Помилуйте, да какъ не любить такого благодѣтельнаго начальника? Да кто за васъ Бога не молитъ?...

— Перестань, говорятъ тебѣ! Ты меня растрогалъ!... Давай-ка лучше займемся бумагами. Что это у тебя?

— Экстрактъ по дѣлу купца Сигова съ отставнымъ маіоромъ Чистяковымъ.

— А, знаю!.. Ну, что законы?

— Подобралъ какъ слѣдуетъ, да и ловко пришлось: одни указы гласятъ въ пользу маіора Чистякова, другіе

какъ будто бы оправдываютъ Сигова, такъ выборку то сдѣлать было не трудно.

— Поэтому куманекъ мой Сиговъ...

— Долженъ, кажется, быть чистъ какъ стекло...

— Э, кстати!... Знаешь ли, братецъ, Семенъ Акимовичъ, вчера въ присутствіи какая зашла рѣчь у сенаторовъ? Одинъ изъ нихъ,—что его называть, самъ отгадаешь... вотъ что вѣчно хочетъ новизны вводить,—началъ говорить, что пора бы всѣ указы соединить воедино и сдѣлать какой то сводъ законовъ...

— Что вы говорите?...

— Да это еще ничего!... «Не мѣшало бы»,—прибавилъ онъ,—«сдѣлавъ подробный алфавитъ, напечатать тогда эту книгу и выпустить въ свѣтъ для всеобщаго употребленія!»

— Для всеобщаго употребленія!.. Помилуйте, ваше высокородіе! Да вѣдь тогда всякій чумичка законы то знать будетъ?

— Вотъ то-то и есть!

— Мало-мальски кто маракуетъ грамотѣ, въ грошъ не будетъ насъ ставить.

— Ну да!... Вотъ оно просвѣщеніе то, братецъ! Вотъ оно куда ведетъ!...

— Ахъ, батюшки! И придетъ же въ голову такая богопротивная мысль!... Чтожъ другіе то сенаторы?

— Всѣ до одного заговорили то-же.

— А господинъ оберъ-прокуроръ?

— Пуще всѣхъ!... Пора, дескать, привести въ ясность эту часть, а то, дескать, теперь въ мутной водѣ всякій рыбу ловитъ!

— Ахъ онъ богоотступникъ!

— Ну, разумѣется, въ канцеляріи не то заговорили, кромѣ оберъ-секретаря Варягина. Какъ ты думаешь? Вѣдь онъ туда же за сенаторами!

— Такъ, такъ!... Вольнодумецъ проклятый!... Да онъ бы на себя оглянулся! Вѣдь, чай, вашему высокородію стыдно быть съ нимъ товарищемъ? Кафтанишка истасканный, шляпенка измятая, срамецъ этакій! Посмотришь иногда, — грязь по колѣно, а онъ тащится пѣшкомъ, подлецъ этакій!

— И я ему говорилъ: «Братецъ, да ты подумай только: вѣдь тогда любой сенаторъ взялъ книгу, развернулъ — законъ и тутъ! Чтожъ мы то будемъ дѣлать?» — «То же,

что и теперь»,—отвѣчалъ этотъ дурачина; — «только ужь тогда нельзя будетъ о нашихъ дѣловыхъ выпискахъ говорить: «темна вода во облацѣхъ!»

— То-то, ваше высокородіе, какъ же намъ не молить за васъ Бога? Ну, вотъ какъ этакимъ то начальникомъ накажетъ Господь?... Посмотрите на его подчиненныхъ, — истинно слезамъ подобно: не только повытчики, да и секретари то съ голоду умираютъ!.. Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Что если, Кириллъ Ѳедосеевичъ, займутся этимъ дѣломъ не шутя?

— И, Семенъ Акимовичъ, что этого бояться? Вѣдь это дѣло не годовое; на нашъ вѣкъ съ тобою станетъ! Возьмика лучше, да прочти свой экстратъ, не пропустилъ ли ты чего-нибудь въ пользу моего куманька?

— Кажется, нѣтъ, ваше высокородіе.

— А вотъ посмотримъ. Читай

Пока Тетерькинъ читаетъ свой хитро-сплетенный экстратъ господину оберъ-секретарю Припекину, мы посмотримъ, что дѣлаетъ нашъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

XXX.

О томъ, какъ Мирошевъ угостилъ обѣдомъ повытчика Тетерькина, и во что ему обошлось это угощеніе.

— Ну что, батюшка, — спросилъ Прохоръ, когда Мирошевъ возвратился на свою квартиру, — вы были у Кирилла Ѳедосеевича Припекина?

— Былъ.

— Чтожъ онъ, ласково съ вами обошелся?

— Ну нѣтъ, Прохоръ, похвастаться нечѣмъ.

— А что?

— Да такъ... Сказалъ со мною словъ пять, и то какъ будто бы нехотя.

— Что дѣлать, сударь,—вѣдь здѣсь народъ спесивый!.. Вотъ вы не хотѣли, батюшка, сами сюда ѣхать; да что бы я сталъ дѣлать?... Со мною и дворникъ Припекина не захотѣлъ бы говорить. Ну чтожъ, о дѣлѣ то нашемъ сказалъ онъ что-нибудь?

— Ничего. Я знаю только, что оно по его департаменту.

какъ будто бы оправдываютъ Сигова, такъ выборку то сдѣлать было не трудно.

— Поэтому куманекъ мой Сиговъ...

— Долженъ, кажется, быть чистъ какъ стекло...

— Э, кстати!... Знаешь ли, братецъ, Семенъ Акимовичъ, вчера въ присутствіи какая зашла рѣчь у сенаторовъ? Одинъ изъ нихъ,—что его называть, самъ отгадаешь — вотъ что вѣчно хочетъ новизны вводить,—началъ говорить, что пора бы всѣ указы соединить воедино и сдѣлать какой то сводъ законовъ...

— Что вы говорите?...

— Да это еще ничего!... «Не мѣшало бы»,—прибавилъ онъ,—«сдѣлавъ подробный алфавитъ, напечатать тогда эту книгу и выпустить въ свѣтъ для всеобщаго употребленія!»

— Для всеобщаго употребленія!.. Помилуйте, ваше высокородіе! Да вѣдь тогда всякій чумичка законы то знать будетъ?

— Вотъ то-то и есть!

— Мало-мальски кто маракуетъ грамотѣ, въ грошъ не будетъ насъ ставить.

— Ну да!... Вотъ оно просвѣщеніе то, братецъ! Вотъ оно куда ведетъ!...

— Ахъ, батюшки! И придетъ же въ голову такая богопротивная мысль!... Чтожъ другіе то сенаторы?

— Всѣ до одного заговорили то-же.

— А господинъ оберъ-прокуроръ?

— Пуще всѣхъ!... Пора, дескать, привести въ ясность эту часть, а то, дескать, теперь въ мутной водѣ всякій рыбу ловитъ!

— Ахъ онъ богоотступникъ!

— Ну, разумѣется, въ канцеляріи не то заговорили, кромѣ оберъ-секретаря Варягина. Какъ ты думаешь? Вѣдь онъ туда же за сенаторами!

— Такъ, такъ!... Вольнодумецъ проклятый!... Да онъ бы на себя оглянулся! Вѣдь, чай, вашему высокородію стыдно быть съ нимъ товарищемъ? Кафтанишка истасканный, шляпенка измятая, срамецъ этакій! Посмотришь иногда, — грязь по колѣно, а онъ тащится пѣшкомъ, подлецъ этакій!

— И я ему говорилъ: «Братецъ, да ты подумай только: вѣдь тогда любой сенаторъ взялъ книгу, развернулъ — законъ и тутъ! Чтожъ мы то будемъ дѣлать?» — «То же,

о и теперь»,—отвѣчалъ этотъ дурачина; — «только ужь гда нельзя будетъ о нашихъ дѣловыхъ выпискахъ говоить: «темна вода во облацѣхъ!»

— То-то, ваше высокородіе, какъ же намъ не молить васъ Бога? Ну, вотъ какъ этакимъ то начальникомъ накаетъ Господь?... Посмотрите на его подчиненныхъ, — тинно слезамъ подобно: не только повытчики, да и секреари то съ голоду умираютъ!.. Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. о если, Кириллъ Ѳедосеевичъ, займутся этимъ дѣломъ не утя?

— И, Семенъ Акимовичъ, что этого бояться? Вѣдь это ло не годовое; на нашъ вѣкъ съ тобою станетъ! Возьми-лучше, да прочти свой экстратъ, не пропустилъ ли ты го-нибудь въ пользу моего куманька?

— Кажется, нѣтъ, ваше высокородіе.

— А вотъ посмотримъ. Читай

Пока Тетерькинъ читаетъ свой хитро-сплетенный стратъ господину оберъ-секретарю Припскину, мы посмотмъ, что дѣлаетъ нашъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

XXX.

томъ, какъ Мирошевъ угостилъ обѣдомъ повытчика Тетерькина, и во что ему обошлось это угощеніе.

— Ну что, батюшка, — спросилъ Прохоръ, когда Мишевъ возвратился на свою квартиру, — вы были у Кирла Ѳедосеевича Припекина?

— Былъ.

— Чтожъ онъ, ласково съ вами обошелся?

— Ну нѣтъ, Прохоръ, похвастаться нечѣмъ.

— А что?

— Да такъ... Сказалъ со мною словъ пять, и то какъ то бы нехотя.

— Что дѣлать, сударь,—вѣдь здѣсь народъ спесивый!.. гъ вы не хотѣли, батюшка, сами сюда ѣхать; да что я сталъ дѣлать?... Со мною и дворникъ Припекина не хотѣлъ бы говорить. Ну чтожъ, о дѣлѣ то нашемъ сказъ онъ что-нибудь?

— Ничего. Я знаю только, что оно по его департаиту.

— Право?.. Вотъ это хорошо!.. Вѣдь вы съ племянникомъ его, Вертлюгинымъ, сосѣди и пріятели; такъ если не для васъ, такъ, можетъ быть, для него...

— Нѣтъ, Прохоръ, мнѣ кажется, рекомендація Ильи Сергѣевича не много намъ поможетъ.

— И, сударь!... Рекомендація сама по себѣ, а прочее другое само по себѣ. Теперь вы являлись къ нему съ передняго крыльца, а послѣ можно будетъ и съ задняго побывать.

— Полно, можно ли?.. Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ живетъ: каменныя палаты, а что въ нихъ то!.. Я было хотѣлъ поговорить съ нимъ о моемъ дѣлѣ, — куда, и слушать не хочетъ! Передалъ меня своему повытчику...

— Такъ можно будетъ черезъ него...

— Знаешь ли, Прохоръ: я вѣдь не рѣшусь говорить объ этомъ и съ повытчикомъ; ну, если онъ обидится!...

— Не бойтесь, не обидится!

— Воля твоя, у меня языкъ не повернется! Да и что я могу предложить такому большому барину?... Вѣдь онъ во сто разъ меня богаче.

— И. сударь, да развѣ вы не богаче вашихъ мужичковъ, а вѣдь оброкъ съ нихъ берете!

— Да это совсѣмъ другое дѣло,—я помѣщикъ.

— И онъ помѣщикъ, сударь; только вотчина то его посытнѣе вашей. Вамъ платятъ крестьяне, а ему челобитчики. Ну, конечно, онъ богаче васъ: у него каменныя палаты, а все-таки онъ выстроилъ ихъ на мірскія денежки. Да что объ этомъ толковать! Вотъ какъ переговорите съ повытчикомъ, такъ перестанете совѣститься. А что, онъ хотѣлъ къ вамъ побывать что-ль?

— Онъ въ первомъ часу будетъ со мною здѣсь въ трактирѣ обѣдать.

— Право?... Такъ надобно же его угостить хорошенько. Вы ужь не поскупитесь, батюшка! Пусть онъ себѣ хоть цѣлый штофъ ерофеича высосетъ!

— Ерофеича!.. Что ты, Прохоръ?... До онъ и винограднаго то плохого пить не станетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ вы ужь не извольте, батюшка, спрашивать въ трактирѣ: здѣсь слупятъ втрое; я лучше самъ сбѣгаю въ ренской погребокъ, куплю бутылочки двѣ...

— Смотри, Прохоръ, купи хорошаго.

— Ужь не извольте безпокоиться.

— Да полно, знаешь ли ты въ этомъ толкъ?

— Помилуйте! Хоть я самъ вина не употребляю, а случалось, однакожъ, пробовать. Вѣдь я въ Нѣметчинѣ былъ вмѣстѣ съ вами и всякихъ францвейновъ видѣлъ довольно; есть и желтые, есть и красные. Однажды нѣмецъ-хозяинъ приневолилъ меня выпить стаканчикъ, — фу ты, батюшки, что за вино такое!.. Съ легкимъ квасомъ, языкъ щиплетъ, ротъ деретъ,—ну вотъ еслибъ не боялся грѣха, такъ бы все его и пилъ.

— Хорошо, хорошо!—прервалъ Мирошевъ съулыбкою.— Ты ужь не пробуй, спроси просто стараго французскаго.

— Что старое, Кузьма Петровичъ! Для перваго раза можно поисхарчиться: позвольте ужь мнѣ купить бутылочку хорошаго вина, свѣжаго, молодого!...

— Да старое то лучше, Прохоръ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Ну, такъ стараго. Я приду въ трактиръ служить вамъ за столомъ, да посмотрю на этого сенатскаго повытчика,—какъ-таки онъ противъ нашихъ саратовскихъ.

Въ двѣнадцатомъ часу Мирошевъ сидѣлъ уже въ трактирѣ за однимъ порожнимъ столомъ, подлѣ котораго стоялъ Прохоръ съ тарелкою въ рукѣ и перекинутою черезъ плечо салфеткою. На столѣ было два прибора, закуска, графинъ съ водкою и бутылка бѣлаго вина. Въ трактиръ безпрестанно входили купцы, мѣщане и приказные; одни завтракали, другіе собирались обѣдать Вотъ, наконецъ, вошелъ небольшого роста человѣкъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, при шпагѣ, съ треугольною шляпою подъ плечомъ. Его слегка напудренные волосы завязаны были на затылкѣ въ длинный пучокъ. Черты лица его были довольно пріятны: въ нихъ выражалась даже какая то добродушная веселость, и еслибъ косые глаза его не походили на кошачьи, то его можно было бы принять за весьма порядочнаго человѣка.

— А вы ужь здѣсь? — вскричалъ онъ, подойдя къ Мирошеву.—Ну, Кузьма Петровичъ, аккуратный вы человѣкъ!

— Милости прошу, Семенъ Акимовичъ! — сказалъ Мирошевъ.—Не угодно ли чего-нибудь закусить?

— Съ большимъ удовольствіемъ; я что то очень проголодался.

Тетерькинъ выпилъ водки, закусилъ и, взглянувъ на Прохора, сказалъ:

— Это что за харя такая? Ты, видно, братъ, недавно здѣсь служишь? Я тебя никогда не видывалъ.

— Это мой человѣкъ,—отвѣчалъ Мирошевъ.—Онъ вольный; служитъ при мнѣ приказчикомъ и ходитъ также по моимъ дѣламъ.

— Право? Такъ онъ нашъ братъ-законникъ?.. Ну, любезный, не красивъ ты.

— Каковъ есть, батюшка! — отвѣчалъ Прохоръ съ низкимъ поклономъ.

— А рожа плутовская, и долженъ быть большая пьяница!

— О, нѣтъ! — подхватилъ Мирошевъ.—Могу васъ увѣрить: онъ ничего не пьетъ, и самый честный человѣкъ.

— Ну-ка, братъ, честный человѣкъ, возьми мою шляпу и шпагу, да положи ихъ къ сторонкѣ.

— Ахъ ты приказная строка!—шепнулъ про себя Прохоръ, кладя на стулъ шляпу и шпагу повытчика.—Собака этакая!... За что облаялъ, крапивное сѣмя!

Межъ тѣмъ поставили на столъ миску съ горячимъ, блюдо свѣжепросольной осетрины и жаренаго судака.

— Ну вотъ, почтеннѣйшій,—сказалъ Тетерькинъ, придвигая къ себѣ суповую чашку,—какъ мы этакъ, знаете, червячка заморимъ, да выпьемъ по стаканчику, такъ я вамъ кой-что поразскажу о вашемъ дѣлѣ; а теперь не погнѣвайтесь! Вѣдь вы, я думаю, слыхали пословицу: «голодной кумѣ хлѣбъ на умѣ».

— Кушайте на здоровье, Семенъ Акимовичъ, сдѣлайте милость!

Тетерькинъ принялся ѣсть такъ проворно и съ такимъ необычайнымъ аппетитомъ, что Прохоръ Кондратьичъ не выдержалъ и проговорилъ себѣ подъ носъ:

— Экъ онъ за обѣ щеки то убираетъ! Словно три дня ничего не трескалъ, проклятый!

— Что ты тамъ, краснорожій, бормочешь? — спросилъ повытчикъ, принимаясь за осетрину.

— Да что, ваше благородіе, мало изволите кушать. Похлебка, кажется, добрая, а полмиски осталось.

— Что, братецъ, дѣлать: вотъ ужь другая недѣля, какъ у меня желудокъ не въ порядкѣ!

— Такъ-съ, ваше благородіе! Посмотрѣлъ бы я, какъ вы изволите кушать, когда онъ у васъ въ порядкѣ то.

— А вотъ, братецъ, выпью, такъ дѣло пойдетъ лучше. Позвольте-ка стаканчикъ вина!

Кузьма Петровичъ подалъ Тетерькину бутылку, онъ налилъ, хлебнулъ и сдѣлалъ такую кислую рожу, что бѣдный Мирошевъ сгорѣлъ отъ стыда.

— Что это за вино?—вскричалъ повытчикъ.—Да это не вино, а рѣдечный сокъ!.. Тьфу, мерзость какая!

Кузьма Петровичъ взглянулъ съ упрекомъ на Прохора.

— Помилуйте, ваше благородіе,—отвѣчалъ Прохоръ съ обиженнымъ видомъ,—да это настоящій францвейнъ.

— Убирайся съ нимъ къ чорту!.. Эй, хозяинъ, подайка, братецъ, намъ стараго рейнвейна,—вотъ что я пилъ у тебя на прошлой недѣлѣ; ну, знаешь: бутылка два съ полтиной?

Еслибъ Прохоръ Кондратьичъ былъ не плѣшивъ, такъ ужь вѣрно-бы у него волосы на головѣ стали дыбомъ.

— Два съ полтиной!.. Разбойникъ!..—подумалъ онъ.—Да вѣдь этакъ каждый глотокъ будетъ стоить по цѣлковому!.. Ахъ, батюшки, бутылка два съ полтиной!.. Да такіе напитки и царямъ кушать такъ впору... а этотъ подъячій!.. Чтобъ ему захлебнуться, окаянному!.. Ну, протрутъ же намъ здѣсь глаза!

— Вотъ, — сказалъ Тетерькинъ, когда подали рейнвейнъ,—вотъ это винцо!.. Пожалуйте-ка вашъ стаканчикъ, Кузьма Петровичъ.

— Я не пью никакого вина,—отвѣчалъ Мирошевъ.

— Напрасно, почтеннѣйшій! Два вѣка проживете, коли станете кушать это вино. За ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!.. Ну, теперь скажу я вамъ: дѣльце ваше я поразсмотрѣлъ.

— Чтожъ вы думаете, Семенъ Акимовичъ?

— Казусное дѣло, сударь, казусное! Соперникъ то вашъ больно силенъ! Ваше здоровье!..

— Да вѣдь передъ закономъ должны быть всѣ равны,— сказалъ Мирошевъ.

— И, Кузьма Петровичъ, мало ли что говорится, да не все то дѣлается! Законъ!.. Ну, конечно, законъ святъ и ненарушимъ; да вѣдь его никогда и не нарушаютъ. Разумѣется, и у васъ отнимутъ землю не потому, что вы тягаетесь съ знатнымъ бариномъ, а въ силу законовъ и по точному разуму постановленій и указовъ, существующихъ по сему предмету. Вотъ если-бы вашъ искъ подкрѣплялся

ясными и законными документами, такъ еще можно было бы какъ-нибудь; но вѣдь у васъ никакихъ актовъ на спорную землю не имѣется?

— Были, Семенъ Акимовичъ, да сгорѣли.

— А въ архивѣ?

— И тамъ показываютъ, что утрачены.

— Такъ это все равно, еслибъ ихъ и вовсе не было... Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!

— Такъ поэтому мнѣ и хлопотать нечего, — сказалъ Мирошевъ.—Судя по вашимъ словамъ, я не имѣю никакой надежды ..

— Отчаяніе — смертный грѣхъ, Кузьма Петровичъ!— прервалъ съ улыбкою Тетерькинъ.—Никогда не должно терять надежды.

— Но вы сами говорите...

— Я только хотѣлъ вамъ изъяснить, какъ трудно будетъ дать хорошій ходъ вашему дѣлу.

— Я прошу только одной справедливости; пусть судятъ меня по силѣ законовъ...

— По силѣ законовъ! — прервалъ повытчикъ. — Да эту силу то можно толковать и такъ и этакъ; можно также подчасъ какой-нибудь указецъ пропустить. И нашъ братъ, законникъ, человѣкъ же есть, — проглядитъ, пропуститъ, ошибется; вѣдь за это не казнятъ, не рубятъ. Эхъ, Кузьма Петровичъ, мало ли что можно!.. Все зависитъ отъ докладной записки, которую составляютъ повытчикъ или секретарь, а оберъ-секретарь просматриваетъ. Я только что успѣлъ пробѣжать ваше дѣло, а ужь кой-что замѣтилъ: ни у васъ, ни у соперника вашего на спорную землю никакихъ актовъ не имѣется; но вы въ прошеніи вашемъ изъясняете, что эти акты утрачены во время бывшаго пожара, а соперникъ вашъ даже и не упоминаетъ, что подобные акты когда-либо у него находились. Вотъ ужь одно обстоятельство въ вашу пользу; а какъ порыться хорошенько, такъ найдемъ и побольше... Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!

— И такъ, вы думаете, что я могу еще надѣяться!

— Да ужь положитесь въ этомъ на меня! Я, Кузьма Петровичъ, человѣкъ простой: что на умѣ, то и на языкѣ. Вотъ я вамъ скажу: вы мнѣ съ перваго раза такъ полюбились, что я готовъ для васъ ночи не спать!

— Чувствительно вамъ обязанъ! Повѣрьте, благодарность моя...

— И, полноте, что тутъ говорить о благодарности!... Мнѣ отъ васъ ничего не надобно. Вотъ секретарь,—вы не изволите его знать? Андрей Егоровичъ Щипцовъ...

— Нѣтъ, не знаю.

— Тяжелый человѣкъ! Напримѣръ, вы, Кузьма Петровичъ, вы, кажется, человѣкъ не очень достаточный?

— Да, эго правда: я только что имѣю нужное.

— То есть рубликовъ этакъ тысячи полторы въ годъ? —сказалъ Тетерькинъ, допивая послѣдній стаканъ вина.

— И половины нѣтъ.

— Ну, вотъ изволите видѣть! Отъ васъ бы, кажется, грѣшно и поживиться чѣмъ-нибудь, а вы все-таки дешево съ нимъ не раздѣлаетесь. Повѣрите ли, Кузьма Петровичъ: даромъ пера въ руки не возьметъ! Да хоть бы, по крайней мѣрѣ, съ разборомъ: ну, богатый челобитчикъ—дѣло другое,—ему что! А то готовъ у нищаго послѣднюю копѣйку взять, лихоимецъ этакій!.. Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!.. Э, да все ужь!.. Прикажите-ка, батюшка, еще бутылочку того же. Славное вино!

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!—шепталъ Кондратьичъ.—Еще два съ полтиной!

— Ну, что стоишь, Прохоръ? — сказалъ Мирошевъ.— Ступай скорѣй, принеси бутылку рейнвейна.

— Да полно, ужь есть ли? — проговорилъ запинаясь Кондратьичъ.—Кажется, все вышло.

— Врешь, братецъ! — закричалъ повытчикъ.—Хочешь ли, я сейчасъ спрошу дюжину и намъ подадутъ?

Прохоръ не отвѣчалъ ни слова, бросился со всѣхъ ногъ къ прилавку и принесъ бутылку вина, которая такъ же, какъ и первая, опорожнилась въ нѣсколько минутъ.

— Ну, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Тетерькинъ, вставая,—прощайте покамѣстъ! Покорнѣйше васъ благодарю за угощенье!.. До свиданья!

— Что, Семенъ Акимовичъ, — спросилъ Мирошевъ, — не зайти ли мнѣ завтра или послѣзавтра къ вамъ въ сенатъ?

— Зачѣмъ, Кузьма Петровичъ?.. Не нужно! Я буду каждую недѣлю раза по два приходитъ къ вамъ сюда обѣдать; стану извѣщать васъ о ходѣ вашего дѣла, скажу, когда надобно будетъ расходецъ какой-нибудь сдѣлать— то, другое... здѣсь удобнѣе обо всемъ переговорить... Да знаете что, Кузьма Петровичъ: не худо, если будутъ ду-

мать, что вы вовсе о вашей тяжбѣ не хлопочете!... Исподтишка, да втихомолку скорѣй все обдѣлаешь. Прощайте, почтеннѣйшій... Будьте здоровы!

— Ушелъ!—сказалъ Кондратьичъ, проводивъ до дверей повытчика.—Ахъ, онъ, пострѣлъ этакій!.. Ну, сударь?..

— Что, Прохоръ?

— Пять цѣлковыхъ за одно вино!...

— Чтожъ дѣлать.

— Пять цѣлковыхъ, не считая пятнадцати копѣекъ, что я заплатилъ за бутылку францвейна!.. Да хоть бы онъ охмелѣлъ, мошенникъ, а то ни въ одномъ глазѣ!.. Двѣ бутылки!.. Чтожъ это за вино такое?.. Э, да вотъ никакъ на донышкѣ осталось... Дайте-ка попробую... Тьфу пропасть!.. Да чтожъ въ немъ хорошаго?.. Кисло, пахнетъ какою то травою... Ну, за что деньги платятъ?.. Ахъ, батюшки, батюшки!.. Куда, подумаешь, господа то глупы!..

— Прохоръ, что ты это ругаешься?

— Да не прогнѣвайтесь, Кузьма Петровичъ,—въ чемъ другомъ, а въ этомъ нашъ братъ посмышленѣе. Ужь если пить вино, такъ такое, чтобъ съ двухъ стакановъ въ головѣ зашумѣло; а коли пьешь не ради хмеля, а для одной сласти, такъ кушай медъ. А это что: вино не вино, квасъ не квасъ, а бутылка два съ полтиной!

— Да, конечно, это очень дорого. Мнѣ случалось пить за границею рейнвейнъ, вѣрно, не хуже этого...

— А, чай, платили копѣекъ по двадцати за бутылку?.. Вотъ то-то и есть, батюшка: «за моремъ телушка по полушкѣ, да перевозу рубль».

— Полно, Прохоръ, объ этомъ толковать! Ступай-ка, разсчитайся съ хозяиномъ.

— Чего тутъ считать, сударь? За обѣдъ два полтинника, да за вино пять рублей—всего шесть рублей.

— Вотъ деньги, ступай, расплатись.

Кондратьичъ пошелъ расплачиваться съ хозяиномъ, заспорилъ и поднялъ такой шумъ, что самъ Мирошевъ подошелъ къ прилавку.

— О чемъ ты споришь?—спросилъ онъ Прохора.

— Да какъ-же, сударь, помилуйте! Мало того, что мы платимъ пять рублей за двѣ бутылки вина, да еще требуютъ съ насъ за то вино, что я самъ покупалъ въ погребкѣ.

— Да съ тебя не за вино просятъ,—прервалъ хозяинъ,—а за пробку.

— За какую пробку? Да развѣ пробка то ваша? Я купилъ ее вмѣстѣ съ бутылкою.

— Это такъ ужь говорится. Коли ты вино бралъ не здѣсь, а принесъ съ собою, такъ долженъ заплатить по гривнѣ съ каждой пробки хозяину.

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ?—прервалъ Мирошевъ.—Я истратилъ шесть рублей, а ты изъ гривны шумишь.

— Изъ гривны? Бездѣлица—гривна! Что вы, сударь! Да коли денежка рубль бережетъ, такъ гривна то и подавно.

— Да извольте, батюшка, Кузьма Петровичъ,—сказалъ хозяинъ,—для перваго раза я васъ этимъ уважу. А ты, Кондратьичъ, смотри, впередъ изъ погребковъ то вина сюда не таскай!

— Не таскай! Ты бы еще по пяти рублей за бутылку бралъ.

— Коли спросите, такъ подадимъ и пятирублеваго.

— Какъ такъ, и такое есть? Эге-ге, такъ мы еще дешево отдѣлались!.. Ну, сударь,—продолжалъ Прохоръ, идя за Мирошевымъ, который пробирался къ себѣ на квартиру, —чтожъ это будетъ такое? Вѣдь вы слышали, этотъ Тетерькинъ обѣщался по два раза въ недѣлю обѣдать здѣсь на наши денежки?

— Что жъ дѣлать, Прохоръ.

— Да вы позабыли что ль, батюшка, что у насъ всего на-всего только двѣсти рублей осталось? На долго ли ихъ станетъ?...

— Да, конечно; и не увидишь, какъ всѣ выйдутъ.

— Ахъ, Господи, Господи!.. Вотъ тошно то будетъ, коли мы вовсе изхарчимся, а земли нашей не отстоимъ!

— Легко быть можетъ. Вотъ то-то, Прохоръ! Хотя дѣло наше по совѣсти чистое и справедливое, а если-бы не ты, такъ я вовсе бы не сталъ о немъ хлопотать, а представилъ бы все волѣ Божіей: Онъ лучше нашего знаетъ, что для насъ необходимо.

— А пословица то, сударь: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай».

— Пословица не законъ, Кондратьичъ.

— Законъ не законъ, а какъ придется умирать съ голоду...

— Съ голоду, Прохоръ, на Руси никто не умираетъ;

а терпѣть нужду, коли на это есть воля Божья, вовсе не бѣда. Развѣ ты забылъ, что говоритъ Спаситель: «блаженни алчущіе, ибо они насытятся».

— Да, батюшка, такъ, точно такъ: коли Богъ нашлетъ горе—терпи,—не здѣсь, такъ тамъ слюбится. Вотъ, сударь, какъ вы заговорите со мной отъ божественнаго, такъ у меня и рѣчей нѣтъ. Подлинно, правда, Кузьма Петровичъ! Станемте надѣяться на Господа Бога, да на Матушку нашу, Пресвятую Богородицу, а тамъ что будетъ, то будетъ.

XXXI.

Неожиданное открытіе. Положеніе Мирошева становится часъ-отъ-часу хуже.

Грустно жить въ разлукѣ съ тѣми, кого любишь; а еще грустнѣе, когда не знаешь, долго ли продлится эта разлука. Прощаясь со своимъ семействомъ, Мирошевъ думалъ, что онъ разстается съ нимъ не болѣе, какъ мѣсяца на два; онъ даже не вовсе терялъ надежду, что Богъ сподобитъ его поклониться вмѣстѣ съ ними святому Христову Воскресенію, и вотъ ужь прошелъ Великій постъ, прошли всѣ праздники, а дѣло его не подвигалось впередъ. Время шло очень медленно для Мирошева; онъ видался раза по три въ недѣлю съ Костоломовымъ, бывалъ каждый день у обѣдни въ одномъ изъ кремлевскихъ соборовъ; послѣ обѣда, если погода была хороша, гулялъ по городу, и почти всѣ вечера проводилъ дома, читая книги, по большей части, духовныя. Ихъ доставалъ ему хозяинъ гостиницы отъ приходскаго священника, съ которымъ онъ находился въ близкихъ сношеніяхъ, потому что былъ церковнымъ старостою.

Повытчикъ Тетерькинъ сдержалъ свое слово: онъ приходилъ по два раза въ недѣлю обѣдать на счетъ Мирошева, и каждый разъ приносилъ ему весьма утѣшительныя извѣстія: то онъ слышалъ отъ оберъ-секретаря, что тяжебное дѣло Кузьмы Петровича должно быть рѣшено непремѣнно въ его пользу; то секретарь, разсматривая рѣшеніе гражданской палаты, покачивалъ головою и шепталъ про себя: «Ну, слѣдуетъ ихъ оштрафовать порядкомъ!» То увѣдомлялъ Мирошева, что записка о его дѣлѣ пошла уже въ ходъ и скоро поступитъ къ докладу.

— Да отчего же,—спросилъ однажды Мирошевъ,—дѣло мое до сихъ поръ не рѣшено? Вы все говорите, Семенъ Акимовичъ, что оно на будущей недѣлѣ поступитъ къ докладу, а ужь этихъ будущихъ недѣль прошло четыре.

— Что жъ дѣлать, Кузьма Петровичъ!—отвѣчалъ Тетерькинъ, откупоривая бутылку рейнвейна.—И радъ бы радостію, да развѣ это отъ меня зависитъ?.. Вотъ, напримѣръ, на прошлой недѣлѣ, ваше дѣло было по очереди третьимъ; вдругъ приказаніе—рѣшить не въ очередь одну тяжбу, такую запутанную, что всѣ наши законники втупикъ стали. Какъ приступили къ разбирательству, такъ представились такія обстоятельства, что изъ одного дѣла выходитъ безъ малаго десять, и въ томъ числѣ два уголовныхъ. Гдѣ тутъ думать объ очередныхъ, — лежатъ покуда!. Потерпите, Кузьма Петровичъ, потерпите! Авось этакъ недѣльки черезъ двѣ.

— Да я бы радъ и три недѣли дожидаться, лишь только бы дождаться чего-нибудь.

— Дождетесь, почтеннѣйшій, дождетесь!.. Ваше здоровье!

Однажды Кондратьичъ, который ушелъ съ утра на толкучій рынокъ покупать себѣ сапоги, воротился домой послѣ обѣда.

— Ну, Прохоръ, — сказалъ Мирошевъ,—молись Богу: кажется, мы скоро отправимся въ Хопровку.

— Дай-то, Господи!

— Сейчасъ только ушелъ отъ меня Тетерькинъ: наше дѣло на очереди, и послѣзавтра его будутъ слушать.

— Воля ваша, сударь, не вѣрю я этому подъячему: онъ все лжетъ!

— Нѣтъ, Прохоръ, сегодня онъ былъ со мною очень откровененъ. Вотъ, изволишь видѣть: записка о нашемъ дѣлѣ третью недѣлю лежитъ у оберъ-секретаря Припекина. Семенъ Акимовичъ все совѣстился мнѣ сказать....

— Что надобно сунуть что-нибудь этому Припекину?.. И онъ совѣстился вамъ объ этомъ сказать?.. Лжетъ, мошенникъ!.. Ну чтожъ? Какъ вы съ нимъ покончили?

— Онъ взялся мнѣ все уладить за сто рублей.

— За сто рублей?.. И вы ему деньги отдали?

— Отдалъ.

— А чтожъ у васъ самихъ то осталось?

— Цѣлковый и гривенъ шесть мелочи.

— Ахъ, батюшки! Чѣмъ же мы будемъ жить?

— Да если дѣло наше кончится на этой недѣлѣ, такъ я займу рублей двадцать пять у Костоломова; съ этимъ мы до дому какъ-нибудь доѣдемъ.

— Такъ, сударь, такъ! А если Тетерькинъ васъ обманываетъ?.. Послушайте-ка, батюшка, не лучше ли вотъ что?.. Не занимайте покамѣстъ у Костоломова, поберегите его для переду; а продадимте-ка лучше лошадей: вѣдь онѣ насъ вовсе съѣли. Тогда можно и Ерему съ хлѣба долой; дайте ему цѣлковый на дорогу, да и съ Богомъ! Здѣсь мы всегда найдемъ попутчиковъ,—свезутъ до дому за бездѣлицу; а я ужь на конной прицѣнивался,—приступу нѣтъ къ степнымъ лошадямъ!.. Мы за тройку возьмемъ рублей семьдесятъ, а какъ пріѣдемъ домой, такъ купимъ знатныхъ лошадей изъ косяка, рублей за сорокъ.

— А что, Прохоръ, въ самомъ дѣлѣ, ты правду говоришь.

— Я ужь, сударь, давно объ этомъ думаю. Если дѣло наше опять затянется, такъ позвольте.

— Продавай, Прохоръ. Но я надѣюсь, что на этотъ разъ Тетерькинъ меня не обманывалъ; еслибъ ты слышалъ, какъ онъ божился...

— И, сударь, что имъ божба!.. Коли приказный или купецъ божится, тутъ то имъ и не вѣрь; имъ божба ни почемъ!.. Охъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, чуетъ мое сердце, что мы еще не скоро отсюда вырвемся.

Къ несчастію, это грустное предчувствіе не обмануло Прохора Кондратьича. Дней черезъ пять Тетерькинъ явился къ Мирошеву и объявилъ, что дѣло опять остановилось.

— Что вы говорите!—вскричалъ съ ужасомъ Мирошевъ.— Да отчего же?

— Оттого, Кузьма Петровичъ, что есть люди, въ которыхъ нѣтъ ни совѣсти, ни чести, ни Бога!.. Я говорилъ вамъ, что этотъ секретарь Щипцовъ человѣкъ самый бездушный и неблагонамѣренный: онъ остановилъ ваше дѣло. Представьте себѣ: докладная записка, которую я самъ составлялъ, просмотрѣна и утверждена оберъ-секретаремъ Припекинымъ; его высокородіе сдѣлалъ даже въ ней своеручныя поправки,—и чтожъ вы думаете? Щипцовъ удерживаетъ ее у себя, подъ тѣмъ предлогомъ, что будто бы въ ней не довольно объяснены нѣкоторыя обстоятельства. Что дѣлать, Кузьма Петровичъ: нашъ оберъ-секретарь человѣкъ добрый,

да больно слабъ. Другой бы пугнулъ секретаря такъ, что онъ и мѣста бы не нашелъ, а Кириллъ Ѳедосеевичъ молчитъ.

— Какъ вы думаете, — спросилъ Мирошевъ,—ужъ не съѣздить ли мнѣ самому къ Щипцову?

— О, нѣтъ, нѣтъ,—прервалъ съ живостью повытчикъ,— зачѣмъ, не надобно!.. Вы все дѣло испортите!

— Да что же намъ дѣлать?

— Какъ что? Надобно будетъ какъ-нибудь усовѣстить этого разбойника Щипцова; а то, пожалуй, онъ мѣсяца два продержитъ у себя докладную записку. Я говорю усовѣстить,—понимаете?.. То есть поступить такимъ образомъ, чтобъ ему совѣстно было дѣйствовать противъ васъ.

— А, понимаю!... То есть надобно...

— Ну, да!

— Чтожъ вы думаете?

— Да если вы хотите въ этомъ случаѣ положиться на меня, такъ я кончу все дня въ четыре. Вы ужь много тратили, Кузьма Петровичъ,—не поскупитесь!

— Эхъ, Семенъ Акимовичъ, если-бъ вы знали... Мнѣ скоро нечѣмъ будетъ за квартиру платить...

— Займите гдѣ-нибудь. Всего рублей пятьдесятъ, — больше не надобно.

— По крайней мѣрѣ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—могу ли я надѣяться, что моя тяжба...

— Кажется, по всему должна кончиться въ вашу пользу, — прервалъ повытчикъ. — Впрочемъ, наше дѣло составить докладную записку и пустить ее въ ходъ, а тамъ, что Богъ дастъ.

— Да ужь не объ этомъ рѣчь, Семенъ Акимовичъ! Мнѣ бы только развязаться какъ-нибудь. Если у меня землю отнимутъ,—что дѣлать: былъ небогатъ, буду еще бѣднѣе, а съ голоду не умру; но дожидаться еще нѣсколько мѣсяцевъ, жить розно съ моею семьею, не знать, когда это кончится...

— О, будьте покойны,—непремѣнно на этихъ дняхъ!

— Да вы ужь сколько разъ мнѣ это говорили.

— Чтожъ дѣлать, Кузьма Петровичъ! Я все думалъ, не обойдется ли какъ-нибудь безъ дальнихъ расходовъ. Вы человѣкъ небогатый, хотѣлось поберечь васъ, анъ и вышло хуже! Да за то ужь теперь, если вы сдѣлаете это послѣднее пожертвованіе, никакой остановки быть не можетъ.

— Извольте, Семенъ Акимовичъ; постараюсь какъ-нибудь. Побывайте у меня завтра.

— Очень хорошо! А я межъ тѣмъ заверну къ Щипцову: надобно его къ этому приготовить,—тяжелый человѣкъ, батюшка, тяжелый! Боюсь, чтобъ онъ не заломилъ!.. Ну, да я ужь какъ-нибудь это дѣло улажу... До свиданья, Кузьма Петровичъ!

На другой день, рано по-утру, Кондратьичъ отвелъ на конную лошадей; но вмѣсто того, чтобъ взять за нихъ семьдесятъ рублей, съ трудомъ могъ ихъ продать за сорокъ. Часу въ девятомъ по-утру явился къ Мирошеву Тетерькинъ. Онъ казался очень разстроеннымъ: лицо его было блѣдно, волосы растрепаны и во всѣхъ движеніяхъ замѣтна какая то торопливость и безпокойство.

— Ну что, почтеннѣйшій,—сказалъ онъ, — достали ли вы денегъ?

— Досталъ, но только не всѣ.

— Эхъ, жаль!.. А много ли?

— Сорокъ рублей. Подождите до завтраго: я повидаюсь съ моимъ пріятелемъ Костоломовымъ,—онъ, вѣрно, не откажетъ мнѣ...

— Да вамъ повѣритъ, я думаю, здѣшній хозяинъ.

— Охъ, нѣтъ, Семенъ Акимовичъ, я и такъ ужь ему задолжалъ.

— Какъ же быть то?.. Я сейчасъ отъ секретаря: онъ станетъ меня дожидаться... Ну, да дѣлать нечего,—давайте мнѣ то, что у васъ есть.

Мирошевъ отсчиталъ ему сорокъ цѣлковыхъ и сказалъ:

— Могу ли я теперь надѣяться?

— На будущей недѣлѣ, непремѣнно на будущей!— прервалъ повытчикъ.—Прощайте!.. Да, кстати, я долженъ вамъ сказать: на меня навалили такую кучу дѣлъ, что я, можетъ быть, дней пять или шесть съ вами не увижусь... До свиданья!

— Что это, сударь? — сказалъ Кондратьичъ, когда повытчикъ ушелъ.—Изволили вы замѣтить, какая сегодня рожа у этого Тетерькина?

— Да, онъ что то очень смущенъ.

— Словно изъ острога вырвался: глаза такіе шальные, волосы дыбомъ! Ну, это что-нибудь не даромъ!.. Охъ, сударь, напрасно вы ему деньги отдали!

— Да какъ же не отдать, Прохоръ? Ужь если я до сихъ поръ имѣлъ къ нему довѣренность...

— Воля ваша, Кузьма Петровичъ, а я бы ему гроша не повѣрилъ, а особливо сегодня: онъ или въ картежъ бился всю ночь, или пьянствовалъ... Дай то, Господи, чтобъ этотъ плутъ насъ не обманулъ!

— Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—есть у тебя что-нибудь на расходъ?

— Овсеца оставалось, такъ я продалъ на сорокъ копѣекъ въ лавочку. А у васъ?

— Одинъ гривенникъ.

— Только то? Ну, сударь, дѣлать нечего: пришлось почать кубышку.

— Какую кубышку.

— А вотъ какую,— продолжалъ Прохоръ, подавая своему барину кожаный мѣшечекъ, въ которомъ было рублей восемь серебромъ.

— Откуда у тебя эти деньги? — спросилъ Мирошевъ.

— Берите, добро!

— Чьи это деньги?

— Ваши, сударь.

— Неправда, Прохоръ. Вотъ старый полтинникъ, которымъ я съ тобой похристосовался въ прошломъ году. Это твои деньги.

— Да развѣ не вы мнѣ ихъ пожаловали? Пришла нужда, такъ я вашимъ же добромъ вамъ и челомъ!

— Спасибо, мой другъ! Дай только намъ доѣхать до дому...

— И, сударь, у васъ будутъ деньги, будутъ и у меня! Да и на что мнѣ столько денегъ? Что у меня, семья что-ль?.. По вашей милости, я сытъ, одѣтъ, ни въ чемъ не нуждаюсь; а нищему подать всегда копѣйка найдется.

Прошло недѣли полторы, а объ Тетерькинѣ и слуху не было.

— Да чтожъ это значитъ? — сказалъ однажды Кузьма Петровичъ, выдавая Кондратьичу на расходъ послѣдній свой цѣлковый. Ужь здоровъ ли Тетерькинъ? Ты знаешь, гдѣ онъ живетъ, Прохоръ?

— Знаю, сударь.

— Сходилъ бы ты узнать объ его здоровьѣ... Иль нѣтъ, я лучше самъ къ нему зайду.

— Не извольте, сударь, безпокоиться: я сегодня, чѣмъ свѣтъ, къ нему ходилъ.

— Ну, что?

— Съѣхалъ съ квартиры.

— Куда?

— Неизвѣстно.

— Чтожъ это значитъ?

— Вѣстимо что: мошенникъ!

— И, полно, Прохоръ! Можетъ быть, онъ переѣхалъ на другую квартиру и занемогъ. Да вотъ я сегодня же все узнаю. Приготовь мнѣ мундиръ.

— Куда вы, сударь?

— Въ сенатъ. Если Тетерькинъ здоровъ, такъ я его тамъ увижу; а если боленъ, такъ мнѣ скажутъ, гдѣ онъ живетъ.

— Да благо ужь вы будете въ сенатѣ, батюшка, такъ поразспросите обо всемъ хорошенько. Чтожъ это—будетъ ли конецъ нашему дѣлу?.. Очередное да очередное, а все очередь не приходитъ.

Мирошевъ надѣлъ мундиръ и пошелъ въ сенатъ. Походивъ довольно времени по коридорамъ, отыскалъ онъ, наконецъ, канцелярію департамента, въ который поступило его дѣло. Пройдя первую комнату, наполненную сторожами и сенатскими курьерами, онъ вошелъ въ обширную залу, уставленную столами. Человѣкъ тридцать въ мундирахъ и въ нѣмецкихъ кафтанахъ занимались письмомъ; почти столько же не дѣлало ничего и прохаживалось взадъ и впередъ по залѣ; челобитчики и повѣренные по тяжбамъ разговаривали вполголоса съ нѣкоторыми изъ этихъ господъ; по временамъ растворялись двери въ присутствіе, и оттуда выходили чиновники съ бумагами и безъ бумагъ. Когда Кузьма Петровичъ увѣрился, что въ этой залѣ нѣтъ Тетерькина, то рѣшился подойти къ одному отдѣльному столу, за которымъ сидѣлъ сѣдой старикъ, не очень привлекательной наружности; предъ нимъ лежала огромная кипа бумагъ, которыя онъ пересматривалъ съ большимъ вниманіемъ.

— Позвольте васъ спросить... — проговорилъ робкимъ голосомъ Кузьма Петровичъ.

Старикъ поднялъ голову, взглянулъ пристально на Мирошева и сказалъ:

— Что вамъ надобно?

— Мнѣ надобно поговорить съ господиномъ повытчикомъ Тетерькинымъ?..

— Съ Тетерькинымъ?... Его здѣсь нѣтъ.

— Такъ, поэтому, онъ боленъ?

— Да, я думаю, не очень здоровъ: онъ уволенъ отъ службы.

— Что вы говорите?.. Когда?

— На прошлой недѣлѣ.

— Позвольте узнать...

— Не прогнѣвайтесь, мнѣ некогда,—прервалъ старикъ, принимаясь опять за свои бумаги.

— Скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, кто поступилъ на его мѣсто?

Угрюмый чиновникъ молча показалъ на одинъ столъ, за которымъ сидѣлъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, весьма благообразной и пріятной наружности. Мирошевъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— Извините, мнѣ нужно кой о чемъ васъ спросить...

— Съ большимъ удовольствіемъ!—отвѣчалъ ласково молодой человѣкъ.—Вотъ порожній стулъ—присядьте! Прошу покорно!

— Вы поступили на мѣсто Семена Акимовича Тетерькина?

— Точно такъ.

— У него было тяжебное дѣло отставного поручика. Мирошева...

— А, знаю! Это дѣло было у меня въ рукахъ, когда я находился въ третьемъ повытьи; я и выписку изъ него дѣлалъ.

— Вы?... — прервалъ съ удивленіемъ Мирошевъ.—Да какъ же мнѣ говорилъ Тетерькинъ, что это дѣло у него?

— Неужели?... Безсовѣстный!—прошепталъ молодой человѣкъ, покачивая головою.

— Такъ, поэтому, онъ меня обманывалъ?—спросилъ съ ужасомъ Мирошевъ.

— Видно, что такъ! Я помню, онъ меня разспрашивалъ объ этомъ дѣлѣ. Ну, признаюсь, не ожидалъ я, чтобъ онъ былъ такъ безстыденъ!.. Впрочемъ, что о немъ говорить: за чѣмъ пошелъ, то и нашелъ!

— Да гдѣ онъ теперь?..

— Покамѣстъ въ острогѣ, а тамъ — какъ рѣшитъ уголовная палата.

— Чтожъ онъ такое сдѣлалъ?

— Выкралъ документъ изъ дѣла.

— Ахъ, Боже мой,—проговорилъ Кузьма Петровичъ,— какъ я былъ обманутъ!

— Жаль мнѣ васъ, батюшка,—сказалъ молодой повытчикъ, взглянувъ съ участіемъ на Мирошева, — напали вы на дурного человѣка; впрочемъ, я думаю, дѣло ваше должно скоро рѣшится. Иванъ Андреичъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ одному пожилому человѣку, который, закинувъ назадъ руки, прохаживался по комнатѣ,—что апелляціонное дѣло отставного поручика Мирошева на очереди или нѣтъ?

— Да!—отвѣчалъ мимоходомъ пожилой человѣкъ.—Можетъ быть, мѣсяца черезъ два или черезъ три...

У Мирошева вся кровь застыла въ жилахъ.

— Три мѣсяца!.. Еще три мѣсяца!— прошепталъ онъ, смотря какъ помѣшанный на повытчика.—Да какъ же это можно?

— Чтожъ дѣлать!—сказалъ молодой человѣкъ, пожимая плечами.—Вы ужь, вѣрно, долго дожидаетесь, такъ потерпите еще.

— О, ни за что на свѣтѣ! — вскричалъ Мирошевъ, вскочивъ со стула. — Три мѣсяца!.. Нѣтъ, нѣтъ!.. я не хочу три мѣсяца сряду умирать съ тоски!.. Три мѣсяца!.. Да это цѣлый вѣкъ!... Прощайте!.. Покорнѣйше васъ благодарю!..

Кузьма Петровичъ какъ сумасшедшій прибѣжалъ домой. Кондратьичъ встрѣтилъ его въ передней.

— Прохоръ,—вскричалъ Мирошевъ, — знаешь ли, что? Вѣдь Тетерькинъ, точно, плутъ и мошенникъ!

— Давно, сударь, знаю.

— Знаешь ли, что онъ сидитъ въ острогѣ?

— Давно пора.

— А знаешь ли, что наше дѣло никогда не было у него въ рукахъ?

— Что вы говорите?

— Оно совсѣмъ въ другомъ повытьи.

— Вотъ тебѣ разъ!.. Такъ, поэтому, всѣ наши харчи!..

— Пропали даромъ.

— Ну, зарѣзалъ насъ этотъ подъячій!.. Ахъ онъ разбойникъ!.. Чтобъ ему издохнуть въ острогѣ!

— Эхъ, полно, Прохоръ. Что, намъ отъ этого легче что-ль будетъ?

— Да какъ же, сударь,—все таки отъ души отляжетъ, когда этакого мошенника заморятъ въ кандалахъ. Ну, слы-

хано ли дѣло: брать деньги за дѣло, которое не у него!.. Да ужь чего, кажется, подъячіе у насъ въ Хоперскѣ, а и тамъ этакого каторжнаго не найдешь!.. Ахъ, Господи, Господи!.. Ну что мы будемъ теперь дѣлать?

— Отправимся домой.

— А дѣло то, сударь?

— Оно еще три мѣсяца не попадетъ въ очередь; чтожъ мы станемъ по пустякамъ здѣсь проживаться.

— А кто-жъ будетъ имѣть хожденіе по нашей тяжбѣ?

— Да много намъ пользы принесло это хожденіе! Еслибъ я съ самаго начала положился на волю Божью, такъ это было бы во сто разъ лучше.

— Эхъ, батюшка, Кузьма Петровичъ!.. Да вѣдь воля Божья во всемъ, не безъ Его же воли мы и сюда пріѣхали.

— Нѣтъ, рѣшено!... Укладывайся, Прохоръ: мы ѣдемъ завтра.

— Ѣдемъ!.. А на чемъ, сударь? На своемъ на двоемъ!.. Вѣдь лошадей то у насъ ужь нѣтъ, а почтовыхъ нанять не на что.

— Мы поѣдемъ на долгихъ.

— Да вѣдь и на долгихъ то, сударь, даромъ не возятъ.

— Я займу у Костоломова.

— Такъ займите же, батюшка!.. Вотъ онъ идетъ по улицѣ; вѣрно, къ вамъ.

Черезъ минуту вошелъ Костоломовъ въ полномъ мундирѣ.

— Здравствуй, дядюшка!—сказалъ онъ. — Ба, ба, ба, да ты и сегодня примундирился!..

— Я былъ въ сенатѣ.

— А я у одного благодѣтеля, который хлопочетъ о моемъ мѣстечкѣ. Я пришелъ къ тебѣ, Кузьма Петровичъ, съ просьбою: не можешь ли мнѣ одолжить недѣли на двѣ рубликовъ двадцать пять?

— Вотъ кстати!—вскричалъ Прохоръ.—А баринъ хотѣлъ у васъ просить.

— Неужели?

— Да, любезный другъ, я сбираюсь домой, да не на что съѣхать.

— Домой?.. Такъ твое дѣло рѣшено?

— Какой рѣшено! — прервалъ Прохоръ.—Насъ кормили

все завтраками, а мы кормили обѣдами; да и докормились до того, что самимъ ѣсть нечего.

— Эхъ, досадно,—сказалъ Костоломовъ,—не могу я тебѣ, дядя, помочь!.. Ну, да это еще дѣло поправное. Вотъ, изволишь видѣть: мой двоюродный братъ со всѣмъ семействомъ отправился въ свое помѣстье; ему надобно было кой-что закупить, такъ я написалъ въ деревню, чтобъ мнѣ выслали денегъ,—отдалъ всѣ наличныя ему, и остался самъ безъ гроша. Ну, дѣлать нечего!... Недѣльки полторы перебьемся какъ-нибудь, а тамъ, какъ получу изъ деревни рублей двѣсти, такъ пожалуй пополамъ съ тобой раздѣлю.

— Спасибо, мой другъ! Будь увѣренъ, что я, лишь только справлюсь съ деньгами...

— Ну, поговори, поговори еще!.. Справлюсь съ деньгами!.. Что ты, дядя, не хочешь ли ужь проценты платить?.. Будутъ лишнія, такъ отдашь, — вотъ и все! Ну, братъ Кузьма, такъ у насъ теперь казны то, видно, не больше, какъ тогда... помнишь, подъ Кросеномъ, сирѣчь— ни полушки!

— То дѣло другое, братецъ: въ Пруссіи насъ кормили даромъ.

— Такъ чтожъ?... Хочешь ли, братецъ, и здѣсь даромъ накормятъ?... Да еще какъ—пальчики оближешь!... Мы же кстати оба съ тобой въ мундирахъ. Пойдемъ.

— Куда?

— Что тебѣ за дѣло—пойдемъ!

— Да скажи, куда?... Въ какой-нибудь трактиръ?

— Вотъ еще? Развѣ въ трактирахъ даромъ кормятъ?

— Такъ, вѣрно, къ кому-нибудь изъ твоихъ знакомыхъ?

— Да! Я ужь у него раза три обѣдалъ.

— Но какъ же я то, братецъ?... Придти въ первый разъ обѣдать!...

— Ничего! Хозяинъ человѣкъ очень почтенный, добрый, ѣстъ прекрасно, и всегда радъ гостямъ.

— Да ты, по крайней мѣрѣ, скажи мнѣ, кто онъ такой?

— Я говорю тебѣ, что онъ человѣкъ добрый и почтенный; а кто онъ таковъ, скажу тебѣ послѣ обѣда.

— Воля твоя, Егоръ Васильевичъ; надобно, по крайней мѣрѣ, чтобъ я зналъ...

— Экій ты, братецъ, какой! Да развѣ я тебя поведу туда, куда тебѣ идти не можно?... Повѣрь мнѣ, хозяинъ бу-

детъ тебѣ очень радъ; а сверхъ того,—прибавилъ Костоломовъ съ улыбкою,— кого другого, а тебя покормить ему вовсе не грѣшно.

— Меня?... Чтожъ это значитъ?

— Узнаешь все послѣ обѣда... Пойдемъ!

— Ступайте, сударь! — шепнулъ Прохоръ. — Сегодня за обѣдъ не заплатите, такъ завтра будетъ на что покушать.

— Да отчего ты не хочешь сказать мнѣ, Егоръ Васильевичъ?...

— Ну такъ, братецъ,—капризъ!

Мирошевъ долго не соглашался на предложеніе Костоломова; наконецъ, по убѣдительной его просьбѣ, рѣшился идти вмѣстѣ съ нимъ, не зная самъ куда онъ его ведетъ.

XXXII.

Открытый столъ большого барина.

Начиная эту главу, я долженъ сказать своимъ читателямъ нѣсколько словъ объ одномъ старинномъ обычаѣ московскихъ именитыхъ бояръ, для которыхъ наше нынѣшнее гостепріимство показалось бы чрезвычайно мелкимъ, ничтожнымъ и даже вовсе не русскимъ. Лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ Москвѣ живало на покоѣ много заслуженныхъ вельможъ, которые славились своею щедростію, великолѣпіемъ и роскошнымъ гостепріимствомъ. У нѣкоторыхъ изъ нихъ почти ежедневно были такъ называемые *открытые столы*. Каждый опрятно одѣтый человѣкъ, хотя бы онъ вовсе не былъ знакомъ хозяину, могъ смѣло приходить обѣдать за этотъ столъ; его не спрашивали, кто онъ такой. Дождавшись въ столовой хозяина и отвѣсивъ ему низкій поклонъ, онъ садился за общую трапезу и кушалъ на здоровье во славу Божію и въ честь русскаго гостепріимнаго боярина, которому и кушанье показалось бы не вкуснымъ, если бы за его столомъ сидѣло менѣе ста человѣкъ гостей. Этотъ обычай извѣстенъ намъ теперь по одному преданію. Мы не дошли еще до просвѣщенной разсчетливости нашихъ западныхъ сосѣдей, у которыхъ отдѣльный сынъ не придетъ незваный обѣдать къ отцу; но, несмотря на это, съ трудомъ уже вѣримъ, что русское хлѣбосольство

могло когда-нибудь существовать въ такомъ обширномъ размѣрѣ,—и вотъ почему я нашелъ необходимымъ предварить своихъ читателей, что этотъ обычай, дѣйствительно, существовалъ на Руси, и что были у насъ такіе бояре, которые находили удовольствіе угощать однимъ и тѣмъ же столомъ и бѣдныхъ, и богатыхъ, и друзей, и незнакомыхъ; однимъ словомъ, дѣлиться со всѣми богатствомъ, которымъ наградилъ ихъ Господь, и проживать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтобъ проматывать ихъ на чужой сторонѣ, ради пріобрѣтенія себѣ европейскаго имени.

Костоломовъ и Мирошевъ вышли Иверскими воротами изъ города. Перейдя черезъ Неглинную, они поворотили налѣво; потомъ, пройдя нѣсколько времени по Моховой, повернули направо и пошли по Воздвиженкѣ.

— Повѣришь ли ты,—сказалъ Мирошевъ,—съ тѣхъ поръ, какъ мы живемъ въ Москвѣ, я еще ни разу не былъ на этой улицѣ?

— Да развѣ ты никуда не ходишь?

— Нѣтъ, я почти каждый день гуляю по городу, да всегда въ нашей сторонѣ. Ты живешь на Яузѣ, такъ я зайду къ тебѣ, а отъ тебя въ Рогожскую, въ Таганку, къ Симонову, на Крутицы; тамъ по Москвѣ-рѣкѣ такіе прекрасные виды, да и строенія лучше здѣшнихъ... Однакожъ, и здѣсь, кажется, есть славные дома. Посмотри, какія палаты —продолжалъ Мирошевъ, остановясь противъ огромнаго каменнаго дома.

Этотъ домъ стоялъ посреди обширнаго двора; главный корпусъ былъ въ два этажа, или, лучше сказать, въ одинъ, потому что продолговатыя окна второго этажа были чрезвычайно малы и, казалось, служили только для одного наружнаго украшенія; къ дому примыкали съ обѣихъ сторонъ два трехъ-этажные флигеля: одинъ изъ нихъ тянулся вдоль нынѣшняго Шереметьевскаго переулка. Изъ за кровли дома поднималась глава довольно большой церкви, выстроенной на внутреннемъ дворѣ, который оканчивался садомъ.

— Какой чудной домъ, — сказалъ Мирошевъ: — самъ въ одинъ этажъ съ антресолями, а флигеля трехъ-этажные.

— Такъ онъ тебѣ не нравится?

— Нѣтъ, братецъ, домъ барскій! Конечно, еслибъ онъ былъ повыше, такъ еще бы казался красивѣе.

— Да это снаружи, любезный; а вотъ посмотри-ка внутри... Пойдемъ!

— Какъ, Егоръ Васильевичъ, — вскричалъ Мирошевъ, — да развѣ мы будемъ обѣдать въ этихъ палатахъ?

— Чего-жъ ты испугался?

— Да въ нихъ живетъ какой-нибудь вельможа.

— Такъ чтожъ такое, если этотъ вельможа любитъ, чтобъ его хлѣбъ-соль кушали и знакомые. и незнакомые?... Пойдемъ, братецъ!

Костоломовъ втащилъ почти насильно Мирошева во дворъ. У воротъ стоялъ, опираясь на свою форменную булаву, зашитый въ золото швейцаръ. Костоломовъ, какъ человѣкъ знакомый, кивнулъ ему головою, а Мирошевъ очень вѣжливо поклонился. Когда они взошли на широкое крыльцо, другой швейцаръ отворилъ имъ двери въ обширную прихожую, въ которой было человѣкъ шестьдесятъ лакеевъ: одни въ богатыхъ ливреяхъ, другіе въ красивыхъ казачьихъ чекменяхъ. Изъ прихожей, пройдя чрезъ офиціантскую, вошли они въ пріемную залу. Человѣкъ тридцать гостей, изъ которыхъ большая часть была въ мундирахъ, ходили взадъ и впередъ по залѣ, сидѣли на стульяхъ и разговаривали межъ собою вполголоса.

— Это такіе же гости, какъ и мы, — сказалъ Костоломовъ Мирошеву. — Теперь не хочешь ли присѣсть и отдохнуть?.. Еще рано, — прибавилъ онъ, взглянувъ на великолѣпные бронзовые часы, которые украшали одну изъ стѣнъ залы: мы прежде получаса обѣдать не будемъ.

— Да скажешь ли ты мнѣ, по крайней мѣрѣ, хоть теперь?...

— Не скажу, братецъ!... Вотъ какъ покушаешь — тогда!

— А если я спрошу у кого-нибудь изъ гостей?

— Право?... Да какъ же ты спросишь?... «Позвольте, дескать, батюшка, узнать, къ кому я пришелъ обѣдать»? Нѣтъ, дядя, лучше подожди.

— Какой ты упрямый!

— Натура такая, любезный!

Прошло около четверти часа, — вдругъ послышались шаги въ сосѣдней комнатѣ; всѣ гости пришли въ движеніе: тѣ, которые ходили по комнатѣ, остановились; а тѣ, которые сидѣли, вскочили со своихъ мѣстъ. Двери изъ гостиной отворились и, въ пріемную залу вошелъ человѣкъ

лѣтъ пятидесяти, полный, краснощекій, въ красивомъ нѣмецкомъ кафтанѣ; онъ съ вѣжливою улыбкою поклонился всѣмъ гостямъ, которые также отвѣсили ему по низкому поклону.

— Это хозяинъ? — спросилъ Кузьма Петровичъ Костоломова.

— Нѣтъ, братецъ, это его дворецкій.

— Покорнѣйше прошу, господа, въ гостиную! — сказалъ привѣтливо дворецкій.—Не угодно ли кому закусить и выпить водки?

Всѣ гости вошли въ обширную комнату, обитую малиновымъ штофомъ; посреди нея стоялъ круглый столъ съ закускою. Въ нѣсколько минутъ на столѣ остались одни пустыя блюда и тарелки. Впрочемъ, почти всѣ гости пили водку весьма умѣренно, исключая одного человѣка лѣтъ тридцати въ драгунскомъ мундирѣ, который, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, выпилъ три рюмки водки одну за другою. Мирошевъ давно уже замѣтилъ въ этомъ драгунскомъ офицерѣ что то странное. Весьма некрасивое лицо его выражало наглость и безстыдство; а несмотря на это, онъ держалъ себя въ почтительномъ отдаленіи отъ другихъ гостей, жался къ стѣнкѣ, посматривалъ на всѣхъ съ какимъ то безпокойствомъ, и примѣтнымъ образомъ старался, чтобъ глаза его не встрѣтились съ глазами другихъ гостей. Вообще, всѣ движенія его изобличали человѣка, который чувствуетъ самъ, что онъ не на своемъ мѣстѣ. Поношенный мундиръ сидѣлъ на немъ какъ мѣшокъ; онъ путался поминутно со своею саблею, зацѣплялъ за все шпорами и не зналъ, куда дѣвать свою шляпу.

— Что это за офицеръ такой! — спросилъ Кузьма Петровичъ Костоломова.—На немъ мундиръ точно такой же, какъ на насъ.

— Такъ чтожъ? Развѣ ты забылъ, что всѣ драгунскіе мундиры отличаются другъ отъ друга одними только погончиками?

— Да это было прежде; теперь, кажется, форма другая.

— Онъ, видно, такъ же, какъ и мы, отставной, служилъ въ наше время.

— Въ наше время?.. Помилуй, братецъ, да ему нѣтъ и тридцати лѣтъ!

— Тсъ!... Тише! — прервалъ Костоломовъ. — Вотъ, кажется, хозяинъ со своими гостями!

Два ливрейныхъ лакея растворили обѣ половинки дверей пріемной залы; изъ внутреннихъ комнатъ показалась большая толпа гостей, въ числѣ которыхъ много было генераловъ и знатныхъ господъ въ богатыхъ французскихъ кафтанахъ. Впереди, рядомъ съ однимъ бариномъ во Владимірской звѣздѣ, шелъ высокаго роста сутуловатый старикъ, особенно замѣчательной по необычайной простотѣ и даже странности своего наряда. Въ то время, безъ исключенія всѣ, принадлежащіе къ высшему обществу, носили шитые золотомъ и шелками французскіе кафтаны, кружевныя манжеты и *жабо*; пудрились, завивали на вискахъ букли, взбивали тупей и прицѣпляли къ затылку различныхъ формъ шелковые кошельки съ бантами, оборками и разными другими *агрементами*. Точно такъ были одѣты почти всѣ гости, исключая этого старика. Онъ былъ въ вигоневомъ, темнаго цвѣта сюртукѣ, съ отложнымъ воротникомъ, въ бѣломъ, небрежно повязанномъ галстукѣ, и его сѣдые волосы, безъ пудры, были острижены въ кружокъ. Наружность этого старика была весьма привлекательна: кротость, доброта и умъ изображались во всѣхъ чертахъ худощаваго лица его, а особливо въ глазахъ и улыбкѣ, исполненной неизъяснимой пріятности. На немъ не было никакихъ орденовъ, кромѣ Андреевской звѣзды, которая виднѣлась изъ-подъ лѣваго лацкана до половины застегнутаго сюртука.

— Вотъ хозяинъ—въ сюртукѣ со звѣздою, — шепнулъ Костоломовъ Мирошеву.

— Прошу покорно, господа!—проговорилъ съ ласковою улыбкою добрый хозяинъ, обращаясь къ своими незванымъ гостямъ.—Милости прошу! Чѣмъ Богъ послалъ.

Изъ этихъ немногихъ словъ можно было замѣтить по выговору, что хозяинъ дома былъ природнымъ малороссіяниномъ и, вѣроятно, ужь не ребенкомъ оставилъ свою родину. Мирошевъ вслѣдъ за другими вошелъ изъ гостиной въ длинную залу въ два свѣта. Въ ней накрытъ былъ покоемъ обѣденный столъ слишкомъ на сто приборовъ. Кузьма Петровичъ хотѣлъ сѣсть рядомъ съ Костоломовымъ, но при входѣ въ залу толпа ихъ разлучила, и ему пришлось сидѣть совсѣмъ на другомъ концѣ стола. Въ первыя минуты Мирошевъ былъ совершенно пораженъ новостію своего положенія. Онъ сидѣлъ за великолѣпнымъ столомъ, на которомъ все блистало серебромъ и золотомъ; передъ

нимъ какъ жаръ горѣло роскошное плато, которое, вѣроятно, стоило дороже, чѣмъ три Хопровки; онъ обѣдалъ со знатными господами, подъ звуки очаровательной музыки, ѣлъ съ серебряной тарелки; ему служили поперемѣнно, то одѣтый бариномъ офиціантъ, то залитой въ золото казачекъ. Все это казалось ему сномъ. Наконецъ, когда онъ приглядѣлся понемногу къ этому царскому великолѣпію и утолилъ свой голодъ, то, по примѣру другихъ гостей, захотѣлъ поразговориться со своими сосѣдями. Съ правой стороны подлѣ него сидѣлъ какой то господинъ въ черномъ бархатномъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, а съ лѣвой тотъ самый драгунскій офицеръ, который странною своею наружностію обратилъ на себя его вниманіе. Мирошевъ началъ говорить со своимъ сосѣдомъ въ черномъ бархатномъ кафтанѣ.

— Какая прекрасная зала!—сказалъ онъ.

Сосѣдъ, который въ эту минуту трудился около большого куска разварной стерляди, не взглянулъ даже на Мирошева. Помолчавъ нѣсколько времени, Кузьма Петровичъ обратился къ нему снова, но уже съ вопросомъ, на который слѣдовало отвѣчать.

— Позвольте спросить, что такое играла сейчасъ музыка?

— Музикъ?.. — проговорилъ черный бархатный кафтанъ, укладывая весьма бережно на кусочекъ хлѣба свою вилку и ножикъ.—Я, я, музикъ!

— А!.. Нѣмецъ!—подумалъ Мирошевъ.—Ну, съ нимъ я немного наговорю. Помолчавъ еще нѣсколько минутъ, Кузьма Петровичъ обратился къ другому своему сосѣду:

— Позвольте мнѣ спросить васъ: вы, вѣрно, въ отставкѣ?

Драгунскій офицеръ вздрогнулъ и, не отвѣчая ни слова, поотодвинулъ свой стулъ отъ Мирошева.

— Не безпокойтесь, — сказалъ Кузьма Петровичъ,—мы сидимъ довольно просторно. Извините, мнѣ хотѣлось бы знать: вы служите или нѣтъ?

Глаза драгунскаго офицера забѣгали кругомъ; онъ робко посмотрѣлъ назадъ, потомъ взглянулъ недовѣрчиво на Мирошева и отвѣчалъ глухимъ голосомъ:

— Служу!

— Право? А я думалъ, что вы отставной; судя по вашему мундиру...

— По мундиру?—повторилъ торопливо драгунъ.—А что мой мундиръ?..

— Да, кажется, теперь не та форма.

— Форма?.. Какая форма?..

Мирошевъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на этого чудака и сказалъ:

— Такъ поэтому не во всѣхъ полкахъ мундиры перемѣнены?.. Вы служите въ драгунахъ?

Офицеръ кивнулъ головою.

— Позвольте спросить, въ какомъ полку?

— А на что вамъ?

— Такъ, одно любопытство.

Офицеръ замолчалъ, поотодвинулъ еще свой стулъ отъ Мирошева и принялся рѣзать ножемъ артишокъ, который лежалъ у него на тарелкѣ.

— Ну,—подумалъ Мирошевъ,—дѣлать нечего: одинъ сосѣдъ нѣмецъ, другой какой то полоумный! Не съ кѣмъ промолвить и словечка!

Вотъ, наконецъ, встали изъ-за стола; одни гости пошли вмѣстѣ съ хозяиномъ на его половину, а другіе, то есть незваные, остались въ гостиной. Кузьма Петровичъ замѣтилъ, что драгунскій офицеръ исчезъ тотчасъ послѣ обѣда.

— Ну, дядя,—сказалъ Костоломовъ, подойдя къ Мирошеву,—хорошо покушалъ?

— Не о томъ рѣчь, Егоръ Васильевичъ! Теперь ты долженъ сказать мнѣ...

— Изволь! Помнишь, я намекнулъ тебѣ, что хозяину здѣшняго дома вовсе не грѣшно покормить тебя своимъ хлѣбомъ и солью?..

— Ну-да! Чтожъ это значитъ?

— А то, что ты по милости его пріѣхалъ въ Москву.

— Какъ по милости его?

— Ну, пожалуй, хоть по милости его приказчика, который отнимаетъ у тебя землю.

— Что ты говоришь? Такъ мы обѣдали у графа?..

— Да, братецъ, да! Ну что, любезный: вѣдь штука то недурная?..

— Ахъ, Егоръ Васильевичъ,—вскричалъ Мирошевъ,—что ты со мной сдѣлалъ!

— А что такое?

— Какъ что? Я съ нимъ въ тяжбѣ и обѣдалъ за его столомъ! Ну, если онъ узнаетъ?..

— Не узнаетъ, братецъ! А еслибъ и узналъ, такъ чтожъ за бѣда?

— Помилуй, Егоръ Васильевичъ, да на что это походитъ!.. И что скажутъ обо мнѣ добрые люди?.. Ахъ, какой стыдъ!.. Пойдемъ, братецъ, скорѣй отсюда!

— Погоди немножко! Видишь, подаютъ кофе.

— Такъ прощай же, — я здѣсь ни минуты не останусь!—сказалъ Мирошевъ, спѣша выйти изъ гостиной.

Въ пріемной комнатѣ, у самыхъ дверей въ прихожую, стоялъ дворецкій; онъ говорилъ вполголоса съ однимъ офиціантомъ. Увидѣвъ Мирошева, офиціантъ шепнулъ что то на ухо дворецкому, и они оба замолчали. Когда Кузьма Петровичъ подошелъ къ дверямъ прихожей, дворецкій обратился къ нему и сказалъ:

— Извините, сударь, мнѣ нужно васъ спросить...

У Мирошева сердце замерло.

— Что вамъ угодно?—прошепталъ онъ заикаясь.

— Позвольте узнать вашу фамилію.

— Мою фамилію?—повторилъ Мирошевъ, оледенѣвъ отъ ужаса.—То есть... вы хотите знать, кто я?

— Да-съ!

— Я отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ,—промолвилъ съ запинкою Мирошевъ, стараясь пройти въ дверь.

— Позвольте! — сказалъ дворецкій, заслонивъ ему дорогу.—А фамилія ваша, если смѣю спросить?

Кузьма Петровичъ поблѣднѣлъ, какъ приговоренный къ смерти. И подлинно, положеніе его было очень непріятно. Честный, прямодушный Мирошевъ ни за что въ свѣтѣ не рѣшился бы назвать себя чужимъ именемъ; но какъ объявить свое собственное; какъ признаться, что онъ въ одно и то-же время и въ тяжбѣ съ графомъ и въ числѣ его нахлѣбниковъ?.. Бѣдняжка, онъ думалъ, что графъ, который и не подозрѣвалъ его существованія, точно такъ же, какъ онъ, заботится объ этомъ ничтожномъ процессѣ, и, вслѣдствіе этой увѣренности, не сомнѣвался, что лишь только произнесетъ свое имя, то всѣ ахнутъ отъ ужаса и закричатъ: «Посмотрите, посмотрите, вотъ безстыдный человѣкъ: подаетъ на графа просьбы, а самъ незваный таскается къ нему обѣдать!» Эта страшная мысль до того овладѣла Мирошевымъ, что онъ совершенно растерялся. Въ глазахъ у него потемнѣло, губы дрожали, языкъ не могъ выговорить ни слова... Дворецкій взглянулъ значительно на офиціанта, улыбнулся и сказалъ Мирошеву почти насмѣшливымъ голосомъ:

— Ну что, сударь, вспомнили вашу фамилію?

— Мирошевъ!—прошепталъ, наконецъ, Кузьма Петровичъ, чуть-чуть шевеля губами.

— Какъ, сударь, какъ?—спросилъ дворецкій.

— Мирошевъ! — закричалъ Кузьма Петровичъ такимъ дикимъ и отчаяннымъ голосомъ, что дворецкій вздрогнулъ.

— А гдѣ изволите квартировать?—спросилъ онъ.

— Въ Зарядьѣ.

Дворецкій поклонился, а Мирошевъ бросился со всѣхъ ногъ въ лакейскую и выбѣжалъ какъ сумасшедшій на дворъ. Онъ слышалъ позади себя, —да, точно,—онъ слышалъ злобный хохотъ дворецкаго, онъ слышалъ, какъ въ нѣсколько голосовъ повторяли его имя въ передней... Бѣдный Кузьма Петровичъ, добѣжавъ домой, почти безъ чувствъ упалъ на постель.

— Ну что, сударь,—спросилъ Кондратьичъ,—гдѣ вы изволили кушать?

— Ахъ, Прохоръ, — вскричалъ Мирошевъ, — не спрашивай!.. Представь, что сдѣлалъ со мной этотъ злодѣй Костоломовъ!

— А что, сударь?

— А то, Прохоръ, что мнѣ стыдно глядѣть на самого себя.

— Ахъ, батюшки мои!.. Да чтожъ такое? Неужели онъ завелъ васъ въ какое-нибудь дурное мѣсто?

— О, нѣтъ! Я обѣдалъ у знаменитаго вельможи, со мною сидѣли за столомъ генералы, знатные люди...

— Право?

— Да, Прохоръ, да!.. Только знаешь ли ты, у кого я обѣдалъ въ гостяхъ?.. У того самаго графа, съ которымъ мы въ тяжбѣ!

— Что вы говорите?

— Ну, разсуди самъ: что онъ теперь обо мнѣ думаетъ?

— Помилуйте,—прервалъ Прохоръ,—за чтожъ вы сердитесь на Егора Васильевича? Этотъ графъ хочетъ отнять у васъ послѣдній кусокъ хлѣба, а вамъ еще у него и не покушать!.. Эхъ, сударь, не я на вашемъ мѣстѣ! Я бы каждый день сталъ у него обѣдать, да ѣлъ бы за пятерыхъ; ужь я бы доѣхалъ этого графа не мытьемъ, такъ катаньемъ!

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ!

— Да чего тутъ стыдиться? Что вы, развѣ мы у него

отнимаемъ землю? Вотъ еслибъ мы стали подбираться къ его селу Вознесенскому, такъ это дѣло другое. Съ одного вола двухъ шкуръ не дерутъ. Эхъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, благо ужь вы знаете дорогу, ступайте-ка и завтра къ нему обѣдать!

— Ни за что на свѣтѣ!

— Да чтожъ вы станете кушать то? Я и за пятакъ буду сытъ: краюха хлѣба, да ковшикъ воды, такъ и слава Богу! А вы, сударь...

— А я то чтожъ? Развѣ мнѣ больше твоего надобно?

— Вы человѣкъ непривычный, Кузьма Петровичъ,— отощаете!

— Не безпокойся!

— Ну, воля ваша, какъ хотите. А я бы ужь далъ себя знать этому графу! Пообѣдалъ бы вплотную, а тамъ бы сказалъ: «нельзя ли поужинать?»

XXXIII.

Одиннадцать ложекъ.

На другой день, часу въ седьмомъ послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ пошелъ гулять по городу, а Кондратьичъ—человѣкъ, какъ вы знаете, на все досужій, принялся чинить старые сапоги своего барина. Вотъ этакъ часу въ девятомъ, двери отворились и вошелъ человѣкъ, просто, но очень опрятно, одѣтый.

— Здѣсь ли живетъ отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ Мирошевъ?—спросилъ онъ.

— Здѣсь, батюшка!—отвѣчалъ Прохоръ вставая.—Что вамъ угодно?

— А вотъ велѣно ему отдать,—продолжалъ незнакомый, кладя на столъ что то завернутое въ бумагу.

— Да вы отъ кого?—спросилъ Кондратьичъ.

Незнакомый, не отвѣчая ни слова, поклонился и вышелъ вонъ.

— Что это такое?—подумалъ Прохоръ, взявъ въ руки свертокъ.—Ого, да это что то тяжелое и звенитъ!

— Что ты это разсматриваешь?—сказалъ Мирошевъ, войдя въ комнату.

— Да вотъ, сударь, сію минуту былъ здѣсь какой-то еловѣкъ и принесъ это вамъ.

— Человѣкъ?.. Отъ кого?

— Не знаю, сударь. Я спрашивалъ, да онъ не сказалъ.

— А что это такое?

— А вотъ сейчасъ разверну!.. Ахъ, батюшки!—продолжалъ Прохоръ.—Что это?.. Серебряная ложка... другая... ретья!.. Кажется, цѣлая дюжина!.. Нѣтъ, только одинадцать!..

— Чтожъ это значитъ?—вскричалъ Мирошевъ.—Это олжна быть ошибка: вѣрно, ложки присланы не ко мнѣ, а ь хозяину.

— Никакъ нѣтъ, сударь! Тотъ, кто ихъ принесъ, сказалъ, что онѣ присланы къ отставному поручику, Кузьмѣ етровичу Мирошеву.

— Да кто ихъ принесъ?

— Ужь я вамъ докладывалъ, какой то человѣкъ. Богъ о знаетъ, кто онъ такой!.. Да вы, я думаю, съ нимъ потрѣчались: онъ только что передъ вами отсюда вышелъ.

— Э, знаешь ли что?.. У Костоломова нѣтъ ни гроша денегъ, ужь не прислалъ ли онъ эти ложки, чтобъ я заложилъ ихъ хозяину гостиницы?

— Помилуйте, вѣдь, кажется, я его Андрюшку знаю; а ь чужимъ человѣкомъ онъ вѣрно-бы не послалъ серебряыхъ ложекъ.

— Да на кого походитъ тотъ, кто ихъ принесъ? Лакей го-ль онъ?

— А кто его знаетъ! На взглядъ онъ больше походитъ а барина: одѣтъ такъ чисто; бекешка знатная, изъ тонкаго укна...

— Куда-жъ намъ дѣваться съ этими ложками?

— Покамѣстъ останутся у насъ; не за окно же ихъ выросить. Можетъ быть, этотъ человѣкъ и опять зайдетъ.

— Странно, очень странно!.. Пойду наверхъ, спрошу озяина, не ждетъ ли онъ отъ кого-нибудь ложекъ; да тати и чаю напьюсь; я ужинать сегодня не стану.

Мирошевъ, не найдя хозяина гостиницы на обыкновенномъ его мѣстѣ, за прилавкомъ, спросилъ себѣ порцію чаю и расположился за небольшимъ столикомъ. Въ двухъ шагахъ отъ него, за другимъ столомъ пили также чай нѣсколько человѣкъ, которыхъ лица были ему совершенно незнакомы. Сначала онъ не обращалъ никакого вниманія на

ихъ шумный разговоръ; но нѣсколько разъ повторенное имя графа, у котораго онъ наканунѣ обѣдалъ, возбудило, наконецъ, его любопытство. Эти господа говорили очень громко и, казалось, вовсе не заботились о томъ, что посторонній человѣкъ слышитъ ихъ разговоръ.

— Да, милостивые государи, да,—говорилъ одинъ изъ нихъ, лысый старичекъ небольшого роста,—довольно въ Москвѣ знатныхъ господъ и бояръ; но каковъ графъ, такихъ вельможъ и въ Питерѣ не много. Подлинно, Господь Богъ не даромъ благословилъ его такимъ несмѣтнымъ богатствомъ,—настоящій русскій бояринъ: щедръ, милостивъ, набоженъ...

— Набоженъ?—прервалъ одинъ худощавый человѣкъ съ блѣднымъ лицомъ.—Ну, это еще Богъ вѣсть! Кабы онъ человѣкъ былъ набожный, такъ не сталъ бы жить такъ роскошно.

— Да почему же, Ѳедоръ Ивановичъ,—возразилъ лысый старикъ,—знатному вельможѣ и не жить съ пышностію, приличною его сану? Лишь только бы это было безъ обиды другимъ. Да если богатые люди не станутъ жить роскошно, такъ бѣднымъ то придется умирать съ голоду.

— Это, сударь, почему?.. Пусть богатый подаетъ милостыню.

— Да, кажется, графъ на это вовсе не скупъ; кто больше его дѣлаетъ добра бѣднымъ людямъ?

— Жилъ бы поскромнѣе, такъ и еще бы больше могъ дѣлать.

— То-есть безъ всякаго разбора подавать всѣмъ сплошь милостыню? Да развѣ это можно! И вы, батюшка, не подадите мужику здоровому и молодому, а скажете ему: «Не совѣстно ли тебѣ питаться Христовымъ именемъ?.. Ступай—работай!»

— Оно такъ, Андрей Петровичъ, а все-таки роскошь порокъ, и человѣкъ истинно набожный не станетъ для себя строить позлащенныхъ чертоговъ.

— Позлащенныхъ чертоговъ!.. Да вѣдь эти чертоги строятъ мастеровые и рабочіе люди; имъ за это платятъ деньги, а они на эти деньги содержатъ себя и свои семейства, такъ на повѣрку то выходитъ, что графъ себя тѣшитъ и бѣдныхъ людей кормитъ. На то Господь и даетъ богатство человѣку, чтобъ онъ имъ дѣлился съ другими; недужнымъ и убогимъ подавалъ бы милостыню, а людямъ

здоровымъ и молодымъ давалъ бы работу. Вотъ, напримѣръ, еслибъ какой-нибудь человѣкъ, не очень богатый, отыскалъ въ своей землѣ золотые рудники, сдѣлался бы милліонщикомъ, а жить бы сталъ все попрежнему, такъ и вы бы ему сказали: «Что ты, безплодная смоковница, сидишь на своихъ сундукахъ съ золотомъ? Пускай его въ ходъ! Коли ты не хочешь быть добрымъ христіаниномъ, не подаешь милостыни, не заводишь больницъ и страннопріимныхъ домовъ, не сооружаешь храмовъ Божьихъ,—такъ будь, по крайней мѣрѣ, не вовсе безполезнымъ гражданиномъ, и, хотя изъ барышей, пускай въ оборотъ свои милліоны: строй себѣ огромные дома, живи съ роскошью, давай хлѣбъ рабочимъ людямъ; а то какая польза для Русскаго Царства, что въ немъ есть свое золото, коли ты выкапываешь его изъ земли для того только, чтобъ опять закопать въ свои сундуки? Ты, чай, думаешь про себя: «я знаменитый гражданинъ, капиталистъ, милліонщикъ!» Неправда, ты просто мѣшокъ, набитый золотомъ. Вотъ какъ износишься, отживешь свой вѣкъ, да повытаскаютъ изъ тебя денежки, такъ о тебѣ и вспомнить то никто не захочетъ!»... Нѣтъ, господа, не такъ поступаетъ графъ. Его и роскошь основана вся на добрѣ. Сколько людей живутъ по его милости! Да что и говорить—истинный русскій бояринъ!.. А справедливъ то какъ!.. Ужь не заикнется, когда надобно высказать правду, такъ и отрѣжетъ!

— Да,—прервалъ худощавый господинъ,—говорятъ, онъ на это хорошъ: не посмотритъ ни на какое лицо...

— Ужь, точно, не посмотритъ!... Да вотъ я разскажу вамъ, господа, что онъ недавно сдѣлалъ. Одинъ генералъ, человѣкъ также немаловажный, попался какъ то въ немилость и отданъ былъ подъ судъ; всѣ судьи, желая угодить одной знаменитой особѣ, такъ и вскинулись на бѣднаго подсудимаго: начали слѣдовать его безъ всякой пощады, ко всему придираться, и, наконецъ, почти единогласно приговорили его къ жестокому наказанію. Графъ былъ также въ числѣ судей. Когда дошла до него очередь подписать резолюцію, онъ сказалъ, что въ судейскомъ приговорѣ не всѣ законы подобраны, и что такого то года, числа и мѣсяца состоялся законъ, въ силу котораго слѣдовало бы облегчить участь подсудимаго. Вотъ справились, и докладываютъ графу, что въ этотъ годъ, мѣсяцъ и число никакихъ не выходило законовъ, кромѣ одного закона о

кулачныхъ бояхъ. «Ну да!» сказалъ графъ. «Посмотри-ка въ немъ такую то статью». Чтожъ вы думаете, господа, въ этой статьѣ написано?... «*Лежачаго не бьютъ*».— А, каковс?

— Умно, умно!—сказали собесѣдники старика.

— И весьма милосердно!— прибавилъ худощавый господинъ.

— Ну, если дѣло дошло до графскаго милосердія,— заговорилъ одинъ пожилой человѣкъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ,— такъ я вамъ, господа, скажу, что вчера случилось у него въ домѣ. Мнѣ сегодня по утру разсказывалъ объ этомъ мой кумъ, Иванъ Аѳанасьевичъ, дворецкій его сіятельства. Я думаю, вы знаете, что у графа почти всегда бываетъ открытый столъ: приходи и кушай, кто хочетъ. Вчера обѣдало у него человѣкъ тридцать всякихъ разночинцевъ. Когда встали изъ-за стола, офиціантъ доложилъ дворецкому, что при одномъ приборѣ не оказалось серебряной ложки, и что за этимъ кувертомъ обѣдалъ какой то офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ; вотъ Иванъ Аѳанасьевичъ, вмѣстѣ со слугою, вышли въ пріемную комнату и стали подлѣ дверей прихожей; глядятъ—летитъ молодецъ въ драгунскомъ мундирѣ! Дворецкій подошелъ къ нему и спросилъ очень вѣживо: какъ его фамилія? Офицеръ поблѣднѣлъ какъ полотно. «Ага»,— подумалъ Иванъ Аѳанасьевичъ,— «знаетъ кошка, чье мясо съѣла!»— Онъ повторилъ свой вопросъ; его благородіе замялся,— туда, сюда, шепнулъ что то себѣ подъ носъ, да и хотѣлъ проскользнуть въ лакейскую... Нѣтъ, шутишь! Иванъ Аѳанасьевичъ сталъ въ дверяхъ и приступилъ къ нему съ ножемъ къ горлу: воришка началъ заикаться, забормоталъ и сказалъ наконецъ, что онъ отставной поручикъ Марошевъ... Мирошевъ—не помню, какъ то этакъ.

— Скажите пожалуйста!—вскричалъ худощавый господинъ.—Добро-бъ кто-нибудь, а то офицеръ!... Да ужъ нѣтъ ли тутъ какой ошибки?

— Вотъ то то и дѣло, что нѣтъ!... Ну, разсудите сами: еслибъ у этого офицера совѣсть была чиста, такъ чего же ему испугаться, когда спросили, какъ его зовутъ? А сверхъ того, одинъ казачекъ, который служилъ за столомъ, объявилъ послѣ дворецкому, что онъ самъ видѣлъ, какъ гость положилъ въ карманъ ложку, и что этотъ гость былъ, точно, въ драгунскомъ мундирѣ. Когда вечеромъ Иванъ Аѳанасье-

вичъ доложилъ объ этомъ графу, какъ вы думаете, что сказалъ его сіятельство?

— Да, вѣрно, изволилъ сказать,—прервалъ лысый старичекъ:—«Богъ съ нимъ, пускай владѣетъ моею ложкой!».

— Нѣтъ, не то!... «Бѣдняжка»,— сказалъ его сіятельство,—«видно, ему дома то нечѣмъ кушать. Пошлите ему еще одиннадцать ложекъ: пускай ихъ будетъ у него цѣлая дюжина».

— Ну, этого я не ожидалъ!—вскричалъ лысый старикъ.— Какое великодушіе!...

— А по мнѣ, такъ баловство,—проговорилъ худощавый господинъ вставая.—Коли вору дѣлать такіе подарки, такъ чтожъ надобно дать честному человѣку?

Тутъ вся компанія поднялась, и черезъ нѣсколько минутъ подлѣ Мирошева не осталось никого. Какъ пораженный громомъ, безъ всякаго сознанія, почти безъ чувствъ, сидѣлъ онъ неподвижно на своемъ мѣстѣ. Бѣдный Кузьма Петровичъ, онъ не проронилъ ни одного слова изъ этого ужаснаго разговора! Вы знаете Мирошева: этотъ кроткій, смиренный христіанинъ сносилъ все безъ ропота; онъ былъ бѣденъ, и никогда не жаловался на свою бѣдность; видѣлъ единственную дочь свою при смерти, и говорилъ: «Да будетъ Его Святая воля!»... Но это послѣднее испытаніе было тяжелѣе всѣхъ другихъ. Онъ слышалъ, какъ его чистое, ничѣмъ незапятнанное имя произносили съ презрѣніемъ; онъ слышалъ, какъ его называли публично воромъ, и долженъ былъ молчать!...—Къ чему,—думалъ онъ,—послужили мнѣ безпорочная жизнь, неукоризненное поведеніе и честная, усердная служба Царю и отечеству?... Кто сталъ бы подозрѣвать въ воровствѣ богатаго человѣка, и кому придетъ въ голову, что бѣдный, ничтожный Мирошевъ, которому нечего ѣсть, рѣшится лучше умереть голодною смертью, чѣмъ сдѣлать подлый поступокъ?... О, бѣдность, бѣдность, теперь то я понимаю, какъ ты тяжка!... Этотъ графъ!... Всѣ говорятъ, что онъ добръ и справедливъ, а онъ отнимаетъ у меня послѣдній кусокъ хлѣба... Но это еще ничего: у меня оставалось честное, безпорочное имя, и онъ, вѣрно, подумалъ: «на что оно нищему?» — Кинулъ мнѣ свое серебро, назвалъ меня воромъ,—и всѣ кричатъ: «какое великодушіе!» Боже мой, Боже мой, чѣмъ я заслужилъ этотъ позоръ?

Въ первый разъ еще въ жизни Мирошевъ забылъ, въ

минуту горести, предать себя безусловно волѣ Отца Небеснаго. и чувство, вовсе ему незнакомое, чадо ропота и непокорности, чувство адское—отчаяніе овладѣло его душою; сердце его ожесточилось; онъ забылъ все: жену, дочь, святую вѣру; онъ видѣлъ только передъ собою одинъ позоръ свой: ему казалось, что всѣ—хозяинъ гостиницы, слуги, и каждый, входящій въ комнату, смотрятъ на него съ презрительною усмѣшкою и, перешептываясь межъ собой, говорятъ: «Посмотрите, вотъ сидитъ отставной поручикъ Мирошевъ, который укралъ серебряную ложку!»

— Здравствуй, дядя!—раздался подлѣ него знакомый голосъ.

— А, это ты, Костоломовъ!—вскричалъ Мирошевъ, вскочивъ со стула.—Пойдемъ отсюда!

— Постой, братецъ! Я зашелъ сюда напиться вмѣстѣ съ тобой чайку.

— Пойдемъ ко мнѣ!— прошепталъ Мирошевъ, таща его за руку.—Да скорѣй!... Ты видишь, на насъ смотрятъ!

— Ну, что за бѣда?... Пускай себѣ смотрятъ!

— Да развѣ тебѣ не стыдно быть вмѣстѣ со мною?

— Съ тобою?... Что ты, братецъ, въ умѣ ли?

— Такъ ты ничего не знаешь?

— А что такое?

— Пойдемъ!... Я все тебѣ разскажу!

— Тише, Кузьма Петровичъ, тише! Куда торопишся!— закричалъ Костоломовъ, догоняя Мирошева, который бѣжалъ, какъ сумасшедшій, внизъ по лѣстницѣ.

— Ну что, сударь, — спросилъ Прохоръ, встрѣчая въ прихожей своего барина,—вы спрашивали хозяина?... Что, ложки его?

— Ложки!—вскричалъ глухимъ голосомъ Мирошевъ.— Ложки!—повторилъ онъ стиснувъ съ бѣшенствомъ зубы.— Прочь эти проклятыя ложки!... Прочь ихъ!... Это подарокъ сатаны!... Слышишь ли—сатаны!

— Батюшка, батюшка!... Что вы?— прервалъ съ ужасомъ Кондратьичъ.

— Да, да!... На нихъ адское клеймо!... Онѣ мой стыдъ, мой позоръ!... За окно ихъ, за окно!... Скорѣй, скорѣй!...

— Господи,— вскричалъ Кондратьичъ, всплеснувъ руками,—что это съ нимъ сдѣлалось?... Батюшка-баринъ, да да что это съ тобой?

— Въ самомъ дѣлѣ,— сказалъ Костоломовъ,— у тебя глаза какіе то шальные!... Что ты, братецъ?

— Что я?—повторилъ съ дикимъ хохотомъ Мирошевъ.— Такъ ты еще не знаешь?... Я воръ!...

— Что ты это за дичь порешь?... Помилуй!

— Ну, да!... Я, слышишь ли, я, твой сослуживецъ, Мирошевъ, укралъ вчера серебряную ложку у этого графа, гдѣ мы вмѣстѣ съ тобой обѣдали, куда ты затащилъ меня обманомъ!... О, сердце мое чувствовало,—я не хотѣлъ идти съ тобой!... А этотъ графъ!.. Дай Богъ ему здоровья!... Подлинно, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость! Я укралъ у него ложку,— онъ погнѣвался, а тамъ сжалился надо мною и прислалъ ко мнѣ еще одиннадцать ложекъ для того, чтобъ у меня была полная дюжина!... Ну, понимаешь ли теперь?

— Нѣтъ, братецъ, не понимаю.

— Такъ слушай же.

Когда Егоръ Васильевичъ выслушалъ Мирошева, который разсказалъ ему все, то очень призадумался.

— Ахъ, батюшки,— проговорилъ онъ, наконецъ, — да вѣдь эта оказія то въ самомъ дѣлѣ не шуточная!... И надобно же чтобъ такъ случилось!... Э, постой-ка, братецъ!... Подлѣ тебя, кажется, сидѣлъ вотъ, помнишь, тотъ драгунскій офицеръ, у котораго и рожа то вовсе не офицерская... Ну, точно, дядя,—это его дѣло!... Да я голову свою прозакладую, что онъ не офицеръ, а какой-нибудь переодѣтый мошенникъ.

— Да чтожъ мнѣ отъ этого легче что-ль?—прервалъ Мирошевъ.—Вѣдь подозрѣваютъ не его, а меня: чѣмъ я докажу мою невинность?

— Какъ чѣмъ?... Ступай самъ къ этому графу, отнеси ему ложки, изъясни все, какъ было, скажи ему: «Ваше графское сіятельство»...

— Нѣтъ, нѣтъ! — вскричалъ съ ужасомъ Кузьма Петровичъ.—Чтобъ я пошелъ самъ къ этому барину, къ которому, можетъ быть, меня и не допустятъ; чтобъ я сталъ вымаливать эту милость у его слугъ, которые будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ и радостію... Да, съ радостію: вѣдь для нихъ праздникъ видѣть дворянина, офицера, котораго поймали и уличили въ воровствѣ!... О, нѣтъ, нѣтъ!.. Я лучше умру, чѣмъ переступлю черезъ порогъ этого дома!...

— Такъ чтожъ, братецъ, я пойду къ графу, и, во что-бъ ни стало, оправдаю тебя.

— И ты думаешь, онъ тебѣ повѣритъ!

— А почему же бы онъ мнѣ не повѣрилъ? Какъ отдамъ ему назадъ подарокъ, который онъ такъ не кстати тебѣ сдѣлалъ, такъ онъ поневолѣ убѣдится, что ты честный человѣкъ. Воръ, братъ, не отдастъ ничего.

— Нѣтъ, Егоръ Васильевичъ, и мошенникъ сдѣлаетъ то же, чтобъ оправдать себя, и онъ прикинется честнымъ человѣкомъ, когда знаетъ, что его подозрѣваютъ въ воровствѣ! Нѣтъ, меня могло бы оправдать одно: еслибъ ложка нашлась, а вмѣстѣ съ нею и тотъ, кто укралъ ее.

— Ну, братъ, это трудно! Москва велика, да и какъ теперь найти этого мошенника? Почему знать, можетъ быть, его ужь нѣтъ въ городѣ?

— Ну, видишь ли, что ничто не можетъ спасти мою честь? Ахъ, Егоръ Васильевичъ, ты погубилъ меня на вѣки!

— И, полно, братецъ,—время все откроетъ.

— Время! Да неужели ты думаешь, что я переживу честь мою? Вѣдь это одно, что оставалось у меня въ жизни.

— Одно?... А жена... а дочь, братецъ?

Мирошевъ вздрогнулъ.

— Боже мой!—сказалъ онъ.—Жена... дочь!... О, мой другъ,—продолжалъ онъ, закрывъ блѣдное лицо свое руками,—суди же о моемъ отчаяніи: я забылъ, что у меня есть дочь и жена!

— Бѣдняжка! — прошепталъ Костоломовъ.— Да успокойся, Бога ради! Мнѣ что то сдается, что все это кончится благополучно. Ну, прощай покамѣстъ! Мнѣ надобно домой; да и тебѣ не мѣшаетъ остаться одному. Знаешь ли что? Помолись-ка Богу, да ложись спать: утро вечера мудренѣе. А я завтра ранехонько побываю у графа и узнаю отъ его людей когда онъ по утрамъ къ себѣ принимаетъ. Прощай, дядя!... Полно, не горюй! Вѣдь передъ Богомъ то что твоя честь, что честь какого нибудь вельможи—все едино! Ну, оставятъ ли Онъ добраго человѣка въ напрасномъ нареканіи? Вотъ припомни мое слово: все уладится какъ нельзя лучше, и ты выйдешь изъ этого дѣла чистъ и непороченъ, какъ младенецъ изъ купели. Прощай, братецъ, до завтраго!

XXXIV

Ванька Каинъ. Воровской притонъ. Счастливая встрѣча.

Костоломовъ, простясь съ Мирошевымъ, отправился домой. Хоть онъ и утѣшалъ своего пріятеля, но очень чувствовалъ, какъ тяжело было ему выносить этотъ незаслуженный позоръ. «Экое несчастіе!»—думалъ онъ, идя по берегу Москвы-рѣки. «И нужно мнѣ было таскать его къ этому графу!... Эхъ, еслибъ мнѣ попался теперь мошенникъ въ драгунскомъ мундирѣ, ужь я бы его изъ рукъ не выпустилъ!» Межъ тѣмъ на дворѣ стало смеркаться. Когда Костоломовъ дошелъ до того мѣста, гдѣ въ Москву-рѣку впадаетъ Яуза, то, не переходя черезъ мостъ, повернулъ налѣво и пошелъ по берегу этой рѣчки. Теперь Яуза, обставленная во многихъ мѣстахъ красивыми домами, перерѣзываетъ городской валъ между Сокольничьей и Преображенской заставою, и течетъ свободно по городу, до самаго впаденія своего въ Москву-рѣку; но тогда, то есть лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ самомъ городѣ на ней были плотины, мельницы, и она образовала даже въ нынѣшней Яузской части довольно обширный прудъ, посреди котораго былъ островъ, а на немъ пивной заводъ. Этотъ заводъ, какъ разсказываютъ старики, былъ главнымъ притономъ всѣхъ московскихъ воровъ, мошенниковъ и безпаспортныхъ бродягъ. Ветхія и безобразныя лачуги, которыя кой-какъ лѣпились на крутыхъ и обрывистыхъ берегахъ Яузы, разбросаны были очень рѣдко, и по большей части не соединялись даже между собой заборами. Хотя Костоломовъ былъ человѣкъ смѣлый, и надѣялся на свою силу, однакожъ, всякій разъ, когда ему случалось идти подъ вечеръ этими пустырями, онъ посматривалъ во всѣ стороны съ опасеніемъ, и держалъ наготовѣ свою увѣсистую трость съ серебрянымъ литымъ набалдашникомъ. Шагахъ въ двадцати передъ нимъ кто то пробирался сторонкою, держась подлѣ самаго забора. Когда Костоломовъ обогналъ этого прохожаго, то замѣтилъ трехъ человѣкъ, которые стояли за угломъ одной, до половины развалившейся избушки, повидимому никѣмъ не обитаемой. Это такъ походило на воровскую засаду, что Егоръ Васильевичъ невольно поднялъ на плечо свою тяжелую трость и

приготовился къ оборонѣ. На этотъ разъ опасенія его были напрасны: онъ миновалъ благополучно этихъ подозрительныхъ людей; но почти въ то же самое время раздались позади него голоса.

— Вотъ онъ, Іуда предатель!... Ага, попался, переметная сума!... Бейте его, ребята!...

Костоломовъ обернулся и увидѣлъ, что эти три человѣка напали всѣ разомъ на прохожаго, котораго онъ обогналъ. Судя по восклицаніямъ, не трудно было отгадать, что это былъ не простой грабежъ, а мщеніе за какую то обиду; но, несмотря на это, Егоръ Васильевичъ не могъ остаться равнодушнымъ зрителемъ такого неравнаго боя.

— Трое на одного!.. Ахъ вы, разбойники! — закричалъ онъ, спѣша на выручку къ прохожему. Егора Васильевича встрѣтили ударомъ кулака, который, какъ тяжелый безменъ, обрушился на его голову; но молодецъ Костоломовъ и не пошатнулся; въ нѣсколько секундъ онъ оглушилъ одного изъ нападающихъ ударомъ палки и кинулъ наземь другого; третій, мужикъ здоровый и плечистый, бросилъ прохожаго, котораго уже успѣлъ подмять подъ себя, и схватился съ Костоломовымъ. Въ эту самую минуту послышались вдали голоса; тотъ, который боролся съ Егоромъ Васильевичемъ, вырвался изъ его рукъ, закричалъ что то своимъ товарищамъ, и они всѣ трое разбѣжались въ разныя стороны. Костоломовъ подошелъ къ прохожему; онъ поднялся на ноги, однакожъ, стоялъ, прислонясь къ забору, и покачивался.

— Ну что, любезный,—спросилъ Егоръ Васильевичъ,— ужь не больно ли тебя зашибли?

— Ничего, — проговорилъ шопотомъ прохожій, — пройдетъ!.. Ну, вотъ и полегче!.. Фу ты, батюшки, — продолжалъ онъ, потряхивая головою, — какъ этотъ Бахтей меня ошеломилъ!.. Разбойникъ этакій; у него, видно, въ рукавицѣ то свинчатка!

— Бахтей!—повторилъ Костоломовъ.—Да это, кажется, разбойникъ, котораго при мнѣ поймали въ Зарядьѣ?

— Ну да, батюшка! Онъ вчера съ двумя товарищами убѣжалъ изъ острога.

— Что это, любезный, — прервалъ Костоломовъ, — мнѣ кажется, я тебя гдѣ то видалъ?

— Да тамъ же, сударь, гдѣ вы видѣли и Бахтея: на Псковскомъ подворьѣ. Вѣдь я то его и поймалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! Такъ ты, братецъ...

— Я, сударь, московскій сыщикъ...

— Ванька Каинъ?

— Да, батюшка! Иванъ Семеновъ, по прозванью Каинъ...

— А, такъ вотъ за что тебя хотѣли поколотить?.. Ну, братъ, дешево ты отдѣлался!

— По вашей милости, батюшка, дай Богъ вамъ добраго здоровья! Кабы не вы, не сдобровать бы мнѣ!

— Ну что, ты совсѣмъ очнулся?

— Ничего, сударь! Голова немножко болитъ; да вотъ выпью стаканчикъ-другой вина, такъ все пройдетъ,—какъ съ гуся вода!

— Вотъ идутъ люди, — сказалъ Костоломовъ, — теперь тебѣ бояться нечего. Прощай!

— Это, кажись, мои ребята... Да позвольте, батюшка, позвольте!.. Ужь сдѣлайте милость, скажите мнѣ, кто вы таковы?

— На что тебѣ?

— Какъ на что, сударь? Да если бы не вы, такъ меня бы, можетъ статься, и въ живыхъ теперь не было. Мнѣ бы хотѣлось, батюшка, чѣмъ-нибудь вамъ отслужить.

— Мнѣ?—сказалъ съ улыбкою Костоломовъ.—Да что ты можешь для меня сдѣлать? У меня, братъ, пріятелей въ острогѣ нѣтъ, самъ я не воришка...

— Эхъ, баринъ, не смѣйся! Не ровенъ часъ: пригожусь и я; мало ли что случиться можетъ?.. Ну вотъ, если обокрадутъ вашу милость? Вѣдь ужь никто скорѣй меня вора не отыщетъ: на томъ стоимъ, господинъ честной!

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Костоломовъ.—Да вѣдь въ самомъ дѣлѣ!.. Знаешь ли что, любезный? Ты, точно, можешь сослужить мнѣ большую службу...

— Извольте, сударь! Что такое?

— Вотъ, братецъ, что...

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Только скажу словечка два этимъ молодцамъ, — прервалъ Каинъ, обращаясь къ четыремъ дюжимъ мужикамъ, которые, подойдя къ нему, сняли свои шляпы... Гдѣ вы, пострѣлы, шатались до сихъ поръ, а?.. То ли я вамъ приказывалъ?.. Ну, какой ты десятникъ, Камчатка? Чего ты смотришь?

— Да что съ ними будешь дѣлать, Иванъ Семеновичъ! —отвѣчалъ охриплымъ голосомъ мужчина вершковъ двѣнадцати росту, съ черною окладистою бородою.—Завернули

мимоходомъ на тычокъ выпить по одной; сидятъ, да пѣсенки попѣваютъ! Я имъ говорю: Эй, ребята, пора, вѣдь ужь солнышко то закатилось! А они дерутъ себѣ горло, да и только!

— Такъ вы этакъ то Царю-Государю служите?—закричалъ Каинъ.—Ахъ вы, неслухи!.. Да знаете ли вы, что если я доложу его превосходительству, Алексѣю Даниловичу, такъ онъ прикажетъ васъ запороть батожьемъ!.. Знаете ли вы, что, по милости вашей, Бахтей опять ускользнулъ, и меня бы до смерти прибили, кабы не этотъ честной господинъ!.. Ахъ вы, пьяницы этакіе! Да за что васъ и хлѣбомъ то кормить?

— Виноваты, Иванъ Семеновичъ,—заговорили сыщики, кланяясь Каину:—позагулялись!

— Вотъ я вамъ дамъ гульбу!.. А все ты, Волкъ!.. Я ужь, братъ, давно до тебя добираюсь!.. Ты и Барана то споилъ и Тулью все таскаешь по кабакамъ! Тебѣ бы только съ утра до вечера бражничать, да пѣсни орать!..

— Да я, батюшка, Иванъ Семеновичъ,—промолвилъ рыжеволосый дѣтина, почесывая въ головѣ,—пою все пѣсенки, что ты самъ сложить изволилъ. Вотъ и теперь, такъ бы и затянулъ твою любимую: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ!» Эка пѣсня, подумаешь!

— Ну, да, пѣсня хороша,—сказалъ поласковѣе Каинъ; —да ты, дурачина, пой ее, когда тебѣ дѣлать нечего: а коли дойдетъ до службы царской, такъ у меня смотри!... Камчатка, ступай съ Бараномъ въ Сыромятники и дожидайся тамъ меня въ харчевнѣ у Сидорыча!.. А ты, Волкъ, останься съ Тульею здѣсь!.. Ну, батюшка,—продолжалъ Каинъ, обращаясь снова къ Егору Васильевичу,—какую прикажете вамъ службу сослужить?

— Вотъ что, любезный: вчера за столомъ у графа Р***** сдѣлалась покража,—пропала серебряная ложка. Кажется, въ этомъ подозрѣваютъ моего пріятеля, который вмѣстѣ со мною обѣдалъ у его сіятельства. Пріятель мой такъ же, какъ и я, заслуженный офицеръ и дворянинъ, такъ суди самъ, любезный, каково ему терпѣть такую напраслину? Ты, чай, братецъ, знаешь, что къ графу ходятъ обѣдать и вовсе незнакомые люди?

— Знаю, ваше благородіе, знаю!

— Такъ изволишь видѣть: я увѣренъ, что эту ложку укралъ какой то офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ, ко-

торый сидѣлъ подлѣ моего пріятелю. Судя по отвѣтамъ и ухваткамъ этого человѣка, я готовъ биться объ закладъ, что онъ не офицеръ, а переодѣтый мошенникъ.

— Въ драгунскомъ мундирѣ!—проговорилъ вполголоса Каинъ.—Ужь это не плутъ ли Тришка? Онъ третьягодня на толкучемъ рынкѣ торговалъ какой то мундиръ. А что, ваше благородіе, какихъ лѣтъ показался вамъ этотъ офицеръ?

— Лѣтъ тридцати.

— Такъ-съ!.. А волосы на головѣ черные?

— Черные.

— Ростомъ какъ?

— Пониже тебя и человѣкъ худощавый.

— Такъ-съ!.. А что, не замѣтили ли вы у него на лѣвой щекѣ рубецъ?

— Какъ же, очень замѣтилъ.

— Такъ-съ!.. Лицо у него рябое, и двухъ переднихъ зубовъ нѣтъ?.

— Ну, точно такъ!—вскричалъ Костоломовъ.—Такъ ты его знаешь?

— Знавалъ въ старину, ваше благородіе!. Ахъ онъ теткинъ сынъ! Смотри пожалуй, въ офицерскомъ мундирѣ за графскимъ столомъ!.. Да это хоть бы и мнѣ въ старые годы!.. Ну, нечего сказать, молодецъ!

— Такъ это въ самомъ дѣлѣ переодѣтый мошенникъ?

— Да, ваше благородіе! Долженъ быть Тришка.

— Какая дерзость!

— За этимъ, сударь, у него дѣло не станетъ,—удалой дѣтина!.. Какъ онъ еще былъ мальчишкою, такъ я и тогда ужь видѣлъ, что въ немъ прокъ будетъ.

— Что ты, Каинъ! Да ты никакъ его подхваливаешь?

— Такъ, сударь, ничего, — по старой привычкѣ!.. Ну, да теперь совсѣмъ не то: теперь я и похвалю, а руки назадъ скручу, батюшка. Ну, чтожъ вамъ, сударь, надобно?

— А вотъ что: надобно, чтобъ и воръ и ложка были отысканы и представлены къ его сіятельству.

— Постараюсь, ваше благородіе. Только времени то много ушло... Да вотъ пожалуйте-ка со мною: можетъ статься, ложку то не далеко еще спровадили. Вѣдь вы ее узнаете?

— Какъ не узнать: на ней долженъ быть гербъ.

— Такъ пожалуйте, батюшка!.. А вы, братцы, ступайте поодаль отъ насъ.

Каинъ и Костоломовъ пошли по берегу Яузы. Миновавъ плотину, они остановились противъ самой средины пруда. Каинъ подозвалъ сыщиковъ и сказалъ имъ:

— Мы пойдемъ на пивной заводъ, а вы чуръ не дремать! Лишь только свистну, — какъ листъ передъ травой! Слышите, ребята?

Отдавъ имъ это приказаніе, онъ повелъ Егора Васильевича черезъ мостъ, которымъ соединялся непирокій, но довольно длинный островъ съ берегомъ пруда. Обойдя лѣвой стороной забора, изъ-за котораго поднималась кровля пивного завода со своими высокими деревянными трубами, они увидѣли передъ собой пять или шесть избъ. Въ одной изъ нихъ раздавались заливныя пѣсни, или, лучше сказать, отвратительные звуки, болѣе похожіе на дикіе вопли бѣснующихся, чѣмъ на разгульное, но согласное пѣніе нашихъ удалыхъ фабричныхъ. Это былъ знаменитый въ свое время питейный домъ, который назывался *тычкомъ*. Костоломовъ, большой охотникъ до русскихъ хоровыхъ пѣсенъ, пріостановился на минуту у дверей этого кабака.

— Что это они ревутъ? — прошепталъ сквозь зубы Каинъ.—Ну, такъ и есть: «Не шуми, мати зелена дубровушка». Разбойники, какъ они увѣчатъ мою пѣсенку!... За языки бы ихъ всѣхъ повѣсилъ, грачи проклятые!... А туда-жъ, чай, говорятъ: «мы пѣсельники»... Пойдемте, сударь! Что слушать этихъ пьяницъ: ни складу, ни ладу; орутъ, дурачье, какъ ни попало!.. Пожалуйте вонъ сюда!

Они подошли къ одной избушкѣ, которая стояла поодаль отъ другихъ, на самомъ берегу острова. Одна половина ея была построена на землѣ, а другая, опираясь на сваи, висѣла надъ водою. Въ избушкѣ свѣтился огонекъ и довольно громко разговаривали. Каинъ постучался; вдругъ все затихло; потомъ послышались шаги: кто то подошелъ къ дверямъ и спросилъ сиповатымъ голосомъ:

— Кто тутъ?

— Я, Марѳуша, — отвѣчалъ Каинъ, — отпирай, небось!

— Сейчасъ, кормилецъ, сейчасъ! — проговорили за дверьми.

Голосъ замолкъ, и въ избѣ поднялся какой то шорохъ и суета.

— Эге, — прошепталъ Каинъ, — видно, надобно кого-нибудь припрятать!.. Да отпирай же проворнѣй! — закричалъ онъ, когда прошло минуты двѣ.

— Иду, батюшка, иду! — раздался снова сиповатый голосъ.

Двери отворились, и Костоломовъ, вслѣдъ за Каиномъ, пройдя небольшими сѣнями, вошелъ въ чистую горенку, освѣщенную лампадой, которая висѣла передъ образами. У самыхъ дверей была изразцовая печь съ лежанкою, а отъ нея, во всю длину свѣтлицы, деревянная перегородка.

— Здравствуйте, батюшка, Иванъ Семенычъ!—прошептала дородная женщина, лѣтъ пятидесяти, въ гарнитуровомъ шушунѣ и ситцевой юбкѣ, встрѣчая съ низкимъ поклономъ гостей.

— Здорово, тетка!—сказалъ Каинъ.—Вотъ я привелъ къ тебѣ хозяина изъ гостинаго двора,—кланяйся!

— Изъ гостинаго двора!—повторила хозяйка, поглядѣвъ недовѣрчиво на Костоломова.

— А что,—чай, одежа не такая?.. Онъ только что вернулся изъ Нѣметчины; ѣздилъ туда за товаромъ, да вотъ и одѣлся по ихнему.

— Такъ, батюшка, такъ!... Милости просимъ!

— Послушай-ка, Мареа: нѣтъ ли у тебя продажнаго чего-нибудь?.. Знаешь—этакъ получше, да подешевле?

— Есть кой-что, Иванъ Семеновичъ. Просимъ покорно, —присядьте покамѣстъ!

Костоломовъ и Каинъ сѣли на скамью, а хозяйка, засвѣтивъ сальный огарокъ, вышла въ сѣни и черезъ минуту возвратилась, неся большой узелъ.

— Вотъ, батюшка,—сказала она, выкладывая на столъ свой товаръ,—шубейка на собольемъ мѣху;—да соболи то все какіе — якутскіе, батюшка!.. Покрышку только надо новенькую..

— Знаемъ, знаемъ, тетка!—прервалъ Каинъ.—На мѣху узоровъ нѣтъ,—никто не вклеплется.

— А вотъ,—продолжала Мареа, развертывая шитый золотомъ французскій кафтанъ,—боярское платьице... Какъ пораспороть его, такъ выжиги будетъ фунтика два; а бархатецъ пойдетъ на то, на другое. Вотъ рабронтъ изъ заморскаго атласа. Посмотрите-ка, батюшка, — лубокъ лубкомъ.

— Да это, тетка, все не то!—прервалъ Каинъ.—Вѣдь хозяинъ то не изъ панскаго ряда,—у него серебряная лавка. Ты намъ давай, знаешь, что потяжелѣ.

— Слушаю, кормилецъ, слушаю!... Повремените немного.

Хозяйка вышла опять въ сѣни.

— Чтожъ это?—спросилъ вполголоса Костоломовъ.—Неужели все краденыя вещи?

— Со всячинкой, ваше благородіе,—отвѣчалъ также вполголоса Каинъ. — Мареа торговка, такъ гдѣ ей разбирать.

— Охъ, тяжелъ, проклятый!—сказала хозяйка, войдя въ свѣтлицу и поставивъ на столъ ларецъ, окованный желѣзомъ.

Она отперла его и начала вынимать разныя вещи одну за другою.

— Вотъ, ваша милость,—сказала она,—томпаковые часики съ симилеровой цѣпочкой; вотъ золотой перстенекъ съ яхонтомъ... сережки изумрудныя... А вотъ серебряная кружечка нѣмецкой работы... Изволь-ка, хозяинъ, привѣситься на руку... Что, батюшка, небось дутая?... То-то же!... Угодно столоваго серебра?—продолжала она, вынимая изъ ларца три ложки разной величины и формы.

— Вотъ она! —вскричалъ съ радостію Костоломовъ, схвативъ одну изъ ложекъ.—Вотъ и гербъ!

— Пожалуйте-ка сюда!—сказалъ Каинъ.—Да, точно такъ, съ гербомъ!... Тетка, вѣдь эта ложка то краденая!

— Неужели, батюшка?... Ахъ ты, Господи!...

— Да, точно, краденая!... Мареа, вѣдь дѣло то плохо!... Вы, точно, батюшка, увѣрены, что это та самая ложка?

— Хоть сейчасъ къ присягѣ!

— Ну, слышишь, голубушка, что говоритъ его благородіе?

— Его благородіе!—повторила хозяйка, всплеснувъ руками.—Такъ это все былъ подвохъ?... Ну, батюшка Иванъ Семеновичъ!...

— Молчи, тетка! Твое дѣло сторона; только говори всю правду: отъ кого ты взяла эту ложку?

— Отъ кого?... Да почему мнѣ знать?... Мало ли ко мнѣ добрыхъ людей ходитъ!... Не знаю, батюшка, видитъ Богъ, не знаю!

— Эй, Мареа,—сказалъ Каинъ, погрозивъ пальцемъ,—шалишь!... Вѣдь мы съ тобой давненько знакомы... Помнишь, какъ тебя по Москвѣ то въ каретѣ катали, а?... То-то же, смотри, чтобъ старые грѣшки не вспомнили!... Какъ притянутъ въ розыскной приказъ, такъ заговоришь!... Ну, сказывай же: кто далъ тебѣ эту ложку?

— Какой то мѣщанинъ, Господь его знаетъ. Вѣдь ко мнѣ всякій идетъ, батюшка: я торговка.

— Эй, тетка, чтобъ тебѣ не угодить въ торговки туда, гдѣ соболями торгуютъ!... Такъ ты не знаешь, кто этотъ мѣщанинъ?...

— Чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться!

— Право?... Такъ ты не знаешь Тришку?

— Тришку?... Какого Тришку?

— Ну, вотъ что ходитъ въ сѣромъ казакинѣ, а подчасъ и мундиръ надѣваетъ.

— Въ какомъ казакинѣ?

— Въ какомъ?... Ну, вотъ точнехонько въ такомъ, какой лежитъ у тебя подъ лавкою.

— Гдѣ, батюшка?... Гдѣ?

— Да вотъ здѣсь, тетка,—продолжалъ Каинъ, вытаскивая изъ-подъ скамьи суконный казакинъ, отороченный серебрянымъ позументикомъ. Постой-ка!... Да тутъ и картузъ!... Ба, ба, ба! Сабля драгунская?... Эге, такъ вотъ оно что: видно, не успѣлъ прицѣпить?... Ну, ваше благородіе, дѣло то идетъ задачно! Пошли ловить пескаря, а поймали щуку!... А вотъ мы сейчасъ ее на берегъ вытащимъ.

Каинъ подошелъ къ окну, поднялъ стекло и свистнулъ.

— Батюшка, батюшка!—закричала хозяйка.

— Небось, Мареа,—шепнулъ Каинъ,—ужь я тебѣ сказалъ: твое дѣло сторона; я и его допрашивать не стану. Коли поймали вора въ горохѣ, такъ нечего спрашивать, зачѣмъ пришелъ... Да и подѣломъ ему!.. Не пѣть бы тебѣ, кукушка, соловьемъ; не бывать бы тебѣ, кукушкѣ, въ ловушкѣ!... Эй, ребята,—продолжалъ Каинъ, обращаясь къ двумъ сыщикамъ, которые вошли въ свѣтлицу,—посмотрите-ка вонъ тамъ, за перегородкою!... Что... двери заперты? У хозяйки ключа нечего спрашивать,—не найдетъ!... Тулья, ты, братъ, и не этакія двери ломалъ,—ну-ка, понапри плечомъ!

— Что ужь, батюшка, ломать,—сказала хозяйка,—видно, дѣлать нечего: вотъ ключъ.

— Давай сюда!

Каинъ отперъ двери и вошелъ за перегородку.

— Ну, такъ и есть,—закричалъ онъ,—во всей формѣ!.. Милости просимъ, господинъ офицеръ!—продолжалъ Каинъ, вытаскивая за воротъ небольшого роста человѣка въ пол-

номъ драгунскомъ мундирѣ.—Пожалуйте, батюшка, пожалуйте!... Ну что, сударь, онъ ли?

— Онъ и есть!—отвѣчалъ Костоломовъ.

— Не осудите, ваше благородіе, господинъ драгунскій офицеръ!—сказалъ Каинъ.—Ребята, скрутите-ка ему руки назадъ.

— Иванъ Семеновичъ,—прошепталъ переодѣтый мошенникъ,—помилуй!...

— Нѣтъ, Триша, не прогнѣвайся! Коли ты самъ себя не миловалъ, такъ ужь мнѣ миловать не приходится. Я, братъ, и такъ тебѣ давно мирволю. То-то, голубчикъ, зналъ бы сверчокъ свой шестокъ! Колотырилъ бы по площадямъ, да на толкучемъ... Такъ нѣтъ, залетѣла ворона въ высокія хоромы... за графскій столъ!... Нѣтъ, сынокъ, раненько принялся бить съ-высока: ты еще не соколъ!

— Смотри же, любезный, не упусти его!—сказалъ Костоломовъ.

— Не извольте безпокоиться: пока у меня въ рукахъ, не уйдетъ! Завтра же по-утру представлю его съ покражей къ его сіятельству.

— И я туда же явлюсь. Спасибо тебѣ, любезный!

— Не на чемъ, ваше благородіе! Я только что поквитался съ вами.

— Такъ я могу теперь объявить моему пріятелю, что воръ нашелся?

— Извольте, сударь, извольте!

— Прощай, любезный!... Надобно скорѣй его обрадовать.

Костоломовъ пустился почти бѣгомъ назадъ по Яузѣ, очутился въ нѣсколько минутъ въ Зарядьѣ и вбѣжалъ, запыхавшись, къ Мирошеву. Кузьма Петровичъ не спалъ. Чувство, противное Богу, не могло долго владѣть чистою душою этого истиннаго христіанина: онъ молился,—не о томъ, чтобъ невинность его открылась,—нѣтъ, онъ умолялъ Господа простить ему минуту отчаянія и, проливая горькія, но утѣшительныя слезы раскаянія, примирялся со своимъ Спасителемъ.

— Слава Богу,—проговорилъ Костоломовъ,—слава Богу: ложка нашлась!... Воръ также!

— Какъ?—спросилъ Мирошевъ.—Что ты говоришь?

— Ну да, завтра же ты будешь чистъ, какъ стекло.

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Прохоръ, высунувъ изъ

дверей свою голову.—Да какъ же это вамъ помогъ Господь?

— А вотъ дайте вздохну!... Фу, прахъ какой, совсѣмъ захлебнулся!

Когда Костоломовъ отдохнулъ и пересказалъ Кузьмѣ Петровичу, по какому странному стеченію обстоятельствъ ему удалось отыскать покражу и поймать вора, Мирошевъ залился слезами.

— Боже мой, Боже мой!—сказалъ онъ.—Въ ту самую минуту, какъ я предавался отчаянію и роптал на Твой святый Промыслъ, Ты устроялъ все для моего оправданія! Я не понялъ, окаянный грѣшникъ, что Ты хотѣлъ смирить мою гордость!... Мнѣ казалось, что я, бѣдный дворянинъ, унизилъ себя оттого, что обѣдалъ незваный у богатаго графа, и вотъ я сдѣлался въ глазахъ людей не только нахлѣбникомъ, но даже воромъ! И вмѣсто того, чтобъ смирить свою строптивость и, по словамъ Твоимъ, радоваться этому незаслуженному позору, я вознегодовалъ!... Гордость моя возмутилась еще болѣе, и вотъ Ты избавляешь меня отъ мірского поношенія: я буду чистъ передъ людьми... О, я не достоинъ былъ понести крестъ Твой, Господи!

— Да, братецъ,—сказалъ Егоръ Васильевичъ,—поневолѣ подумаешь, что самъ Богъ хотѣлъ тебя оправдать. Надобно же мнѣ было наткнуться на этого Каина, и случилось же такъ, что мы и вора то застали у торговки!... Ну, слава Богу, теперь какъ гора съ плечъ!... Кондратьичъ, дай-ка мнѣ ложки; завтра по-утру я отнесу ихъ къ графу. Тебѣ самому, Кузьма Петровичъ, неловко: вѣдь графу то стыдно будетъ на тебя и взглянуть.

— Да, Егоръ Васильевичъ, я и самъ тоже думаю.

— Такъ оставайся завтра дома, я одинъ все это дѣло обработаю... Чу, вонъ ужь пѣтухи поютъ!.. Прощай, дядя, до завтра!

XXXV.

О томъ, какъ Мирошевъ имѣлъ свиданіе съ графомъ, и какъ Прохоръ Кондратьичъ ошибся въ своемъ разсчетѣ.

На другой день, часу въ девятомъ по-утру, Мирошевъ отправился по обыкновенію къ обѣднѣ. Спустя полчаса, Кондратьичъ собрался также идти за чѣмъ то на рынокъ,

какъ вдругъ вошелъ въ комнату человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, дородный и краснощекій, одѣтый просто, но весьма опрятно.

— Здѣсь живетъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ?—спросилъ онъ.

— Здѣсь, сударь,—отвѣчалъ Прохоръ:—да его нѣтъ теперь дома.

— Ахъ, какъ досадно,—сказалъ незнакомый;—а мнѣ такъ нужно его видѣть.

— Такъ извольте мнѣ сказать, что вамъ угодно.

— Его сіятельство, графъ Р****** свидѣтельствуетъ Кузьмѣ Петровичу свое почтеніе и проситъ его пожаловать къ нему сегодня часу въ двѣнадцатомъ.

— Хорошо, батюшка, доложу.

Незнакомый поглядѣлъ вокругъ себя и сказалъ:

— Вашъ баринъ, кажется, человѣкъ не очень достаточный.

— Да, мой господинъ не богатъ, а почестнѣй многихъ сіятельныхъ графовъ!

— Вы, я вижу, все еще на насъ сердитесь?—прервалъ незнакомый.—Да и есть за что!... Еслибъ вы знали, какъ графъ огорченъ этимъ случаемъ!

— Огорченъ!... Посмотрѣли бы вы вчера на моего барина!

— Да не безпокойтесь, все поправится. А что, смѣю васъ спросить: у вашего барина есть помѣстье?

— Какъ же,—пятьдесятъ душъ.

— Только?

— Только!... У другого и этого нѣтъ. Было бы съ насъ, еслибъ не тяжба... Вотъ она то насъ въ конецъ и разорила.

— А у васъ есть тяжба?... Съ кѣмъ?

— Да неужели вы не знаете? Вѣдь вы находитесь при графѣ?

— Я его дворецкій.

— Такъ какъ же вамъ не знать, съ кѣмъ у насъ тяжба?

— Право, не знаю.

— Да вѣдь мой баринъ тотъ самый помѣщикъ Мирошевъ, съ которымъ завелъ тяжбу о землѣ Панкратій Лукичъ Курочкинъ, приказчикъ вашего графа.

— Какъ?... Такъ у васъ процессъ съ графомъ?... Чтожъ это, баринъ чтоль вашъ чего-нибудь отыскиваетъ?

— Нѣтъ, батюшка, у него отнимаютъ послѣдній кусокъ хлѣба; и все это господинъ Курочкинъ дѣлаетъ по злобѣ.

— По злобѣ?... За что?

— А вотъ изволите видѣть: съ тѣхъ поръ, какъ Панкратій Лукичъ пріѣхалъ управлять графскимъ имѣньемъ, у насъ въ Хоперскомъ уѣздѣ житья никому не стало: такія началъ дѣлать всѣмъ притѣсненія, что хоть на край свѣта бѣги! Во всемъ околоткѣ не осталось души христіанской, которую онъ чѣмъ бы не обидѣлъ. А ужь спесь то какая!.. Фу ты, батюшки!

— Неужели?—сказалъ съ улыбкою дворецкій.

— Приступу нѣтъ, батюшка!.. И насъ онъ также обижалъ: загонялъ съ болота скотину, дѣлать всякія прижимки; да это бы еще куда ни шло! А вотъ какой грѣхъ случился: вы, я думаю, изволите знать, что самъ то Курочкинъ хоть и крѣпостной его сіятельства, а сынъ у него оберъ-офицеръ?

— Какъ же, знаю!

— Не прогнѣвайтесь, — дубина такая, что и сказать нельзя! Чтожъ вы думаете? Панкратій Лукичъ вздумалъ посватать за него нашу барышню...

— И, вѣрно, отказали.

— Ну, разумѣется!.. Конечно, быть приказчикомъ или дворецкимъ у его графскаго сіятельства дѣло не шуточное; но вѣдь баринъ мой природный столбовой дворянинъ, такъ, воля ваша, ему въ сродствѣ быть съ крѣпостнымъ человѣкомъ не приходится. Вотъ, батюшка, Панкратій Лукичъ и осерчалъ на барина, да какъ провѣдалъ, что у насъ въ пожаръ всѣ купчія крѣпости и отказныя книги сгорѣли, такъ, не говоря добраго слова, и брякъ въ судъ просьбу, будто бы мы завладѣли землей села Вознесенскаго. Баринъ послалъ меня въ Саратовъ выправить изъ архива копіи,— не тутъ то было! Панкратій Лукичъ успѣлъ ужь тамъ спроворить: подлинные документы оказались затерянными, и мы не могли никакъ отыскать нашего права. Теперь дѣло въ сенатѣ. Богъ вѣсть, чѣмъ кончится, а межъ тѣмъ мы вовсе исхарчились. И если, батюшка, признаться по совѣсти, такъ у насъ съ бариномъ другой ужь день ни гроша нѣтъ въ карманѣ.

— Богъ милостивъ,—сказалъ дворецкій,—авось все это перемѣнится. Во всякомъ случаѣ, я очень радъ, что поговорилъ съ вами. Давно ужь слышно, что этотъ Курочкинъ

во зло употребляетъ довѣренность его сіятельства. Ну, не сдобровать ему! Графъ очень не жалуетъ кляузниковъ, а гордецовъ и обидчиковъ терпѣть не можетъ. Прощайте, батюшка!... Попросите же вашего барина, чтобъ онъ потрудился сегодня пожаловать часу въ двѣнадцатомъ къ его сіятельству. Я буду дожидаться въ передней Кузьму Петровича. Мнѣ еще надобно ему низенько поклониться: вѣдь я и самъ передъ нимъ не вовсе правъ.

Дворецкій ушелъ. Часу въ двѣнадцатомъ возвратился Мирошевъ.

— Гдѣ вы это до сихъ поръ были? — спросилъ Кондратьичъ.

— Ходилъ гулять за Симоновъ.

— Знаете ли что?... Видно, этотъ графъ, съ которымъ у насъ тяжба, хочетъ съ вами мириться.

— А что такое?

— Онъ присылалъ къ вамъ своего дворецкаго и проситъ пожаловать къ нему въ двѣнадцатомъ часу.

— А который теперь часъ?

— Вотъ не такъ давно, напротивъ насъ, у часового мастера, кукушка прокуковала одиннадцать часовъ.

— Такъ давай же мнѣ скорѣй мундиръ.

Мирошевъ не успѣлъ еще одѣться, какъ вошелъ къ нему Костоломовъ.

— Ну, дядя,—вскричалъ онъ,—все, слава Богу, кончено!... Не говорилъ ли я тебѣ, что ты выйдешь изъ этого дѣла чистъ и непороченъ, какъ младенецъ изъ купели. Каинъ сдержалъ слово: я засталъ его у графа вмѣстѣ съ пойманнымъ воромъ. Ахъ, братецъ, что за добрый человѣкъ этотъ графъ! Какъ я разсказалъ ему, въ какомъ ты былъ отчаяніи, такъ, вѣришь ли, онъ чуть-чуть не заплакалъ. «Боже мой»,—проговорилъ онъ, всплеснувъ руками,— «за чтожъ я такъ разобидѣлъ честнаго человѣка? Да чѣмъ я могу теперь это поправить?» Тутъ онъ подозвалъ своего дворецкаго и шепнулъ ему что то на ухо, а мнѣ сказалъ: «Уговорите вашего пріятеля, чтобъ онъ на меня не гнѣвался, и позволилъ бы мнѣ покороче съ собою познакомиться». Ну, разумѣется, братецъ, я побожился за тебя, что ты никакой досады на него имѣть не будешь. Знаешь ли что? Ты бы къ нему сходилъ, дядя!

— Я и такъ къ нему иду; онъ сейчасъ присылалъ за мною.

— Ну теперь, братецъ, онъ вѣрно прекратитъ съ тобою тяжбу.

— Дай то Господи! Прощай, Егоръ Васильевичъ, — я долженъ быть у графа въ двѣнадцатомъ часу.

Когда Кузьма Петровичъ вошелъ въ переднюю графскаго дома, то всѣ слуги вскочили съ своихъ мѣстъ, а дворецкій, встрѣтивъ его почтительнымъ поклономъ, сказалъ:

— Пожалуйте, Кузьма Петровичъ,—его сіятельство съ нетерпѣніемъ васъ дожидается.

Пройдя цѣлымъ рядомъ великолѣпно убранныхъ комнатъ, въ которыхъ у всѣхъ дверей стояли одѣтые въ бархатные кафтаны официанты, Мирошевъ подошелъ къ дверямъ графскаго кабинета; два, залитые въ золото, казачка отворили настежъ двери, и Мирошева встрѣтилъ хозяинъ въ томъ же самомъ нарядѣ, въ которомъ онъ видѣлъ его два дня тому назадъ за обѣдомъ.

— Здравствуйте, Кузьма Петровичъ!—сказалъ онъ, протягивая руку своему гостю.—Милости просимъ!

— Вашему сіятельству угодно было...—Проговорилъ Мирошевъ, кланяясь.

— Не прогнѣвайтесь, Кузьма Петровичъ,—прервалъ хозяинъ,—я что то плохо себя чувствую сегодня, а то бы мнѣ слѣдовало самому къ вамъ пріѣхать.

— Помилуйте, ваше сіятельство!...

— Да, да,—продолжалъ хозяинъ,—вѣдь вы мой судья, а я вашъ челобитчикъ. Да прошу покорно садиться!

Графъ сѣлъ на канапе и посадилъ подлѣ себя Мирошева.

— Я очень виноватъ передъ вами, Кузьма Петровичъ,—сказалъ онъ.—Прошу васъ простить меня. Вы жестоко мною обижены; но, божусь, я не имѣлъ никакого намѣренія оскорбить васъ.

— Кто-жъ можетъ въ этомъ усомниться, ваше сіятельство? Развѣ только тотъ, кто никогда не слыхалъ о васъ.

— Такъ вы меня прощаете?

— Да вы меня ничѣмъ не обидѣли; вся наружность была противъ меня: я человѣкъ бѣдный, неизвѣтный. Когда меня спросили, кто я такой, то я такъ смутился, что едва могъ отвѣчать: я чувствовалъ, какъ неприлично было мнѣ, имѣя съ вами тяжбу, обѣдать незваному за вашимъ столомъ. Все это должно было казаться весьма подозрительнымъ, и всякій на вашемъ мѣстѣ точно также бы ошибся;

но не всякій поступилъ бы такъ великодушно, какъ ваше сіятельство.

— Все это, Кузьма Петровичъ, одни слова; вы докажите на самомъ дѣлѣ, что не имѣете на меня никакой досады.

— Да чѣмъ же я могу доказать это вашему сіятельству?

— А вотъ чѣмъ: я хотя невольно и безъ всякаго намѣренія, а все-таки былъ причиною вашихъ несчастій. Я знаю все: по милости моей вы пріѣхали въ Москву, разстроили ваше состояніе и, что всего хуже, могли потерять ваше честное имя. Позвольте же мнѣ все это поправить; дайте мнѣ благородное, дворянское слово, что вы не помѣшаете мнѣ въ этомъ.

— Да если ваше сіятельство убѣдились въ моей невинности, такъ все ужь поправлено.

— О, нѣтъ! Во-первыхъ, я разлучилъ васъ съ семействомъ, слѣдовательно я и долженъ дать вамъ способъ скорѣй съ нимъ увидѣться. Я узналъ отъ вашего пріятеля, который былъ сегодня у меня по-утру, что вы сбираетесь ѣхать изъ Москвы на долгихъ. Новохоперскъ отсюда не близко: вы долго проѣдете. Не лучше ли вамъ отправиться на почтовыхъ?... Быть можетъ, вы поистратились... у васъ нѣтъ денегъ... О, Бога ради, не оскорбите меня отказомъ!.. Вѣдь это будетъ платить зломъ за зло, а вы ужь, Кузьма Петровичъ, меня простили.

— Я очень чувствую всю милость вашего сіятельства,— сказалъ Мирошевъ, вспыхнувъ какъ красная дѣвушка,—но я не имѣю никакого права на ваши благодѣянія: есть люди гораздо бѣднѣе меня.

— Кузьма Петровичъ,—прервалъ графъ, погрозивъ ласково пальцемъ,—вы все еще на меня гнѣваетесь!

— Я, ваше сіятельство?.. О, клянусь вамъ честію!...

— Такъ не мѣшайте же мнѣ помириться, если не съ вами, такъ съ самимъ собою.

Мирошевъ молча поклонился.

— И такъ рѣшено,—продолжалъ графъ:—вы ѣдете на почтовыхъ. Кажется, мнѣ не нужно вамъ говорить, что тяжба наша кончена.

— Ахъ, ваше сіятельство!...

— Но я виноватъ, что допустилъ моего приказчика начать такой несправедливый процессъ. Впрочемъ, будьте спокойны, съ этой минуты вамъ нечего опасаться Куроч-

кина, который ужь вѣрно,—продолжалъ графъ съ улыбкою,— не посватаетъ теперь вашу дочь за своего сына.

— Какъ, ваше сіятельство, — вскричалъ Мирошевъ,— такъ вы знаете?...

— Ужь я вамъ сказалъ, что все знаю,—отвѣчалъ графъ, вставая.—Прошу васъ сегодня ко мнѣ откушать,—продолжалъ онъ.—Завтра вы успѣете приготовиться къ отъѣзду, а послѣзавтра по-утру пожалуйте ко мнѣ: я хочу съ вами проститься и дать вамъ кой-какія порученія къ моему приказчику. Прощайте, Кузьма Петровичъ!... Часа черезъ полтора я ожидаю васъ къ себѣ обѣдать.

Мирошевъ отправился отъ графа прямо къ Иверской Божіей Матери. Онъ долго не могъ дождаться своей очереди, чтобъ отслужить ей благодарственный молебенъ. Слишкомъ часъ онъ стоялъ въ часовнѣ, прижавшись въ уголку; слезы его текли ручьями. Этотъ внезапный переходъ отъ ужаснаго горя къ неожиданному счастію до того потрясъ его душу, что онъ почти задыхался отъ избытка радости и благодарности къ Тому, Кто превратилъ скорбь его въ ликованіе и *препоясалъ его веселіемъ*.

— Боже мой,—думалъ онъ,—какъ неисповѣдимы судьбы Твои! Когда я слышалъ, что имя мое произносятъ съ презрѣніемъ, не я ли въ безуміи моемъ повторялъ: «Господи, Господи, чѣмъ заслужилъ я это?» И вотъ тотъ самый, кто полагалъ меня безчестнымъ, именемъ котораго отнимали у меня послѣдній кусокъ хлѣба, признаетъ мою невинность, возвращаетъ мнѣ мое наслѣдіе и съ дружбою протягиваетъ мнѣ руку!... Еще нѣсколько дней, и я обниму жену, прижму къ моему сердцу дочь, и снова жизнь моя потечетъ тихо и спокойно подъ тѣнью крылъ Твоихъ, Всевышній!... О, теперь то я могу сказать: «Господи, Господи, чѣмъ заслужилъ я это?»

Отпѣвъ молебенъ, Мирошевъ отправился опять къ графу. На дворѣ было уже нѣсколько экипажей. Кузьма Петровичъ, войдя въ пріемную комнату, хотѣлъ было въ ней остаться; но офиціантъ отворилъ двери во внутреннія комнаты и пригласилъ его на половину графа, который принялъ его съ распростертыми объятіями, расцѣловалъ и, подводя къ своимъ гостямъ, изъ которыхъ многіе были въ звѣздахъ, сказалъ:

— Честь имѣю представить вамъ моего добраго пріятеля и деревенскаго сосѣда, Кузьму Петровича Мирошева, котораго я всей душой уважаю.

Разумѣется, что послѣ такой рекомендаціи гости обошлись весьма ласково съ Мирошевымъ, несмотря на то, что на немъ былъ поношенный мундиръ, что на камзолѣ его не было широкихъ галуновъ. За столомъ графъ посадилъ Кузьму Петровича рядомъ съ собою, безпрестанно съ нимъ разговаривалъ, и когда послѣ обѣда гости стали разъѣзжаться, сказалъ ему:

— Не забудьте, любезный мой сосѣдъ, что послѣ завтра я жду васъ къ себѣ часу въ девятомъ утра. Надѣюсь однако-жъ, что я не навсегда съ вами прощусь, и что вы пріѣдете когда-нибудь въ Москву повидаться со старикомъ, который полюбилъ васъ всею душою.

Я не берусь описать шумныхъ восторговъ Прохора, когда баринъ сказалъ ему, что тяжба ихъ прекращена, что они послѣзавтра же отправляются во-свояси и дня черезъ четыре будутъ опять въ Хопровкѣ. У Прохора Кондратьича лѣтъ двадцать пять свалилось съ плечъ, онъ прыгалъ отъ радости.

— Дай Богъ здоровья его сіятельству!—повторялъ онъ безпрестанно.—Чтобъ ему еще прожить несчетные годы!... И у этакого барина приказчикомъ шельмецъ Курочкинъ!... Да теперь недолго ты насидишь управителемъ, приказная строка! Спесь то съ тебя пособьютъ!...

— Эхъ, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ,—чѣмъ бы тебѣ вмѣстѣ со мною благодарить Бога, а ты все злое думаешь!.. Принимайся-ка лучше за дѣло, да укладывайся проворнѣй.

— Мигомъ все будетъ готово, сударь... Да и что вамъ укладывать? Застегнулъ чемоданъ, и дѣло съ концомъ!... А вотъ о чемъ надобно подумать, батюшка: вѣдь у насъ лѣтней повозки нѣтъ.

— Чтожъ дѣлать: поѣдемъ на перекладныхъ.

— Умаетесь, Кузьма Петровичъ! Своя кибитченка какова ни есть, а все-таки въ ней вольготнѣе: и простору больше, и прикурнуть можно.

— Такъ, Прохоръ; да вѣдь лѣтняя то повозка, чай, не дешево стоитъ.

— И, сударь, за деньгами дѣло не станетъ. Посмотрите, если графъ не пришлетъ вамъ на дорогу рублей пятьсотъ.

— Помилуй, да на что намъ столько денегъ? На прогоны и сорока рублей не выйдетъ.

— Выйдутъ и всѣ пятьдесятъ, сударь!.. Вы еще, видно, на почтовыхъ то не ѣзжали: на иной станціи прижмутъ

такъ, что и тройные прогоны заплатишь!.. Съ хозяиномъ надобно расплатиться; на то, на другое, и не увидишь, батюшка, какъ сто рублей выйдетъ.

— Такъ ты думаешь, что графъ пришлетъ мнѣ...

— На крайній конецъ, сударь, рублей триста или четыреста.

Прохоръ Кондратьичъ ошибся въ разсчетѣ: графъ прислалъ Мирошеву на дорогу только сто рублей.

— Только то?—сказалъ Кондратьичъ, когда ушелъ присланный отъ графа.—Ну, ваше сіятельство, не больно вы разчивились!... Сто рублей!... Экъ разорился!... А еще говорятъ, что ему деньги ни почемъ!

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Да мало ли онъ и такъ для меня сдѣлалъ? Не по его ли милости я увижусь чрезъ нѣсколько дней съ женою и дочерью? Не онъ ли самъ прекратилъ тяжбу, которая въ конецъ бы насъ разорила?...

— Да она и такъ ужь васъ разорила! Вы осьмнадцать лѣтъ копили вашей крестницѣ на приданое, а гдѣ оно?... Разошлось все по подъячимъ! А хлопотъ и горя то сколько было?.. Такъ чтожъ онъ вамъ говорилъ: «я все поправлю!» Хорошо поправилъ!... «Ты, дескать, бѣдняга, истратилъ рублей тысячу, тебя таскали по разнымъ судамъ, да по всякимъ мытарствамъ; а такъ какъ я человѣкъ справедливый, и дознался теперь, что дѣло твое правое, такъ вотъ тебѣ, голубчикъ, сто рублей,—убирайся съ глазъ долой!»... Охъ ужь эти богачи,—дастъ полушку, а славы то надѣлаетъ на рубль!

На другой день по-утру Мирошевъ явился къ графу, который принялъ его какъ родного. Проговоря съ нимъ около часу о его семействѣ, о прежней службѣ и о настоящемъ его положеніи, онъ вынулъ изъ бюро запечатанный пакетъ и, отдавая его Мирошеву, сказалъ:

— Позвольте, Кузьма Петровичъ, дать вамъ небольшое порученіе, которое впрочемъ и до васъ касается. Надѣюсь, мой приказчикъ не осмѣлится ужь дѣлать вамъ никакихъ притѣсненій; но все таки будетъ вѣрнѣе, если вы, возвратясь домой, пошлете за Курочкинымъ, заставите его распечатать этотъ пакетъ, вынуть изъ него бумагу и прочесть вмѣстѣ съ вами то, что въ ней написано. Я даже прошу васъ исполнить это съ большою точностію и, если можно, тотчасъ же по вашемъ возвращеніи.

— Слушаю, ваше сіятельство!

— Да скажите мнѣ, Кузьма Петровичъ, кто этотъ офицеръ, вашъ пріятель, который третьягодня былъ у меня поутру?

— Мой прежній однополчанинъ, поручикъ Костоломовъ.

— Онъ долженъ быть очень хорошій человѣкъ?

— Вы не ошибаетесь, ваше сіятельство: онъ всегда былъ отличнымъ офицеромъ; а ужъ какъ добръ и благороденъ!...

— Что, онъ здѣшній, или пріѣхалъ по дѣламъ?

— Онъ ищетъ себѣ мѣста.

— По статской службѣ?

— Да, ваше сіятельство, куда-нибудь въ городничіе... Еслибъ можно было... Но мнѣ, право, совѣстно: вы ужь и такъ слишкомъ много изволили для меня сдѣлать...

— И, полноте, Кузьма Петровичъ! Говорите, говорите!

— Новохоперскій городничій подалъ въ отставку...

— Такъ вы желали бы, чтобъ вашъ пріятель заступилъ его мѣсто?... Ну, чтожъ, попытаться можно. Скажите ему, чтобъ онъ побывалъ ко мнѣ завтра. Когда вы ѣдете?

— Сію минуту, ваше сіятельство; у меня ужь и лошади готовы.

— Не нужно ли вамъ еще денегъ?

— Помилуйте, ваше сіятельство! Да вы столько изволили мнѣ пожаловать на дорогу, что я расквитался со всѣми долгами, а все еще могу платить вездѣ двойные прогоны.

— Я не хочу васъ долѣе удерживать,—сказалъ графъ, вставая.—Теперь каждая минута, которую вы пробудете въ Москвѣ, должна вамъ казаться потерянною. Прощайте, Кузьма Петровичъ! Дай Богъ, чтобъ вы нашли всѣхъ вашихъ здоровыми; да пожалуйста не забудьте призвать къ себѣ Курочкина: я желаю, чтобъ онъ получилъ мой приказъ какъ можно скорѣе.

Простившись съ графомъ, Мирошевъ поспѣшилъ на свою квартиру. Тамъ дожидался его Костоломовъ. Кузьма Петровичъ сказалъ ему, что графъ желаетъ съ нимъ повидаться; потомъ, помолясь Богу, обнялъ своего стараго сослуживца и сѣлъ въ телѣгу. Прохоръ, которому не было никакой возможности пріютиться подлѣ ямщика, помѣстился рядомъ съ бариномъ.

— Ну, съ Богомъ!—закричалъ Костоломовъ.—Прощай, дядя! Когда то Господь приведетъ опять увидѣться?

— Авось увидимся,—отвѣчалъ Мирошевъ.—Не забудь только побывать завтра у графа.

Когда наши путешественники выѣхали за заставу, ямщикъ остановился и сталъ оправлять сбрую на лошадяхъ. Мирошевъ спрыгнулъ также съ телѣги и пошелъ купить на дорогу калачей; а Прохоръ Кондратьичъ обернулся назадъ, снялъ картузъ, перекрестился и сказалъ:

— Прощай, кормилица наша Москва, золотыя маковки! Дай Богъ тебя вѣкъ не видать!... Хороша ты и красна, матушка,—да Господь съ тобою!... Не даромъ говорятъ: «Москва царство, а деревня рай.» Наша Хопровка лучше... Любезный,—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику,—какъ тебя величать то, Иваномъ чтоль?

— Нѣтъ, батюшка, меня зовутъ Матвѣемъ.

— Ну-ка, братъ Матюха, садись: вонъ баринъ идетъ... Да смотри, потрогивай лошадокъ, а не то худо будетъ.

— А что?

— Да баринъ то у меня больно лихъ.

— Ой ли?

— У, батюшки!... Такой злой, что не приведи Господи! Разомъ затылокъ нагрѣетъ.

Ямщикъ вспрыгнулъ на телѣгу, и когда Мирошевъ усѣлся на прежнее мѣсто, онъ подобралъ возжи, свистнулъ и покатилъ по мостовой такъ, что у Кузьмы Петровича сердце замерло, а Прохоръ Кондратьичъ принялся сначала шептать про себя:

— Ай да братъ Матюха, молодецъ!... Эхъ, версты то замелькали!...

А тамъ пришелъ въ такой азартъ, что, забывъ всѣ экономическіе свои разсчеты, закричалъ во все горло:

— Эй вы!... Съ горки на горку, баринъ дастъ на водку!... Катай небось!

XXXVI.

Опять Хопровка. Курочкинъ. Неожиданная развязка.

Если подлинно ложь бываетъ иногда во спасеніе, чему однакожъ я плохо вѣрю, то, конечно, можно было простить Прохору Кондратьичу самую безстыдную ложь и даже кле-

вету, которую онъ взвелъ на своего добраго и кроткаго барина: по милости этой лжи, которая повторялась на каждой станціи, нашихъ путешественниковъ везли очень хорошо; на четвертыя сутки, часу въ осьмомъ утра, пріѣхали они въ Новохоперскъ. Знакомый ямщикъ взялся ихъ доставить въ полчаса до дому. Минутъ десять, которыя прошли въ закладываніи лошадей, показались Мирошеву десятью часами. Наконецъ, лихая тройка подкатила къ крыльцу почтоваго двора, и Кузьма Петровичъ помчался по той же самой дорогѣ, по которой, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, тащился на долгихъ, оставляя позади себя все, что привязывало его къ жизни. Вотъ черезъ четверть часа, прямо передъ ними далекій небосклонъ окаймился темнозеленою полосою.

— Вонъ, сударь, — сказалъ Прохоръ, — Кирсановскія рощи,—изволите видѣть?

— Вижу, Прохоръ.

— А ближе къ намъ, направо, Вознесенская церковь; а вотъ тамъ, за горкою то, спряталась наша родная Хопровка... То то будетъ радости, батюшка! Вѣдь васъ не ждутъ.

Мирошевъ молчалъ. То, что онъ чувствовалъ, не могло быть выражено словами Прошло еще нѣсколько минутъ.

— Вотъ и наши поля!—заговорилъ опять Прохоръ.— Рожь знатная!... И, кажись, крупна колосомъ... И греча изрядная... Эхъ, овсы то рѣденьки!... Ну, такъ и есть,—я говорилъ вамъ, батюшка: гдѣ Парѳену безъ насъ этимъ дѣломъ справить!... Ну, помилуйте, что за посѣвъ такой?... Вонъ крестьянская полоса рядомъ съ нашимъ полемъ,— извольте ка посмотрѣть, какой овесъ!... А у насъ словно градомъ выбило! Ну вотъ, подумаешь: добрый мужикъ этотъ Парѳенъ, а что въ немъ толку? Чай, посѣяли, да недѣли двѣ не бороновали, а воробьи то себѣ кушай, да кушай!... Эхъ, Кузьма Петровичъ, что вы смотрите по верхамъ?... Извольте ка посмотрѣть, что у васъ подъ ногами!

— Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, указывая на холмъ, съ которымъ давно уже знакомы наши читатели,—не разсмотришь ли ты, кто тамъ у часовни стоитъ?

— У васъ, сударь, глаза то помоложе моихъ,—гдѣ мнѣ отсюда увидать!

— Кажется, въ бѣлыхъ платьяхъ, — такъ точно: это,

должны быть, Варенька и Дуня!.. Прохоръ онѣ на насъ не смотрятъ?

— Не смотрятъ, сударь.

— Постой, я имъ закричу...

— Да, какъ же,— услышатъ отсюда! Вѣдь такъ то кажется, а до нихъ съ полверсты будетъ.

— Вотъ онѣ оборотились въ нашу сторону, — прервалъ Мирошевъ.—Постой!

Онъ поднялся на ноги и началъ махать платкомъ.

— Увидѣли, батюшка!—вскричалъ Прохоръ,—точно, увидѣли!.. Посмотрите, какъ онѣ засуетились!... Ну, теперь встрѣча будетъ!

— Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ,—я хочу въ точности исполнить волю графа: лишь только мы пріѣдемъ, ступай къ Курочкину и попроси его ко мнѣ.

— Слушаю, сударь! Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!... Я думаю, въ этой бумагѣ, которую вы везете отъ графа, наклеенъ ему порядочный носъ. Я вѣдь дворецкому все пересказалъ... Посмотрите, батюшка, какъ ему перья то обшибутъ.

— Прохоръ,—вскричалъ Мирошевъ, — видишь ли, вонъ и Хопровка.

— А видите ли, сударь, у околицы?...

— Боже мой, это онѣ!.. Стой, стой!

Мирошевъ спрыгнулъ съ телѣги, и черезъ полминуты вся грудь его взмокла отъ радостныхъ слезъ жены и дочери, которыя лежали въ его объятіяхъ...

Я не стану описывать этого свиданія. Кто изъ васъ, любезные читатели, не разставался, хотя однажды въ жизни, съ милыми сердцу и не испыталъ при встрѣчѣ съ ними эту неизъяснимую радость, это веселіе и праздникъ души, для описанія которыхъ нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Мы оставимъ на минуту Мирошева: пусть онъ осыпаетъ поцѣлуями жену и дочь, обнимаетъ Дуняшу, Игнатьевну и всѣхъ домашнихъ. Эти шумные восторги, эти несвязныя рѣчи и отрывистыя восклицанія не скоро еще перейдутъ въ тихій и спокойный разговора, и вы, любезные читатели, успѣете побывать вмѣстѣ со мною у нашего стариннаго знакомца, Панкратія Лукича Курочкина.

Въ большой комнатѣ, оклеенной зелеными обоями, на кожаной софѣ, передъ раскрытымъ ломбернымъ столомъ сидѣлъ Панкратій Лукичъ Курочкинъ. На столѣ, посреди раз-

бросанныхъ бумагъ, стояли: огромная мѣдная чернильница, графинъ съ водкою и тарелка съ паюсной икрою. За тѣмъ же столомъ, противъ Курочкина, кой-какъ лѣпился на стулѣ пріятель нашъ, Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ. Панкратій Лукичъ держалъ въ рукѣ распечатанное письмо; вѣроятно, этимъ письмомъ извѣщали его о чемъ то пріятномъ, потому что онъ былъ очень веселъ и перечитывалъ его нѣсколько разъ съ большимъ удовольствіемъ.

— Такъ васъ, батюшка, Панкратій Лукичъ, — проговорилъ съ подобострастною улыбкою Зарубкинъ, — увѣдомляютъ, что ваша тяжба съ Мирошевымъ приходитъ къ желанному окончанію.

— Да, Андрей Ѳомичъ; я думаю, на первой почтѣ и указъ будетъ посланъ. Любезному то сосѣду нашему придется заводить пашню на своемъ господскомъ дворѣ, а выгонъ сдѣлать передъ домомъ на улицѣ.

— Какъ, сударь?.. Такъ луга то по Хопру...

— По самый дворъ отойдутъ къ намъ.

— А что, батюшка, лѣсу то у него?.

— Ни прутика не останется.

— Вотъ что!.. Ну, слава Богу!.. Честь имѣю васъ поздравить, Панкратій Лукичъ!.. А что, почтеннѣйшій, тогда можно мнѣ будетъ иногда этакъ валежнику охапку-другую, хворостку вязанки двѣ-три...

— Съ моимъ удовольствіемъ!

— Нижайше васъ благодарю!.. Позвольте-ка рюмочку.

— Прошу покорно!

— Ну, — продолжалъ Зарубкинъ, проглотивъ рюмку водки, — тѣсненько же будетъ жить Кузьмѣ Петровичу!. Вѣдь этакъ ему и на рѣчку нельзя будетъ выйти прогуляться.

— Разумѣется!... Тутъ будутъ наши луга, а чужую траву топтать законъ строго воспрещаетъ.

— Нечего дѣлать, придется имъ глядѣть на Хоперъ изъ окошечка.

— Немного увидятъ: я противъ самаго дома выстрою сальный заводъ.

— Сальный заводъ!.. Да этакъ имъ придется и домъ снести. Сальный заводъ передъ самыми окнами!

— Ну, конечно, какъ вѣтерокъ потянетъ отъ рѣки, такъ въ покояхъ то и дохнуть нельзя будетъ; да дѣлать нечего, Андрей Ѳомичъ: вѣдь всякій на своей землѣ воленъ заводить, что ни захочетъ.

— Всеконечно такъ!.. Ну, сударь, Панкратій Лукичъ, съ вами заѣдаться то неловко!.. Жаль мнѣ Мирошевыхъ, по человѣчеству, батюшка! А если такъ сказать: кто виноватъ?.. Не гордиться бы, не чваниться бы передъ тѣми, кто ихъ лучше... Счастливы еще они, что у нихъ дочка есть: нельзя будетъ жить въ Хопровкѣ, такъ она ихъ къ себѣ возьметъ.

— Къ себѣ?.. Куда къ себѣ?

— Такъ вы еще не знаете?

— А что такое?

— Правда, какъ вамъ и знать объ этомъ: вчера только порѣшили.

— Порѣшили?.. Что порѣшили?

— А вотъ что-съ: Варвара Кузьминична Мирошева выходитъ за Владиміра Ивановича Кирсанова.

— Что вы говорите?

— Да такъ-съ, Панкратій Лукичъ! Ждутъ только изъ Москвы Кузьму Петровича!

— Не можетъ быть!

— Истинно такъ.

— Да чтожъ старикъ то, Иванъ Никифоровичъ?

— А чтожъ прикажете ему дѣлать, коли сынъ отъ рукъ отбился?.. Мало ли, батюшка, ломки то было!.. Боже мой!.. Онъ его и въ Воронежъ увозилъ, и хотѣлъ женить на дочери своего пріятеля Залуцкаго, и грозился отъ наслѣдства отрѣшить, — такъ нѣтъ, сударь, ни на комъ, дескать, не женюсь, кромѣ Вареньки Мирошевой.

— Экій упрямый мальчишка! Ну, что она ему за невѣста?

— И батюшка то же при мнѣ бывало начнетъ говорить: «Вотъ нашелъ въ кого влюбиться! Да пара ли тебѣ эта дѣвочка? Ужь пускай бы за ней было хоть душенокъ сто приданаго или родство какое-нибудь,—а то что такое: мать Богъ знаетъ кто, отецъ отставной поручикъ, мелкопомѣстный дворянинъ, который только не питается Христовымъ именемъ... Хороша будетъ невѣстушка! Да у меня и языкъ то не повернется назвать ее дочерью!»

— Правда, правда!

— А что толку то, что правда, Панкратій Лукичъ? Сынокъ все-таки поставилъ на своемъ. Вы знаете, что они съ недѣлю тому назадъ воротились изъ Воронежа; старикъ Кирсановъ все еще не соглашался, да вчера былъ у него

съ сыномъ большой разговоръ. Я, батюшка, въ замочную щелку видѣлъ, что Владиміръ Ивановичъ больно плакалъ,— какъ рѣка льется! Вотъ, наконецъ, и старикъ прослезился и сказалъ: «Ну, нечего дѣлать, видно, ужь такъ угодно Богу! Только, не прогнѣвайся, я самъ къ Мирошевымъ сватомъ не поѣду. Я напишу имъ, что согласенъ женить тебя на ихъ дочери, а тамъ ужь дѣлай, какъ знаешь». Вотъ Владиміръ Ивановичъ бросился цѣловать руку у батюшки, да тотчасъ и отправился къ Мирошевымъ.

— Скажите, пожалуйста!—вскричалъ Курочкинъ.—Какое ослѣпленіе!.. И чѣмъ они его такъ обворожили?.. Что у нихъ, прости, Господи, приворотный корешокъ чтоль есть?

— Эхъ, Панкратій Лукичъ, на что приворотной корешокъ? Человѣкъ онъ молодой, барышня хорошенькая, видались каждый день...

— Да, конечно; долго ли молодого парня съ пути сбить!.. Ну, сударь, не правда ли я говорю, что эти Мирошевы негодные люди?.. Сманить сына у отца... заставить его идти противъ воли родительской!.. И какъ Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе!...

— Да-съ, дѣло нечистое.

— Андрей Ѳомичъ,—сказалъ Курочкинъ, посмотрите-ка въ окно, кто это идетъ по двору.

— Ахъ, батюшки, — вскричалъ Зарубкинъ, — да это Кондратьичъ!.. Точно, Кондратьичъ!.. Онъ былъ съ Кузьмою Петровичемъ въ Москвѣ. Видно, баринъ то его воротился.

— Видно, что такъ!

Двери потихоньку отворились, и знакомый вамъ писарь-дипломатъ, Антонъ Ѳедотовъ, вошелъ въ комнату.

— Что ты, братецъ?—спросилъ Курочкинъ...

— Приказчикъ Кузьмы Петровича Мирошева...—проговорилъ писарь вполголоса.

— Приказчикъ!—повторилъ съ презрѣніемъ Курочкинъ.— Хорошъ приказчикъ—при пятидесяти душахъ!.. Зачѣмъ онъ пришелъ?

— Не могу сказать, Панкратій Лукичъ, — въ этомъ я неизвѣстенъ.

— Пусть подождетъ!

— Слушаю-съ.

— Чтобъ это такое значило?—спросилъ Зарубкинъ.

— Ну, разумѣется что: съ повинною головою. Да нѣтъ, батюшка, поздно!

— Да-съ, конечно: «снявши голову, по волосамъ не плачутъ!»... Самъ виноватъ.

— Что это,—прервалъ Курочкинъ: — никакъ этотъ дурачина вздумалъ шумѣть у меня въ передней?

— Да, точно,—сказалъ Зарубкинъ,—это голосъ Кондратьича... Онъ что то покрикиваетъ.

— Панкратій Лукичъ!—прошепталъ писарь, просунувъ въ двери свою голову,—Кондратьичъ не хочетъ дожидаться

— Такъ гони его вонъ!

— И вонъ нейдетъ. Онъ присланъ съ какимъ то важнымъ порученіемъ отъ своего барина, и я имѣю сумнительство, что это дѣло нешуточное.

— А почему ты это думаешь?

— Да такъ-съ!.. Кондратьичъ азартно больно поговариваетъ и смотритъ съ большимъ авантажемъ.

— Ну, ну, пошли его сюда!

Прохоръ Кондратьичъ вошелъ въ дорожномъ платьѣ, съ головы до ногъ забрызганный грязью. Онъ перекрестился на иконы; потомъ, не обращая никакого вниманія на хозяина, сказалъ Зарубкину:

— Здравствуйте, батюшка, Андрей Ѳомичъ!... По добру ли, по здорову?

— А, здравствуй, Прохорушка!—вскричалъ Зарубкинъ.— Давно ли изъ Москвы?

— Сейчасъ, сударь.

— Что вамъ, батюшка, надобно?—спросилъ Курочкинъ, едва скрывая свою досаду.

— Меня прислалъ баринъ сказать вамъ, чтобъ вы къ нему сейчасъ явились.

— Что, что? — проговорилъ Курочкинъ, вскочивъ съ софы.

— Я вамъ по-русски говорю: мой баринъ требуетъ васъ къ себѣ.

— Требуетъ?.. Меня?.. Вотъ новости!.. Скажите вашему барину, что если есть у него до меня дѣло, такъ онъ можетъ облегчиться, и самъ ко мнѣ пожаловать.

— Къ вамъ?.. Нѣтъ, батюшка, далеко!

— Да не дальше, чѣмъ отъ меня до васъ.

— Не объ этомъ рѣчь!.. Что вы это, Панкратій Лукичъ?.. Гдѣ нашему брату считаться съ Кузьмою Петровичемъ! Вѣдь онъ родовой дворянинъ, а мы съ вами что?

Курочкинъ поблѣднѣлъ.

— Наше дѣло съ вами холопское, — продолжалъ спокойно Кондратьичъ.—Сегодня въ чести, а завтра ступай свиней пасти.

— Да чтожъ это такое?— вскричалъ Курочкинъ, задыхаясь отъ бѣшенства.—Что ты хлебнулъ чтоль черезъ край или съ ума сошелъ, братецъ?

— Нѣтъ, сестрица, я въ полномъ разумѣ.

— Да что вы съ бариномъ то начальники чтоль мои?... У меня одинъ командиръ—его сіятельство!

— Такъ чтожъ?... По его то приказанію мой баринъ и требуетъ, чтобъ вы къ нему явились.

— Какъ?.. — вскричалъ Курочкинъ, остолбенѣвъ отъ удивленія.

— Да такъ!... Вашъ баринъ лично его объ этомъ просилъ.

— Да развѣ Кузьма Петровичъ имѣлъ свиданіе съ его сіятельствомъ?

— Свиданіе?... Экъ вы!... Какое свиданіе?... Да они задушевные друзья!

— Возможно ли!...

— Послѣднее время Кузьма Петровичъ житьмя-жилъ у графа, и за столъ то онъ всегда сажалъ его рядомъ съ собою.

— Что вы говорите?

— Да, Панкратій Лукичъ!... Его сіятельство, прощаясь съ моимъ бариномъ, отдалъ ему запечатанное письмо и сказалъ: «Прошу, дескать, васъ, любезнѣйшій сосѣдъ»,— онъ всегда такъ изволилъ называть барина,—«прошу, дескать, васъ, пріѣхавъ домой, потребовать къ себѣ сейчасъ Курочкина, и прочесть при немъ то, что въ этомъ письмѣ написано».

— Вотъ что!.. А вы не знаете, Прохоръ Кондратьичъ, что заключается въ этомъ графскомъ письмѣ?

— Почему мнѣ знать? Можетъ быть, похвальный листъ за ваше усердіе.

— Прохоръ Кондратьичъ, да неужели я въ самомъ дѣлѣ служу не усердно его сіятельству?... Да я пошлюсь на васъ: изъ чего-жъ я и тяжбу то завелъ съ вашимъ бариномъ? Что мнѣ, легко чтоль было досаждать почтеннѣйшему Кузьмѣ Петровичу, котораго я всей душой моей уважаю?

— Право?... А чтожъ вы сейчасъ говорили?

— Эхъ, Прохоръ Кондратьичъ, и вы думаете, что я не пошелъ бы къ вашему барину?... Да вы обошлись то больно крутенько со мною: начали съ дуба рвать; я также погорячился... Вѣдь и у курицы есть сердце, батюшка, а я человѣкъ!... Такъ вамъ, точно, не извѣстно, что его сіятельство изволитъ писать?

— Ужь я вамъ сказалъ, что не знаю. Да ступайте же скорѣе! Вѣдь баринъ васъ дожидается.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!... Не погнѣвайтесь, я пойду надѣть кафтанъ, а вы межъ тѣмъ—милости просимъ!.. Домашняя настойка! Не прикажете ли?

— Благодарю покорно,—я и дома позавтракаю. Счастливо оставаться!..

— И я съ вами, Прохоръ Кондратьичъ,—сказалъ Зарубкинъ.—Надобно поздравить съ пріѣздомъ моего благодѣтеля... Ужь какъ мы васъ всѣ ждали, Господи! И я, и Марья Дмитріевна, и Варвара Кузьминична!... Только заверну на минутку домой, да тотчасъ и къ вамъ!

Въ сѣняхъ остановилъ Кондратьича писарь Антонъ Ѳедотовъ.

— Прохоръ Кондратьичъ,—сказалъ онъ вполголоса,—неужели въ самомъ дѣлѣ вашъ баринъ находится въ персональномъ дружествѣ съ его высокографскимъ сіятельствомъ?

— Пріятели, братецъ, пріятели!

— Такъ нельзя ли какъ-нибудь, по случаю сей ласкательной для вашего барина оказіи, выручить меня изъ этого едикуля?... Вамъ, Прохоръ Кондратьичъ, не безызвѣстно, что я человѣкъ съ амбиціею, полированный; что мнѣ въ этой трущобѣ жить: совсѣмъ заглохнешь! Вѣкъ проживешь безъ всякой сортировки, и умрешь, не заслужа никакого эстиму.

— Послѣ, любезный, послѣ,—теперь некогда объ этомъ толковать!

— Такъ дозвольте мнѣ возымѣть случай зайти къ вамъ и келейно потрактовать о сей предлежащей моей всенижайшей просьбѣ?

— Пожалуй, братецъ, приходи!... Прощай, добро!

Теперь мы можемъ воротиться къ Мирошевымъ. Въ ихъ домѣ, въ которомъ за полчаса все было въ суетѣ и безпорядкѣ, воцарилась снова тишина и спокойствіе. Они сидѣли въ гостиной; передъ ними на столѣ кипѣлъ самоваръ; но

чашки были не налиты, и Кузьма Петровичъ, вмѣсто того, чтобъ весело разговаривать со своею женою, сидѣлъ задумавшись и молчалъ. Марья Дмитріевна также не очень походила на счастливую жену, обрадованную нечаяннымъ пріѣздомъ мужа. Дуняша стояла у окна, повѣсивъ голову. Вареньки не было въ комнатѣ.

— Куда же дѣвалась Варенька? — спросилъ, наконецъ, Мирошевъ, поглядѣвъ вокругъ себя.

— Вѣрно, ушла къ себѣ въ комнату поплакать на просторѣ,—отвѣчала Марья Дмитріевна.

— Плакать?... О чемъ?

— Да какъ же, мой другъ, мы думали, что обрадуемъ тебя, а ты принялъ такъ холодно это извѣстіе! И почему Владиміръ Ивановичъ тебѣ не нравится?

— И, Машенька!.. Сколько разъ я тебѣ говорилъ: еслибъ дочь наша была богатая невѣста, или онъ небогатый женихъ, такъ я благословилъ бы ее обѣими руками.

— Да чтожъ такое, что мы бѣдны? Когда отецъ Владиміра Ивановича желаетъ самъ...

— Онъ желаетъ этого? Помилуй!.. Да неужели ты не видишь, что Иванъ Никифоровичъ рѣшительно этого не хочетъ, а соглашается только потому, что ему нечего дѣлать съ сыномъ...

— Почему же ты это думаешь?

— Да это ясно, Машенька!.. Еслибъ Кирсановъ хотѣлъ этой свадьбы, такъ ужь вѣрно бы пріѣхалъ самъ съ предложеніемъ.

— И, Кузьма Петровичъ, да развѣ это не все равно: самъ не пріѣхалъ, такъ письмо ко мнѣ написалъ?

— Хорошо письмо!—сказалъ Кузьма Петровичъ.

Онъ взялъ со стола небольшой листокъ бумаги, на которомъ написано было нѣсколько строкъ, и началъ читать: «Государыня моя, Марья Дмитріевна! По убѣдительной просьбѣ моего сына, Владиміра, я дозволяю ему жениться на вашей дочери. Съ должнымъ почтеніемъ честь имѣю остаться вашимъ покорнымъ слугою. Иванъ Кирсановъ».

— Что это, мой другъ? И ты называешь это предложеніемъ? Да это просто письменное дозволеніе, которое даетъ не отецъ сыну, а господинъ своему слугѣ, чтобъ онъ могъ жениться на чужой дѣвкѣ!... И послѣ этого ты можешь еще сомнѣваться въ чувствахъ Ивана Никифоровича? Да не очевидно ли, что онъ дѣлаетъ это совершенно противъ сво-

его желанія, и что участь нашей бѣдной Вареньки можетъ быть самая несчастная.

— Вотъ ужь этому то я не повѣрю!—прервала съ жаромъ Марья Дмитріевна.—Ну, положимъ, я согласна: теперь старику Кирсанову не по душѣ эта свадьба; но лишь только онъ узнаетъ покороче нашу Вареньку...

— Такъ полюбитъ ее, — прервалъ Мирошевъ, — точно такъ же, какъ мы ее любимъ? Не правда ли?.. Эхъ, Марья Дмитріевна! Тѣми ли мы смотримъ на нее глазами, какими будетъ смотрѣть Иванъ Никифоровичъ?... Она единственное дитя наше, наша радость, наше утѣшеніе; а что она для него? Деревенская барышня, дочь нечиновнаго дворянина, безъ всякаго свѣтскаго образованія, помѣха всѣмъ честолюбивымъ его видамъ, и вдобавокъ ко всему этому— бѣдная дѣвушка, которая, по смерти отца и матери, получитъ въ наслѣдство пятьдесятъ душъ!... О, мой другъ, я боюсь не того, что онъ не станетъ любить ея,—это бы еще ничего; но меня ужасаетъ мысль, что онъ будетъ ее ненавидѣть.

— Ненавидѣть нашу Вареньку?... Помилуй, Кузьма Петровичъ!... Да развѣ онъ злодѣй какой-нибудь, чудовище?

— Нѣтъ, Машенька, онъ очень честный и даже добрый человѣкъ; но ты знаешь, какъ онъ кичится своимъ знатнымъ родствомъ и богатымъ состояніемъ; посуди же сама, легко ли ему будетъ отвѣчать, когда спросятъ, на комъ женатъ его сынъ.—«На Мирошевой».—«А кто эта Мирошева?»—«Дочь безроднаго дворянина, отставного поручика». — «А много за нею приданаго?» — «Ничего!»— О, я воображаю, какъ послѣ каждаго такого разспроса Иванъ Никифоровичъ будетъ глядѣть на бѣдную нашу дочь. Нѣтъ, мой другъ, я не мѣшаю Варенькѣ выдти замужъ за Владиміра Ивановича; но не требуйте отъ меня, чтобъ я радовался этой свадьбѣ. Вотъ еслибъ мы могли дать за нею хоть двѣсти душъ... о, это другое дѣло!... Конечно, и тогда Иванъ Никифоровичъ не сказалъ бы, что она ровня его сыну; но, по крайней мѣрѣ, могъ бы безъ стыда называть ее своею невѣсткою.

— Что это, Кузьма Петровичъ, какъ ты любишь себя унижать!... Ты говоришь, какъ будто бы мы однодворцы какіе!

— А что ты думаешь?... Я увѣренъ, для Кирсанова все равно: что я, что Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ...

— И, что ты, мой другъ,—ужь Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ!...

— Такъ точно, сударыня, это я!—раздался въ столовой голосъ Зарубкина.—Ахъ, благодѣтель мой! — продолжалъ онъ, входя въ гостиную и цѣлуя въ плечо Кузьму Петровича.—Насилу то мы васъ дождались!

— Здравствуйте, Андрей Ѳомичъ!... Ну что, какъ вамъ можется?

— Плохо, батюшка! Ноги все пришаливаютъ. А вы, сударь, какъ изволили пожить въ Москвѣ? Что тяжба ваша?

— Кажется, все кончено.

— Въ вашу пользу?

— Да, по милости его сіятельства, которому угодно было прекратить этотъ процессъ.

— Такъ Панкратій Лукичъ съ носомъ?... Ну, слава Богу!... Честь имѣю васъ поздравить!

— Кузьма Петровичъ, — сказалъ Прохоръ, растворивъ одну половинку дверей, — Курочкинъ пришелъ. Прикажете принять?

— Проси!

Панкратій Лукичъ, войдя въ гостиную, низко поклонился Мирошевымъ. Какъ ни старался онъ казаться веселымъ и спокойнымъ, но, несмотря на это, смущеніе его было очень замѣтно.

— Извините, Панкратій Лукичъ, что я васъ потревожилъ!—сказалъ Мирошевъ.—Я спѣшилъ исполнить приказаніе его сіятельства и прочесть вмѣстѣ съ вами бумагу, которую онъ изволилъ со мною прислать.

— Помилуйте-съ!... Я виноватъ, что не успѣлъ скорѣе къ вамъ явиться... Я было приказалъ заложить лошадь, да подумалъ: кучеришка у меня плохой, проваландается полчаса,—нѣтъ, лучше побѣгу пѣшкомъ!... Сдѣлайте милость, Кузьма Петровичъ, обрадуйте скорѣе! Вѣрно, его сіятельство изволитъ ко мнѣ писать, что эта окаянная тяжба прекращена?... Дай то, Господи!

— Она, точно, прекращена; но я не знаю, объ этомъ ли онъ къ вамъ пишетъ. Да вотъ потрудитесь, прочтите сами, —прибавилъ Кузьма Петровичъ, подавая Курочкину запечатанное письмо.

— Ого, какой большой пакетъ!—сказалъ Курочкинъ.— Что бы это такое было?... На немъ нѣтъ никакой надписи... Прикажете распечатать?

— Сдѣлайте милость!

Курочкинъ сломилъ печать и вынулъ изъ пакета исписанный кругомъ листъ бумаги.

— Что это?—сказалъ онъ.—Такъ точно... купчая!...

— Купчая?—повторилъ Кузьма Петровичъ. — Чтожъ это значитъ?... Читайте, читайте!

Панкратій Лукичъ началъ читать, сначала довольно твердымъ, а потомъ прерывающимся голосомъ:

— «Лѣта тысяча семьсотъ восемьдесятъ перваго, іюня въ двадцать осьмой день... продалъ я»... Такъ точно!... Его сіятельство!... И подпись его!

— Да читайте!—вскричалъ Мирошевъ.

— «Продалъ я»,—продолжалъ Курочкинъ заикаясь,— «отставному поручику, Кузьмѣ Петрову, сыну Мирошеву, благопріобрѣтенное мое имѣнье, состоящее въ Саратовскомъ намѣстничествѣ... Новохоперской округи»...—Да-съ... Точно такъ!... «въ селѣ Вознесенскомъ... Старые Вязники то-жъ... и написанныя въ ономъ... по послѣдней ревизіи за мною... дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола... четыреста тридцать семь душъ»...

— Возможно ли?—вскричалъ Мирошевъ.— Село Вознесенское?... О, нѣтъ, нѣтъ, вы не такъ читаете!... Этого быть не можетъ!

Курочкинъ подалъ молча бумагу Кузьмѣ Петровичу.

— Да, да!... Такъ точно! — вскричалъ Мирошевъ.— Это купчая... на мое имя!... Машенька, погляди... читай!... Четыреста тридцать семь душъ!... Посмотри, Прохоръ... село Вознесенское со всѣми угодьями, землею!... Да чтожъ вы ничего не говорите?... Во снѣ что-ль это или на яву?... Да говорите, Бога ради, говорите!

Но Марья Дмитріевна и Кондратьичъ не могли ничего отвѣчать: они онѣмѣли отъ удивленія и радости, и точно такъ же, какъ Кузьма Петровичъ, не могли вмѣстить и постигнуть возможности такого неожиданнаго и невѣроятнаго счастія. Они смотрѣли на графскую подпись и ничего не видѣли; перечитывали купчую и ничего не понимали... Вдругъ одна мысль, какъ молнія, мелькнула въ головѣ Мирошева: дочь его богатая невѣста!...

— Варенька, — вскричалъ онъ, идя навстрѣчу дочери, которая вошла въ комнату,—другъ мой, теперь мы совершенно счастливы!... Ты не бѣдная дѣвушка, нѣтъ,—у тебя будетъ почти пятьсотъ душъ крестьянъ!... О, теперь Ивану

Никифоровичу нечего стыдиться своей невѣстки!... Теперь онъ съ радостію назоветъ тебя своею дочерью!... Ну, да!... Что ты на меня смотришь?—продолжалъ Мирошевъ.—Да, Да... село Вознесенское твое! Слышишь ли, мой другъ, твое!

— Что это вы, папенька, говорите? Я не понимаю!—промолвила, наконецъ, Варенька, смотря съ удивленіемъ на отца.

— Да, мой ангелъ,—сказалъ Марья Дмитріевна, обнимая дочь,—село Вознесенское принадлежитъ намъ.

— Какъ намъ, маменька?

— Вотъ и купчая.

— Такъ вы его купили?

— И, нѣтъ, мой другъ,—прервалъ Мирошевъ,—это подарокъ благодѣтеля нашего, великодушнѣйшаго изъ людей!... Ну, Прохоръ, помнишь ли, что ты говорилъ, когда онъ прислалъ къ намъ деньги на дорогу?

— Эхъ, батюшка, не вспоминайте! Вотъ такъ бы самого себя и приколотилъ до полусмерти!

Въ первыя минуты удивленія, радости и восторга, Мирошевъ совершенно забылъ о Курочкинѣ и Зарубкинѣ. Перваго трясла лихорадка; второй сначала остолбенѣлъ отъ удивленія, потомъ пожелтѣлъ отъ досады, и вѣрно-бы лопнулъ съ зависти, еслибъ его не успокоила одна утѣшительная мысль: онъ взглянулъ на Курочкина и улыбнулся съ такою злобною радостію, что Панкратій Лукичъ, который понялъ эту улыбку, поблѣднѣлъ какъ полотно и, подойдя къ Мирошеву, сказалъ едва внятнымъ голосомъ:

— Батюшка... ваше благородіе... позвольте взглянуть купчую: въ ней должны быть исключенныя души...

— Кажется есть,—сказалъ Мирошевъ.—Вотъ посмотрите сами.

Курочкинъ пробѣжалъ глазами нѣсколько строкъ и началъ читать вполголоса:

— «Дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола четыреста тридцать семь душъ, за исключеніемъ мною изъ сей продажи»...— Панкратій Лукичъ остановился и перевелъ духъ; потомъ продолжалъ, понизивъ голосъ: «за исключеніемъ изъ сей продажи... вдовы, Прасковьи Никифоровой, съ малолѣтними ея дѣтьми, сыновьями: Дмитріемъ, Петромъ и Андреемъ... а за симъ исключеніемъ... дѣйствительно, въ продажу сію поступаютъ... всѣ остальныя четыреста тридцать три души»...

Тутъ голосъ Курочкина прервался; онъ уронилъ купчую на полъ, задрожалъ, упалъ на колѣни и закричалъ отчаяннымъ голосомъ:

— Отецъ, не погуби!

— Что вы, что вы?—сказалъ Мирошевъ.

— Батюшка, батюшка,—вопилъ Курочкинъ,— будь милосердъ!

— Да что это значитъ?

— А вотъ что,— подхватилъ Зарубкинъ: — Панкратій Лукичъ крѣпостной человѣкъ его сіятельства и приписанъ къ селу Вознесенскому, а въ исключенныхъ душахъ его нѣтъ...

— Вотъ тебѣ разъ!—вскричалъ Прохоръ.—Такъ вы, господинъ приказчикъ, попали къ намъ въ крѣпостные?... Ай да графъ!... Дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!... Эку штуку сдѣлалъ!... Ну, Панкратій Лукичъ, не говорилъ ли я вамъ, что нашему брату чуфариться нечего: сегодня въ чести, а завтра...

— Перестань, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Встань, Панкратій Лукичъ! Пусть проститъ тебя Господь, какъ я тебя прощаю! Ступай сегодня же въ городъ и пиши себѣ отпускную.

— Батюшка, я заплачу вамъ все, что угодно!

— Мнѣ ничего не надобно.

— Отецъ!... Благодѣтель!...

— Хорошо, хорошо!... Ступай съ съ Богомъ!

Курочкинъ поклонился и вышелъ вонъ, шатаясь какъ опьянѣлый.

— Тако Господь унижаетъ гордыхъ! — сказалъ Зарубкинъ, глядя вслѣдъ за Курочкинымъ.—Кузьма Петровичъ,— продожалъ онъ, обращаясь къ хозяину,—честь имѣю васъ поздравить!... Вѣрите ли, я этому такъ радъ, такъ радъ, что у меня и словъ нѣтъ!... Экая оказія, подумаешь!... Ну!!... Батюшка, Кузьма Петровичъ, къ моему коноплянику изъ вашей теперешней земли подошла луговинка небольшая— такъ десятинки полторы... выгону у меня нѣтъ... еслибъ милость ваша была...

— Извольте, Андрей Ѳомичъ, съ большимъ удовольствіемъ!

— Покорнѣйше васъ благодарю!... Марья Дмитріевна, Варвара Кузьминична, честь имѣю поздравить!... Авдотья Лаврентьевна... Прохоръ Кондратьичъ... поздравляю!...

— Ну, — сказалъ Прохоръ, — дешево этотъ негодяй отдѣлался!... Счастливъ онъ, что напалъ на такого барина!...

— Да - съ,— подхватилъ Зарубкинъ,— вы милостивы, Кузьма Петровичъ... Кабы вы изволили знать, что этотъ разбойникъ Курочкинъ противъ васъ затѣвалъ...

— И знать не хочу!—сказалъ Мирошевъ.

— Ну, воля ваша, а я бы поразсказалъ вамъ...

— Да полноте, Андрей Ѳомичъ! Богъ съ нимъ!

— Этакій злющій, подумаешь! — продолжалъ Зарубкинъ.—Вотъ сейчасъ еще говорилъ мнѣ: «Дай только мнѣ выиграть тяжбу, а тамъ ужь я прижму этихъ Мирошевыхъ: отхвачу всѣ луга по самыя ворота! Западетъ имъ дорожка къ Хопру. Будетъ съ нихъ—погуляли! Чужую траву топтать нельзя... А чтобъ они и изъ оконъ то на рѣчку не смотрѣли, такъ построю противъ самаго дома сальный заводъ»...

— Ахъ онъ разбойникъ!—вскричалъ Прохоръ.— И онъ это говорилъ?

— Видитъ Богъ такъ! Я сталъ его усовѣщевать, сказалъ ему: «Что вы это, Панкратій Лукичъ, побойтесь Бога: притѣснять такихъ почтенныхъ людей! Да вѣдь имъ дохнуть нельзя будетъ»... Куда, и слушать не сталъ!

— Ну, сударь,—прервалъ Прохоръ,—и послѣ этого вы отпустите его даромъ на волю?

— Непремѣнно.

— Ну, еслибъ я былъ на вашемъ мѣстѣ...

— И ты то же бы сдѣлалъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ! Вы дѣло другое—вы зла не помните! А я человѣкъ грѣшный: ужь онъ бы у меня мѣсяцъ-другой за коровками походилъ.

Во дворъ въѣхала коляска.

— Посмотри, Кузьма Петровичъ, — вскричала Марья Дмитріевна,—вѣдь это Иванъ Никифоровичъ!

— Въ самомъ дѣлѣ это онъ, вмѣстѣ со своимъ сыномъ.

— Ну, мой другъ,—сказала съ радостью Мирошева,— чего же ты опасался?... Вѣдь онъ не могъ еще знать о перемѣнѣ нашего положенія?...

— Да!—прошепталъ Мирошевъ.—Слава Богу!!.. Итакъ я не ошибался: Кирсановъ точно, добрый человѣкъ! Изъ любви къ сыну, онъ побѣдилъ свою гордость. О, теперь я не сомнѣваюсь: дочь наша будетъ счастлива!

XXXVII.

Пятнадцать лѣтъ спустя.

Въ 1796 году, ровно пятнадцать лѣтъ послѣ того, какъ Кузьма Петровичъ сдѣлался помѣщикомъ села Вознесенскаго, въ іюнѣ мѣсяцѣ, точно такъ же, какъ въ началѣ этого разсказа, Мирошевы пили чай со своими гостями, подъ тѣнью знакомой вамъ черемухи; она вовсе не измѣнила своего вида; точно такъ же, какъ прежде, была зелена, развѣсиста и душиста; но тѣ, которые укрывались подъ ея густыми вѣтвями, очень измѣнились: одни утратили первую свою молодость, а другіе изъ пожилыхъ людей превратились въ стариковъ. За самоваромъ хозяйничала прежде бывшая Варенька Мирошева, а теперь Варвара Кузьминична Кирсанова — женщина прекрасная собою, но нѣсколько дородная. Подлѣ нея сидѣли рядомъ Кузьма Петровичъ и Марья Дмитріевна. Мужъ былъ еще довольно свѣжъ, но жена вовсе уже не напоминала своимъ увядшимъ лицомъ не только красавицу, сиротку Машеньку, но даже пригожую барыню, которая пятнадцать лѣтъ тому назадъ могла еще хоть кому вскружить голову. Подлѣ Мирошева сидѣли двѣ дѣвушки, одна тринадцати, другая четырнадцати лѣтъ— обѣ прелесть собою. Меньшая поила чаемъ румянаго свѣтлорусаго мальчика лѣтъ шести; по ихъ фамильному сходству не трудно было отгадать, что это двѣ сестры и братъ. Напротивъ Кузьмы Петровича допивалъ третій стаканъ чаю дюжій и широкоплечій старикъ не старикъ, а очень пожилой человѣкъ, въ драгунскомъ, прежняго покроя, мундирѣ, съ полнымъ краснымъ лицомъ, выражающимъ веселость и добросердечіе: это былъ новохоперскій городничій, Егоръ Васильевичъ Костоломовъ. Подлѣ него сидѣлъ мужчина лѣтъ за сорокъ, весьма пріятной наружности; онъ смотрѣлъ съ улыбкою на малютку, котораго одна изъ сестеръ поила чаемъ, и хотя въ этой улыбкѣ можно было прочесть всю нѣжность добраго отца, но она не значила ничего передъ взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой любви, которымъ слѣдилъ за всѣми движеніями ребенка сѣдой, какъ лунь, старикъ, высокаго роста и наружности необычайно привлекательной. Если я скажу вамъ, что шестилѣтній маль-

чикъ—сынъ Владиміра Ивановича Кирсанова, то вы тотчасъ же узнаете въ этомъ старикѣ его дѣдушку, Ивана Никифоровича; одинъ онъ и могъ такъ смотрѣть на это дитя, потому что онъ видѣлъ въ немъ не только внука, но послѣднюю отрасль и единственную надежду древняго рода дворянъ Кирсановыхъ Еслибъ его не было на свѣтѣ, или,—чего избави, Боже,—онъ умеръ бы въ ребячествѣ, то фамилія Кирсановыхъ исчезла бы навсегда изъ родословныхъ списковъ русскихъ дворянъ, и длинная цѣпь именъ, внесенныхъ въ *бархатную книгу*, окончилась бы этими ужасными словами: «Владиміръ умеръ бездѣтенъ, и *Кирсановы прекратились*». Отъ одной этой мысли кровь застывала въ жилахъ у Ивана Никифоровича; и однажды умереть не легко, а это было бы для него все тоже, что умереть два раза сряду. Этотъ семейственный кругъ оканчивался Авдотьей Лаврентьевной Логиновой, женою новохоперскаго медика, который такъ удачно вылѣчилъ отъ мнимой чахотки Вареньку и такимъ страннымъ образомъ познакомился съ Дуняшей. Съ нею разговаривалъ вполголоса дряхлый старикъ, согнутый отъ лѣтъ и отъ привычки почти въ кольцо. Его острый подбородокъ лобызался съ концомъ носа и вмѣстѣ съ нимъ покрывалъ большую часть рта, въ кототомъ, какъ обгорѣлые колья на пожарищѣ, виднѣлись два-три осиротѣвшіе зуба. Иванъ Никифоровичъ былъ старѣе его нѣсколькими годами, но казался передъ нимъ молодцомъ. Эти человѣческія развалины назывались нѣкогда Андреемъ Ѳомичемъ Зарубкинымъ; ихъ и теперь зовутъ такъ же, но только онѣ не всегда откликаются, потому что, къ довершенію всѣхъ недуговъ, происшедшихъ отъ частыхъ бесѣдъ съ пономаремъ Ѳерапонтомъ, Зарубкинъ сталъ плохо видѣть и сдѣлался крѣпокъ на ухо.

— А что, сватъ, — сказалъ старикъ Кирсановъ, обращаясь къ Мирошеву,—куда дѣвался ъ `й земскій, Ѳедотычъ?

— Сидитъ подъ арестомъ въ ткацкой,—отвѣчалъ Кузьма Петровичъ.

— Помилуй, любезный, какъ же ты этакого политикана и знаменитаго витію засадилъ подъ караулъ?

— Спился съ кругу.

— Да отдай его мнѣ!... Мой дуракъ, Аѳонька, не стоитъ его мизинца. Въ прошлый разъ онъ отпустилъ мнѣ такую высокопарную рацею, что я со смѣху умеръ. Въ самомъ дѣлѣ, уступи мнѣ его.

— Съ большимъ удовольствіемъ. Только онъ надоѣстъ: вретъ всегда свысока, ничѣмъ не доволенъ, всѣмъ обижается...

— Да это то и хорошо! Дуракъ тогда только забавенъ, когда сердится.

— Ну, не говорите!—прервалъ Костоломовъ.—Неровенъ дуракъ; дураки то бываютъ и наша братья, дворяне, люди чиновные, такъ поди-ка, разсерди его!

— Да вѣдь и на чиновныхъ дураковъ есть управа,— сказалъ Владиміръ Ивановичъ.—Слышали вы, что сдѣлалъ намѣстникъ съ нашимъ уѣзднымъ засѣдателемъ?

— Съ Алексѣемъ Панкратьичемъ Курочкинымъ?—спросилъ Мирошевъ.

— Ну да, съ сыномъ бывшаго приказчика вашего села Вознесенскаго.

— А что такое?

— Спросите Зарубкина: онъ только что пріѣхалъ изъ Саратова.

— Андрей Ѳомичъ,—закричалъ Мирошевъ,—что такое сдѣлалось съ нашимъ засѣдателемъ, Курочкинымъ?

— Курочкинъ?... Да-съ, поѣхалъ въ Саратовъ выручать сына... Богатъ, батюшка, тряхнетъ казной, такъ все будетъ.

— Да я не о немъ васъ спрашиваю,— закричалъ еще громче Мирошевъ.—Что сдѣлалось съ его сыномъ, Алексѣемъ Панкратьичемъ?

— А!... Да-съ!.. Не хорошо, сударь, больно не хорошо!

— Да чтожъ такое? — спросилъ Иванъ Никифоровичъ.

— Попалъ, сердечный въ уголовную.

— За что?

— Да все-таки по дѣлу Агриппины Львовны Вертлюгиной. Вы изволите знать, что, по духовной покойнаго ея мужа, она владѣла всѣмъ его имѣніемъ. Родной племянникъ покойника завелъ съ ней тяжбу и доказалъ, что духовная фальшивая, и хотя подписана собственною рукою Ильи Сергѣевича Вертлюгина, да только ужь тогда, какъ онъ умеръ.

— Что за вздоръ?—сказалъ Кирсановъ.

— Да такъ-съ!... Агриппина Львовна водила по бумагѣ мертвою рукою покойника.

— Какой ужасъ!—вскричала Марья Дмитріевна.

— А простофиля Курочкинъ, — продолжалъ Зарубкинъ,— чѣмъ бы ему, какъ засѣдателю, вступиться въ это дѣло или ужь, по крайней мѣрѣ, отстранить себя, подписался на духовной свидѣтелемъ. Его совсѣмъ сбила Агриппина Львовна. «Тебѣ, дескать, опасаться нечего; ты, дескать, присягу можешь дать, что духовная подписана рукою покойника».

— Скажите пожалуйста,—прервалъ Костоломовъ,—какую штуку выдумали!...

— Да-съ, штука важная!... Ну, да вѣдь Агриппина Львовна барыня умная; жаль только Алексѣя Панкратьича: какъ куръ во щи попался!... Конечно, что говорить,—и за нимъ грѣшки важивались... не то, чтобъ большія взятки, а этакъ,—гдѣ курочку, гдѣ гуся... случалось, дирался также, и все безъ толку. Вцѣпится, бывало, сотнику въ бороду, или начнетъ лупить его палкой... ужь маетъ, маетъ! А послѣ спроси, такъ не знаетъ самъ, за что поколотилъ... Да вѣдь это все по глупости, батюшка; а человѣкъ онъ, право, добрый.

— Ну, братъ, Андрей Ѳомичъ,—подхватилъ съ громкимъ смѣхомъ Костоломовъ,—мастеръ ты хвалить!...

— А что, батюшка?

— Да такъ! Пожалуйста, любезный, ругай меня почаще, авось этакъ будетъ здоровѣе.

— И, что вы, Егоръ Васильевичъ!... Да мы не нарадуемся, что вы у насъ городничимъ; вы наше красное солнышко!...

— Охъ, полно, братецъ, не хвали,—меня такъ морозомъ по кожѣ и подираетъ!

— Дуняша,—сказалъ Мирошевъ,—да гдѣ твой мужъ? Онъ сегодня съ нами и чаю не пьетъ.

— Пошелъ взглянуть на Прохора Кондратьича,—отвѣчала Дуняша;—а отъ него хотѣлъ завернуть къ старостихѣ Власьевнѣ. Говорятъ, у ней лихорадка.

— А что, Кузьма Петровичъ, твой Прохоръ?—спросилъ Костоломовъ.—Полегче ли ему?

— Нѣтъ, очень худъ! Вчера его пріобщали.

— Чѣмъ онъ боленъ?

— Богъ знаетъ! Я думаю, старостію... Да вотъ и нашъ докторъ!—продолжалъ Мирошевъ.—Ну что, Степанъ Ивановичъ?

— Василиса ничего, —отвѣчалъ Логиновъ:—простудная лихорадочка.

— А Прохоръ?

— Очень труденъ. Я заходилъ къ нему съ полчаса тому назадъ: врядъ ли доживетъ до завтраго.

На глазахъ Мирошева навернулись слезы.

— И, Кузьма Петровичъ, — прибавилъ докторъ,—дай Богъ и намъ съ вами столько же прожить! Вѣдь ему за девяносто.

— Да, это правда!.. Но еслибъ вы знали, какъ этотъ старикъ любилъ меня! Онъ няньчилъ меня ребенкомъ, и замѣнилъ мнѣ отца и мать, когда я остался сиротою. Въ этой жизни онъ служилъ мнѣ вѣрою и правдою, а тамъ— о, я увѣренъ, тамъ его первая молитва будетъ за меня! Егоръ Васильевичъ, хочешь ли вмѣстѣ со мною навѣстить нашего старика?

— Пойдемъ, братецъ!

Но прежде чѣмъ они встали со своихъ мѣстъ, изъ флигеля вышла женщина лѣтъ сорока, держа въ рукахъ окованный желѣзомъ ларецъ.

— Что ты, Акулина?—спросила Марья Дмитріевна.

Акулина, не отвѣчая на вопросъ своей барыни, подошла тихими шагами къ Мирошеву и сказала протяжнымъ голосомъ:

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, Прохоръ Кондратьичъ приказалъ вамъ долго жить.

— Онъ умеръ?—вскричалъ Мирошевъ.

— Скончался, батюшка!... Вчера послѣ исповѣди онъ наказалъ мнѣ, чтобъ я, лишь только онъ отойдетъ, снесла къ вамъ этотъ ларецъ.

— Прощай, мой добрый дядька! — прошепталъ Мирошевъ, заливаясь слезами.—Дай Богъ тебѣ царство небесное!

Кузьма Петровичъ и всѣ присутствующіе перекрестились. Нѣсколько минутъ продолжалось общее молчаніе, наконецъ, Костоломовъ вымолвилъ:

— Эхъ, жаль старика! Ну, дядя, не наживешь еще этакого!... Да что это онъ прислалъ къ тебѣ въ этомъ сундучкѣ?

— А вотъ посмотримъ!—сказалъ Мирошевъ, отпирая ларецъ.

Въ немъ лежала сверху икона преподобнаго Козьмы,

епископа Холкидонскаго, мѣшечекъ съ десятью цѣлковыми и мелкимъ серебромъ, двѣ изломанныя игрушки, тетрадь съ дѣтскими прописями и бережно завернутая въ бумагу пара истертыхъ сафьянныхъ башмачковъ, которые Кузьма Петровичъ носилъ въ своемъ ребячествѣ.

КОНЕЦЪ.

Н. ЗАГОСКИНЪ

епископа Холкидонскаго, мѣшечекъ съ десятью цѣлковыми и мелкимъ серебромъ, двѣ изломанныя игрушки, тетрадка съ дѣтскими прописями и бережно завернутая въ бумагу пара истертыхъ сафьянныхъ башмачковъ, которые Кузьма Петровичъ носилъ въ своемъ ребячествѣ.

КОНЕЦЪ.

М. Н. ЗАГОСКИНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

І. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

ИЗДАНІЕ
ПОСТАВЩИКА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
СОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т—ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дв., 18 | МОСКВА, Кузнецкій мостъ, 12
1898.

ТИПОГРАФІЯ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
Спб., В. О., 16 л., № 5—7.

РОСЛАВЛЕВЪ

ИЛИ

РУССКІЕ ВЪ 1812 ГОДУ.

Печатая мой второй историческій романъ, я считаю долгомъ принести
увствительнѣйшую благодарность моимъ соотечественникамъ за лестный
ріемъ, сдѣланный ими „Юрію Милославскому". Предполагая сочинить сіи
ва романа, я имѣлъ въ виду описать русскихъ въ двѣ достопамятныя
сторическія эпохи, сходныя межъ собою, но раздѣленныя двумя столѣ-
іями; я желалъ доказать, что хотя наружныя формы и физіономія рус-
кой націи совершенно измѣнились, но не измѣнились вмѣстѣ съ нимъ
эпоколебимая вѣрность къ престолу, привязанность къ вѣрѣ предковъ и
обовь къ родимой сторонѣ. Не знаю, достигъ ли я сей цѣли, но во вся-
омъ случаѣ, полагаю необходимымъ просить моихъ читателей о нижеслѣ-
ующемъ: 1) не досадовать на меня, что я въ семъ современномъ романѣ
е упоминаю о всѣхъ достопамятныхъ случаяхъ, ознаменовавшихъ незаб-
венный для русскихъ 1812 годъ; 2) не забывать, что историческій романъ
е исторія, а выдумка, основанная на истинномъ происшествіи; 3) не
ребовать отъ меня отчета, почему я описываю именно то, а не то про-
исшествіе или для чего, упоминая объ одномъ историческомъ лицѣ, я не
оворю ни слова о другомъ; и наконецъ, 4) представляя полное право чи-
ателямъ обвинять меня, если мои русскіе не походятъ на современныхъ
ь нами русскихъ 1812 года, я прошу однако же не гнѣваться на меня за
о, что они не всѣ добры, умны и любезны, или наоборотъ: не смѣяться
адъ моимъ патріотизмомъ, если между моихъ русскихъ найдется много
ныхъ, любезныхъ и даже истинно просвѣщенныхъ людей.

Тѣмъ, кои въ русскомъ молчаливомъ офицерѣ узнаютъ историческое
ицо тогдашняго времени, признаюсь заранѣе въ небольшомъ анахронизмѣ:
ютъ офицеръ дѣйствительно былъ, подъ именемъ флорентійскаго купца,
ь Данцигѣ, но не въ концѣ осады, а при началѣ оной.

Интрига моего романа основана на истинномъ происшествіи; теперь
но забыто; но я помню еще время, когда оно было предметомъ общихъ
азговоровъ, и когда проклятія оскорбленныхъ россіянъ гремѣли надъ
авою несчастной, которую я назвалъ Полиною въ моемъ романѣ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

«Природа въ полномъ цвѣтѣ; зеленѣющія поля обѣщаютъ богатую жатву. Все наслаждается жизнію. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать въ общей радости творенія. Оно не смѣетъ развернуться, подобно листьямъ и цвѣтамъ. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущаетъ насъ предъ сильною лѣтнею грозою, сжимаетъ его. Предчувствіе какого то отдаленнаго несчастія меня пугаетъ!... Недаромъ, говорятъ простолюдины, недаромъ прошлаго года такъ долго ходила въ небесахъ невиданная звѣзда; недаромъ горѣли города, села, лѣса, и во многихъ мѣстахъ земля выгорала. Не къ добру это все! Быть великой войнѣ!»

Такъ говоритъ краснорѣчивый сочинитель «Писемъ русскаго офицера», приступая къ описанію отечественной войны 1812 года. Привыкшій считать себя видимой судьбою народовъ, представителемъ всѣхъ силъ, всего могущества Европы, императоръ французовъ долженъ былъ ненавидѣть Россію. Казалось, она одна еще, не отдѣленная ни моремъ, ни безлюдными пустынями отъ земель, ему подвластныхъ, не трепетала его имени. Сильный любовію подданныхъ, твердый въ вѣрѣ своихъ державныхъ предковъ, царь русскій отвергалъ всѣ честолюбивыя предложенія Наполеона; переговоры длились, и ничто, повидимому, не нарушало еще общаго спокойствія и тишины. Одни, не сомнѣваясь въ могуществѣ Россіи, смотрѣли на сію отдаленную

грозу съ равнодушіемъ людей, увѣренныхъ, что буря промчится мимо. Другіе, и къ сожалѣнію также русскіе, трепеща предъ сей воплощенной судьбою народовъ, желали мира, не думая о гибельныхъ его послѣдствіяхъ. Кипящіе мужествомъ юноши ожидали съ нетерпѣніемъ войны. Старики покачивали сомнительно головами и шопотомъ поговаривали о безсмертномъ Суворовѣ. Но будущее скрывалось для всѣхъ подъ какимъ то таинственнымъ покровомъ. Народъ не толпился еще вокругъ храмовъ Господнихъ; еще не раздавались вопли несчастныхъ вдовъ и сиротъ, и, несмотря на турецкую войну, которая кипѣла въ Молдавіи, ничто не измѣнилось въ шумной столицѣ Сѣвера. Какъ всегда, богатые веселились, бѣдные работали, по Невѣ гремѣли народныя русскія пѣсни, въ театрахъ пѣли французскіе водевили, парижскія модистки продолжали обирать русскихъ барынь; словомъ, все шло попрежнему. На западѣ Россіи сбирались грозныя тучи; но громъ еще молчалъ.

Въ одинъ прекрасный лѣтній день, въ концѣ мая 1812 года, часу въ третьемъ по-полудни, длинный бульваръ Невскаго проспекта, начиная отъ Полицейскаго моста до самой Фонтанки, былъ усыпанъ народомъ. Какъ яркій цвѣтникъ, пестрѣлись толпы прекрасныхъ женщинъ, одѣтыхъ по послѣдней парижской модѣ. Зашитые въ галуны лакеи, неся за ними ихъ зонтики и турецкія шали, посматривали спесиво на проходящихъ простолюдиновъ, которые, пробираясь бочкомъ по краямъ бульвара, смиренно уступали имъ дорогу. Въ промежуткахъ сихъ разноцвѣтныхъ группъ, мелькали отъ времени до времени бѣленькія щеголеватыя платьица русскихъ швей, образовавшихъ свой вкусъ во французскихъ магазинахъ, и тафтяные капотцы красавицъ средняго состоянія, которыя, пообѣдавъ у себя дома на Петербургской сторонѣ или въ Измайловскомъ полку, пришли погулять по Невскому бульвару и полюбоваться большимъ свѣтомъ. Молодые и старые щеголи, въ уродливыхъ шляпахъ à la cendrillon,—съ сучковатыми палками, обгоняли толпы гуляющихъ дамъ, заглядывали имъ въ лицо, любезничали и отпускали поминутно ловкія фразы на французскомъ языкѣ; но лучшее украшеніе гуляній петербургскихъ, блестящая гвардія царя русскаго, была въ походѣ, и только кой-гдѣ, среди круглыхъ шляпъ, мелькали бѣлые и черные султаны гвардейскихъ офицеровъ; но лица ихъ были пасмурны: они завидовали участи своихъ товарищей и тосковали о полкахъ

своихъ, которые, можетъ быть, готовились уже драться и умереть за отечество.

Въ одной изъ боковыхъ аллей Невскаго бульвара сидѣлъ на лавочкѣ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти; онъ чертилъ задумчиво своей палочкой по песку, не обращалъ никакого вниманія на гуляющихъ и не подымалъ головы даже и тогда, когда проходили мимо него первостепенныя красавицы петербургскія, влеча за собою взоры и сердца вѣтреной молодежи и вынуждая невольныя восклицанія пожилыхъ обожателей прекраснаго пола. Но за то почти ни одна дама не проходила мимо безъ того, чтобъ явно или украдкою не бросить любопытнаго взгляда на сего задумчиваго молодого человѣка. Благородная наружность, черные какъ смоль волосы, длинныя, опущенныя книзу рѣсницы, унылый, задумчивый видъ, все придавало какую то неизъяснимую прелесть его смуглому, но прекрасному и выразительному лицу. Извѣстный романъ: «Матильда или Крестовые походы» сводилъ тогда съ ума всѣхъ русскихъ дамъ. Онѣ бредили Малекъ-Аделемъ, искали его вездѣ и, находя что то сходное съ своимъ идеаломъ въ лицѣ задумчиваго незнакомца, глядѣли на него съ примѣтнымъ участіемъ. По его узкому, туго застегнутому фраку, черному галстуку и небольшимъ усамъ, не трудно было догадаться, что онъ служилъ въ кавалеріи, недавно скинулъ эполеты и не совсѣмъ еще отсталъ отъ нѣкоторыхъ военныхъ привычекъ.

— Здравствуй, Рославлевъ!—сказалъ, подойдя къ нему, видный молодой человѣкъ, въ однобортномъ гороховомъ сюртукѣ, съ румянымъ лицомъ и голубыми, исполненными веселости, глазами.—Что ты такъ задумался?

— А, это ты, Александръ!—отвѣчалъ задумчивый незнакомецъ, протянувъ къ нему ласково свою руку.

— Слава Богу, что я встрѣтилъ тебя хоть на бульварѣ,—продолжалъ молодой человѣкъ. — Пойдемъ ходить вмѣстѣ.

— Нѣтъ, Зарѣцкій, не хочу. Я прошелъ раза два, и мнѣ такъ надоѣла эта пестрота, эта куча незнакомыхъ лицъ, эти безпрерывныя фразы, эти...

— Ну, ну!... захандрилъ! Полно, братецъ, пойдемъ!... Вонъ, кажется, опять она... Точно такъ!... Видишь ли вотъ этотъ лиловый капотецъ?.. Ахъ, mon cher, какъ хороша!... Прелесть!... Что за глаза!.. Какая то пріѣзжая изъ Москвы... А ножка, ножка!.. Да пойдемъ скорѣе!

— Повѣса, когда ты остепенишься?.. Подумай, вѣдь тебѣ скоро тридцать.

— Такъ чтожъ, сударь? Не прикажете ли мнѣ, потому что я нѣсколькими годами васъ старѣе, не смѣть любоваться ничѣмъ прекраснымъ?

— Да ты только что любуешься; а тебѣ бы пора перестать любоваться всѣми женщинами, а полюбить одну.

— И смотрѣть такимъ же сентябремъ, какъ ты? Нѣтъ, душенька, спасибо!.. У меня вовсе нѣтъ охоты сидѣть, повѣсивъ носъ, когда я чувствую, что могу еще быть веселымъ и счастливымъ...

— Но кто тебѣ сказалъ, что я несчастливъ?—прервалъ съ улыбкою Рославлевъ.

— Кто?... Да на что ты походишь съ тѣхъ поръ, какъ съѣздилъ въ деревню, влюбился, помолвленъ и собрался жениться? И, братецъ! Чортъ ли въ этомъ счастіи, которое сдѣлало тебя, изъ веселаго малаго, какимъ то сентиментальнымъ меланхоликомъ.

— Такъ ты находишь, что я въ самомъ дѣлѣ перемѣнился?

— Удивительно!.. Помнишь ли, какъ мы воспитывались съ тобою въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ?..

— Какъ не помнить! Ты почти всегда былъ послѣднимъ въ классахъ.

— А ты первымъ въ шалостяхъ. Никогда не забуду, какъ однажды ты вздумалъ передразнить одного изъ нашихъ учителей, вскарабкался на каѳедру и началъ: «Мы говорили до сего о Вавилонскомъ столпотвореніи, государи мои; теперь, съ позволенія сказать, обратимся къ основанію Ассирійской имперіи».

— Ахъ, мой другъ!—прервалъ Рославлевъ,—тогда насъ все забавляло!

— Да меня и теперь забавляетъ,—продолжалъ Зарѣцкій.—Вольно-жъ тебѣ видѣть все подъ какимъ то чернымъ крепомъ.

— Ты, вѣрно, бы этого не сказалъ, Александръ, еслибъ увидѣлъ меня вмѣстѣ съ моею Полиною. А впрочемъ, нѣтъ, что толку! Ты и тогда не понялъ бы моего счастія. Чувство, которое дѣлаетъ меня блаженнѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ, быть можетъ, показалось бы тебѣ смѣшнымъ. Да, мой другъ! Не прогнѣвайся! Оно недоступно для людей съ твоимъ характеромъ.

— Покорно благодарю!.. То-есть я неспособенъ любить, я человѣкъ бездушный... Не правда ли?.. Но дѣло не о томъ. Ты тоскуешь о своей Полинѣ. Кто-жъ тебѣ мѣшаетъ летѣть въ ея страстныя объятія?.. Ужь выпускаютъ ли тебя изъ Петербурга? Не задолжалъ ли ты, степенный человѣкъ?.. Меня этакъ однажды продержали недѣльки двѣ лишнихъ въ Москвѣ... Послушай! Если тебѣ надобно тысячи двѣ, три...

— Нѣтъ, мой другъ! Мнѣ деньги не нужны.

— Такъ о чемъ же ты грустишь?

— Но развѣ ты полагаешь, что влюбленный человѣкъ не думаетъ ни о чемъ другомъ, кромѣ любви своей? Нѣтъ, Зарѣцкій! Прежде, чѣмъ я влюбился, я былъ уже русскимъ...

— Такъ чтожъ?

— Какъ, мой другъ? А буря, которая сбирается надъ нашимъ отечествомъ?

— И, милый! Это дождевая туча: проглянетъ солнышко, и ея какъ не бывало.

— Чтобъ угодить будущей моей тещѣ, я вышелъ въ отставку; а можетъ быть, скоро вспыхнетъ ужасная война, можетъ быть, вся Европа...

— Пожалуетъ къ намъ въ гости? Пустое, mon cher! Поговорятъ, поговорятъ между собою, постращаютъ другъ друга, да тѣмъ и дѣло кончится.

— Ты думаешь?

— Россія не Италія, мой другъ! И далеко и холодно; да и народъ то постоитъ за себя. Не безпокойся, Наполеонъ уменъ; повѣрь, онъ знаетъ, что мы народъ непросвѣщенный, сѣверные варвары, и терпѣть не можемъ незваныхъ гостей. А, признаюсь, мнѣ почти досадно, что дѣло обойдется безъ ссоры. L'homme du destin и его *великая нація* такъ зазнались, что способа нѣтъ. Вотъ, посмотри! Видишь ли этихъ двухъ господчиковъ? Это лавочники изъ одного французскаго магазина. Посмотри, какъ важно они поглядываютъ на всѣхъ съ высоты своего величія... Тьфу, чортъ возьми! Ни дать ни взять французскіе маршалы!.. А! вотъ опять лиловый капотецъ... Послушай: если ты не хочешь гулять, такъ я... Ахъ, Боже мой! Она сходитъ съ бульвара... сѣла въ карету... Эхъ, mon cher! какъ досадно, что я съ тобой заболтался... Ну, дѣлать нечего... Да кстати!.. Гдѣ ты сегодня обѣдаешь?

— Я хотѣлъ ѣхать къ Радугиной.

— И, полно, не ѣзди; обѣдай со мною.

— Нельзя: мнѣ надобно съ ней проститься.

— А когда ты ѣдешь отсюда?

— Завтра непремѣнно.

— Ну, вотъ изволишь видѣть! Когда мы съ тобой увидимся? Пожалуйста, mon cher, обѣдаемъ вмѣстѣ. Ты можешь ѣхать къ Радугиной вечеромъ.

— Эхъ, Александръ! Еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ непріятно бывать по вечерамъ у Радугиной! Вечеромъ, почти всякій разъ, я встрѣчаю у нея кого-нибудь изъ чиновниковъ французскаго посольства, а это для меня ножъ вострый! Ужь это не лавочники изъ французскаго магазина; послушалъ бы ты, какъ они поговариваютъ о Россіи!.. Нѣсколько разъ я ошибался и думалъ, что дѣло идетъ не объ отечествѣ нашемъ, а о какой-нибудь французской провинціи. Ну, повѣришь ли? Вотъ такъ кровь и кипитъ въ жилахъ—терпѣнья нѣтъ! А хозяйка... Боже мой!.. Только что не крестится при имени Наполеона. Клянусь честію, еслибъ не родственныя связи, то нога бы моя не была въ ея домѣ.

— И ты сердишься? Да отъ этого надобно умереть со смѣху. Вотъ то то и бѣда, ты не умѣешь ничѣмъ забавляться. Еслибъ я былъ на твоемъ мѣстѣ, то подоспѣлъ бы къ какому нибудь совѣтнику посольства, сталъ бы ему подличать и преуниженно попросилъ бы, наконецъ, помѣстить меня при первой вакансіи супрефектомъ въ Тобольскъ или Иркутскъ. Онъ бы сталъ ломаться, и я сдѣлалъ бы изъ него настоящаго Жокриса!.. А, кстати!... Вчера Талонъ *) былъ какъ ангелъ въ этой роли... Ты видѣлъ когда нибудь французскій водевиль: «Отчаяніе Жокриса?»

— Нѣтъ! Я ѣзжу только въ русскій театръ.

— Да бишь, виноватъ! Ты любишь чувствительныя драмы. Ну, чтожъ? Обѣдаемъ ли мы вмѣстѣ?

— Если ты непремѣнно хочешь...

— Послушай, мой милый, я не приглашаю тебя къ себѣ: ты знаешь, у меня нѣтъ и повара. Мы отобѣдаемъ въ ресторацiи.

— У Жискара?

— И, нѣтъ, mon cher! Надобно разнообразить свои

*) Комическій актеръ тогдашней французской труппы въ Петербургѣ.

удовольствія. У Жискара и Тарлифа мы увидимъ все знакомыя лица. Одно да одно—это скучно. Знаешь ли что? Обѣдаемъ сегодня у Франзеля?

— По мнѣ, все равно, гдѣ хочешь. А что это за Франзель?

— Это ресторація, въ которой плятятъ за обѣдъ по рублю съ человѣка. Тамъ увидимъ мы презабавныя физіономіи: прегордыхъ писцовъ изъ министерскихъ департаментовъ, глубокомысленныхъ политиковъ въ изорванныхъ сюртукахъ, художниковъ безъ работы, учителей безъ мѣстъ, а иногда и журналистовъ безъ подписчиковъ. Что за разговоры мы услышимъ! Всѣ обѣдаютъ за общимъ столомъ; должность официантовъ отправляютъ двѣ толстыя служанки, и когда гости откушаютъ супъ, у всѣхъ, безъ исключенія, отбираютъ серебряныя ложки. Умора да и только!

— Что же тутъ смѣшного? Это обидно.

— И, полно, mon cher! Представь себѣ, что и у насъ отберутъ ложки—для того, чтобъ мы ошибкою не положили ихъ въ карманъ. Развѣ это не забавно? Ну, право, я иногда очень люблю эту милую простоту. Однажды, въ Москвѣ, мнѣ вздумалось, изъ шалости, пообѣдать съ Ленскимъ въ одномъ русскомъ трактирѣ, и когда я спросилъ: что возьмутъ съ насъ двоихъ за обѣдъ, то трактирщикъ отвѣчалъ мнѣ преважно: «По тридцати копѣекъ съ рыла!» *Съ рыла!!*.. Мы оба съ Ленскимъ чуть не умерли со смѣху. Пойдемъ къ Франзелю, мой милый. Не вѣчно же быть въ хорошемъ обществѣ; надобно иногда потолкаться и въ народѣ.

— Что съ тобою дѣлать, повѣса! — сказалъ Рославлевъ, вставая съ скамьи.—Пойдемъ въ твою рублевую ресторацію.

II.

Не доходя до Казанскаго моста, Зарѣцкій сошелъ съ бульвара и, пройдя нѣсколько шаговъ вдоль лѣвой стороны улицы, повелъ за собою Рославлева по крутой лѣстницѣ во второй этажъ довольно опрятнаго дома. Въ передней сидѣлъ за дубовымъ прилавкомъ толстый нѣмецъ. Они отдали ему свои шляпы.

— Видишь ли,—сказалъ Зарѣцкій, входя съ пріятелемъ своимъ въ первую комнату,—какъ здѣсь все обдумано? Ну,

какъ уйдешь, не заплатя за обѣдъ? Вѣдь шляпа то стоитъ дороже рубля.

Въ первой комнатѣ, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, въ синемъ поношенномъ фракѣ, разговаривалъ съ двумя молодыми людьми, которые слушали его съ большимъ вниманіемъ.

— Да, милостивые государи!—говорилъ важнымъ голосомъ синій фракъ,—повѣрьте мнѣ, старику; я дѣлалъ по сему предмету различные опыты, и долгомъ считаю сообщить вамъ, что принятый способъ натирать по скобленному мѣсту сандаракомъ есть самый удобнѣйшій: никогда не расплывется. Я сегодня въ настольномъ регистрѣ цѣлую строку выскоблилъ, и смѣю васъ увѣрить, что самый зоркій столоначальникъ не замѣтитъ никакъ этой поскобки. Всѣ другіе способы, какъ то: насаленая бумажка, натираніе сукномъ, лощеніе ногтемъ и прочія мелкія средства никуда не годятся.

— Это канцелярскіе чиновники!—сказалъ Зарѣцкій.— Ихъ разговоры вообще очень поучительны, но совсѣмъ не забавны. Пойдемъ въ залу; тамъ что то громко разговариваютъ.

Въ залѣ, во всю длину который былъ накрытъ узкій столъ, человѣкъ двадцать, раздѣлясь на разныя группы, разговаривали между собою. Въ одномъ углу съ полдюжины студентовъ педагогическаго института толковали о послѣдней лекціи профессора словесныхъ наукъ; въ другомъ—учитель-французъ разсуждалъ съ дядькою нѣмцемъ о трудностяхъ ихъ званія; у окна стоялъ, оборотясь ко всѣмъ спиною, офицеръ въ мундирномъ сюртукѣ съ чернымъ воротникомъ. Съ перваго взгляда можно было полумать, что онъ смотрѣлъ на гуляющихъ по бульвару; но стоило только заглянуть ему въ лицо, чтобъ увѣриться въ противномъ. Глаза его, устремленные на противоположную сторону улицы, выражали глубокую задумчивость; онъ постукивалъ машинально по стекламъ пальцами, выбивалъ тревогу, сборъ, разные марши и какъ будто бы не видѣлъ и не слышалъ ничего. Этотъ молчаливый офицеръ былъ средняго роста, бѣлокуръ, круглолицъ и вообще пріятной наружности; но что то дикое, безчувственное и даже не человѣческое изображалось въ сѣрыхъ глазахъ его. Казалось, ни радость, ни горе не могли одушевить этотъ неподвижный, равнодушный взоръ, и только изрѣдка улыбка,

выражающая какое то холодное презрѣніе, появлялась на устахъ его.

Въ двухъ шагахъ отъ него, краснощекій, съ багровымъ носомъ толстякъ разговаривалъ съ худощавымъ старикомъ. Зарѣцкій и Рославлевъ сѣли подлѣ нихъ.

— Нѣтъ, почтеннѣйшій!—говорилъ старикъ, покачивая головою,—воля ваша, я не согласенъ съ вами. Ну, разсудите милостиво: здѣсь берутъ по рублю съ персоны и подаютъ только по четыре блюда; а въ ресторацiи Мысъ Доброй Надежды...

— Такъ, батюшка!—прервалъ толстый господинъ,—что правда, то правда! Тамъ подаютъ пять блюдъ, а берутъ только по семидесяти пяти копѣекъ съ человѣка. Такъ-съ! Но позвольте доложить: блюда блюдамъ рознь. Конечно, пять блюдъ—больше четырехъ; да не въ счетѣ дѣло: блюдца то, сударь, тамъ больно не затѣйливыя.

— Кто и говоритъ, батюшка! Конечно, столъ не ахти мнѣ; но не погнѣвайтесь: я и въ здѣшнемъ обѣдѣ большого деликатеса не вижу. Нѣтъ, воля ваша! Френзель зазнался. Развѣ не замѣчаете, что у него съ каждымъ днемъ становится меньше посѣтителей? Вотъ, напримѣръ, Степанъ Кондратьевичъ: я ужь его недѣли двѣ не вижу.

— Въ самомъ дѣлѣ,—подхватилъ толстякъ,—онъ давно здѣсь не обѣдалъ. А знаете ли, что безъ него скучно? Что за краснобай!.. Какъ начнетъ разсказывать, такъ есть, что послушать: гусли, да и только! А новостей то всегда принесетъ, новостей—Господи Боже мой!.. Ну, что твои газеты... Э! да какъ легокъ на поминѣ!... Вотъ и онъ!... Здравствуйте, батюшка,—Степанъ Кондратьевичъ!—продолжалъ толстый господинъ, обращаясь къ входящему человѣку среднихъ лѣтъ, въ кофейномъ фракѣ и зеленыхъ очкахъ, который выступалъ, прихрамывая и опираясь на лакированную трость съ костянымъ набалдашникомъ.

Появленіе сего новаго гостя, казалось, произвело на многихъ сильное впечатлѣніе, которое удвоилось при первомъ взглядѣ на его таинственную и нахмуренную физіономію. Поклонясь съ разсѣяннымъ видомъ на всѣ четыре стороны, онъ сѣлъ молча на стулъ, нахмурился еще болѣе, наморщилъ лобъ и, посвистывая себѣ подъ носъ, началъ преважно протирать свои зеленые очки. Въ одну минуту прекратились почти всѣ отдѣльные разговоры. Учитель французъ, дядька нѣмецъ, студенты и большая часть дру-

гихъ гостей столпились вокругъ Степана Кондратьевича, который, устремивъ глаза въ потолокъ, продолжалъ протирать очки и посвистывать весьма значительнымъ образомъ. Одинъ только молчаливый офицеръ, казалось, не замѣтилъ сего общаго движенія и продолжалъ попрежнему смотрѣть въ окно.

— Ну что, почтеннѣйшій!—сказалъ толстый господинъ,— что скажете намъ новенькаго?

— Что новенькаго?.. — повторилъ Степанъ Кондратьевичъ, надѣвая свои очки.—Гмъ, гмъ!... что новенькаго?... И старенькаго довольно, государь мой!

— Такъ-съ!... Да старое то мы знаемъ; не слышно ли чего-нибудь поновѣе?

— Поновѣе?.. Гмъ, гмъ!.. Мало ли что болтаютъ, всего не переслушаешь, да и не наше дѣло, батюшка!.. Вотъ, изволите видѣть, разсказываютъ, будто бы турки... куда бойко стали драться.

— Право!

— Говорятъ такъ, а, впрочемъ, не наше дѣло. Слухъ также идетъ, что будто-бъ насъ... то есть ихъ, побили подъ Бухарестомъ. Тысячъ тридцать нашихъ легло.

— Какъ?—вскричалъ Рославлевъ,—большая часть молдавской арміи?

— Видно, что такъ. Вѣдь нашего войска и сорока тысячъ тамъ не было.

— Извините! Въ молдавской арміи пятьдесятъ тысячъ подъ ружьемъ.

Степанъ Кондратьевичъ взглянулъ съ насмѣшливой улыбкою на Рославлева и повторилъ сквозь зубы: Подъ ружьемъ!.. гмъ, гмъ!.. Можетъ быть; вы, вѣрно, лучше моего это знаете; да не о томъ дѣло. Я вамъ передаю то, что слышалъ: нашихъ легло тридцать тысячъ, а много ли осталось, объ этомъ мнѣ не сказывали.

— Однако, мы все-таки выиграли сраженіе?—спросилъ худощавый старикъ.

— Разумѣется. Когда-жъ мы проигрываемъ, батюшка? Мы, изволите видѣть, государь мой, всегда побиваемъ другихъ; а насъ — Боже сохрани! — насъ никто не бьетъ!

— Тридцать тысячъ!—повторилъ краснощекій толстякъ.— Проклятые турки! А не извѣстно ли вамъ, какъ происходило сраженіе?

— Да, смѣю доложить,—сказалъ важнымъ тономъ Степанъ Кондратьевичъ,—я вамъ могу сообщить всѣ подробности. Позвольте: видите ли на половицѣ этотъ сучокъ?... Представьте себѣ, что это Бухарестъ.

— Такъ-съ!

— Ну, вотъ, изволите видѣть, — продолжалъ Степанъ Кондратьевичъ, проводя по полу черту своей тростью,— вотъ тутъ стояло наше войско.

— Такъ-съ, батюшка, то есть здѣсь, по лѣвую сторону сучка?

— Именно; а на этой сторонѣ расположенъ былъ турецкій лагерь. Вотъ, сударь, въ сумерки или передъ разсвѣтомъ — не могу вамъ сказать навѣрное — только втихомолку турки двинулись впередъ.

— Такъ-съ!

— Выстроили противъ нашего центра маскированную батарею въ двѣсти пушекъ.

— Въ двѣсти пушекъ!... Такъ-съ, батюшка, такъ-съ...

— Надобно вамъ сказать, что у нихъ теперь артиллерія отличная: тяжелая дѣйствуетъ скорѣе нашей конной, а конная не по нашему, государь мой, вся на верблюдахъ. Изволите видѣть, какъ умно придумано?..

— Такъ-съ, такъ-съ!

— Ну, вотъ, сударь, наши и думать не думаютъ, какъ вдругъ, батюшка, они грянутъ изо всѣхъ пушекъ! Пошла потѣха. И пѣхота, и конница, и артиллерія, и, Господи Боже мой!... Вотъ янычары заѣхали съ флангу: Алла! да со всѣхъ четырехъ ногъ на нашу кавалерію.

— Позвольте!—прервалъ одинъ изъ студентовъ.—Янычары не конное, а пѣхотное войско.

— Эхъ, сударь! То прежніе янычары, а это нынѣшніе.

— Конечно, конечно!—подхватилъ толстякъ;—у нихъ все по новому. Ну, сударь! Янычары ударили на нашу кавалерію?..

— Да, батюшка, что дѣлать? Пѣхота не подоспѣла; а ужь извѣстное дѣло: противъ ихъ конницы наша пасъ...

— Такъ-съ, такъ-съ!

— Главнокомандующій, генералъ Кутузовъ, видя, что дѣло идетъ худо, выѣхалъ самъ на конѣ и закричалъ: «Ребята, не выдавай!» Наши солдаты ободрились, въ штыки, началась рѣзня—и турокъ попятили назадъ.

— Слава Богу!..—вскричалъ худощавый старикъ.

— Постойте, постойте!—продолжалъ Степанъ Кондратьевичъ.—Этимъ дѣло не кончилось. Все наше войско двинулось впередъ, конница бросилась на непріятельскую пѣхоту, и чтожъ?.. Какъ бы вы думали?.. Турки построились въ каре!... Слышите ли, батюшка? Въ каре!... Что, сударь, когда это бывало?

— Такъ-съ, такъ-съ! Умны стали проклятые!

— Вотъ, наши туда, сюда, и справа, и слѣва — нѣтъ, сударь! Турки стоятъ и дерутся, какъ на маневрахъ!.. Подошли наши резервы, къ нимъ также подоспѣлъ секурсъ, и, какъ слышно, сраженіе продолжалось безпрерывно четверо сутокъ; на пятыя...

— Вѣрно, всѣмъ захотѣлось поѣсть? — прервалъ Зарѣцкій.

— Поѣсть? Нѣтъ сударь, не пойдетъ ѣда на умъ, когда съ нашей стороны,—какъ я уже имѣлъ честь вамъ докладывать,—легло тридцать тысячъ, и не осталось ни одного генерала: кто безъ руки, кто безъ ноги. А главнокомандующаго,—прибавилъ Степанъ Кондратьевичъ вполголоса,—перешибло пополамъ ядромъ, вмѣстѣ съ лошадью.

— Геръ Езусъ!..—вскричалъ нѣмецъ-дядька:—вмѣстѣ съ лошадью!

— Diable! C'est un fier coup de canon! — промолвилъ учитель-французъ.

— Господи Боже мой! — сказалъ худощавый старикъ,—какія потери! Легко вымолвить — всѣ генералы! тридцать рядовыхъ!—Да вѣдь это цѣлая армія!

— Конечно, цѣлая армія, — повторилъ Степанъ Кондратьевичъ.—Въ старину Суворовъ и съ двадцатью тысячами бивалъ по сту тысячъ турокъ. Да то былъ Суворовъ!—Когда подъ Кагуломъ онъ разбилъ визиря...

— Не онъ, а Румянцевъ,—прервалъ Рославлевъ.

— И, сударь! Румянцевъ, Суворовъ — все едино: не тотъ, такъ другой; дѣло въ томъ, что тогда умѣли бить и турокъ и поляковъ. Конечно, мы и теперь пожаловаться не можемъ, у насъ есть и генералы и генералъ-аншефы... гмъ, гмъ!... Впрочемъ, и то сказать, нынѣшніе турки не прежніе—что грѣхъ таить! Учители то у нихъ хороши!—промолвилъ разсказчикъ, взглянувъ значительно на французскаго учителя, который улыбнулся и гордо поправилъ свой галстукъ.

— Говорятъ,—продолжалъ Степанъ Кондратьевичъ,—что у турецкаго султана вся гвардія набрана изъ французовъ, такъ дивиться нечему, если насъ... то есть если мы теряемъ много людей. Слышно также, что будто бы султанъ не больно поддается на мировую и требуетъ отъ насъ Одессу... Конечно, не наше дѣло... а жаль... городъ торговый... портовой... и чего намъ стоила эта скороспѣлка Одесса! Сколько посажено въ нее денегъ!.. Да дѣлать нечего! Какъ не подъ силу придетъ барахтаться, такъ вспомнишь поневолѣ русскую пословицу: худой миръ лучше доброй брани.

Тутъ молчаливый офицеръ медленно повернулся и, взглянувъ пристально на разсказчика, сказалъ:

— Подъ Бухарестомъ не было сраженія; не мы, а турки просятъ мира. Французы служатъ своему императору, а не турецкому султану, и одни подлецы предпочитаютъ постыдный миръ необходимой войнѣ.

Всѣ взоры обратились на незнакомаго офицера. Степанъ Кондратьевичъ хотѣлъ что то сказать, заикнулся, выронилъ изъ рукъ трость, нагнулся ее поднимать и сронилъ съ носа свои зеленые очки. Студенты засмѣялись, и въ то же время, одна изъ служанокъ, внеся въ залу огромную миску съ супомъ, объявила, что кушанье готово. Всѣ сѣли за столъ. Противъ Зарѣцкаго и Рославлева, между худощавымъ старикомъ и толстымъ господиномъ, помѣстился присмирѣвшій Степанъ Кондратьевичъ; прочіе гости разсѣлись также рядомъ, одинъ подлѣ другого, выключая офицера; онъ сѣлъ поодаль отъ другихъ, на концѣ стола, за которымъ оставалось еще много порожнихъ мѣстъ. Проворныя служанки въ одну минуту разнесли тарелки съ супомъ. Наступила глубокая тишина, и только изрѣдка восклицанія: бутылку пива!.. кислыхъ щей!.. бѣлаго хлѣба!.. прерывали общее молчаніе.

— Душенька!—сказалъ Зарѣцкій одной изъ служанокъ, —бутылку шампанскаго.

При семъ необычайномъ требованіи, всѣ головы, опущенныя книзу, приподнялись; у многихъ ложки выпали изъ рукъ отъ удивленія, а служанка остолбенѣла и, перебирая одной рукой свой фартукъ, повторила почти съ ужасомъ: бутылку шампанскаго!

— Да, душенька.

— Настоящаго шампанскаго?

— Да, душенька.

— То есть французскаго, сударь?

— Да, душенька.

Служанка вышла вонъ и, черезъ минуту, воротясь назадъ, сказала, что вино сейчасъ подадутъ.—Вѣдь оно стоитъ восемь рублей, сударь!—прибавила она, поглядывая недовѣрчиво на Зарѣцкаго.

— Знаю, миленькая.

Еслибъ Зарѣцкій былъ хорошимъ физіономистомъ, то безъ труда бы замѣтилъ, что, выключая офицера, всѣ гости смотрѣли на него съ какимъ то невольнымъ почтеніемъ. Толстый господинъ, который только что успѣлъ прегордо и громогласно прокричать: «бутылку сантуринскаго!» вдругъ притихъ и почти шопотомъ повторилъ свое требованіе. Въ ту минуту, какъ Зарѣцкій, дождавшись, наконецъ, шампанскаго, за которымъ хозяинъ бѣгалъ въ ближайшій погребъ, наливалъ первый бокалъ, чтобъ выпить за здоровье невѣсты своего пріятеля,—вошелъ въ залу мужчина высокаго роста, съ огромными черными бакенбардами, въ щеголеватомъ однобортномъ сюртукѣ, въ одной петлицѣ котораго была продѣта ленточка ярко пунцоваго цвѣта. Лицо его было бы довольно пріятно, еслибъ не выражало какую то дерзкую самонадѣянность, какое то безстыдное наянство, которыя при первомъ взглядѣ возбуждали въ каждомъ невольное негодованіе. Вопреки принятому въ сей ресторацiи обычаю, онъ вошелъ въ столовую, не снимая шляпы, бросилъ ее на окно и, не удостоивая никого взглядомъ, сѣлъ за столъ подлѣ Рославлева. Подозвавъ одну изъ служанокъ, онъ сказалъ, что не хочетъ ничего ѣсть, кромѣ жаркого, и велѣлъ себѣ подать бутылку шатолафиту. По иностранному его выговору и по самой физіономіи, не трудно было отгадать, что онъ французъ.

При появленіи сего новаго лица, легкій румянецъ заигралъ на щекахъ молчаливаго офицера; онъ устремилъ на француза свой безчувственный леденѣлый взоръ, и едва замѣтная, но исполненная непріязни и глубокаго презрѣнія улыбка одушевила на минуту его равнодушную и неподвижную физіономію.

— Жареные рябчики!—вскричалъ толстый господинъ, провожая жаднымъ взоромъ служанку, которая на большомъ блюдѣ начала разносить жаркое.—Ну вотъ, почтеннѣйшій! —продолжалъ онъ, обращаясь къ худощавому старику,—не

говорилъ ли я вамъ, что блюда блюдамъ розь. Въ Мысѣ Доброй Надежды и пять блюдъ, но подаютъ ли тамъ за общимъ столомъ вотъ это?—промолвилъ онъ, подхватя на вилку жаренаго рябчика.

— Что правда, то правда,—отвѣчалъ старикъ, принимаясь за свою порцію.—Тамъ изъ жареной телятины шагу не выступятъ.

Чрезъ нѣсколько минутъ обѣдъ кончился. Офицеръ закурилъ сигарку и сѣлъ опять возлѣ окна. Степанъ Кондратьевичъ, поглядывая на него исподлобья, вышелъ въ другую комнату: студенты остались въ столовой, а Зарѣцкій, предложивъ бокалъ шампанскаго французу, который въ свою очередь потчевалъ его лафитомъ, завелъ съ нимъ разговоръ о политикѣ.—Я слышалъ,—сказалъ Зарѣцкій,—что ваши дѣла не такъ то хорошо идутъ въ Испаніи?

Французъ улыбнулся.—Не потому ли вы это думаете,—отвѣчалъ онъ,—что Веллингтону удалось взять обманомъ Бадаіосъ? Не безпокойтесь, онъ дорого за это заплатитъ.

— Однакожъ, вѣрно, не дороже того, что заплатили французы, когда брали Сарагоссу,—возразилъ Рославлевъ.

— Я совѣтую вамъ спросить объ этомъ у сарагосскихъ жителей,—отвѣчалъ французъ, бросивъ гордый взглядъ на Рославлева.—Впрочемъ,—продолжалъ онъ,—я не знаю, почему называютъ войною простую экзекуцію, посланную въ Испанію для усмиренія бунтовщиковъ, которыхъ, къ стыду всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, англійское правительство поддерживаетъ единственно изъ своихъ торговыхъ видовъ?

— Бунтовщиковъ! — сказалъ Рославлевъ. —Но мнѣ кажется, что законный ихъ государь...

— Іосифъ, братъ императора французовъ,—по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока Испанія не названа еще французской провинціею.

— Я не думаю,—возразилъ Зарѣцкій,—чтобы Европа согласилась признать это древнее государство французской провинціею.

— Европа!—повторилъ съ презрительной улыбкою французъ.—А знаете ли, въ какомъ тѣсномъ кругу заключается теперь ваша Европа?... Это небольшое мѣстечко, не далеко отъ Парижа; его называютъ Сен-Клу.

— Какъ, сударь! и вы думаете, что всѣ европейскіе государи...

— Да, мы, французы, привыкли звать ихъ всѣхъ

однимъ общимъ именемъ: Наполеонъ. Это гораздо короче.

Лицо Рославлева покрылось яркимъ румянцемъ; онъ хотѣлъ что то сказать, но Зарѣцкій предупредилъ его.—Итакъ, вы полагаете,—сказалъ онъ французу,—что воля Наполеонова должна быть закономъ для всей Европы?

— Этотъ вопросъ давно уже рѣшенъ,—отвѣчалъ французъ.

— Однакожъ, если вы считаете Англію въ числѣ европейскихъ государствъ, то, кажется... но, впрочемъ, можетъ быть, и англичане также бунтуютъ? Только, я думаю, вамъ трудно будетъ послать къ нимъ экзекуцію: для этого нуженъ флотъ; а по милости бунтовщиковъ-англичанъ, у васъ не осталось ни одной лодки.

— Англія!—вскричалъ французъ.—Да что такое Англія? И можно ли назвать европейскимъ государствомъ этотъ ничтожный островъ, населенный торгашами? Этотъ христіанскій Алжиръ, который скоро не будетъ имѣть никакого сообщенія съ Европою. Нѣтъ, милостивый государь! Англія не въ Европѣ: она въ Азіи; но и тамъ владычество ея скоро прекратится. Индія ждетъ своего освободителя, и, при первомъ появленіи французскихъ орловъ на берегахъ Гангеса, раздастся кликъ свободы на всемъ Индѣйскомъ полуостровѣ.

— Но Россія,—сказалъ Рославлевъ,—Россія, сударь?

— О! Россія, вѣрно, не захочетъ ссориться съ Наполеономъ. Не трогая ни мало вашей національной гордости, можно сказать утвердительно, что всякая борьба Россіи съ Франціею была бы совершеннымъ безуміемъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—прервалъ Зарѣцкій.—Ну, а если мы, на бѣду, сойдемъ съ ума и вздумаемъ съ вами поссориться?

— Отъ всей души желаю,—сказалъ французъ,—чтобъ этого не было; но если, къ несчастію, ваше правительство, ослѣпленное минутнымъ фанатизмомъ нѣкоторыхъ безпокойныхъ людей или обманутое происками британскаго кабинета, рѣшится возстать противъ колосса Франціи, то...

— Ну, сударь! Чтожъ тогда съ нами будетъ?—спросилъ улыбаясь Зарѣцкій.

— Что будетъ? Забавный вопросъ! Кажется, не нужно быть пророкомъ, чтобъ отгадать послѣдствія сего необдуманнаго поступка. Я спрашиваю васъ самихъ: что оста-

нется отъ Россіи, если Польша, Швеція, Турція и Персія возьмутъ назадъ свои области, если всѣ портовые города займутся нашими войсками, если...

— Вы забыли, — вскричалъ Рославлевъ, вскочивъ съ своего мѣста,—что въ Россіи останутся русскіе; что тридцать милліоновъ русскаго народа, говорящихъ однимъ языкомъ, исповѣдывающихъ одну вѣру, могутъ легко истребить многочисленныя войска вашего Наполеона, составленныя изъ всѣхъ народовъ Европы!

— Помилуйте! да что такое народъ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значитъ ничего въ военномъ отношеніи; и Боже васъ сохрани отъ народной войны! Наполеонъ умѣетъ быть великодушнымъ побѣдителемъ. Но горе той землѣ, гдѣ народъ мѣшается не въ свое дѣло! Половина Испаніи покрыта пепломъ, та же участь можетъ постигнуть и ваше отечество. Солдатъ выполняетъ свою обязанность, когда дерется съ непріятелемъ; но мирный гражданинъ долженъ оставаться дома. Въ противномъ случаѣ, онъ разбойникъ, бунтовщикъ, и не заслуживаетъ никакой пощады.

— Разбойникъ!—повторилъ Рославлевъ прерывающимся отъ нетерпѣнія и досады голосомъ.—И вы смѣете называть разбойникомъ того, кто защищаетъ своего государя, отечество, свою семью...

— Чтожъ вы горячитесь?—прервалъ французъ.—Я не мѣшаю вамъ хвалить образъ войны, приличный однимъ варварамъ и отвратительный для каждаго просвѣщеннаго человѣка; но позвольте и мнѣ также остаться при моемъ мнѣніи. Я повторяю вамъ, что народная война не спасла-бъ Россіи, а ускорила-бъ ея погибель. Мы, французы, любимъ пожить весело, сыплемъ деньгами; мы щедры, великодушны, и тамъ, гдѣ насъ принимаютъ съ ласкою, никто не пожалуется на бѣдность; но если мы вынуждены употреблять мѣры строгости, то цѣлыя государства исчезаютъ при нашемъ появленіи. Впрочемъ, все то, что мы говорили, одно только предположеніе, и хотя мнѣніе мое основано на здравомъ смыслѣ...

— И еще на кой-чемъ другомъ,—прибавилъ молчаливый офицеръ, подойдя къ французу.—Позвольте спросить,—продолжалъ онъ спокойнымъ голосомъ,—дорого ли вамъ платятъ за то, чтобъ проповѣдывать вездѣ безусловную покорность къ вашему великому Наполеону?

— Что это значитъ?—спросилъ французъ, вставая съ своего стула.

— И надобно вамъ отдать справедливость,—продолжалъ офицеръ,—вы исполняете вашу, не слишкомъ завидную должность во всѣхъ рублевыхъ трактирахъ, съ такимъ же похвальнымъ усердіемъ, съ какимъ исполняютъ ее другіе въ гостиныхъ комнатахъ хорошаго общества.

— Государь мой! я васъ не понимаю.

— А, кажется, очень понятно. Я васъ давно уже знаю; вы мнѣ надоѣли. Скажите, зачѣмъ у васъ въ петлицѣ эта ленточка? Орденъ Почетнаго Легіона прилично носить храбрымъ французскимъ воинамъ, а вы...

Тутъ офицеръ сказалъ что то на ухо французу.

— Какъ вы смѣете? — вскричалъ онъ, отступивъ два шага назадъ.

— Извините! На нашемъ варварскомъ языкѣ этому ремеслу нѣтъ другого названія. Впрочемъ, господинъ... какъ бы сказать повѣжливѣе, господинъ агентъ, если вамъ это не нравится, то... не угодно ли сюда, къ сторонкѣ: намъ этакъ ловчѣе будетъ познакомиться.

— Да, сударь, я хочу, я требую!...

— Тише, не шумите; а не то я подумаю, что вы трусъ, и хотите отдѣлаться однимъ крикомъ. Послушайте!...

Онъ взялъ за руку француза и, отойдя къ окну, сказалъ ему вполголоса нѣсколько словъ. На лицѣ офицера незамѣтно было ни малѣйшей перемѣны; можно было подумать, что онъ разговариваетъ съ знакомымъ человѣкомъ о хорошей погодѣ или дождѣ. Но пылающія щеки защитника европейскаго образа войны, его безпокойный, хотя гордый и рѣшительный видъ, все доказывало, что дѣло идетъ о назначеніи мѣста и времени для объясненія, въ которомъ краснорѣчивыя фразы и логика ни къ чему не служатъ.

— Вотъ какъ трудно быть увѣрену въ будущемъ,— сказалъ Рославлевъ, выходя съ своимъ пріятелемъ изъ трактира.—Думалъ ли этотъ офицеръ, что онъ встрѣтитъ въ рублевой ресторацiи человѣка, съ которымъ, можетъ быть, завтра долженъ рѣзаться.

— И, полно, mon cher! дѣло обойдется безъ кровопролитія. Если бы каждая трактирная ссора кончалась поединкомъ, то давно бы всѣ рестораторы померли съ голода. И кто дерется за политическія мнѣнія?

— Но если это мнѣніе обижаетъ цѣлую націю?

— Да развѣ нація человѣкъ? Развѣ ее можно обидѣть? Французы и до сихъ поръ не признаютъ насъ за европейцевъ, и за нашу хлѣбъ-соль величаютъ варварами; а отечество наше, въ которомъ соединены климаты всей Европы, называютъ землею бѣлыхъ медвѣдей, и, что всего досаднѣе, говорятъ и печатаютъ, что наши дамы пьютъ водку и любятъ, чтобы мужья ихъ били. Такъ чтожъ, сударь! не прикажете ли за это вызывать на дуэль каждаго парижскаго лоскутника, который изъ насущнаго хлѣба пишетъ и печатаетъ свои бредни? Да Богъ съ ними, на здоровье! Пускай себѣ врутъ, что имъ угодно. Мы отъ ихъ словъ татарами не сдѣлаемся; въ Крыму не будетъ холодно; мужья не станутъ бить своихъ женъ, и, вѣрно, наши дамы, въ угодность французскимъ вояжерамъ, не разрѣшатъ на водку, которую, впрочемъ, мы могли бы называть ликеромъ, точно такъ же, какъ называется ресторацiею харчевня, въ которой мы обѣдали.

Походя нѣсколько времени по опустѣвшему бульвару, наши молодые друзья разстались. Зарѣцкій обѣщалъ чѣмъ свѣтъ пріѣхать проститься съ Рославлевымъ, который спѣшилъ домой, чтобъ отдохнуть и, переодѣвшись, отправиться на вечеръ къ княгинѣ Радугиной.

III.

Въ девятомъ часу вечера, карета Рославлева остановилась въ большой Милліонной, у подъѣзда дома, принадлежащаго княгинѣ Радугиной. Входя въ переднюю, Рославлевъ, съ примѣтнымъ неудовольствіемъ, замѣтилъ въ числѣ слугъ богато одѣтаго егеря, который, развалясь на стулѣ, игралъ своей треугольной шляпою съ зеленымъ султаномъ и поглядывалъ свысока на другихъ лакеевъ, сидѣвшихъ отъ него въ почтенной дистанціи и вполголоса разговаривавшихъ межъ собою. Пройдя пріемную и двѣ гостиныя комнаты, онъ встрѣченъ былъ офиціантомъ, который, растворя дверь въ роскошную диванную, доложилъ о немъ громогласно хозяйкѣ дома.

Родственница Рославлева, богатая вдова, княгиня Радугина, могла служить образцомъ хорошаго тона (къ счастію) тогдашняго времени. Она говорила по-русски дурно, по-французски прекрасно, умирала съ тоски, живя въ Петер-

бургѣ, презирала все русское, жила два года въ Парижѣ, два мѣсяца въ Лозаннѣ и третій уже годъ сбиралась ѣхать въ Италію. Окруженная иностранцами, она привыкла слышать, что Россія и Лапландія почти одно и то же; что отечество наше должно рабски подражать всему чужеземному и быть сколкомъ съ другихъ націй, а особливо съ французской, для того, чтобъ быть чѣмъ-нибудь; что намъ не должно и нельзя мыслить своей головою, говорить своимъ языкомъ, носить издѣлье своихъ фабрикъ, имѣть свою словесность и жить по своему. Бѣдная Радугина въ простотѣ души своей была увѣрена, что высочайшая степень просвѣщенія, до которой Россія могла достигнуть, состояла въ совершенномъ отсутствіи оригинальности, собственнаго характера и національной физіономіи; однимъ словомъ: заслужить названіе обезьянъ Европы, была, по мнѣнію ея, одна возможная и достигаемая цѣль для насъ, несчастныхъ сѣверныхъ варваровъ. Ея всегдашнее общество составлялось предпочтительно изъ чиновниковъ французскаго посольства и изъ нѣсколькихъ русскихъ молодыхъ литераторовъ, которые вслухъ называли ее Коринною, потому что она писала иногда французскіе стишки, а потихоньку смѣялись надъ ней вмѣстѣ съ французами, которые, въ свою очередь, насмѣхались и надъ ней, и надъ ними, и надъ всѣмъ, что казалось имъ забавнымъ и смѣшнымъ въ семъ домѣ, въ коемъ, по словамъ ихъ, каждый день разыгрывали презабавныя пародіи европейскаго просвѣщенія

Княгиня Радугина была нѣкогда хороша собою; но безпрестанные праздники, балы, ночи, проведенныя безъ сна, словомъ, все, что сокращаетъ вѣкъ нашихъ модныхъ дамъ, не оставило на лицѣ ея и признаковъ прежней красоты, несмотря на то, что нѣкогда кричали о ней даже и въ Москвѣ,

. . . . которая и въ древни времена
Прелестными была обильна и славна.

Одни исполненные томности черные глаза ея напоминали еще о семъ, давно-прошедшемъ времени, и дозволяли иногда молодымъ поэтамъ въ миленькихъ французскихъ стишкахъ, по большей части выкраденныхъ изъ конфектной лавки Молинари, сравнивать ее по уму съ одною изъ музъ, а по красотѣ—со всѣми тремя граціями.

Комната, въ которой Рославлевъ нашелъ хозяйку дома, освѣщалась нѣсколькими восковыми свѣчами, поставленными

въ прозрачныхъ фарфоровыхъ вазахъ, и яркимъ огнемъ, пылающимъ въ прекрасномъ мраморномъ каминѣ. На кругломъ столѣ, изъ карельской березы, стоялъ серебряный чайный приборъ; передъ нимъ, на диванѣ, покрытомъ богатой турецкой матеріею, сидѣла княгиня Радугина, облокотясь на вышитую по канвѣ подушку, украшенную изображеніемъ Азора, любимой ея моськи, которая, по своему отвратительному безобразію, могла назваться совершенствомъ въ своемъ родѣ. Возлѣ окна, закинувъ назадъ голову, сидѣлъ на модной козеткѣ одинъ изъ домашнихъ ея поэтовъ; глаза его, устремленные кверху, искали на расписномъ плафонѣ комнаты вдохновенія и четвертой рифмы къ экспромту, заготовляемому на всякій случай. У камина какой то худощавый французскій путешественникъ поилъ съ блюдечка простывшимъ чаемъ толстаго Азора, а подлѣ дивана, одинъ изъ главныхъ чиновниковъ французскаго дипломатическаго корпуса, развалясь въ огромныхъ вольтеровскихъ креслахъ, разговаривалъ съ хозяйкою.

— А, здравствуйте, mon cousin!—сказала Радугина, разумѣется, по-французски, кивнувъ привѣтливо головою входящему Рославлеву.—Не хотите ли чаю?

— Нѣтъ, княгиня, я не пью чаю послѣ обѣда,—отвѣчалъ Рославлевъ, садясь на одинъ изъ порожнихъ стульевъ.

— Я васъ цѣлый вѣкъ не видала. Ужь не прощаться ли вы пріѣхали со мною?

— Вы отгадали. Я завтра ѣду.

— За границу?

— Извините! въ Москву, а потомъ въ деревню.

— Въ деревню! Ахъ, какъ вы мнѣ жалки!... Азоръ! viens ici, mon ami!.. Онъ васъ безпокоитъ, monsieur le comte?

— О, нѣтъ! напротивъ, княгиня! — отвѣчалъ путешественникъ.—Il est charmant! Пей, мой другъ, пей!

— И такъ, вы ѣдете завтра, mon cousin? Когда же вы воротитесь?

— Не знаю; но, вѣрно, не прежде моей свадьбы.

— Ахъ, Боже мой! представьте себѣ, какая дистракція! Я совсѣмъ забыла, что вы помолвлены. Теперь понимаю: вы ѣдете къ вашей невѣстѣ. О, это другое дѣло! Вамъ будетъ весело и въ Москвѣ, и въ деревнѣ, и на краю свѣта. L'amour embellit tout *).

---

*) Любовь все украшаетъ.

бургѣ, презирала все русское, жила два года въ Парижѣ, два мѣсяца въ Лозаннѣ и третій уже годъ сбиралась ѣхать въ Италію. Окруженная иностранцами, она привыкла слышать, что Россія и Лапландія почти одно и то же; что отечество наше должно рабски подражать всему чужеземному и быть сколкомъ съ другихъ націй, а особливо съ французской, для того, чтобъ быть чѣмъ-нибудь; что намъ не должно и нельзя мыслить своей головою, говорить своимъ языкомъ, носить издѣлье своихъ фабрикъ, имѣть свою словесность и жить по своему. Бѣдная Радугина въ простотѣ души своей была увѣрена, что высочайшая степень просвѣщенія, до которой Россія могла достигнуть, состояла въ совершенномъ отсутствіи оригинальности, собственнаго характера и національной физіономіи; однимъ словомъ: заслужить названіе обезьянъ Европы, была, по мнѣнію ея, одна возможная и достигаемая цѣль для насъ, несчастныхъ сѣверныхъ варваровъ. Ея всегдашнее общество составлялось предпочтительно изъ чиновниковъ французскаго посольства и изъ нѣсколькихъ русскихъ молодыхъ литераторовъ, которые вслухъ называли ее Коринною, потому что она писала иногда французскіе стишки, а потихоньку смѣялись надъ ней вмѣстѣ съ французами, которые, въ свою очередь, насмѣхались и надъ ней, и надъ ними, и надъ всѣмъ, что казалось имъ забавнымъ и смѣшнымъ въ семъ домѣ, въ коемъ, по словамъ ихъ, каждый день разыгрывали презабавныя пародіи европейскаго просвѣщенія.

Княгиня Радугина была нѣкогда хороша собою; но безпрестанные праздники, балы, ночи, проведенныя безъ сна, словомъ, все, что сокращаетъ вѣкъ нашихъ модныхъ дамъ, не оставило на лицѣ ея и признаковъ прежней красоты, несмотря на то, что нѣкогда кричали о ней даже и въ Москвѣ,

. . . . которая и въ древни времена
Прелестными была обильна и славна.

Одни исполненные томности черные глаза ея напоминали еще о семъ, давно-прошедшемъ времени, и дозволяли иногда молодымъ поэтамъ въ миленькихъ французскихъ стишкахъ, по большей части выкраденныхъ изъ конфектной лавки Молинари, сравнивать ее по уму съ одною изъ музъ, а по красотѣ—со всѣми тремя граціями.

Комната, въ которой Рославлевъ нашелъ хозяйку дома, освѣщалась нѣсколькими восковыми свѣчами, поставленными

въ прозрачныхъ фарфоровыхъ вазахъ, и яркимъ огнемъ, пылающимъ въ прекрасномъ мраморномъ каминѣ. На кругломъ столѣ, изъ карельской березы, стоялъ серебряный чайный приборъ; передъ нимъ, на диванѣ, покрытомъ богатой турецкой матеріею, сидѣла княгиня Радугина, облокотясь на вышитую по канвѣ подушку, украшенную изображеніемъ Азора, любимой ея моськи, которая, по своему отвратительному безобразію, могла назваться совершенствомъ въ своемъ родѣ. Возлѣ окна, закинувъ назадъ голову, сидѣлъ на модной козеткѣ одинъ изъ домашнихъ ея поэтовъ; глаза его, устремленные кверху, искали на расписномъ плафонѣ комнаты вдохновенія и четвертой рифмы къ экспромту, заготовляемому на всякій случай. У камина какой то худощавый французскій путешественникъ поилъ съ блюдечка простывшимъ чаемъ толстаго Азора, а подлѣ дивана, одинъ изъ главныхъ чиновниковъ французскаго дипломатическаго корпуса, развалясь въ огромныхъ вольтеровскихъ креслахъ, разговаривалъ съ хозяйкою.

— А, здравствуйте, mon cousin!—сказала Радугина, разумѣется, по-французски, кивнувъ привѣтливо головою входящему Рославлеву.—Не хотите ли чаю?

— Нѣтъ, княгиня, я не пью чаю послѣ обѣда,—отвѣчалъ Рославлевъ, садясь на одинъ изъ порожнихъ стульевъ.

— Я васъ цѣлый вѣкъ не видала. Ужь не прощаться ли вы пріѣхали со мною?

— Вы отгадали. Я завтра ѣду.

— За границу?

— Извините! въ Москву, а потомъ въ деревню.

— Въ деревню! Ахъ, какъ вы мнѣ жалки!... Азоръ! viens ici, mon ami!.. Онъ васъ безпокоитъ, monsieur le comte?

— О, нѣтъ! напротивъ, княгиня! — отвѣчалъ путешественникъ.—Il est charmant! Пей, мой другъ, пей!

— И такъ, вы ѣдете завтра, mon cousin? Когда же вы воротитесь?

— Не знаю; но, вѣрно, не прежде моей свадьбы.

— Ахъ, Боже мой! представьте себѣ, какая дистракція! Я совсѣмъ забыла, что вы помолвлены. Теперь понимаю: вы ѣдете къ вашей невѣстѣ. О, это другое дѣло! Вамъ будетъ весело и въ Москвѣ, и въ деревнѣ, и на краю свѣта. L'amour embellit tout *).

---

*) Любовь все украшаетъ.

— Жаль только,—прервалъ путешественникъ,—что любовь не грѣетъ у васъ въ Россіи: это было бы очень кстати. Скажите, княгиня, бываетъ ли у васъ когда-нибудь тепло? Боже мой!—прибавилъ онъ, подвигаясь къ камину,—въ маѣ мѣсяцѣ! Quel pays!

— Чтожъ дѣлать, графъ?—сказала съ глубокимъ вздохомъ хозяйка.—Никто не выбираетъ себѣ отечества!

— Да, сударыня!—подхватилъ дипломатъ.—Еслибъ этотъ выборъ зависѣлъ отъ насъ, то, вѣрно, въ Россіи было-бъ еще просторнѣе, а во Франціи такъ тѣсно, какъ въ большой парижской оперѣ, когда давали въ первый разъ «Торжество Траяна»!

— И когда самъ Траянъ присутствовалъ при своемъ торжествѣ,—прибавилъ путешественникъ.

— Скажите, mon cousin,—сказала Радугина,—вѣдь вы женитесь на Лидиной?

— Да, княгиня.

— На той самой, которая прошлаго года была въ Парижѣ?

— То-есть на ея дочери.

— Надѣюсь, на старшей?

— Да, княгиня, на старшей.

— Ее, кажется, зовутъ Полиною? Charmant personne!.. О чемъ мы съ вами говорили, баронъ?—продолжала Радугина.—Ахъ, да!.. Знаете ли, mon cousin, что вы очень кстати пріѣхали? Мнѣ нужна ваша помощь. Представьте себѣ! Monsieur le baron увѣряетъ меня, что мы должны желать, чтобъ Наполеонъ пришелъ къ намъ въ Россію. Боже мой! какъ это страшно! Скажите, неужели мы въ самомъ дѣлѣ должны желать этого?

Рославлевъ едва усидѣлъ на стулѣ.—Какъ, сударыня!—вскричалъ онъ...

— Да, да! Онъ мнѣ это почти доказалъ.

— Pardon, princesse!—сказалъ хладнокровно дипломатъ:—вы не совсѣмъ меня поняли. Я не говорю, что русскіе должны положительно желать прихода нашихъ войскъ въ ихъ отечество; я объяснялъ только вамъ, что если силою обстоятельствъ Россія сдѣлается поприщемъ новыхъ побѣдъ нашего императора, и русскіе будутъ имѣть благоразуміе удержаться отъ народной войны, то послѣдствія этой кампаніи могутъ быть очень полезны и выгодны для вашей націи.

— Извините, баронъ, мое невѣжество, — сказалъ Рославлевъ,—я, право, не понимаю...

— Не понимаете? Такъ спросите объ этомъ у голландцевъ, у всего Рейнскаго союза; поѣзжайте въ Швейцарію, въ Италію; взгляните на утесистыя, непроходимыя горы, нѣкогда отчаяніе несчастныхъ путешественниковъ, а теперь прорѣзанныя широкими дорогами, по которымъ вы можете, княгиня, прогуливаться въ своемъ ландо спокойнѣе, чѣмъ по Невскому проспекту; спросите въ Террачинѣ и Неаполѣ, куда дѣвались безчисленныя шайки бандитовъ, отъ которыхъ не было проѣзда въ южной Италіи; сравните нынѣшнее просвѣщеніе Европы съ прежними предразсудками и невѣжествомъ, и послѣ этого не понимайте, если хотите, какія безчисленныя выгоды влечетъ за собою присутствіе сего генія, колоссальнаго, какъ міръ, и неизбѣжнаго, какъ судьба.

— Прекрасное сравненіе!—воскликнулъ молодой поэтъ.— Какое у васъ цвѣтущее воображеніе, баронъ!

— Неизбѣжный, какъ судьба!..—повторила почти набожнымъ голосомъ хозяйка дома, поднявъ къ небесамъ свои томные глаза.—Ахъ, какъ долженъ быть величественъ видъ вашего Наполеона!.. Мнѣ кажется, я его вижу передъ собою!.. Какой *грандіозо* долженъ быть въ этомъ орлиномъ взглядѣ, въ этомъ...

— Не глядите такъ высоко, княгиня!—прервалъ съ принужденною улыбкою Рославлевъ. — Наполеонъ невысокаго роста.

— Да, ростомъ онъ меньше вашего великаго Петра,— сказалъ насмѣшливо путешественникъ.

— И ростомъ, и душою!—возразилъ Рославлевъ, устремивъ пылающій взоръ на француза, который почти до половины уже влѣзъ въ каминъ.—Если вы, графъ, читали когда-нибудь исторію...

— Fi, fi! mon cousin!—вскричала Радугина,—вы горячитесь. Развѣ нельзя спорить и разсуждать хладнокровно?

— Вы правы, княгиня,—сказалъ Рославлевъ, стараясь удержаться.—Графъ не можетъ понимать всю великость генія, преобразователя Россіи—онъ не русскій; такъ же какъ я, не будучи французомъ, никакъ не могу постигнуть, какимъ образомъ просвѣщеніе преподается помощію штыковъ и пушекъ. Нѣтъ, господинъ баронъ! если мы и нуждаемся въ профессорахъ, то, вѣроятно, не въ тѣхъ, коихъ всѣ до-

стоинства состоятъ въ личной храбрости, а познанія—въ умѣньи скоро заряжать ружье и мѣтко попадать въ цѣль. Позвольте вамъ напомнить, что въ этомъ отношеніи Россія не имѣетъ причины никому завидовать, и легко можетъ доказать на самомъ дѣлѣ — даже и побѣдителямъ полувселенной.

Дипломатъ улыбнулся и, не говоря ни слова, вынулъ изъ кармана брауншвейгскую бумажную табакерку съ прекраснымъ пейзажемъ. Попотчевавъ табакомъ Рославлева, онъ сказалъ: — Посмотрите, какъ хорошо дѣлаютъ нынче эти бездѣлки. Какой правильный рисунокъ!.. Это видъ Аустерлица.

— Да,—отвѣчалъ спокойно Рославлевъ,—я видѣлъ почти такую же табакерку; не помню хорошенько, кажется, съ видомъ Прейсишъ-Ейлау, или Нови. Она еще лучше этой.

Господинъ баронъ смутился и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ: Какъ жаль, что подъ Нови вашъ Суворовъ дрался не съ Наполеономъ. Это былъ бы одинъ изъ лучшихъ листковъ въ лавровомъ вѣнкѣ нашего императора.

— Да, еслибъ французы не были разбиты.

— Но неужели вы думаете, что это могло случиться, когда бы нашимъ войскомъ командовалъ самъ Наполеонъ.

— Извините! я не думаю, а увѣренъ въ этомъ.

— Bienheureux ceux qui croient *), пробормоталъ путешественникъ, подкладывая дровъ въ потухающій каминъ.

Поэтъ улыбнулся, а хозяйка съ сожалѣніемъ посмотрѣла на Рославлева.

— Но мы отбились отъ нашей матеріи,—продолжалъ дипломатъ.—Вамъ кажется страннымъ просвѣщеніе, распространяемое помощію оружія; согласитесь, по крайней мѣрѣ, что порядокъ, устройство и общеполезныя работы, которыя гигантскимъ своимъ объемомъ напоминаютъ почти баснословныя дѣла древнихъ римлянъ, должны быть необходимымъ слѣдствіемъ твердой воли, неразлучной съ силою. Для приведенія въ дѣйствіе высокихъ предначертаній, коихъ польза постигается только впослѣдствіи, нужно всемогущество, коимъ обладаетъ Наполеонъ; необходимы его безчисленныя войска... И если Россія желаетъ подвинуться впередъ...

— И, господинъ баронъ!—прервалъ съ улыбкою Ро-

*) Блаженны вѣрующіе.

славлевъ,—что вамъ за радость просвѣщать насильно націю, которая одна, по своей силѣ и самобытности, можетъ сдѣлаться современемъ счастливой соперницею Франціи. Предоставьте это времени и собственному ея желанію—сравниться въ просвѣщеніи съ остальной частію Европы. Россія и безъ вашей насильственной помощи идетъ скорыми шагами къ сей высокой цѣли всѣхъ народовъ. Поглядите вокругъ себя! Скажите, произвели ли ваши предки, въ теченіе многихъ вѣковъ, то, что создано у насъ въ одно столѣтіе? Не походитъ ли на быструю перемѣну декорацій вашей парижской оперы это появленіе великолѣпнаго Петербурга среди непроходимыхъ болотъ и безлюдныхъ пустынь сѣвера?

— Да неужели вы думаете, сударь, что вашъ Петербургъ можетъ назваться европейскимъ городомъ? И, полноте!.. Въ немъ все начато, и ничто не кончено. Ваши широкія улицы походятъ на площади; ваши площади—на какія то незастроенныя пустопорожнія мѣста; ваши длинные, невысокіе дома—на фабрики... Набережныя у васъ не дурны; но чѣмъ можно назвать эти расписные деревянные мостики? Есть ли въ Петербургѣ хоть одна порядочная церковь? Что такое ваша Казанская? Огромная куча матеріаловъ, подъ которою зарыты нѣкоторыя, опрятно отдѣланныя части, не выкупающія ни мало всю нестройность и безобразіе цѣлаго. О, будьте спокойны, господа русскіе! Если французы придутъ въ Петербургъ, то, вѣрно, не позавидуютъ вашему Казанскому собору, а увезутъ, можетъ быть, съ собой его гранитныя колонны.

— Бога ради, баронъ!—сказала хозяйка,—не говорите этого при родственникѣ моемъ, князѣ Радугинѣ. Онъ безъ памяти отъ этой церкви, и знаете ли, почему? Потому что въ построеніи ея участвовали одни русскіе художники.

— О, это очень замѣтно! — подхватилъ путешественникъ.

— Князь Радугинъ!—повторилъ съ примѣтной досадою дипломатъ.—Какъ жаль, княгиня, что вы родня этому фанатику, этому необразованному камчадалу, этому...

— Ахъ! что вы, monsieur le baron! Конечно, я не спорю, онъ морякъ, его формы нѣсколько странны, тонъ очень дуренъ, а бѣшеный патріотизмъ отмѣнно смѣшенъ; но, несмотря на это, онъ, право, добрый и честный человѣкъ.

— Согласенъ, княгиня! Я не понимаю только, чего

смотритъ ваше правительство? Человѣкъ, который можетъ заразить многихъ своимъ безумнымъ и вреднымъ фанатизмомъ, который не скрываетъ даже своей ненависти къ французамъ, можетъ ли быть терпимъ въ русской столицѣ?

— А въ какой же, сударь?—спросилъ насмѣшливо Рославлевъ.—Ужь не въ французской ли?

— Нигдѣ, сударь, нигдѣ! Такіе опасные люди не должны быть терпимы во всей Европѣ. Пусть они ѣдутъ въ Англію или Восточную Индію; пусть проповѣдываютъ тамъ возмутительныя свои правила; по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока на берегахъ Темзы не развѣваются еще знамена Франціи.

— Не скоро же они уймутся говорить,—сказалъ Рославлевъ.

— Вы думаете? Нѣтъ, сударь, скоро наступитъ послѣдній часъ владычеству этихъ морскихъ разбойниковъ; принятая всей Европою континентальная система не выполнялась до сихъ поръ въ Россіи, съ той непреклонной настойчивостію, какую требуютъ пользы Франціи и ваши собственныя. Но теперь, когда вашему двору извѣстна рѣшительная воля императора, когда никакія дипломатическія увертки не могутъ имѣть мѣста, когда нѣтъ середины, и русскіе должны вступить въ бой столь неравный или повиноваться...

— Повиноваться?—повторилъ Рославлевъ.—Вы забыли, сударь, что мы повинуемся только законному государю нашему, а русскій царь—одному Богу и своей совѣсти! Послушайте, баронъ! Вы, кажется, довольно и даже слишкомъ откровенно говорили съ русскимъ дворяниномъ; позвольте же и мнѣ въ мою очередь быть также откровеннымъ. Скажите, для чего эти безпрестанныя угрозы, этотъ невыносимый, повелительный тонъ, эта увѣренность, съ которой вы говорите о будущихъ побѣдахъ вашихъ? Или вы не чувствуете, что, унижая всѣ прочія націи, вы дѣлаете вашу ненавистною для всѣхъ? Торжествуйте дома ваши побѣды, наслаждайтесь плодами ихъ, будьте сильнѣйшей націею въ Европѣ; но, Бога ради! не душите всѣхъ вашей славою. Оскорбляя безпрестанно самолюбіе другихъ народовъ, вы заставите, наконецъ, ихъ очнуться отъ ихъ непонятнаго и позорнаго сна. Къ чему все то, что вы говорили о Россіи? Если вы думаете застращать насъ, то очень ошибаетесь, господинъ баронъ! Чувство, которое съ нѣкотораго времени

сдѣлалось общимъ въ Россіи,—нѣтъ сударь!.. это чувство не походитъ на страхъ. Мы нѣкогда любили васъ, какъ друзей; теперь начинаемъ ненавидѣть, какъ злѣйшихъ непріятелей. Повѣрьте, на обширныхъ поляхъ нашихъ, усѣянныхъ костями литовцевъ и татаръ, найдется еще довольно мѣста и для новыхъ незваныхъ гостей!.. Извините, баронъ! такъ думаю я, такъ думаютъ всѣ русскіе!

— Вы очень краснорѣчиво защищаете вашу національную славу,—сказалъ съ улыбкою дипломатъ.—Жаль только, что вы ошибаетесь въ одномъ: выключая нѣкоторыхъ заносчивыхъ патріотовъ, всѣ русскіе любятъ насъ точно также, какъ любили прежде. Не спорю, можетъ быть, правительство ваше... но народъ, а особливо дворяне... О! въ нихъ мы совершенно увѣрены. Не правда ли? Вы попрежнему предпочитаете нашъ языкъ вашему собственному, перенимаете всѣ наши обычаи, одѣваетесь по нашему; словомъ, стараетесь во всемъ походить на насъ. Признайтесь, что это презабавныя доказательства національной ненависти. Нѣтъ, сударь, добрые русскіе, несмотря ни на какія политическія отношенія, останутся всегда друзьями французовъ. Почтеніе, которое они доказываютъ къ нашему дипломатическому корпусу, ихъ уваженіе даже къ одному имени Франціи, любовь къ писателямъ нашимъ, все доказываетъ эту неоспоримую истину...

— Князь Дмитрій Павловичъ Радугинъ!—сказалъ вошедшій слуга.

— Мой зять!—вскричала хозяйка.

— Не принимайте этого готтентота, — шепнулъ дипломатъ.—Ахъ, Боже мой!—продолжалъ онъ, отодвигая свое кресло отъ дивана,—какая тоска! Вотъ онъ!

Двери настежъ растворились, и мужчина высокаго роста, лѣтъ пятидесяти, въ морскомъ вицъ-мундирѣ и съ георгіевскимъ крестомъ въ петлицѣ, вошелъ въ комнату.—Здравствуй, сестра!—сказалъ онъ.—Здорово, Рославлевъ! Bonjour, messieurs!

— Здравствуйте, князь!—проговорила тихимъ голосомъ и по-русски хозяйка дома.—Я сегодня очень нездорова: ужасно болитъ голова; и если вы, по вашему обыкновенію, станете кричать...

— Не безпокойся!—прервалъ князь Радугинъ, садясь на диванъ.—Я заѣхалъ къ тебѣ на минуту, разсказать одну презабавную исторію, и очень радъ, что засталъ у тебя

смотритъ ваше правительство? Человѣкъ, который можетъ заразить многихъ своимъ безумнымъ и вреднымъ фанатизмомъ, который не скрываетъ даже своей ненависти къ французамъ, можетъ ли быть терпимъ въ русской столицѣ?

— А въ какой же, сударь?—спросилъ насмѣшливо Рославлевъ.—Ужь не въ французской ли?

— Нигдѣ, сударь, нигдѣ! Такіе опасные люди не должны быть терпимы во всей Европѣ. Пусть они ѣдутъ въ Англію или Восточную Индію; пусть проповѣдываютъ тамъ возмутительныя свои правила; по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока на берегахъ Темзы не развѣваются еще знамена Франціи.

— Не скоро же они уймутся говорить,—сказалъ Рославлевъ.

— Вы думаете? Нѣтъ, сударь, скоро наступитъ послѣдній часъ владычеству этихъ морскихъ разбойниковъ; принятая всей Европою континентальная система не выполнялась до сихъ поръ въ Россіи, съ той непреклонной настойчивостію, какую требуютъ пользы Франціи и ваши собственныя. Но теперь, когда вашему двору извѣстна рѣшительная воля императора, когда никакія дипломатическія увертки не могутъ имѣть мѣста, когда нѣтъ середины, и русскіе должны вступить въ бой столь неравный или повиноваться...

— Повиноваться?—повторилъ Рославлевъ.—Вы забыли, сударь, что мы повинуемся только законному государю нашему, а русскій царь—одному Богу и своей совѣсти! Послушайте, баронъ! Вы, кажется, довольно и даже слишкомъ откровенно говорили съ русскимъ дворяниномъ; позвольте же и мнѣ въ мою очередь быть также откровеннымъ. Скажите, для чего эти безпрестанныя угрозы, этотъ невыносимый, повелительный тонъ, эта увѣренность, съ которой вы говорите о будущихъ побѣдахъ вашихъ? Или вы не чувствуете, что, унижая всѣ прочія націи, вы дѣлаете вашу ненавистною для всѣхъ? Торжествуйте дома ваши побѣды, наслаждайтесь плодами ихъ, будьте сильнѣйшей націею въ Европѣ; но, Бога ради! не душите всѣхъ вашей славою. Оскорбляя безпрестанно самолюбіе другихъ народовъ, вы заставите, наконецъ, ихъ очнуться отъ ихъ непонятнаго и позорнаго сна. Къ чему все то, что вы говорили о Россіи? Если вы думаете застращать насъ, то очень ошибаетесь, господинъ баронъ! Чувство, которое съ нѣкотораго времени

сдѣлалось общимъ въ Россіи,—нѣтъ сударь!.. это чувство не походитъ на страхъ. Мы нѣкогда любили васъ, какъ друзей; теперь начинаемъ ненавидѣть, какъ злѣйшихъ непріятелей. Повѣрьте, на обширныхъ поляхъ нашихъ, усѣянныхъ костями литовцевъ и татаръ, найдется еще довольно мѣста и для новыхъ незваныхъ гостей!.. Извините, баронъ! такъ думаю я, такъ думаютъ всѣ русскіе!

— Вы очень краснорѣчиво защищаете вашу національную славу,—сказалъ съ улыбкою дипломатъ.—Жаль только, что вы ошибаетесь въ одномъ: выключая нѣкоторыхъ заносчивыхъ патріотовъ, всѣ русскіе любятъ насъ точно также, какъ любили прежде. Не спорю, можетъ быть, правительство ваше... но народъ, а особливо дворяне... О! въ нихъ мы совершенно увѣрены. Не правда ли? Вы попрежнему предпочитаете нашъ языкъ вашему собственному, перенимаете всѣ наши обычаи, одѣваетесь по нашему; словомъ, стараетесь во всемъ походить на насъ. Признайтесь, что это презабавныя доказательства національной ненависти. Нѣтъ, сударь, добрые русскіе, несмотря ни на какія политическія отношенія, останутся всегда друзьями французовъ. Почтеніе, которое они показываютъ къ нашему дипломатическому корпусу, ихъ уваженіе даже къ одному имени Франціи, любовь къ писателямъ нашимъ, все доказываетъ эту неоспоримую истину...

— Князь Дмитрій Павловичъ Радугинъ!—сказалъ вошедшій слуга.

— Мой зять!—вскричала хозяйка.

— Не принимайте этого готтентота, — шепнулъ дипломатъ.—Ахъ, Боже мой!—продолжалъ онъ, отодвигая свое кресло отъ дивана,—какая тоска! Вотъ онъ!

Двери настежъ растворились, и мужчина высокаго роста, лѣтъ пятидесяти, въ морскомъ вицъ-мундирѣ и съ георгіевскимъ крестомъ въ петлицѣ, вошелъ въ комнату.—Здравствуй, сестра!—сказалъ онъ.—Здорово, Рославлевъ! Bonjour, messieurs!

— Здравствуйте, князь!—проговорила тихимъ голосомъ и по-русски хозяйка дома.—Я сегодня очень нездорова: ужасно болитъ голова; и если вы, по вашему обыкновенію, станете кричать...

— Не безпокойся!—прервалъ князь Радугинъ, садясь на диванъ.—Я заѣхалъ къ тебѣ на минуту, разсказать одну презабавную исторію, и очень радъ, что засталъ у тебя

этихъ господъ. Такъ и быть!.. Дурно ли, хорошо ли, а разскажу этотъ анекдотъ по-французски: пускай и они посмѣются вмѣстѣ со мною.. Ecoutez, messieurs! — промолвилъ Радугинъ по французски.—Хотите ли, я вамъ разскажу презабавную новость?

— Мы васъ слушаемъ, князь!—отвѣчалъ съ вѣжливой улыбкою дипломатъ.

Вояжеръ пересталъ также раздувать огонь въ каминѣ и придвинулся къ дивану.

— Вотъ, господа! съ часъ тому назадъ, — продолжалъ князь Радугинъ,—въ Большой Морской повстрѣчались двѣ кареты; въ одной изъ нихъ сидѣлъ вашъ посланникъ, а въ другой какой то гвардейскій прапорщикъ, разумѣется, малый молодой. По неосторожности кучеровъ, колесо одной кареты зацѣпилось за колесо другой; къ счастію, оба кучера успѣли остановить лошадей. Вотъ, его превосходительство обидѣлся, зашумѣлъ, закричалъ; офицеръ сталъ извиняться; но посланникъ не хотѣлъ слышать никакихъ извиненій и поднялъ такой штурмъ, какъ будто-бъ дѣло шло о чести всей Франціи. Между тѣмъ, кругомъ каретъ столпились сотни двѣ зѣвакъ. Лакеи суетились вокругъ экипажей; но, несмотря на помощь проходящихъ, не могли никакъ ихъ расцѣпить. Офицеръ высунулся въ окно и, продолжая извиняться, сказалъ его превосходительству, что должно непремѣнно подвинуть назадъ его карету.—Французы никогда не двигаются назадъ!—отвѣчалъ гордо посланникъ.—И русскіе также!—возразилъ офицеръ. — Пошелъ!—Кучеръ ударилъ по лошадямъ; онѣ рванулись... кракъ!—у посланника одного колеса какъ не бывало. Офицерская карета помчалась вдоль улицы, и весь народъ закричалъ: Славно! ай да молодецъ!

— Quelle horreur!—вскричала Радугина.

— Quelle audace!—воскликнулъ дипломатъ.

— Ça n'a pas de nom!—прибавилъ путешественникъ.

Глаза Рославлева заблистали удовольствіемъ, а бѣдный поэтъ испугался, поблѣднѣлъ и, казалось, готовъ былъ закричать:—Ей Богу! я незнакомъ съ этимъ офицеромъ!

— А что всего любопытнѣе, — продолжалъ Радугинъ, такъ это то, что, по разсказамъ, громче всѣхъ кричали: ай да молодецъ! спасибо ему!—какъ вы думаете, кто? Мужики? Нѣтъ, сударь! порядочные и очень порядочные люди!

— Быть не можетъ! — сказалъ дипломатъ.—Такая дерзость!..

— Дерзость или нѣтъ, этого мы не знаемъ; дѣло только въ томъ, что карета, я думаю, лежитъ и теперь еще на боку!

— Но не ушибся ли господинъ посланникъ?—спросилъ торопливо путешественникъ.

— Нѣтъ, графъ! Говорятъ, что онъ поизмялъ только свою прическу à la Titus и разбилъ себѣ носъ.

— Поѣдемте скорѣй узнать—справедливо ли это! — сказалъ путешественнику испуганный дипломатъ.—О, если это правда, то должно примѣрно наказать, надобно потребовать une réparation éclatante! Честь Франціи... честь нашего императора!.. Ѣдемте, графъ! ѣдемте!

— Какъ вы думаете,—спросила хозяйка на русскомъ языкѣ князя Радугина,—не послать ли и мнѣ? не ѣхать ли самой?...

— А что ты думаешь, сестра? Конечно! ты молодая вдова, русская барыня, онъ французъ, любезенъ, человѣкъ не старый; въ самомъ дѣлѣ, это очень будетъ прилично. Ступай, матушка, ступай!

— Но точно ли это правда?

— Дай то, Господи! молебенъ бы отслужилъ.

— Отъ кого вы слышали?

— Вотъ то то и бѣда! мнѣ разсказывалъ объ этомъ одинъ всесвѣтный лгунъ. Да, Богъ милостивъ, быть можетъ, на этотъ разъ онъ сказалъ и правду.

Французы, спѣша узнать о здоровьѣ своего посла, откланялись хозяйкѣ. Рославлевъ воспользовался симъ случаемъ; чтобъ распрощаться также съ своей кузиною, обнялъ дружески князя Радугина и отправился домой.

IV.

Вдали, сквозь утренній туманъ, сверкали верхи позлащенныхъ спицовъ адмиралтейства и высокой колокольни Петропавловскаго собора; но солнце еще не показалось изъ за частой сосновой рощи, и густая тѣнь лежала на кровлѣ двухъ-этажнаго дома старинной архитектуры, въ которомъ помѣщался трактиръ, извѣстный подъ названіемъ: Руки или Средней Рогатки. Все было тихо на большой Московской дорогѣ, скучной и однообразной, въ сравненіи съ другими окрестностями Петербурга. Вдругъ послышался

вдали звонкій валдайскій колокольчикъ; онъ умолкалъ на минуту, и раздавался опять: то тише, то громче; частилъ, перебивалъ, заливался и снова переставалъ звенѣть. Вдоль дороги отъ Петербурга, разстилая направо и налѣво густыя облака пыли, неслась на лихой шестернѣ почтовыхъ открытая коляска, за которою едва успѣвали скакать дрожки, запряженныя щегольской парою разношерстныхъ лошадей. Коляска остановилась у дверей трактира; изъ нея выпрыгнулъ Рославлевъ въ дорожномъ платьѣ и фуражкѣ, а вслѣдъ за нимъ сталъ вылѣзать, зѣвая и потягиваясь, Зарѣцкій, закутанный въ гороховую шинель, съ пятью или шестью воротниками. Слуга побѣжалъ будить трактирщика, а наши пріятели сѣли на скамью, подлѣ дверей.

— Ну, mon cher!—сказалъ Зарѣцкій,—теперь, надѣюсь, ты не можешь усомниться въ моей дружбѣ. Я легъ спать во второмъ часу и всталъ въ четвертомъ для того, чтобъ проводить тебя до Средней Рогатки, до которой мы, я думаю, часа два ѣхали. Съ чего взяли, что этотъ скверный трактиръ на восьмой верстѣ отъ Петербурга? Ужь я дремалъ, дремалъ! Ну, право, мы верстъ двадцать отъѣхали. Ахъ, батюшки! какъ я исковерканъ!

— Скажи пожалуйста, Александръ,—спросилъ Рославлевъ —давно ли ты сдѣлался такой нѣженкой? Когда мы служили съ тобой вмѣстѣ, ты не зналъ устали и готовъ былъ по цѣлымъ суткамъ не сходить съ коня.

— Тогда я носилъ мундиръ, mon cher! А теперь во фракѣ хочу посибаритничать. Однакожъ, знаешь ли, мой другъ? Хоть я не очень скучаю теперешнимъ моимъ положеніемъ, а все-таки мнѣ было веселѣе, когда я служилъ. Почему знать? Можетъ быть, скоро понадобятся офицеры; стоитъ намъ поссориться съ французами... Признаюсь, люблю я этотъ милый и веселый народъ; что и говорить, славная нація. А какъ подумаешь, такъ надобно съ ними порѣзаться: зазнались разбойники! Послушай, Вольдемаръ, если у насъ будетъ война, я пойду опять въ гусары.

— И я также,—сказалъ Рославлевъ.

— Давай руку! Что, въ самомъ дѣлѣ! служить, такъ служить вмѣстѣ; а когда кампанія кончится, и мы опять поладимъ съ французами, такъ знаешь ли что?... Качнемъ въ Парижъ! То то бы пожили и повеселились! Эхъ, милый! Что ни говори, а вѣдь у насъ, право, скучно!

— Я этого не вижу.

— Да полно, mon cher! что за патріотизмъ, когда дѣло идетъ о весельѣ? Я не менѣе твоего люблю наше отечество, и готовъ за него драться до послѣдней капли крови; а если заберетъ зѣвота, такъ прошу не погнѣваться, не останусь ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ, а махну прямехонько въ Парижъ, и даже съ условіемъ: не просыпаться ни разу дорогою, а особливо проѣзжая черезъ ученую Германію.

— Нѣтъ, мой другъ! Если ты узнаешь скуку, то не разстанешься съ нею и въ Парижѣ. Когда мы кружимся въ вѣчномъ чаду, живемъ безъ всякой цѣли; когда чувствуемъ въ душѣ нашей какую то несносную пустоту...

— Ахъ, виноватъ, мой другъ! Я вѣдь и забылъ, что душа твоя полна любви; а въ той странѣ, гдѣ живетъ наша любезная, разумѣется, круглый годъ цвѣтутъ розы и воздухъ дышитъ ароматомъ. Но кстати, я и не подумалъ, какъ же ты сдержишь свое слово, и пойдешь опятъ въ гусары? Если ты успѣешь обвѣнчаться, такъ жена за тебя уцѣпится; если будешь женихомъ, то самъ не захочешь покинуть своей невѣсты. Вотъ я—такъ вольный казакъ: что хочу, то и дѣлаю. У меня точно такъ же, какъ у тебя, нѣтъ ни отца, ни матери; старая моя тетушка, вѣрно, не будетъ меня удерживать. Правда, у меня есть и кузины, въ пятомъ или шестомъ колѣнѣ; но клянусь тебѣ честію, я люблю ихъ всѣхъ, какъ родныхъ сестеръ — такъ онѣ больно плакать обо мнѣ не станутъ. Однакожъ послушай, Вольдемаръ: если ужь мы объ этомъ заговорили, такъ разскажи-ка мнѣ, какъ ты влюбился, и что такое эта проклятая любовь, отъ которой умные люди сходятъ съ ума, а дураки иногда становятся умнѣе?

— Ты знаешь, Александръ, что я все прошлое лѣто жилъ въ деревнѣ, верстахъ въ пятидесяти отъ Москвы. Около середины лѣта пріѣхала въ мое сосѣдство богатая вдова Лидина, съ двумя дочерьми; она только что воротилась изъ Парижа и должна была, для приведенія въ порядокъ дѣлъ своихъ, прожить нѣсколько лѣтъ въ деревнѣ. Я былъ уже давно знакомъ съ городничимъ нашего уѣзднаго города, маіоромъ Ильменевымъ. Какъ образчикъ нѣкоторыхъ закоренѣлыхъ невѣждъ прошедшаго поколѣнія, этотъ Ильменевъ могъ бы занять не послѣднее мѣсто въ комедіи Недоросль, еслибъ въ числѣ первыхъ комическихъ лицъ сей

пьесы были люди добрые, честные и забавные только своимъ невѣжествомъ. Онъ познакомилъ меня съ роднымъ братомъ Лидиной, Николаемъ Степановичемъ Ижорскимъ, также изряднымъ чудакомъ, который на другой же день отрекомендовалъ меня своей сестрѣ. Ты можешь себѣ представить, какъ я обрадовался, найдя въ моихъ сосѣдкахъ милыхъ, любезныхъ и просвѣщенныхъ женщинъ.

— Да, мой другъ; въ провинціи ты могъ себя поздравить съ этой находкою.

— Маменька имѣетъ свою смѣшную сторону; но дочери...

— Что и говорить—прелесть, совершенство!... А которое изъ этихъ двухъ совершенствъ свело тебя съ ума?

— Оленька, меньшая сестра, понравилась мнѣ съ перваго раза болѣе старшей сестры своей, Полины.

— Съ перваго раза? Слѣдовательно, ты влюбленъ въ старшую? Да чтожъ тебѣ сначала въ ней понравилось? Что она блондинка или брюнетка?

— У обѣихъ сестеръ голубые глаза; онѣ обѣ прекрасны и даже очень походятъ другъ на друга; но, несмотря на это... право, не знаю, какъ тебѣ объяснить различіе, передъ которымъ исчезаетъ совершенно это наружное сходство. Оленька добра, простодушна, привѣтлива, почти всегда весела, стыдлива и скромна, какъ застѣнчивое дитя, а разсудительна и благоразумна, какъ опытная женщина; но при всѣхъ сихъ достоинствахъ, никакой поэтъ не назвалъ бы ее существомъ небеснымъ; она просто—прелестный земной цвѣтокъ, украшеніе здѣшняго міра. Но сестра ея... ахъ! какое неземное чувство горитъ въ ея вѣчно-томныхъ, унылыхъ взорахъ; все, что сближаетъ землю съ небесами, все высокое, прекрасное доступно до этой чистой, пламенной души! Оленька, съ согласія своей матери, выйдетъ замужъ, сдѣлается доброй, нѣжной матерью; но никогда не будетъ умѣть любить какъ Полина! Въ нѣсколько дней нашего знакомства, я сталъ почти домашнимъ человѣкомъ у Лидиной. Оленька перестала меня дичиться; не прошло двухъ недѣль, и она бѣгала уже со мной по саду, гуляла по полямъ, по рощѣ, однимъ словомъ, обращалась какъ съ роднымъ братомъ. Съ дѣтской откровенностью милаго ребенка она высказывала мнѣ все, что приходило ей въ голову, и часто удивляла меня своимъ незатѣйливымъ, но яснымъ и вѣрнымъ понятіемъ о свѣтѣ.

Съ Полиною я не скоро познакомился. Сначала мнѣ казалось даже, что она убѣгаетъ всѣхъ случаевъ быть вмѣстѣ со мною; наконецъ, мало-по-малу, мы сблизились, и только тогда, когда я узналъ всю красоту души этого воплощеннаго ангела, я понялъ причину ея задумчивости и всегдашняго унынія. Да, другъ мой! Полина слишкомъ совершенна для здѣшняго міра! Ея живое, цвѣтущее воображеніе облекаетъ все въ какую то неземную одежду. Однажды я читалъ обѣимъ сестрамъ только что вышедшій романъ: Матильда или Крестовые походы. Когда мы дошли до того мѣста, гдѣ врагъ всѣхъ христіанъ, врагъ отечества Матильды, невѣрный мусульманинъ, Малекъ Адель, умираетъ на рукахъ ея—добрая Оленька, обливаясь слезами, сказала: «Бѣдняжка! зачѣмъ она полюбила этого турка! Вѣдь онъ не могъ быть ея мужемъ!» Но Полина не плакала;—нѣтъ, на лицѣ ея сіяла радость! Казалось, она завидовала жребію Матильды и раздѣляла вмѣстѣ съ ней эту злосчастную, безкорыстную любовь, въ которой не было ничего земного.

— Воля твоя, Вольдемаръ!—прервалъ Зарѣцкій, покачивая головою:—это что то ужь больно хитро! Какъ же ты, не будучи ни врагомъ ея, ни татариномъ, успѣлъ ей понравиться и рѣшился изъясниться въ любви?

— Я долго колебался, и хотя замѣчалъ, что частыя мои посѣщенія были вовсе не противны Лидиной, но, не смѣя самъ предложить мою руку ея дочери, рѣшился однимъ угромъ открыться во всемъ Оленькѣ; я сказалъ ей, что все мое счастье зависитъ отъ нея. Какъ теперь гляжу: она испугалась, поблѣднѣла; но когда услышала, что я влюбленъ въ Полину, то лицо ея покрылось живымъ румянцемъ, глаза заблистали радостію.—Боже мой! Боже мой!—вскричала она;—вы хотите жениться на Полинѣ? Какъ я рада!.. Вы будете моимъ братомъ!... Не правда ли? Вы станете называть меня сестрою? О! теперь я никогда не выйду замужъ! Нѣтъ, я вѣчно буду жить вмѣстѣ съ вами! Ахъ, Боже мой, какъ я рада!—Добрая Оленька и плакала и улыбалась въ одно время. Слезы градомъ катились изъ глазъ ея; но, казалось, въ эту минуту она была такъ счастлива!.. Весь этотъ день я провелъ въ ужасной неизвѣстности. Полина не выходила изъ своей комнаты, а Оленька примѣтнымъ образомъ старалась не оставаться со мною наединѣ. Другой день прошелъ точно также; наконецъ, на третій...

— Слава Богу!—вскричалъ Зарѣцкій.—Ну, мой другъ! терпѣливъ ты!

— На третій день, по утру,—продолжалъ Рославлевъ,—Оленька сказала мнѣ, что я не противенъ ея сестрѣ; но что она не отдастъ мнѣ своей руки до тѣхъ поръ, пока не увѣрится, что можетъ составить мое счастіе, и требуетъ, въ доказательство любви моей, чтобъ я цѣлый годъ не говорилъ ни слова объ этомъ ея матери и ей самой.

— Цѣлый годъ! И ты, рыцарь Амадисъ, на это согласился?

— Ахъ, мой другъ! я согласился бы на все! Одна надежда назвать ее когда-нибудь моею—была уже для меня неизъяснимымъ счастіемъ. Въ первые три мѣсяца моего испытанія, сосѣдство наше умножилось пріѣздомъ отставного полковника Сурскаго, котораго небольшая деревенька была въ двухъ верстахъ отъ моего села. Я скоро подружился съ симъ почтеннымъ человѣкомъ, умѣвшимъ соединить въ себѣ откровенность прямодушнаго воина съ умомъ истинно просвѣщеннымъ и обширными познаніями. Дружба его была для меня одной отрадою; я говорилъ съ нимъ о Полинѣ, и хотя онъ часто покачивалъ головою и называлъ ее мечтательницею, но, несмотря на это, полюбилъ всей душою, однакоже гораздо менѣе, чѣмъ Оленьку, которая межъ тѣмъ употребляла все, чтобъ сократить время моего испытанія. Наконецъ, просьбы ея и краснорѣчіе друга моего Сурскаго побѣдили упорство Полины. Три недѣли тому назадъ, я назвалъ ее моей невѣстою, и когда черезъ нѣсколько дней послѣ этого, отправляясь для окончанія необходимыхъ дѣлъ въ Петербургъ, я сталъ прощаться съ нею, когда, въ первый разъ, она позволила мнѣ прижать ее къ моему сердцу, и кроткимъ, очаровательнымъ своимъ голосомъ шепнула мнѣ: «Пріѣзжай скорѣй назадъ, мой другъ!» тогда—о! тогда всѣ мои трехмѣсячныя страданія, всѣ ночи, проведенныя безъ сна, въ тоскѣ, въ мучительной неизвѣстности,—все изгладилось въ одно мгновеніе изъ моей памяти!... Ахъ, Александръ! Если-бъ ты любилъ когда-нибудь, еслибъ ты зналъ, что такое: «мой другъ» въ устахъ обожаемой женщины, еслибъ ты могъ понять, какой міръ блаженства заключаютъ въ себѣ эти два простыя слова...

— Тьфу, чортъ возьми!—прервалъ Зарѣцкій,—такъ этотъ то бредъ называется любовью? Ну, подлинно, есть отъ чего сойти съ ума! Мой другъ! Да какъ же прикажешь ей тебя называть? Мусью Рославлевъ, что-ль?

— Перестань, братецъ! Твоя душа настоящій ледникъ.

— Но только не для дружбы, Вольдемаръ! Я отъ всей души радуюсь твоему благополучію; надѣюсь, ты будешь счастливъ съ Полиною; но мнѣ кажется, я больше бы порадовался, еслибъ ты женился на Оленькѣ.

— Почему же, мой другъ?

— Вотъ, изволишь видѣть: твоя Полина слишкомъ... какъ бы тебѣ сказать?... слишкомъ... небесна; а я слыхалъ, что эти неземныя дѣвушки рѣдко дѣлаютъ своихъ мужей счастливыми. Мы всѣ люди, какъ люди, а имъ подавай идеалъ. Пока ты еще женихъ и страстный любовникъ...

— Я буду имъ вѣчно!

— Такъ, mon cher, такъ! Но теперь ты у ногъ ея; теперь, нѣтъ сомнѣнія, и твой образъ облекаютъ въ одежду неземную; а какъ потомъ ты облечешься самъ въ халатъ, да закуришь трубку... Охъ, милый! что ни говори, а мужъ —плохой идеалъ!

— Полно, Зарѣцкій! Ты судишь обо всемъ по собственнымъ своимъ чувствамъ.

— Конечно, мой другъ! тебѣ все-таки приличнѣе быть ея мужемъ, чѣмъ всякому другому: ты блѣденъ, задумчивъ, въ глазахъ твоихъ есть также что то туманное, неземное. Вотъ я, съ моей румяной и веселой рожей, вовсе бы для нея не годился. Но, кажется, за нами пришли. Что? Завтракъ готовъ?

— Готовъ, сударь!—отвѣчалъ трактирный слуга, протирая свои заспанные глаза.

— Пойдемъ, Рославлевъ. Мы досыта наговорились о небесномъ; займемся-ка теперь земнымъ.

Позавтракавъ и выпивъ бутылку шампанскаго, наши друзья простились.—Ну!—сказалъ Зарѣцкій, садясь на свои дрожки,—то-то дамъ теперь высыпку! Прощай, mon cher!—Ванька! до самой заставы во всю рысь.—Adieu, mon cher ami! Дай Богъ тебѣ счастья, а право жаль, что ты женишься не на Оленькѣ!... Пошелъ!

Когда Рославлевъ сталъ садиться въ коляску, мимо него, по дорогѣ къ Царскому Селу, промчались двое дрожекъ, запряженныхъ парами. Ему показалось, что на однихъ сидѣлъ французъ, съ которымъ наканунѣ онъ обѣдалъ въ ресторацiи. Извозчикъ, оправивъ сбрую, взлѣзъ на козлы, присвистнулъ, махнулъ кнутомъ, колокольчикъ зазвенѣлъ, и по обѣимъ сторонамъ дороги замелькали высокія сосны

и зеленыя поля; изрѣдка показывались среди деревьевъ скромныя дачи, выстроенныя въ довольномъ разстояніи одна отъ другой, по сей дорогѣ, ни мало не похожей на Петергофскую, которая представляетъ почти безпрерывный и великолѣпный рядъ загородныхъ домовъ, плѣняющихъ своей красотой и разнообразіемъ. Чрезъ нѣсколько минутъ коляска поднялась на Пулковскую гору, и вскорѣ за обширнымъ звѣринцемъ закраснѣлся вдали колоссальный дворецъ Царскаго Села, нѣкогда удивлявшій путешественниковъ своей позлащенной кровлею и азіатскимъ великолѣпіемъ, Подъѣзжая къ звѣринцу, одна изъ лошадей переступила постромку, начала бить; другія лошади также испугались и понесли вдоль дороги. Послѣ многихъ безполезныхъ усилій, извозчику удалось, наконецъ, при помощи Рославлева, остановить лошадей. Коляска уцѣлѣла, но большая часть веревочной сбруи изорвалась, и надобно было, по крайней мѣрѣ, съ полчаса времени для приведенія въ порядокъ упряжи. Рославлевъ, оставя при коляскѣ своего слугу, пошелъ пѣшкомъ по дорожкѣ, пробитой вдоль стѣны звѣринца. Онъ замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ небольшой проломъ, отъ котораго узенькая тропинка, извиваясь, вела въ глубину лѣса. Желая погулять нѣсколько времени въ тѣни деревьевъ, Рославлевъ пустился по тропинкѣ. Не прошло пяти минутъ, какъ вдругъ ему послышались близкіе голоса; онъ сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ, и подлѣ него за кустомъ прогремѣлъ отрывистый вопросъ:—Ну что?... Хорошо ли?—Нѣтъ, братецъ!—отвѣчалъ кто то голосомъ не вовсе ему незнакомымъ.—Что это за барьеръ? Еще на три шага ближе!—Рославлевъ пораздвинулъ сучья густого куста, который скрывалъ отъ него говорящихъ, и увидѣлъ на небольшой полянѣ четырехъ человѣкъ. Двое были ему совершенно незнакомы; а въ остальныхъ онъ тотчасъ узналъ молчаливаго офицера и француза, съ которымъ обѣдалъ наканунѣ въ рублевомъ трактирѣ. Не трудно было отгадать, для чего эти господа пріѣхали такъ рано въ звѣринецъ. Повинуясь первому движенію, Рославлевъ сдѣлалъ шагъ назадъ; но какое то непреодолимое любопытсво побѣдило это человѣческое чувство. Съ сильно бьющимся сердцемъ, едва переводя духъ, онъ притаился за кустомъ и остался невидимымъ свидѣтелемъ кровавой сцены, которая должна была оправдать слова, сказанныя имъ наканунѣ:—о ненависти русскихъ къ французамъ.

— Ну, кончилъ ли ты?—закричалъ молчаливый офицеръ своему товарищу, который вколачивалъ въ землю двѣ палки, въ двухъ шагахъ одна отъ другой.

— Кончилъ!—отвѣчалъ молодой человѣкъ высокаго роста, въ военномъ сюртукѣ и кавалерійской фуражкѣ.— Только, воля твоя, по моему лучше стрѣляться на плащѣ. Два шага!... по крайней мѣрѣ, надобно четыре.

— Эхъ, полно, братецъ! что за ребячество. На, возьми, подсыпь на полку.

— Позвольте спросить,—сказалъ секундантъ француза, человѣкъ среднихъ лѣтъ, который, судя по выговору, былъ также иностранецъ.—Я желалъ бы знать, по крайней мѣрѣ, причину вашей дуэли.

— А на что вамъ это?—спросилъ офицеръ, подавая своему товарищу другой пистолетъ.— Приколоти покрѣпче пулю, братецъ! Да обей кремень: я осѣчекъ не люблю.

— Мнѣ кажется,—возразилъ иностранецъ,— что я, будучи секундантомъ, имѣю полное право знать...

— За что мы деремся?...—прервалъ офицеръ.—Да такъ,— мнѣ надоѣла физіономія вашего пріятеля. Отмѣривай пять шаговъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ кавалеристу.—Не угодно ли и вамъ потрудиться?

— Но, милостивый государь! мнѣ кажется, что если вы не имѣете другой причины...

— Имѣю, сударь! Вашъ пріятель—французъ. Прошу отмѣривать пять шаговъ.

— Еще одно слово, господинъ офицеръ. Мнѣ кажется...

— А долго ли, сударь, вамъ будетъ казаться? Я вижу, вы любите болтать; а я не люблю, и мнѣ некогда. Извольте становиться!—прибавилъ онъ громовымъ голосомъ, обращаясь къ французу, который молчалъ въ продолженіе всего разговора.

— Въ самомъ дѣлѣ!—вскричалъ кавалеристъ,—что за болтовня! Драться, такъ драться. Вотъ твое мѣсто, братецъ. Смотри, цѣлься хорошенько, да не торопись стрѣлять.

Оба противника отошли по пяти шаговъ отъ барьера, и, повернувшись въ одно время, стали медленно подходить другъ къ другу. На второмъ шагу, французъ спустилъ курокъ— пуля свистнула, и пробитая на вылетъ фуражка слетѣла съ головы офицера.

— Чортъ возьми! этотъ французъ мѣтитъ хорошо!— сказалъ сквозь зубы кавалеристъ.—Смотри, братъ, не промахнись!

Раздался второй выстрѣлъ, и вмигъ вся лѣвая рука француза облилась кровью.

— Эхъ, братецъ!—сказалъ кавалеристъ:—немножко бы полѣвѣе. Я говорилъ тебѣ взять мои пистолеты. Какая, чортъ, стрѣльба безъ шнелера!

Прошло еще нѣсколько секундъ: сердце Рославлева почти перестало биться. Разстояніе между поединщиками становилось все менѣе; вотъ уже оставалось не болѣе шести или семи шаговъ... вдругъ раздался третій выстрѣлъ.

— Ты раненъ?—вскричалъ кавалеристъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ офицеръ, взглянувъ хладнокровно на правое плечо свое, съ котораго пулею сорвало эполетъ.— Теперь милости прошу сюда, къ барьеру! — продолжалъ онъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на француза.

— Je suis mort!—промолвилъ вполголоса раненый.

— Боже мой! онъ истекаетъ кровью!—сказалъ его секундантъ, вынимая бѣлый платокъ изъ кармана.

— Не трудитесь! — прервалъ офицеръ,— онъ доживетъ еще до послѣдняго моего выстрѣла. Ну, чтожъ, сударь? Да подходите смѣлѣе! Вѣдь я не стану стрѣлять, пока вы не будете у самаго барьера.

— Господинъ офицеръ!—вскричалъ иностранецъ.—Подумайте! въ двухъ шагахъ! Это все равно...

— Еслибъ я приставилъ ему мой пистолетъ ко лбу?— Разумѣется. Еще одинъ шагъ, господинъ кавалеръ Почетнаго Легіона! Прошу покорно!

— Eh bien! soit!—сказалъ французъ, бросивъ въ сторону свой пистолетъ. Онъ подошелъ, шатаясь, къ барьеру и, сложивъ крестъ на-крестъ руки, сталъ прямо грудью противъ своего соперника. Кровь ручьемъ текла изъ его раны; смертная блѣдность покрывала лицо; но онъ смѣло смотрѣлъ въ глаза офицеру, и только едва замѣтная судорожная дрожь пробѣгала отъ времени до времени по всѣмъ его членамъ. Офицеръ прицѣлился, конецъ его пистолета почти упирался въ лобъ француза. Вся кровь застыла въ жилахъ Рославлева. Онъ хотѣлъ закричать; но ужасъ оковалъ языкъ его. Межъ тѣмъ офицеръ спустилъ курокъ, на полкѣ вспыхнуло; но пистолетъ не выстрѣлилъ.

— Ты живъ еще, мой другъ! —вскричалъ секундантъ француза.

— Не надолго! — промолвилъ хладнокровно офицеръ.— Подсыпь на полку, братецъ!

— Ради самого Бога! — сказалъ отчаяннымъ голосомъ иностранецъ,—пощадите этого несчастнаго!... У него жена и шестеро дѣтей!

Вмѣсто отвѣта, офицеръ улыбнулся и, взглянувъ спокойно на блѣдное лицо своей жертва, устремилъ глаза свои въ другую сторону. Ахъ! еслибъ они пылали бѣшенствомъ, то несчастный могъ бы еще надѣяться, — и тигръ имѣетъ минуты милосердія; но этотъ безчувственный, неумолимый взоръ, выражающій одно мертвое равнодушіе, не обѣщалъ никакой пощады.

— Господинъ офицеръ!—продолжалъ иностранецъ,—если жалость вамъ неизвѣстна, то подумайте, по крайней мѣрѣ, что вы хотите отправлять въ эту минуту должность палача.

— Да, я желалъ бы быть палачомъ, чтобъ отсѣчь однимъ ударомъ голову всей вашей націи. Посторонитесь!

— Одно слово, сударь!—прошепталъ едва слышнымъ голосомъ раненый.—Прощай, мой другъ!—продолжалъ онъ, обращаясь къ своему секунданту.— Не забудь разсказать всѣмъ, что я умеръ какъ храбрый и благородный французъ; скажи ей...—Онъ не могъ докончить и упалъ безъ чувствъ въ объятія своего друга.

— Жаль!—сказалъ кавалеристъ:—онъ не трусъ! И, признаюсь, еслибъ я былъ на твоемъ мѣстѣ...

— И, полно, братецъ! Все-таки однимъ меньше. Теперь, кажется, осѣчки не будетъ,—прибавилъ офицеръ, взглянувъ на полку пистолета. Онъ взвелъ курокъ...

— Остановитесь!—вскричалъ Рославлевъ, выбѣжавъ изъ за куста и заслонивъ собою француза.—Это ужасно! Это не поединокъ, а смертоубійство!

— Кто вы?—спросилъ офицеръ, опустивъ свой пистолетъ.

— Такой же русскій, какъ вы.

— Въ самомъ дѣлѣ? Чтожъ вамъ здѣсь надобно?

— Спасти этого несчастнаго отца семейства!

— Право! То есть вамъ угодно стать на его мѣсто?

— Да!—вскричалъ Рославлевъ.—И если вы хотите быть чьимъ-нибудь убійцею...

— Хочу, сударь! Но прежде мнѣ надобно кончить съ этимъ кавалеромъ Почетнаго Легіона!

— Стыдитесь, господинъ офицеръ! Развѣ вы не видите— онъ безъ чувствъ!

— Но живъ еще. Позвольте!...

— Нѣтъ,—сказалъ Рославлевъ, взглянувъ съ ужасомъ на офицера,—вы не человѣкъ, а демонъ! Возьмите отсюда вашего пріятеля,—продолжалъ онъ, относясь къ иностранцу,—и оставьте мнѣ его пистолеты. А вы, сударь! вы безчеловѣчіемъ вашимъ срамите наше отечество—и я, отъ имени всѣхъ русскихъ, требую отъ васъ удовлетворенія.

— О, если вы непремѣнно хотите .. Помоги ему, братецъ, дотащить до дрожекъ этого храбреца. А съ вами, сударь, мы сейчасъ раздѣлаемся. Русскій, который заступается за француза, ничѣмъ его не лучше. Вотъ порохъ и пули. Потрудитесь зарядить ваши пистолеты.

Иностранецъ перевязалъ наскоро руку своего товарища, и при помощи кавалериста понесъ его вонъ изъ лѣса. Межъ тѣмъ, пока Рославлевъ заряжалъ оставленные французомъ пистолеты, офицеръ не спускалъ съ него глазъ.

— Не обѣдали ли вы вчера въ ресторацiи у Френзеля?— спросилъ онъ, наконецъ.

— Да, сударь! Но къ чему это?..

— Не трудитесь заряжать ваши пистолеты—я не дерусь съ вами.

— Не деретесь?...

— Да. Это было бы слишкомъ неразсчетисто: оставить живымъ француза, а убить, можетъ быть, русскаго. Вчера я слышалъ вашъ разговоръ съ этимъ самохваломъ: вы не полуфранцузъ, а русскій въ душѣ. Вы только черезчуръ чувствительны; да это пройдетъ.

— Нѣтъ, сударь, права человѣчества будутъ для мена всегда священны!

— Даже и тогда, когда эта нація хвастуновъ и нахаловъ зальетъ кровью наше отечество? Не думаете ли вы заслужить ихъ уваженіе; поступая съ ними какъ съ людьми? Не безпокойтесь! они покроютъ пепломъ всю Россію и станутъ хвастаться своимъ великодушіемъ; а если мы придемъ во Францію и будемъ вести себя смирнѣе, чѣмъ собственныя ихъ войска, то они и тогда не перестанутъ называть насъ варварами. Неблагодарные! чѣмъ платили они до сихъ поръ за нашу ласку и хлѣбосольство?—продолжалъ офицеръ, и глаза его въ первый разъ еще заблистали какимъ то не-

человѣческимъ огнемъ.—Прочтите, что пишутъ и печатаютъ у нихъ о Россіи; какъ насмѣхаются они надъ нашимъ простодушіемъ: доброту называютъ невѣжествомъ, гостепріимство—чванствомъ. Съ какимъ адскимъ искусствомъ превращаютъ всѣ добродѣтели наши въ пороки. Прочтите все это, подслушайте ихъ разговоры—и если вы не поймете и тогда моей ненависти къ этимъ европейскимъ разбойникамъ, то вы не русскій! Но что я говорю? Вы такъ же ихъ ненавидите, какъ я, и, можетъ быть, скоро придетъ время, что и для васъ будетъ наслажденіемъ зарѣзать изъ своихъ рукъ хотя одного француза. Прощайте.

Офицеръ приподнялъ свою фуражку и пошелъ скорыми шагами по тропинкѣ, которая шла къ противоположной сторонѣ звѣринца.

Съ невольнымъ трепетомъ смотрѣлъ Рославлевъ вслѣдъ за уходящимъ офицеромъ. Все, что ненависть имѣетъ въ себѣ ужаснаго, показалось бы добротою, въ сравненіи съ той адской злобою, которая пылала въ глазахъ его, одушевляла всѣ черты лица, выражалась въ самомъ голосѣ, въ то время, какъ онъ говорилъ о французахъ. Рославлевъ вышелъ изъ лѣса и догналъ свою коляску, которая ѣхала шагомъ вдоль звѣринца.—Боже мой!—думалъ онъ въ то время, какъ отдохнувшія лошади мчали его по большой Московской дорогѣ,—до какой степени можетъ ожесточиться сердце человѣческое! И какъ виновенъ тотъ, чье властолюбіе сдѣлало предметомъ всеобщей ненависти націю, столь благородную и нѣкогда столь любимую всѣми просвѣщенными народами Европы.—Не скоро прояснилось въ душѣ его, потрясенной ужасной сценою, которой онъ былъ свидѣтелемъ; но, наконецъ, образъ Полины, надежда скораго свиданія и усладительная мысль, что съ каждымъ шагомъ уменьшается пространство, ихъ раздѣляющее, разсѣяли грусть его, и будущее предстало предъ нимъ во всемъ очаровательномъ своемъ блескѣ—обманчивомъ и ложномъ, но необходимомъ для насъ, жалкихъ дѣтей земли, почти всегда обманутыхъ надеждою и всегда готовыхъ снова надѣяться.

V.

На дворѣ было пасмурно. Крупныя дождевыя капли стучали въ окна почтоваго двора села Завидова, въ которомъ

Рославлевъ уже болѣе двухъ часовъ дожидался перемѣны лошадей. Всѣ проѣзжающіе вообще не любятъ сидѣть долго на станціяхъ; но для влюбленнаго жениха, который спѣшитъ увидѣться съ своею невѣстою, всякая остановка есть истинно наказаніе небесное. Ничто не можетъ сравниться съ этой пыткою: онъ нигдѣ не найдетъ мѣста, горитъ какъ на огнѣ; ему вездѣ тѣсно, вездѣ душно: ему кажется, что каждая пролетѣвшая минута уноситъ съ собою цѣлый вѣкъ блеженства, что онъ состарѣется въ два часа, не доживетъ до конца своего путешествія. Однимъ словомъ, несмотря ни на какую погоду, онъ пустился бы пѣшкомъ, если бы разсудокъ не говорилъ ему, что этимъ онъ не поможетъ своему горю, а только отдалитъ минуту свиданія. Пересмотрѣвъ давнымъ-давно прибитые къ стѣнамъ почтоваго двора—и Шемякинъ судъ, и Илью Муромца, и взятіе Очакова; прочитавъ въ десятый разъ, на знаменитой картинѣ: Погребеніе Кота, краснорѣчивую надпись: «котъ казанской, породы астраханской, имѣлъ разумъ сибирской», Рославлевъ въ сотый разъ спросилъ у смотрителя въ изорванномъ мундирномъ сюртукѣ и запачканномъ галстукѣ:—скоро ли дадутъ ему лошадей?...—и хладнокровный смотритель повторилъ также въ сотый разъ свое невыносимое: «всѣ, сударь, въ разгонѣ; извольте подождать!»

— Да нельзя ли найти вольныхъ?

— Я ужь вамъ докладывалъ, что нельзя; пора рабочая.

— Я заплачу вдвое, если надобно—только Бога ради...

— И радъ бы радостью, сударь! Да чтожъ дѣлать! На нѣтъ и суда нѣтъ! Не прикажите ли чаю?

— Далеко ли отсюда до Москвы?

— Сто три версты съ половиною. А чай знатный, сударь, цвѣточный, самый лучшій.

— Сто три версты! А тамъ еще семьдесятъ! Какая досада! Я могъ бы завтра по утру...

— У меня, сударь, есть и московскіе калачи; а если угодно, такъ и крендели.

— Проклятая станція! Въ этомъ Завидовѣ вѣчно нѣтъ лошадей!

— Чтожъ дѣлать, ваше благородіе! Вѣдь здѣсь не ямъ, а разгонъ большой. Прикажите поставить самоваръ?

— Ну, хорошо, братецъ! Говорятъ, что у насъ почта

хороша. Боже мой! Да не приведи, Господи, никакому христіанину ѣздить на почтовыхъ! Что это?... ѣдешь, ѣдешь...

— А давно ли вы, сударь, изъ Питера?... спросилъ смотритель, приказавъ своей женѣ готовить чай.

— Стыдно сказать — третій день! И это называютъ почтою!

— То есть слишкомъ по двѣсти верстъ въ сутки?— сказалъ смотритель, разсчитавъ по пальцамъ.—Чтожъ, сударь? Это ѣзда не плохая. Зимою можно ѣхать и скорѣе, а теперь дѣло весеннее... Чу! колокольчикъ! и, кажется, отъ Москвы!... четверкою бричка...

— Ахъ, сдѣлай милость, любезный! я дамъ тебѣ, что хочешь, на водку...

— Постойте, сударь!... никакъ на вольныхъ!... Нѣтъ! съ той станціи! Ну, вотъ вамъ, сударь, и попутчики! Счастливъ этотъ проѣзжій! ваши лошади, чай, ужь отдохнули, такъ ему задержки не будетъ.

— Вели же скорѣй закладывать мою коляску.

— Нельзя, сударь! надобно выкормить лошадей; надобно ихъ напоить; надобно, чтобъ онѣ выстоялись; надобно...

— Надобно, чтобъ я ѣхалъ! Послушай, я заплачу двойные прогоны!

— Нѣтъ, сударь, ямщикъ ни за что не поѣдетъ. Вотъ этакъ часика черезъ полтора... Эхъ, сударь! кони знатные, мигомъ доставятъ на станцію; а вы межъ тѣмъ чайку накушаетесь.

Проѣзжій не вышелъ изъ своей брички, и черезъ нѣсколько минутъ отправился на лошадяхъ, которыя привезли Рославлева. Съ полчаса еще нашъ влюбленный путешественникъ ходилъ молча взадъ и впередъ по избѣ; потомъ, отъ нечего дѣлать, напился чаю, и, наконецъ, отворивъ окно, сѣлъ возлѣ него, чтобъ видѣть, когда станутъ закладывать его коляску. На завалинѣ передъ избою сидѣлъ старикъ лѣтъ шестидесяти; онъ чертилъ по землѣ своимъ подожкомъ и слушалъ разговоры ямщиковъ, которые, собравшись въ кружокъ, болтали всякую всячину, не замѣчая, что проѣзжій баринъ можетъ слышать всѣ ихъ слова.

— Что ты, братъ Андрюха, такъ насупился?—спросилъ одинъ ямщикъ въ сѣромъ армякѣ молодого дѣтину въ синемъ кафтанѣ и красномъ кушакѣ: — аль жена побила?

— Добро бы жена,—отвѣчалъ дѣтина, — а то чортъ знаетъ кто—нелегкая бы его взяла, проклятаго!

— Ой ли! такъ тебя, братъ, поколотили? Ужь не почталіонъ ли, что ты вчера возилъ?

— Эхъ, Ваня! кабы почталіонъ, такъ куда-бъ ни шло; а то какой то проѣзжій баринъ — пострѣлъ бы его побралъ!

— Чай, сталъ погонять, а ты не слушался?

— Вѣстимо. Вотъ ныньче ночью я повезъ на тройкѣ, въ Подсолнечное, какого то барина; не успѣлъ еще за околицу выѣхать, а онъ и ну понукать; такъ, знашь ты, кримча и кричитъ, какъ за языкъ повѣшенный. Пошелъ, да пошелъ!—Какъ-ста не такъ,—подумалъ я про себя,—вишь какой прыткій!—Нѣтъ, баринъ, погоди! Животы-та не твои: какъ ихъ поморишь, такъ и почты не на чемъ справлять будетъ.—Онъ ну кричать громче, а я ну ѣхать тише!

— Вотъ то то же! Вишь ты самъ какой задорный, Андрюха!

— Да, слышь ты, глупая голова! Вѣдь за моремъ извозчики и всѣ такъ дѣлаютъ; мнѣ ужь третьяго дня объ этомъ поразсказали. Ну, вотъ мы отъѣхали этакъ верстъ пятокъ съ небольшимъ, какъ вдругъ—батюшки свѣты! мой сѣдокъ какъ подымется, да учнетъ ругаться: я, дескать, на тебя, разбойника, смотрителю пожалуюсь.—Экъ-ста чѣмъ угрозилъ!—сказалъ я.—Нѣтъ, баринъ, смотрителемъ насъ не испугаешь. Я ему, ребята, на прошлой недѣлѣ снесъ гуся, да полсотни яицъ.

— Уменъ ты, братъ Андрюха! Ну чтожъ твой сѣдокъ?

— Осерчалъ пуще прежняго. Ну меня позорить; а я себѣ и въ усъ не дую—ѣду себѣ шажкомъ, да посвистываю. Вотъ онъ приподнялся, да и толкъ меня въ загорбокъ; я обернулся, поглядѣлъ: мужиченокъ небольшой, и слуги съ нимъ нѣтъ,—какъ не дать отпора?—Слушай, баринъ,—сказалъ я,—драться не велѣно; у меня смотри, я и самъ кнутомъ перепояшу.—Лишь только я это вымолвилъ, какъ онъ одной рукой хвать меня за воротъ, пригнулъ къ себѣ, да и ну лудить по становой жилѣ. Я было побарахтаться—куды те! Ахъ ты, Господи, Боже мой! взглянуть не на что, а какой здоровенный.—Ужь онъ меня возилъ, возилъ! Чортъ бы его побралъ! Инда и теперь вздохнуть тяжело!

— Вотъ то-то, Андрюша!—сказалъ старый крестьянинъ,

—зачѣмъ озорничать! Вѣдь наше дѣло таковское—за всякимъ тычкомъ не угоняешься. А ужь если пришла охота подраться, такъ дрался бы съ своимъ братомъ: скулы то равныя,—а то еще схватился съ бариномъ!...

— Да, съ бариномъ! Не долго этимъ барамъ то надъ нами ломаться.

— А что такъ?—спросилъ извозчикъ въ армякѣ.

— Да такъ-ста. Мы знамъ, что знамъ.

— А что ты знашь, Андрюха? Разскажи, братъ.

— Да, разскажи! А какъ дойдетъ до исправника...

— И, полно! кому вынести? Небось, разсказывай!..

— Ну, то то же! смотрите, ребята! — сказалъ дѣтина, обращаясь къ другимъ извозчикамъ, — чуръ держать про себя. Вотъ, третьяго дня, повезъ я подъ вечеръ проѣзжаго—знашь ты, какой то не русскій, не то хранцузъ, не то нѣмецъ—лѣшій его знаетъ, а по нашему то баетъ; и такой добрый, двугривенный далъ на водку. Вотъ дорогой мы съ нимъ поразговорились.—Что, дескать, братъ!—спросилъ онъ, —чай житье ваше плохое?—Ну, вѣстимо, не сказать же, что хорошо.—Да, баринъ,—молвилъ я,—подъ иной часъ тяжко бываетъ; кони дороги, кормы также, разгонъ большой, а на прогонахъ далеко не уѣдешь; тамъ, глядишь, смотритель придерется, къ исправнику попадешь въ лапы—какое житье? Вотъ кабы еще проѣзжіе-та, какъ ваша милость, не понукали; а то наши бары, провалъ бы ихъ взялъ! ступай имъ по десяти верстъ на часъ; а поѣхалъ въ волю рысцой или шагомъ, такъ наровятъ въ зубы.—И впрямь,—сказалъ проѣзжій,—что ваше за житье! То ли дѣло у насъ за моремъ; вотъ ужь подлинно мужички-та живутъ припѣваючи. Во всемъ воля: что хочешь, то и дѣлай. У насъ ямщикъ прогоны то беретъ не по вашему—по полтинѣ на версту; ѣдетъ какъ душѣ угодно: дадутъ на водку —пошелъ рысцой; нѣтъ—такъ и шагомъ; а проѣзжій, хоть генералъ будь какой, не смѣй до него и дотронуться. По нашимъ дорогамъ, что верста, то кабакъ; а ямщикъ воленъ у каждаго кабака останавливаться.

— Ну, Андрюха!—вскричалъ ямщикъ въ армякѣ,—житье же тамъ нашему брату!

— Нишни, Ваня!—сказалъ старый крестьянинъ;—не мѣшай ему, пусть онъ доскажетъ.

— А что, батюшка?—молвилъ я,—продолжалъ Андрей, —есть ли у васъ исправники?—Какіе исправники! У насъ

мужикъ и шапки ни передъ кѣмъ не ломаетъ; знай себѣ одного Бонапарта, да и все тутъ!—А кто этотъ Бонапартъ, батюшка?—спросилъ я.—Вѣстимо, кто: нашъ французскій царь. Слушай-ка, дѣтина,—примолвилъ проѣзжій,—я тебѣ скажу всю правду-истину, а ты своимъ товарищамъ разсказывай: нашъ царь Бонапартъ завоевалъ всю землю, да и къ вамъ скоро въ гости будетъ.—Ой ли?—сказалъ я;—да къ намъ-та зачѣмъ?—За тѣмъ, братъ, что онъ хочетъ, чтобъ и у васъ мужичкамъ было такое же льготное и привольное житье, какъ у насъ. Барамъ то вашимъ это вовсе не по сердцу; да вы на нихъ не смотрите: они, пожалуй, наговорятъ вамъ турусы на колесахъ: и то и се, и басурманы-та мы...—не вѣрьте! а встрѣчайте-ка насъ, какъ мы придемъ, съ хлѣбомъ да съ солью.

— А о поборахъ-та баялъ что-ль онъ?—спросилъ одинъ пожилой извозчикъ.

— Какъ же; слышь ты, никакой тяги не будетъ: что хошь, то и давай. У нашего, дескать, царя и безъ васъ всего довольно.

— Ну, Андрюша!—сказалъ старый крестьянинъ,—слушалъ я, братъ, тебя: не въ батюшку ты пошелъ! Тотъ былъ мужикъ умный; а ты, глупая голова, всякой нехристи вѣришь! Счастливъ этотъ краснобай, что не я его возилъ: побывалъ бы онъ у меня въ городскомъ острогѣ. Экъ онъ подъѣхалъ съ какимъ подвохомъ, проклятый! Да нѣтъ, ребята! стараго воробья на мякинѣ не обманешь:—вѣдь этотъ проѣзжій шпіонъ.

— Неужто, дядя Савельичъ? — сказалъ ямщикъ въ армякѣ.

— Ну да! А ты, Андрей, сдуру то уши и развѣсилъ. Бонапартъ! Да знаете ли, православные, кто такой этотъ Бонапартъ? Иль никто изъ васъ не помнитъ, что о немъ по всѣмъ церквамъ читали? Вѣдь онъ антихристъ!

— Ой ли? Такъ это онъ?—вскричалъ пожилой ямщикъ.

— Онъ и есть. Вѣдь онъ-та все и подсылаетъ подбивать нашу братью; такъ, слышь ты, лисой и лиситъ, да не на тѣхъ напалъ. Нѣтъ, ребята! чтобъ мы подлались иновѣрцамъ?... Ба, ба, ба! да за что такъ! Что Бога гнѣвить, братцы! развѣ у насъ нѣтъ батюшки православнаго русскаго царя? Развѣ мы хуже живемъ другихъ прочихъ? Что намъ, перекусить что-ль нечего? Слава Тебѣ, Господи! По праздникамъ пустыхъ щей не хлебаемъ, оде-

жонка есть, браги не покупать стать! А еслибъ и худо то было? Такъ чтожъ? Знай про то царь-государь: ему челомъ; а Бонапарту то какое до насъ дѣло? Развѣ мы его?

— Вѣдь дядя то Савельичъ правду говоритъ, ребята!— сказалъ одинъ изъ ямщиковъ, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

— Да, дѣтушки! Я подолѣе васъ живу на бѣломъ свѣтѣ; въ пугачевщину я былъ ужь парень матерой. Тяжко, ребята, и тогда было—такой былъ по всей святой Руси погромъ, что и, Боже, упаси! И Пугачъ также прельщалъ народъ, да умнѣй былъ этого Бонапарта: назвался государемъ Петромъ Ѳеодоровичемъ: такъ не диво, что перемутилъ всѣхъ православныхъ; а этотъ что за выскочка? Смотри пожалуй! вишь, ему жаль насъ стало! Экій милостивецъ выискался! Нѣтъ, ребята! если ужь Господь Богъ нашлетъ на насъ каку невзгоду, такъ пускай же свои собаки грызутся, а чужія не мѣшайся.

— Такъ, вѣстимо, такъ, Савельичъ! Правда, Савельичъ!— заговорили всѣ извозчики, кромѣ Андрея.

— Чтожъ ты, братъ Андрюха, язычекъ-та прикусилъ, а?—спросилъ пожилой ямщикъ.

— Что, братъ,—отвѣчалъ Андрей, почесывая въ головѣ,—оно бы и такъ, да, слышь ты, онъ баялъ, что исправниковъ не будетъ, и бары то не станутъ надъ нами ломаться.

— Ахъ ты дурачина, дурачина!—прервалъ старикъ;— да развѣ безъ старшихъ жить можно? Мы покорны судьямъ да господамъ; они губернатору, губернаторъ царю—такъ испоконъ вѣку ведется. Глупая голова! какъ некого будетъ слушаться, такъ и дѣла то дѣлать никто не станетъ.

— Что правда, то правда,—сказалъ одинъ изъ ямщиковъ;—нашему брату нельзя жить безъ грозы; кабы только прогоны то были у насъ также по полтинѣ на версту...

— А овесъ по два рубля четверть? Вотъ то то и есть, ребята, вы заритесь на большіе прогоны, а поспрошайтека, чего стоятъ за моремъ кормы? Какъ рублей по тридцати четверть, такъ и прогоны не взмилятся! Нѣтъ, Ѳедотушка! гдѣ дорого берутъ, тамъ дорого и платятъ!

— Вѣстимо, такъ,—сказалъ извозчикъ въ армякѣ.—Да вотъ что, дядя Савельичъ, кабы поборовъ-та съ насъ не было.

— Эхъ, Ваня, Ваня! Да есть ли земля, гдѣ-бъ поборовъ не было? Что вы вѣрите этимъ нехристямъ; теперь то то они такъ говорятъ, а дай Бонапарту до насъ добраться, такъ послѣднюю рубаху стащитъ; да еще заберетъ всѣхъ молодыхъ парней, и ушлетъ ихъ за тридевять земель, въ тридесятое государство.

— Что ты, дядя Савельичъ, насъ морочишь!.. — прервалъ съ примѣтной досадою Андрей.—На что ему забирать чужой народъ: у него и своего довольно.

— Довольно, да не совсѣмъ. Вотъ что, ребятушки, мнѣ разсказывалъ одинъ проѣзжій: этотъ Бонапартъ воюетъ со всѣми народами; у него, что годъ, то наборъ. Своихъ то всѣхъ перехваталъ въ некруты, такъ и набираетъ, гдѣ попало.

— И я тоже слышалъ,—сказалъ одинъ пожилой извозчикъ.—Вишь какой неугомонный, все таскается съ войскомъ по чужимъ землямъ! Что это, Савельичъ, этимъ французамъ дома не сидится?

— Видно, братъ, земля голодная—ѣсть нечего. Кабы не голодъ, такъ чортъ ли кого потащитъ на чужую сторону! а посмотри-ка, сколько ихъ къ намъ наѣхало: чутьемъ знаютъ, проклятые, гдѣ хлѣбецъ есть.

— Да, они на это куда смѣтливы, — сказалъ одинъ извозчикъ въ изорванномъ кафтанѣ;—знаютъ, гдѣ раки зимуютъ. Слышь ты, у насъ все дурно, а все-таки къ намъ лѣзутъ!

— Да, да! толкуй себѣ!—прервалъ Андрей;—что, чай, у насъ хорошо!.. Отъ одной гонки свѣту Божьяго не взвидишь. Ну, пусть у нихъ кормы дороже, да за то и ѣзда то какая? А у насъ?.. скачи себѣ, сломя голову.

— Кой прахъ!—вскричалъ старикъ,—наладилъ одно, да одно! Развѣ дѣды наши не держали почты? Развѣ я самъ не вожу подчасъ проѣзжихъ? Господи, Боже мой!—продолжалъ онъ, вскочивъ съ завалины,—да что ты за ямщикъ, коли десяти верстъ въ часъ не уѣдешь? Эхъ! не прежніе мои годы!.. Бывало, въ старину, какъ заложишь тройку ухарскихъ, такъ только держись... пыль столбомъ!.. Куды понукать! Бывало, сѣдокъ взмолится, да учнетъ милости просить; такъ нѣтъ! сердце не терпитъ! Далъ роднымъ вздохнуть, да и пошелъ по всѣмъ по тремъ! съ горки на горку!.. Эхъ вы, милыя, закатывай, да и только!.. Вотъ это ѣзда! А селомъ то бывало—селомъ!... попридержишь у околицы,

а какъ въѣдешь въ улицу—шапку на бокъ, свистнулъ, гаркнулъ да и слѣдъ простылъ... и самому весело, и красны дѣвицы удалымъ парнемъ любуются; а васъ, прости, Господи, за что и невѣстамъ любить? Какіе вы ямщики? Воловъ бы вамъ гонять, да по клюкву ягоду!

— Что ты, дядя?—прервалъ ямщикъ въ армякѣ;—не всѣ въ Андрея: и мы прокатимъ не хуже другого.

— Катай себѣ, катай!—проворчалъ сквозь зубы Андрей; —а я своихъ коней поморить не хочу.

— Моренаго морить нечего,—сказалъ старикъ.—Корми ихъ одной соломой, такъ они и безъ ѣзды отощаютъ. То то, братъ Андрюша! Вишь, ты и по буднямъ ходишь въ синемъ кафтанѣ, да въ красномъ кушакѣ. Мы держимся старины: взялъ прогоны, выпилъ на гривнягу, да и будетъ; а ты, такъ нѣтъ, какъ баринъ—норовишь все въ трактиръ: давай чаю, заморской водки, того-сего, всякой лихой болѣсти; а тамъ хвать, хвать, анъ и сѣнца не на что купить. А какъ въ мошнѣ пусто, да и дома то не густо, такъ по неволѣ дурь полѣзетъ въ голову: теперь ты слушаешь розсказни иноземцевъ, а тамъ пожалуй и на большую дорогу выйдешь. Нѣтъ, братъ Андрей, некому тебя бить: замотался ты.

— Да чтожъ ты, Савельичъ, взъѣлся въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ съ досадой Андрей.—Что ты родной иль хрестный мнѣ батька чтоль?

— Полно, Андрюха, ершиться то,—прервалъ ямщикъ въ армякѣ.—Савельичъ баетъ правду. Вѣстимо, ты мотыга; вотъ ужь съ мѣсяцъ, какъ взялъ у меня три рубля, а и въ поминѣ о нихъ нѣтъ...

— Такъ чтожъ?—Отдамъ.

— То то отдамъ! Я и самъ бы умѣлъ синій кафтанъ носить по буднямъ. Знаемъ мы васъ—отдамъ.

— А осьмину то овса, что у меня занялъ,—промолвилъ пожилой извозчикъ,—отдашь ли хоть къ Петрову дню?

— А за кушакъ то когда заплатишь? — закричалъ ямщикъ въ изорванномъ кафтанѣ;—вѣдь ты его купилъ у меня ужь третій мѣсяцъ. Эй, осрамлю, Андрюшка! при всѣхъ въ церкви сниму.

— Видно, братъ Андрюха,—прибавилъ одинъ молодой дѣтина,—исправникъ то мало тебя, на прошлой недѣлѣ, умуразуму училъ.

— Какъ такъ?—спросилъ старикъ.

— Да такъ!—продолжалъ молодой парень.—Онъ возилъ со мной проѣзжихъ въ Подсолнечное, да и ну тамъ буянить въ трактирѣ; и съ смотрителемъ то схватился—вотъ такъ къ рожѣ и лѣзетъ. На грѣхъ проѣзжалъ исправникъ; засталъ все, какъ было; да и ну его жаловать изъ своихъ рукъ. Ужь онъ его маялъ, маялъ ..

— Э! э!—вскричалъ ямщикъ въ худомъ кафтанѣ.—Такъ вотъ что, ребята! Вотъ за что онъ на исправниковъ то осерчалъ. Эки пострѣлы въ самомъ дѣлѣ! и поозорничать не дадутъ. Нѣтъ-нѣтъ—да и плетью!

Всѣ ямщики засмѣялись, и пристыженный Андрей не зналъ ужь, куда дѣваться отъ насмѣшекъ, которыя на него посыпались, какъ вдругъ со стороны Петербурга зазвенѣлъ колокольчикъ.

— Еще Богъ даетъ проѣзжихъ! — сказалъ ямщикъ въ армякѣ.—Экой разгонъ!

— Глядь-ка!—вскричалъ старикъ.—Ну, молодецъ! какъ деретъ!.. Знать, курьеръ или фельтегарь!.. Смотри-ка, смотри! Ай да коренная! Вотъ, братъ, конь!.. Пристяжныя насилу постромки уносятъ.

— Нѣтъ, дядя Савельичъ,—сказалъ одинъ изъ ямщиковъ,—это не курьеръ, да и кони не почтовые... Ну, такъ и есть! Это Ерема на своей гнѣдой тройкѣ. Что это такъ его черти несутъ?

Кибитка, запряженная тройкой лихихъ коней, покрытыхъ пылью и потомъ, примчалась къ почтовому двору. Въ ней сидѣли двое купцовъ: одинъ лѣтъ семидесяти, и сѣдой, какъ лунь; другой лѣтъ подъ сорокъ, съ свѣтлорусой окладистой бородой. Если нельзя было смотрѣть безъ уваженія на патріархальную физіономію перваго, то и наружность второго была не менѣе замѣчательна: она принадлежала къ числу тѣхъ, кои соединяютъ въ себѣ всѣ отдѣльныя черты національнаго характера. Радушіе, природный умъ, досужество, смѣтливость и русскій толкъ отпечатаны были на его выразительномъ и открытомъ лицѣ. Старикъ пошелъ въ избу къ смотрителю, а товарищъ его остался у кибитки.

— Ну, что, братъ Ерема? — спросилъ пріѣхавшаго ямщика старый крестьянинъ,—по добру ли, по здорову?

— Богъ грѣхамъ терпитъ, Савельичъ! Живемъ по немногу.

— Эхъ, какъ у тебя кони то припотѣли! — сказалъ ямщикъ въ армякѣ; видно, братъ, больно шибко ѣхалъ?

2827

— Да, Ваня!—отвѣчалъ ямщикъ, принимаясь выпрягать лошадей,—взялся на часы, такъ не поѣдешь шагомъ.

— А что? за двойные чтоль?

— Нѣтъ, братъ! по двадцати копѣекъ на версту, да цѣлковый на водку!..

— Знатная работа! Да что они такъ торопятся?

— Знать, нужда пристигла; спѣшатъ въ Москву. Сѣдой то больно тоскуетъ: всю дорогу проохалъ. А кто у васъ ѣдетъ?

— Да никто, братъ; кромѣ курьерской тройки, ни одной лошади нѣтъ.

Межъ тѣмъ купецъ, взойдя на почтовый дворъ, подалъ смотрителю свою подорожную. Взглянувъ на нее и прочтя: давать изъ почтовыхъ, смотритель, молча, положилъ ее на столъ.

— Что, батюшка? — сказалъ купецъ, — или лошадей нѣтъ?

— Всѣ въ разгонѣ.

— Нѣтъ ли вольныхъ?

— Нѣтъ.

— А попутчиковъ?

— Есть четверня, да вотъ его благородіе ужь часа три дожидается.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! что мнѣ дѣлать?—вскричалъ отчаяннымъ голосомъ купецъ.—Я готовъ дать все на свѣтѣ, только Бога ради, господинъ смотритель, отпустите меня скорѣе.

Смотритель пожалъ плечами и не отвѣчалъ ни слова.

— Вы, кажется, очень торопитесь?—спросилъ Рославлевъ, который не могъ безъ состраданія видѣть горя этого почтеннаго старика.

— Ахъ, сударь!—отвѣчалъ купецъ,—не подъ лѣта бы мнѣ этакъ скакать; и добро-бъ спѣшилъ на радость, а то... но дѣлать нечего; не мнѣ роптать, окаянному грѣшнику... Его святая воля!—Старикъ закрылъ глаза рукою, и крупныя слезы закапали на его сѣдую бороду.

— Извините мое любопытство,—сказалъ послѣ короткаго молчанія Рославлевъ,—какой несчастный случай заставляетъ васъ спѣшить въ Москву?

— Да, сударь!—отвѣчалъ старикъ, утирая глаза,—подлинно, несчастный! Господь посѣтилъ меня на старости. Я былъ по торговымъ дѣламъ въ Твери; въ Москвѣ у меня

оставались жена и сынъ, а меньшой былъ вмѣстѣ со мною. Вчера онъ занемогъ горячкою, а сегодня по-утру я получилъ письмо отъ приказчика, въ которомъ онъ увѣдомляетъ, что старшаго сына моего разбили лошади, что онъ чуть живъ, а старуха моя со страстей такъ занемогла, что, того и гляди, отдастъ Богу душу. И докторовъ призывали, и Иверскую подымали, все нѣтъ легче. Третьяго дня ее соборовали масломъ; и если я сегодня не поспѣю въ Москву, то навѣрно не застану ее въ живыхъ. Эхъ, сударь! вы молоды, такъ не знаете, каково разставаться съ тѣмъ, съ кѣмъ прожилъ сорокъ лѣтъ душа въ душу. Не тотъ сирота, батюшка, у кого нѣтъ только отца и матери, а тотъ, кто пережилъ и родныхъ и пріятелей, кому словечка не съ кѣмъ о старинѣ перемолвить, кто горемычный и на своей родинѣ, какъ на чужой сторонѣ. Живой въ могилу не ляжешь, батюшка! Кто знаетъ? Можетъ быть, я еще годовъ десять промаюсь. Съ моей старухой я не вовсе еще былъ сиротою, а теперь... голубушка ты моя, родная!.. хоть бы еще разочекъ на тебя взглянуть, моя сердечная!...

Рыданія прервали слова несчастнаго старика. До души тронутый Рославлевъ колебался нѣсколько времени; онъ не зналъ, что ему дѣлать. Рѣшиться ждать новыхъ лошадей и уступить ему своихъ, скажетъ, можетъ быть, хладнокровный читатель; но если онъ былъ когда-нибудь влюбленъ, то, вѣрно, не обвинитъ Рославлева за минуту молчанія, приведенную имъ въ борьбѣ съ самимъ собою. Наконецъ, онъ готовъ уже былъ принести сію жертву, какъ вдругъ ему прошло въ голову, что онъ можетъ предложить старику мѣсто въ своей коляскѣ.—Скажите мнѣ,—спросилъ онъ,—можете ли вы разстаться съ своимъ товарищемъ?

— Могу, сударь! Онъ ѣхалъ на перекладныхъ; а какъ на послѣдней станціи была также задержка, то я взялъ его съ собою.

— Такъ чего же лучше? Пусть онъ дожидается лошадей и пріѣдетъ завтра; а вы не хотите ли доѣхать до Москвы вмѣстѣ со мною?

— Ахъ, мой благодѣтель!... Я не смѣлъ васъ просить объ этомъ; но не стѣсню ли я васъ?

— Не безпокойтесь; намъ обоимъ будетъ просторно.

— Иванъ Архиповичъ! — сказалъ другой купецъ, войдя въ избу.—Всѣ лошади въ разгонѣ; что будешь дѣлать? ни за какія деньги нельзя найти. Пришлось поневолѣ дожидаться.

— Нѣтъ, Андрей Васьяновичъ! Вотъ этотъ баринъ,—награди его Господь!—изволитъ везти меня, вплоть до самой Москвы, въ своей коляскѣ.

— Дай Богъ вамъ здоровья, батюшка!—сказалъ купецъ, поклонясь вѣжливо Рославлеву.—Онъ спѣшитъ въ Москву по самой экстренной надобности, и подлинно вы изволили ему сдѣлать истинное благодѣяніе. Я подожду здѣсь лошадей, и если не нынче, такъ завтра доставлю вамъ, Иванъ Архиповичъ, вашу повозку. Мнѣ помнится, вашъ домъ за Серпуховскими воротами?

— Да, батюшка, въ переулкѣ, въ приходѣ Вознесенія Господня. Теперь, сударь,—продолжалъ старикъ, обращаясь къ Рославлеву, я не смѣю васъ просить остановиться у меня...

— Мнѣ и самому было бы некогда къ вамъ заѣхать, —прервалъ Рославлевъ.—Я только что перемѣню лошадей въ Москвѣ.

— Но неравно вамъ прилучится проѣзжать опять чрезъ нашу Бѣлокаменную, то порадуйте старика, въѣзжайте прямо ко мнѣ, и если я буду еще живъ... Да нѣтъ! коли не станетъ моей Мавры Андреевны, такъ Господь Богъ милостивъ... услышитъ мои молитвы и приберетъ меня горемычнаго.

— Эхъ, Иванъ Архиповичъ! – сказалъ купецъ,— на что заранѣ такъ крушиться?—Отчаяніе смертный грѣхъ, батюшка! Почему знать, можетъ быть, и сожительница и сыновья ваши выздоровѣютъ. А если Господь пошлетъ горе, такъ Онъ же дастъ силу и перенести его. А вы покамѣстъ все надежды не теряйте: никто, какъ Богъ.

Старикъ тяжело вздохнулъ и, склонивъ на грудь свою сѣдую голову, не отвѣчалъ ни слова.

— Осмѣлюсь спросить, сударь,—сказалъ купецъ послѣ короткаго молчанія:—откуда изволите ѣхать?

— Изъ Петербурга.

— Изъ Петербурга? А что, сударь, тамъ слышно о войнѣ?

— Вѣроятно, турецкая война скоро будетъ кончена.

— Объ этомъ у насъ и въ Москвѣ давно говорятъ. Но есть также слухи, что будто бы французы... избави, Господи!...

— Чтожъ тутъ страшнаго? Развѣ намъ въ первый разъ драться съ Наполеономъ?

— Да то, сударь, бывало за границею, а теперь, если правда, что болтаютъ, и Наполеонъ сбирается къ намъ... помилуй, Господи!... Да это не легче будетъ татарскаго погрома. И за что-бы, подумаешь, французамъ съ нами ссориться? Ихъ ли мы не чествуемъ? Имъ ли не житье, хоть, примѣромъ сказать, у насъ, въ Москвѣ? Бояръ нашихъ, не погнѣвайтесь, сударь, учатъ они уму-разуму, а нашу братью, купцовъ, въ грязь затоптали; васъ, господа, не осудите, батюшка!—кругомъ обираютъ, а насъ, беззащитныхъ, въ разоръ разорили! Ну, какъ бы послѣ этого имъ не жить съ нами въ ладу?

— Но развѣ вы думаете, что съ нами желаютъ драться французскія модныя торговки и учители? Повѣрьте, они не менѣе вашего боятся войны.

— Конечно, батюшка-съ, конечно; только—не взыщите на мою простоту—мнѣ сдается, что и Наполеонъ то не затѣялъ бы къ намъ идти, еслибъ не думалъ, что его примутъ съ хлѣбомъ да съ солью. Ну, а какъ ему этого не подумать, когда первые люди въ Россіи, родовые дворяне, только что, прости, Господи, не молятся по-французски? Спору нѣтъ, батюшка! Если дѣло до чего дойдетъ, то благородное русское дворянство себя покажетъ—постоитъ за матушку святую Русь, и даже ради Кузнецкаго моста французовъ не помилуетъ; да они то, проклятые, успѣютъ у насъ накутить въ одинъ мѣсяцъ столько, что и годами не поправить!... Отъ мала до велика, батюшка! Если, напримѣръ, въ овчарнѣ растворятъ ворота, и дворовыя собаки станутъ выть по волчьи, такъ дивиться нечему, когда волкъ забредетъ въ овчарню. Конечно, собаки его задавятъ и хозяинъ дубиною пришибетъ; а все-таки, можетъ статься, онъ успѣетъ много овецъ перерѣзать. Такъ не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запорѣ, и собакамъ-та не прикидываться волками; волкъ бы жилъ, да жилъ у себя въ лѣсу, а овцы были бы цѣлы! Не взыщите, батюшка!—примолвилъ купецъ съ низкимъ поклономъ;—я вѣдь это такъ, спроста говорю.

— Я могу васъ увѣрить, что много есть дворянъ, которые думаютъ почти то же самое.

— Какъ не быть, батюшка! И всѣ такъ станутъ думать, какъ тяжко придетъ; а, впрочемъ, и теперь, что Бога гнѣвить, есть русскіе дворяне, которые несовсѣмъ еще объиноземнились. Вотъ хоть и ваша милость: вы не погну-

шались ѣхать вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ, хоть онъ не французскій магазинщикъ, а русскій купецъ, носитъ бороду и прозывается просто Иванъ Сеземовъ, а не какой-нибудь мусье Чертополохъ. Да вотъ еще вы, вѣрно, изволили читать: *Мысли вслухъ на Красномъ крыльцѣ Силы Андреевича Богатырева.* Книжка не великонька, а куды въ ней много дѣла и, говорятъ, будто бы сложилъ какой то знатный русскій бояринъ, дай, Господи, ему много лѣтъ здравствовать! Помните-ль, батюшка, какъ Сила Андреевичъ Богатыревъ изволитъ говоритъ о нашихъ модникахъ и модницахъ: ихъ-де отечество на Кузнецкомъ мосту, а царство небесное Парижъ. И потомъ—охъ, тяжело прибавляетъ онъ —дай, Боже, сто лѣтъ царствовать государю нашему, жаль дубинки Петра Великаго—взять бы ее хоть на недѣльку изъ кунсткамеры, да выбить дурь изъ дураковъ и дуръ... Не погнѣвайтесь, батюшка, вѣдь это не я, а вашъ братъ, дворянинъ, русскихъ барынь и господъ такъ честить изволитъ.

— Не безпокойтесь!—сказалъ Рославлевъ,—я за дуръ и дураковъ вступаться не стану. Впрочемъ, не надобно забывать, что въ нашъ просвѣщенный вѣкъ смѣшно и стыдно чуждаться иностранцевъ.

— Кто и говоритъ, батюшка! Чуждаться и носить на рукахъ—два дѣла разныя. Чтобъ намъ не держаться русской пословицы: какъ аукнется, такъ и откликнется!... Какъ насъ въ чужихъ земляхъ принимаютъ, такъ и намъ бы чужеземцевъ принимать... Ну, да что объ этомъ говорить... Скажите-ка лучше, батюшка, точно ли правда, онъ, Бонопартій, собирается на насъ войною?

— Это еще не рѣшено.

— А какъ рѣшится, такъ чтожъ онъ—на Москву что-ли пойдетъ?

— Можетъ быть. Онъ избалованъ счастіемъ и привыкъ заключать миръ въ столицахъ своихъ непріятелей.

— Вотъ что! Да чтожъ онъ въ нихъ дѣлаетъ?

— Веселится, отдыхаетъ, беретъ съ обывателей контрибуціи, то есть деньги.

— И ему платятъ?

— Поневолѣ: противъ силы дѣлать нечего.

— Какъ нечего? Что вы, сударь! По нашему вотъ какъ. Если дѣло пошло на перекоръ, такъ не доставайся мое доброе ни другу, ни недругу. Господи, Боже мой! У меня два

дома, да три лавки въ Панскомъ ряду, а если Божіимъ попущеніемъ врагъ придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой запалю. На вотъ тебѣ! Не хвались же, что моимъ владѣешь! Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ упрямъ; вели только нашъ Царь-Государь, такъ мы этому Наполеону такую хлѣбъ - соль поднесемъ, что онъ хоть и семи пядей во лбу, а—вотъ те Христосъ! подавится.

— Нѣтъ, это не хвастовство!—подумалъ Рославлевъ,—смотря на благородную и исполненную души физіономію купца.

— Дай мнѣ свою руку, почтенный гражданинъ!—сказалъ онъ.—Ты истинно русскій, и еслибъ всѣ такъ думали, какъ ты...

— И, сударь! придетъ бѣда, такъ всѣ заговорятъ однимъ голосомъ, и дворяне и простой народъ! То ли еще бывало въ старину: и триста лѣтъ татары владѣли землею Русскою, а развѣ мы стали отъ этого сами татарами? Вѣдь все, въ чемъ насъ упрекаетъ Сила Андреевичъ Богатыревъ, прививное, батюшка; а корень то все русскій. Дремлемъ до поры, до времени; а какъ очнемся, да стряхнемъ съ себя чужую пыль, такъ насъ и не узнаешь!

— Угодно вамъ ѣхать, сударь?—сказалъ Егоръ, слуга Рославлева, войдя въ избу.—Лошади готовы.

Рославлевъ пожалъ еще разъ руку молодому купцу и сѣлъ съ Иваномъ Архиповичемъ въ коляску. Ямщикъ тронулъ лошадей, затянулъ пѣсню, и когда услышалъ, что купецъ дастъ ему цѣлковый на водку, присвистнулъ и помчался такимъ молодцомъ вдоль улицы, что старый ямщикъ не усидѣлъ на завалинѣ, вскочилъ и закричалъ ему вслѣдъ:

— Ай да Прошка! Вотъ это по-нашенски! Лихо!! Эй, ты, закатывай!...

VI.

— Егоръ!

— Чего изволите, сударь?

— Гдѣ-жъ поворотъ налѣво?

— А вонъ, сударь, за тѣмъ лѣскомъ.

— Не можетъ быть; мы, вѣрно, проѣхали мимо.

— Никакъ нѣтъ, сударь! До поворота версты двѣ еще осталось.

— Ты врешь! Вотъ ужь съ часъ, какъ мы выѣхали съ послѣдней станціи.

— Помилуйте, Владиміръ Сергѣевичъ, и полчаса не будетъ.

— Ты опять пьянъ, бездѣльникъ!

— Никакъ нѣтъ, сударь! Въ Москвѣ старикъ-купецъ, котораго вы довезли до дому, на радостяхъ, что его женѣ стало лучше, хотѣлъ было поднести мнѣ чарку водки; да вы такъ изволили спѣшить, что онъ, вмѣсто водки, успѣлъ только сунуть мнѣ полтинникъ въ руку.

— А какъ ты смѣлъ взять? Ты знаешь, что я этого терпѣть не могу.

— Воля ваша, сударь, некогда было спорить: вы такъ изволили торопиться.

— Эй, ямщикъ, да полно, знаешь ли ты дорогу въ село Утѣшино?

— Какъ не знать, ваша милость. Я не разъ важивалъ Прасковью Степановну Лидину въ городъ. Ну ты, одеръ, посматривай по сторонамъ то.

— Мнѣ помнится, что поворотъ съ большой дороги былъ на восьмой верстѣ отъ станціи.

— Да, баринъ, да восьмая то верста вонъ за этимъ лѣсомъ. Ей вы, милыя!...

Рославлевъ замолчалъ. Минутъ черезъ пять березовая роща осталась у нихъ назади; коляска своротила съ большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засѣянныхъ хлѣбомъ; справа и слѣва мелькали небольшіе лѣсочки и отдѣльныя группы деревьевъ; вдали чернѣлась густая дубовая роща, изъ-за которой подымались высокія деревянныя хоромы, построенныя еще дѣдомъ Полины, храбрымъ секундъ-маіоромъ Лидинымъ, убитымъ при штурмѣ Измаила. Подъѣхавъ къ крутому спуску, извозчикъ остановилъ лошадей и слѣзъ съ козелъ, чтобъ подтормозить колеса.

— Посмотрите-ка, сударь!—сказалъ Егоръ:—никакъ это идетъ по дорогѣ дурочка Ѳедора?... Ну, такъ и есть—она.

Крестьянская дѣвка, лѣтъ двадцати пяти, въ изорванномъ сарафанѣ, съ распущенными волосами и босикомъ, шла къ нимъ навстрѣчу. Длинное, худощавое лицо ея до того загорѣло, что казалось почти чернымъ; свѣтло-сѣрые глаза сверкали какимъ то дикимъ огнемъ; она озиралась и посматривала во всѣ стороны съ безпокойствомъ; то шла

дома, да три лавки въ Панскомъ ряду, а если Божіимъ попущеніемъ врагъ придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой запалю. На вотъ тебѣ! Не хвались же, что моимъ владѣешь! Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ упрямъ; вели только нашъ Царь-Государь, такъ мы этому Наполеону такую хлѣбъ - соль поднесемъ, что онъ хоть и семи пядей во лбу, а—вотъ те Христосъ! подавится.

— Нѣтъ, это не хвастовство!—подумалъ Рославлевъ,—смотря на благородную и исполненную души физіономію купца.

— Дай мнѣ свою руку, почтенный гражданинъ!—сказалъ онъ.—Ты истинно русскій, и еслибъ всѣ такъ думали, какъ ты...

— И, сударь! придетъ бѣда, такъ всѣ заговорятъ однимъ голосомъ, и дворяне и простой народъ! То ли еще бывало въ старину: и триста лѣтъ татары владѣли землею Русскою, а развѣ мы стали отъ этого сами татарами? Вѣдь все, въ чемъ насъ упрекаетъ Сила Андреевичъ Богатыревъ, прививное, батюшка; а корень то все русскій. Дремлемъ до поры, до времени; а какъ очнемся, да стряхнемъ съ себя чужую пыль, такъ насъ и не узнаешь!

— Угодно вамъ ѣхать, сударь?—сказалъ Егоръ, слуга Рославлева, войдя въ избу.—Лошади готовы.

Рославлевъ пожалъ еще разъ руку молодому купцу и сѣлъ съ Иваномъ Архиповичемъ въ коляску. Ямщикъ тронулъ лошадей, затянулъ пѣсню, и когда услышалъ, что купецъ дастъ ему цѣлковый на водку, присвистнулъ и помчался такимъ молодцомъ вдоль улицы, что старый ямщикъ не усидѣлъ на завалинѣ, вскочилъ и закричалъ ему вслѣдъ:

— Ай да Прошка! Вотъ это по-нашенски! Лихо!! Эй, ты, закатывай!...

VI.

— Егоръ!

— Чего изволите, сударь?

— Гдѣ-жъ поворотъ налѣво?

— А вонъ, сударь, за тѣмъ лѣскомъ.

— Не можетъ быть; мы, вѣрно, проѣхали мимо.

— Никакъ нѣтъ, сударь! До поворота версты двѣ еще осталось.

— Ты врешь! Вотъ ужь съ часъ, какъ мы выѣхали съ послѣдней станціи.

— Помилуйте, Владиміръ Сергѣевичъ, и полчаса не будетъ.

— Ты опять пьянъ, бездѣльникъ!

— Никакъ нѣтъ, сударь! Въ Москвѣ старикъ-купецъ, котораго вы довезли до дому, на радостяхъ, что его женѣ стало лучше, хотѣлъ было поднести мнѣ чарку водки; да вы такъ изволили спѣшить, что онъ, вмѣсто водки, успѣлъ только сунуть мнѣ полтинникъ въ руку.

— А какъ ты смѣлъ взять? Ты знаешь, что я этого терпѣть не могу.

— Воля ваша, сударь, некогда было спорить: вы такъ изволили торопиться.

— Эй, ямщикъ, да полно, знаешь ли ты дорогу въ село Утѣшино?

— Какъ не знать, ваша милость. Я не разъ важивалъ Прасковью Степановну Лидину въ городъ. Ну ты, одеръ, посматривай по сторонамъ то.

— Мнѣ помнится, что поворотъ съ большой дороги былъ на восьмой верстѣ отъ станціи.

— Да, баринъ, да восьмая то верста вонъ за этимъ лѣсомъ. Ей вы, милыя!...

Рославлевъ замолчалъ. Минутъ черезъ пять березовая роща осталась у нихъ назади; коляска своротила съ большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засѣянныхъ хлѣбомъ; справа и слѣва мелькали небольшіе лѣсочки и отдѣльныя группы деревьевъ; вдали чернѣлась густая дубовая роща, изъ-за которой подымались высокія деревянныя хоромы, построенныя еще дѣдомъ Полины, храбрымъ секундъ-маіоромъ Лидинымъ, убитымъ при штурмѣ Измаила. Подъѣхавъ къ крутому спуску, извозчикъ остановилъ лошадей и слѣзъ съ козелъ, чтобъ подтормозить колеса.

— Посмотрите-ка, сударь!—сказалъ Егоръ:—никакъ это идетъ по дорогѣ дурочка Ѳедора?... Ну, такъ и есть—она.

Крестьянская дѣвка, лѣтъ двадцати пяти, въ изорванномъ сарафанѣ, съ распущенными волосами и босикомъ, шла къ нимъ навстрѣчу. Длинное, худощавое лицо ея до того загорѣло, что казалось почти чернымъ; свѣтло-сѣрые глаза сверкали какимъ то дикимъ огнемъ; она озиралась и посматривала во всѣ стороны съ безпокойствомъ; то шла

скоро, то останавливалась, разговаривала потихоньку сама съ собою, и вдругъ начала хохотать, такъ громко и такимъ отвратительнымъ образомъ, что Егоръ вздрогнулъ и сказалъ съ примѣтнымъ ужасомъ:

— Ну, встрѣча! чортъ бы ее побралъ!.. Терпѣть не могу этой дуры... Помните, сударь! у насъ въ селѣ жила полоумная Аксинья?... Та вовсе была не страшна; все, бывало, поетъ пѣсни, да пляшетъ; а эта, безумная, по ночамъ бродитъ по кладбищу, а днемъ только и рѣчей, что о похоронахъ, да о покойникахъ... Да и сама то, ни дать, ни взять, мертвецъ: только что не въ саванѣ.

Межъ тѣмъ полоумная, поровнявшись съ коляской, остановилась, захохотала во все горло и сказала охриплымъ голосомъ:

— Здравствуй, баринъ!

— Здравствуй, Ѳедорушка! Куда идешь?

— Вѣстимо, куда—на похороны. А ты куда ѣдешь?

— Въ Утѣшино.

— Ой ли? Да развѣ барышня то ужь умерла?

— Что ты врешь, дура?—закричалъ Егоръ.

— Смотри, не дерись!—сказала полоумная;—а не то вѣдь я сама камнемъ хвачу.

— А давно ли ты видѣла барышню? — спросилъ Рославлевъ.

— Барышню?... какую?... невѣсту-та чтоль твою?

— Да, Ѳедорушка!

— Аномнясь, на барскомъ дворѣ, она дала мнѣ краюшку хлѣба, да такой бѣлый, словно просвира.

— Ну, что?... Она здорова?

— Нѣтъ, слава Богу, худа: скоро умретъ. То то наѣмся кутьи на ея похоронахъ!

— Какъ?... Она больна?...

— Эхъ, сударь!—прервалъ Егоръ,—что вы ее слушаете? Она весь свѣтъ хоронитъ.

— Погоди, голубчикъ, и ты протянешься!

— Типунъ бы тебѣ на языкъ, вѣдьма!... Эко воронье пугало! Надъ тобой и бы тряслось, проклятая! Ну, что зѣваешь? Пошелъ!

Коляска двинулась подъ гору, а сумасшедшая пошла по дорогѣ и запѣла во все горло:—со святыми упокой! Проѣхавъ версты двѣ большой рысью, они поровнялись съ мелкимъ сосновымъ лѣсомъ. Въ близкомъ разстояніи отъ

большой дороги послышались охотничьи рога; вдругъ изъ-за лѣса показался одинъ охотникъ, одѣтый черкесомъ, за нимъ другой, и вскорѣ человѣкъ двадцать верховыхъ, окруженныхъ множествомъ борзыхъ собакъ, выѣхали на опушку лѣса. Впереди всѣхъ, въ сопровожденіи двухъ стремянныхъ, ѣхалъ на сѣромъ горскомъ конѣ толстый баринъ, въ полевомъ кафтанѣ изъ чернаго бархата, съ огромными корольковыми пуговицами; на шелковомъ персидскомъ кушакѣ, которымъ онъ былъ подпоясанъ, висѣлъ небольшой охотничій ножъ, въ дорогой турецкой оправѣ. Рядомъ съ нимъ ѣхалъ высокій и худощавый человѣкъ, въ зеленомъ сюртукѣ, подпоясанный также кушакомъ, за которымъ заткнутъ былъ широкій черкесскій кинжалъ. Вслѣдъ за охотниками выѣхали изъ лѣса, окруженные стаею гончихъ, человѣкъ десять ловчихъ, доѣзжачихъ и псарей. Когда коляска поровнялась съ охотою, толстый баринъ пріостановилъ свою лошадь и закричалъ:

— Что это? Ба, ба, ба! Рославлевъ! Стой, стой!

Ямщикъ остановилъ лошадей.

— А! это вы, Николай Степановичъ?—сказалъ Рославлевъ.

— Милости просимъ, будущій племянникъ! Здорово, моя душа! Ну, мы сегодня тебя не ожидали! Да вылѣзай, братъ, изъ коляски.

— Извините, я спѣшу!...

— Въ Утѣшино? Не безпокойся: ты тамъ не найдешь своей невѣсты.

— Ахъ, Боже мой!... гдѣ-жъ она?

— Христосъ съ тобой!... что ты испугался? Всѣ, слава Богу, здоровы. Онѣ поѣхали въ городъ съ визитомъ—вотъ къ его женѣ.

— Здравствуйте, Владиміръ Сергѣевичъ!—сказалъ худощавый старикъ въ зеленомъ сюртукѣ.—На-силу мы васъ дождались!

— Такъ я проѣду прямо въ городъ.

— Хуже, братъ! какъ разъ разъѣдатесь. Онѣ часа черезъ полтора сюда будутъ. Я угощаю ихъ охотничьимъ обѣдомъ здѣсь, въ лѣсу, на чистомъ воздухѣ. Да вылѣзай же!

Рославлевъ выпрыгнулъ изъ коляски.

— Ну, здравствуй еще разъ, любезный женихъ!—сказалъ Николай Степановичъ Ижорскій, пожимая руку Ро-

славлева.—Знаешь ли что? Пока еще наши барыни не пріѣхали, мы успѣемъ двухъ, трехъ русаковъ затравить. Ей, Терешка! долой съ лошади!

Одинъ изъ стремянныхъ слѣзъ съ лошади и подвелъ ее Рославлеву.

— Садись-ка, братъ!—продолжалъ Ижорскій;—а вы съ коляской ступайте въ Утѣшино.

Рославлеву вовсе не хотѣлось травить зайцевъ; но дѣлать было нечего: онъ зналъ, что дядя его невѣсты человѣкъ упрямый и любитъ дѣлать все по своему.

— Ну, братъ!— сказалъ Ижорскій, когда Рославлевъ сѣлъ на лошадь,—смотри, держись крѣпче: конь черкесскій, настоящій Шалохъ. Прошлаго года мнѣ его привели прямо съ Кавказа:—звѣрь, а не лошадь! Да ты старый кавалеристъ, такъ со всякимъ чортомъ сладишь. Ей, Шурловъ! кинь гончихъ вонъ въ тотъ островъ; а вы, дурачье, ступайте на всѣ лазы; ты, Заливной, стань у той перемычки, что къ песочному оврагу. Да чуръ не зѣвать! Поставьте прямо на насъ милаго дружка, чтобы было, чѣмъ потѣшить пріѣзжаго гостя.

— Ужь не извольте опасаться, батюшка! — сказалъ Шурловъ, посѣдѣвшій въ отъѣзжихъ поляхъ ловчій, который имѣлъ исключительное право говорить, и даже иногда перебраниваться съ своимъ бариномъ.—У насъ косой не отвертится—поставимъ прямехенько на васъ; извольте только стать вонъ къ этому отъемному острову.

— Ну то то же, Шурловъ, не ударь лицомъ въ грязь.

— Помилуйте, сударь! да если я не потѣшу Владиміра Сергѣевича, такъ не прикажите меня цѣлый мѣсяцъ къ корыту подпускать. Смотрите, молодцы! Держать ухо востро! Сбирай стаю. Да всѣ ли довалились?... Гдѣ Гаркало и Будило? Ну чтожъ зѣваешь, Андрей,—подай въ рогъ. Ванька! возьми своего полвапѣгова-то кобеля на свору; вишь, какъ онъ избаловался—все опушничаетъ. Ну, ребята, съ Богомъ! —прибавилъ ловчій, снявъ картузъ и перекрестясь съ набожнымъ видомъ,—въ добрый часъ! Забирай лѣвѣе!

Въ одну минуту охотники разъѣхались по разнымъ сторонамъ; а псари, съ стаею гончихъ, отправились прямо къ небольшому лѣску, поросшему низкимъ кустарникомъ.

— Терешка!—сказалъ Ижорскій стремянному, который отдалъ свою лошадь Рославлеву,—ступай въ липовую рощу, посмотри, раскинутъ ли шатеръ и пришла ли въ липовую рощу

музыка, да скажи, чтобъ черезъ часъ обѣдъ былъ готовъ. Ну, любезные!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Рославлеву,—не думалъ я сегодня заполевать такого звѣря. Вчера Оленька раскладывала карты, и все выходило, что ты прежде недѣли не будешь. Какъ онѣ обрадуются!

— Да точно ли онѣ сюда пріѣдутъ?

— Экой ты, братецъ! Ужь я сказалъ тебѣ, что онѣ обѣдаютъ здѣсь, вонъ въ этой рощѣ. Да не отставай, Ильменевъ! Что ты? иль въ стремянные ко мнѣ хочешь?

— Лошаденка то устала, батюшка Николай Степановичъ!—отвѣчалъ господинъ въ зеленомъ сюртукѣ.

— Молчи, братъ, будешь съ лошадью. Я велѣлъ для тебя выѣздить чалаго донца, знаешь, что въ каретѣ подъ рукой ходитъ?

— Охъ, боекъ, отецъ мой! Не по мнѣ: какъ разъ слечу наземь!

— И, полно, братецъ, вздоръ! Не кверху полетишь! Да тебѣ же не въ диковинку,—прибавилъ Ижорскій, толкнувъ локтемъ Рославлева.—Ты и съ мѣста слетѣлъ, да не ушибся!

— Какъ, Прохоръ Кондратьевичъ? — спросилъ Рославлевъ;—такъ не вы ужь городничимъ въ нашемъ городѣ?

— Да, сударь, злые люди обнесли меня передъ начальствомъ.

— Разспроси-ка, какую онъ терпитъ напраслину,—сказалъ Ижорскій, мигнувъ потихоньку Рославлеву.—Поклепали малаго, будто бы онъ грамотѣ не знаетъ.

— Неужели?

— Не грамотны, батюшка,—имя-то свое мы подчеркнемъ не хуже другихъ прочихъ, а вотъ въ чемъ дѣло: съ мѣсяцъ тому назадъ, наслали ко мнѣ указъ изъ губернскаго правленія, чтобъ я донесъ, сколько квадратныхъ саженей въ нашей площади. Я было хотѣлъ посовѣтоваться съ уѣзднымъ стряпчимъ: человѣкъ онъ ученый, изъ семинаристовъ; но на ту пору онъ уѣхалъ производить слѣдствіе. Вотъ я подумалъ, подумалъ, да и отрапортовалъ, что у меня въ городѣ квадратной сажени не имѣется, и чтобъ благоволили мнѣ изъ губерніи доставить образцовую. Чтожъ, сударь? Ждать-пождать, слышу—нашъ губернаторъ и рветъ и мечетъ! И неучъ то я, и безграмотный—и какъ, дескать, быть городничимъ такому невѣжѣ: а помилуйте! какое я сдѣлалъ невѣжество?... Вдругъ на прошлой недѣлѣ брякъ указъ,—

я отставленъ; а на мое мѣсто какой то нѣмецкій фонъ. А такъ какъ онъ еще не прибылъ, такъ сдать мнѣ должность старшему приставу. Что дѣлать, батюшка? Плетью обуха не перешибешь!

— И васъ за одно это отставили?—спросилъ Рославлевъ.

— Да, сударь! Вотъ такъ то всегда бываетъ: прикажутъ безъ толку, а тамъ нашъ братъ, подчиненный, и отвѣчай. Безъ вины виноватъ!

— Жаль, что нашъ губернаторъ поторопился васъ отставить. Если вы не знали, что такое квадратная сажень, за то не знали также, какъ берутъ взятки съ обывателей.

— Видитъ Богъ, нѣтъ, батюшка! И ко мнѣ, случалось, забѣгали съ кулечками: кто голову сахару, кто фунтикъ чаю; да я, бывало, такъ турну со двора, что на-силу ноги уплетутъ.

— Впрочемъ, охота вамъ горевать, Прохоръ Кондратьевичъ! Вы жили не службою: у васъ есть собственное состояніе.

— Конечно, есть посильное мѣсто, сударь! Съ голоду не умремъ. Да вѣдь я служилъ изъ чести, Владиміръ Сергѣевичъ! Что ни говори, а городничій у себя въ городѣ велико дѣло. Бывало, идешь гоголемъ по улицѣ, побрякиваешь себѣ шпорами, да постукиваешь саблею; кто ни попался, шапку долой, да въ поясъ! А въ табельные то дни, батюшка! пріѣдешь въ соборъ—у дверей встрѣчаетъ частный приставъ, народъ разступается; идешь по церкви баринъ-бариномъ! Становишься впереди всѣхъ, у самаго амвона, къ кресту подходишь первый... а теперь?.. Ну, да дѣлать нечего,—была и намъ честь.

— А какъ пріѣдетъ, бывало, въ городъ губернаторъ?—спросилъ съ улыбкою Рославлевъ.

— Ну, конечно, батюшка, подчасъ напляшешься. Не только губернаторъ, и слуги то его начнутъ тебя пырять, да гонять изъ угла въ уголъ, какъ лягавую собаку. Чего-бъ ни потребовали къ его превосходительству, хоть птичьяго молока, чтобъ тутъ же родилось и выросло. Бывало, съ ногъ собьютъ, разбойники! А какъ еще, на бѣду, губернаторъ пріѣдетъ съ супругою... Ну! совсѣмъ молодца замотаютъ! Хоть вовсе спать не ложись!

— Вотъ то то же, братецъ! Я слышалъ, что губернаторъ объѣзжаетъ губернію: теперь тебѣ и горюшка мало;

а онъ вѣрно въ будущемъ мѣсяцѣ заѣдетъ въ нашъ городъ и у меня будетъ въ гостяхъ, — промолвилъ съ примѣтной важностію Ижорскій.—Онъ много наслышался о моей больницѣ, о моемъ конскомъ заводѣ и о прочихъ другихъ заведеніяхъ. Ну, чтожъ? Праздниковъ давать не станемъ, а запросто, милости просимъ!

Въ продолженіе сего разговора, они проѣхали съ полверсты полемъ и остановились подлѣ частаго кустарника. Съ одной стороны онъ отдѣлялся отъ лѣса узкой поляною, а съ другой былъ окруженъ обширными лугами, которые спускались пологимъ скатомъ до небольшой, но отмѣнно быстрой рѣчки; по ту сторону оной начиналось возвышенныя мѣста, и по крутому косогору изгибались большая дорога, ведущая въ городъ. Прямо противъ нихъ не было никакой переправы; но внизъ по теченію рѣки, версты полторы отъ того мѣста, гдѣ они остановились, перекинутъ былъ чрезъ нее бревенчатый и узкій мостикъ безъ перилъ.

Прошло нѣсколько минутъ въ глубокомъ молчаніи. Ижорскій не спускалъ глазъ съ мелкаго лѣса, въ который кинули гончихъ. Ильменевъ, боясь развлечь его вниманіе, едва смѣлъ переводить духъ, стремянный стоялъ неподвижно, какъ истуканъ; одинъ Рославлевъ повертывалъ часто свою лошадь, чтобъ посмотрѣть на большую дорогу. Онъ рѣшился, наконецъ, прервать молчаніе и спросилъ Ижорскаго: здоровъ ли ихъ сосѣдъ, Ѳедоръ Андреевичъ Сурскій?

— Здоровъ, братецъ,—отвѣчалъ Ижорскій; —что ему дѣлается?... Постой-ка?... Слышишь?... Никакъ тяфкнула?... Нѣтъ, нѣтъ!.. Онъ будетъ сюда съ нашими барынями... Чудакъ!.. Повѣришь ли? не могу его уговорить поохотиться со мною!.. Бродитъ пѣшкомъ да ѣздитъ верхомъ по своимъ полямъ, какъ будто бы некому, кромѣ его, присмотрѣть за работою; а ужь читаетъ, читаетъ!..

— Съ утра до вечера, батюшка!—прервалъ Ильменевъ. —Какъ это ему не надоѣстъ, подумаешь? Третьяго дня я заѣхалъ къ нему... Господи, Боже мой! и на столѣ то, и на окнахъ, и на стульяхъ—все книги! И охота же, подумаешь, жить чужимъ умомъ? Человѣкъ, кажется, неглупый, а, повѣрите-ль, зарылся по уши въ эту дрянь!...

— Слышишь, Владиміръ?—сказалъ Ижорскій. — Вотъ умный то малый! Книги—дрянь! Ахъ, ты, безграмотный!. . Посмотри-ка, сколько у меня этой дряни!

— Помилуйте, батюшка! да у васъ дѣло другое — за

стеклышкомъ, книга къ книгѣ, такъ онѣ и красу дѣлаютъ!

— Да, братъ, на мою библіотеку полюбоваться можно.

— И вы, сударь, иногда отъ бездѣлья книжку возьмете, да вы человѣкъ разсудительный: прочли страничку, другую, и будетъ; а вѣдь онъ мѣры не знаетъ. Недѣли двѣ тому назадъ...

— Молчи-ка, братъ... Чу! никакъ добираются?... Такъ и есть!... Натекли!... Ого-го! какъ приняли!.. Ну! свалились!.. Пошли писать!.. Помчали!..

— Никакъ по горячему слѣду, батюшка?

— Нѣтъ, братецъ! иль не слышишь? по зрячему... Владиміръ, смотри, смотри!... Да не туда, куда ты смотришь. Рославлевъ! что ты, братецъ?

Но Рославлевъ не видѣлъ и не слышалъ ничего. Вдали за рѣчкой показался на большой дорогѣ ландо, заложенный шестью лошадьми.

— Вотъ онъ, вотъ онъ!—закричалъ вполголоса Ижорскій.

— Да, это онъ!—повторилъ Рославлевъ, узнавъ экипажъ Лидиной.

— А-а-ту его!..—затянулъ протяжнымъ голосомъ стремянный, показывая собакамъ русака, который отдѣлился отъ лѣса.

— Береги, Рославлевъ, береги,—закричалъ Ижорскій.— Вотъ онъ!.. А-ту его!.. Постой, братецъ! Куда ты, пострѣлъ? Постой!.. Не туда, не туда!

Но Рославлевъ былъ уже далеко. Онъ пустился, какъ изъ лука стрѣла, внизъ по теченію рѣки; собаки Ижорскаго бросились вслѣдъ за нимъ; другіе охотники были далеко, и заяцъ началъ преспокойно пробираться лугами къ большому лѣсу, который былъ у нихъ позади. Ижорскій бѣсился, кричалъ, но вскорѣ крикъ его заглушили отчаянные вопли ловчаго Шурлова, который, выскакавъ вслѣдъ за гончими изъ острова, увидѣлъ сію непростительную ошибку. Онъ рвалъ на себѣ волосы, вылъ, ревѣлъ, осыпалъ проклятіями Рославлева; какъ полоумный пустился скакать по полю за зайцемъ, наскакалъ на пенекъ, перекувырнулся вмѣстѣ съ своею лошадью. и, лежа на землѣ, продолжалъ кричать: А-ту его, а — ту! береги, береги!..

Межъ тѣмъ Рославлевъ въ нѣсколько минутъ доскакалъ на своемъ черкесскомъ конѣ до рѣки. Ахъ, какъ билось

ще влюбленнаго жениха! Казалось, оно готово было
ваться изъ груди его!.. Такъ, это онѣ!.. онѣ ѣдутъ
бкой рысью по крутому противоположному берегу.
лавлевъ поровнялся съ ними, его узнали, ему кри-
ь; но онъ видитъ одну Полину... Вотъ она!.. Бѣ-
платокъ ея развѣвается по воздуху. О! еслибъ ло-
ь его имѣла крылья, еслибъ онъ могъ перескочить
езъ эту несносную рѣку, которая, какъ будто-бъ раду-
что раздѣляетъ двухъ любовниковъ, крутилась, буше-
и, покрытая пѣной, мчалась между крутыхъ бере-
своихъ. Рославлевъ хочетъ ѣхать берегомъ, но обшир-
болото перерѣзываетъ ему дорогу. Чтобъ добраться до
га, ему надобно сдѣлать большой объѣздъ лѣсомъ. Онъ
укаетъ свою лошадь, продирается сквозь частый ку-
ьникъ, перепрыгиваетъ черезъ колоды и пеньки, летитъ
вотъ онъ опять въ полѣ, опять видитъ вдали карету,
рая, спускалась съ крутого берега, въѣхала на узкій
гъ. Кто то въ бѣломъ платьѣ высунулся до половины
окна и смотритъ ему навстрѣчу... Это, вѣрно, Полина.
угъ дверцы растворились, раздался громкій крикъ, бѣ-
платье мелькнуло по воздуху, вода разступилась, заки-
а—и все исчезло. Боже мой!.. Рославлевъ ахнулъ, серд-
его перестало биться, въ глазахъ потемнѣло, онъ не ви-
ь даже, что вслѣдъ за бѣлымъ платьемъ какой то мужчина
сился въ воду. Почти безъ чувствъ примчался онъ къ бе-
рѣки, которая въ семъ мѣстѣ, стѣсняемая двумя остро-
и, текла съ необычайной быстротою. Мужчина пожилыхъ
ь употреблялъ почти нечеловѣческія усилія, чтобъ от-
ть отъ берега, къ которому его прибило быстрымъ те-
емъ; шагахъ въ двадцати отъ него, то показывалось по-
ъ воды, то исчезало бѣлое платье. Рославлевъ на всемъ
у бросился въ воду. Черкесскій конь, привыкшій пере-
вать горные потоки, съ перваго размаха вынесъ его
середину рѣки; онъ повернулъ его по теченію, но не
ѣлъ бы спасти погибающую, еслибъ, къ счастію, ей
удалось схватиться за одинъ кустъ, растущій на неболь-
гъ островѣ, вокругъ котораго вода кипѣла и крутилась
снымъ образомъ. Въ ту самую минуту, какъ она, со-
пенно обезсилѣвъ, переставала уже держаться за сучья,
лавлевъ успѣлъ обхватить ее рукою и выплыть вмѣстѣ
нею на берегъ. Онъ соскочилъ съ лошади, бережно
стилъ ее на траву, и тутъ только увидѣлъ, что спасъ

не невѣсту, а сестру ея, Оленьку.—Это вы?..—сказала она слабымъ голосомъ.—Это ты... избавитель мой!..—повторила она, обвивъ руками его шею; но вдругъ глаза ея закрылись, и она безъ чувствъ упала на грудь Рославлева.

VII.

Въ началѣ іюля мѣсяца, спустя нѣсколько недѣль послѣ несчастнаго случая, описаннаго нами въ предыдущей главѣ, часу въ седьмомъ послѣ обѣда, Прасковья Степановна Лидина, братъ ея, Ижорскій, Рославлевъ и Сурскій сидѣли вокругъ постели, на которой лежала больная Оленька; нѣсколько поодаль сидѣлъ Ильменевъ, а у самаго изголовья постели стояла Полина и домовой лѣкарь Ижорскаго, къ которому Лидина не имѣла вовсе вѣры, потому что онъ былъ русскій и учился не за моремъ, а въ Московской академіи. Онъ держалъ за руку больную, и хотя не говорилъ еще ни слова, но не трудно было отгадать по его веселому и довольному лицу, что опасность миновалась.

— Поздравляю васъ, сударыня!—сказалъ онъ наконецъ, обращаясь къ Лидиной;—жару вовсе нѣтъ, пульсъ спокойный, ровный. Ольга Николаевна совершенно здорова, и только одна слабость... но это въ нѣсколько дней совсѣмъ пройдетъ.

— Точно ли вы увѣрены въ этомъ? — спросила недовѣрчиво Лидина.

— Да, сударыня, и такъ увѣренъ, что прошу васъ приказать убрать всѣ эти лѣкарства: теперь Ольгѣ Николаевнѣ нужны только покой и умѣренность въ пищѣ.

— Умѣреннесть въ пищѣ!.. Да она ничего не ѣстъ, сударь!

— Не безпокойтесь, будетъ кушать. А вамъ, сударыня!—продолжалъ лѣкарь, относясь къ Полинѣ, — я совѣтовалъ бы отдохнусь и подышать чистымъ воздухомъ. Вотъ ужь мѣсяцъ, какъ вы не выходите изъ комнаты вашей сестрицы. Вы ужасно похудѣли: посмотрите, вы блѣднѣе нашей больной.

— Это правда,—прервала Лидина,—она такъ измучилась, chère enfant! Представьте себѣ: бѣдняжка почти всѣ ночи не спала!.. Да, да, mon ange, ты никогда не бережешь себя. Помнишь ли, когда мы были въ Парижѣ, и я зане-

могла? Хотя опасности никакой не было... Да, братецъ, тамъ не такъ, какъ у васъ въ Россіи: тамъ нѣтъ болѣзни! которой бы не вылѣчили...

— Видно, оттого то въ Парижѣ такъ много и жителей, —сказалъ, шутя, Ѳедоръ Андреевичъ Сурскій.

— И, полно, сестра!—подхватилъ Ижорскій;—да развѣ въ Парижѣ никто не умираетъ?

— Конечно, умираютъ; но только тогда, когда уже нѣтъ никакихъ средствъ вылѣчить больного.

— Извините!—сказалъ лѣкарь,—мнѣ надобно ѣхать въ городъ, я ворочусь сегодня же домой.

Когда онъ вышелъ изъ комнаты, Лидина спросила Оленьку: точно ли она чувствуетъ себя лучше.

— Да, маменька!—отвѣчала тихимъ голосомъ больная;— я чувствую только какую то усталость.

— Вы еще слабы,—сказалъ Сурскій;—и это очень натурально, послѣ такого сильнаго потрясенія...

— Да, любезный!—прервалъ Ижорскій, — васъ всѣхъ перетряхнуло порядкомъ; и меня со страстей въ лихорадку бросило. Боже мой! вспомнить не могу!.. Дуракъ Сенька прибѣжалъ ко мнѣ, какъ шальной, и сказалъ, что Оленька упала съ моста, что ты, Сурскій, вытаскивая ее изъ воды, пошелъ ко дну, и что Рославлевъ, стараясь васъ спасти обоихъ, утонулъ съ вами вмѣстѣ. Не знаю, какъ я усидѣлъ на лошади!.. Ну, вотъ, прошу загадывать впередъ! Охота, обѣдъ, музыка, всѣ мои затѣи пошли въ чорту. А я такъ радовался, что задамъ вамъ сюрпризъ; вы лишь только бы въ палатку, а женихъ и тутъ!... Роговая музыка грянула бы: желанья наши совершились; а тамъ новую увертюру изъ Діанина древа! И чтожъ? Вмѣсто этого всего, русакъ ушелъ, Шурловъ вывихнулъ ногу, и Оленька чуть-чуть не утонула... Экій выдался денекъ!

— Я вамъ докладывалъ, Николай Степановичъ! — сказалъ Ильменевъ,—что поле будетъ незадачное. Извольте-ка припомнить: лишь только мы выѣхали изъ околицы, такъ намъ и пырь въ глаза батька Василій; а вѣдь, извѣстное дѣло, какъ съ попомъ повстрѣчаешься, такъ не жди ни въ чемъ удачи.

— Полно врать, братецъ! Все это глупыя примѣты. Ну что имѣетъ общаго попъ съ охотою? Конечно, и я не люблю, когда тринадцать сидятъ за столомъ, да это другое дѣло. Три раза въ моей жизни случилось, что изъ

этихъ тринадцати человѣкъ, кто черезъ годъ, кто черезъ два, кто черезъ три, а непремѣнно умретъ; такъ тутъ поневолѣ станешь вѣрить.

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ улыбаясь Сурскій, — это странно! И всѣ эти умирающіе были люди молодые?

— Ну, нѣтъ! Одинъ то былъ ужь лѣтъ семидесяти— такой старикъ здоровый! Вдругъ свернуло, году не прожилъ послѣ обѣда, на которомъ онъ былъ тринадцатымъ.

— А я такъ думаю,—сказала Лидина,—что это несчастіе случилось отъ того, что у васъ въ Россіи нѣтъ ничего порядочнаго: дороги скверныя, а мосты!.. Dieu quelle abomination! Еслибъ вы были во Франціи и посмотрѣли...

— Полно, сестра! Что, развѣ мостъ подломился подъ вашей каретою? Прошу не погнѣваться — мостъ славный и строенъ по моему рисунку; а вотъ, еслибъ въ твоей парижской каретѣ дверцы притворялись плотнѣе, такъ дѣло то было бы лучше. Нѣтъ, матушка, я увѣренъ, что нашъ губернаторъ полюбуется на этотъ мостикъ... Да, кстати! Меня увѣдомляютъ, что онъ завтра пріѣдетъ въ нашъ городъ; слѣдовательно, послѣзавтра будетъ у меня обѣдать.

— Пелагея Николаевна! — сказалъ Сурскій,—лѣкарь говорилъ правду: вы такъ давно живете затворницей, что можете легко и сами занемочь. Время прекрасное, чтобъ вамъ погулять?

— А онъ пойдетъ вмѣстѣ съ тобою,—шепнула Оленька.— Вѣдь вы еще не успѣли двухъ словъ сказать другъ другу.

— Поди, мой ангелъ! — сказала Лидина. — Владиміръ Сергѣевичъ, ступайте съ нею въ садъ.

— Ну, чтожъ ты задумалась, племянница?—закричалъ Ижорскій.—Полно, матушка, ступай! Вѣдь смерть самой хочется погулять съ женихомъ. Охъ вы, барышни! А ты что смотришь, Владиміръ? Подъ руку ее, да и маршъ!

— Возьми, мой другъ, съ собой зонтикъ,—сказала Лидина Полинѣ, которая рѣшилась, наконецъ, оставить на нѣсколько времени больную. — Вотъ тотъ, что я купила тебѣ, помнишь, въ Пале-Роялѣ? Онъ больше другихъ, и лучше закроетъ тебя отъ солнца.

— Знаешь ли, сестра! — промолвилъ вполголоса Ижорскій, смотря вслѣдъ за Рославлевымъ, который вышелъ вмѣстѣ съ Полиною,—знаешь ли, кто больше всѣхъ пострадалъ отъ этого несчастнаго случая? Вѣдь это онъ! Свадьба была назначена на прошлой недѣлѣ, а бѣдняжка Влади-

міръ только сегодня въ первый разъ поговоритъ на свободѣ съ своею невѣстою. Не въ добрый часъ онъ выѣхалъ изъ Питера!

— Мнѣ нельзя согласиться съ вами, дядюшка! — сказала больная. — Еслибъ онъ выѣхалъ однимъ часомъ позже изъ Петербурга, то, вѣроятно, меня не было бы на свѣтѣ.

— Да, онъ подоспѣлъ впору.

— Такъ въ самомъ дѣлѣ, — спросила Лидина, — онъ одинъ спасъ Оленьку?

— А съ нею и меня, — отвѣчалъ Сурскій, — судя по тому, какъ трудно мнѣ было одному выбраться на берегъ. Нѣтъ сомнѣнія, что я не спасъ бы Ольгу Николаевну, а утонулъ-бы съ нею вмѣстѣ.

— Добрый Рославлевъ!... Я, право, люблю его, какъ родного сына, — промолвила Лидина. — Одно мнѣ только въ немъ не нравится: этотъ несносный патріотизмъ; и не странно ли видѣть, что человѣкъ образованный сходитъ съума отъ всего русскаго!... Comme c'est ridicule! Скажите мнѣ, monsieur Сурскій, d'où vient cela? Онъ, кажется, хорошо воспитанъ?

— Да, сударыня! — отвѣчалъ съ улыбкой Сурскій; — онъ очень хорошо воспитанъ; а если имѣетъ слабость любить Россію, такъ это, вѣрно, потому, что онъ не французъ.

— Да не вовсе и русскій, братецъ! — подхватилъ Ижорскій. — Вы оба съ нимъ порядкомъ объиноземились. Я самъ, благодаря Бога, не невѣжда, и знаю кой-что, а не стану вопить, какъ вопите вы и ваша заморская челядь, противъ нашей дворянской роскоши. Нѣтъ, братецъ, не походите вы оба на русскихъ бояръ. Ты, любезный, зарылся въ книги какъ профессоръ, живешь какимъ то философомъ; да и Владиміръ не лучше тебя. Ну, повѣришь ли, сестра, какъ я ему сказалъ, что у меня безъ малаго четыреста душъ дворовыхъ, такъ онъ ахнулъ?... Ахъ, батюшки, четыреста душъ!... Помилуйте, вѣдь они ничего не дѣлаютъ, а только даромъ хлѣбъ ѣдятъ. — Какъ, ничего, а развѣ меня не тѣшатъ? — Да на что вамъ такая орава? — Вотъ забавно! Стану я считать, сколько у меня людей! Что я, нѣмецкій баронъ что-ль какой-нибудь? Нѣтъ, сударь, я русскій столбовой дворянинъ, и прошу не прогнѣваться, колокольчика къ моимъ дверямъ привѣшивать не стану.

— Подлинно, сударь, вы столбовой русскій бояринъ, — сказалъ Ильменевъ, взглянувъ съ подобострастіемъ на Ижор-

скаго.—Чего у васъ нѣтъ! Гости ли наѣдутъ—на сто человѣкъ готовы постели; грунтовый сарай на цѣлой десятинѣ; оранжереямъ конца нѣтъ; персиковъ, абрикосовъ, дуль, всякихъ фруктъ... Господи, Боже мой!... ѣшь—не хочется! Истинно, куда ни обернись, все барское! Въ лакейскую что-ль заглянешь? такъ, нечего сказать, глаза разбѣгутся — цѣлая барщина; да что за народъ?... молодецъ къ молодцу!

Ижорскій гордо улыбнулся, призадумался, потомъ, вынувъ огромную золотую табакерку, понюхалъ съ разстановкою табаку и, взглянувъ ласково на Ильменева, сказалъ:—Послушай, Прохоръ Кондратьевичъ, въ самомъ дѣлѣ, чалая донская не по тебѣ. Знаешь мою гнѣдую, съ бѣлой лысиной?

— Какъ не знать, батюшка, лошадь богатая: тысячи полторы стоитъ!

— Такъ по рукамъ, братецъ! Она твоя!

— Какъ, сударь?

— Ну да, твоя! Ѣзди себѣ на здоровье, да смотри, похваливай нашъ заводецъ!

Ильменевъ онѣмѣлъ отъ восторга и удивленія; а когда опомнился, то отъ избытка благодарности заговорилъ такую нескладицу, что Ижорскій, захохотавъ во все горло, закричалъ: — Полно, любезный, полно, заврался!... Да будетъ, братецъ, доскажешь въ другое время!

Въ продолженіе сего разговора, Рославлевъ, ведя подъ руку свою невѣсту, шелъ тихими шагами вдоль широкой аллеи, которая перерѣзывала на двѣ равныя половины обширный регулярный садъ, разведенный еще отцомъ Лидиной. Есть минуты блаженства, въ которыя языкъ нашъ нѣмѣетъ отъ избытка сердечной радости. Рославлевъ не говорилъ ни слова, но онъ не сводилъ глазъ съ своей невѣсты; онъ былъ вмѣстѣ съ нею; рука его касалась ея руки; онъ чувствовалъ каждое біеніе ея сердца, и когда тихій вздохъ, вылетая изъ груди ея, сливался съ воздухомъ, которымъ онъ дышалъ, когда взоры ихъ встрѣчались... О! въ эту минуту онъ не желалъ, онъ не могъ желать другого блаженства! То, что въ свѣтѣ называютъ страстію, это бурное, мятежное ощущеніе, всегда болтливо; но чистая, самимъ небомъ благословляемая любовь, сіе чувство величайшаго земнаго наслажденія, не изъясняется словами.

Пройдя во всю длину аллеи, которая оканчивалась гу-

стою рощею, Полина остановилась.—Я что-то устала,—шепнула она тихимъ голосомъ.

— Сядемте,—сказалъ Рославлевъ.

— Только, Бога ради, не здѣсь, подлѣ этихъ грустныхъ, обезображенныхъ липъ! Пойдемте въ рощу. Я люблю отдыхать вотъ тамъ, подъ этой густой черемухой. Не правда ли, — продолжала Полина, когда они, войдя въ рощу, сѣли на дерновую скамью,—не правда ли, что здѣсь и дышишь свободнѣе? Посмотрите, какъ весело растутъ эти березы, какъ пушисты эти раки товые кусты; съ какою роскошью подымается этотъ высокій дубъ! Онъ не боится, что придетъ садовникъ и сравняетъ его съ другими деревьями.

— И я также не люблю этихъ подстриженныхъ деревьевъ, — сказалъ Рославлевъ. — Они такъ однообразны, такъ живо напоминаютъ намъ стѣны домовъ, въ которыхъ мы должны поневолѣ запираться зимою. Какая разница!... Здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, и дышишь свободнѣе! Эта густая зелень, эта дикая, простая природа—все наполняетъ душу какой то тихой радостью и спокойствіемъ. Мнѣ кажется... да, Полина, мнѣ кажется, что здѣсь только, сокрытые отъ всѣхъ взоровъ, мы совершенно принадлежимъ другъ другу, и только тогда, когда я могу мечтать, что мы одни въ цѣломъ мірѣ, тогда только я чувствую вполнѣ все мое счастіе!

— Такъ вы очень меня любите?— спросила Полина, чертя задумчиво по песку своимъ зонтикомъ.—Очень?...

— Болѣе всего на свѣтѣ!

— И стали-бъ любить даже и тогда, еслибъ я была несправедлива, еслибъ заплатила за любовь вашу одной неблагодарностью?

— Да, Полина, и тогда! Не въ моей власти не любить васъ. Это чувство слилось съ моей жизнію. Дышать и любить Полину—для меня одно и то-же!

— А если бы, для счастія моего, было необходимо, чтобъ вы навсегда отъ меня отказались?...

— Навсегда?...

— Да, еслибъ я потребовала отъ васъ этой жертвы?

— Какая ужасная шутка!

— Но что-бы вы сдѣлали, еслибъ я говорила не шутя? Еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, отъ этого зависѣло все счастіе моей жизни?

— Все ваше счастіе?... И вы можете меня спрашивать!

— Вы отказались бы добровольно отъ руки моей?

— Я сдѣлалъ-бы болѣе, Полина! Чтобъ совѣсть ваша была спокойна, я постарался-бы пережить эту потерю.

— Добрый Вольдемаръ!—сказала Полина, взглянувъ съ нѣжностію на Рославлева.—Ахъ! какую тягость вы сняли съ моего сердца! Итакъ, вы, вѣрно, согласитесь...

— На что?—вскричалъ Рославлевъ, поблѣднѣвъ, какъ приговоренный къ смерти.

— Отсрочить еще на два мѣсяца нашу свадьбу.

— На два мѣсяца!!

— Другъ мой! — сказала Полина, прижавъ къ своему сердцу руку Рославлева, — не откажи мнѣ въ этомъ! Я не сомнѣваюсь, не могу сомнѣваться, что буду счастлива; но дай мнѣ увѣриться, что и я могу составить твое счастіе; дай мнѣ время привязаться къ тебѣ всей моей душою, привыкнуть мыслить объ одномъ тебѣ, жить для одного тебя, и если можно,—прибавила она такъ тихо, что Рославлевъ не могъ разслышать словъ ея,—если можно, забыть все, все прошедшее!

— Но два мѣсяца, Полина!...

— Ахъ, мой другъ, почему знать, можетъ быть, ты спѣшишь сократить лучшее время въ твоей жизни! Не правда ли? Ты согласенъ отсрочить нашу свадьбу?

— Я не стану обманывать тебя, Полина! — сказалъ Рославлевъ послѣ короткаго молчанія. — Одна мысль, что я не прежде двухъ мѣсяцевъ назову тебя моею, приводитъ меня въ ужасъ. Чего не можетъ случиться въ два мѣсяца?... Но если ты желаешь этого, могу ли я не согласиться!

— Благодарю тебя, мой другъ! О, будь увѣренъ, любовь моя вознаградитъ тебя за эту жерву. Мы будемъ счастливы... да, мой другъ!—повторила она сквозь слезы,—совершенно счастливы!

Вдругъ позади нихъ загремѣлъ громкій, отвратительный хохотъ. Полина вскрикнула; Рославлевъ также невольно вздрогнулъ и поглядѣлъ съ безпокойствомъ вокругъ себя. Ему показалось, что въ близкомъ разстояніи продираются сквозь чашу деревьевъ; черезъ нѣсколько минутъ шорохъ сталъ отдаляться, раздался снова безумный хохотъ, и кто то дикимъ голосомъ запѣлъ: со святыми упокой.

— Это сумасшедшая Ѳедора,—сказала Полина.—Какъ чудно, — прибавила она, покачавъ печально головою, — что

ъ ту самую минуту, какъ я говорила о будущемъ нашемъ частіи...

— Зачѣмъ эту сумасшедшую пускаютъ къ вамъ въ адъ?—прервалъ Рославлевъ.

— Роща не огорожена; впрочемъ, эта несчастная не ѣлаетъ никому вреда.

— Но она можетъ испугать; ея сумасшествіе такъ жасно!...

— Ахъ, она очень жалка! Пять лѣтъ тому назадъ, она ошла съ ума отъ того, что женихъ ея умеръ наканунѣ ихъ свадьбы.

— Наканунѣ свадьбы! — повторилъ вполголоса Рославлевъ.—Одинъ день и вѣчная разлука!... А два мѣсяца, ой другъ?...

— Вотъ дядюшка и маменька, — прервала Полина; — ойдемте къ нимъ навстрѣчу.

— Ну что, страстные голубки, наговорились что-ль?— акричалъ Ижорскій, подойдя къ нимъ вмѣстѣ съ своей естрой и Ильменевымъ. — Что, Прохоръ Кондратьевичъ, хмыляешься? Небось, любуешься на жениха и невѣсту? 'о то же! А что, чай, и ты встарину гулялъ этакъ по аду съ твоей теперешней супругою?

— Что вы, батюшка! Ея родители были не нынѣшняго вѣка—люди строгіе, дай Богъ имъ царство небесное! іуда гулять по саду! Я до самой почти свадьбы и голоса я не слышалъ. За день до вѣнца, она перемолвила со мной ъ окно два словечка... такъ чтожъ? Матушка ея подслуіала, да ну-ка ее съ щеки на щеку — такъ разрумянила, то Боже упаси. Не тѣмъ помянута, куда крута была пойница!

— А гдѣ Ѳедоръ Андреевичъ?—спросила Полина у свого дядя.

— Сурскій? Уѣхалъ домой.

— Такъ Оленька одна? Я пойду къ ней; а вы, — шепула она Рославлеву, — останьтесь здѣсь и погуляйте съ ядюшкой.

Больная не замѣтила, что Полина вошла къ ней въ омнату. Облокотясь одной рукой на подушки, она сидѣла адумавшись на кровати: передъ ней на небольшомъ стоикѣ стояла зажженная свѣча; лежалъ до половины испиванный почтовый листъ бумаги, сургучъ, и все, что нужно ія письма.

— Ну что, какъ ты себя чувствуешь? — спросила Полина.

— Ахъ, это ты? — сказала Оленька. — Какъ ты меня испугала! Я думала, что ты гуляешь по саду съ твоимъ женихомъ.

— Онъ остался тамъ съ дядюшкой.

— Но ему, вѣрно, было бы пріятнѣе гулять съ тобою. Зачѣмъ ты ушла?

— Къ кому ты пишешь?—спросила Полина, не отвѣчая на вопросъ своей сестры.

— Въ Москву, къ кузинѣ Еме. Она, вѣрно, думаетъ, что ты уже замужемъ.

— Можетъ быть.

— Я не знаю, что мнѣ написать о твоей свадьбѣ? Вѣдь, кажется, на будущей недѣлѣ?

— Нѣтъ, мой другъ!

— А когда же?

— Ты станешь бранить меня. Я уговорила Рославлева отложить свадьбу на два мѣсяца.

— Какъ!—вскричала больная,—еще на два мѣсяца?

— Сначала это его огорчило...

— А потомъ онъ согласился?

— Да, мой другъ! Онъ такъ меня любитъ!

— Слишкомъ, Полина, слишкомъ! Тѣ не стоишь этого.

— Ну вотъ! я знала, что ты разсердишься.

— Можно ли до такой степени употреблять во зло власть, которую ты имѣешь надъ этимъ добрымъ, милымъ Рославлевымъ? Надъ этимъ... Чему-жъ ты смѣешься?

— Знаешь ли, Оленька? Мнѣ иногда кажется, что ты его любишь больше, чѣмъ я. Ты всегда говоришь о немъ съ такимъ восторгомъ!

— А ты всегда говоришь глупости, — сказала Оленька съ примѣтной досадою.

— То то глупости!—продолжала Полина, погрозивъ ей пальцемъ.—Ужь не влюблена ли ты въ него?—смотри!

Оленька поглядѣла пристально на сестру свою; губы ея шевелились; казалось, она хотѣла улыбнуться; но вдругъ вся блѣдность исчезла съ лица ея, щеки запылали, и она, схвативъ съ необыкновенною живостію руку Полины, сказала:—Да, я люблю его какъ мужа сестры моей, какъ надежду, подпору всего нашего семейства, какъ родного моего брата! А тебя почти ненавижу за то, что ты забавля-

ться его отчаяніемъ. Послушай, Полина! Если ты меня юбишь, не откладывай свадьбы, прошу тебя, мой другъ! азначь ее на будущей недѣлѣ.

— Такъ скоро? Ахъ, нѣтъ! Я никакъ не рѣшусь.

— Скажи мнѣ откровенно, любишь ли ты его?

— Да!—отвѣчала вполголоса Полина.

— Такъ зачѣмъ же ты это дѣлаешь? Для чего заста-яешь жениха твоего думать, что ты своенравна, прихот-ива, что ты забавляешься его досадою и огорченіемъ? одумай, мой другъ! онъ не всегда останется женихомъ, и ли мужъ не забудетъ о томъ, что сносилъ отъ тебя же-ихъ; если современемъ онъ захочетъ такъ же, какъ ты, потреблять во зло власть свою...

— О, не безпокойся, мой другъ! Ты не услышишь оихъ жалобъ.

— Но развѣ тебѣ отъ этого будетъ легче? Нѣтъ, По-ина! Нѣтъ, мой другъ! Ради Бога, не огорчай добраго Воль-змара! Почему знать, можетъ быть будущее твое счастіе... частіе всего нашего семейства зависитъ отъ этого.

Полина задумалась, и послѣ минутнаго молчанія ска-ала тихимъ голосомъ:

— Но это уже рѣшено, мой другъ!

— Между тобой и женихомъ твоимъ. Не думаешь ли, го онъ будетъ досадовать, если ты перемѣнишь твое рѣ-еніе? Я, право, не узнаю тебя, Полина; ты съ нѣкото-аго времени стала такъ странна, такъ причудлива!.. Не прямься, мой другъ! Подумай, какъ ты огорчишь этимъ аменьку, какъ это непріятно будетъ Сурскому, какъ раз-ердится дядюшка...

— Боже мой, Боже мой, — сказала Полина почти съ гчаяніемъ;—какъ я несчастлива! Вы всѣ хотите...

— Твоего благополучія, Полина!

— Моего благополучія!... Но почему вы знаете... и ремя ли теперь думать о свадьбѣ? Ты больна, мой другъ...

— О, если ты желаешь, чтобъ я выздоровѣла, то огласись на мою просьбу. Я не буду здорова до тѣхъ оръ, пока не назову братомъ жениха твоего; я стану без-рестанно упрекать себя... да, мой другъ! я причиною, что ы еще не замужемъ. Еслибъ я была осторожнѣе, то ни-его бы не случилось: вы были бы уже обвѣнчаны; а те-ерь... Боже мой! сколько перемѣнъ можетъ быть въ два ѣсяца!.. и если почему нибудь ваша свадьба разойдется,

то я вѣчно не прощу себѣ. Полина!—продолжала Оленька, покрывая поцѣлуями ея руки,—согласись на мою просьбу! Подумай, что твое упрямство можетъ стоить мнѣ жизни! Я не буду спокойна днемъ, не стану спать ночью; я чувствую, что болѣзнь моя возвратится, что я не перенесу ея... согласись, мой другъ!

Полина молчала; всѣ черты лица ея выражали нерѣшимость и сильную душевную борьбу. Трепеща, какъ преступница, которая должна произнести свой собственный приговоръ, она нѣсколько разъ готова была что то сказать... и всякій разъ слова замирали на устахъ ея.

— Такъ! я должна это сдѣлать, — сказала она, наконецъ, рѣшительнымъ и твердомъ голосомъ: — рано или поздно—все равно!—Съ безумной живостью несчастливца, который спѣшитъ однимъ разомъ прекратить всѣ свои страданія, она не сняла, а сорвала съ шею черную ленту, къ которой привѣшенъ былъ небольшой золотой медальонъ. Хотѣла раскрыть его, но руки ея дрожали. Вдругъ съ судорожнымъ движеніемъ она прижала его къ груди своей, и слезы ручьемъ потекли изъ ея глазъ.

— Что это значитъ?.. Что съ тобой? — вскричала Оленька.

— Ничего, мой другъ, ничего!— отвѣчала, всхлипывая, Полина;—успокойся, это послѣднія слезы.—Ахъ, мой другъ! онъ исчезъ, этотъ очаровательный... нѣтъ, нѣтъ! этотъ тяжкій, мучительный сонъ! Теперь ты можешь сама назначить день моей свадьбы.

Полина раскрыла медальонъ и вынула изъ него нарисованное на бумагѣ грудное изображеніе молодого человѣка; но прежде, чѣмъ она успѣла сжечь на свѣчѣ этотъ портретъ, Оленька бросила на него быстрый взглядъ и вскричала съ ужасомъ:

— Возможно ли?

— Да, мой другъ!

— Какъ! ты любишь?..

— Молчи! ради Бога, не называй его!

— И я не знала этого!

— Прости меня!—сказала Полина, бросившись на шею къ сестрѣ своей:—я не должна была скрывать отъ тебя... Безумная!.. Я думала, что эта тайна умретъ вмѣстѣ со мною... Что никто въ цѣломъ мірѣ... Ахъ, Оленька! я боялась даже тебя!..

— Но скажи мнѣ?..

— Послѣ, мой другъ! послѣ. Дай мнѣ привыкнуть къ мысли, что это былъ бредъ, сумасшествіе; что я видѣла его во снѣ. Ты узнаешь все, все, мой другъ! Но если его образъ никогда не изгладится изъ моей памяти; если онъ, какъ неумолимая судьба, станетъ между мной и моимъ мужемъ?... О! тогда молись вмѣстѣ со мною, молись, чтобъ я скорѣй переселилась туда, гдѣ сердце умѣетъ любить, и гдѣ любовь не можетъ быть преступленіемъ!

Полина склонила голову на грудь больной, и слезы ея смѣшались со слезами доброй Оленьки, которая, обнимая сестру свою, повторяла:

— Да, да, мой другъ! это былъ одинъ сонъ! Забудь о немъ, и ты будешь счастлива!

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Двухъ-этажный домъ Николая Степановича Ижорскаго, построенный по его плану, стоялъ на возвышенномъ мѣстѣ, въ концѣ обширнаго села, которое отдѣлялось отъ деревни сестры его, Лидиной, небольшимъ лугомъ и узенькой рѣчкою. Испещренный всѣми возможными цвѣтами китайскій мостикъ, перегибаясь чрезъ рѣчку, упирался въ круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла отъ воротъ башни до самаго дома. Трудно было бы рѣшить, къ какому ордену архитектуры принадлежало это чудное зданіе: всѣ роды древніе и новѣйшіе были въ немъ перемѣшаны, какъ языки при вавилонскомъ столпотвореніи. Низенькія и толстыя колонны, похожія на египетскія, поддерживали греческій фронтонъ; четыреугольныя готическія башни, прилѣпленныя ко всѣмъ угламъ дома, прорѣзаны были широкими италіанскими окнами; а изъ средины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорскій называлъ своимъ бельведеромъ. Съ одной стороны примыкалъ къ дому обширный садъ съ оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, въ которые накачивали воду изъ двухъ колодцевъ, замаскированныхъ деревьями. Внутренность дома не уступала въ разнообразіи наружности; но всего любопытнѣе былъ кабинетъ хозяина и его собраніе рѣдкостей. Вмѣстѣ съ золотыми, вышедшими изъ моды табакерками, лежали рѣзныя берестовыя тавлинки; подлѣ серебряныхъ старинныхъ кубковъ стояли гли-

няные размалеванные горшки—подъ именемъ этрусскихъ вазъ; образчики всѣхъ рудъ, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядомъ; подлѣ чучелъ бѣлаго медвѣдя и пеликана стояли чучелы обыкновеннаго кота и лягавой собаки; за стекломъ хранились: челюсть слона, мамонтовыя кости и лошадиное ребро, которое Ижорскій называлъ человѣческимъ, и доказывалъ имъ справедливость мнѣнія, что земля была нѣкогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; всѣ стѣны были завѣшаны панцырями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдавшемуся впередъ карнизу разставлены рядышкомъ чучелы: куликовъ, пѣтуховъ, куропатокъ, галокъ, грачей и прочихъ, весьма обыкновенныхъ птицъ. Глядя на эту коллекцію безвинныхъ жертвъ, хозяинъ часто восклицалъ съ гордостію: кому другому, а мнѣ Бюффонъ не надобенъ. Вотъ онъ въ лицахъ!

Спустя два дня послѣ описаннаго нами разговора двухъ сестеръ, часу въ десятомъ утра, въ домѣ Ижорскаго шла большая суматоха. Дворецкій бѣгалъ изъ комнаты въ комнату, шумѣлъ, бранился и щедрой рукой раздавалъ тузы лакеямъ и дворовымъ женщинамъ, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всемъ домѣ. Самъ баринъ, въ пунцовомъ атласномъ шлафрокѣ, смотрѣлъ изъ окна своего кабинета, какъ цѣлая барщина занималась уборкой сада. Вездѣ усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезною водою; однимъ словомъ, все доказывало, что хозяинъ ожидаетъ къ себѣ необыкновеннаго гостя. Нѣсколько уже минутъ онъ морщился, смотря на работающихъ.—Ну, такъ и есть!—сказалъ онъ, наконецъ, съ досадою;—я не вижу и половины мужиковъ! Эй, Трошка, бѣги скорѣй въ садъ, посмотри, всю ли барщину выгнали на работу?

Слуга, спѣша исполнить данное ему приказаніе, бросился опрометью вонъ изъ дверей, и чуть не сшибъ съ ногъ Сурскаго и Рославлева, которые входили въ кабинетъ. —А, любезные! милости просимъ!—закричалъ Ижорскій.— Кстати пожаловали: вы мнѣ пособите! Умъ хорошо, а два лучше!

— Да что у тебя такое сегодня?—спросилъ Сурскій.

— Какъ что? Я получилъ записку изъ города: сегодня обѣдаетъ у меня губернаторъ.

— Вотъ что! Да вѣдь ты хотѣлъ принять его запросто?

— Эхъ, милый! ну, конечно, запросто; а угостить все-таки надобно. Вѣдь я не кто другой—не Ильменевъ же, въ самомъ дѣлѣ!—Ну что, Трошка?—спросилъ онъ входящаго слугу.

— Староста, сударь, выгналъ въ садъ только половину барщины.

— Ахъ онъ мерзавецъ! Да какъ онъ смѣлъ? Вотъ я его проучу! Давай его сюда!... Эка бестія! Все умничаетъ! Ужь и на прошлой недѣлѣ онъ мнѣ насолилъ; да счастливъ, разбойникъ!... Погода была такъ сыра, что электрическая машина вовсе не дѣйствовала

— Электрическая машина!—повторилъ съ удивленіемъ Сурскій.

— Да, братецъ! Я бить не люблю, и въ нашъ вѣкъ какой порядочный человѣкъ станетъ драться? У меня, вотъ какъ провинился кто-нибудь — на машину! Завалилъ ему ударовъ пять, шесть, такъ впредь и будетъ умнѣе; оно и памятно и здорово. Чему-жъ ты смѣешься, Сурскій? конечно, здорово. Когда еще у меня не было больныхъ и домоваго лѣкаря, такъ я отъ всѣхъ болѣзней лѣчилъ машиною.

— Смотри пожалуй!.. И, вѣрно, многихъ вылѣчивалъ?

— Случалось, братецъ! Да вотъ, напримѣръ, года два тому назадъ, привели ко мнѣ однажды Антона скотника; взглянуть было жалко! Ревматизмъ чтоль, подагра ли — право, не знаю; только вовсе обезножилъ. Вотъ я навертѣлъ, навертѣлъ!... время было сухое—машина такъ и трещитъ! Велѣлъ ему взяться за цѣпочку, благословился, да какъ щелкъ!... Гляжу, мужикъ мой закачался. Я еще... онъ и съ ногъ долой. Глядь-поглядь—ахти худо! языкъ отнялся, глаза закатились; ну, умеръ, да и только! Другой бы испугался, а я такъ нѣтъ. Благодарю моего Создателя—не сробѣлъ! Ну-ка его лежачаго ударъ за ударомъ. Чтожъ, сударь? Очнулся! Да какъ вскочитъ, батюшка!... Господи, Боже мой! откуда ноги взялись.

— Какъ! побѣжалъ?

— Да такъ, сударь, что и догнать не могли.

— Подлинно, диковинка!—сказалъ Сурскій.—И онъ совсѣмъ выздоровѣлъ?

— Какъ же, братецъ! Какъ рукой сняло! И теперь еще здоровёхонекъ... А, голубчикъ! — закричалъ Ижорскій, увидя входящаго старосту. — Поди-ка сюда! Такъ то ты

выполняешь мои приказанія? Отчего не вся барщина въ саду?

— Виноватъ, батюшка! — отвѣчалъ староста, отвѣсивъ низкій поклонъ.—Я другую половину барщины выслалъ на вашу же господскую работу.

— На какую работу?

— На сѣнокосъ, батюшка!

— На сѣнокосъ!... Нашелъ время косить, скотина! Ну вотъ, братецъ! — продолжалъ хозяинъ, обращаясь къ Сурскому, — толкуй съ этимъ народомъ! Ты думаешь о дѣлѣ, а онъ косить. Сейчасъ выслать всю барщину въ садъ. Слышишь?

— Слушаю, батюшка! Только воля ваша, если мы эдакъ день за день...

— Прошу покорно!.. Ахъ ты дуралей! Что ты, учить чтоль меня вздумалъ?..

— Да не сердись на него,—прервалъ Сурскій:—вѣдь онъ заботится о твоей же пользѣ.

— Не его дѣло разсуждать, въ чемъ моя польза. Ну, что́ стоишь? Пошелъ!

Староста, поклонясь въ поясъ, вышелъ изъ комнаты.

— Да чтожъ я не дождусь лѣкаря?—продолжалъ Ижорскій.—Трошка! ступай, скажи ему, что я его два часа ужь дожидаюсь... А вотъ и онъ... Помилуй, батюшка, Сергѣй Ивановичъ! Тебя не дозовешься.

— Извините! — сказалъ лѣкарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву;—я позамѣшкался: осматривалъ больницу.

— Я за этимъ то тебя и спрашивалъ. Ну что, все ли въ порядкѣ.

— Кажется, все.

— Ну, то-то же! О моей больницѣ много толковъ было въ губерніи. Смотри, чтобъ намъ при его превосходительствѣ себя лицомъ въ грязь не ударить. Все ли разставлено въ порядокъ и прибрано въ аптекѣ?

— Точно такъ же, какъ и всегда, Николай Степановичъ!

— Какъ и всегда! Ну, такъ и есть—я зналъ! Эхъ, братецъ! Вѣдь я тебѣ толкомъ говорилъ: сегодня будетъ губернаторъ, такъ надобно... ну, знаешь, любезный!... товаръ лицомъ показать.

— Я вамъ докладываю, что все въ порядкѣ.

— А въ больницѣ?

— Окна и полы вымыты, бѣлье чистое...

— А прибиты ли дощечки съ надписями ко всѣмъ отдѣленіямъ?

— Хоть это бы и не нужно: у насъ больница всего на десять кроватей; но такъ какъ вамъ это угодно, то я прибилъ мѣстахъ въ трехъ надписи.

— На латинскомъ языкѣ?

— На латинскомъ и русскомъ.

— Хорошо, братецъ, хорошо! А сколько у насъ больныхъ?

— Теперь ни одного.

— Какъ ни одного?—вскричалъ съ ужасомъ Ижорскій.

— Да, сударь! Третьяго дня я выписалъ послѣдняго больного—Илюшку кучера.

— Зачѣмъ?

— Онъ выздоровѣлъ.

— Да кто тебѣ сказалъ, что онъ выздоровѣлъ? Съ чего ты взялъ?... Возможно ли—ни одного больного! Ну, вотъ, господа, заводи больницы!. . Ни одного больного!

— Такъ чтожъ, мой другъ?—сказалъ Сурскій.

— Какъ, чтожъ? Да слышишь: — ни одного больного! Чтожъ я буду комнаты однѣ показывать? Ну, батюшка, Сергѣй Ивановичъ! дай Богъ вамъ здоровья, потѣшили меня... ни одного больного!

— Помилуйте! чтожъ мнѣ дѣлать?

— Что дѣлать? А позвольте васъ спросить: за что я плачу вамъ жалованье? Вы получаете тысячу рублей въ годъ, квартиру, столъ, экипажъ — и ни одного больного! Что это за порядокъ? На что это походитъ? Эхъ! правду говоритъ сестра: вотъ вамъ и русскій докторъ—ни одного больного? Ахъ, Боже мой! Ну, батюшка, спасибо вамъ—поднесли мнѣ красное яичко—ни одного больного! Да, кончено, господинъ русскій докторъ, кончено! Во чтобъ ни стало, заведу нѣмца... да, сударь, нѣмца! У него будутъ больные! Господи, Боже мой!—ни одного больного?... Смѣйтесь, господа, смѣйтесь. Вамъ что за горе! Не вы станете показывать больницу губернатору.

— А что, Рославлевъ, — сказалъ шутя Сурскій, — не выкупить ли намъ его изъ бѣды? Прикинемся-ка больными!

— Эхъ, братецъ, что за шутки!

— Какія шутки? Вѣдь губернаторъ не станетъ больныхъ осматривать, только бы постели то не были пусты.

— А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... въ самомъ дѣлѣ!... Эй, Трошка! Дворецкаго, проворнѣй!

— Что вы хотите дѣлать?—спросилъ Рославлевъ.

— Постой, братецъ, постой!... авось какъ-нибудь... Что въ самомъ дѣлѣ? Не велика фигура полежать денекъ.

— Какъ?... вы хотите?...

— Эхъ, братецъ, не мѣшай! Добро, такъ и быть! ступай домой, Сергѣй Ивановичъ; да смотри, чтобъ впередъ этого не было. Теперь у насъ будутъ и безъ тебя больные. Слушай, Парфенъ! — продолжалъ Ижорскій, идя навстрѣчу къ дворецкому,—у насъ теперь въ больницѣ нѣтъ никого больныхъ...

— Да, сударь, слава Богу!

— Врешь, дуракъ! оселъ! слава Богу!... Что я губернатору то пустыя стѣны стану показывать? Мнѣ надобно больныхъ — слышишь?

— Слушаю, сударь! Да гдѣ-жъ я ихъ возьму?

— И знать не хочу. Чтобъ были!

— Слушаю, сударь!

— Да постой-ка, Парфенъ! Ты что то больно измѣнился въ лицѣ,—ужь здоровъ ли ты?

— Слава Богу-съ!

— То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, какъ у тебя глаза ввалились. Эхъ, Парфенъ! ты точно разнемогаешься. Не полѣчиться ли, братъ?

— Нѣтъ ужь, батюшка Николай Степановичъ, помилуйте! Авось въ дворнѣ и безъ меня найдутся хворые.

— Да какъ не быть. Ступай же проворнѣе.

— А на всякій случай, что прикажете, если охотниковъ не найдется?

— Ну, что тутъ спрашивать, дурачина! Вышелъ на улицу, да и хватай перваго, кто попадется: въ больницу, да и все тутъ! Что, въ самомъ дѣлѣ, баринъ я или нѣтъ?

— Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить съ семьи по брату?

— И то дѣло! Смотри, отбери тѣхъ, которые пощедушнѣе. Правда, въ отдѣленіе водяной болѣзни надобно кого-нибудь потолще, да подюжѣе....

— Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: вѣдь онъ распретолстый-толстый, а рожа то такъ и расплылась.

— Въ самомъ дѣлѣ, уговори его, братецъ.

— Дать ему рубля полтора, такъ онъ цѣлыя сутки пролежитъ какъ убитый.

— Брось ему цѣлковый. Да нѣтъ ли у тебя на примѣтѣ кого-нибудь этакъ похуже, чтобъ, знаешь, годился для чахоточнаго отдѣленія?

— Похуже?... Постой-ка, сударь! Да чего-жъ лучше? Сапожникъ Андрюшка. Сухарь! Ужь худощавѣе его не найдешь во всемъ селѣ: однѣ кости да кожа.

— Точно, точно! Ай да Парфенъ! Спасибо, братъ! Ну, ступай же поскорѣй. Двое больныхъ есть, а остальныхъ подберешь. Да строго накажи имъ, какъ придутъ осматривать больницу, чтобъ всѣ лежали смирно.

— Слушаю, сударь!

— Не шевелились, колпаковъ не снимали и погромче охали.

— Слушаю, сударь!

— Ну, ступай! Ты смѣешься, Сурскій. Я и самъ знаю, что смѣшно, да чтожъ дѣлать? Вѣдь надобно-жъ чѣмъ-нибудь похвастаться. У сосѣда Буркина конный заводъ не хуже моего; у княгини Зориной оранжереи больше моихъ; а есть ли у кого больница? Нутка, пріятель, скажи? Къ тому-жъ это въ модѣ... нѣтъ, не въ модѣ...

— Вы хотите сказать: въ духѣ времени,—прервалъ Рославлевъ.

— Да, въ духѣ времени. Это ужь, братецъ, не экономическое заведеніе, а какъ, бишь, постой...

— Человѣколюбивое,—сказалъ Сурскій.

— Да, да! человѣколюбивое! а эти заведенія нынче въ ходу, любезный. Почему знать?.. Отъ губернатора пойдетъ и выше, а тамъ... Да что загадывать; что будетъ, то и будетъ... Ну, теперь разсуди милостиво! Еслибъ я сталъ показывать пустую больницу, кого бы удивилъ? Вѣдь домъ всякій выстроить можетъ, а надпись сдѣлать не фигура.

— Да у тебя, какъ я вижу, большіе планы, любезный!—сказалъ съ улыбкою Сурскій.—Ты хочешь прослыть филантропомъ.

— Полно, братъ, по латыни то говорить! Не объ этомъ рѣчь: я слыву хлѣбосоломъ, и надобно сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не ѣдутъ? Я разослалъ ко всѣмъ сосѣдямъ приглашенія: того и гляди, станутъ наѣзжать гости; одному мнѣ не управиться, такъ сестра бы у меня похозяйничала. А ужь на будущей недѣлѣ я сталъ

бы у нея хозяйничать, — прибавилъ Ижорскій, потрепавъ по плечу Рославлева. — Что, братъ, дождался, наконецъ? Вѣдь свадьба твоя рѣшительно въ воскресенье?

— Да, Полина согласилась не откладывать далѣе моего счастія.

— Порядкомъ же она тебя помаяла. Да и ты, братъ! —не погнѣвайся—зѣвака! Извѣстное дѣло, невѣста сама не скажетъ: пора-де подъ вѣнецъ! Повернулъ бы покруче, такъ дѣло давно-бы было въ шляпѣ. Да вотъ никакъ онѣ ѣдутъ. Ну что стоишь, Владиміръ? Ступай, братецъ! вынимай изъ кареты свою невѣсту.

Хотя здоровье Оленьки не совсѣмъ еще поправилось, но она выходила уже изъ комнаты, и потому Лидина пріѣхала къ Ижорскому съ обѣими дочерьми. При первомъ взглядѣ на свою невѣсту, Рославлевъ замѣтилъ, что она очень разстроена.—Что съ вами сдѣлалось, Полина?—спросилъ онъ.—Здоровы ли вы?

— C'est une folle!—сказала Лидина.—Представьте себѣ, я сейчасъ получила письмо изъ Москвы отъ кузины; она пишетъ ко мнѣ, что говорятъ о войнѣ съ французами. И какъ вы думаете? Ей пришло въ голову, что вы пойдете опять въ военную службу. Успокойте ее, Бога ради!

— Я надѣюсь,—отвѣчалъ Рославлевъ,—что Наполеонъ не рѣшится идти въ Россію; и въ такомъ случаѣ, даю вамъ честное слово, что не надѣну опять мундира.

— А если онъ рѣшится на это?

— Тогда эта война сдѣлается національною, и каждый русскій обязанъ будетъ защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность...

— О, обо мнѣ не безпокойтесь! Мы уѣдемъ въ наши тамбовскія деревни. Россія велика; а сверхъ того развѣ Наполеонъ не былъ въ Германіи и Италіи? Войска дерутся, а жителямъ какое до этого дѣло? Неужели мы будемъ перенимать у этихъ варваровъ-испанцевъ?

— Но наша національная честь, сударыня... наша слава?...

— И, полноте! Вы ни въ какомъ случаѣ не пойдете въ военную службу.

— Даже и тогда, когда вся Россія вооружится?

— Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей недѣлѣ, то и не думайте о службѣ; въ противномъ случаѣ, оставайтесь женихомъ до окончанія

войны. Я не хочу, чтобъ Полина рисковала сдѣлаться вдовою, или, что еще хуже, чтобъ мужъ ея воротился безъ руки или ноги... Но вотъ братъ; перестанемте говорить объ этомъ. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте увѣрены, что ни за что не перемѣню моего рѣшенія. Quelle folie! Во Франціи женятся для того, чтобъ не попасть въ конскрипты, а вы наканунѣ вашей свадьбы хотите идти въ военную службу.

— Насилу ты, сестра, пріѣхала!—закричалъ Ижорскій, идя навстрѣчу къ Лидиной.—Ступай, матушка, въ гостиную хозяйничать; вонъ кто то ужь ѣдетъ.

— Что за экипажъ!—сказала Лидина. — Неужели это карета?

— Не погнѣвайтесь, сударыня! домашней работы. Это ѣдетъ Ладушкинъ.

— Ахъ, Боже мой!... и въ восемь лошадей!

— Разумѣется, онъ человѣкъ разсчетливый: вѣдь онѣ будутъ цѣлый день на чужомъ корму.

— А это кто? Посмотрите, съ правой стороны — какъ будто-бъ въ дилижансѣ?

— Это катитъ въ своей восьмимѣстной линеѣ княгиня Зорина со всѣмъ семействомъ.

— Какой ридикюльный экипажъ!

— Не щеголеватъ, да покоенъ, матушка. А вонъ, никакъ, летитъ на удалой тройкѣ сосѣдъ Буркинъ. Экіе кони!... Ну, нечего сказать, славный заводъ. И откуда, разбойникъ, досталъ матокъ? Всѣ чистой арабской породы. Вотъ еще кто то... однако, мнѣ пора пріодѣться; а вы, барыни, ступайте-ка въ гостиную, да принимайте гостей.

Рославлевъ взялъ подъ руку Сурскаго и, отведя его къ сторонѣ, разсказалъ ему свой разговоръ съ Лидиной.

— Чтожъ ты намѣренъ дѣлать? — спросилъ Сурскій, помолчавъ нѣсколько времени.

— А что сдѣлаете вы, если у насъ будетъ народная война?

— Я не женихъ, мой другъ. Мое положеніе совершенно не сходно съ твоимъ.

— Однакожъ, что вы сдѣлаете?

— Сниму со стѣны мою заржавленную саблю и пойду драться.

— И послѣ этого вы можете меня спрашивать!.. Когда вы, прослуживъ сорокъ лѣтъ съ честью, отдавъ

бы у нея хозяйничать, — прибавилъ Ижорскій, потрепавъ по плечу Рославлева. — Что, братъ, дождался, наконецъ? Вѣдь свадьба твоя рѣшительно въ воскресенье?

— Да, Полина согласилась не откладывать далѣе моего счастія.

— Порядкомъ же она тебя помаяла. Да и ты, братъ! —не погнѣвайся—зѣвака! Извѣстное дѣло, невѣста сама не скажетъ: пора-де подъ вѣнецъ! Повернулъ бы покруче, такъ дѣло давно-бы было въ шляпѣ. Да вотъ никакъ онѣ ѣдутъ. Ну что стоишь, Владиміръ? Ступай, братецъ! вынимай изъ кареты свою невѣсту.

Хотя здоровье Оленьки не совсѣмъ еще поправилось, но она выходила уже изъ комнаты, и потому Лидина пріѣхала къ Ижорскому съ обѣими дочерьми. При первомъ взглядѣ на свою невѣсту, Рославлевъ замѣтилъ, что она очень разстроена.—Что съ вами сдѣлалось, Полина?—спросилъ онъ.—Здоровы ли вы?

— C'est une folle!—сказала Лидина.—Представьте себѣ, я сейчасъ получила письмо изъ Москвы отъ кузины; она пишетъ ко мнѣ, что говорятъ о войнѣ съ французами. И какъ вы думаете? Ей пришло въ голову, что вы пойдете опять въ военную службу. Успокойте ее, Бога ради!

— Я надѣюсь,—отвѣчалъ Рославлевъ,—что Наполеонъ не рѣшится идти въ Россію; и въ такомъ случаѣ, даю вамъ честное слово, что не надѣну опять мундира.

— А если онъ рѣшится на это?

— Тогда эта война сдѣлается національною, и каждый русскій обязанъ будетъ защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность...

— О, обо мнѣ не безпокойтесь! Мы уѣдемъ въ наши тамбовскія деревни. Россія велика; а сверхъ того развѣ Наполеонъ не былъ въ Германіи и Италіи? Войска дерутся, а жителямъ какое до этого дѣло? Неужели мы будемъ перенимать у этихъ варваровъ-испанцевъ?

— Но наша національная честь, сударыня... наша слава?...

— И, полноте! Вы ни въ какомъ случаѣ не пойдете въ военную службу.

— Даже и тогда, когда вся Россія вооружится?

— Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей недѣлѣ, то и не думайте о службѣ; въ противномъ случаѣ, оставайтесь женихомъ до окончанія

войчы. Я не хочу, чтобъ Полина [illegible]
вдовою, или, что еще хуже, чтобъ мужъ [illegible]
безъ руки или ноги... Но [illegible]
рить объ этомъ. Вы знаете теперь, что я [illegible]
увѣрены, что ни за что не [illegible]
Quelle folie! Во Франціи женятся [illegible]
пасть въ конскрипты, а вы [illegible]
тите идти въ военную службу.

— Насилу ты, сестра, пріѣхала!—[illegible]
идя навстрѣчу къ Лидиной.—Ступай, [illegible]
ную хозяйничать; вонъ кто то уже [illegible]

— Что за экипажъ!—сказала [illegible]
карета?

— Не погнѣвайтесь, сударыня! [illegible]
ѣдетъ Ладушкинъ.

— Ахъ, Боже мой!... я въ [illegible]

— Разумѣется, онъ человѣкъ [illegible]
будутъ цѣлый день на чужомъ [illegible]

— А это кто? Посмотрите, [illegible]
будто-бъ въ дилижансѣ?

— Это катитъ въ своей [illegible]
Зорина со всѣмъ семействомъ.

— Какой ридикюльный [illegible]

— Не щеголеватъ, да покоенъ. [illegible]
какъ, летитъ на удалой [illegible]
кони!... Ну, нечего сказать. [illegible]
разбойникъ, досталъ матокъ? [illegible]
Вотъ еще кто то... однако, [illegible]
барыни, ступайте-ка въ гостиную. [illegible]

Рославлевъ взялъ подъ руку [illegible]
сторонѣ, разсказалъ ему свой [illegible]

— Чтожъ ты намѣренъ [illegible]
помолчавъ нѣсколько времени.

— А что сдѣлаете вы, [illegible]
война?

— Я не женихъ, [illegible] ле
не сходно съ твоимъ. [illegible] ахъ

— Однакожъ, что [illegible] встѣ

— Сниму со стѣны [illegible] чаній
драться.

— И послѣ [illegible] инымъ
Когда вы, прослужа [illegible] ь зон-

вполнѣ свой долгъ отечеству, готовы снова приняться за оружіе, то можетъ ли молодой человѣкъ, какъ я, оставаться простымъ зрителемъ сей отчаянной и, можетъ быть, послѣдней борьбы русскихъ съ цѣлой Европою? Нѣтъ, Ѳедоръ Андреевичъ, еслибъ я навсегда долженъ быть отказаться отъ Полины, то и тогда пошелъ бы служить; а постарался бы только, чтобъ меня убили въ первомъ сраженіи.

— Я не сомнѣвался въ этомъ,—сказалъ Сурскій, пожавъ руку Рославлеву.—Да, мой другъ! всякая частная любовь должна умолкнуть передъ сей общей и священной любовью къ отечеству!

— Но, можетъ быть, это одни пустые слухи, и войны не будетъ,

— Нѣтъ, мой другъ!—сказалъ Сурскій, покачавъ сомнительно головою;—мы дошли до такого положенія, что даже не должны желать мира. Наполеонъ не можетъ имѣть друзей, ему нужны рабы; а, благодаря Бога, нашъ царь не захочетъ быть ничьимъ рабомъ; онъ чувствуетъ собственное свое достоинство, и не посрамитъ чести великой націи, которая при первомъ его словѣ двинется вся навстрѣчу врагамъ. У насъ нѣтъ крѣпостей, но русскія груди стоятъ ихъ. Я также получилъ письмо изъ Москвы, и хотя война еще не объявлена, а врядъ ли уже мы не деремся съ французами,

Широкоплечій, вершковъ десяти ростомъ, господинъ, въ коричневомъ длинномъ фракѣ, изъ кармана котораго торчалъ чубукъ съ янтарнымъ мундштукомъ, войдя въ комнату, прервалъ разговоръ нашихъ пріятелей, — Здравствуйте, батюшка Ѳедоръ Андреевичъ!—заревѣлъ онъ толстымъ басомъ.—Богъ вамъ судья! Я недѣлю провалялся въ постели, а вы, нѣтъ чтобъ провѣдать, живъ ли, дескать, мой сосѣдъ Буркинъ.

— Я, право, не зналъ, что вы были нездоровы,—сказалъ Сурскій.

— Да, сударь, чуть было не прыснулъ въ Елисейскія. Вы знаете моего персидскаго жеребца Султана? Я сталъ показывать конюху, какъ его выводить—чортъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлалось! Заигралъ, да какъ хлысть меня подъ самое дыханье! Повѣрите-ль, свѣта Божьяго не взвидѣлъ! Какъ меня подняли, какъ раздѣли, какъ Сенька коновалъ пустилъ мнѣ кровь, ничего не помню! На силу на другой день очнулся.

— Напрасно вы такъ неосторожны.

— И, батюшка, на грѣхъ мастера нѣтъ! Какъ убережешься? Да вотъ спросите Владиміра Сергѣевича: онъ былъ кавалеристомъ, такъ знаетъ, какъ обращаться съ лошадьми, а вѣрно и его бивали—нельзя безъ этого. Да кстати, Владиміръ Сергѣевичъ!... взгляните-ка на мою тройку! вѣдь вы знатокъ.

— Позвольте мнѣ послѣ ею полюбоваться. Хозяинъ просилъ меня принимать гостей, а вотъ, кажется, пріѣхалъ Ладушкинъ.

— И ея сіятельство, княгиня Зорина. За версту узнаю ея шестерню. Охота же кормить овсомъ такихъ одровъ! Эки клячи—одна другой хуже!

Часа черезъ два, весь дворъ Николая Степановича Ижорскаго наполнился дормезами, откидными кибиточками, линеями, таратайками и каретами, изъ которыхъ многіе, по древности своей могли бы служить украшеніемъ собранія рѣдкостей хозяина. Въ ожиданіи обѣда, дамы чиннехонько сидѣли на канапе въ гостиной, разговаривали межъ собою вполголоса, бранили отсутствующихъ, и, стараясь перенимать парижскія манеры Лидиной, потихоньку насмѣхались надъ нею. Барышни прогуливались по саду; однѣ говорили о новыхъ московскихъ модахъ, другія разспрашивали Полину и Оленьку о Франціи, и, желая показать себя передъ парижанками, коверкали безъ милосердія несчастный французскій языкъ. Въ числѣ сихъ гостей, первое мѣсто занимали двѣ институтки, милыя, образованныя дѣвицы, съ которыми Лидины были очень дружны, и княжны Зорины, три взрослыя невѣсты, страстныя любительницы изящныхъ художествъ. Старшая не могла говорить безъ восторга о живописи, потому что сама копировала головки en pastel; средняя приходила почти въ изступленіе при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепіанахъ его увертюры, а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой пѣвицы Мары, до того была чувствительна къ собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца ombra adorata безъ того, чтобъ съ ней не сдѣлалось дурно. Эти три сестры, которыхъ въ стихахъ нельзя было назвать тремя граціями, прогуливались вмѣстѣ и поодаль отъ другихъ. Сдѣлавъ нѣсколько замѣчаній насчетъ украшеній сада, посмѣясь надъ деревяннымъ раскрашеннымъ китайцемъ который съ огромнымъ зон-

тикомъ стоялъ посреди одной куртины, и надъ алебастровой коровою, которая паслась на небольшомъ лугу, онѣ сѣли на скамейку противъ террасы дома, уставленной померанцовыми деревьями. Въ эту самую минуту сошелъ съ нея Рославлевъ.

— Какъ смѣшонъ этотъ женихъ! — сказала средняя сестра.— Онъ только и видитъ свою невѣсту. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ влюбленъ въ нее? Какой странный вкусъ!

— Il est pourtant bel homme!—возразила старшая.—Посмотрите, какой греческій профиль, какая правильная фигура, какъ всѣ позы его граціозны!...

— Да, онъ недуренъ собою,—прибавила меньшая княжна.—Замѣтили-ль, какой у него густой и пріятный органъ? Я увѣрена, у него долженъ быть или басъ, или баритонъ, и если онъ поетъ ombra adorata...

— Я слышала, что онъ играетъ хорошо на скрипкѣ, прервала средняя,—и признаюсь, желала бы испытать, можетъ ли онъ аккомпанировать музыку Моцарта.

— У него тысяча душъ,—сказала старшая.

— Et il est maître de sa fortune!!—прибавила средняя.

— Для чего маменька не пригласить его на наши музыкальные вечера?—промолвила меньшая.— Ему должно быть здѣсь очень скучно.

— Разумѣется,—подхватила старшая.—Эта Лидина нагонитъ на всякаго тоску своимъ Парижемъ; брать ея такъ глупъ! Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего; Полина...

— О, Полина должна быть для него божествомъ!—прервала меньшая.

— Не вѣрю,—продолжала старшая;—его завели; и что тутъ удивительнаго? въ деревнѣ, каждый день вмѣстѣ...

— Конечно, конечно!—подхватила меньшая.—Ахъ, какъ чудна маменька! Почему она не хочетъ знакомиться съ своими сосѣдями?

— Посмотрите,—шепнула старшая,—онъ на насъ глядитъ.—Бѣдняжка! не смѣетъ подойти. О! да эта сентиментальная Полина преревнивая!

— И пренесносная! вѣчно груститъ. А Богъ знаетъ о чемъ.

— Хочетъ казаться интересною.

— Ахъ, Боже мой! Вотъ еще какія претензіи.

Совсѣмъ другого рода шли разговоры въ столовой, гдѣ мужчины толпились вокругъ сытнаго завтрака. Буркинъ, выпивъ четвертую рюмку зорной водки, разсказывалъ со всѣми подробностями, какъ персидскій жеребецъ отшибъ у него память. Ладушкинъ, Ильменевъ и нѣсколько другихъ второстепенныхъ помѣщиковъ молча трудились кругомъ жирнаго окорока и доканчивали вторую бутылку мадеры. Въ одномъ углу Сурскій говорилъ съ дворянскимъ предводителемъ о политикѣ; въ другомъ, нѣсколько страстныхъ псовыхъ охотниковъ разговаривали объ отъѣзжихъ поляхъ, хвастались другъ передъ другомъ подвигами своихъ борзыхъ собакъ и лгали безъ всякаго зазрѣнія совѣсти. Но хозяину было не до разговоровъ: онъ горѣлъ какъ въ огнѣ; давно уже пробило два часа, а губернаторъ не ѣхалъ; вотъ кукушка въ лакейской прокуковала три раза; вотъ, наконецъ, въ столовой часы съ курантами проиграли: *выйду я на рѣченьку*, и колокольчикъ прозвенѣлъ четыре раза, а объ губернаторѣ и слуха не было. — Чтожъ это, въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ хозяинъ, когда еще прошло полчаса:—его превосходительство шутитъ что-ль? Вѣдь я не навязывался къ нему съ моимъ обѣдомъ.

— Николай Степановичъ! — сказалъ дворецкій, войдя торопливо въ столовую,— кто то скачетъ по большой дорогѣ.

— Слава тебѣ, Господи, насилу! Скорѣй кушать. Да готовы ли музыканты?... Лишь только губернаторъ изъ кареты, тотчасъ и начинать: *громъ побѣды раздавайся!* Иль нѣтъ... лучше маршъ...

— Да это ѣдетъ кто то въ телѣжкѣ, сударь, а не въ каретѣ.

— Какъ въ телѣжкѣ? Э, дуракъ! чтожъ ты прибѣжалъ какъ шальной!... Такъ это не губернаторъ... постойка... кажется, такъ и есть — нашъ исправникъ. Проси его скорѣй сюда: онъ, вѣрно, присланъ отъ его превосходительства.

Черезъ минуту вошелъ небольшого роста мужчина съ огромными рыжими бакенбардами, въ губернскомъ мундирѣ военнаго покроя, подпоясанный широкой портупеею, къ которой прицѣплена была сабля съ серебрянымъ темлякомъ. Не кланяясь никому, онъ подошелъ прямо къ хозяину и сказалъ:—Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Ну что, Иванъ Пахомычъ,—прервалъ Ижорскій,— скоро ли онъ будетъ?

— Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Да говори скорѣй, ѣдетъ онъ, или нѣтъ?

— Сейчасъ доложу. Его превосходительство изволилъ прислать меня увѣдомить васъ, что онъ по встрѣтившимся обстоятельствамъ...

— Не можетъ у меня обѣдать?

— Позвольте!... его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Да тьфу пропасть! говори безъ околичностей, будетъ онъ или нѣтъ?

— Сейчасъ... Изволилъ прислать меня увѣдомить васъ, что по встрѣтившимся обстоятельствамъ онъ не можетъ сегодня у васъ кушать.

— Отчего?... Почему?...

— Онъ получилъ сейчасъ важныя депеши и отправился не медля въ губернскій городъ.

— Какъ! не пообѣдавши?

— Точно такъ-съ.

— Ай, ай, ай! что такое?... Видно, дѣло нешуточное?

Исправникъ пожалъ плечами, наморщилъ лобъ и, погладивъ съ важностію свои бакенбарды, сказалъ протяжно и значительнымъ голосомъ: да-съ.

Всѣ гости съ примѣтнымъ любопытствомъ окружили исправника.

— Не знаете ли вы, что такое?—спросилъ Сурскій.

— Формально доложить не могу, — отвѣчалъ исправникъ;—а, кажется, большая экстра.

— Да когда онъ получилъ эти бумаги?—спросилъ предводитель.

— Аккуратъ въ три часа.

— И вамъ неизвѣстно ихъ содержаніе?

— Почему-жъ мнѣ знать-съ?—отвѣчалъ исправникъ съ улыбкою, которая доказывала совершенно противное.

— Полно, любезный, секретничать!...—заревѣлъ Буркинъ.—Какъ тебѣ не знать? Ты дѣтина пролазъ — все знаешь.

— Помилуйте-съ! наше дѣло исполнять предписанія высшаго начальства, а въ государственныя дѣла мы не мѣшаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мнѣ съ руки; но, осмѣлюсь доложить, еслибъ я что-нибудь и зналъ, то и въ такомъ случаѣ служба... долгъ присяги...

— Что вы съ нимъ хлопочете, господа? — прервалъ Ижорскій.—Я знаю этого молодца: на тощакъ отъ него

толку не добьешься. Пойдемте-ка обѣдать, авось за рюмкою шампанскаго онъ выболтаетъ намъ свою государственную тайну. Эй, малый! ступай въ садъ, проси барышень къ столу. Водки! Господа, милости просимъ!

Хозяинъ повелъ княгиню Зорину; прочіе мужчины повели также дамъ къ столу, который былъ накрытъ въ длинной галлереѣ, увѣшанной картинами знаменитыхъ живописцевъ—такъ, по крайней мѣрѣ, увѣрялъ хозяинъ, и большая часть сосѣдей вѣрили ему на честное слово; а нѣкоторые знатоки, въ томъ числѣ княжны Зорины, не смѣли сомнѣваться въ этомъ, потому что на всѣхъ рамахъ написаны были четкими буквами имена: Греза, Вандика, Рембранта, Албана, Корреджія, Салваторъ Розы и другихъ извѣстныхъ художниковъ. Гости сѣли; оркестръ грянулъ: *громъ побѣды раздавайся* — и двѣ огромныя кулебяки развлекли на нѣсколько минутъ вниманіе гостей, устремленное на великолѣпное зеркальное плато, края котораго были уставлены фарфоровыми китайскими куклами, а середина занята горкою, слѣпленною изъ раковинъ и изрытою небольшими впадинами; въ каждой изъ нихъ поставленъ былъ или фарфоровый пастушокъ, въ французскомъ кафтанѣ, съ флейтою въ рукахъ, или пастушка въ фажмахъ, съ овечкою у ногъ. Многимъ изъ гостей чрезвычайно понравился этотъ образчикъ Швейцаріи; но появленіе янтарной ухи изъ аршинной стерляди, а вслѣдъ за ней двухъ-аршиннаго осетра подъ соусомъ, сосредоточило на себѣ все удивленіе пирующихъ. Деревенскіе гастрономы ахнули. Отрывокъ альпійской горы, зеркальное море, саксонскія куклы, китайскіе уродцы —все было забыто; разговоры прекратились, и тихій ангелъ пріосѣнилъ своими крыльями все общество.

Пользуясь правомъ жениха, Рославлевъ сидѣлъ за столомъ подлѣ своей невѣсты; онъ могъ говорить съ нею свободно, не опасаясь нескромнаго любопытства сосѣдей, потому что съ одной стороны подлѣ нихъ сидѣлъ Сурскій, а съ другой Оленька. Въ то время, какъ всѣ, или почти всѣ, заняты были ѣдою, симъ важнымъ и едва ли не главнѣйшимъ дѣломъ большей части деревенскихъ помѣщиковъ, Рославлевъ спросилъ Полину: согласна ли она съ мнѣніемъ своей матери, что онъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ вступать снова въ военную службу?

— Вы знаете, чего отъ васъ требуетъ маменька,—отвѣчала Полина.

— А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... въ самомъ дѣлѣ!... Эй, Трошка! Дворецкаго, проворнѣй!

— Что вы хотите дѣлать?—спросилъ Рославлевъ.

— Постой, братецъ, постой!... авось какъ-нибудь... Что въ самомъ дѣлѣ? Не велика фигура полежать денекъ.

— Какъ?... вы хотите?...

— Эхъ, братецъ, не мѣшай! Добро, такъ и быть! ступай домой, Сергѣй Ивановичъ; да смотри, чтобъ впередъ этого не было. Теперь у насъ будутъ и безъ тебя больные. Слушай, Парфенъ! — продолжалъ Ижорскій, идя навстрѣчу къ дворецкому,—у насъ теперь въ больницѣ нѣтъ никого больныхъ...

— Да, сударь, слава Богу!

— Врешь, дуракъ! оселъ! слава Богу!... Что я губернатору то пустыя стѣны стану показывать? Мнѣ надобно больныхъ — слышишь?

— Слушаю, сударь! Да гдѣ-жъ я ихъ возьму?

— И знать не хочу. Чтобъ были!

— Слушаю, сударь!

— Да постой-ка, Парфенъ! Ты что то больно измѣнился въ лицѣ,—ужь здоровъ ли ты?

— Слава Богу-съ!

— То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, какъ у тебя глаза ввалились. Эхъ, Парфенъ! ты точно разнемогаешься. Не полѣчиться ли, братъ?

— Нѣтъ ужь, батюшка Николай Степановичъ, помилуйте! Авось въ дворвѣ и безъ меня найдутся хворые.

— Да какъ не быть. Ступай же проворнѣе.

— А на всякій случай, что прикажете, если охотниковъ не найдется?

— Ну, что тутъ спрашивать, дурачина! Вышелъ на улицу, да и хватай перваго, кто попадется: въ больницу, да и все тутъ! Что, въ самомъ дѣлѣ, баринъ я или нѣтъ?

— Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить съ семьи по брату?

— И то дѣло! Смотри, отбери тѣхъ, которые пощедушнѣе. Правда, въ отдѣленіе водяной болѣзни надобно кого-нибудь потолще, да подюжѣе....

— Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: вѣдь онъ распретолстый-толстый, а рожа то такъ и расплылась.

— Въ самомъ дѣлѣ, уговори его, братецъ.

— Дать ему рубля полтора, такъ онъ цѣлыя сутки пролежитъ какъ убитый.

— Брось ему цѣлковый. Да нѣтъ ли у тебя на примѣтѣ кого-нибудь этакъ похуже, чтобъ, знаешь, годился для чахоточнаго отдѣленія?

— Похуже?... Постой-ка, сударь! Да чего-жъ лучше? Сапожникъ Андрюшка. Сухарь! Ужь худощавѣе его не найдешь во всемъ селѣ: однѣ кости да кожа.

— Точно, точно! Ай да Парфенъ! Спасибо, братъ! Ну, ступай же поскорѣй. Двое больныхъ есть, а остальныхъ подберешь. Да строго накажи имъ, какъ придутъ осматривать больницу, чтобъ всѣ лежали смирно.

— Слушаю, сударь!

— Не шевелились, колпаковъ не снимали и погромче охали.

— Слушаю, сударь!

— Ну, ступай! Ты смѣешься, Сурскій. Я и самъ знаю, что смѣшно, да чтожъ дѣлать? Вѣдь надобно-жъ чѣмъ-нибудь похвастаться. У сосѣда Буркина конный заводъ не хуже моего; у княгини Зориной оранжереи больше моихъ; а есть ли у кого больница? Нутка, пріятель, скажи? Къ тому-жъ это въ модѣ... нѣтъ, не въ модѣ...

— Вы хотите сказать: въ духѣ времени,—прервалъ Рославлевъ.

— Да, въ духѣ времени. Это ужь, братецъ, не экономическое заведеніе, а какъ, бишь, постой...

— Человѣколюбивое,—сказалъ Сурскій.

— Да, да! человѣколюбивое! а эти заведенія нынче въ ходу, любезный. Почему знать?.. Отъ губернатора пойдетъ и выше, а тамъ... Да что загадывать; что будетъ, то и будетъ... Ну, теперь разсуди милостиво! Еслибъ я сталъ показывать пустую больницу, кого бы удивилъ? Вѣдь домъ всякій выстроить можетъ, а надпись сдѣлать не фигура.

— Да у тебя, какъ я вижу, большіе планы, любезный!—сказалъ съ улыбкою Сурскій.—Ты хочешь прослыть филантропомъ.

— Полно, братъ, по латыни то говорить! Не объ этомъ рѣчь: я слыву хлѣбосоломъ, и надобно сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не ѣдутъ? Я разослалъ ко всѣмъ сосѣдямъ приглашенія: того и гляди, станутъ наѣзжать гости; одному мнѣ не управиться, такъ сестра бы у меня похозяйничала. А ужь на будущей недѣлѣ я сталъ

бы у нея хозяйничать, — прибавилъ Ижорскій, потрепавъ по плечу Рославлева. — Что, братъ, дождался, наконецъ? Вѣдь свадьба твоя рѣшительно въ воскресенье?

— Да, Полина согласилась не откладывать далѣе моего счастія.

— Порядкомъ же она тебя помаяла. Да и ты, братъ! —не погнѣвайся—зѣвака! Извѣстное дѣло, невѣста сама не скажетъ: пора-де подъ вѣнецъ! Повернулъ бы покруче, такъ дѣло давно-бы было въ шляпѣ. Да вотъ никакъ онѣ ѣдутъ. Ну что стоишь, Владиміръ? Ступай, братецъ! вынимай изъ кареты свою невѣсту.

Хотя здоровье Оленьки не совсѣмъ еще поправилось, но она выходила уже изъ комнаты, и потому Лидина пріѣхала къ Ижорскому съ обѣими дочерьми. При первомъ взглядѣ на свою невѣсту, Рославлевъ замѣтилъ, что она очень разстроена.—Что съ вами сдѣлалось, Полина?—спросилъ онъ.—Здоровы ли вы?

— C'est une folle!—сказала Лидина.—Представьте себѣ, я сейчасъ получила письмо изъ Москвы отъ кузины; она пишетъ ко мнѣ, что говорятъ о войнѣ съ французами. И какъ вы думаете? Ей пришло въ голову, что вы пойдете опять въ военную службу. Успокойте ее, Бога ради!

— Я надѣюсь,—отвѣчалъ Рославлевъ,—что Наполеонъ не рѣшится идти въ Россію; и въ такомъ случаѣ, даю вамъ честное слово, что не надѣну опять мундира.

— А если онъ рѣшится на это?

— Тогда эта война сдѣлается національною, и каждый русскій обязанъ будетъ защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность...

— О, обо мнѣ не безпокойтесь! Мы уѣдемъ въ наши тамбовскія деревни. Россія велика; а сверхъ того развѣ Наполеонъ не былъ въ Германіи и Италіи? Войска дерутся, а жителямъ какое до этого дѣло? Неужели мы будемъ перенимать у этихъ варваровъ-испанцевъ?

— Но наша національная честь, сударыня... наша слава?...

— И, полноте! Вы ни въ какомъ случаѣ не пойдете въ военную службу.

— Даже и тогда, когда вся Россія вооружится?

— Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей недѣлѣ, то и не думайте о службѣ; въ противномъ случаѣ, оставайтесь женихомъ до окончанія

войны. Я не хочу, чтобъ Полина рисковала сдѣлаться вдовою, или, что еще хуже, чтобъ мужъ ея воротился безъ руки или ноги... Но вотъ братъ; перестанемте говорить объ этомъ. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте увѣрены, что ни за что не перемѣню моего рѣшенія. Quelle folie! Во Франціи женятся для того, чтобъ не попасть въ конскрипты, а вы наканунѣ вашей свадьбы хотите идти въ военную службу.

— Насилу ты, сестра, пріѣхала!—закричалъ Ижорскій, идя навстрѣчу къ Лидиной.—Ступай, матушка, въ гостиную хозяйничать; вонъ кто то ужь ѣдетъ.

— Что за экипажъ!—сказала Лидина. — Неужели это карета?

— Не погнѣвайтесь, сударыня! домашней работы. Это ѣдетъ Ладушкинъ.

— Ахъ, Боже мой!... и въ восемь лошадей!

— Разумѣется, онъ человѣкъ разсчетливый: вѣдь онѣ будутъ цѣлый день на чужомъ корму.

— А это кто? Посмотрите, съ правой стороны — какъ будто-бъ въ дилижансѣ?

— Это катитъ въ своей восьмимѣстной линеѣ княгиня Зорина со всѣмъ семействомъ.

— Какой ридикюльный экипажъ!

— Не щеголеватъ, да покоенъ, матушка. А вонъ, никакъ, летитъ на удалой тройкѣ сосѣдъ Буркинъ. Экіе кони!... Ну, нечего сказать, славный заводъ. И откуда, разбойникъ, досталъ матокъ? Всѣ чистой арабской породы. Вотъ еще кто то... однако, мнѣ пора пріодѣться; а вы, барыни, ступайте-ка въ гостиную, да принимайте гостей.

Рославлевъ взялъ подъ руку Сурскаго и, отведя его къ сторонѣ, разсказалъ ему свой разговоръ съ Лидиной.

— Чтожъ ты намѣренъ дѣлать? — спросилъ Сурскій, помолчавъ нѣсколько времени.

— А что сдѣлаете вы, если у насъ будетъ народная война?

— Я не женихъ, мой другъ. Мое положеніе совершенно не сходно съ твоимъ.

— Однакожъ, что вы сдѣлаете?

— Сниму со стѣны мою заржавленную саблю и пойду драться.

— И послѣ этого вы можете меня спрашивать!.. Когда вы, прослуживъ сорокъ лѣтъ съ честью, отдавъ

вполнѣ свой долгъ отечеству, готовы снова приняться за оружіе, то можетъ ли молодой человѣкъ, какъ я, оставаться простымъ зрителемъ сей отчаянной и, можетъ быть, послѣдней борьбы русскихъ съ цѣлой Европою? Нѣтъ, Ѳедоръ Андреевичъ, еслибъ я навсегда долженъ быть отказаться отъ Полины, то и тогда пошелъ бы служить; а постарался бы только, чтобъ меня убили въ первомъ сраженіи.

— Я не сомнѣвался въ этомъ,—сказалъ Сурскій, пожавъ руку Рославлеву.—Да, мой другъ! всякая частная любовь должна умолкнуть передъ сей общей и священной любовью къ отечеству!

— Но, можетъ быть, это одни пустые слухи, и войны не будетъ,

— Нѣтъ, мой другъ!—сказалъ Сурскій, покачавъ сомнительно головою;—мы дошли до такого положенія, что даже не должны желать мира. Наполеонъ не можетъ имѣть друзей, ему нужны рабы; а, благодаря Бога, нашъ царь не захочетъ быть ничьимъ рабомъ; онъ чувствуетъ собственное свое достоинство, и не посрамитъ чести великой націи, которая при первомъ его словѣ двинется вся навстрѣчу врагамъ. У насъ нѣтъ крѣпостей, но русскія груди стоятъ ихъ. Я также получилъ письмо изъ Москвы, и хотя война еще не объявлена, а врядъ ли уже мы не деремся съ французами,

Широкоплечій, вершковъ десяти ростомъ, господинъ, въ коричневомъ длинномъ фракѣ, изъ кармана котораго торчалъ чубукъ съ янтарнымъ мундштукомъ, войдя въ комнату, прервалъ разговоръ нашихъ пріятелей, — Здравствуйте, батюшка Ѳедоръ Андреевичъ!—заревѣлъ онъ толстымъ басомъ.—Богъ вамъ судья! Я недѣлю провалялся въ постели, а вы, нѣтъ чтобъ провѣдать, живъ ли, дескать, мой сосѣдъ Буркинъ.

— Я, право, не зналъ, что вы были нездоровы,—сказалъ Сурскій.

— Да, сударь, чуть было не прыснулъ въ Елисейскія. Вы знаете моего персидскаго жеребца Султана? Я сталъ показывать конюху, какъ его выводить—чортъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлалось! Заигралъ, да какъ хлысть меня подъ самое дыханье! Повѣрите-ль, свѣта Божьяго не взвидѣлъ! Какъ меня подняли, какъ раздѣли, какъ Сенька коновалъ пустилъ мнѣ кровь, ничего не помню! На силу на другой день очнулся.

— Напрасно вы такъ неосторожны.

— И, батюшка, на грѣхъ мастера нѣтъ! Какъ убережешься? Да вотъ спросите Владиміра Сергѣевича: онъ былъ кавалеристомъ, такъ знаетъ, какъ обращаться съ лошадьми, а вѣрно и его бивали—нельзя безъ этого. Да кстати, Владиміръ Сергѣевичъ!... взгляните-ка на мою тройку! вѣдь вы знатокъ.

— Позвольте мнѣ послѣ ею полюбоваться. Хозяинъ просилъ меня принимать гостей, а вотъ, кажется, пріѣхалъ Ладушкинъ.

— И ея сіятельство, княгиня Зорина. За версту узнаю ея шестерню. Охота же кормить овсомъ такихъ одровъ! Эки клячи—одна другой хуже!

Часа черезъ два, весь дворъ Николая Степановича Ижорскаго наполнился дормезами, откидными кибиточками, линеями, таратайками и каретами, изъ которыхъ многіе, по древности своей могли бы служить украшеніемъ собранія рѣдкостей хозяина. Въ ожиданіи обѣда, дамы чиннехонько сидѣли на канапе въ гостиной, разговаривали межъ собою вполголоса, бранили отсутствующихъ, и, стараясь перенимать парижскія манеры Лидиной, потихоньку насмѣхались надъ нею. Барышни прогуливались по саду; однѣ говорили о новыхъ московскихъ модахъ, другія разспрашивали Полину и Оленьку о Франціи, и, желая показать себя передъ парижанками, коверкали безъ милосердія несчастный французскій языкъ. Въ числѣ сихъ гостей, первое мѣсто занимали двѣ институтки, милыя, образованныя дѣвицы, съ которыми Лидины были очень дружны, и княжны Зорины, три взрослыя невѣсты, страстныя любительницы изящныхъ художествъ. Старшая не могла говорить безъ восторга о живописи, потому что сама копировала головки en pastel; средняя приходила почти въ изступленіе при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепіанахъ его увертюры, а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой пѣвицы Мары, до того была чувствительна къ собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца ombra adorata безъ того, чтобъ съ ней не сдѣлалось дурно. Эти три сестры, которыхъ въ стихахъ нельзя было назвать тремя граціями, прогуливались вмѣстѣ и поодаль отъ другихъ. Сдѣлавъ нѣсколько замѣчаній насчетъ украшеній сада, посмѣясь надъ деревяннымъ раскрашеннымъ китайцемъ который съ огромнымъ зон-

тикомъ стоялъ посреди одной куртины, и надъ алебастровой коровою, которая паслась на небольшомъ лугу, онѣ сѣли на скамейку противъ террасы дома, уставленной померанцовыми деревьями. Въ эту самую минуту сошелъ съ нея Рославлевъ.

— Какъ смѣшонъ этотъ женихъ! — сказала средняя сестра.— Онъ только и видитъ свою невѣсту. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ влюбленъ въ нее? Какой странный вкусъ!

— Il est pourtant bel homme!—возразила старшая.—Посмотрите, какой греческій профиль, какая правильная фигура, какъ всѣ позы его граціозны!...

— Да, онъ недуренъ собою,—прибавила меньшая княжна.—Замѣтили-ль, какой у него густой и пріятный органъ? Я увѣрена, у него долженъ быть или басъ, или баритонъ, и если онъ поетъ ombra adorata...

— Я слышала, что онъ играетъ хорошо на скрипкѣ, прервала средняя,—и признаюсь, желала бы испытать, можетъ ли онъ аккомпанировать музыку Моцарта.

— У него тысяча душъ,—сказала старшая.

— Et il est maître de sa fortune!!—прибавила средняя.

— Для чего маменька не пригласить его на наши музыкальные вечера?—промолвила меньшая.— Ему должно быть здѣсь очень скучно.

— Разумѣется,—подхватила старшая.—Эта Лидина нагонитъ на всякаго тоску своимъ Парижемъ; брать ея такъ глупъ! Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего; Полина...

— О, Полина должна быть для него божествомъ!—прервала меньшая.

— Не вѣрю,—продолжала старшая;—его завели; и что тутъ удивительнаго? въ деревнѣ, каждый день вмѣстѣ...

— Конечно, конечно!—подхватила меньшая.—Ахъ, какъ чудна маменька! Почему она не хочетъ знакомиться съ своими сосѣдями?

— Посмотрите,—шепнула старшая,—онъ на насъ глядитъ.—Бѣдняжка! не смѣетъ подойти. О! да эта сентиментальная Полина преревнивая!

— И пренесносная! вѣчно груститъ. А Богъ знаетъ о чемъ.

— Хочетъ казаться интересною.

— Ахъ, Боже мой! Вотъ еще какія претензіи.

Совсѣмъ другого рода шли разговоры въ столовой, гдѣ мужчины толпились вокругъ сытнаго завтрака. Буркинъ, выпивъ четвертую рюмку зорной водки, разсказывалъ со всѣми подробностями, какъ персидскій жеребецъ отшибъ у него память. Ладушкинъ, Ильменевъ и нѣсколько другихъ второстепенныхъ помѣщиковъ молча трудились кругомъ жирнаго окорока и доканчивали вторую бутылку мадеры. Въ одномъ углу Сурскій говорилъ съ дворянскимъ предводителемъ о политикѣ; въ другомъ, нѣсколько страстныхъ псовыхъ охотниковъ разговаривали объ отъѣзжихъ поляхъ, хвастались другъ передъ другомъ подвигами своихъ борзыхъ собакъ и лгали безъ всякаго зазрѣнія совѣсти. Но хозяину было не до разговоровъ: онъ горѣлъ какъ въ огнѣ; давно уже пробило два часа, а губернаторъ не ѣхалъ; вотъ кукушка въ лакейской прокуковала три раза; вотъ, наконецъ, въ столовой часы съ курантами проиграли: *выйду я на рѣченьку*, и колокольчикъ прозвенѣлъ четыре раза, а объ губернаторѣ и слуха не было. — Чтожъ это, въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ хозяинъ, когда еще прошло полчаса:—его превосходительство шутитъ что-ль? Вѣдь я не навязывался къ нему съ моимъ обѣдомъ.

— Николай Степановичъ! — сказалъ дворецкій, войдя торопливо въ столовую,— кто то скачетъ по большой дорогѣ.

— Слава тебѣ, Господи, насилу! Скорѣй кушать. Да готовы ли музыканты?... Лишь только губернаторъ изъ кареты, тотчасъ и начинать: *громъ побѣды раздавайся!* Иль нѣтъ... лучше маршъ...

— Да это ѣдетъ кто то въ телѣжкѣ, сударь, а не въ каретѣ.

— Какъ въ телѣжкѣ? Э, дуракъ! чтожъ ты прибѣжалъ какъ шальной!... Такъ это не губернаторъ... постойка... кажется, такъ и есть — нашъ исправникъ. Проси его скорѣй сюда: онъ, вѣрно, присланъ отъ его превосходительства.

Черезъ минуту вошелъ небольшого роста мужчина съ огромными рыжими бакенбардами, въ губернскомъ мундирѣ военнаго покроя, подпоясанный широкой портупеею, къ которой прицѣплена была сабля съ серебрянымъ темлякомъ. Не кланяясь никому, онъ подошелъ прямо къ хозяину и сказалъ:—Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Ну что, Иванъ Пахомычъ,—прервалъ Ижорскій,— скоро ли онъ будетъ?

— Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Да говори скорѣй, ѣдетъ онъ, или нѣтъ?

— Сейчасъ доложу. Его превосходительство изволилъ прислать меня увѣдомить васъ, что онъ по встрѣтившимся обстоятельствамъ...

— Не можетъ у меня обѣдать?

— Позвольте!... его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Да тьфу пропасть! говори безъ околичностей, будетъ онъ или нѣтъ?

— Сейчасъ... Изволилъ прислать меня увѣдомить васъ, что по встрѣтившимся обстоятельствамъ онъ не можетъ сегодня у васъ кушать.

— Отчего?... Почему?...

— Онъ получилъ сейчасъ важныя депеши и отправился не медля въ губернскій городъ.

— Какъ! не пообѣдавши?

— Точно такъ-съ.

— Ай, ай, ай! что такое?... Видно, дѣло нешуточное?

Исправникъ пожалъ плечами, наморщилъ лобъ и, погладивъ съ важностію свои бакенбарды, сказалъ протяжно и значительнымъ голосомъ: да-съ.

Всѣ гости съ примѣтнымъ любопытствомъ окружили исправника.

— Не знаете ли вы, что такое?—спросилъ Сурскій.

— Формально доложить не могу, — отвѣчалъ исправникъ;—а, кажется, большая экстра.

— Да когда онъ получилъ эти бумаги?—спросилъ предводитель.

— Аккуратъ въ три часа.

— И вамъ неизвѣстно ихъ содержаніе?

— Почему-жъ мнѣ знать-съ?—отвѣчалъ исправникъ съ улыбкою, которая доказывала совершенно противное.

— Полно, любезный, секретничать!...—заревѣлъ Буркинъ.—Какъ тебѣ не знать? Ты дѣтина пролазъ — все знаешь.

— Помилуйте-съ! наше дѣло исполнять предписанія высшаго начальства, а въ государственныя дѣла мы не мѣшаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мнѣ съ руки; но, осмѣлюсь доложить, еслибъ я что-нибудь и зналъ, то и въ такомъ случаѣ служба... долгъ присяги...

— Что вы съ нимъ хлопочете, господа? — прервалъ Ижорскій.—Я знаю этого молодца: на тощакъ отъ него

толку не добьешься. Пойдемте-ка обѣдать, авось за рюмкою шампанскаго онъ выболтаетъ намъ свою государственную тайну. Эй, малый! ступай въ садъ, проси барышень къ столу. Водки! Господа, милости просимъ!

Хозяинъ повелъ княгиню Зорину; прочіе мужчины повели также дамъ къ столу, который былъ накрытъ въ длинной галлереѣ, увѣшанной картинами знаменитыхъ живописцевъ—такъ, по крайней мѣрѣ, увѣрялъ хозяинъ, и большая часть сосѣдей вѣрили ему на честное слово; а нѣкоторые знатоки, въ томъ числѣ княжны Зорины, не смѣли сомнѣваться въ этомъ, потому что на всѣхъ рамахъ написаны были четкими буквами имена: Греза, Вандика, Рембранта, Албана, Корреджія, Салваторъ Розы и другихъ извѣстныхъ художниковъ. Гости сѣли; оркестръ грянулъ: *громъ побѣды раздавайся* — и двѣ огромныя кулебяки развлекли на нѣсколько минутъ вниманіе гостей, устремленное на великолѣпное зеркальное плато, края котораго были уставлены фарфоровыми китайскими куклами, а середина занята горкою, слѣпленною изъ раковинъ и изрытою небольшими впадинами; въ каждой изъ нихъ поставленъ былъ или фарфоровый пастушокъ, въ французскомъ кафтанѣ, съ флейтою въ рукахъ, или пастушка въ фажмахъ, съ овечкою у ногъ. Многимъ изъ гостей чрезвычайно понравился этотъ образчикъ Швейцаріи; но появленіе янтарной ухи изъ аршинной стерляди, а вслѣдъ за ней двухъ-аршиннаго осетра подъ соусомъ, сосредоточило на себѣ все удивленіе пирующихъ. Деревенскіе гастрономы ахнули. Отрывокъ альпійской горы, зеркальное море, саксонскія куклы, китайскіе уродцы —все было забыто; разговоры прекратились, и тихій ангелъ пріосѣнилъ своими крыльями все общество.

Пользуясь правомъ жениха, Рославлевъ сидѣлъ за столомъ подлѣ своей невѣсты; онъ могъ говорить съ нею свободно, не опасаясь нескромнаго любопытства сосѣдей, потому что съ одной стороны подлѣ нихъ сидѣлъ Сурскій, а съ другой Оленька. Въ то время, какъ всѣ, или почти всѣ, заняты были ѣдою, симъ важнымъ и едва ли не главнѣйшимъ дѣломъ большей части деревенскихъ помѣщиковъ, Рославлевъ спросилъ Полину: согласна ли она съ мнѣніемъ своей матери, что онъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ вступать снова въ военную службу?

— Вы знаете, чего отъ васъ требуетъ маменька,—отвѣчала Полина.

— Но я желалъ бы также знать, что думаете вы!

— Я обязана ей повиноваться.

— Но скажите, что долженъ я дѣлать?

— Вамъ ли меня объ этомъ спрашивать, Вольдемаръ! Что могу сказать я, когда собственное сердце ваше молчитъ?

— Итакъ, я долженъ оставаться хладнокровнымъ свидѣтелемъ ужасныхъ бѣдствій, которыя грозятъ нашему отечеству; долженъ жить спокойно въ то время, когда кровь всѣхъ русскихъ будетъ литься не за славу, не за величіе, но за существованіе нашей родины; когда, можетъ быть, отецъ станетъ сражаться рядомъ съ своимъ сыномъ и дѣдъ умирать подлѣ своего внука. Нѣтъ, Полина, или я совсѣмъ васъ не знаю, или любовь ваша должна превратиться въ презрѣніе къ человѣку, который въ сію рѣшительную минуту будетъ думать только о собственномъ своемъ счастіи и о личной своей безопасности.

— Но зачѣмъ тревожить себя заранѣе этой мыслію?— сказала Полина послѣ короткаго молчанія.—Быть можетъ, это одни пустые слухи.

— Можетъ быть! Но по всему кажется, что эта война неизбѣжна.

— Война!—повторила Полина, покачавъ печально головою.—Ахъ! когда люди станутъ думать, что они всѣ братья, что слава, честь, лавры, всѣ эти пустыя слова, не стоятъ и одной капли человѣческой крови. Война! Боже мой! И, вѣрно, эта война будетъ самая безчеловѣчная?...

— О! что касается до этого,—отвѣчалъ Рославлевъ,— то французы должны пенять на самихъ себя: они заставили себя ненавидѣть; а ненависть не знаетъ состраданія и жалости. Испанцы доказали это.

— Но неужели и русскіе также, какъ испанцы, не станутъ щадить никого?... Будутъ рѣзать беззащитныхъ плѣнныхъ?—спросила съ примѣтнымъ безпокойствомъ Полина.

— Кто можетъ предузнать,—отвѣчалъ Рославлевъ,—до чего дойдетъ ожесточеніе русскихъ, когда въ глазахъ народа убійство и мщеніе превратятся въ добродѣтели, и всякое сожалѣніе къ французамъ будетъ казаться предательствомъ и измѣною. Когда война становится національною, то всѣ права народныя теряютъ свою силу. Стараться истреблять всѣми способами непріятеля, убивать до тѣхъ поръ, пока не убьютъ самого, вотъ въ чемъ состоитъ народная война,

и вотъ чего добиваются Наполеонъ и его французы. Переступивъ однажды за нашу границу, они не должны уже и думать о мирѣ. Да, Полина, въ этой войнѣ средины быть не можетъ: они должны или превратить всю Россію въ обширное кладбище, или всѣ погибнуть.

Полина поблѣднѣла.—Это ужасно!—сказала она. — Несчастные! но виноваты ли они?... Всѣ погибнутъ!.. Боже мой!.. Если...

Оленька схватила за руку сестру свою; она замолчала, опустила глаза книзу и блѣдныя щеки ея запылали.

— Э, племянничекъ!—закричалъ Ижорскій,—говорить то съ невѣстою можно, а ѣсть все-таки надобно. Что ты, Поленька! вѣдь этакъ женихъ твой умретъ голодной смертью. Да возьми, братецъ! вѣдь это дупельшнепы! Эй, шампанскаго! Здоровье его превосходительства, нашего гражданскаго губернатора. Тушъ!

Трубачи протрубили, шампанское обнесли. — Здоровье хозяина!—закричалъ Буркинъ, и снова затрещало въ ушахъ у бѣдныхъ дамъ. Трубачи дули, мужчины пили; и какъ дѣло дошло до домашнихъ наливокъ, то разговоры сдѣлались до того шумны, что почти никто уже не понималъ другъ друга. Наконецъ, когда обнесли двѣнадцатую тарелку съ сахарнымъ вареньемъ, хозяинъ привсталъ и, совершенно увѣренный, что говоритъ неправду, сказалъ: — Не осудите, дорогіе гости, если встаете голодные изъ-за стола, не погнѣвайтесь! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады!

Всѣ поднялись въ одно время. Мужчины отвели прежнимъ порядкомъ дамъ въ гостиную; а сами, выпивъ по чашкѣ кофе, отправились, вмѣстѣ съ хозяиномъ, осматривать его оранжереи, конскій заводъ, псарню и больницу.

II.

Сурскій и Рославлевъ, обойдя съ другими гостями всѣ оранжереи и не желая осматривать прочія заведенія хозяина, остались въ саду. Пройдя нѣсколько времени, молча, по крытой липовой аллеѣ, Сурскій замѣтилъ, наконецъ, Рославлеву, что онъ вовсе не походитъ на жениха.— Ты такъ грустенъ и задумчивъ,—сказалъ онъ,—что какъ будто бы въ самомъ дѣлѣ долженъ сегодня же, и навсегда, разстаться съ твоей невѣстою.

— Почему знать?—отвѣчалъ со вздохомъ Рославлевъ.— По крайней мѣрѣ, я почти увѣренъ, что долго еще не буду ея мужемъ. Скажите, могу ли я обѣщать, что не пойду служить даже и тогда, когда французы внесутъ войну въ сердце Россіи?

— Нѣтъ, не можешь; но почему ты увѣренъ, что Наполеонъ рѣшится...

— На что не рѣшится этотъ баловень фортуны, этотъ надменный завоеватель, ослѣпленный собственной своей славою? Куда не пойдутъ за нимъ французы, привыкшіе видѣть въ немъ свое второе Провидѣніе? Французы!... Я знаю человѣка, котораго ненависть къ французамъ казалась мнѣ отвратительною: теперь я начинаю понимать его.

— Не вѣрю, мой другъ! ты это говоришь въ минуту досады. Просвѣщенный человѣкъ и христіанинъ не долженъ и не можетъ ненавидѣть никого. Какъ русскій, ты станешь драться до послѣдней капли крови съ врагами нашего отечества, какъ вѣрноподданный — умрешь, защищая своего государя; но если безоружный непріятель будетъ имѣть нужду въ твоей помощи, то кто бы онъ ни былъ, онъ вѣрно найдетъ въ тебѣ человѣка, для которого состраданіе никогда не было чуждой добродѣтелью. Простой народъ почти вездѣ одинаковъ; но французы называютъ насъ всѣхъ варварами. Постараемся же доказать имъ не фразами—на словахъ они насъ загоняютъ—а на самомъ дѣлѣ, что они ошибаются.

— Но можно ли смотрѣть хладнокровно на эту націю?..

— Можно, мой другъ, тому, кто знаетъ ее больше, чѣмъ ты. Во-первыхъ, тотъ, кто не былъ самъ во Франціи, едва ли имѣетъ право судить о французахъ. Никто не можетъ быть милѣе, любезнѣе, вѣжливѣе француза, когда онъ дома; но лишь только онъ переступилъ за границу своего отечества, то становится совершенно другимъ человѣкомъ. Онъ смотритъ на все съ презрѣніемъ; все то, что не походитъ на обычаи и нравы его родины, кажется ему варварствомъ, невѣжествомъ и безвкусіемъ. Но и въ этомъ смѣшномъ желаніи увѣрять весь міръ, что въ одной только Франціи могутъ жить порядочные люди, я вижу чувство благородное: безпредѣльную любовь къ отечеству. Извѣстное слово одного француза, который на вопросъ, какой онъ націи, отвѣчалъ, что имѣетъ честь быть французомъ— не самохвальство, а самое истинное выраженіе чувствъ

каждаго изъ его соотечественниковъ, и если это порокъ, то признаюсь, отъ всей души желаю, чтобъ многіе изъ насъ, рабски перенимая всѣ иностранные моды и обычаи, заразились бы, наконецъ, и этимъ иноземнымъ порокомъ.

— Но согласитесь, что чванство, самонадѣянность и гордость французовъ невыносимы.

— Чтожъ дѣлать, мой другъ? Всѣ народы имѣютъ свои національныя слабости; и если говорить правду, то подчасъ наша скромность, право, не лучше французскаго самохвальства. Они потеряютъ сраженіе, и каждый изъ нихъ будетъ стараться увѣрить и другихъ и самого себя, что оно не проиграно; намъ удастся разбить непріятеля, и тотъ-же часъ найдутся охотники доказывать, что мы или не остались побѣдителями, или, по крайней мѣрѣ, побѣда наша весьма сомнительна. Да вотъ, напримѣръ, если у насъ будетъ война, и Богъ поможетъ намъ не только отразить, но истребить французскую армію, если изъ этого ополченія всей Европы уцѣлѣютъ только нѣсколько тысячъ... Но что я говорю? если одна только рота французскихъ солдатъ выйдетъ изъ Россіи, то и тогда французы станутъ говорить и печатать, что эта горсть безстрашныхъ, этотъ священный легіонъ не бѣжалъ, а спокойно отступилъ на зимнія квартиры, и что, во время безсмертной своей ретирады, безпрестанно билъ большую русскую армію; и нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ хвастовствѣ имъ помогутъ русскіе, которые станутъ повторять вслѣдъ за ними, что климатъ, недостатокъ, стеченіе различныхъ обстоятельствъ, однимъ словомъ, все, выключая русскихъ штыковъ, заставило отступить французскую армію.

— Перестаньте! Я не хочу вѣрить, чтобъ нашлись между русскими такія презрительныя низкія души...

— Но эти же самые русскіе, мой другъ, станутъ драться, какъ львы, защищая свою родину. Все это въ порядкѣ вещей, и мы не должны сердиться ни на французовъ за ихъ хвастовство, ни на русскихъ за ихъ несправедливость къ самимъ себѣ. Безпрерывный рядъ побѣдъ, двадцать пять лѣтъ колоссальной славы... о, мой другъ! отъ этого закружатся и не французскія головы! А мы... насъ также можно извинить. Вотъ изволишь видѣть: по мнѣнію моему, исторія просвѣщенія всѣхъ народовъ раздѣляется на три эпохи. Въ первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всѣхъ иностранцевъ, но даже прези-

раемъ ихъ. Иноземецъ, въ глазахъ нашихъ, почти не человѣкъ; онъ долженъ считать за милость, если мы дозволяемъ ему жить между нами и обогащать насъ своими познаніями. Мало-по-малу, привыкая думать, что эти пришлецы созданы также, какъ и мы, по образу и по подобію Божію, мы постепенно доходимъ до того, что начинаемъ перенимать не только ихъ познанія, но даже и обычаи; и тогда наступаетъ для насъ вторая эпоха. Презрѣніе къ иностранцамъ превращается въ безусловное уваженіе; мы видимъ въ каждомъ изъ нихъ своего учителя и наставника; все чужеземное кажется намъ прекраснымъ, все свое—дурнымъ. Мы думаемъ, что только одно рабское подражаніе можетъ насъ сблизить съ просвѣщенными народами, и если въ это время между насъ родится геній, то не мы, а развѣ иностранцы отдадутъ ему справедливость; это эпоха полупросвѣщенія. Наконецъ, вѣкъ скороспѣлокъ и обезьянства проходитъ. Плодъ многихъ годовъ, безчисленныхъ опытовъ—прекрасный плодъ не награжденныхъ ни славою, ни почестями безкорыстныхъ трудовъ, великихъ геніевъ — созрѣваетъ; истинное просвѣщеніе разливается по всей странѣ; мы не презираемъ и не боготворимъ иностранцевъ; мы сравнялись съ ними; не желаемъ уже знать кое-какъ все, а стараемся изучить хорошо то, что знаемъ; народный характеръ и физіономія образуются; мы начинаемъ любить свой языкъ, уважать отечественные таланты и дорожить своей національной славою. Это третья и послѣдняя эпоха народнаго просвѣщенія. Для большей части русскихъ первая, кажется, миновалась; но послѣдняя, по крайней мѣрѣ для многихъ, еще не наступила.

— Но развѣ это можетъ служить оправданіемъ для тѣхъ, кои злословятъ свое отечество?

— А какъ же, мой другъ? Безпристрастіе есть добродѣтель людей истинно просвѣщенныхъ; и вотъ почему нѣкоторые русскіе, желающіе казаться просвѣщенными, стараются всячески унижать все отечественное, и чтобъ доказать свое европейское безпристрастіе, готовы спорить съ иностранцемъ, если онъ вздумаетъ похвалить что-нибудь русское. Конечно, для чести нашей націи, не мѣшало бы этихъ господъ, какъ запрещенный товаръ, не выпускать за границу, но сердиться на нихъ не должно. Они срамятъ себя въ глазахъ иностранцевъ и позорятъ свою родину, не потому что не любятъ ея, а для того только, чтобъ казаться безпри-

страстными, и слѣдовательно просвѣщенными людьми. Вотъ съ мѣсяцъ тому назадъ, я былъ вмѣстѣ съ сосѣдомъ нашимъ Ильменевымъ у Волгиныхъ, которые на нѣсколько недѣль пріѣзжали въ свою деревню изъ Москвы. Съ перваго взгляда мнѣ очень понравился ихъ единственный сынъ, ребенокъ лѣтъ двѣнадцати — и подлинно необыкновенный умъ и доброта отпечатаны на его миловидномъ лицѣ; но черезъ нѣсколько минутъ, это первое впечатлѣніе уступило мѣсто чувству совершенно противному. Этотъ мальчишка умничалъ, мѣшался преважно въ разговоры, находилъ, что въ деревнѣ все дурно, что мужики такъ глупы, и желая казаться совершеннымъ человѣкомъ, такъ часто кричалъ и шумѣлъ на людей безъ всякой причины, подражая своему папенькѣ, который иногда журилъ ихъ за дѣло, что подъ конецъ мнѣ стало гадко на него смотрѣть. Я сказалъ объ этомъ Ильменеву, который отвѣчалъ мнѣ весьма хладнокровно:—И, сударь, что еще на немъ взыскивать: глупенекъ, батюшка—дитя! какъ подрастетъ, такъ поумнѣетъ. Какъ ты думаешь, Рославлевъ? не лучше ли и намъ не сердиться на нашихъ полупросвѣщенныхъ умницъ, а говорить про себя: что еще на нихъ взыскивать—дѣти! какъ подрастутъ, такъ поумнѣютъ! Но вотъ, кажется, идетъ хозяинъ. Что такое? Посмотри-ка, на немъ лица нѣтъ. Что съ тобой сдѣлалось, мой другъ?—продолжалъ Сурскій, идя къ нему навстрѣчу.

— Что сдѣлалось?—повторилъ глухимъ голосомъ Ижорскій.—Ничего... Осрамили, зарѣзали, живого въ гробъ положили, вотъ и все!...

— Какъ?

— Да такъ... Ухъ, батюшки!.. Дайте духъ перевести!.. Дурачье! Животные! Разбойники!...

— Ты пугаешь меня. Да что сдѣлалось?

— Бездѣлица!.. Всѣ труды, заботы, расходы, все пошло къ чорту!... Да ужь я же его! И что онъ за докторъ?.. Цырюльникъ!.. Нынче же съ двора долой!

— Ага! такъ дѣло идетъ о твоей больницѣ.

— О больницѣ? О какой больницѣ? У меня нѣтъ больницы! Завтра же велю сломать эту проклятую больницу, чтобъ и праху ея не осталось.

— Помилуйте! За что такой гнѣвъ?

— Что, братецъ, сняли голову съ плечъ, да и только. Представь себѣ: я повелъ гостей осматривать мои заведе-

нія; дѣло дошло и до больницы. Вотъ вошли сначала въ аптеку; гости ахнули!... что за порядокъ!.. Банка къ банкѣ, склянка къ склянкѣ—ну, любо-дорого смотрѣть! Предводитель такъ и разсыпался: и благодѣтель то я нашег уѣзда, и просвѣщенный помѣщикъ, и какую честь дѣлаетъ всей губерніи это заведеніе, и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: «Погоди, пріятель! какъ взглянешь на больницу, такъ не то еще заговоришь». Вотъ вошли; коридоръ чистый, свѣтлый, нечего сказать—славно! — Отдѣленіе хроническихъ болѣзней! — прокричалъ лѣкарь. — Камера, нумеръ первый: водяная болѣзнь. Растворяю дверь— глядь на постель! ахти!.. такъ меня и обдало морозомъ: щедушный Андрюшка сухарь! Я поскорѣй вонъ, да въ другія двери. Предводитель читаетъ надпись: Камера вторая — чахотка. Вхожу, всѣ за мной. Ну!!! ноги подкосились! Боже мой!.. толстый пономарь!..—Давно ли у тебя чахотка?—спросилъ, улыбаясь, предводитель.—Около года, сударь!—отвѣчалъ пономарь.—Оно и замѣтно!—заревѣлъ дурачина Буркинъ.—Смотри-ка, сердечный, какъ ты зачахъ!—Зачахъ!.. а рожа то у него, братецъ, съ пивной котелъ! Предводитель прыснулъ, гости померли со смѣху, а я ужь и самъ не помню, какъ бросился вонъ изъ дверей, какъ ударился лбомъ о притолку, какъ наткнулся теперь на васъ—ничего не знаю!

— Помилуй, братецъ, чтожъ это за бѣда?

— Какъ что за бѣда? Да какъ мнѣ теперь глаза показать?.. Ну, если догадаются?..

— И, мой другъ, кому придетъ въ голову, что у тебя больные по наряду? Перемѣшали надписи, вотъ и все тутъ.

— Такъ ты думаешь, что я могу сказать?

— Разумѣется. Долго ли вмѣсто одной дощечки прибить другую. Да вотъ, кстати, всѣ гости идутъ сюда; ступай къ нимъ навстрѣчу, скажи, что это ошибка, и, чтобъ они перестали смѣяться, начни хохотать громче ихъ.

Ижорскій, успокоенный сими словами, пошелъ навстрѣчу къ гостямъ, и, поговоря съ ними, повелъ ихъ въ большую китайскую бесѣдку, въ которой приготовлены были трубки и пуншъ. Одинъ только исправникъ отдѣлился отъ толпы и, подойдя къ Рославлеву, сказалъ:—Извините, Владиміръ Сергѣевичъ, совсѣмъ изъ ума вонъ. Вѣдь у меня есть къ вамъ письмо.

— Отъ кого?—спросилъ Рославлевъ.

— Не могу доложить. Оно пришло по почтѣ. Я зналъ,

что найду васъ здѣсь, такъ захватилъ его съ собою. Вотъ оно.

— Отъ Зарѣцкаго! — вскричалъ Рославлевъ, взглянувъ на адресъ.—Какъ я радъ!

Исправникъ отправился вслѣдъ за другими гостями въ бесѣдку, а Рославлевъ, распечатавъ письмо, началъ читать слѣдующее:

«Ну, мой другъ, отгадывай, что я? гдѣ я? и что дѣлалъ сегодня поутру? Да что тебя мучить по пустому: вѣкъ не отгадаешь. Я, гусарскій ротмистръ, стою теперь на бивакахъ недалеко отъ Бѣлостока, и сегодня по утру дрался съ французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай; я разскажу тебѣ все по порядку. Прощаясь съ тобой, я уже намекалъ тебѣ, что мнѣ становится скучно жить въ Петербургѣ. Когда ты уѣхалъ, мнѣ стало еще скучнѣе. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю: задумалъ, рѣшился, надѣлъ мундиръ; тетушка благословила меня образомъ, а кузины... вѣдь я отгадалъ, mon cher! ни одна изъ нихъ не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакалъ въ Вильну, нашелъ тамъ почти всѣхъ нашихъ сослуживцевъ. Намъ давали балы, мы веселились; но и среди танцевъ горѣли нетерпѣніемъ встрѣтить скорѣе гостей, которые стояли за Нѣманомъ, церемонились и какъ будто бы дожидались приглашенія. Наконецъ, 12-го числа іюня они переправились на нашу сторону, и пошла потѣха—только не для насъ, а для однихъ казаковъ. Я выпросился въ авангардъ, который сталъ теперь аріергардомъ, потому что наши войска ретируются. Одни говорятъ, для того, чтобъ соединиться съ молдавской арміею, которая спѣшитъ намъ навстрѣчу; другіе, чтобъ заманить Наполеона поглубже въ Россію и угостить его точно такъ же, какъ, блаженной памяти, шведскаго короля подъ Полтавою. Не знаю, чему вѣрить, но не сомнѣваюсь въ одномъ—nous reculons pour mieux sauter. Кажется, непріятель втрое насъ сильнѣе; только мы дома, а онъ на чужой сторонѣ. Франція далеко, а нѣмцамъ любить его не за что. Все это должно ободрять насъ; однакоже, я думаю, что безъ народной войны дѣло не обойдется. Тебѣ кланяется твой бывшій начальникъ, генералъ Б. У него недостаетъ одного адъютанта, но онъ не торопится замѣстить эту ваканцію, и просилъ меня объ этомъ тебя увѣдомить. Послушай, Рославлевъ! Я никогда не хвастался моимъ патріотизмомъ; всегда любилъ и даже теперь люблю

нія; дѣло дошло и до больницы. Вотъ вошли сначала въ аптеку; гости ахнули!... что за порядокъ!.. Банка къ банкѣ, склянка къ склянкѣ—ну, любо-дорого смотрѣть! Предводитель такъ и разсыпался: и благодѣтель то я нашег уѣзда, и просвѣщенный помѣщикъ, и какую честь дѣлаетъ всей губерніи это заведеніе, и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: «Погоди, пріятель! какъ взглянешь на больницу, такъ не то еще заговоришь». Вотъ вошли; коридоръ чистый, свѣтлый, нечего сказать—славно! — Отдѣленіе хроническихъ болѣзней! — прокричалъ лѣкарь. — Камера, нумеръ первый: водяная болѣзнь. Растворяю дверь— глядь на постель! ахти!.. такъ меня и обдало морозомъ: щедушный Андрюшка сухарь! Я поскорѣй вонъ, да въ другія двери. Предводитель читаетъ надпись: Камера вторая — чахотка. Вхожу, всѣ за мной. Ну!!! ноги подкосились! Боже мой!.. толстый пономарь!..—Давно ли у тебя чахотка?—спросилъ, улыбаясь, предводитель.—Около года, сударь!—отвѣчалъ пономарь.—Оно и замѣтно!—заревѣлъ дурачина Буркинъ.—Смотри-ка, сердечный, какъ ты зачахъ!—Зачахъ!.. а рожа то у него, братецъ, съ пивной котелъ! Предводитель прыснулъ, гости померли со смѣху, а я ужь и самъ не помню, какъ бросился вонъ изъ дверей, какъ ударился лбомъ о притолку, какъ наткнулся теперь на васъ—ничего не знаю!

— Помилуй, братецъ, чтожъ это за бѣда?

— Какъ что за бѣда? Да какъ мнѣ теперь глаза показать?.. Ну, если догадаются?..

— И, мой другъ, кому придетъ въ голову, что у тебя больные по наряду? Перемѣшали надписи, вотъ и все тутъ.

— Такъ ты думаешь, что я могу сказать?

— Разумѣется. Долго ли вмѣсто одной дощечки прибить другую. Да вотъ, кстати, всѣ гости идутъ сюда; ступай къ нимъ навстрѣчу, скажи, что это ошибка, и, чтобъ они перестали смѣяться, начни хохотать громче ихъ.

Ижорскій, успокоенный сими словами, пошелъ навстрѣчу къ гостямъ, и, поговоря съ ними, повелъ ихъ въ большую китайскую бесѣдку, въ которой приготовлены были трубки и пуншъ. Одинъ только исправникъ отдѣлился отъ толпы и, подойдя къ Рославлеву, сказалъ:—Извините, Владиміръ Сергѣевичъ, совсѣмъ изъ ума вонъ. Вѣдь у меня есть къ вамъ письмо.

— Отъ кого?—спросилъ Рославлевъ.

— Не могу доложить. Оно пришло по почтѣ. Я зналъ,

что найду васъ здѣсь, такъ захватилъ его съ собою. Вотъ оно.

— Отъ Зарѣцкаго! — вскричалъ Рославлевъ, взглянувъ на адресъ.—Какъ я радъ!

Исправникъ отправился вслѣдъ за другими гостями въ бесѣдку, а Рославлевъ, распечатавъ письмо, началъ читать слѣдующее:

«Ну, мой другъ, отгадывай, что я? гдѣ я? и что дѣлалъ сегодня поутру? Да что тебя мучить по пустому: вѣкъ не отгадаешь. Я, гусарскій ротмистръ, стою теперь на бивакахъ недалеко отъ Бѣлостока, и сегодня по утру дрался съ французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай; я разскажу тебѣ все по порядку. Прощаясь съ тобой, я уже намекалъ тебѣ, что мнѣ становится скучно жить въ Петербургѣ. Когда ты уѣхалъ, мнѣ стало еще скучнѣе. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю: задумалъ, рѣшился, надѣлъ мундиръ; тетушка благословила меня образомъ, а кузины... вѣдь я отгадалъ, mon cher! ни одна изъ нихъ не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакалъ въ Вильну, нашелъ тамъ почти всѣхъ нашихъ сослуживцевъ. Намъ давали балы, мы веселились; но и среди танцевъ горѣли нетерпѣніемъ встрѣтить скорѣе гостей, которые стояли за Нѣманомъ, церемонились и какъ будто бы дожидались приглашенія. Наконецъ, 12-го числа іюня они переправились на нашу сторону, и пошла потѣха—только не для насъ, а для однихъ казаковъ. Я выпросился въ авангардъ, который сталъ теперь аріергардомъ, потому что наши войска ретируются. Одни говорятъ, для того, чтобъ соединиться съ молдавской арміею, которая спѣшитъ намъ навстрѣчу; другіе, чтобъ заманить Наполеона поглубже въ Россію и угостить его точно такъ же, какъ, блаженной памяти, шведскаго короля подъ Полтавою. Не знаю, чему вѣрить, но не сомнѣваюсь въ одномъ—nous reculons pour mieux sauter. Кажется, непріятель втрое насъ сильнѣе; только мы дома, а онъ на чужой сторонѣ. Франція далеко, а нѣмцамъ любить его не за что. Все это должно ободрять насъ; однакоже, я думаю, что безъ народной войны дѣло не обойдется. Тебѣ кланяется твой бывшій начальникъ, генералъ Б. У него недостаетъ одного адъютанта, но онъ не торопится замѣстить эту ваканцію, и просилъ меня объ этомъ тебя увѣдомить. Послушай, Рославлевъ! Я никогда не хвастался моимъ патріотизмомъ; всегда любилъ и даже теперь люблю

французовъ, а ужь успѣлъ съ ними подраться. Ты зарекся говорить по французски, бредишь всѣмъ русскимъ — и ходишь еще во фракѣ. Женатъ ли ты или нѣтъ, все равно. Если ты только здоровъ, скачи къ намъ на курьерскихъ; если боленъ, ступай на долгихъ; если умираешь, то вели, по крайней мѣрѣ, похоронить себя вь мундирѣ. Да, мой другъ, эта война не походитъ на прежнія; дѣло идетъ о томъ, чтобъ рѣшить навсегда: есть ли въ Европѣ русское царство или нѣтъ? Сегодня, чѣмъ свѣтъ, французская военная музыка играла такъ близко отъ нашихъ биваковъ, что я подлаживалъ ей на моемъ флажолетѣ; а около двѣнадцатаго часа у насъ завязалось жаркое аванпостное дѣло. Мы потихоньку подвигались назадъ; французы лѣзли впередъ, и надобно сказать правду—молодцы, славно дерутся! Одинъ изъ нихъ съ эскадрономъ конныхъ егерей врѣзался въ самую средину нашихъ казаковъ; но я подоспѣлъ съ гусарами. Коннымъ егерямъ отпѣли вѣчную память, а начальника ихъ мнѣ удалось своими руками взять въ плѣнъ, или, лучше сказать, спасти отъ смерти, потому что онъ не сдавался и дрался какъ отчаянный. Теперь онъ въ моемъ шалашѣ спитъ прекрѣпкимъ сномъ. Что за молодецъ, братецъ! Ему нѣтъ тридцати лѣтъ, а онъ ужь полковникъ; а какъ любезенъ, какой хорошій тонъ! Впрочемъ, это ни мало не удивительно: ce n'est pas un officier de fortune. Фамилія его одна изъ самыхъ древнихъ во Франціи. Онъ графъ Адольфъ Сеникуръ. Завтра, чѣмъ свѣтъ, его отправляютъ, вмѣстѣ съ другими плѣнными, въ средину Россіи и, повѣришь ли? онъ такъ обворожилъ меня своею любезностію, что мнѣ грустно будетъ съ нимъ разстаться. Прощай, мой другъ!.. или нѣтъ: до свиданья! Я увѣренъ, что ты, прочитавъ мое письмо, велишь укладывать свой чемоданъ, пошлешь за курьерскими—и если какая-нибудь французская пуля не вычеркнетъ меня изъ списковъ, то я скоро угощу тебя на моемъ бивакѣ и пуншемъ, и музыкою. Да, мой другъ! и музыкою. Отъ нечего дѣлать, я такъ набилъ руку на моемъ флажолетѣ, что и самъ себѣ надивиться не могу. Итакъ, до свиданья!

Твой другъ Александръ Зарѣцкій. Іюня 19-го. Бивакъ близъ Бѣлостока.

— Итакъ, все кончено! — вскричалъ Рославлевъ. — Я долженъ разстаться съ Полиною, и можетъ быть—навсегда!

— Ужь и навсегда, мой другъ! — сказалъ Сурскій. —

Конечно, за жизнь военнаго человѣка ручаться нельзя; но почему же думать, что непремѣнно ты?...

— Ахъ, я ничего не думаю! Въ головѣ моей нѣтъ ни одной мысли; а здѣсь,—продолжалъ Рославлевъ, положа руку на грудь,—здѣсь все замерло. Такъ! если вѣрить предчувствіямъ, то въ здѣшнемъ мірѣ я никогда не назову Полину моею. Я долженъ разстаться и съ вами...

— Не надолго, мой другъ, мы скоро увидимся. Но вотъ, кажется, Лидина съ дочерьми. Онѣ идутъ сюда. Ты скажешь имъ?...

— Да, я хочу, я долженъ!... Я на этихъ дняхъ отправлюсь въ армію, Полина,—продолжалъ Рославлевъ, подойдя къ своей невѣстѣ.—Вотъ письмо, которое я сейчасъ получилъ отъ пріятеля моего Зарѣцкаго. Прочтите его. Мы должны разстаться.

— Какъ, сударь!—вскричала Лидина.—Такъ вы рѣшительно хотите вступить въ военную службу?

— Читайте, Полина!—продолжалъ Рославлевъ,—и скажите вашей матушкѣ, могу ли я поступить иначе.

Полина начала читать письмо. Грудь ея сильно волновалась, руки дрожали; но, несмотря на это, казалось, она готова была перенести съ твердостію ужасное извѣстіе, которое должно было разлучить ее съ женихомъ. Она дочитывала уже письмо, какъ вдругъ вся помертвѣла; невольное восклицаніе замерло на посинѣвшихъ устахъ ея; глаза сомкнулись, и она упала безъ чувствъ въ объятія своей сестры.

Съ воплемъ отчаянія бросилась Лидина къ своей дочери.—Chère enfant!...—вскричала она,—что съ тобой сдѣлалось?.. Ахъ, она ничего не чувствуетъ!... Полюбуйтесь, сударь!.. вотъ слѣдствія вашего упрямства... Полина, другъ мой!... Боже мой! она не приходитъ съ себя!... Нѣтъ, вы не человѣкъ, а чудовище!... Стоите ли вы любви ея!... О, еслибъ я была на ея мѣстѣ!.. Ah, mon Dieu!... Она не дышитъ... Она умерла!... Пойдите прочь, сударь, пойдите!.. Вы злодѣй, убійца моей дочери!...

— Успокойтесь, сударыня!—сказалъ Сурскій.—Посмотрите, она приходитъ въ себя. Это пройдетъ.

— Ахъ, еслибъ прошла и любовь ея къ этому человѣку!—прервала Лидина, взглянувъ на убитаго горестію Рославлева.

Полина открыла глаза, поглядѣла вокругъ себя довольно

спокойно; но когда взоръ ея остановился на письмѣ, которое замерло въ рукѣ ея, то она вскрикнула и, подавая его торопливо Оленькѣ, сказала: прочти, мой другъ, прочти!

— Не печалься, мой ангелъ!—сказала Лидина:—онъ не поѣдетъ.

— Нѣтъ, маменька,—отвѣчала твердымъ голосомъ Полина,—онъ не долженъ и не можетъ остаться съ нами.

Оленька, читая письмо, не могла также удержаться отъ невольнаго восклицанія. Поѣдемте скорѣй домой, маменька, —сказала она.—Вы видите, какъ Полина разстроена: ей нуженъ покой. А вы, Владиміръ Сергѣевичъ, черезъ часъ или черезъ два пріѣзжайте къ намъ. Поѣдемте!

Лидина, уѣзжая съ своими дочерьми, сказала въ гостиной нѣсколько словъ женѣ предводителя, та шепнула своей пріятельницѣ Ильменевой, Ильменева побѣжала въ бесѣдку разсказать обо всемъ своему мужу, и чрезъ нѣсколько минутъ всѣ гости знали уже, что Рославлевъ ѣдетъ въ армію, и что мы деремся съ французами.

— Ну, господа!—сказалъ исправникъ,—теперь таиться нечего: вѣдь и его превосходительство за этимъ изволилъ ускакать въ губернскій городъ.

— Такъ вотъ что! — вскричалъ хозяинъ.—Вѣрно, рекрутскій наборъ?

— Какой рекрутскій наборъ! Осмѣлюсь доложить, того и гляди, что поголовщина будетъ.

— Добрался таки до насъ этотъ проклятый Бонапартій!—сказалъ Буркинъ.—Чего добраго, онъ этакъ, пожалуй, сдуру то въ Москву полѣзетъ.

— А что ты думаешь?—промолвилъ Ижорскій:—его на это станетъ.

— Избави, Господи!—воскликнулъ жалобнымъ голосомъ Ладушкинъ.—Что съ нами тогда будетъ?

— А что Богъ велитъ,—подхватилъ Буркинъ.—Живые въ руки не дадимся. Поголовщина, такъ поголовщина.

— Да, — прибавилъ предводитель, — если французы не остановятся на границѣ, всеобщее ополченіе необходимо.

— Помилуйте!—сказалъ Ладушкинъ:—что мы съ кулаками что-ль пойдемъ?

— Да съ чѣмъ попало,—отвѣчалъ Буркинъ.—У кого есть ружье, тотъ съ ружьемъ; у кого нѣтъ, тотъ съ рогатиной. Что въ самомъ дѣлѣ!... Французы то о двухъ что-ль

ловахъ? Дай-ка я любого изъ нихъ хвачу дубиной по бу—небось не встанетъ.

— Я не думаю, однакожъ, чтобъ французы рѣшились ити въ средину Россіи,—замѣтилъ предводитель.—Карлъ XII спыталъ подъ Полтавою, какъ можно въ одно сраженіе огубить всю свою военную славу.

— Да вѣдь Наполеонъ тащитъ за собой всю Европу,— одхватилъ Ижорскій.—Нѣтъ, господа, онъ доберется и до Москвы.

— А мы его встрѣтимъ,—промолвилъ Буркинъ,—да задимъ такой банкетъ, что ему и домой не захочется.

— Воля ваша, — сказалъ со вздохомъ Ладушкинъ, — а ижко намъ будетъ! Я помню милицію: чего намъ, двонамъ, стоило одѣть, обуть, да прокормить этихъ ратниковъ.

— Да, братъ Ладушкинъ!—закричалъ Буркинъ,—почивай свою кубышку то. Вѣдь денегъ у тебя накоплено не о нашему.

— Помилуйте! Да откудова?

— Чего тутъ миловать—распоясывайся, любезный.

— Конечно, какъ велятъ ..

— Велятъ!... плохой ты, братъ, дворянинъ! Чего тутъ ожидаться приказу—самъ давай! Господи, Боже мой! мы го-ль русскіе, дворяне, не живемъ припѣваючи? А пришла Ьда, такъ и въ кустъ?... Сохрани, Владыко!... Послѣднюю онежку ставь ребромъ.

— Конечно!—сказалъ хозяинъ.—Если понадобятся ратники, такъ я и музыкантовъ моихъ не пожалѣю... А народъ то, братцы, какой!... Наметаный, лихой—пострѣлы! юбой на пушку полѣзетъ!

— А я,—заревѣлъ Буркинъ, — всѣмъ моимъ коннымъ водомъ бью челомъ Его Царскому Величеству. Изволь, атюшка Государь, бери, да припасай толькой людей; а ѣь эскадронъ лихихъ гусаръ поставимъ на ноги.

— Какъ?—спросилъ Ижорскій,—ты отдашь и персидскаго жеребца?

— Султана?... и его отдамъ!... Нѣтъ, Николай Степановичъ, нѣтъ! На немъ самъ пойду подъ француза. Умирать—такъ умирать обоимъ вмѣстѣ!

— Я увѣренъ, — сказалъ предводитель, — что все дворянство нашей губерніи не пожалѣетъ ни достоянія своего, и самихъ себя для общаго дѣла. Стыдъ и срамъ тому,

кто станетъ думать объ одномъ себѣ, когда отечество будетъ въ опасности.

— Да, да, стыдъ и срамъ!—повторили всѣ, не исключая Ладушкина, который, увлеченный примѣромъ другихъ, позабылъ на минуту о своей шкатулкѣ.

— Кто не можетъ идти самъ,—прибавилъ Буркинъ,—такъ пусть отдастъ все, что у него есть.

— Аминь!—закричалъ Ижорскій.—Ну-ка, господа, за здравіе Царя и на гибель французамъ! Гей, малый! Шампанскаго!

— Нѣтъ, братецъ, — прервалъ Буркинъ, — давай наливки: мы не хотимъ ничего французскаго.

— Въ томъ то и дѣло, любезный!—возразилъ хозяинъ. —Выпьемъ сегодня все до капли, и чтобъ къ завтрему въ моемъ домѣ духу не осталось французскаго.

— Нѣтъ, Николай Степановичъ, пей, кто хочетъ, а я не стану—душа не приметъ. Вѣришь ли Богу, мнѣ все французское такъ опротивѣло, что и слышать то о немъ не хочется. Разбойники!...

Дворецкій вошелъ съ подносомъ, уставленнымъ бокалами.

— Налей ему, Парфенъ!—закричалъ хозяинъ.—Добро, выпей, братецъ, въ послѣдній разъ...

— Эхъ, любезный!... Ну, ну, такъ и быть; одинъ бокалъ куда ни шелъ. Да здравствуетъ Русскій Царь! Ура!... Проклятый напитокъ: хуже нашего кваса... За здравіе русскаго войска!... Подлей-ка, братъ, еще... Ура!

— Да убирайся къ чорту съ рюмками! — сказалъ хозяинъ.—Подавай стаканы: скорѣй все выпьемъ!

— И то правда! — подхватилъ Буркинъ; — пить, такъ пить разомъ, а то это скверное питье въ горлѣ засядетъ. Подавай стаканы!...

III.

Двѣсти лѣтъ царство русское отдыхало отъ прежнихъ своихъ бѣдствій; двѣсти лѣтъ мирный поселянинъ не мѣнялъ сохи своей на оружіе. Россія, подъ самодержавнымъ правленіемъ потомковъ великаго Петра, возрастала въ силѣ и могуществѣ; южный вѣтеръ лелѣялъ русскихъ орловъ на берегахъ Дуная; наши волжскія пѣсни раздавались въ древней Скандинавіи, среди цвѣтущихъ полей Италіи и на

вершинахъ Сент-Готарда сверкали русскіе штыки: мы пожинали лавры въ странахъ иноплеменныхъ; но болѣе столѣтія ни одинъ вооруженный врагъ не смѣлъ переступить за границу нашего отечества. И вдругъ раздался громъ оружія на западѣ Россіи, и прежде чѣмъ слухъ о семъ долетѣлъ до отдаленныхъ ея областей, древній Смоленскъ былъ уже во власти Наполеона. Случалось ли вамъ, проснувшись въ полночь, прислушиваться недовѣрчиво къ глухимъ раскатамъ отдаленнаго грома, и, видя надъ собой свѣтлое небо, усѣянное звѣздами, засыпать снова съ утѣшительною мыслію, что вамъ послышалось, что это не гроза, а воетъ вѣтеръ въ сосѣдней дубравѣ? Точно то-же было съ большею частью русскихъ.—Французы въ Россіи!.. Нѣтъ, это невозможно! Это пустые слухи!...—говорили жители низовыхъ городовъ, и на минуту встревоженные симъ грознымъ извѣстіемъ, обращались спокойно къ обыкновеннымъ своимъ занятіямъ. Но слова того, кто одинъ могъ возбудить отъ сна дремлющую Россію, пронеслись отъ береговъ Вислы во всѣ края обширной его имперіи.—Такъ! Французы въ Россіи! Я не положу оружія,—сказалъ онъ,—доколѣ ни единаго непріятеля не останется въ царствѣ моемъ...—и милліоны устъ повторили слова Царя Русскаго! Онъ воззвалъ къ вѣрному своему народу: «Да встрѣтитъ врагъ,—вѣщалъ Александръ,—въ каждомъ дворянинѣ Пожарскаго; въ каждомъ духовномъ Палицына; въ каждомъ гражданинѣ Минина...» и всѣ русскіе устремились къ оружію.—Война!—воскликнулъ весь народъ, и потомки безстрашныхъ славянъ, какъ на брачное веселье, потекли на сей кровавый пиръ всей Европы.

О, какъ великъ, какъ благороденъ былъ сей общій энтузіазмъ народа русскаго! Въ какомъ обширномъ объемѣ повторилось то, что два вѣка тому назадъ извлекало слезы умиленія и восторга изъ глазъ всѣхъ жителей нижегородскихъ. Не малочисленный врагъ былъ съ сердцѣ Россіи; не граждане одного города поклялись умереть за свободу своей родины; — нѣтъ! Первый полководецъ нашего времени, влача за собой силы почти всей Европы, шелъ, по собственнымъ словамъ его, *раздавить* Россію. Но двѣсти лѣтъ назадъ, отечество наше, раздираемое междоусобіемъ, безмолвно преклоняло сиротствующую главу подъ ярмомъ иноплеменныхъ, а теперь безчисленные голоса отозвались на мощный голосъ Помазанника Божія; всѣ желанія, всѣ

помышленія слились съ его волею. Русскіе возстали, и приговоръ Всевышняго свершился надъ сей главой, обремененной лаврами и проклятіями вселенной. Могучій, непобѣдимый, онъ ступилъ на землю русскую—и уже могила его была назначена на уединенной скалѣ безбрежнаго океана.

Кто опишетъ съ должнымъ безпристрастіемъ сію ужасную борьбу Россіи съ колоссомъ, который желалъ весь міръ имѣть своимъ подножіемъ, которому душно было въ цѣлой Европѣ? Мы слишкомъ близки къ происшествіямъ, а на все великое и необычайное должно смотрѣть издалека. Увлекаясь современной славой Наполеона, мы едва обращаемъ взоры на самихъ себя. Нѣтъ для русскихъ 1812-го года и для Наполеона—потомство еще не наступило!

Послѣ упорнаго и кровопролитнаго сраженія подъ Смоленскомъ, бывшаго 5 числа августа, наши войска стали отступать къ Дорогобужу. Направленіе большой непріятельской арміи доказывало рѣшительное намѣреніе Наполеона завладѣть древней столицею Россіи; и въ то время, какъ войска наши, подъ командою храбраго графа Витгенштейна, громили Полоцкъ и истребляли корпусъ Удинота, угрожавшій Петербургу, Наполеонъ быстро подвигался впередъ. 13-го числа августа, онъ былъ уже въ Дорогобужѣ. Нѣсколько часовъ сряду нашъ аріергардъ удерживалъ стремленіе непріятеля; наступающая ночь прекратила, наконецъ, военныя дѣйствія; пушечные выстрѣлы стали рѣже, и стрѣлки обѣихъ армій, протянувъ передовыя цѣпи, присоединились къ своимъ колоннамъ. Русскій аріергардъ расположился биваками по большой Московской дорогѣ, въ двухъ верстахъ отъ Дорогобужа. Запылалъ длинный рядъ огней, и усталые воины усѣлись вокругъ артельныхъ котловъ, въ которыхъ варилась сытная русская каша. Подлѣ одного ярко-пылающаго костра, прислонивъ голову къ высокому казачьему сѣдлу, лежалъ на широкомъ потникѣ молодой офицеръ, въ бѣлой кавалерійской фуражкѣ; небрежно накинутая на плеча черкесская бурка не закрывала груди его, украшенной георгіевскимъ крестомъ; онъ наигрывалъ на карманномъ флажолетѣ французскій романсъ: Jeune Troubadour, и, казалось, все вниманіе его было устремлено на то, чтобъ брать чище и вѣрнѣе ноты на сей музыкальной игрушкѣ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ другой офицеръ въ сюртукѣ, съ золотымъ аксельбантомъ: онъ смотрѣлъ при

стально на мѣдный чайникъ, который стоялъ на угольяхъ; но, вѣроятно, думалъ совершенно о другомъ, потому что вовсе не замѣчалъ, что чай давно кипѣлъ и нѣсколько уже разъ начиналъ выливаться изъ чайника.

— Рославлевъ!—сказалъ офицеръ въ буркѣ, переставъ играть на своемъ флажолетѣ,—каково я кончилъ это колѣно? а?... Ну, что ты молчишь, Владиміръ! да проснись, душенька!

— Что ты, братецъ?—спросилъ Рославлевъ, не глядя на своего товарища, въ которомъ читатели, вѣроятно, узнали уже пріятеля его, Зарѣцкаго.

— Я, mon cher? Ничего! Да съ тобой то что дѣлается? Не удивительно, что ты оглохъ; мнѣ и самому кажется, что отъ сегодняшней проклятой канонады я сталъ крѣпокъ на ухо; но отчего ты ослѣпъ?.. Гляди, гляди!... Да чтожъ ты смотришь, братецъ? Вѣдь чай уйдетъ.

Рославлевъ, не отвѣчая ничего, отодвинулъ чайникъ отъ огня. Зарѣцкій вынулъ изъ вьюка сахаръ, два серебряныхъ стакана, фляжку съ ромомъ, и черезъ минуту горячій пуншъ былъ готовъ.

Подавая одинъ стаканъ своему пріятелю, Зарѣцкій сказалъ:—Ну-ка, Владиміръ, запей свою кручину! Да полно, братецъ, думать о Полинѣ. Что въ самомъ дѣлѣ? Убьютъ, такъ и дѣло съ концомъ; а останешься живъ, такъ самому будетъ веселѣе явиться къ невѣстѣ, быть можетъ, съ подвязанной рукою и георгіевскимъ крестомъ, къ которому за сраженье подъ Смоленскомъ ты вѣрно представленъ.

— Ахъ, Александръ, вотъ уже болѣе мѣсяца, какъ я разстался съ нею! Не знаю, получаетъ ли она мои письма, но я не имѣю о ней никакого извѣссія.

— Да, мой другъ, это ужасно! Мы сами не знаемъ поутру, гдѣ будемъ вечеромъ; а ты хочешь, чтобъ она знала, куда адресовать свои письма, и чтобъ они всѣ до тебя доходили. Ахъ ты чудакъ, чудакъ!

— Но если и мои письма пропадаютъ? Если она думаетъ, что я убитъ?

— А реляціи то на что, мой другъ? Дерись почаще такъ, какъ ты дрался сегодня по утру, такъ невѣста твоя изъ каждыхъ газетъ узнаетъ, что ты живъ. Это, мой другъ, одна переписка, которую теперь мы можемъ вести съ нашими пріятелями. А впрочемъ, если она будетъ думать, что тебя убили, такъ и это не бѣда: больше обрадуется и крѣпче обниметъ, когда увидитъ тебя живого.

— Но почему ты думаешь, что одна эта мысль не убьетъ ее?

— Почему, почему... во-первыхъ, потому, что съ горя не умираютъ; во-вторыхъ...

— Ты не знаешь моей Полины, Александръ. Одно извѣстіе, что я снова иду въ военную службу, едва не стоило ей жизни. Она прочла письмо твое...

— А, такъ она его читала? Не правда ли, что оно бойко написано? Я увѣренъ былъ впередъ, что при чтеніи сего краснорѣчиваго посланія русское твое сердце забьетъ такую тревогу, что любовь и мѣста не найдетъ. Только въ одномъ ошибся: я думалъ, что ты прежде женишься, а тамъ ужь пріѣдешь сюда пировать подъ картечными выстрѣлами свою свадьбу: по крайней мѣрѣ, я на твоимъ мѣстѣ непремѣнно бы женился.

— Чтожъ дѣлать, мой другъ! Мать Полины не хотѣла объ этомъ и слышать. Я долженъ былъ или не вступать въ службу, или рѣшиться остаться женихомъ до окончанія войны.

— Ну, mon cher, хороша же твоя будущая маменька! Я зналъ, что она самая бонтонная барыня, парижанка, что отъ нея требовать большого патріотизма не можно; но, право, не полагалъ... Ахъ знаешь ли что? Вѣдь она живетъ въ деревнѣ?... Ну, такъ и есть! Бѣдняжка и не подозрѣваетъ, что въ столицахъ тонъ совершенно перемѣнился. Еслибъ она знала, въ какой теперь модѣ патріотизмъ, то вѣрно бы не стала съ тобой торговаться. Ты не можешь себѣ представить, какъ все перемѣнилось въ Петербургѣ: французскій театръ закрыли и—ни одна русская барыня не охнула. Всѣ наши дамы въ такомъ порядкѣ, что любо посмотрѣть: съ утра до вечера готовятъ для насъ корпію и перевязки, по-французски не говорятъ, и даже родственница твоя, княгиня Радугина,—повѣришь ли, братецъ?—прескверным русскимъ языкомъ—вотъ такъ французовъ и позоритъ.

— Слава Богу! мы догадались, наконецъ, что у насъ есть отечество и свой собственный языкъ.

— О, что касается до нашего языка, то, конечно, теперь онъ въ модѣ; а дай только войнѣ кончиться, такъ мы заболтаемъ пуще прежняго по французски. Языкъ то хорошъ, мой милый! Ври себѣ, что хочешь, говори сущій вздоръ, а все кажется умно. Но я прервалъ тебя. Итакъ, твоя Полина, прочтя мое письмо...

— Слегла въ постель, мой другъ, и хотя послѣ ей стало

легче, но когда я сталъ прощаться съ нею, то она ужасно меня перепугала. Представь себѣ: горесть ея была такъ велика, что она не могла даже плакать; почти полумертвая она упала мнѣ на шею! Не помню, какъ я бросился въ коляску и доѣхалъ до первой станціи... А, кстати, я тебѣ еще не сказывалъ. Ты писалъ ко мнѣ, что взялъ въ плѣнъ французскаго полковника, графа, графа... какъ бишь?

— Сеникура.

— Да, вѣдь я съ нимъ повстрѣчался верстахъ въ тридцати отъ моей деревни. Въ то время, какъ я перемѣнялъ лошадей, привезли его и нѣсколько другихъ плѣнныхъ офицеровъ на почтовый дворъ. Зная твое пристрастіе къ французамъ, я не очень тебѣ вѣрилъ; но, признаюсь, на этотъ разъ твои похвалы были даже слишкомъ умѣренны. Подлинно, молодецъ!... Разрубленная голова его была вся въ перевязкахъ, и, несмотря на это, я не могъ налюбоваться на его прекрасную и благородную физіономію. Когда я узналъ, что онъ тотъ самый полковникъ, котораго ты угощалъ на своемъ бивакѣ, то, разумѣется, сталъ его разспрашивать о тебѣ, и хотя отъ боли и усталости онъ едва могъ говорить, но отвѣчалъ весьма подробно на всѣ мои вопросы. Положеніе его было ужасно: онъ чувствовалъ сильную лихорадку, которая могла превратиться въ смертельную болѣзнь, еслибъ его оставили безъ помощи. Я уговорилъ конвойнаго офицера сдать его на руки капитанъ-исправнику, который, по моей просьбѣ, взялся отвезти его въ деревню къ будущей моей тещѣ. Въ нашемъ уѣздномъ городкѣ было бы ему несравненно хуже.

— Разумѣется. Да знаешь ли что? Я позабылъ къ тебѣ написать. Кажется, онъ знакомъ съ семействомъ твоей Полины; по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ сказывалъ, что года два тому назадъ, въ Парижѣ, познакомился съ какой то русской барыней, также Лидиной, и ѣздилъ часто къ ней въ домъ. Тогда онъ былъ еще женатъ.

— Такъ онъ вдовецъ?

— Да, жена его умерла за нѣсколько мѣсяцевъ до этой компаніи. Но кой чортъ?... Что это?

Надъ головою Зарѣцкаго прожужжала пуля; вслѣдъ за нею свистнула въ двухъ шагахъ другая.

— Что это? Французы съ ума сошли!—сказалъ Рославлевъ.—Да въ кого они стрѣляютъ?... Ну, видно, у нихъ много лишняго пороху.

— Это шалятъ на цѣпи,—прервалъ Зарѣцкій,—и вѣрно задираютъ наши. Пойдемъ, братецъ! — продолжалъ онъ, вставая,—посмотримъ, что тамъ эти озорники дѣлаютъ.

Отойдя нѣсколько шаговъ отъ своего бивака, они подошли къ мелкому кустарнику, въ которомъ протянута была наша передовая цѣпь; шагахъ въ пятидесяти отъ нея стояли французскіе часовые; позади нихъ пылали огни непріятельскаго авангарда, а вдали, вокругъ Дорогобужа, по всему пространству небосклона, разстилалось широкое зарево. Въ непріятельскомъ авангардѣ было все тихо; но тамъ, гдѣ безчисленные огни сливались въ одну необозримую пламенную полосу, гремѣла музыка, и, отъ времени до времени, раздавались веселые крики пирующаго непріятеля.

Когда они подошли къ передовой цѣпи, то все уже опять успокоилось. Почти всѣ часовые, разставленные попарно въ близкомъ разстояніи другъ отъ друга, наблюдали глубокое молчаніе. Ночь была пасмурна, и сѣрыя шинели солдатъ сливались совершенно съ темной зеленью кустовъ, среди которыхъ они стояли. Изрѣдка только непріятельскіе огни отражались на блестящихъ штыкахъ ихъ ружей и вызывали французскихъ часовыхъ на перестрѣлку, почти всегда безполезную, но которая не менѣе того тревожила иногда всю передовую линію нашего аріергарда.

Нѣсколько уже минутъ Зарѣцкій и Рославлевъ шли вдоль цѣпи, не говоря ни слова. Вдругъ Зарѣцкій приложилъ къ губамъ палецъ и сказалъ шопотомъ Рославлеву: «тсъ! тише, братецъ!»

— Что ты? — спросилъ Рославлевъ также вполголоса.

— Постой!... Такъ точно... Вотъ, кажется, за этимъ кустомъ говорятъ межъ собой наши солдаты... Пойдемъ поближе. Ты не можешь себѣ представить, какъ иногда забавны ихъ разговоры, а особливо, когда они увѣрены, что никто ихъ не слышитъ. Мы привыкли видѣть ихъ во фронтѣ, и думаемъ, что они вовсе не разсуждаютъ. Послушай-ка, какіе есть между ними политики—умора да и только! Но тише!... Не шуми, братецъ!

Они подошли потихоньку къ двумъ часовымъ, которые, опираясь на свои ружья, вполголоса разговаривали между собою.

— Смотри-ка, братъ!—сказалъ одинъ изъ нихъ.—Ну, что за народъ эти французы, и огонька то разложить порядкомъ не умѣютъ. Видишь — тамъ, какой костеръ запалили?... Экъ они навалили бревенъ то, проклятые!

— Да вѣдь лѣсъ то не ихъ, братецъ,—отвѣчалъ другой часовой,—такъ чего имъ жалѣть?

— Какъ чего? Не все-жъ имъ идти впередъ: пойдутъ назадъ; а какъ теперь все выжгутъ, такъ и самимъ послѣ будетъ жутко.

— Да что это, Федотовъ, мы все идемъ назадъ, а они впередъ?...

— Видно, такъ надобно.

— Ужь нѣтъ ли, братъ, измѣны какой?...

— Нѣтъ, братецъ! Ты этого дѣла не смыслишь: мы ратаруемся.

— Вотъ что!

— Ну, да! пусть себѣ идутъ впередъ. Теперь они сгоряча такъ и лѣзутъ, а какъ проѣдутъ сотенки три-четыре верстъ, такъ уходятся. Ну, знаешь, отсталыхъ будетъ много, по сторонамъ разбредутся, а мы тутъ то и нагрянемъ. Понимаешь?...

— То есть врасплохъ?... Разумѣю. А что, Федотовъ, вѣдь надо сказать правду: эти французы бравые ребята. Вотъ хоть сегодня, досталось намъ на орѣхи: правда, и мы пощелкали ихъ порядкомъ, да они себѣ и въ усъ не дуютъ! Ахъ, чортъ побери! Что за диковинка! Люди мелкіе, поджарые, ну, взглянуть не на что, а какъ дерутся!...

— Да, братецъ, конечно; народъ азартный, а не сдобровать имъ.

— Право?

— Ужь я тебѣ говорю. Да и чему быть?... Порядку вовсе нѣтъ. Я былъ у нихъ въ полону, такъ насмотрѣлся. Ну ужь вольница! Въ грошъ не ставятъ своихъ командировъ; а передъ фельдфебелемъ и фуражки не ломаютъ. Нашъ братъ не спрашиваетъ: зачѣмъ то, зачѣмъ другое? Идетъ, куда ведутъ, да и дѣло съ концомъ; а они—такъ нѣтъ: у всякаго свой царь въ головѣ; да добро бы кто-нибудь? А то иной барабанщикъ, и тотъ норовитъ своего генерала за поясъ заткнуть А ужь скорохваты какіе... Батюшки свѣты! Алонъ, алонъ! вотъ такъ сначала и задорятся! И что говорить, конечно, накороткѣ хоть кого оборвутъ, а какъ дѣло пойдетъ въ оттяжку, такъ нѣтъ, братъ, не жди пути!...

— Правда ли, Федотовъ,—сегодня наши ребята болтали, —что Англія съ нами?

— Говорятъ, такъ. Вотъ это, братецъ, народъ!

— А ты почему знаешь!

— Я еще, любезный, до солдатства былъ съ моимъ бариномъ въ ихъ главномъ городѣ. Ну, городокъ! больше Москвы; народъ крупный, здоровый; постоитъ за себя! А какъ, братъ, дерутся въ кулачки, такъ я тебѣ скажу!... У барина былъ тамъ другой слуга, изъ тамошнихъ; онъ мароковалъ немного по-русски, такъ все мнѣ показывалъ и толковалъ. Вотъ, однажды, повелъ онъ меня въ ихъ судъ— ужь наглядѣлся я! Всѣ, знаешь, сидятъ такъ чинно, а судьи говорятъ. Товарищъ мнѣ все по-нашему пересказывалъ. Вотъ вдругъ одинъ судья — такой растрепанный, всталъ и сказалъ: «быть войнѣ». Какъ вскочитъ другой судья, да закричитъ: «такъ врешь, не быть войнѣ». И пошли, и пошли! То тотъ, то другой; ужь они говорили, говорили, а другіе то все слушаютъ, да вдругъ, нѣтъ, нѣтъ, и закричатъ: «гиръ, гиръ, гиръ!...». Знатно, братецъ!

— Куда ты, братъ Федотовъ, всего наглядѣлся, подумаешь!

— Да, любезный, дѣло бывалое: и тамъ и сямъ, и въ другихъ-прочихъ земляхъ бывали; кому другому, а намъ не въ диковинку... Ходили въ походъ и въ Нѣмецію. То-то сытная земля и народъ ласковый! Поразговоришься съ хозяиномъ, такъ все дастъ. Бывало, войдешь въ избу: «ну, здравствуй, камарадъ!» Онъ заговоритъ по своему; ты скажешь: «добре, добре!» а тамъ и спросишь: бруту, биру, того, другого; станетъ отнѣкиваться, такъ закричишь: «капутъ!» Вотъ онъ тотчасъ и заговоритъ: «Русишь гутъ»! А ты скажешь: «Нѣмецъ гутъ!»—дѣло дойдетъ до шнапсу, и пошли пировать. Захотѣлось выпить по другой, такъ покажешь на рюмку, да скажешь: «нохъ!», анъ глядишь: тебѣ и подаютъ другую, вѣдь языкъ то ихъ не мудренъ, братецъ!

— Такъ ты по нѣмецкому то знаешь?

— Мало ли что мы знаемъ! Эхъ, Ваня! какъ бы не чарочка сгубила молодца, такъ я давно бы былъ ужь унтеромъ.

— Постой-ка, Федотовъ!—сказалъ другой часовой, поднимая свое ружье.—Посмотри, что это тамъ за французской цѣпью противъ огонька мелькнуло? Какъ будто-бъ верховой... Вонъ опять!... видишь?

— Вижу,—отвѣчалъ Федотовъ. — Какой-нибудь французскій офицеръ объѣзжаетъ передовую цѣпь.

— Не спѣшить ли его? — шепнулъ второй часовой, взводя курокъ.

— Погоди, погоди!... Его опять не видно. Что даромъ то патроны терять! Дай ему поровняться противъ огонька.

Чрезъ полминуты, кавалеристъ, въ драгунской каскѣ, заслонивъ собою огонь ближайшаго непріятельскаго бивака, остановился позади французской цѣпи, и всадникъ, вмѣстѣ съ лошадью, явственно отпечатались на огненномъ полѣ пылающаго костра.

— Ну, вотъ теперь!—сказалъ, прикладываясь, второй часовой.

— Постой, постой, братецъ! Спугнешь!—прервалъ Федотовъ.—Ты и въ мишень плохо попадаешь; дай-ка мнѣ!

— Ну, ну, стрѣляй! посмотримъ твоей удали.

Федотовъ прицѣлился; вдругъ смуглыя лица обоихъ солдатъ освѣтились, раздался выстрѣлъ, и непріятельскій офицеръ упалъ съ лошади.

— Ай да молодецъ,—сказалъ Зарѣцкій, сдѣлавъ шагъ впередъ; но въ ту-жъ самую минуту, вдоль непріятельской линіи, раздались ружейные выстрѣлы, пули засвистали межъ кустовъ, и кто-то, схвативъ за руку Рославлева, сказалъ:—не стыдно-ли тебѣ, Владиміръ Сергѣевичъ, такъ дурачиться? Ну что за радость, если тебя убьютъ, какъ простого солдата? Офицеръ долженъ желать, чтобъ его смерть была на что-нибудь полезна отечеству.

— Кто вы?—спросилъ съ удивленіемъ Рославлевъ.—Вашъ голосъ мнѣ знакомъ; но здѣсь такъ темно...

— Пойдемъ къ твоему биваку.

Наши пріятели, не говоря ни слова, пошли вслѣдъ за незнакомымъ. Когда они стали подходить къ огнямъ, то замѣтили, что онъ былъ въ военномъ сюртукѣ съ штабъ-офицерскими эполетами. Подойдя къ биваку Зарѣцкаго, онъ повернулся и сказалъ веселымъ голосомъ:—Ну, теперь узнаешь ли ты меня?

— Возможно ли! Это вы, Ѳедоръ Андреевичъ?—вскричалъ съ радостію Рославлевъ, узнавъ въ незнакомомъ пріятеля своего Сурскаго.

— Ну, вотъ видишь ли, мой другъ!—продолжалъ Сурскій, обнявъ Рославлева, — я не обманулъ тебя, сказавъ, что мы скоро съ тобой увидимся.

— Такъ вы опять въ службѣ?

— Да, я служу при главномъ штабѣ. Я очень радъ, мой другъ, что могу первый тебя поздравить и порадовать

твоихъ товарищей,—прибавилъ Сурскій, взглянувъ на офицеровъ, которые толпились вокругъ бивака, надѣясь услышать что-нибудь новое отъ полковника, пріѣхавшаго изъ главной квартиры.

— Поздравить? Съ чѣмъ?—спросилъ Рославлевъ.

— Съ георгіевскимъ крестомъ. Я сегодня самъ читалъ объ этомъ въ приказахъ. Но прощай, мой другъ! Мнѣ надобно еще поговорить съ твоимъ генераломъ и потомъ ѣхать назадъ. До свиданья! Надѣюсь, мы скоро опять увидимся.

Казалось, эта новость обрадовала всѣхъ офицеровъ; одинъ только молодой человѣкъ, закутанный въ короткій плащъ безъ воротника, не поздравилъ Рославлева; онъ поглаживалъ свои черные, съ большимъ искусствомъ закрученные кверху усы, и не старался нимало скрывать насмѣшливой улыбки, съ которою слушалъ поздравленія другихъ офицеровъ.

— Посмотри, братецъ! — шепнулъ Зарѣцкій своему пріятелю, — какъ весело князю Блесткину, что тебѣ дали Георгія: у него отъ радости языкъ отнялся.

— И, Александръ!—отвѣчалъ вполголоса Рославлевъ.— Какое мнѣ до этого дѣло!

— Куда, подумаешь, какъ зависть безобразитъ человѣка: онъ недуренъ собою, а смотри, какая теперь у него рожа.

— Да что тебѣ за охота разсматривать физіономію этого фанфарона?

— Постой, братецъ, я пойду, погорюю съ нимъ вмѣстѣ. Что ты такъ нахмурился, князь?—продолжалъ Зарѣцкій, подойдя къ офицеру, закутанному въ плащѣ.

— Кто? Я?—сказалъ князь Блесткинъ.—Ничего, братецъ, такъ!..

— Ужь не досадно ли тебѣ?

— Что такое?... Вотъ вздоръ какой! Я думалъ только теперь, какъ выгодно быть въ военное время адъютантомъ.

— Право?

— Какъ же, братецъ! Адъютантъ можетъ дать при случаѣ весьма полезный совѣтъ своему генералу; напримѣръ: не стоять подъ картечными выстрѣлами, а какъ за полезный совѣтъ даютъ Георгія...

— То ты вѣрно его получишь,—прервалъ Зарѣцкій.— Ступай скорѣе въ адъютанты.

— Что ты хочешь этимъ сказать? — спросилъ гордо Блесткинъ.

— А то, что Рославлевъ не совѣтовалъ, а дрался, и подъ Смоленскомъ ходилъ въ атаку съ полкомъ, въ которомъ ты служишь.

— Я что то этого не помню.

— Да какъ тебѣ помнить? Ты въ началѣ сраженія получилъ контузію и лежалъ замертво въ обозѣ.

— Послушай, Зарѣцкій! этотъ насмѣшливый тонъ!.. Ты знаешь, я шутокъ не люблю.

— Какъ не знать? Вѣдь ты ужасный дуэлистъ.

— Я надѣюсь, никто не осмѣлится сказать...

— Чтобъ ты не былъ прехрабрый офицеръ? Боже сохрани! Я скажу еще больше: ты ужасный патріотъ, и такъ сердитъ на французовъ, что видѣть ихъ не хочешь.

— Полноте, господа, остриться, — прервалъ бригадный адъютантъ Вельскій, который уже нѣсколько времени слушалъ ихъ разговоръ.—А сѣдлайте-ка лошадей: сейчасъ въ походъ.

— Вотъ тебѣ разъ!—вскричалъ Рославлевъ;—а мы не успѣли и поужинать.

— Охъ этотъ фанфаронишка! — сказалъ вполголоса Зарѣцкій.—Какъ бы я желалъ поговорить съ нимъ въ восьми шагахъ...

— Перестань, братецъ! Какъ тебѣ не стыдно? — прервалъ Рославлевъ.—Развѣ въ военное время можно думать о дуэляхъ?

Всѣ офицеры, кромѣ Блесткина, разошлись по своимъ бивакамъ.

— Вы шутите очень забавно,—сказалъ онъ, подойдя къ Зарѣцкому; — но я не желалъ бы остаться у васъ въ долгу...

— А что угодно вашему сіятельству?—спросилъ съ низкимъ поклономъ Зарѣцкій.

— Кажется, этого пояснять не нужно...

— А, понимаю! Вамъ угодно со мною драться? Извините, ваше сіятельство! теперь, право, некогда; послѣ, если прикажете.

— Разсчетъ недуренъ, — сказалъ съ презрительной улыбкою Блесткинъ; — то-есть вы подождете, пока меня убьютъ?..

— Помилуйте! да этого вѣкъ не дождешься.

— Я презираю ваши глупыя насмѣшки и повторяю еще разъ, что если вы знаете, что такое честь—въ чемъ, однакожъ, я очень сомнѣваюсь...

Лицо Зарѣцкаго вспыхнуло; онъ схватилъ Блесткина за руку, но Рославлевъ не далъ ему выговорить ни слова.—Постойте, господа!—вскричалъ онъ. — Если ужь непремѣнно надобно кому-нибудь драться, такъ — извините, князь,—вы деретесь не съ нимъ, а со мною. Ваши дерзкія замѣчанія насчетъ полученной мною награды вызвали его на эту непріятность; но такъ какъ я обиженъ прежде...

— Нѣтъ, Владиміръ,—прервалъ Зарѣцкій,—я не уступлю тебѣ удовольствія проучить этого обознаго героя...

— Фи, Александръ, приличенъ ли этотъ тонъ между офицерами!

— Но я хочу непремѣнно...

— Послѣ меня, Зарѣцкій; прошу тебя!

— Позвольте мнѣ прекратить этотъ великодушный споръ,— сказалъ насмѣшливо Блесткинъ. — Я начну съ васъ, господинъ Рославлевъ... но когда же?

— При первомъ удобномъ случаѣ.

— То-есть не прежде окончанія кампаніи?

— О, не безпокойтесь! Это будетъ скорѣе, чѣмъ вы думаете.

— Посмотримъ, — сказалъ уходя Блесткинъ. — Не забудьте однакожъ, что я не люблю дожидаться, и найду, можетъ быть, средство поторопить васъ весьма непріятнымъ образомъ.

— Наглецъ!—вскричалъ Зарѣцкій, схватившись за свою саблю.

— И, полно, Александръ! Не горячись! Ты увидишь, какъ я проучу этого фанфарона; а межъ тѣмъ вели-ка сѣдлать нашихъ лошадей.

Черезъ нѣсколько минутъ приказали снимать потихоньку передовую цѣпь; огни были оставлены на своихъ мѣстахъ, и весь аріергардъ, наблюдая глубокую тишину, выступилъ въ походъ по большой Московской дорогѣ.

IV.

14-го числа августа, наши войска, преслѣдуемыя непріятелемъ, шли, почти не останавливаясь, цѣлыя сутки. По

всѣмъ предположеніямъ, большая русская армія должна была, несмотря на искусные маневры Наполеона, соединиться при Вязьмѣ съ молдавской арміею, которая спѣшила къ ней навстрѣчу. 15-го числа нашъ аріергардъ, въ виду непріятельскаго авангарда, остановился при деревнѣ Семехахъ. Позади одной русской колонны, прикрывавшей нашу батарею изъ шести полевыхъ орудій, стоялъ, прислонясь къ небольшому лѣску, гусарскій эскадронъ, которымъ командовалъ Зарѣцкій. Съ правой стороны, шаговъ сто отъ лѣса, въ низкихъ и поросшихъ кустарникомъ берегахъ, извивалась узенькая рѣчка; съ полверсты, вверхъ по ея теченію, видны были: плотина, водяная мельница и нѣсколько, разбросанныхъ безъ всякаго порядка, избъ.

— Тьфу пропасть, какъ я усталъ! — сказалъ Зарѣцкій, слѣзая съ лошади.—Авось французы дадутъ намъ перевести духъ!

— Врядъ ли! — возразилъ краснощекій и видный собою гусарскій поручикъ, слѣзая также съ коня.—Мнѣ кажется, они берутъ позицію.

— Можетъ быть для того, чтобъ отдохнуть; я думаю, они устали не меньше нашего. Да что ты такъ хмуришься, Пронскій?

— Чего, братецъ! Я вовсе исковерканъ, точно разбитая лошадь: на силу на ногахъ стою. И эти пѣхотинцы еще намъ завидуютъ! Попробовалъ бы кто-нибудь изъ нихъ не сходить съ коня цѣлыя сутки.

— Кто это несется съ праваго фланга? — спросилъ Зарѣцкій, показывая на одного офицера, который проскакалъ мимо передовой линіи на англезированной вороной лошади.

— Хорошъ же ты, братъ!—сказалъ съ улыбкою Пронскій;—не узналъ своего пріятеля: это князь Блесткинъ.

— Ахъ, батюшки! Что онъ такъ суетится?

— Такъ ты не знаешь? Нашъ бригадный генералъ взялъ его къ себѣ за адъютанта.

— Право? Ну, не съ чѣмъ поздравить его превосходительства!

— Да и Блесткинъ, я думаю, не больно себя поздравляетъ: генералъ то вовсе не по немъ — молодецъ! Терпѣть не можетъ дуэлистовъ; а подъ картечью раскуриваетъ трубку, да любитъ, чтобъ и адъютанты его дѣлали то-же.

— Эй, Зашибаевъ!—вскричалъ Зарѣцкій,—подержи мою

лошадь; а ты, Пронскій, побудь при эскадронѣ: я пройду немного впередъ и посмотрю, что тамъ дѣлается.

Широкоплечій вахмистръ принялъ лошадь Зарѣцкаго, который, пройдя шаговъ сто впередъ, подошелъ къ батареѣ. Канонеры, раздувая свои фитили, стояли въ готовности подлѣ пушекъ, а командующій орудіями артиллерійскій поручикъ и человѣка три пѣхотныхъ офицеровъ толпились вокругъ заряднаго ящика, изъ котораго высокій фейерверкеръ вынималъ манерку съ водкою, сыръ и нѣсколько хлѣбовъ.

— Милости просимъ! — сказалъ одинъ толстый офицеръ въ капитанскомъ знакѣ. — Не хочешь ли выпить и закусить?

— А, это ты, Зарядьевъ?—отвѣчалъ Зарѣцкій. — Пожалуй, какъ не закусить! Да ты что тутъ хозяйничаешь. Помилуй, Ленскій! — продолжалъ онъ, обращаясь къ артиллерійскому офицеру,—за что онъ меня твоимъ добромъ потчуетъ?

— Нѣтъ, не его, а моимъ, — прервалъ Зарядьевъ. — Я бился съ нимъ о завтракѣ, и выигралъ. Онъ спорилъ со мной, что мы здѣсь не остановимся.

— А почему ты думалъ, что должны мы здѣсь остановиться?

— Да посмотри-ка, какая славная позиція! Рѣчка, лѣсокъ, кустарникъ для стрѣлковъ. Небось, французы не вдругъ сунуться насъ атаковать, а мы межъ тѣмъ отдохнемъ.

— Врядъ ли!—сказалъ Зарѣцкій, покачивая головою.— Посмотри, какъ они тамъ за рѣчкой маневрируютъ... Вонъ, кажется, потянулась конница... а прямо противъ насъ... Ну, такъ и есть. Они ставятъ батарею.

— За то взгляни направо къ мельницѣ... Видишь, задымился огонекъ? Вонъ другой...

— Такъ чтожъ?

— А то, что они сбираются не атаковать насъ, а отдохнуть и пообѣдать; а пока они готовятъ свой супъ; и наши ребята успѣютъ сварить себѣ кашицу. Ну-ка, братъ, выпей!

— Такъ ты думаешь, Зарядьевъ, что эту манерку изъ рукъ у меня ядромъ не вышибетъ?

— Небось, пей на здоровье!

— Слышали-ль, господа!—сказалъ Ленскій,—что князь

Блесткинъ попалъ въ адъютанты къ нашему бригадному командиру?

— Какъ же! — отвѣчалъ Зарядьевъ; — онъ и прежде не хотѣлъ говорить съ нашимъ братомъ, а теперь, чай, къ нему и доступу не будетъ.

— Да какъ это ему вздумалось?—продолжалъ Ленскій.— Не знаю, у кого другого, а у нашего генерала шарканьемъ не много возьмешь. Да вотъ, кажется, его сіятельство сюда скачетъ. Ну, легокъ на поминѣ!

— Господа офицеры!—сказалъ Блесткинъ, подскакавъ къ батареѣ,—его превосходительство приказалъ вамъ быть въ готовности, и если французы откроютъ по васъ огонь, то сейчасъ отвѣчать.

— Слушаю.

— Мнѣ кажется,—продолжалъ Блесткинъ, посмотрѣвъ съ важностію вокругъ себя,—зарядные ящики стоятъ слишкомъ близко отъ орудій.

— Это ужь не ваша забота, господинъ Блесткинъ!— отвѣчалъ хладнокровно Ленскій, повернувшись къ нему спиною.

— О! если такъ,—вскричалъ Блесткинъ съ гордостію,— то я доложу генералу...

— Въ самомъ дѣлѣ? — прервалъ Ленскій.— Доложите ему, что его адъютантъ мѣшается тамъ, гдѣ его не спрашиваютъ.

— Господинъ офицеръ! Я совѣтую вамъ...

— Напрасно безпокоитесь, ваше сіятельство!—подхватилъ Зарѣцкій.—Вѣдь за этотъ совѣтъ вамъ Георгія не дадутъ.

Блесткинъ поблѣднѣлъ отъ досады; но, не отвѣчая ни слова, пришпорилъ свою лошадь и поскакалъ далѣе.

— Эхъ, Ленскій!—сказалъ толстый капитанъ,—что ты не далъ ему побариться? Тебя бы отъ этого не убыло, а мы бы посмѣялась.

— Прошу покорно!—прервалъ Ленскій,—вздумалъ меня учить! И добро бы зналъ самъ службу...

— Вѣрно не знаетъ!—подхватилъ Зарядьевъ.—Вотъ года три тому назадъ ко мнѣ въ роту попалъ такой же точно молодчикъ—всѣхъ такъ и загонялъ! Бывало на словахъ города беретъ, а какъ вышелъ въ первый разъ на ученье, такъ и языкъ прилипъ къ гортани. До штабсъ-капитанскаго чина все въ замкѣ ходилъ.

— Поглядите-ка, господа!—сказалъ Ленскій;—что тамъ за рѣчкою дѣлается? Французы что то больно зашевелились.

Вдругъ густое облако дыма закрутилось на противоположномъ берегу; окрестность дрогнула, и одно ядро съ визгомъ пронеслось надъ головами нашихъ офицеровъ.

— Ну что, Зарядьевъ,—сказалъ Зарѣцкій,—видно, французы ужь отобѣдали?

— По мѣстамъ, господа!—закричалъ Зарядьевъ пѣхотнымъ офицерамъ, которые спокойно завтракали, сидя на пушечномъ лафетѣ.— Зарѣцкій,— продолжалъ онъ,— пойдемъ къ намъ въ колонну—до васъ еще долго дѣло не дойдетъ.

— Черезъ орудіе—ядрами!—скомандовалъ громкимъ голосомъ Ленскій.—Живѣй, ребята!

Зарѣцкій и Зарядьевъ подошли къ колоннѣ; капитанъ сталъ на свое мѣсто. Ударили походъ. Одна рота отдѣлилась отъ прикрытія, выступила впередъ, разсыпалась по кустамъ вдоль рѣчки, и съ обѣихъ сторонъ началась жаркая ружейная перестрѣлка, заглушаемая по временамъ непріятельской и нашей канонадою, которая становилась часъ отъ часу сильнѣе.

— Ну, видно, мы сегодня поработаемъ!—замѣтилъ Зарядьевъ.—Посмотри-ка впередъ, какія тянутся густыя колонны по большой дорогѣ.

— Здравствуй, Александръ!—сказалъ Рославлевъ, подъѣхавъ къ Зарѣцкому.—Что ты здѣсь дѣлаешь?

— Да такъ, братецъ! Пришелъ посмотрѣть. Мой эскадронъ стоитъ вонъ тамъ, подлѣ лѣса, откуда ничего не видно. А ты какъ сюда попалъ?

— Ѣздилъ съ приказаніями на правый флангъ. Кажется, дѣло будетъ не на шутку.

— А что?

— Приказано не только удерживать позицію, но перебросить черезъ рѣчку нашихъ стрѣлковъ, и стараться всячески опрокинуть первую непріятельскую линію.

— Слава Богу! насилу то и мы будемъ атаковать. А то, повѣришь ли, какъ надоѣло? Toujours sur la défensive—тоска да и только. Ого!... кажется, приказаніе ужь исполняется?... Видишь, какъ подбавляютъ у насъ стрѣлковъ?... Чортъ возьми, да это батальный огонь, а не перестрѣлка. Чтожъ это французы не усиливаютъ своей цѣпи?... Смотри,

смотри!... Ихъ сбили... Они бѣгутъ... Вонъ ужь наши на той сторонѣ.,. Ай да молодцы!

— Вся колонна впередъ—маршъ!—скомандовалъ полковникъ.

— Ну, прощай покамѣстъ, Александръ!—сказалъ Рославлевъ.

— Что за прощай, братецъ! До свиданья! Куда ты?

— На лѣвый флангъ, къ моему генералу.

Вся наша передовая линія подалась впередъ; батареи также подвинули, и сраженіе закипѣло съ новой силой.

— Ну, какая идетъ тамъ жарня!—сказалъ Зарядьевъ, смотря на противоположный берегъ рѣчки, подернутый густымъ дымомъ, сквозь который прорывались безпрестанно яркіе огоньки.—Не надолго нашихъ двухъ ротъ станетъ. Да что съ тобой, Сицкій, сдѣлалось?—продолжалъ онъ, обращаясь къ одному молодому прапорщику.—На тебѣ лица нѣтъ! Помилуй, развѣ ты въ первый разъ въ дѣлѣ!

— Мой братъ въ стрѣлкахъ,—отвѣчалъ молодой офицеръ.

— Такъ чтожъ?

— А наша рота еще нейдетъ.

— Не безпокойся, дойдетъ дѣло и до вашей роты.

— Но братъ мой...

— И, Сицкій! Богъ милостивъ—воротится.

— Врядъ ли воротится, — прервалъ грубымъ голосомъ одинъ высокій офицеръ съ непріятной и даже отвратительной физіономіею.—Тамъ что то больно жарко.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вы думаете?...—спросилъ съ безпокойствомъ молодой офицеръ.

— Да что за диковинка? Натурально, его убьютъ скорѣе въ стрѣлкахъ, чѣмъ меня, здѣсь въ колоннѣ.

— Какъ тебѣ не стыдно!—сказалъ вполголоса Зарядьевъ.—Ты знаешь, какъ онъ любитъ своего брата.

— Вотъ еще какія нѣжности!... У меня и двухъ братьевъ убили, да я...

Высокій офицеръ не докончилъ начатой фразы: непріятельское ядро, вырвавъ два ряда солдатъ, раздробило ему черепъ.

— Сомкнись!—скомандовалъ Зарядьевъ. Солдаты придвинулись другъ къ другу. Еще нѣсколько ядеръ пролетѣло чрезъ колонну.

— Эй, вы! — закричалъ Зарядьевъ,—стоять смирно! Ну! начали кланяться, дурачье! Тотчасъ узнаешь рекрутъ,— продолжалъ онъ, обращаясь къ Зарѣцкому.—Обстрѣленный солдатъ отъ ядра не шевелится... Кто тамъ еще отвѣсилъ поклонъ?

— Нефедьевъ, ваше благородіе!—отвѣчалъ унтеръ-офицеръ.

— Такъ и есть—рекрутъ! Эй ты, Нефедьевъ, зачѣмъ нагибаешь голову?

— Ядро, ваше благородіе.

— А какое тебѣ до него дѣло, болванъ? Чего ты боишься.

— Убьетъ, ваше благородіе!

— Убьетъ, дуралей! Слушай команды, а убьетъ—не твоя бѣда. Ахти! Никакъ это ведутъ капитана третьей роты? Ну, видно, его порядкомъ зацѣпило!

Два солдата подвели къ колоннѣ офицера, обрызганнаго кровью; онъ едва могъ переступать, и переводилъ духъ съ усиліемъ.

— Вы ранены?—сказалъ полковникъ.

— И, кажется, смертельно!—отвѣчалъ едва слышнымъ голосомъ капитанъ.

— Прикажите подкрѣпить нашихъ стрѣлковъ: французы одолѣваютъ.

— А что маіоръ?

— Убитъ.

— А капитанъ Бѣловъ?

— Убитъ.

— А братъ мой?—спросилъ робко Сицкій.

— Убитъ.

— Убитъ! — повторилъ молодой офицеръ, поблѣднѣвъ какъ смерть. Съ полминуты онъ молчалъ; потомъ вдругъ глаза его засверкали, румянецъ заигралъ въ щекахъ; онъ оборотился къ полковнику и сказалъ: — Степанъ Николаевичъ! Сдѣлайте милость — Бога ради! позвольте мнѣ въ стрѣлки.

— Хорошо, ступайте съ первой ротою,—сказалъ полковникъ, взглянувъ съ примѣтнымъ состраданіемъ на молодого офицера.—Вторая и первая рота въ стрѣлки!—Зарядьевъ! Вы примите команду надъ всей нашей цѣпью... Барабанщикъ—походъ!

— Становись!—скомандовалъ Зарядьевъ.—Да смотри, у

меня въ воробьевъ не стрѣлять! Мѣтить въ полчеловѣка! Перекрестись! Ну, ребята, съ Богомъ—маршъ!—Прощай, Зарѣцкій!

— Прощай, братецъ! Я также отправляюсь къ моему эскадрону. Можетъ быть, и до насъ дѣло скоро дойдетъ.

Уже болѣе пяти часовъ продолжалось сраженіе; нѣсколько разъ стрѣлки наши то сбивали непріятельскую цѣпь и дрались на противоложномъ берегу рѣчки, то, прогоняемые на нашу сторону, продолжали перестрѣлку въ нѣсколькихъ шагахъ отъ колоннъ своихъ. Канонада не умолкала ни на минуту съ обѣихъ сторонъ; но наша и непріятельская конница оставались въ бездѣйствіи. Въ то самое время, какъ Зарѣцкій начиналъ думать, что на этотъ разъ эскадронъ его не будетъ въ дѣлѣ, которое, повидимому, не могло долго продолжаться, подскакалъ къ нему Рославлевъ.—Ну, Александръ!—сказалъ онъ,—съ Богомъ! Тебѣ велѣно переправиться черезъ рѣчку и атаковать съ фланга непріятельскихъ стрѣлковъ.

— Насилу о насъ вспомнили!... Фланкеры! Осмотрѣть пистолеты, сабли вонъ!

— Ты долженъ прикрывать отступленіе стрѣлковъ третьей колонны,—продолжалъ Рославлевъ.—Имъ становится ужь больно тяжело. Бѣдняжки дерутся часовъ пять сряду.

— Живъ ли нашъ пріятель Зарядьевъ? Вѣдь онъ, кажется, ими командуетъ?

— А вотъ сейчасъ узнаю: я ѣду къ нему съ приказаніемъ, чтобъ онъ понемногу отступалъ къ нашей передовой линіи. Смотри, Александръ, налети соколомъ, чтобъ эти французы не успѣли опомниться и дали время Зарядьеву убраться по добру по здорову на нашу сторону.

— А вотъ, что Богъ дастъ. По три налѣво заѣзжай—рысью—маршъ!

Зарѣцкій съ своимъ эскадрономъ принялъ направо, а Рославлевъ пустился прямо черезъ плотину, вдоль которой свистѣли непріятельскія пули. Подъѣхавъ къ мельницѣ, онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что между ею и мучнымъ амбаромъ, построеннымъ также на плотинѣ, прижавшись къ стѣнкѣ, стоялъ какой то кавалерійскій офицеръ на вороной лошади. Удивленіе его исчезло, когда онъ узналъ въ этомъ храбромъ воинѣ—князя Блесткина.

— Что вы, сударь, здѣсь дѣлаете?—спросилъ Рославлевъ, остановя свою лошадь.

— Ахъ! это вы?—вскричалъ Блесткинъ съ самой вѣжливой улыбкою.

— Да, сударь, это я. А вы зачѣмъ здѣсь?

— Меня послалъ генералъ взглянуть, что дѣлается въ передовой цѣпи.

— И вы для этого спрятались за этотъ амбаръ? Немного вы отсюда увидите.

— Чтожъ мнѣ дѣлать съ этой проклятой лошадью?— сказалъ Блесткинъ.—Она не хочетъ ни впередъ идти, ни стоять на плотинѣ.

Онъ далъ шпоры своему англійскому жеребцу, который въ самомъ дѣлѣ запрыгалъ на одномъ мѣстѣ, и, казалось, не хотѣлъ никакъ отойти отъ стѣны.

— Ну, вотъ видите?

— Да, я вижу, — прервалъ Рославлевъ, — что вы изо всей силы тянете ее за мундштукъ; но дѣло не въ томъ: я очень радъ, что васъ встрѣтилъ. Вы, кажется, вчера вызывали меня на дуэль?

— Неужели?.. Можетъ быть, я погорячился... но я, право, не помню.

— Да я не забылъ. Выѣзжайте, сударь, на плотину.

— Помилуйте! что вы хотите дѣлать?

— Ничего. Я хочу вамъ показать, какого рода дуэли позволительны въ военное время. Ну, чтожъ? долго ли мнѣ дожидаться? Да ослабьте поводья, сударь! Она пойдетъ... Послушайте, Блесткинъ! Если ваша лошадь не перестанетъ упрямиться, то я сегодня же скажу генералу, какъ вы исполняете его приказанія.

— Однакожъ, господинъ Рославлевъ, — сказалъ Блесткинъ, выѣхавъ на плотину,—позвольте вамъ замѣтить: этотъ начальническій тонъ...

— Не о тонѣ рѣчь, сударь. Вы посланы къ стрѣлкамъ, я также: не угодно ли вамъ прогуляться со мною по нашей цѣпи.

— Помилуйте! мы оба верхами.

— Такъ чтожъ?

— Всѣ непріятельскіе стрѣлки станутъ въ насъ мѣтить.

— Въ томъ то и дѣло. Вѣдь вы сами вызвали меня на дуэль. Правда, мы не будемъ стрѣлять другъ въ друга; но это ничего: за насъ постараются французы.

— Помилуйте! что это за дуэль?

— Мнѣ некогда вамъ доказывать, что этотъ поединокъ стóитъ того, который вы мнѣ вчера предлагали. Извольте ѣхать.

— Но, господинъ Рославлевъ...

— Ни слова болѣе или я стану вездѣ и при всѣхъ называть васъ трусомъ. Мнѣ кажется, ваша лошадь не очень боится шпоръ. Позвольте! — Рославлевъ ударилъ нагайкою лошадь Блесткина и выскакалъ вмѣстѣ съ нимъ на другой берегъ рѣчки.

Передъ ними открылось обширное поле, усыпанное французскими и нашими стрѣлками; густыя облака дыма стлались по землѣ; вдали, на возвышенныхъ мѣстахъ, двигались непріятельскія колонны. Пули летали по всѣмъ направленіямъ, жужжали какъ пчелы, и не прошло полминуты, одна пробила на вылетъ фуражку Рославлева, другая оторвала часть воротника Блесткиной шинели.

— Впередъ, сударь, впередъ! — кричалъ Рославлевъ, понукая нагайкою лошадь несчастнаго князя, который, блѣдный какъ полотно, тянулъ изо всей силы за мундштукъ.— Прошу не отставать; вотъ и наша цѣпь. Эй, служба!—продолжалъ онъ, подзывая къ себѣ солдата, который заряжалъ ружье,—гдѣ капитанъ Зарядьевъ?

— Вотъ въ этихъ кустахъ, ваше благородіе!

— Позови его сюда. А мы съ вами, господинъ Блесткинъ, остановимся здѣсь, на этомъ бугоркѣ; отсюда и мы будемъ примѣтнѣе, и намъ будетъ все виднѣе.

— Помилуйте, Рославлевъ!—вскричалъ отчаяннымъ голосомъ Блесткинъ,—за что же вы хотите сдѣлать изъ насъ цѣль для французовъ?

— Ого, господинъ дуэлистъ, вы трусите? Постойте, я васъ отучу храбриться не кстати. Куда, сударь, куда?— продолжалъ Рославлевъ, схвативъ за поводъ лошадь Блесткина.—Я не отпущу васъ, пока не заставлю согласиться со мною, что одни ничтожные фанфароны говорятъ о дуэляхъ въ военное время.

— Я не спорю... можетъ быть...

— Нѣтъ, постойте! не можетъ быть; я вамъ докажу это.

— Боже мой! посмотрите, въ насъ цѣлятъ!

— Такъ чтожъ? Пускай цѣлятъ. Не правда ли, что порядочный человѣкъ и храбрый офицеръ постыдится вызывать на поединокъ своего товарища въ то время, когда быть раненымъ на дуэли есть безчестіе?...

— Ну, хорошо, положимъ, что правда...

— Постойте! Не правда ли, что одному только фанфарону, не понимающему, что такое истинная храбрость, позволительно насмѣхаться надъ тѣмъ, кто отказывается отъ дуэли за нѣсколько часовъ до сраженія?

— Конечно, конечно... я согласенъ... Боже мой! что это?...

— Ничего, это рикошетное ядро. Согласитесь, что тотъ, кто боится умереть въ дѣлѣ противъ непріятеля, ищетъ случая быть раненымъ на дуэли для того, чтобъ пролежать спокойно въ обозѣ во время сраженія...

Вдругъ, шагахъ въ пяти отъ нихъ, раздался пронзительный свистъ; что то запрыгало по пенькамъ и кочкамъ, и обрызгало грязью обоихъ офицеровъ.

— Это что такое?—вскричалъ съ ужасомъ Блесткинъ.

— Ничего, это картечь. Согласитесь, что Зарѣцкій долженъ былъ отвѣчать однимъ презрѣніемъ на вашъ вызовъ, что ему вовсе не нужно...

— Ахъ, Боже мой! я раненъ!—вскричалъ Блесткинъ.

— Ничего. Вамъ оцарапало только щеку и оторвало половину уха. Согласитесь, что Зарѣцкому вовсе не нужно было доказывать надъ вами свою храбрость; что онъ...

— Ради Бога, Рославлевъ!... Я на все согласенъ...

— Вотъ, кажется, идетъ Зарядьевъ? Ну, теперь вы можете ѣхать, только постарайтесь встрѣчаться со мною какъ можно рѣже. Я вамъ скажу откровенно: вы мнѣ гадки. Прощайте!

Рославлевъ выпустилъ изъ рукъ поводья; Блесткинъ пришпорилъ свою лошадь и помчался, какъ изъ лука стрѣла, къ нашимъ резервамъ.

— Эге!—сказалъ Зарядьевъ, подойдя къ Рославлеву;— кто это далъ отсюда такого стречка? Посмотри-ка, словно птица летитъ.

— Это Блесткинъ.

— Нѣтъ, шутишь? И онъ здѣсь былъ, вмѣстѣ съ тобою? Да развѣ его на арканѣ сюда притащили?

— Разумѣется поневолѣ. Я разскажу тебѣ объ этомъ на просторѣ, а теперь изволь-ка убираться отсюда со своими стрѣлками.

— Да, нечего сказать, пора! Насъ порядкомъ поубавилось. Эй! барабанщикъ, сборъ!

— Много убито офицеровъ?

— Да не осталось и половины.

— А что этотъ молодой прапорщикъ?... Какъ бишь его зовутъ?... Такой милый, скромный...

— Сицкій?

— Да.

— Вотъ здѣсь въ кустахъ, лежитъ рядышкомъ съ своимъ братомъ.

— Убитъ? Какъ жаль!

— Ну, братецъ, какъ то Богъ и остальныхъ вынесетъ. Вѣдь какъ мы начнемъ ретироваться, такъ французы намъ кланяться не станутъ; посмотри, какіе будутъ проводы.

— Не безпокойся! Зарѣцкій съ своимъ эскадрономъ сдѣлаетъ диверсію, и станетъ прикрывать ваше отступленіе... Вонъ видишь? Онъ заѣзжаетъ во флангъ французскимъ стрѣлкамъ.

— Вижу. А видишь ли ты—немного полѣвѣе?..

— Что это? Никакъ непріятельская конница?

— Да, кажется, что такъ. Нѣтъ, братецъ! Зарѣцкому будетъ не до меня. Дѣлать нечего, пришлось одному отгрызаться.

Разсыпанные межъ кустовъ и по полю стрѣлки стали сбираться вокругъ барабанщика, и Зарядьевъ, несмотря на сильный непріятельскій огонь, командуя какъ на ученьи, свернулъ человѣкъ четыреста оставшихся солдатъ въ небольшую колонну. Смотрите! — сказалъ онъ, — слушать команду, ровняться, идти въ ногу, а пуще всего не прибавлять шагу. Тихимъ шагомъ—маршъ!

Рославлевъ, который ѣхалъ въ головѣ ретирующейся колонны, не спускалъ глазъ съ эскадрона Зарѣцкаго. Ну, Зарядьевъ! — сказалъ онъ, — помоги Богъ нашему пріятелю! Смотри, смотри! Вонъ несутся на него французскіе латники. Боже мой! да ихъ, кажется, эскадрона два или три!

— Не бойся, братецъ! Бой будетъ равный. Видишь, одинъ эскадронъ принимаетъ направо, прямехонько на насъ. Милости просимъ, господа! мы васъ поподчуемъ! Смотри, ребята! Безъ приказа не стрѣлять; заднимъ шеренгамъ передавать передней заряженныя ружья; не торопиться и слушать команды. Господа офицеры! Прошу быть внимательными! По первому взводу строй каре!

Въ одну минуту изъ небольшой густой колонны составилось порядочное каре, которое продолжало медленно подвигаться впередъ. Межъ тѣмъ непріятельская конница, какъ

громовая туча, приближалась къ отступающимъ. Не доѣхавъ шаговъ полутораста до каре, она остановилась; раздалась громкая команда французскихъ офицеровъ, и весь эскадронъ латниковъ, подобно бурному потоку, ринулся на небольшую толпу безстрашныхъ русскихъ воиновъ.

— Погодите, голубчики!—сказалъ Зарядьевъ,—мы васъ шарахнемъ! Каре, стой! Въ полъ-оборота налѣво... первый плутонгъ—клацъ-пли!

Густое облако дыма скрыло на минуту непріятельскую кавалерію; но, повидимому, сей первый залпъ не очень ее разстроилъ, и когда дымъ разсѣялся, то французскіе латники были уже не далѣе пятидесяти шаговъ отъ каре.—Третій плутонгъ,—скомандовалъ Зарядьевъ,—клацъ-пли! Пятый плутонгъ клацъ-пли! Я думаю,— продолжалъ онъ,—этого будетъ съ нихъ довольно.

Въ самомъ дѣлѣ, когда можно стало различать сквозь дымъ окружные предметы, Рославлевъ увидѣлъ, что непріятельскій эскадронъ, совершенно разстроенный, принялъ направо, оставивъ на одномъ мѣстѣ болѣе пятидесяти убитыхъ лошадей и солдатъ.

— Ну, это дѣло кончено!—сказалъ Зарядьевъ.—Теперь впередъ. Во фронтъ—маршъ!

— Ай да молодецъ! — вскричалъ Рославлевъ.— Славно отдѣлался.

— Отдѣлался, да не совсѣмъ,—прервалъ капитанъ съ примѣтнымъ неудовольствіемъ.—Посмотри-ка, кто это заѣзжаетъ къ намъ въ тылъ.

— Еще конница?

— То то и дѣло, что нѣтъ—провалъ бы ее взялъ, проклятую! Такъ и есть! Конная артиллерія. Слушайте, ребята! Если кто хоть на волосъ высунется впередъ—Боже сохрани! Тихимъ шагомъ!... Господа офицеры! Идти въ ногу!... Лѣвой, правой!... разъ, два!...

Три ядра, одно за другимъ, прогудѣли надъ головами солдатъ, четвертое попало въ самую средину каре. Не прибавляй шагу! — закричалъ Зарядьевъ.—Примкни! Передній фасъ ровняйся!... Въ ногу!... Заболтали!... Вотъ я васъ... Стой!

Каре остановилось; еще нѣсколько ядеръ выхватило человѣкъ пять изъ задняго фронта, который примѣтнымъ образомъ началъ колебаться.—Не шевелиться!—закричалъ громовымъ голосомъ Зарядьевъ;—а не то два часа продержу

подъ ядрами. Унтеръ-офицеры на линію!... Впередъ—ровняйся! Стой!... Тихимъ шагомъ—маршъ.

— Послушай, Зарядьевъ!—сказалъ вполголоса Рославлевъ,—ты, конечно, хочешь показать свою неустрашимость: это хорошо; но заставлять идти въ ногу, выравнивать фронтъ, дѣлать почти ученье подъ выстрѣлами непріятельской батареи!... Я не назову это фанфаронствомъ, потому что ты не фанфаронъ; но, воля твоя, это такой безчеловѣчный педантизмъ...

— Эхъ, братецъ, убирайся къ чорту съ твоими французскими словами! Я знаю, что дѣлаю. То то, любезный, ты еще молоденекъ! Когда солдатъ думаетъ о томъ, чтобъ идти въ ногу, да ровняться, такъ не думаетъ о непріятельскихъ ядрахъ.

— Положимъ, что такъ, но для чего вести ихъ тихимъ шагомъ?

— А ты бы, чай, повелъ скорымъ? Нѣтъ, душенька, отъ скораго шагу до бѣготни не далеко; а какъ побѣгутъ, да нагрянетъ конница, такъ тогда уже поздно будетъ командовать. Однакожъ, взгляни-ка налѣво: кажется, нашъ пріятель Зарѣцкій дѣлаетъ то же, что мы.

Въ самомъ дѣлѣ, Зарѣцкій, атакованный двумя эскадронами латниковъ, послѣ жаркой схватки, скомандовалъ уже: По три налѣво кругомъ, заѣзжай! какъ дивизіонъ русскихъ уланъ подоспѣлъ къ нему на помощь. Въ нѣсколько минутъ непріятельская кавалерія была опрокинута, но въ то же самое время Рославлевъ увидѣлъ, что одинъ русскій офицеръ, убитый или раненый, упалъ съ лошади.— Боже мой!— вскричалъ онъ,—это, кажется, Зарѣцкій? Такъ точно, это его сѣрая лошадь...

— И, братецъ!—прервалъ Зарядьевъ,—мало ли сѣрыхъ лошадей... Да постой, куда ты?

Но Рославлевъ, не слушая его словъ, пріударилъ нагайкою свою лошадь и полетѣлъ въ ту сторону, гдѣ происходило кавалерійское дѣло.

Когда Рославлевъ сталъ приближаться къ нашей конницѣ, то непріятельская, подкрѣпленная свѣжими войсками, построилась снова въ боевой порядокъ, и между обѣихъ кавалерійскихъ колоннъ начали разъѣзжать и показывать свое удальство фланкеры обѣихъ сторонъ. Одинъ французскій конный егерь, сшибя съ лошади сабельнымъ ударомъ русскаго гусара, подскакалъ шаговъ на десять къ Рослав-

леву и выстрѣлилъ по немъ изъ пистолета. Сгоряча Рославлевъ едва почувствовалъ, что ему какъ будто бы обожгло лѣвую руку; онъ подъѣхалъ къ гусарамъ, и первый офицеръ, его встрѣтившій, былъ Зарѣцкій,

— Слава Богу!—вскричалъ Рославлевъ,—ты живъ. А мнѣ показалось издали...

— Да, Владиміръ! я живъ и даже не раненъ; но поручика моего французы отправили на тотъ свѣтъ. Жаль, славный былъ малый. Да постой-ка; что у тебя рука? Ты раненъ.

— Раненъ? Неужели?

— Да, и, кажется, не на шутку; надобно скорѣй перевязать твою руку.

— Сейчасъ прискакалъ съ приказомъ адъютантъ,—сказалъ уланскій ротмистръ, подъѣхавъ къ гусарамъ.—Намъ велѣно отретироваться за передовую нашу линію.

— Эй, Трощенко!—закричалъ Зарѣцкій,—труби аппель! Да, кажется, и французы устали ужь драться,—продолжалъ онъ, посматривая впередъ:—ихъ цѣпь начинаетъ очень рѣдѣть, и канонада почти совсѣмъ утихла.

— На нашемъ флангѣ утихла,—прибавилъ уланъ;—а слышите ли на лѣвомъ какая еще идетъ жарня?

Гусарскій эскадронъ, примкнувъ къ уланамъ, переправился, не будучи преслѣдуемъ непріятелемъ, черезъ рѣчку, въ то самое время, какъ Зарядьевъ, потерявъ еще нѣсколько солдатъ, присоединился благополучно къ своей колоннѣ. Зарѣцкій, сдавъ на нѣсколько времени команду старшему по себѣ, проводилъ Рославлева до обоза, расположеннаго въ полуверстѣ отъ нашихъ резервовъ. На каждомъ шагу встрѣчались имъ раненые; всѣ лѣкаря были заняты. Прождавъ около четверти часа подлѣ огонька, разложеннаго между фуръ, Зарѣцкій вскричалъ, наконецъ, съ нетерпѣніемъ:—Да чтожъ это до сихъ поръ не отыщутъ нашего полкового лѣкаря? Я боюсь, не раздроблена ли у тебя кость?

— А вотъ увидимъ-съ,— сказалъ, подходя къ нимъ, человѣкъ небольшого роста, съ широкимъ краснымъ лицомъ и прищуренными глазами.—Позвольте-съ!

— На силу пришелъ!—сказалъ Зарѣцкій.—Мы съ полчаса тебя дожидаемся.

— Сейчасъ, сударь, сейчасъ! Что, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, и васъ зацѣпило? Эге-ге!... Подлѣ самаго

локтя! Постойте-ка... Ого-го... На вылетъ! Ну, изрядно-съ! Да не извольте скидать сюртука; мы лучше распоремъ рукавъ. Эй, Швалевъ! — продолжалъ онъ, обращаясь къ полковому фельдшеру, который стоялъ позади его съ перевязками,—разрѣжь рукавъ, а я межъ тѣмъ приготовлю инструменты.

— А что?—спросилъ Зарѣцкій,—развѣ ты думаешь, что надобно будетъ?...

— Не могу доложить-съ,—отвѣчалъ лѣкарь, перебирая свой хирургическій портфель;—а врядъ ли дѣло обойдется безъ ампутаціи! Да не безпокойтесь, я взялъ новые инструменты: это минутное дѣло.

— Помилуй, братецъ!—вскричалъ Зарѣцкій,—что у тебя за страсть рѣзать руки? Будетъ съ тебя: я думаю, сегодня ты ихъ съ полдюжины отрѣзалъ.

— Съ полдюжины?... Нѣтъ, сударь! прошу не прогнѣваться,—возразилъ съ гордостію обиженный хирургъ;—поболѣе будетъ полдюжины! Швалевъ! сколько мы сегодня отпилили рукъ?

— Одиннадцать, ваше благородіе!

— Врешь, дуракъ! Двѣнадцать рукъ и три ноги; всего пятнадцать операцій въ одинъ день. Нечего сказать, славная практика-съ! Ну, Владиміръ Сергѣевичъ, позвольте теперь... Да не бойтесь, я хочу только зондировать вашу рану.

Послѣ минутнаго молчанія, въ продолженіе котораго Зарѣцкій не спускалъ глазъ съ своего друга, лѣкарь объявилъ, что повидимому пуля не сдѣлала никакого важнаго поврежденія.— Ну, Владиміръ Сергѣевичъ,— прибавилъ онъ,—поздравляю васъ! Кажется, вы останетесь съ рукою, а еслибъ на волосокъ пониже, то пришлось бы пилить... Впрочемъ, это было бы короче—минутное дѣло; да оно же и вѣрнѣе.

— Спасибо, Иванъ Ивановичъ!—сказалъ улыбаясь Рославлевъ.—Такъ и быть, я ужь рискну остаться съ рукою.

— Какъ угодно-съ. Только я совѣтую вамъ отсюда уѣхать. Во всякомъ случаѣ, рана ваша требуетъ частой перевязки, а мы двухъ дней не постоимъ на одномъ мѣстѣ, такъ трудненько будетъ-съ наблюсти аккуратность.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ Зарѣцкій, — ступай лѣчиться къ своей невѣстѣ. Видишь ли, мое предсказаніе сбылось: ты явишься къ ней съ Георгіевскимъ крестомъ и съ

подвязанной рукою. Куда ты счастливъ, разбойникъ! Ну, что за прибыль, если меня ранятъ? Къ кому явлюсь я съ распоротымъ рукавомъ? Передъ кѣмъ стану интересничать? Передъ кузинами и почтенной моей тетушкой? Большая радость!... Но вотъ, кажется, и на лѣвомъ флангѣ угомонились. Пора: черезъ полчаса въ пяти шагахъ ничего не будетъ видно.

Сраженіе прекратилось, и нашъ аріергардъ, отступя версты двѣ, расположился на бивакахъ. На другой день Рославлевъ получилъ увольненіе отъ своего генерала и, найдя почтовыхъ лошадей въ Вязьмѣ, доѣхалъ благополучно до Серпухова; но тутъ онъ долженъ былъ поневолѣ остановиться: рука его такъ разболѣлась, что онъ не прежде двухъ недѣль могъ отправиться далѣе, и, наконецъ, 26-го августа, въ день знаменитаго Бородинскаго сраженія, Рославлевъ перемѣнилъ въ послѣдній разъ лошадей, не доѣзжая тридцати верстъ до села Утѣшина.

V.

Размытая проливными дождями проселочная дорога, по которой ѣхалъ Рославлевъ вмѣстѣ съ своимъ слугою, становилась часъ отъ часу тяжелѣе, и, несмотря на то, что они ѣхали въ легкой почтовой телѣжкѣ, усталыя лошади съ трудомъ тащились шагомъ. Солнце уже садилось, послѣдніе лучи его, догорая на ясныхъ небесахъ, золотили верхи холмовъ, покрытыхъ желтой нивою. Позади нашихъ путешественниковъ и надъ ихъ головами не было замѣтно ни одного облачка; но душный воздухъ стѣснялъ дыханіе, и впереди, изъ-за густого лѣса, подымались черныя тучи.

— Ну, сударь, будетъ гроза!—сказалъ Егоръ, поглядывая робко впередъ.—Посмотрите-ка, какія оттуда лѣзутъ тучи... Ухъ, батюшки!... одна другой страшнѣе!

— Не даромъ сегодня такъ парило,—промолвилъ извозчикъ.—Вонъ и ласточки низко летаютъ—быть грозѣ!

— А далеко ли еще до Утѣшина? — спросилъ Рославлевъ.

— Верстъ пятнадцать—поболѣ будетъ.

— Только то? — сказалъ Егоръ. — Такъ ступай скорѣе: долго ли промахнуть пятнадцать верстъ.

— И радъ бы ѣхать, да, вишь, дорога то какая. Чему и

быть: ужь съ недѣлю мѣста, дождикъ такъ ливмя и льетъ.

— Можетъ быть, впереди дорога лучше.

— Куда лучше! Версты за три до села, слышь ты, такъ благо, что вовсе проѣзда нѣтъ.

— Да нѣтъ ли другой дороги?—спросилъ Рославлевъ.

— Баютъ, что лѣсомъ есть объѣздъ. Кабы было у кого поспрошать, такъ можно бы; а то дѣло къ ночи: запропастишься такъ, что животу не радъ будешь.

— Постой!—вскричалъ Егоръ.—Вонъ тамъ, подлѣ лѣса, ѣдетъ кто то верхомъ. Догоняй-ка его: можетъ статься, онъ здѣшній.

Ямщикъ пріударилъ лошадей, и черезъ нѣсколько минутъ, подъѣхавъ къ частому сосновому бору, они догнали верхового, который, въ сопровожденіи двухъ борзыхъ собакъ, ѣхалъ потихоньку опушкой лѣса.

— Владиміръ Сергѣичъ! — сказалъ Егоръ, — да это никакъ ловчій Николая Степановича Ижорскаго? Ну, такъ и есть, онъ! Эй, Шурловъ! здравствуй, любезный!

Охотникъ оглянулся, повернулъ свою лошадь и, подъѣхавъ къ телѣгѣ, вскрикнулъ:—Что это? Ахъ, батюшка, Владиміръ Сергѣичъ, это вы?

— Какъ ты сюда заѣхалъ, Архипычъ? Зачѣмъ?—спросилъ Егоръ.

— А вотъ видишь, зачѣмъ,—отвѣчалъ Шурловъ, показывая на двухъ зайцевъ, которые висѣли у него въ *торокахъ*.

— Ну что, братецъ, все ли у васъ благополучно?—спросилъ съ примѣтной робостію Рославлевъ.—Всѣ ли здоровы?...

— Всѣ, слава Богу, батюшка; то есть Прасковья Степановна и обѣ барышни; а объ нашемъ баринѣ мы ничего не знаемъ. Онъ изволилъ пойти въ ополченіе, да и всѣ наши сосѣди—кто уѣхалъ въ дальнія деревни, кто также пошелъ въ ополченіе. Ну, повѣрите-ль, Владиміръ Сергѣичъ, весь уѣздъ такъ опустѣлъ, что хоть шаромъ покати. А осень-та, кажется, будетъ знатная! да такъ—ни за копѣйку пропадетъ: и поохотиться некому.

— Послушай, братъ,—прервалъ Егоръ, — гдѣ у васъ объѣздъ лѣсомъ? А то, говорятъ, дорога то къ селу больно плоха.

— Да такъ то плоха, что и сказать нельзя. Объѣздомъ

лучше; а все, какъ станете подъѣзжать къ селу, такъ—не роди мать на свѣтѣ!... грязь по ступицу. Вотъ я поѣду подлѣ васъ да укажу, гдѣ надо своротить съ дороги.

Ямщикъ тронулъ лошадей, и наши путешественники потащились шагомъ впередъ.

— Ну, сударь,—продолжалъ Шурловъ,—не чаяли мы такъ скоро васъ видѣть. Да что это? никакъ у васъ рука подвязана?

— Да, я раненъ.

— Слава Богу, что еще въ руку, батюшка. А, чай, сколько головъ легло подъ однимъ Смоленскомъ? Ну, сударь, прогнѣвался на насъ Господь! Тяжкія времена! Вотъ хоть черезъ нашъ уѣздъ, ужь ѣхало, ѣхало смоленскихъ обывателей. Сердечные! Въ разоръ разорены! Поглядишь на иного помѣщика; ѣдетъ, родимый, съ женой, да съ дѣтьми, а куда? И самъ не знаетъ. Вѣрите-ль Богу, сердце изныло, глядя на ихъ слезы; и какъ гоняютъ мимо насъ этихъ плѣнныхъ французовъ, то вотъ такъ бы ихъ, разбойниковъ, и съѣлъ! Эхъ, сударь!... А Прасковья то Степановна.... Богъ ей судья!...

— Что такое?...

— Не вамъ бы слушать и не мнѣ бы говорить! Вѣдь она родная сестрица нашего барина, а посмотрите-ка, что толкуютъ о ней въ народѣ—уши вянутъ!... Экій срамъ, подумаешь!

— Ты пугаешь меня!... Да что такое?

— Помните ли, сударь, мѣсяца два назадъ, какъ я вывихнулъ ногу—вотъ какъ по милости вашей прометались всѣ собаки и русакъ ушелъ? Ахъ, батюшка, Владиміръ Сергѣичъ, какое зло тогда меня взяло!... Поставилъ роднаго въ чистое поле, а вы... Ну, ужь честилъ же я васъ—не погнѣвайтесь!...

— Хорошо, братецъ, хорошо; но дѣло не о томъ...

— Ну, вотъ, сударь! Я провалялся безъ ноги близко мѣсяца; вы изволили уѣхать; заговорили о французахъ, о войнѣ; вдругъ слышу, что какого то заполоненнаго француза привели въ деревню къ Прасковьѣ Степановнѣ. Боленъ, дескать, нельзя гнать съ другими плѣнными! Какъ будто бы у насъ въ городѣ и острога нѣтъ...

— А, это тотъ раненый полковникъ...

— А чортъ его знаетъ, полковникъ ли онъ или нѣтъ! Они всѣ межъ собой за панибрата; платьемъ пообносились,

такъ не узнаешь, кто капралъ, кто генералъ. Да это-бъ еще ничего; отвели-бъ ему фатеру гдѣ-нибудь на селѣ—въ людской или въ передбанникѣ, а то помилуйте!... Забрался въ барскія хоромы, да захватилъ подъ себя всю половину покойнаго мужа Прасковьи Степановны. Ну, пусть онъ полковникъ, сударь; а все-таки французъ, все пилъ кровь нашу, такъ какой складъ русской барынѣ водить съ нимъ компанію?

— Послушай, Шурловъ, и Богъ велитъ безоружнаго врага миловать, а особливо, когда онъ боленъ.

— Да ужь онъ, сударь, давнымъ-давно выздоровѣлъ. И посмотрите, какъ отъѣлся; какой сталъ гладкій—пострѣлъ бы его взялъ! Быкъ-быкомъ! И это бы не бѣда: пусть бы онъ себѣ трескалъ, проклятый, да жирѣлъ въ волю — чортъ съ нимъ! Да знай сверчокъ свой шестокъ, а то срамота то какая!... Вѣдь онъ ни дать, ни взять, сталъ нашимъ помѣщикомъ.

— Какъ помѣщикомъ?

— Да такъ же! Расхаживаетъ себѣ по хоромамъ, изъ комнаты въ комнату, куритъ изъ господской пѣнковой трубки, которую покойникъ берегъ пуще своего глаза. Подавай ему того, другого; да какъ покрикиваетъ на людей—словно баринъ какой. А какъ пойдетъ гулять по саду съ барыней, такъ—Господи, Боже мой! Подбоченится, закинетъ голову... Ну, чортъ ему не братъ! Я старикъ, а и во мнѣ кровь закипитъ всякій разъ, какъ съ нимъ повстрѣчаюсь—такъ руки и зудятъ! Ухъ, батюшки!... Кабы воля да воля, хватилъ бы его рожномъ по боку, такъ пересталъ бы кочевряжиться! Подумаешь, сколько, чай, сгубилъ онъ православныхъ, а русская барыня на рукахъ его носитъ!

— Полно, Шурловъ, не сердись. Если онъ выздоровѣлъ, то, конечно, должно его отправить въ городъ; я поговорю объ этомъ.

— Поговорите, батюшка, а то, знаете ли? Не ладно, видитъ Богъ, не ладно! На селѣ всѣ мужички стали межъ собой калякать:—Что, дескать, это? Ужь барыня то наша не измѣнница ли какая? Поитъ и кормитъ злодѣевъ нашихъ. И анагдась такъ было разшумаркались, что и приказчикъ мѣста не нашелъ. Что, дескать, этому нехристю смотрѣть въ зубы? въ колья его, ребята! Ужь кое-какъ уговорилъ ихъ батька Василій. Правда, съ тѣхъ поръ французъ и носу не смѣетъ показывать; а барыня стала такая ласковая съ отцомъ

Васильемъ: въ недѣлю то разъ пять онъ обѣдаетъ на господскомъ дворѣ. Охъ, батюшка! не даромъ это! Знаете ли, какой слухъ недавно прошелъ въ народѣ?... Страшно вымолвить!

— А что такое?

— Говорятъ... не дай, Господи, согрѣшить напрасно!— продолжалъ Шурловъ, понизивъ голосъ.—Говорятъ, будто бы старая то барыня хочетъ выйти замужъ за этого француза.

— Какой вздоръ!

— Можетъ статься и вздоръ, батюшка, да вѣдь глотки никому не заткнешь; и власть ваша, а дѣло на то походитъ. Пелагея Николаевна—невѣста ваша, да она недавно куда-жъ больна была, сердечная!

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, захворала было не на шутку; но теперь, говорятъ, слава Богу, оправилась и стала повеселѣй. Ольга Николаевна, какъ слышно, не очень изволитъ жаловать этого француза, такъ на кого и подумать, какъ не на старую барыню. А она же, какъ говорятъ, ни пяди отъ него не отстаетъ, и по-французскому вотъ такъ и сыплетъ; день деньской только и слышутъ люди: мусью да мусью, мадамъ да мадамъ, шушуканье да шепотня съ утра до вечера. Ну, воля ваша, а это все не къ добру! Вѣдь бѣсъ то силенъ, батюшка! Долго-ль до грѣха! Да и проклятый французъ... такая диковинка!... Видали мы мусьювъ и учителей: все народъ плюгавый, гроша не стоитъ; а этотъ пострѣлъ, кажется, французъ, а какой бравый дѣтина!... Что грѣхъ таить, батюшка, стоитъ русскаго молодца. Вотъ вы смѣетесь, Владиміръ Сергѣичъ, а смотрите, чтобъ не пришлось намъ всѣмъ плакать.

— Не бойся, Шурловъ; ты не знаешь, почему Прасковья Степановна такъ ласкова съ этимъ французомъ: вѣдь они давно уже знакомы.

— Вотъ что?... Ну это какъ будто бы полегче; а все лучше, если бы его отправили къ командѣ! Не то время, Владиміръ Сергѣичъ! Чай, слышали пословицу: «дружба дружбой, а служба службой!» А вѣдь чѣмъ же намъ и послужить теперь Государю, какъ не тѣмъ, чтобъ бить наповалъ эту саранчу заморскую. Былъ, батюшка, и на ихъ улицѣ праздникъ: поили ихъ, кормили, приголубливали, а теперь пора и въ дубью принять. Ну вотъ, Владиміръ Сергѣичъ, и поворотъ,—продолжалъ старый ловчій, остановивъ

свою лошадь.—Извольте ѣхать прямо по этой просѣкѣ, до песочнаго врàга; держитесь все правой руки, а тамъ пойдетъ дорога налѣво; какъ поровняетесь съ деревяннымъ крестомъ—изволите знать, что въ сосновой рощѣ?

— Какъ не знать! — подхватилъ Егоръ.—Вѣдь ты говоришь про тотъ крестъ, что поставленъ надъ могилою приказчика Терентьича, котораго еще въ Пугачевщину на этомъ самомъ мѣстѣ извели казаки?

— Ну, да.

— Эхъ, братъ! мѣсто то неловкое. Говорятъ, будто бы по ночамъ видали, что передъ крестомъ теплится свѣчка и сидитъ самъ покойникъ.

— Слыхать то объ этомъ и я слыхалъ, а самъ не видывалъ. Отъ креста вы проѣдете еще версты полторы, а тамъ выѣдете на кладбище; вотъ тутъ пойдетъ опять плохая дорога, а противъ самой кладбищенской церкви—такая трясина, что и Боже упаси! Забирайте ужь лучше правѣе; по пашнѣ хоть и бойко, да за то не увязнете. Ну, прощайте, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ!

— А ты куда, Шурловъ?

— Я неподалеку отсюда переночую у пріятеля на пчельникѣ. Хочется завтра пообшарить всю эту сторону; говорятъ, будто бы здѣсь третьяго дня волка видѣли. Прощайте, батюшка! съ Богомъ! Да поторапливайтесь, а не то гроза васъ застигнетъ! Посмотрите ка, сударь, съ полудёнъ какія тучи напираютъ!

Въ самомъ дѣлѣ, впереди все небо подернулось черными тучами, изрѣдка сверкала молнія, и хотя отдаленный громъ едва былъ слышенъ, но листья шевелились на деревьяхъ, и воздухъ становился часъ отъ часу душнѣе. Шурловъ повернулъ свою лошадь, подкликалъ собакъ и пустился рысью назадъ по дорогѣ; а наши путешественники въѣхали въ узкую просѣку, которая шла въ самую средину лѣса. Казалось, съ каждымъ шагомъ впередъ, лѣсъ становился все темнѣе; кругомъ царствовала мертвая тишина. Нѣсколько минутъ ничто не нарушало сего торжественнаго безмолвія ночи; путешественники молчали, колеса катились безъ шума по мягкой дорогѣ, и только, отъ времени до времени, сухой валежникъ хрустѣлъ подъ ногами лошадей и раздавался легкій шорохъ отъ перебѣгающаго черезъ дорогу зайца.

— Эка ночка!—сказалъ, наконецъ, Егоръ.—Ну, сударь,

дай Богъ намъ доѣхать благополучно. Не знаю, какъ вы, а я начинаю побаиваться. Ну, если мы заплутаемся?

Рославлевъ не отвѣчалъ ни слова.

— Охъ эти объѣзды! — продолжалъ вполголоса Егоръ, посматривая робко во всѣ стороны;—терпѣть ихъ не могу: того и гляди, заѣдешь туда, куда воронъ и костей не заносилъ. Здѣсь, чай, и днемъ то всегда сумерки; а теперь...— онъ поднялъ глаза кверху — ни одной звѣздочки на небѣ; поглядѣлъ кругомъ—все темно: направо и налѣво сплошная стѣна изъ черныхъ сосенъ, а кой-гдѣ высокія березы, которыя, несмотря на темноту, бѣлѣлись какъ мертвецы въ саванахъ. Прошло еще нѣсколько минутъ, послѣдній свѣтъ отъ потухающей зари исчезъ на мрачныхъ небесахъ, покрытыхъ густыми облаками, и наступила совершенная темнота. Ямщикъ слѣзъ съ телѣги и пошелъ пѣшкомъ подлѣ лошадей, которыя, робко передвигая ноги, едва подавались впередъ. Слишкомъ часъ наши путешественники тащились шагомъ. Рославлевъ молчалъ, а Егоръ, чтобъ ободрять себя, посвистывалъ и понукалъ лошадей.—Ну, чтожъ ты заснулъ, братецъ!—сказалъ онъ, наконецъ, ямщику.—Садись, да погоняй лошадей-та!

— Да, погоняй!... А какъ наѣдешь на колоду. Вишь, темнять такая!

— Такъ затяни пѣсенку: все-таки будетъ повеселѣе.

— Коль ты охочь до пѣсенъ, такъ пой самъ.

— А ты что?

— Да!... слышь ты, парень, до пѣсенъ теперь! Только вынеси Господь!... Туда ли еще ѣдемъ.

— Чтожъ ты за ямщикъ, коли не знаешь, куда ѣдешь? Смотри, братъ, если ты завезешь насъ въ какую-нибудь трущобу, такъ добромъ со мной не раздѣлаешься.

— Ой-ли? Грози, братъ, богатому — денежку дастъ, а съ меня взятки-та гладки. Вѣдь я вамъ баялъ, что объѣзда не знаю.

— Въ самомъ дѣлѣ не заплутались ли мы?—спросилъ Рославлевъ.

— Небось, баринъ! Богъ милостивъ; авось какъ-нибудь выберемся изъ лѣса. Только гроза-та насъ застигнетъ; вонъ и дождикъ сталъ накрапывать.

Крупныя дождевыя капли зашумѣли межъ листьевъ; заколебались вершины деревьевъ; вѣтеръ завылъ, и вдругъ все небо освѣтилось.

— Господи, помилуй! — сказалъ перекрестясь Егоръ.— Экая молнія, такъ и палитъ!

Сильный ударъ грома потрясъ всѣ окрестности, и проливной дождь, вмѣстѣ съ вихремъ, заревѣлъ по лѣсу. Высокія сосны гнулись какъ тростникъ, съ трескомъ ломались сучья; глухой гулъ отъ падающаго рѣкой дождя, пронзительный свистъ и вой вѣтра сливались съ безпрерывными ударами грома. Наши путешественники, при блескѣ ежеминутной молніи, которая освѣщала имъ дорогу, продолжали медленно подвигаться впередъ.

— Постой-ка!—сказалъ ямщикъ Егору;—ужь не оврагъ ли это? Придержи-ка, братъ, лошадей, а я пойду, посмотрю.— Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ межъ частаго кустарника, и закричалъ:—Ну такъ и есть—оврагъ!

— Посмотри, Егоръ!—сказалъ Рославлевъ;—мнѣ показалось, что молнія освѣтила, вонъ тамъ въ сторонѣ, деревянный крестъ. Это должно быть могила Терентьича — видишь? прямо за этой сосной?

— Вижу, сударь, вижу!...—отвѣчалъ Егоръ прерывающимся отъ страха голосомъ.—А видите ли вы?...

— Что такое?...

— Посмотрите, посмотрите!... вонъ опять!... Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ!...

Молнія снова освѣтила крестъ, и Рославлеву показалось, что кто то въ бѣломъ сидитъ на могилѣ и покачивается изъ стороны въ сторону.—Чтобъ это значило? — спросилъ онъ, слѣзая съ телѣги.—Надобно подойти поближе.

— Что вы? Христосъ съ вами!—вскричалъ Егоръ, схвативъ за руку своего господина.—Развѣ не видите, что это самъ покойникъ въ саванѣ.

Въ продолженіе сего короткаго разговора все утихло: дождь пересталъ идти, и вѣтеръ замолкъ. Съ полминуты продолжалась сія грозная тишина, и вдругъ ослѣпительная молнія, прорѣзавъ черныя тучи, разсыпалась почти надъ головами нашихъ путешественниковъ. Рославлевъ и Егоръ, оглушенные ужаснымъ трескомъ, едва устояли на ногахъ, а лошади упали на колѣни. Въ двадцати шагахъ отъ нихъ, противъ самаго креста, задымилась сосна; тысячи огненныхъ змѣекъ пробѣжали по ея сучьямъ; она вспыхнула, и яркое пламя освѣтило всю окружность. Дождь снова полился, и вѣтеръ забушевалъ между деревьями. Несмотря на просьбы своего слуги, Рославлевъ подошелъ къ могилѣ: ни на ней,

ни подлѣ нея никого не было; но что то похожее на человѣческій хохотъ сливалось вдали съ воемъ вѣтра. Когда онъ возвратился къ телѣгѣ, ямщикъ стоялъ возлѣ лошадей, которыя дрожали, фыркали и жались одна къ другой.— Что дѣлать, батюшка?—сказалъ ямщикъ;—лошадки то больно напугались. Смотри-ка, сердечныя, такъ дрожкой и дрожатъ. Ужь не переждать ли намъ здѣсь? А то, сохрани Господи, шарахнутся, да понесутъ по лѣсу, такъ косточекъ не сберешь.

— Пожалуй, переждемъ, — сказалъ Рославлевъ. — Кажется, гроза начинаетъ утихать.

— Ну что, сударь?—спросилъ Егоръ:—вы подходили къ могилѣ?

— Тамъ никого нѣтъ.

— Помилуйте! да развѣ мы не видали?

— Намъ это показалось, или можетъ быть... но въ такую грозу... среди лѣса... Нѣтъ, мы вѣрно приняли какой-нибудь березовый пенекъ за человѣка.

Егоръ покачалъ головою и не отвѣчалъ ничего. Болѣе получаса продолжалась гроза; наконецъ, все стало утихать; но впереди сверкала молнія, и сбирались новыя тучи. Путешественники двинулись впередъ. Узкая, извилистая дорога, по которой и днемъ не безъ труда можно было ѣхать, заставляла ихъ почти на каждомъ шагу останавливаться; колеса поминутно цѣплялись за деревья, упряжь рвалась, и ямщикъ сталъ уже громко поговаривать, что въ село Утѣшино нѣтъ почтовой дороги, что въ другой разъ онъ не повезетъ никого за казенные прогоны, и даже обѣщанный рубль на водку утѣшилъ его не прежде, какъ они выѣхали совсѣмъ изъ лѣса.

— Вотъ, кажется, кладбищная церковь? — сказалъ Рославлевъ, указывая на бѣлое зданіе, которое, при свѣтѣ блеснувшей молніи, отдѣлилось отъ группы деревьевъ, его окружающихъ.

— А за нимъ полѣвѣе,—прервалъ Егоръ,—должно быть село. Вѣрно всѣ спятъ! Ни одного огонька не видно. Я думаю, ужь поздно, сударь?

Рославлевъ вынулъ часы, подавилъ репетицію; она пробила одиннадцать часовъ и три четверти.

— Скоро полночь.

— Такъ вѣрно теперь и на барскомъ дворѣ почиваютъ. Не проѣхать ли намъ, сударь, въ домъ къ Николаю Степановичу?

— Нѣтъ, можетъ быть, они еще не ложились. Эй! ямщикъ! ступай скорѣй! Я дамъ еще рубль на водку.

Ямщикъ погналъ лошадей; но онѣ едва могли бѣжать рысью по грязной дорогѣ, которая съ каждымъ шагомъ становилась хуже. Вотъ, наконецъ, путешественники доѣхали до кладбища. Поровнявшись съ группою деревьевъ, которая съ трехъ сторонъ закрывала церковь, извозчикъ позабылъ о томъ, что совѣтывалъ имъ старый ловчій: не свернулъ дороги; колеса телѣги увязли по самую ступицу въ грязь, и, несмотря на его крики и удары, лошади стали. Пробившись съ четверть часа на одномъ мѣстѣ, онъ объявилъ рѣшительно, что безъ посторонней помощи они никакъ не выберутся изъ грязи.

— Дѣлать нечего, сударь! — сказалъ Егоръ; — оставайтесь здѣсь, а я сбѣгаю за народомъ.

— Ступай на мельницу: она въ двухъ шагахъ отсюда.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вѣдь на ней живетъ вся семья Архипа мельника. Подождите, сударь, мигомъ слетаю.

У насъ въ Россіи почти каждая деревня имѣетъ свои изустныя преданія о колдунахъ, мертвецахъ и привидѣніяхъ, и тотъ, кто, будучи еще ребенкомъ, живалъ въ деревнѣ, вѣрно слыхалъ отъ своей кормилицы, мамушки или стараго дядьки, какъ страшно проходить ночью мимо кладбища, а особливо, когда при ономъ есть церковь. Русскій крестьянинъ, надѣвъ солдатскую суму, встрѣчаетъ беззаботно смерть на непріятельской батареѣ, или, не будучи солдатомъ, изъ одного удальства пробѣжитъ по льду, который гнется подъ его ногами; но добровольно никакъ не рѣшится пройти ночью мимо кладбищной церкви, а посему весьма натурально, что ямщикъ, оставшись одинъ подлѣ молчаливаго барина, съ примѣтнымъ безпокойствомъ посматривалъ на кладбище, которое расположено было шагахъ въ пятидесяти отъ большой дороги.

Рославлевъ не понималъ самъ, что происходило въ душѣ его; онъ не могъ думать безъ восторга о своемъ счастіи, и въ то же время какая то непонятная тоска сжимала его сердце; горѣлъ нетерпѣніемъ прижать къ груди своей Полину, и почти радовался безпрестаннымъ остановкамъ, отдалявшимъ минуту блаженства, о которой, недѣли двѣ тому назадъ, онъ едва смѣлъ мечтать, сидя передъ огнемъ своего бивака. Мы всѣ любимъ предаваться надеждѣ, вѣримъ слѣпо ея обѣщаніямъ, и почти всегда въ ту самую минуту, когда

она готова превратиться въ существенность, боязнь и сомнѣніе отравляютъ нашу радость. Не эту ли самую недовѣрчивость души къ земному нашему счастію мы называемъ предчувствіемъ, разумѣется, если послѣдствія его оправдаютъ? Въ противномъ случаѣ, мы тотчасъ забываемъ, что сердце предсказывало намъ горе, и что это предвѣщаніе не сбылось. Погруженный въ глубокую задумчивость, Рославлевъ не замѣчалъ, что нѣсколько уже минутъ ямщикъ стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, и, дрожа всѣмъ тѣломъ, смотрѣлъ на кладбищную церковь.—Баринъ, а, баринъ!...—прошепталъ онъ, наконецъ, трепещущимъ голосомъ, — что это такое?...

— Что ты, братецъ?—спросилъ Рославлевъ.

— Да неужели, батюшка, не слышите? Чу!... Наше мѣсто свято!...

— Постой!... Въ самомъ дѣлѣ... Церковное пѣніе... Гдѣ-жъ это поютъ?...

— Какъ гдѣ? На кладбищѣ. Вонъ опять!... Съ нами крестная сила!... Охъ, неловко, кормилецъ!...

— Можетъ быть, похороны?...

— Да развѣ, батюшка, по ночамъ кого отпѣваютъ?

— Это въ самомъ дѣлѣ странно!... Побудь у лошадей!—сказалъ Рославлевъ, слѣзая съ телѣги и взявъ подъ плечо свою саблю.

— Ахъ, батюшка-баринъ!... Да какъ же я останусь то одинъ?

— Небось, братецъ: мертвецы черезъ дорогу не перебѣгаютъ,—сказалъ съ улыбкою Рославлевъ.

— Глядь-ка, баринъ!...—закричалъ ямщикъ, — глядь! вонъ и огонекъ въ окнѣ показался—святъ, святъ!... Ухъ. батюшки!... Ажно морозъ по кожѣ подираетъ!... Куда это нелегкая его понесла?—продолжалъ онъ, глядя вслѣдъ за уходящимъ Рославлевымъ. Ну, не сдобровать ему!... Экій угаръ, подумаешь!... И молитвы не творитъ!...

Рославлевъ перелѣзъ черезъ плетень, которымъ обнесено было кладбище. Съ трудомъ пробираясь между могилъ, онъ не слышалъ уже пѣнія, но видѣлъ ясно, что внутренность церкви освѣщена; ему показалось даже, что въ одномъ углу церковнаго погоста что то чернѣлось, и раздавался шорохъ, похожій на топотъ лошадей, которыя не стоятъ смирно на одномъ мѣстѣ. Чтобъ заглянуть во внутренность церкви, надобно было непремѣнно взойти на высокую паперть по

крутой и узкой лѣстницѣ. Едва онъ успѣлъ шагнуть на первую ступеньку, какъ вдругъ, у самыхъ ногъ его, кто то прохрипѣлъ дикимъ голосомъ: «тише ты! Не дави живыхъ людей; я еще не умерла». Рославлевъ невольно отскочилъ назадъ и схватился за рукоятку своей сабли; но въ ту же самую минуту блеснула молнія и освѣтила сидящую на лѣстницѣ женщину въ бѣломъ сарафанѣ, съ распущенными по плечамъ волосами. Она щелкала зубами, и глаза ея сверкали ужаснымъ образомъ.

— Это ты, Ѳедора?—сказалъ Рославлевъ, узнавъ сумасшедшую.—Что ты здѣсь дѣлаешь?

— Вѣстимо что: пришла на похороны.

— Какія похороны?...

— Погляди въ окно, такъ самъ увидишь. Чу!... слышишь? Поютъ: со святыми упокой.

— Да, точно поютъ! Но это совсѣмъ не похоронный напѣвъ... напротивъ... мнѣ кажется... Рославлевъ не могъ кончить: невольный трепетъ пробѣжалъ по всѣмъ его членамъ. Такъ, онъ не ошибается... до его слуха долетѣли звуки и слова, не оставляющія никакого сомнѣнія... Боже мой!—вскричалъ онъ,—это вѣнчальный обрядъ... на кладбищѣ... въ полночь!.. И такъ, Шурловъ говорилъ правду... Несчастная! что она дѣлаетъ!..

— Тсъ!.. тише!..—прервала безумная.—Не кричи! помѣшаешь отпѣвать!.. Чу! слышишь, затянули вѣчную память!.. Да постой! куда ты?—продолжала она, схвативъ за руку Рославлева.—Подождемъ здѣсь; какъ вынесутъ, такъ мы проводимъ ее до могилы.

Рославлевъ, отъ котораго сумасшедшая не отставала, вбѣжалъ на паперть и остановился у перваго окна. Внутренность церкви была слабо освѣщена нѣсколькими свѣчами, поставленными въ паникадила; впереди амвона, передъ налоемъ, стоялъ священникъ въ полномъ облаченіи; противъ него женихъ и невѣста, обѣ въ вѣнцахъ; а позади, подлѣ самаго окна, двѣ женщины, закутанныя въ салопы. Казалось, одна изъ нихъ горько плакала. Рославлевъ, къ которому онѣ также, какъ невѣста и женихъ, стояли спиною, не могъ этого видѣть, но слышалъ ея рыданія. Эти двѣ женщины, безъ сомнѣнія, Полина и Оленька. Въ женихѣ не трудно было узнать, по иностранному мундиру, плѣннаго французскаго полковника; но его невѣста?.. Она не походитъ на Лидину... нѣтъ... Эта тонкая талія,

эти распущенные по плечамъ локоны!... Боже мой... неужели Оленька?... Вотъ священникъ беретъ жениха и невѣсту за руки, чтобъ обвести вокругъ налоя... они идутъ... поровнялись съ царскими вратами... остановились... вотъ начинаютъ доканчивать кругъ... свѣтъ отъ лампады, висящей передъ Спасителемъ, падаетъ прямо на лицо невѣсты!... Милосердый Боже!.. Полина!!! Въ эту самую минуту яркая молнія освѣтила небеса, ужасный ударъ грома потрясъ всю церковь; но Рославлевъ не видѣлъ и не слышалъ ничего; сердце его окаменѣло, дыханье прервалось... вдругъ вся кровь закипѣла въ его жилахъ; какъ изступленный, онъ бросился къ церковнымъ дверямъ: онѣ заперты. Въ совершенномъ неистовствѣ, скрежеща зубами, онъ ухватился за желѣзную скобу, но отъ сильнаго напряженія перевязки лопнули на рукѣ его, кровь хлынула ручьемъ изъ раны, и онъ лишился всѣхъ чувствъ.

Обрядъ вѣнчанья кончился; церковныя двери отворились. Впереди молодыхъ шелъ священикъ, въ сопровожденіи дьячка, который несъ фонарь; онъ поднялъ уже ногу, чтобъ переступить черезъ порогъ, и вдругъ съ громкимъ восклицаніемъ отскочилъ назадъ: у самыхъ церковныхъ дверей лежалъ человѣкъ, облитый кровью; въ головахъ у него сидѣла сумасшедшая Ѳедора.

— Господи, помилуй! Что это такое?—сказалъ священникъ.—Эй, Филиппъ! посвѣти!.. Боже мой! — продолжалъ онъ,—русскій офицеръ!

— И весь полъ въ крови!—воскликнула Полина.

— Такъ чтожъ?—сказала Ѳедора, устремивъ сверкающій взоръ на Полину.—Небось, ступай смѣлѣе! Чего тебѣ жалѣть: вѣдь это русская кровь!

Дьячекъ нагнулся и освѣтилъ фонаремъ блѣдное лицо Рославлева.

— Праведный Боже!.. Рославлевъ!..—вскричала Оленька.

— Рославлевъ!—повторила ужаснымъ голосомъ Полина. —Онъ живъ еще?

— Нѣтъ, умеръ!—прервала безумная. — Милости просимъ на похороны.—И дикій ея хохотъ заглушилъ отчаянный вопль Полины.

VI.

Часу въ шестомъ утра, въ просторной и свѣтлой комнатѣ, у самаго изголовья постели, на которой лежалъ

не пришедшій еще въ чувство Рославлевъ, сидѣла молодая дѣвушка; глубокая, неизъяснимая горесть изображалась на блѣдномъ лицѣ ея. Подлѣ нея стоялъ знакомый уже намъ домашній лѣкарь Ижорскаго; онъ держалъ больного за руку и смотрѣлъ съ большимъ вниманіемъ на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоялъ Егоръ и поглядывалъ съ безпокойнымъ и вопрошающимъ видомъ на лѣкаря.—Слава Богу!—сказалъ сей послѣдній,—пульсъ начинаетъ биться сильнѣе; вотъ и краска на лицѣ показалась; черезъ нѣсколько минутъ онъ долженъ очнуться.

— Но какъ вы думаете, — спросила робкимъ голосомъ молодая дѣвушка: — этотъ обморокъ не будетъ ли имѣть опасныхъ послѣдствій?

— Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна. Если причиною обморока была только одна потеря крови, то нѣсколько дней покоя... Но вотъ, кажется, онъ приходитъ въ себя...

— Я не могу долѣе здѣсь оставаться,—сказала Оленька, вставая;—но, ради Бога! если онъ будетъ чувствовать себя дурно, пришлите мнѣ сказать... Несчастный!..—Она закрыла лицо свое и вышла поспѣшно изъ комнаты.

— Побудь съ своимъ бариномъ,—сказалъ Егору лѣкарь, уходя вслѣдъ за Оленькой; — а я сбѣгаю въ аптеку и приготовлю лѣкарство, которое подкрѣпитъ его силы.

Рославлевъ открылъ глаза, привсталъ, и съ удивленіемъ посмотрѣлъ вокругъ себя.—Что это?..—спросилъ онъ тихимъ голосомъ.—Гдѣ я?

— Въ домѣ у Николая Степановича, сударь!—отвѣчалъ Егоръ, подойдя къ постели.

— У какого Николая Степановича?...

— Ижорскаго, сударь!

— Ижорскаго?.. — повторялъ Рославлевъ. — Ахъ, да, знаю!.. Ижорскаго!.. Но зачѣмъ мы здѣсь?.. Я ничего не помню... Постой!.. Мнѣ кажется, вчера я заснулъ въ телѣгѣ!.. Да, точно такъ!.. гроза... кладбище... сумасшедшая Ѳедора... Боже мой... свадьба! Ахъ, Егоръ! какой я видѣлъ страшный сонъ!

Егоръ поглядѣлъ съ сожалѣніемъ на своего господина и, покачавъ печально головою, сказалъ: — Что объ этомъ говорить, сударь! успокойтесь! Вы не очень здоровы.

— Кто? я? Да, я чувствую какую то слабость... Но я не могу понять, для чего мы здѣсь, а не тамъ?.. Постой!

эти распущенные по плечамъ локоны!... Боже мой... неужели Оленька?... Вотъ священникъ беретъ жениха и невѣсту за руки, чтобъ обвести вокругъ налоя... они идутъ... поровнялись съ царскими вратами... остановились... вотъ начинаютъ доканчивать кругъ... свѣтъ отъ лампады, висящей передъ Спасителемъ, падаетъ прямо на лицо невѣсты!... Милосердый Боже!.. Полина!!! Въ эту самую минуту яркая молнія освѣтила небеса, ужасный ударъ грома потрясъ всю церковь; но Рославлевъ не видѣлъ и не слышалъ ничего; сердце его окаменѣло, дыханье прервалось... вдругъ вся кровь закипѣла въ его жилахъ; какъ изступленный, онъ бросился къ церковнымъ дверямъ: онѣ заперты. Въ совершенномъ неистовствѣ, скрежеща зубами, онъ ухватился за желѣзную скобу, но отъ сильнаго напряженія перевязки лопнули на рукѣ его, кровь хлынула ручьемъ изъ раны, и онъ лишился всѣхъ чувствъ.

Обрядъ вѣнчанья кончился; церковныя двери отворились. Впереди молодыхъ шелъ священикъ, въ сопровожденіи дьячка, который несъ фонарь; онъ поднялъ уже ногу, чтобъ переступить черезъ порогъ, и вдругъ съ громкимъ восклицаніемъ отскочилъ назадъ: у самыхъ церковныхъ дверей лежалъ человѣкъ, облитый кровью; въ головахъ у него сидѣла сумасшедшая Ѳедора.

— Господи, помилуй! Что это такое?—сказалъ священникъ.—Эй, Филиппъ! посвѣти!.. Боже мой! — продолжалъ онъ,—русскій офицеръ!

— И весь полъ въ крови!—воскликнула Полина.

— Такъ чтожъ?—сказала Ѳедора, устремивъ сверкающій взоръ на Полину.—Небось, ступай смѣлѣе! Чего тебѣ жалѣть: вѣдь это русская кровь!

Дьячекъ нагнулся и освѣтилъ фонаремъ блѣдное лицо Рославлева.

— Праведный Боже!.. Рославлевъ!..—вскричала Оленька.

— Рославлевъ!—повторила ужаснымъ голосомъ Полина. —Онъ живъ еще?

— Нѣтъ, умеръ!—прервала безумная. — Милости просимъ на похороны.—И дикій ея хохотъ заглушилъ отчаянный вопль Полины.

VI.

Часу въ шестомъ утра, въ просторной и свѣтлой комнатѣ, у самаго изголовья постели, на которой лежалъ

не пришедшій еще въ чувство Рославлевъ, сидѣла молодая дѣвушка; глубокая, неизъяснимая горесть изображалась на блѣдномъ лицѣ ея. Подлѣ нея стоялъ знакомый уже намъ домашній лѣкарь Ижорскаго; онъ держалъ больного за руку и смотрѣлъ съ большимъ вниманіемъ на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоялъ Егоръ и поглядывалъ съ безпокойнымъ и вопрошающимъ видомъ на лѣкаря.—Слава Богу!—сказалъ сей послѣдній,—пульсъ начинаетъ биться сильнѣе; вотъ и краска на лицѣ показалась; черезъ нѣсколько минутъ онъ долженъ очнуться.

— Но какъ вы думаете, — спросила робкимъ голосомъ молодая дѣвушка: — этотъ обморокъ не будетъ ли имѣть опасныхъ послѣдствій?

— Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна. Если причиною обморока была только одна потеря крови, то нѣсколько дней покоя... Но вотъ, кажется, онъ приходитъ въ себя...

— Я не могу долѣе здѣсь оставаться,—сказала Оленька, вставая;—но, ради Бога! если онъ будетъ чувствовать себя дурно, пришлите мнѣ сказать... Несчастный!..—Она закрыла лицо свое и вышла поспѣшно изъ комнаты.

— Побудь съ своимъ бариномъ,—сказалъ Егору лѣкарь, уходя вслѣдъ за Оленькой; — а я сбѣгаю въ аптеку и приготовлю лѣкарство, которое подкрѣпитъ его силы.

Рославлевъ открылъ глаза, привсталъ, и съ удивленіемъ посмотрѣлъ вокругъ себя.—Что это?..—спросилъ онъ тихимъ голосомъ.—Гдѣ я?

— Въ домѣ у Николая Степановича, сударь!—отвѣчалъ Егоръ, подойдя къ постели.

— У какого Николая Степановича?...

— Ижорскаго, сударь!

— Ижорскаго?.. — повторялъ Рославлевъ. — Ахъ, да, знаю!.. Ижорскаго!.. Но зачѣмъ мы здѣсь?.. Я ничего не помню... Постой!.. Мнѣ кажется, вчера я заснулъ въ телѣгѣ!.. Да, точно такъ!.. гроза... кладбище... сумасшедшая Ѳедора... Боже мой... свадьба! Ахъ, Егоръ! какой я видѣлъ страшный сонъ!

Егоръ поглядѣлъ съ сожалѣніемъ на своего господина и, покачавъ печально головою, сказалъ: — Что объ этомъ говорить, сударь! успокойтесь! Вы не очень здоровы.

— Кто? я? Да, я чувствую какую то слабость... Но я не могу понять, для чего мы здѣсь, а не тамъ?.. Постой!

мнѣ помнится, что лошади стали... ты пошелъ за людьми... да, да, я не во снѣ это видѣлъ,—и вдругъ мы очутились здѣсь. Да чтожъ ты молчишь?

— То то, сударь! вы изволите смѣяться надъ нашимъ братомъ: и дурачье то мы, и всякому вздору вѣримъ, а кабы вы сами не ходили вчерась на кладбище.

— Какъ! — вскричалъ Рославлевъ, — такъ я былъ на кладбищѣ?.. Я видѣлъ это не во снѣ... Ну что же? говори, говори!...—продолжалъ онъ, вскочивъ съ постели; блѣдныя щеки его вспыхнули, глаза сверкали; казалось, всѣ силы его возвратились.

— Успокойтесь, сударь!—сказалъ Егоръ. — Присядьте! я все вамъ разскажу.

— Все?

— Да, сударь, все, что знаю. Вчера ночью, противъ самой кладбищной церкви, наши лошади стали, а телѣга такъ завязла въ грязи, что и колесъ было не видно. Я пошелъ на мельницу за народомъ, а вы остались на дорогѣ одни съ ямщикомъ.

— Да, точно такъ. Говори, говори!..

— Я пришелъ на мельницу; ужь стучалъ, стучалъ, на силу достучался; видно, Архипъ хватилъ за ужиномъ черезъ край бражки. Я сбирался уже выбить окно... глядь! слава Богу, проснулись. Пока я имъ толковалъ, въ чемъ дѣло, пока вздули огонь, и Архипъ съ своими ребятами одѣвался, прошло этакъ съ полчаса времени; Архипъ засвѣтилъ фонарь, и мы вчетверомъ отправились на дорогу. Приходимъ — телѣга стоитъ на прежнемъ мѣстѣ, а ни васъ, ни ямщика нѣтъ. Что за причина такая?.. Мы принялись кричать; смотримъ, лѣзетъ кто то изъ за куста... ямщикъ! лица нѣтъ на парнѣ, дрожкой дрожитъ.—Что ты, братецъ?—спросилъ я;—гдѣ баринъ?—Вотъ онъ собрался съ духомъ и сталъ намъ разсказывать; да, видно, со страстей языкъ то у него отнялся: ужь онъ мямлилъ, мямлилъ, насилу понялу, что въ кладбищной церкви мертвецы пѣли всенощную, что вы пошли ихъ слушать, что вдругъ у самой церкви и закричали и захохотали; потомъ что то зашумѣло, покатилось, раздался свистъ, гамъ и конскій топотъ; что одинъ мертвецъ, весь въ бѣломъ, перелѣзъ черезъ плетень, затянулъ во все горло: со святыми упокой—и побѣжалъ прямо къ телѣгѣ; что онъ, видя бѣду неминучую, кинулся за кустъ, упалъ ничкомъ наземь, и вплоть до нашего прихода творилъ мо-

литву. Ну, сударь, что грѣхъ таить: отъ этихъ словъ у всѣхъ насъ волосы стали дыбомъ. Что дѣлать? Идти искать васъ на кладбищѣ?.. Вчетверомъ я и самого чорта не испугаюсь; да Архипъ то сталъ переминаться, ребята его также сробѣли: нейдутъ да и только! Вотъ я подумалъ, перекрестился, и только что хотѣлъ пуститься одинъ на волю Божью, какъ вдругъ слышимъ, кто то скачетъ къ намъ по дорогѣ. Подскакалъ—гляжу: Иванъ Петровъ, слуга Прасковьи Степановны. Онъ сказалъ намъ, что вы здѣсь, что васъ нашли у кладбищной церкви, что вы лежите безъ памяти; а какъ нашли? кто нашелъ? толку не могъ добиться. Вотъ, сударь, все, что я знаю.

Въ продолженіе сего разговора, Рославлевъ нѣсколько разъ мѣнялся въ лицѣ.—Итакъ...—сказалъ онъ;—итакъ... нѣтъ сомнѣнья... все то, что я видѣлъ...

— А что вы видѣли, сударь?—спросилъ съ любопытствомъ Егоръ.

— Я видѣлъ мою невѣсту...

— Вашу невѣсту? Въ кладбищной церкви! Въ полночь? Христосъ съ вами, сударь! Что вы? Вамъ померещилось!

— Въ вѣнцѣ передъ налоемъ...

— Господи, помилуй!.. Да это демонское новожденіе...

— Ахъ, Егоръ! еслибъ въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь злой духъ...

— А чтожъ вы думаете? Вѣдь сатана хитеръ, сударь: хоть кого изъ ума выведетъ. Ну, помилуйте, какъ могли вы видѣть Пелагею Николаевну на кладбищѣ, когда она нездорова и лежитъ въ постели?

— Что ты говоришь?... Почему ты это знаешь?

— Сію минуту сестрица ея изволила говорить съ лѣкаремъ.

— Оленька здѣсь? Гдѣжъ, она?

— Уѣхала домой. Она всю ночь сидѣла подлѣ вашей кровати, а ужь какъ плакала! Господи, Боже мой!... Откуда слезы брались! Она изволила оставить вамъ письмо.

— Письмо? Подай, подай!...

Егоръ взялъ со стола запечатанное письмо и подалъ его своему господину.

— Отъ Полины!...—вскричалъ Рославлевъ.—Онъ, сорвавъ печать, развернулъ дрожащей рукою письмо. Холодный потъ покрылъ помертвѣвшее лицо его, глаза искали словъ... но сначала онъ не могъ разобрать ничего: всѣ строч-

ки казались перемѣшанными, всѣ буквы не на своихъ мѣстахъ; съ величайшимъ трудомъ онъ прочелъ слѣдующее:

«Вы должны ненавидѣть... нѣтъ, я недостойна вашей ненависти: это чувство слишкомъ близко любви; вы имѣете полное право презирать меня. Не смѣю надѣяться, что открывъ вамъ ужасную тайну, которую думала унести съ собой въ могилу, я заставлю васъ пожалѣть обо мнѣ. Я васъ не знала еще, Рославлевъ, когда полюбила того, кому принадлежу теперь навсегда. Онъ любилъ меня, но тогда онъ не могъ еще быть моимъ мужемъ. Я не могла даже мечтать, что встрѣчусь съ нимъ въ здѣшнемъ мірѣ, и, не смотря на это, желанія матушки, просьбы сестры моей, ничто не поколебало бы моего намѣренія остаться вѣчно свободною; но безкорыстная любовь ваша, ваше терпѣнье, постоянство, желаніе видѣть счастливымъ человѣка, къ которому дружба моя была такъ же безпредѣльна, какъ и любовь *къ нему*—вотъ что сдѣлало меня виновною. Безумная! я обманывала сама себя! Я думала, что, видя васъ благополучнымъ, менѣе буду несчастлива; что, произнеся клятву любить васъ одного, при помощи Божіей, я забуду все прошедшее; что образъ того, кто преслѣдовалъ меня наяву и во снѣ, о комъ я не могла и думать безъ преступленія, изгладится навсегда изъ моей памяти. Я согласилась принадлежать вамъ и, клянусь Богомъ, не измѣнила бы моему обѣщанію, если бы онъ встрѣтился со мною во всемъ прежнемъ своемъ блескѣ, благополучный, одаренный всѣмъ, чему завидуютъ въ свѣтѣ. Но онъ явился предо мною покрытый ранами, несчастный, всѣми оставленный и съ прежней любовью въ сердцѣ! Казалось, сами небеса желали соединить насъ—онъ могъ располагать своей рукою, и вы, Рославлевъ, вы сами показали ему дорогу въ домъ нашъ!..»

— Довольно!—вскричалъ Рославлевъ, сжимая съ судорожнымъ движеніемъ въ рукѣ своей измятое письмо.—Чего еще мнѣ надобно?—Егоръ! лошадей!

— Какъ, сударь? Вы хотите ѣхать?

— Да!

— Не видѣвъ вашей невѣсты?

— Молчи!

— Помилуйте, сударь! Какъ вамъ ѣхать! сегодня?

— Да! сегодня... сейчасъ... сію минуту!..

— Но куда, сударь? Къ намъ въ деревню?

— Нѣтъ! здѣсь мнѣ душно... Дальше, дальше! Туда, гдѣ я могу утонуть въ крови злодѣевъ французовъ.

— Говорятъ, сударь, что они недалеко отъ Москвы.

— Недалеко? Итакъ, въ Москву!

— А рана ваша?

— Не бойся! Я умру не отъ нея. Ступай скорѣе! Ямщикъ, который насъ привезъ, вѣрно еще не уѣхалъ. Чтобъ чрезъ полчаса насъ здѣсь не было. Ни слова болѣе! — продолжалъ Рославлевъ, замѣчая, что Егоръ готовился снова возражать;—я приказываю тебѣ! Постой! Вынь изъ шкатулки листъ бумаги и чернильницу. Я хочу, я долженъ отвѣчать ей. Ступай за лошадьми, — прибавилъ онъ, когда слуга исполнилъ его приказаніе.

— Но если ямщикъ попроситъ двойные прогоны?

— Дай вчетверо, но чтобъ чрезъ полчаса насъ здѣсь не было.

Егоръ вышелъ, а Рославлевъ началъ писать слѣдующее:

«Я не дочиталъ письма вашего. Вы графиня Сеникуръ, жена плѣннаго француза—на что мнѣ знать остальное? Не о себѣ хочу я говорить—моя участь рѣшена: смерть возвратитъ мнѣ спокойствіе, она потушитъ адское пламя, которое горитъ теперь въ груди моей; но вы!... Слушайте приговоръ вашъ! Вы не умрете ни отъ стыда, ни отъ раскаянія; проклятіе всѣхъ русскихъ, которое прогремитъ надъ преступной главой вашей, не убьетъ васъ—нѣтъ! вы станете жить. Прижавъ къ сердцу обагренную кровью русскихъ, кровью братьевъ вашихъ, руку мужа, вы пойдете вмѣстѣ съ нимъ по пути, устланному трупами вашихъ соотечественниковъ. Торжествуйте вмѣстѣ съ нимъ каждую побѣду злодѣевъ нашихъ! Забудьте, что вы русская, забудьте Бога... Да! вы должны выбирать одно изъ двухъ: или вовсе забыть Его, или молить, чтобъ Онъ помогъ французамъ погубить Россію. Въ этой смертной борьбѣ нѣтъ средины: или мы, или французы должны погибнуть; а вы—жена француза! Умрите, несчастная, умрите сегодня, если можно — я желаю этого. Да, Полина! я молю объ этомъ Бога... Я чувствую... да, я чувствую, что еще люблю васъ!...»

Рославлевъ пересталъ писать; крупныя слезы покатились градомъ по лицу его.

— А! Владиміръ Сергѣевичъ! — сказалъ лѣкарь, входя

въ комнату;—вы ужь и встали? Ну что, какъ вы себя чувствуете?

Рославлевъ закрылъ платкомъ глаза и не отвѣчалъ ни слова. Лѣкарь взялъ его за руку и, поглядѣвъ на него съ состраданіемъ, повторилъ свой вопросъ.

— Я здоровъ, — отвѣчалъ Рославлевъ, — и сейчасъ ѣду.

— Что вы? Какъ это можно? У васъ жаръ.

— Вы ошибаетесь, — прервалъ Рославлевъ, положивъ руку на грудь свою.—Здѣсь холодно, какъ въ могилѣ.

— Вамъ надобенъ покой.

— Не бойтесь!—сказалъ съ горькой улыбкою Рославлевъ.—Я найду его.

— Но, по крайней мѣрѣ, примите это лѣкарство и дайте мнѣ перевязать вашу руку.

— И, полноте! на что это? Я могу еще владѣть саблею. Благодаря Бога, правая рука моя цѣла: не бойтесь, она найдетъ еще дорогу къ сердцу каждаго француза. Ну, что?—продолжалъ Рославлевъ, обращаясь къ вошедшему Егору.—Что лошади?

— Привелъ, сударь!

Рославлевъ всталъ и, шатаясь, подошелъ къ лѣкарю. Вотъ письмо къ Пелагеѣ Николаевнѣ,—сказалъ онъ. — Потрудитесь отдать его. Прощайте!

Лѣкарь взялъ молча письмо и вышелъ вслѣдъ за Рославлевымъ на крыльцо.—Прощайте, прощайте!...— повторялъ Рославлевъ, садясь въ телѣгу.—Скажите ей... Нѣтъ! не говорите ничего!...

— Я сегодня поутру ее видѣлъ, — сказалъ вполголоса лѣкарь;—и еслибъ вы на нее взглянули... Ахъ, Владиміръ Сергѣевичъ! Она несчастнѣе васъ!

— Слава Богу! И такъ, этотъ французъ не совсѣмъ еще задушилъ въ ней совѣсть!

— Я лѣкарь, Владиміръ Сергѣевичъ; я привыкъ видѣть горесть и отчаяніе; но, клянусь вамъ Богомъ, въ жизнь мою не видывалъ ничего ужаснѣе. Она въ полной памяти, а говоритъ безпрестанно о церковной паперти; видитъ вездѣ кровь, сумасшедшую Ѳедору; то хохочетъ, то стонетъ, какъ умирающая; а слезы не льются...

— Ступай!—закричалъ Рославлевъ. Извозчикъ тронулъ лошадей.—Нѣтъ, нѣтъ, постой! Итакъ, она очень несчастлива?—продолжалъ онъ, обращаясь къ лѣкарю. — Очень?

Послушайте!—скажите ей, что я здоровъ... что она... подайте назадъ мое письмо.

Лѣкарь подалъ ему письмо; Рославлевъ схватилъ его, изорвалъ и закричалъ извозчику:—Пять рублей на водку, но до самой станціи вскачь—пошелъ!

Менѣе чѣмъ въ два часа примчались они на первую станцію. Рославлевъ, несмотря на убѣжденія своего слуги, не хотѣлъ отдохнуть; онъ увѣрялъ, что чувствуетъ себя совершенно здоровымъ; но его пылающія щеки, дикій, безпокойный взглядъ—все доказывало, что сильная горячка начинаетъ свирѣпствовать въ крови его. Перемѣнивъ лошадей, они поскакали далѣе. Не болѣе двадцати верстъ оставалось до Москвы. Они не обогнали никого, но почти на каждой верстѣ встрѣчались съ ними проѣзжіе; не слышно было веселыхъ пѣсенъ извозчиковъ; молча, какъ въ похоронномъ ходу, тянулись по большой Московской дорогѣ цѣлые обозы экипажей. Многіе изъ проѣзжающихъ, идя задумчиво подлѣ каретъ своихъ, обращали отъ времени до времени свой тоскливый взглядъ туда, гдѣ позади ихъ осталась опустѣвшая Москва. Быть можетъ, они въ послѣдній разъ простились съ нею. Ихъ пасмурныя лица казались еще грустнѣе отъ противуположности съ веселыми и беззаботными лицами дѣтей, которыя, выглядывая изъ дорожныхъ экипажей, съ шумной радостью любовались открытыми полями и зеленѣющимся лѣсомъ.

— Что это, баринъ?—сказалъ Егоръ:—никакъ изъ Москвы всѣ выбираются? Посмотрите-ка впередъ—повозокъ то, каретъ!... видимо-невидимо! Охъ, сударь! знать, ужь французы недалеко отъ Москвы.

— Ахъ, какъ бы я желалъ этого! — сказалъ Рославлевъ.

— Что вы? Христосъ съ вами! Эхъ, баринъ, баринъ! не хороши у васъ глаза: вы, точно, нездоровы.

— И врешь! я совершенно здоровъ; но мнѣ душно... здѣсь все такъ тихо, мертво... Въ Москву, скорѣй въ Москву!... Тамъ наши войска, тамъ скоро будутъ французы... тамъ, на развалинахъ ея, рѣшится судьба Россіи... тамъ... Да, Егоръ! тамъ мнѣ будетъ легче... Пошелъ!...

Егоръ покачалъ печально головой.

— Послушайте, Владиміръ Сергѣичъ,—сказалъ онъ, — не пріостановиться ли намъ гдѣ-нибудь? Мнѣ кажется, у васъ жаръ.

— Да! Мнѣ что то душно, жарко; здѣсь и воздухъ меня давитъ.

— Вотъ ямщикъ будетъ спускать съ горы, а вы пройдитесь пѣшкомъ, сударь; это васъ поосвѣжитъ.

Рославлевъ слѣзъ съ телѣги и, пройдя нѣсколько шаговъ по дорогѣ, вдругъ остановился.—Слышишь, Егоръ? — сказалъ онъ:—выстрѣлъ, другой!..

— Вѣрно кто-нибудь охотится.

— Еще!... еще!... Нѣтъ, это перестрѣлка!... Гдѣ моя сабля?

— Помилуйте, сударь! да здѣсь слыхомъ не слыхать о французахъ. Не казаки ли шалятъ?... Говорятъ, здѣсь ихъ цѣлыя партіи разъѣзжаютъ. Ну вотъ, извольте видѣть. Вонъ изъ-за лѣса то показались, съ пиками. Ну, такъ и есть—казаки.

Съ полверсты отъ того мѣста, гдѣ стоялъ Рославлевъ, выѣхали на большую дорогу человѣкъ сто казаковъ и почти столько же гусаръ. Впереди отряда ѣхали двое офицеровъ: одинъ высокаго роста, въ бѣлой кавалерійской фуражкѣ и буркѣ; другой средняго роста, въ кожаномъ картузѣ и зеленомъ спензерѣ, съ чернымъ артиллерійскимъ воротникомъ; сѣдло, мундштукъ и сбруя на его лошади были французскіе. Когда отрядъ поровнялся съ нашими пріѣзжими, то офицеръ въ зеленомъ спензерѣ, взглянувъ на Рославлева, остановилъ лошадь, приподнялъ вѣжливо картузъ и сказалъ:—Если не ошибаюсь, мы съ вами не въ первый разъ встрѣчаемся?

Рославлевъ тотчасъ узналъ въ семъ незнакомцѣ молчаливаго офицера, съ которымъ мѣсяца три тому назадъ готовъ былъ стрѣляться въ звѣринцѣ Царскаго Села; но теперь Рославлевъ съ радостію протянулъ ему руку: онъ вполнѣ раздѣлялъ съ нимъ всю ненависть его къ французамъ.

— Ну вотъ,—продолжалъ артиллерійскій офицеръ, — предсказаніе мое сбылось: вы въ мундирѣ, съ подвязанной рукой, и вѣрно теперь на станете стрѣляться со мною, чтобъ спасти не только одного, но и цѣлую сотню французовъ.

— О, въ этомъ вы можете быть увѣрены! — отвѣчалъ Рославлевъ, и глаза его заблистали бѣшенствомъ. — Ахъ! если бъ я могъ утонуть въ крови этихъ изверговъ.

Офицеръ улыбнулся.—Вотъ такъ то лучше! — сказалъ онъ.—Только вы напрасно горячитесь: ихъ должно всѣхъ

душить безъ пощады; переводить, какъ мухъ; но сердиться на нихъ... И, полноте! Сердиться нездорово! Куда вы ѣдете?

— Въ Москву.

— Если для того, чтобъ лѣчиться, то я совѣтовалъ бы вамъ ѣхать въ другое мѣсто. Близъ Можайска было генеральное сраженіе, наши войска отступаютъ и, можетъ быть, дня черезъ четыре французы будутъ у Москвы.

— Тѣмъ лучше! Тамъ должна рѣшиться судьба нашего отечества, и если я не увижу гибели всѣхъ французовъ, то по крайней мѣрѣ умру на развалинахъ Москвы.

— А если Москву уступятъ безъ боя.

— Безъ боя? Нашу древнюю столицу?

— Чтожъ тутъ удивительнаго? Вѣдь городъ безъ жителей то же, что тѣло безъ души. Пусть французы завладѣютъ этимъ трупомъ, лишь только бы намъ удалось похоронить ихъ вмѣстѣ.

— Какъ? Вы думаете?...

— Да тутъ и думать нечего. Отпоемъ за одинъ разъ вѣчную память и Москвѣ и французамъ, такъ дѣло и кончено. Мы, русскіе, дѣлежа не любимъ: не наше, такъ ничье! Какъ на прощаньи зажгутъ со всѣхъ четырехъ концовъ Москву, такъ французамъ пожива будетъ не большая; побарятся, поважничаютъ денька три, а тамъ и ѣсть захочется; а для этого надобно фуражировать. Милости просимъ!... То то будетъ потѣха! Они начнутъ рыскать вокругъ Москвы, какъ голодные волки, а мы станемъ охотиться. Чего другого, а за одно поручиться можно: не много изъ этихъ фуражировъ воротятся во Францію.

— Итакъ, вы полагаете, что партизанская война...

— Не знаю, что впередъ, а теперь это самое лучшее средство поровнять наши силы. Да вотъ, напримѣръ, у меня всего сотни двѣ молодцовъ; а еслибъ вы знали, сколько они передушили французовъ; до сихъ поръ ужь человѣкъ по десяти на брата досталось. Правда, народъ то у меня славный!—прибавилъ артиллерійскій офицеръ съ ужасной улыбкою: — все ребята безпардонные; сентиментальныхъ нѣтъ!

— Неужели вы въ плѣнъ не берете?

— Случается. Вотъ третьяго дня мы захватили человѣкъ двадцать; хотѣлось было доставить ихъ въ главную квартиру, да надоѣло таскать съ собою. Я бросилъ ихъ на дорогѣ, недалеко отсюда.

— Безъ всякаго конвоя?

— И что за бѣда! Ихъ приберетъ земская полиція. Ну, что? Вы все-таки поѣдете въ Москву?

— Непремѣнно. Вы можете думать, что вамъ угодно, но я увѣренъ: ея не отдадутъ безъ боя. Можетъ ли быть, чтобъ эта древняя столица Царей Русскихъ, этотъ первопрестольный городъ...

— Первопрестольный городъ!.. Такъ чтожъ? Развѣ его никогда не жгли и не грабили то поляки, то татары? Пускай потѣшатся и французы! Прежніе гости дорого за это платили, поплатятся и эти. Конечно, патріоты вздохнутъ о Кремлѣ, барыни о Кузнецкомъ мостѣ, чувствительные люди о всей Москвѣ—расплачутся, разревутся; а тамъ начнутъ снова строить дома, и черезъ десять лѣтъ Москва будетъ опять Москвою. Да только ужь въ другой разъ французы не захотятъ въ ней гостить. Ну, прощайте!.. А, право, я совѣтовалъ бы вамъ не ѣздить въ Москву. Вамъ надо полѣчиться: лицо у васъ вовсе не хорошо.

— Это ничего: два дня покоя, потомъ сраженіе подъ Москвой, и я буду совершенно здоровъ. Прощайте!

Рославлевъ сѣлъ въ телѣгу и отправился далѣе. Съ каждымъ шагомъ впередъ, большая дорога становилась похожѣе на проѣзжую улицу: сотни пѣшеходцевъ пробирались полями и опереживали длинные обозы, которые медленно тащились но большой дорогѣ. Когда наши путешественники поровнялись съ лѣсомъ, то Егоръ замѣтилъ бо́льшую толпу разнаго состоянія проходящихъ, которые, казалось, съ любопытствомъ тѣснились вокругъ одного мѣста, подлѣ самой опушки лѣса. Нѣсколько минутъ онъ смотрѣлъ внимательно въ эту сторону, вдругъ толпа раздвинулась, и Егоръ вскричалъ съ ужасомъ: посмотрите-ка, сударь, посмотрите: французы!

— Французы!—повторилъ Рославлевъ, хватаясь за рукоятку своей сабли.—Гдѣ?

— Да развѣ не видите, сударь? Вонъ налѣво то, подлѣ самаго лѣса.

— Боже мой!—вскричалъ Рославлевъ, закрывъ рукою глаза.—Боже мой!—повторилъ онъ съ невольнымъ содроганіемъ.—Я самъ... да, я ненавижу французовъ: но разстрѣливать хладнокровно беззащитныхъ плѣнныхъ!.. Нѣтъ, это ужасно!

— И, баринъ! что объ нихъ жалѣть!—сказалъ ямщикъ: —

буяны!... А кучка порядочная! Посмотрите-ка, сударь, сколько ихъ навалено.

— Проѣзжай скорѣе!—закричалъ Рославлевъ.—Пошелъ!

Извозчикъ нехотя погналъ лошадей, и, безпрестанно оглядываясь назадъ, посматривалъ съ удивленіемъ на русскаго офицера, который не радовался, а, казалось, горевалъ, видя убитыхъ французовъ. Рославлевъ слабѣлъ примѣтнымъ образомъ, голова его пылала, дыханье спиралось въ груди; всѣ предметы представлялись въ какомъ то смѣшанномъ, безпорядочномъ видѣ, и холодный осенній воздухъ казался ему палящимъ зноемъ.

Черезъ часъ сверкнулъ вдали позлащенный крестъ Ивана Великаго, черезъ нѣсколько минутъ показались главы соборныхъ храмовъ, и древняя столица, сердце, мать Россіи —Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой равнинѣ, усѣянной обширными садами. Москва-рѣка, извиваясь, текла посреди холмистыхъ береговъ своихъ; но безчисленныя барки, плоты и суда не пестрили ея гладкой поверхности; вѣтеръ не доносилъ до проѣзжающихъ отдаленный гулъ, и невнятный, но исполненный жизни говоръ многолюднаго города; по большимъ дорогамъ шумѣлъ и толпился народъ; но Москва, какъ жертва, обреченная на закланіе, была безмолвна. Изрѣдка кой-гдѣ дымились трубы, и какъ черный погребальный крепъ, густой туманъ висѣлъ надъ кровлями опустѣвшихъ домовъ. Ахъ, скоро, скоро, кормилица Россіи — Москва, скоро прольются по твоимъ осиротѣвшимъ улицамъ пламенныя рѣки; святотатственная рука враговъ сорветъ крестъ съ твоей соборной колокольни, разрушитъ стѣны священнаго Кремля, осквернитъ твои древніе храмы; но русскіе всегда возлагали надежду на Господа, и ты воскреснешь, Москва, какъ обновленное, младое солнце, ты снова взойдешь на небеса Россіи; а враги твои... Ахъ! вы не воскреснете, несчастныя жертвы властолюбія: воины, посѣдѣвшіе въ бояхъ, юноши, краса и надежда Франціи, вы не обнимете родныхъ своихъ! Ваши кости, разсѣянныя по обширнымъ полямъ, запашутся сохою, и долго, долго изустная повѣсть объ ужасной смерти вашей будетъ приводить въ трепетъ каждаго иноземца!

VII.

Рано поутру, на высокомъ и утесистомъ берегу Москвы-рѣки, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Драгомиловскій мостъ

соединяетъ ямскую слободу съ городомъ, стояли и сидѣли отдѣльными группами человѣкъ пятьдесятъ, разнаго состоянія, людей; внизу весь мостъ былъ усыпанъ любопытными, и вплоть до самой Смоленской заставы, по всей слободѣ, какъ на гуляньѣ, шумѣли и пестрѣлись густыя толпы народныя. По Смоленской дорогѣ отступали наши войска, черезъ Смоленскую заставу проѣзжали курьеры съ извѣстіями изъ большой арміи, а посему всѣ оставшіеся жители московскіе спѣшили къ Драгомиловскому мосту, чтобъ узнать скорѣе объ участи нашего войска. Послѣдствія Бородинскаго сраженія были еще неизвѣстны; но грозные слухи о приближеніи французовъ къ Москвѣ становились съ каждымъ днемъ вѣроподобнѣе. Вотъ вдали зазвенѣлъ колокольчикъ, раздался шумъ, по слободѣ отъ заставы несется тройка курьерскихъ, народъ зашевелился, закипѣлъ, толпы сдвинулись, и ямщикъ долженъ былъ поневолѣ остановить лошадей.—Что вы, ребята?—закричалъ курьеръ.—Посторонитесь!

— Нѣтъ, нѣтъ! — загремѣли тысячи голосовъ; — скажи прежде, что наши?

— Вамъ это объявятъ.

— Нѣтъ! ты ѣдешь изъ арміи—говори!... Что свѣтлѣйшій?... что французы?

— Побѣда, ребята, побѣда!...

— Побѣда!... — повторилъ народъ. — Слава Тебѣ, Господи!... Къ Иверской, православные! Къ Иверской!... Пропустите курьера... посторонитесь!... Побѣда!...—Толпа отхлынула, и курьеръ помчался далѣе.

Одинъ молодцоватый, съ окладистой темнорусой бородою, купецъ, отдѣлясь отъ толпы народа, которая тѣснилась на мосту, взобрался прямой дорогой на крутой берегъ Москвы-рѣки и, пройдя мимо нѣсколькихъ щеголевато одѣтыхъ молодыхъ людей, шопотомъ разговаривающихъ межъ собою, подошелъ къ старику, съ сѣдой, какъ снѣгъ, бородою, который, облокотясь на береговыя перила, смотрѣлъ задумчиво на толпу, шумящую внизу подъ его ногами.

— Слышите ли, Иванъ Архиповичъ,—сказалъ молодой купецъ старику:—побѣда!

— Слышу, батюшка Андрей Васьяновичъ! — отвѣчалъ старикъ,—слышу. Да точно ли такъ?

— Дай то Господи!... а что то не вѣрится. Я самъ слышалъ, какъ курьеръ сказалъ: побѣда! Слова радостныя,

да лицо то у него вовсе не праздничное. Кабы въ самомъ дѣлѣ Заступница помогла намъ разгромить этихъ супостатовъ, такъ онъ не сталъ бы говорить сквозь зубы, а крикнулъ бы такъ, что сердце бы у всѣхъ запрыгало отъ радости. Нѣтъ, Иванъ Архипычъ! видно, худо дѣло!...

— Да, батюшка, гнѣвъ Божій!... Мы все твердили, что Господь долготерпѣливъ и многомилостивъ, а никто не думалъ, что Онъ же и правосуденъ; грѣшили да грѣшили—вотъ и дождались, что нехотя придетъ каяться.

— Конечно, Иванъ Архипычъ, въ грѣхахъ надобно каяться, а все-таки живымъ въ руки даваться не должно; и если Москву будутъ отстаивать, то я ужь вѣрно дома не останусь.

— И мои сыновья говорятъ тоже; да полно, будутъ ли ее отстаивать? Хоть и въ сегодняшней афишкѣ напечатано, что скоро понадобятся молодцы и городскіе и деревенскіе, а всѣ заставы отперты, и народъ валомъ валитъ вонъ изъ города. Нѣтъ, Андрей Васьяновичъ, не сдобровать матушкѣ Москвѣ: дожили мы опять до татарскаго погрома.

— А можетъ быть и до Мамаева побоища. Эхъ, Иванъ Архиповичъ, унывать не должно! Да если Господь попуститъ французамъ одолѣть насъ теперь, такъ чтожъ? У насъ, благодаря Бога, не такъ, какъ у нихъ—простору довольно. Погоняются, погоняются за ними, да устанутъ; а мы все-таки, рано или поздно, а свое возьмемъ.

— Такъ ты, батюшка, хочешь, если придетъ бѣда неминучая, уйти также изъ Москвы?

— А чтожъ? или принимать французовъ съ хлѣбомъ да солью? А вы, Иванъ Архиповичъ?

— Эхъ, родимый, куда я потащусь? Старикъ я дряхлый; да и Мавра-та Андревна моя насилу ноги таскаетъ.

— Конечно; вотъ я человѣкъ одинокій: котомку за плеча, да и пошелъ, куда глаза глядятъ.

— У меня же есть большая забота, Андрей Васьяновичъ! На кого я покину моего гостя?

— Гостя? какого гостя?

— А вотъ изволишь видѣть: вчерась я шелъ отъ свата Савельича, такъ около сумерекъ; глядь — у самыхъ Серпуховскихъ воротъ стоитъ тройка почтовыхъ; на телѣгѣ лежитъ раненый русскій офицеръ, и слуга около него что то больно суетится. Смотрю, лицо у слуги какъ будто бы знакомое; я подошелъ, и лишь только взглянулъ на офи-

цера, такъ сердце у меня и замерло! Сердечный! Въ горячкѣ, безъ памяти, и кто-жъ?... Помнишь, Андрей Васьяновичъ, мѣсяца три тому назадъ, мы догнали въ селѣ Завидовѣ проѣзжаго офицера?

— Который довезъ насъ до Москвы въ своей коляскѣ? Какъ не помнить; я и фамилію его не забылъ. Кажется, Рославлевъ?...

— Да, онъ и есть! Гляжу, слуга его чуть не плачетъ, баринъ безъ памяти, а онъ самъ не знаетъ, куда ѣхать. Я обрадовался, что Господь привелъ меня хоть чѣмъ-нибудь возблагодарить моего благодѣтеля. Велѣлъ ямщику ѣхать ко мнѣ и отвелъ больному лучшую комнату въ моемъ домѣ. Нашъ частный лѣкарь прописалъ лѣкарство, и ему теперь какъ будто бы полегче; а все еще въ память не приходитъ.

— Чтожъ вы будете дѣлать, если французы войдутъ въ Москву? Вѣдь его, какъ плѣннаго офицера, у васъ не оставятъ.

— Ужъ я обо всемъ съ домашними условился: мундиръ его припрячемъ подалѣ, и если до чего дойдетъ, такъ я назову его моимъ сыномъ. Сосѣдъ мой, золотыхъ дѣлъ мастеръ, Францъ Иванычъ, сталъ было мнѣ отсовѣтывать, и говорилъ, что мы этакъ бѣду наживемъ; что если французы дознаются, что мы скрываемъ у себя подъ чужимъ именемъ русскаго офицера, то, пожалуй, разстрѣляютъ насъ, какъ шпіоновъ; но не только я, да и старуха моя слышать объ этомъ не хочетъ! Что будетъ, то и будетъ, а благодѣтеля нашего не выдадимъ.

— Сохрани, Боже, выдать! Только напрасно объ этомъ сосѣдъ то вашъ знаетъ. Смотрите, чтобъ этотъ Францъ Иванычъ...

— Нѣтъ, Андрей Васьяновичъ! Конечно, самъ онъ отъ непріятеля не станетъ прятать русскаго офицера, да и на насъ не донесетъ; вѣдь онъ не французъ, а нѣмецъ; и надобно сказать правду — честная душа! А подумаешь, куда тяжко будетъ, если Господь насъ не помилуетъ. Ты увидешь, Андрей Васьяновичъ, а каково то будетъ мнѣ смотрѣть, какъ эти злодѣи станутъ владѣть Москвою, разорять храмы Господни, жечь домы наши...

— Моихъ Замоскворѣцкихъ домовъ не сожгутъ, Иванъ Архиповичъ!

— А почему такъ?

— Да потому, что прежде чѣмъ французская нога пере-

ступитъ черезъ мой порогъ, я запалю ихъ самъ своей рукою; я ужь, на всякій случай, и смоляныхъ бочекъ припасъ. Вчера разговорились со мной объ этомъ молодцы изъ Каретнаго ряда: и они то-же поютъ. Не много французовъ станетъ разъѣзжать въ русскихъ каретахъ, и если подлинно Москвы отстаивать не будутъ, хоть то порадуетъ наше сердце, что этотъ Бонапартій грибъ съѣстъ. Чай, онъ теперь разсуждаетъ со своими генералами, какая встрѣча ему будетъ; дѣлаетъ раскладку, да подводитъ итоги, сколько надо собрать съ насъ контрибуціи. Дожидайся, голубчикъ! Много возьмешь! Поднесемъ мы тебѣ хлѣбъ съ солью! Развѣ одинъ Кузнецкій мостъ выйдетъ къ тебѣ на встрѣчу, да съ полсотни такихъ же шалопаевъ, какъ эти молокососы,— прибавилъ купецъ, указывая на троихъ молодыхъ людей, которые вполголоса разговаривали межъ собою. — Слышите-ль, Иванъ Архиповичъ? Вѣдь они по-французски говорятъ.

— И, батюшка, какое намъ до этого дѣло? Видно, магазинщики съ Кузнецкаго моста, такъ и говорятъ по своему.

— Нѣтъ, Иванъ Архиповичъ, одинъ то изъ нихъ русскій и нашъ братъ, купецъ — вонъ что въ синемъ сюртукѣ. Я ужь не въ первый разъ его вижу. Не знаю, чѣмъ онъ торговалъ прежде, а теперь, кажется, за дурной взялся промыселъ. Ну, то-ли время, чтобъ русскому якшаться съ французами? А у него другой компаніи нѣтъ. Слышите-ли, какъ онъ имъ напѣваетъ? и вѣрно что-нибудь благое. Отчего они такъ робко вокругъ себя посматриваютъ? Для чего говорятъ вполголоса? Глядите!... Вытащилъ изъ кармана бумагу... читаетъ имъ... Хоть сейчасъ голову на плаху, а тутъ есть что-нибудь недоброе!... Видите-ли, какъ у этихъ французовъ рожи расцвѣли — такъ и ухмыляются!... Эхъ, еслибъ вывѣдать какъ-нибудь!... Постойтека, авось удастся!...

Купецъ подошелъ къ молодому человѣку въ синемъ сюртукѣ и, поклонясь ему вѣжливо, сказалъ вполголоса:— Позвольте мнѣ васъ предостеречь, батюшка. Вы, кажется, русскій?

Молодой человѣкъ спряталъ поспѣшно въ карманъ бумагу, которую читалъ своимъ товарищамъ, и, взглянувъ недовѣрчиво на купца, отвѣчалъ отрывистымъ голосомъ: Да, сударь!... Что вамъ угодно?

— А эти господа, кажется, французы?

— Ну да! Такъ чтожъ?

— Да такъ, батюшка; вы съ ними говорите по французски, стоите вмѣстѣ...

— Такъ чтожъ? — повторилъ молодой человѣкъ.—Развѣ это уголовное преступленіе? Они мои пріятели.

— И можетъ быть пречестные люди, да время то не то, батюшка.

— Я во всякое время въ правѣ говорить съ моими пріятелями, и желалъ бы знать, кто можетъ запретить мнѣ?...

— Ужь конечно не я. По мнѣ тутъ нѣтъ ничего худого; а еще, можетъ быть, это знакомство и очень вамъ пригодится. Да простой то народъ глупъ, батюшка! Пожалуй, сочтутъ васъ шпіономъ. Поди, толкуй имъ, что не ихъ дѣло въ это мѣшаться, что мы люди не военные, что въ чужихъ земляхъ войска дерутся, а обыватели сидятъ смирно по домамъ; и если непріятель войдетъ въ городъ, такъ, для сохраненія своихъ имуществъ, принимаютъ его съ честью. Что, въ самомъ дѣлѣ! не нами свѣтъ начался, не нами кончится. Когда вездѣ ужь такъ заведено, такъ намъ то къ чему быть выскочками?

Молодой человѣкъ улыбнулся съ удовольствіемъ и, поглядѣвъ пристально на купца, сказалъ:—Я вижу, что вы, несмотря на вашъ костюмъ, человѣкъ просвѣщенный, и не убѣжите изъ Москвы, когда Наполеонъ войдетъ въ нее побѣдителемъ.

— Нѣтъ, батюшка!... У меня здѣсь два дома и три лавки, такъ слуга покорный! Если будутъ какіе поборы, такъ чтожъ? Лучше отдать половину, чѣмъ все потерять.

— Половину? Да кто вамъ сказалъ, что вы отдадите что-нибудь? Съ чего вы взяли, что французы грабители? Я вижу, вы человѣкъ умный; неужели вы въ самомъ дѣлѣ вѣрите тому, въ чемъ насъ стараются увѣрить? Пора, кажется, намъ перестать быть варварами и хотя нѣсколько походить на другихъ европейцевъ. Помилуйте! бѣжать вонъ изъ города!... Да развѣ французы татары? Французы самая великодушная и благородная нація въ Европѣ. Знаете ли, чего боится наше правительство? Не французовъ, а просвѣщенія, которое они принесутъ вмѣстѣ съ собою. Повѣрьте мнѣ, еслибъ московскіе жители встрѣтили Наполеона съ должной почестью...

— Эхъ, батюшка, за этимъ бы дѣло не стало, да вѣдь

Богъ вѣсть! Ну, какъ въ самомъ дѣлѣ онъ примется разорять насъ? Кто знаетъ, что у него на умѣ?

— Кто знаетъ? Многіе это знаютъ. И если хотите, — прибавилъ молодой человѣкъ, почти шопотомъ, — и вы будете это знать.

— Какъ не хотѣть, батюшка. Какъ знаешь, чего ждать, такъ все-таки куражнѣе. А развѣ вамъ что-нибудь извѣстно?

— Да!... но говорите тише. У меня есть прокламація Наполеона къ московскимъ жителямъ.

— Прокламація?...

— То-есть воззваніе, манифестъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ купецъ съ живостію, но вдругъ, понизивъ голосъ, продолжалъ: — Прокламація, сирѣчь манифестъ? Понимаю, батюшка! Эхъ, жаль!... Чай, писано по-французски?

— У меня есть и переводъ.

— Переводъ? Покажите-ка, отецъ родной! Да кто это добрый человѣкъ потрудился перевести? Ужь не вы ли, батюшка?

— Я или не я, какое вамъ до этого дѣло; только переводъ недуренъ, за это я вамъ ручаюсь, — прибавилъ съ гордой улыбкою краснорѣчивый незнакомецъ, вынимая изъ кармана исписанную кругомъ бумагу. Купецъ протянулъ руку; но въ ту самую минуту молодой человѣкъ поднялъ глаза и — взоры ихъ встрѣтились. Кипящій гнѣвомъ и исполненный презрѣнія взглядъ купца, который не могъ уже долѣе скрывать своего негодованія, поразилъ измѣнника; онъ поспѣшилъ спрятать бумагу опять въ карманъ, и отступилъ шагъ назадъ.—Ни съ мѣста, предатель.—закричалъ купецъ, схвативъ его за воротъ. — Подай бумагу!—Молодой человѣкъ поблѣднѣлъ какъ смерть, рванулся изо всей силы и, оставивъ въ рукѣ купца лоскутъ своего сюртука, ударился бѣжать. — Держите, — закричалъ купецъ, — православные, держите! Это шпіонъ, измѣнникъ!...—Но вдругъ изъ толпы, которая стояла подъ горою, раздался громкій крикъ.—Солдаты, солдаты! французскіе солдаты!... — закричало нѣсколько голосовъ. Весь народъ взволновался; передніе кинулись назадъ, задніе побѣжали впередъ, и въ одну минуту улица, идущая въ гору, покрылась народомъ. Молодой человѣкъ, пользуясь симъ минутнымъ смятеніемъ, бросился въ толпу и исчезъ изъ глазъ купца. — Ушелъ, разбойникъ! — сказалъ онъ, скрипя отъ бѣшенства зубами. — Да

не сдобровать же тебѣ, Іуда предатель. Господи, Боже мой, до чего мы дожили! Русскій купецъ—и можетъ быть сынъ благочестивыхъ родителей!...

Межъ тѣмъ небольшой отрядъ, надѣлавшій такъ много тревоги, приближался къ мосту; впереди шло человѣкъ пятьсотъ безоружныхъ французовъ, и не удивительно, что они перепугали народъ. Издали ихъ нельзя было принять за плѣнныхъ, которыхъ обыкновенно водятъ безпорядочной толпою. Напротивъ, эти французы шли по улицѣ почти церемоніальнымъ маршемъ, повзводно, тихимъ, ровнымъ шагомъ, и даже съ наблюденіемъ должной дистанціи. Конвой, состоящій изъ полуроты пѣхотныхъ солдатъ, шелъ позади, а сбоку ѣхалъ на казацкой лошади начальникъ ихъ, толстый, лѣтъ сорока офицеръ, въ форменномъ армейскомъ сюртукѣ; рядомъ съ нимъ ѣхали двое русскихъ офицеровъ: одинъ раненый въ руку, въ плащѣ и уланской шапкѣ; другой въ гусарскомъ мундирѣ, фуражкѣ и съ обвязанной щекой. Гусарскій офицеръ первый замѣтилъ ошибку народа.—Посмотри, Зарядьевъ, — сказалъ онъ пѣхотному офицеру, — вѣдь насъ приняли за французовъ; а все ты виноватъ: твои плѣнные маршируютъ какъ на ученьѣ.

— А по твоему лучше-бы, — возразилъ пѣхотный офицеръ, — чтобъ они шли, какъ попало. Еслибъ имъ отъ этого было легче, то такъ бы ужь и быть; а то что толку? — Какъ хочешь иди, а переходъ надобно сдѣлать. Посмотришь, у другихъ — терпѣть не могу — разбредутся по сторонамъ: одни убѣгутъ впередъ, другіе оттянутъ за версту; ну, то ли дѣло, когда идутъ порядкомъ? Самимъ веселѣе. — Эй, Деминъ! — продолжалъ онъ, обращаясь къ видному унтеръ-офицеру, — забѣги впередъ и пріостанови первый взводъ. Куда торопятся эти французы! — Да посмотри, правый то флангъ совсѣмъ завалился.

Уланскій офицеръ улыбнулся.

— Ну что ты смѣешься, Сборскій? — сказалъ гусарскій офицеръ. — Зарядьевъ правъ: онъ любитъ дисциплину и порядокъ, за то, посмотри, какая у него рота; я видѣлъ ее въ дѣлѣ — молодцы! подъ ядрами въ ногу идутъ.

— Что ты, Зарѣцкій! Я вовсе не думалъ смѣяться; да, признаюсь, мнѣ и не до того: рука моя больно шалитъ. Послушай, братецъ! Наше торжественное шествіе можетъ продолжиться долго, а домъ моей тетки на Мясницкой: поѣдемъ скорѣе.

— Поѣдемъ.

Оба кавалериста кивнули головами Зарядьеву и пустились рысью къ Смоленскому рынку.

— Ты долго проживешь въ Москвѣ? — спросилъ Зарѣцкій своего товарища.

— Долго? Да развѣ это зависитъ отъ меня? Можетъ быть, дня черезъ три сюда пожалуютъ гости, съ которыми я пировать вовсе не намѣренъ.

— Такъ ты полагаешь, что ихъ не встрѣтятъ?...

— Пушечными выстрѣлами? Врядъ ли. Да и депутаціи также не будетъ.

— Ну, Богъ знаетъ. — Я думаю, въ Москвѣ наберется еще десятка два-три французскихъ учителей; Наполеонъ назоветъ ихъ въ своемъ бюллетенѣ сенаторами, а добрые парижане всему повѣрятъ. Однако же, что ни говори, а свое поневолѣ любишь. Я терпѣть не могу Москвы, а теперь мнѣ ее жаль. Въ прошлую зиму я прожилъ въ ней два мѣсяца и чуть не умеръ съ тоски: театръ предурной, балы прескучные, а сплетней, сплетней!... Ну, право, здѣсь въ однѣ сутки услышишь больше комеражей, чѣмъ въ круглый годъ въ нашемъ благочестивомъ Петербургѣ, который также не очень забавенъ — надобно отдать ему эту справедливость.

— А гдѣ же по твоему весело?

— Гдѣ? — Да тамъ, гдѣ некогда подумать о дѣлѣ, напримѣръ, въ Парижѣ.

— И, милый! Парижъ отъ насъ такъ далеко.

— Не дальше и не ближе, какъ Москва отъ французовъ. Что если бы... на свѣтѣ все круговая порука, и ежели французы побываютъ въ Москвѣ, такъ почему бы, кажется, и намъ не загулять въ Парижъ? Къ тому-жъ вѣжливость требуетъ...

— А что ты думаешь? Въ самомъ дѣлѣ, не заготовить ли намъ визитныхъ карточекъ?

— Ахъ, чортъ возьми! То то бы повеселились! А, кажется, они въ Москвѣ не очень будутъ веселиться. Посмотри-ка, по всей Арбатской улицѣ ни одной души. Ну, чего другого, а французамъ просторъ будетъ славный!

Въ самомъ дѣлѣ, отъ Драгомиловскаго моста до самой Мясницкой они встрѣтили не болѣе трехъ каретъ, запряженныхъ по-дорожному, и только на Красной площади и около одного дома, на Лубянкѣ, толпился народъ.

— Что это? — сказалъ Сборскій, подъѣзжая къ длинному деревянному дому. — Ставни закрыты, ворота на запорѣ! Ну, видно, плохо дѣло, и тетушка отправилась въ деревню. Тридцать лѣтъ она не выѣзжала изъ Москвы, лѣтъ десять сряду, аккуратно каждый день, дѣлали ей партію два бригадира и одинъ отставной каммергеръ. Ахъ, бѣдная, бѣдная! Съ кѣмъ она будетъ теперь играть въ вистъ?

— Ну, братецъ, куда же намъ дѣваться? — спросилъ Зарѣцкій.

— А вотъ посмотримъ; вѣрно, хоть дворникъ остался.

Офицеры слѣзли съ лошадей, начали стучаться, и черезъ нѣсколько минутъ вышелъ на улицу старикъ, въ изорванной фризовой шинели.

— Ахъ, батюшка! Это вы, Ѳедоръ Васильичъ! — сказалъ онъ, увидя Сборскаго.

— Здравствуй, Ѳедотъ! — Ну что, тетушка въ деревнѣ?

— Да, сударь, изволила уѣхать. Думала, думала, да вдругъ поднялась; вчера по утру закрутила такъ, что и Боже упаси! Порядкомъ заложить не успѣли. Охъ, батюшка! Видно, злодѣи то наши недалеко?

— Нѣтъ, еще не близко. Ну что, есть ли у тебя что-нибудь съѣстное?

— Какъ-же, сударь, весь годовой запасъ: мука, крупа, овесъ, сушеныя куры, вяленая рыба, гусиные полотки, масло...

— Такъ мы и наши лошади съ голоду не умремъ? Слава Богу!

— А есть ли у васъ что нибудь въ подвалѣ?—спросилъ Зарѣцкій.

— Какъ же, сударь! — Однѣхъ виноградныхъ винъ дюжины четыре будетъ.

— Славно! — закричалъ Сборскій. — Смотри, Зарѣцкій, больше пить, чтобъ французамъ ни капли не осталось.— Ну, Ѳедотъ, отпирай ворота! Пойдемъ, братецъ! Дѣлать нечего, займемъ парадныя комнаты.

Пройдя черезъ обширную лакейскую, въ которой стѣны, налакированныя спинами лакеевъ, ничѣмъ не были обиты, они вошли въ столовую, оклеенную зелеными обоями, кругомъ въ холстинныхъ чехлахъ стояли набитые пухомъ стулья; а по стѣнамъ висѣли низанныя изъ стекляруса картины, представляющія попугаевъ, павлиновъ и другихъ естрыхъ птицъ.

— Ну, братецъ!—сказалъ Зарѣцкій,—мы проживемъ здѣсь дня два, три, а потомъ...

— А потомъ, когда нагрянутъ незваные гости, я отправлюсь лѣчиться въ Калугу.—А ты?

— Если щекѣ моей будетъ легче, пристану опять къ нашему войску; а если нѣтъ, то поѣду отсюда къ пріятелю моему Рославлеву.

— Къ Рославлеву?

— Да, онъ лѣчитъ теперь и руку и сердце подлѣ своей невѣсты, верстъ за пятьдесятъ отсюда. Однакожъ, знаешь ли что? Если въ гостиной диваны набиты такъ же, какъ здѣсь стулья, то на нихъ славно можно выспаться. Мы почти всю ночь ѣхали, и не знаю, какъ ты, а я очень усталъ.

— Ну, хорошо, отдохнемъ! — Да не послать-ли дворника отыскать какого-нибудь лѣкаришку? Намъ надобно перевязать наши раны.

— Да, не мѣшаетъ. Ахъ, чортъ возьми! Я думалъ, что французскій латникъ только оцарапалъ мнѣ щеку; а онъ, видно, порядкомъ съѣздилъ меня по рожѣ.

Офицеры послали дворника за лѣкаремъ, а сами пошли въ гостиную и улеглись преспокойно на мягкихъ шелковыхъ диванахъ. — Ахъ, тетушка, тетушка! Съ какимъ бы гнѣвомъ возопила ты на сіе нарушеніе всѣхъ приличій! Какъ ужаснулась бы, увидѣвъ шинели, сабли, мундиры, разбросанные по кресламъ твоей парадной гостиной, и гусарскіе сапоги со шпорами на твоемъ наслѣдственномъ объяринномъ канапе.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I.

2-го числа сентября, часу въ восьмомъ утра, Сборскій, садясь въ телѣжку, запряженную двумя плохими извозчичьими лошадьми, пожалъ въ послѣдній разъ руку своего товарища.—Прощай, мой другъ!—сказалъ онъ.—Боюсь, что мнѣ не удастся полѣчиться въ Калугѣ. Пожалуй, эти французы и оттуда меня выживутъ.

— Но точно ли правда, что они такъ близко отъ Москвы?—спросилъ Зарѣцкій.

— Да вотъ послушай, что онъ говоритъ, — продолжалъ Сборскій, показывая на усастаго вахмистра, который стоялъ, вытянувшись, передъ офицерами.

— У страха глаза велики!—возразилъ Зарѣцкій.—Французовъ ли ты видѣлъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, французы ли—только не наши.

— Да гдѣ-жъ ты ихъ видѣлъ?

— А вотъ вчера, ваше благородіе, меня схватило на походѣ такое колотье, что не чаялъ живъ остаться. Эскадронъ ушелъ впередъ, а меня покинули съ двумя рядовыми въ селѣ Везюмѣ, верстахъ въ тридцати отсюда. Мнѣ стало легче, и я хотѣлъ на другой день чѣмъ-свѣтъ отправиться догонять эскадронъ; вдругъ, этакъ передъ сумерками, глядимъ—по Смоленской дорогѣ пыль столбомъ! Мы скорѣй на

коня, да къ околицѣ; смотримъ—скачутъ въ медвѣжьихъ шапкахъ, а за ними валитъ пѣхота, видимо-невидимо! Подскакали поближе—хлопъ по насъ изъ пистолетовъ! Мы также, да и на утекъ. Обогнали нашихъ полковъ десять: одни идутъ на Москву, другіе обходомъ; а эскадронъ то, видно, принялъ куда-нибудь въ сторону—не изволите-ли знать, ваше благородіе?

— Нѣтъ, братецъ, не знаю,—сказалъ Сборскій.—Послушай, Зарѣцкій, ты будешь держаться около Москвы, такъ возьми его съ собою. Съ тобой надобно же кому-нибудь быть: ты ѣдешь верхомъ. Прощай, мой другъ!... Тьфу, пропасть! Не знаю, какъ тебѣ, а мнѣ больно грустно! Ну, господа французы, дорвемся же и мы когда-нибудь до васъ!

— Признаюсь, и у меня что то вотъ тутъ неловко, — сказалъ Зарѣцкій, показывая на грудь. — Французы подъ Москвою!... Да что горевать, mon cher, придетъ, можетъ быть, и наша очередь; а покамѣстъ — ей! Ѳедотъ! остальныя бутылки съ виномъ выпей самъ или брось въ колодезь. Прощай, Сборскій!

Сборскій отправился на своей телѣжкѣ за Москву-рѣку, а Зарѣцкій сѣлъ на лошадь и въ провожаніи уланскаго вахмистра поѣхалъ черезъ городъ къ Тверской заставѣ. Выѣзжая на Красную площадь, онъ замѣтилъ, что густыя толпы народа съ ужаснымъ шумомъ и крикомъ бѣжали по Никольской улицѣ. Противъ самыхъ Спасскихъ воротъ повстрѣчался съ нимъ Зарядьевъ, который шелъ изъ Кремля.—Ты еще здѣсь, братецъ?—сказалъ съ удивленіемъ Зарѣцкій.

— Сейчасъ отправляюсь,—отвѣчалъ Зарядьевъ.—Слава Богу! развязался съ моими плѣнными: ихъ ведетъ ополченный офицеръ.

— Ну, что слышно?

— Говорятъ, будто бы Наполенъ ночевалъ въ Везюмѣ.

— Такъ поэтому черезъ нѣсколько часовъ?...

— На Поклонной горѣ будутъ французы.

— А наши войска?...

— Тѣ, которыя здѣсь, выходятъ; а другія обошли Москву стороною.

— Итакъ, рѣшительно ее уступаютъ безъ боя?

— Да. Эхъ, Зарѣцкій! Что-бы вдоль Драгомиловскаго моста хоть разика два шарахнуть картечью!... Все-таки

легче-бы на сердцѣ было. И Смоленскъ имъ не дешево достался, а въ Москву войдутъ безъ выстрѣла! Впрочемъ, видно, такъ надобно. Нашъ братъ, фронтовой офицеръ, разсуждать не долженъ: что велятъ, то и дѣлай.

— А мнѣ кажется,—сказалъ Зарѣцкій, — что если бы дали сраженіе подъ Москвою, и здѣшніе жители присоединились къ войску...

— Да!—возразилъ Зарядьевъ, — много бы мы надѣлали съ ними дѣла. Эхъ, братецъ! Что значитъ этотъ народъ? Да я съ одной моей ротой загоню ихъ всѣхъ въ Москву-рѣку. Посмотри-ка, — продолжалъ онъ, показывая на безпорядочныя толпы народа, которыя, шумя и волнуясь, разсыпались по Красной площади.—Ну, на что годится это стадо барановъ? Жмутся другъ къ другу, орутъ во все горло; а начни-ка ихъ плутонгами, такъ съ двухъ залповъ ни одной души на площади не останется.

— Да, что это они такъ расшумѣлись? — прервалъ Зарѣцкій.—Вонъ еще бѣгутъ изъ Никольской улицы... ужь не входятъ ли французы?... Эй, любезный!—продолжалъ онъ, подъѣхавъ къ одному молодому и видному купцу, который, стоя среди толпы, разсказывалъ что то съ большимъ жаромъ:—что это народъ такъ шумитъ?

— Сейчасъ, сударь, казнили одного измѣнника, — отвѣчалъ купецъ, приподнявъ вѣжливо свою шляпу.

— Измѣнника?... А кто онъ такой?

— Стыдно сказать: русскій и нашъ братъ, купецъ! Онъ еще третьяго дня чуть было не попался, да ускользнулъ, проклятый!...

— Что жъ онъ такое сдѣлалъ?

— Да такъ, бездѣлку! Перевелъ манифестъ Наполеона къ московскимъ жителямъ.

— Ахъ онъ негодяй!—вскричалъ Зарядьевъ. — Вотъ то то и дѣло, забрилъ бы ему лобъ, такъ небось не сталъ бы переводитъ Наполеоновскихъ манифестовъ. Купецъ!... Да и пристало ли ему, торгашу, знать по-французски? Видишь, всѣ полѣзли въ просвѣщенные люди!

— Въ этомъ еще не много худого, Зарядьевъ, — прервалъ Зарѣцкій. — Можно въ одно и то же время любить французскій языкъ и не быть измѣнникомъ; а конечно, для этого молодца лучше бы было, еслибъ онъ не учился по французски.—Однакожъ, прощай! Мнѣ еще до заставы версты четыре надобно ѣхать.

Зарѣцкій выѣхалъ Иверскими воротами на Тверскую. Эта великолѣпная улица, за нѣсколько недѣль до сего наполненная народомъ, казалась вовсе необитаемою. Нарядныя вывѣски магазиновъ пестрѣлись по стѣнамъ домовъ; но всѣ двери были заперты. Какъ молчаливыя обители иноковъ, стояли опустѣвшія палаты русскихъ бояръ. Давно ли, подъ ихъ гостепріимнымъ кровомъ, кипѣло все жизнію и весельемъ? Давно ли тѣ самые французы, которые спѣшили завладѣть Москвою, находили въ нихъ всегда радушный пріемъ и, осыпанные ласками хозяевъ, пріучались думать, что русскіе не должны и *не могутъ* поступать иначе?.. Проѣхавъ всю Тверскую улицу, Зарѣцкій остановился на минуту у Тріумфальныхъ воротъ; онъ невольно поворотилъ свою лошадь, чтобъ взглянуть еще разъ на Москву. Сердце его сжалось, на глазахъ навернулись слезы...—Тьфу, пропасть!— сказалъ онъ вполголоса, — я чуть не плачу; а что мнѣ до Москвы?... Дѣло другое, еслибъ родина моя — Петербургъ... Тамъ есть у меня друзья, родные... а здѣсь ровно никого... и, несмотря на это, мнѣ кажется... да, я отдалъ бы жизнь мою, чтобъ спасти эту скучную, несносную Москву, въ которой нога моя никогда не будетъ. Ахъ, чортъ возьми! Ну, прошу послѣ этого быть всемірнымъ гражданиномъ!

Онъ повернулъ свою лошадь, и черезъ нѣсколько минутъ, выѣхавъ за Тверскую заставу, принялъ направо полемъ къ Марьиной рощѣ.

— Осмѣлюсь доложить, ваше благородіе, куда мы ѣдемъ? — спросилъ уланскій вахмистръ.

— Покамѣстъ и самъ не знаю; но, кажется, мы выѣдемъ тутъ на Троицкую дорогу, а тамъ, можетъ быть... Да, надобно взглянуть на Рославлева. Мы проживемъ, братецъ, денька три въ деревнѣ у моего пріятеля, потомъ пустимся догонять наши полки, а межъ тѣмъ лошадь твою и тебя будутъ кормить до отвалу.

— Не худо бы, ваше благородіе! Я еще и туда и сюда, а Саврасый то мой недѣли двѣ овса не нюхалъ. На рысяхъ отъ другихъ не отстанетъ; а еслибъ пришлось идти въ атаку...

— Придется еще, братецъ, не безпокойся. Я увѣренъ, что теперь скорѣй французы захотятъ мириться, чѣмъ мы.

— До мировой ли теперь, ваше благородіе! Дѣло пошло на азартъ, и если они возьмутъ, да разорятъ Москву, такъ

вся святая Русь подымется. Что, въ самомъ дѣлѣ, за буяны?.. Обидно, ваше благородіе!

Зарѣцкій, не желая продолжать разговора съ словоохотнымъ вахмистромъ, вынулъ изъ кармана кисетъ, высѣкъ огня и закурилъ свою трубку. Миновавъ Марьину рощу, они выѣхали на дорогу, ведущую въ Останкино; шагахъ въ пятидесяти отъ нихъ, той же самою дорогою, шелъ одинъ прохожій. По его длинному кафтану, широкому поясу безъ складокъ, а болѣе всего по туго-заплетенной и загнутой кверху косичкѣ, которая выглядывала изъ-подъ широкихъ полей его круглой шляпы, не трудно было отгадать, что онъ принадлежитъ къ духовному званію; на полномъ и румяномъ лицѣ его изображалось какое то беззаботное веселье; онъ шелъ весьма тихо, часто останавливался, поглядывалъ съ удовольствіемъ вокругъ себя, и вдругъ запѣлъ тонкимъ голосомъ:

«Воспоемте, братцы, канту—прелюбезну,
Воспомянемъ скуку,—сердцу преполезну,
Сидя въ школѣ,
Во покоѣ,
Глядя всюду,
Обоюду...»

— Послушайте-ка, любезный!—прервалъ Зарѣцкій, поровнявшись съ пѣвцомъ.

— Quid est? — вскричалъ прохожій, повернувшись къ Зарѣцкому. — Что вамъ угодно, господинъ офицеръ? — продолжалъ онъ, приподнявъ шляпу.

— Не знаете-ли, гдѣ намъ проѣхать на Троицкую дорогу?

— Ступайте прямо, а тамъ поверните направо, мимо рощи. Вонъ видите село Алексѣевское? Оно на большой Троицкой дорогѣ. А что, господинъ офицеръ, что слышно о французахъ?

— Я думаю, они будутъ сегодня въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ!.. Ну, нечего сказать—Satis pro peccatis!.. А впрочемъ, унывать не надобно: finis coronat opus, то есть: конецъ дѣло вѣнчаетъ; а до конца еще, кажется, далеко.

— И я то-же думаю.

— Конечно,—продолжалъ ученый прохожій, — Наполеонъ, сей новый Атилла, есть истинно бичъ небесный; но подождите: non sempar erunt Saturnalia—не все коту масле-

ница. Безспорно, этотъ Наполеонъ хитеръ, да и нашего главнокомандующаго не скоро проведешь. Повѣрьте, недаромъ онъ впускаетъ французовъ въ Москву. Пусть они теперь въ ней попируютъ, а онъ свое возьметъ. Нѣтъ, сударь! хоть свѣтлѣйшій смотритъ и не въ оба, а вѣдь онъ: sibi in mente, сирѣчь: себѣ на умѣ!

— Ого... — сказалъ, улыбаясь, Зарѣцкій, — да вы большой политикъ, господинъ... господинъ...

— Студентъ риторики въ Перервинской семинаріи, — отвѣчалъ ученый, приподнявъ свою шляпу.

— А откуда вы, господинъ студентъ, идете, и куда пробираетесь?

— Я вышелъ сегодня изъ Перервы, а куда иду, еще самъ не знаю. Вотъ изволите видѣть, господинъ офицеръ: меня забираетъ охота подраться также съ французами.

— Вотъ что! — сказалъ Зарѣцкій. — Ай-да, господинъ ученый! Да не хотите ли въ гусары?

— Ни, ни, господинъ офицеръ! Я хочу сражаться какъ простой гражданинъ. Теперь у насъ, безъ сомнѣнія, будетъ bellum populare—то есть народная война; а такъ какъ крестьяне должны также имѣть предводителей...

— Понимаю: вы мѣтите въ начальники русскихъ гверилласовъ; но вѣдь и тутъ надобенъ нѣкоторый навыкъ и военныя познанія; а вы...

— Я знаю наизусть всѣ комментаріи Цезаря de Bello Galico, — отвѣчалъ съ гордымъ взглядомъ семинаристъ.

— Вотъ это другое дѣло, — сказалъ преважно Зарѣцкій. — Итакъ, вы намѣрены...

— Драться до послѣдней капли крови! Да, сударь! Non est ad astra mollis et sera via — лежа на боку, великимъ не сдѣлаешься.

— Великимъ? Да ужь не Александромъ ли васъ зовутъ, господинъ студентъ?

— Точно такъ, господинъ офицеръ.

— Ого! вотъ куда вы лѣзете! Впрочемъ, вамъ предстоитъ карьера еще блистательнѣе.. Командуя македонской фалангой, нетрудно было побѣждать непріятеля; а вѣдь ваша армія будетъ состоять изъ мужиковъ, вооруженныхъ вилами и топорами; летучіе отряды изъ крестьянскихъ бабъ съ ухватами и кочергами; передовые посты...

— Смѣйтесь, смѣйтесь, господинъ офицеръ! Увидите, что эти мужички надѣлаютъ! Дайте только имъ порасшеве-

литься, а тамъ французы держись! Свѣтлѣйшій грянетъ съ одной стороны, графъ Витгенштейнъ съ другой, а мы со всѣхъ; да какъ воскликнемъ въ одинъ голосъ: procul, o procul profani! то есть: вонъ отсюда, нечестивецъ! такъ Наполеонъ такого дастъ стречка изъ Москвы, что его собаками не догонишь.

— Врядъ ли онъ такъ скоро съ нею разстанется.

— Помилуйте! онъ, чай, и самъ не радъ, что зашелъ такъ далеко, да теперь ужь дѣлать нечего. Вѣрно, думаетъ: авось пожалѣютъ Москвы и станутъ мириться. Вѣдь онъ ужь не въ первый разъ поддѣваетъ на эту штуку. На то, сударь, пошелъ: aut Caesar, aut nihil — или панъ, или пропалъ. До сихъ поръ ему удавалось, а какъ разъ промахнется, такъ и поминай, какъ звали!

— Итакъ, вы думаете, господинъ студентъ, что Наполеонъ играетъ теперь на выдержку?

— Хуже, сударь! Онъ ужь проигралъ, а теперь отыгрывается.

— Проигралъ? Однакожъ, онъ дошелъ до Москвы.

— А дешево ли ему это стоило? Наши потери ничего: за одного убитаго явятся десятеро живыхъ; а онъ хочетъ, не хочетъ, а послѣдній рубль ставь на карту. Вотъ, года три тому назадъ—я не былъ еще тогда въ риторикѣ—во время рекреаціи, двое студентовъ схватились при мнѣ въ горку. Надобно вамъ сказать, что у насъ за столомъ только два блюда: говядина и каша. Одинъ изъ студентовъ, спустивъ всѣ деньги, сталъ играть на свою часть говядины и—проигралъ! Въ отчаяніи, терзаемый предчувствіемъ постной трапезы, онъ воскликнулъ такъ же, какъ Наполеонъ: Aut Caesar, aut nihil! и предложилъ играть—на кашу! На кашу, единственное блюдо, оставшееся для утоленія его голода! Всѣ товарищи ахнули, а у меня волосы стали дыбомъ, и тутъ я въ первый разъ постигнулъ, какъ люди проигрываютъ все свое состояніе! Къ счастію, насъ позвали обѣдать, и мой товарищъ не успѣлъ довершить своего отчаяннаго предпріятія. Повѣрьте мнѣ, господинъ офицеръ, и Наполеонъ играетъ теперь на кашу. Если ему не посчастливится заключить миръ—то горе окаянному! Всѣ язвы, всѣ казни египетскія обрушатся на главу его! А коли удастся, такъ и то слава Богу, когда при своемъ останется. Анъ и выйдетъ на повѣрку, что онъ: magnus conatus magnas agit nugas то есть ходилъ ни по-что, при-

несъ ничего. Но намъ должно прекратить нашу бесѣду, — продолжалъ семинаристъ.—Я пойду прямо на Свирлово, а вы извольте ѣхать вкось по рощѣ, такъ минуете Алексѣевское и выѣдете на большую дорогу у самаго Ростокина. Прощайте, господинъ офицеръ!... Cura, ut valeas!...

Студентъ приподнялъ свою шляпу и, продолжая идти по дорогѣ къ Останкину, затянулъ опять:

„Воспоемте, братцы, канту прелюбезну"...

Пообѣдавъ и выкормя лошадей въ большихъ Мытищахъ, Зарѣцкій отправился далѣе. Еслибъ онъ былъ ученый или, по крайней мѣрѣ, *сантиментальный* путешественникъ, то вѣрно бы пріостановился въ селѣ Братовщинѣ, чтобъ взглянуть на нѣкоторые остатки русской старины. Но нашъ гусарскій ротмистръ проѣхалъ весьма хладнокровно мимо ветхой церкви, построенной, вѣроятно, прежде царя Алексѣя Михайловича, и, взглянувъ нечаянно на одно полуразвалившееся зданіе, сказалъ:—Кой чортъ! что за смѣшной амбаръ!..—Злодѣй!—вскричалъ бы какой нибудь антикварій,—вандалъ! да знаешь ли, что ты называешь амбаромъ *царскую вышку*, или теремъ, въ которомъ православные русскіе цари отдыхали на пути своемъ въ Троицкую лавру? Знаешь ли, что недавно была тутъ же другая царская вышка, гораздо просторнѣе и величественнѣе, и что, благодаря преступному равнодушію людей, подобныхъ тебѣ, не осталось и развалинъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она стояла? Варвары! (прошу замѣтить, это говорю не я, но все тотъ же любитель старины) Варвары! вы не умѣли сберечь даже и того, что пощадили литва и татары! Куда дѣвался великолѣпный Коломенскій дворецъ? Гдѣ царскія палаты въ селѣ Алексѣевскомъ? Посмотрите, какъ европейскіе народы дорожатъ остатками своей старины! Укажите мнѣ хотя на одинъ иностранный городъ, гдѣ бы жители согласились продать на сломку какую-нибудь уродливую готическую башню или древнія городскія ворота? Нѣтъ! они гордятся сими драгоцѣнными развалинами; они глядятъ на нихъ съ тѣмъ же почтеніемъ, съ тою же любовію, съ какою добрыя дѣти смотрятъ на заросшій травою могильный памятникъ своихъ родителей; а мы... Тутъ господинъ антикварій вѣроятно бы замолчалъ, не находя словъ для выраженія своего душевнаго негодованія; а мы,

вмѣсто отвѣта, пропѣли бы ему забавные куплеты насчетъ русской старины, и, посматривая на какой-нибудь прелестный домикъ съ цѣльными стеклами, построенный на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стояли неуклюжіе терема и толстыя стѣны съ зубцами, заговорили бы въ одинъ голосъ: Какъ это мило!.. Какъ свѣжо! Какая разница! О! наши предки были настоящіе варвары!

Но межъ тѣмъ, пока мы слушали горькія жалобы любителя русской старины, Зарѣцкій все ѣхалъ, да ѣхалъ. Опустивъ поводья, онъ сидѣлъ задумчиво на своей лошади, которая шла спокойной и ровной ходою; мечталъ о будущемъ, придумывалъ всевозможныя средства къ истребленію французской арміи, и вслѣдъ за бѣгущимъ непріятелемъ летѣлъ въ Парижъ—пожить, повеселиться и забыть на время о любезномъ и скучномъ отечествѣ. Въ ту самую минуту, какъ онъ въ модномъ фракѣ, съ бадинкою въ рукѣ, расхаживалъ подъ арками Пале-Рояля и прислушивался къ милымъ французскимъ фразамъ, загремѣлъ на грубомъ русскомъ языкѣ вопросъ: «Кто ѣдетъ?» Зарѣцкій очнулся, взглянулъ вокругъ себя: передъ нимъ деревенская околица, подлѣ воротъ соломенный шалашъ въ видѣ будки, въ шалашѣ мужикъ съ всклокоченной рыжей бородою и длинной рогатиной въ рукѣ; а за околицей, передъ большимъ сараемъ, съ полдюжины пикъ въ сошкахъ.

— Кто ѣдетъ? — повторилъ мужикъ, вылѣзая изъ шалаша.

— Да развѣ не видишь, что офицеръ? — сказалъ вахмистръ.—Экій мужланъ!

— Анъ врешь! Я не мужикъ.

— Да кто же ты?

— Ополченный!—отвѣчалъ воинъ, поправивъ гордо свою шапку.

— Зачѣмъ же ты здѣсь?—спросилъ Зарѣцкій.

— Стою на часахъ, ваше благородіе.

— Такъ что же ты зѣваешь, дурачина, — закричалъ вахмистръ.—Отворяй ворота!

— Безъ приказа не могу. Эй! выходи вонъ!

Человѣкъ шесть мужиковъ выскочили изъ сарая, схватили пики и стали по ранжиру вдоль стѣны; вслѣдъ за ними вышелъ молодой малый, въ казачьемъ сѣромъ полукафтаньи, такой же фуражкѣ и съ тесакомъ, повѣшеннымъ черезъ плечо на широкомъ черномъ ремнѣ. Подойдя

къ Зарѣцкому, онъ спросилъ очень вѣжливо: кто онъ и откуда ѣдетъ?

— А на что тебѣ, голубчикъ?—сказалъ Зарѣцкій.—И кто ты самъ такой?

— Урядникъ, ваше благородіе!

— А какое тебѣ дѣло, господинъ урядникъ, — кто я и куда ѣду?

— Здѣсь стоитъ полкъ московскаго ополченія, ваше благородіе, и полковникъ приказалъ, чтобъ всѣхъ проѣзжихъ изъ Москвы, а особливо военнныхъ, провожать прямо къ нему.

— Вотъ еще какія затѣи! Да развѣ здѣсь крѣпость и вашъ полковникъ комендантъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, а такъ велѣно. Полковникъ сейчасъ изволилъ приказывать...

— Большая мнѣ нужда до его приказанія! — Ополченный полковникъ!... Отворяй ворота!

— Да вѣдь онъ проситъ ваше благородіе заѣхать къ нему въ гости.

— А если я не хочу быть его гостемъ?... Да кто такой вашъ полковникъ?

— Николай Степановичъ Ижорскій.

— Ижорскій?..—Мнѣ что то знакома эта фамилія... Кажется, я слышалъ отъ Владиміра... Не родня ли онъ Лидиной?

— Прасковьѣ Степановнѣ?.. Родной братецъ.

— Вотъ это другое дѣло... Такъ я могу отъ него узнать, далеко ли отсюда деревня Владиміра Сергѣевича Рославлева.

— Да не близко, ваше благородіе! Вѣдь она по Калужской дорогѣ.

— Ну, такъ и есть: я зналъ впередъ, что ошибусь!... Отворяй ворота и проводи меня къ своему полковнику.

— Я, сударь, на караулѣ и отлучиться не могу; я пошлю съ вами ефрейтора. Эй, ребята! слушай команду!... Въ сошки!

Воины положили въ сошки свои пики и повернулись, чтобъ идти въ сарай.—Гаврила!—продолжалъ урядникъ,—проводи господина офицера къ полковнику.

— Къ барину?—спросилъ молодой крестьянскій парень.

— Ну да! то есть къ его высокоблагородію, дурачина!

— Слушаю-ста!—А пику то оставить что-ль иль нѣтъ?

Урядникъ призадумался.—Ефрейторы всегда ходять съ ружьями,—сказалъ улыбаясь Зарѣцкій.

— Ну, что сталъ? возьми пику съ собой! — закричалъ урядникъ; — да, смотри, не дразни по улицамъ собакъ. Ступай!

Воинъ, положивъ пику на плечо, отправился впереди нашихъ путешественниковъ, по длинной и широкой улицѣ, въ концѣ которой, передъ одной избой, сверкали копья и толпилось много народа.

II.

Въ бѣлой и просторной избѣ сельскаго старосты, за широкимъ столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ и стояло нѣсколько бутылокъ съ ромомъ, сидѣли старинные наши знакомцы: Николай Степановичъ Ижорскій, Ильменевъ и Ладушкинъ. Первый въ обще-армейскомъ сюртукѣ съ штабъ-офицерскими эполетами, а оба другіе въ сѣрыхъ ополченныхъ полукафтаньяхъ. Ильменевъ, туго подтянутый шарфомъ, въ черномъ галстукѣ, съ нафабренными усами и вытянутый, какъ струнка, казалось, помолодѣлъ десятью годами; но несчаетный Ладушкинъ, привыкшій ходить въ плисовыхъ сапогахъ и просторномъ фризовомъ сюртукѣ, изнемогалъ подъ тяжестью своего воинскаго наряда: онъ едва смѣлъ пошевелиться, и посматривалъ то на огромную саблю, къ которой былъ прицѣпленъ, то на длинныя шпоры, которыя своимъ безпрерывнымъ звономъ напоминали ему, что онъ выбранъ въ полковые адъютанты и долженъ ѣздить верхомъ.

— Что это Терешка не ѣдетъ?—сказалъ Ижорскій. — Волгинъ обѣщался прислать его непремѣнно сегодня.

— Да куда, сударь,—спросилъ Ильменевъ, — поѣхалъ нашъ бывшій предводитель, Михайла Ѳедоровичъ Волгинъ?...

— А теперь мой пятисотенный начальникъ! — подхватилъ съ гордостію Ижорскій. — Я послалъ его въ Москву поразвѣдать, что тамъ дѣлается, и отправилъ съ нимъ моего Терешку съ тѣмъ, что если онъ пробудетъ въ Москвѣ до завтра, то прислалъ бы его сегодня ко мнѣ съ какими-нибудь извѣстіями. Но поговоримте теперь о дѣлахъ службы, господа!—продолжалъ полковникъ, перемѣнивъ совершенно

тонъ.—Господинъ полковой казначей, прибавляется ли наша казна?

— Слава Богу, ваше высокоблагородіе!—отвѣчалъ Ильменевъ, вскочивъ проворно со скамьи. — Сегодня по-утру прислали къ намъ изъ города, взамѣнъ недоставленной аммуниціи, пятьсотъ тридцать три рубля двадцать двѣ копѣйки.

— А чтожъ сегодняшній приказъ, господинъ полковой адъютантъ?

— Готовъ, Николай Степановичъ,—сказалъ Ладушкинъ, вставая.

— Смотри, смотри, братецъ!.. опять зацѣпилъ шпорами... Ну! вотъ тебѣ и разъ!... Да подними его, Ильменевъ! Видишь, онъ справиться не можетъ.

— О, Господи Боже мой!..—сказалъ Ладушкинъ, вставая при помощи Ильменева,—въ пятый разъ сегодня! Да позвольте мнѣ, Николай Степановичъ, не носить этихъ проклятыхъ зацѣпъ.

— Что ты, братецъ! гдѣ видано? адъютантъ безъ шпоръ! Да это курамъ будетъ на смѣхъ. Привыкнешь!

— Такъ нельзя ли меня совсѣмъ изъ адъютантовъ то прочь, батюшка?

— Оно конечно, какой ты адъютантъ! Тутъ надобенъ проворъ. Вотъ дѣло другое — Ильменевъ: онъ человѣкъ военный; да грамотѣ то мы съ нимъ плохо знаемъ. Ну, чтожъ приказъ?

— Вотъ, сударь, готовъ; извольте прочесть.

— Давай!.. Пароль... лозунгъ... отзывъ... Хорошо! Что это?.. Воина третьей сотни, Ивана Лосева, за злостное похищеніе одного индѣйскаго пѣтуха и двухъ поросятъ, выколотить завтрашняго числа передъ фрунтомъ палками. Дѣло! Господинъ полковой командиръ изъявляетъ свою совершенную признательность господину пятисотенному начальнику, Буркину...

— За что?

— За найденный вами порядокъ и примѣрное устройство находящихся подъ командою его пяти сотенъ.

— Да, да! совсѣмъ забылъ: вѣдь я назначилъ сегодня смотръ; но надобно прежде взглянуть, а тамъ ужь сказать спасибо.

— Онъ съ полчаса дожидается,—сказалъ Ильменевъ. — Извольте-ка взглянуть въ окно; посмотрите, какъ онъ на своимъ Султанѣ гарцуетъ передъ фронтомъ.

— Пойдемте же, господа! Гей, Заливной! саблю, фуражку!

Ижорскій, прицѣпя саблю, вышелъ въ сопровожденіи адъютанта и казначея за ворота. Человѣкъ до пятисотъ воиновъ съ копьями, выстроенные въ три шеренги, стояли вдоль улицы; всѣ офицеры находились при своихъ мѣстахъ, а Буркинъ на лихомъ персидскомъ жеребцѣ рисовался передъ фронтомъ.

— Смирно!—закричалъ онъ, увидя выходящаго изъ воротъ полковника.

— Хорошо!—сказалъ Ижорскій важнымъ голосомъ. — Фронтъ выровненъ, стоятъ по ранжиру... хорошо!

— Слушай!—заревѣлъ Буркинъ.—Шапки долой!

— Хорошо!—повторилъ Ижорскій:—всѣ въ одинъ темпъ, по командѣ... очень хорошо!

— Господинъ полковникъ!—продолжалъ Буркинъ, подскакавъ къ Ижорскому и опустивъ свою саблю.

— Тише, братецъ, тише! Что ты? задавишь!

— Господинъ полковникъ!..,

— Да чортъ тебя возьми! Что ты на меня лѣзешь?

— Честь имѣю рапортовать, что при командѣ состоитъ все благополучно: двое рядовыхъ занемогли, одинъ урядникъ умеръ...

— Хорошо, очень хорошо!.. Да осади свою лошадь, братецъ!.. Э! постой! Кто это ѣдетъ на парѣ? Никакъ Терешка? Такъ и есть! Ну что, братъ, гдѣ Волгинъ?

— Изволилъ остаться въ Москвѣ, — отвѣчалъ слуга, спрыгнувъ съ телѣги, которая остановилась противъ избы.

— А скоро ли будетъ назадъ?

— Не могу доложить. Онъ послалъ меня вчера еще вечеромъ, да помѣха сдѣлалась.

— Что такое?

— У самаго Ростокина выпрягли у меня лошадей, говорятъ, будто подъ казенные обозы—не могу сказать. Кой какъ сегодня, и то уже послѣ обѣда, нанялъ эту пару; да что за клячи, сударь! насилу дотащился.

— Ну, что слышно новаго?

— Николай Степановичъ!—сказалъ Ладушкинъ, — позвольте доложить: здѣсь не мѣсто...

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ! Господинъ пятисотенный начальникъ! извольте распустить вашу команду, да милости прошу ко мнѣ на чашку чая; а ты ступай за нами въ избу.

— Слушай! — заревѣлъ опять Буркинъ. — Шапки надѣвай! Господа офицеры! разводите ваши сотни по домамъ. Тише, ребята, тише! не шумѣть! смирно!

Черезъ нѣсколько минутъ изба, занимая Ижорскимъ, наполнилась ополченными офицерами; вмѣстѣ съ Буркинымъ пришли почти всѣ сотенные начальники, засѣли вокругъ стола, и господинъ полковникъ, подозвавъ Терешку, повторилъ свой вопросъ: — Ну что, братецъ, что слышно новаго?

— Да что, сударь! говорятъ, французы идутъ прямо на Москву.

— А гдѣ наши войска?

— Не могу доложить.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ,—закричалъ Буркинъ, — Москвы отстаивать не будутъ и сдадутъ безъ боя?.. Безъ боя!... Ну, какъ это можетъ быть?

— Эхъ, батюшка Григорій Павловичъ!—прервалъ Ладушкинъ,—было бы чѣмъ отстаивать, и когда ужь всѣ говорятъ...

— Анъ вздоръ, не всѣ! Вчера какой то бѣдный прохожій меня порадовалъ. Онъ сказалъ мнѣ, что велѣно всему нашему войску сбираться къ Тремъ горамъ.

— И вы, сударь, ему повѣрили? — спросилъ насмѣшливо Ладушкинъ.

— И повѣрилъ, и на водку далъ.

— Чай, двугривенный или четвертакъ? Вѣдь вы человѣкъ тароватый!

— Нѣтъ, на ту пору у меня мелочи не случилось.

— Чтожъ вы ему дали? Ужь не цѣлковый ли?

— Нѣтъ, братецъ! я далъ ему синенькую — да еще какую? Съ иголочки, такъ въ рукѣ и хруститъ! Эхъ! подумалъ я, была не была! На, братъ, выпей за здоровье московскаго ополченія, да помолись Богу, чтобъ мы безъ работы не остались.

— Пять рублей!—повторилъ про себя Ладушкинъ.—Ну, подлинно: глупому сыну не въ помощь богатство!

— И въ Москвѣ объ этомъ народъ толкуетъ,—сказалъ слуга.—Да вотъ я привезъ съ собой афишку, которую вчера по городу разносили.

— Чтожъ ты, братецъ!—закричалъ Ижорскій: — давай сюда!.. Постой-ка! подписано: графъ Растопчинъ. Г. адъютантъ!—продолжалъ онъ,—извольте прочесть ее во услышаніе всѣмъ!

Ладушкинъ взялъ афишу, напечатанную на большой четверткѣ, и началъ читать слѣдующее:

«Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить животъ, защищая отечество. Не пустимъ злодѣя въ Москву; но должно пособить и намъ свое дѣло сдѣлать. Грѣхъ тяжкій своихъ выдавать! Москва — наша мать; она васъ поили, кормила и богатила. Я васъ призываю именемъ Божіей Матери на защиту храмовъ Господнихъ, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чѣмъ можетъ—и конные и пѣшіе; возьмите только на три дня хлѣба, идите со крестомъ. Возьмите хоругви изъ церквей, и съ симъ знаменемъ сбирайтесь тотчасъ на Трехъ горахъ. Я буду съ вами, и вмѣстѣ истребимъ злодѣя. Слава въ Вышнихъ— кто не отстанетъ! вѣчная память — кто мертвый ляжетъ! горе на страшномъ судѣ—кто отговариваться станетъ!»

— Ну, вотъ!—вскричалъ Буркинъ,—вѣдь прохожій то правду говорилъ. Эхъ, жаль, что я не далъ ему красненькой.

— Однакожъ,—замѣтилъ Ильменевъ,—въ этомъ листкѣ о московскомъ ополченіи ни слова не сказано.

— Да неужто ты думаешь,—возразилъ Буркинъ, — что когда другіе полки нашего ополченія присоединены къ арміи, мы станемъ здѣсь сидѣть, поджавши руки?

— Прикажутъ, такъ и мы пойдемъ, — сказалъ Ижорскій.

— А безъ приказа соваться не надобно, — промолвилъ Ладушкинъ.

— Дай то, Господи, чтобъ приказали!—продолжалъ Буркинъ.—Что, господа офицеры, неужели и васъ охота не забираетъ подраться съ этими супостатами? Да, нѣтъ! По глазамъ вижу, вы всѣ готовы умереть за матушку Москву, и ужь вѣрно изъ васъ никто назадъ не попятится?

— Назадъ? Что вы, Григорій Павловичъ? — сказалъ одинъ, вершковъ двѣнадцати широкоплечій сотенный начальникъ.—Нѣтъ, батюшка! не за тѣмъ пошли. Да я своей рукой зарѣжу того, кто шагъ назадъ сдѣлаетъ.

— Слышишь, братъ Ладушкинъ? — сказалъ Буркинъ, —а съ нимъ шутки то плохія: вѣдь онъ одинъ на медвѣдя ходитъ.

— Оно такъ, сударь! — возразилъ Ладушкинъ; — да еслибъ у насъ хоть ружья то были!

— А слыхалъ ли ты, братъ, — прервалъ Буркинъ, —

поговорку нашего славнаго Суворова: пуля дура, а штыкъ молодецъ.

— Да гдѣ у насъ штыки то?

— Вотъ еще что!—А чѣмъ рогатина хуже штыка?

— И, конечно, не хуже,—подхватилъ сотенный начальникъ.—Бывало хватишь медвѣдя подъ лопатку, такъ и онъ долго не навертится, а какой-нибудь поджарый французъ...

— Постойте-ка, господа!—сказалъ Ижорскій; — никакъ гость къ намъ ѣдетъ. Такъ и есть — гусарскій офицеръ! Ильменевъ! Ступай, проси его.

— Охъ мнѣ эти кавалеристы!—сказалъ вполголоса Ладушкинъ.—Въ грошъ не ставятъ нашего брата.

— Да есть тотъ грѣхъ,—промолвилъ сотенный начальникъ.—Они насъ и за военныхъ то не считаютъ.

— А вы бы, господа, по моему,—сказалъ Буркинъ:—если отъ меня кто рыло воротитъ, такъ и я на него не смотрю. Велика фигура — гусарскій офицеръ!... Послушайка, Ладушкинъ, — продолжалъ Буркинъ, поправляя свой галстукъ,—подтяни братъ, портупею то: видишь, у тебя сабля совсѣмъ по землѣ волочится.

— Милости просимъ, батюшка! — сказалъ Ижорскій, встрѣчая Зарѣцкаго, который, войдя въ избу, поклонился вѣжливо всему обществу,—милости просимъ! Не прикажете ли водки? Не угодно ли чаю или стаканчикъ пуншу? Да прошу покорно садиться. Подвинься-ка, Григорій Павловичъ.

— Покорно васъ благодарю,—сказалъ Зарѣцкій, садясь въ передній уголъ между Ижорскимъ и Буркинымъ, — я выпью охотно стаканъ пуншу.

— Вотъ это по нашему, по военному, господинъ офицеръ!—сказалъ Буркинъ.—Что за питье чай безъ рома? А ромъ знатный—рекомендую, настоящій ямайскій!

— Мнѣ, право, совѣстно,—сказалъ Зарѣцкій, замѣтивъ, что одному офицеру не оставалось мѣста на скамьѣ: — не стѣснилъ ли я васъ господа?

— Помилуйте! подхватилъ Буркинъ,—кому есть мѣсто, тотъ посидитъ; кому нѣтъ—постоитъ. Вѣдь мы всѣ народъ военный, а межъ военными что за счеты! Не такъ ли, товарищъ? — продолжалъ онъ, обращаясь къ колоссальному сотенному начальнику, который молча закручивалъ свои густые усы.

— Разумѣется, Григорій Павловичъ, мы люди военные. Дѣло походное, а въ походѣ и съ незнакомымъ человѣкомъ живешь подчасъ какъ съ однокорытникомъ; что тутъ за вычуры! Не такъ ли, господинъ адъютантъ?

— Конечно, конечно, господинъ капитанъ!

— Позвольте мнѣ рекомендовать вамъ,—сказалъ Ижорскій.—Это все офицеры моего полка, а это господинъ Буркинъ, мой пятисотенный... то есть мой баталіонный командиръ.

— Очень радъ, что имѣю удовольствіе познакомиться... А ромъ у васъ въ самомъ дѣлѣ славный!

— Какъ не быть порядочнаго рома, — сказалъ Ижорскій,—у нашего брата—не бѣднаго помѣщика...

— И полкового командира,—прибавилъ Буркинъ.

— Позвольте спросить,—продолжалъ Ижорскій,—я вижу, вы ранены:—гдѣ это васъ прихватило?

— Подъ Бородинымъ.

— А теперь откуда изволите ѣхать?

— Изъ Москвы.

— Ну что, батюшка,— сбирается ли тамъ войско на Воробьевыхъ горахъ?

— Что слышно?—сказалъ Буркинъ;—на какомъ флангѣ будетъ стоять московское ополченіе?

— Поближе бы только къ французамъ, — промолвилъ сотенный начальникъ,

— Не оставятъ ли его въ резервѣ? — спросилъ Ладушкинъ.

— Я этого ничего не знаю, господа; напротивъ, кажется подъ Москвою вовсе не будетъ сраженія.

— Что вы!—закричалъ Буркинъ;—такъ вы поэтому не видѣли московской афиши? Вотъ она, прочтите-ка!

— Странно! — сказалъ Зарѣцкій, прочтя прокламацію московскаго генералъ-губернатора.—Судя по этому, должно думать, что подъ Москвою будетъ генеральное сраженіе; и еслибъ я зналъ это навѣрное, то непремѣнно бы воротился; но, кажется, движенія нашихъ войскъ доказываютъ совершенно противное.

— Это какая-нибудь военная хитрость,—сказалъ Ижорскій.

— Вѣрно!—заревѣлъ Буркинъ. — Знаете ли что? Москва то приманка. Свѣтлѣйшій хочетъ заманить въ нее Наполеона, какъ волка въ западню. Лишь онъ подойдетъ къ

Москвѣ, такъ народъ выступитъ къ нему навстрѣчу, армія нахлынетъ сзади, мы нагрянемъ съ попереку, да какъ начнемъ его со щеки на щеку...

— Sapristie, quelle omelette!—вскричалъ, захохотавъ во все горло, Зарѣцкій.

— Что это, братъ? — воскликнулъ Буркинъ сотенному начальнику:—по каковски онъ это заговорилъ?

— Ужь не французъ ли онъ?—сказалъ великанъ, взглянувъ исподлобья на Зарѣцкаго. — Чего добраго: у него и ухватки то всѣ нерусскія.

— Нѣтъ, братецъ, вѣрно, какой-нибудь матушкинъ сынокъ и выросъ на французскомъ языкѣ; вѣдь эти кавалеристы народъ все модный—съ вычурами.

— Позвольте васъ спросить, полковникъ!—сказалъ Зарѣцкій:—вы родня госпожѣ Лидиной?

Ижорскій покраснѣлъ, смутился и повторилъ съ примѣтнымъ безпокойствомъ: Лидиной, то есть Прасковьѣ Степановнѣ?...

— Кажется, такъ.

— Да, что грѣхъ таить: я былъ съ нею когда то родня... А на что вамъ?... Неужели и до васъ слухъ дошелъ?...

— О чемъ?...

— Такъ, такъ, ничего! Да развѣ вы съ ней знакомы?

— Нѣтъ, я не имѣю этой чести; но искренній другъ мой, Владиміръ Сергѣевичъ Рославлевъ...

— Рославлевъ! Такъ вы съ нимъ знакомы? Бѣдняжка!

— Что такое? Неужели его рана...

— А развѣ онъ раненъ?...

— Да, раненъ, и лѣчится теперь у своей невѣсты.

— У своеи невѣсты! — повторилъ Ижорскій вполголоса.—Нѣтъ, батюшка, у него теперь нѣтъ невѣсты.

— Что вы говорите? Его Полина умерла?

— Хуже. Еслибъ она умерла, то я отслужилъ бы не панихиду, а благодарственный молебенъ; слезинки бы не выронилъ надъ ея могилою. А я любилъ ее! — прибавилъ Ижорскій растроганнымъ голосомъ;—да, я любилъ ее какъ родную дочь!

— Боже мой, чтожъ такое съ нею сдѣлалось?

— Она, то есть племянница моя... Нѣтъ, батюшка! языкъ не повернется выговорить.

— Эхъ, Николай Степановичъ! — сказалъ Буркинъ, —

шила въ мѣшкѣ не утаишь. Что дѣлать? грѣхъ такой. Вотъ изволите видѣть, господинъ офицеръ, старшая дочь Прасковьи Степановны Лидиной, невѣста вашего пріятеля Рославлева, вышла замужъ за французскаго плѣннаго офицера.

— Возможно ли?

— Говорятъ, что этотъ французъ полковникъ и графъ. Да еслибъ онъ былъ и маркграфъ какой, такъ срамота то все не меньше. Господи Боже мой! Французъ, кровопійца нашъ!... Что и говорить? Стыдъ и безчестье всей нашей губерніи!

— Графъ? — повторилъ Зарѣцкій. — Такъ точно, это тотъ французскій полковникъ, котораго я избавилъ отъ смерти, котораго самъ Рославлевъ прислалъ въ домъ къ своей невѣстѣ... Итакъ, есть какая то непостижимая судьба...

— Судьба,—прервалъ Ижорскій.—Какая судьба для такихъ неповитыхъ дуръ, какъ моя сестрица... то есть бывшая сестра моя... Она сама, лучше злодѣйки-судьбы, придумаетъ всякую пакость. Вчера только я получилъ объ этомъ извѣстіе. Повѣрите-ль? Какъ обухомъ по лбу! Я было хотѣлъ скакать самъ въ деревню и познакомиться съ новой моей роденькою; да сегодня дошли до насъ слухи, будто въ той сторонѣ показались французы. Можетъ быть, теперь они ужь выручили его изъ плѣна. Пусть онъ увезетъ съ собою свою графиню и тещу — чортъ съ ними! Жаль только бѣдной Оленьки. Сердечная, за что гибнетъ вмѣстѣ съ ними! Да во чтобъ ни стало, если ея сіятельство съ своей маменькой потащатъ Оленьку во Францію, такъ я выйду на большую дорогу, какъ разбойникъ, и отобью у нихъ мою племянницу и единственную наслѣдницу всего моего имѣнія.

— Позвольте спросить, Николай Степановичъ!—сказалъ Ладушкинъ, — отъ кого вы изволили слышать, что французы въ нашихъ мѣстахъ? Это не можетъ быть!

— А почему не можетъ быть?

— Если они идутъ къ Москвѣ, такъ на чтожъ имъ сворачивать на Калужскую дорогу? Кажется, съ большой Смоленской дороги сбиться трудно; а на всякій случай, неужели то они и проводника не найдутъ?

— Эхъ, братецъ, не въ томъ дѣло, что они идутъ или не идутъ по Калужской дорогѣ...

— Нѣтъ, сударь, въ этомъ то и дѣло! Да, воля ваша,

имъ тутъ и слѣда нѣтъ идти. Шутка ли, какой крюкъ они сдѣлаютъ!

— Да что ты такъ объ нихъ хлопочешь, братецъ?

— Помилуйте, Николай Степановичъ! Вѣдь моя деревушка почти на самой Калужской дорогѣ.

— Такъ вотъ что! — вскричалъ Буркинъ. — Ахъ ты жидоморъ! по тебѣ пусть французы берутъ Москву, лишь только бы твое Щелкоперово осталось цѣло.

— Чтожъ дѣлать, Григорій Павловичъ! Своя рубашка къ тѣлу ближе. Ну, разсудите сами...

— Да мнѣ то развѣ легче? Мы съ тобой сосѣди: если твою деревню сожгутъ, такъ и моей не миновать того же; а развѣ я плачу?

— Вѣдь вы человѣкъ богатый.

— А ты, чай, убогій? Полно, братецъ! Душъ у тебя много, да душонки то нѣтъ.

— Перестаньте, господа!—сказалъ Ижорскій.—Что вы? Мы знаемъ, что вы всегда шутите другъ съ другомъ; но вѣдь нашъ гость можетъ подумать...

— И, что вы?—прервалъ Зарѣцкій,—мы всѣ здѣсь народъ военный—не правда ли?

— Конечно, конечно!

— А между товарищами какія церемоніи? Что на душѣ, то и на языкѣ. Но позвольте васъ спросить, гдѣ же теперь пріятель мой Рославлевъ?

— Я слышалъ, что онъ уѣхалъ въ Москву.

— Да и теперь еще тамъ, сударь! — сказалъ лакей Ижорскаго, Терентій, который въ продолженіе сего разговора стоялъ у дверей.—Я встрѣтилъ въ Москвѣ его слугу Егора; онъ сказывалъ, что Владиміръ Сергѣичъ боленъ горячкою и живетъ у Серпуховскихъ воротъ въ домѣ какого то купца Сеземова.

— Боже мой!—вскричалъ Зарѣцкій.—Владиміръ боленъ, а можетъ быть сегодня французы будутъ въ Москвѣ!

— Въ Москвѣ?—повторилъ Ижорскій.—но вѣдь ее не отдадутъ безъ боя, а мы еще покамѣстъ не дрались.

— И Богъ милостивъ! — прибавилъ Буркинъ: — авось отстоимъ нашу матушку.

— Ну! колокольчикъ!—сказалъ Ильменевъ, выглянувъ въ окно.—Кто то скачетъ по улицѣ! Никакъ Михайла Ѳедоровичъ?

— Волгинъ?—спросилъ Ижорскій, привставая со скамьи.

— Онъ и есть! Ну, вѣрно, не жалѣлъ лошадокъ; экъ онъ ихъ упарилъ!

Волгинъ въ форменномъ мундирномъ суртукѣ, сверхъ котораго была надѣта темнаго цвѣта шинель, вошелъ поспѣшно въ избу.

— Ну что, Михайла Ѳедоровичъ?—спросилъ Ижорскій.

— Не торопитесь, скажу! — отвѣчалъ глухимъ голосомъ Волгинъ.

— Да говори, что новаго?

— Что новаго? Замоскворѣчье горитъ, и какъ я выѣхалъ за заставу, то запылалъ Каретный рядъ.

— Что это значитъ?

— Что, братцы!—вскричалъ Волгинъ, бросивъ на полъ свою фуражку, — намъ осталось умереть и больше ничего!

— Какъ? Что такое?

— Москва сдана безъ боя — французы въ Кремлѣ!

— Въ Кремлѣ! — повторили всѣ въ одинъ голосъ.

Съ полминуты продолжалось мертвое молчаніе; слезы катились по блѣднымъ щекамъ Ижорскаго; Ильменевъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

— Кормилица ты наша! — завопилъ, наконецъ, всхлипывая, Буркинъ; — и умереть то намъ не удалось за тебя, родимая!

— Несчастная Москва! — сказалъ Ижорскій, утирая текущія изъ глазъ слезы.

— Бѣдный Рославлевъ! — промолвилъ Зарѣцкій съ глубокимъ вздохомъ.

III.

— Бабушка, а бабушка... что это такъ воетъ на улицѣ?

— Спи, дитятко, спи, это гудитъ вѣтеръ.

— Бабушка, мнѣ что то не спится.

— Сотвори молитву, родимый, да повернись на другой бокъ, авось и заснешь.

Такъ разговаривали въ низенькой избушкѣ, часу въ 12-мъ ночи, внукъ лѣтъ десяти съ своей старой бабушкой, подлѣ которой онъ лежалъ на полатяхъ. — Бабушка! — закричалъ опять мальчикъ, приподнявшись до половины,—что это такъ рано нынче свѣтаетъ?

— Что ты, батюшка! Христосъ съ тобою!... Куда свѣтать, и пѣтухи еще не пѣли.

— Постой-ка! — продолжалъ мальчикъ, слѣзая съ полатей, — я погляжу въ окно... Ну, какъ же, бабушка? На улицѣ свѣтлехонько... Вонъ и старостинъ колодезь видно.

— Что за притча такая? — сказала старуха, подходя также къ окну. — Мати Пресвятая Богородица!—вскричала она, всплеснувъ руками. — Ахъ, дитятко, дитятко! Вѣдь это горитъ наша матушка Москва!

— Смотри-ка, бабушка! — закричалъ мальчикъ, — эко зарево!... Словно какъ ономнясь горѣлъ нашъ овинъ—такъ и пышетъ!

Въ эту самую минуту кто то постучался у окна.

— Кто тамъ? — спросила старуха.

— Эй, тетка! — раздался мужской голосъ, — отвори ворота.

— Да кто ты?

— Проѣзжіе.

— Я постояльцевъ не пускаю.

— Да впусти только обогрѣться; мы тебѣ за тепло заплатимъ.

— Впусти, бабушка, — сказалъ мальчикъ; — авось они намъ что-нибудь дадутъ, а ты мнѣ калачъ купишь.

— Эхъ, дитятко! — вѣдь мы одни-одинехоньки; ну, если это недобрые люди? Правда, у насъ и взять то нечего...

— Эй, хозяйка! — закричалъ опять проѣзжій, — да впусти насъ: мы дадимъ тебѣ двугривенный.

— Слышишь, бабушка?...

— Ну, инъ ступай, Ваня: отвори ворота.

Мальчикъ накинулъ на себя тулупъ и побѣжалъ на дворъ, а старуха вздула огня и зажгла небольшой сальный огарокъ, вставленный въ глиняный подсвѣчникъ.

Черезъ минуту вошелъ въ избу мужчина средняго роста, въ подпоясанномъ кушакомъ сюртукѣ изъ толстаго сукна и плохомъ кожаномъ картузѣ, а вслѣдъ за нимъ казакъ въ полномъ вооруженіи.

— Здравствуй, хозяйка!—сказалъ проѣзжій, не снимая картуза. — Ну что, далеко-ль отсюда до Москвы!

— Верстъ десять будетъ, батюшка!—отвѣчала старуха, поглядывая подозрительно на проѣзжаго, который, войдя въ избу, не перекрестился на передній уголъ и стоялъ въ шапкѣ передъ иконами.

— Десять верстъ! — повторилъ проѣзжій. — Теперь, я думаю, можно своротить въ сторону. Мироновъ! — продолжалъ онъ, обращаясь къ казаку, — поставь лошадей подъ навѣсъ, да поищи сѣнца; а я немного отдохну.

Когда казакъ вышелъ изъ избы, проѣзжій скинулъ съ себя сюртукъ и остался въ короткомъ зеленомъ спензерѣ съ золотыми погончиками и съ чернымъ воротникомъ; потомъ, вынувъ изъ боковаго кармана рожокъ съ порохомъ, пару небольшихъ пистолетовъ, осмотрѣлъ со вниманіемъ ихъ затравки и подсыпалъ на полки новаго пороха. Помолчавъ нѣсколько времени, онъ спросилъ хозяйку, нѣтъ ли у нихъ въ деревнѣ французовъ?

— Нѣтъ, батюшка! — отвѣчала старуха, — покамѣстъ Богъ еще миловалъ.

— А по близости?

— Не вѣдаю, кормилецъ!

— Что, тетка, далеко ли отъ вашей деревни Владимірская дорога?

— Не знаю, родимый.

— Да что ты ничего не знаешь?

— И, батюшка, мое дѣло бабье; вотъ кабы сынокъ мой былъ дома...

— А гдѣ же онъ?

— Вечоръ еще уѣхалъ на мельницу, да, видно, все въ очередь не попадетъ, а пора бы вернуться. Постой-ка, батюшка, кажись, кто то ѣдетъ по улицѣ!... Ужь не онъ ли?... Нѣтъ, какіе то верховые... никакъ солдаты!... Ужъ не французы ли?... Избави, Господи!

— А много ли ихъ?—спросилъ проѣзжій, вскочивъ торопливо со скамьи.

— Только двое, батюшка!

— Только?—повторилъ спокойнымъ голосомъ проѣзжій, садясь опять на скамью и придвинувъ къ себѣ пистолеты.

— Вотъ они остановились противъ нашихъ воротъ; видно, огонекъ то увидѣли... стучатся!... Кто тамъ, — продолжала старуха, взглянувъ изъ окна.

— Русскій офицеръ!—отвѣчалъ грубый голосъ. — Отворяй ворота, лебедка. Да поворачивайся проворнѣй.

— Что, батюшка, впустить что-ль?

Проѣзжій, въ знакъ согласія, кивнулъ головою.

— Ваня! — продолжала хозяйка, — бѣги, отопри опять ворота.

— Ахъ, какъ я иззябъ!—сказалъ нашъ старинный знакомецъ Зарѣцкій, входя въ избу. — Какой вѣтеръ!...—Тутъ онъ увидѣлъ проѣзжаго и, поклонясь ему, продолжалъ:— Вы также, видно, завернули погрѣться.

— Да!—отвѣчалъ проѣзжій.—Но я совѣтую вамъ не скидать шинели: въ этой избенкѣ изо всѣхъ угловъ дуетъ. Я вижу, что и мнѣ надобно опять закутаться, — промолвилъ онъ, надѣвая снова своей толстый сюртукъ и подпоясываясь кушакомъ.

Зарѣцкій поглядѣлъ съ удивленіемъ на чудный нарядъ проѣзжаго, котораго, по спензеру съ золотыми погончиками, принялъ сначала за офицера.

— Вамъ кажется страннымъ мой нарядъ? — сказалъ съ улыбкою проѣзжій.—А еслибъ вы знали, какъ онъ подчасъ можетъ пригодиться!...

— Извините!—прервалъ Зарѣцкій, продолжая смотрѣть съ любопытствомъ на проѣзжаго;—или я очень ошибаюсь, или я не въ первый уже разъ имѣю удовольствіе васъ видѣть: не могу только никакъ припомнить...

— Такъ, видно, моя память лучше вашей. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, въ Петербургѣ, я обѣдалъ вмѣстѣ съ вами въ ресторацiи...

— Френзеля? Точно!—теперь вспомнилъ. Такъ вы тотъ самый артиллерійскій офицеръ...

— Къ вашимъ услугамъ.

— Мнѣ помнится, вы поссорились тогда съ какимъ то французомъ...

— Да. Еслибъ этотъ молодецъ попался мнѣ теперь, то я просто и не сердясь велѣлъ бы его повѣсить, а тогда нечего было дѣлать: надобно было ссориться... Да, кстати! вы были въ ресторацiи вмѣстѣ съ вашимъ пріятелемъ, съ которымъ послѣ я нѣсколько разъ встрѣчался; гдѣ онъ теперь?

— Кто? Бѣдный Рославлевъ?

— А что? Я знаю, онъ раненъ; но, кажется, неопасно?

— Представьте себѣ: онъ поѣхалъ лѣчиться въ Москву...

— И попался въ плѣнъ? Вольно-жъ было меня не послушаться.

— Я слышалъ, что онъ очень боленъ и живетъ теперь въ домѣ какого то купца Сеземова.

— Жаль, что я не зналъ объ этомъ нѣсколько часовъ назадъ; а то вѣрно бы навѣстилъ вашего пріятеля!

— Какъ!—вскричалъ Зарѣцкій,—да развѣ вы были въ Москвѣ?

— Я сейчасъ оттуда.

— Такъ поэтому можно?..

— Да развѣ есть что-нибудь невозможное для военнаго человѣка? Конечно, если догадаются, что вы не то, чѣмъ хотите казаться, такъ васъ, безъ всякаго суда, разстрѣляютъ. Впрочемъ, этого бояться нечего: надобно только быть смѣтливу, не терять головы и умѣть пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ.

— Но скажите, что вамъ вздумалось, и для чего хотѣли вы подвергать себя такой опасности?

— Во первыхъ, для того, чтобъ видѣть своими глазами, что дѣлается въ Москвѣ; а во-вторыхъ... какъ бы вамъ сказать?.. Позвольте: вы кавалеристъ, такъ вѣрно меня поймете. Случалось ли вамъ безъ всякой надобности перескакивать черезъ барьеръ, который почти вдвое выше обыкновеннаго, несмотря на то, что вы могли себѣ сломить шею?

— Случалось.

— Не правда ли, что, сдѣлавъ удачно этотъ трудный и опасный скачекъ, вы чувствовали какое то душевное наслажденіе, проистекающее отъ внутренняго сознанія въ вашихъ силахъ и искусствѣ? Ну, вотъ точно такое же чувство заставляетъ и меня вдаваться во всякую опасность; а сверхъ того, смѣшаться съ толпою своихъ непріятелей, ходить вмѣстѣ съ ними, подслушивать ихъ разговоры, услышать, можетъ быть, имя свое, произносимое то съ похвалою, то осыпаемое проклятіями... О! это такое наслажденіе, отъ котораго я ни за что не откажусь. Но позвольте теперь и мнѣ васъ спросить, куда вы ѣдете?

— А Богъ знаетъ: я отыскиваю свой полкъ.

— И вѣрно вамъ хорошо знакомы всѣ здѣшнія проселочныя дороги и тропинки?

— Ну, этимъ я не могу похвастаться.

— Такъ позвольте васъ поздравить: вы очень счастливы, что до сихъ поръ не попались въ руки къ французамъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, вы думаете?..

— Не думаю, а увѣренъ, что вамъ этой бѣды никакъ не миновать, если вы станете продолжать отыскивать вашъ полкъ. Кругомъ всей Москвы разсыпаны французы; я самъ

долженъ былъ выѣхать изъ города не въ ту заставу, въ которую въѣхалъ, и сдѣлать пребольшой крюкъ, чтобъ не повстрѣчаться съ ихъ разъѣздами.

— Да что же мнѣ дѣлать? Неужели я долженъ уѣхать въ Рязань или Владиміръ, и оставаться въ числѣ больныхъ, когда чувствую, что моя рана не мѣшаетъ мнѣ драться съ французами, и что она безъ всякаго лѣченья въ нѣсколько дней совершенно заживетъ?

— О, если вы желаете только драться съ французами, то я могу васъ этимъ каждый день угощать. Не хотите ли на время сдѣлаться моимъ товарищемъ?

— Вашимъ товарищемъ?

— Да! Мой летучій отрядъ стоитъ по Владимірской дорогѣ, верстахъ въ десяти отсюда. Не угодно ли деньковъ пять или шесть покочевать вмѣстѣ со мною?

— Очень радъ... Итакъ, вы одинъ изъ нашихъ партизановъ?...

— И самый юнѣйшій изъ моихъ братьевъ, — отвѣчалъ съ улыбкою проѣзжій.

— То есть чиномъ?.. Поэтому вы...

— И полноте! Вы видите, что я въ маскарадномъ платьѣ, а масокъ по именамъ не называютъ. Что ты, Мироновъ?— продолжалъ офицеръ, увидя входящаго казака.

— А вотъ, ваше благородіе,—сказалъ казакъ,—принесъ кису. Ни угодно ли чего покушать?

— Дѣло, братецъ! Вынь-ка изъ нея для себя полштофа водки, а для насъ бутылку шампанскаго и кусокъ сыра. Да смотри, не выпей всего полуштофа: мы сейчасъ отправимся въ дорогу.

— А чтобъ онъ вѣрнѣе исполнилъ ваше приказаніе,— прибавилъ Зарѣцкій,—такъ велите ему подѣлиться съ моимъ вахмистромъ.

— Слышишь, братецъ?

— Слышу, ваше благородіе! Да я такъ и думалъ.

— Полно, такъ ли? Вы, казаки, дѣлежа не любите. Ну, ступай! Хозяйка! подай-ка намъ два стакана; да, чай, хлѣбецъ у тебя водится?

— Какъ не быть, кормилицъ! — отвѣчала съ низкимъ поклономъ старуха. — Милости просимъ, покушайте на здоровье!—продолжала она, положа на столъ большой каравай хлѣба и подавая имъ два деревянные расписные стакана.

— Ну что? — спросилъ Зарѣцкій, выпивъ первый ста-

канъ шампанскаго и наливая себѣ другой; — что дѣлается теперь въ Москвѣ?

— Развѣ вы отсюда не видите?

— Вижу: она горитъ; но вы были сейчасъ на самомъ мѣстѣ...

— И, признаюсь, порадовался отъ всей души! Дѣло идетъ славно: городъ подожгли со всѣхъ четырехъ концовъ, а деревянные дома горятъ, какъ стружки. Еще денекъ или два, такъ въ Москвѣ не останется ни кола, ни двора. И что за великолѣпная картина — прелесть! Въ одномъ углу изъ огромныхъ каменныхъ палатъ пышетъ пламя, какъ изъ Везувія; въ другомъ, какой-нибудь сальный заводъ горитъ, какъ свѣча; тутъ, надъ питейнымъ домомъ, подымается пирамидою голубой огонь; тамъ пылаетъ цѣлая улица; ну, словомъ: это такая чертовская иллюминація, что любо-дорого посмотрѣть.

— Это ужасно! — сказалъ съ невольнымъ содроганіемъ Зарѣцкій.

— А что за суматоха идетъ по улицамъ! Умора, да и только. Французы, какъ угорѣлыя кошки, бросаются изъ угла въ уголъ. Они отъ огня, а онъ за ними; примутся тушить въ одномъ мѣстѣ, а въ двадцати вспыхнетъ! Да правда и тушить то не чѣмъ: ни одной трубы въ городѣ не осталось.

— Такъ поэтому не французы зажгли Москву?

— Помилуйте! Да что имъ за прибыль жечь городъ, въ которомъ они хотѣли отдохнуть и повеселиться!

— Итакъ, сами обыватели?...

— Разумѣется. Какъ будто бы вы не знаете русскаго человѣка: гори все огнемъ, лишь только злодѣямъ въ руки не доставайся.

— Да, это характеристическая черта нашего народа, и, надобно сказать правду, въ этомъ есть что то великое, возвышающее душу...

— Не знаю, возвышаетъ ли это душу, — прервалъ съ улыбкою артиллерійскій офицеръ; — но, на всякій случай, я увѣренъ, что это поунизитъ гордость всемірныхъ побѣдителей и, что всего лучше, заставитъ русскихъ ненавидѣть французовъ еще болѣе. Посмотрите, какъ народъ примется ихъ лушить! Они, дескать, злодѣи, сожгли матушку Москву! А правда ли это или нѣтъ, какое намъ до этого дѣло! Лишь только бы ихъ рѣзали.

— Оно, если хотите, нѣсколько и справедливо. Если бы французы не пришли въ Москву...

— Такъ мы бы и жечь ея не стали — натурально!

— Однакожъ, согласитесь! это ужасное бѣдствіе! Я не говорю ни слова о тѣхъ, кои могли выѣхать изъ Москвы: они разорились и больше ничего; но больные, неимущіе? Всѣ тѣ, которые должны были остаться?...

— Да много ли ихъ?

— Согласенъ — не много; но развѣ отъ этого они менѣе достойны сожалѣнія? Когда подумаешь, что цѣлыя семейства, лишенныя всего необходимаго, безъ куска хлѣба...

— И, что за дѣло! Лишь только бы и французамъ нечего было ѣсть.

— Безъ всякой помощи, безъ крова...

— Такъ чтожъ? Пусть живутъ подъ открытымъ небомъ— лишь только бы французамъ не было пріюта.

— И теперь ночи холодныя, а что будетъ съ ними, если наступитъ ранняя зима?

— Что будетъ? тутъ и спрашивать нечего: они станутъ мерзнуть по улицамъ; да за то и французамъ не будетъ тепло—не безпокойтесь!

— Но признайтесь, однакожъ, что человѣчество...

— И, полноте!—прервалъ съ ужасной улыбкою артиллерійскій офицеръ;—человѣчество, человѣколюбіе, сострадание, всѣ эти сентиментальныя добродѣтели никуда не годятся въ нашемъ ремеслѣ.

— Какъ?—вскричалъ Зарѣцкій,—неужели военный человѣкъ не долженъ имѣть никакого состраданія?

— Спросите-ка объ этомъ у Наполеона. Далеко-бы онъ ушелъ съ вашимъ человѣколюбіемъ! Напримѣръ, если бы онъ, какъ человѣкъ великодушный, не покинулъ своихъ французовъ въ Египтѣ, то вѣрно не былъ бы теперь императоромъ; еслибъ не разстрѣляли герцога Ангіенскаго...

— То не заслужилъ бы проклятій всей Европы! — прервалъ съ негодованіемъ Зарѣцкій.

— Можетъ быть; да за то не увѣрилъ бы Бурбоновъ, что Франція для нихъ заперта навѣки. Признаюсь, — продолжалъ почти съ восторгомъ артиллерійскій офицеръ,—я не могу не удивляться этому человѣку! Какая непоколебимая твердость! Какое презрѣніе ко всему роду человѣче-

скому! Какъ ничтожна въ глазахъ его жизнь цѣлыхъ поколѣній! Съ какимъ равнодушіемъ, какъ ничѣмъ неумолимая судьба, онъ выбираетъ свои жертвы и какъ смѣется надъ безсильнымъ ропотомъ народовъ, лежащихъ у ногъ его! О' надобно сказать правду, Наполеонъ великій человѣкъ! Да, да,—прибавилъ артиллерійскій офицеръ;—говорите, что вамъ угодно; а по моему, тотъ, кто сказалъ, что можетъ *истра чивать* по нѣскольку тысячъ человѣкъ въ сутки, рожденъ, чтобъ повелѣвать милліонами. Однакожъ, допивайте вашъ стаканъ: намъ пора ѣхать.

— Ну! — сказалъ Зарѣцкій, вставая, — вы мастерски хвалите. Самый злѣйшій врагъ Наполеона не придумалъ бы для него брани, обиднѣе вашей похвалы.—Артиллерійскій офицеръ улыбнулся и не отвѣчалъ ни слова.

Минутъ черезъ пять, наши офицеры, соблюдая всѣ военныя осторожности, выѣхали изъ деревни. Впереди, вмѣсто авангарда, ѣхалъ казакъ; за нимъ оба офицера; а позади, шагахъ въ двадцати отъ нихъ, уланскій вахмистръ представлялъ въ единственномъ лицѣ своемъ то, что предки наши называли сторожевымъ полкомъ, а мы зовемъ аріергардомъ. Почти у самой околицы, поворотивъ направо по проселочной дорогѣ, они въѣхали въ частый березовый лѣсъ. Порывистый вѣтеръ колебалъ деревья и, какъ дикій звѣрь, ревѣлъ въ лѣсу; направо густыя облака, освѣщенныя пожаромъ Москвы, котораго не видно было за деревьями, текли, какъ потокъ раскаленной лавы, по темной синевѣ полуночныхъ небесъ. Путешественники молчали. Зарѣцкій давно уже примѣчалъ, что дорога, или лучше сказать, тропинка, по которой они ѣхали, подавалась примѣтнымъ образомъ направо, слѣдовательно приближала ихъ къ Москвѣ. Туда ли мы ѣдемъ?—спросилъ онъ, наконецъ, своего молчаливаго товарища.

— Не безпокойтесь! — отвѣчалъ онъ, — мы не собьемся съ дороги.

— Но мнѣ кажется, мы подвигаемся къ Москвѣ?

— Да, она теперь отъ насъ не болѣе четырехъ верстъ.

— Я думаю, гораздо безопаснѣе было бы держаться отъ нея подалѣе.

— Но для этого надобно ѣхать открытымъ полемъ, а здѣсь, хоть мы и близко отъ французовъ, да за то ѣдемъ лѣсомъ. Однакожъ, онъ становится рѣже; вонъ, кажется,

налѣво... видите? высокая сосна—такъ и есть! Мы выѣдемъ сейчасъ на большую поляну, а тамъ пустимся опять лѣсомъ, переѣдемъ поперекъ Коломенскую дорогу, повернемъ налѣво, и я надѣюсь, часа черезъ два, будемъ дома, то есть въ моемъ таборѣ—разумѣется, если безъ меня не было никакой тревоги. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ я знаю, гдѣ найти моихъ молодцовъ: французы за ними не угоняются.

Въ продолженіе сего разговора офицеры выѣхали на обширную поляну, и пожаръ Москвы во всей ужасной красотѣ своей представился ихъ взорамъ. Кой-гдѣ, какъ уединенные острова, чернѣлись на семъ огненномъ морѣ части города, превращенныя уже въ пепелъ. Какая прелестная картина!—сказалъ артиллерійскій офицеръ, остановя свою лошадь.—Посмотрите—соборы, Иванъ Великій, весь Кремль какъ на блюдечкѣ. Не правда ли, что онъ походитъ на какую то прозрачную картину, которая подымается изъ пламени?

Въ самомъ дѣлѣ, казалось, можно было разсмотрѣть каждую трещину на бѣлыхъ стѣнахъ Кремля, освѣщенныхъ со всѣхъ сторонъ пылающей Москвою.

— Самъ адъ не можетъ быть ужаснѣе!—вскричалъ Зарѣцкій, глядя съ содроганіемъ на сію ужасную картину разрушенія.

— Ого!—продолжалъ его товарищъ, — огонекъ то добирается и до Кремля. Посмотрите: со всѣхъ сторонъ — кругомъ!.. Ай да молодцы! какъ они проворятъ! Ну, если Наполеонъ еще въ Кремлѣ, то можетъ похвастаться, что мы приняли его какъ дорогого гостя и, по русскому обычаю, попотчевали банею.

— Хороша баня!—сказалъ вполголоса Зарѣцкій.

— Да развѣ вы не знаете старинной пословицы: по Сенькѣ шапка? Мы съ вами и въ землянкѣ выпаримся, а для его императорскаго величества—какъ не истопить всего Кремля?... и нечего сказать: баня славная! .. Чай, стѣны теперь раскалились, такъ и пышутъ. Москва-рѣка подъ руками: поддавай только на эту каменку, а ужь за паромъ дѣло не станетъ.

— Я удивляюсь,—сказалъ Зарѣцкій, — какъ можете вы шутить...

— Въ самомъ дѣлѣ, это странно, не правда ли? Однакожъ поѣдемте.

Наблюдая глубокое молчаніе, они проѣхали еще версты двѣ лѣсомъ.—Какъ вѣтеръ реветъ между деревьями! — сказалъ, наконецъ, Зарѣцкій.—А знаете ли что? Какъ станешь прислушиваться, то кажется, будто-бы въ этомъ воѣ есть какая то гармонія. Слышите ли, какіе переходы изъ тона въ тонъ? Вотъ онъ загудѣлъ басомъ; теперь свиститъ дискантомъ. . А это что?... Ахъ, батюшки!... Не правда ли, какъ будто вдали льется вода? Слышите? настоящій водопадъ.

— Нѣтъ, чортъ возьми!—сказалъ товарищъ Зарѣцкаго, осадя свою лошадь:—это не вѣтеръ и не вода.

— Чтожъ это такое?

— Да просто — конскій топотъ. Такъ и есть! Вотъ и Мироновъ къ намъ ѣдетъ. Ну что, братецъ?

— По Коломенской дорогѣ идетъ конница, ваше благородіе.

— Съ которой стороны?

— Отъ Москвы.

— Такъ это французы. Прошу стоять смирно.

Черезъ нѣсколько минутъ, отрядъ французскихъ драгунъ проѣхалъ по большой дорогѣ, которая была шагахъ въ десяти отъ нашихъ путешественниковъ. Солдаты громко разговаривали между собою; офицеры смѣялись; но раза два что-то похожее на проклятія, предметомъ которыхъ, кажется, была не Россія, долетѣло до ушей Зарѣцкаго.

— Ваше благородіе!—сказалъ шопотомъ казакъ, когда непріятельскій отрядъ проѣхалъ мимо: — у нихъ есть отсталый.

— Право?

— Вонъ, кажется, одинъ драгунъ подтягиваетъ подпруги у своей лошади. Не прикажете ли? Я его мигомъ съарканю.

— Ну, хорошо; да смотри, чтобъ не пикнулъ.

Казакъ отвязалъ веревку отъ своего сѣдла, и почти ползкомъ подкрался къ опушкѣ лѣса. Въ ту самую минуту, какъ драгунъ заносилъ ногу въ стремя, петля упала ему на шею, и онъ, до половины задавленный, захрипѣвъ, повалился на землю. Въ полминуты французъ, съ завязаннымъ ртомъ и связанными назадъ руками, посаженъ былъ на лошадь, отданъ подъ присмотръ уланскому вахмистру и отправился вслѣдъ за нашими путешественниками. Проѣхавъ еще верстъ десять лѣсомъ, который становился часъ отъ

часу гуще, они увидѣли вдали между деревьями огонёкъ. Мироновъ свистнулъ; ему отвѣчали тѣмъ же, и человѣкъ десять казаковъ высыпали навстрѣчу путешественникамъ: это былъ передовой пикетъ летучаго отряда, которымъ командовалъ артиллерійскій офицеръ.

IV

Вѣтеръ затихъ. Густыя облака дыма не крутились уже въ воздухѣ. Какъ тяжкія свинцовыя глыбы, они висѣли надъ кровлями догорающихъ домовъ. Смрадный, удушливый воздухъ захватывалъ дыханіе: ничто не одушевляло безжизненныхъ небесъ Москвы. Надъ дымящимися развалинами Охотнаго ряда не кружились рѣзвые голуби, и только въ вышинѣ, подъ самыми облаками, плавали стаи черныхъ коршуновъ.

На краю пологаго ската горы, опоясанной высокой кремлевской стѣною, стоялъ, закинувъ назадъ руки, человѣкъ небольшого роста, въ сѣромъ сюртукѣ и трехъ-угольной низкой шляпѣ. Внизу, у самыхъ ногъ его, текла, изгибаясь, Москва-рѣка; освѣщенная багровымъ пламенемъ пожара, она, казалось, струилась кровью. Склонивъ угрюмое чело свое, онъ смотрѣлъ задумчиво на ея сверкающія волны... Ахъ! въ нихъ отразилась въ послѣдній разъ и потухла навѣки дивная звѣзда его счастія! Шагахъ въ десяти отъ него, наблюдая почтительное молчаніе, стояли французскіе маршалы, генералы и нѣсколько адъютантовъ. Они съ ужасомъ смотрѣли на пламенный океанъ, который, быстро разливаясь кругомъ всего Кремля, казалось, спѣшилъ поглотить сію священную и древнюю обитель царей русскихъ.

Въ то-же самое время, внизу, противъ Тайницкихъ воротъ, прислонясь къ желѣзнымъ периламъ набережной, стоялъ видный собой купецъ въ синемъ поношенномъ кафтанѣ. Онъ посматривалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ то на Кремль, окруженный со всѣхъ сторонъ пылающими домами, то на противоположный берегъ рѣки, на которомъ догорало обширное Замоскворѣчье.—А! Это ты, Ваня?—сказалъ онъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ навстрѣчу къ молодому и рослому дѣтинѣ, который съ виду походилъ на мастерового.—Ну, что?

— Да слава Богу, Андрей Васьяновичъ! За Москвой-рѣкой все идетъ какъ по маслу! На Зацѣпѣ и по всему валу хоть рожь молоти—гладехонько! На Пятницкой и Ордынкѣ, кой-гдѣ, еще остались дома, да за то на Полянкѣ такъ дёрма и деретъ.

— А у Серпуховскихъ воротъ?

— Въ трехъ мѣстахъ зажигали, да злодѣи то наши все тушатъ. Загорѣлся было порядкомъ домъ Ивана Архиповича Сеземова; да и тотъ мы съ ребятами, по твоему приказу, отстояли.

— Спасибо вамъ, дѣтушки! Иванъ Архипычъ старикъ дряхлый, и жена у него плоха. Да это ничего: доплелись бы какъ-нибудь до Калуги; а вотъ что—у нихъ въ дому лежитъ больной офицеръ.

— Нашъ русскій?

— Ну да! Смотри только, не проболтайся. Постой-ка! Никакъ опять вѣтеръ подымается... Давай, Господи! И, кажется, съ Петербургской стороны?... То то бы славно!

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ мастеровой.—посмотри-ка, отъ Охотнаго ряда и Моховой какія головни опять полетѣли... Авось теперь и до Кремля доберется.

— Ага!—сказалъ купецъ, поднявъ кверху голову;—что?.. душно стало?... выползли, проклятые!

— Что это, Андрей Васьяновичъ? — спросилъ мастеровой.—Никакъ это французскіе генералы? Посмотри-ка, такъ и залиты въ золото—словно жаръ горятъ!

— Подожди, братъ... позакоптятся.

— Глядь-ка, хозяинъ! Видишь, этотъ, что всѣхъ золотистѣе и стоитъ впереди... Экій молодчина!... Ужь не самъ ли это Бонапартій?... Да не туда смотришь: вотъ прямо то надъ нами.

Купецъ, не отвѣчая ни слова, продолжалъ смотрѣть въ другую сторону.—Ну, Ваня! — сказалъ онъ, схвативъ за руку молодого парня,—такъ и есть! Вонъ стоитъ на самомъ краю въ сѣромъ сюртучишкѣ... это онъ!

— Кто?... этотъ недоростокъ то? Что ты, хозяинъ!

— Да, Ваня! развѣ ты не видишь, что онъ одинъ стоитъ въ шляпѣ?

— Въ самомъ дѣлѣ! Ахъ, батюшки свѣты! Вотъ диковинка-то! Ну, видно, по пословицѣ: не велика птичка, да ноготокъ востеръ! Ахъ, ты, Господи, Боже мой! въ рекруты не годится, а какихъ дѣлъ надѣлалъ!

— Посмотри-ка, — сказалъ купецъ, — какъ онъ стоитъ тамъ: одинъ одинехонекъ... въ дыму... словно коршунъ выглядываетъ изъ-за тучи и виситъ надъ нашими головами. Да не сносить же и тебѣ своей башки, атаманъ разбойничій!

— Глядь-ка, хозяинъ! Что это они зашевелились? Эге! какой сзади повалилъ дымъ!... Знать, огонь то и до нихъ добирается!

— Въ самомъ дѣлѣ! Видно, ихъ путемъ стало пропекать.

— Ахти, Андрей Васьяновичъ!—вскричалъ мастеровой,— никакъ они кинулись внизъ, къ Тайницкимъ воротамъ. Не убраться ли намъ за добра ума?

— Зачѣмъ? Можетъ статься, они попросятъ насъ показать имъ дорогу. Вѣдь теперь выбраться отсюда на чистое мѣсто не легко. Ну, чтожъ ты глаза то на меня выпучилъ?

— Какъ, хозяинъ? — вскричалъ съ удивленіемъ мастеровой.—Да что тебѣ за охота подслуживаться нашимъ злодѣямъ?

— А почему-жъ и нѣтъ? — сказалъ съ улыбкою купецъ.—Я ужь имъ и такъ другія сутки служу вѣрой и правдою. Но постой-ка!... вотъ они!... Ну, полѣзли вонъ, какъ тараканы изъ угарной избы!...

Человѣкъ пять французскихъ офицеровъ и одинъ польскій генералъ выбѣжали изъ Тайницкихъ воротъ на набережную.

— Видишь, какъ этотъ генералъ озирается во всѣ стороны? — сказалъ шепотомъ купецъ. — Что, мусью? видно, братъ, нѣтъ ни входа, ни выхода?

— Боже мой! — вскричалъ генералъ, — кругомъ, со всѣхъ сторонъ, вездѣ огонь!... Нѣтъ ли другого выхода изъ Кремля?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ одинъ изъ офицеровъ. — Здѣсь все менѣе опасности, чѣмъ съ той стороны.

— Не лучше ли императору остаться въ Кремлѣ?—сказалъ другой офицеръ.

— Но развѣ не видите,—прервалъ генералъ,—что огонь со всѣхъ сторонъ въ него врывается?

— А противъ самаго дворца стоятъ пороховые ящики,— прибавилъ первый офицеръ.

— Проклятые русскіе! — вскричалъ генералъ. — Варвары!...

— Они варвары?—возразилъ одинъ офицеръ въ огромной медвѣжьей шапкѣ. — Вы слишкомъ милостивы, генералъ! Они не варвары, а дикіе звѣри!... Мы думали здѣсь отдохнуть, повеселиться... и чтожъ? Эти проклятые калмыки... О! ихъ должно непремѣнно загнать въ Азію, надобно очистить Европу отъ этихъ татаръ!... Посмотрите! вонъ стоятъ ихъ двое... Съ какимъ скотскимъ равнодушіемъ смотрятъ они на этотъ ужасный пожаръ!...

— Постойте!—сказалъ генералъ, — если они такъ спокойны, то вѣрно знаютъ, какъ выйти изъ этого огненнаго лабиринта. Эй, голубчикъ! — продолжалъ онъ довольно чистымъ русскимъ языкомъ, подойдя къ мастеровому,—не можешь ли ты вывести насъ къ Тверской заставѣ?

— Къ Тверской заставѣ?...—повторилъ мастеровой, почесывая голову.—А гдѣ Тверская то застава, батюшка?...

— Какъ гдѣ? Ну тамъ, гдѣ дорога въ Петербургъ.

— Дорога въ Питеръ? А гдѣ это, кормилецъ?

— Дуралей! Да развѣ ты не знаешь?

— Не вѣдаю, батюшка! Я не здѣшній.

— Извольте, ваша милость, — подхватилъ купецъ, — я васъ выведу къ Тверской заставѣ.

— Послушай, братецъ! Если ты проведешь насъ благополучно, то тебѣ хорошо заплатятъ; если же нѣтъ...

— Помилуйте, батюшка! Да я здѣшній старожилъ, и всѣ закоулки знаю.

— Вотъ, кажется, самъ императоръ,—вскричалъ одинъ изъ офицеровъ.—Слава Богу! онъ рѣшился, наконецъ, оставить Кремль.

Человѣкъ въ сѣромъ сюртукѣ, окруженный толпою генераловъ, вышелъ изъ Тайницкихъ воротъ. На угрюмомъ, но спокойномъ лицѣ его не замѣтно было никакой тревоги. Онъ окинулъ быстрымъ взглядомъ всѣ окружности Каменнаго моста и прошепталъ сквозь зубы: *варвары! скифы!* Потомъ обратился къ польскому генералу и, устремя на него свой орлиный взглядъ, сказалъ отрывисто:—Ну, что?

— Я нашелъ проводника,—отвѣчалъ почтительно генералъ;—и если вашему величеству угодно...

— Ступайте впередъ!

Польскій генералъ подозвалъ купца и пошелъ, вмѣстѣ съ нимъ, впереди толпы, которая, окруживъ со всѣхъ сторонъ Наполеона, пустилась вслѣдъ за проводникомъ къ Каменному мосту. Когда они подошли къ угловой Кремлевской

башнѣ, то вся Неглинная, Моховая и нѣсколько поперечныхъ улицъ представились ихъ взорамъ въ видѣ одного необозримаго пожара. Направо пылающій желѣзный рядъ, какъ огненная стѣна, тянулся по берегу Неглинной; а съ лѣвой стороны, пламя отъ догорающихъ домовъ разстилалось во всю ширину узкой набережной.—Какъ!—вскричалъ польскій генералъ: — неужели мы должны пройти сквозь этотъ огонь?

— Да,—отвѣчалъ купецъ.

— Боже мой! это настоящій адъ!

Купецъ усмѣхнулся.

— Чему-жъ ты смѣешься, дуракъ?—вскричалъ съ досадою генералъ.

— Не погнѣвайтесь, ваша милость,—сказалъ купецъ;— да неужели этотъ огонь страшнѣе для васъ русскихъ ядеръ?

— Русскихъ ядеръ!.. Мы не боимся вашего оружія; но быть побѣдителями и сгорѣть живымъ... нѣтъ, чортъ возьми! это вовсе непріятно!.. Куда же ты?

— А вотъ налѣво, въ этотъ переулокъ.

Генералъ отступилъ назадъ и повторилъ съ ужасомъ: —Въ этотъ переулокъ?...—И въ самомъ дѣлѣ, было чего испугаться: узкій переулокъ, которымъ хотѣлъ ихъ вести купецъ, походилъ на отверстіе раскаленной печи; онъ изгибался позади домовъ, выстроенныхъ на набережной, и, казалось, не имѣлъ никакого выхода.—Послушай!—продолжалъ генералъ, взглянувъ недовѣрчиво на купца,—если это подлое предательство, то, клянусь честію, твоя голова слетитъ прежде, чѣмъ кто-нибудь изъ насъ погибнетъ.

— И, батюшка! Да что мнѣ за радость сгорѣть вмѣстѣ съ вами?—отвѣчалъ хладнокровно купецъ.—А еслибъ мнѣ и пришла такая дурь въ голову, такъ неужели вы меня смертью запугаете? Вѣдь умирать то все равно.

— Но для чего же ты не ведешь по этой широкой улицѣ?

— По Знаменкѣ, батюшка?... Нельзя! Тамъ теперь, около Арбатской площади, и птица не пролетитъ.

— Однакожъ, мнѣ кажется, все лучше...

— По мнѣ, пожалуй! Только не извольте пенять на меня, если мы на чистое мѣсто не выйдемъ; да и назадъ то нельзя будетъ вернуться.

— Чтожъ вы остановились? — сказалъ Наполеонъ, подойдя къ генералу.

— Государь!... я опасаюсь... дрожу за васъ

— Вы дрожите, генералъ?... не вѣрю!

— Намъ должно идти вотъ этимъ переулкомъ.

— Такъ чтожъ? другой дороги нѣтъ?

— Проводникъ говоритъ, что нѣтъ.

— А если такъ... господа!... вы, кажется, никогда огня не боялись—за мной.

Толпа французовъ кинулась вслѣдъ за Наполеономъ. Въ полминуты нестерпимый жаръ обхватилъ каждаго; всѣ платья задымились. Сильный вѣтеръ раздувалъ пламя, пожирающее съ ужаснымъ визгомъ дома, посреди которыхъ они шли: то крутилъ его въ воздухѣ, то загибалъ раскаленнымъ сводомъ надъ ихъ головами. Вокругъ, съ оглушающимъ трескомъ, ломались кровли, падали желѣзные листы и полу-обгорѣвшія доски; на каждомъ шагу пылающія бревна и кучи кирпичей преграждали имъ дорогу: они шли по огненной землѣ, подъ огненнымъ небомъ, среди огненныхъ стѣнъ *).—Впередъ, господа!—вскричалъ Наполеонъ:—впередъ! Одна быстрота можетъ спасти насъ!—Они добѣжали уже до средины переулка, который круто поворачивалъ налѣво; вдругъ польскій генералъ остановился: переулокъ упирался въ пылающій домъ—выхода не было.—Злодѣй, измѣнникъ!—вскричалъ онъ, схвативъ за руку своего проводника.—Купецъ рванулся, повалилъ наземь генерала, и кинулся въ одинъ догорающій домъ.—За проводникомъ!--закричали нѣсколько голосовъ. Этотъ домъ долженъ быть сквозной. Но въ ту самую минуту, передняя стѣна съ ужаснымъ громомъ рухнулась, и среди двухъ столбовъ пламени, которые быстро поднялись къ небесамъ, открылась широкая каменная лѣстница. На одной изъ верхнихъ ея ступеней, окруженный огнемъ и дымомъ, какъ злой духъ, стерегущій преддверіе ада, стоялъ купецъ. Онъ кинулъ торжествующій взглядъ на отчаянную толпу французовъ, и съ громкимъ хохотомъ исчезъ снова среди пылающихъ развалинъ.

— Мы погибли!—вскричалъ польскій генералъ.—Наполеонъ поблѣднѣлъ... Но десница Всевышняго хранила еще главу сію для новыхъ бѣдствій; еще не настала минута возмездія! Въ то время, когда не оставалось уже никакой надежды къ спасенію, въ дверяхъ дома, который загра-

*) Выраженіе очевидца, генерала Сегюра.

далъ имъ выходъ, показалось человѣкъ пять французскихъ гренадеровъ.—Солдаты!—вскричалъ одинъ изъ маршаловъ,—спасайте императора!—Гренадеры побросали награбленныя ими вещи и провели Наполеона сквозь огонь, на обширный дворъ, покрытый остатками догорѣвшихъ службъ. Тутъ встрѣтили его еще нѣсколько егерей италіанской гвардіи, и при помощи ихъ, вся толпа, переходя съ одного пепелища на другое, добралась, наконецъ, до Арбата. Для Наполеона отыскали какую то лошаденку; онъ сѣлъ на нее, и въ семъ то торжественномъ шествіи, наблюдая глубокое молчаніе, сей завоеватель Россіи доѣхалъ, наконецъ, до Драгомиловскаго моста. Здѣсь въ первый разъ прояснились лица его свиты; вся опасность миновалась: они уже были почти за городомъ.

— Мнѣ кажется,—сказалъ одинъ изъ адъютантовъ Наполеона,—что мы вчера этой же самой дорогой въѣзжали въ Москву.

— Да!—отвѣчалъ одинъ пожилой кавалерійскій полковникъ;—вонъ на той сторонѣ рѣки и деревянный домъ, въ которомъ третьяго дня ночевалъ императоръ.

— И хорошо бы сдѣлалъ, если бы въ немъ остался. Ces sacrés barbares! Какъ они насъ угостили въ своемъ Кремлѣ! Ну, можно ли было ожидать такой встрѣчи? Помните, за день до нашего вступленія въ эту проклятую Москву, къ намъ приводили для разспросовъ какого то купца... Ахъ, Боже мой!.. Да, кажется, это тотъ самый измѣнникъ, который былъ сейчасъ нашимъ проводникомъ... точно такъ!.. Ну, теперь я понимаю!..

— Что такое?..

— Да развѣ вы забыли, что этотъ татаринъ, на мой вопросъ: какъ примутъ насъ московскіе жители, отвѣчалъ, что врядъ ли сдѣлаютъ намъ встрѣчу; но что освѣщеніе въ городѣ непремѣнно будетъ.

— Ну чтожъ, развѣ онъ солгалъ?.. Развѣ насъ угощали гдѣ-нибудь иллюминаціею лучше этой?

— Чортъ бы ее побралъ!—сказалъ Наполеоновъ Мамелюкъ, Рустанъ, поглаживая свои опаленные усы.

— Надобно признаться, — продолжалъ первый адъютантъ,—писатели наши говорятъ совершенную истину объ этой варварской землѣ. Что за народъ!.. Ну, можно ли называть европейцами этихъ скифовъ?

— Однакожъ, я думаю,—отвѣчалъ хладнокровно пол-

ковникъ,—вы видали много русскихъ плѣнныхъ офицеровъ, которые вовсе на скифовъ не походятъ?

— О, вы вѣчный защитникъ русскихъ, — вскричалъ адъютантъ.—И оттого, что вы имѣли терпѣніе прожить когда то цѣлый годъ въ этомъ царствѣ зимы!...

— Да оттого то именно я знаю его лучше, чѣмъ вы, и не хочу, по примѣру многихъ соотечественниковъ моихъ, повторять нелѣпые разсказы о русскихъ и платить клеветой за всегдашнюю ихъ ласку и гостепріимство.

— Но позвольте спросить васъ, господинъ защитникъ россіянъ: чѣмъ оправдаете вы пожаръ Москвы, этотъ неслыханный примѣръ закоснѣлаго невѣжества, варварства...

— И любви къ отечеству, — прервалъ полковникъ.— Конечно, въ этомъ вовсе не-европейскомъ поступкѣ россіянъ есть что то непросвѣщенное, дикое; но когда я вспомню, какъ принимали насъ въ другихъ столицахъ, и въ то же время посмотрю на пылающую Москву... то, признаюсь, дивлюсь и завидую этимъ скифамъ.

— Согласитесь, однакожъ, полковникъ,—прервалъ человѣкъ среднихъ лѣтъ въ генеральскомъ мундирѣ,—что въ нѣкоторомъ отношеніи этотъ поступокъ оправдать ничѣмъ не можно, и что тѣ, кои жгли своими руками Москву, безъ всякаго сомнѣнія преступники.

— Передъ кѣмъ, господинъ Сегюръ? Если передъ нами, то я совершенно согласенъ: по ихъ милости, мы сейчасъ было всѣ сгорѣли; но я думаю, что за это преступленіе ихъ судить не станутъ.

— Перестаньте, полковникъ! — вскричалъ адъютантъ;— зажигатель всегда преступникъ. И что можно сказать о гражданинѣ, который для того, чтобъ избавиться отъ непріятеля, зажигаетъ свой собственный домъ? *)

— Что можно сказать? Мнѣ кажется, на вашъ вопросъ отвѣчать очень легко: вѣроятно, этотъ гражданинъ болѣе ненавидитъ враговъ своего отечества, чѣмъ любитъ свой собственный домъ. Вотъ еслибъ московскіе жители выбѣжали навстрѣчу къ нашимъ войскамъ, осыпали ихъ рукоплесканіями, приняли съ отверстыми объятіями, и вы спросили бы русскихъ: какое имя можно дать подобнымъ гражданамъ?.. то, безъ сомнѣнія, имъ отвѣчать было бы гораздо затруднительнѣе.

---

*) Точно такой же вопросъ дѣлаетъ г. Делоръ, сочинитель очерковъ Французской революціи: (Esquissses Historiques de la Révolution Française).

— Однакожъ, полковникъ, —сказалъ съ примѣтною досадою адъютантъ,—позвольте вамъ замѣтить: вы съ такимъ жаромъ защищаете нашихъ непріятелей... прилично ли французскому офицеру...

— Вы еще очень молоды, господинъ адъютантъ,— прервалъ хладнокровно полковникъ,—и врядъ ли можете знать лучше меня, что прилично офицеру. Я ужь дрался за честь моей родины въ то время, какъ вы были еще въ пеленкахъ, и смѣло могу сказать: горжусь именемъ француза. Но оттого то именно и уважаю благородную русскую націю. Это самоотверженіе, эта безпредѣльная любовь къ отечеству—понятны душѣ моей: я французъ. И неужели вы думаете, что, унижая враговъ нашихъ, мы не уменьшаемъ этимъ собственную нашу славу? Побѣда надъ презрѣннымъ непріятелемъ можетъ ли, должна ли радовать сердца воиновъ Наполеона?

— Конечно, конечно,—прервалъ Сегюръ.—A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Новотъ ужь мы и за городомъ.

Наполеонъ, поворотя направо, вверхъ по теченію Москвы-рѣки, переправился, близъ села Хорошева, чрезъ пловучій мостъ, и, проѣхавъ нѣсколько верстъ полемъ, дотащился, наконецъ, до петербургской дороги. Тутъ кончилось сіе достопамятное путешествіе императора французовъ отъ Кремля до Петровскаго замка, изъ котораго онъ переѣхалъ опять въ Кремль не прежде, какъ прекратились пожары, то-есть когда уже почти вся Москва превратилась въ пепелъ.

Несмотря на строгую взыскательность нѣкоторыхъ критиковъ, которые, Богъ знаетъ почему, никакъ не дозволяютъ автору говорить отъ собственнаго своего лица съ читателемъ, я намѣренъ, оканчивая сію главу, сказать слова два объ одномъ, не совсѣмъ еще рѣшенномъ у насъ вопросѣ: точно ли русскіе, а не французы сожгли Москву?.. Было время, что мы, испуганные восклицаніями парижскихъ журналистовъ: «ces barbares qui ne savaient se défendre qu'en brûlant leurs propres habitations» *), готовы были божиться въ противномъ; но теперь, надѣюсь, никакая краснорѣчивая французская фраза не заставитъ насъ отказаться отъ того, чѣмъ не только мы, но и позд-

*) Эти варвары, которые не умѣли защищать себя иначе, какъ сожигая собственные дома свои.

нѣйшіе потомки наши станутъ гордиться. Нѣтъ! Мы не уступимъ никому чести московскаго пожара: это одно изъ драгоцѣннѣйшихъ наслѣдій, которое нашъ вѣкъ передастъ будущему. Пусть современные французскіе писатели, всегда готовые платить ругательствомъ за нашу ласку и гостепріимство, кричатъ, что мы варвары, что, превратя въ пепелъ древнюю столицу Россіи, мы отодвинули себя на цѣлое столѣтіе: послѣдствія доказали противное; а безпристрастное потомство скажетъ, что въ семъ спасительномъ пожарѣ Москвы погибъ навсегда тотъ, кто хотѣлъ наложить оковы рабства на всю Европу. Да! не на пустынномъ островѣ, но подъ дымящимися развалинами Москвы Наполеонъ нашелъ свою могилу! Въ упрямомъ военачальникѣ, влекущемъ на явную гибель остатки своихъ безстрашныхъ легіоновъ, въ мятежномъ корсиканцѣ, взволновавшемъ снова успокоенную Францію—я вижу еще что то великое; но въ неугомонномъ плѣнникѣ англичанъ, въ мелочномъ ругателѣ своего тюремщика, я не узнаю рѣшительно того колоссальнаго Наполеона, который и въ паденіи своемъ не долженъ былъ походить на обыкновеннаго человѣка.

V.

Уже болѣе трехъ недѣль Наполеонъ жилъ снова въ Кремлѣ. Большая русская армія, подъ главнымъ начальствомъ незабвеннаго князя Кутузова, прикрывая богатѣйшія наши провинціи, стояла спокойно лагеремъ, имѣла все нужное въ изобиліи и безпрестанно усиливалась свѣжими войсками, подходившими изъ всѣхъ низовыхъ губерній. Напротивъ, положеніе французской арміи было вовсе незавидное: превращенная въ пепелъ Москва не доставляла давно уже никакого продовольствія, и, несмотря на всѣ военныя предосторожности, цѣлыя партіи фуражировъ пропадали безъ вѣсти; съ каждымъ днемъ возрастала народная ненависть къ французамъ. Буйные поступки солдатъ, начинавшихъ уже забывать всю подчиненность; сожженіе Москвы, а болѣе всего оскверненіе церквей, сначала ограбленныхъ, а потомъ превращенныхъ въ магазины и конюшни, довело, наконецъ, сію ненависть до какого то изступленія. Убить просто француза казалось для русскаго крестьянина уже дѣломъ слишкомъ обыкновеннымъ; всѣ роды смертей, одна

другой ужаснѣе, ожидали несчастныхъ непріятельскихъ солдатъ, захваченныхъ вооруженными толпами крестьянъ, которые дѣлаясь часъ-отъ-часу отважнѣе, стали, наконецъ, нападать на сильные отряды фуражировъ, и нерѣдко оставались побѣдителями. Сіи, повидимому, незначительныя, но безпрерывныя потери обезсиливали примѣтнымъ образомъ непріятеля; а къ довершенію бѣдствія, наши летучіе отряды почти совершенно отрѣзали большую французскую армію отъ всѣхъ ея пособій и резервовъ. Можно сказать безъ всякаго преувеличенія, что когда французы шли впередъ и стояли въ Москвѣ, русскіе партизаны составляли ихъ аріергардъ; а во время ретирады сдѣлались авангардомъ, перерѣзывали имъ дорогу, замедляли отступленіе и захватывали всѣ транспорты съ одеждою и продовольствіемъ, которые спѣшили къ нимъ навстрѣчу.

Въ полной надеждѣ на неизмѣнную звѣзду своего счастія, Наполеонъ подписывалъ въ Кремлѣ новыя постановленія для парижскихъ театровъ, прогуливался въ своемъ сѣромъ сюртукѣ по городу и, глядя спокойно на бѣдственное состояніе своего войска, ожидалъ съ каждымъ днемъ мирныхъ предложеній отъ нашего двора. Но слово русскаго царя священно: онъ обѣщалъ своему народу не положить меча до тѣхъ поръ, пока хотя единый врагъ останется въ предѣлахъ его царства—и свято сохранилъ сей обѣтъ. День проходилъ за днемъ, но никто не являлся къ *побѣдителю* съ повинной головою. Наполеонъ досадовалъ, называлъ насъ варварами, не понимающими, что такое европейская война, и, наконецъ, вѣроятно по добротѣ своего сердца, не желая *погубить* до конца Россію, послалъ въ главную квартиру свѣтлѣйшаго князя Кутузова своего любимца Лористона, уполномочивъ его заключить миръ на самыхъ выгодныхъ для насъ условіяхъ. Всѣмъ извѣстно, какой имѣло успѣхъ это *человѣколюбивое* посольство. Лористонъ, воротясь въ Москву, донесъ своему императору, что сѣверные варвары не хотятъ слышать о мирѣ, и увѣряютъ, будто бы война не кончилась, а только еще начинается.

Все это происходило въ концѣ сентября мѣсяца, и около того же самаго времени, отрядъ, подъ командою знакомаго намъ артиллерійскаго офицера, переходя безпрестанно съ одного мѣста на другое, остановился ночевать недалеко отъ большой Калужской дороги.

Разсвѣтало. На одной обширной полянѣ, окруженной со

всѣхъ сторонъ густымъ лѣсомъ, при слабомъ отблескѣ догорающихъ огней, можно было безъ труда разсмотрѣть нѣсколько десятковъ шалашей, или балагановъ, расположенныхъ полукружіемъ. Съ полдюжины фуръ, двѣ или три телѣги, множество лошадей, стоящихъ кучами, у сдѣланныхъ на скорую руку коновязей, разбросанные котлы, и пестрота одеждъ, спящихъ въ шалашахъ и передъ огнями людей— все, съ перваго взгляда, походило на какой то безпорядочный цыганскій таборъ. Но въ то же время цѣлые пуки воткнутыхъ въ землю дротиковъ и казаки, стоящіе на часахъ по опушкѣ лѣса, доказывали, что на сей полянѣ расположены были биваки одного изъ летучихъ русскихъ отрядовъ.

Въ небольшомъ полуоткрытомъ шалашѣ лежало трое офицеровъ, закутанныхъ въ синія шинели. Казалось, они спали крѣпкимъ сномъ. Недалеко отъ нихъ, передъ балаганомъ, который былъ почти вдвое болѣе другихъ, у пылающаго костра, сидѣлъ русскій офицеръ въ зеленомъ спензерѣ. Онъ курилъ трубку и, отъ времени до времени, посматривалъ съ примѣтнымъ нетерпѣніемъ впередъ; вдругъ послышался вдали окликъ часового. Офицеръ всталъ и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впередъ, остановился; черезъ минуту раздался явственно лошадиный топотъ, и видный собою казакъ выѣхалъ рысью на поляну.

— Ну что, Мироновъ,—спросилъ офицеръ, подойдя къ казаку, который спрыгнулъ съ лошади: — непріятель, точно, потянулся по Калужской дорогѣ?

— Да, ваше высокоблагородіе! Французы ночуютъ верстахъ въ пяти отсюда.

— А какъ силенъ непріятель?

— Я видѣлъ только передовыхъ: этакъ сотенъ пять-шесть будетъ; да мужички мнѣ сказывали, что за ними валитъ французовъ несмѣтная сила.

— То-есть два или три полка?

— Не могу знать, ваше высокоблагородіе! А говорятъ, съ ними много пушекъ.

— Такъ это не фуражиры Ступай, разбуди есаула: сейчасъ въ походъ.

Въ полминуты весь лагерь оживился; а офицеръ, подойдя къ своему шалашу, закричалъ: — Эй, господа, вставайте!

— Что такое?—спросилъ Зарѣцкій, приподымаясь и протирая глаза.

— Сейчасъ въ походъ.

— А я было заснулъ такъ крѣпко. Ахъ, чортъ возьми, какъ у меня болитъ голова! А все отъ этого проклятаго пунша. Ну!—продолжалъ Зарѣцкій, подымаясь на ноги,—мы, кажется, угощая вчера нашихъ плѣнныхъ французовъ, и сами черезъ-чуръ подгуляли. Да гдѣ-жъ они?

— Не бойтесь, не уйдутъ, — сказалъ, выходя изъ шалаша, одѣтый въ сѣрое полукафтанье офицеръ, въ выговорѣ котораго замѣтно было сербское нарѣчіе.

— Чтожъ они дѣлаютъ?

— Спятъ,—отвѣчалъ отрывисто сербъ.

— А какъ проснутся,—продолжалъ Зарѣцкій,—и вспомнятъ, какъ они все намъ выболтали, такъ, вѣрно, пожалѣютъ, что выпили по лишнему стакану пунша. Да и вы, господа,—надобно сказать правду—мастерски умѣете пользоваться минутой откровенности.

— Это потому,—подхватилъ другой офицеръ въ буркѣ и бѣлой кавалерійской фуражкѣ,—что мы вѣримъ русской пословицѣ: что у трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ.

— Посмотрите, если они сегодня не будутъ отрекаться отъ своихъ вчерашнихъ словъ.

— Не думаю,—сказалъ съ какой то странной улыбкою артиллерійскій офицеръ.

— Куда мы теперь отправляемся? —спросилъ Зарѣцкій.

— Мы перейдемъ на Владимірскую дорогу и, можетъ быть, будемъ опять верстахъ въ десяти отъ Москвы.

— Въ десяти верстахъ!—повторилъ Зарѣцкій.—Что если бы я могъ какъ-нибудь узнать, живъ ли мой другъ Рославлевъ.

— Я на вашемъ мѣстѣ, — сказалъ артиллерійскій офицеръ,—постарался бы съ нимъ увидѣться.

— О! еслибъ я могъ побывать самъ въ Москвѣ...

— Почему же нѣтъ? Да знаете ли, что вамъ это даже нужно? Извините, но мнѣ кажется, вы слишкомъ жалуете нашихъ непріятелей; такъ вамъ вовсе не мѣшаетъ взглянуть теперь на Москву: быть можетъ, это васъ нѣсколько поразочаруетъ. Вы говорите хорошо по-французски; у насъ есть полный конно-егерскій мундиръ: одѣньтесь въ него, возьмите у меня лошадь, отбитую у непріятельскаго офицера, и ступайте смѣло въ Москву. Тамъ теперь такое смѣшеніе языковъ и мундировъ, что никому не придетъ въ голову экзаменовать васъ, къ какому вы принадлежите полку.

— А что вы думаете? — вскричалъ Зарѣцкій. — Если Рославлевъ живъ, то, можетъ быть, я найду способъ вывезти его изъ Москвы и добраться вмѣстѣ съ нимъ до нашей арміи.

— Можетъ быть. Одѣвайтесь же скорѣе: мы сейчасъ выступаемъ.

Въ нѣсколько минутъ Зарѣцкій, при помощи проворнаго казачьяго урядника, преобразился въ непріятельскаго офицера, надѣлъ сверхъ мундира синюю шинель съ длиннымъ воротникомъ, и, вскочивъ на лошадь, осѣдланную французскимъ сѣдломъ, сказалъ: — Какъ удивятся наши плѣнные, когда увидятъ меня въ этомъ нарядѣ. Да гдѣ-жъ они?... Ба! они еще спятъ. Надобно ихъ разбудить

— Зачѣмъ? — прервалъ артиллерійскій офицеръ, садясь на лошадь.—Мы со всѣхъ сторонъ окружены французами, гдѣ намъ таскать съ собою плѣнныхъ.

— Но мы идемъ отсюда.

— А они остаются.

— Да теперь, покуда они спятъ...

— И не проснутся!—сказалъ сербъ, закуривая спокойно свою трубку.

У Зарѣцкаго сердце замерло отъ ужаса; онъ взглянулъ съ отвращеніемъ на своихъ товарищей и замолчалъ. Весь отрядъ, принявъ направо, потянулся лѣсомъ по узкой просѣкѣ, которая вывела ихъ на чистое поле. Проѣхавъ верстъ десять, они стали опять встрѣчать лѣсистыя мѣста, и часу въ одиннадцатомъ утра остановились отдохнуть недалеко отъ села Карачарова въ густомъ сосновомъ лѣсу.

— Ну, если вы не передумали ѣхать въ Москву,—сказалъ артиллерійскій офицеръ—то ступайте теперь: я приму отсюда налѣво и остановлюсь не прежде, какъ буду отъ нея верстахъ въ тридцати.

Покормивъ лошадей подножнымъ кормомъ и отдохнувъ, отрядъ приготовился къ выступленію; а Зарѣцкій, простясь довольно холодно съ бывшими своими товарищами, выѣхалъ изъ лѣса прямо на большую дорогу, которая шла черезъ село Карачарово. Подъѣхавъ къ длинной гати, проложенной по низкому мѣсту, вплоть до самаго селенія, Зарѣцкій увидѣлъ, что передъ околицей стоитъ сильный непріятельскій пикетъ. Желая какъ можно рѣже встрѣчаться съ теперешними своими сослуживцами, онъ принялъ налѣво полемъ, и продолжалъ объѣзжать всѣ деревни и селенія, наполнен-

ныя французами. Изрѣдка встрѣчались съ нимъ бродящіе по огородамъ солдаты: одни, какъ будто бы нехотя, прикладывали руки къ своимъ киверамъ; другіе, взглянувъ на него весьма равнодушно, продолжали рыться между грядъ. Съ приближеніемъ его къ Москвѣ, число сихъ бродягъ безпрестанно увеличивалось; близъ Спасской заставы по всѣмъ огородамъ были разсыпаны солдаты всѣхъ націй. Зарѣцкій примѣтилъ, что многіе изъ нихъ таскали за собой обывателей изъ простого народа, на которыхъ, какъ на вьючныхъ лошадей, накладывали мѣшки съ картофелемъ, рѣпою и другими огородными овощами. Подъѣзжая къ заставѣ, онъ думалъ, что его закидаютъ вопросами; но, къ счастію, опасенія его не оправдались. Часовой, въ изорванной шинели, въ протоптанныхъ башмакахъ и высокой медвѣжьей шапкѣ, не сдѣлалъ ему на караулъ, но за то и не обезпокоилъ его никакимъ вопросомъ.

Какое странное и вмѣстѣ плачевное зрѣлище представилось Зарѣцкому, когда онъ въѣхалъ въ городъ! Вмѣсто улицъ, тянулись безконечные ряды трубъ и печей, посреди которыхъ отъ времени до времени возвышались полуразрушенные кирпичные дома; на каждомъ шагу встрѣчались съ нимъ толпы оборванныхъ солдатъ: одни, запачканные сажею, черные какъ негры, копались въ развалинахъ домовъ; другіе, опьянѣвъ отъ русскаго вина, кричали охриплымъ голосомъ: «Vive l'Empereur!» шумѣли и пѣли пѣсни на разныхъ европейскихъ языкахъ. Обломки столовъ и стульевъ, изорванныя картины, разбитыя зеркала, фарфоръ, пустыя бутылки, бочки и мертвыя лошади покрывали мостовую. Все это вмѣстѣ представляло такую отвратительную картину безпорядка и разрушенія, что Зарѣцкій едва могъ удержаться отъ восклицанія: «злодѣи! что сдѣлали вы съ несчастной Москвою!» Будучи воспитанъ, какъ и большая часть нашихъ молодыхъ людей, подъ присмотромъ французскаго гувернера, Зарѣцкій не могъ назваться набожнымъ; но, несмотря на это, его русское сердце облилось кровью, когда онъ увидѣлъ, что почти во всѣхъ церквахъ стояли лошади; что стойла ихъ были сколочены изъ иконъ, обезображенныхъ, изрубленныхъ и покрытыхъ грязью. Но какъ описать его негодованіе, когда, проѣзжая мимо одной церкви, онъ прочелъ на ней надпись: «Конюшня генерала Гильемино».—Нѣтъ, господа французы,—вскричалъ онъ, позабывъ, что окруженъ со всѣхъ сторонъ непріятелемъ,—это

уже слишкомъ!... ругаться надъ тѣмъ, что цѣлый народъ считаетъ священнымъ!... Если это по вашему называется отсутствіемъ всѣхъ предразсудковъ и просвѣщеніемъ, такъ чортъ его побери и вмѣстѣ съ вами!—Когда онъ сталъ приближаться къ серединѣ города, то, боясь встрѣтить французскаго генерала, который могъ бы ему сдѣлать какой-нибудь затруднительный вопросъ, Зарѣцкій всякій разъ, когда сверкали вдали шитые мундиры и показывались толпы верховыхъ, сворачивалъ въ сторону и скрывался между развалинами. Нѣсколько разъ случалось ему, для избѣжанія подобной встрѣчи, въѣзжать въ какую-нибудь залу или прятаться за мраморнымъ каминомъ, и потомъ снова выбираться на улицу сквозь цѣлый рядъ комнатъ безъ половъ и потолковъ, но сохранившихъ еще по мѣстамъ свою позолоту и живопись. Переѣхавъ Яузу, Зарѣцкій пустился рысью по набережной Москвы-рѣки, мимо уцѣлѣвшаго воспитательнаго дома, и, миновавъ благополучно Кремль, замѣтилъ, что на самой серединѣ Каменнаго моста толпилось много народа. Когда онъ подъѣхалъ къ сей толпѣ, которая занимала всю ширину моста, то долженъ былъ, за тѣснотою, пріостановить свою лошадь подлѣ двухъ гвардейскихъ солдатъ. Они разговаривали о чемъ то съ большимъ жаромъ.—Какъ!—вскричалъ одинъ изъ нихъ—обѣ, молодыя дѣвушки?...

— Да!—отвѣчалъ другой,—онѣ обѣ, въ моихъ глазахъ, бросились съ моста прямо въ рѣку.

— Matin! sont elles farouches ces bourgeoises de Moscou?... Броситься въ рѣку оттого, что двое гвардейскихъ солдатъ предложили имъ погулять и повеселиться вмѣстѣ съ ними!.. Ну вотъ, къ чему служитъ парижская вѣжливость съ этими варварами?

— Правда,—сказалъ первый солдатъ,—они тащили ихъ насильно.

— Насильно!... насильно!... Но если эти дуры не знаютъ общежитія!... Что за народъ эти русскіе!.. Мнѣ кажется, они еще глупѣе нѣмцевъ... А какъ безтолковы!... Съ ними говоришь чистымъ французскмъ языкомъ—ни слова не понимаютъ. Sapristie! comme ils sont bêtes ces barbares!

— Здравствуй, Дюранъ!—сказалъ кто то на французскомъ языкѣ позади Зарѣцкаго.—Ну что, доволенъ ли ты своей лошадью?—продолжалъ тотъ же голосъ, и такъ близко, что Зарѣцкій оглянулся и увидѣлъ подлѣ себя кавалерійскаго офицера, который, отступя шагъ назадъ, вскричалъ съ

удивленіемъ:—Ахъ, Боже мой! я ошибся.. извините!... я принялъ васъ за моего пріятеля... но неужели онъ продалъ вамъ свою лошадь?... Да! это, точно, она!... Позвольте спросить, дорого ли вы за нее заплатили?

— Четыреста франковъ,—отвѣчалъ на удачу Зарѣцкій.

— Только?... Онъ заплатилъ мнѣ за нее восемьсотъ, а продалъ вамъ за четыреста!... Странно!... Вы служите съ нимъ въ одномъ полку?

— Нѣтъ!—отвѣчалъ отрывисто Зарѣцкій, стараясь продраться сквозь толпу. Поворачивая во всѣ стороны лошадь, онъ нечаянно распахнулъ свою шинель.—Это странно!—сказалъ кавалеристъ:—вы служите не вмѣстѣ съ Дюраномъ, а на васъ, кажется, такой же мундиръ, какъ и на немъ.

— Мундиры нашихъ полковъ очень сходны... Но извините!... Мнѣ некогда. Посторонитесь, господа!

— Что это?—продолжалъ кавалеристъ, заслонивъ дорогу Зарѣцкому.—Такъ точно! На васъ его сабля!

— Я купилъ ее вмѣстѣ съ лошадью.

— Эту саблю?... Позвольте взглянуть на рукоятку... Такъ и есть: на ней вырѣзано имя Аделаиды... странно! Онъ получилъ ее изъ рукъ сестры мой и продалъ вамъ вмѣстѣ съ своею лошадью...

— Да, сударь! вмѣстѣ съ лошадью...

— Извините!... Но это такъ чудно... такъ непонятно... Я знаю хорошо Дюрана: онъ не способенъ къ такому низкому поступку.

— То есть я солгалъ? — прервалъ Зарѣцкій, стараясь казаться обиженнымъ.

— Да, сударь! это неправда!

— Неправда!—повторилъ Зарѣцкій ужаснымъ голосомъ. Un démenti à moi... Какъ васъ зовутъ, государь мой?

— Позвольте мнѣ прежде узнать..

— Ваше имя, сударь?

— Но растолкуйте мнѣ прежде...

— Ваше имя и ни слова болѣе!...

— Капитанъ жандармовъ Рено; а вы, сударь?...

— Капитанъ Рено? Очень хорошо... Я знаю, гдѣ вы живете... Мы сегодня же увидимся... да, сударь! сегодняже!... Un démenti à moi!...—повторилъ Зарѣцкій, пришпоривая свою лошадь.—Господинъ офицеръ!.. господинъ офицеръ!..—закричали со всѣхъ сторонъ.—Тише! вы насъ давите!.. Ай, ай, ай! Miséricorde!.. Держите этого сумасшед-

шаго!...—Но Зарѣцкій, не слушая ни воплей, ни проклятій, прорвался, какъ бѣшеный, сквозь толпу и, выскакавъ на противоположный берегъ рѣки, пустился шибкой рысью вдоль Полянки.

Зарѣцкій вздохнулъ свободно не прежде, какъ потерялъ совсѣмъ изъ виду Каменный мостъ. Не опасаясь уже, что привязчивый жандармскій офицеръ его догонитъ, онъ успокоился, поѣхалъ шагомъ, и утѣшительная мысль, что, можетъ быть, онъ скоро обниметъ Рославлева, замѣнила въ душѣ его всякое другое чувство. Почти всѣ дома около Серпуховскихъ воротъ уцѣлѣли отъ пожара, слѣдовательно онъ имѣлъ полное право надѣяться, что отыщетъ домъ купца Сеземова. Доѣхавъ до конца Полянки, онъ остановился. Нѣсколько сотъ непріятельскихъ солдатъ прохаживались по площади. Одни курили трубки, другіе продавали всякую всячину. Посреди всѣхъ германскихъ нарѣчій, раздавались иногда звучныя фразы итальянскаго языка, прерываемыя безпрестанно восклицаніями и поговорками, которыми такъ богатъ языкъ французскихъ солдатъ; но во всей толпѣ, Зарѣцкій не замѣтилъ ни однаго обывателя. Онъ объѣхалъ кругомъ площадь, заглядывалъ во всѣ окна, и, наконецъ рѣшился войти въ домъ, надъ дверьми котораго висѣла вывѣска, съ надписью на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ: золотыхъ дѣлъ мастеръ Францъ Зингеръ.

Привязавъ у крыльца свою лошадь, Зарѣцкій вошелъ въ небольшую горенку, обитую изорванными обоями. Нѣсколько плохихъ стульевъ, разбитое зеркало и гравированный портретъ Наполеона въ черной рамкѣ составляли всю мебель сей комнаты. Позади прилавка изъ простого дерева, сидѣла за работою дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, въ опрятномъ ситцевомъ платьѣ. Когда она увидѣла вошедшаго Зарѣцкаго, то, вскочивъ проворно со стула и сдѣлавъ ему вѣжливый книксенъ, спросила на дурномъ французскомъ языкѣ: «Что угодно господину офицеру?» Потомъ, не дожидаясь его отвѣта, открыла съ стеклянным верхомъ ящикъ, въ которомъ лежали дюжины три золотыхъ колецъ, нѣсколько печатей, цѣпочекъ и два или три креста Почетнаго Легіона.

— Гдѣ хозяинъ?—спросилъ Зарѣцкій.

— Папенька? Его нѣтъ дома.

— Не знаешь ли, миленькая, гдѣ здѣсь домъ купца Сеземова?

— Сеземова? Не знаю, господинъ офицеръ; но если

вамъ угодно немного подождать, папенька скоро придетъ: онъ, вѣрно, знаетъ.

Зарѣцкій кивнулъ, въ знакъ согласія, головою, а дѣвочка сѣла на стулъ и принялась снова вязать свой бѣлый бумажный колпакъ съ синими полосками.

Прошло съ четверть часа. Зарѣцкій начиналъ уже терять терпѣніе; наконецъ, двери отворились, и толстый нѣмецъ, съ прищуренными глазами, вошелъ въ комнату. Поклонясь вѣжливо Зарѣцкому, онъ повторилъ также на французскомъ языкѣ вопросъ своей дочери:—Что угодно господину офицеру?

— Не знаете ли, гдѣ домъ купца Сеземова?

— Шаговъ двадцать отсюда, желтый домъ съ зелеными ставнями. Вы вѣрно желаете видѣть офицера, который у него квартируетъ?

— Да. И такъ желтый домъ съ зелеными ставнями?..

— Позвольте, позвольте!... Вы его тамъ не найдете: онъ перемѣнилъ квартиру,

— Право?—сказалъ Зарѣцкій.—Все равно, я его какъ нибудь отыщу.

— Позвольте!.. онъ теперь живетъ у меня.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Но, кажется, его нѣтъ дома?..

— Да, онъ вышелъ; но не угодно ли въ его комнату: господинъ капитанъ сейчасъ будетъ.

— Нѣтъ, я лучше зайду опять

— Да подождите! онъ идетъ за мной.

— Нѣтъ, я вспомнилъ... мнѣ еще нужно... я хотѣлъ... прощайте!..

— Постойте, господинъ офицеръ! постойте!—вскричалъ нѣмецъ, взглянувъ въ окно;—да вотъ и онъ!

Прежде чѣмъ Зарѣцкій успѣлъ образумиться, жандармскій офицеръ, съ которымъ онъ поссорился на Каменномъ мосту, вошелъ въ комнату.

— Вотъ господинъ офицеръ, который отыскивалъ вашу квартиру, — сказалъ нѣмецъ, обращаясь къ своему постояльцу.—Онъ не зналъ, что вы переѣхали жить въ мой домъ.

Счастливая мысль, какъ молнія, блеснула въ головѣ Зарѣцкаго.—Господинъ Рено!—сказалъ онъ грознымъ голосомъ,—я обѣщался отыскать васъ и, кажется, сдержалъ мое слово. Обида, которую вы мнѣ сдѣлали, требуетъ немедленнаго удовлетворенія: мы должны сейчасъ стрѣляться.

Хозяинъ-нѣмецъ поблѣднѣлъ, началъ пятиться назадъ и исчезъ за дверьми комнаты; но дочь его осталась на прежнемъ мѣстѣ и, съ дѣтскимъ любопытствомъ, устремила свои простодушные голубые глаза на обоихъ офицеровъ.

— Прежде чѣмъ я буду отвѣчать вамъ,—сказалъ хладнокровно капитанъ Рено,—позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?

— Какое вамъ до этого дѣло? Вы видите, что я французскій офицеръ.

— Извините! я вижу только, что на васъ мундиръ французскаго офицера.

— Что вы хотите этимъ сказать, — вскричалъ Зарѣцкій, чувствуя какое-то невольное сжиманіе сердца.

— А то, сударь, что Москва теперь наполнена русскими шпіонами во всѣхъ возможнымъ костюмахъ.

— Какъ, господинъ капитанъ! Вы смѣете думать?..

— Да, сударь! — продолжалъ Рено, — французскій офицеръ долженъ знать службу, и не станетъ вызывать на дуэль капитана жандармовъ, который обязанъ предупреждать всѣ подобные случаи.

— Но, сударь...

— Французскій офицеръ не будетъ скрывать своего имени и давить народъ, чтобъ избѣжать затруднительныхъ вопросовъ, которые въ правѣ ему сдѣлать каждый офицеръ жандармовъ.

— Но, сударь...

— Французскій офицеръ не отлучится никогда самопроизвольно отъ своей команды. Вашъ полкъ стоитъ далеко отъ Москвы, слѣдовательно вы должны имѣть письменное позволеніе. Не угодно ли вамъ его показать?

— А если я его не имѣю?..

— Въ такомъ случаѣ, пожалуйте вашу саблю.

— Прекрасно, сударь!.. Вы обидѣли меня, и употребляете этотъ низкій способъ, чтобъ отдѣлаться отъ поединка. Позвольте-жъ и мнѣ теперь спросить васъ: французъ ли вы?

— Вы напрасно расточаете ваше краснорѣчіе. Быть можетъ я нѣсколько погорячился; но извините!.. Всѣ ваши отвѣты были такъ странны; лошадь, которую вы купили за половину цѣны; сабля, которая никакъ не могла быть вамъ продана, и даже это смущеніе, которое я замѣчаю въ глазахъ вашихъ, все заставляетъ меня пригласить васъ

вмѣстѣ со мной къ коменданту. Тамъ дѣло объяснится. Мы узнаемъ, долженъ ли я просить у васъ извиненія, или поблагодарить васъ за то, что вы доставили мнѣ случай доказать, что я не даромъ ношу этотъ мундиръ. Да не горячитесь: у меня въ сѣняхъ жандармы. Пожалуйте вашу саблю!

— Такъ возьмите же ее сами! — вскричалъ Зарѣцкій, отступивъ два шага назадъ.

Вдругъ двери отворились, и въ комнату вошелъ прекрасный собою мужчина, въ кирасирскомъ мундирѣ, съ полковничьими эполетами. При первомъ взглядѣ на Зарѣцкаго, онъ не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія.

— Ахъ, это вы, графъ!..—вскричалъ Зарѣцкій, узнавъ тотчасъ въ офицерѣ полковника Сеникура.—Какъ я радъ, что васъ вижу! Сдѣлайте милость, увѣрьте господина Рено, что я, точно, французскій капитанъ Данвиль.

— Капитанъ Данвиль!..—повторилъ полковникъ, продолжая смотрѣть съ удивленіемъ на Зарѣцкаго.

— Неужели, графъ, вы меня не узнаете?..

— Извините! я васъ тотчасъ узналъ...

— И, вѣрно, вспомнили, что, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, я имѣлъ счастіе спасти васъ отъ смерти?

— Какъ!—вскричалъ жандармскій капитанъ,—неужели въ самомъ дѣлѣ?..

— Да, Рено!—прервалъ полковникъ,—этотъ господинъ говоритъ правду; но я никакъ не думалъ встрѣтить его въ Москвѣ, и, признаюсь, весьма удивленъ...

— Вы еще болѣе удивитесь, полковникъ,—подхватилъ Зарѣцкій,—когда я вамъ скажу, что не имѣю на это никакого позволенія отъ моего начальства; но вы, вѣрно, перестанете удивляться, если узнаете причины, побудившія меня къ сему поступку.

— Едва ли!—сказалъ полковникъ, покачавъ головою;—это такая неосторожность!.. Но позвольте узнать, что у васъ такое съ господиномъ Рено?

— Представьте себѣ, графъ! Господинъ Рено обидѣлъ меня ужаснымъ образомъ, и когда я отыскалъ его квартиру, засталъ дома и сталъ просить удовлетворенія...

— Что это все значитъ?—вскричалъ полковникъ, глядя съ удивленіемъ на обоихъ офицеровъ.—Вы въ Москвѣ... отыскивали жандармскаго капитана... вызываете его на дуэль... Чортъ возьми, если я тутъ что-нибудь понимаю!

— Послушайте, графъ! — прервалъ Рено, — можете ли

вы меня удостовѣрить, что этотъ господинъ, точно, капитанъ французской службы?

— Да развѣ вы не видите? Впрочемъ, я готовъ еще разъ повторить, что этотъ храбрый и благородный офицеръ вырвалъ меня изъ рукъ непріятельскихъ солдатъ, и что если я могу еще служить императору и бить русскихъ, то, конечно, за это обязанъ единственно ему.

— О, въ такомъ случаѣ... Господинъ Данвиль! я признаю себя совершенно виноватымъ... Но эта проклятая сабля!... Признаюсь, я и теперь не постигаю, какъ могъ Дюранъ рѣшиться продать саблю, которую получилъ изъ рукъ своей невѣсты... Согласитесь, что я скорѣй долженъ былъ предполагать, что онъ убитъ... что его лошадь и оружіе достались непріятелю... что вы... Но если графъ васъ знаетъ, то, конечно...

— Итакъ, это кончено,—сказалъ полковникъ.—Я думаю, господинъ Данвиль, вы теперь довольны? Да вамъ и некогда ссориться: совѣтую по-дружески сейчасъ же отправиться туда, откуда вы пріѣхали.

— Извините, — сказалъ Рено, — я исполнилъ долгъ честнаго человѣка, признавшись въ моей винѣ; теперь позвольте мнѣ выполнить обязанность мою по службѣ. Господинъ Данвиль отлучился безъ позволенія отъ своего полка, и я долженъ непремѣнно довести это до свѣдѣнія начальства.

— И, полноте, Рено! — прервалъ полковникъ, — что вамъ за радость, если моего пріятеля накажутъ за этотъ необдуманный поступокъ? Конечно,—прибавилъ онъ, взглянувъ значительно на Зарѣцкаго, — поступокъ болѣе, чѣмъ неосторожный, и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, непростительный—не спорю!—но въ которомъ, безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ ничего неприличнаго и унизительнаго для офицера: въ этомъ я увѣренъ.

— Такъ, полковникъ, такъ!... Однакожъ, вы знаете, что порядокъ службы требуетъ...

— Знаю, знаю, капитанъ! Но представьте себѣ, что вы съ нимъ никогда не встрѣчались — вотъ и все! Пойдемте ко мнѣ, Данвиль.

— Ну, если, графъ, вы непремѣнно этого хотите, то, конечно, я долженъ... я не могу отказать вамъ. Уѣзжайте же скорѣе отсюда, господинъ Данвиль; совѣтую вамъ быть впередъ осторожнѣе: императоръ никогда не любилъ шутить

военной дисциплиною, а теперь сдѣлался еще строже. Говорятъ, онъ безпрестанно сердится; эти проклятые русскіе выводятъ его изъ терпѣнія. Варвары! и не думаютъ о мирѣ! Какъ будто бы война должна продолжаться вѣчно. Прощайте, господа!

— Это ваша лошадь? — спросилъ полковникъ, когда они вышли на крыльцо.

— Да, графъ.

— Отвяжите ее, и сдѣлайте мнѣ честь, пройдите со мною нѣсколько шаговъ по улицѣ.

Зарѣцкій, ведя въ поводу свою лошадь, отошелъ вмѣстѣ съ графомъ Сеникуромъ шаговъ сто отъ дома золотыхъ дѣлъ мастера. Поглядя вокругъ себя и видя, что ихъ никто не можетъ подслушать, полковникъ остановился, кинулъ проницательный взглядъ на Зарѣцкаго и сказалъ строгимъ голосомъ:—Теперь позвольте васъ спросить, что значитъ этотъ маскарадъ?

— Я хотѣлъ узнать, живъ ли мой другъ, который, будучи отчаянно боленъ, не могъ выѣхать изъ Москвы въ то время, какъ вы въ нее входили.

— И у васъ не было никакихъ другихъ намѣреній?

— Никакихъ, клянусь вамъ честію.

— Очень хорошо. Вы храбрый и благородный офицеръ — я вѣрю вашему честному слову; но знаете ли, что, несмотря на это, васъ должно, по всѣмъ военнымъ законамъ, разстрѣлять, какъ шпіона.

— Знаю.

— И вы рѣшились, чтобъ повидаться съ вашимъ другомъ...

— Да, полковникъ! для этого только я рѣшился надѣть французскій мундиръ и пріѣхать въ Москву.

— Признаюсь, я до сихъ поръ думалъ, что одна любовь оправдываетъ подобныя дурачества... но минуты дороги: малѣйшая неосторожность можетъ стоить вамъ жизни. Ступайте скорѣй вонъ изъ Москвы.

— Я еще не видѣлся съ моимъ другомъ.

— Отложите это свиданіе до лучшаго времени. Мы не вѣчно здѣсь останемся.

— Надѣюсь, графъ... но если мой другъ живъ, то я могу спасти его.

— Спасти?

— То-есть увезти изъ Москвы.

— Такъ поэтому онъ военный?

— Да, графъ; но, можетъ быть, ваше правительство объ этомъ не знаетъ?

— Извините! Я знаю теперь, что вашъ другъ офицеръ, слѣдовательно, военноплѣнный, и не можетъ выѣхать изъ Москвы.

— Какъ, графъ, вы хотите употребить во зло мою откровенность?

— Да, сударь! Я поступилъ уже противъ совѣсти и моихъ правилъ, спасая отъ заслуженной казни человѣка, котораго законъ осуждаетъ на смерть, какъ шпіона; но я обязанъ вамъ жизнію, и хотя это не слишкомъ завидный подарокъ, — прибавилъ полковникъ съ грустной улыбкою;—а все я, не менѣе того, былъ вашимъ должникомъ: теперь мы поквитались, и я, конечно, не допущу васъ увезти съ собою плѣннаго офицера.

— Но знаете ли, полковникъ, кто этотъ плѣнный офицеръ?

— Какое мнѣ до этого дѣло!

— Знаете ли, что вы успѣли уже отнять у него болѣе, чѣмъ жизнь?

— Что вы говорите?

— Да, графъ! Этотъ офицеръ — Рославлевъ.

— Рославлевъ? женихъ...

— Да, бывшій женихъ Полины Лидиной.

— Возможно ли? — вскричалъ Сеникуръ, схвативъ за руку Зарѣцкаго. — Какъ? это тотъ несчастный?... Ахъ, что вы мнѣ напомнили!... Ужасная ночь!... Нѣтъ!... Во всю жизнь мою не забуду... безъ чувствъ — въ крови... у самыхъ церковныхъ дверей... сумасшедшая!... Боже мой, Боже мой!...—Полковникъ замолчалъ. Лицо его было блѣдно; посинѣвшія губы дрожали.—Да!—вскричалъ онъ, наконецъ,— я, точно, отнялъ у него болѣе, чѣмъ жизнь—онъ любилъ ее!

— Чтожъ останется у моего друга, — сказалъ Зарѣцкій, — если вы отнимете у него послѣднее утѣшеніе: свободу и возможность умереть за отечество?

— Нѣтъ, нѣтъ! я не хочу быть дважды его убійцею; онъ долженъ быть свободенъ!... О, еслибъ я могъ хотя этимъ вознаградить его за зло, которое, клянусь Богомъ, сдѣлалъ ему невольно! Вы сохранили жизнь мою, вы причиною несчастія вашего друга, вы должны и спасти его. Ступайте къ нему; я готовъ для него сдѣлать все... да, все!... но, Бога ради, не говорите ему... послушайте! онъ

былъ боленъ, быть можетъ, онъ не въ силахъ идти пѣшкомъ... У самой заставы будетъ васъ дожидаться мой человѣкъ съ лошадью; скажите ему, что вы капитанъ Данвиль: онъ отдастъ вамъ ее... Прощайте: я спѣшу домой!... Ступайте къ нему... ступайте!...

Полковникъ пустился почти бѣгомъ по площади, а Зарѣцкій, поглядѣвъ вокругъ себя и видя, что онъ стоитъ въ двухъ шагахъ отъ желтаго дома съ зелеными ставнями, подошелъ къ запертымъ воротамъ и постучался. Черезъ минуту мальчикъ, въ изорванномъ сѣромъ кафтанѣ, отворилъ калитку.

— Это домъ купца Сеземова? — спросилъ Зарѣцкій, стараясь выговаривать слова какъ иностранецъ.

— Да, сударь! Да кого вамъ надобно? Здѣсь стоятъ одни солдаты.

— Мнѣ нужно видѣть самого хозяина.

— Хозяина? — повторилъ мальчикъ, взглянувъ съ робостію на Зарѣцкаго. — Да у насъ, сударь, ничего нѣтъ...

— Не бойся, голубчикъ, я ничѣмъ васъ не обижу. Подержи мою лошадь.

Мальчикъ, посматривая недовѣрчиво на офицера, выполнилъ его приказаніе.

Зарѣцкій вошелъ на дворъ. Небольшія сѣни раздѣляли домъ на двѣ половины: въ той, которая была на улицу, раздавались громкіе голоса. Онъ растворилъ дверь и увидѣлъ сидящихъ за столомъ человѣкъ десять гвардейскихъ солдатъ: они обѣдали.

— Здравствуйте, товарищи! — сказалъ Зарѣцкій. Солдаты взглянули на него, одинъ отвѣчалъ отрывистымъ голосомъ: — Bonjour, monsieur! — но никто и не думалъ приподняться съ своего мѣста.

— Куда пройти къ хозяину дома? — спросилъ Зарѣцкій.

— Ступайте прямо; онъ живетъ тамъ — въ угольной комнатѣ, — отвѣчалъ одинъ изъ солдатъ. — Hé! la vieille!... — продолжалъ онъ, застучавъ кулакомъ по столу. — Клѣба!

— Что, батюшка, изволите? — сказала старуха лѣтъ шестидесяти, войдя въ комнату.

— Arrivez donc, vieille sorcière... Клѣба!

— Нѣтъ, батюшка!...

— Нѣтъ, батушка!... Allons! сейшасъ!... Клѣба, — ou sapristie!...

— Не трогайте эту старуху, друзья мои! — сказалъ За-

рѣцкій. — Вотъ вамъ червонецъ: вы можете на это купить и хлѣба и вина.

— Merci, mon officier! — сказалъ одинъ усатый гренадеръ.—Подождите, друзья! Я сбѣгаю къ нашей маркитаншѣ: у ней все найдешь за деньги.

Зарѣцкій, сдѣлавъ рукою знакъ старухѣ идти за нимъ, вышелъ въ другую комнату.—Послушай, голубушка,—сказалъ онъ вполголоса, — вѣдь хозяинъ этого дома купецъ Сеземовъ?

— Да, батюшка, я его сожительница.

— Тѣмъ лучше. У васъ есть больной?

— Есть, батюшка: меньшой нашъ сынъ.

— Неправда; русскій офицеръ.

— Видитъ Богъ, нѣтъ!..—вскричала старуха, поблѣднѣвъ, какъ полотно.

— Тише, тише! не кричи. Его зовутъ Владиміромъ Сергѣевичемъ Рославлевымъ.

— Ахъ, Господи!... Кто это выболталъ?

— Не бойся, я его пріятель... я также русскій офицеръ.

— Какъ, сударь?...

— Тише, бабушка, тише! Проведи меня къ нему.

— Охъ, батюшка!... Да правду ли вы изволите говорить?...

— Увидишь сама, какъ онъ мнѣ обрадуется. Веди меня къ нему скорѣе.

— Пожалуйте, батюшка!... Только Богъ вамъ судья, если вы меня, старуху, изъ ума выводите.

Пройдя черезъ двѣ небольшія комнаты, хозяйка отворила потихоньку дверь въ свѣтлый и даже съ нѣкоторой роскошью убранный покой. На высокой кровати, съ ситцевымъ пологомъ, сидѣлъ, облокотясь одной рукой на столикъ, поставленный у самаго изголовья, блѣдный и худой, какъ тѣнь, Рославлевъ. Подлѣ него старикъ, съ сѣдою бородою, читалъ съ большимъ вниманіемъ толстую книгу въ черномъ кожаномъ переплетѣ. Въ ту самую минуту, какъ Зарѣцкій показался въ дверяхъ, старикъ произнесъ вполголоса:—Житіе Преподобнаго Отца нашего...

— Александръ!...—вскричалъ Рославлевъ.

— Нѣтъ, батюшка!—прервалъ старикъ,—не Александра, а Макарія Египетскаго.

— Тише, мой другъ!—сказалъ Зарѣцкій.—Такъ точно, это я; но успокойся!

— Ты въ плѣну?...

— Нѣтъ, мой другъ!

— Но какъ же ты попалъ въ Москву?... Что значитъ этотъ французскій мундиръ?...

— Я разскажу тебѣ все, но время дорого. Отвѣчай скорѣе, можешь ли ты пройти хотя до заставы пѣшкомъ.

— Могу.

— Слава Богу! ты спасенъ.

— Какъ, сударь!—сказалъ старикъ, который, въ продолженіе сего разговора, смотрѣлъ съ удивленіемъ на Зарѣцкаго.—Вы русскій офицеръ?... Вы надѣетесь вывести Владиміра Сергѣевича изъ Москвы?

— Да, любезный, надѣюсь. Но одѣвайся проворнѣе, Рославлевъ, въ какой-нибудь сюртукъ или шинель. Чѣмъ простѣе, тѣмъ лучше.

— За этимъ дѣло не станетъ, батюшка, —сказала старуха:—платье найдемъ. Да извольте видѣть, какъ онъ слабъ! Сердечный! гдѣ ему и до заставы дотащиться!

— Не бойтесь,—сказалъ Рославлевъ, вставая:—я почти совсѣмъ здоровъ.

— Мавра Андреевна!—прервалъ старикъ,—вынь-ка изъ сундука Ваничкинъ сюртукъ: онъ будетъ впору его милости. Да гдѣ Андрюшина калмыцкая сибирка?

— Въ подвалѣ, Иванъ Архиповичъ! Я засунула ее между старыхъ бочекъ.

— Принеси же ее скорѣе. Ну чтожъ, Мавра Андреевна, стоишь? Ступай!

— Да какъ же это, батюшка Иванъ Архиповичъ!—отвѣчала старуха, перебирая одной рукой концы своей шубейки,—въ чемъ же Андрюша то самъ выйдетъ на улицу?

— Полно, матушка! не замерзнетъ и въ кафтанѣ.

— Скоро будутъ заморозы; да и теперь ужь по вечерамъ то холодновато.

— Я и самъ не соглашусь, — прервалъ Рославлевъ, — чтобъ вы для меня раздѣвали вашихъ дѣтей.

— И, Владиміръ Сергѣевичъ! что вы слушаете моей старухи; дѣло ея бабье: сама не знаетъ, что говоритъ.

— Я вамъ заплачу за все чистыми деньгами, — сказалъ Зарѣцкій.

— Слышишь, Мавра Андреевна? Эхъ, матушка!... Вотъ до чего ты довела меня на старости!... Пошла, сударыня, пошла!

Старуха вышла,

— Нѣтъ, господа! — продолжалъ Иванъ Архиповичъ, — я, благодаря Бога, въ деньгахъ не нуждаюсь; а если-бы и это было, такъ скорѣе самъ въ одной рубашкѣ останусь, чѣмъ возьму хоть денежку съ моего благодѣтеля. Да и она не знаетъ, что мелетъ: у Андрюши есть полушубокъ, да онъ же теперь, слава Богу, здоровъ; а вы, батюшка, только что оправляться стали. Извольте-ка одѣваться. Вотъ вашъ кошелекъ и бумажникъ, — продолжалъ старикъ, вынимая ихъ изъ сундука. — Въ бумажникѣ пятьсотъ ассигнаціями; а въ кошелькѣ — не помню пятьдесятъ, не помню шестьдесятъ рублей серебромъ и золотомъ. Потрудитесь перечесть.

— Какъ вамъ не стыдно, Иванъ Архиповичъ?

— Деньги счетъ любятъ, батюшка.

— Мы перечтемъ ихъ послѣ, — сказалъ Зарѣцкій, пособляя одѣваться Рославлеву. — На, вотъ, твою казну... Ну, чтожъ? Положи ее въ боковой карманъ — вотъ такъ!... Ну, Владиміръ, какъ ты исхудалъ, бѣдняжка!

— Позвольте, батюшка! — сказала старуха, входя въ комнату; — вотъ Андрюшина сибирка. Виновата, Иванъ Архиповичъ! Вѣдь я совсѣмъ забыла: у насъ еще запрятаны на чердакѣ два тулупа, да лисья шуба.

— Теперь, — прервалъ Зарѣцкій, — надѣнь круглую шляпу, или вотъ этотъ картузъ — если позволите, Иванъ Архиповичъ?

— Сдѣлайте милость, извольте брать все, что вамъ угодно.

— Ну, Владиміръ, прощайся — да въ походъ!

— А гдѣ же мой Егоръ? — спросилъ Рославлевъ.

— Сошелъ со двора, батюшка! — отвѣчала старуха.

— Скажите ему, чтобъ онъ пробирался какъ-нибудь до нашей арміи. Ну, прощайте, мои добрые хозяева.

— Позвольте, батюшка! — сказалъ старикъ: — все надо начинать со крестомъ и молитвою, а кольми паче, когда дѣло идетъ о животѣ и смерти. Милости прошу присѣсть. Садись, Мавра Андреевна.

— Извините! — сказалъ Зарѣцкій, — намъ должно торопиться!...

— Садись, Александръ! — прервалъ вполголоса Рославлевъ; — не огорчай моего добраго хозяина.

— Я очень уважаю всѣ наши старинные обычаи, — сказалъ Зарѣцкій, садясь съ примѣтнымъ неудовольствіемъ

на стулъ; — но сдѣлайте милость, чтобъ это было покороче.

Старикъ не отвѣчалъ ни слова. Всѣ сѣли по своимъ мѣстамъ. Молчаніе, наблюдаемое въ подобныхъ случаяхъ всѣми присутствующими, придаетъ что то торжественное и важное сему древнему обычаю, и донынѣ свято сохраняемому большею частію русскихъ. Глубокая тишина продолжалась около полуминуты; вдругъ раздался шумъ, и громкія восклицанія французскихъ солдатъ разнеслись по всему дому. «За здоровье императора!... Да здравствуетъ императоръ!..»— загремѣли грубые голоса въ близкомъ разстояніи. Казалось, солдаты вышли изъ за стола и разбрелись по всѣмъ комнатамъ.

Старикъ, а вслѣдъ за нимъ и всѣ, встали съ своихъ мѣстъ. Оборотясь къ иконамъ и положа три земные поклона онъ произнесъ тихимъ голосомъ:—Матерь Божія! сохрани раба твоего, Владиміра, подъ Святымъ покровомъ Твоимъ! Да сопутствуетъ ему Ангелъ Господень; да ослѣпитъ онъ очи враговъ нашихъ; да соблюдаетъ его здравымъ, невредимымъ, и сохранитъ отъ всякаго бѣдствія! Твое бо есть, Господи, еже миловати и спасати насъ.

Аминь!—сказала старуха.

— Vive l'amour et le vin!—заревѣлъ отвратительный голосъ почти у самыхъ дверей комнаты.

— Скорѣй, мой другъ, скорѣй!...—сказалъ Зарѣцкій.

Рославлевъ, молча, обнялъ своихъ добрыхъ хозяевъ, которые заливались горькими слезами.—Владиміръ Сергѣичъ!— проговорилъ, всхлипывая, старикъ:—я долго называлъ тебя сыномъ; позволь мнѣ, батюшка, благословить тебя!—Онъ перекрестилъ Рославлева, прижавъ его къ груди своей и сказалъ:—Ну, Мавра Андреевна! проводи ихъ скорѣе заднимъ крыльцомъ. Христосъ съ вами, мои родные! ступайте съ Богомъ, ступайте, а я стану молиться.

Старуха вывела нашихъ друзей на улицу, простилась еще разъ съ Рославлевымъ и захлопнула за ними калитку.

— Теперь, мой другъ, не прогнѣвайся!—сказалъ Зарѣцкій, — я сяду на лошадь, а ты ступай подлѣ меня пѣшкомъ. Это не слишкомъ вѣжливо, да дѣлать нечего: надобно, чтобъ всѣмъ казалось, что я куда-нибудь посланъ, а ты у меня проводникомъ. Постарайтесь только, сударь, дойти какъ-нибудь до заставы, а тамъ я вамъ позволю ѣхать со мною!

— Ѣхать? Но гдѣ же ты возьмешь лошадь?

— Это ужь не твоя забота. Прошу только со мной не разговаривать, глядѣть на меня со страхомъ и трепетомъ, и не забывать, что я французскій офицеръ, а ты московскій мѣщанинъ.

Проѣхавъ благополучно поперекъ площади, покрытой непріятельскими солдатами, Зарѣцкій принялъ направо и пустился вдоль средней Донской улицы, на которой почти не было проходящихъ. Попадавшіеся имъ изрѣдка французы не обращали на нихъ никакого вниманія. Черезъ нѣсколько минутъ показались въ концѣ улицы стѣны Донского монастыря, а вдали за ними гористыя окрестности живописной Калужской дороги.—Что, Владиміръ!—спросилъ Зарѣцкій,—ты очень усталъ? Ну, чтожъ ты не отвѣчаешь? Не бойся, здѣсь никого нѣтъ,—продолжалъ онъ, оглянувшись назадъ.—Что это? Куда дѣвался Владиміръ?.. А! вонъ гдѣ онъ!.. Какъ отсталъ, бѣдняжка! Hé! veux-tu avancer, coquin...—закричалъ онъ сердитымъ голосомъ, осадя свою лошадь; но Рославлевъ, казалось, не слышалъ ничего, и стоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ вкопанный.—Что ты, Владиміръ?—сказалъ Зарѣцкій, подъѣхавъ къ своему пріятелю.—Не отставай, братецъ! Да что ты уставился на этотъ домъ?... Эге! вижу, братъ, вижу, куда ты смотришь! Ты глядишь на эту женщину... вонъ что стоитъ у окна, облокотясь на плечо французскаго полковника?... О! да она въ самомъ дѣлѣ хороша! Немножко блѣдна!.. Впрочемъ, намъ теперь не до красавицъ. Полно, братецъ, ступай!

— Такъ, я не ошибаюсь! — вскричалъ Рославлевъ;—это она!

— Тише, мой другъ, тише! Такъ точно! Боже мой! это графъ Сеникуръ!

— Да, это онъ! Прощай, Александръ.

— Что ты, Владиміръ? Опомнись!

— Злодѣй!—продолжалъ Рославлевъ, устремивъ пылающій взоръ на полковника, — я оставилъ тебя ненаказаннымъ; но ты былъ въ плѣну, и я не видѣлъ Полины въ твоихъ объятіяхъ!.. А теперь... дай мнѣ свою саблю, Александръ!.. или нѣтъ!..—прибавилъ онъ, схвативъ одинъ изъ пистолетовъ Зарѣцкаго, — это будетъ вѣрнѣе... Онъ заряженъ... слава Богу!..

Зарѣцкій соскочилъ съ лошади и схватилъ за руку Рославлева.

— Пусти меня, пусти!..—кричалъ Рославлевъ, стараясь вырваться.

— Слушай, Владиміръ!—сказалъ твердымъ голосомъ его пріятель, — я здѣсь подъ чужимъ именемъ, и если буду узнанъ, то меня сегодня же разстрѣляютъ какъ шпіона.

— Какъ шпіона!..

— Да. Теперь ступай, если хочешь, къ полковнику; я иду вмѣстѣ съ тобою.

Рославлевъ не отвѣчалъ ни слова; казалось, онъ боролся съ самимъ собою. Вдругъ сверкающіе глаза его наполнились слезами, онъ закрылъ ихъ рукою, бросилъ пистолетъ, и прежде чѣмъ Зарѣцкій успѣлъ поднять его и сѣсть на лошадь, Рославлевъ былъ уже у стѣнъ Донского монастыря.— Тише,—кричалъ Зарѣцкій, съ трудомъ догоняя своего пріятеля:—тише. Владиміръ, ты этакъ не дойдешь и до заставы.

— О, не безпокойся!—отвѣчалъ Рославлевъ, остановясь на минуту, чтобъ перевести духъ;—теперь я чувствую въ себѣ довольно силы, чтобъ уйти на край свѣта. Впередъ, мой другъ, впередъ!

Черезъ нѣсколько минутъ они были уже за Калужскою заставою; у самаго въѣзда въ слободу, стоялъ человѣкъ съ верховой лошадью.—Я капитанъ Данвиль,—сказалъ Зарѣцкій, подъѣхавъ къ нему.—Отдай лошадь моему проводнику.— Слуга пособилъ Рославлеву сѣсть на коня, и наши пріятели, выѣхавъ на чистое поле, повернули въ сторону по первой проселочной дорогѣ, которая, извиваясь между холмовъ, покрытыхъ рощами, терялась вдали среди густого лѣса.

VI.

Наши путешественники ѣхали сначала скорой рысью, наблюдая глубокое молчаніе; но когда на восьмой или девятой верстѣ отъ города, миновавъ нѣсколько деревень, они увидѣли себя посреди лѣса, и ужь съ полчаса не встрѣчали никого, то Зарѣцкій началъ разспрашивать Рославлева обо всемъ, что съ нимъ случилось со дня ихъ разлуки.

— Ну, Владиміръ! — сказалъ онъ, дослушавъ разсказъ своего друга;—теперь я понимаю, отчего поблѣднѣлъ Сеникуръ, когда вспомнилъ о своемъ вѣнчаньѣ... Ахъ, батюшки! да знаешь ли, что изъ этого можно сдѣлать такую адскую

трагедію à la madame Радклифъ, что у всѣхъ зрителей волосы станутъ дыбомъ! Кладбище... полночь... и вдобавокъ сумасшедшая Ѳедора... какіе богатые матеріалы!... Ну, свадебка!.. Я не охотникъ до русскихъ стиховъ, а поневолѣ вспомнишь Озерова:

„Тамъ былъ не Гименей—Мегера тамъ была...“

то есть косматая Ѳедора, которая, вѣроятно, ничѣмъ не красивѣе греческой Фуріи. Но вотъ чего я не понимаю, мой другъ! Ты поступилъ, какъ человѣкъ благоразумный: не хотѣлъ видѣть измѣнницу, ссориться съ ея мужемъ и, имѣя тысячу способовъ отомстить твоему беззащитному сопернику, оставилъ его въ покоѣ; это доказываетъ, что и въ первую минуту твой разсудокъ былъ сильнѣе страсти. Съ тѣхъ поръ прошло довольно времени; твое грустное положеніе и болѣзнь должны были тебя совершенно образумить, и, несмотря на это, ты готовъ былъ сейчасъ сдѣлать величайшее дурачество въ твоей жизни—и все для той же Полины! Конечно, что и говорить, она очень недурна собою, сложена прекрасно, и если сверхъ этого у ней маленькая ножка, то можетъ быть и я сошелъ бы отъ нея съ ума на нѣсколько дней; но бѣсноваться цѣлый мѣсяцъ!..

— Ахъ, мой другъ! — прервалъ Рославлевъ,—ты не знаешь, что такое любовь; ты не имѣешь понятія объ этомъ блаженствѣ и мученіи нашей жизни! Да, Александръ! Я и самъ былъ увѣренъ, что спокойствіе возвратилось въ мою душу. Нѣсколько разъ, испытывая себя, я воображалъ, что вижу Полину вмѣстѣ съ ея мужемъ, и мнѣ казалось, что я могу спокойно смотрѣть на ихъ взаимныя ласки и даже радоваться ея счастью. Нѣтъ! я обманывалъ самого себя. Когда сейчасъ я взглянулъ нечаянно на окно этого дома, когда увидѣлъ, что женщина, почти лежащая въ объятіяхъ французскаго полковника, походитъ на Полину, когда я узналъ ее... О, Александръ! я почувствовалъ тогда... Да сохранитъ тебя Богъ отъ подобнаго чувства!... Холодная, ледяная смерть по всѣмъ жиламъ—и весь адъ въ душѣ!.. Ахъ, мой другъ! Ты не знаешь еще, къ какимъ мученіямъ способна душа наша, какія неизъяснимыя страданія мы можемъ и вѣроятно,—прибавилъ тихимъ голосомъ Рославлевъ,—должны переносить, томясь въ этой ссылкѣ, на этой каторгѣ, которую мы называемъ жизнью!..

— И съ которой, несмотря на это, даже и ты не захо-

чешь разстаться!—прервалъ съ улыбкою Зарѣцкій.—Полно, братецъ! Вы всѣ, чувствительные меланхолики, пренеблагодарные люди: вѣчно жалуетесь на судьбу. Вотъ хоть ты; я желалъ бы знать, казалась ли тебѣ жизнь каторгою, когда ты былъ увѣренъ, что Полина тебя любитъ?

— Но я ошибался, мой другъ!

— Да развѣ отъ этого ты менѣе былъ счастливъ? Вотъ то то и есть, господа! Пока все дѣлается по вашему, такъ вы еще и туда и сюда; чуть не такъ, и пошли поклепы на бѣдную жизнь, какъ будто бы вѣкъ не было для васъ радостной минуты.

— Но что всѣ прошедшія радости...

— Передъ настоящимъ горемъ?.. И, mon cher! и то и другое забывается. Конечно, я понимаю, для твоего самолюбія должно быть очень обидно...

— Эхъ, братецъ! какое самолюбіе...

— Да, любезный, не прогнѣвайся! Самолюбіе въ этомъ случаѣ играетъ пребольшую роль. Что ни говори, а вѣдь досадно, какъ отобьютъ невѣсту, да только смѣшно отъ этого сходить съ ума: посердился, покричалъ и будетъ. Вотъ то то же, поневолѣ похвалишь нашихъ непріятелей. Кто лучше ихъ умѣетъ пользоваться жизнью?... Французъ не задохнется отъ избытка сердечной радости, да за то и не изсохнетъ отъ печали. Посмотри, какъ онъ веселъ, доволенъ собою, надъ всѣмъ смѣется, все его забавляетъ. Заговоритъ дѣло — есть что послушать: все знаетъ; заговоритъ вздоръ — также заслушаешься: какая веселость въ каждомъ словѣ! И какъ милы эти фразы, въ которыхъ нѣтъ ни на волосъ здраваго смысла. Конечно, и у нихъ есть исключенія, но они такъ рѣдки... Печальный французъ! не правда ли, что это даже странно слышать? А отчего они такъ счастливы?... Оттого именно, что душа ихъ не способна къ сильнымъ впечатлѣніямъ... Они... какъ бы это сказать по-русски?... они слегка только прикасаются къ жизни. Знаешь ли что, мой другъ? Если ты хочешь непремѣнно сравнивать съ чѣмъ нибудь жизнь, то сравни ее съ моремъ; но только, Бога ради, не съ бурнымъ — это уже слишкомъ старо!

— А съ какимъ же, Александръ?

— Да просто съ нашимъ петербургскимъ, когда оно замерзнетъ. Катайся по немъ сколько хочешь, забавляй себя, но не забывай, что подъ этимъ блестящимъ льдомъ таится

смерть и бездонная пучина; не останавливайся на одномъ мѣстѣ, не надавливай, а *скользи* только по гладкой его поверхности.

— То есть не принимай ничего къ сердцу, — прервалъ Рославлевъ; — не люби никого, не жалѣй ни о комъ; бѣги отъ несчастнаго: онъ можетъ тебя опечалить; старайся не испортить желудка, и какъ можно рѣже думай о томъ, что будетъ съ тобою подъ старость — то ли ты хотѣлъ сказать, Александръ?

— О, нѣтъ, мой другъ! я не желаю быть эгоистомъ.

— И въ то же время не хочешь ни о чемъ горевать? Да развѣ это возможно?

— Да, конечно... не спорю, тутъ есть повидимому какое то противорѣчіе... Однакожъ, я не менѣе того увѣренъ, что эта философія...

— Ничѣмъ не лучше моей. Что грѣхъ таить, Александръ! У меня вырвалась глупость, а ты, желая доказать, что я вру, и самъ заговорилъ вздоръ. По моему, жизнь должна быть вѣчной ссылкою, а по твоему — безпрерывнымъ праздникомъ. Благодаря Бога, и то и другое для насъ невозможно, Александръ! Тотъ, кто вѣчно крушится, и тотъ, кто всегда веселъ — оба эгоисты.

— Это почему?

— А потому, что человѣкъ, неспособный дѣлить ни съ кѣмъ ни радости, ни горя — любитъ одного себя.

— Почему-жъ одного себя? Можно любить и пріятеля — разумѣется, до нѣкоторой степени.

— А до какой степени простирается эта любовь къ пріятелю въ человѣкѣ, который для того, чтобъ съ нимъ повидаться и спасти его...

— И, полно, mon cher! что за важность! Ты видишь, я цѣлехонекъ.

— Вижу, мой другъ! Но, признаюсь, удивляюсь и желалъ бы знать, какъ ты уцѣлѣлъ?

— Ты еще болѣе удивишься, когда узнаешь, что я, будучи въ Москвѣ, вызвалъ на дуэль капитана французскихъ жандармовъ.

— Неужели!...

— Представь себѣ: онъ вздумалъ меня разспрашивать; я пустился ему лгать что есть мочи, и этотъ грубіянъ осмѣлился сказать мнѣ въ глаза, что я говорю неправду...

— Ахъ онъ невѣжа!...

— Разумѣется, я вспыхнулъ, закидалъ его французскими фразами...

— И онъ не догадался, что ты русскій?

— А почему бы онъ догадался?

— Да, помилуй! Не можетъ же быть, чтобъ ты такъ хорошо говорилъ по-французски, какъ настоящій французъ?

— Не можетъ быть? Да знаете ли, сударь, какъ я былъ воспитанъ въ домѣ своей тетушки? Знаете ли, кто съ пятилѣтняго возраста былъ моимъ гувернеромъ? Извѣстна ли вамъ знаменитая фамилія аббата Григри, который плохо зналъ правописаніе, но зато говорилъ самымъ чистымъ парижскимъ языкомъ? Знаете ли, что я на десятомъ году не умѣлъ еще писать по-русски? Знаете ли, что весь Петербургъ дивился моему французскому выговору, и всѣ знакомые поздравляли тетушку съ племянникомъ, который, какъ двѣ капли воды, походилъ на француза? Какъ теперь помню, добрая старушка всякій разъ крестилась и говорила со слезами: «Слава Богу! я знала напередъ, что въ Сашенькѣ будетъ путь!» Чему-жъ послѣ этого удивляться, что меня приняли за француза?

— Хорошо, мой другъ, согласенъ: по выговору не можно было догадаться, что ты русскій; но нельзя же, чтобъ не было въ твоей манерѣ и ухваткахъ...

— Въ моей манерѣ? Постой, братецъ, я сейчасъ представлю тебѣ лихого французскаго кавалериста, который только что вырвался изъ Пале-Рояля. Посмотримъ, замѣтишь ли во мнѣ хоть что-нибудь русское?

Зарѣцкій развалился небрежно на сѣдлѣ, подбоченился и надѣлъ à la tapageur свою французскую фуражку. Въ продолженіе сихъ приготовленій къ роли, которую онъ готовился играть, изъ за куста выглянули двѣ весьма некрасивыя рожи: одна съ рыжей бородою, а другая повидимому обритая недѣли двѣ тому назадъ и обезображенная огромнымъ рубцомъ. Небольшой черный галстукъ, единственный остатокъ отъ прежняго наряда, доказывалъ, что это лицо принадлежало какому нибудь отставному солдату. Наши путешественники, не замѣчая сей засады, продолжали ѣхать потихоньку.—Ну, что?— спросилъ Зарѣцкій, отпустивъ нѣсколько царижскихъ фразъ; — замѣтенъ ли во мнѣ русскій, который прикидывается французомъ? Посмотри на эту небрежную посадку, на этотъ самодовольный видъ — а? что,

братецъ?.. Vive l'Empereur et la joie! Chantons!—Зарѣцкій пришпорилъ свою лошадь и, заставивъ ее сдѣлать двѣ или три лансады, запѣлъ.

«Enfant chéri des dames,
«J'étais en tout pays,
«Très bien avec les femmes,
«Et mal avec maris *)».

Вдругъ раздался выстрѣлъ, и человѣкъ десять вооруженныхъ крестьянъ высыпало на дорогу. Прежде чѣмъ Зарѣцкій успѣлъ опомниться и разсмотрѣть, кто на нихъ нападаетъ, второй выстрѣлъ ранилъ лошадь, на которой ѣхалъ Рославлевъ; она закусила удила и понесла вдоль дороги. Зарѣцкій пустился вслѣдъ за нимъ; но въ нѣсколько минутъ потерялъ его совершенно изъ виду. Ослабѣвшій отъ болѣзни, Рославлевъ не могъ долго управлять своей лошадью: выскакавъ на поляну, на которой сходились три дороги, она помчала его по одной изъ нихъ, ведущей въ самую глубину лѣса. Нѣсколько разъ принимался онъ снова ее удерживать, но все напрасно; наконецъ, проскакавъ еще версты двѣ, она повалилась на землю. Рославлевъ, видя, что лошадь его издыхаетъ, рѣшился идти пѣшкомъ по дорогѣ, которая по всѣмъ примѣтамъ должна была скоро вывести его на жилое мѣсто.

Едва онъ успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ ему послышались въ близкомъ разстояніи смѣшанные голоса: сначала онъ не могъ ничего разобрать, и не зналъ, долженъ ли спрятаться, или идти навстрѣчу людямъ, которые, громко разговаривая межъ собою, шли по одной съ нимъ дорогѣ. Вдругъ ясно выговоренный нѣмецкій *шверпотъ* раздался отъ него въ двухъ шагахъ, и кто то повелительнымъ голосомъ закричалъ: «allons, sapristie! en avant!» Рославлевъ кинулся въ сторону, но было уже поздно: изъ-за кустовъ показалась цѣлая толпа непріятельскихъ мародеровъ.

— Гальтъ!—закричалъ высокій баварскій кирасиръ, прицѣлясь въ него своимъ карабиномъ.

Человѣкъ двадцать солдатъ разныхъ полковъ и націй окружили Рославлева. — Господа! чего вы отъ меня хо-

---

*) Французскіе куплеты, которые лѣтъ двадцать тому назадъ были въ большой модѣ, по крайней мѣрѣ у насъ въ Петербургѣ.

тите?—сказалъ Рославлевъ по-французски;—я бѣдный прохожій...

— Бѣдный?—заревѣлъ на дурномъ французскомъ языкѣ баварецъ;—а вотъ мы тотчасъ это увидимъ.

— Вы всѣ бѣдны!—запищалъ итальянскій вольтижеръ *), схвативъ за воротъ Рославлева. — Знаемъ мы васъ, господа русскіе—malledetto!

— Тише, товарищи!—сказалъ повелительнымъ голосомъ французскій гренадеръ;—не обижайте его: онъ говоритъ по-французски.

— Такъ чтожъ? — возразилъ другой французскій полупьяный солдатъ въ уланскомъ мундирѣ, сверхъ котораго была надѣта изорванная фризовая шинель. —Можетъ быть, этотъ негодяй эмигрантъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—прервалъ важнымъ голосомъ гренадеръ.—Прочь всѣ! Посторонитесь! Я допрошу его.

— Per Dio Sacrato! Что это?—вскричалъ итальянецъ:—на этомъ еретикѣ крестъ!

— Такъ онъ не французъ? — сказалъ съ презрѣніемъ солдатъ въ фризовой шинели.

— Да еще и золотой!—продолжалъ итальянецъ, сорвавъ съ шеи Рославлева крестъ, повѣшенный на тонкомъ шнуркѣ.

— Оставишь ли ты его въ покоѣ? Sacré Italien! — вскричалъ гренадеръ, оттолкнувъ прочь италіянца.—Не бойтесь ничего, и отвѣчайте на мои вопросы: кто вы?

— Московскій мѣщанинъ.

— Вы русскій?

— Да!

— Отчего вы говорите по-французски?

— Я учился.

— Хорошо! это доказываетъ, что вы уважаете нашу великую націю... Тише, господа! Прошу его не трогать! Не можете ли вы намъ сказать, есть ли вооруженные люди въ ближайшей деревнѣ?

— Не знаю.

— Не знаешь? Донеръ-ветеръ! — заревѣлъ баварецъ. — Какъ тебѣ не знать? Говори!

— Я шелъ все лѣсомъ, и ни въ одной деревнѣ не былъ.

---

*) Егерь, стрѣлокъ.

— Онъ лжетъ! — закричалъ итальянецъ. — Прикладомъ его corpo de Dio! такъ онъ заговоритъ.

— Тише, господа!—прервалъ гренадеръ.—Этотъ варваръ уважаетъ нашу націю, и я никому не дамъ его обидѣть.

— Въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ баварецъ,—а если я хочу его обижать?

— Не совѣтую.

— Право?—Да чтожъ ты такъ поговариваешь?...—Ужь не думаешь ли ты, что баварскій кирасиръ не стоитъ французскаго гренадера?

— Какъ! Чортъ возьми! Ты смѣешь равняться съ французскимъ солдатомъ?... Ce misérable allemand! Да знаешь ли ты?...

— Я знаю, что долженъ повиноваться моему капитану; но если всякій французскій солдатъ...

— Да знаешь ли ты, животное, чтó такое французскій гренадеръ? Знаешь ли ты, что между тобой и твоимъ капитаномъ болѣе разстоянія, чѣмъ между мной и баварскимъ королемъ?

— Что, что?

— Да! такой болванъ, какъ ты, никогда не будетъ капитаномъ; а каждый французскій гренадеръ можетъ быть вашимъ государемъ.

— Хоцъ таузентъ!... Да это какъ?

— А вотъ какъ: мой родной братъ изъ сержантовъ въ одну кампанію сдѣлался капитаномъ — правда, онъ отнялъ два знамени и три пушки у непріятеля; но развѣ я не могу взять дюжины знаменъ и отбить цѣлую батарею: слѣдовательно, буду, по крайней мѣрѣ, полковникомъ, а тамъ генераломъ, а тамъ маршаломъ, а тамъ — при первомъ производствѣ—и въ короли; а если на ту пору вакансія случится у васъ...

— Правда, правда—il a raison! — закричали всѣ французскіе солдаты.

— Ну, нѣмецкая харя!—продолжалъ гренадеръ,—понялъ ли ты теперь, чтó значитъ французскій солдатъ?

Баварецъ, закиданный словами и совершенно сбитый съ толку, не отвѣчалъ ни слова.

— Господа! — сказалъ гренадеръ, — не надобно терять времени—до Москвы еще далеко; ступайте впередъ, а мнѣ нужно кой о чемъ разспросить по секрету этого русскаго. Allons, morbleu, avancez donc!

Вся толпа двинулась впередъ по дорогѣ, а гренадеръ, подойдя къ Рославлеву, сказалъ вполголоса: — Не бойтесь!.. Французъ всегда великодушенъ... но вы знаете права войны... Есть ли у васъ деньги?

— Я охотно отдамъ все, что у меня есть.

— Не безпокойтесь!—продолжалъ гренадеръ, обшаривая кругомъ Рославлева: — я возьму самъ... Книжникъ!.. ну, такъ и есть, ассигнаціи! Терпѣть не могу этихъ клочковъ бумаги: они имѣютъ только цѣну у васъ, а мы беремъ здѣсь все даромъ... Ага! кошелекъ?... серебро... прекрасно!.. золото!.. C'est charmant! Прощайте!

— Лавалеръ!.. Ну, чтожъ ты? — сказалъ французскій уланъ, идя навстрѣчу къ гренадеру. — Ты одинъ знаешь здѣшнія мѣста куда намъ идти?

— Все прямо.

— Да тамъ двѣ дороги.

— Не можетъ быть.

— Когда я тебѣ говорю, что двѣ...

— Да это оттого, что у тебя двоится въ глазахъ.

— Неправда. Вотъ, напримѣръ, я вижу, что на этомъ русскомъ только одна, а не двѣ шинели, и для того не возьму ее, а помѣняюсь. Мой плащъ вовсе не грѣетъ... Эге! да это, кажется, шуба?.. Скидай ее, товарищъ!

Рославлевъ повиновался; уланъ сбросилъ съ себя фризовую шинель и надѣлъ его сибирку.—Однакожъ, русскіе не вовсе глупы, — сказалъ онъ, уходя вмѣстѣ съ гренадеромъ,—и если они сами изобрѣли эти шубы, то, чортъ возьми, эта выдумка недурна!

Когда Рославлевъ потерялъ изъ виду всю толпу мародеровъ и сталъ надѣвать оставленную французомъ шинель, то замѣтилъ, что въ боковомъ ея карманѣ лежало что то довольно тяжелое; но онъ не успѣлъ удовлетворить своему любопытству и посмотрѣть, въ чемъ состояла эта неожиданная находка: въ близкомъ отъ него разстояніи раздался дикій крикъ, вслѣдъ за нимъ загремѣли частые ружейные выстрѣлы, и черезъ нѣсколько минутъ послышался шумъ отъ бѣгущихъ по дорогѣ людей.

Рославлеву нетрудно было отгадать, что французскіе мародеры повстрѣчались съ толпою вооруженныхъ крестьянъ, и въ то самое время, какъ онъ колебался, не зная, что ему дѣлать: идти ли впередъ, или дожидаться, чѣмъ кончится эта встрѣча — человѣкъ пять французскихъ сол-

датъ, преслѣдуемыхъ крестьянами, пробѣжали мимо него и разсыпались по лѣсу.—Вотъ еще одинъ, — вскричалъ молодой парень, указывая на Рославлева.—Пришиби его! — заревѣлъ высокій мужикъ съ рыжей бородою, и въ мигъ цѣлая толпа вооруженныхъ косами, ружьями и топорами крестьянъ окружила Рославлева.

VII.

Посреди большого села, на обширномъ лугу, или площади, на которой разгуливали овцы и рѣзвились ребятишки, стояла ветхая деревянная церковь съ высокой колокольнею. У дверей ея, на одной изъ ступеней поросшей травою лѣстницы, сидѣлъ старикъ, лѣтъ восьмидесяти, въ зеленомъ сюртукѣ, съ краснымъ воротникомъ, обшитымъ позументомъ; съ полдюжины медалей, различныхъ формъ и величины, покрывали грудь его. Онъ разговаривалъ съ молодымъ человѣкомъ, который стоялъ передъ нимъ и, по наряду своему, казалось, принадлежалъ къ духовному званію.

— Нѣтъ, Александръ Дмитричъ!—говорилъ старикъ, покачивая головою,—рано ли, поздно ли, а не сдобровать нашему селу; чай, злодѣи то больно на насъ зубы грызутъ.

— Оно и есть за что! — сказалъ молодой человѣкъ: — вѣдь мы у нихъ какъ бѣльмо на глазу. Да Богъ милостивъ! Кой-какъ до сихъ поръ съ ними справлялись. Fortes fortuna adjuvat, то есть: смѣлымъ Богъ владѣетъ, Кондратій Пахомычъ!

— Конечно, батюшка, за правое дѣло Богъ заступа; а все-таки, какъ провѣдаютъ въ Москвѣ, что въ нашемъ селѣ легло сотъ пять-шесть французовъ, да пришлютъ сюда полка два...

— Такъ чтожъ? Будемъ драться.

— Вотъ то-то и горе! Вы станете драться, а я что буду дѣлать? Протягивай шею, какъ баранъ.

— Эхъ, Кондратій Пахомычъ! Да на людяхъ и смерть красна!

— Не о смерти рѣчь, батюшка! Когда вы, народъ молодой, себя не жалѣете, такъ мнѣ ли, старику, торговаться; да каково подумать, что эти злодѣи наругаются надъ моей сѣдой головою? Пожалуй, на смѣхъ живого оставятъ. Эхъ, старость, старость! Какъ бы прежніе годы, такъ я бы трехъ

поджарыхъ французовъ на одинъ штыкъ посадилъ. Небось, турки ихъ дюжѣе, да и тѣхъ, бывало, какъ примусь нанизывать, такъ Господи, Боже мой! считать не поспѣваютъ. Вотъ какъ мы съ батюшкой, графомъ Суворовымъ, штурмовали Измаилъ... Тогда былъ нашимъ капитаномъ его благородіе, Сергѣй Дмитричъ—царство ему небесное! Отецъ, а а не командиръ! И что за молодецъ!... какъ теперь гляжу—мигнуть не успѣли, а ужь нашъ соколъ на стѣнѣ, вся рота за нимъ—ура!..

— Ты ужь мнѣ это разсказывалъ, Кондратій Пахомычъ!

— Вотъ, батюшка, тогда дѣло другое: и подраться то было куражнѣе! Зналъ, что живой въ руки не дамся, а теперь что я?... малый ребенокъ одолѣетъ. Пробовалъ вчера стрѣлять изъ ружья—куда-те! Такъ въ рукахъ ходуномъ и ходитъ! Мѣтилъ въ заборъ; а подстрѣлилъ батькину корову. Да что отецъ Егоръ вернулся чтоль?

— Нѣтъ еще. Я слышалъ, будто бы его французы въ полонъ захватили.

— Ахъ они разбойники! Ужь и поповъ стали хватать! А того не подумаютъ, басурманы, что этакъ нашъ братъ, старикъ, и безъ исповѣди умретъ.

— Видно, узнали, что онъ изъ нашего села. Вѣдь французы то называютъ насъ бунтовщиками.

— Бунтовщиками? Ахъ они проклятые! Да какъ бы они смѣли эти сказать? Развѣ мы бунтуемъ противъ нашего государя? Развѣ мы ихъ гладимъ по головкѣ?

— Въ томъ то и дѣло, что не гладимъ. Они говорятъ: tui, quid nihil refct, ne cures, то есть: не мѣшайся не въ свое дѣло; а мы толкуемъ: cuneus cuneum trudit, сирѣчь—клинъ клиномъ выбивай.

— Эхъ, батюшка! да перестанешь ли ты говорить не по-русскому?

— Привыкъ, Пахомычъ! У насъ на Перервѣ безъ латинской пословицы ступить нельзя.

— Да что вы въ Перервинскомъ монастырѣ всѣ латыши чтоль, а не русскіе? Знаешь ли, какъ это не по нутру нашимъ мужичкамъ? Что, дескать, за притча такая? Кажись, церковникъ то, что къ намъ присталъ, дѣтина бравый, а все по-французскому говоритъ.

— По-французскому! Невѣжды!...

— Александръ Дмитричъ! — раздался голосъ съ колокольни,—никакъ наши идутъ.

— Наши ли, Андрюша?—сказалъ семинаристъ, поднявъ кверху голову.—Посмотри-ка хорошенько!

— Точно, наши. Вотъ впереди Ерема косой, да солдатъ Потапычъ; они ведутъ какого то чужого: никакъ француза изловили.

— Наврядъ француза,—сказалъ, покачавъ головой, старый унтеръ-офицеръ.—Они бы ужь его дорогою разъ десять уходили; а не захватили ли они, какъ ономнясь бронницкіе молодцы, какого-нибудь измѣнника или шпіона.

— Что ты, Пахомычъ! Боже сохрани! Будетъ съ насъ и того, что одинъ русскій осрамился и служилъ нашимъ злодѣямъ.

— Эхъ, батюшка! въ семьѣ не безъ урода.

— Вотъ ужь наши ребята изъ-за рощи показались. Пойдемъ, Кондратій Пахомычъ, въ мірскую избу. Если они въ самомъ дѣлѣ захватили какого-нибудь подозрительнаго человѣка, такъ надобно его порядкомъ допросить; а то, пожалуй, у нашихъ молодцовъ и правый будетъ виноватъ: auri est bonus...

— Да полно тебѣ языкъ то козеркать!... — прервалъ съ досадою старикъ. — Что за латышъ — въ самомъ дѣлѣ? Смотри, Александръ Дмитричъ, не сдобровать тебѣ, если ты заговоришь на мірской сходкѣ этимъ чухонскимъ нарѣчіемъ.

— Чухонскимъ!—повторилъ сквозь зубы семинаристъ.— Чухонскимъ!... Ignarus, barbarus!...

— Полно бормотать то: вѣдь я дѣло говорю. Пойдемъ! А ты, Андрюша,—продолжалъ инвалидъ, обращаясь къ молодому парню, который стоялъ на колокольнѣ,—лишь только завидишь супостатовъ, тотчасъ и давай знать. Пойдемъ, Александръ Дмитричъ!

Мірская изба, построенная на томъ же лугу, или площади, противъ самой церкви, отличалась отъ прочаго жилья только тѣмъ, что не имѣла двора и была нѣсколько просторнѣе другихъ избъ. Когда инвалидъ и семинаристъ вошли въ сію управу сельскаго благочинія, то нашли уже въ ней человѣкъ пять стариковъ и сотника. Сержантъ и нашъ ученый латинистъ, поклонясь присутствующимъ, заняли передній уголъ. Черезъ нѣсколько минутъ вошли въ избу: отставной солдатъ съ ружьемъ, а за нимъ широкоплечій крестьянинъ съ рыжей бородою, вооруженный также ружьемъ и большимъ поварскимъ ножемъ, заткнутымъ за поясъ. Въ

сѣняхъ и вокругъ избы столпилось человѣкъ двѣсти крестьянъ, по бо́льшей части съ ружьями, отбитыми у французскихъ солдатъ.

— Ну что, братцы,—спросилъ сотникъ:—захватили ли вы въ селѣ Богородскомъ французовъ?

— Нѣтъ-ста, Кондратій Пахомычъ!—отвѣчалъ рыжій мужикъ.—Ушли, пострѣлы! А, баютъ, они съ утра до самыхъ полуденъ ужь буянили, буянили на барскомъ дворѣ. Приказчика въ гробъ заколотили. Слышь ты, давай имъ все калачей, а на нашъ хлѣбъ такъ и плюютъ.

— Ахъ они безбожники! — вскричалъ сотникъ: — плевать на даръ Божій! Эка нехристь проклятая!

— Вишь какіе прихотники!—сказалъ одинъ осанистый крестьянинъ въ синемъ кафтанѣ,—трескали-бъ, разбойники, то, что даютъ. Вѣдь матушка рожь кормитъ всѣхъ дураковъ, а пшеница по выбору.

— Народъ то въ Богородскомъ такой несмышленый!—промолвилъ рыжій мужикъ. — Гонца къ намъ послали, а сами разбѣжались по лѣсу. Имъ бы принять злодѣевъ то съ хлѣбомъ и солью, да пивца, да винца, да того, да другого — убаюкали бы ихъ, голубчиковъ, а мы бы какъ тутъ! Нагрянули врасплохъ, да и катай ихъ чѣмъ ни попало.

— Какъ мы шли назадъ,—сказалъ отставной солдатъ,—такъ наткнулись въ лѣсу на французовъ, на тѣхъ ли самыхъ, на другихъ ли—лукавый ихъ знаетъ!

— Ну что, ребятушки?—вскричалъ сержантъ, — расчесали чтоль ихъ?

— Какъ пить дали, Кондратій Пахомычъ!

— Неужли то и отпору вамъ не было?

— Какъ не быть! Мы, знаешь, сначала изъ за кустовъ какъ шарахнули! Вотъ они пріостановились, да и ну отстрѣливаться; а пуще какой то въ мохнатой шапкѣ, командиръ чтоль ихъ, такъ и загорланилъ: алонъ, камратъ! Да другіе то прочіе не такъ, чтобъ очень: все какая то вольница; стрѣльнули раза три, да и въ разсыпную. Не знаю, сколько ихъ ушло, а кучка порядочная въ лѣсу осталась.

— Что за притча такая?—сказалъ сотникъ;—откуда берутся эти французы? Бьемъ, бьемъ—а все ихъ много.

— Видно, сватъ Пахомычъ,—прервалъ крестьянинъ въ синемъ кафтанѣ,—они какъ осеннія мухи. Да вотъ погоди!

какъ придетъ на нихъ Егорѐй съ гвоздемъ, да Никола съ мостомъ, такъ всѣ передохнутъ.

— Мы, Пахомычъ!—сказалъ рыжій мужикъ, — захватили одного живьемъ. Кто его знаетъ? Баетъ по нашему и стоитъ въ томъ, что онъ православный. Онъ наговарилъ намъ съ три короба: вишь, ушелъ изъ Москвы, и русскій то онъ офицеръ, и вовсе не якшается съ нашими злодѣями, и то и се, и дьяволъ его знаетъ! Да все лжетъ, проклятый! не вѣрьте; онъ притоманный французъ.

— А почемужъ-ты это думаешь? — спросилъ семинаристъ.—Ну, если въ самомъ дѣлѣ онъ говоритъ правду?

— Правду, такъ коего-жъ чорта ему было таскаться вмѣстѣ съ французами?

— Но развѣ онъ не могъ съ ними повстрѣчаться такъ же, какъ и вы?

— А зачѣмъ же онъ,—прервалъ солдатъ,—вотъ этакъ съ часъ назадъ, ѣхалъ верхомъ вмѣстѣ съ французскимъ офицеромъ? Я и лошадь то его подстрѣлилъ..

— Какъ съ французскимъ офицеромъ!

— Да такъ-же!

— Но почему ты знаешь, что этотъ офицеръ французскій?

— Почему знаю? Вотъ еще что! Нѣтъ, господинъ церковникъ! мы получше твоего знаемъ французскіе то мундиры: подъ Устерлицемъ я на нихъ насмотрѣлся. Да и станетъ ли русскій офицеръ пѣть французскія пѣсни? А онъ такъ горло и дралъ.

— А тотъ, что мы захватили, ему подтягивалъ, — промолвилъ рыжій мужикъ;—я самъ слышалъ.

— Я хоть и не слыхалъ,—прервалъ солдатъ, — да видѣлъ, что они ѣхали дружно, рядышкомъ, словно братья родные.

— Такъ чтожъ и калякать?—вскричалъ сотникъ. — Вѣстимо онъ французъ: не такъ ли, православные?

— Такъ, Кондратій Пахомычъ! Такъ!—повторили всѣ старики.

— А если французъ,—промолвилъ одинъ лысый старикъ:—на осину его!

— Какъ бы не такъ!—прервалъ сотникъ, еще веревку припасай! Въ колодезь къ товарищамъ такъ и концы въ воду.

— Эй, не торопись, ребята! — сказалъ семинаристъ. — Melior est consulta...

— Что ты, сумасшедшій, перестань! — шепнулъ сержантъ, дернувъ за рукавъ своего сосѣда.—Православные!— продолжалъ онъ, — послушайтесь меня, старика: чтобъ не было оглядокъ, такъ не лучше ли его хорошенько допросить?

— Да, скажетъ онъ тебѣ правду, дожидайся!—прервалъ лысый старикъ.

— Погодите, братцы!—заговорилъ крестьянинъ въ синемъ кафтанѣ; — коли этотъ полоненникъ доподлинно не русскій, такъ мы такую найдемъ улику, что ему и пикнуть неча будетъ. Не велика фигура, что онъ баетъ по нашему; вѣдь французы на все смышлены, только Бога то не знаютъ. Помните ли, ребята, аномнясь, какъ мы ихъ сотни полторы въ одно утро уходили, былъ ли хоть на одномъ изъ этихъ басурмановъ крестъ Господень?

— Ни на одномъ не было, Терентій Иванычъ! — отвѣчалъ сотникъ;—я самъ видѣлъ.

— Такъ и на этомъ не будетъ, коли онъ французъ; а если православный, такъ носитъ крестъ— не правда ли?

— Правда, Терентій Иванычъ, правда!—повторили всѣ присутствующіе.

— Такъ давайте же его сюда. Посмотримъ, есть ли у него на шеѣ то отцовское благословленіе?

Два крестьянина, вооруженные топорами, ввели Рославлева въ избу.—Ваня!—сказалъ Терентій одному изъ нихъ,— разстегни-ка ему воротъ у рубахи—вотъ такъ!

— Что вы дѣлаете, ребята?—прервалъ Рославлевъ.—Я, точно, русскій!

— Ладно, братцы! увидимъ-ста, русскій ли ты.—Ну что, Ваня, есть ли на немъ крестъ?—спросилъ сотникъ.

— Нѣтъ, Пахомычъ, ни креста ни образа!

— Видите, православные! — сказалъ рыжій Ерема. — Чего же вамъ еще?

— Въ колодезь его!—завопили почти всѣ крестьяне.

— Послушайте, братцы!—вскричалъ Рославлевъ: — видитъ Богъ, на мнѣ былъ крестъ, да меня ограбили французы.

— Что съ нимъ растабарывать!—подхватилъ сотникъ.— Тащите его! въ колодезь!

— Да что вамъ дался колодезь?—прервалъ Ерема. — И такъ всѣ колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня! что ты смотришь басурману то въ зубы? Обухомъ его!

— И то правда!—закричали другіе мужики.—Пришиби его!

Одинъ изъ крестьянъ, которые караулили Рославлева, вынулъ изъ-за пояса свой топоръ.

— Постойте, дѣтушки!— прервамъ сержантъ. — Экъ у васъ руки то расходились! Убить не долго. Ну, если его въ самомъ дѣлѣ ограбили французы?...

— И онъ, дѣйствительно, русскій офицеръ?—промолвилъ семинаристъ.

— А это что?—вскричалъ Ерема, вынимая изъ бокового кармана Рославлевой шинели кошелекъ съ деньгами.— Что, братъ? видно, они тебя грабили, да не дограбили? Смотрите, православные! И деньги то не наши.

— Эта шинель не моя,—сказалъ Рославлевъ. — Одинъ изъ французовъ помѣнялся со мной насильно.

— А деньги то далъ въ придачу что-ль? — закричалъ Ерема!—Ахъ ты, проклятый басурманъ! Что мы тебѣ олухи достались? Да что съ тобой калякать? Ваня, хвати его по маковкѣ!... Чтожъ ты?... Полно, братъ, не переминайся! а не то я самъ...—промолвилъ Ерема, вынимая изъ-за пояса свой широкій ножъ.

— Погоди, кумъ, не торопись!—сказалъ Иванъ. — Послушай-ка, молодецъ! ты баешь, что съ тебя сняли крестъ французы. Ну, а какой онъ былъ: деревянный или серебряный?

— Нѣтъ, золотой!—отвѣчалъ Рославлевъ.

— Ладно. А на какомъ онъ висѣлъ гайтанѣ — на черномъ или красномъ?

— Нѣтъ, на зеленомъ шелковомъ снуркѣ.

— Что, ребята, вѣдь онъ баетъ правду: вотъ и крестъ; я вынулъ его изъ кармана у одного убитаго француза.

— Да повѣрьте мнѣ, братцы!—сказалъ Рославлевъ, — я васъ не обманываю: я, точно русскій, офицеръ.

— И впрямь, православные!—промолвилъ Терентій; — ужь не русскій?

— Точно русскій—подхватилъ семинаристъ.

— А если русскій, — возразилъ отставной солдатъ, — такъ онъ измѣнникъ!

— Измѣнникъ! — повторилъ съ негодованіемъ Рославлевъ.

— Вѣстимо, измѣнникъ!—закричалъ Ерема.—Ради чего ты ѣхалъ съ французскимъ офицеромъ—а?

— Мой товарищъ также русскій офицеръ, а нарядился французомъ для того, чтобъ выручить меня изъ Москвы.

— Экъ съ чѣмъ подъѣхалъ! На васъ пошлюсь, православные: ну станетъ ли русскій офицеръ пѣть эти басурманскія пѣсни?

— Вѣстимо, не станетъ!—закричали крестьяне.

— Клянусь вамъ Богомъ, ребята,—продолжалъ Рославлевъ,—я и мой товарищъ—мы оба русскіе. Онъ гусарскій ротмистръ Зарѣцкій, а я гвардіи поручикъ Рославлевъ.

— Рославлевъ!—повторилъ съ необычайною живостію сержантъ.—А какъ звали вашего батюшку?

— Сергѣемъ Дмитричемъ.

— Не припомните ли, сударь, гдѣ онъ изволилъ служить капитаномъ?

— Онъ служилъ капитаномъ при Суворовѣ, въ Фанагорійскомъ полку.

— Ну, такъ и есть!—воскликнулъ съ радостію сержантъ, вскочивъ со скамьи.—Ваше благородіе! вѣдь батюшка вашъ былъ моимъ командиромъ, и мы вмѣстѣ съ нимъ штурмовали Измаилъ,

— Слышите-ль, братцы!—сказалъ семинаристъ.

— Слышимъ-ста!—отвѣчалъ Ерема: — да намъ то что до этого?

— Какъ что?—прервалъ сержантъ;—да развѣ сынъ моего командира можетъ быть измѣнникомъ? Ну статочное ли это дѣло? Не правда ли, дѣтушки?

Всѣ крестьяне встали съ своихъ мѣстъ, поглядывали другъ на друга; одинъ почесывалъ голову, другой пожимался; но никто не отвѣчалъ ни слова.

— Что это, братцы?—продолжалъ сержантъ;—неужели то вы и мнѣ, старику, вѣрить не хотите?

— Вѣрить-та мы тебѣ вѣримъ—отвѣчалъ Ерема, — да вѣдь не всѣ сыновья въ отцовъ родятся, Пахомычъ!

— Всяко бываетъ, конечно,—промолвилъ Терентій: — да вѣдь не даромъ же и пословица: недалеко яблочко отъ яблони падаетъ. Ну, какъ вы думаете, православные?

— Какъ ты, Терентій Иванычъ?—отвѣчали сотникъ и старики.

— А по мнѣ вотъ какъ: ужь если Кондратій Пахомычъ за него порукою, такъ намъ и баять нечего. Поклонъ его благородію, да милости просимъ въ передній уголъ! Такъ ли, православные?

— Ну коли такъ, такъ такъ!—повторили въ одинъ голосъ крестьяне.—Милости просимъ, батюшка!

— Ваня!--сказалъ Терентій,—сбѣгай ко мнѣ, да принеси-ка жбанъ браги, каравай хлѣба и спроси у Андреевны пирогъ съ кашею: чай, его милость проголодаться изволилъ.

— Забѣги и къ моей старухѣ,—промолвилъ сотникъ,— да возьми у нея штофъ ерофеичу.

— Благодарю васъ, добрые люди! — сказалъ Рославлевъ,—я хоть и не обѣдалъ, а мнѣ что то ѣсть не хочется.

— Чу!...—вскричалъ сотникъ;—что это.

— Французы, французы! — загремѣли сотни голосовъ на улицѣ. Всѣ бросились опрометью изъ избы, и въ одну минуту густая толпа окружила колокольню. Эй, Андрюша, гдѣ французы?—спросилъ сотникъ.

— Вонъ тамъ, у дальней засѣки,— отвѣчалъ мальчикъ.

— Много ли ихъ?

— Много, Пахомычъ и конныхъ и пѣшихъ видимо-невидимо.

— Ну, ребята!—сказалъ сержантъ, — смотрите, стоять грудью за нашу матушку, святую Русь, и вѣру православную.

— Стоять то мы рады, — прервалъ сотникъ; — да слышишь, Кондратій Пахомычъ—ихъ идетъ несмѣтная сила.

— Такъ чтожъ?

— Не одолѣешь, кормилецъ! много ли насъ?

— Да и французовъ то, вѣрно, не больше, — сказалъ Рославлевъ;—они растянулись по дорогѣ, такъ издали кажется, что ихъ много.

— Охъ, батюшка!—подхватилъ Терентій,—хитры они, злодѣи! не пошлютъ мало. Вѣдь они, басурманы, ужь давнымъ-давно до насъ собираются.

— Ну, православные! — сказалъ Пахомычъ, —говорите, что дѣлать?

Ни одинъ голосъ не отозвался на вопросъ сотника. Всѣ крестьяне поглядывала молча другъ на друга, и на многихъ лицахъ ясно изображались недоумѣніе и робость...

— Эхъ, худо дѣло!—шепнулъ сержантъ.—Ваше благородіе!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Рославлеву: — не принять ли вамъ команды? Вы человѣкъ военный, такъ

авось это нашихъ ребятъ поокуражитъ. Эй, братцы, сюда! слушайте его благородія!

— Какъ такъ? Что такое? Да развѣ онъ не французъ? —заговорили крестьяне.

— Нѣтъ, дѣтушки, его благородіе — русскій офицеръ, сынъ моего бывшаго капитана.

— Ой ли? Вотъ-те разъ! Слышите, ребята!... Вотъ что!...—загремѣли восклицанія изъ удивленной толпы.

— Друзья! — сказалъ Рославлевъ, — что хотите вы? Покориться ли злодѣямъ нашимъ или биться съ ними до послѣдней капли крови?.. Ну, чтожъ вы молчите?

— Да вотъ что,—сказалъ одинъ крестьянинъ:—Андрюха-то говоритъ, что ихъ больно много.

— Такъ чтожъ, ребята? — подхватилъ семинаристъ: хоть покоримся, хоть нѣтъ; а все намъ отъ нихъ милости никакой не будетъ: мало ли мы ихъ передушили!

— Вѣстимо,—сказалъ отставной солдатъ:—мы имъ пардону не давали, такъ и они намъ не дадутъ.

— А еслибъ и дали, — возразилъ Рославлевъ, — такъ не грѣшно ли вамъ будетъ выдать руками женъ и дѣтей вашихъ? Эхъ, братцы! ужь если вы начали служить вѣрой и правдой царю православному, такъ и дослуживайте! Что намъ считать, много ли ихъ? Наше дѣло правое — съ нами Богъ!

— А съ ними чортъ!—заревѣлъ Ерема.—Что въ самомъ дѣлѣ, драться такъ драться.

— Такъ за мной, православные! — воскликнулъ отставной солдатъ.—Ура! за батюшку Царя и святую Русь!

— Ура!—подхватила вся толпа.

— Весь въ покойника!—шепталъ потихоньку сержантъ, глядя на Рославлева;—какъ двѣ капли воды!

— Теперь слушайте, ребята!—продолжалъ Рославлевъ.— Ты, я вижу, господинъ церковникъ, молодецъ! Возьми-ка съ собой человѣкъ пятьдесятъ съ ружьями, да засядь вонъ тамъ въ кустахъ, за болотомъ, около дороги, и лишь только непріятель васъ минуетъ...

— Такъ мы вдогонку и откроемъ по немъ огонь? Понимаю, господинъ офицеръ. Это въ родѣ тѣхъ засадъ, о коихъ говоритъ Цезарь въ комментаріяхъ своихъ de bello Gallico.

— Да полно, Александръ Дмитричъ! — закричалъ сержантъ.—Экъ тебѣ неймется!

— Ты, служивый, и ты, молодецъ, — продолжалъ Рославлевъ, обращаясь къ отставному солдату и Еремѣ:—возьмите съ собой человѣкъ сто также съ ружьями, ступайте къ рѣчкѣ, разломайте мостъ, и когда французы станутъ переправляться въ бродъ...

— То мы изъ-за деревьевъ пустимъ по нихъ такую дробь— прервалъ солдатъ,—что имъ и небо съ овчинку покажется.

— А мы съ тобой, сослуживецъ моего батюшки,—промолвилъ Рославлевъ, взявъ за руку сержанта,—съ остальными встрѣтимъ непріятеля у самой деревни, и если я отступлю хоть на шагъ, такъ назови мнѣ по имени прежняго командира, и ты увидишь—сынъ ли я его! Ну, ребята, съ Богомъ!

Крестьяне, зарядивъ свои ружья, отправились въ назначенныя для нихъ мѣста, и на лугу осталось не болѣе восьмидесяти человѣкъ, вооруженныхъ по большей части дубинами, топорами и рогатинами. Къ нимъ вскорѣ присоединилось сотни три женщинъ съ ухватами и вилами. Ребятишки, старики, больные, однимъ словомъ, всякій, кто могъ только двигаться и подымать руку, вооруженную чѣмъ ни попало, вышелъ на лугъ.

Въ глубокой тишинѣ, изрѣдка прерываемой рыданіями и молитвою, стояла вся толпа вокругъ церкви. — Что, Андрюша? — закричалъ, наконецъ, сержантъ, — близко ли наши злодѣи?

— Близехонько, крестный! — отвѣчалъ съ колокольни мальчикъ;—на самомъ выгонѣ — вонъ ужь поровнялись съ нашими, что засѣли на болотѣ; да они ихъ не видятъ... Впереди ѣдутъ конные... въ желѣзныхъ шапкахъ съ хвостами... Крестный! крестный! да на нихъ и одежа-та желѣзная!... такъ отъ солнышка и свѣтитъ!... Эва сколько ихъ!.. Вотъ пошли пѣшіе!... Эге! да народъ то все мелкій, крестный! Наши съ ними справятся...

— То-то ребячья простота!—сказалъ сержантъ, покачивая головою.—Эхъ, дитятко! вѣдь они не въ кулачки пришли драться; съ пулей да штыкомъ бороться не станешь; да Богъ милостивъ!

— Кондратій Пахомычъ! — закричалъ мальчикъ, — они подъѣхали къ рѣчкѣ... остановились... вотъ человѣкъ пять выѣхало впередъ... стали въ кучку... Эхъ, какой верзила! Ну, этотъ всѣхъ выше!.. а лошадь то подъ нимъ такъ и пляшетъ!... Видно, это ихъ наѐбольшій...

Вдругъ вдали раздался залпъ изъ ружей, и вслѣдъ за нимъ загремѣли частые выстрѣлы по сю сторону рѣчки, на берегу которой стояли французы.

— Помоги, Господи! — сказалъ сержантъ, перекрестясь.

— Крестный!—закричалъ мальчикъ,—наша взяла! Длинный то упалъ съ лошади; вонъ и другіе стали падать... Да что это? Они не бѣгутъ!... Вотъ и они принялись стрѣлять... Ну, все застлало дымомъ: ничего не видно.

Минутъ двадцать продолжалась жаркая перестрѣлка; потомъ выстрѣлы стали рѣже, раздался конскій топотъ, и мальчикъ закричалъ:—Крестный, крестный! никакъ нашихъ гонятъ назадъ.

— Впередъ, друзья! — воскликнулъ Рославлевъ; но въ ту же самую минуту показались на улицѣ бѣгущіе безъ порядка крестьяне, преслѣдуемые французскими латниками.

— За мной, ребята, на паперть!—закричалъ Рославлевъ.

Сержантъ и человѣкъ тридцать крестьянъ, вооруженныхъ ружьями, кинулись вслѣдъ за нимъ, а остальные разсыпались во всѣ стороны. Непріятельская конница выскакала на площадь. — Ну, братцы! — сказалъ Рославлевъ, — если злодѣи насъ одолѣютъ, то, по крайней мѣрѣ, не дадимся живые въ руки. Стрѣляйте по коннымъ, да мѣтьте хорошенько!

Въ полминуты человѣкъ десять латниковъ слетѣло съ лошадей.

— Славно, дѣтушки! — вскричалъ сержантъ; — знатно! вотъ такъ!.. Саржируй, то-есть заряжай проворнѣй, ребята! Ай да Герасимъ!... другова то еще!... Смотри, вонъ этого то, что юлитъ впередп!... Свалилъ!... Ну, молодецъ!.. Эхъ, братъ! въ фаногорійцы бы тебя!...

— Старикъ!—сказалъ вполгоса Рославлевъ, — думалъ ли ты на штурмѣ Измаила, что умрешь подлѣ сына твоего капитана?

— Авось не умремъ,—отвѣчалъ сержантъ; — Богъ милостивъ, ваше благородіе!

— Да, мой другъ! Онъ, точно, милостивъ! Страданія наши не будутъ продолжительны. Смотри!

Старикъ устремилъ свой взоръ въ ту сторону, въ которую показывалъ Рославлевъ: густая колонна непріятельской пѣхоты приближалась скорымъ шагомъ къ площади. —Ребята! — вскричалъ сержантъ, — стыдно и грѣшно

старому солдату умереть съ пустыми руками: дайте и мнѣ ружье!

Вдругъ дикій, пронзительный крикъ пронесся отъ другого конца селенія, и человѣкъ двѣсти казаковъ, наклоня свои дротики, съ визгомъ промчались мимо церкви. Въ одну минуту латники были смяты, пѣхота опрокинута, и въ то же время, русское: ура! загремѣло въ тылу французовъ; человѣкъ триста крестьянъ изъ сосѣднихъ деревень и семинаристъ съ своимъ отрядомъ ударили въ разстроеннаго непріятеля. Съ четверть часа, окруженные со всѣхъ сторонъ французы упорно защищались; наконецъ, болѣе половины непріятельской пѣхоты и почти вся конница легли на мѣстѣ, остальные положили оружіе.

Въ продолженіи сего короткаго, но жаркаго дѣла, Рославлевъ замѣтилъ одного русскаго офицера, который, повидимому, командовалъ всѣмъ отрядомъ; онъ леталъ и крутился, какъ вихрь, впереди своихъ наѣздниковъ: лихой горскій конь его перепрыгивалъ черезъ кучи убитыхъ, топталъ въ ногахъ французовъ, и съ быстротою молніи переносилъ его съ одного мѣста на другое. Когда сраженье кончилось, и всѣхъ плѣнныхъ окружили цѣпью казаковъ, едва успѣвающихъ отгонять крестьянъ, которые, какъ дикіе звѣри, рыскали вокругъ побѣжденныхъ, начальникъ отряда, окруженный офицерами, подъѣхалъ къ церкви. При первомъ взглядѣ на его вздернутый кверху носъ, черные густые усы и живые, исполненные ума и веселости глаза, Рославлевъ узналъ въ немъ, несмотря на странный полу-казачій и полу-крестьянскій нарядъ, стариннаго своего знакомца, который въ мирное время—пѣвецъ любви, вина и славы—обворожалъ друзей своей любезностію и добродушіемъ, а въ военное, какъ ангелъ-истребитель, являлся съ своими крылатыми полками, какъ молнія губилъ, и исчезалъ среди враговъ, изумленныхъ его отвагою; но и посреди безпрерывныхъ тревогъ войны, подобно древнему Скальду, онъ не оставлялъ своей златострунной цѣвницы:

...Славилъ Марса и Темиру
И бранную повѣсилъ лиру
Межъ вѣрной сабли и сѣдла.

— Это ты,—раздался знакомый голосъ на церковной паперти. — Ты живъ, мой другъ? Слава Богу! – Рославлевъ обернулся—передъ нимъ стоялъ Зарѣцкій въ томъ же

французскомъ мундирѣ, но въ русской кавалерійской фуражкѣ и форменной сѣрой шинели.

VIII.

— Нѣтъ, братецъ, рѣшено! Ни русскіе, ни французы, ни люди, ни судьба, ничто не можетъ насъ разлучить.— Такъ говорилъ Зарѣцкій, обнимая своего друга.—Думалъ ли я,—продолжалъ онъ,—что буду сегодня въ Москвѣ, перебранюсь съ жандармскимъ офицеромъ; что по милости французскаго полковника выѣду вмѣстѣ съ тобою изъ Москвы, что насъ разлучатъ русскіе крестьяне, что они подстрѣлятъ твою лошадь и выберутъ тебя потомъ въ свои главнокомандующіе?...

— Прибавь, мой другъ!—прервалъ Рославлевъ,—что съ часъ тому назадъ они хотѣли упрятать своего главнокомандующаго въ колодезь.

— За что?

— А за то, что пріятель, съ которымъ онъ ѣхалъ, поетъ хорошо французскіе куплеты.

— Неужели?

— Да, братецъ; они вѣрить не хотѣли, что я русскій.

— Ахъ они бородачи! Такъ поэтому, еслибъ я имъ попался...

— То вѣрно бы тебѣ пришлось хлебнуть колодезной водицы.

— Вотъ, чортъ возьми! а я терпѣть не могу и нашей невской. Пойдемъ-ка, братецъ; выпьемъ лучше бутылку вина: у русскихъ партизановъ оно всегда водится.

— Ты какъ попалъ сюда, Александръ? — спросилъ Рославлевъ, сходя вмѣстѣ съ нимъ съ паперти.

— Нечаяннымъ, но самымъ натуральнымъ образомъ! Помнишь, когда ранили твою лошадь, и ты помчался отъ меня какъ бѣшеный? Въ полминуты я потерялъ тебя изъ виду. Проплутавъ съ полчаса въ лѣсу, я повстрѣчался съ летучимъ отрядомъ нашего общаго знакомаго, который, вѣроятно, не ожидаетъ увидѣть тебя въ этомъ нарядѣ; впрочемъ, и то сказать, мы всѣ трое въ маскарадныхъ платьяхъ: хорошъ и онъ! Разумѣется, передовые казаки сочли меня сначала за французскаго офицера. Несмотря на всѣ увѣренія въ противномъ, они обшарили меня кругомъ и принялись было раздѣвать; но, къ счастію, прежде чѣмъ

успѣли кончить мой туалетъ, подъѣхалъ ихъ отрядный начальникъ: онъ узналъ меня, велѣлъ отдать мнѣ все, что у меня отняли, замѣнилъ мою синюю шинель и французскую фуражку вотъ этими, и хорошо сдѣлалъ: въ этомъ полурусскомъ нарядѣ я не рискую, чтобъ какой-нибудь деревенскій витязь застрѣлилъ меня изъ-за куста, какъ тетерева. Проѣзжая недалеко отъ здѣшняго селенія, мы услышали перестрѣлку; не трудно было догадаться, что это шалятъ французскіе фуражиры. Мы пустились во всю рысь и, какъ видишь, подоспѣли въ самую пору. Жаль мнѣ ихъ, сердечные! Дрались, дрались, а не поживятся ни однимъ теленкомъ.

— Да неужели это въ самомъ дѣлѣ фуражиры? Ихъ что то очень много.

— Цѣлый батальонъ пѣхоты и эскадронъ конницы.

— Кто-жъ посылаетъ фуражировать такіе сильные отряды?

— Кто? Да французы. Ты жилъ затворникомъ у своего Сеземова, и ничего не знаешь: имъ скоро придется давать генеральныя сраженія для того только, чтобъ отбить у насъ кулей десять муки.

У мірской избы сидѣлъ на скамьѣ начальникъ отряда и нѣкоторые изъ его офицеровъ. Кругомъ толпился народъ, а подлѣ самой скамьи стояли сержантъ и семинаристъ. Узнавъ въ блѣдномъ молодомъ человѣкѣ, который въ изорванной фризовой шинели походилъ болѣе на нищаго, чѣмъ на русскаго офицера, стариннаго своего знакомца, начальникъ отряда обнялъ по-дружески Рославлева и, пожимая ему руку, не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія:—Боже мой! какъ вы перемѣнились!

— Онъ очень былъ боленъ,—сказалъ Зарѣцкій.

— Это замѣтно. А запретилъ ли вамъ лѣкарь пить вино?

— Моимъ лѣкаремъ была одна молодость,—сказалъ съ улыбкой Рославлевъ.

— О! Такъ съ этимъ медикомъ можно ладить! Эй, Жигулинъ! Бутылку вина! Не знаю, хорошо ли: я еще его не пробовалъ.

— Я вамъ порукою, что хорошо, — сказалъ одинъ смугловатый и толстый офицеръ въ черкесской буркѣ.—Его везли въ Москву для Раппа; а, говорятъ, этотъ лихой генералъ такъ же терпѣть не можетъ дурного вина, какъ не терпитъ трусовъ.

— Да гдѣ нашъ сорви-голова? — спросилъ начальникъ отряда.

— Старикъ есаулъ? Онъ отправляетъ плѣнныхъ въ главную квартиру.

— Скажи ему, братъ, чтобъ онъ поторапливался: мы здѣсь слишкомъ близко отъ непріятеля.—Офицеръ въ буркѣ всталъ и пошелъ къ толпѣ плѣнныхъ, которыхъ обезоруживали и строили въ колонну.

— Ну, православные! — продолжалъ начальникъ отряда, обращаясь къ крестьянамъ,—исполать вамъ! Да вы всѣ чудо-богатыри! Смотрите-ка, сколько передушили этихъ буяновъ! Славно, ребята, славно!.. и впередъ стойте грудью за вѣру православную и царя-государя, такъ и онъ васъ пожалуетъ, и Господь Богъ помилуетъ.

— Рады стараться, батюшка! — закричали крестьяне.— Готовы и напредки.

— Да гдѣ у васъ этотъ молодецъ, который съ своими ребятами отрѣзалъ французовъ отъ рѣчки? Кажется, онъ изъ церковниковъ? Что онъ—дьячекъ чтоль?

— Студентъ Перервинской семинаріи, ваше благородіе!— сказалъ семинаристъ, сдѣлавъ шагъ впередъ.

— А, старый знакомый! — вскричалъ Зарѣцкій. — Ну вотъ, Богъ привелъ намъ опять встрѣтиться. Помните ли, господинъ студентъ, какъ я догналъ васъ около Останкина?

— Какъ не помнить, господинъ офицеръ!

— Ну что? Помогаютъ ли вамъ комментаріи Цезаря бить французовъ?

— Какъ бы вамъ сказать, сударь? Странное дѣло! Кажется, и Цезарь дрался съ тѣми же французами, да теперешніе то вовсе на прежнихъ не походятъ, и, признаюсь, я весьма начинаю подозрѣвать, что образъ войны совершенно перемѣнился.

— Неужели?

— Да, сударь, да! Цезарь говоритъ одно, а дѣлается совсѣмъ другое; разумѣется, въ такомъ случаѣ experientia est optima magistra — сирѣчь: опытъ самый лучшій наставникъ. Конечно, умъ хорошо, а два лучше: plus vident oculi...

— Полно, Александръ Дмитричъ, не срамись!—шепнулъ сержантъ, толкнувъ локтемъ семинариста.

— Вотъ и вино!—прервалъ начальникъ отряда, отку-

поривая бутылку, которую, вмѣстѣ съ серебряными стаканами, подалъ ему казачій урядникъ. — Милости просимъ, господа, по чаркѣ вина, за здоровье воина-семинариста.

— Bene tibi! Доктумъ семинаристумъ! — закричалъ Зарѣцкій, выпивая свой стаканъ.

— Respondebo tibi propinanti!—возразилъ семинаристъ, протягивая руку.

— То-есть,—подхватилъ начальникъ отряда,—и ваша ученость хочетъ выпить стаканчикъ? Милости просимъ! Ну что, — продолжалъ онъ, обращаясь къ подходящему офицеру,—наши плѣнные ушли?

— Отправились, — отвѣчалъ офицеръ. — Къ нимъ въ проводники вызвался одинъ рыжій мужикъ, который берется довести ихъ до нашего войска такими тропинками, что они не только съ французами, но и съ русскими не повстрѣчаются.

— Приказалъ ли ты построже, чтобъ ихъ дорогой казаки и крестьяне не обижали?

— Приказывалъ. Да вѣдь на нихъ не угодишь. Представьте себѣ: одинъ изъ этихъ французовъ, кирасирскій поручикъ, такъ и вопитъ, что у него отняли — и какъ вы думаете, что? Деньги? Нѣтъ!—Часы, вещи?—и то нѣтъ! Какія то любовныя записочки и волосы! Повѣрите ли, почти плачетъ! А, кажется, славный офицеръ и лихо дрался.

— Какъ!—вскричалъ начальникъ отряда, — у этого молодца отняли письма и волосы той, которую онъ любитъ? Ахъ, чортъ возьми! да отъ этого и я бы взвылъ! Бѣдняжка! А знаете ли, какой онъ долженъ быть славный малый? Онъ любитъ и дрался какъ левъ! Знаете ли, товарищи, что еслибъ этотъ кирасиръ не былъ нашимъ непріятелемъ, то я помѣнялся бы съ нимъ крестами? Да, господа, когда въ булатной груди молодца бьется сердце, способное любить, то онъ братъ мой! И на что этимъ пострѣламъ его любовная переписка? Эй, Жигулинъ! узнай сейчасъ, кто обобралъ плѣннаго кирасирскаго офицера? Деньги и вещи передъ ними; но чтобъ всѣ его бумаги были отысканы.

— Не извольте безпокоиться,—сказалъ семинаристъ, подавая начальнику отряда вышитый на канвѣ книжникъ:— я захватилъ его изъ предосторожности — Diffidentia tempestiva...

— Давай его сюда!—прервалъ начальникъ отряда.

— Извольте хорошенько разсмотрѣть, ваше высоко-

благородіе! Между бумагами могутъ быть важные документы...

— О, преважные! но только не для насъ, — прервалъ начальникъ отряда, разсматривая книжникъ.—Adorable ami... cher Adolphe... А вотъ и локонъ волосъ...

— Какая прелесть!—вскричалъ Зарѣцкій:—черные какъ смоль!

— Портретъ!... Да она въ самомъ дѣлѣ хороша. Бѣдняжка! ну какъ же ему не ревѣть? Жигулинъ! садись на коня; ты догонишь транспортъ и отдашь кирасирскому плѣнному офицеру этотъ бумажникъ; да постой, я напишу къ нему записку.

Начальникъ отряда вынулъ изъ кармана клочекъ бумаги, карандашъ и написалъ слѣдующее:

«Recevez, monsieur, les effets, qui vous sont si chers. Puissent-ils, en vous rappelant l'objet aimé, vous prouver, que le courage et le malheur sont respectés en Russie comme ailleurs» *). Жигулинъ! отдай ему эту записку, да смотри, не потеряй бумажника... Боже тебя сохрани! Отправляйся! Ну, господа! — продолжалъ начальникъ отряда, обращаясь къ нашимъ пріятелямъ, — что намѣрены вы теперь дѣлать? Я, можетъ быть, подвинусь съ моимъ отрядомъ къ Вязьмѣ, и стану кочевать въ тылу у французовъ; а вы, вѣроятно, желаете пробраться къ нашей арміи?

— Да,—отвѣчалъ Зарѣцкій, — давно уже тоскую о моемъ эскадронѣ, а по Владимірѣ, вѣрно, вздыхаетъ нашъ дивизіонный генералъ.

— Такъ отправляйтесь вслѣдъ за плѣнными. Потрудитесь, Владиміръ Сергѣевичъ, выбрать любую лошадь изъ отбитыхъ у непріятеля, да и съ Богомъ! Не надобно терять времени; догоняйте скорѣе транспортъ, надъ которымъ, Зарѣцкій, вы можете принять команду: я пошлю съ вами казака.

Наши пріятели, распростясь съ начальникомъ отряда, отправились въ дорогу, и догнавъ въ четверть часа плѣнныхъ, были свидѣтелями восторговъ кирасирскаго офицера. Покрывая поцѣлуями портретъ своей любезной, онъ повторялъ:—Боже мой, Боже мой! кто могъ бы подумать, чтобъ

*) Примите, милостивый государь, вещи, которыя для васъ столь дороги; пусть онѣ, напоминая вамъ о предметѣ любви вашей, послужатъ доказательствомъ, что храбрость и несчастіе уважаются въ Россіи точно такъ же, какъ и въ другихъ странахъ.

этотъ казакъ, этотъ варваръ имѣлъ такую душу!... О, этотъ русскій достоинъ быть французомъ! Il est Français dans l'âme!

Остальную часть дня и всю ночь плѣнные, подъ прикрытіемъ тридцати казаковъ и того же числа вооруженныхъ крестьянъ, шли, почти не отдыхая. Передъ разсвѣтомъ Зарѣцкій сдѣлалъ привалъ и послалъ въ ближайшую деревню за хлѣбомъ; въ полчаса крестьяне навезли всякихъ съѣстныхъ припасовъ. Покормивъ и своихъ и непріятелей, Зарѣцкій двинулся впередъ. Вскорѣ стали имъ попадаться наши разъѣзды, и, часу въ одиннадцатомъ утра, они подошли, наконецъ, къ аванпостамъ русскаго авангарда.

IX.

Узнавъ на аванпостахъ, что полкъ Зарѣцкаго стоитъ биваками въ первой линіи авангарда, наши пріятели пустились немедля его отыскивать. Трудно было описать радость и удивленіе сослуживцевъ Зарѣцкаго и Рославлева, когда они явились передъ ними въ своихъ маскарадныхъ костюмахъ. Выходцевъ съ того свѣта не закидали бы такимъ множествомъ вопросовъ, какъ нашихъ друзей, которые были въ Москвѣ и видѣли своими глазами все, что тамъ дѣлается. Офицеры на радостяхъ затѣяли пирушку: самоваръ закипѣлъ, пошла попойка, явились пѣсельники и грянули хоромъ авангардную пѣсню, сочиненную однимъ изъ нашихъ воиновъ-поэтовъ. Постукивая стаканами, офицеры повторяли съ восторгомъ первый куплетъ ея:

Вспомнимъ, братцы, россовъ славу
И пойдемъ враговъ разить;
Защитимъ свою державу —
Лучше смерть, чѣмъ въ рабствѣ жить!

Едва оправившійся отъ болѣзни Рославлевъ не могъ подражать своимъ товарищамъ, и въ то время, какъ они веселились и опоражнивали стаканы съ пуншемъ, онъ подсѣлъ къ двумъ заслуженнымъ ротмистрамъ, которые также принимали не слишкомъ дѣятельное участіе въ шумной радости другихъ офицеровъ.—Ну что вы, господа, подѣлываете съ французами?—спросилъ Рославлевъ.

— Да покамѣстъ ничего! — отвѣчалъ одинъ изъ нихъ,

закручивая свои густые съ просѣдью усы. — Мы стоимъ другъ противъ друга; на передовыхъ цѣпяхъ отъ скуки перестрѣливаются; иногда наши казаки выѣзжаютъ погарцовать въ чистомъ полѣ, рисуются, тратятъ даромъ заряды, поддразниваютъ французовъ: вотъ и все тутъ.

— А никто такъ ихъ не дразнить, какъ нашъ удалой авангардный начальникъ! — подхватилъ другой ротмистръ, помоложе перваго.—Онъ каждый день, такъ—для моціону, прогуливается вдоль непріятельской цѣпи.

— Да ему тамъ только и весело, гдѣ свистятъ пули, — прервалъ старый ротмистръ. — Всякій разъ его встрѣчаютъ и провожаютъ съ пальбою; а онъ все-таки цѣлехонекъ. Ну, правду онъ говоритъ, что его и смерть боится.

— Противъ насъ командуетъ Мюратъ, —сказалъ другой ротмистръ: — также молодецъ! Не знаю, каково онъ представляетъ короля у себя во дворцѣ; но въ дѣлѣ, а особливо въ кавалерійской атакѣ, дьяволъ!—такъ все и ломитъ. Нечего сказать, боекъ и онъ, а все за нашимъ графомъ не угоняется. Я слышалъ, что на этихъ дняхъ Мюрату вздумалось подъ выстрѣлами русскихъ часовыхъ кушать кофе. На ту пору графъ выѣхалъ также за нашу цѣпь; пули посыпались на него со всѣхъ сторонъ, но не помѣшали ему замѣтить удальство неаполитанскаго короля. — Богъ мой! — вскричалъ онъ, — что это? Ужь не хочетъ ли Мюратъ удивить русскихъ?... Столъ и приборъ! я здѣсь обѣдаю. Не знаю, правда ли, только это очень на него походитъ.

— А можете ли вы мнѣ сказать, господа, — спросилъ Рославлевъ:—гдѣ теперь полковникъ Сурскій?

— Здѣсь,—отвѣчалъ старый ротмистръ.

— Такъ онъ ужь не служитъ при главномъ штабѣ?

— Я думаю, онъ скоро нигдѣ служить не будетъ.

— Какъ?

— Да, вчера онъ пріѣхалъ съ приказаніями къ нашему авангардному начальнику, обѣдалъ у него, и потомъ отправился вмѣстѣ съ нимъ прогуливаться вдоль нашей цѣпи; какая то шальная пуля попала ему въ грудь, и если доктора говорятъ правду, такъ онъ не жилецъ.

— Ахъ, Боже мой! — вскричалъ Рославлевъ; — сдѣлайте милость, господа, скажите, гдѣ мнѣ его отыскать?

— Онъ долженъ быть въ обозѣ, вонъ за этимъ лѣсомъ,— сказалъ старый ротмистръ. — Да постойте, — продолжалъ

онъ: — васъ въ этомъ нарядѣ примутъ за маркитанта: надѣньте хоть мою шинель.

Рославлевъ накинулъ шинель ротмистра и отправился къ тому мѣсту, гдѣ былъ расположенъ обозъ нашего авангарда. Повстрѣчавшійся съ нимъ полковой фельдшеръ указалъ ему на низкую избенку, которая, вѣроятно, уцѣлѣла оттого, что стояла въ нѣкоторомъ разстояніи отъ большой дороги. Рославлевъ подошелъ къ избѣ въ ту самую минуту, какъ выходилъ изъ нея лѣкарь.—Что полковникъ?—спросилъ онъ. Лѣкарь пожалъ плечами.

— Итакъ, нѣтъ никакой надежды?

— Никакой! Впрочемъ, онъ въ полной памяти и всѣхъ узнаетъ—пожалуйте!...

Рославлевъ вошелъ въ избу. Въ переднемъ углу, на лавкѣ, лежалъ раненый. Всѣ признаки близкой смерти изображались на лицѣ умирающаго, но кроткій взоръ его былъ ясенъ и спокоенъ.

— Это ты, Рославлевъ? — сказалъ онъ едва слышнымъ голосомъ —Какъ я радъ, что могу, еще хоть разъ, поговорить съ тобою. Садись!

— Но, я думаю, вамъ запрещено говорить, — сказалъ Рославлевъ.

— Да, было запрещено вчера, а сегодня я получилъ разрѣшеніе.

— Поэтому вы чувствуете себя лучше?

— О, гораздо! я черезъ нѣсколько часовъ умру.

— Нѣтъ!—воскликнулъ Рославлевъ,—не можетъ быть... я не хочу вѣрить...

— Чтобъ старый твой пріятель могъ умереть? — прервалъ съ улыбкою Сурскій. — Въ самомъ дѣлѣ, это невѣроятно!

— Но вы такъ спокойны?...

— Да о чемъ же мнѣ безпокоиться? Ты, вѣрно, знаешь, кто сказалъ: «пріидите вси труждающіе, и Азъ упокою вы». А я много трудился, мой другъ! Долго былъ игралищемъ всѣхъ житейскихъ непогодъ, и видитъ Богъ, усталъ. Всю жизнь боролся съ страстями, рѣдко оставался побѣдителемъ, грѣшилъ, гнѣвилъ Бога; но всегда съ дѣтской любовію лобызалъ руку, меня наказующую—такъ чего же мнѣ бояться? Я иду къ Отцу моему!

Сурскій замолчалъ. Нѣсколько минутъ Рославлевъ смотрѣлъ, не говоря ни слова, на это кроткое, спокойное лицо

умирающаго христіанина.—Боже мой!—вскричалъ онъ, наконецъ,—что сказалъ бы невѣрующій, еслибъ онъ такъ же, какъ я, видѣлъ послѣднія ваши минуты?

— Онъ сказалъ бы, мой другъ, — прервалъ Сурскій,— что я въ сильномъ бреду; что легковѣрное малодушіе свойственно дѣтямъ и умирающимъ; что увѣренность въ лучшей жизни есть необходимое слѣдствіе недостатка просвѣщенія; что я человѣкъ запоздалый, что я нейду вслѣдъ за моимъ вѣкомъ. О, мой другъ! гордость и самонадѣянность найдутъ всегда тысячи способовъ затмить истину. Нѣтъ, Рославлевъ! одинъ Богъ можетъ смягчить сердце невѣрующаго. Я самъ былъ молодъ, и часто сомнѣніе, какъ лютый врагъ, терзало мою душу; разсудокъ обдавалъ ее холодомъ; я читалъ, искалъ вездѣ истины, готовъ былъ ѣхать за нею на край свѣта, и нашелъ ее въ самомъ себѣ! Да, мой другъ! что значатъ всѣ разсужденія, трактаты, опроверженія, доводы, всѣ эти блестки ума, передъ простымъ, безотчетнымъ убѣжденіемъ того, кто вѣруетъ? Все, что непонятно для нашего земного разсудка—такъ чисто, такъ ясно для души его! Она видитъ, осязаетъ, вѣруетъ, тогда какъ мы, съ бѣднымъ умомъ нашимъ, бродимъ въ потемкахъ и, желая достигнуть свѣта, часъ-отъ-часу становимся слѣпѣе...

Сурскій остановился; силы его примѣтнымъ образомъ ослабѣвали.—Несчастные!—продолжалъ онъ, послѣ короткаго молчанія,—если бъ они знали, чего имъ стоитъ ихъ утѣшенное самолюбіе? Кто укрѣпляетъ ихъ въ бѣдствіи? Кого благодарятъ они въ минуту радости? Бѣдные, жалкіе сироты! они отреклись добровольно отъ Отца своего, заключили жизнь въ ея тѣсные земные предѣлы. Ахъ, ихъ сердца, изсушенныя гордостію и невѣріемъ, не испытаютъ никогда этой чистой, небесной любви, этого неизъяснимаго спокойствія души... ты понимаешь меня, Рославлевъ!... Бездушный противникъ вѣры, отрицающій все неземное, не можетъ любить; кто любитъ, тотъ вѣруетъ: а ты любилъ, мой другъ!

Сурскій остановился; дыханіе его сдѣлалось чаще, прерывистѣе; онъ взялъ за руку Рославлева. — Да, Владиміръ Сергѣевичъ, — сказалъ онъ, — я умираю спокойно; одна только мысль тревожитъ мою душу... — и свѣтлый взоръ умирающаго помрачился, а на блѣдномъ челѣ изобразились сердечная грусть и безпокойство. — Что станется съ нашей

милой родиной? — продолжалъ онъ. — Неужели Господь насъ не помилуетъ? Неужели попуститъ Онъ злодѣямъ наругаться надъ всѣмъ, что для насъ свято, и сгубитъ до конца землю русскую? Ахъ, мой другъ! еслибъ непреклонное правосудіе было прибѣжищемъ нашимъ, то я потерялъ бы всю надежду. Не сами ли мы хотѣли быть рабами тѣхъ, коимъ поклонялись, какъ идоламъ? Насмѣхаясь надъ добродушіемъ нашихъ предковъ — которые, при всемъ невѣжествѣ своемъ, были люди—не добивались ли мы чести называться обезьянами французовъ? Вотъ они, наши образцы и наставники! Вотъ эти французы, у которыхъ мы до сихъ поръ умѣли перенимать только то, что достойно порицанія! Намъ ли прибѣгать къ правосудію небесному? Нѣтъ! Одно милосердіе Божіе можетъ спасти насъ. Ахъ, Рославлевъ! для чего я не умеръ годомъ прежде? Я не унесъ бы съ собою въ могилу ужасной мысли, что, можетъ быть, русскіе будутъ рабами иноземцевъ, что кровь нашихъ воиновъ будетъ литься не за отечество, что они станутъ служить не Русскому Царю! О, эта мысль отравляетъ послѣднія мои минуты! Чувствую, мой другъ, что я грѣшу предъ Господомъ; что слишкомъ еще привязанъ къ моему земному отечеству. Желалъ бы побѣдить это чувство, но оно такъ сильно, такъ связано съ моею жизнію... а я живъ еще! Отечество!... Россія!... Пусть судитъ меня Господь! но я чувствую, что даже и тамъ не перестану быть русскимъ.

Двери отворились, и полковой священникъ вошелъ въ избу. — Теперь ступай, Владиміръ Сергѣевичъ! — сказалъ Сурскій; — зайди ко мнѣ опять часа черезъ два; быть можетъ, ты меня не застанешь; но я все-таки не прощаюсь съ тобою. Я знаю твою душу, Рославлевъ — рано или поздно, а мы увидимся. Итакъ, до свиданія, мой другъ!

Случалось ли вамъ провожать пріятеля, который, послѣ долгаго отсутствія, возвращается, наконецъ, на свою родину? Вамъ грустно съ нимъ разстаться; но если вы, точно, его любите, то поневолѣ улыбаетесь сквозь слезы, воображая, какъ весело будетъ ему обнять жену и дѣтей, увидѣть снова домъ отцовъ своихъ и отдохнуть въ немъ отъ всѣхъ трудовъ утомительной и скучной дороги. Точно то-же чувствовалъ Рославлевъ, прощаясь съ своимъ другомъ. Какое то грустное и вмѣстѣ пріятное чувство наполняло

его душу; слезы градомъ катились по лицу его, но сердце было совершенно спокойно. Отойдя отъ избы, онъ пустился прямо полемъ къ тому мѣсту, гдѣ чернѣлись биваки передовой линіи. Когда Рославлевъ сталъ подходить къ балагану, въ которомъ офицеры праздновали его возвращеніе, ему попался навстрѣчу Зарѣцкій. — Ага, бѣглецъ! — закричалъ онъ, увидя Рославлева; — развѣ этакъ порядочные люди дѣлаютъ? Мы пьемъ за твое здоровье, а ты далъ тягу!

— Ты знаешь, мой другъ, я много пить не люблю.

— А я и люблю, да не могу: тотчасъ голова закружится. Я вышелъ немного провѣтриться Да, кстати! Графъ сейчасъ поѣхалъ на передовую цѣпь; пойдемъ и мы туда.

— Пожалуй, пойдемъ.

— Правда, по насъ будутъ стрѣлять, да, вѣрно, не попадутъ.

— Не бѣда, если и попадутъ, мой другъ.

— А! да ты опять захандрилъ! Пойдемъ скорѣй, Владиміръ: я замѣтилъ, что подъ пулями ты всегда становишься веселѣе.

Миновавъ биваки передовой линіи, они подошли къ нашей цѣпи. Впереди ея, на одномъ открытомъ и нѣсколько возвышенномъ мѣстѣ, стоялъ, окруженный офицерами, русскій генералъ небольшого роста, въ звѣздахъ и въ трехъ-угольной шляпѣ съ высокимъ султаномъ. Казалось, онъ смотрѣлъ съ большимъ вниманіемъ на одного молодцеватаго французскаго кавалериста, который, отдѣлясь отъ непріятельской цѣпи, ѣхалъ прямо на нашу сторону впереди нѣсколькихъ всадниковъ, составляющихъ, повидимому, его свиту.

— Какъ я радъ, — сказалъ Рославлевъ, смотря на русскаго генерала,—что увижу, наконецъ, вблизи нашего Баярда. Представь себѣ, мнѣ до сихъ поръ не удалось ни разу хорошенько его разсмотрѣть!

— Да, его надобно видѣть во время дѣла, — прервалъ Зарѣцкій; — а если такъ, то онъ покажется тебѣ весьма обыкновеннымъ человѣкомъ. Онъ не красавецъ, не молодецъ собою и даже неловокъ, а взгляни на него, когда онъ въ самомъ пылу сраженія летаетъ соколомъ вдоль рядовъ своего безстрашнаго авангарда; когда одинъ взглядъ его, одно слово, воспламеняетъ души всѣхъ солдатъ. Ученикъ и сослуживецъ Суворова, онъ обладаетъ, подобно ему, сча-

стливымъ даромъ — увлекать за собою сердца русскихъ воиновъ: указываетъ имъ на батарею—и она взята; даритъ ихъ непріятельскими колоннами — и онѣ истреблены. Но что это? никакъ парламентеръ? Видишь этихъ французовъ? Они ѣдутъ прямо на насъ.—Подойдемъ поближе.

Рославлевъ и Зарѣцкій смѣшались съ толпою офицеровъ, которые окружали начальника авангарда. Межъ тѣмъ французы медленно приближались къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ русскій генералъ. Впереди ѣхалъ видный собою мужчина, на сѣромъ красивомъ конѣ; черные огненные глаза и густыя бакенбарды придавали мужественный видъ его прекрасной и открытой физіономіи; но въ то-же время, золотыя серьги, распущенные по плечамъ локоны, и вообще какая то не-*мужская* щеголеватость составляла самую чудную противоположность съ остальною частью его воинственнаго наряда, и безъ того отмѣнно страннаго. Онъ былъ въ курткѣ готическаго покроя, съ стоячимъ воротникомъ, на которомъ блистало генеральское шитье; надѣтая немного на бокъ польская шапка, украшенная пукомъ страусовыхъ перьевъ; пунцовыя гусарскія чахчиры и и богатый персидскій кушакъ; желтыя ботинки и осыпанная брильянтами турецкая сабля; французское сѣдло и вся остальная сбруя азіатская; вмѣсто чепрака, тигровая кожа, однимъ словомъ: весь нарядъ его и уборъ лошади составляли такое странное смѣшеніе азіатскаго съ европейскимъ, древняго съ новѣйшимъ, мужского съ женскимъ, что Зарѣцкій не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія, и сказалъ вслухъ: — Кой чортъ! что это за герольда выслали къ намъ французы? Ужь нѣтъ ли у нихъ конныхъ тамбуръ-мажоровъ?

— Что вы?—шепнулъ одинъ изъ адъютантовъ русскаго генерала;—это Мюратъ.

— Какъ! Неаполитанскій король?

— Да.

— Хорошо же ему такъ дурачиться; вздумалъ бы этакъ пошалить нашъ братъ, простой офицеръ...

— Такъ его бы посадили въ сумасшедшій домъ, разумѣется. Но тише: онъ слѣзаетъ съ лошади; вотъ и графъ къ нему подошелъ... Подойдемте и мы поближе. Нашъ генералъ не дипломатъ и любитъ вслухъ разговаривать съ непріятелемъ.

Зарѣцкій и Рославлевъ подошли вмѣстѣ съ адъютан-

томъ къ русскому генералу въ то время, какъ онъ, послѣ нѣкоторыхъ привѣтствій, спрашивалъ Мюрата о томъ, что доставило ему честь видѣть у себя въ гостяхъ его королевское величество?

— Генералъ! — сказалъ Мюратъ, — извѣстны ли вамъ поступки вашихъ казаковъ? Они стрѣляютъ по фуражирамъ, которыхъ я посылаю въ разныя стороны; даже крестьяне ваши, при имъ помощи, убиваютъ нашихъ отдѣльныхъ гусаръ.

— Я очень радъ, — отвѣчалъ русскій генералъ, — что казаки въ точности исполняютъ мои приказанія; мнѣ также весьма пріятно слышать изъ устъ вашего величества, что крестьяне наши показываютъ себя достойными имени русскихъ.

— Но это совершенно противно принятымъ повсюду обыкновеніямъ, и если это продолжится, то я буду вынужденъ посылать цѣлыя колонны для прикрытія моихъ фуражировъ.

— Тѣмъ лучше, ваше величество. Офицеры мои жалуются, что уже три недѣли ничего не дѣлаютъ: они горятъ желаніемъ брать пушки и знамена.

— Но къ чему стараться раздражать другъ противъ друга два народа, достойные во всѣхъ отношеніяхъ взаимнаго уваженія?

— Я и офицеры мои всегда готовы оказывать вашему величеству всевозможные знаки почтенія; но фуражировъ вашихъ всегда будемъ брать въ плѣнъ, и всегда разбивать колонны, которыя вы станете посылать для ихъ прикрытія.

Мюратъ нахмурился и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ съ досадою: — Генералъ! непріятеля не бьютъ словами; взгляните на карту: вы увидите занятыя нами у васъ провинціи, и то, куда мы зашли.

— Карлъ двѣнадцатый заходилъ еще далѣе, — отвѣчалъ спокойно русскій генералъ:—онъ былъ въ Полтавѣ.

— Но мы всегда оставались побѣдителями,—сказалъ съ гордымъ взглядомъ Мюратъ.

— Всегда? Русскіе сражались только при Бородинѣ.

— Да! и послѣ этого сраженія мы взяли Москву.

— Извините, ваше величество! Москва была оставлена.

— Какъ бы то ни было, но мы владѣемъ вашей древней столицею.

— Такъ, ваше величество! и эта мысль мучительна для всякаго русскаго! Это величайшая жертва, принесенная нами для спасенія отечества, и мы начинаемъ уже пользоваться выгодами, происходящими отъ сего пожертвованія.

— Выгодами? Какими?

— Мнѣ извѣстно, что Наполеонъ посылалъ генерала Лористона къ нашему главнокомандующему, для переговоровъ о мирѣ; я знаю, что ваши войска должны довольствоваться, въ теченіе двухъ и болѣе сутокъ, тѣмъ, что едва достаточно для прокормленія ихъ въ однѣ сутки...

— Эти извѣстія совершенно ложны, — прервалъ Мюратъ.

— Я знаю, — продолжалъ хладнокровно русскій генералъ, — что король неаполитанскій пріѣхалъ ко мнѣ просить пощады своимъ фуражирамъ и завести родъ переговоровъ, чтобъ успокоить хотя нѣсколько своихъ солдатъ.

— Извините! — прервалъ Мюратъ, стараясь скрывать свою досаду и смущеніе; — я посѣтилъ васъ совершенно случайно: мнѣ хотѣлось только открыть вамъ происходящія у васъ злоупотребленія; неустройство—большое несчастіе для арміи: оно ослабляетъ ее.

— Но въ такомъ случаѣ,—возразилъ съ улыбкою русскій генералъ,—вашему величеству надлежало бы поощрять насъ къ этому. Прекрасное неустройство, которымъ мы истребляемъ французскихъ фуражировъ!

— Впрочемъ, генералъ! вы ошибаетесь насчетъ нашего положенія. Москва всѣмъ достаточно снабжена; мы ожидаемъ безчисленныхъ подкрѣпленій, которыя къ намъ идутъ.

— Но неужели, ваше величество, думаете, что мы далѣе отъ нашихъ подкрѣпленій, чѣмъ вы отъ своихъ?

Мюратъ снова замолчалъ. Смущеніе его становилось часъ отъ часу замѣтнѣе; онъ перебиралъ концы своего богатаго кушака, поглядывалъ съ разсѣяннымъ видомъ на всѣ стороны и рѣшился, наконецъ, объявить, что пріѣхалъ жаловаться на нашихъ аванпостныхъ начальниковъ. — Я отдаюсь на ваше правосудіе, генералъ! — сказалъ онъ, — ваши солдаты дважды стрѣляли по нашимъ парламентерамъ.

— Да мы и слышать о нихъ не хотимъ, — отвѣчалъ

русскій генералъ.—Мы желаемъ сражаться, а не переговоры вести. Итакъ, примите ваши мѣры!...

— Какъ, сударь? — вскричалъ Мюратъ,—поэтому и я здѣсь не въ безопасности?

— Ваше величество на многое отважитесь, если въ другой разъ захотите сюда пріѣхать; но сегодня я буду имѣть честь самъ проводить васъ до вашихъ аванпостовъ. Гей, лошадь!

— Признаюсь, я никогда не слыхивалъ о такомъ образѣ войны!—сказалъ съ досадою Мюратъ.

— А я думаю, что слышали,—возразилъ русскій генералъ, садясь на лошадь.

— Но гдѣ же?

— Въ Испаніи.

— Ну, — сказалъ Рославлевъ, смотря вслѣдъ за уѣзжающимъ Мюратомъ, — напрасно же его величество изволилъ трудиться...

— Знаешь ли, что онъ мнѣ теперь напоминаетъ?—прервалъ Зарѣцкій.—Лафонтенъ разсказываетъ объ одной безхвостой лисицѣ...

— А вѣдь это хорошая примѣта, — сказалъ Рославлевъ,—когда волки становятся лисицами?...

— Такъ, видно, догадались, что попали въ западню, — промолвилъ Зарѣцкій.—Ну что, Владиміръ, — продолжалъ онъ, — не отправиться ли намъ пообѣдать, чѣмъ Богъ послалъ?

— Ступай, мой другъ! а я зайду на минуту провѣдать Сурскаго.

Рославлевъ засталъ еще въ живыхъ своего умирающаго друга; но онъ не могъ уже говорить. Спокойно, съ тихою улыбкою на устахъ, закрылъ онъ навѣкъ глаза свои. Послѣдній вздохъ его былъ молитвою за милую родину!

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Мы не можемъ и не должны описывать всѣхъ подробностей отечественной войны 1812-го года. Романъ не исторія. Но порядокъ нашего повѣствованія требуетъ, чтобъ мы, хотя въ короткихъ словахъ, разсказали, что дѣлалось въ Россіи до того времени, когда намъ можно будетъ вывести снова на сцену и заставить говорить дѣйствующія лица сей повѣсти. Всѣмъ извѣстно, какъ Наполеонъ оставилъ Москву, но не всѣ еще увѣрены, что онъ поневолѣ долженъ былъ отступить по Смоленской дорогѣ. Чтожъ могло заставить Наполеона идти назадъ, черезъ мѣста совершенно опустошенныя войною, и слѣдовательно уморить навѣрное голодной смертью свое войско? Что?... Все, что вамъ угодно. Наполеонъ сдѣлалъ это по упрямству, по незнанію, даже по глупости — только непремѣнно по собственной своей волѣ: ибо, въ противномъ случаѣ, надобно сознаться, что русскіе били французовъ, и что подъ Малымъ Ярославцемъ не мы, а они были разбиты; а какъ согласиться въ этомъ, когда французскіе бюллетени говорятъ совершенно противное? Но если мы никогда не били непріятеля, то отчего же погибла вся армія Наполеона? И, Боже мой!... а морозъ то на что?— Такъ говоритъ самъ Наполеонъ, такъ говорятъ почти всѣ французскіе писатели; а есть люди (мы не скажемъ, къ какой они принадлежатъ націи), которые полагаютъ, что

французскіе писатели всегда говорятъ правду — даже и тогда, когда увѣряютъ, что въ Россіи нѣтъ соловьевъ; но есть за-то фруктъ, величиною съ вишню, который называется арбузомъ; что русскіе происходятъ отъ татаръ, а венгерцы отъ славянъ; что Кавказскія горы отдѣляютъ Европейскую Россію отъ Азіатской; что у насъ знатныхъ людей обыкновенно вѣнчаютъ архіереи; что *ніема глебонишъ попоиско рюскофъ* — самая употребительная фраза на чистомъ русскомъ языкѣ; что названіе славянъ происходитъ отъ французскаго слова esclaves, и что, наконецъ, въ 1812 году французы били русскихъ, когда шли впередъ, били ихъ же, когда бѣжали назадъ; били подъ Москвою, подъ Тарутиномъ, подъ Краснымъ, подъ Малымъ Ярославцемъ, подъ Полоцкомъ, подъ Борисовымъ и даже подъ Вильною, то-есть тогда уже, когда некому насъ было бить, если бы мы и сами этого хотѣли. Итакъ, не вступая по сему предмету ни въ какіе споры съ людьми, которые стоятъ въ томъ,

Что всякой логики сильнѣе
Француза милаю слова!

мы скажемъ только, что непріятель оставилъ Москву 10-го октября, прогостивъ въ ней мѣсяцъ и восемь дней. Наполеонъ, прощаясь навсегда съ древней столицею Россіи, велѣлъ подорвать Кремль. Это варварское, достойное среднихъ временъ приказаніе было выполнено. Въ военномъ отношеніи, московскій Кремль нельзя назвать не только крѣпостію, но даже простымъ укрѣпленнымъ лагеремъ; слѣдовательно, разореніе его не могло ни въ какомъ случаѣ быть полезнымъ для французовъ; а разорять что бы то ни было, безъ всякой пользы и для себя и для другихъ, свойственно только варварамъ и сумасшедшимъ. Мы предоставляемъ безусловнымъ обожателямъ Наполеона оправдать чѣмъ-нибудь сей вандальскій поступокъ; вѣроятно, они откроютъ какія-нибудь *геніальныя* причины, побудившія императора французовъ къ сему безумному и дѣтскому мщенію; и трудно ли этимъ господамъ доказать такую бездѣлку, когда они математически доказываютъ, что Наполеонъ былъ не только величайшимъ военнымъ геніемъ, въ чемъ никто съ ними и не споритъ; но что онъ, въ то же время, могъ служить образцомъ всѣхъ

гражданскихъ и семейственныхъ добродѣтелей, то-есть: что онъ былъ добръ, справедливъ и даже... чувствителенъ!!!

Сдѣлавъ нѣсколько неудачныхъ попытокъ, чтобъ прорваться въ богатѣйшія провинціи Россіи, разстроенный, сбитый съ толку знаменитымъ фланговымъ маршемъ нашего безсмертнаго князя Смоленскаго, Наполеонъ долженъ былъ поневолѣ отступать по той же самой дорогѣ, по которой шелъ къ Москвѣ.

Мы не станемъ исчислять всѣхъ неизъяснимыхъ бѣдствій, постигшихъ французовъ во время сего гибельнаго отступленія. И какое перо опишетъ это быстрое, и вмѣстѣ медленное истребленіе нѣсколькихъ сотъ тысячъ воиновъ, привыкшихъ побѣждать или умирать съ оружіемъ въ рукахъ, на полѣ чести, но незнакомымъ еще съ ужасами безпорядочнаго отступленія? Какое описаніе можетъ дать хотя слабое понятіе о цѣлыхъ тысячахъ людей, полузамерзшихъ, не имѣющихъ человѣческаго образа, готовыхъ пожирать другъ друга? Нѣтъ! надобно было слышать эти дикіе вопли, этотъ отвратительный, охриплый вой людей, умирающихъ отъ голода; надобно было видѣть этотъ безумный, неподвижный взоръ какого-нибудь стараго солдата, который, сидя на грудѣ умершихъ товарищей, воображалъ, что онъ въ Парижѣ, и разговаривалъ вслухъ съ дѣтьми своими. Надобно было все это видѣть и привыкнуть смотрѣть на это, чтобъ постигнуть, наконецъ, съ какимъ отвращеніемъ слушаетъ похвалы доброму сердцу и чувствительности императора французовъ тотъ, кто былъ свидѣтелемъ сихъ ужасныхъ бѣдствій и знаетъ адское восклицаніе Наполеона: «*солдаты?.. и, полноте! поговоримте-ка лучше о лошадяхъ!*» *)

Переправа черезъ Березину довершила гибель непріятеля: самъ Наполеонъ едва успѣлъ спастись; но зато послѣдняя надежда французской арміи, корпусъ Нея, былъ совершенно разбитъ. Послѣ сраженія подъ Борисовымъ, отступленіе французовъ превратилось въ настоящее бѣгство. Цѣлыя колонны, побросавъ оружіе, спѣшили спасаться отъ холодной смерти и казаковъ, куда ни попало. Наши войска,

---

*) Такъ отвѣчалъ Наполеонъ одному изъ генераловъ, который сталъ ему докладывать о бѣдственномъ положеніи его *солдатъ*. Можетъ быть этотъ анекдотъ несправедливъ; но, прочтя со вниманіемъ всю политическую и военную жизнь Наполеона, какъ не скажешь: si non é vero é ben trovato.

почти безъ всякаго сопротивленія, заняли Вильну, и вскорѣ потомъ исполнились слова Русскаго Государя: *ни одного вооруженнаго врага не осталось въ предѣлахъ Его царства.* Но онъ не положилъ меча, а поднялъ его снова, для спасенія народовъ всей Европы. Наполеонъ, безъ войска, одинъ, пробираясь бѣглецомъ во Францію, все еще былъ владыкою всей Германіи. Наши летучіе отряды, преслѣдуя остатки бѣгущаго непріятеля, перешли за границу. Ихъ присутствіе оживотворило всѣ сердца; храбрые пруссаки возстали первые, и когда, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, надменный завоеватель съ местью въ сердцѣ, съ угрозой на устахъ, предводительствуя новымъ войскомъ, явился опять на берегахъ Эльбы, то тщетно уже искалъ рабовъ, покорныхъ его волѣ: вездѣ встрѣчали его грудью свободные сыны Германіи; ихъ радостныя восклицанія и наши волжскія пѣсни гремѣли тамъ, гдѣ нѣкогда раздавались побѣдные крики его войска и вопли угнетенныхъ народовъ.

Генералъ, при которомъ служилъ Рославлевъ, перейдя за-границу, присоединился съ своей дивизіею къ войскамъ, назначеннымъ для осады Данцига; а полкъ Зарѣцкаго остался попрежнему въ авангардѣ русской большой арміи. Съ большимъ горемъ простились наши друзья. — Послушай, Владиміръ!—сказалъ Зарѣцкій, обнимая въ послѣдній разъ Рославлева:—говорятъ, что въ Данцигѣ тысячъ тридцать гарнизона, а что всего хуже—этимъ гарнизономъ командуетъ молодецъ Раппъ, такъ вы не скоро добьетесь толку и простоите долго на одномъ мѣстѣ. Я буду къ тебѣ писать, а ты не безпокойся: по всему видно, что наша большая армія не будетъ отдыхать на лаврахъ, а отправится прямой дорогой... Ахъ, братецъ! то-то бы славно, визитъ, за визитъ. Какое бы письмо я написалъ тебѣ изъ Парижа! Ну, прощай, мой другъ! да смотри—не хандри, сдѣлайся попрежнему нашимъ братомъ, весельчакомъ, влюбись въ какую-нибудь нѣмецкую Шарлоту, такъ авось русская Полина выйдетъ у тебя изъ головы.

— Несчастная!—сказалъ Рославлевъ,—гдѣ она теперь?..

— Гдѣ? Если осталась въ Москвѣ, то вѣроятно жива; если же, на бѣду, потащилась за своимъ мужемъ...

— О, безъ всякаго сомнѣнія! Ты не знаешь, къ чему способна эта необыкновенная женщина: она скорѣй разсталась бы съ своимъ мужемъ, еслибъ онъ былъ счастливъ. Всѣмъ пожертвовать тому, кого она любитъ, дѣ-

лить его страданія, умереть вмѣстѣ съ нимъ мучительной смертію, однимъ словомъ: все то, что для другой женщины было бы высочайшею степенью самоотверженія—такъ обыкновенно, такъ легко для Полины! Если ей удастся облегчить хотя на минуту мученія своего друга, то она станетъ благословлять судьбу—благодарить Бога за всѣ страданія! Ахъ, мой другъ! для чего не суждено ей было принадлежать мнѣ!

— Полно, братецъ! перестань объ этомъ думать. Конечно, жаль, что этотъ французъ приглянулся ей больше тебя, да вѣдь этому помочь нельзя, такъ о чемъ же хлопотать? Прощай, Рославлевъ! Жди отъ меня писемъ; да, въ самомъ дѣлѣ, поторопись влюбиться къ какую нибудь нѣмочку. Говорятъ, онѣ всѣ пресентиментальныя, и если у тебя не пройдетъ охота вздыхать, такъ, по крайней мѣрѣ, будетъ кому поплакать вмѣстѣ съ тобою. Ну, до свиданья, Владиміръ!

Начиная снова нашу повѣсть, доведенную нами до перехода русскихъ за-границу, мы должны предувѣдомить читателей, что дѣйствіе происходитъ уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1813 года, подъ стѣнами Данцига, осажденнаго русскимъ войскомъ, въ помощь которому прикомандировано было нѣсколько баталіоновъ прусскаго ландвера или ополченія.

II.

Нѣмцы называютъ Нерунгомъ узкую полосу земли, которая, идя отъ самаго Данцига, вдается длиннымъ мысомъ въ заливъ Балтійскаго моря, извѣстный въ Германіи подъ названіемъ *Фришъ-Гафа*. Сей клочекъ земли, окруженный съ трехъ сторонъ моремъ и покрытый зеленѣющими садами, посреди которыхъ мелькаютъ красивыя деревенскія усадьбы, походитъ, съ перваго взгляда, на узорчатую ленту, которая, какъ будто бы опоясывая весь заливъ и становясь часъ-отъ-часу блѣднѣе, исчезаетъ, наконецъ, изъ глазъ, сливаясь вдали съ туманнымъ горизонтомъ, на краю котораго бѣлѣются высокія колокольни прусскаго городка Пилау. Небольшой артиллерійскій паркъ и отрядъ русскаго войска, состоящій изъ одной сильной пѣхотной роты, расположены были на семъ мысѣ въ деревенькѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ садами. Находясь позади всѣхъ нашихъ линій и

верстахъ въ пяти отъ траншей, коими обхвачены были всѣ передовыя укрѣпленія непріятельскія, сей резервный отрядъ смотрѣлъ только за тѣмъ, чтобъ деревенскіе жители не провозили моремъ въ осажденный городъ съѣстныхъ припасовъ, въ коихъ гарнизонъ давно уже нуждался.

Въ просторномъ домѣ одного богатаго ландсмана *), посреди свѣтлой комнаты, украшенной необходимыми для каждаго зажиточнаго крестьянина старинными стѣнными часами, широкою рѣзною кроватью и огромнымъ судукомъ изъ орѣховаго дерева, сидѣли за налощеннымъ дубовымъ столомъ, составляющимъ также часть наслѣдственной мебели: артиллерійскій поручикъ Ленскій, пріѣхавшій навѣстить его уланскій ротмистръ Сборскій и старый нашъ знакомецъ, командиръ пѣхотной роты, капитанъ Зарядьевъ. Передъ ними, въ нѣсколькихъ красивыхъ фаянсовыхъ блюдахъ, поставленъ былъ весьма опрятно и разнообразно приготовленый картофель. Огромная кружка съ пивомъ и высокіе стеклянные стаканы занимали остальную часть стола.

— Не угодно ли покушать?—сказалъ улыбаясь Сборскій, подвигая къ Ленскому новое блюдо, которое хозяйка дома съ вѣжливой уклонкою поставила на столъ.

— Тьфу пропасть! — вскричалъ съ досадою Ленскій.— Вареный картофель, печеный картофель, жареный картофель!.. Да будетъ ли конецъ этому проклятому картофелю?

— А тебѣ бы хотѣлось такъ, какъ у насъ въ Петербургѣ, у Жискара, кусокъ хорошаго бифштекса?... Не правда ли? Котлету съ трюфелями?... Соте-де-желинотъ?

— Эхъ, полно, братецъ, не дразни! — Да неужели и сегодня не пріѣдутъ съ провіантномъ изъ Дершау? Вотъ ужь третій день, какъ мы здѣсь на пищѣ святого Антонія.

— Такъ чтожъ? — сказалъ хладнокровно капитанъ Зарядьевъ, который, опорожнивъ глубокою тарелку съ вареным картофелемъ, закурилъ спокойно свою корневую трубку.—Оно и кстати: о спажинкахъ на святой Руси и волею постятся.

— О спажинкахъ? Что за спажинки? — спросилъ Сборскій.

Зарядьевъ пересталъ курить и, взглянувъ съ удивленіемъ на Сборскаго, повторилъ:—Что за спажинки?... Неужели ты не знаешь?.. Да, бишь, виноватъ!.. совсѣмъ за-

*) *Ландсманъ*—зажиточный крестьянинъ, имѣющій собственную землю.

былъ: вѣдь вы, кавалеристы, народъ модный, воспитанный, шаркуны! Вотъ кабы я заговорилъ съ тобой по французски, такъ ты бы каждое слово понялъ... У насъ на Руси зовутъ спажинками Успенскій постъ.

— А все это проклятые французы!—прервалъ Ленскій. —Въ послѣднюю вылазку кругомъ насъ обобрали, разбойники! По ихъ милости, во всей нашей деревнѣ не осталось двухъ курицъ на лицо.

— Да! былъ на ихъ улицѣ праздникъ,—промолилъ Сборскій;—побуянили порядкомъ! За то теперь притихли, голубчики: не смѣютъ носа показать изъ крѣпости.

— Не смѣютъ?—а проходитъ ли хотя ночь, чтобъ они не тревожили наши аванпосты?

— Да это все проказитъ... тотъ... какъ бишь его? Ну вотъ тотъ... чортъ его побери...

— Шамбюръ?

— Да, да! Шамбюръ. Говорятъ, что онъ изъ всего гарнизона выбралъ себѣ сотню такихъ же сорванцовъ, какъ онъ самъ, и назвалъ ихъ: La compagnie infernale...

— Какъ?—спросилъ Зарядьевъ.

— La compagnie infernale, то-есть адская рота.

— Ахъ они самохвалишки! Адская рота!... Помнится, они называли гренадерскіе полки, которыми командовалъ Удинотъ, также адскою дивизіею; однакожъ, подъ Клястицами, а потомъ подъ Полоцкомъ...

— Что? чай, дурно дрались? — спросилъ насмѣшливо Сборскій.

— Дрались то хорошо, а все-таки Полоцка не отстояли. Что они, запугать что-ль насъ хотятъ? Адская рота!...

— А нечего сказать,—прервалъ Сборскій,—этотъ Шамбюръ молодецъ! И чортъ его знаетъ, какъ онъ всегда вывернется? Откуда ни возьмется съ своей ротою, намутитъ, намутитъ, всѣхъ перетревожитъ, да и былъ таковъ!

— А кто такой этотъ Шамбюръ?—спросилъ Ленскій.

— Разумѣется, французскій офицеръ.

— Пѣхотинецъ?

— И! что ты? вѣрно, кавалеристъ.

— А почему не пѣхотный?—спросилъ Зарядьевъ.

— Почему?... почему?... Во-первыхъ потому, что Рославлевъ, котораго посылали изъ главной квартиры парламентеромъ въ Данцигъ, видѣлъ его въ гусарскомъ мундирѣ...

— Такъ поэтому онъ и кавалеристъ? — возразилъ За-

рядьевъ.—Да развѣ у этихъ французовъ есть какая-нибудь форма? Кто какъ хочетъ, такъ и одѣвайся. Насмотрѣлся я на эту вольницу: у одного на мундирѣ шесть пуговицъ, у другого восемь; у этого портупея по мундиру, у того подъ камзоломъ; ну вовсе на военныхъ не походятъ. Поглядѣлъ бы я на ихъ ученье—то-то, чай, умора! А ужь какъ они ретировались изъ Москвы—Господи, Боже мой!.. Кто въ дамскомъ салопѣ, кто въ лисьей шубѣ, кто въ стихарѣ—ну, сущій маскарадъ.

— Хороши были и мы!—сказалъ Ленскій.

— Конечно, и у насъ единообразія не было, а все-таки, бывало, хоть въ нагольномъ тулупѣ, а шарфомъ подвяжешься... Чу!... что это?.. выстрѣлъ!

— Это Двинскій съ своимъ рундомъ,—сказалъ Ленскій, взглянувъ въ окно.—Я слышу его голосъ.

— Какъ же онъ смѣлъ дѣлать тревогу?... Развѣ я не отдалъ въ приказѣ по ротѣ...

— У нихъ ружья заряжены, такъ, можетъ быть, кто-нибудь изъ солдатъ не остерегся... Ну, такъ и есть!... Я слышу, онъ кричитъ на унтеръ-офицера.

Черезъ нѣсколько минутъ Двинскій вошелъ въ комнату. — Господинъ подпоручикъ! — сказалъ Зарядьевъ, — что значитъ этотъ безпорядокъ?... Стрѣлять по пробитіи зари!...

— Это случилось нечаянно, Василій Ивановичъ! — отвѣчалъ почтительно Двинскій. — Унтеръ-офицеръ Деминъ сталъ спускать курокъ...

— Вотъ я его выучу спускать курокъ! .. Завтра, какъ пробьютъ зорю...

— Василій Ивановичъ! — прервалъ вполголоса Двинскій,—вы, вѣрно, не забыли, что въ прошломъ мѣсяцѣ, когда непріятель дѣлалъ вылазку...

— Извольте, сударь, молчать! Или вы думаете, что ротный командиръ хуже васъ знаетъ, что Деминъ унтеръ-офицеръ исправный и въ дѣлѣ молодецъ?... Но такая непростительная оплошность... Прикажите фельдфебелю нарядить его дежурить по ротѣ безъ очереди на двѣ недѣли; а такъ какъ вы, господинъ подпоручикъ, отвѣчаете за вашу команду, то если въ другой разъ случится подобное происшествіе...

— Тьфу, дьявольщина! какой ты строгій начальникъ, Зарядьевъ!—сказалъ, улыбаясь, Сборскій.

— Прошу не погнѣваться! Мы не кавалеристы, и лучше вашего знаемъ дисциплину; дружба дружбой, а служба службой... Рекомендую вамъ впередъ быть осторожнѣе, господинъ подпоручикъ! А межъ тѣмъ садись-ка, братъ! Ты, чай, усталъ, и хочешь что-нибудь перекусить.

Ласковыя слова капитана въ одну минуту развеселили Двинскаго, который, хотя почтительно, но съ примѣтнымъ неудовольствіемъ выслушалъ строгій выговоръ своего взыскательнаго начальника. — Нѣтъ, господа, — сказалъ онъ, снимая свою саблю, — позвольте мнѣ васъ потчевать: я захватилъ цѣлую лодку съ провіантомъ, и если вамъ угодно разговѣться...

— Какъ не угодно! — вскричалъ Ленскій. — Однакожъ, послушай! Ужь не однимъ ли картофелемъ нагружена твоя лодка?...

— Не бойтесь! Найдется кой-что и на бифштексъ.

— Браависсимо!... Вели же скорѣй варить и жарить... Эй, хозяйка!... Мадамъ!... Либе фрау!... Сборскій! скажи ей по нѣмецки, что мы просимъ ее заняться стряпнею.

— Господинъ подпоручикъ! — сказалъ Зарядьевъ, — для чего вы не отрапортовали мнѣ, что взяли лодку съ провіантомъ?

— Да развѣ ты глухъ?—вскричалъ Сборскій.—Какого еще надобно тебѣ рапорта?

— Извольте, сударь, рапортовать по формѣ,—продолжалъ Зарядьевъ, вставая важно съ своего мѣста.

— Честь имѣю донести,—сказалъ Двинскій, опустя руки по швамъ,—что я, обходя цѣпь, протянутую по морскому берегу, замѣтилъ, шагахъ въ пятидесяти отъ него, лодку, которая плыла въ Данцигъ; и когда гребцы, несмотря на окликъ часовыхъ, не отвѣчали и не останавливались, то я велѣлъ закричать лодкѣ причаливать къ берегу; а чтобъ приказаніе было скорѣе исполнено, скомандовалъ моему рунду приложиться.

— Хорошо!

— Гребцы не слушались. Я приказалъ фланговому солдату выстрѣлить.

— Хорошо!

— Пулею сшибло одному гребцу шляпу...

— Хорошо! А кто былъ фланговымъ?

— Иванъ Петровъ.

— Хорошій стрѣлокъ!

— Лодка остановилась, и когда я закричалъ, что открою по нимъ батальный огонь, гребцы принялись за весла, причалили къ берегу...

— Довольно! — вскричалъ Сборскій: — остальное мы знаемъ.

— Я не слышалъ и не знаю ничего: извольте продолжать.

— По обыску въ лодкѣ нашлись съѣстные припасы; гребцы объявили, что везли ихъ въ Данцигъ для стола французскаго коменданта, генерала Раппа...

— Ага!—вскричалъ Ленскій,—такъ его превосходительство будетъ завтра постничатъ!...

— Вотъ вздоръ! — прервалъ Сборскій, — они еще не всѣхъ лошадей переѣли. Рославлевъ сказывалъ, что видѣлъ въ городѣ цѣлый взводъ конныхъ егерей.

— Господинъ подпоручикъ! — сказалъ Зарядьевъ,—завтра, чѣмъ свѣтъ, извольте отправить гребцовъ за крѣпкимъ карауломъ въ главную квартиру; а подъ захваченный вами непріятельскій провіантъ потребуйте, также завтра, изъ ближайшаго парка нужное число форшпанокъ.

— Зачѣмъ?—спросилъ Сборскій.

— Я при рапортѣ представлю его въ главную квартиру.

— Съ ума ты сошелъ!—вскричалъ Ленскій;—иль ты думаешь, что въ главной квартирѣ нечего ѣсть?

— Это не мое дѣло.

— Помилуй, братецъ! Мы умираемъ здѣсь съ голоду.

— Неправда! у насъ есть картофель.

— Чортъ возьми твой картофель, и тебя съ нимъ вмѣстѣ! Послушай, Зарядьевъ! оставь здѣсь хоть половину.

— Не могу. Все, захваченное у непріятеля, должно доставлять при рапортѣ въ главную квартиру.

— Голубчикъ! душенька!... пожалуйста! хоть на сегодняшній и завтрашній день.

— Ну, добро, такъ и быть!—Ѣшьте сегодня вдоволь, а завтра... вы слышали мое приказаніе, господинъ подпоручикъ.

— Слышишь, Двинскій? — закричалъ Ленскій.—Вели же поскорѣй отпустить хозяйкѣ все, чего она потребуетъ. Эй, мадамъ!—мутерхенъ!... мы хотимъ эсенъ!... много, очень много—филь! Сборскій! Скажи ей, чтобъ она готовила на десятерыхъ: можно быть, кто-нибудь заѣдетъ; такъ мы и завтра доѣдимъ остальное.

— Кому теперь заѣхать? — сказалъ Зарядьевъ, посмотрѣвъ на свои огромные серебряные часы: — половина десятаго, и когда поспѣетъ вамъ ужинъ?

— Долго ли приготовить нѣсколько кусковъ бифштекса: это минутное дѣло.

— Постойте-ка! — сказалъ Ленскій; — мнѣ кажется, кто-то въѣхалъ къ намъ въ ворота... Посмотрите, если къ намъ не нагрянутъ гости: чай, теперь на всѣхъ аванпостахъ знаютъ, что мы захватили обѣдъ господина Раппа... Ну, не отгадалъ ли я? Вотъ ужь изъ главной квартиры стали къ намъ наѣзжать.

— Здравствуйте, господа! — сказалъ Рославлевъ, войдя въ комнату. — Насилу я выбралъ время, чтобъ съ вами повидаться. Ну, что, какъ поживаете?

— Здорово, Владиміръ! — вскричалъ Сборскій. — Милости просимъ! Ты ужинаешь съ нами?

— И даже ночую.

— Ну, садись и разсказывай, что слышно новаго? Что у васъ дѣлаютъ? Долго ли намъ кочевать вокругъ Данцига? Не поговариваютъ ли о сдачѣ? Вѣдь мы здѣсь настоящіе провинціалы: не знаемъ ничего, что дѣлается въ большомъ свѣтѣ. Ну, чтожъ молчишь? Говори, что новаго?

— Во первыхъ, новое то, что вы видите меня живого.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Вчера вечеромъ меня послали въ траншеи съ приказаніями къ отрядному начальнику. Исполнивъ данное мнѣ порученіе, я сталъ, въ промежуткѣ пушечныхъ выстрѣловъ, кой о чемъ болтать съ артиллерійскими офицерами. Межъ тѣмъ, на дворѣ смерклось; наши выстрѣлы стали рѣже; влѣво на Гагельсбергѣ *) французы продолжали отстрѣливаться, а противъ насъ, на Бишефсбергѣ вдругъ все замолкло; мы подошли поближе къ турамъ, выглянули, и я въ первый разъ увидѣлъ вблизи этотъ грозный Бишефсбергъ, который, какъ громовая туча, заслонялъ отъ насъ городъ. При каждомъ взрывѣ нашихъ бомбъ и гранатъ, освѣщались непріятельскія батареи, но солдатъ не было видно; французы сидѣли спокойно за толстымъ брустверомъ и отмалчивались. «Кой чортъ? — сказалъ артиллерійскій капитанъ, который стоялъ возлѣ меня, — что они

*) Гагельсбергъ и Бишефсбергъ — двѣ укрѣпленныя горы, подлѣ самой крѣпости города Данцига.

—заснули что-ль?» Не успѣлъ онъ это выговорить, какъ вдругъ... Господи, Боже мой!... мнѣ показалось, что весь Бишефсбергъ вспыхнулъ; народъ закипѣлъ на непріятельскихъ батареяхъ, ядра посыпались, и поднялась такая адская трескотня!... Ну, повѣрите-ль? До сихъ поръ еще гудитъ въ ушахъ. Одно ядро попало въ амбразуру, подлѣ которой я стоялъ; меня съ ногъ до головы осыпало землею, и пока я отряхался и ощупывалъ себя, чтобъ увѣриться, на своемъ ли мѣстѣ моя голова и руки, справа, въ траншеяхъ раздался крикъ: en avant! Засверкали огоньки, и двѣ или три пули свистнули у меня подъ самымъ носомъ... Французы, французы!...—Гдѣ? — спросилъ артиллерійскій капитанъ.—Здѣсь! Въ траншеяхъ!...—Становись! .. стрѣлки впередъ!—закричалъ отрядный начальникъ, и съ простреленной головой повалился на меня; на него упало еще человѣка два. Тутъ я ничего не взвидѣлъ, а слышалъ только, что надо мной визжали пули, и раздался крикъ французскаго офицера, который ревѣлъ, какъ бѣшеный: ferme... feu de peloton! Я сталъ выдираться изъ подъ убитыхъ, и лишь только высвободилъ голову, какъ этотъ проклятый крикунъ сталъ одной ногой мнѣ на грудь и заревѣлъ опять:— En arrière! feu de fil! bien, mes enfants!—Задыхаясь отъ боли и досады, я сбирался уже укусить за ногу этого злодѣя; но онъ закричалъ:—Repliez vous!—отскочилъ назадъ, въ одинъ мигъ исчезъ вмѣстѣ съ своими солдатами, и я успѣлъ только замѣтить, при свѣтѣ выстрѣловъ, что этотъ крикунъ былъ въ богатомъ гусарскомъ мундирѣ.

— Такъ это молодецъ Шамбюръ? — прервалъ Сборскій.

— Да, онъ. Мы узнали отъ двухъ захваченныхъ въ плѣнъ солдатъ, что они принадлежатъ къ адской ротѣ, которою командуетъ этотъ сорви-голова.

— Ну, право, я дорого бы заплатилъ,—вскричалъ Ленскій,—за то, чтобъ взглянуть на этого удалого малаго.

— А я бы не далъ за это ни гроша, — сказалъ Зарядьевъ.—Дѣло другое, еслибъ я могъ размозжить ему голову... Неугомонный! буянъ!... Ну, что прибыли, что онъ ворвался въ траншеи съ сотнею солдатъ?... Эка потѣха!... терять людей изъ одного удальства!...

— Онъ дѣлаетъ свое дѣло,—возразилъ Сборскій.—Шамбюръ, какъ партизанъ, долженъ всячески насъ тревожить.

— Партизанъ!... партизанъ!... Посмотрѣлъ бы я этого партизана передъ ротою—чай, не знаетъ, какъ взводъ за-

вести! Терпѣть не могу этихъ удальцовъ! То ли дѣло нашъ братъ фронтовой: безъ команды вперед не суйся, а стой себѣ какъ вкопанный и умирай, не сходя съ мѣста. Вотъ это служба! А то подкрадутся, да подползутъ, какъ воры... Удалось—хорошо! не удалось—подавай Богъ ноги!... Провалъ бы взялъ этихъ партизановъ! Мнѣ и кабардинцы на кавказской линіи надоѣли!

— Въ томъ то, братъ, и дѣло! — сказалъ Сборскій.— Надо почаще надоѣдать непріятелю. Какъ не дашь ему ни на минуту покоя, такъ у него и руки опустятся. Вотъ, напримѣръ, этотъ молодецъ Шамбюръ, чай, у всѣхъ нашихъ аванпостныхъ какъ бѣльмо на глазу.

— Тьфу пропасть! — вскричалъ Зарядьевъ, бросивъ на полъ свою трубку,—наладилъ одно: молодецъ, да молодецъ! Давай сюда этого молодца! Милости просимъ на чистоту: такъ я съ однимъ взводомъ моей роты расчешу его адскую сотню такъ, что и праха ея не останется. Что, въ самомъ дѣлѣ, за отметный соболь? Господи, Боже мой! Да пусть пожалуетъ къ намъ сюда, на Нерунгъ—хоть днемъ, хоть ночью!

— Сюда? — повторилъ Рославлевъ. — Какъ это можно? Позади всѣхъ нашихъ линій, за пять верстъ отъ своихъ аванпостовъ. Что ты! Развѣ онъ сумасшедшій!

— Смотри, Зарядьевъ,—сказалъ Сборскій, мигнувъ потихоньку другимъ офицерамъ,—не накличь бѣды на свою голову! Теперь ты храбришься, а какъ вдругъ онъ нагрянетъ...

— Такъ чтожъ? Добро пожаловать! Не испугаемся.

— Ну, не ручайся, братъ: не ровна минута. Скажи-ка правду: неужели ты во всю свою жизнь никогда и ничего не пугался?

— Никогда.

— Я про себя этого не скажу,—продолжалъ Сборскій. —Я однажды такъ трухнулъ, что у меня волосы стали дыбомъ и языкъ отнялся.

— Въ дѣлѣ?—спросилъ Зарядьевъ.

Сборскій покраснѣлъ, провелъ рукою по своимъ чернымъ усамъ и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ: — Слушай, Зарядьевъ: мы пріятели, но если ты въ другой разъ сдѣлаешь мнѣ такой глупый вопросъ, то я пущу въ тебя вотъ этой кружкою. Развѣ русскій офицеръ и кавалеристъ можетъ струсить въ дѣлѣ?

— Не знаю—кавалеристъ, а нашъ братъ, пѣхотинецъ...

— Послушайте-ка, господа,—прервалъ Ленскій, стараясь замять разговоръ, который могъ дурно кончиться, — если говорить правду, такъ вотъ насъ здѣсь пятеро: всѣ мы народъ обстрѣленный, хорошіе офицеры; а, вѣрно, каждый изъ насъ, хотя одинъ разъ въ жизни, чувствовалъ, что онъ робѣетъ.

— Признаюсь,—сказалъ Рославлевъ, — со мною что то похожее недавно было.

— И я мѣсяца два тому назадъ,—прибавилъ Двинскій,— испугался не на шутку.

— Чго грѣхъ таить,—продолжалъ Ленскій, — и я однажды больно струсилъ. А ты, Зарядьевъ?

— Я ужь сказалъ, что никогда и ничего не боялся.

— Право! А не случалось ли тебѣ ошибаться во фронтѣ передъ твоимъ бригаднымъ командиромъ?

— Передъ бригаднымъ командиромъ?... Да нѣтъ, я никогда не ошибался.

— Какъ вы думаете, господа!—подхватилъ Рославлевъ,— мы еще не скоро ляжемъ спать; пусть каждый изъ насъ разскажетъ исторію своего испуга: это должно быть очень любопытно.

— И вовсе необыкновенно, — прибавилъ Сборскій. — Вѣрно, не было примѣра, чтобъ четверо храбрыхъ и обстрѣленныхъ офицеровъ, вмѣсто того, чтобъ говорить о своихъ подвигахъ, разсказывали другъ другу о томъ, что они когда то трусили и боялись чего бы то ни было.

— А чтобъ намъ веселѣе было болтать, — продолжалъ Рославлевъ,—такъ велите-ка внести кулечекъ, который я привезъ съ собою: въ немъ полдюжины шампанскаго.

— Ай да пріятель!—вскричалъ Сборскій.—Шампанское! Давай его сюда!... Тьфу, чортъ возьми!.. Хорошо вамъ жить въ главной квартирѣ: все есть.

Вино принесли, пробки полетѣли въ потолокъ, шампанское запѣнилось, и Рославлевъ, опорожнивъ однимъ духомъ свой стаканъ, началъ:

Парламентеръ.

«Вы слышали, я думаю, господа, что генералъ Раппъ запретилъ принимать нашихъ парламентеровъ. Тому назадъ недѣли двѣ, посылали для переговоровъ, въ предмѣстье Ланг-

фуртъ, маіора Ольгина; его встрѣтили на непріятельскихъ аванпостахъ ружейными выстрѣлами, убили лошадь и сшибли пулею съ головы фуражку. Изъ этого ласковаго пріема не трудно было заключить, что господинъ Раппъ не на шутку изволитъ на насъ дуться, и что всякій парламентеръ будетъ угощенъ не лучше Ольгина. Но такъ какъ его превосходительство не въ первый уже разъ изволилъ отдавать и отмѣнять подобные приказы, то дня черезъ три послѣ этого велѣли мнѣ отвезти къ нему письмо, въ которомъ нашъ корпусный командиръ убѣждалъ его принять обратно въ городъ высланныхъ имъ жителей. Вы, вѣрно, знаете, что Раппъ выгналъ изъ Данцига болѣе четырехсотъ обывателей, въ томъ числѣ множество женщинъ и дѣтей. Дабы предупредить эти эмиграціи, которыя, уменьшая число жителей крѣпости, способствовали гарнизону долѣе въ ней держаться, отданъ былъ строгій приказъ не пропускать ихъ сквозь нашу передовую цѣпь: и сіи несчастные должны были оставаться на центральной землѣ среди нашихъ и непріятельскихъ аванпостовъ, подъ открытымъ небомъ, безъ куска хлѣба, и, при первомъ аванпостномъ дѣлѣ — между двухъ перекрестныхъ огней.

Въ сопровожденіи драгунскаго трубача, я выѣхалъ за нашу передовую цѣпь. Надобно вамъ сказать, что съ этой стороны дорога къ непріятельскимъ аванпостамъ идетъ по узкому и высокому валу; налѣво подлѣ него течетъ рѣчка, а по правую сторону разстилаются низкіе и обширные луга Нидерланда, къ которому примыкаетъ Ора, городское предмѣстіе, занятое французами. Получивъ приказаніе отправиться парламентеромъ рано по утру, я не успѣлъ напиться чаю, и потому въ деревнѣ, занимаемой нашей передовой линіею, купилъ у булочника нѣсколько кренделей, располагаясь позавтракать на открытомъ воздухѣ, во время переѣзда моего отъ нашихъ аванпостовъ къ непріятельскимъ. Погода была ясная, но сильный вѣтеръ дулъ мнѣ прямо въ лицо и доносилъ до меня стонъ и рыданія умирающихъ съ голода данцигскихъ изгнанниковъ. Лишь только они завидѣли приближающагося къ нимъ русскаго офицера, какъ весь ихъ станъ пришелъ въ движеніе: одни ползкомъ спѣшили добраться до вала, по которому я ѣхалъ; другіе, съ громкимъ воемъ, бѣжали ко мнѣ навстрѣчу... Ахъ, любезные друзья! Есть минуты, въ которыя нашъ братъ, военный, проклинаетъ войну! Не ядра

— Не знаю—кавалеристъ, а нашъ братъ, пѣхотинецъ...

— Послушайте-ка, господа,—прервалъ Ленскій, стараясь замять разговоръ, который могъ дурно кончиться, — если говорить правду, такъ вотъ насъ здѣсь пятеро: всѣ мы народъ обстрѣленный, хорошіе офицеры; а, вѣрно, каждый изъ насъ, хотя одинъ разъ въ жизни, чувствовалъ, что онъ робѣетъ.

— Признаюсь,—сказалъ Рославлевъ, — со мною что то похожее недавно было.

— И я мѣсяца два тому назадъ,—прибавилъ Двинскій,— испугался не на шутку.

— Что грѣхъ таить,—продолжалъ Ленскій, — и я однажды больно струсилъ. А ты, Зарядьевъ?

— Я ужь сказалъ, что никогда и ничего не боялся.

— Право! А не случалось ли тебѣ ошибаться во фронтѣ передъ твоимъ бригаднымъ командиромъ?

— Передъ бригаднымъ командиромъ?... Да нѣтъ, я никогда не ошибался.

— Какъ вы думаете, господа!—подхватилъ Рославлевъ,— мы еще не скоро ляжемъ спать; пусть каждый изъ насъ разскажетъ исторію своего испуга: это должно быть очень любопытно.

— И вовсе необыкновенно, — прибавилъ Сборскій. — Вѣрно, не было примѣра, чтобъ четверо храбрыхъ и обстрѣленныхъ офицеровъ, вмѣсто того, чтобъ говорить о своихъ подвигахъ, разсказывали другъ другу о томъ, что они когда то трусили и боялись чего бы то ни было.

— А чтобъ намъ веселѣе было болтать, — продолжалъ Рославлевъ,—такъ велите-ка внести кулечекъ, который я привезъ съ собою: въ немъ полдюжины шампанскаго.

— Ай да пріятель!—вскричалъ Сборскій.—Шампанское! Давай его сюда!... Тьфу, чортъ возьми!.. Хорошо вамъ жить въ главной квартирѣ: все есть.

Вино принесли, пробки полетѣли въ потолокъ, шампанское запѣнилось, и Рославлевъ, опорожнивъ однимъ духомъ свой стаканъ, началъ:

Парламентеръ.

«Вы слышали, я думаю, господа, что генералъ Раппъ запретилъ принимать нашихъ парламентеровъ. Тому назадъ недѣли двѣ, посылали для переговоровъ, въ предмѣстье Ланг-

фуртъ, маіора Ольгина; его встрѣтили на непріятельскихъ аванпостахъ ружейными выстрѣлами, убили лошадь и сшибли пулею съ головы фуражку. Изъ этого ласковаго пріема не трудно было заключить, что господинъ Раппъ не на шутку изволитъ на насъ дуться, и что всякій парламентеръ будетъ угощенъ не лучше Ольгина. Но такъ какъ его превосходительство не въ первый уже разъ изволилъ отдавать и отмѣнять подобные приказы, то дня черезъ три послѣ этого велѣли мнѣ отвезти къ нему письмо, въ которомъ нашъ корпусный командиръ убѣждалъ его принять обратно въ городъ высланныхъ имъ жителей. Вы, вѣрно, знаете, что Раппъ выгналъ изъ Данцига болѣе четырехсотъ обывателей, въ томъ числѣ множество женщинъ и дѣтей. Дабы предупредить эти эмиграціи, которыя, уменьшая число жителей крѣпости, способствовали гарнизону долѣе въ ней держаться, отданъ былъ строгій приказъ не пропускать ихъ сквозь нашу передовую цѣпь: и сіи несчастные должны были оставаться на центральной землѣ среди нашихъ и непріятельскихъ аванпостовъ, подъ открытымъ небомъ, безъ куска хлѣба, и, при первомъ аванпостномъ дѣлѣ — между двухъ перекрестныхъ огней.

Въ сопровожденіи драгунскаго трубача, я выѣхалъ за нашу передовую цѣпь. Надобно вамъ сказать, что съ этой стороны дорога къ непріятельскимъ аванпостамъ идетъ по узкому и высокому валу; налѣво подлѣ него течетъ рѣчка, а по правую сторону разстилаются низкіе и обширные луга Нидерланда, къ которому примыкаетъ Ора, городское предмѣстіе, занятое французами. Получивъ приказаніе отправиться парламентеромъ рано по утру, я не успѣлъ напиться чаю, и потому въ деревнѣ, занимаемой нашей передовой линіею, купилъ у булочника нѣсколько кренделей, располагаясь позавтракать на открытомъ воздухѣ, во время переѣзда моего отъ нашихъ аванпостовъ къ непріятельскимъ. Погода была ясная, но сильный вѣтеръ дулъ мнѣ прямо въ лицо и доносилъ до меня стонъ и рыданія умирающихъ съ голода данцигскихъ изгнанниковъ. Лишь только они завидѣли приближающагося къ нимъ русскаго офицера, какъ весь ихъ станъ пришелъ въ движеніе: одни ползкомъ спѣшили добраться до вала, по которому я ѣхалъ; другіе, съ громкимъ воемъ, бѣжали ко мнѣ навстрѣчу... Ахъ, любезные друзья! Есть минуты, въ которыя нашъ братъ, военный, проклинаетъ войну! Не ядра

непріятельскія, не смерть ужасна: объ этомъ солдатъ не думаетъ; но быть свидѣтелемъ опустошенія прекрасной и цвѣтущей стороны, смотрѣть на гибель несчастныхъ семействъ, видѣть стариковъ, женъ и дѣтей, умирающихъ съ голода, слышать ихъ отчаянный вопль и изъ состраданія—затыкать себѣ уши!.. Вотъ что истинно-ужасно, товарищи! Вотъ отъ чего и у русскаго солдата подчасъ заноетъ и кровью обольется ретивое!

По невольному и совершенно безотчетному движенію, я придержалъ мою лошадь. Въ одну минуту столпилось человѣкъ двадцать около того мѣста, гдѣ я остановился; мужчины кричали невнятнымъ голосомъ, женщины стонали; всѣ наперерывъ старались всползти на валъ: цѣплялись другъ за друга, хватались за траву, дрались, падали и съ какимъ то нечеловѣческимъ воемъ катились внизъ, гдѣ вновь прибѣгающіе топтали ихъ въ ногахъ и лѣзли черезъ нихъ, чтобъ только дойти до меня. Я поспѣшилъ бросить имъ мои крендели, въ одну секунду ихъ разорвали на тысячу кусковъ, и въ то время, какъ вся толпа, давя другъ друга, торопилась хватать ихъ на лету, одна молодая женщина успѣла взобраться на валъ... Нѣтъ! во всю жизнь мою я не забуду этого ужаснаго лица!.. Мертвецъ, съ открытыми, неподвижными глазами, приводитъ въ невольный трепетъ; но, по крайней мѣрѣ, на безчувственномъ лицѣ его начертано какое то спокойствіе смерти; онъ не страдаетъ болѣе; а оживленный трупъ, который упалъ къ ногамъ моимъ, дышалъ, чувствовалъ и, прижимая къ груди своей умирающаго съ голода ребенка, прошепталъ охриплымъ голосомъ и по-русски: кусокъ хлѣба!.. ему!... Я схватился за карманъ: въ немъ не было ни крошки! Не могу описать вамъ, что происходило въ эту минуту въ душѣ моей! До сихъ поръ еще этотъ ужасный голосъ, въ которомъ было что то для меня знакомое, раздается въ ушахъ моихъ. Я помню только, что, зажмуривъ глаза, ударилъ нагайкою мою лошадь и промчался, не оглядываясь, съ полверсты впередъ.— Полегче, ваше благородіе!—сказалъ трубачъ. — Вонъ французскій пикетъ! Въ самомъ дѣлѣ, я былъ уже почти у въѣзда въ предмѣстіе Ора. Шагахъ въ семидесяти отъ меня, передъ однимъ полуобгорѣвшимъ домомъ, ходилъ непріятельскій часовой; закутавшись въ синюю шинель и опустя внизъ ружье, онъ мѣрными шагами двигался взадъ и впередъ, какъ маятникъ: иногда поглядывалъ направо и на-

лѣво, но какъ будто бы нарочно смотрѣлъ въ мою сторону.— Труби!—закричалъ я драгуну. Онъ принялся трубить; но сильный вѣтеръ относилъ назадъ всѣ звуки, и непріятельскій часовой продолжалъ расхаживать передъ домомъ, не обращая на насъ никакого вниманія. Я подъѣхалъ ближе, остановился; драгунъ началъ опять трубить; звуки трубы сливались попрежнему съ воемъ вѣтра; а проклятый французъ, какъ на смѣхъ, не подымалъ головы и, остановясь на одномъ мѣстѣ, принялся чертить штыкомъ по песку, вѣроятно, вензель какой-нибудь парижской красавицы».

— Ахъ, онъ ротозѣй!—вскричалъ Зарядьевъ.—Да я бы этакого часового на ногахъ уморилъ!.. Сохрани, Боже. У меня, и въ мирное время, попробуй-ка махальный прозѣвать генерала, такъ я...

— Полно, братецъ!—сказалъ Сборскій;—не мѣшай ему разсказывать. Ну, чтожъ, Рославлевъ, ты подъѣхалъ къ нему подъ носъ?...

— Почти. Шагахъ въ пятнадцати отъ часового, валъ оканчивался глубокой канавою; черезъ нее переброшены были двѣ узенькія дощечки. Я взъѣхалъ на этотъ живой мостъ, который гнулся подъ моей лошадью, и велѣлъ драгуну трубить, что есть мочи. Лишь только онъ затянулъ первый аккордъ, какъ вдругъ часовой встрепенулся, отпрыгнулъ два шага назадъ и схватился за ружье. — Parlementaire, camarade! — сказалъ я громкимъ голосомъ. — Parlementaire!—Но французъ, не говоря ни слова, взвелъ курокъ и прицѣлился въ мою лошадь. — Труби, разбойникъ!—закричалъ я моему драгуну;—труби!—и мой драгунъ затрубилъ такъ, что у меня въ ушахъ затрещало; но часовой продолжалъ цѣлиться, только уже не въ лошадь, а прямо мнѣ въ грудь. Ахъ, чортъ возьми! Въ пятнадцати шагахъ и плохой стрѣлокъ не дастъ пуделя; я же на этомъ проклятомъ мостикѣ не могъ повернуться ни направо, ни налѣво, и стоялъ неподвижно, какъ мишень. Межъ тѣмъ, часовой, какъ будто бы желая вѣрнѣе отправить меня на тотъ свѣтъ, приподнялъ немного ружье и уставилъ дуло прямехонько противъ моего лба. Finissez, finissez!... — закричалъ я, махая бѣлымъ платкомъ. Не тутъ то было! Какъ видно, этому бездѣльнику показалось забавно разстрѣливать меня понемногу: онъ повернулъ ружье и прицѣлился мнѣ въ високъ; я осадилъ лошадь, французъ опустилъ курокъ—осѣчка! Все это происходило въ теченіе ка-

кой-нибудь полминуты и, честью клянусь, не могу сказать, чтобъ я былъ совершенно спокоенъ, однакожъ, не чувствовалъ ничего необыкновеннаго; но когда этотъ злодѣй взвелъ опять курокъ и преспокойно приложился мнѣ снова въ самую средину лба, то сердце мое сжалось, въ глазахъ потемнѣло, и я почувствовалъ что то такое... какъ бы вамъ сказать!... Да тьфу пропасть! что тутъ торговаться: я струсилъ. Къ счастію, мой драгунъ, видя бѣду неминучую, пустилъ на своей трубѣ такую чертовскую трель, что караульный офицеръ опрометью выскочилъ изъ дома, закричалъ на часового, и, давъ мнѣ знакъ рукою съѣхать съ мостика, подошелъ ко мнѣ. Подлинно—у страха глаза велики: когда непріятельскій офицеръ выбѣжалъ изъ караульной, то показался и красавцемъ и молодцомъ; а когда подошелъ ко мнѣ поближе, то я увидѣлъ, что онъ дуренъ, какъ смертный грѣхъ, и по росту годился бы въ безсмѣнные форейторы. Этотъ уродецъ объявилъ мнѣ на дурномъ французскомъ языкѣ, что парламентеровъ не принимаютъ, что велѣно по нимъ стрѣлять, и что я долженъ благодарить Бога за то, что онъ не французъ, а голландскій подданный, и всегда любилъ русскихъ. Распрощавшись съ нимъ, я отправился обратно и, признаюсь, во весь тотъ день походилъ на человѣка, который съ похмелья не можетъ ни о чемъ думать, и хотя не пьянъ, а шатается, какъ будто бы выпилъ стакановъ пять пуншу».

III.

Исторія моего испуга,—сказалъ Сборскій, когда Рославлевъ кончилъ свой разсказъ,—совершенно въ другомъ родѣ. Тебя этотъ бездѣльникъ разстрѣливалъ, какъ дезертира, приговореннаго къ смерти по сентенціи военнаго суда; а я имѣлъ причину думать, что самъ сатана со всѣмъ причетомъ изволилъ надо мною потѣшиться.

— Что за вздоръ?—вскричалъ Рославлевъ.

— А вотъ, если угодно,—продолжалъ Сборскій, — разскажу вамъ со всѣми подробностями этотъ эпизодъ изъ удольфскихъ таинствъ, или знаменитаго монаха, въ которомъ чортъ играетъ такую интересную роль. Ну, слушайте, господа!

Три квартиры.

«Прошлаго года, послѣ сраженія подъ Борисовымъ, въ одномъ жаркомъ аванпостномъ дѣлѣ, мнѣ прострѣлили правую руку, и я долженъ былъ въ то время, какъ наши арміи быстро подвигались впередъ, прожить полтора мѣсяца въ грязномъ и разоренномъ жидовскомъ мѣстечкѣ. Не могу описать вамъ, до какой степени было мучительно мое положеніе. Во всемъ этомъ жидовскомъ кагалѣ, кромѣ меня, не было ни одного раненаго офицера, и хотя, сбираясь въ походъ, я захватилъ съ собой дюжины двѣ книгъ, но на бѣду, за нѣсколько дней до сраженія, вѣрный и трезвый мой слуга, Афонька, заложилъ ихъ за полштофа вина какому то маркитанту, который отправился вслѣдъ за войскомъ. Я умиралъ отъ скуки; но дѣлать было нечего. Всѣ мои забавы состояли только въ томъ, что поутру я дразнилъ моего хозяина, запачканнаго жида съ рыжей бородою, а вечеромъ принималъ гостей, отъ которыхъ подчасъ нельзя было повернуться въ моей комнатѣ. Черезъ мѣстечко проводили ежедневно цѣлыя колонны плѣнныхъ непріятелей, и лишь только начинало смеркаться, я высылалъ на улицу Афоньку приглашать ко мнѣ всѣхъ остальныхъ французовъ, которые, не находя нигдѣ пріюта, бродили какъ тѣни взадъ и впередъ по улицѣ. Честные евреи, осыпая ихъ всѣми жидовскими клятвами, отгоняли отъ своихъ дверей и, несмотря на жестокій морозъ, не дозволяли имъ входить даже въ сѣни своихъ домовъ, чтобъ хотя нѣсколько обогрѣться. Разумѣется, эти несчастные спѣшили воспользоваться приглашеніемъ моего слуги. Сначала они, молча, лѣзли всѣ къ печкѣ; потомъ, выпивъ по стакану горячаго сбитня, начинали понемногу отогрѣваться, и черезъ полчаса въ комнатѣ моей повторялась, въ маломъ видѣ, суматоха, бывшая послѣ потопа при вавилонскомъ столпотвореніи: латники, гренадеры, вольтижеры, конные, пѣшіе—всѣ начинали говорить въ одинъ голосъ: на французскомъ, итальянскомъ, испанскомъ, голландскомъ... словомъ, на всѣхъ извѣстныхъ европейскихъ языкахъ. Бывало, обыкновенно французы переговорятъ всѣхъ, и тутъ то пойдутъ росказни о большой арміи, о побѣдахъ Наполеона, о пожарѣ московскомъ. «Ah, monsieur! au commencement nous avions tout: provisions de bouche, vins, liqueurs, et puis tout d'un coup... Sapristie!...

Comme c'est dommage! brûler une si belle ville!» *). Признаюсь, господа, люблю этотъ безпечный и веселый народъ! Французъ умираетъ съ голода, до половины замерзъ, и лишь только начнетъ оттаивать, съѣсть кусокъ хлѣба, заговоритъ о своей *прекрасной* Франціи, и все забыто. Сколько разъ я слыхалъ: «Oui, mon officier, j'ai beaucoup souffert, mais une fois de retour à Paris... Diable! ce n'est pas comme chez vous: on se divertit, on dépense gaiement son argent et vive la joie!» **). Бѣдняжка!... а черезъ нѣсколько часовъ... но что говорить объ этомъ. Мнѣ каждый разъ становится грустно, когда подумаю, какимъ ужаснымъ образомъ сгибли, исчезли съ лица земли цѣлыя сотни тысячъ сихъ вѣтреныхъ, но храбрыхъ и любезныхъ французовъ. Полно хмуриться, Зарядьевъ! вѣдь они такіе же люди, какъ и мы».

— А чортъ ихъ просилъ къ намъ въ гости!—сказалъ Зарядьевъ, вытряхая свою трубку.

— Эхъ, братецъ! ругай того, кто ихъ привелъ съ собою. Солдатъ идетъ туда, куда ему прикажутъ.

— Оно бы и такъ! Я самъ ротный командиръ, и если скомандую моей ротѣ идти впередъ...

— Вотъ то-то-же! По моему, бей непріятеля, пока онъ стоитъ, а объ лежачемъ не грѣшно и пожалѣть; но не о томъ дѣло—гдѣ бишь я остановился?

— Покамѣстъ еще въ жидовскомъ мѣстечкѣ,—сказалъ Ленскій.

— Да!... «Ну вотъ, прошло ужь шесть недѣль, мнѣ стало получше, и хотя я не владѣлъ еще рукою, но рѣшился, наконецъ, не дожидаясь совершеннаго выздоровленія, отправиться догонять мой полкъ, который былъ уже за границею. Не стану вамъ разсказывать, какъ я доѣхалъ до Вильны: благодаря нашимъ побѣдамъ, меня по всей дорогѣ принимали ласково, осыпали вѣжливостями, и даже иногда вполголоса бранили вмѣстѣ со мною Наполеона. На пятый день, подъ вечеръ, я спустился, или лучше сказать, скатился съ горъ, которыя окружаютъ Вильну. Нѣтъ! Никогда не изгладится изъ моей памяти ужасная противоположность, поразившая мои взоры, когда я въѣхалъ въ этотъ городъ;

*) Ахъ, сударь! сначала у насъ было все: провизія, вина, ликеры—и вдругъ!... какая жалость!... сжечь такой прекрасный городъ!..

**) Да, господинъ офицеръ! я много терпѣлъ; но только бы добраться до Парижа—чортъ возьми! тамъ не такъ, какъ у васъ!... Тѣшатъ себя, тратятъ на забавы свои деньги и—да здравствуетъ веселость!

противоположность, которая могла только встрѣтиться въ сію народную войну, поглотившую цѣлыя поколѣнія. За версту отъ городскихъ воротъ, по обѣимъ сторонамъ дороги, начинались, безъ всякаго прибавленія, двѣ толстыя стѣны, сложенныя изъ замерзшихъ труповъ. Я не разъ видѣлъ, и привыкъ уже видѣть, землю, устланную тѣлами убитыхъ на сраженіи; но эта улица показалась мнѣ столь отвратительною, что я нехотя зажмурилъ глаза, и лишь только въѣхалъ въ городъ, вдругъ сцена перемѣнилась: красивая площадь, кипящая народомъ, русскіе офицеры, національная польская гвардія, красавицы, толпы суетливыхъ жидовъ, шумъ, крикъ, пѣсни, веселыя лица, однимъ словомъ: вездѣ, повсюду, жизнь и движеніе. Мнѣ случалось веселиться съ товарищами на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣсколько минутъ до того мы дрались съ непріятелемъ; но на полѣ сраженія мы видимъ убитыхъ, умирающихъ, раненыхъ; а тутъ смерть сливалась съ жизнію безъ всякихъ оттѣнковъ: шагъ впередъ—и жизнь во всей красотѣ своей; шагъ назадъ—и смерть со всѣми своими ужасами!»

«Вильна была наполнена русскими офицерами; одинъ лѣчился отъ ранъ, другой отъ болѣзни, третій ни отъ чего не лѣчился; но такъ какъ непріятельская армія существовала въ однихъ только французскихъ бюллетеняхъ, и первая кампанія казалась совершенно конченною, то русскіе офицеры не слишкомъ торопились догонять свои полки, изъ которыхъ многіе, перейдя за границу, формировались и поджидали спокойно свои резервы. Хотя въ продолженіе всей зимней кампаніи, безсмертной въ лѣтописяхъ нашего отечества, но тяжкой и изнурительной до высочайшей степени, мы страдали менѣе французовъ отъ холода и недостатка, и если иногда желудки наши тосковали, то за то на сердцѣ всегда было весело; однакожъ, несмотря на это, мы такъ много натерпѣлись всякой нужды, что при первомъ случаѣ отдохнуть и пожить весело, у всѣхъ русскихъ офицеровъ закружились головы. Придумывая различные способы, какъ бы въ короткое время убить поболѣе денегъ, наша молодежь составила общество и назвала его лейбъ-шампанскимъ; всѣ члены разъѣзжали по пріятельскимъ баламъ и редутамъ *), посѣщали ежедневно театръ, сыпали

*) Публичные балы, на которыхъ каждый можетъ быть за опредѣленную цѣну, объявленную въ особой афишкѣ.

деньгами, играли съ поляками, любезничали съ полячками, и, чтобъ оправдать свое названіе, пили шампанское какъ воду. Меня хотѣли было также завербовать въ лейбъ-шампанцы; но я не могъ долго оставаться въ Вильнѣ: непреодолимая страсть влекла меня за границу...»

— Какъ!—вскричалъ Ленскій,—ты любишь? а я до сихъ поръ не зналъ этого!

— Да, мой другъ! — продолжалъ Сборскій, — любилъ, люблю и буду любить безъ памяти мой эскадронъ, съ которымъ я тогда почти два мѣсяца былъ въ разлукѣ. Повеселясь порядкомъ и оставя половину моей казны въ Вильнѣ, я на четвертый день отправился далѣе, на пятый переѣхалъ Нѣманъ, а на шестой увѣрился изъ опыта, что, въ эту національную войну, Пруссія была нашимъ вторымъ отечествомъ.

— Что правда, то правда! — прервалъ Рославлевъ; — добрые и честные пруссаки принимали насъ, какъ родныхъ братьевъ.

— И побратались съ нами послѣ на ратномъ полѣ,— сказалъ Ленскій.—Молодцы! лихо дерутся!

— И славно знаютъ фронтовую службу, — промолвилъ Зарядьевъ.—Какъ я поглядѣлъ въ Кенигсбергѣ на ихъ разводъ, такъ—нечего сказать—засмотрѣлся! Конечно, нашъ братъ, старый ротный командиръ, могъ бы кой-что замѣтить въ ружейныхъ хваткахъ; но за то, какъ они прошли церемоніальнымъ маршемъ, такъ—я тебѣ скажу—чудо!

— Да, Василій Ивановичъ! я думаю, и въ этомъ они намъ не уступятъ. Однакожъ, прошу не прерывать меня, а не то я никогда не доскажу вамъ моего приключенія à la madame Radcliffe.

«Привыкнувъ видѣть одни запачканныя жидовскія мѣстечки, я не могъ довольно налюбоваться, въ первые два дня моего путешествія по Пруссіи, на прекрасныя деревни, богатыя усадьбы помѣщиковъ и на красивые города, въ которыхъ встрѣчали меня съ ласкою и гостепріимствомъ, напоминающимъ русское хлѣбосольство; словомъ, все плѣняло меня въ сей землѣ устройства, порядка и благочинія. Начальники квартирныхъ комиссій и бургомистры городовъ, въ которыхъ я останавливался, отводили мнѣ всегда спокойныя и даже роскошныя квартиры; но въ семьѣ не безъ урода, говоритъ русская пословица. На третій день моего путешествія, я опоздалъ нѣсколько выѣхать изъ деревни,

въ которой г. шульцъ *), ревностный патріотъ и большой политикъ, вздумалъ угощать обѣденнымъ столомъ, въ моемъ единственномъ лицѣ, все русское войско. Этотъ деревенскій дипломатъ осыпалъ меня вопросами, разсказывалъ о тайныхъ намѣреніяхъ своего правительства, о поголовномъ возстаніи храбрыхъ нѣмцевъ, о русскихъ казакахъ, о прусскомъ ландштурмѣ и объявилъ мнѣ, между прочимъ, что Пруссія ожидаетъ къ себѣ одного великаго гостя.—Вы меня понимаете?—сказалъ онъ значительнымъ голосомъ.—Я пью за здоровье сего спасителя Пруссіи и всей Европы—гура!.. И за здоровье отца нашего, Фридриха—гура! А знаете ли вы?—продолжалъ онъ, понизивъ голосъ,—что при свитѣ сего августѣйшаго посѣтителя ѣдетъ инкогнито турецкій султанъ?... За здоровье высокой особы, ѣдущей инкогнито... гура!—Я смѣялся, но кричалъ отъ всей души вмѣстѣ съ добрымъ моимъ хозяиномъ, который почти со слезами простился со мною, когда я подъ вечеръ пустился снова въ дорогу. Доѣхавъ часу въ одиннадцатомъ до небольшаго городка, въ которомъ мнѣ должно было ночевать, я отправился къ бургомистру. Стукнулъ, сначала довольно тихо, мѣдной скобою въ толстую дубовою дверь: отвѣта не было; я застучалъ погромче: никто не шевелился въ цѣломъ домѣ. Ночь была холодная; я прозябъ до костей, усталъ и хотѣлъ спать; слѣдовательно, нимало не удивительно, что позабылъ все приличіе и началъ такъ постукивать тяжелой скобою, что окна затряслись въ домѣ, и грозное: поцъ таузентъ! васъ истъ дасъ? прогремѣло, наконецъ, за дверьми; онѣ растворились; толстая мадамъ съ заспанными глазами высунула огромную голову въ миткалевомъ чепцѣ, и повторила вовсе не ласковымъ голосомъ свое: васъ истъ дасъ? Руссишеръ капитенъ,—закричалъ я также не слишкомъ вѣжливо; миткалевый чепецъ спрятался, двери захлопнулись, и я остался опять на холоду, который часъ отъ часу становился чувствительнѣе. Спустя нѣсколько минутъ, я принялся было снова за скобу; но двери, наконецъ, отворились, и та-же толстощекая барыня впустила меня въ сѣни, взвела на двѣ лѣстницы, и почти втолкнула въ небольшую комнату, освѣщенную двумя сальными огарками. Передъ столомъ, накрытымъ зеленымъ запачканнымъ сукномъ, сидѣлъ прегордый мусью съ краснымъ носомъ; безконечныя, журавлиныя его

*) Староста.

ноги, не умѣщаясь подъ столомъ, тянулись величественно до половины комнаты; бѣлый халатъ, сшитый балахономъ, и превысокій накрахмаленный колпакъ довершали сходство сего надменнаго градоначальника съ какимъ то святочнымъ пугаломъ. По лѣвую его сторону, въ изношенномъ сюртукѣ, съ видомъ глубочайшаго смиренія, сидѣлъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти; въ зубахъ держалъ онъ перо, а на длинномъ его носѣ едва умѣщались... какъ бы вамъ сказать?... не смѣю назвать очками эти огромныя клещи со стеклами, въ которыхъ былъ ущемленъ осанистый носъ сего господина. Когда я вошелъ въ комнату, геръ бургомейстеръ приподнялся на свои ходули и, показавъ мнѣ, молча, порожній стулъ, принялъ снова положеніе, приличное своему высокому сану.—Что вамъ угодно!—спросилъ онъ важнымъ голосомъ.

— Квартиру,—отвѣчалъ я.

— Кто вы?

— Русскій офицеръ.

— Вашъ чинъ?

— Штабсъ-ротмистръ.

— Гмъ, гмъ! Штабсъ-ротмистръ? Не болѣе?... Писарь, пиши къ Готлибу Фрейману.

Писарь снялъ свои огромныя очки, протеръ ихъ своимъ носовымъ платкомъ, но за перо не принимался.

— Чтожъ ты намъ не пишешь? — спросилъ бургомистръ сердитымъ голосомъ.

— Не ошиблись ли вы?—сказалъ писарь:—къ Готлибу Фрейману?

— Да.

— Но если я осмѣлюсь вамъ замѣтить...

— Гальцъ мауль, — закричалъ бургомистръ, — дѣлай, что приказываютъ.

Писарь замолчалъ, написалъ квартирный билетъ и, проводя меня до самой улицы, растолковалъ фурману, куда ѣхать. Минуты черезъ три, мы остановились у небольшого дома, въ которомъ нижній этажъ былъ освѣщенъ довольно ярко, а второй и третій казались вовсе необитаемыми. — Ого!—подумалъ я, входя въ просторную комнату,—да мой хозяинъ, какъ видно, живетъ весело!—Въ самомъ дѣлѣ, за тремя столами пировало человѣкъ двадцать, по бо́льшей части дурно одѣтыхъ и полупьяныхъ людей. Хозяинъ принялъ меня очень вѣжливо; но, казалось, смотрѣлъ съ удивленіемъ

на мои эполеты и офицерскую саблю съ серебрянымъ темлякомъ.—Гдѣ же моя комната?—спросилъ я.

— Вотъ здѣсь, геръ капитанъ!—отвѣчалъ хозяинъ, показывая на дверь.

— Какъ! За этой перегородкой?

— Да! за этой перегородкой, геръ маіоръ.

— Дайте мнѣ другую комнату.

— Извините; у меня нѣтъ другой.

— А долго ли будутъ здѣсь пировать ваши гости?

— Можетъ быть, всю ночь.

— Какъ, чортъ возьми!—закричалъ я;—чтожъ это значитъ? Гдѣ я?

— Въ кабакѣ, геръ гауптманъ! — отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ хозяинъ. — Не прикажете ли чего покушать?

Вмѣсто отвѣта, я накинулъ мою шинель, отправился назадъ къ бургомистру и поднялъ такой ужасный стукъ, что перебудилъ всѣхъ сосѣдей. Опять за дверьми закричали: *поцъ таузентъ!* Та же мадамъ прежнимъ порядкомъ ввела меня къ господину бургомистру, который, выслушавъ мои жалобы, поправилъ свой колпакъ и сказалъ писарю:—Пиши къ Адаму Фишеру. Писарь хотѣлъ было опять что то возразить, но упрямый бургомистръ закричалъ громче прежняго:—Гальцъ мауль!—и я съ новымъ билетомъ пустился отыскивать другую квартиру. На этотъ разъ вояжъ мой былъ продолжительнѣе.—Кой чортъ! скоро ли мы доѣдемъ!—спросилъ я, наконецъ, моего фурмана.

— Сейчасъ, господинъ офицеръ! — отвѣчалъ фурманъ, рисуя по воздуху вензеля длиннымъ своимъ бичемъ.

— Но мы ужь, кажется, выѣхали изъ города?

Фурманъ, не отвѣчая ни слова, взъѣхалъ на длинную плотину, остановился и, приподнявъ свою шляпу, сказалъ:—Вотъ ваша квартира, господинъ офицеръ!

— Гдѣ?—спросилъ я, глядя во всѣ стороны.

— Вотъ здѣсь!—продолжалъ ямщикъ, указывая бичемъ на высокую водяную мельницу.

Я соскочилъ съ телѣги; напудренный съ ногъ до головы работникъ принялъ мой билетъ, и я вслѣдъ за нимъ вскарабкался, по узенькой лѣстницѣ, въ небольшую свѣтелку, устроенную почти надъ самыми жерновами. Говорятъ, что пріятно дремать подъ шумъ водопада: этого я не испыталъ; но могу васъ увѣрить, что, несмотря на мою усталость, не

могъ бы никакъ заснуть въ этой каморкѣ, въ которой полъ ходилъ ходуномъ, а стѣны дрожали и колебались, какъ будто бы отъ сильнаго землетрясенія. Признаюсь, я разсердился не на шутку, и принялся кричать такъ громко, что самъ хозяинъ мельницы спустился ко мнѣ изъ другой свѣтлицы, которая, вѣроятно, была подалѣе отъ жернововъ, и, увидя, что постоялецъ его русскій офицеръ, принялся шумѣть громче моего и ругать безъ милосердія бургомистра.

— Погодите, господинъ офицеръ! — вскричалъ онъ, отпустивъ дюжины двѣ швернотовъ, — погодите! Я сбѣгаю къ бургомистру, я растолкую этому дураку!... да, дураку! Адамъ Фишеръ не заикнется сказать правду... шверротъ! Я скажу ему, что русскій офицеръ—доннеръ-веттеръ! долженъ имѣть лучшую квартиру въ городѣ — сакрементъ!... Небось, онъ не смѣлъ сажать французскихъ офицеровъ на мельницу — поцъ таузентъ! Гей, трость! шляпу... Я поговорю съ этимъ бургомистромъ!... Я съ нимъ поговорю! Подождите, господинъ офицеръ, подождите!... Крейцъ-веттеръ баталіонъ!...—Вспыльчивый мельникъ, ухватя свою шляпу и трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, бросился, какъ бѣшеный, вонъ изъ комнаты, зацѣпилъ за что то ногою, скатился кубаремъ съ лѣстницы, а черезъ минуту бѣжалъ ужь по плотинѣ, крича во все горло:—Я поговорю съ нимъ—саперлотъ!... Я съ нимъ поговорю!

Черезъ полчаса онъ возвратился съ торжествующимъ видомъ, держа въ рукахъ новый билетъ.—Вотъ, господинъ офицеръ, — сказалъ онъ, —извольте! Я говорилъ вамъ, что бургомистръ отъ меня не отдѣлается. Мы, пруссаки, должны любить и угощать русскихъ, какъ родныхъ братьевъ; Адамъ Фишеръ природный пруссакъ, а не выходецъ изъ Баваріи—доннеръ-веттеръ!

— Куда-жъ мнѣ теперь ѣхать?—спросилъ я.

— Въ самую середину города, на площадь. Вамъ отведена квартира въ домѣ профессора Гутмана... Правда, ему теперь не до того; но у него есть жена... дѣти... а къ тому же одна дочь... Прощайте, господинъ офицеръ! Не судите о нашемъ городѣ по бургомистру: въ немъ нѣтъ ни капли прусской крови... Чортъ его просилъ у насъ поселиться — шверротъ!... Жилъ бы у себя въ Баваріи — поцъ доннеръ-веттеръ!

Вотъ я отправился снова странствовать по городу. У двер

рей высокаго каменнаго дома встрѣтила меня съ фонаремъ молодая служанка и повела вверхъ по устланной коврами лѣстницѣ. Необыкновенная чистота и примѣтный во всемъ порядокъ мнѣ очень нравились; одно только казалось мнѣ страннымъ: служанка на всѣ мои вопросы отвѣчала съ какимъ то смущеннымъ видомъ, вполголоса, и какъ будто бы къ чему то прислушивалась. Когда мы взошли во второй этажъ, выскочила на лѣстницу высокая и блѣдная женщина; она отвела къ сторонѣ служанку и начала съ нею шептаться. Вдругъ громкій вопль раздался въ сосѣднемъ покоѣ; дверь была до половины растворена; я не могъ удержаться, и заглянулъ въ комнату. Молодая дѣвушка, испуская пронзительные крики, въ сильномъ нервическомъ припадкѣ каталась по полу; около нея суетились двѣ старухи въ черномъ платьѣ. Я поспѣшилъ къ нимъ на помощь и, пособляя положить на диванъ больную, не замѣтилъ сначала, что посреди комнаты въ открытомъ гробѣ лежитъ усопшій. И самъ не знаю, почему мнѣ вздумалось посмотрѣть на покойника. Онъ былъ роста необычайнаго и чрезмѣрно худъ; но на блѣдномъ лицѣ его не замѣтно было ничего смертнаго; казалось, онъ спалъ крѣпкимъ сномъ и готовъ былъ ежеминутно пробудиться: это былъ хозяинъ дома, умершій поутру, а молодая дѣвушка—дочь его. Пока мы хлопотали около больной, горничная, войдя въ комнату, пригласила меня идти за собою и повела опять вверхъ по лѣстницѣ. Насчитавъ еще ступеней тридцать, я начиналъ уже опасаться, что, послѣ кабака и мельницы, попаду на чердакъ; но въ третьемъ этажѣ служанка остановилась, отворила дверь и, введя меня въ просторный покой, засвѣтила двѣ восковыя свѣчи.

Съ перваго взгляда, я удостовѣрился, что эта комната никогда не служила спальнею. Шкапы съ книгами, ландкарты, глобусы, бюсты древнихъ мудрецовъ, большой письменный столъ, заваленный бумагами: все доказывало, что я нахожусь въ кабинетѣ ученаго человѣка. Узнавъ, что я не хочу ужинать, проворная служанка въ двѣ минуты приготовила мнѣ на широкомъ диванѣ мягкую постель, а для моего Афоньки постлала матрацъ, вѣроятно, для разительной противоположности—между двухъ шкаповъ съ латинскими и греческими мудрецами. Я раздѣлся; Афонька погасилъ свѣчи, повалился на свой матрацъ и запыхтѣлъ, какъ кузнечный мѣхъ. Несмотря на мою усталость, я не могъ

долго заснуть: мнѣ безпрестанно мерещился покойникъ; всѣ черты лица его такъ живо врѣзались въ мою память, что, казалось, я видѣлъ его передъ собою. Какъ я ни старался думать о другомъ, но напрасно: мой хозяинъ не выходилъ у меня изъ головы и мѣшалъ мнѣ заснуть. Не видя прока лежать съ закрыми глазами, я принялся, отъ нечего дѣлать, разсматривать мою комнату. Ночь была лунная; вполовину освѣщенные шкапы, на которыхъ стояли бѣлыя вазы, походили на какіе то надгробные памятники: изъ одного угла смотрѣлъ на меня Сократъ, изъ другого выглядывалъ Цицеронъ. Казалось, всѣ эти гипсовыя головы готовы были заговорить со мною; но пуще всѣхъ надоѣлъ мнѣ колоссальный бюстъ Демокрита: вполнѣ освѣщенный луною, онъ стоялъ на высокомъ бѣломъ пьедесталѣ, противъ самой моей постели, скалилъ зубы и глядѣлъ на меня съ такой дьявольской усмѣшкой, что я, не видя возможности отдѣлаться иначе отъ этого нахала, зажмурилъ опять глаза, повернулся къ стѣнѣ и, наконецъ, хотя съ трудомъ, но заснулъ. Проклятый Демокритъ не хотѣлъ и тутъ разстаться: мнѣ снилось, что онъ на томъ же высокомъ пьедесталѣ стоитъ попрежнему противъ меня, что глаза его вертятся ужаснымъ образомъ, что онъ щелкаетъ на меня зубами... Вотъ, гляжу—онъ зашевелился... медленно сталъ ко мнѣ подходить... зашатался... упалъ мнѣ на грудь... Я вскрикнулъ, проснулся—и чтожъ увидѣлъ передъ собою? Человѣкъ... нѣтъ! чудовище въ бѣломъ саванѣ, положа мнѣ на грудь, какъ свинецъ, тяжелую руку, и нагнувшись надо мною, смотрѣло мнѣ прямо въ лицо. Оно было гигантскаго роста; глаза его сверкали. Я хотѣлъ вскочить съ постели; но въ эту самую минуту страшилище повернуло головою, и луна освѣтила лицо его. Волосы мои стали дыбомъ, я обмеръ... это былъ покойникъ. Съ полминуты, не имѣя силы тронуться ни однимъ членомъ, смотрѣлъ я молча на сего ужаснаго гостя; въ груди моей не было голоса, языкъ мой онѣмѣлъ. Наконецъ, съ величайшимъ усиліемъ, я прокричалъ кой-какъ имя моего слуги. Афонька приподнялся, заговорилъ вздоръ, почесалъ въ головѣ и захрапѣлъ громче прежняго; а покойникъ, какъ будто бы разсердясь за мою попытку, заскрипѣлъ зубами и, продолжая одной рукою давить мнѣ грудь, схватилъ другою за горло, стиснулъ: вся кровь бросилась мнѣ въ голову, въ глазахъ потемнѣло—и я обезпамятѣлъ.

Не знаю, долго ли я пролежалъ безъ чувствъ, только когда пришелъ въ себя, то увидѣлъ, что мертвецъ, крѣпко обхвативъ меня руками, лежитъ подлѣ меня лицомъ къ лицу; какъ ледъ холодная щека его прикасается къ моей щекѣ; раскрытые глаза его неподвижны... онъ не дышитъ. Я рвусь, хочу высвободиться изъ этихъ адскихъ объятій—невозможно... Меня обнимаетъ бездушный трупъ, и руки, которыми я обхваченъ, замерли, окостенѣли. Не приведи, Господи, испытать никому того, что было со мною въ эту ужасную минуту! Я чувствовалъ—да, господа! я чувствовалъ, какъ кровь застывала понемногу въ моихъ жилахъ, какъ холодъ смерти переливался изъ бездушнаго трупа во всѣ оледенѣвшіе мои члены .. Я снова лишился чувствъ. На этотъ разъ безпамятство мое было гораздо продолжительнѣе: я очнулся уже на другой день поутру. Подлѣ меня сидѣли докторъ и хозяйка дома съ своей дочерью. Мнѣ пустили кровь, и когда я нѣсколько пообразумился, вдова съ горькими слезами объяснила мнѣ все приключеніе. Мужъ ея былъ боленъ сильнымъ воспаленіемъ въ мозгу; поутру, въ день моего пріѣзда въ ихъ городъ, съ нимъ сдѣлался летаргическій припадокъ, обманувшій даже медика; никто не сомнѣвался въ его смерти, но онъ былъ еще живъ. Ночью, въ то время, какъ всѣ его домашніе, утомленные безсонницей, заснули, онъ всталъ и, хотя въ совершенномъ безпамятствѣ, но по какой то машинальной привычкѣ, отправился прямо въ свой кабинетъ и пришелъ умереть на своей постели».

— Чортъ возьми!—вскричалъ Ленскій; —это, подлинно, эпизодъ изъ удольфскихъ таинствъ!

— И весьма поучительный, — продолжалъ Сборскій.— Этотъ случай сдѣлалъ меня снисходительнѣе къ слабостямъ другихъ. Бывало, я смѣялся надъ трусами и презиралъ ихъ, а теперь... знаете ли, что я о нихъ думаю? Страхъ есть дѣло невольное, и безъ сомнѣнія эти несчастные чувствуютъ нерѣдко то, что я, за грѣхи мои, однажды въ жизни испыталъ надъ самимъ собою; и если ужасныя страданія возбуждаютъ въ насъ не только жалость, но даже нѣкоторый родъ почтенія къ страдальцу, то знайте, господа, что трусы народъ препочтенный: никто въ цѣломъ мірѣ не терпитъ такой муки и не страдаетъ, какъ они.

— И я скажу то же самое, — промолвилъ Зарядьевъ, закуривая новую трубку табаку.—Мнѣ случалось видѣть трусовъ въ дѣлѣ—Господи, Боже мой! какъ ихъ коробитъ,

сердечныхъ! Ну, словно душа съ тѣломъ разстается. На войнѣ нашъ братъ умираетъ только однажды, а они, бѣдные, каждый день читаютъ себѣ отходную. За то ужь въ мирное время... тьфу ты пропасть! храбрятся такъ, что и Боже упаси!

— Ну, Двинскій!—сказалъ Рославлевъ,—теперь очередь за вами — разсказывайте!

— Мое приключеніе, — сказалъ Двинскій, — коротко и обыкновенно: я струсилъ не смерти; напротивъ, я испугался того, что мнѣ не удастся умереть.

— Какъ такъ? — спросилъ Сборскій.

— А вотъ, слушайте!

IV.

Аванпостъ.

«Мѣсяцевъ шесть тому назадъ, я былъ прикомандированъ, по недостатку наличныхъ офицеровъ, къ М....му пѣхотному полку, стоявшему со стороны разлива, которымъ затоплены всѣ низкія мѣста вокругъ Данцига. Въ то время мы еще не храбровали, какъ теперь: данцигскій гарнизонъ былъ вдвое сильнѣе всего нашего блокаднаго корпуса, который вдобавокъ былъ растянутъ на большомъ пространствѣ, и слѣдовательно, при каждой вылазкѣ французовъ, долженъ былъ сражаться съ непріятелемъ, въ нѣсколько разъ его сильнѣйшимъ; положеніе полка, а въ особенности роты, къ которой я былъ прикомандированъ, было весьма незавидно: мы жили вмѣстѣ съ милліонами лягушекъ, посреди лабиринта безчисленныхъ канавъ, обсаженныхъ однообразными ивами; вся рота помѣщалась въ крестьянской избѣ, на небольшомъ островѣ, окруженномъ съ одной стороны разливомъ, а съ другой—почти непроходимой грязью. Для прогулки мы имѣли одну большую и нѣсколько проселочныхъ дорогъ, но рѣдко пользовались симъ удовольствіемъ, по той причинѣ, что, ходя черезъ день въ караулъ, имѣли случай и безъ того вязнуть, довольно часто, по поясъ въ грязи и почти вплавь переправляться въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были поняты водою. Однажды рано поутру, отправляясь для смѣны на передовой аванпостъ,

я вздумалъ понѣжиться, и выпросилъ у нашего хозяина верховую лошадь. Пока мнѣ осѣдлывали превысокую клячу, я приказалъ старшему вести людей, а самъ, въ полной увѣренности, что на борзомъ моемъ конѣ догоню ихъ въ нѣсколько минутъ, остался позавтракать».

— Эхъ, Двинскій, не хорошо! — прервалъ Зарядьевъ.— Караульный офицеръ не долженъ пяди отставать отъ своихъ солдатъ. Ты поступилъ совершенно противъ дисциплины и военнаго порядка.

— За это-то, видно, грѣхъ меня и попуталъ, — продолжалъ Двинскій.—«Я позавтракалъ, лихо вскочилъ на моего аргамака, пріударилъ его нагайкою и выѣхалъ молодцомъ на большую дорогу. Сначала все шло довольно хорошо; мой огромный конь, на которомъ я сидѣлъ, какъ на каланчѣ, сдѣлалъ даже два или три курбета и обрызгалъ меня съ ногъ до головы грязью. — Держитесь крѣпче! — кричалъ мнѣ хозяинъ, провожая меня за ворота. Я взглянулъ на него съ презрѣніемъ, гордо поправилъ фуражку, подбоченился и, вмѣсто отвѣта, перескочилъ на моемъ верблюдѣ съ удивительною ловкостію лужу, аршина въ два шириною; но этимъ и кончились всѣ блестящіе подвиги моего парадера. При первой новой лужѣ, онъ призадумался, а при второй, я долженъ былъ минуты двѣ работать нагайкою, чтобъ заставить его идти въ бродъ. Наконецъ, кой какъ я дотащился до поворота дороги; гляжу впередъ — не тутъ то было: мои солдаты ушли изъ виду. Тутъ вспомнилъ я, что за нѣсколько дней, именно въ этотъ же часъ, небольшой отрядъ французовъ, вышедшій изъ города для фуражировки, чуть-чуть не вырѣзалъ нашъ аванпостъ: онъ спасся только тѣмъ, что подоспѣла смѣна; то-же самое могло случиться и во второй разъ. Отъ одной этой мысли волосы стали у меня дыбомъ; я принялся погонять мою клячу, и почти выбился изъ силъ, когда подъѣхалъ къ другому повороту, гдѣ начиналась сносная дорога, проложенная по низенькому валу; въ концѣ его, за небольшимъ лѣскомъ, расположенъ былъ нашъ аванпостъ. По правую сторону вала тянулись низкія поля, изрытыя канавами; а по лѣвую—разливъ и безконечный рядъ вѣтряныхъ мельницъ. Я сталъ смотрѣть впередъ; вижу въ сторонѣ казачій ведетъ, но вдали не блестятъ штыки моихъ солдатъ: все пусто и по всему валу до самой рощи не видно ни души. Вдругъ по вѣтру долетаютъ до меня какіе то глухіе звуки... что-то похожее... знакомое. Я

боюсь вѣрить... прислушиваюсь... Боже мой! меня бросаетъ въ холодный потъ! Мнѣ кажется... такъ точно!... я не ошибаюсь! перестрѣлка!... Солдаты мои дерутся, а я — начальникъ ихъ!... Вся кровь застыла въ моихъ жилахъ, страхъ придаетъ мнѣ необычайныя силы, и я начинаю колотить съ такимъ ожесточеніемъ мой лошадиный остовъ, что онъ, послѣ нѣсколькихъ траверзовъ, пускается рысью. Вотъ уже я на половинѣ дорогѣ; пальба становится ежеминутно слышнѣе: я могу считать выстрѣлы; но это не простая аванпостная перестрѣлка, а ровный батальный огонь — итакъ, дѣло завязалось не на шутку. Боже мой! Боже мой! Отчаяніе мое доходитъ до высочайшей степени! Какъ дикій звѣрь впиваюсь я въ беззащитную мою клячу; казацкая плеть превращается въ рукѣ моей въ барабанную палку, улары сыплятся какъ дождь: мой аргамакъ чувствуетъ, наконецъ, необходимость пуститься въ галопъ, подымается на заднія ноги, хочетъ сдѣлать скачокъ, спотыкается, падаетъ — и преспокойно располагается, лежа однимъ бокомъ на правой моей ногѣ — отдохнуть отъ тяжкихъ трудовъ своихъ. Я стараюсь высвободить мою ногу — не могу. Кричу, зову на помощь — напрасно: отчаянный вопль мой теряется въ воздухѣ; все тихо кругомъ, и только впереди раздаются безпрерывные выстрѣлы... Мнѣ кажется, что они приближаются... Такъ точно!... можетъ быть караульный офицеръ убитъ... люди остались безъ начальника... Вдругъ я почувствовалъ — да, господа! клянусь вамъ честью — мнѣ показалось, что пахнетъ порохомъ. Итакъ, нѣтъ сомнѣнія!... Французы сбили нашъ аванпостъ; они близко — мои солдаты бѣгутъ!... Какъ описать вамъ, что происходило тогда въ душѣ моей? Я видѣлъ себя обезглавленнымъ, погибшимъ — да, погибшимъ навѣки! Кого могъ бы я увѣрить, что не трусость, а одинъ несчастный случай и неосторожность разлучили меня съ моими солдатами, въ ту самую минуту, когда я долженъ былъ драться и умирать вмѣстѣ съ ними? Я видѣлъ уже себя отданнымъ подъ судъ, я слышалъ уже неизбѣжный приговоръ судей моихъ... въ ушахъ моихъ раздавались ужасныя слова: «По сентенціи военнаго суда, подпоручикъ Двинскій, за самовольную отлучку отъ команды во время сраженія съ непріятелемъ...» Милосердый Боже!... А отецъ мой!... этотъ заслуженый, покрытый ранами и крестами дряхлый старикъ, который, прощаясь со мною, говорилъ мнѣ: «Ну, другъ мой! пришло горе и на

святую Русь! Богъ съ тобою — ступай, умирай за царя и вѣру православную. Ваня! ты у меня одинъ, какъ порохъ въ глазу; но такъ и быть — Его святая воля! Если ты умрешь съ честью, то я поплачу, а все-таки увижусь съ тобою; но если ты... Боже тебя сохрани... тогда и *тамъ* не смѣй мнѣ на глаза казаться». И что же? Я сынъ этого почтеннаго воина, обезславленный, заклейменный вѣчнымъ позоромъ... Ахъ, все это представилось такъ живо моему воображенію... голова моя пылала... Еслибъ я могъ, по крайней мѣрѣ, остановить моихъ солдатъ, подраться съ непріятелемъ — нѣтъ, проклятая лошадь лежала какъ мертвая! Я не могъ ни привстать, ни пошевелиться, и хотя продолжалъ кричать, но никто не спѣшилъ ко мнѣ на помощь. Отчаяніе, страхъ, безпрерывныя усилія довели меня, наконецъ, до такого разслабленія, что я начиналъ уже терять чувства, какъ вдругъ вижу — ко мнѣ бѣгутъ: это былъ казакъ, который услышалъ, наконецъ, мой крикъ. Онъ принялся тащить съ меня лошадь, а я закричалъ охриплымъ голосомъ: — Гдѣ французы, гдѣ?

— Французы? — отвѣчалъ спокойно казакъ:—вонъ тамъ.

— Гдѣ?...

— За нашимъ аванпостомъ.

— Такъ наши еще отстрѣливаются!.. Слава Богу!

— Нѣтъ, ваше благородіе! все смирно. Ну, бѣсъ тебя дери, вставай!—прибавилъ онъ, стащивъ съ меня лошадь.

— Какъ, смирно?—вскричалъ я, вскочивъ на ноги;—да развѣ ты не слышишь?

Казакъ вздрогнулъ, повернулся назадъ и сталъ прислушиваться.

— Что ты — оглохъ чтоль... Развѣ не слышишь перестрѣлки?

— Никакъ нѣтъ, сударь! ничего не слышно.

— Да чтожъ это такое?

— Вотъ это, что стучитъ то? Это толчея.

— Какъ?

— Да, ваше благородіе! вонъ въ этой мельницѣ, подлѣ которой я стою.

«Ухъ! какая свинцовая гора свалилась съ моего сердца! Я бросился обнимать казака, перекрестился, захохоталъ какъ сумасшедшій, потомъ заплакалъ какъ ребенокъ, отдалъ казаку послѣдній мой талеръ и пустился бѣгомъ по валу. Въ нѣсколько минутъ я добѣжалъ до рощи; между деревьевъ

блеснули русскіе штыки: это были мои солдаты, которые, построясь для смѣны, ожидали меня у самаго аванпоста. Весь тотъ день я чувствовалъ себя нездоровымъ, на другой слегъ въ постель и схлебнулъ такую горячку, что чуть-чуть не отправился на тотъ свѣтъ.

— По дѣломъ, братъ! — прервалъ Зарядьевъ; — впередъ наука!

— И могу васъ увѣрить, — продолжалъ Двинскій, — что эта наука пошла мнѣ въ прокъ. Теперь, когда я веду смѣну, то иду всегда впереди, какъ на ученьи, передъ моимъ взводомъ.

— Да такъ и должно: когда офицеры при своихъ мѣстахъ, такъ и солдаты дѣлаютъ свое дѣло. Ну, что? за чѣмъ? — спросилъ Зарядьевъ, обратясь къ вошедшему ефрейтору.

— Я присланъ, ваше благородіе, съ пикета,—отвѣчалъ ефрейторъ.

— Зачѣмъ?

— На плесѣ показались двѣ лодки, ваше благородіе!

— Двѣ лодки?... съ народомъ?

— Не могу знать, ваше благородіе! Темновато; а должно быть народу не мало: лодки большія.

— Вѣрно, опять пробираются съ провіантомъ въ городъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! онѣ идутъ прямо на насъ отъ Гданска.

— Чтобъ это значило? Ступай, скажи сейчасъ караульному офицеру, чтобъ у людей всѣ ружья были заряжены!

— Слушаю, ваше благородіе!

— Постой! часовымъ окликать каждыя двѣ минуты другъ друга.

— Слушаю, ваше благородіе!

— И полно, братецъ! — прервалъ Сборскій, — что тебѣ за радость по пустякамъ всѣхъ тревожить. Тутъ и спрашивать нечего: это наши сторожевые баркасы или канонерскія лодки.

— А почему ты это знаешь?

— Потому, что онѣ безпрестанно разъѣзжаютъ по взморью, чтобъ не пропускать никого съ провіантомъ; это ихъ дѣло, а ваше перехватывать только тѣхъ, которые пробираются вдоль берега.

— А если это французы? Нѣтъ, братъ, въ военное

время дремать не надобно. Ефрейторъ! скажи также дежурному по ротѣ, чтобъ люди были на всякій случай въ готовности, и при первой тревогѣ выходили бы всѣ на сборное мѣсто.

— Слушаю, ваше благородіе!

— Ступай!

Ефрейторъ сдѣлалъ налѣво кругомъ, притопнулъ ногою и вышелъ вонъ изъ избы.

— Ну, Зарядьевъ! — сказалъ Сборскій, захохотавъ во все горло,—какъ Рославлевъ пугнулъ тебя своимъ Шамбюромъ: ты, никакъ, въ самомъ дѣлѣ думаешь, что онъ ѣдетъ къ намъ въ гости.

— А чортъ его знаетъ! — отвѣчалъ Зарядьевъ, набивая спокойно свою трубку. — Онъ ли, не онъ ли, по мнѣ все равно; главное въ томъ, чтобъ насъ никто врасплохъ не засталъ.

— Добро, добро! Тебя вѣдь ничѣмъ не переувѣришь. Ну, чтожъ, Ленскій? Теперь твоя очередь каяться. Покорно просимъ разсказать, гдѣ, когда и чего ты изволилъ струсить.

— Изъ моей исторіи, — сказалъ Ленскій, — можно сдѣлать, что хочешь: и забавный водевиль, и престрашную мелодраму, только должно признаться, что въ обоихъ случаяхъ роль моя была бы вовсе незавидная; но дѣлать нечего: хоть и стыдно, а пришлось разсказывать. Прошу прослушать.

V.

Ночлегъ въ лѣсу.

«Въ сраженіи подъ Чашниками я получилъ сильную контузію ядромъ, и такъ же, какъ ты, Сборскій, промаялся мѣсяца два въ жидовскомъ мѣстечкѣ; но только не дразнилъ жида оттого, что моимъ хозяиномъ былъ польскій крестьянинъ, и не бесѣдовалъ съ французами, потому что квартира моя была въ глухомъ переулкѣ, по которому не проходили ни французы, ни русскіе. По выздоровленіи моемъ, я отправился догонять мою роту, и такъ же, какъ ты, встрѣчалъ вездѣ ласковый пріемъ, то-есть меня кормили, поили

и называли подчасъ ясно-вельможнымъ паномъ. На третій день моего путешествія мнѣ пришлось, подъ вечеръ, ѣхать дремучимъ сосновымъ лѣсомъ; на дворѣ было погодно, попархивалъ мелкій снѣжокъ, и холодный вѣтеръ продувалъ насквозь мой плащъ, который нѣкогда былъ подбитъ ватою, но протерся такъ на бивакахъ, что во многихъ мѣстахъ былъ *ажуръ*. Часа полтора я зябнулъ молча; наконецъ, вышелъ изъ терпѣнія и закричалъ своему проводнику: — Да скоро ли мы доѣдемъ до ночлега, разбойникъ?

— А вотъ какъ выѣдемъ изъ лѣсу, пане! — отвѣчалъ проводникъ.

— А скоро ли мы выѣдемъ изъ лѣсу?

— А вотъ какъ переѣдемъ длинный мостъ, пане!

— Да скоро ли мы доѣдемъ до моста?

— А вотъ какъ подымемся на гору, пане!

— Чортъ тебя возьми! Да гдѣ-жъ эта гора?

— Не близко, пане! Не то двѣ, не то четыре добрыхъ мили.

Я ужаснулся. И одна *добрая миля* въ Польшѣ стоитъ нашихъ семи верстъ, а четыре!...—Да нѣтъ ли гдѣ-нибудь поблизости господской мызы?—спросилъ я.

— Якъ же, пане! вонъ въ сторонѣ, бачишь, бьялу муравянку?

Я обернулся въ ту сторону, на которую проводникъ указывалъ своимъ кнутомъ, и увидѣлъ, что въ концѣ узкой просѣки что то бѣлѣлось, и мелькалъ огонекъ.—Что это? Господскій домъ?—спросилъ я.

— Такъ есть, пане!

— Вези насъ туда.

Полякъ поворотилъ въ просѣку, и чрезъ нѣсколько минутъ мы въѣхали на обширный дворъ. Съ полдюжины всякаго рода собакъ подняли ужасный лай, а на крыльцо длиннаго отштукатуреннаго флигеля высыпало человѣкъ пять или шесть дюжихъ лакеевъ. Одинъ изъ нихъ принялъ меня подъ руку изъ саней и, введя въ просторную и весьма чисто убранную столовую, побѣжалъ доложить хозяину, что пріѣхалъ русскій офицеръ. Судя по вѣжливому пріему слугъ, я долженъ былъ надѣяться, что хозяинъ обойдется со мною очень ласково—и не ошибся. Двери въ гостиную растворились; небольшого роста худощавый старичекъ выбѣжалъ ко мнѣ навстрѣчу съ распростертыми объятіями.—Милости просимъ, дорогой гость!—закричалъ онъ по-русски, обнимая

меня съ изъявленіями живѣйшей радости.—Милости просимъ! Для меня всегда истинный праздникъ, когда русскій офицеръ заѣдетъ въ мой домъ. Прошу покорно садиться. Да скиньте вашу саблю, отдохните, успокойтесь!—Я сталъ было извиняться, но ласковый хозяинъ не далъ мнѣ выговорить ни слова, осыпалъ меня привѣтствіями и, браня безъ милосердія французовъ, твердилъ безпрестанно:—Защитники, спасители наши! Какъ намъ васъ не любить? Еслибъ не вы, мы вовсе бы погибли! Эти злодѣи французы, грабители! Ползлота въ карманѣ не оставили; все обобрали: скотъ, хлѣбъ, деньги, вещи; ну, вѣрите-ль Богу? — промолвилъ онъ, вынимая изъ кармана золотую табакерку рублей въ шестьсотъ, хоть по міру ступай по милости этихъ варваровъ: въ разоръ разорили насъ, бѣдныхъ!

Все это хорошо,—думалъ я;—но нищій, который нюхаетъ табакъ изъ золотой табакерки, вѣрно, найдетъ, чѣмъ покормить своего защитника и спасителя. Прошло около часу, хозяинъ не унимался хвалить русскихъ офицеровъ, бранить французовъ, и даже нѣсколько разъ, въ восторгѣ пламенной благодарности, прижималъ меня къ своему сердцу, но объ ужинѣ и рѣчи не было. Наконецъ, я рѣшился намекнуть, что русскій офицеръ также можетъ и устать и проголодаться.—Такъ вы хотите ужинать?—вскричалъ хозяинъ.—Что же вы не говорите? Помилуйте! вы здѣсь у себя дома—приказывайте! Для кого другого, а для васъ у меня все найдется. Гей, хлопецъ! Вошелъ слуга; хозяинъ пошепталъ ему что то на ухо, и принялся снова осыпать меня вѣжливостями. Прошло еще съ полчаса, и, признаюсь, это словесное угощеніе начало мнѣ становиться въ тягость, тѣмъ болѣе, что въ прищуренныхъ и лукавыхъ глазахъ хозяина замѣтно было что то такое, что совершенно противорѣчило кроткому его голосу и словамъ, исполненнымъ ласки и чувствительности. Вошелъ слуга и доложилъ, что ужинъ готовъ. Мы вышли въ столовую. Небольшой круглый столъ былъ накрытъ для одного меня; на немъ стояла дорогая серебряная миска, два покрытыхъ блюда, также серебряныхъ, два граненыхъ графина съ водою, и на фарфоровой прекрасной тарелкѣ лежалъ маленькій ломтикъ хлѣба, такъ ровно, такъ гладко и такъ красиво отрѣзанный, что можно-бъ было имъ залюбоваться, еслибъ онъ не былъ чернѣе сапожной ваксы.—Не погнѣвайтесь! — сказалъ хозяинъ, садясь насупротивъ меня; я

самъ никогда не ужинаю, а, признаюсь—люблю смотрѣть, когда у меня кушаютъ другіе. Прошу покорно! — продолжалъ онъ, подавая мнѣ глубокую тарелку съ супомъ.—Вы человѣкъ военный, вамъ не всегда удастся хорошо поужинать. Милости просимъ! это нѣмецкій васеръ-супъ.

Я хлебнулъ одную ложку... Владыко живота моего! Что это!... Подогрѣтая мутная вода, въ которой не варился даже и картофель. Кушайте, мой дорогой гость!—повторялъ хозяинъ;—подкрѣпляйте ваши силы—на здоровье! Этотъ супъ отмѣнно питателенъ.—Я не зналъ, что думать; въ голосѣ этого злодѣя было такое добродушіе, въ улыбкѣ такая простота; но глаза—о, глаза его блистали и вертѣлись, какъ у демона!—Я вижу,—продолжалъ онъ,—вы неохотники до горячаго, такъ милости прошу нашего польскаго ростбифа. Онъ открылъ одно блюдо, придвинулъ его ко мнѣ, и чтожъ... въ немъ лежала фунта въ три огромная кость, около которой не было и двухъ золотниковъ мяса. Я вспыхнулъ отъ досады; но, поглядѣвъ вокругъ себя и видя, что я одинъ-одинехонекъ посреди десяти рослыхъ слугъ, которые, какъ истуканы, стояли неподвижно вокругъ стола, скрѣпился и промолчалъ.

— Чтожъ вы не кушаете, мой почтеннѣйшій?—сказалъ хозяинъ.—А, понимаю!—Надобно прежде выпить? Конечно, конечно! Хотѣлось бы мнѣ попотчевать васъ хорошимъ венгерскимъ, да проклятые французы—чортъ бы ихъ взялъ!—все до капельки вытянули; но за то у меня есть домашнее пивцо... Не хочу хвастаться—попробуйте сами. Эй, малый! бутылку мартовскаго пива! Принесли закупоренную бутылку; хозяинъ налилъ большой серебряный стаканъ и подалъ мнѣ. Желая знать, какъ долго будетъ продолжаться эта мистификація, я выпилъ полстакана какой то микстуры, которая походила на русскій, разведенный водою квасъ. Между тѣмъ, хозяинъ, наскобля около кости кусочекъ мяса съ грецкій орѣхъ, поставилъ передо мною. Я такъ былъ голоденъ, что, несмотря на злость мою, проглотилъ этотъ пріемъ ростбифа, и пропустилъ вслѣдъ за нимъ кусокъ чернаго хлѣба въ одну секунду.— Теперь,—сказалъ хозяинъ, я попотчую васъ рыбою изъ моихъ прудовъ. Французы и тутъ мнѣ надѣлали пакостей: всѣхъ крупныхъ карасей выловили. Что дѣлать? Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Прошу покорно!—Онъ открылъ послѣднее блюдо и съ дьявольскою улыбкою пододвинулъ ко мнѣ... нѣтъ, чортъ возьми! это

уже изъ мѣры вонъ! одинъ жареный пискарь!... Я не вытерпѣлъ, и вскочилъ изъ-за стола.—Что это, мой почтеннѣйшій, вы не хотите кушать?—сказалъ этотъ предатель.—А все, чай, отъ усталости. Когда подумаешь, что вы, господа военные, для насъ, мирныхъ гражданъ, терпите!... И холодъ, и голодъ, и всякую нужду: подлинно, мы не должны и сами ничего для васъ жалѣть. Но я вижу, вы, точно, устали, и хотите отдохнуть.

— Да, сударь!—сказалъ я прерывающимся отъ бѣшенства голосомъ;—прошу покорно показать мнѣ мою комнату.

— Я самъ буду имѣть честь проводить васъ. Гей, малый! свѣти!

Мы прошли длиннымъ коридоромъ на другой конецъ дома; слуга отперъ дверь и ввелъ насъ въ нетопленную комнату, которую, какъ замѣтно было, превратили на скорую руку изъ кладовой въ спальню.

— Помилуйте!—вскричалъ я,—да здѣсь замерзнешь!

— Извините, почтеннѣйшія! — отвѣчалъ хозяинъ.—Не смѣю положить васъ почивать въ другой комнатѣ: у меня въ домѣ больныя дѣти—заснуть не дадутъ; а здѣсь вамъ никто не помѣшаетъ. Холода же вы, господа военные, не боитесь: кто всю зиму провелъ на бивакахъ, тому эта комната должна показаться теплѣе бани.

— Но позвольте вамъ сказать...

— Не хочу мѣшать вамъ отдохнуть. Добраго сна, господинъ офицеръ! Покойной ночи!

Сказавъ сіи слова, хозяинъ хлопнулъ дверью, и я остался одинъ съ слугой моимъ Андреемъ, у котораго постная рожа была еще длиннѣе моей.—Что это, сударь?—сказалъ онъ, поглядѣвъ вокругъ себя:—куда это мы попали? Помилуйте! —вѣдь я еще ничего не ѣлъ.

— Убирайся къ чорту! Я самъ умираю съ голода.

— Какъ, сударь! такъ и васъ не лучше моего угостили? Меня въ кухнѣ все потчевали водою, да снесли отъ васъ говяжью кость, на которой и собака ничего бы не отыскала. Это, дескать, твой баринъ шлетъ тебѣ подачку. Разбойники! Эхъ, сударь, еслибъ мы были здѣсь съ вашей ротою!...

— Еслибъ!... еслибъ!... Молчи, дуракъ!

Андрей замолчалъ, а я сталъ раздѣваться и, поглядывая на приготовленную для меня постель, думалъ про себя: однакожь, этотъ палачъ хочетъ, по крайней мѣрѣ, чтобъ я

соснулъ хорошенько. Тонкое, чистое бѣлье, прекрасное одѣяло изъ бѣлаго пике; правда, одна маленькая подушка; но съ красивыми кисейными оборками... Такъ и быть!... Хоть я и голоденъ, да за то дамъ славную высыпку! Я поторопился лечь; со всего размаха бросился на постель, и такъ закричалъ, что Андрей присѣлъ отъ страха. Представьте себѣ: подъ тонкой простыней однѣ голыя доски! Я схватился за бокъ—слава Богу! всѣ ребра цѣлы. Ну, такъ и быть! Военный человѣкъ не привыкъ спать на пуховикѣ: дѣлать нечего—авось какъ-нибудь засну: къ тому-жъ, одна ночь пройдетъ скоро. Андрей погасилъ свѣчу и улегся на высокомъ окованномъ сундукѣ. Не прошло двухъ минутъ, какъ вдругъ цѣлое стадо огромныхъ крысъ высыпало изъ всѣхъ угловъ; пошла стукотня, возня, бѣготня взадъ и впередъ; одна укусила за ногу Андрея, двѣ пробѣжали по моему лицу.—Нѣтъ! это уже слишкомъ! Андрюшка!—вскричалъ я какъ бѣшеный,—ступай, отыщи моего извозчика, вели закладывать; я ѣду сейчасъ изъ этого омута.

— Помилуйте, сударь! Теперь полночь; а мнѣ люди говорили, что здѣсь въ лѣсу не ловко—мародеры... бѣглые солдаты...

— Вздоръ!—ступай, спроси свѣчу, и чтобъ въ полчаса насъ здѣсь не было.

Въ самомъ дѣлѣ, черезъ полчаса я сидѣлъ въ саняхъ; двое слугъ свѣтили мнѣ на крыльцѣ, а толстый *экономъ* объявилъ съ низкимъ поклономъ, будто бы господинъ его до того огорчился моимъ внезапнымъ отъѣздомъ, что не въ силахъ встать съ постели, и долженъ отказать себѣ въ удовольствіи проводить меня за ворота своего дома; но надѣется, однакожъ, что я на возвратномъ пути... Я не далъ договорить этому бездѣльнику.—Скажи своему господину,—закричалъ я,—что если мнѣ случится быть въ другой разъ его гостемъ, то это будетъ не иначе, какъ съ цѣлою ротою русскихъ солдатъ. Пошелъ!

Проводникъ ударилъ по лошадямъ, мы выѣхали изъ воротъ, и вслѣдъ за нами пронесся громкій хохотъ.—Ахъ, чортъ возьми! Негодяй! осмѣять такимъ позорнымъ образомъ, одурачить русскаго офицера!—Вся кровь во мнѣ кипѣла; но свѣжій вѣтерокъ расхолодилъ въ нѣсколько минутъ этотъ внутренній жаръ, и я спросилъ проводника:—Нѣтъ ли поблизости другой господской мызы?—Онъ отвѣчалъ мнѣ, что съ полмили отъ большой дороги живетъ богатый панъ Селява.

— Вези-жъ меня къ этому пану!—сказалъ я. Полякъ повернулъ въ сторону, и мы проселочной дорогой, проложенной сквозь частый лѣсъ, который становился все темнѣе, выѣхали черезъ нѣсколько минутъ на перекрестокъ. Проводникъ остановилъ лошадей, призадумился, и, наконецъ, пробормотавъ себѣ что то подъ носъ, пустился по узенькой дорожкѣ, которая шла съ полверсты влѣво, и потомъ, поворотя круто въ противную сторону, дѣлилась на-двое. Полякъ остановилъ опять лошадей, снялъ шапку, почесалъ въ головѣ и, оборотясь ко мнѣ, спросилъ: — По какой дорогѣ ему ѣхать?

— Какъ по какой? — сказалъ я: — да развѣ я знаю?

— И я не знаю, пане!

— Вотъ-те разъ!—вскричалъ Андрей; — мы заплутались. Экій болванъ! не знаетъ самъ, куда ѣдетъ.

— Дали букъ такъ! Цо робить, пане?

— Ну, дѣлать нечего!—сказалъ я;—ступай прямо по дорогѣ: авось куда-нибудь выѣдемъ.

Мы снова двинулись впередъ; лѣсъ становился все гуще, дорожка уже, кругомъ насъ выли волки, я дрожалъ отъ холода и, признаюсь, жалѣлъ отъ всей души о прежнемъ ночлегѣ. Правда, моя спальня была холодновата, но въ лѣсу еще было холоднѣе, и, вмѣсто крысъ, насъ могла атаковать цѣлая стая голодныхъ волковъ, а все оружіе мое состояло въ одной саблѣ. Я начиналъ уже не на шутку безпокоиться, какъ вдругъ мелькнулъ между деревьями огонекъ. Слава Богу! вотъ и пріютъ! Полякъ обрадовался, замахалъ кнутомъ, и мы выѣхали на обширную луговину, посреди которой стоялъ низенькій домикъ, обнесенный высокимъ частоколомъ. Ворота были отперты; мы подъѣхали къ крыльцу, и я, въ сопровожденіи моего слуги, вошелъ въ переднюю. На простомъ деревянномъ столѣ догорала сальная свѣчка и слабо освѣщала стѣны, увѣшанныя ружьями, пистолетами и ножами. На широкой скамьѣ храпѣлъ огромный мужичина въ запачканномъ нагольномъ тулупѣ. Свѣтъ отъ пылающаго огарка падалъ прямо ему на лицо. Во всю жизнь мою я не видывалъ физіономіи столь отвратительной и безобразной. Представьте себѣ красную рожу, изрытую глубокими рябинами, ротъ до ушей, плоскій носъ, немного уже рта, невыбритую бороду и рыжіе усы, которые, несмотря на величину свою, покрывали только до половины глубокій рубецъ, или, лучше сказать, яму на правой щекѣ

его, противъ самой челюсти. Все это вмѣстѣ составляло такой верхъ безобразія, что даже мой Андрей, толкая его подъ бокъ, не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія:— экій лѣшій... дьяволъ!... Ай да красавецъ!—При третьемъ толчкѣ, красавецъ потянулся, зѣвнулъ и поднялся на ноги.— Слушай-ка, любезный!—сказалъ Андрей:—мы съ бариномъ заплутались; нельзя ли намъ здѣсь переночевать?

Вмѣсто отвѣта, уродъ вытаращилъ на насъ свои заспанные глаза и промычалъ какъ годовалый быкъ.

— Ну, проснись, братъ!—продолжалъ Андрей. — Что ты свои буркалы то на насъ вытаращилъ? Иль не видишь, что баринъ мой русскій офицеръ?

Полякъ кивнулъ головою и замычалъ громче прежняго,

— Да полно мычать то! Тебя спрашиваютъ толкомъ: можно ли намъ здѣсь переночевать?

Полякъ раскрылъ свою огромную пасть и, показывая на небольшой остатокъ языка и на свой рубецъ, провылъ жалобнымъ голосомъ.

— Развѣ не видишь, что онъ нѣмъ?—сказалъ я. — Но если онъ не можетъ говорить самъ, то, кажется, понимаетъ, что говорятъ съ нимъ другіе. Послушай, голубчикъ, нѣтъ ли здѣсь, кромѣ тебя, кого-нибудь?

Нѣмой кивнулъ головою и вышелъ вонъ. Минуты черезъ три дверь во внутреннія комнаты стала понемногу растворяться, и къ намъ заглянула новая харя, подъ пару прежней, только безъ усовъ и въ спальномъ женскомъ чепцѣ. Я сдѣлалъ шагъ впередъ, рожа спряталась, дверь захлопнули, и мы остались опять вдвоемъ съ Андреемъ. Подождавъ нѣсколько времени, я рѣшился добиться толку, и растворилъ дверь, которую такъ невѣжливо заперли у меня подъ носомъ. Слабый свѣтъ изъ передней отразился въ одномъ углу темной комнаты, и я, хотя съ трудомъ, но разсмотрѣлъ, что онъ заваленъ рогатинами. Вошелъ опять нѣмой и, давъ намъ знакъ рукою идти за нимъ, провелъ черезъ сѣни въ небольшую горенку, въ которой стояла кровать и накрытый столъ. Нашъ молчаливый проводникъ, показавъ мнѣ на графинъ съ водкою, большое блюдо съ холоднымъ жаркимъ, поставилъ на столъ свѣчу и вышелъ.— Ого!—подумалъ я, принимаясь за жаркое, — здѣсь, видно, лучше прежняго моего хозяина знаютъ русскую пословицу: соловья баснями не кормятъ. Но что за странность?—продолжалъ я вслухъ,—куда ни взглянешь, вездѣ оружіе. Этотъ

домъ настоящій арсеналъ! Вотъ и здѣсь висятъ пистолеты.

— Только безъ кремней,—прибавилъ мой слуга;—а въ передней всѣ ружья въ исправности. А ножей то, ножей!.. Охъ сударь!.. Мнѣ это что то подозрительно. Куда это мы съ вами запропастились?

— Трусъ! Тебѣ все мерещатся разбойники. На, ѣшь, да ложись спать, вонъ, кажется, тамъ и для тебя подкинута постеленка.

— А развѣ вы не изволите раздѣваться?

— Нѣтъ! я завернусь въ шинель, сосну часика три, а тамъ и въ дорогу.

Глаза мои смыкались отъ усталости, и прежде, чѣмъ Андрей окончилъ свой ужинъ, я спалъ уже крѣпкимъ сномъ. Не знаю, долго ли онъ продолжался, только вдругъ я почувствовалъ, что меня будятъ. Я проснулся — вокругъ все темно; подлѣ меня, за дощатой перегородкой, смѣшанные голоса, и кто то шепчетъ:—тише!.. Бога ради, тише! Не говорите ни слова.—Это былъ мой Андрей, который, дрожа всѣмъ тѣломъ, продолжалъ мнѣ шептать на ухо: ну, сударь, пропали мы!..

— Что ты говоришь?

— Тише! ради Христа, тише!.. Мы у разбойниковъ,

— Какъ у разбойниковъ?.,

— Молчите и слушайте!

Я замолчалъ и, едва переводя духъ, сталъ внимательно прислушиваться.

— Да, братъ, поработали мы сегодня порядкомъ! — говорилъ кто то за перегородкой на чистомъ польскомъ языкѣ.—Нехъ его вшесцы дьябли везмо!... Какъ онъ возился съ нами—насилу угомонили!

— Справились бы вы съ нимъ безъ меня! — прервалъ охриплый, отвратительный басъ!—Да, да, ребята! еслибъ я не подоспѣлъ въ пору, такъ вамъ бы жутко пришло. А что? каково я хватилъ его рогатиною? Небось—не промахнулся.

— Воля ваша,—заговорилъ кто то довольно пріятнымъ голосомъ,—смѣйтесь надо мной, если хотите, а я, право, досадую, что пошелъ къ вамъ въ товарищи. Эй, господа! повѣрьте мнѣ, рано ли, поздно ли, а намъ бѣды не миновать; и что за радость? прибыли мало...

— Да за то потѣхи много!—пропищалъ кто то тоненькимъ голоскомъ.

— Хороша потѣха! Десятеро на одного. Вспомнить не могу—бѣдняжка! какъ онъ застоналъ, когда повалился наземь.

— Вотъ еще какой сердечкинъ, — прервалъ охриплый басъ съ громкимъ хохотомъ,—небось, ты по головкѣ бы его погладилъ?

— Да я таки и приласкалъ его по головкѣ прикладомъ!— подхватилъ первый голосъ.—Экій живучій—провалъ бы его взялъ!—Двѣ пули на вылетъ, рогатина въ боку, а все еще шевелился. Э, панъ Будинскій! посмотри-ка на себя! у тебя руки и все платье въ крови! Поди, умойся.

— Постой, дай прежде выпить,—отвѣчалъ грубый голосъ.—Гей, водки!

Можете себѣ представить, каково мнѣ было слушать этотъ звѣрскій разговоръ. Послѣ минувшаго молчанія, тотъ же басъ заревѣлъ:—Чтожъ водки то? Гей, панна Казиміра, панна Казиміра! ну, поворачивайся проворнѣй!

— Тише, панъ!—заговорилъ женскій голосъ:—вы этакъ разбудите проѣзжихъ.

Меня обдало съ головы до ногъ холодомъ.—Ну!—подумалъ я,—доходитъ и до насъ дѣло.

— Какихъ проѣзжихъ?—спросилъ тонкій голосъ.

— Какой то русскій офицеръ съ слугою. Они заплутались и заѣхали сюда.

— Добро пожаловать! — сказалъ вполголоса охриплый басъ.—Да гдѣ же они?

— Вотъ здѣсь—за стѣною.

Тутъ голоса притихли. Я приложилъ ухо къ перегородкѣ, и съ трудомъ вслушался въ нѣсколько отрывистыхъ фразъ. Казалось, тотъ же охриплый басъ говорилъ вполголоса:—Да, да, Казиміра! скажи, чтобъ фурмана съ лошадьми отпустили: нашъ гость завтра не поѣдетъ.

— Слышите-ль, сударь? — шепнулъ Андрей дрожащимъ голосомъ.

— Мы угостимъ его по-своему! — продолжалъ басъ. — Пойдемте отсюда, братцы. Янъ! какъ съѣдутъ со двора, ворота запереть и спустить собакъ.

— Хорошо угощенье! — подумалъ я, чувствуя во всемъ тѣлѣ что то похожее на лихорадочный ознобъ.

— Ну, сударь! — сказалъ Андрей, когда все утихло за перегородкою.

— Да, мой другъ!—нѣтъ сомнѣнья: мы у разбойниковъ.

— Что намъ дѣлать?

— Спасаться, пока еще можно.

— Но какъ, сударь? Весь домъ набитъ людьми.

— Подождемъ, пока всѣ улягутся.

— А если ворота будутъ заперты?

— Мы перелѣземъ черезъ заборъ. Но молчи! если догадаются, что мы не спимъ...

— Боже сохрани! тутъ намъ и карачунъ.

Прошло съ полчаса; нашъ проводникъ съѣхалъ со двора, ворота заперли и, казалось, кругомъ насъ все затихло. Андрей отворилъ потихоньку дверь, заглянулъ въ сѣни: въ нихъ не было никого. Я надѣлъ шинель, подпоясался шарфомъ и, держа въ рукахъ обнаженную саблю, вышелъ вмѣстѣ съ нимъ на крыльцо. Начинало уже свѣтать; окинувъ быстрымъ взглядомъ весь дворъ, я замѣтилъ, что въ одномъ углу забора не доставало нѣсколькихъ частоколинъ и можно было безъ труда пролѣзть въ отверстіе. Кругомъ дремучій лѣсъ; если успѣемъ до него добраться— мы спасены. Потихоньку, почти ползкомъ, мы прокрались вдоль стѣны къ углу дома. Заборъ отъ насъ въ пяти шагахъ... еще нѣсколько минутъ, и мы на свободѣ!... Вдругъ двѣ огромныя меделянскія собаки бросаются къ намъ навстрѣчу... Я былъ впереди и успѣлъ выскочить въ отверстіе. Но бѣдный Андрей—ахъ! я слышалъ его отчаянный крикъ, который сливался съ лаемъ собакъ и громкими голосами людей, выбѣгающихъ изъ дома. Я могъ остаться, могъ умереть вмѣстѣ съ нимъ; но спасти его было невозможно. А если мнѣ посчастливится уйти отъ разбойниковъ, то въ первой деревнѣ я найду помощь, ворочусь съ вооруженными людьми и, можетъ быть, застану его еще въ живыхъ. Вотъ что думалъ я, спѣша добѣжать до лѣсу. Я былъ уже на половинѣ дороги, какъ вдругъ слышу позади себя близкій лай; оглядываюсь — о, ужасъ!... За мной гонится одна изъ собакъ. Я собираю всѣ мои силы—не бѣгу, а лечу... страхъ—да, господа, признаюсь—страхъ придаетъ мнѣ крылья. Вотъ уже я въ лѣсу — бѣгу, куда глаза глядятъ, перепрыгиваю черезъ кусты, колодцы, валежникъ... Проклятая собака, какъ тѣнь, слѣдуетъ за мною, она уже въ двухъ шагахъ; я слышу ея удушливое дыханіе... Принужденный защищаться, я останавливаюсь и, прислонясь къ толстому дереву, начинаю отмахиваться моею саблею. Злобная собака вертится, прыгаетъ вокругъ меня. Ужасный ревъ ея раздался по всему лѣсу, и пѣна бьетъ клубомъ изъ

ея открытой пасти. Нѣсколько разъ я пытался нападать на нее самъ, но всякій разъ безъ успѣха; казалось, она отгадывала впередъ всѣ мои движенія: то бросалась въ сторону, то отскакивала назадъ, и всѣ сабельные мои удары падали на безвинные деревья и кусты. Наконецъ, зло взяло меня... Я бѣшусь, рублю съ плеча во всѣ стороны: кругомъ меня справа и слѣва лѣтятъ щепы, а проклятая собака цѣлехонька, и часъ-отъ-часу становится неотвязчивѣе».

— Постой-ка! — прервалъ Зарядьевъ. — Посмотрите, господа! Что это такое—вонъ тамъ за кустами?

— Гдѣ?—спросилъ Сборскій, взглянувъ въ окно.

— Ну, вонъ! противъ нашей квартиры.

— Я ничего не вижу.

— И я теперь не вижу ничего, а право мнѣ показалось, что тамъ мелькнуло что то похожее на штыкъ.

— И, полно, братецъ! Тебѣ все чудятся штыки да ружья! Нужно было прервать Ленскаго въ самомъ интересномъ мѣстѣ. И тебѣ охота его слушать? Разсказывай, братецъ!

Зарядьевъ, не отвѣчая ничего, продолжалъ смотрѣть въ окно, а Ленскій началъ снова.

«Болѣе четверти часа продолжался сей неравный бой; я начиналъ уставать, сабля едва держалась въ ослабѣвшей рукѣ моей. Вдругъ послышались шаги поспѣшно идущихъ людей; собака, почуявъ приближающуюся къ ней помощь, ощетинилась, заревѣла какъ тигръ и кинулась мнѣ прямо на грудь. Я опустилъ саблю, но ударъ пришелся плашмя и не сдѣлалъ ей никакого вреда; а собака, вцѣпясь зубами въ мою шинель, прижала меня плотно къ дереву. Вокругъ меня загремѣли голоса:—Сюда! сюда! онъ здѣсь!.. вотъ онъ! и человѣкъ шесть съ фонарями выбѣжали изъ-за кустовъ. Сердце у меня замерло, руки опустились, и я долженъ вамъ признаться, что въ эту рѣшительную минуту страхъ былъ единственнымъ моимъ чувствомъ. Но прошу не очень забавляться на мой счетъ: погибнуть на полѣ чести, среди своихъ товарищей, или умереть безвѣстной смертію, подъ ножами подлыхъ убійцъ... Да, господа, кто не испыталъ этой чертовской разницы, тотъ не можетъ и не долженъ смѣяться надо мною».

«Разбойники, вмѣсто того, чтобъ воспользоваться беззащитнымъ моимъ положеніемъ, стащили съ меня собаку. Чувство свободы возвратило мнѣ всю мою бодрость.—Злодѣи!—

закричалъ я,—чего вы отъ меня хотите? Все, что я имѣю, осталось у васъ; а если вамъ нужна жизнь моя...

— Господинъ офицеръ! — прервалъ кто то знакомымъ уже для меня хриплымъ басомъ: — вы ошибаетесь: мы не разбойники.

— Не разбойники?... А мой несчастный слуга?...

— Я здѣсь, сударь! —закричалъ Андрей, выступая изъ толпы.

— Да, господинъ офицеръ! — продолжалъ тотъ же басистый незнакомецъ,— мы, точно, не разбойники; а чтобъ вѣрнѣе вамъ это доказать, честь имѣю представить вамъ здѣшняго капитанъ-исправника.

— Плохое доказательство! — подумалъ бы я въ другое время; но въ эту минуту мнѣ было не до шутокъ.

— Позвольте мнѣ рекомендовать себя,—сказалъ тоненькимъ голосомъ сухощавый и длинный мужчина.

— Чтожъ значитъ,—спросилъ я, не выпуская изъ рукъ моей сабли,—этотъ уединенный домъ, оружіе?...

— Это мой охотничій хуторъ, — подхватилъ толстоголосый господинъ,—а я самъ здѣшній повѣтовый маршалъ, помѣщикъ Селява; мое село въ пяти верстахъ отсюда...

— Возможно ли?... но разговоръ, который я слышалъ: убійство... кровь...

— О, въ этомъ уголовномъ преступленіи мы запираться не станемъ, — запищалъ исправникъ: — мы нынче ночью били медвѣдя.

— Медвѣдя?...

— Да, господинъ офицеръ!—прибавилъ панъ Селява;— и если вамъ угодно на него взглянуть... диковинка! Медвѣдище аршинъ трехъ, съ просѣдью...

— А для чего вы услали моего проводника?

— Для того, чтобъ имѣть удовольствіе удержать васъ завтра у себя, а послѣзавтра на своихъ лошадяхъ доставить на первую станцію.

Не знаю самъ, какое чувство было во мнѣ сильнѣе: радость ли, что я попалъ къ добрымъ людямъ вмѣсто разбойниковъ, или стыдъ, что ошибся такимъ глупымъ и смѣшнымъ образомъ. Я отъ всей души согласился на желаніе пана Селявы; весь этотъ день пропировалъ съ нимъ вмѣстѣ, и не забуду никогда его хлѣбосольства и ласковаго обхожденія. На другой день...»

— Что это?—вскричалъ Зарядьевъ.

Вдругъ раздался выстрѣлъ; ружейная пуля, прорѣзавъ стекло, ударила въ мѣдный подсвѣчникъ и сшибла его со стола.

— Что это значитъ?—спросилъ Сборскій.—Еще!...

— Французы! французы!...—закричала хозяйка, вбѣгая въ комнату.

Офицеры бросились опрометью вонъ изъ избы. Хозяйка кинулась вслѣдъ за ними, заперла ключомъ дверь и спряталась въ погребъ. Все это сдѣлалось въ теченіе какой-нибудь полуминуты и прежде, чѣмъ Зарядьевъ успѣлъ выбраться изъ подъ стола, который во время суматохи опрокинулся на его сторону. Межъ тѣмъ, французы зажгли одинъ крестьянскій домъ, разсыпались по улицѣ, и пальба безпрестанно усиливалась. Зарядьевъ старался выломать дверь, какъ полоумный бросался изъ угла въ уголъ, каждый выстрѣлъ попадалъ ему прямо въ сердце.—Боже мой! Боже мой!...—кричалъ онъ;—еслибъ я могъ!...—Онъ схватилъ стулъ, вышибъ раму и кинулся въ окно. Но бѣдный капитанъ забылъ въ суетахъ о своемъ маіорскомъ чревѣ: высунувшись до половины въ окно, онъ завязъ и, несмотря на всѣ свои усилія, не могъ пошевелиться. Пули съ визгомъ летали по улицѣ, свистѣли надъ головою, но ему было не до нихъ; при свѣтѣ пожара, онъ видѣлъ, какъ непріятельскіе стрѣлки бѣгали взадъ и впередъ, стрѣляли по домамъ, кололи штыками встрѣчающихся имъ русскихъ солдатъ, а рота не строилась...—Къ ружью! выходи!—кричалъ во все горло Зарядьевъ, стараясь высунуться какъ можно болѣе.—Я васъ, негодные!... Завтра же фельдфебеля въ солдаты—я дамъ ему знать!... Ну, слава Богу!... Залпъ! другой! Живѣй, ребята!... живѣй! Вотъ такъ! Стрѣлки впередъ!... Катай ихъ, разбойниковъ!

Но не одинъ Зарядьевъ кричалъ, какъ сумасшедшій: французскій офицеръ въ гусарскомъ мундирѣ, съ подвязанной рукой, бѣгалъ по улицѣ и командовалъ во весь голосъ, какъ на ученьѣ:—Feu, mes enfants, feu! visez bien!... aux officiers! En avant! Нѣсколько минутъ продолжалась сія ужасная суматоха; наконецъ, большая часть роты выстроилась на сборномъ мѣстѣ; Двинскій и другіе офицеры ударили съ нею на французовъ, и началась упорная перестрѣлка. Непріятели стали подаваться назадъ, вдругъ сдѣлали залпъ и бросились въ кусты. Двинскій скомандовалъ впередъ; но изъ-за кустовъ посыпались пули, онъ долженъ

былъ снова пріостановиться. Перестрѣлка стала утихать, наши стрѣлки побѣжали въ кусты, мимоходомъ захватили человѣкъ пять отсталыхъ непріятелей и, добѣжавъ до морского берега, увидѣли двѣ лодки, которыя шли назадъ въ Данцигъ, и были уже внѣ нашихъ выстрѣловъ. Офицеры поспѣшили возвратиться скорѣй въ деревню, помочь обывателямъ тушить пожаръ.

— Ахъ, чортъ возьми!—сказалъ Сборскій, подходя къ деревнѣ,—какой нечаянный визитъ, и, вѣрно, это проказникъ Шамбюръ. Однакожъ, господа! куда дѣвался нашъ капитанъ?

— Я слышалъ его голосъ,—отвѣчалъ Двинскій,—а самого не видалъ.

— Ужь не убитъ ли онъ?... Но что это за крикъ?

Офицеры и человѣкъ десять солдатъ побѣжали на голосъ, и что-жъ представилось ихъ взорамъ? Зарядьевъ, въ описанномъ уже нами положеніи, блѣдный какъ смерть, кричалъ отчаяннымъ голосомъ: — Помогите, помогите!... горю!—Офицеры кинулись въ избу, выломали дверь, и густой дымъ столбомъ повалилъ имъ навстрѣчу. Позади несчастнаго капитана пылалъ опрокинутый столъ: во время тревоги никто не замѣтилъ, что свѣча, которую сшибло пулею со стола, не погасла; отъ нея загорѣлась скатерть; а какъ тушить было некому, то вскорѣ весь столъ запылалъ. Тотчасъ залили огонь; но гораздо труднѣе было протащить назадъ въ избу Зарядьева, который напугался до того, что продолжалъ ревѣть въ источный голосъ даже и тогда, когда огонь былъ потушенъ. Кой-какъ толстый капитанъ выбрался изъ окна; минуты двѣ смотрѣлъ онъ на всѣхъ молча, хваталъ себя за ноги и ощупывалъ подошвы, которыя почти совсѣмъ прогорѣли.

— Тьфу, батюшка!—сказалъ онъ, наконецъ;—ну, оказія! ухъ! опомниться не могу!... Эй, трубку!

— Что, братъ?—сказалъ Сборскій;—не за тобой ли теперь очередь разсказывать исторію твоего испуга?

— Чего тутъ разсказывать: развѣ вы не видѣли? Провалъ бы его взялъ! Вѣдь это былъ разбойникъ Шамбюръ.

— Плѣнные говорятъ, что онъ,—сказалъ Двинскій.

— И, дурачье! не умѣли его подстрѣлить — ротозѣи!... Гдѣ мой кисетъ?

— Спасибо Шамбюру,—прервалъ Сборскій,—теперь не станешь передъ нами чваниться. Что, чай, скажешь, не струсилъ?

— Не струсилъ! — повторилъ Зарядьевъ сквозь зубы, набивая свою трубку.—Нѣтъ, братъ, струсишь поневолѣ, какъ примутся тебя жарить маленькимъ огонькомъ и начнутъ съ пятокъ. Что ты, Деминъ?—продолжалъ капитанъ, увидя вошедшаго унтеръ-офицера.

— Дежурный по ротѣ, ваше благородіе! Сейчасъ дѣлали перекличку: убитыхъ поднято пять, да ранено двѣнадцать рядовыхъ и одинъ унтеръ-офицеръ.

— Кто?—спросилъ Зарядьевъ.

— Я, ваше благородіе!

— Во что?

— Въ правую руку,

— Ахъ, Боже мой!—вскричалъ Сборскій,—у него вся кисть раздроблена, а онъ даже и не морщится!

— Вѣрно, съ горяча не чувствуешь?—спросилъ Ленскій.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! больно мозжитъ.

— Чтожъ ты нейдешь къ лѣкарю? — закричалъ Зарядьевъ.—Пошелъ скорѣй, дуракъ!

— Слушаю, ваше благородіе! Деминъ сдѣлалъ налѣво кругомъ и вышелъ вонъ изъ избы.

— А гдѣ Рославлевъ?—спросилъ Сборскій.

— Я его не видѣлъ,—отвѣчалъ Ленскій.

— И я,—прибавилъ Двинскій.

— Ахъ, Боже мой! — вскричалъ Сборскій, — теперь я вспомнилъ: мы ушли задними воротами, а онъ прямо выскочилъ на улицу.

— Ужь не убитъ ли онъ?—сказалъ Зарядьевъ.

— Сохрани Боже!... Но, можетъ быть, онъ тяжело раненъ и лежитъ теперь гдѣ-нибудь безъ всякой помощи. Эй, хозяйка! фонарь! За мной, господа! Бѣдный Рославлевъ.

Всѣ офицеры выбѣжали изъ избы; къ нимъ присоединилось человѣкъ пятьдесятъ солдатъ. Мѣсто сраженія было не слишкомъ обширно, и въ нѣсколько минутъ на улицѣ всѣ уголки были обшарены. Въ кустахъ нашли трехъ убитыхъ непріятелей, но Рославлева нигдѣ не было. Наконецъ, вся толпа вышла на морской берегъ.—Вотъ гдѣ они причаливали, — сказалъ Ленскій. — Посмотрите! второпяхъ два весла и багоръ забыли. А это что бѣлѣется подлѣ куста.

Зарядьевъ наклонился и поднялъ бѣлую фуражку?

— Кавалерійская фуражка!—закричалъ Сборскій.—Она была на Рославлевѣ, когда мы выбѣжали изъ избы; но гдѣ же онъ.

— Если живъ,—отвѣчалъ Двинскій,—такъ не далеко теперь отъ Данцига.

— Онъ въ плѣну! Бѣдный Рославлевъ!

— Эхъ, жаль!... — сказалъ Ленскій, — въ Данцигѣ умираютъ съ голода, а онъ, бѣдняжка, не успѣлъ и перекусить съ нами! Ну, дѣлать нечего, господа, пойдемте ужинать.

IV.

Данцигскіе жители, а особливо тѣ, кои не были далѣе пограничнаго съ ними прусскаго городка Дершау, говорятъ всегда съ замѣтною гордостію о своемъ *великолѣпномъ* городѣ; есть даже нѣмецкая пѣсня, которая начинается слѣдующими словами: О, Данцигъ, о, Данцигъ, о, чудесно-красивый городъ! *) И когда рѣчь дойдетъ до главной городской площади, называемой Лангъ-Газъ, то восторгъ ихъ превращается въ совершенное изступленіе. По ихъ словамъ, нѣтъ въ мірѣ площади, прекраснѣе и величественнѣе этой, ибо она застроена со всѣхъ сторонъ отличными зданіями, которыя, хотя и походятъ на карточные домики, но за то высоки, пестры и отмѣнно фигурны. Конечно, эта обширная площадь не длиннѣе ста шаговъ, и гораздо уже всякой широкой петербургской или берлинской улицы, но въ сравненіи съ коридорами и ущелинами, которые данцигскіе жители не стыдятся называть улицами и переулками, она, дѣйствительно, походитъ на что то огромное, и еслибъ средину ея не занималъ чугунный Нептунъ на дельфинахъ, изъ которыхъ льется, по праздникамъ, вода, то этотъ Лангъ-Газъ былъ бы, безъ сомнѣнія, гораздо просторнѣе — московскаго екзерциръ-гауза!

Надъ дверьми одного изъ угольныхъ домовъ сей знаменитой площади, красивая вывѣска съ надписью на французскомъ языкѣ извѣщала всѣхъ прохожихъ, что тутъ помѣщается лучшая кондитерская лавка въ городѣ, подъ названіемъ: Café Français. Внутри, за налощеннымъ орѣховымъ прилавкомъ, сидѣла худощавая мадамъ въ розовой гирляндѣ и крупномъ янтарномъ ожерельи. Она съ примѣтнымъ горемъ посматривала на пустые шкапы своей лавки, въ которыхъ, вѣроятно, также въ родѣ вывѣски, стояли два огром-

*) O Dansig, o Dansig! o wunderschöne Stadt!

ные паштета изъ картузной бумаги. При входѣ каждаго новаго посѣтителя, мадамъ вѣжливо привставала и спрашивала съ нѣжной улыбкою: «Ке фуле-фу, моньсье? — Чего вамъ угодно, сударь?» Обыкновенно требованія ограничивались чашкой кофе или шоколада; но о хлѣбѣ, кренделяхъ, сухаряхъ, и вообще о томъ, что можетъ утолить голодъ, и въ поминѣ не было.

Въ одномъ углу комнаты, за небольшимъ столомъ, пили кофе трое французскихъ офицеровъ, заѣдая его порціоннымъ хлѣбомъ, который принесли съ собою. Одинъ изъ нихъ, съ смуглымъ лицомъ, безъ руки, казался очень печальнымъ; другой, краснощекій толстякъ, прихлебывалъ съ разстановкою свой кофе, какъ человѣкъ, отдыхающій послѣ сытнаго обѣда; а третій, молодой кавалеристъ, съ веселой, открытой физіономіею, обмакивая свой хлѣбъ въ чашку, напѣвалъ сквозь зубы какіе то куплеты. Поодаль отъ нихъ сидѣлъ задумавшись, подлѣ окна, молодой человѣкъ, закутанный въ сѣрую шинель; передъ нимъ стояла не допитая рюмка ликера и лежалъ ломоть черстваго хлѣба.

— Перестанешь ли ты хмуриться, Мильсанъ?—сказалъ, допивъ свою чашку, краснощекій толстякъ.

— Да чему прикажете мнѣ радоваться? — отвѣчалъ безрукій офицеръ. — Не тому ли, что мнѣ, вмѣсто головы, оторвало руку?

— Ну, право, ты не французъ! — продолжалъ толстый офицеръ: — всякая бездѣлка опечалитъ тебя на нѣсколько мѣсяцевъ. Конечно, досадно, что отпилили твою лѣвую руку; но за то у тебя осталась правая, а сверхъ того полторы тысячи франковъ пенсіона, который тебѣ слѣдуетъ...

— И за которымъ мнѣ придется ѣхать на луну, — прервалъ Мильсанъ.

— Нѣтъ, не на луну, а въ Парижъ. Императоръ никогда не забывалъ награждать изувѣченныхъ на службѣ офицеровъ.

— Императоръ! Да! ему теперь до этого; послѣ проклятаго сраженія подъ Лейпцигомъ...

— Да что ты, Мильсанъ, вѣришь русскимъ!—вскричалъ молодой кавалеристъ; — вѣдь теперь за нихъ морозъ не станетъ драться; а бѣдные нѣмцы такъ привыкли отъ насъ бѣгать, что имъ и въ голову не придетъ порядкомъ схватиться — и съ кѣмъ же?... съ самимъ императомъ! Русскіе нарочно выдумали это извѣстіе, чтобъ мы скорѣй сдались.—

Ils sont malins, ces barbares! Не правда ли, господинъ Папилью? — продолжалъ онъ, относясь къ толстому офицеру.— Вы часто бываете у Раппа, и должны знать лучше нашего.

— Да, — отвѣчалъ Папилью, — я и сегодня обѣдалъ у его превосходительства.—Чортъ возьми! гдѣ онъ досталъ такого славнаго повара? Какой бифштексъ сдѣлалъ намъ этотъ бездѣльникъ изъ лошадинаго мяса!... Повѣрите ли, господинъ Розенганъ...

— Не объ этомъ рѣчь, — прервалъ кавалеристъ; — что говоритъ генералъ о лейпцигскомъ сраженіи?

— Онъ говоритъ, что это можетъ быть неправда, и велѣлъ даже взять подъ арестъ флорентійскаго купца, который, дней пять тому назадъ, разсказывалъ здѣсь съ такими подробностями объ этомъ дѣлѣ.

— Какъ! Вотъ этого чудака, который ходилъ со мною на Бишефбергъ для того только, чтобъ посмотрѣть, какъ русскіе дѣйствуютъ противъ нашихъ батарей.

— Да, его.

— Эхъ, жаль! онъ презабавный оригиналъ. Мы, кажется, съ Шамбюромъ не трусы; но не долго пробыли на верхней батареѣ, которую, можно сказать, осыпало непріятельскими ядрами; а этотъ чудакъ расположился на ней, какъ дома: закурилъ трубку и пустился въ такіе разговоры съ нашими артиллеристами, что они рты разинули, и что всего забавнѣе — разсердился страхъ на русскихъ, и знаете ли за что?... За то, что они мало дѣлаютъ намъ вреда, и не стрѣляютъ по нашимъ батареямъ навѣсными выстрѣлами. Шамбюръ, у котораго голова также немножко наизнанку, безъ памяти отъ этого оригинала и старался всячески завербовать его въ свою адскую роту; но господинъ купецъ отвѣчалъ ему преважно: что онъ мирный гражданинъ, что это не его дѣло, что у него въ отечествѣ жена и дѣти; принялся намъ изъяснять, въ чемъ состоятъ обязанности отца семейства, какъ онъ долженъ беречь себя, дорожить своею жизнію, и кончилъ тѣмъ, что пошелъ опять на батарею смотрѣть, какъ летаютъ русскія бомбы.

— А знаете ли, — сказалъ толстый офицеръ, — что этотъ храбрецъ очень подозрителенъ? Кромѣ одного здѣшняго купца Сандерса, никто его не знаетъ; и генералъ Раппъ сталъ было сомнѣваться, точно ли онъ итальянскій купецъ; но когда его привели при мнѣ къ генералу, то всѣ отвѣты его были такъ ясны, такъ положительны, онъ сталъ

говорить съ однимъ итальянскимъ офицеромъ такимъ чистымъ флорентійскимъ нарѣчіемъ, описалъ ему съ такою подробностію свой домъ и родственныя свои связи, что добрый Раппъ рѣшился было выпустить его изъ подъ ареста; но генералъ Дерикуръ пошепталъ ему что-то на ухо, и купца отвели опять въ тюрьму.

— Жаль, если надобно будетъ его разстрѣлять, — сказалъ кавалерійскій офицеръ.

Вдругъ раздался ужасный трескъ; брошенная изъ траншей бомба упала на кровлю дома; черепицы, какъ дождь, посыпались на улицу. Пробивъ три верхніе этажи, бомба упала на потолокъ той комнаты, гдѣ бесѣдовали офицеры. Черезъ нѣсколько секундъ раздался оглушающій взрывъ, отъ котораго, казалось, весь домъ поколебался на своемъ основаніи.

— Геръ Іезусъ! — закричала мадамъ.

— Проклятые русскіе! — сказалъ кавалерійскій офицеръ, стряхивая съ себя мелкіе куски штукатурки, которые падали ему на голову. — Пора унять этихъ варваровъ!

— Тише, Розенганъ! — шепнулъ Мильсанъ; — зачѣмъ оскорблять этого плѣннаго офицера?

Кавалеристъ оборотился къ окну, подлѣ котораго сидѣлъ молодой человѣкъ въ сѣрой шинели; казалось, взрывъ бомбы нимало его не потревожилъ. Задумчивый и неподвижный взоръ его былъ устремленъ попрежнему на одну изъ стѣнъ комнаты, но, повидимому, онъ вовсе не разсматривалъ повѣшеннаго на оной портрета Фридриха Великаго.

— Что вы такъ задумались? — спросилъ его кавалерійскій офицеръ. — Не хотите ли, господинъ Расъ... Росъ... Рисъ... pardon!... никакъ не могу выговорить вашего имени; не хотите ли выпить съ нами чашку кофе?

— Да, да, monsieur Рославлевъ, — подхватилъ толстый Папилью: — милости просимъ къ намъ поближе.

Рославлевъ отвѣчалъ учтивымъ поклономъ на приглашеніе офицеровъ, но остался на прежнемъ мѣстѣ.

— Мнѣ кажется, онъ могъ бы быть повѣжливѣе, — сказалъ вполголоса и съ досадою кавалеристъ; когда мы дѣлаемъ ему честь... l'impertinent!

— Фи, Розенганъ! — прервалъ безрукій офицеръ, какъ тебѣ не стыдно! Надобно уважать несчастіе во всякомъ, а особливо въ плѣнномъ непріятелѣ. Неужели ты не чувствуешь, какъ ему тяжело слушать наши разговоры; а особ-

ливо, когда ты примешься описывать безсмертные подвиги императорской гвардіи? Вчера онъ поблѣднѣлъ, слушая твой краснорѣчивый разсказъ о нашемъ переходѣ черезъ Березину. По твоимъ словамъ, на каждаго французскаго гренадера было по цѣлому полку русскихъ солдатъ. Послушай, Розенганъ, когда дѣло идетъ о нашей національной славѣ, то ты настоящій гасконецъ. Конечно, намъ весело тебя слушать; а каково ему?

— А, Рено, bonjour, mon ami! — закричалъ Папилью, идя навстрѣчу къ жандармскому офицеру, который вошелъ въ кофейную лавку. — Ну, нѣтъ ли чего-нибудь новенькаго?

— Покамѣстъ ничего, — отвѣчалъ жандармъ, окинувъ бѣглымъ взоромъ всю комнату.—А! онъ здѣсь,—продолжалъ Рено, увидѣвъ Рославлева.—Вѣдь, кажется, этотъ плѣнный офицеръ говоритъ по-французски?

— Да!—отвѣчалъ Папилью,—такъ чтожъ?

— А вотъ что: мнѣ дано не слишкомъ пріятное порученіе—я долженъ отвести его въ тюрьму.

— Въ тюрьму? За что?

— По городу распространились очень невыгодные для насъ слухи; говорятъ, что большая армія совершенно истреблена. Это можетъ сдѣлать весьма дурное впечатлѣніе на весь гарнизонъ.

— Да чтожъ общаго между симъ ложнымъ извѣстіемъ и этимъ плѣннымъ офицеромъ?

— Его превосходительство, генералъ Раппъ, увѣренъ, что эти слухи распространяютъ плѣнные офицеры; а какъ всего вѣроятнѣе, что тѣ изъ нихъ, кои говорятъ по-французски, имѣютъ къ этому болѣе способовъ...

— А, понимаю! Впрочемъ, кажется, этого плѣннаго офицера нельзя упрекнуть въ многорѣчіи: онъ почти всегда молчитъ.

— Быть можетъ, но я долженъ отвести его въ тюрьму. Впрочемъ, на это есть и другія причины,—прибавилъ жандармъ значительнымъ голосомъ.

— Право? не можете ли вы мнѣ сказать?

— Вотъ изволите видѣть: это небольшая хитрость, придуманная генераломъ Дерикуромъ, и признаюсь — выдумка прекрасная! Она сдѣлала бы честь не только начальнику штаба, но даже и нашему брату, жандарму. Вы знаете, что по приказанію Раппа сидитъ теперь въ тюрьмѣ какой

то флорентійскій купецъ; не знаю почему, генералъ Дерикуръ подозрѣваетъ, что онъ русскій шпіонъ. Чтобъ какъ-нибудь увѣриться въ этомъ, онъ придумалъ запереть вмѣстѣ съ нимъ этого плѣннаго офицера, а мнѣ приказалъ подслушивать ихъ разговоры. Если купецъ дѣйствительно русскій, то не можетъ быть, чтобъ у него не вырвалось въ теченіе нѣсколькихъ часовъ слова два или три русскихъ. Желаніе поговорить на своемъ природномъ языкѣ такъ натурально; а сверхъ того ему въ голову не придетъ, что въ одномъ углу тюрьмы сдѣлано отверстіе, въ родѣ діонисьева уха, и что каждое слово, даже шопотомъ сказанное, будетъ явственно слышно въ другой комнатѣ.

— Вотъ что? Ну, въ самомъ дѣлѣ, прекрасная выдумка! Я всегда замѣчалъ въ этомъ Дерикурѣ необычайныя способности; однакожъ, не говорите ничего нашимъ молодымъ людямъ: рубиться съ непріятелемъ, брать батареи — это ихъ дѣло; а всякая хитрость, какъ бы умно она ни была придумана, кажется имъ недостойною храбраго офицера. Чего добраго, пожалуй, они скажутъ, что за эту прекрасную выдумку надобно произвесть Дерикура въ полицейскіе комиссары.

— Неужели? Знаете ли, что это отзывается какимъ то либерализмомъ, который совершенно противенъ духу нашего правленія, и если императоръ не возьметъ самыхъ строгихъ мѣръ...

— Императоръ! Да извѣстно ли вамъ, какъ эти господа о немъ поговариваютъ? Конечно, они и теперь готовы за него и въ огонь и въ воду; но, признаюсь, я ужъ давно не замѣчаю въ нихъ этой безусловной покорности, этого всегдашняго удивленія къ каждому его дѣйствію. Представьте себѣ: они даже осмѣливаются иногда осуждать его распоряженія. Вотъ нѣсколько дней тому назадъ, одинъ изъ нихъ,—я не назову его: я не доносчикъ,—имѣлъ дерзость сказать вслухъ, что императоръ дурно сдѣлалъ, ввезя въ Россію на нѣсколько милліоновъ фальшивыхъ ассигнацій, и что никакія политическія причины не могутъ оправдать поступка, за который во всѣхъ благоустроенныхъ государствахъ вѣшаютъ и ссылаютъ на галеры?

— Тише! Бога ради тише! Что вы? Я не слышалъ, что вы сказали... не хочу знать... не знаю... Боже мой! до чего мы дожили!... какой развратъ! Ну, что послѣ этого можетъ быть священнымъ для нашей безумной молодежи?

Но извините: мнѣ надобно исполнить приказаніе генерала Дерикура. Милостивый государь! — продолжалъ жандармъ, подойдя къ Рославлеву, — на меня возложена весьма непріятная обязанность; но вы сами военный человѣкъ, и знаете, что долгъ службы... не угодно ли вамъ идти со мною?

— Куда, сударь?—спросилъ спокойно Рославлевъ, вставая со стула.

— Нѣкоторые ложные слухи, распускаемые по городу врагами французовъ, вынуждаютъ генерала Раппа прибѣгнуть къ мѣрамъ строгости, весьма непріятнымъ для его добраго сердца. Всѣхъ плѣнныхъ офицеровъ приказано держать подъ карауломъ.

— Для чего не въ цѣпяхъ? — прибавилъ съ горькою улыбкою Рославлевъ: — это еще будетъ вѣрнѣе; а то, въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ перепрыгнуть черезъ городской валъ, и уйти изъ крѣпости.

Въ ту самую минуту, какъ Рославлевъ собирался идти за жандармомъ, вбѣжалъ въ комнату молодой человѣкъ лѣтъ двадцати двухъ, въ богатомъ гусарскомъ мундирѣ и большой медвѣжьей шапкѣ; онъ былъ вооруженъ не саблею, а короткимъ заткнутымъ за поясъ трехграннымъ кинжаломъ; необыкновенная живость изображалась на его миловидномъ лицѣ; небольшіе закрученные кверху усы и эспаньолетка придавали воинственный видъ его выразительной, но нѣсколько женообразной физіономіи. Съ перваго взгляда можно было замѣтить, что онъ дѣйствовалъ одной лѣвой рукою, а правая казалась какъ будто бы придѣланною къ плечу, и была безъ всякаго движенія. Здравствуйте, monsieur Вольдемаръ!—сказалъ онъ, переступя черезъ порогъ.— Куда вы?

— Куда вы вѣрно со мной не пойдете, Шамбюръ! — отвѣчалъ Рославлевъ, пріостановясь на минуту. — Меня ведутъ въ тюрьму.

— Какъ!—вскричалъ Шамбюръ;—въ тюрьму? Зачѣмъ?.. за что?...

— Спросите у этого господина.

— Что это значитъ, Рено? — сказалъ Шамбюръ, остановя жандарма.—Что такое сдѣлалъ Рославлевъ?

— Надѣюсь, ничего, за что бы онъ могъ отвѣчать: это одна мѣра осторожности. Какіе то ложные слухи тревожатъ гарнизонъ, а какъ, вѣроятно, ихъ распускаютъ по городу плѣнные офицеры...

— Почему вы это думаете?

— Такъ думаетъ генералъ Раппъ; я исполняю только его приказаніе.

— Неправда, сударь, не его! Генералъ Раппъ бьетъ безъ пощады вооруженныхъ непріятелей; но никогда не станетъ тиранить беззащитныхъ плѣнныхъ. Говорите правду: отъ кого вы получили приказаніе посадить его въ тюрьму?

— Я не обязанъ вамъ давать отчета, господинъ Шамбюръ!

— Однакожъ, дадите! — вскричалъ гусаръ, и глаза его засверкали.—Знаете ли вы, господинъ жандармъ, что этотъ офицеръ мой плѣнникъ? Я вырвалъ его изъ средины русскаго войска; онъ принадлежитъ мнѣ; онъ моя собственность, и никто въ цѣломъ мірѣ не воленъ располагать имъ безъ моего согласія.

— Что вы, Шамбюръ! — прервалъ Папилью: — господинъ Рославлевъ военноплѣнный, и начальство имѣетъ полное право...

— Нѣтъ, чортъ возьми! Нѣтъ! — вскричалъ Шамбюръ, топнувъ ногою;—я не допущу никого обижать моего плѣнника: онъ подъ моей защитой, и если бы самъ Раппъ захотѣлъ притѣснять его, то и тогда—cent mille diables! да, и тогда бы я не далъ его въ обиду!

— Успокойтесь, любезный Шамбюръ, — сказалъ Рославлевъ; — вы не должны противиться волѣ вашего начальства.

— Такъ пусть же оно докажетъ мнѣ, что вы виноваты. Вы живете со мною, я знаю васъ. Вы не станете употреблять этого низкаго средства, чтобъ безпокоить умы французскихъ солдатъ; вы офицеръ, а не шпіонъ, и я рѣшительно хочу знать, въ чемъ васъ обвиняютъ.

— Это можетъ вамъ объяснить его превосходительство, г-нъ Раппъ, а не я, — сказалъ Рено;—а между тѣмъ прошу васъ не мѣшать мнѣ исполнять мою обязанность; въ противномъ случаѣ—извините! я вынужденъ буду позвать жандармовъ.

— Жандармовъ! Sacré mille tonnerres! Стращать Шамбюра жандармами! — проговорилъ прерывающимся отъ бѣшенства голосомъ Шамбюръ.

— Не дурачься, Шамбюръ,—подхватилъ Розенганъ, замѣтя, что вспыльчивый гусаръ схватился лѣвой рукой за

рукоятку своего кинжала. Папилью и Мильсанъ подошли также къ Шамбюру и стали его уговаривать.

— Хорошо, господа, хорошо!—сказалъ онъ, наконецъ;— пускай срамятъ этой несправедливостью имя французскихъ солдатъ. Бросить въ тюрьму по одному подозрѣнію беззащитнаго плѣнника! Quelle indignité! Хорошо, возьмите его, а я сейчасъ поѣду къ Раппу: онъ не жандармскій офицеръ, и понимаетъ, что такое честь. Прощайте, Рославлевъ! Мы скоро увидимся. Извините меня! Еслибъ я зналъ, что съ вами будутъ поступать такимъ гнуснымъ образомъ, то велѣлъ бы васъ приколоть, а не взялъ бы въ плѣнъ. До свиданія!

Рославлевъ и Рено вышли изъ кафе и пустились по Гундъ-газу, узкой улицѣ, ведущей въ предмѣстье, или, лучше, сказать, въ ту часть города, которая находится между укрѣпленнымъ валомъ и внутреннею стѣною Данцига. Они остановились у высокаго дома съ небольшими окнами. Рено застучалъ тяжелой скобою; черезъ полминуты дверь заскрипѣла на своихъ толстыхъ петляхъ, и они вошли въ темныя сѣни, гдѣ тюремный стражъ, въ полувоинственномъ нарядѣ, отвѣсивъ жандарму низкій поклонъ, повелъ ихъ вверхъ по крутой лѣстницѣ.

— Чтобъ вамъ не было скучно,—сказалъ Рено,—я помѣщу васъ вмѣстѣ съ однимъ итальянскимъ купцомъ; онъ человѣкъ умный, много путешествовалъ, и разговоръ его весьма пріятенъ. Къ тому-жъ вамъ будетъ полная свобода; въ вашей комнатѣ всѣ стѣны капитальныя: вы можете шумѣть, пѣть, кричать, однимъ словомъ: дѣлать все, что вамъ угодно; вы этимъ никого не обезпокоите, и даже—еслибъ вамъ вздумалось, — прибавилъ съ улыбкою Рено, — сдѣлать этого купца повѣреннымъ какихъ-нибудь сердечныхъ тайнъ, то не бойтесь: никто не подслушаетъ имени вашей любезной.

Тюремщикъ отворилъ дубовую дверь, окованную желѣзомъ, и они вошли въ просторную комнату, съ однимъ окномъ. Въ ней стояли двѣ кровати, небольшой столъ и нѣсколько стульевъ. На одномъ изъ нихъ сидѣлъ человѣкъ лѣтъ за тридцать, въ синемъ сюртукѣ. Лицо его было блѣдно, усталость и совершенное изнуреніе силъ ясно изображались на впалыхъ щекахъ его; но взоръ его былъ спокоенъ и всѣ черты лица выражали какое то ледяное равнодушіе, и даже безчувственность.

— Вотъ вашъ товарищъ, — сказалъ жандармъ Рославлеву;—познакомьтесь!

Рославлевъ сдѣлалъ шагъ впередъ, хотѣлъ что то сказать; но слова замерли на устахъ его: онъ узналъ въ итальянскомъ купцѣ артиллерійскаго офицера, съ которымъ готовъ былъ нѣкогда стрѣляться въ Царскосельскомъ звѣринцѣ.

— Я очень радъ, что буду имѣть такого любезнаго товарища, — сказалъ купецъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на Рославлева.—Можетъ быть мы гдѣ-нибудь и встрѣчались; но я увѣренъ, что вы меня теперь не узнаете: въ тюрьмѣ не хорошѣютъ.

Рославлеву не трудно было понять настоящій смыслъ сей фразы; онъ отвѣчалъ вѣжливо, что, кажется, видѣлъ его однажды въ французскомъ кафе, и, не продолжая разговора, расположился молча на другомъ стулѣ.

Рено, сказавъ Рославлеву, что онъ надѣется скоро видѣть его свободнымъ, вышелъ изъ комнаты; дверь захлопнулась, и черезъ нѣсколько секундъ глубокая тишина воцарилась кругомъ заключенныхъ. Рославлевъ хотѣлъ начать разговоръ съ своимъ товарищемъ; но онъ прижалъ ко рту палецъ и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ по-французски:—Если не ошибаюсь, вы офицеръ прусской службы?

— Извините! — отвѣчалъ Рославлевъ, не понимая причины сей чрезмѣрной осторожности:—я русскій офицеръ.

— Русскій? И недавно въ плѣну?

— Болѣе двухъ недѣль.

— Слѣдовательно, извѣстіе о Лейпцигскомъ сраженіи пришло послѣ васъ, и вы не знаете ничего достовѣрнаго?

— Ничего.

— Это жаль. Если дѣйствительно сраженіе проиграно французами, то курсъ долженъ упасть; слѣдовательно, дѣла моихъ лейпцигскихъ корреспондентовъ въ худомъ положеніи. Впрочемъ, это, можетъ быть, одни пустые слухи. Наполеонъ не могъ сражаться съ стихіями; но тамъ, гдѣ онѣ не противъ него, гдѣ ничто не мѣшаетъ движеніямъ войскъ, можетъ ли побѣда остаться на сторонѣ его непріятелей? Не досадуйте на мою откровенность; а мнѣ кажется, что русскіе напрасно не остались дома: обширныя степи и вѣчные льды—вотъ что составляетъ истинную силу Россіи. Ваше дѣло обороняться, а не нападать. Но извините: мнѣ необ-

ходимо кончить небольшой коммерческій расчетъ, который я дѣлаю здѣсь на просторѣ. Надобно быть готовымъ на всякій случай, и если въ самомъ дѣлѣ курсъ на итальянскіе векселя долженъ упасть въ Лейпцигѣ, то не худо взять заранѣе свои мѣры.

Купецъ вынулъ изъ кармана клочекъ бумаги, карандашъ и принялся писать. Рославлевъ глядѣлъ на него съ удивленіемъ. Онъ не могъ сомнѣваться, что видитъ передъ собою стариннаго своего знакомца, того молчаливаго офицера, который дышалъ ненавистію къ французамъ; но въ то же время не постигалъ причины, побуждающей его изъясняться такимъ образомъ.—Потрудитесь взглянуть,—сказалъ этотъ чудакъ, подавая Рославлеву клочекъ бумаги: — я не слишкомъ на себя надѣюсь, голова моя что то очень тяжела; еслибъ вы сдѣлали мнѣ милость и повѣрили мои итоги.

Рославлевъ бросилъ быстрый взглядъ на исписанную бумажку и прочелъ слѣдующее: «Будьте осторожны: насъ вѣрно подслушиваютъ. Раппъ подозрѣваетъ, что я русскій; одно слово на этомъ языкѣ можетъ погубить меня. Я не боюсь смерти, но желалъ бы умереть, не доставя ни одной минуты удовольствія французамъ, а эти негодяи очень обрадуются, когда узнаютъ, кто у нихъ въ рукахъ. Во снѣ я всегда брежу вслухъ и, разумѣется, по-русски. Вотъ ужь три ночи я не сплю; чувствую, что не въ силахъ долѣе бороться съ самимъ собою; при васъ я могу заснуть. Лишь только вы замѣтите, что я хочу говорить — зажмите мнѣ ротъ, будите меня, толкайте, бейте, только Бога ради не давайте выговорить ни слова. Васъ вѣрно прежде моего выпустятъ изъ тюрьмы. Ступайте на театральную площадь; противъ самаго театра, въ пятомъ этажѣ высокаго краснаго дома, въ комнатѣ подъ номеромъ шестымъ, живетъ одна женщина: она была отчаянно больна. Если вы ее застанете въ живыхъ, то скажите, что итальянскій купецъ Дольчини проситъ ее сжечь бумаги, которыя онъ отдалъ ей подъ сохраненіе».

Когда Рославлевъ пересталъ читать, товарищъ его взялъ назадъ бумажку, разорвалъ на мелкія части и проглотилъ; потомъ бросился на постель и въ ту же самую секунду заснулъ мертвымъ сномъ.

Болѣе трехъ часовъ сряду сидѣлъ Рославлевъ подлѣ спящаго, который нѣсколько разъ принимался бредить. Рославлевъ не будилъ его, но закрывалъ рукою ротъ и мѣ-

шалъ явственно выговаривать слова. Вдругъ послышались скорые шаги по коридору, который велъ къ ихъ комнатѣ. Рославлевъ началъ будить своего товарища. Послѣ нѣсколькихъ напрасныхъ попытокъ, ему удалось, наконецъ, растолкать его: онъ вскочилъ и закричалъ охриплымъ голосомъ и по-русски:—Что? что такое? Французы? Рѣжь ихъ, разбойниковъ!—Глаза его блистали, волосы стояли дыбомъ, и выраженіе лица его было столь ужасно, что Рославлевъ невольно содрогнулся.

— Опомнитесь! что вы?—сказалъ онъ:—сюда идутъ!

— Сюда? Кто... Ахъ, да!...—прошепталъ купецъ, проведя рукою по глазамъ.—Нѣтъ, господинъ офицеръ! нѣтъ!—заговорилъ онъ вдругъ громкимъ голосомъ и по французски,—я никогда не соглашусь съ вами: война не всегда вредитъ коммерціи; напротивъ, она даетъ ей нерѣдко новую жизнь. Посмотрите, какъ англичане хлопочутъ о томъ, чтобъ европейскіе государи ссорились между собою! Въ одномъ мѣстѣ жгутъ и разоряютъ фабрики, въ другомъ онѣ процвѣтаютъ. Товары становятся дороже, капиталы переходятъ изъ рукъ въ руки; однимъ словомъ, я не сомнѣваюсь, что вѣчный миръ въ Европѣ былъ бы столь пагубенъ для коммерціи, какъ и всегдашняя тишина на морѣ, несмотря на то, что сильный вѣтеръ производитъ бури и топитъ корабли.

Въ продолженіе сихъ словъ лицо ложнаго купца приняло свой обыкновенный холодный видъ, глаза не выражали никакого внутренняго волненія; казалось, онъ продолжалъ спокойно давно начатый разговоръ, и когда двери комнаты отворились, онъ даже не повернулъ головы, чтобъ взглянуть на входящаго Шамбюра вмѣстѣ съ капитаномъ Рено.

— Вы свободны!—вскричалъ Шамбюръ, подбѣжавъ къ Рославлеву;—я доказалъ Раппу, что онъ не имѣетъ никакого права поступать такимъ обиднымъ образомъ съ человѣкомъ, за честь котораго я ручаюсь моей собственной честію.

— Благодарю васъ,—сказалъ Рославлевъ; — впрочемъ, вы можете быть совершенно спокойны. Шамбюръ! Я не обѣщаюсь вамъ не радоваться, если узнаю что-нибудь о побѣдахъ нашего войска; но вотъ вамъ честное мое слово: не стану никому пересказывать того, что услышу отъ другихъ.

— Болѣе этого я отъ васъ и требовать не могу, — сказалъ Шамбюръ.—А! господинъ Дольчини!—продолжалъ онъ, обращаясь къ товарищу Рославлева,—и вы здѣсь?

— Да, сударь! Обо мнѣ, кажется, все еще думаютъ, что я русскій... Русскій! Боже мой! да меня отъ одного этого имени морозъ подираетъ по кожѣ! Господинъ Дерикуръ хитеръ на выдумки; я боюсь, чтобъ ему не вздумалось для испытанія: точно ли я русскій или итальянецъ, посадить меня въ ледникъ. Впередъ вамъ говорю, что я въ четверть часа замерзну.

— Ага, господинъ Дольчини!—вскричалъ съ громкимъ хохотомъ Шамбюръ,—такъ есть же что-нибудь въ природѣ, чего вы боитесь?

— Хорошо, что вы не дѣлали русскую кампанію, — подхватилъ Рено.—Представьте себѣ, что когда у насъ отъ жестокаго мороза текли слезы, то онѣ замерзали на щекахъ, а глаза слипались отъ холода!

— Santa Maria! Что вы говорите? Знаете ли, что нашъ Данте въ своей Divina comedia, описывая разнородныя мученія ада, въ числѣ самыхъ ужаснѣйшихъ полагаетъ именно то, о которомъ вы говорите. И въ этой землѣ живутъ люди!

— И даже очень любезные,—прервалъ Шамбюръ, подавая лѣвую руку Рославлеву.—Пойдемте, Вольдемаръ; вы ужь и такъ слишкомъ долго здѣсь сидѣли.

— Прощайте, господинъ офицеръ! — сказалъ Дольчини Рославу;—не забудьте вашего обѣщанія. Если когда-нибудь вамъ случится быть въ Лейпцигѣ, то вы можете обо мнѣ справиться на площади противъ театра, въ высокомъ красномъ домѣ, у живущаго подъ номеромъ шестымъ. До свиданья!

Шамбюръ и Рославлевъ вышли изъ тюрьмы.—Знаете ли,—сказалъ французскій партизанъ,—какой необыкновенный человѣкъ былъ вашимъ товарищемъ? Не понимаю, какъ могъ этотъ Дольчини измѣнить до такой степени своему назначенію? Во всю жизнь мою я не видывалъ чело-ловѣка безстрашнѣе этого купца. Повѣрите ли, что я, Шамбюръ, основатель и начальникъ адской роты, долженъ уступить ему первенство, если не въ храбрости, то по крайней мѣрѣ въ хладнокровіи. Онъ точно съ такимъ же равнодушіемъ смотритъ на бомбу, которая крутится у ногъ его, съ какимъ мы глядимъ на волчекъ, спущенный рукою слабаго ребенка. А еслибъ вы знали, какой онъ оригиналъ?

Я предлагалъ ему мѣсто старшаго сержанта въ моей ротѣ, въ ту самую минуту, какъ онъ стоялъ добровольно подъ градомъ непріятельскихъ ядеръ; онъ рѣшительно отказался, и именно потому, что онъ отецъ семейства, и долженъ беречь жизнь свою. Avouez, que c'est délicieux! Но вотъ наша квартира. Я думаю, вы сегодня не расположены прогуливаться. Ступайте домой; а мнѣ надобно взглянуть на мою роту. Можетъ быть сегодня ночью я побываю вмѣстѣ съ нею за городомъ.

— Отъ всей души желаю,—сказалъ Рославлевъ, принимаясь за дверную скобу,—чтобъ вы...

— Чтобъ я, наконецъ, сломилъ себѣ шею?—прервалъ съ улыбкою Шамбюръ.

— Нѣтъ, чтобъ васъ оставили погостить подолѣе въ нашемъ лагерѣ.

— Покорно благодарю! Я люблю самъ угощать; и если завтра поутру вы не будете пить у меня кофе, то можете быть увѣрены, что я остался на вѣчное житье въ вашихъ траншеяхъ.

VII.

На другой день, часу въ девятомъ утра, Шамбюръ, допивая свою чашку кофе, сказалъ съ принужденною улыбкою Рославлеву:—Ну, вотъ видите! желаніе ваше не сбылось; я не остался гостить въ русскомъ лагерѣ?

— Но, кажется, не привели и гостей съ собою,—отвѣчалъ Рославлевъ.—Если правда, что мнѣ говорили, то ваша рота...

— Да! ее надобно укомплектовать,—прервалъ Шамбюръ, и что то похожее на грусть изобразилось на лицѣ его. — Чортъ возьми!—продолжалъ онъ,—какъ эти русскіе стали осторожны! Изъ ста пятидесяти человѣкъ, только тридцать воротились со мною; но за то всѣ эти тридцать солдатъ — герои... да, герои! Бѣдный Леклеръ!... Вы знали этого гренадера, этого баярда моей роты? Его убили подлѣ меня! Видите ли эти пятна на груди моей? Это его кровь! Но вы расплатитесь со мною, господа русскіе! Его похороны будутъ дорого вамъ стоить!.. Клянусь этимъ кинжаломъ, что цѣлая сотня русскихъ...

— Не угодно ли вамъ начать съ меня?—прервалъ улыбаясь Рославлевъ.

Шамбюръ засмѣялся.—Нѣтъ!—сказалъ онъ,—я никогда не нарушалъ правъ гостепріимства; но не совѣтую и вамъ встрѣтиться со мною въ русскихъ траншеяхъ. Я васъ люблю, а непремѣнно зарѣжу, если вы вздумаете со мною церемониться и не постараетесь меня предупредить. Ну что вы намѣрены теперь дѣлать?

— Я пойду погулять.

— А я отправлюсь къ Раппу. Мнѣ сказывали, что у него сегодня военный совѣтъ; и хотя я не приглашенъ, но это все равно: гдѣ толкуютъ о военныхъ дѣйствіяхъ, тамъ Шамбюръ лишнимъ быть не можетъ. Прощайте.

Шамбюръ и Рославлевъ вышли изъ дома въ одно время; первый пустился скорымъ шагомъ къ квартирѣ генерала Раппа, а послѣдній отправился на театральную площадь. Рославлевъ тотчасъ узналъ красный домъ, о которомъ говорилъ ему наканунѣ Дольчини. Взойдя въ пятый этажъ, который у насъ въ Россіи назвали бы просто чердакомъ, онъ увидѣлъ на низенькой двери прибитую дощечку съ номеромъ шестымъ. Дверь была только притворена. Рославлевъ долженъ былъ согнуться, чтобъ войти въ небольшую комнату, которая въ то же время служила кухнею; подлѣ очага, на которомъ курился догорающій торфъ, сидѣла старуха лѣтъ пятидесяти, довольно опрятно одѣтая, но худая и блѣдная, какъ тѣнь.—Что угодно господину?—спросила она, увидя входящаго Рославлева.

— Я присланъ отъ господина Дольчини,—отвѣчалъ Рославлевъ.

— Отъ господина Дольчини!—повторила радостнымъ голосомъ старуха, вскочивъ со стула.—И такъ, Господь Богъ не совсѣмъ еще насъ покинулъ!.. Сударыня, сударыня!..—продолжала она, оборотясь къ перегородкѣ, которая отдѣляла другую комнату отъ кухни,—слава Богу! Господинъ Дольчини прислалъ къ вамъ своего пріятеля. Войдите, сударь, къ ней. Она очень слаба; но ваше посѣщеніе вѣрно ее обрадуетъ.—Рославлеву нерѣдко случалось видѣть все, что нищета заключаетъ въ себѣ ужаснаго: онъ не разъ посѣщалъ убогую хижину бѣднаго; но никогда грудь его не волновалась такимъ горестнымъ чувствомъ, душа не тотосковала такъ, какъ въ ту минуту, когда, подходя къ дверямъ другой комнаты, онъ услышалъ болѣзненный вздохъ, который, казалось, проникъ до глубины его сердца. Въ небольшой горенкѣ слабо, освѣщенной однимъ слуховымъ ок-

номъ, на постели съ изорваннымъ пологомъ, лежала, оборотясь къ стѣнѣ, больная женщина; не перемѣняя положенія, она сказала тихимъ, но довольно твердымъ голосомъ.— Скажите, что сдѣлалось съ Дольчини? Скоро ли я его увижу?

Лихорадочная дрожь пробѣжала по всѣмъ членамъ Рославлева; онъ хотѣлъ что то сказать, но онѣмѣвшій языкъ его не повиновался. Этотъ голосъ!.. эти знакомые звуки!... Нѣтъ, нѣтъ! онъ не желалъ, не смѣлъ вѣрить...

— Бога ради, скажите скорѣе, — продолжала больная, повернувшись лицомъ къ Рославлеву,—скоро ли я его увижу?

— Полина!...—вскричалъ Рославлевъ.

Больная содрогнулась, приподнялась до половины и, устремивъ свой полумертвый взглядъ на Рославлева, повторила:—Полина!... Кто вы?.. Я почти ничего не вижу... Полина!... Такъ называлъ меня лишь онъ... но его нѣтъ уже на свѣтѣ... Ахъ!... такъ называлъ меня еще... Боже мой, Боже мой!.. О, Господь правосуденъ! Я должна была слышать его проклятія въ послѣднія мои минуты... это онъ!

— Полина!—вскричалъ Рославлевъ, схвативъ за руку больную,—такъ это я—другъ твой! Но, Бога ради, успокойся! Несчастная! я оплакивалъ тебя какъ умершую; но никогда—нѣтъ, никогда не проклиналъ моей Полины! И если бы твое земное счастье зависѣло отъ меня, то, клянусь тебѣ Богомъ, мой другъ, ты была бы счастлива вездѣ... да, вездѣ—даже въ самой Франціи,—прибавилъ тихимъ голосомъ Рославлевъ, и слезы его закапали на руку Полины, которую онъ прижималъ къ груди своей.

Больная, молча, смотрѣла на Рославлева; взоры ея понемногу оживлялись; вдругъ они заблистали, легкій румянецъ пробѣжалъ по блѣднымъ щекамъ ея; она схватила руку Рославлева и покрыла ее поцѣлуями. Итакъ, я могу умереть спокойно!—проговорила она рыдая:—ты простилъ меня; но ты долженъ проклинать...—Ахъ, не проклинай и его, мой другъ!.. Его ужь нѣтъ на свѣтѣ...

— Несчастная!

— Но я скоро съ нимъ увижусь, да, мой другъ!—продолжала больная, понизивъ голосъ:—вотъ ужь третью ночь, каждый разъ, когда на городской башнѣ пробьетъ полночь, онъ является вотъ здѣсь у моего изголовья, и зоветъ меня къ себѣ.

— Это одинъ бредъ, Полина! Ты больна; твое разстроенное воображеніе...

— Нѣтъ, нѣтъ! Это ужь не въ первый разъ, мой другъ! Онъ точно также приходилъ и за моимъ сыномъ: они оба ждутъ меня.

— За твоимъ сыномъ?

— Да! у меня былъ сынъ. Ахъ, какъ я его любила, мой другъ! Я называла его Вольдемаромъ.

— И твой мужъ...

— Тсъ! тише! Бога ради не называй его моимъ мужемъ: надъ тобой станутъ всѣ смѣяться. Что ты на меня такъ смотришь? Ты думаешь, что я брежу?... О, нѣтъ, мой другъ! Послушай: я чувствую въ себѣ довольно силы, чтобъ разсказать тебѣ все.

— Нѣтъ, Полина! зачѣмъ вспоминать прошедшее. Богъ милостивъ: здоровье твое поправится, ты возвратишься въ отечество...

— Въ отечество? Но развѣ у меня есть отечество?... Развѣ несчастная Полина не отказалась навсегда отъ своей родины?.. Развѣ найдется во всей Россіи уголокъ, гдѣ-бъ дали пріютъ русской, вдовѣ плѣннаго француза?.. Отечество!... О, если бы прошедшее было въ нашей волѣ, я не не стала бы тогда заботиться о моемъ спасеніи! Съ какою-бъ радостью я обрекла себя на смерть, чтобъ только умереть въ моемъ отечествѣ. Безумная! Я думала, что могу сказать ему: твой Богъ будетъ моимъ Богомъ, твоя земля— моей землею. О нѣтъ, мой другъ! кто покидаетъ навсегда свою родину, тотъ рано или поздно, а умретъ по ней съ тоски... Но пока я еще могу—я должна тебѣ разсказать все.

— Зачѣмъ, Полина?...

— Ахъ, не мѣшай мнѣ: это облегчитъ мою душу. Я хочу, чтобъ ты зналъ, какъ я была наказана за мое вѣроломство. Ты читалъ письмо мое; ты знаешь, какъ онъ встрѣтился опять со мною. Рука его была свободна, сердце принадлежало мнѣ; ты самъ прислалъ его въ нашъ домъ. Все это казалось мнѣ волею самихъ небесъ; я думала, что не измѣняю тебѣ, но покоряюсь только какому то предопредѣленію, отъ котораго ничто не могло спасти меня, или лучше сказать, я ничего не думала. Моя свадьба, первый шагъ отъ алтаря, свадебный подарокъ, который ожидалъ меня у самаго церковнаго порога... Ахъ, Рославлевъ! я

едва не потеряла разсудка; но ты уѣхалъ; меня увѣрили, что горесть твоя уменьшилась, и я стала спокойнѣе. Скоро французы заняли нашу деревню. Мужъ мой сдѣлался свободнымъ, и мы отправились въ Москву. Первый мѣсяцъ прошелъ довольно спокойно. Сеникуръ любилъ меня. Ужасныя бѣдствія моихъ согражданъ, пожаръ Москвы, безпрестанные слухи о покореніи всей Россіи—все это казалось мнѣ какимъ то смутнымъ, невнятнымъ сновидѣніемъ! Я жила только для него, видѣла одного его, и точно такъ же, какъ человѣкъ въ сильной горячкѣ воображаетъ себя здоровымъ, я думала, что я счастлива. Къ концу мѣсяца, нравъ моего мужа примѣтно измѣнился: онъ сталъ задумчивъ, безпокоенъ, иногда поглядывалъ на меня съ состраданіемъ, и когда я спрашивала о причинѣ его грусти, онъ отвѣчалъ всякій разъ:—Дѣла наши идутъ дурно.—Повѣришь ли, мой другъ! до какой степени разсудокъ мой былъ ослѣпленъ? Я не понимала даже настоящаго смысла этихъ словъ: мнѣ казалось, что онъ говоритъ о Россіи. Однимъ утромъ онъ вбѣжалъ ко мнѣ блѣдный, съ отчаяніемъ на лицѣ.—Полина!—вскричалъ онъ,—наши дѣла идутъ часъ отъ часу хуже: Мюратъ разбитъ!—Такъ чтожъ?—спросила я, не понимая совершенно, какое участіе я должна была принимать въ судьбѣ Мюрата. Лицо Сеникура сдѣлалось еще блѣднѣе; помолчавъ нѣсколько минутъ, онъ продолжалъ прерывающимся голосомъ:—Да, сударыня! мы погибли: русскіе торжествуютъ; но извините! я имѣлъ глупость забыть на минуту, что вы русская.—Вдругъ какъ будто бы завѣса спала съ глазъ моихъ.—*Мы* погибли! *русскіе* торжествуютъ! Эти слова раздавались безпрестанно въ ушахъ моихъ. Праведный Боже! Итакъ, съ избавленіемъ моего отечества неразлучна гибель того, кто былъ для меня всѣмъ на свѣтѣ! Итакъ, въ молитвахъ моихъ я должна была говорить передъ Господомъ:—Боже! спаси моего супруга и погуби Россію!

Спустя нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ Сеникуръ почти не говорилъ со мною, онъ сказалъ мнѣ. однимъ утромъ:—Полина! черезъ часъ уже меня въ Москвѣ не будетъ: отступленіе нашего войска не обѣщаетъ ничего хорошаго; я не хочу подвергать тебя опасности; ты можешь возвратиться къ твоей матери, можешь даже навсегда остаться въ Россіи; ты свободна. Я не дала договорить ему. —Адольфъ!—вскричала я,—мое отечество тамъ, гдѣ ты; я за-

была его для тебя, и должна терпѣть все!.. Страдать, умереть вмѣстѣ съ тобою—вотъ одно, что можетъ оправдать меня въ собственныхъ глазахъ моихъ.—Адольфъ обнялъ меня съ прежней нѣжностію, и я отправилась вслѣдъ за французскимъ войскомъ. Не стану разсказывать тебѣ, что я должна была переносить. Ахъ, мой другъ! я не призывала смерти для того только, что не могла уже умереть одна. Голодъ, куши мертвыхъ тѣлъ, казаки—все это перемѣшалось въ моей головѣ... Я помню только, что при переправѣ черезъ какую то рѣку, моя карета и множество другихъ остановились на одномъ берегу, а на другомъ дрались; вдругъ позади насъ началась стрѣльба, поднялся ужасный крикъ и вой; что то поминутно свистѣло въ воздухѣ; стекла моей кареты разлетѣлись вдребезги, и лошади попадали. Не знаю, долго ли это продолжалось; одно только я не забыла: я помню, что гусарскій офицеръ, пріятель Адольфа, выхватилъ меня изъ кареты, посадилъ передъ собою на лошадь и вмѣстѣ со мною кинулся въ рѣку. Мнѣ помнится также, что вода была очень холодна, что мы долго плыли, что огромныя льдины безпрестанно отталкивали насъ назадъ; наконецъ, мы выбрались на другой берегъ, и черезъ нѣсколько минутъ догнали французскую гвардію. Потомъ, кажется, меня везли въ саняхъ; а тамъ вдругъ я очутилась въ какомъ то не-русскомъ городѣ; изъ него мы проѣхали въ другой, тамъ въ третій, и, наконецъ, остановились въ этомъ. Во все это время я была очень больна. Обо мнѣ заботился все тотъ же гусарскій офицеръ; но Адольфа я не видѣла. Долго скрывали отъ меня истину; наконецъ, когда послѣдній защитникъ мой занемогъ сильной горячкою и почувствовалъ приближеніе смерти, то объявилъ мнѣ, что мужа моего нѣтъ на свѣтѣ. Но къ чему высчитывать тебѣ всѣ мои несчастія? Я родила сына. Пріятель моего Адольфа умеръ и мы, вмѣстѣ съ бѣднымъ сиротою, остались одни въ цѣломъ мірѣ. Пока у меня были деньги, я жила весьма уединенно, почти никуда не выходила и ни съ нѣмъ не была знакома; но когда русскіе стали осаждать городъ, когда хлѣбъ сдѣлался вдесятеро дороже, и всѣ деньги мои вышли, я рѣшилась прибѣгнуть къ великодушію единоземцевъ покойнаго моего мужа. Мнѣ не отказывали въ помощи; но я замѣчала, что жены французскихъ чиновниковъ и даже обывателей обходились со мною весьма холодно; а мужья ихъ — съ какою то обидною ласкою, отъ которой я нерѣдко пла-

кала. Однимъ утромъ, когда у меня не осталось уже хлѣба, я вошла въ домъ, занимаемый французскимъ генераломъ. Слуга пошелъ доложить обо мнѣ его женѣ, и я черезъ растворенную дверь могла ясно слышать разговоръ ея съ другой дамою, которая была у нея въ гостяхъ.—Вдова полковника Сеникура!—вскричала хозяйка, выслушавъ слова слуги.—Какой вздоръ! Представьте себѣ, моя милая!—продолжала она:—это какая то русская, которую графъ Сеникуръ увезъ изъ Москвы. Она, конечно, жалка; но, признаюсь, я не могу видѣть хладнокровно, съ какою дерзостію каждая нищая старается насъ обманывать. Весь городъ знаетъ, что эта русская была просто любовницею Сеникура, и, не смотря на то, она смѣетъ называть себя его женою! Comme ces créatures sont impudentes!—Боже мой!.. Я измѣнила тебѣ, оставила семью, отечество, пожертвовала всѣмъ, чтобы быть его женою, и меня называютъ его любовницей!... О, мой другъ! у меня не было пристанища, мнѣ нечѣмъ было накормить моего сына; но за минуту до этого я могла назваться счастливою!.. Безъ памяти, прижимая къ груди плачущаго ребенка, я выбѣжала на улицу. У ногъ моихъ текла рѣка; но я не могла умереть: сынъ мой былъ еще живъ! Не зная сама, что дѣлаю, я вмѣшалась въ толпу бѣдныхъ жителей, которыхъ французы выгоняли изъ Данцига. Когда я вышла изъ города, сердце мое нѣсколько облегчилось. Насъ выпроводили за французскіе аванпосты и сказали, что никого не пропустятъ назадъ въ городъ. Вдали стояли русскіе часовые, и разъѣзжали казаки. Вся толпа кинулась впередъ; но къ намъ подскакалъ казакъ и объявилъ, что насъ не велѣно пропускать на русскую сторону. Кругомъ меня поднялись громкіе вопли и рыданія; я одна не плакала. Я видѣла русскихъ и не жила уже съ французами; но когда прошелъ весь день и вся ночь въ тщетномъ ожиданіи, что намъ позволятъ идти далѣе, когда сынъ мой ослабѣлъ до того, что пересталъ даже плакать, когда я напрасно прикладывала его къ изсохшей груди моей, то чувство матери подавило всѣ прочія; дитя мое умирало съ голода, и я не могла помочь ему!...»

Полина перестала говорить; щеки ея пылали; замѣтно было, что сильная горячка начинала свирѣпствовать въ груди ея...—Да, да!.. это точно было на-яву,—продолжала она съ ужасною улыбкою;—точно!... Мое дитя, при мнѣ, на моихъ колѣняхъ умирало съ голода! Кажется... да,

вдругъ закричали: русскій офицеръ!—Русскій! — подумала я;—о! вѣрно онъ накормитъ моего сына,—и бросились вмѣстѣ съ другими къ валу, по которому онъ ѣхалъ. Не понимаю сама, какъ могла я пробиться сквозь толпу, влѣзть на валъ и упасть къ ногамъ офицера, который, не слушая моихъ воплей, поскакалъ далѣе...

— Возможно ли?—вскричалъ съ ужасомъ Рославлевъ;—это была ты, Полина? и я не узналъ тебя....

Больная остановилась, устремивъ дикій взоръ на Рославлева; она повторила:—Я не узналъ тебя!.. Такъ это былъ ты, мой другъ? Какъ я рада!.. Теперь ты не можешь ни въ чемъ упрекать меня... Не правда ли, мы поровнялись съ тобою?.. Ты также, покрытый кровью, лежалъ у ногъ моихъ—помнишь, когда я шла отъ вѣнца съ моимъ мужемъ?..

— Бога ради, Полина!—прервалъ Рославлевъ,—не говори объ этомъ.

— Да, да. Ты правъ, мой другъ! Голова моя начинаетъ кружиться... а я не все еще тебѣ разсказала... Кажется... точно!... Я помню, что очутилась опять подлѣ французскихъ солдатъ; не знаю, какъ это сдѣлалось... помню только, что я просилась опять въ городъ, что меня не пускали, что кто то сказалъ подлѣ меня, что я русская, что Дольчини былъ тутъ же вмѣстѣ съ французскими офицерами; онъ уговорилъ ихъ пропустить меня; привелъ сюда, и если я еще не умерла съ голода, то за это обязана ему... да, мой другъ! я просила милостыню для моего сына, а онъ умеръ... Дольчини сказалъ мнѣ однажды... Но что это?... тсъ! тише, мой другъ, тише!... Такъ точно—громъ!

— Это не громъ, Полина,—прервалъ Рославлевъ, — а сильная пушечная пальба...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. это громъ,—повторила съ безпокойствомъ больная!—Чувствуешь ли, какъ дрожитъ весь полъ?.. Это всегда бываетъ за нѣсколько минутъ передъ его приходомъ... Ахъ! какъ время идетъ скоро! Вотъ ужь и полночь!.. Чу!.. Боже мой!.. Первый ударъ колокола!.. Ступай, мой другъ; ступай!..

— Успокойся, Полина! ты ошибаешься...

— О, Бога ради! оставь меня... еще... еще... Бѣги, мой другъ, бѣги!... Нѣтъ! я не могу, я не хочу васъ видѣть вмѣстѣ... Это было бы ужасно... да, ужасно!.. Ступай, Рославлевъ, ступай!... Прошу тебя, заклинаю!...

Полина хотѣла приподняться, но силы ей измѣнили, и она, почти безъ чувстъ, опустилась на свое изголовье. Рославлевъ вышелъ изъ ея комнаты и, пославъ къ ней старуху, сказалъ, что черезъ нѣсколько часовъ зайдетъ опять навѣстить больную. Сердце его было такъ растерзано, онъ былъ такъ разстроенъ сей неожиданной встрѣчею, что когда вышелъ на улицу, то не замѣтилъ сначала необыкновеннаго движенія въ народѣ. Въ русскихъ траншеяхъ открыли новую батарею въ самомъ близкомъ разстоянія отъ города, двадцати четырехъ фунтовыя ядра съ ужаснымъ визгомъ прыгали по кровлямъ домовъ; камни, доски, черепицы сыпались какъ градъ на улицу, и всѣ проходящіе спѣшили укрыться по домамъ. Не заботясь нимало о своей безопасности, Рославлевъ шелъ подлѣ самыхъ стѣнъ домовъ — вдругъ одинъ каменный обломокъ, оторванный ядромъ, ударилъ его въ голову; кровь брызнула изъ нея ручьемъ, онъ зашатался и упалъ безъ памяти на мостовую.

VIII.

Болѣе двухъ недѣль Рославлевъ былъ на краю могилы; нѣсколько разъ онъ приходилъ въ себя и видѣлъ, какъ сквозь сонъ, то пріятеля своего Шамбюра, то какого то незнакомаго человѣка, который перевязывалъ ему голову. Раза два ему казалось, что подлѣ его постели сидитъ Дольчини; но все это представлялось ему въ такомъ смѣшанномъ и неясномъ видѣ, что когда воспаленіе въ мозгу, отъ котораго онъ едва не умеръ, совершенно миновалось, то все прошедшее представилось ему какимъ то длиннымъ и безпорядочнымъ сномъ. Въ ту самую минуту, какъ Рославлевъ старался припомнить, когда онъ легъ спать, и изъяснить себѣ, отчего онъ спалъ такъ долго, вошелъ въ комнату Шамбюръ.

— Ахъ! какъ я радъ, что васъ вижу!—сказалъ Рославлевъ.—Растолкуйте мнѣ, что со мной дѣлается? Мнѣ кажется, я спалъ нѣсколько сутокъ сряду.

— Такъ вы, наконецъ, проснулись?—прервалъ Шамбюръ, садясь подлѣ постели Рославлева.—Слава Богу! Поглядитека на меня. Ну, вотъ и глаза ваши совсѣмъ не тѣ, и цвѣтъ лица гораздо лучше.

— Но отчего я такъ долго спалъ?

— Да, чуть было вы не заснули такимъ крѣпкимъ сномъ,

что не проснулись бы и тогда, еслибъ мы взорвали на воздухъ весь Данцигъ. Вспомните хорошенько — недѣли двѣ тому назадъ...

— Двѣ недѣли... постойте!...

— То есть на другой день, какъ васъ выпустили изъ тюрьмы...

— Изъ тюрьмы... помню! точно, я былъ въ тюрьмѣ...

— Вы пошли прогуляться по городу — это было по утру; а около обѣда васъ нашли недалеко отъ театральной площади, съ проломленной головой и безъ памяти. Кажется, за это вы должны благодарить вашихъ соотечественниковъ: они въ этотъ день засыпали насъ ядрами. И за что они разсердились на кровли бѣдныхъ домовъ? Повѣрите-ль, около театра не осталось почти ни одного чердака, который не былъ бы совсѣмъ исковерканъ.

— Подлѣ театра,—повторилъ Рославлевъ.—Постойте!... Боже мой!... мнѣ помнится... такъ точно, противъ самаго театра, красный домъ...

— Красный домъ? выше всѣхъ другихъ?

— Да, да!

— Третьяго дня, — продолжалъ спокойно Шамбюръ, — досталось и ему отъ русскихъ: на него упала бомба; впрочемъ, бѣдъ немного надѣлала — я самъ ходилъ смотрѣть. Во всемъ домѣ никто не раненъ, и только убило одну больную женщину, которая и безъ него должна была скоро умереть.

— Больную женщину!...

— Да; мнѣ сказывали, что она называла себя вдовою какого то французскаго полковника; да это неправда... но что съ вами дѣлается?

— Несчастная Полина!—вскричалъ Рославлевъ.

— Такъ вы были съ ней знакомы? Ахъ! какъ досадно, что я не зналъ этого! Впрочемъ, много грустить нечего: я ужь вамъ сказалъ, что она и безъ этого была при смерти: минутой прежде, минутой послѣ...

— Да, Шамбюръ, вы правы: кто зналъ эту несчастную, тотъ долженъ не горевать, а радоваться; но, несмотря на это, если-бъ я могъ воскресить ее...

— Да вѣдь это невозможно, такъ о чемъ же и хлопотать? Къ тому-жъ, если въ самомъ дѣлѣ она была вдовою французскаго полковника, то не могла не желать такого завиднаго конца—être coiffé d'une bombe, или умереть глу

пымъ образомъ на своей постели—какая разница! Я помню, мнѣ сказалъ однажды Дольчини... А, кстати! Знаете ли, какъ одурачилъ насъ всѣхъ этотъ господинъ флорентійскій купецъ?...

— А что такое?...

— Да только: онъ вовсе не купецъ, не итальянецъ, а русскій партизанъ.

— Что вы говорите!... Итакъ, все открылось, и онъ?..

— Разстрѣлянъ, думаете вы? Вотъ то-то и бѣда, что нѣтъ. Вскорѣ послѣ васъ и его выпустили изъ тюрьмы, и въ нѣсколько дней этотъ Дольчини такъ поладилъ съ генераломъ Дерикуромъ, что онъ поручилъ ему доставить Наполеону преважныя депеши. Рено, который также съ нимъ очень подружился, взялся выпроводить его за наши аванпосты. Когда они подошли къ Лангфуртскому предмѣстью, то господинъ Дольчини, въ виду вашихъ казаковъ, распрощавшись очень вѣжливо съ Рено, сказалъ ему:—Поблагодарите генерала Раппа за его ласку и довѣренность; да не забудьте ему сказать, что я не итальянскій купецъ Дольчини, а русскій партизанъ...—Тутъ назвалъ онъ себя по имени, которое я никакъ не могу выговорить, хотя и тысячу разъ его слышалъ. Бѣдный Рено простоялъ съ полчаса, разиня ротъ, на одномъ мѣстѣ, и когда, возвратясь въ Данцигъ, доложилъ объ этомъ Раппу, то едва унесъ ноги: генералъ взбѣсился; съ Дерикуромъ чуть не сдѣлалось удара, а толстый Папилью, вспомня, что онъ нѣсколько разъ дружески разговаривалъ съ этимъ Дольчини, до того перепугался, что слегъ въ постель. Домъ, въ которомъ жилъ ci-devant итальянскій купецъ, обшарили сверху до низу, пересмотрѣли всѣ щелки, забрали всѣ бумаги, и еслибъ онъ наканунѣ не отдалъ мнѣ письма на ваше имя, то врядъ ли бы оно дошло когда-нибудь по адресу.

— Какъ! У васъ есть ко мнѣ письмо?

— Да, есть. И хотя по настоящему мнѣ, какъ партизану, должно перехватывать всякую непріятельскую переписку,—промолвилъ съ улыбкою Шамбюръ, — но я обѣщался доставить вамъ это письмо, а Шамбюръ во всю жизнь не измѣнялъ своему слову. Вотъ оно: читайте на просторѣ. Мнѣ надобно теперь отправиться къ генералу Раппу: у него, кажется, будутъ толковать о сдачѣ Данцига; но мы еще увидимъ, кто кого перекричитъ. Прощайте!

Рославлевъ не отвѣчалъ ни слова; все вниманіе его было

устремлено на адресъ письма, написанный рукой, которая нѣкогда была ему такъ знакома и мила. Онъ распечаталъ пакетъ; первый предметъ, поразившій его взоры, былъ локонъ свѣтлорусыхъ волосъ. Рославлевъ прижалъ его къ губамъ своимъ.—Бѣдная Полина!—сказалъ онъ всхлипывая;—вотъ все, что отъ тебя осталось! Когда душа его нѣсколько поуспокоилась, онъ началъ читать слѣдующее: «Другъ мой! Дольчини сказалъ мнѣ, что ты боленъ и не можешь меня видѣть. Итакъ, я умру, не простясь съ тобою! Я не думаю дожить до будущаго утра. Выслушай послѣднее мое желаніе. Сестра моя тебя любитъ—да, мой другъ! Оленька любитъ тебя такъ же пламенно, какъ я люблю его... Ахъ, для чего не она была твоей невѣстою? Тогда я была бы одна несчастлива! Другъ мой! она достойна быть твоей женою—твоей женою! О, эта мыслъ такъ утѣшительна! Когда-нибудь и ты переселишься въ тотъ міръ, въ которомъ мы отдохнемъ отъ нашихъ земныхъ бѣдствій! Тогда и я могла бы видѣть его и тебя вмѣстѣ — любить въ одно время: ты былъ бы моимъ братомъ, Вольдемаръ!... Еще одна просьба: въ этомъ письмѣ ты получишь мои волосы. Прошу тебя, мой другъ! зарой ихъ подъ самой той черемухой, гдѣ нѣкогда твоя доброта и великодушіе едва не изгладили его изъ моего сердца. Можетъ быть, ты назовешь меня мечтательницей, сумасшедшей—о, мой другъ! еслибъ ты зналъ, какъ горько умирать на чужой сторонѣ! Пусть хоть что-нибудь мое истлѣетъ въ землѣ русской. Прощай, Вольдемаръ! Я боюсь, что проживу долѣе, чѣмъ думаю; русскія ядра летаютъ безпрестанно мимо, и ни одно изъ нихъ не прекратитъ моихъ страданій! Ахъ! я почла бы это не местію, но знакомъ примиренія, и умерла бы съ радостію. Прощай, мой другъ!...»

Рославлевъ едва могъ дочитать письмо: все прошедшее оживилось въ его памяти.—Бѣдная Полина! несчастная Полина!...—повторялъ онъ рыдая.—О! какъ сердце твое умѣло любить! Да, я свято исполню твои послѣднія желанія — я буду твоимъ братомъ... Но если Оленька принадлежитъ уже другому? Если Полина принимала любимыя мечты свои за истину? Если сестра ея чувствуетъ ко мнѣ одну только дружбу... Тутъ вспомнилъ Рославлевъ невольное восклицаніе, которое вырвалось изъ устъ Оленьки, когда ему удалось спасти ее отъ смерти. Да!... въ этомъ порывѣ благодарности было что то болѣе простой, обыкновенной

дружбы... но кто желалъ съ такимъ нетерпѣніемъ, чтобъ онъ женился на Полинѣ? Кто употреблялъ всѣ способы, чтобъ склонить ее къ сему браку?...

Рославлевъ терялся въ своихъ догадкахъ: онъ не зналъ, къ чему способно сердце женщины, истинно доброй и чувствительной. Какихъ жертвъ не принесетъ она, чтобъ видѣть счастливымъ того, кого любитъ? Можетъ быть, мы умѣемъ сильнѣе чувствовать, но мы слишкомъ много разсуждаемъ, слишкомъ *положительны*, вездѣ ищемъ здраваго смысла, и, можетъ быть, подчасъ *больны чужимъ здоровьемъ* *); но очень рѣдко бываемъ счастливы благополучіемъ другихъ. Любить всю жизнь, безъ всякой надежды; наслаждаться не своимъ счастіемъ, но счастіемъ того, кого выбрало наше сердце; любить съ такимъ самоотверженіемъ — о, это умѣютъ однѣ только женщины!.. и если эта безкорыстная, неземная любовь бываетъ иногда недоступна, то, по крайней мѣрѣ, она всегда понятна для души каждой женщины.

Рославлевъ нѣсколько разъ перечитывалъ письмо; каждое слово, начертанное рукою умирающей Полины, возбуждало въ душѣ его тысячу противоположныхъ чувствъ. Онъ попеременно то рѣшался выполнить ея волю, то вѣчно не принадлежать никому. Иногда образъ кроткой, доброй Оленьки являлся ему въ самомъ плѣнительномъ видѣ; но въ то же время, покрытое смертной блѣдностію лицо Полины представлялось его разстроенному воображенію, и мысль о будущемъ счастьи сливалась безпрестанно съ воспоминаніемъ, раздирающимъ его душу. Приходъ Шамбюра прервалъ его размышленія; онъ вбѣжалъ въ комнату какъ бѣшеный, и сказалъ прерывающимся голосомъ:

— Прощайте, Рославлевъ! — я сейчасъ иду вонъ изъ города.

— Съ вашей ротою? — спросилъ Рославлевъ.

— Нѣтъ, одинъ.

— Одни? Чтожъ вы хотите дѣлать?

— Дезертировать.

— Дезертировать! — повторилъ съ удивленіемъ Рославлевъ.

— Да! mille tonnerres! Я не хочу ни минуты оставаться съ этими трусами, съ этими подлецами, съ этими...

---

*) Выраженіе одного русскаго поэта.

Представьте себѣ! Я сейчасъ изъ военнаго совѣта: весь гарнизонъ сдается военноплѣннымъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ съ радостью Рославлевъ.

— Да, сударь, да! И какъ вы думаете, отчего?—Оттого? что у насъ осталось на одинъ только день провіанта — les misérables! Но развѣ у насъ нѣтъ оружія? Развѣ восемнадцать тысячъ французовъ не могутъ очистить себѣ вездѣ дорогу, и пробиться, если надобно, до самаго центра земли?.. Мнѣнія моего никто не спрашивалъ; но когда я услышалъ, что генералъ Раппъ соглашается подписать эту постыдную капитуляцію, то всталъ съ своего мѣста. Мерзавецъ Дерикуръ хотѣлъ было помѣшать мнѣ говорить... но, чортъ возьми! Я закричалъ такъ, что онъ поневолѣ прикусилъ язычекъ. — Господа, — сказалъ я,— если мы, точно, французы, то вотъ что должны сдѣлать: отвергнуть съ презрѣніемъ обидное предложеніе непріятеля, подорвать всѣ данцигскія укрѣпленія, свернуть войско въ одну густую колонну, ударить въ непріятеля, смять его, идти на Гамбургъ и соединиться съ маршаломъ Даву. — Но, — возразилъ Дерикуръ, — осаждающіе вдвое насъ сильнѣе. — Что нужды! — отвѣчалъ я: — они не французы! — Мы окружены врагами, — прибавилъ Раппъ: — вся Пруссія возстала противъ Наполеона. — Какое дѣло! — закричалъ я; — мы пойдемъ впередъ; при видѣ побѣдоносныхъ орловъ нашихъ, всѣ побѣгутъ; мы раздавимъ русскій осадный корпусъ, сожжемъ Берлинъ, истребимъ прусскую армію... — Онъ сумасшедшій, — закричали всѣ генералы. — Молчите или ступайте вонъ! — заревѣлъ Раппъ. — О! если такъ, чортъ возьми! — отвѣчалъ я весьма спокойно, я пойду — да! cent mille diables! я пойду; но только не домой, а въ непріятельскій лагерь. Пусть кто хочетъ сдается военноплѣннымъ, пусть проходитъ парадомъ мимо этихъ скиѳскихъ ордъ и кладетъ оружіе къ ногамъ тѣхъ самыхъ солдатъ, которыхъ я заставлялъ трепетать съ одной моей ротою! Чтожъ касается до меня, то я объявляю здѣсь при всѣхъ, что не служу болѣе, и сей же часъ перехожу къ непріятелю. — Убирайтесь хоть къ чорту! только ступайте вонъ,— сказалъ Раппъ.—Я посмотрѣлъ на него съ сожалѣніемъ, бросилъ презрительный взглядъ на толпу трусовъ, его окружающихъ, и побѣжалъ проститься съ вами. Впрочемъ, надѣюсь, мы скоро увидимся: если капитуляція подписана,

то вы свободны, и найдете меня въ своемъ лагерѣ. Прощайте!

Въ самомъ дѣлѣ, когда черезъ нѣсколько дней Рославлевъ выѣхалъ изъ города, то повстрѣчался съ Шамбюромъ на нашихъ аванпостахъ; они обнялись какъ старинные пріятели. Дежурнымъ по аванпостамъ былъ Зарядьевъ. Онъ очень обрадовался, увидя Рославлева.—Ну, братецъ!—сказалъ онъ,—мы было отчаялись тебя и видѣть! Какъ ты похудѣлъ!.. Да полно! отцѣпись отъ этого француза! Поди-ка сюда!...

— Что, Зарядьевъ? — прервалъ Рославлевъ съ улыбкою:— видно, ты еще не забылъ, какъ онъ пугнулъ тебя на Нерунгѣ?

— Пугнулъ!... Эка фигура! — подкрался втихомолку; а какъ моя рота выстроилась, да пошла катать, такъ и давай Богъ ноги! Что это за офицеръ? дрянь! Прежде былъ разбойникомъ, а теперь бѣглый.

— Ну что, какъ вы съ нимъ ладите?

— Съ нимъ? Да не приведи, Господи! Этотъ Шамбюръ надоѣлъ намъ всѣмъ какъ горькая рѣдька — этакій безрукій чортъ! Покою нѣтъ! Лепечетъ, шумитъ, кричитъ съ утра до вечера. До него дошелъ слухъ, что въ Данцигѣ всѣ его пожитки продали съ публичнаго торга — да и какъ иначе? Вѣдь онъ дезертиръ. Чтожъ ты думаешь? Рвется теперь опять въ Данцигъ — пусти его, да и только! Хочетъ тамъ всѣхъ приколотить до смерти. Эхъ! не умѣютъ съ нимъ справиться! Дали бы мнѣ его недѣльки на двѣ, такъ я бы его вышколилъ! У меня-бъ онъ не сошелъ съ палочнаго караула, а чуть забурлилъ, такъ на хлѣбъ и на воду. Небось, сталъ бы шелковый!

Черезъ недѣлю, Рославлевъ совсѣмъ выздоровѣлъ, и когда наступилъ день сдачи крѣпости, то онъ отправился, вмѣстѣ со всѣмъ штабомъ, вслѣдъ за главнокомандующимъ, къ Оливскимъ воротамъ, которыми должны были выходить изъ Данцига военноплѣнные французы. Шестнадцать тысячъ нашихъ и прусскихъ войскъ были поставлены въ двѣ линіи вдоль по гласису Гагельсбергскихъ укрѣпленій. Сперва явился, въ зеленой бархатной шубѣ, надѣтой сверхъ богатаго мундира, генералъ Раппъ; на лицѣ его изображалась глубокая горесть. Сей храбрый воинъ Наполеона, одинъ изъ героевъ Аустерлицкаго сраженія, въ первый разъ еще преклонялъ отягченную лаврами главу свою передъ мечемъ побѣдителя. Вскорѣ показались французскія

колонны; наблюдая глубокое молчаніе, онѣ проходили дивизіями посреди нашихъ линій. Рославлевъ не могъ безъ сердечнаго соболѣзнованія глядѣть на сихъ безстрашныхъ воиновъ, когда, при звукѣ полковой музыки, пройдя церемоніальнымъ маршемъ мимо нашихъ войскъ, они снимали съ себя оружіе, и съ поникшими главами продолжали идти далѣе. Многіе изъ французскихъ офицеровъ плакали; другіе, стараясь показывать совершенное равнодушіе, курили трубки, идя передъ своими взводами. Это послѣднее обстоятельство не укрылось отъ зоркихъ глазъ капитана Зарядьева. Когда кончилось сіе торжественное шествіе, напоминающее блестящія похороны знаменитаго военачальника, которому у самой могилы отдаютъ въ послѣдній разъ всѣ военныя почести, нашъ строгій ротный командиръ подошелъ къ Рославлеву и спросилъ его:—Какъ ему кажется, хорошо ли прошли церемоніальнымъ маршемъ французы?

— Я, право, этого не замѣтилъ,—отвѣчалъ Рославлевъ.

— Такъ я тебѣ скажу: они понятія не имѣютъ о фронтовой службѣ. Всѣ взводы заваливали, замыкающіе шли по флангамъ, а что всего хуже—замѣтилъ ли ты двухъ взводныхъ начальниковъ, которые во фронтѣ курили трубки? Ну, братецъ! Я думалъ всегда, что они вольница—да ужь это изъ рукъ вонъ!...

— Эхъ, Зарядьевъ! до того ли имъ, чтобъ думать о порядкѣ? Посмотрѣлъ бы я на тебя, если бы ты долженъ былъ проходить мимо непріятеля церемоніальнымъ маршемъ для того, чтобъ положить оружіе?

— Оно, конечно, братецъ, кто и говоритъ — обидно! Статься можетъ, что и я не повелъ бы въ ногу мою роту, а все-таки не сталъ бы курить трубки во фронтѣ — воля твоя, любезный!... Какъ хочешь, а не хорошо: дурной примѣръ для солдатъ.

Мы не станемъ описывать торжественнаго входа нашихъ войскъ въ Данцигъ *); не будемъ также говорить о слѣдствіяхъ сей колоссальной войны всей Европы съ французами. Кому не извѣстны даже всѣ мелкія происшествія сей чудной эпохи, ознаменованной паденіемъ величайшаго военнаго генія нашего времени? Мы предувѣдомимъ только читателей, что различныя обстоятельства не допустили Ро-

*) Онъ описанъ весьма подробно въ книгѣ подъ названіемъ: „Записки касательно похода С. П. Бургскаго ополченія“.

славлева увидѣться съ пріятелемъ его, Зарѣцкимъ. Во вторую французскую кампанію, полкъ, въ которомъ служилъ сей послѣдній, попалъ въ число войскъ, кои должны были оставаться до извѣстнаго времени во Франціи. Въ теченіе сего времени, остальная часть арміи возвратилась въ Россію, и Рославлевъ вышелъ опять въ отставку.

Нѣсколько лѣтъ уже продолжался общій міръ во всей Европѣ; торговля процвѣтала, всѣ народы казались спокойными, и Россія, забывая понемногу прошедшія бѣдствія, начинала уже пользоваться плодами своихъ побѣдъ и неимовѣрныхъ пожертвованій; мы отдохнули, и русскіе полуфранцузы появились снова въ обществахъ, снова начали бредить Парижемъ и добиваться почетнаго названія—обезьянъ вертляваго народа, который продолжалъ кричать попрежнему, что мы варвары, а французы первая нація въ свѣтѣ, вѣроятно, потому, что русскіе сами сожгли Москву, а Парижъ остался цѣлымъ. Въ тысячѣ политическихъ книжонокъ наперерывъ доказывали, что мы никогда не были побѣдителями, что за насъ дрался холодъ, что французы насъ всегда били, и, благодаря нашему смиренію и русскому обычаю—вѣрить всему печатному, а особливо на французскомъ языкѣ, эти письменныя ополченія, противъ нашей военной славы, начинали уже понемножку находить отголоски въ гостиныхъ комнатахъ большого свѣта. Мы стали нѣсколько постарѣе, поумнѣе; но все еще не смѣли ходить безъ помочей, которыхъ концы держали въ своихъ рукахъ господа французы. Кажется, теперь, благодаря Бога, мы вступили въ юношескій возрастъ и начинаемъ чувствовать, что можемъ прожить и безъ этихъ наставниковъ, которые не хотѣли даже никогда ни приласкать, ни похвалить своихъ покорныхъ учениковъ, а всегда забавлялись на ихъ счетъ, несмотря на то, что улучшеніе нашихъ фабрикъ, быстрые успѣхи народной промышленности, незамѣтной только для тѣхъ, кои не хотятъ ихъ видѣть, все доказываетъ, что мы ученики довольно понятливые. Теперь мы привыкаемъ любить свое, не стыдимся уже говорить по-русски, и мнѣ даже не разъ удавалось слышать (куда, подумаешь, времена переходчивы!) въ самыхъ блестящихъ дамскихъ обществахъ—цѣлыя фразы на русскомъ языкѣ, безъ всякой примѣси французскаго.

Въ 1818 году, ровно черезъ шесть лѣтъ послѣ нашествія французовъ, въ одинъ прекрасный майскій вечеръ, въ густой липовой рощѣ, подъ тѣнью вѣтвистой черемухи, отдыхалъ, послѣ продолжительной прогулки, съ гостями своими, помѣщикъ села Утѣшина. За большимъ чайнымъ столомъ сидѣла хозяйка, молодая, прекрасная женщина. Въ исполненныхъ неизъяснимой любви голубыхъ глазахъ ея, устремленныхъ на двухъ прелестныхъ малютокъ, которые играли на коврѣ, разостланномъ у ея ногъ, можно было ясно прочесть все счастіе доброй матери и нѣжной супруги. Мужъ ея, молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, разговаривалъ со старикомъ, который, опираясь на трость съ прекурьезнымъ сердоликовымъ набалдашникомъ, смотрѣлъ также, не спуская глазъ, на дѣтей. Ихъ слушалъ, повидимому, съ большимъ вниманіемъ, пожилой человѣкъ, въ сѣромъ ополченскомъ кафтанѣ съ золотыми погончиками; немного поодаль, развалясь на широкой дерновой скамьѣ, курилъ, изъ огромной пѣнковой трубки, мужчина лѣтъ за сорокъ, высокій и дородный, въ полевомъ кафтанѣ и зеленомъ кожаномъ картузѣ. Подлѣ самаго стола, прислонясь спиною къ дереву, стоялъ въ форменномъ сюртукѣ кавалерійскій штабъ-офицеръ, съ веселымъ румянымъ лицомъ и видный собою; онъ перелистывалъ небольшую книжку и безпрестанно улыбался.

— Какъ хочешь, племянникъ, — сказалъ старикъ, приставивъ къ дереву свою трость и вынимая изъ кармана рѣзную табакерку изъ слоновой кости,—я не согласенъ съ тобою: мнѣ кажется, не сынъ походитъ на тебя, а дочь; а сынъ весь въ матушку. Неправда ли, Оленька?

— Нѣтъ, дядюшка,—отвѣчала молодая женщина:—они оба походятъ на Вольдемара.

— Такъ, такъ, сударыня! — продолжалъ старикъ, улыбаясь.—Какъ бишь у васъ эта пѣсня то поется: *во всемъ я вижу образъ твой?*... Да что это за новая игрушка у твоего Николиньки? Ба! ружье, со штыкомъ!

— Это подарокъ нашего добраго городничаго.

— Зарядьева? Ну что, Ильменевъ, ты вчера былъ въ городѣ—здоровъ ли онъ?

— Слава Богу, батюшка Николай Степановичъ!—отвѣчалъ господинъ въ ополченномъ кафтанѣ;—здоровъ, да только въ большихъ горяхъ. Ему прислали изъ губерніи, въ добавокъ къ его инвалидной командѣ, такихъ уродовъ, что онъ не знаетъ, что съ ними и дѣлать. Ужь ставилъ, ста-

вилъ ихъ по ранжиру—никакъ не уладитъ! У этого лѣвое плечо выше праваго, у того одна нога короче другой, кривобокіе да горбатые—ну, срамъ взглянуть! Вчера, сердечный, пробился съ ними все утро, да такъ и бросилъ.

— Полно читать, Зарѣцкій, — сказалъ хозяинъ, обращаясь къ кавалеристу, который продолжалъ перелистывать книгу;—въ первый день, послѣ шестилѣтней разлуки, намъ, кажется, есть о чемъ поговорить.

— Сейчасъ, mon cher, сейчасъ! Ты не можешь себѣ представить, какія забавныя вещи я нашелъ въ этой книжкѣ.

— Да что это такое?

— Guide des voyageurs 1817 года.

— А! книга для путешественниковъ. Я вынулъ ее сегодня изъ шкапа, чтобы посмотрѣть, сколько считается жителей въ Лондонѣ. Да чтожъ ты нашелъ забавнаго въ этой статистикѣ?

— Кто-жъ виноватъ, если ты не читалъ въ ней ни особенныхъ замѣчаній, ни наставленій, напримѣръ, какъ обращаться съ русскими дамами... А! вотъ нѣсколько словъ о Москвѣ... Ого!.. вотъ что! Ну, видно, мои друзья, французы, не отстанутъ никогда отъ старой привычки мѣшаться въ чужія дѣла. Послушай: Enfin Moscou renaît de sa cendre, grâce aux français qui président à sa reconstruction.

— А по нашему то, сударь, что это значитъ, осмѣлюсь спросить?—сказалъ гость въ полевомъ кафтанѣ, пріостановясь курить свою трубку.

— Это значитъ, сударь, что по милости французовъ и подъ ихъ надзоромъ Москва начинаетъ отстраиваться.

— Что, что, батюшка? по милости французовъ?.. Какъ такъ? И это тутъ написано?

— Да, сударь.

— Ну, исполать этимъ французамъ!... Ахъ, они хвастунишки, чортъ ихъ возьми! Да вотъ хоть мой домъ на Прѣснѣ—что я на ихъ деньги чтоль его выстроилъ.

— Можетъ статься, — сказалъ хозяинъ, — сочинитель разумѣлъ подъ этимъ французскихъ архитекторовъ.

— Французскихъ! Да есть ли хоть одинъ французскій архитекторъ въ Москвѣ? Помилуйте, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ! мало ли у насъ своихъ, доморощенныхъ архитекторовъ? Что вы, сударь?

— Конечно, Буркинъ правъ, — прервалъ старикъ; — да

и на что намъ иноземныхъ архитекторовъ? Посмотрите на мой домъ! Что, дурно чтоль выстроенъ? А строилъ то его не французъ, не нѣмецъ, а просто я, русскій дворянинъ— Николай Степановичъ Ижорскій. Покойница сестра, вотъ ея матушка—не тѣмъ будь помянута, бредила французами. Ну, чтожъ? и отдала строить свой московскій домъ какому то пріѣзжему мусью, а онъ какъ понадѣлалъ ей во всемъ домѣ каминовъ, такъ она, въ первую зиму, чуть-чуть бѣдняжечка совсѣмъ не замерзла.

— Дѣйствительно, такъ,—промолвилъ Ильменевъ: — мало ли у насъ своихъ архитекторовъ, и губернскихъ, и уѣздныхъ, и всякихъ другихъ. Вотъ кабы, сударь, у насъ развели также своихъ мусьювъ, да мадамовъ, а то ищешь, ищешь по всей Москвѣ — цѣну ломятъ необъятную; а что будешь дѣлать? Народъ привозный, а вѣдь извѣстное дѣло: и товаръ заморскій дороже нашего.

— По милости французовъ!... — повторялъ Буркинъ, вытряхая свою трубку. — Видишь, какіе благодѣтели! Да врутъ они! Мы безъ нихъ жгли Москву, такъ безъ нихъ и выстроимъ.

— А что, Владиміръ,—спросилъ Зарѣцкій:—Москва въ самомъ дѣлѣ поправляется?

— Да, мой другъ; но на каждомъ шагу замѣтны еще слѣды ужаснаго опустошенія.

— Вспомнить не могу,—прервалъ Зарѣцкій,—въ какомъ жалкомъ видѣ была наша древняя столица, когда мы — помнишь, Рославлевъ,—я—одѣтый французскимъ офицеромъ, а ты—московскимъ мѣщаниномъ, пробирались къ Калужской заставѣ? Помнишь ли, какъ ты, взглянувъ на окно одного дома... Виноватъ, мой другъ! Я не долженъ бы былъ вспоминать тебѣ объ этомъ... Но ужь если я проболтался, такъ скажи мнѣ, что сдѣлалось съ этой несчастной?... Гдѣ она теперь?

— Гдѣ она?—повторилъ Рославлевъ, взглянувъ печально на бѣлый мраморный памятникъ, почти закрытый вѣтвями развѣсистой черемухи. На глазахъ Оленьки навернулись слезы, а старикъ Ижорскій, опустивъ задумчиво голову, принялся чертить по песку своей тростью.—Гдѣ она?—продолжалъ Рославлевъ.—Ахъ, Александръ! Участь ея была почти предсказана. Шесть лѣтъ тому назадъ, въ этотъ же самый часъ, въ ту минуту, когда она на самомъ этомъ

мѣстѣ сказала мнѣ:—Мы будемъ счастливы, да, другъ мой, совершенно счастливы!—сумасшедшая Ѳедора...

Охриплый дикій смѣхъ прервалъ слова Рославлева. Густыя вѣтви черемухи раздвинулись, изъ-за мраморной урны выглянуло худое, отвратительное лицо Ѳедоры, и громкій хохотъ ея раздался по всему лѣсу.

КОНЕЦЪ.

Hoover Institution Library
3 6105 071 539 402

184995